

ЛИТЕРА-
ТУРНАЯ
МОСКВА

1956

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ЛИТЕРАТУРНАЯ МОСКВА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СБОРНИК МОСКОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Под редакцией:

М. И. АЛИГЕР, А. А. БЕКА, Г. С. БЕРЕЗКО,
О. А. КАВЕРИНА, Э. Г. КАЗАКЕВИЧА, А. К. КОТОВА,
К. Г. ПАУСТОВСКОГО, В. А. РУДНОГО,
В. Ф. ТЕНДРЯКОВА

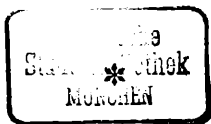


Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1956

ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ДРАМАТУРГИЯ

*

Конст. Федин



В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(От автора. Задуманный много лет назад и давно начатый, новый мой роман продолжает предшествующие ему «Первые радости» и «Необыкновенное лето» и должен завершить собой трилогию. Его действие протекает во второй половине 1941 года. Оно развивается в Москве, в Туле, Ясной Поляне, его картины включают также деревню. В последнюю книгу трилогии приходят многие действующие лица названных романов, в их числе — дети, ставшие взрослыми за время после событий, представленных двумя первыми книгами, то есть более чем за двадцать лет. С новыми событиями, изображенными в третьей книге, являются и новые герои.)

Публикуемая глава относится к начальным странствиям драматурга Александра Пастухова в эвакуации.)

1

Было то тихое и смутное утро, когда воздух кажется как бы припудренным остатками еще не вполне развеянного тумана и свет еще словно не пересилил недавнюю мглу прохладной зари.

Выйдя со станции и спросив дорогу, Пастухов накинул на плечи пальто. Он заранее решил не торопиться и теперь шел лесом, вглядываясь в чашу деревьев своим медленным взором, который так хорошо был ему самому известен и который, целиком обнимая зримое пространство, точно вышелушивал из него отдельные любопытные подробности.

Ему хотелось запечатлеть все постепенно, входить в ожидавший его мир шаг за шагом, как поднимаются в какой-нибудь исторический дворец — с одного марша на другой, озирая и впитывая в себя каждый виток лестницы, и переходы из палаты в палату, и роспись стен, пока, миновав парадные залы, не достигнут сердцевины всех анфилад — личных покоев того, кто воздвиг здание и оставил о нем молву потомкам. И как всякий дворцовый предмет уводит мысль в далекие времена, когда он еще не приковывал к себе изумленно глазающих на него посторонних дворцу людей, а запросто нес службу обиходу своего владыки, — так здесь, в тишине лесных полутеней, всякий замшелый пенёк при дороге или распиленная на чурбаки трухлявая осина вели и вели мысль Пастухова из одной дали времен в иную.

Все еще сильные, мало тронутые рукой человека засечные леса стояли в этот час недвижимо. Можно было бы сказать, что они сумрачны и беззвучны, если бы сумрак не просквживали эти припудренные исчезающим туманом полосы света и если бы беззвучие изредка не пронизывалось, то ближе, то дальше, короткой переключкой птиц. Приостанавливаясь, чтобы вслушаться в их голоса, Пастухов улыбался своей догадке: птицы давным-давно не пели, их разговор был деловым, без излишеств, — они переключались только по очевидной необходимости, и довольно было путнику вдруг стать на месте, как неизвестная пичуга, где-то в гущине высоких крон, быстренько высвистывала: «Он стал!» Пастухов шел дальше. Кругом смолкало. Он останавливался, свист повторялся: «Он стал», — и какой-то другой деловой голосок откуда-то спрашивал: «Опять?» И пичуга отвечала: «Опять...»

Очень ясно представлялось Пастухову, что вот, наверно, совсем такими же настороженными переключками птиц происвистывалась такая же утренняя тишина и три-четыре века назад, когда нежданно начинали доноситься сюда издалека людские голоса и потом раздавался обрывистый железный удар по дереву, за ним еще и еще, и вдруг десятки, сотни таких ударов обуревали весь лес дробным стоном загудевшей рубки. Жестче и жестче секли топоры, гулче взывала земля под рушимами на нее кряжами, и треск ветвей и сучьев, подминаемых стволами, несся выше и выше, точно на располыхавшемся пожаре. Рубилась защитная от набежавших татар засека, и на версты и версты, от Плавы до Упы, вершинами к югу ложились столетние деревья непролазной стеною завала. Престольная Москва слала в надежные свои южные крепостцы ратных людей на подмогу засечной страже, и смерды из деревушек с топорами, кованными Тулой, торопились следом за ополчением — валить в лесу дуб и березу. Уходил от шума пушной зверь, бежали лоси, крался волк, и только невидимые в листве пичужки перебрасывались пугливо: «Опять?» — «Опять».

«Не посрамляли же Московского государства ратники да смерды,— думал Пастухов,— отстаивали себя бердышом да топориком. Неужели не отстоят нынче?»

Он снова приостанавливался, слушал.

Спокойствие было таким полным, что чудилось — разве лишь одни сказки сказывали про набеги да битвы, разор и истребление, а жизнь всегда была как этот лес и это небо над ним — уравновешенные чаши весов. Но и сама эта неподвижность казалась вынутой из сказки, и Пастухову начинало во всем видеться отражение с детских лет манящего царства-государства, по лесам которого идет-бредет странный человек, и птицы показывают ему дорогу к сокрытому в глухой чаще дому.

Вспомнил об этом Пастухов и стал придумывать сказку...

...В сокрытом доме живет праведный старик, и отыщи только этот дом, спроси старика о чем только тебе надо, как сейчас же и получишь ответ. Бредет странный человек по лесу день, бредет два, и свистит ему пичуга: «Сверни направо». Свернул человек направо и видит — сидит на пеньке посередине поляны старик и плетет лапоть. Бог помочь, говорит странный человек, не ты ли будешь праведный старик из сокрытого дома? Всю жизнь, отвечает старик, хотел я быть праведным, а праведный я или нет, того не знаю. Дом же мой, говорит, не сокрытый, а вроде пенька посередине поляны, и кто его ищет, тот найдет. Значит, это ты и есть, говорит странный человек и спрашивает: пришел я задать тебе вопрос, ответишь ты мне или нет? И говорит ему старик: за чем пришел, то и получишь, спрашивай. Знаешь ли ты, спрашивает человек, что на всем на белом свете идет война, какой испокон века не видывали? Знаю, отвечает старик. Так вот скажи мне теперь, спрашивает опять человек, скажи, сделай милость, чем же эта война должна кончиться? Глянул тут праведный старик в самые очи странному человеку и вдруг, не говоря ни слова, рассмеялся во весь свой беззубый рот — только седая борода затряслась да в руках лапоть с кочедыком запрыгал. И едва человек увидел, как он молча смеется беззубым стариковским смехом, а сам глядит ему в очи, понял, что старик разгадал его до самой подкладки. И взял человека страх...

На этом месте сказки Пастухов вышел на круглую зеленую поляну, и так его это поразило, что глаза сами собой принялись искать пенька, и он, как в сказке, тоже почувствовал страх.

— Батюшки мои, чего только не попритчится,— пробормотал он с усмешкой, и хоть к усмешке себя он принудил, она долго не сходила с его пухлого рта. Человек городской, он тут же стал озираться — не потерял ли дорогу, увидел, что дорога, правда, исчезла, и тотчас зашевелился в нем почти детский испуг: не заблудился ли?

— Уж и струхнул! — с той же усмешкой сказал он, подбадриваясь и стыдясь неприятного чувства. Он повернул назад, но скоро понял, что заходит глубже в лес, и быстрым шагом возвратился на поляну. Он посмотрел на часы, рассчитал, что должен был пройти уже много, и удивился, как могло не встретиться ему ни одной живой души. Но только он успел это подумать, как на полянку из леса вышла девочка-подросток в красном платье, с башмаками на веревочке через плечо, — вышла и сразу остановилась, глядя на Пастухова светложелтыми, медовыми глазами.

— Испугалась? — спросил он как можно ласковее, чувствуя, что отлегло от сердца и в то же время сам немного опешив.

— Нет, — ответила она тихо и еще тише добавила: — А вы что?

Ее всю заливало уже поднявшееся солнце, и яркокрасное ее платье кричаще било в глаза на столь же яркой зелени полянки, и, однако, несовместимое противоречие этих цветов очень тепло сживалось и было удивительно хорошо. Она все смотрела на него остановившимся светлым взглядом.

— Я тут... от экскурсии отстал, — зачем-то соврал он. — На Ясную как дорога?

— Вот прямо, — ответила девочка и показала большим пальцем себе за спину, через башмаки.

— Ты сама-то куда собралась? Здешняя?

— Я недалечко, — сказала она, вдруг опуская глаза в землю.

— Ну, что в Ясной? — после молчания и словно из вежливости спросил он, шагнув к ней навстречу.

— А что в Ясной? — переговорила она, все еще не отрывая от земли глаз. — Как везде.

— А везде что? — шутливо спросил он.

Девочка посмотрела на него чужим, скорым, из-под бровей взглядом, опять опустила глаза и, толчком двинувшись с места, пошла по краю поляны. Высоко подбирая над травой босые ноги и вдалеке обходя дугою Пастухова, она неожиданно свернула в лес, и он только секунду видел, как она бросилась со всех ног и как закачался у ней за красной спиной башмак на веревочке. Наверно, она побежала дорогой, которую потерял Пастухов.

— Черт! На диверсанта, что ли, я похож, — сказал он, слегка даже покосившись на свое голубовато-стальное легкое пальто, которое покачивалось на нем, как накидка.

Он пошел, куда показала девочка. Еще из молодых лет он знал, что на языке крестьян слово «прямо» вовсе не означает прямой линии, а только то, что надо положиться на дорогу, и она приведет куда надо. Но когда, почти сразу очутившись на дороге, он заметил, что она больше и больше загибает в сто-

рону, точно окольцовывая полянку, откуда он только что ушел, его стало мучить сомнение — не кружит ли он на месте, либо не идет ли назад?

«Может, и девчонка тоже попритчилась?» — подумал он, и сейчас же повторилась мигом в голове его сказка о странном человеке, и опять почудился беззубый смех старика.

Но тут он со внезапной очевидностью понял, что старик этот — не кто другой, как недавний седобородый обитатель этих мудрых лесов, о котором он, не переставая, весь путь только и думал.

Он начал всматриваться в Толстого.

...Он увидел его с откинутой ветром на одно плечо большой легкой бородой. Зажженный солнцем голубой зоркий глаз глядит на дорогу из-под космато оттопыренной белой брови. Другой глаз затенен широким мягким полем шляпы, прижатым ко лбу со стороны ветра. Он сидит накренившись набок. Он — в двухместной коляске, но едет один. Левое плечо его приподнято — это с того бока, куда он накренился и где зорко горит глаз. Руки сильно выброшены вперед: он держит натянутые вожжи. Пастухов видит хорошо эти вожжи: до крупа коня синие, плетеные, дальше от свинцовой бляхи, подпрыгивающей на крупе, до мундштука крепко взнузданной морды, ременные. Крупный вороной конь шибко бежит грузноватым рысистым аллюром. Ближе, все ближе к Пастухову. Слышно, как стукнул по передку коляски ком земли, кинутый копытом, и как барабанно отзвучал в ответ передок. Вот морда коня уже совсем близко. Пенные клочья сыпятся с черной отвислой губы и развеиваются кружевами по дороге. Пастухов отскакивает на обочину. Толстой придерживает бег, останавливается. На нем поношенный парусиновый пыльник с капюшоном, какие надевают возчики. Пастухов робко снимает шляпу. Он видит лицо Толстого почти рядом. Вот Толстой быстро оглядел его с ног до головы и задержался на его редчайшего цвета пальто. Непонятно, почему такой стыд и такой ужас испытывает Пастухов! Вот Толстой перехватил вожжи одной рукой и пожевал недовольно губами. Мохнатая заросль усов несколько раз, растопыриваясь, поднялась к широким ноздрям и опустилась.

— Добрый день, — еле заставляет себя выговорить Пастухов.

— Да, день славный. Здравствуйте, — неожиданно высоким голосом говорит Толстой, — вы не ко мне?

— Я к вам, Лев Николаевич, — отвечает Пастухов со страшной решимостью, точно махнув на все рукой.

— А я на Козлову Засеку, за почтой, — весело говорит Толстой и смотрит на него с высоты коляски почти задорно и вот-вот засмеется неслышно. Но седая заросль его усов снова ершисто шевелится вокруг рта, и он говорит:

— Ну, подождите меня в Ясной.

Он опять разбирает вожжи на обе руки, странно молодо, как-то мальчишески щелкает один раз языком, и конь послушно берет с места. Пыль обдает Пастухова, в ее клубящемся золоте он различает удаляющуюся спину седока с накрененным плечом, и Толстой исчезает. Слышен все меньше глухой топот подков по грунту...

Пастухов со шляпой в одной руке, ладонью другой протер все лицо сверху книзу: видение пронеслось, правда, слишком явно — трудно было очнуться.

— Ах, ах! — с болью вздохнул он. — Если бы он был! Если бы он был теперь, а не когда я был так молод!

Но, несмотря на нечаянную боль, Пастухову сделалось легко. От детского испуга, что можно заплутаться, не осталось следа. Он шел, уверенный в дороге, которая, по слову девочки, конечно, вела «прямо», хоть и вилась то вкривь, то наискось, сварливой речкой. Вновь стали занимать его не придумки, а невольные новые наблюдения на вечно старой, поросшей грибами деревьев живой земле. Он заметил, что лес переменялся, что стало будто суше, что проходит он участками рощ, пятнисто-белыми от берез, а то угрюмыми, слегка таинственными под тяжелыми тенями дубов. Попалась тропинка, ей наперевоз — другая. Засветилась где-то недалеко дорожка, прибранная, как в парке, потянулся яблонный сад, мелькнули между стволов клин огорода, забор, строение.

И вдруг Пастухов разглядел спускающуюся отлого вдаль аллею лип. Он немного повернул голову. Перед ним открывалась площадка с очень нестройным, наклонным вязом посередине, и дальше, позади вяза, был виден белый дом, к которому он шел.

Он сразу признал этот вяз и этот дом — с выступающей пристройкой посередине, с крыльцом по одну сторону и сенями — наверно, черного хода — по другую, с неширокими окнами верхнего этажа, с застекленной и увитой диким виноградом террасой по правой руке: в каких только книгах не видал он за свою жизнь эту картину, — теперь она была перед ним в действительности.

Он медленно пошел к дому, но, не дойдя, взглянул на скамейку, обручем окружавшую ствол вяза, и, шагнув к ней, сел под деревом. На лице его остановилась почтительная и как будто смущенная улыбка.

— Здесь я подожду, Лев Николаевич, — шепнул он себе с грустью.

2

Он сидел долго.

Безлюдие не удивляло его — час был все еще ранний.

Одно окно наверху, справа, было распахнуто, внутри дома кто-то прошел мимо него, загудели и смолкли мужские голоса.

Внизу, за приотворенной парадной дверью, послышался шум, как будто двигали мебель или несли что-то тяжелое.

Потом дверь наотмашь растворилась и один за другим из дома вышли четыре офицера, все молодые, с шинелями через руку. Они сделали несколько шагов, не обратив внимания на Пастухова, остановились около веранды, начали одеваться. Видно было по сапогам, шинелям, что офицеры не из городских служак, а наверно, порядочно узнали ночевок под кустом, по лесным овражкам, окопам, избам, где попало. Один из них привычно перебросил через голову ремень потерявшего кожаный блеск планшета, достал пачку папирос, тряхнул ею на ладонь и, распушив выскобленные папиросы веерком в пальцах, роздал товарищам. Все четверо стали искать по карманам спички, не нашли, засмеялись. Один — низенький, в заломленной на затылок фуражке — огляделся, увидел Пастухова, зашагал к нему, громко спросил, еще не дойдя: «Спичечки, гражданин, не найдется?»

Пастухов, как только они появились, перестал смотреть на дом, а следил за офицерами с совершенно новым интересом, который, однако, имел неуловимую связь с чувством, бередившим его все утро. Он отозвался с готовностью и даже словно предупредил офицера, вытянув из кармана коробок со спичками, когда вопрос еще не был договорен:

— Пожалуйста, у меня есть.

Зажегши спичку и разглядывая наклонившееся к ней лицо в каштановой небритой щетине и в темных разводах под глазами, он спросил:

— Не с фронта, товарищ командир?

Командир что-то промычал через нос и продолжал сосать папиросу так усердно, что щеки вваливались в рот и остро вытягивался подбородок, — табак, наверно, отсырел. Пастухов уже хотел бросить обжигавшую пальцы спичку, когда курильщик задымил, выпрямился, поднял руку, будто собираясь взять под козырек, но, затягиваясь дымом и грозно выпустив его носом, пробежал взглядом по всей фигуре Пастухова и только поправил фуражку по форме.

— Спасибочки, — сказал он, сделал поворот кругом и вернулся к товарищам.

Они по очереди прикурили от его папиросы, и, повидимому, он что-то сказал им, потому что каждый как только раскуривал, так медленно оглядывался на Пастухова. Это оглядывание, которому они, кажется, старались придать невинность, на миг развеселило Пастухова. «Интересуются!» — игриво подумал он.

Но сейчас же он стал серьезен: что-то ему показалось странное в прищуренном взгляде офицера с планшетом — какая-то задержанная пристальность, помимо недоверчивого любопытства его товарищей.

Все происходило очень кратко. Они отвернулись от Пастухова, пошли направо по аллее. Офицер с планшетом уже на ходу опять взглянул назад, прищурился, немного отстал от товарищей и потом догнал их широким шагом, чуть-чуть прискакивая на одну ногу.

Пастухов не сказал бы в эту минуту, какая сила заставила его вскочить со скамьи и неожиданно пойти следом за молодыми людьми.

Офицер с планшетом первый услышал его шаги в аллее, вновь обернулся и стал. Все его спутники тоже остановились.

Пастухов то часто мигал, то во всю ширь раскрывал нечаянно заслезившиеся маленькие свои с прозеленью глаза, приближаясь, в упор смотря в худощавое, бледное, с папирской под усами, лицо офицера. Подойдя уже на расстояние вытянутой руки, часто дыша, он проговорил все еще изумленно, но вполне утвердительно:

— Алеша.

Голос его был сжат, он кашлянул и улыбнулся неловко, будто хотел досказать — вот, мол, я хоть не уверен, что ты этого желаешь, а я тебя нагнал.

Алексей выхватил изо рта папиросу, швырнул далеко прочь. Щеки, взгляд его быстро загорелись.

— Я думал... я обознался,— сказал он очень тихо.

— А у меня ёкнуло. Походка-то твоя осталась,— не скрывая радости, сказал Пастухов.

Он обнял Алексея, поцеловал его под самый глаз так, что он зажмурился и в ответ чмокнул усатыми губами в воздухе, высвободился из отцовских рук, растерянно посмотрел на товарищей, сдвинул с запястья грубый рукав шинели, заглянул на часы.

— Я на минутку... Ну, десять минут ровно! Идите тихонько. Я догоню. Ладно?

Низенький офицер понимающе качнул головой:

— Вали, мы подождем.

Пастухов любезно, но немного вскользь поклонился ему, и тот переступил с ноги на ногу, очевидно колеблясь,— ответить или нет, и решил лучше не отвечать.

Все трое офицеров следили за встречей вначале строго, а после поцелуя словно бы застенчиво отворотились, нехотя делая вид, что все это собственно мало их интересует. Но когда Алексей с отцом пошли назад к скамейке и Пастухов прижал к себе локоть сына, все стали глядеть им в спины почти с одинаковым оттенком какой-то задумчивости, и низенький проговорил не спеша:

— Картина ясная...

И Александру Владимировичу и сыну хотелось спросить друг друга сразу о многом, но им одинаково трудно было выбрать из этого многого самое нужное, и хоть по-разному, но

слишком полно было их давно потерянное телесное ощущение близости — оно вместило в себя на миг все расспросы. Они молчали, пока отец не опустился на прежнее место под деревом и не усадил рядом с собой Алексея.

— Откуда ты? — спросил он, наконец.

— У нас тут... небольшое пополнение идет. Я пока в Туле. Командир отпустил на два часа, посмотреть музей. Машина ждет.

Алексей говорил уклончиво, по военному долгу — не отвечать кому не надо о службе, и машинально тронул опять рукав, чтобы заглянуть на часы, но удержался. Отец с улыбкой заметил:

— У меня хорошее чувство времени. Не задержу. (Он положил руку на колено Алексея, сверху вниз покосился на его петлицы с кубиками.) Пехота?

— Сапер.

— Давно?

— Как вернулся из Крыма, из отпуска, так призвали, — сказал Алексей и без всякой паузы спросил: — А ты как здесь? Александр Владимирович передернул плечом.

— Эвакуация!.. Вдобавок к чувству времени тренирую чувство пространства.

Он переходил на свой обыкновенный, слегка небрежный тон и нарочно обрывисто, словно рапортуя, доложил, что живет у тетки Юлии Павловны, что с приближением немцев придется... «подвинуться» на восток (он сделал остановочку перед словом «подвинуться»), что ему уже обещали «транспорт» (это он тоже значительно и чуточку в нос растянул), что, наверно, поселится на Волге.

— Все это ерунда, — сердито оборвал он себя. — Рассказывай, как ты?

— Я что же? Понимаешь сам, — раздумчиво выговорил Алексей и тут с усилием, к которому, видимо, приготовился, начал о другом: — Я заезжал к тебе, по дороге из отпуска...

Отец не дал ему досказать:

— Твою записку я получил. Матери я сразу тогда написал, предложил денег. Она не ответила, вероятно считая излишним... иметь со мной дело.

Он замолчал, обиженно поджав нижнюю губу и мигая.

— Где она теперь? — спросил он коротко.

— Наверно, попрежнему в Ленинграде. Почта редко доходит. Последнее письмо — месяц назад. Она с Ольгой Адамовной.

Алексей чиркнул носком сапога по земле. Он говорил, все будто заставляя себя.

— Ольга Адамовна совсем ослепла.

— Как! — громко вырвалось у Пастухова, и он привстал, тотчас грузно опять уселся, спросил тише: — Почему?

— С ней это долго тянулось,— склероз, говорили врачи. Но когда я уходил в армию, она уже ничего не видела. За нее все делает мама.

— Черт знает что! Боже мой! — воскликнул Александр Владимирович. Мгновенная горечь переменяла его лицо — оно потеряло свою скульптурную неподвижность, щеки задергались, стало видно, как они рыхлы, как мягок тяжелый подбородок, и еще пухлее, женственней сделался бормочущий рот.

— Боже мой! — повторял он. — Несчастливая старуха. С ее понятиями об обязанностях — и слепая! И — Ася! В Ленинграде! В такие дни. И Ленинград, Ленинград, ах, боже мой! Ну, что это, Алеша, а? И теперь, может быть, Москва... и мы все!

Он перестал восклицать, приметив, как удивленно откинулся от него Алексей, и, вероятно, сам удивившись, почему новость об Ольге Адамовне взбудоражила его и так далеко увела. Черты его лица утвердились, он успокоился.

Алексей сказал вдруг требовательным голосом:

— Маму надо вывезти из Ленинграда.

Александр Владимирович взял сына за руку и, крепко сжимая его пальцы, вдавил их ему в колено.

— Непременно. Я сейчас же напишу, — нет, телеграфирую ленинградским властям. Надеюсь, меня там не забыли. (Он поймал мимолетный взгляд Алексея.) А что ты думаешь? Могли прекрасно забыть — всюду новые люди. И сколько теперь таких просьб! Но я найду слова. Я обещаю тебе. Мать будет эвакуирована. С этой несчастной старухой! Как все ужасно, — кончил он жалостливо.

— Спасибо, — сказал Алексей и мягко вынул свои пальцы из отцовской руки.

Александр Владимирович облегченно вздохнул, как человек, исполнивший тяжелый долг и довольный, что о нем можно забыть. Словно заново обнаружив перед собой большой молчаливый дом, он показал на него головой:

— Я еще там не был. Что там?

— Печально, — ответил Алексей.

— Печально, — повторил за ним отец, — и страшно подумать, что еще может быть. Я ни разу в жизни сюда не приезжал, все собирался, думал — успею, и вот... собрался.

Волнение опять подхватило Пастухова:

— Почему ты не отвечаешь, Алеша? Ты с фронта? Откуда? Что ты пережил?

— Мы отступали с Десны. С одного рубежа на другой. От Оки, от Белева. И теперь — видишь?

— Мы разбиты?

— Никогда! — вдруг с резким движением всего тела вскрикнул Алеша.

Кровь начала неровно приливать к его щекам, но он был не тем, каким увидел его отец несколько минут назад, когда он тоже загорелся краской, — нет. Яркое сходство с матерью по-прежнему жило в его лице, но оно лишено было тонкой женственности, красившей его в недавние юношеские годы. Теперь обида оскорбленного, сильного человека глубоко впечатала в это молодое лицо чуть ли не жестокую складку, и это был новый Алеша. Новый, неизвестный Пастухову, возмужалый — и да, конечно, жестоко разгневанный — человек сидел рядом. Он был действительно нов и, во всем своем грубом облачении, с оббитыми по камням сапогами и с этим гневно-красивым лицом, взялся словно из-под земли, готовый, казалось, тут же жизнью ответить за свой непримиримый крик — «никогда!»

Необыкновенное, непонятное уважение к этому новому существу проникло в душу Пастухова. Он заговорил робко, и голос свой ему почудился небывалым:

— Да, да, Алеша, да! Никогда! Так должно быть. Так... должно было бы быть... Но как же ты объяснишь происходящее? Ведь мы сидим с тобой — знаешь, где? Где мы сидим? Ведь это сердце России! Это — Дерево бедных. Мы сидим под деревом, куда стекались люди России, чтобы научиться изжить свои беды, свою вечную бедность, чтобы услышать слово отпущения от человека, который жил вот в этом доме. Ведь недаром, нет, недаром, не по глупому случаю вышел из этой земли этот человек, — родился тут, работал, как господин и раб своего гения, завещал похоронить себя тут, и вон где-то рядом с нами лежит его прах — в его, нет, — в нашей земле. Недаром, Алеша. Тут сердце России. И завтра, послезавтра мы его... его у нас могут вырвать! Нашу плоть, наш дух. Подумай, Алеша, — как же так, почему, почему ты идешь, — ну, хорошо, не ты, не ты! — мы все идем от Десны, от Оки... Куда, куда? Что мы оставляем, отдаем? Что позади нас?

Алексей поднял и долго держал руку раскрытой ладонью к отцу, прося его остановиться, и, наконец, прервал безостановочную речь:

— Прости меня, погоди. Неужели ты правда мог подумать, что я или, как ты сказал, мы, что мы, солдаты, хоть на одно только мгновение могли запомнить, где мы? Неужели мы можем быть глухи к земле, о которой ты говоришь? Неужели в нас не бьется сердце этой земли? Если бы ты прошел с нами хоть один солдатский марш... Нет, нет! Помножь свою боль на столько, сколько в наших войсках людей.

— Понимаю, друг мой, — раздумывая и неуверенно проговорил Пастухов, — понимаю... и не могу понять!.. Почему это произошло? Как могло все это произойти? Не в одном каком-нибудь месте, у черта на куличках, а ведь на пространстве легендарном, воистину — от Варягов до Греков. И ведь не с

одним каким захудалым корпусом приключилась конфузия. Армии, фронты уходят!.. Бегут, да?.. Бегут?.. Почему ты молчишь?.. Говорят, на этой самой Десне артиллерийский полк целехонький сбежал от танков Гудериана... Ну, ладно, Алексей, не кривись, ладно! Не сбежал,— его сдуло ветром вместе со всеми батареями... Я говорю — мы оставляем корни корней наших, бросаем почвы, о которых пелись наши былины. И народ то оттуда, народ весь и убежать не успевает. В добычу достается,— кому? Кому в добычу? И уж коли помножить нашу с тобой боль, то не на столько надо, сколько людей в войсках, а сколько людей во всем народе. Эту боль не измеришь, Алеша. Я, по совести, не понимаю — почему все это так мучительно происходит, почему, почему?!

Пастухов почти выдавил из себя последние слова остатками дыхания.

— Мы расстроены,— сказал Алеша, и видно было, как он сдерживает себя,— наши силы расстроены, и нам надо собраться. Собраться под непрерывными ударами. Не время рядить и судить, как все случилось. Мы стоим перед событием, как оно есть, как сложилось. Надо действовать. Больше ничего. А в Красную Армию я верю.

Он встал, одернулся. Отец каким-то примиренным движением дотронулся до борта его шинели.

— Еще две минуты... Ну?!

Алеша послушался и, садясь, взглянул на отца с улыбкой:

— Тогда, если позволишь,— о чем ты прежде говорил. Мы — не те, кто приходил под это дерево, Мы не бедные. А если сейчас все еще продолжаем слишком много терять — потом наживем. Богатство не само родилось. Были б руки да голова.

— А коли голова с плеч?

— Одному снесут, у десятерых останется.

— Щедро! — горько усмехнулся Пастухов. — Сколько это выйдет от двухсот миллионов? Не на износ ли делаешь ставку?

Алеша, кажется, не слышал отца.

— Мы с товарищами полчаса назад сидели на этой скамье.

Он поднял голову и посмотрел в темное разветвление дряхлого, с залатанными дуплами, но еще могучего ствола, к которому подвешен был небольшой колокол.

— Наверно, все мы думали о том же, о чем ты. На наш лад. По-своему. Я им сказал, что если бы Толстой был жив, то не странники, не пришельцы теперь дожидались бы его, чтобы он к ним вышел из дома, а старик сам выбежал бы, и начал бы бить набат в этот колокол, и звал бы людей, скликал бы их на защиту сердца, о котором ты так хорошо мне сказал. Спасибо тебе...

Пастухов невольно поднял голову и смотрел вверх вместе с сыном, у которого дрогнул и вдруг отяжелел голос.

— Но сердца, сердца,— проговорил Алеша с жаром,— сердца у нас никому не вырвать. Оно слишком у нас велико!

Пока Алексей говорил, Пастухов не отрывал глаз от мутно-зеленого немого тела колокола, как бы ожидая, что оно вот-вот зазвучит, и от ветвей вяза, похожих на разогнутые руки громадного человека, который тяжеломерно потянулся после глубокого сна и так замер.

Но едва Алексей смолк, он опустил голову и отстранился, чтобы яснее разглядеть — кто же произнес столь удивительные слова, что разве лишь ему одному, Александру Пастухову они могли прийти на ум? Лицо Алеши было ярко, как в детстве, и во взоре его было что-то легкое, свободное, точно он собрался куда-то взлететь.

Отец обхватил его плечи, притянул к себе.

— Милый мой. Милый и, вижу, гордый. Мой прежний Алеша! Алешка!..

Он шутиливо оттолкнул его и, маскируя внезапную растроганность своим брезгливым полубормотаньем, чуть приоткрыв губы, сказал:

— Испитой, скелет усатый... табачищем провонял до костей... Ты же ведь не курил никогда, а?

— Закуришь! — сказал Алексей значительно.

— За-ку-ришь! — со смехом протянул отец. — Что же не скажешь ничего о здоровье? В первую минуту ты показался мне бледным. Как ты в походах,— ты же ведь нежный!.. И потом так любил задумываться, а?

— Солдат из меня, думаю, может выйти,— слегка заносчиво ответил Алексей. — Нас на одном переходе догнал отряд мотоциклистов. Немцев. У них автоматы, у нас винтовки. Тут не задумаешься. Главное — они на шоссе, а мы в низине, рассыпались по кочкам. (Он мимолетно ухмыльнулся.) Кочки нас, правду сказать, и выручили. Я, только когда огонь кончился и дали драпу, подумал, что меня ведь могли убить.

— Кто дал драпу? — строго спросил отец.

— Как кто? Немцы, конечно!

Пастухов засмеялся:

— Почаще бы такое «конечно»... А что не подумал, что могут убить,— уже хмурясь, проговорил он и, набирая глубоко воздух, кончил неожиданно: — Эх, милый мой!

— Пора,— спохватился Алексей.

Они поднялись вместе.

— Поразительно все-таки, что мы встретились,— больше с грустью, чем с удивлением сказал Пастухов.

— Ты знаешь,— в тон ему отозвался Алексей,— поразительно, что приехал сюда я. А что тебя я здесь встретил, меня как-то перестало удивлять. Нет, правда! Мне кажется, тебя должно было что-то сюда привести. Может, в эти дни ты

должен был себя упрочить прикосновением к самому драгоценному в своей жизни, которую — ты прав! — грозят отнять...

Он сказал это с участием, но отцу послышалось в его голосе превосходство.

— Упрочить?.. Ты довольно проникателен,— улыбнулся Александр Владимирович снисходительно.— Надо же, как выразился небезызвестный писатель, чтобы человеку хоть куда-нибудь можно было пойти... Ты даже мне льстишь... или это, вернее, лестно, что ты так думаешь обо мне... что именно здесь, около этого дома, заключено для меня самое драгоценное. Ты, значит, еще не махнул на меня рукой?

— В этом смысле я никогда не махну на тебя рукой,— спокойно ответил Алексей.

— Мирси,— сказал Пастухов, коверкая произношение и с ужимкой, на которую сам тотчас же обиделся, устыдившись, что самолюбие так уязвлено откровенностью сына.

Алексей повел кверху одну бровью и помолчал, но, посмотрев на отца с его надутو подобранной губой, еще спокойнее и сердечно выразил, как ему представилось, непонятое свое чувство:

— Я знаю, тебя должен был привести сюда твой талант. Он тебе дороже всего... Я восхищался им с детства. У меня это осталось до сих пор. (Он приостановился немного.) Я гордился твоим талантом...

— И что же? Наступило разочарование?

— Я гордился талантом своего отца,— сказал Алексей, чуть заметно упирая на последнее слово, и отвел глаза.

— Я никогда не лишал тебя права быть моим сыном,— поспешно и грубо выговорил Пастухов.

Алексей протянул ему руку, но в этот момент почти совершенно одновременно оба они оглянулись назад.

Из-за дерева, очевидно украдкой и боясь пошуметь, приблизились к ним, осторожно ступая, трое мужчин, тесно плечом к плечу, воззрившись на Александра Владимировича. У крайнего, самого высокого, виднелось за спиной ружье. Шагах в пяти они остановились. Высокий неторопливо стянул с плеча погон престарой тульской одностволки, свесил ее через левую руку стволом в землю и — с двойным сухим трик-трак — взвел большой, рогатый курок.

3

Этот высокий человек с охотничьим ружьем был похож на лесного объездчика или сторожа,— в сапогах с голенищами, отвернутыми на коленях, в стародавнем куцом картузе, с лицом янтарным от веснушек, плоским и круглым, как подсолнух.

В середине стоял, полголовою ниже, цыганской внешности мужичок с выпученными блестяще-черными глазами, кудлатый,

в бусинах крупного пота на верхней губе и по надбровьям. Он как-то особенно, по-утиному, тянул вперед свою устрашающую черномазую личину, неподпоясанный, без шапки, точно только что выбежавший откуда-то с огорода.

С другого края всем телом прислонился к черномазому узкогрудый, лет двадцати малый, с подвязанной клетчатым платком щекой. Он запыхался, дышал открытым ртом и с нетерпением сучил в руках смотанную кольцами веревку, будто собираясь ее размотать.

Все трое, уже остановившись, продолжали остро разглядывать Александра Владимировича.

Когда объездчик взвел курок, из-под его локтя выглянуло еще одно создание, которого сначала не видеть было за сомкнутыми телами явно воинственных людей.

При появлении их Александр Владимирович смутился, как хорошо воспитанный человек, застигнутый на чем-то непозволительном и шокированный, а услышав, как щелкнул курок, почувствовал неприятное, отчасти болезненное волнение под ложечкой. Но, увидав высунувшееся из-за спины объездчика лицо и угловатое, худое плечико в красном рукаве, он обнаружил, что ощущение под ложечкой утихомирилось так же мгновенно, как возникло: на него глядели неприязненные, но светлые, медовые глаза той самой девочки, которая встретила его на лесной полянке и убежала. Он овладел собой и даже попробовал всепонимающе усмехнуться. Объездчик наклонил голову к девочке и вбок кивнул на Пастухова.

— Вот этот? — спросил он басисто.

— Ага, — подтвердила девочка и тоже, но с детски-смелым вызовом кивнула на Пастухова.

— Товарищ командир, — нисколько не повышая своего баса, обратился объездчик к Алексею, — можно на минутку?

Алексей подошел к людям. Они тихо заговорили. Он растегнул шинель, засунул руку глубоко за борт, шаря в боковом кармане, обернулся, громко позвал:

— Папа!

Странно смешались в этот миг два чувства Александра Владимировича — жгучей силы счастливое чувство, что с момента встречи сын назвал его первый раз так, как звал всегда до бессмысленного разрыва, и чувство нетерпеливо вспыхнувшего любопытства — как же теперь будут вести себя эти люди в развязке атаки на его особу.

Улыбаясь глазами и выступая чуть-чуть сановитее, чем в торжественных обстоятельствах жизни, он приблизился к сыну.

— Дай, пожалуйста, твой документ, — ровным тоном сказал Алексей, — они хотят проверить.

Пастухов вынул замшевый бумажник, достал паспорт, и не просто дал, а вручил его сыну, подняв на приличную высоту и медленно приспустив. Он как будто и не глядел в это время на

жадно интересовавшихся его людей, однако чутьем угадывал их малейшие движения.

Объездчик, получив и развернув документы Александра Владимировича и Алеши, сличал их с мешкотным и, видно, не легким вниманием.

— Теперь верите, что это отец? — спросил Алексей.

Ему никто не ответил.

Пока все это длилось, строй разомкнулся, — черномазый и за ним парень с подвязанной щекой с обеих сторон от объездчика силились вчитаться в бумаги, впрочем покашываясь сторожко на проверяемую личность. Девочка отступила шага на два и смотрела на Пастухова сердитым насупленным взором исподлобья, который он запомнил с повстречанья в лесу.

Его глаза неожиданно-ласково повеселели.

— А башмаки-то, поди, потеряла со страху? — насмешливо спросил он.

Она только больше насупилась.

— Фамилии одинакие, — как видно, на самой низкой ноте заключил свое исследование объездчик, — по отчеству товарищ командир получается тоже сродственный.

Он подумал и словно не очень охотно вернул документы Алексею.

— Курочек самопала не пора спустить? — деликатнейше сказал Пастухов, и от этого вопрос прозвучал весьма ядовито.

— Не опасайтесь. Привычные, — отозвался объездчик и будто еще неохотнее обхватил большим пальцем рогульку курка и тронул спуск.

— Веревкой думали меня скручивать? — построже, но по-прежнему ехидно спросил Пастухов.

Черномазый неожиданно рассыпчато засмеялся, показывая белые нестройные зубы и сквозь смех растягивая слова:

— Да-ть мы что же!.. Порядок!.. По лесу там ноне какая сволочь не шмыряет!..

Смеясь, он больше напоминал цыгана — ему только недоставало серъги в ухо. Подвязанный малый с достоинством поправил на себе кепочку, решительно переложил веревку из одной руки в другую, потом зажал моток подмышкой. Он, кажется, был обижен.

Александрю Владимировичу становилось веселее, происшествие отвлекло его от сына, но, взглянув на него, он удивился, как серьезно и терпеливо выражение его вдумчивого лица: он, наверно, считал естественным и необходимым все, что тут — по мнению отца — нелепо и смешно случилось.

Из дома вышла немолодая женщина и, озабоченно всматриваясь, направилась к людям.

— Что здесь такое? — по-хозяйски спрашивала она, отряхивая друг о дружку ладони и вытирая их о перехваченную в талии, как передник, загрязненную какую-то скатерть. — Ты

что, Настюша? Что, Елизар? — обращалась она к девочке и объездчику. — А вы куда провалились, — сказала она другим, — ступайте, сверху надо сносить ящики, сейчас приедут машины.

Она лишь мельком глянула на Алексея, проговорив, что он, кажется, сейчас был с товарищами в музее, и пристально посмотрела на Пастухова. Вдруг, потеряв распорядительный свой вид занятого человека и сбавив голос, она спросила:

— Простите, а вы... Вы, кажется... я не ошибаюсь, вы не... Вы товарищ Пастухов? Я, кажется...

— Да, — ответил он с полупоклоном.

— Ну да, по карточке, по фотографии... Вы извините, запамтовала ваше имя-отчество...

Он назвал ее с приятной улыбкой. Ее рука дернулась, но она не подала ее, а снова принялась тереть ладонью о скатерть.

— Извините, у нас такая пыль, и мы всю ночь... А вы, наверно, к нам? В музей? Ах, знаете... Да вы, наверно, знаете!.. У нас сейчас, вы понимаете... Да вот они вам, наверно, сказали, — поглядела она на Алексея, — они только что были, видели... Ах, знаете, ужасно! Приходят, все равно будто прощаться...

Она резко закрыла глаза тыльной стороной руки, как люди, исполняющие черную работу, но одолела всю ее задержавшую дрожь, вытерла глаза, улыбнулась скорбно:

— Я вам, извините, не представилась: экскурсовод, Мария Петровна. Ах, знаете... Что же это вы в такой момент, право!.. И что же тут у вас? Новости опять какие, а?

— А вот меня собирались арестовать, — сказал Пастухов, думая, что он шутит, но голос его странно приглож, и вышло, будто он пожаловался.

— Господи! Елизар! Да вы в себе или нет? — с испугом воскликнула Мария Петровна. — Да ведь это известный... наш известный советский... Вы их простите, Александр Владимирович, право, они ничего такого... они, как это называется, — бригада, или... как же это, Елизар... как вы называетесь?

— Да, Марь Петровна, что же вы на меня?.. Мы ведь ничего... — медленно пробасил Елизар. — Это все вот Настюшка! Примчалась, угорелая, — шпеёна в лесу, говорит, обнаружила.

— Ах, господи! Настюша! — всплеснула руками Мария Петровна.

— Главное, какое дело? — обернулся Елизар к Пастухову. — Вы будто ей сказывали, от экскурсии отбились, а она мне говорит, — я извиняюсь, конечно, это она так про вас, — что он, мол, врет. Так и сказала — вижу, говорит, врет. И сам, говорит, с лица такой... ну, описывает, словом, вас. Шпеён, мол, и все! А самую аж трясет. И я тоже подумал, какая там экскурсия?

Давно уж, вот и Марь Петровна подтвердит, никаких экскурсий не водят. До того ли! Ну, и...— Он пожал тяжелыми плечами, придвинулся к девочке, но вместо неодобрения ее отечески провел рукой по ее затылку.

Пастухов засмеялся. Настюша попрежнему с какой-то упрямой озлобленностью смотрела на него и опустила взгляд, только услышав переволнованные упреки Марии Петровны:

— Ах, Настюша, глупая моя, как же ты, право... Уж вы ее не осудите, пожалуйста. Она ведь совсем не такая, чтобы... Ну, ошиблась, право... Вы, наверно, все-таки хотите зайти к нам? Только уж вы понимаете...

— Пастухов! — внезапно разнесся и прилетел гулкий крик из аллеи.

Александр Владимирович и Алексей вместе повернули головы на этот зов и взглянули друг другу в глаза.

— Меня,— тихо произнес все это время молчавший Алексей.

— До свиданья,— быстро сказал отец, и лицо его сделалось неподвижным.

— Прощай, папа,— ответил чуть слышно Алеша.

Они обнялись. Оба они не думали о людях, с которыми стояли и чей разговор только что их занимал, ни о происшествии, их волновавшем, ни о чем другом, что не касалось в это мгновение только их обоих.

Алексей пошел широким шагом. Отец смотрел ему вслед. Но как только он опять увидал его походку с прискакиванием на одну ногу, он вдруг закричал «Алешка!» — и побежал за ним.

Алексей остановился. Отец задохнулся от непривычки к бегу, шумно глотал воздух и обстукивал судорожно обеими руками карманы.

— На, на! — выдохнул он, всовывая в пальцы Алеши отысканную коробку папирос.

У него сползло кое-как накинутое на плечи пальто, и, одной рукой придерживая его, он продолжал другой стучать себя по бокам. Он вытащил из брючного кармана серебряный тонкий портсигар и сунул его за отворот Алешиной шинели.

— Зачем, папа!

— Черт с ним, я его очень люблю, черт с ним! — задыхаясь, без всякого толка повторял отец, не давая Алеше вытянуть из-за пазухи и отдать портсигар назад.— Возьми, носи! Черт с ним!

— Маму не забудь,— жарко и нежно сказал вдруг Алексей и, повернувшись, бросился бежать по аллее, согнув в локтях руки по-солдатски.

— Спички, спички! Спичек-то у вас нет! — высоким, словно женским голосом крикнул отец и сделал несколько слабых шагов.

Алексей только махнул на бегу рукой.

Пастухов следил за сыном, пока он был виден в аллее и не свернул вниз на поперечную дорожку. Не двигаясь, с опущенными, бессильно сложенными в кулаки руками, стоял Пастухов, трудно дыша, и все глядел туда, где за полосой высоких кустарников исчез Алеша.

Мысли его неслись в разные стороны, он сводил их с усилием в одно русло, а они разливались струйками, увертливо перескакивая пороги, которые он им расставлял, и все меняя и меняя направление.

В этом безрассудном движении то виделась ему Ася с ярким молодым лицом; то вдруг заведующий литературной частью Боренька убеждал его, что надо сдать дирекции театра рукопись через две недели, иначе начнут репетировать другую пьесу; то выплывал откуда-то грузовик с вещами, и Юлия Павловна кричала: «Что же ты стоишь, Шурик? Ищи, где синий чемодан?» Вместе с ее криком повторялись слова Алеши об Ольге Адамовне, которая ослепла, а кто-то отвечал Алеше, что вот он прячется под кочками, а немцы катят по шоссе на мотоциклах. Пастухов спрашивал, что же это за дьявольская игра мозга — сразу думать о разных предметах, и в это же мгновение Юлия Павловна ему втолковывала, насколько бесчеловечно уехать самим и бросить на произвол тетушку. Он возражал Бореньке, что не к чему вообще репетировать, потому что мы отступаем и завтра, может, не будет никаких театров. А ему отвечала Ася, что в гражданскую войну тоже отступали, но театры были лучше, чем теперь...

Это была мгновенная слабость, это был полусон. Александр Владимирович насколько мог твердо потер рукой холодное лицо. Он покачивался. Ему показалось, он хочет курить. Он ощутил в другой руке спичечный коробок, и действительность начала пробуждаться перед ним.

«Хорошо, что подарил ему портсигар», — подумал он.

Он что-то нащупал в кармане пальто. Тетушка Юлии Павловны завернула ему на дорогу тонкие ломтики хлеба, сложенные по два и чем-то помазанные внутри, — это был последний такой сверточек. Пастухов развернул бумагу, и комкая ее в кулаке, стремительно заложил в рот хлеб и оторвал от стиснутых зубов зачерствелую корку. Запах лука с посоленным ржаным хлебом пронизал все его тело, и сразу все стало на свое место — где он находится, зачем приехал сюда, что происходило с ним в эти быстро пролетевшие минуты.

«Черт возьми, тут и поесть, наверно, не достанешь», — думал он, сочно глотая аппетитную еду и с каждым глотком все больше становясь тем Александром Владимировичем Пастуховым, каким был всегда.

Он пошел назад к дому.

Перед крыльцом стояла одна Мария Петровна, дожидаясь его. Она сняла с себя скатерть, постаралась прибраться, казалась моложавее и спокойней.

— Где ж мои конвоиры? — усмешливо спросил он.

— У всех ведь столько дела, — ответила она, тоном своим отклоняя шутку.

Он покомкал в кулаке еще не брошенную бумагу, огляделся и, хотя вокруг было насорено, сунул комок в карман, тотчас приметив, что изменил своему довольно барскому обыкновению кидать куда попало все, что надо бросить.

— А это, неужели правда, ваш сын? — спросила Мария Петровна, медленным наклоном головы указывая на аллею.

— Сын.

— Неожиданность какая для вас обоих, — сказала она приятно-сочувственно. — А ваша супруга где?

Он почистил языком зубы, взглянул в аллею, потом — с недоумением — на женщину. Она смутилась.

— Вся жизнь — неожиданность, — выговорил он, приобадывая ее вежливой улыбкой, и повел рукой на крыльцо дома. — Может, войдем?

— Пожалуйста. Я покажу, что еще осталось на своих местах, — ответила она.

Переступив порог, Александр Владимирович сразу остановился.

Передняя комната была заставлена ящиками, свертками, тюками. На березовом диване, отодвинутом от стены, высились обтянутые мешковиной, перекрещенные веревками рулоны бумаг или холстов. В отворенных шкапах виднелись разрозненные либо связанные в пачки книги. Лестница наверх была заслежена, усыпана соломой, стружкой.

Через зеркало, холодно повторявшее этот развал, Пастухов увидел Марию Петровну. Она стояла неподвижно, будто опять постаревшая. Он молча обернулся к ней. Она спросила:

— Может быть, посмотрим низ? Наверху укладывают вещи.

Она прошла вперед в открытую дверь против входа. Очень тихим голосом, но быстро, без запинки, она начала повторять тысячи раз произнесенные ею слова о комнате, в которой они очутились, и Пастухов понял: она ухватилась за свои заученные фразы в надежде, что они избавят ее от готовых проступить слез.

— Эта комната в семье Толстых называлась комнатой для приезжающих. Здесь ночевали приезжавшие в Ясную Поляну гости и друзья Толстого. Комната называлась также нижней библиотекой, или комнатой с бюстом. Лев Николаевич велел

сделать вот эту нишу в стене и поместил в ней мраморный бюст своего любимого (она приостановилась, глядя на пустую оштукатуренную, выбеленную нишу, и дрожащими пальцами стала вытягивать из-под узенького рукава платья носовой платочек)... своего любимого,— повторила она,— старшего брата Николая Николаевича, которого он звал Николенькой... Бюст сейчас уже улакован,— добавила она с покорностью, прихватила крепче платочек, вырвала его из рукава и отвернулась в сторону.

Пастухов озирался. Большой стенной книжный шкаф, как и в передней, стоял тоже раскрытый и так же беспорядочно лежали в нем книги стопками, и связки книг, завернутые газетой, одна на другой, поднимались возле него с пола. Комната была опустошена, стены голы. Только два кресла со спинками в виде изогнутой решетки и диван приткнулись друг к другу, да штора над стеклянной дверью в сад сиротливо висела на выдержках. Ножки одного кресла были обернуты мятой бумагой, но работа осталась недоделанной — бумага, шпагат валялись на полу и на диване.

Пастухов слушал продолжавшую говорить женщину, но думы его были не связаны с ее словами. Он будто и не думал вовсе, а удивительным телесным путем вбирал в сознание нараставшую работу своих чувств. Запах разворошенного гнезда, зябкая сырость воздуха, отзвук нежилых белых стен переселяли его в жизнь, которая некогда отсюда ушла, но в то же время сохранялась и сейчас вновь уходила, чтобы — может быть — снова возвратиться. Эта жизнь непонятно сплеталась в сознании Пастухова с его собственным прошлым, тоже ушедшим, но сохранившимся в нем и не желавшим прекращаться. Тело его жило в этот момент многими жизнями — чужой и своей, прошлой и настоящей, и все эти жизни страстно хотели жить дальше и дальше. Понять свое состояние он не мог, и у него не было желания это сделать,— он только всего себя так ощущал.

Голос женщины казался ему похожим на что-то с детства знакомое — и нежданно он вспомнил себя ребенком в хвалынской усадьбе матери: он стоит в маленьком зале перед гробом матери, а в изголовье у ней женщина в черном, перелистывая псалтырь, бормочет и бормочет тихим голосом. Он слышит ее, но не может уразуметь, что она читает, и только все его маленькое тело замирает от трепета перед гробом.

— ...В течение пятнадцати лет здесь был кабинет Льва Николаевича. В этом кабинете с тысяча восемьсот семьдесят третьего по тысяча восемьсот семьдесят седьмой годы была написана «Анна Каренина». Тут Толстой работал над «Исповедью», когда у него укрепился тот переворот в его мирозерцании, о котором он с такой искренностью писал в этом сочинении.

Мария Петровна подняла взгляд и, боясь оторваться от одной точки потолка, как ученик, старающийся представить себе страницу книги, по которой заучил урок, прочитала:

— «...Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, науки, искусства — все это предстало мне в новом значении. Я понял, что все это — одно баловство, что искать смысла в этом нельзя. Жизнь же всего трудящегося народа, всего человечества, творящего жизнь, представилась мне в ее настоящем значении. Я понял, что это — сама жизнь, и что смысл...»

Пастухов дотронулся до локтя женщины. Вспугнутая, она оборвала свое чтение.

— Простите, кажется — Мария Петровна? — с вкрадчивой любезностью спросил он. — Я хочу вас просить, чтобы вы не утруждались. Если вы не против, я задам вам вопросы... гм-м... отдельные вопросы, если позволите...

Она согласно наклонила голову и стала ждать. Он молчал. Из передней донесся стук — там что-то уронили, — она насто-рожилась, но стихло, и она опять выжидательно, с любопытством стала смотреть на Пастухова: он был ей не совсем понятен. Можно было подумать — он не знает, о чем спросить. Она еще немного повременила, но ей непривычно было молчать в присутствии посетителей — разговор был ее работой, и она сказала:

— Вот перед этим простенком стоял гроб с телом Льва Николаевича Толстого, когда его привезли сюда со станции Астапово, девятого ноября тысяча...

— Сюда из Астапова? — будто придя в себя, переспросил Пастухов.

Поощренная его внезапным интересом, она заговорила с увлечением:

— Да, девятого ноября тысяча девятьсот десятого года. Гроб стоял изголовьем к простенку. Народ, который стекался сюда отдать последний долг великому художнику слова, прощался с его прахом, входя из передней, как мы с вами, и выходя вот через эту дверь на каменную террасу, в сад...

Пастухов видел себя в ту далекую, черную саратовскую ночь, когда он метался по улицам и береговым взвозам, стоял под осенним дождем на Волге, одинокий, потрясенный смятением. Толстой еще был жив, — он лежал в Астапове и ждал смерти. Перед Пастуховым промчались из этой дали два беспробудно-пьяных дня с приятелями, когда все ожидали единственно возможной развязки; и в клочки разорванная негодная статейка о Толстом, которую он старался сочинить; и тогдашние мысли о Дереве бедных и России; и в черной рамке длинная полоса газетной телеграммы — «в 6 часов 5 минут»: до сих пор угольями горели в памяти эти часы и минуты астаповского

утра. Как это было бесконечно давно! Мог ли тогда Пастухов думать, что больше тридцати лет спустя, вот в эту минуту, он — в новом смятении духа — будет стоять в стенах, которые были последними, видевшими еще не истлевший лик Толстого? Неужели действительно это все он — один и тот же Пастухов, — он тогда и он теперь? И неужели полвека назад маленький мальчик, с ужасом глядевший на гроб своей матери, был тем же Пастуховым? И если он все тот же, то разумеет ли он, нынешний Пастухов, в самом себе и в происходящем вокруг него больше, чем разумел, когда трепетал перед гробом матери или когда в Астапове умирал Толстой? Тот ли он теперь? Если бы узнать, что будет в этих стенах еще через тридцать лет! Или через тридцать дней. Или хотя бы завтра. Что будет завтра? Бог мой, до чего беспомощен даже великий человеческий дар воображения! Никто, никто, ни даже Толстой — никогда не могли провидеть то, что случилось сегодня...

— Вы плохо чувствуете себя? — спросила Мария Петровна, озабоченно глядя на его лицо. — Здесь не проветривали сколько дней.

— Благодарю вас, ничего. Рядом, по-моему, должна быть комната под сводами? — без всякого перехода спросил он.

— Нет, это через комнату доктора.

— Проведите меня.

Они пошли назад, в переднюю, и, перешагивая через ящики, притворяя дверцы книжных шкапов в узком коридоре, пробрались в комнату с окнами в тот же сад. Мария Петровна не могла не сказать, что перед тайным уходом своим из Ясной Толстой ночью спустился сюда сверху, в халате и туфлях, со свечой в руке, чтобы сообщить доктору Маковицкому о своем решении немедленно уехать и о том, что доктор поедет с ним.

Она неожиданно остановила себя:

— Вы ведь все это знаете...

— Видите ли, — проговорил Пастухов, будто рассуждая с самим собой. — Все то, что когда-нибудь мы узнавали заглазно, на самом деле не такое, каким представлялось нам, пока мы его не увидели воочию. Это совершенно как с мечтой — осуществите ее, и она станет неузнаваемой.

Мария Петровна с выражением непонимания и горечи воскликнула:

— Как жалко! До этих ужасных дней у нас ведь было очень хорошо. Всем так нравилось...

— Я не о том. Я вовсе не разочарован... — начал он, но, собираясь объяснить свою мысль, опять без видимой связи спросил: — Здесь? — и пошел к угловой двери.

Он сам открыл ее. За ней оказалась другая. Он покосился на Марию Петровну.

— Отворяйте, здесь двойная дверь, — сказала она.

Он нерешительно ступил в комнату.

Грузный выступ стены, служащий одной из опор сводов, широкой тенью разделял свет двух окон. Какой-то брошенный ящик был прислонен к этому выступу. Больше не было в комнате ничего. Своды заполняли ее мягкими тенями — голубыми, синими по белым стенам и потолку, бурыми по вековым сосновым половицам. Эти светотени наделяли оголенное помещение чем-то притягательным, точно оспаривая жизнь у суровых, почти казематных его очертаний, у старого, изъеденного годами железа оконных решеток и неожиданных увесистых колец, вделанных в сводчатый потолок.

— Мне хочется побыть здесь,— попросил Пастухов, не очень уверенный, что его оставят одного.

Мария Петровна ответила с облегчением, что ее, наверно, заждались, что потом она покажет ему верхний этаж,— и ушла.

Под этими тяжелыми сводами нечего было осматривать. Что редкостного в полуторааршинных, приземистых стенах, выбеленных мелом? Тут был воздух, тут были свет и тени. Больше ничего.

Но, боже мой, какие это были неповторимые в мире стены! Какой бурей насыщался этот застывший воздух, и как ослепителен был этот тихий свет для глаз человека!

Пастухов с детского возраста видел комнату под сводами на картинах, рисунках, снимках. Все чаще со временем он узнавал свидетельства многих людей и самого Толстого о том, чем была эта келья для дела его жизни. Памятью Пастухов легко расставил по местам те несколько вещей, которые здесь всегда находились. Стол со свечой, низкая скамья перед ним, длинное, годное для лежанья кресло с прямоугольной спинкой, коса в углу и пила на стене. Наверно, тут было что-нибудь еще. Но если бы не было именно этих вещей, кому стала бы известна комната под сводами?

Пастухов, пожалуй, помнил все прочитанное о ней, но яснее всего — то признание, которое сделал Толстой, сказавший, что ему нигде не может быть лучше, как здесь, совершенно одному в тишине и молчании.

Едва ли с меньшей полнотой, чем Мария Петровна, Пастухов мог бы перечислить произведения, созданные Толстым в этой комнате, служившей ему рабочим кабинетом дольше, чем какая-нибудь другая в яснополянском доме. Но только одно-единственное произведение, родившееся под этими сводами и начавшее здесь свое непостижимое вызревание, только оно одно не выходило из головы Пастухова с момента, как он сюда ступил.

Да, это происходило здесь, в этой комнате, похожей на келью, на подвал, на кладовую, каземат — на что угодно, но оставшейся навечно тем благословенным лоном, откуда яви-

лась в мир самая человечная книга русской жизни. Тогда здесь, в тишине и молчании, Толстой, работая над этой книгой, сказал себе, что он теперь писатель всеми силами своей души.

Пастухов думал об одной этой книге, и у него складывалась о ней мысль, которая прежде ему не приходила: если бы Толстой не написал любую из своих книг, он остался бы таким, каков есть, но если бы не написал «Войну и мир», он был бы совсем иным. Эта книга касалась всех в России и потому касалась всего мира.

Вдруг Пастухов почувствовал, как с ним повторяется то, что он испытал, когда Алеша, убегая, скрылся из виду и он остался один: его охватывала слабость и вместе с нею двоились и троились торопливые картины его представлений.

Он с усилием отвалил от стены ящик, сел на него, облокотился на колени и заметил, что подергиваются пальцы.

— Склерозик пошучивает, Александр Владимирович, — сказал он себе, но шаловливый сарказм не мог остановить его сбившихся мыслей.

Опять, как было в комнате для приезжающих, ему стало казаться, что все от него уходит. Ушел сын, уходил на глазах толстовский дом. Вот так же уходили Ростовы, покидая Москву. Укладывались, увязывали узлы, спешили — что взять, что бросить — именно так, как сейчас в этом доме: что бросить на погибель, оставить *ему*? Он приближается к воротам, как близился тогда другой он со своими двенадцатью языками. Но какой миг был тогда переломом? Ведь бросили, оставили и самое Москву. Пожар? Неужто сожгут и теперь? Неужто сдадут? Ведь все, как тогда: молодые уходят на войну, старые — от войны, оплакивая то, что бросают. Разве нынче иссякли слезы? В семьях плачут, как плакали у Ростовых. Но если все как тогда — значит, отстоим, переселим? Ведь верит же Алеша... Как странно: глядя в прошлое, Толстой увидел в нем наше сегодня, а это сегодня было для него будущим. Но если он разгадал это сегодня — значит, он знает наше завтра? Как же Пастухов осмелился подумать, что Толстой не был провидцем?

Алеша прав: его отец пришел сюда, чтобы прикоснуться к самому драгоценному в своей жизни. Пришел за поддержкой своего духа, за решающим советом — как ему быть? Что делать в тот час одинокому Пастухову?

Он вспомнил свои размышления перед поездкой в Ясную Поляну.

Он думал тогда, что если бы пришел к Толстому юношей, саратовским реалистом, то, наверно, спросил бы о том, о чем тогда считалось нужным и приличным спросить Толстого — о смысле жизни и о том, как спастись. И, может быть, Толстой, поговорив с ним, записал бы вечером у себя в дневнике, что

вот, мол, выходил, говорил «обыкновенно» и что приезжал саратовский реалистик, глупый и, кажется, нечистый.

Если бы Пастухов пришел к Толстому в год своей затеплившейся столичной славы, когда театры стали играть его пьесы, в последний год жизни Толстого, то, наверно, уже постеснялся бы спрашивать его о таких глупостях, как смысл жизни, зная заранее ответ старца, — зная, что тот выйдет как оптинский Тихон, как Зосима и, привычно говоря свое «обыкновенное», повторит наставления о царстве божием внутри нас. Наверно, тогда, в тот год, Пастухов постеснялся бы разговора еще больше из-за боязни, что Толстой сразу разгадает фальшь желания счастливого петербургского драматурга спасти свою душу, ненужность для него советов и тщеславность его прихода. Потому что Пастухов действительно не мог нуждаться тогда ни в чем от старца, кроме того, чтобы в багаже своего тщеславия иметь историю поездки в Ясную Поляну и по временам казать багаж в столице: был-де у Толстого и Толстой говорил-де со мной.

Но что было бы, если бы теперь, в этот час сорок первого года, Толстой был бы жив и, выйдя из дома, глянул бы на пришельца Пастухова под Деревом бедных, — о чем спросил бы его Пастухов и что сказал бы в ответ старец? Может, Алеша и впрямь угадал правду? Может, Толстой сказал бы просто: если ты способен стать у пушки и палить из нее, как палил в восемьсот двенадцатом году капитан Тушин, иди и пали во славу земли русской?! И, может быть, спросил бы вдобавок: зачем ты, Пастухов, ходишь и выспрашиваешь, когда сам знаешь, что сейчас человек должен делать? И тогда ли, в десятом году, или теперь, в сорок первом, Толстой добавил бы к тому, что уже сказал: срам тебе, Пастухов...

И вот, зная все это, Пастухов не мог не прийти сюда, не сидеть здесь, не думать о передуманном. Он пришел, как приходят иногда на отцовскую могилу, которую забросили, чтобы поразмыслить о себе, чтобы почувствовать себя во всю силу своего сердца.

«Укажи, укажи! — думал он, обращаясь к Толстому, — дай мне отеческий совет — ты мог бы ведь быть мне отцом, если бы я был другим, если б с начала жизни я был всегда честен, прям и смел!»

Он опять увидал расставленные своей фантазией по комнате вещи, совсем рядом с собой — стол, низенькую скамью перед ним, свечу. Пламя чуть-чуть вздрагивало над фитилем свечи, потрескивая и изредка наклоняясь, как будто на него кто-то тихо дышал.

И с ясностью внезапной Пастухов разглядел низко опустившуюся над столом бородатую голову с огромным ухом и лбом в жилах, веточками сбежавших к темным, насупленным бровям. Толстой сидел сгорбившийся, в длинной холщовой

блузе, обнимавшей колени, подложив одну ногу под себя. Он легко и так порывисто двигал рукой по листу бумаги, будто не писал, а быстро штриховал строки тонкими, в волосок, черточками, и только нет-нет слышалось, как вспискнуло перо.

Пастухов боязливо поднялся и начал, птясь, отступать на цыпочках к двери. Толстой продолжал писать. Дверь стояла отворенной. Пастухов нащупал каблуком порог, перешагнул через него и, осторожно захватив ручку, захлопнул перед собою дверь. Он услышал, как от удара загудело под сводами и в этом гулком гудении раздался высокий, жутко знакомый по лесной встрече голос:

— Кто там?

Пастухов швырнул за собой вторую дверь, пробежал комнатой доктора, выскочил в коридор и прислонился к книжному шкапу.

Приказательный, но почти веселый, громкий крик донесся к нему из передней:

— Сподниз его бери, сподниз!

Потом послышался частый топот по ступеням лестницы, и женщина незвонко от хрипоты закричала:

— Не надо выносить из дома! Это в подвал, в подвал!

У Александра Владимировича стучало в висках. Стук был частый, звоном отдававшийся в затылке и ушах. Он постоял еще, выжидая, чтобы прошел стук, затем подвинулся к косяку и с опаской заглянул туда, откуда минуту назад выскочил. Там ничего не изменилось: дверь в комнату со сводами была закрыта.

Снова зашумели в передней. Он вздохнул.

— Вывезут из дома все, останутся одни привидения! — сказал он с усмешкой над самим собой и стал пробираться коридором на шум.

6

В передней женщины с девушками разговаривали у зеркала и, когда появился Пастухов, смолкли, расступились, чтобы дать пройти между упакованных вещей, и стали с любопытством оглядывать его.

Мария Петровна, вновь в своей опояске из скатерти, стараясь подобрать выпачканный ее край, сказала, что, если угодно, Александр Владимирович может подняться наверх. Он отговорился усталостью и тем, что ей некогда с ним заниматься.

— Что вы, что вы! — запротестовала она и тут же начала извиняться: — Правда, ведь ничего как следует не покажешь, все сдвинуто либо уложено, все не так... У нас к вам... — добавила она, ласково и несмело всматриваясь в глаза Пастухова, — у нас большая просьба.

Он догадался: она не могла не выполнить положенной программы. Она выдвинула ящик подзеркальника, достала толстую книгу в лист величиной.

— Напишите, пожалуйста, на память. Ну, несколько слов! Только... где бы вам удобнее!..

— Вот здесь,— показал он на лестницу.

— Что вы! Такая, право, пыль,— говорила она, в то же время развязывая на себе необычный передник и застилая им ступеньки.

Она тотчас вышла на голоса, долетевшие снаружи, а Пастухов присел, раскрыв и принялся перелистывать книгу.

Запись, попавшаяся ему, была помечена 22-м числом июня, и он подумал: первый день! День, когда грянуло то, что сейчас грозит этому дому... Он пробежал взглядом чистосердечные изъявления экскурсии учеников школы города Москвы. Его растрогало прилежание, с каким был графически выведен трехзначный номер школы: ученики, вероятно, любили школу под внушительным номером и честь вывести эту цифру в важной книге поручили товарищу с самым красивым почерком.

Наверно, когда ехали сюда, дети еще не знали, что разразилось ранним утром в далеком Бресте,— иначе родители не пустили бы их из Москвы с экскурсией. Когда они возвращались домой, их маленькие сердца бились уже по-другому.

С каждым месяцем книга словно все больше теряла свою музейную выправку. Старая Орловская дорога становилась военной, и кто только не завернул с нее немного в сторону и не увековечил себя лихим росчерком в яснополянских анналах! Пастухов на секунду улыбался образцу истой галантерейности какого-нибудь воентехника 1-го ранга, который, «отправляясь на фронт, мимолетным проездом заехал в давно мечтаемую Ясную Поляну, в имение Л. Н. Толстого...» Но это еще шел июль. Тяжелым августом отяготилось военное слово, и ближе оно стало к делу, и черствая слышалась Пастухову сила за краткой строкой: «Жаль, что не мог видеть все ценности в настоящее время из-за ненавистного Гитлера. Да будет он уничтожен». Но наступил сентябрь — месяц трикрат умноженных жертв, и горе стало скупое на громкие речи: «Личный состав военно-санитарного поезда 93 уносит с собой воспоминание о великом соотечественнике...»

И вот заключительная концовка на чистой странице — как присяга на готовность «отдать жизни за счастье народа, которому служил Толстой», — и подписи, да, подписи четырех бывших последними в доме.

Вот — третьей — рука сына.

«А! Он подписывается — Алексей Пастухов! Полностью — Алексей, чтобы не смешивали с Александром... Бог мой, он не хочет, чтобы его приняли за отца! Неужели он не прощает мне моей вины? К счастью, он сейчас понял, что я признаю вину.

Алексей, Алешка! Он готов отдать свою жизнь. Но разве смысл в том, чтоб ее отдать? Неужели я не отдал бы свою жизнь, когда бы знал, что это чему-нибудь послужит, кроме смерти? Что за пользу принесет Алексей своей смертью?..»

Пастухов придержал размышления, дойдя до этого вопроса, и потом насмешливо спросил себя:

«А что за пользу приношу я своей жизнью?..»

Почти в тот же момент, когда он так уничижительно о себе подумал, с лестницы обрушился на него предупреждающий окрик:

— Па-азволь!

Он обернулся и увидел высоко над собой кудлатого, черномазого знакомого: мужичок, свернув голову на одно плечо, на другом нес ящик, с трудом переставляя по ступеням напряженные в коленях ноги.

Два чувства сразу всколыхнулись в груди Пастухова. Одно было обидным: шпеёна пымали! — вспомнил он горько. Другое переполнило его тревогой: пазволь! — это голос вокзальных перронов, береговых пристаней, дебаркадеров, парходных палуб, причальных портовых стенок, где народ толпится в ожидании скорого отъезда, где расстаются, прощаются, где люди покидают одну жизнь и откуда уходят в другую. Пазволь! — голос тяжелой работы ради нетерпящего проволочек дела, голос требования работы, чтобы ей не мешали.

Пастухов поднялся, захлопнул книгу и протянул ее одной из девушек у зеркала, продолжавших смотреть на него, пока он сидел. Девушка затрясла русыми букольками на висках и с таким испугом отшатнулась назад, будто ей предложили что-то недопустимое:

— Вы... не написали? — спросила она едва слышно.

— Лучше, чем написали здесь, кто был передо мной, не напишешь.

— Хотя бы вашу фамилию!

— Фамилия моя здесь есть.

Пастухов положил книгу на подзеркальник, сильно припечатал по ней раскрытой ладонью, точно говоря — быть по сему! — сказал «прощайте» и ушел.

На крыльце Мария Петровна, загораживая протянутой рукой дверь, увещевала красноармейцев, окруживших ее подковой и требовавших, чтобы им показали дом. Она выпустила из двери Пастухова, снова протянула руку, не переставая уговаривать:

— Но я же объясняю вам: сейчас будем выносить вещи. Видите, пришли сразу две машины.

Боец постарше других, взмахивая сложенной пилоткой в красной от загара руке, грубым голосом сказал:

— Разве мы не понимаем? Пройдем раз, и все.

— Не чай пить. Сами на колесах,— сказал еще кто-то.

Сержант, твердо и широко расставивший ноги, хмурил гладкое, с едва затененной верхней губой лицо и упрямо глядел в глаза Марии Петровны. Вдруг он скосил взгляд на Пастухова, дерзко подмигнув ему и произнес отчетливо расставленные, как на военных занятиях, слова:

— Для бойцов, значит, у вас эвакуация. А вот для товарища штатского эвакуации нет.

Мария Петровна оглянулась на Пастухова. Растерянность совестливого человека, которому надо было выйти из неловкого положения, мелькнула у ней во взоре, но она решила не сдаваться:

— Товарищ здесь как раз по поводу эвакуации... и может... может подтвердить, что экскурсий мы больше не водим.

— Товарищ эвакуатор,— резко сказал сержант, с неожиданным треском сдвигая каблуки,— разрешите провести экскурсию бойцов по дому-музею товарища Толстого.

Пастухов засмеялся, и бойцы, приняв его смех за одобрение сержантской выходки и тоже смеясь, начали шумно обступать его, тесня Марию Петровну.

Она подняла голос:

— Вы же военные люди и мешаете работе. Это военная работа! Как вы не понимаете — в музее нечего больше показывать. Разве только стены.

— А хоть бы стены. Проживал-то в них какой человек! — проговорил боец с пилоткой в руке.

— Вот именно, какой человек! — требовательно и почти в слезах обиды посмотрела на бойца Мария Петровна. Вызов осветил ее лицо, и, видно, сама не ожидая этого, она закричала:

— Не осматривать надо, а защищать эти стены!

Стало очень тихо, и глаза всех тяжело обратились к женщине. Свет ее измученного лица быстро меркнул, и вокруг как-то потемнело. Трудно было одолеть эту тишину и это потемнение грубому голосу бойца, когда он слегка хлопнул пилоткой по ладони и выговорил:

— А мы что, отказываемся?

С каким-то неестественным усилием он медленно подтянул кожей лба выгоревшие свои брови и серым взглядом из-под них прошелся по товарищам. Они все, как только прозвучал его голос, отвели глаза с женщины на него и смотрели открыто и сурово.

Тогда рука Марии Петровны, которой она загоразживала вход, опустилась.

— Ну, идите скорее,— тихо сказала она,— я сейчас приду к вам...

Они молча сгрудились. Сержант взметнул гладколицую голову кверху, зачем-то оттопырил губы, потом твердо славил их и, разжав негромким взрывом звука «п», скомандовал:

— Пилотки снять!

Он опять, но на этот раз мальчишески-озорно подмигнул Пастухову и вошел первым в дом. За ним, по привычке безобидно наваливаясь друг другу на спины и — чтобы не давить ног — шаркая подошвами, тесным роем стали втягиваться в дверь красноармейцы.

Пастухов глядел на их выстриженные затылки, на малиновые раковины ушей, большие покатые плечи шинелей, вылинявших, как осенние мхи, и сердце его билось ясно слышными ударами, точно набирая в запас силы.

Мария Петровна терла глаза непросыхающим своим платочком. Когда последний боец вошел в дом, она тоже посмотрела ему вслед.

— А вот их не учат закрывать за собой двери, — сказала она не порицающе, а как бы виновато и детски всхлипнула. — Вы не знаете, как больно видеть сейчас посетителей. Вас особенно больно почему-то. Извините.

Грузовики один за другим завели моторы, чтобы подъехать к крыльцу задними, откинутыми бортами кузовов.

Пастухов наклонился к Марии Петровне и постарался перекричать шум:

— Спасибо вам за все!

— Ах, зачем вы это, что вы, — вскрикнула она в ответ, — вам спасибо! — и обеими горячими ладонями обхватила его руку.

Пастухов пошел к той аллее, на которой простился с Алейшей. Моторы перестали трещать, и тотчас долетел до него перепуганный возглас Марии Петровны:

— Клумба! Зачем же вы наехали на клумбу!

Наверно, шоферский невозмутимый голос отозвался ей вразумляюще:

— Чудило-человек! Ты посмотри, что на шоссе творится. Клумба!..

Пастухов не оборачивался. Он миновал аллею, свернул на дорогу между садов с нежившими после лютых предвоенных зим яблонями.

Ему казалось, душа его успокаивается. Она могла бы испепелиться от тревог этого утра. Но, хотя ему представлялось, что все утро было для него трагичным, он не испытывал страдания. Наоборот, чем дальше позади оставался усадебный дом, тем прозрачнее становились его чувства, соединяясь с душистой прохладной осенью в ее многоцветно-металлических красках.

Он думал, как много на свете хороших людей и что, наверно, только хорошие люди будут решать судьбу событий. Что как ни страшны эти события, хорошие люди их не страшатся, а ведь очень вероятно, что самое главное в жизни — ничего не страшиться.

Ему виделся Алеша, бегущий с прижатыми к бокам локтями, виделись сгрудившиеся в рой красноармейцы, и похожий на цыгана мужичок, и Настюша с башмаками на веревочке через плечо. Он даже сожалел, что сам не такой же хороший, как они все, и особенно сожалел, почему он не такой, как человек, явившийся его фантазии в лесу и в комнате под сводами. Но сожаление не причиняло ему никакой муки — оно было непрерывным током раздумий, бежавшим в мозгу по привычке о чем-нибудь думать. Он нечаянно вынул из кармана комоч бумаги и не сразу понял, что это такое, но, вспомнив, бросил бумагу далеко прочь. Невольно следя за ее полетом, он заметил прибитую к высокому стволу липы дощечку, стрелкой отточенную с одного края. Он подошел ближе и прочитал:

«К могиле».

Он стоял на повороте дороги от садов к лесному участку. Он знал, что имя этому лесу — Старый заказ, знал, что пойдет сюда и почему надо пойти.

Но ему захотелось вернуться. Он будто испугался возврата потрясений, от которых только что опомнился. Он ждал, что особая встреча, предстоявшая ему в Старом заказе, произойдет в каком-то лирическом строе — может быть, грустно, задумчиво, но музыкально, и не нарушит ясности осеннего мира, спустившегося на его душу. Его встретила дошаная, топором сработанная вывеска на липе, и он ненавистно от нее отвернулся.

И все-таки он не уходил. Он увидел, что будет с ним, когда он покинет Ясную Поляну. Легко будет врать кому угодно, что он преклонил голову там, где это положено делать. Но кто поверит правде, что он постоял на меже Старого заказа, повернулся и уехал домой! Он не турист, и нет нужды перед кем-то отвечать — выполнил он маршрут путеводителя или нет. Но перед собой он ответит. Это преступление — не отдать долг праху, к которому пришел.

Пастухов встряхнулся и овладел собой. Его мысли приобрели афористический характер, свойственный тем мгновениям, когда он в чем-нибудь себя убеждал.

— Прах — тот же дух, раз без него не существует духа, — сказал он. Ему понравилась фраза, и сейчас же выложилась в голове другая:

— Пойду просить прощения, что я не такой, каким мне хочется быть.

И он пошел в Старый заказ.

Он шел и чувствовал себя опять яснее, легче и даже спросил себя с обычной пастуховской улыбкой на серьезном лице:

— Интересно, между прочим, Александр Владимирович, где вы сегодня будете кушать?..

Маргарита Алигер



ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Еще с причудами морозов не сладить солнечным лучам,
а председателям колхозов уже не спится по ночам.
У них свои ночные думы — в седом безмолвии зимы
они такие слышат шумы, которых не услышим мы.

И кто-нибудь из них без шапки в тревоге выйдет на крыльцо,
и смутных запахов охапки ударят в теплое лицо.
Машинным маслом, свежим хлебом повеет остро и знакомо
под ярко-звездным зимним небом огромного родного дома.
Торжественно, покойно, строго... Но человек — хозяин в
доме.
Он знает больше: дела много,— огромен дом и мир огромен!

И даль морозная забрезжит, и он услышит рокот мирный,
прибой знойных побережий, цветенье Индии и Бирмы.
Надежды, чаянья, тревоги, сердцебиения чужие
услышит на своем пороге крестьянин ленинской России.

Он глубоко и жадно дышит, как будто в жатву воду пьет.
Он зимней ночью ясно слышит: весна идет, весна идет!
Как там ни снежно и ни вьюжно, вот-вот сугробы стронет
с места,
вот-вот она возьмется дружно, весна Двадцатого
Партсъезда.

Идет весна по белу свету, идет великая страда
и требует его к ответу и требует его труда.
За дело, сеятель и пахарь, косарь и жнец, кузнец и плотник,
не знавший устали и страха земли хозяин и работник.
Ты — человек, ты людям нужен,— будь этим счастлив
и силён.

И очень горд и чуть сконфужен, невольно выпрямится он.

Осень только взялась за работу,
только вынула кисть и резец,
положила кой-где позолоту,
кое-где уронила багрец.
И замешкалась, будто решая,
приниматься ей этак иль так.
То раздумает, краски мешая,
и в смущенье отступит на шаг.
То зайдется от злости и в клочья
все порвет беспощадной рукой...
И однажды, решительной ночью,
обретет величавый покой.
И тогда уж, собрав воедино
все усилья, раздумья в пути,
нарисует такую картину,
что не сможем мы глаз отвести.
Залюбуемся ею невольно,—
что тут сделать и что тут сказать?!
...А она все собой недовольна:
мол, не то получилось опять.
И сама уничтожит все это,
ветром сдует, дождями зальет,
чтоб отмаяться зиму и лето
и сначала начать через год.

ДЕРЕВНЯ КУКОЙ

Есть в Восточной Сибири деревня Кукой —
горстка изб над таежной рекой.

За деревней на взгорье, — поля и луга,
а за ними стеною тайга.

В сорок первом, когда наступали враги,
проводила деревня от милой тайги
взвод отцов и мужей, взвод сибирских солдат.

Ни один не вернулся назад.

И остались в Кукое, у светлой реки,
только дети, да женщины, да старики.

Молодые ребята, едва подросли,
на большие сибирские стройки ушли.

Не играют тут свадеб, не родят детей...
Жизнь без всяких прикрас, безо всяких затей.

Ранним-рано куковецы гасят огонь,
никогда не играет в Кукое гармонь,

ни вечерки какой, ни гуляния нет.
Только вдовья кручина — считай сколько лет.

А кругом синева, а кругом красота,
заповедные, хлебные наши места,

незакатные зори да водная ширь,
необъятная наша Сибирь.

Наезжает в Кукой по дороге лесной
человек дорогой — секретарь областной.
Собираются люди, — уж так повелось.
Разговор по душам ...За вопросом вопрос...
Сколько раз он в заботе своей
предлагал переехать в соседний колхоз:
дескать, все-таки там веселей.

— Нет, — ответили люди, — не стоит труда.
Ни к чему. От себя не уйдешь никуда.

Это — наше родное, земля наша, труд...
Никуда не поедем, останемся тут.

Обойдется! Сиротки гляди как растут —
и вечерки начнутся, гулянки пойдут.

И гармонь заиграет, и хватит окрест
молодцов женихов и красавиц невест.
Станет весело, людно, тоска нипочем...

Так о чем моя дума, о чем?

А о том, что прошли молодые года,
не согреть никогда, не вернуть никогда...

А о том, что одна у нас доля с тобой,
друг мой сильный и мудрый, деревня Кукой.

Мы свое испытанье достойно снесли,
но ребята у нас без отцов подросли.

Но еще не утихла душевная боль,
но еще на ресницах не высохла соль.

Не забыли, не справились мы до конца —
все горят обожженные наши сердца.

Кто же, где же, в какой нелюдской стороне
заикнуться посмеет о новой войне!

С КРЕМЛЕВСКОЙ ТРИБУНЫ

Беззаветно, жадно увлеченный
вечной думой о родной земле,
агроном известный и ученый
выступал на этих днях в Кремле.
Слушали большого человека
сотни молодых учеников:

— Помните, земля чиста от века.
Целина не знает сорняков.
Нипочем не прорастет пыреем
поднятая нами целина,
если мы по совести сумеем
чистые посеять семена.

Воевать за чистоту посева
легче, чем бороться с сорняком...

Человек шумел, темнел от гнева,
с благодушностью праздной не знаком.
Голос хриплый, жесткий и усталый
от волнения резко молодец:

— Помните во что бы то ни стало!
Не забудьте среди прочих дел!

Министерства он просил и главки
чистоту великую беречь:

Думалось: одной ли вредной травке
посвящал ученый эту речь.
Верилось: от сорняков и суши,
от иных чужих и темных сил
цельные нетронутые души
убереечь он трепетно просил.

И глаза его пылали сухо
вечным беспокойством и огнем,
и была такая сила духа
и такое вдохновенье в нем,
словно, подымая этот голос
на стремительную высоту,
это наша родина боролась
за своих посевов чистоту.
И звучала в слове коммуниста
добрая забота всей страны,
чтобы навсегда осталась чистой
молодая слава целины.

Леонид Мартынов



* * *

Вот
Корабли
Прошли
Под парусами;
Пленяет нас
Их нежная краса,
Но мы с тобой прекрасно знаем сами,
Что нет надежд на эти паруса.

Вот
Умер пар
И старым кочегарам
Дана отставка. И не дышишь ты
Чугунных топок беспощадным жаром,
Где тлеют допотопные пласты.

Нет,
Мы не так препятствия таранам!
Заменены на наших кораблях
И пар
И парус
Внутренним сгораньем,
Чтоб кровь земли
Пылала в дизелях.
И что ни день
То пламенной желанья,
И по ночам усталость не берет...
Вот
Внутреннее мощное пыланье,
Которое толкает нас вперед!

ЗАВОДЫ

Похолоданье.
Вихри пыльные.
И солнце, голову склонив,
Свои лучи, уже бессильные,
Дарит пространству сжатых нив.
Вода в канавах стынет ржавая,
Вот-вот замерзнут все пруды,
Но за заставой,
Величавые,
Шумят заводы,
Как сады!

* * *

Я помню:
Целый день
Все время
Падал снег
И всею тяжестью
Висел на черных сучьях,
Но это шла весна:
Тянуло влагой с рек,
Едва проснувшись
И прячущихся в тучах.

Тянуло
Влагой
С рек
И внутренних морей,
И пахло льдом, водой
И масляною краской.
Казалось — шли часы
Не тише, не быстрее,
А так же, как всегда,
Над старой башней Спасской.

Но
Время
Мчалось так,
Как будто целый век

Прошел за этот день...
И не мешала вьюга,
Чтоб нес по улице
Какой-то человек
Мимозы веточку,
Доставленную с юга.

БОГАТЫЙ НИЩИЙ

От города неотгороженное
Пространство есть. Я вижу: там
Богатый нищий жрет мороженое
За килограммом килограмм.

На нем бостон, перчатки кожаные
И замшевые сапоги.
Богатый нищий жрет мороженое.
Пусть жрет. Пусть лопнет. Мы — враги!

СОЛНЦЕ И ХУДОЖНИК

Как ты любишь писать мой закат,
Где лучи, умирая, горят
На головках у лилий болотных!
Мой закат тебе мил!

Не смехи!

Хоронить ты меня не спеши.
Я прошу: на холодных полотнах
Вялой кистью меня не пиши,
Неспособный меня осязать!

Я — не то, что ты хочешь сказать!

НА ВСХВ

Все
Обрело
Первичный вес:
Воскрес
Алмаз,
Лишась оправы,
Лекарства превратились в травы,
Бумага превратилась в лес,
Но только на единый миг,
Чтоб разуму понятно стало,
Как зрело все и возрастало,
Как
Этот самый
Мир
Возник.

Алексей Сурков



ИЗ ВОСТОЧНОЙ ТЕТРАДИ

В СТРАНУ ЧУДЕС

Мерцали маяки в Аландских шхерах,
Метель пылила над заливом сонным,
И тенор пел из глубины небес:
 «Не счесть алмазов в каменных пещерах,
 Не счесть жемчужин в море полуденном,
 Далекой Индии чудес...»

Далека же ты, Индия.

 Так далека!
Долго надо лететь за твоим теплом.
На маршруте три древних материка
И пятнадцать стран плывут под крылом.
До Женевы нас провожала зима,
Поздно вечером Рим нас встречал весной,
А поутру, когда расступилась тьма,
Ожидал нас в Каире жестокий зной.
Миновали мы Альп ледяную стынь;
Провожала нас южных морей лазурь;
И терзала сердце нежить пустынь,
Притененная тучами пыльных бурь.
Над морями и реками школьных лет,
Что мерцали в серых складках земли,
Через ветхий завет и новый завет
Нас четыре мотора вперед несли.
День дошел до зенита, и день погас.
Звезды тлели, как вехи воздушных трасс.

Был Оман
За спиной у нас;
Был Иран
За спиной у нас;
Пакистан
За спиной у нас.
Тлели звезды, как вежи воздушных трасс.
Покидая Карачи в вечерний час,
Мы с волнением вперед глядели.
Снизу Инд клинком проблеснул в тени,
А потом пошли полыхать огни
Долгожданного Дели.
Встречали нас друзья на плитах серых
При свете ламп, на лица наведенных,
А в уши мне мотив знакомый лез:
«Не счесть алмазов в каменных пещерах,
Не счесть жемчужин в море полуденном,
Далекой Индии чудес...»
Привет тебе, Индия,
Стран полуденных краса!
В сердцах наших дружба.
Открой нам свои чудеса.

НОЧНАЯ ПЕСНЯ

Океана Индийского тусклый лак
Проступал из ночной синевы.
И звезды на небе стояли не так,
Как на небе моей Москвы.
Под шуршанье прибоя
В полуночный час
Ко сну отходил Мадрас.

Легкий ветер будто бы невзначай
Над лагуной возник из мглы,
Осторожно ощупал листья папай
И кокосовых пальм стволы;
Над застойной водой
Колыхнул тростник,
Обессиленный зноем сник.

А луна поднималась, бела как мел,
Отражаясь в темной волне,
И сосед мой негромкую песню пел,
Откликаясь тихой струне.

Он сердца северян
Напевом томил
На южном наречье тамил.

Я спросил у соседа:
— Кажется мне,
Это песня о тишине,
О вечной весне,
О синей волне,
О белой луне,
Что с любовью в дружбе всегда?

И тамил мне ответил:
— Да!

НАД ГАНГОМ

У начала прозрачных, зеленых вод
Этой царственной, плавной реки
Упираются в синий небесный свод
Гималайские ледники.

Оттого, что не может окинуть взгляд
Льдистых гор великанский лес,
Решено было тысячи лет назад,
Будто Ганг стекает с небес.

Решено было тысячи лет назад:
Если здесь умрут старики,
То возносятся души их в райский сад
С берегов священной реки.

И досель с незапамятных этих пор,
В ожиданье божьих чудес,
Старики из пустыни, из джунглей, с гор
Собираются в Бенарес.

Тут они доживают свой век, и тут,
Как нагрянет смерть к старику,
На кострах их останки над Гангом жгут,
Теплый пепел сыплют в реку.

Люди жаждут бессмертия... Что же, пусты
Разве тут помогут слова?

Я давно это видел, друзья, а грусть
И поныне в сердце жива.

ОТКРЫТКА

К облачкам золотым
даль стекает наплывом.
Пять часов мы летим
над Бенгальским заливом.
И на небе
и на море
синь глубока.
И по небу
плывут облака.
И по морю
плывут облака.
Все смешалось
в звенящем просторе.
Сверху —
синяя глубь,
снизу —
синяя высь.
Вот пойдя приглядишь,
вот пойдя разберись,
то ли небо внизу,
то ли море!

Я люблюсь,
бесплатным простором дышу.
Я волнуюсь,
вот эту открытку пишу.
А пилот, обитатель небес,
проявляет к ней интерес:
мол, открытка в Россию?
— О йес!
Мол, открытка для леди?
— О йес!
Сколько в мире великих чудес!

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА В ВЕДДИЙСКОЙ ШКОЛЕ ЧИТТОРГАРХА

Ко сну безмятежно отходит природа.
Чуть слышный, фонтанчик журчит во дворе.
Оставив ботинки и туфли у входа,
Мы сели в кружок на мохнатом ковре.

Под сенью изъеденных временем башен,
В пространстве, наполненном звоном цикад,
На жертвенном камне хозяева наши
Свершают магический древний обряд.

Луна молодая сверкает в зените.
Взвиваются искры за пламенем вслед.
Подростки и дети на чистом санскрите
Поют монотонные гимны Ригвед.

Чтоб жертва творилась, чтоб пламя не гасло,
Старик, отрешенный от жизни давно,
На хворост кропит благовонное масло,
Бросает в огонь золотое зерно.

А тени людей, то длинней, то короче,
Скользят по помосту и пляшут на нем...
Так дальние предки от ужаса ночи
Себя ограждали бессонным огнем.

Пугали их пастей тигриных оскалы,
Скольжение пантеры, возня медвежат.
Слышали они, как дерутся шакалы,
Как в сырости чащ обезьяны визжат.

В утробе пещеры, зловонной и дымной,
Тупыми секирами хворост рубя,
Старались они заклинаньем и гимном
Клыкастую смерть отогнать от себя.

На жертвенник низкий из камня и дерна,
Где пламя сникает и теплится вновь,
Жрец сыпал сухие, холодные зерна
И брызгал собачью горячую кровь.

А месяц сверкал, как сегодня, в зените,
И искры взлетали за пламенем вслед...

Видения тают. На древнем санскрите
Звучат монотонные гимны Ригвед.

Поющий подросток, тоскуя глазами,
Следит за движением звезд в высоте.
Медлительно, нехотя сытое пламя
Танцует на жертвенной черной плите.

.

Живуч прародитель Адам в человеке —
Проснется и глянет сквозь лезвия век.
Вот вы существуете в атомном веке
И вдруг оступаетесь в каменный век.

ИСТОРИЯ

До черты горизонта равнинный простор.
Кровь заката как отблеск пожара.
За зелеными кручами мертвый Читтор¹,
Страж поверженной славы Мевара.

Груды камня, зубчатые стены и рвы.
И баньян возле Башни Победы
Неподвижный стоит, не клоня головы,
Будто с вечностью водит беседы.

Вечер слушает плавный рассказ тишины
Про коварство врагов, про погони
И про то, как трубят боевые слоны,
Как визжат и кусаются кони.

Тлен развалин как эхо смертей и утрат —
Раджпутаны далекая драма.
Чуть-чуть тронуты ветром, тихо звенят
Колокольчики джайнского храма.

Пыль скользит по руинам, свивается в жгут,
Никнет в зелени ближнего лога.
У подножия Шивы старый раджпут
Смотрит в очи безносого бога.

Как назначен на очную ставку с судьбой,
Он глядит немигающим взглядом...

Слушай, старый! Сыны твои рядом с тобой,
Молодая Индия рядом!

¹ Город Читтор был столицей Мевара, одного из самых воинственных и непокорных княжеств Раджпутаны.

С. Маршак



ПИСЬМО В ШАНХАЙ

Далеко от Москвы до Китая,
Но пускай эти строчки летят,
Словно птиц перелетная стая,
К миллионам китайских ребят.

И широкие русские строчки,
Оказавшись в китайской стране,
Превратятся в столбцы и цепочки
Четких знаков, неведомых мне.

Но хоть я не пойму этих знаков,
Что прочтет ваш любой ученик,
У меня и у вас одинаков
Голос мысли и сердца язык.

ИЗ СТИХОВ О ВРЕМЕНИ

Даже по делу спеша, не забудь:
Этот короткий путь —
Тоже частица жизни твоей.
Жить и в пути умей.

ИЗ ПУТЕВОГО ДНЕВНИКА

Все это было мне знакомо.
Но увидел я в первый раз
И стены глиняные дома
Почти без окон, как без глаз,
И серую солому крыши,
И в крайней комнате кровать
У стенки справа, в тесной нише,
Где родила когда-то мать
Того, кто сделал знаменитым
Покрытый вереском простор,
Кто на поляне вел с подбитым,
Хромавшим зайцем разговор...

Здесь, в этой хижине крестьянской,
Куда входили через хлев,
Впервые слышал он шотландский,
В горах сложившийся напев.

А так как тяжкие налоги
В те дни платили за окно,
Синело в спальенке убогой
Окошко мутное одно.
Квадрат, крестом пересеченный...
Впервые в нем увидел свет —
И глубь небес и мир зеленый —
Влюбленный в родину поэт.

Недолго жил он в этом мире.
То плугом землю бороздил,
То с милой по полю бродил,
То на стекле окна в трактире
Алмазом строчки выводил.

А умер в городской квартире...

В два этажа был этот дом,
И больше окон было в нем,
Да и кровать была пошире.
Но за решетчатым окном
Поэту в день его последний
Был виден только двор соседний,
А не полей волнистых ширь,
Не речка под зеленым кровом
И не болотистый пустырь,
Поросший вереском лиловым...

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

(Из Роберта Бернса)

НАДПИСЬ НА АЛТАРЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

Кто независим, прям и горд,
В борьбе решителен и тверд,
Кому равно претит судьба
Рабовладельца и раба,
Кому строжайший приговор —
Своей же совести укор,
Тому, чья сила — правота,
Открой, алтарь, свои врата!

НА БЛАГОДАРСТВЕННОМ МОЛЕБНЕ ПО СЛУЧАЮ ПОБЕДЫ

О лицемерье, служишь ты молебны
Над прахом всех загубленных тобой.
Но разве нужен богу гимн хвалебный
И благодарность за разбой?

ДЕВУШКИ ИЗ ТАРБОЛТОНА

В Тарболтоне, право,
Есть парни на славу.
Девушки имеют успех, брат.
Но барышни Роналдс,
Живущие в Бенналс,
Милей и прекраснее всех, брат.

Отец у них гордый.
Живет он, как лорды,
И каждый приличный жених, брат,
Впридачу к невесте
Получит от тестя
По двести монет золотых, брат.

Нет в этой долине
Прекраснее Джинни.
Она хороша и мила, брат.

А вкусом, и нравом,
И разумом здравым
Ровесниц своих превзошла, брат.

Фиалка увянет
И розы не станет
В каких-нибудь несколько дней, брат.
А правды сиянье,
Добра обаянье
С годами сильнее и прочней, брат.

Но ты не один
Мечтаешь о Джин.
Найдется соперников тьма, брат.
Богатый эсквайр,
Владелец Блекбайр —
И тот от нее без ума, брат.

Помещик Брейхед
Глядит ей вослед
И чахнет давно от тоски, брат.
И, кажется, Форд
Махнет через борт,
Ее не добившись руки, брат.

Сестра ее Анна
Свежа и румяна.
Вздыхает о ней молодежь, брат.
Нежнее, скромнее,
Прекрасней, стройнее
Ты вряд ли девицу найдешь, брат.

В нее я влюблен,
Но молчать осужден.
Робеть заставляет нужда, брат.
От сельских трудов
Да рифмованных строф
Не будешь богат никогда, брат.

А если в ответ
Услышу я «нет» —
Мне будет еще тяжелей, брат.
Хоть мал мой доход
И безвестен мой род,
Но горд я не меньше людей, брат.

Как важная знать,
Не могу я скакать,
По моде обутый, верхом, брат.

Но в светском кругу
Я держаться могу
И в грязь не ударю лицом, брат.

Я чисто одет.
К лицу мне жилет,
Сюрту́к мой опрятен и нов, брат.
Чулки без заплатки,
И галстук в порядке,
И сшил я две пары штанов, брат.

На полочке шкапа
Есть новая шляпа.
Ей шиллингов десять цена, брат.
В рубашках — нехватка,
Но есть полдесятка
Белейшего полотна, брат.

От дядюшек с детства
Не ждал я наследства
И тетушек вдовых не знал, брат.
Не слушал их бредней
И в час их последний
Не чаял, чтоб черт их побрал, брат.

Не плут, не мошенник,
Не нажил я денег.
Свой хлеб добываю я сам, брат.
Немного я трачу,
Нисколько не прячу,
Но пенса не должен чертям, брат!

В ЯЧМЕННОМ ПОЛЕ

Так хороши пшеница, рожь
Во дни уборки ранней.
А как ячмень у нас хорош,
Где был я с милой Анни.

Под первый августовский день
Спешил я на свиданье.
Шумела рожь, шуршал ячмень.
Я шел навстречу Анни.

Вечерней позднею порой —
Иль очень ранней, что ли? —
Я убедил ее со мной
Побыть в ячменном поле.

Над нами свод был голубой,
Колосья нас кололи.
Я усадил перед собой
Ее в ячменном поле.

В одно слились у нас сердца.
Одной мы жили волей.
И целовал я без конца
Ее в ячменном поле.

Кольцо моих сплетенных рук
Я крепко сжал — до боли,
И слышал сердцем сердца стук
В ту ночь в ячменном поле.

С тех пор я рад бывал друзьям,
Пирушке с буйным шумом,
Порою рад бывал деньгам
И одиноким думам.

Но все, что пережито мной,
Не стоит сотой доли
Минуты радостной одной
В ту ночь в ячменном поле!

ПОЙДУ-КА Я В СОЛДАТЫ

На черта вздохи — ах да ох!
Зачем считать утраты?
Мне двадцать три, и рост неплох —
Шесть футов, помнится, без трех.
Пойду-ка я в солдаты!

Своим горбом
Я нажил дом,
Хотя и небогатый.
Но что сберег, пошло невпрок...
И вот иду в солдаты.

ПЕСЕНКА О СТАРОМ МУЖЕ

О если б ты улегся вдруг
В могилу, дряхлый мой супруг,
Твою утешил бы вдову
Веселый горец — милый друг.

На сковородке шесть яиц.
На сковородке шесть яиц.
Тебе — одно, мне — два яйца,
А три — для горца-молодца!

В горшке — баранья голова.
В горшке — баранья голова.
Похлебка — мне, мяско — ему,
А рожки — мужу моему!

Эм. Казакевич



ДОМ НА ПЛОЩАДИ

(Роман)

*Не часто
Дается людям повод для таких
Высоких дел! Спешите творить добро!*

Гёте

Часть первая

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГАРЦ

РАССКАЗ О ШЕСТИ СОЛДАТАХ

Команда солдат в составе шести человек не спеша двигалась на запад. За исключением старшего, который был, вопреки своей роли, самым младшим, это были все пожилые люди, служившие в тылах одной из действующих дивизий. Их оставили на месте последнего формирования, в районе города Гомеля, для охраны принадлежавшего дивизии прессованного сена. Дивизионное интендантство рассчитывало в ближайшее время, как только уляжется весенняя распутица, прислать за сеном машины.

Сено лежало штабелями в небольшой квадратной березовой роще, уже лиловой от почек. Солдаты несли охрану бдительно и по всем правилам караульной службы. Жили они тут же, в землянке, которую сами для себя выкопали. Когда кончились продукты, старший команды, сержант Веретенников, отправился в Гомель, где получил по шести продаттестатам хлеб, сахар и консервы еще на десять дней.

Вокруг рощицы, где лежало сено, простирались поля. Начиналась весенняя пахота. Из соседней деревни приходили колхозницы с лошадьми и плугами. Поровнявшись с рощицей, женщины здоровались с солдатами. Они с завистью поглядывали на сено. Иногда они просили дать им сенца, но солдаты, виновато отводя глаза, отвечали всякий раз одно и то же:

— Не имеем права. Не наше. Армейское.

Зато они часто помогали колхозницам пахать, и между ними и женщинами установились отношения, полные взаимного понимания и спокойного дружелюбия.

Время шло. Машины из дивизии не приходили. Все кругом было тихо и спокойно. На березах пробивались маленькие, ослепительно зеленые листики. Тревожная бессонница овладела Веретенниковым. По ночам он выходил на опушку рощи и глядел на дорогу: Кругом стояла кромешная темнота. Светомаскировка здесь еще соблюдалась, и ни один огонек не мигал в окрестности. Большая дорога проходила далеко отсюда, машин не было слышно. Что касается того проселка, который вел от большой дороги сюда, то он был вовсе пустынен.

Это странное — хотя вполне обычное в неразберихе военных ситуаций — прозябание тяготило Веретенникова. Особенно же ему стало невмоготу, когда женщины однажды сообщили, что, по слухам, советские войска уже в Германии, чуть ли не под самым Берлином. Тогда Веретенников, вопреки своему обыкновению ничего не просить, а делать только то, что прикажут, обратился к гомельскому коменданту, и тот согласился принять дивизионное сено и отпустить команду на все четыре стороны, снабдив ее соответствующим документом.

Вернувшись обратно в рощу, которую он уже рассматривал, как родной дом и каждую тропинку которой знал, как знают половицы в собственном доме, Веретенников велел солдатам готовиться в путь.

Во время пребывания здесь солдаты уже успели привыкнуть к своему существованию, обрасти какими-то предметами, полюбить местность, обзавестись знакомствами. Расставаться со всем этим было, конечно, не так трудно, как, скажем, с собственным домом и собственной семьей, но все-таки это была тоже торжественная минута. Вечером к ним пришли женщины, до которых дошла весть об уходе молчаливых и дружелюбных хранителей сена. Пришла также и молодая сельская учительница Соня, проведшая несколько вечеров с сержантом Веретенниковым и привязавшаяся к нему ровной, нешумной и неназойливой привязанностью, как и он к ней.

В этот прощальный вечер в березовой роще вокруг костра немало было рассказано историй, поведано биографий. Председательница колхоза Марфа Герасимовна нашла себе прекрасного собеседника в лице солдата Петухова, бывшего колхозного бригадира. Они степенно разговаривали о колхозных

делах, а рядом велись другие разговоры — то веселые, то грустные, то тяжеловесно-легкомысленные. Кто-то из женщин принес бутылку самогона, и Веретенников, в виде исключения, притворился, что не замечает, как солдаты по очереди выпивают из единственного граненого стакана и, крикнув, ставят стакан на траву.

В этом маленьком обществе, собравшемся столь случайно, шла та же сложная жизнь, что и в больших обществах, — мимолетные симпатии и антипатии, добрые чувства и маленькие заговоры, тайные страсти и подспудные интересы.

Солдаты решили проводить женщин в деревню. Веретенников оставил охранять сено одного Петухова, а сам пошел с Соней. Он долго гулял с ней по деревне, если можно было назвать деревней ряды землянок, вырытых на месте сожженных хат. Возвращаясь к себе в рошу, он заметил на дороге при свете луны блестящие нити сена между свежими следами колес. И Веретенников вспомнил, что председательница колхоза не ушла вместе со всеми в деревню, а осталась с Петуховым. И он вспомнил торопливый скрип колес, доносившийся до него издалека во время прогулки.

Одинокий Петухов стоял на опушке, куря махорочную скрутку.

Веретенников прошел мимо и направился к сену. Да, недоставало нескольких тюков. Он вернулся и пристально посмотрел на непроницаемое лицо Петухова, но ничего не сказал. «Колхоз-то ведь тоже наш», — мысленно оправдался Веретенников перед высоким начальством — своею совестью.

На рассвете из города прибыли грузовые машины. Веретенников сдал сено. Шестеро солдат вышли из роши по проселку к большой дороге и отправились в путь.

Они вначале шли пешком, потом некоторое время двигались на попутной машине, снова пешком, на попутной подводе и снова на машине. Они заночевали в холодной избе у дороги, а на рассвете опять тронулись в путь и в полдень оказались на железнодорожной станции, если можно назвать станцией маленькую дощатую будку рядом с развалинами бывшего каменного вокзала. Здесь они сели в один из товарных составов, следовавших в Брест.

Вагон, в котором они устроились, был нагружен тяжелыми асбестовыми плитами. Понемногу вагон переполнился. Женщины с заплечными мешками, безрукий инвалид, несколько подростков-мастеровых с хмурыми взрослыми лицами, мальчик и девочка в насквозь промокших рваных башмаках — все они расселись на своих фанерных сундучках и матерчатых торбах.

Поезд долго стоял, словно навсегда прилепился к рельсам неподвижными темными колесами. Казалось даже, что он стоит не на колесах, а на четырехугольных железных чурках, которые вообще не способны двигаться.

Внезапно заплакал мальчик. Он дрожал от холода. Солдат Атабеков снял с него башмаки, взял мальчика к себе и завернул его ноги в полу своей шинели. Небаба строго спросил у девочки, куда и зачем она тащит с собой такого малыша. Девочка сказала, что едет с братом за хлебом, так как их мать работает на спичечной фабрике и не может отлучаться. И вот девочка с мальчиком ездят менять вещи на хлеб. Помолчав, девочка объяснила, что она может нести пуд хлеба, а мальчик — полпуда.

Поезд тронулся. Все задремали. Только Атабеков и мальчик тихо разговаривали. Мальчик жевал кусок хлеба и говорил шепотом:

— Ой, дяденька, сколько махорки на вашем хлебе.

— А ты обтруси, обтруси,— шептал в ответ Атабеков.

Поезд то шел, то останавливался. Было холодно и тяжело, и каждому было жалко себя и других.

— Никогда больше не поеду на поезде,— сказал Веретенников, когда они утром прибыли на станцию Брест.

Название «Брест» поневоле напомнило о первом дне войны. Сержант Веретенников вспомнил, что он в то памятное воскресенье (Брест уже пылал) выехал вместе с другими рабочими Ивановского меланжевого комбината за город. Он тогда ухаживал за одной девочкой и именно в то утро окончательно понял из разных мелочей, что он ей не нравится. И до часу дня, когда они узнали от проезжего велосипедиста о войне, Веретенников считал, что на свете нет более несчастного человека, чем он. И только когда велосипедист крикнул им о том, что случилось, Веретенников, несмотря на свой малый жизненный опыт, понял, что уже нет на свете ничего важного, кроме войны.

Возле моста через Буг шестеро солдат сели в машину, груженную тюками с летним обмундированием для действующей армии. Шофер стал рассказывать Веретенникову о своих домашних делах. Он жаловался на мачеху, которая плохо относилась к его жене и всячески ее тиранила. В разгар войны он про это старался не думать, теперь же рассуждал о том, что ему придется ставить собственную избу. И он прикидывал, во что это обойдется, и беспокоился насчет леса, так как сторона у них безлесная, степная,— Заволжье.

Машина мчалась по волнистой польской равнине. Но хотя солдаты внимательно смотрели на пронесившиеся мимо незнакомые картины иной страны, но разговаривали они больше о своих домашних делах. Почувяв конец войны, они устремились душой не вперед, как это было раньше, а назад, к оставленным домам и семьям. В то же время они хотели скорее прибыть в свою часть, потому что понимали, что их путь домой лежит еще через фронт. И так они ехали на восток, двигаясь на запад. И если бы им сказали, что для того, чтобы вернуться домой, надо обогнуть земной шар,— они безропотно проделали бы весь

путь — пешком и на машинах, с боями так с боями, а ежели в тылах, то и в тылах.

Как ни хорошо было на мягких тюках с обмундированием, но следовало узнать, хотя бы приблизительно, где находится дивизия. С этой целью солдаты простились с шофером в одном польском городе и пошли разыскивать советскую комендатуру. Веретенников спросил у проходившего мимо поляка в высокой шляпе, где находится советская комендатура, на что поляк ничего не ответил, только с какой-то смесью издевки и вражды скосил глаза и прошел, словно перед ним стояли не люди, а, скажем, стая ворон.

Из этого случая Небаба сделал скоропалительный вывод, что «поляки нас не любят» и что «как волка не корми...»

Поэтому он предложил Веретенникову обратиться с тем же вопросом к проходившему неподалеку человеку в рабочей одежде и не в шляпе, а в горохового цвета фуражке с наушными клапанами. Однако Веретенников, в котором проснулась любознательность и жажда исследования, обратился не к этому человеку в рабочей одежде, а к другому — тоже в шляпе. Этот другой прогуливался по тротуару деревянной походкой. Он был прям, худ, полный важности и очень вежлив: несмотря на довольно сильный дождь, он при встрече с знакомыми — а знакомых у него было, очевидно, много — широким жестом приподнимал шляпу.

Приподнял он шляпу и тогда, когда к нему подошел Веретенников, и все время разговора стоял с непокрытой головой. Он внимательно выслушал Веретенникова, объяснил очень подробно, как пройти к советской комендатуре, и даже проводил солдат до угла, чтобы показать им направление. И солдаты сделали вывод; что жизнь гораздо сложнее, чем это кажется Небабе, и что если можно было бы различать друзей и врагов по их головным уборам, то на свете было бы гораздо легче жить.

В комендатуре солдатам сказали, что фронт находится так далеко на западе, что коменданту даже неизвестно точно — где именно. Им посоветовали двигаться на запад, все время на запад.

Переночевав в комендатуре, солдаты рано утром опять двинулись в путь. Город еще спал. Только кое-где в маленьких лавчонках и во дворах начиналось движение, слышались зевки, виднелись растрепанные головы женщин. Небо было по-утреннему серое, подернутое легким туманом. Но с каждой минутой туман таял, небо вскоре очистилось и заголубело. Большая дорога терлась среди холмов. На придорожных деревьях всюду заливались птицы. Огромное солнце вставало за спиной. Впереди солдат двигались их длинные пресмешные тени, уходя головами чуть ли не к самому горизонту. Тени становились все короче, воздух — все теплее, настроение — все лучше.

Вскоре солдаты догнали целый табор мужчин, женщин, детей и стариков. Толкая перед собой тачки или ведя рядом с собой нагруженные кладью велосипеды, эти люди шли по обочине дороги. Минут двадцать они и солдаты шли рядом — два чуждых друг другу мира. Потом солдаты сели в тень, чтобы позавтракать, а те — ушли вперед. Потом те люди расположились табором в придорожной роще, чтобы позавтракать, и солдаты их обогнали и ушли несколько вперед. Затем солдаты, которые мало спали этой ночью, решили соснуть. Они свернули с дороги вправо, но поблизости не нашлось подходящего места — здесь росли осинки и было мокро. Зато дальше, примерно в полукилометре, виднелось хорошее высокое место, с оползшими песчаными краями, из которых там и сям торчали корни сосен. В этой сосновой роще, на травке, выросшей на песке и пригретой солнцем, солдаты уснули. А когда они проснулись, то обнаружили, что неподалеку от них расположился все тот же табор. Что это был именно этот, а не другой, можно было узнать хотя бы по тому, что тут крутилась девчонка с такими рыжими волосами, каких, вероятно, немного сыщешь на свете. Ее ослепительная голова мелькала то тут, то там среди сосен.

Зуев, у которого в Архангельской области жил сын почти с такими же рыжими волосами, подошел поближе и долго следил глазами за этой девчонкой; она слонялась по лагерю, голыми глазами заглядывала в горшки с пищей, которую кое-кто варил на небольших кострах, или приставала к другим детям — то толкнет мальчишку, то вцепится в волосы девчонке, потом отбегает, прячется за дерево и через минуту появляется на другом конце поляны.

Зуев следил за ней усмехаясь. Потом до него донесся разговор сидевших неподалеку мужчины и женщины. Прислушавшись, он сделал большие глаза и быстро вернулся к своим.

— Это немцы, — сказал он.

Солдаты удивились. Немцы в их представлении были жестокими, вооруженными до зубов людьми. Солдаты подошли ближе к немецкому табору. И чем дальше они глядели, тем яснее становилось для них то как будто простое обстоятельство, что это были старики, женщины, мужчины и дети, хотя они были немцами. Солдаты видели, как немцы едят скудную пищу, варят суп-затируху из одной воды с какой-то темной мукой — суп, достаточно знакомый и русским людям на всем протяжении огромного тыла. Негромкие разговоры, плач маленьких детей и визг больших, отчаяние матерей и тупая покорность мужчин — все это было пронзительно знакомо.

Ненависть? Нет, солдаты не чувствовали никакой ненависти. В глазах солдат читались настороженность, недоверие, удивление — но не ненависть. Может быть, если бы они ворвались в Германию с боями, как те передовые части, что двигались впереди, — ненависть была бы. При данных обстоятель-

ствах она даже не появлялась. Перед солдатами находились просто обездоленные люди, притом находящиеся в пути, так же, как и сами солдаты.

Веретенников выступил вперед и спросил у мужчины и у женщины, которые сидели ближе всех, куда они идут. Мужчина, мешая польские и немецкие слова, объяснил, что они беженцы из Силезии и что идут они неизвестно куда и остановятся там, где им велют остановиться и дадут им какую-нибудь работу. Женщина заплакала. Солдаты покачали головами, и так как не могли этим беженцам ничем помочь, они просто отошли обратно к своей стоянке и стали готовиться в путь.

Одновременно стали готовиться в путь и немцы, и опять обе группы двигались некоторое время рядом. Потом немцы немного отстали. Внезапно послышался отчаянный плач и визг. Зуев обернулся и увидел, что высокий, костлявый, давно небритый рыжий немец бьет ту самую рыжую девочку; он держит ее левой рукой, а в правой у него ветка, и он хлещет этой веткой по ее спине и обнаженным ногам. Рядом стояла маленькая бледная женщина и, заламывая руки, кричала что-то — видимо, просила его не бить девочку. Но мужчина не слушался ее и продолжал бить, пока Зуев не толкнул его в спину. Тогда немец выпустил девочку, уронил ветку и застыл в позе вконец разбитого человека.

— Не смей,— сказал Зуев.— Скотина ты.

После этого Зуев вернулся обратно к своим и сказал сердито:

— Ну их! Немцы проклятые! — Он говорил это со всей искренностью и непритворным возмущением, хотя сам не раз бил своего сына и не считал это таким зазорным. Со стороны все казалось гораздо страшнее. К тому же это была девочка. Все-таки Зуев пообещал себе, что и сына своего больше бить не будет, и тайком смахнул с ресницы слезу.

— Чего это машин все нет да нет? — спросил Зуев, помолчав.

Машины вскоре появились, и солдаты поехали дальше. Но случилось так, что машины эти должны были свернуть с главной дороги на боковую, и солдатам пришлось на повороте прыгнуть. Чтобы не терять зря времени, солдаты не стали дожидаться новых машин, а пошли потихоньку пешком к закату. Закат был очень красив, его красные зори легли по небу размашисто и стремительно. Эти алые полосы на горизонте напомнили солдатам фронт. Им даже почудились выстрелы неподалеку. Но нет, не почудились, а действительно неподалеку раздались частые выстрелы. Впереди, на дороге стояло несколько грузовых машин. Стрельба слышалась оттуда. «Вот мы и дошли», — подумал Веретенников и вздохнул; он быстро взял в руки свою винтовку, сошел с дороги на обочину и, пригнувшись, пошел по направлению к машинам. Подойдя ближе, он увидел, что в кузовах машины стоят советские солдаты, у

каждого из них в руках винтовка, устремленная в небо, и солдаты стреляют вверх. Веретенников поднял глаза к темневшему небу, рассчитывая обнаружить в нем вражеский самолет, а солдаты на машинах что-то кричали и всё стреляли. И вдруг Петухов дрогнувшим голосом сказал:

— Война окончилась.

И сел на траву.

Почему-то это движение показалось всем очень естественным, и все, кроме Веретенникова, тоже сели, а некоторые даже легли на траву. Один только Веретенников стоял. Ему хотелось обнять всех людей подряд и болтать без умолку и в то же время хотелось уползти в лесную глушь и долго, несколько дней подряд, сидеть там в одиночестве.

I

Все остановилось. Вначале это ощущалось всеми так, словно остановилось само время, настолько люди привыкли к движению, к перемене мест, к стремлению вперед, на новые пространства. Время представлялось столь слитым с пространством, что казалось — минута, час, день, неделя суть не более как особая мера для километров. Между тем текли часы, шли дни и недели, а место не менялось. К этому новому состоянию привыкали медленно, и только постепенно из глаз выветривался угар непрерывного движения и в сердце остывала страсть перенапряженной жизни.

Капитан Чохов проснулся однажды летом в очень мягкой постели. Ему снилась атака на некий безымянный, покрытый снегом холм. Во сне он кричал до хрипоты «вперед, в атаку», а рядом рвались снаряды, снег, шипя, таял по краям воронок и кто-то стонал. Все во сне было настолько натуральным, лица людей так бледны и сосредоточены, сердце настолько сжато, — одним словом, все душевное состояние и приметы времени и места так походило на истинные, что Чохов, проснувшись в теплой и мягкой постели, не понял, где находится. Вдобавок раздался чистый и медленный бой больших часов, и Чохов решил, что он убит.

Но даже вспомнив, что он в немецком городе Виттенберге, на Эльбе, и война уже почти два месяца как окончилась, Чохов заметил, что его не оставляет смутное чувство какой-то большой тревоги. Постепенно до него дошла и причина этой тревоги: сегодня ему предстояло сдать роту. Более того, расформировывалась вся дивизия и, кажется, весь корпус, в состав которого дивизия входила. Пожилые солдаты уезжали домой, молодых надо было передать другим частям, а офицеры направлялись на специальные комиссии, решавшие, что делать с тем или иным: отпустить из армии или оставить в кадрах.

Чохов положительно не знал, что он будет делать, если его демобилизуют. Будущее вне армии казалось ему невозможным и тяжким, как наказание. Излишне независимый и даже несколько своевольный в привычных условиях армейской жизни, он, по правде говоря, страшился житейской самостоятельности. Принимать решения за себя,— то есть самому выбирать место, куда ехать, дело, которым заняться, создавать свой угол на земле,— все это пугало его. Он теперь думал об армейских строгостях и суровых уставных правилах, нередко стеснявших его раньше, с нежностью необыкновенной. «Выполнить приказ» — как привычно было это словосочетание, как убедителен был его смысл, избавлявший от необходимости строить собственные жизненные планы.

Оторванный годами войны от гражданской жизни и, собственно говоря, даже не вкусивший ее за молодостью лет, Чохов с легким презрением,— но и не без трепета,— думал о заботах насчет одежды, жилья, службы, уборки и стирки.

Чему научился он, Чохов, за время войны? Что он умеет? Что знает? Он умеет командовать людьми, добиваться от них выполнения своих приказаний. Он знает назубок все существующее в двух величайших армиях пехотное оружие.— станковые и ручные пулеметы, винтовки, автоматы, гранаты и противотанковые ружья. Он научился ориентироваться в кажущейся неразберихе боя, противопоставлять ей свою волю, более сильную, чем страх смерти. Он вообще отучился от страха, по крайней мере — от внешнего проявления страха. Коротко говоря, Чохов научился каждый день и каждую минуту быть готовым умереть за свою родину.

Но беда в том, что прекрасное и трудное умение это представлялось теперь Чохову никому не нужным. Молодой человек, искушенный в военном деле, но слабо знающий историю и политику, искренне полагал, что врагов больше нет. Хотя он и радовался этому, не без сомнения считая, что и он немало потруился для уничтожения врагов Советского Союза, но в то же время не мог себе представить, что делать дальше.

Снова пробили часы. Чохов насчитал шесть ударов и встал с постели. Именно не вскочил, как он это делал четыре года подряд, а встал — медленно, не спеша, как встают люди, которых не ждет никакое важное дело.

Окна были открыты, шторы на них раздувались, как паруса, и сквозь них пробивался утренний свет. Большая тихая спальня немецкого бюргерского дома предстала глазам Чохова. Он увидел бесчисленные статуэтки, низенькие пуфы, стенные коврики с вышитыми надписями, пузырьки и склянки на століке трюмо. Тем страннее выглядела здесь фуражка с красной звездой, пистолет, несколько наставлений в красных обложках и раскрытая книга — «Чапаев» Фурманова. Даже в воздухе этой комнаты все время боролись два запаха: один — застаре-

лый, терпкий, составленный из смутного благоухания туалетного мыла, детской присыпки, вытуженного семейного белья и пота трех поколений живших здесь людей, другой — новый, пронзительный — запах табака, ременной кожи, солдатского сукна и елочной хвои и тот долго не выветривающийся запах, который так хорошо знаком солдатам и охотникам, — запах по-роха.

Эти запахи, то смешиваясь, то отталкиваясь, попеременно побеждали то в одном, то в другом углу и, наконец, уступили место свежему и далекому от мировых проблем благоуханию хорошего летнего утра, бурно ворвавшегося в комнату.

Чохов распахнул шторы. Город лежал тихий, светлый и пустынный. Утреннюю тишину нарушало только громкое жужжание больших зеленых мух да редкое хлопанье форточек.

— Надо идти, — сказал Чохов.

Он оделся и вышел. Улицы еще спали. Лишь изредка на встречу Чохову попадались одинокие немцы и немки. Чохов не обращал на них никакого внимания. Он усвоил по отношению к ним полную и безусловную нейтральность. Они были для него всего только частью городского пейзажа, а сам город — очень древний, уютный и тихий — до сих пор рассматривался им не более, как населенный пункт, в котором временно дислоцируется полк и в его составе — вторая стрелковая рота. Город Мартина Лютера — Виттенберг — с его памятниками, надгробьями, собором, церквями, с воспоминаниями бурной истории и нынешней жизнью его — был для Чохова всего лишь небольшой частью военной топографической карты.

Чохов миновал древнюю ратушу, украшенные чугуной резьбой памятники немецким реформаторам шестнадцатого века, старинный Виттенбергский собор. Он смотрел на все это не менее равнодушно, чем эти старые камни смотрели на него. Во всем чуждом ему Виттенберге его интересовало одно только здание — та красная кирпичная казарма, где помещались солдаты.

Во дворе казармы было шумно, несмотря на ранний час. Солдаты — некоторые из них были еще без гимнастерок — перекликались, бегали, как угорелые, и, по всей видимости, радовались предстоящим большим и желанным переменам в их жизни. Они на ходу приветствовали так рано пожаловавшего капитана, который прошел по двору с подчеркнутой чопорностью, всем своим подтянутым, опрятным и неприступным видом как бы выражая неодобрение царившей кругом веселой суетлоке. Еле отвечая на приветствия, он проследовал неторопливым шагом в здание, поднялся на второй этаж в длинный гулкий коридор со сводчатыми потолками и остановился перед дверьми, за которыми жила его рота.

Нет, это была уже не его рота, и горечь разлуки пронзила сердце капитана. Разумеется, дневальный дал команду «смир-

но», все вскочили с мест, старшина Годунов молодецкато отрапортовал. Все шло по заведенному порядку, ничем в сущности не отличаясь от того, что было вчера и неделю назад. И все-таки все было иначе. Никто не спал, хотя подъем по расписанию полагался в семь часов; постели были заправлены чересчур старательно: так заправляют постель люди, которые не собираются уже спать на ней более; пожилые солдаты, подлежащие демобилизации, сгрудились в дальнем углу казармы, похожие на птиц, держащихся вместе перед отлетом. Чохов обвел солдат взглядом, которому он хотел придать суровость, но взгляд получился вовсе не суровый, а скорее грустный.

Он сказал «вольно». Солдаты ушли на утреннюю зарядку; потом они отправятся в столовую завтракать. В казарме остался только дневальный. Чохов тоже не уходил, бродил среди коек, словно чего-то искал. Потом он стал глядеть в окно — как всегда подтянутый, опрятный и непроницаемый, так что со стороны могло показаться, что он недаром здесь стоит, а о чем-то важном думает или наблюдает за чем-то, полагающимся по службе.

Командиры взводов опоздали на несколько минут — небрежность, которую Чохов терпеть не мог. Как видно, они сегодня сочли возможным не обращать на это внимания. Так как никаких изменений в распорядок дня не поступало, Чохов приказал им вести солдат на тактические занятия. Они немного удивились, однако построили солдат, и рота повзводно отправилась за город. Чохов же пошел в штаб батальона узнать, что делать дальше.

В штабе сидели одни писаря. Они писали длинные списки демобилизуемых. Чохов постоял здесь минут пять и пошел в штаб полка.

В штабе полка царила невообразимая суэта. Громовой голос командира полка подполковника Четверикова доносился из соседней комнаты. Там же, повидимому, находились и комбаты. В самой большой комнате распоряжался майор Мигаев. Его осаждали интенданты и старшины. Речь шла о подарках демобилизуемым солдатам. Только что получены мотоциклы, велосипеды и радиоприемники. Писаря сидели за столами и беспрерывно писали ведомости. Две пишущие машинки беспрестанно стучали.

— Где ваша рота? — внезапно спросил Мигаев, заметив Чохова.

Чохов ответил, вытянувшись и приложив руку к козырьку фуражки:

— На тактических занятиях, согласно расписанию. Тема: наступление стрелкового взвода на долговременную огневую точку противника.

Мигаев усмехнулся и сказал:

— Что ж! Правильно.— Потом добавил: — Не уходите. Мне надо с вами поговорить.

— Есть,— сказал Чохов и подошел к окну.

В комнату ввалились офицеры-артиллеристы из другой части. Мигаев сдал им по акту полковую артиллерию. Они вместе с Мигаевым и начальником артиллерии полка вышли во двор, и Чохов из окна увидел всю церемонию сдачи пушек и минометов. Большие тягачи цепляли пушки и минометы. Орудия были начищены до блеска; казалось, что они совсем новые. Только на стволах виднелись отметины, которыми пушкари отмечали количество подбитых вражеских танков, транспортеров, самоходок. Шоферы и артиллеристы курили, о чем-то разговаривали. Пожилой минометчик с двумя орденами Славы на груди ласково трогал большими узловатыми пальцами ствол своего миномета. Колонна артиллерии тронулась, наконец, в путь, а полковые артиллеристы, оставшиеся во дворе, долго махали ей руками, прощаясь, очевидно, навсегда со своим оружием.

Мигаев снова вошел в комнату. Шел он не так, как всегда,— быстро, вприпрыжку,— а медленно, торжественно. Следом за ним появился какой-то интендант, сообщивший, что он привез машины с сахаром, сыром и маслом — продуктовые посылки демобилизуемым.

— Так, значит,— сказал Мигаев, покосившись на Чохова,— масло вместо пушек.

Потом Мигаев опять куда-то ушел, за ним потянулись писаря, и Чохов на минуту остался совсем один в комнате штаба. В этот момент открылась одна из дверей и вошел командир полка Четвериков — со своей обычной кубанкой на голове, с кривыми ногами старого кавалериста. Он не заметил Чохова. Он подошел к окну и так же, как давеча Чохов, походил туда и обратно по комнате.

Чувствовалось, что ему нечего делать и что праздность эта удивляет и беспокоит его. Заметив, наконец, одинокого Чохова, он пристально посмотрел на него, на мгновение принял независимый и деловой вид человека, который о чем-то важном размышляет. Потом, видимо решив, что не к чему притворяться, или, может быть, уловив в глазах командира роты то же выражение, которое было и в его собственных глазах, он направился к нему, пожал его маленькую руку своей огромной жирной рукой (впервые за время совместной службы) и сказал:

— Отвоевались.

Слово было как слово, и не в нем была сила. Сила была в выражении глаз Четверикова. Он глядел на Чохова с нежностью, беспомощной потому, что она не могла ни в чем существенном выразиться.

Его позвали, и он тут же ушел. А Чохов, потеряв надежду дождаться Мигаева, покинул штаб и направился за город, туда, где находилась его рота.

Он подошел к своей роте в тот момент, когда солдаты расположились отдыхать. Они курили. Тонкие дымки сигарет подымались отвесно вверх,— ветра не было.

Остановившись в придорожных кустах, Чохов посмотрел на сидевших и лежавших в самых разнообразных позах солдат. Над ними неподвижно висела густая листва старых деревьев, не знакомых Чохову,— повидимому, буков. Но и эти деревья, и причудливые холмики, поросшие травой, и красная черепица крыш недалекого селения, и бледно-голубая полоса Эльбы недалеко — все это воспринималось Чоховым, но не фиксировалось в его голове. Внимание его было устремлено именно на людей в выцветших, почти белых гимнастерках. Он смотрел на них так, словно видел их впервые. Как всегда, парторг роты Сливенко был в центре оживленного беседующего кружка. Он что-то неторопливо говорил и время от времени рубил воздух коротким жестом правой руки. Чохов теперь глядел на него не бегло, не по-командирски, не так, как офицер рассматривает внешность одного из своих солдат, одним словом, не так, как смотрел на него раньше, а так, как один человек рассматривает другого. Он смотрел на него, как на незнакомца. Смуглое лицо, иссиня-черные усы, уютно примостившаяся под ними маленькая трубочка, добрые и спокойные глаза — все это, казалось Чохову, он видит впервые. «Красивый человек»,— подумал Чохов. Он никогда раньше не думал о каком-нибудь своем солдате вот так, сугубо по-граждански. Ему очень захотелось узнать, о чем рассказывает Сливенко солдатам. «Наверно, о мирном строительстве»,— догадался он, усмехнувшись не без некоторого ревнивого чувства.

Перерыв между тем кончился. Солдаты неторопливо встали, рассыпались в цепь и начали лениво перебегать. Командиры взводов, три молодых лейтенанта, недавно прибывших в полк, так же неторопливо шли — во весь рост — вслед за солдатами; туго набитые полевые сумки тяжело болтались на их боках. Чохов недовольно поморщился.

— Так и убить могут,— пробормотал он, недовольный забвением известного суворовского правила: «В учебе, как в бою».

Его заметили. Лейтенанты подошли к нему. Он коротко велел демобилизованных построить отдельно и вести их в казарму.

Пожилые солдаты покинули боевые порядки и, отряхнув с одежды приклеившиеся травинки и пыль германской земли, пошли к Чохову, не видя его. Они улыбались. Об этом миге они мечтали много недель, хотя ждали терпеливо и в полной готовности продолжать свою службу и дальше, если это

понадобилось бы. Нет, они вовсе не переживали своей предстоящей разлуки с командиром роты капитаном Чоховым и со своими насквозь просоленными, побелевшими от пота и дождя гимнастерками. Их ожидали в России семьи и труды, прерванные в то знаменитое июньское воскресенье 1941 года. Они построились и пошли обратно в город, пошли без песни, потому что уже принадлежали не армии, а своей частной жизни,— то есть они перешли из одной армии в другую, гораздо более обширную, в армию просто трудящихся людей.

В час дня на станцию Виттенберг были поданы эшелоны. Чохов, пришедший провожать солдат, молча стоял на перроне. Солдаты погрузились. Сливенко, назначенный помощником начальника эшелона, был все время занят погрузкой и уже перед самым отходом поезда подбежал к Чохову. Они молча пожали друг другу руки. Чохову хотелось что-то говорить, даже кричать: ему жалко было отпускать Сливенко — не от себя, а из армии. «Каких людей забирают из армии», — думал Чохов, для которого армия была превыше всего. А когда он увидел, что у Сливенко увлажнились глаза, он ощутил внезапный жар в груди и впервые в жизни почувствовал, что может заплакать.

Поезд трогался. Сливенко обнял капитана крепким и кратким объятием и полез в вагон. Чохов же повернулся на каблучках и пошел, не разбирая дороги, в город.

Вечером того же дня уехали и старшина Годунов, и сержант Гогоберидзе, и остальные. Они направлялись в распоряжение третьей ударной армии. Расставание с Годуновым было не столь печальным потому, что старшина как-никак оставался в армии, а переход из части в часть был в порядке вещей. Это как бы даже и не было расставанием, а обычным воинским перемещением. Все-таки Годунов и Чохов долго стояли возле машины под начавшимся к вечеру дождем. Правда, они ничего друг другу не говорили, но думали одно и то же, и каждый про себя вспоминал прошедшие бои, которые, канув в вечность, казались теперь еще более великими и более героическими, чем, может быть, были на самом деле.

Так или иначе, но после сдачи роты и отъезда солдат Чохов почувствовал себя совсем разбитым. Словно огромная волна, на гребне которой он долго плыл, вдруг отхлынула куда-то вдалеку и оставила его на мокром песке.

Он сидел в комнате, не зажигая света. За этот долгий день он так уверовал в свое одиночество, в то, что он никому не нужен, что с трудом скрыл удивление и радость, когда поздно вечером к нему неожиданно явились майоры Мигаев и Весельчаков.

Пришли они не потому, что подозревали о его состоянии. Теперь, когда распались служебные отношения и офицеры превратились из винтиков одной большой машины в индивиду-

альности, — каждый сам по себе, — одного потянуло к другому, и именно к тому, который и раньше казался интересным и занятным, но не было времени с ним общаться вне службы.

Комната ярко осветилась. Мигаев спел только что перепи-санную им песню «В прифронтовом лесу». У него был превосходный голос, чему Чохов несколько удивился, так как такой талант представлялся ему мало соответствующим должности начальника штаба полка. Потом все трое пошли к Четверикову. Неприступный, суровый, грубоватый Четвериков неожиданно оказался приветливым, гостеприимным и даже немножко смешным. Может быть, потому, что был теперь почти на одинаковом положении с остальными офицерами — «нули без палочек», как с усмешкой называл их всех Мигаев. Они выпили, поужинали, и в ходе разговора выяснилось, что Четвериков очень высоко ценил Чохова, хотя ни разу об этом ему раньше не говорил.

На следующий день офицеры отправились в Потсдам, в отдел кадров. Поезда в это время уже возобновили регулярное движение, и все отправились на вокзал.

Здесьние поезда дальнего следования выглядели как дачные и походили на трамвай — лежачих мест не было, поразительно маленькие вагоны имели не по две двери, а по несколько с обеих сторон: каждое купе вагона — свою дверь со своими ступеньками.

Поездка по железной дороге была вообще для офицеров непривычна: воюя, двигались главным образом пешком, на машинах или верхом. Тем более на немецкой железной дороге, с иностранными надписями, с раскрашенными в яркие цвета станционными зданиями, с узкой колеей, все представлялось особенно странным, почти игрушечным. Железнодорожники тоже были немцы, что казалось вовсе неправдоподобным. Чохов впервые почувствовал себя здесь «за границей». Конечно, играло тут роль и то обстоятельство, что он находился не в составе воинской части, а сам по себе, и был в конечном счете не более как пассажиром.

Как правило, у офицеров было по два чемодана. Только Чохов пришел с одним маленьким чемоданчиком, притом фанерным, грубо сколоченным, повидимому самодельным. Это было все, что Чохов приобрел за годы войны, и надо сказать, что Четвериков, погрузивши свои три чемодана, посмотрел на чемоданчик Чохова с тем уважением, какое вызывается даже у корыстных людей бескорыстием и равнодушием к собственности.

Заняв места в одном из вагонов, предназначенном для советских военнослужащих, что явствовало из прикрепленного к нему ярлычка на русском и немецком языках, офицеры сформированного полка закурили. Поезд вскоре тронулся.

Чохов глядел в окно. Разговаривать ему не хотелось. Люди рядом с ним смеялись, пели, обменивались впечатлениями о

Германии, о немцах, рассказывали о полученных в последние дни письмах с родины. Чохову все это было неинтересно, у него не было родных и близких, а последние родные ему люди — солдаты — вчера разъехались кто куда. Он мог только мечтать о том, чтобы заполучить других солдат. Он чувствовал, что теперь он будет их ценить гораздо больше, чем ценил раньше. Он мечтал увидеть перед собой строй незнакомых людей в серых шинелях, которым он мог бы отдать приобретенное им умение и ту нежность, которая жила в нем глубоко под спудом.

При взгляде на кишевших кругом немцев и немок он протодушно огорчился их мирным видом. Он с недоумением спрашивал себя: «Неужели эти люди воевали против нас и воевали так упорно?» Он считал, что они больше никогда не подымутся и не посмеют сделать что-либо такое, из-за чего стоило бы держать под ружьем армию, а значит, и его, Чохова.

Странно было смотреть, как немцы ходят по перронам маленьких станций, тащат баулы и саквояжи, взбираются по ступенькам в вагоны и покидают их, чтобы разойтись по своим домам. Странно было смотреть на эту особую жизнь, которая все-таки шла своим чередом, вопреки всем потрясениям войны и оккупации.

Удивительнее всего было слышать свободно раздающуюся, повсеместно бытующую немецкую речь — тот язык, который за войну сделался ненавистным в немалой степени еще и потому, что до войны был из всех иностранных языков наиболее уважаемым и изучаемым в России.

Можно было догадываться о том, что немцы и немки живут жизнью настороженной, тревожной, не зная, что их ожидает завтра и во что выльется пребывание здесь, — на станциях, в городах и селах, — этих, довольно молчаливых, пристально наблюдающих чужих русских людей. Еще шли слухи о выселении всех немцев в Сибирь, о принудительных работах, на которые было якобы обречено все население этих мест, о зоне пустыни, которую русские собираются будто бы создать здесь по тому же способу, по какому действовали немецкие войска на русской территории.

Они глядели на советских офицеров с некоторым страхом, но не без пытливости, словно хотели прочесть в глазах русских людей свою грядущую судьбу. Но русские проходили и проезжали мимо них, как бы существуя в ином измерении: это были два мира, две атмосферы, каждая из которых жила своей отдельной, резко обособленной жизнью.

Между тем поезд двигался по лесистым равнинам, маленький вагончик невыносимо трясло, голоса гудели. Темнело все больше.

В Берлин приехали к вечеру и с вокзала на попутных машинах отправились в Потсдам.

Прибывших офицеров разместили в домах, прикрепили к столовой и оставили в покое. Казалось, никто отныне не интересовался ими. Их не вызывали и не торопились назначать на должности. Понаехало их сюда очень много, и вся окраина города кишела молодыми людьми в кителях с погонями и эмблемами всех родов войск. Медали позвякивали на них. Бесчисленное множество разнообразнейших лиц ежедневно мелькало мимо Чохова во время его коротких хождений от дома, где он расположился, до отдела кадров и обратно. Изредка встречались и знакомые, но их было очень мало.

Вскоре многие офицеры взяли краткосрочные отпуска на несколько дней. Весельчаков уехал в медсанбат к своей жене Глаше, Мигаев — к фронтовым друзьям-сталинградцам, в Восьмую гвардейскую армию. Четвериков тоже вскоре исчез — повидимому, отправился к своему брату-генералу, во Вторую танковую армию. Города по привычке не назывались, а назывались номера воинских частей; Германия еще не ощущалась офицерами, как таковая, а только лишь как место дислокации полков, дивизий и армий.

Чохову стало совсем одиноко. Поселили его в небольшом домике, в комнате, где стояли две койки. Вторая койка была несомненно кем-то занята — под ней лежал чемодан, над ней висела шинель с капитанскими погонями. Однако Чохов жил тут пять дней, а сосед все не появлялся. Он впервые появился только на шестой день и то часа в четыре утра. Чохов проснулся от того, что услышал стук захлопываемой двери. Открыв глаза, он заметил сразу, что соседская шинель исчезла со стены. Позднее он увидел на столике записку, написанную размашистым неровным почерком. Она гласила:

«Капитан, прошу не волноваться. Я забрал свою шинель. Спокойного сна. У меня в тумбочке пол-литра немецкого ликера, можешь пользоваться, не возражаю. Капитан Воробейцев».

Чохов усмехнулся, оделся, пошел завтракать, потом направился опять, как ежедневно, в отдел кадров. Он здесь снова потолкался среди офицеров. Сегодня их тут было особенно много, главным образом подполковников и полковников. Время от времени появлялся даже генерал, а то и два сразу. Это обилие больших начальников, ждущих, как и он, Чохов, назначения, заставило нашего капитана почувствовать себя совсем маленьким человеком. Если в полку он все-таки был видным офицером, одним из тех отчаянных ребят, каких не так уж много бывает в любом полку, то здесь он вскоре перешел от повышенного самоуважения к столь же преувеличенному самоуничижению.

Добро бы у него хватало смелости подойти к какому-нибудь из офицеров отдела кадров и настойчиво поговорить с

ним! Но дело в том, что, убедившись в своей малости, он из чувства робости, смешанного с самолюбием, ни у кого ни о чем не спрашивал, а только смотрел глазами, полными грусти, на столы с бумагами, картотеками, ведомостями, на сердитые за-тылки кадровиков. Потом он уходил.

На этот раз он пошел бродить по Потсдаму. Город был сильно разрушен американскими бомбежками. Не следует думать, что Чохов интересовался достопримечательностями старой прусской столицы, — нет, он глядел на дворцы, соборы, парки с полным безразличием. Город он осматривал только с точки зрения участника прошедших здесь боев. Он вспоминал отдельные эпизоды этих боев. Вот здесь его рота форсировала озеро. Справа, в этих двух подвалах, засели фаустпатронники. В этом дворце стоял штаб дивизии. Повидимому, вот здесь, на газоне — теперь очень густом, с удобными скамейками вокруг, — был убит солдат Кучерявенко.

Чохов довольно долго смотрел на этот газон. На одной из скамеек сидела одна очень старая немка и ловко вязала на длинных спицах что-то — может быть, чулок.

Город кончился, и началось то, что Чохов именовал «лесонасаждениями» — то есть попросту говоря, рощи и леса. Он вспомнил, что здесь где-то рота окапывалась, но, несмотря на короткое время, прошедшее с той поры, никак не мог найти окопы и долго искал их неизвестно зачем. Наконец, он их нашел — они густо заросли травой и были почти незаметны. Чохов испытал неопределенное удовольствие, когда влез в один из них — и именно в тот самый, который он и занимал тогда. Слева находилась санрота, и он кричал из своего окопчика, чтобы она убиралась отсюда, так как ей тут не место — она демаскирует расположение роты. Затем появились наши танки «Т-34», сбившие здесь немало молодых деревьев. Он тогда пошел к командиру танкового батальона, и они договорились о том, что рота сядет на танки.

Теперь лесок стоял чистенький и гладенький. От сбитых танками деревьев не осталось и следа, даже пеньков не осталось — наверно, немцы спилили их на топливо.

Немного дальше в лесу играли дети. Они перекликались и ловили друг друга. При виде Чохова они остановились на минуту, потом забегали снова. И Чохов только теперь понял, что это немецкие дети, потому что сначала он принял их просто за детей — скажем, за русских детей. Он вспомнил, что однажды в бою, — может быть, это было здесь, а может быть, где-то в другом месте, — он встретил немецких детей, которые укрылись в яме возле глухой стены небольшого дома. Увидев Чохова, — он тогда брос и на руке его был окровавленный бинт, — они подняли на него очень испуганные круглые глаза и один, самый маленький мальчик, спрятал лицо и заплакал. Чохов прошел тогда мимо, не обратив на них особого внимания, хотя

плач этого маленького ребенка чем-то и задел его; они, дети в яме, были обыкновенной военной картиной; он видел детей в ямах четыре года подряд.

Нынешнее поведение детей поразило Чохова своим контрастом с прошлым. Он остановился и некоторое время смотрел на то, как они резвятся, ловят друг друга и визжат.

Он пошел дальше. Становилось все пустынное, все глуше. Темная и буйная зелень напирала со всех сторон. Над дорогой смыкались верхушки лип с очень крупными листьями, почти с кленовые величиной.

Хотя кругом не было ни души, но Чохов шел, как всегда, четким солдатским шагом, подтянутый и строгий, словно на виду у множества людей. Потом он вдруг подумал, что хорошо бы прилечь на траву и поваляться на ней. Эта мысль показалась ему немножко дикой и попросту трудно исполнимой, потому что он отвык от отроческих поступков и забав, вынужденный в течение нескольких лет оставаться серьезным в этих более чем серьезных обстоятельствах. Тем не менее он сел на траву. Она была высокая и прохладная. Он огляделся, потом лег. Тут он увидел над собой дрожащую и пронизанную солнцем листву. Казалось, она не имеет ни конца, ни края, уходит и ввысь до неба и в стороны до горизонта. Каждый листок дрожал, светился, жил сам по себе, но в то же время было заметно, что он принадлежит к целому сообществу других листьев, и это сообщество, эта ветвь тоже имеет свою отдельную жизнь, отдельную дрожь и особое свечение. Эта ветвь чем-то иногда неуловимым, то темным тенистым прогалом, то, напротив, особо яркой протокой солнечных лучей, отделялась от других ветвей, от других сообществ, каждое из которых в свою очередь жило своей жизнью, в то же время полностью разделяя роскошную, трепетную жизнь всего дерева.

Чохов медленно встал, воспоминания детства оглушили его. Он подошел к дереву, неожиданно для себя самого ухватился руками за нижний сук, подтянулся и через секунду очутился среди листвы. Листва окружала его, нежно царапала лицо, а он взбирался все выше, потом уселся на ветку и замер. Рядом с ним опустился зеленый жук. Опустился и сразу же ослепительно засверкал, поймав спиной луч солнца.

Откуда-то появились голуби. Они покружились вокруг дерева, потом сели на одну из веток и засемили по ней, грациозно помахивая шейками и время от времени поворачивая к Чохову чудесно посаженные головки.

Потом внезапно затрещали крылья, голуби взлетели высоко в небо. И Чохов, следя за их полетом, впервые за последние годы посмотрел на небо просто как на небо, — так же, как на днях он смотрел на своих солдат просто как на людей, — а не на такое бездонное пространство, за которым надо следить,

ибо оттуда в любую минуту может появиться враг. Стрекозы удивительной расцветки трепетали крыльями в солнечных лучах.

Может быть, тут сыграли роль эти голуби: Чохов был в детстве страстным голубятником. Так или иначе, ощущение мирного времени обрушилось на Чохова со всей небывалой раньше убедительностью.

— Мир,— сказал Чохов.— Мир,— повторил он громче. От повторения слово вскоре потеряло свой смысл, но ощущение осталось. Однако раздавшийся неподалеку властный гул автомобильной сирены вдруг напомнил Чохову, кто он и где находится. Чохов быстро соскользнул вниз, встал под дерево и только успел принять приличествующий офицеру благообразный и серьезный вид, как показались два автомобиля-тягача. Они остановились, и из переднего высунулся майор, спросивший у Чохова дорогу на Гельтов.

— Прямо,— ответил Чохов.— Никуда не сворачивайте.

Голос его уже звучал размеренно и спокойно. Он откозырял майору. Когда машины проехали, Чохов сердито посмотрел вверх на дерево, враждебно покосился на вьющихся стрекоз и, мысленно обругав себя за детские забавы, пустился в обратный путь.

Снова придя в отдел кадров, он примостился там в углу и, хотя рядом стояли стулья, не садился, так как сюда то и дело входили люди высоких званий. Чохов же, как человек, имевший свои принципы, обязательно вставал при входе всех офицеров от майора и выше. В этом вставании было не столько уважение к этим людям, как таковым, сколько уважение к мундиру и, может быть, еще демонстративный упрек всему миру в том, что Чохов так долго засиделся в капитанах. «Дескать, я, конечно, встану и первый отдам честь любому майору, хотя (и именно потому что) мне давно полагается самому быть майором».

Но так как вскакивать каждую минуту перед майорами тоже было не очень интересно, то он и не садился вовсе.

Теперь, к концу дня, людей стало меньше, дверь открывалась все реже. Наконец, народу стало совсем мало, и Чохов почти решился подойти к одному из работников отдела, некоему майору Хлябину, который, как говорили, ведал «мелкой сошкой». В этот момент дверь распахнулась и в комнату широкими шагами вошел капитан. Он был высок ростом, худощав, одет с иголочки — в защитном кителе и синих галифе с малиновыми кантами. На его боку болтался не без шика большой авиационный планшет. Его бледное, мучнистого цвета лицо, прямые светложелтые волосы и маленькие глазки в глубоких глазницах показались Чохову знакомыми и неприятными.

Щеголеватый капитан со многими офицерами был знаком, совал всем руку. С офицерами же отдела кадров он вел себя

совсем запанибрата, нагибаясь над их столами и шепча что-то на ухо то одному, то другому. Майора Хлябина он даже хлопнул по спине.

Нельзя сказать, чтобы эти нашептывания и развязные манеры очень нравились окружающим, но в капитане чувствовалось то неуважение к людям, которое действует на них расслабляюще и встречает отпор только в людях очень волевых или очень нервных или, наконец, в прямых начальниках, имеющих непререкаемое право его одернуть, поставить на место. Обыкновенных людей эта развязность обезоруживает. Люди чувствуют в таком человеке или угадывают в опасных огоньках, время от времени загорающихся в его глазах, ту не знающую преград самоуверенность, которая может в любую минуту обернуться невыносимым озорством.

Чохов, который сам был нелюдим и, несмотря на свою независимость или благодаря ей, робел перед людьми и трудно сходился с ними, почувствовал к вошедшему капитану мимолетную антипатию, но в то же время и некоторую зависть. Он позавидовал именно развязности вошедшего, именно его легкости в обращении с людьми, которой Чохов был лишен и из-за отсутствия которой,— так по крайней мере думал Чохов,— он до сих пор не получил назначения.

Сидевшие рядом офицеры разговаривали о том, что комиссия весьма охотно отпускает из армии тех, кто хочет демобилизоваться, тех, в ком, по характеру их довоенной деятельности, нуждается народное хозяйство, а также пожилых, больных и таких, что были на плохом счету и имели неважные характеристики. Прислушиваясь к этим разговорам, Чохов, естественно, воображал себя в последней из граф и хмуρο сжимал губы. Он вздрогнул от неожиданности, когда шеголеватый капитан вдруг остановился возле него и громко воскликнул:

— Привет соседу! Я тебя узнал, хотя видел только спищим. Ждешь у моря погоды, капитан? Будем знакомы. Капитан Воробейцев.

Чохов буркнул в ответ что-то непонятное, не очень довольный обращением к нему на «ты» и вообще всей манерой Воробейцева. Но Воробейцев как будто и не заметил хмурого выражения лица Чохова и продолжал:

— Я тебя и раньше где-то видел. Не у старичка ли Середы ты служил? Определенно. У Четверикова в полку? Точно. Меня не помнишь? Девичья память. Я был в штабе дивизии младшим помощником старшего холуя, а именно — из резерва был прикомандирован к оперативному отделению. Ты чем командовал? Ротой? Стрелковой? И жив остался?

Его кто-то позвал, и он исчез. И исчез именно в той таинственной и страшной двери, за которой заседала комиссия. Чохов невольно преисполнился уважения к нему, но когда капитан появился снова, Чохов отвернулся к окну — из самолюбия: он

боялся, чтобы этот молодчик не подумал часом, что Чохов хоть сколько-нибудь стремится завязать с ним знакомство и способен просить у него помощи и покровительства. Но как ни странно, Воробейцев снова подошел именно к Чохову. Видимо, молчаливый капитан чем-то понравился говорливому капитану.

— Ликер выпил? — спросил Воробейцев. — Не выпил? Зря. Все в общежитии живешь? Не надоело еще? Как твоя фамилия? Птенец ты, Чохов, определенно! Ты все еще как на войне. Ком а ла гер¹, как говорил Дюма-отец, обнимая Дюма-мать!

Совершив этот неожиданный экскурс во французскую литературу, Воробейцев опять исчез и спустя несколько минут снова появился перед Чоховым. Он постоял с минуту молча, закурил сигарету, поглядел в окно. В профиль его лицо оказалось совсем другим. Неправильный, чуть кривой нос к концу заострялся. Одутловатая щека чуть свисала. Профиль его казался усталым, меланхолическим, сонным, в то время как анфас — энергичным и дерзким. Он повернулся всем лицом к Чохову и, поблескивая глазками, насмешливо спросил:

— Значит, ждешь назначения? Хочешь, устрою?

— Устрой, — сказал Чохов смутившись. Смутился он потому, что сразу почувствовал, что должен был бы резко оборвать Воробейцева и во всяком случае не входить с ним в разговоры на эту тему. Но страх перед будущей судьбой оказался сильнее обычного прямотушия Чохова.

IV

И все-таки Чохову стало так не по себе от этого разговора, что он при первой же возможности юркнул в дверь и вышел на улицу. Он остановился в раздумье, потом двинулся по направлению к месту своего жилья. Но Воробейцев, выйдя вслед за ним, окликнул его. Чохов снова удивился, по какой такой причине его скромная персона так заинтересовала разбитного капитана. Поровнявшись с Чоховым, Воробейцев сказал даже несколько обиженно:

— Ты чего сбежал? Поедем ко мне.

Рядом на тротуаре стоял маленький, низко посаженный автомобиль австрийской марки «штейр» — неуклюжий, горбатый, прозванный «горбылем». Воробейцев отпер дверцу и уселся за руль, пригласив Чохова сесть рядом. «Ох ты, черт, и машину свою имеет, генерал какой!» — поразился Чохов, но ничего не сказал.

Сидя за рулем, Воробейцев то и дело косился на молчаливого Чохова, видимо ожидая, что тот продолжит

¹ Как на войне (франц.).

начатый в отделе кадров разговор. Но Чохов молчал, глядя перед собой в окно. Наконец, Воробейцев не выдержал и заговорил сам:

— Когда тебя вызовут на комиссию, просись на работу в Советскую Военную Администрацию. А я переговорю с кем надо. Поживешь в Германии... Житуха здесь будет правильная. Немцы народ напуганный, услужливый. А немки...

Он ухмыльнулся и снова покосился на Чохова. Чохов молчал.

Миновав мост, они очутились в пригороде, называвшемся Бабельсберг. Здесь в одном из тихих переулков Воробейцев опять заставил свою машину перебраться на тротуар и, чуть не задавив старика немца, остановился возле окаймленного чугунной оградой палисадничка. За цветами и кустами сирени, за слонившими ограду, виднелась островерхая крыша небольшого дома с красным флюгером на коньке.

Воробейцев покосился на Чохова, но лицо капитана по-прежнему оставалось непроницаемо спокойным. В доме было тихо, и обставлен он был красиво, даже роскошно. Видимо, тут раньше жили очень богатые люди. Но если Воробейцев думал поразить Чохова своим жильем, то он не добился цели. Чохов поднялся вместе с ним на второй этаж по широкой, устланной дорожками лестнице, не глядя по сторонам и не обращая никакого внимания ни на мебель красного дерева с позолотой по краям, ни на оленьи и лосиные рога, развешанные по стенам, ни на пол, сложенный из необычайно красивого замысловатого паркета, ни на стеклянный потолок верхнего вестибюля.

Они прошли одну комнату, другую и очутились в огромной светлой комнате с распахнутой дверью на террасу. В комнате стоял большой стол, уже накрытый к обеду. Две немки служанки при виде Воробейцева присели, что-то прошептали и исчезли.

— Живем — хлеб жуем, — сказал Воробейцев, сопровождая свои слова широким жестом правой руки, охватившим и стол, и картины на стенах, и белый рояль, и шикарный торшер у изголовья широченной тахты, и все прочее в этой комнате.

Но Чохов уже был на террасе. Он скрутил цыгарку махорки, закурил и сказал:

— Выпрут тебя отсюда.

Воробейцев сощурил глаза.

— Кто выпрет? Немцы, что ли?

— Наши выпрут, — сказал Чохов.

Лицо Воробейцева неожиданно побелело. Он засмеялся неестественным смехом, потом перестал смеяться и проговорил сквозь зубы:

— Выпереть — это наши умеют. А в чем дело? Четыре года воевали, пожили под елками. Теперь пора приличнее пожить.

Как подобает офицерскому корпусу. Чтоб не стыдно было перед союзниками и перед всем миром. Посмотрел бы ты, как американцы живут. Будь спокоен. У нас про демократию толкуют — а в самом деле? Что генералу можно, то лейтенанту нельзя. А у них все равно, кто и как — что взял, то твое...

Чохов несколько удивился горячности Воробейцева. Воробейцев тоже как бы опомнился и, желая загладить впечатление от своих слов, сказал:

— Птенец ты, Чохов. Определенно! Ладно, пока живем — будем жить на полную катушку!

Вскоре в комнату вошел майор Хлябин из отдела кадров. Войдя, он кинул на белый рояль свой серый мышинного цвета плащ и впился глазами в Чохова.

— Свой парень, сослуживец,— поспешил успокоить его Воробейцев. Сели за стол. Чохов впервые в жизни хлебнул сладкого, но чрезвычайно крепкого ликера и захмелел с непривычки. Он чувствовал себя в обществе Воробейцева и Хлябина нехорошо, ему не нравились их перемигивания, перешептывания, какие-то намеки в разговоре на происшествия, о которых Чохов ничего не знал, а также частые упоминания немецких женских имен, которые они произносили, прищелкивая языком. Хлябин, который у себя в отделе кадров был немногоречив, сух и строг, здесь беспрерывно ругался, сквернословил. Воробейцева он называл «доставала», но не скрывал своего восхищения им, его остротами и какими-то его поступками, о которых часто вспоминал, хохоча.

Чохов все время молчал. Вначале собутыльники пытались втянуть его в свою беседу, но потом махнули рукой и оставили в покое. Наконец, Воробейцев, нагнувшись к Хлябину, заговорил о Чохове. Воробейцев говорил вкрадчиво и настойчиво. Хлябин сразу стал так же немногоречив и сух, как в отделе кадров, но потом смягчился и спросил у Чохова:

— А ты куда хочешь?

— Никуда,— сказал Чохов.

Хлябин растерялся:

— То есть как так — никуда? Хочешь назначение получить?

— Нет,— сказал Чохов.

Воробейцев широко раскрыл глаза, потом коротко захохотал, наконец сказал обиженно:

— Ты чего дурака валяешь? Спрашивают тебя по-человечески — на какую должность хочешь поступить. В Администрацию, правда?

Чохов враждебно сверкнул глазами, но ответил спокойно:

— Демобилизоваться хочу.

— Это-то мы тебе мигом устроим,— сказал Хлябин.

Стало тихо. И вдруг оба рассердились — и Хлябин и Воробейцев. В их злобе не было никакой логики — в конечном счете

Чохов, может быть, действительно желал демобилизоваться, что ни в какой мере не могло никого удивить. И тем не менее они расшвирились, словно он их обманул, поставил в какое-то ложное, неловкое положение. Его отказ от их содействия как бы против его воли выставлял все их поведение в неблагоприятном свете. Они оба разом заговорили. Воробейцев упрямо упрямился Чохова «не дурачиться и сказать, куда он хочет», а Хлябин кипятился, сквернословил и, наконец, буркнул: «Строит из себя, дерьмо...»

Чохов побледнел, медленно встал, взял из тарелки теплую котлету, не спеша поднес ее к лицу Хлябина и, прежде чем тот успел что-нибудь сказать, растер ее по его красному лицу. Потом он повернулся к двери и медленными, не совсем твердыми шагами вышел из комнаты, спустился вниз по лестнице, миновал двор и очутился на улице.

Было уже темно, и улица благоухала липовым цветом. Чохов шел и чувствовал себя предельно несчастным, обреченным человеком. Теперь он уже не понимал, почему поступил так, как поступил, и относил свои поступки и слова за счет густого и сладкого напитка, ошеломившего его своей неожиданной крепостью. Он не видел никаких оснований для своей внезапной строптивости и ярости там, у Воробейцева. Теперь он уже не мог себе представить, что его вывели из равновесия белый рояль, голубая тахта, замысловатый рисунок паркета и на этом фоне возможность просто устраивать кого-то, полужнакомого человека с неизвестным личным делом, характером, биографией на какую-то службу, на которую, быть может, имеет право совсем другой человек. Эти мотивы теперь не приходили ему в голову, и он относил все за счет своего безобразного, неуживчивого характера, разыгравшегося с особенной силой после ликера.

Он не знал дороги и никак не мог выпутаться из незнакомых переулков и улиц. Но ему было безразлично. Он шел куда глаза глядят, рисуя в своем воображении страшные последствия сегодняшних необдуманных и глупых поступков. Когда же он вспомнил эту злосчастную котлету и дикие глаза Хлябина в тот момент, он даже застонал от горя.

Наконец, он все-таки выбрался к мосту. Все кругом было тихо. Слева чернели развалины потсдамского вокзала — нагромождение камня, изуродованных вагонов, обугленных зданий. Несмотря на то, что война давно кончилась и светомаскировка была отменена, городские дома стояли темные, почти без единого светлого окна. Чохов все шел и шел, пока не остановился перед домиком, где жил.

«Повидаться бы с Лубенцовым», — подумал он вдруг, и это свидание показалось ему очень важным. Он вдруг представил себе ясные глаза гвардии майора, услышал его высокую

быструю речь, увидел его резкие осмысленные движения, его небольшие выразительные руки — быстрые, никогда не находящиеся в покое. Он затосковал по гвардии майору почти так, как тоскуют по любимой девушке. От Весельчакова он знал, что Лубенцов находится в госпитале в районе Беелитц, где-то южнее Берлина.

Твердо решив повидаться с ним, он, немного успокоенный, вошел в дом, зажег свет, разделся и растянулся на своей койке, покосившись на соседнюю койку, которая стояла, как всегда, холодная, прибранная и пустая. Под ней, как и прежде, стоял запыленный фибровый чемодан.

Вскоре Чохов заснул, но спал беспокойно. Утром он проснулся от того, что кто-то теребил его за руку. Перед ним стоял Воробейцев.

Чохов смутился, хотел пробормотать извинение, но Воробейцев не дал ему вымолвить слова, вдруг громко захохотал и восхищенно, прерывая свои слова хохотом, заговорил:

— Ну и здорово же ты его... Ха-ха-ха... Котлетой по морде... Не ожидал я, что ты... Ты бы на него посмотрел. Он был хорош... ха-ха-ха... с котлетой на харе...

Видимо, Воробейцев испытывал полное удовольствие. Это обстоятельство удивило Чохова. Вообще он не мог никак уловить мотивов поведения Воробейцева. Может быть, Воробейцеву просто было скучно и он искал новых впечатлений. Чохов не больно привык анализировать чужие души — ему хватало хлопот со своей собственной душой, но тут он почувствовал нечто жалкое в этом прохождении Воробейцева. Воробейцев смеялся над своим дружкой Хлябиным и восхищался озорным поступком Чохова потому, что Чохов созорничал себе во вред — то есть сделал то, чего не мог бы сделать Воробейцев.

— А он тебе может здорово напортить, — перешел на полусшепот Воробейцев, потом снова расхохотался и сказал: — Ты бы на него посмотрел...

Чохов молча оделся. Воробейцев между тем достал из тумбочки бутылку ликера зеленого цвета и стакан, откупорил бутылку, налил полстакана и протянул Чохову. Тот отрицательно помотал головой. Воробейцев выпил один, лег в одежде на свою койку, закурил сигарету, потом повернул голову к Чохову и спросил:

— Ты что — в самом деле хочешь демобилизоваться?

— Как прикажут, — сказал Чохов.

Он надел шинель. Воробейцев встрепенулся:

— Ты куда собрался?

— В Беелитц, — сказал Чохов.

— Зачем?

— Там Лубенцов в госпитале.

— Это какой? Разведчик?

— Он самый.

Лицо Воробейцева приняло задумчивое выражение.

— А что, ты с ним хорошо знаком?

— Да.

— Ничего парень.— Воробейцев помолчал, затем продолжал раздумчиво: — Ну и везло ему здорово. Счастливчик. Бывают такие счастливики — повезет им, а кругом все ахают: искусник, образцовый офицер, храбрый, умный. Талант! А он ходит, как икона. Он как будто и симпатичный и свой парень, а это все притворство. Так просто слова не скажет, а все думает: удивляйтесь, смотрите, какой я образцовый. Приказы выполняю, забочусь о подчиненных — конечно, насколько это рекомендуется уставом, ни больше, ни меньше. А если что-нибудь не по его — так он тебя отбреет не хуже жандарма.

— Дурак,— сказал Чохов.

— Э, нет, он не дурак, он далеко не дурак...

— Ты дурак,— сказал Чохов.

Он застегнул ремень на шинели и направился к выходу.

— Подожди, и я с тобой поеду,— внезапно сказал Воробейцев.— Поедем на моей машине.

Чохов удивился, но промолчал. Возле дома — как всегда на тротуаре — стоял «горбыль» Воробейцева.

Они миновали Потсдам, переехали мост и вскоре очутились на большой дороге.

— У меня в планшете карта-двухсотка,— сказал Воробейцев.— Возьми и следи за дорогой.

Чохов взял карту. Дорога шла все время по лесу — на карте, как и в действительности. Лес обступил дорогу с обеих сторон. Правильные длинные просеки разрезали на квадратики этот чистый, высаженный человеческими руками лес.

За деревней Михендорф они увидели над собой огромный мост.

— Это над нами проходит автострада,— сказал Воробейцев.— Хочешь посмотреть?

Они въехали на автостраду. По ней шли танки, орудия и пехота.

Чохов вышел из машины и глазами, полными восхищения, глазами зачарованными и восторженными, смотрел на проходящие мимо воинские части. Чохов испытывал самую настоящую зависть к лейтенантам и капитанам, ехавшим впереди своих подразделений. У солдат веселый вид. Все хорошо одеты. Нигде не видно ботинок с обмотками — солдаты обуты в сапоги и даже не в керзовые, а в кожаные. Армия приобрела мирный, упорядоченный вид.

Сердце Чохова трепетало. Затем он вспомнил о вчерашнем случае с Хлябиным, случае, который грозил ему, Чохову, демобилизацией из армии, и его охватила тоска. Неужели он

пикогда больше не будет ехать вот так, верхом на лошади или в кабине автомашины впереди своей роты, с уверенным видом, зная, что позади — его солдаты, вооруженные и обученные люди, подчиненные и друзья, в которых сосредоточены все его заботы, вся его жизнь. Неужели он никому уже не нужен, и почему он хуже вот этого проехавшего мимо капитана, за которым идет полнокровная, укомплектованная рота с таким коренастым, могучим и хитрым старшиной, что просто загля-деньте!

Воробейцев что-то говорил, зубоскалил, но Чохов не слышал его, он был весь с этими проходящими мимо людьми и готов был пойти вместе с ними на край света.

У

Поехали дальше. Приближался Беелитц: Вдоль нешироких асфальтовых дорог, проложенных вглубь леса, стояли дачи и большие корпуса. Это был город больниц, госпиталей, клиник, санаториев. Воробейцев поставил свою машину — разумеется, на газон, — и пошел к одному из зданий. После долгих распросов выяснили, где находится нужный им корпус, и отправились туда.

Всюду было тихо, пахло хвоей и смолой. Неподалеку стучал дятел.

Воробейцев шел позади Чохова и все продолжал развивать свою мысль о том, что после нескольких лет войны офицеру не вредно «пожить». Он прекращал свои излияния только тогда, когда навстречу попадалась медицинская сестра в белом халате. Тут Воробейцев обязательно останавливался, быстро находил тему для шуточного разговора, отпускавая сногшибательные комплименты, и пытался назначить свидание. Чохов втихомолку удивлялся находчивости и развязности Воробейцева, его умению врать убедительно и разнообразно: то он живет здесь рядом, то приехал «проверить госпиталь», то — проведать своего отца-генерала, который здесь лечится. Девушки не очень-то доверяли рассказам длинноногого капитана, но его бесцеремонность забавляла их, они смеялись и уходили довольные.

Чохов вошел в корпус, где находился по всем данным Лубенцов, не без волнения. У пожилой сестры он осведомился о гвардии майоре.

— Он выписался, — сказала сестра.

Чохов постоял-постоял и пошел к выходу. Но потом вернулся. Сестра исчезла. Он открыл первую попавшуюся дверь. В большой комнате с покрытой белыми чехлами мебелью сидели двое в белых халатах — повидимому, врачи. Чохов вошел и спросил, давно ли выписан гвардии майор Лубенцов и куда

выписан. Один из врачей сказал, что выписан он третьего дня, а куда — неизвестно. Чохов собрался снова уходить, но в это время из-за его спины раздался громкий и недовольный голос Воробейцева:

— Как так неизвестно? Не может быть, чтобы было неизвестно. Потрудитесь посмотреть свой галмуд и ответить как положено.

Второй врач, маленький, очень смуглый, с иссиня-черными волосами и бровями, сказал успокоительно:

— Зачем сердиться? Ай-ай-ай, как нехорошо так разговаривать.

— Ай-ай-ай,— передразнил Воробейцев врача.— Знаем мы вас.— Его лицо потемнело от выражения внезапной злобы.

Смуглый врач растерялся от неожиданности, его губы обиженно задрожали. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в комнате не появился врач в чине полковника, оказавшийся главврачом госпиталя. Все встали. При виде полковника Воробейцев скользнул к двери и исчез. Чохов, страшно смущенный и раздосадованный, робко спросил у полковника, куда выписан гвардии майор Лубенцов, на что полковник добродушно ответил:

— Во-первых, он уже не майор, а подполковник. На днях ему присвоено очередное звание. А выписан он, по выздоровлении, для прохождения дальнейшей службы. Вот как, голубчик.— Он заметил, что в серых глазах капитана появилось выражение тоски и, пожалев его, продолжал: — Тут, кажется, его жена осталась. Здесь Татьяна Владимировна? — спросил он у врачей.— Тоже уехала? Вот, голубчик,— обернулся он снова к Чохову,— тоже уехала.— Он подумал, потом сказал: — Если память мне не изменяет, товарищ Лубенцов назначен служить в Советской Военной Администрации.

— Разрешите идти? — спросил Чохов.

Получив разрешение, он сказал врачам «до свидания», но они ему не ответили. Он повернулся и вышел.

На широких каменных ступенях стоял Воробейцев и курил. Чохов сверкнул на него глазами и прошел мимо, направляясь к воротам. Воробейцев нагнал его и примирительно сказал:

— Ладно, не кипи. Не люблю врачей. Да и не знал же я, что появится этот полковник.

Они подошли к машине, Воробейцев открыл дверцу, но Чохов сказал:

— Я поездом поеду.

— Что ты, что ты! — заволновался Воробейцев.— Ну, перестань. Ну, что ты полез в бутылку? Ну, прости. Погорячился я...— Когда Чохов после некоторого раздумья все-таки сел в машину, Воробейцев полуобиженно, полуудивленно заметил: — Ох, и характер у тебя!

Машина тронулась. Оба молчали. Наконец, Воробейцев отважился спросить, узнал ли Чохов, где Лубенцов. Когда же Чохов сказал, что разведчик поступил на службу в Советскую Военную Администрацию, Воробейцев от неожиданности даже затормозил машину.

— Вот,— сказал он торжествуя и с каким-то особым удовольствием.— Вот тебе Лубенцов! Знает, где хорошо!

— Послали, он и пошел,— сказал Чохов.

— Послали!.. Действительно!.. Прямо с больничной койки подняли — пожалуйста в Администрацию. Нет, брат, так не бывает. Так в романах бывает. Будь спокоен. Он и с Середой в хороших отношениях и с Сизокрыловым куда-то ездил. Парень ловкий. Ты зря головой мотаешь. Конечно, не спорю, офицер он неплохой, но и знает, что к чему. Да это и правильно, я его не обвиняю. Хвалю! Так и надо!

Он нажал на газ. Машина пошла быстро, весело, словно настроение хозяина передалось ей. Вскоре они снова остановились — опять по дороге шли советские войска. Шли они походным порядком. За подразделениями двигались машины с полевыми кухнями.

— Учения начались, что ли? — недоуменно спросил Воробейцев.

Мимо промчались машины с радиостанциями, потом долго двигалась артиллерия.

— Странно,— сказал Воробейцев.

В Потсдам вернулись поздно вечером, а на следующее утро Чохов снова был в отделе кадров.

Здесь он среди множества офицеров, слонявшихся возле домиков, неожиданно встретился с капитаном Мещерским, бывшим командиром разведывательной роты той дивизии, где служил раньше Чохов. Оба обрадовались друг другу, так как уже с первого дня знакомства испытывали взаимную симпатию.

Мещерский был рассеян и чем-то озабочен. Впрочем, это не помешало ему заметить то, что и Чохов выглядит грустным и озабоченным.

— Что-то вы скучный,— сказал Мещерский, внимательно взглянув на Чохова.

— Да,— сознался Чохов и, заметив в глазах Мещерского сочувствие, объяснил напрямик: — Боюсь, что меня демобилизуют.

Мещерский усмехнулся:

— А я скучный потому, что боюсь, что меня не демобилизуют.

Оба невесело рассмеялись и вместе вошли в дом. Тут им неожиданно велели не отлучаться. Полчаса спустя Чохова вызвали в комиссию.

Ему стоило немалого труда скрыть свой страх — самый настоящий страх, может быть впервые в жизни испытанный Чохо-

вым. В большой комнате сидели за столом четыре полковника, из которых один был начальник отдела кадров. На столе стояли стаканы с чаем и лежала гора папок с личными делами. В этих личных делах в течение лет накапливались данные обо всех офицерах, и эти папки незримо следовали за ними, как постоянная тень, во все города, деревни, воинские части, в резерв и в запас.

Чохов представился и замер посреди комнаты. Полковник, сидевший посредине стола, предложил ему сесть, но он не сел, так как был слишком взволнован и подавлен, и короткое приглашение полковника не дошло до него. Полковник же рассматривал что-то в одной из папок. Наконец, он поднял на Чохова глаза, потом снова опустил их к бумагам, усмехнулся, показал что-то сидевшему рядом полковнику и коротко засмеялся.

«Все», — подумал Чохов.

В этот момент в комнату вошел Хлябин. Он бросил быстрый взгляд на Чохова, наклонился к начальнику отдела кадров, что-то зашептал ему, потом положил на стол еще несколько папок и, снова бросив взгляд на Чохова, вышел.

«Все», — подумал Чохов, с трудом сдерживая судорогу на лице.

Члены комиссии о чем-то вполголоса поговорили, затем председательствующий опять поднял глаза на Чохова и сказал: — Садитесь.

Чохов сел на краешек стула. Полковник потянулся, отпил из стакана чаю и сказал:

— У нас есть мнение назначить вас командиром стрелковой роты здесь, в Потсдаме. У вас нет возражений?

— Нет, — сказал Чохов.

— Как вы сами понимаете, — продолжал полковник, позевывая, — работа командира стрелковой роты в мирное время во многом отличается от той же работы в военное время. Храбрость в нынешние времена — дело не плохое, но второстепенное. Главное сейчас — умение воспитывать бойца, умение обучать его всему тому, что солдат должен знать, в том числе, конечно, следует воспитывать в нем храбрость. Строевая подготовка теперь приобретает особое значение потому, что внешний вид армии в мирное время играет особо важную роль. Вам это ясно?

— Да, — сказал Чохов.

Он слушал все, что ему говорили, и не верил, что его постигло это неожиданное счастье. Ему казалось странным, что полковник говорит таким спокойным голосом, вовсе, повидимому, не подозревая, что за буря клокочет в душе у Чохова и что Чохов готов подойти к нему, обнять его, готов даже заплакать от радости, от сознания своей неразрывной связанности с ним, этим полковником, и со всей армией.

Уже выходя из комнаты, Чохов вспомнил про Хлябина и Воробейцева, и это воспоминание наполнило его еще большим

блаженством. Бессилие Хлябина и Воробейцева решить чью-либо судьбу вернуло ему душевное равновесие, очистило от угнетавших его сомнений, с которыми ему трудно было бы жить на свете.

Счастливей, но замкнутый, протискался он сквозь толпу офицеров и вдруг подумал о Мещерском. В этот момент ему показалось просто ненормальным стремление Мещерского уйти из армии — из такой армии! Но он теперь хотел, чтобы все были счастливы, и потому мысленно пожелал Мещерскому добиться своего.

Он решил дожидаться Мещерского и остановился неподалеку от дома. Вскоре Мещерский окликнул его. Они пошли друг другу навстречу.

— Сразу видно, что у вас все в порядке! — воскликнул Мещерский. — Поздравляю! Поздравьте и вы меня — у меня тоже все в порядке!

Они молча пожали друг другу руки. Торжественное настроение вдруг овладело обоими — оба стояли на пороге новой жизни. Может быть, они почувствовали, что окончилась юность и предстоит более высокая ступень развития каждого из них.

— Запишите мой адрес, — сказал, наконец, Мещерский и с милой важностью, немножко волнуясь, продиктовал: — Москва, девять, Проезд Художественного театра... Давайте обещаем писать друг другу. Мы мало встречались, но я вас очень полюбил.

— Понятно, — невпопад сказал Чохов, густо покраснев. Он не привык к душевным излияниям.

VI

Отмеченное Чоховым и непонятное ему оживленное движение войск с востока на запад по германским дорогам со стороны казалось чем-то похожим на внезапный завершающий всплеск небольшой волны спустя некоторое время после удара большого вала. На самом деле оно имело свой смысл.

Дело в том, что 1 июля 1945 года английские и американские войска, стоявшие по западному берегу Эльбы и Мульды, начали, во исполнение одного из тайных решений трех держав в Ялте, отход к западным границам провинций Мекленбург, Саксонии-Ангальт и Тюрингии; советские же войска начали занимать освобождаемую союзниками территорию.

Впереди катили передовые отряды на машинах. Солдаты были отлично настроены: приятно двигаться вперед после двух месяцев непривычной стоянки на одном месте. К тому же движение на запад без боев, без риска быть убитым на любом по-

вороте дороги доставляло им вполне понятное удовольствие — это чем-то походило на экскурсию по незнакомой и потому интересной земле. Солдаты ехали да похваливали дипломатию, позволяющую занимать города без боя.

Но как только передовые отряды перешли отмененную ныне демаркационную линию, переправившись через водную преграду, солдаты обратили внимание на то, что городишки и селения выглядели очень пустынными, как бы покинутыми, хотя население несомненно никуда не ушло: грядки огородов были усыпаны уже созревшими овощами; сады — полны созревающих плодов, во дворах лежали лопаты, тяпки и другой инструмент, и его вид говорил о том, что им пользовались вот только что, буквально полчаса тому назад; во дворах гуляли куры, гуси и утки. Но людей не было. Нигде не было видно ни души.

Солдаты удивились этому. Они отвыкли от страха перед ними со стороны местного населения — страха, который существовал и в первое время имел основания. В этой местности Германии, где солдаты стояли раньше, в отношениях между ними и немцами наметился серьезный и знаменательный поворот. И дело тут было не только в директивах и приказах Советского Командования и Советской Администрации. Дело было в живом общении с населением, ибо хотя такое общение запрещалось, во всяком случае не поощрялось, но оно существовало. Элементарное чувство справедливости заставило солдат понять, что нельзя отнести вину за страшные злодеяния на счет всех этих мужчин, женщин и детей, составляющих народ Германии. Что касается немцев, то они почти сразу поняли, что наша армия с гражданами не воюет, напротив, готова отнестись к ним дружелюбно, причем нередко склонна даже к мягкости, не всегда ими заслуженной.

Поэтому вполне понятно, что солдаты, очутившись на территории, занятой прежде американскими и британскими союзниками, удивились боязливости и запуганности местного населения. Но задумываться об этом не было ни времени, ни пока что и охоты. Солдаты, обвеваемые свежим ветерком, сидели на грузовых машинах, покуривая и беседуя скорее однословно, чем многоречиво, и втайне удивляясь, что они, столь мирно и благодушно настроенные теперь, казались здешним немцам такими грозными и непримиримыми.

Передовые отряды нередко обгоняли во время своего марша уходящие на запад американские и английские части. При этом воины союзных держав обменивались дружелюбными приветствиями и любопытными взглядами. Правда, солдаты уже не выказывали в отношении друг друга такого восторга, какой проявлялся на первых порах после победы. Они вели себя гораздо сдержаннее, напоминая мужиков, временно сбегавшихся для тушения пожара, а потом, после того как пожар

потушен, вернувшихся каждый в свою избу, на свое поле, к своим домашним делам.

Передовые отряды достигали предназначенных им пунктов, и на дорогах Средней Германии снова все стихло на несколько дней, после чего дороги опять заполнились войсками. Это пошли советские дивизии.

Шли они привычным походным порядком, как на войне. И хотя никаких боевых действий на ближайшие сто лет не предвиделось, но части двигались по всем правилам устава — с головными походными заставами и боевыми охранениями. Мотоциклисты и верховые носились как угорелые вдоль колонн. Что касается разведчиков, то они, несмотря на отсутствие неприятеля, имитировали необычайную бдительность и шли не в боевых порядках, а в стороне, не по широкому и гладкому асфальту, а соседствующими с ним тропками, которые, впрочем, были высушены солнцем не хуже асфальта. Когда же большая дорога проходила лесом, разведчики углублялись в лес, и тогда они смыкались, замедляли шаг и прислушивались к негромкому шуршанию листьев с таким видом, словно ожидали каждое мгновение появления врага.

Многие из разведчиков были одеты, по старой памяти, в маскировочные халаты.

Одно из разведывательных подразделений устроило привал в редкой рощице у дороги.

Разведчики развели костер и стали готовить себе ужин. Вскоре возле них остановилась машина — этакая маленькая зеленая быстрая ящерица, полутягач, полулегковая. Из нее вышли трое. Они встали возле своей машины и почему-то довольно долго и пристально, с таким видом, словно хотели о чем-то спросить, но не решались, стали смотреть на костер и на неспешно двигавшихся вокруг него или лежавших вповалку разведчиков.

Разведчики обратили на это внимание одного из своих офицеров, и тот, застегнувшись на все пуговицы, пошел к машине, чтобы осведомиться о причине такого любопытства. Подойдя к этим людям, он прежде всего, по известной армейской привычке, бросил быстрый взгляд на погоны, а уже потом на лица. Один из троих оказался подполковником, второй — старшиной, а третий — повидимому, шофер, — просто рядовым. Подполковник всмотрелся в лицо подошедшего капитана и сказал:

— Так я и знал, что встречу знакомых! Белоусов, кажется?

— Товарищ Лубенцов! — обрадовался и капитан, узнав известного в армии разведчика. Все офицеры разведки, как правило, знали друг друга.

Белоусов слышал, что дивизия Лубенцова расформирована, и спросил:

— Куда же вас назначают?

— Уже назначили,— сказал Лубенцов, помрачнев на мгновение.— Комендантом назначили.— Он окинул взглядом разведчиков в зеленых маскхалатах и грустно проговорил: — Прощай, разведка!

Он отказался от приглашения подсесть к костру и, шутиливо толкая Белоусова туда, где весело горел огонь и кипели котелки с чаем, сказал:

— Идите, идите... Я на вас только немного посмотрю и поеду.

Несколько смущенный этим странным желанием, Белоусов нерешительно протиснулся и вернулся к своей роте. Что касается Лубенцова, то он действительно постоял еще минут пять, глядя пристально и печально на костер и людей вокруг костра, и, наконец, махнув рукой, уселся в машину.

Машина тронулась и тут же свернула на другую дорогу — тихую, пустынную, на которой совсем не было войск. Мимо пробегали немецкие селения, на фоне чистого неба высились башни лютеранских церквей. Кончался огромный летний день, переполненный множеством впечатлений и событий. Этот поворот с дороги, заполненной советскими войсками, на пустынную дорогу показался Лубенцову чем-то символическим. Он оглянулся на сидевшего сзади старшину Воронина. Он ожидал увидеть и на лице старшины выражение мечтательного прощания с прошлым. Но Воронин и не думал жалеть о прошлом. Это прошлое было для него в такой же степени в порядке вещей, как и предстоящее. С фатализмом, свойственным солдату, он воспринял перемену в своей жизни и даже был доволен тем, что ему предстоит новые впечатления и что будущая жизнь будет непохожа на все, что было прежде. Поэтому зрелище зеленых маскхалатов у костра вовсе не задело его воображения, и он, заметив устремленный на него взгляд гвардии майора — то бишь подполковника (он никак не мог привыкнуть к новому званию Лубенцова), — сказал:

— Время-то ранее, а они уже спят...

«Они» значило — немцы. Действительно, проносящиеся мимо деревни были безлюдны, даже собаки не лаяли.

Отвлеченный словами Воронина от своих прежних мыслей, Лубенцов тоже удивился молчанию, царившему в немецких селах. Немцы, видимо, замерли в ожидании неких серьезных и, быть может, горестных перемен, которые, возможно, наступят в связи с уходом из этих мест англосаксов и приходом русских войск и советских порядков.

Лубенцов напряженно вглядывался в темные очертания когтистых крыш, под которыми притаилась чужая, непонятная жизнь; в эту жизнь ему, Лубенцову, предстояло теперь ввязаться.

Как и что он будет делать, он не знал. Все, что было сказано в Карлсхорсте на инструктивном совещании, ограничива-

лось общими словами. Да и слов этих было, собственно говоря, три — три «де»: демократизация, денацификация, демилитаризация. Впрочем, до своего назначения Лубенцов и сам, вероятно, мог бы довольно складно объяснить всем желающим слушать такого рода объяснения, что нужно делать в Германии. Он тоже произносил бы эти три слова, присовокупив, пожалуй, еще одно «де» — демонтаж. Он тоже сказал бы то, что позавчера им сказал генерал, — может быть, не так красноречиво и самоуверенно.

Однако уже вчера, побывав в городе Галле, а затем — в окружной комендатуре, в городе Альтштадте, и подробно поговорив с двумя офицерами Администрации, он стал догадываться, что дело гораздо сложнее, чем ему казалось раньше.

Эти два офицера, подполковники Леонов и Горбенко, люди умные и, как у нас выражаются, хорошо информированные, охотно ввели Лубенцова в обширный круг вопросов, которые ему придется так или иначе решать.

Перед работниками Советской Военной Администрации простиралась большая страна, побежденная в жестокой войне, разочарованная в прошлом и не верящая в будущее. В этой стране были нарушены торговля и кредит, города превращены в руины, транспорт и связь низведены до уровня начала века. В этой стране была исковеркана мораль; драгоценный опыт революционного движения был предан забвению, поруган и обсмеян; этические нормы человеческого поведения были чудовищно извращены. Все это следовало восстановить либо в корне переделать, все это надо было спасти. А прежде всего — понять во всей сложности.

По правде говоря, Лубенцова пробирала дрожь от подобных мыслей, и он старался не углубляться в них, употребляя для этой цели древний человеческий способ, а именно — часто произносил вполголоса слова: «Ладно, там видно будет».

Лубенцов ночевал в Альтштадте у своих новых друзей. Леонов и Горбенко прибыли сюда несколькими днями раньше и поселились в одном из особняков тихого, утонувшего в зелени квартала. Дом принадлежал архитектору Ауэру — маленькому человеку с гривой седых волос на большой, не по росту, голове. Обрадовавшись тому, что Лубенцов понимает немецкий язык, и заметив во время разговора, что молодой русский подполковник любознателен, архитектор стал показывать ему альбомы по немецкому зодчеству и объяснять смысл и ход развития готического стиля. Затем между прочим выяснилось, что доктор Ауэр не только архитектор, но и довольно крупный капиталист, владелец большой фирмы по производству строительных материалов.

Лубенцов листал альбомы, и ему было странно сознавать, что он сидит рядом со своим заклятым классовым врагом, «буржуем». Этот «буржуй» умен и дружелюбно расположен к рус-

ским, о чем сообщил Лубенцову спокойно и без всякого заискивания. Он не был ни капельки похож на карикатурного толстого господина с крючковатым носом и загнувшимися пальцами в кольцах. На крепкой короткопалой руке господина Ауэра было одно-единственное, и то обручальное, кольцо. И говорил он не о прибавочной стоимости и не об угнетении пролетариата, а о стрельчатых сводах и цветных витражах, причем говорил с непритворным вдохновением, так что казалось, что одно лишь прекрасное искусство «высокой готики» занимает его на этом свете.

Позже он, правда, заговорил и о политике, но при этом придал своему лицу рассеянно-усталое выражение.

— Умные немцы,— сказал Ауэр,— а такие все-таки есть,— добавил он, бледно улынувшись,— несомненно будут оказывать советским властям самое полное содействие во всех мероприятиях по денацификации и демилитаризации Германии. Полезно для обеих сторон, чтобы советские власти считались при этом с местными традициями и местным укладом жизни.

Он говорил медленно, чтобы русские его лучше поняли. Советские офицеры ему нравились, они были любознательны и вежливы; когда он говорил, у них — у всех троих — между бровями появлялись напряженные морщинки. Он думал о том, что, когда варвары приходят к цивилизованным народам даже в качестве завоевателей, надо и можно их воспитывать, приобщать их к более высокому уровню мышления — они очень восприимчивы, как это не раз подтверждалось в ходе мировой истории.

Лубенцов находил слова архитектора разумными, не подзревая, о чем в это время думает доктор Ауэр. Разумеется, Лубенцов заметил, что, упомянув о денацификации и демилитаризации Германии, Ауэр опустил «демократизацию». Лубенцов понял и то, что тонкое выражение «местный уклад жизни» является, вероятно, псевдонимом грубого выражения «капитализм». Но не это насторожило Лубенцова. Насторожило его то, что Ауэр говорил о политике с нарочитой небрежностью, как о чем-то третьестепенном, маловажном, не то что об искусстве, о котором он выражался с восторженным косноязычием влюбленного. Неискренность небрежного тона при разговоре о явлениях жизни поставила под сомнение искренность восторгов по поводу искусства. Может быть, поэтому Лубенцов испытал неясное ощущение, что его симпатичный собеседник в чем-то обманывает его, замечает следы.

Между тем Ауэр, повидимому заметив тень, пробежавшую по лицу Лубенцова, переменил тему и снова заговорил об архитектуре.

— Вот это Страсбургский собор,— сказал он, перевернув страницу в альбоме.— Обратите внимание на величие и в то же время изящество огромного сооружения. Оно строилось около

двух веков. Его задумали люди, которые прекрасно знали, что не доживут до конца постройки. Ведь строили тогда без порталных кранов, без экскаваторов, все руками, руками... Но это для них было неважно, они были бескорыстны и влюблены в свое дело... Завидовали ли они будущим поколениям, которым суждено было узреть прекрасное создание в законченном виде? Неизвестно.— Он помолчал, словно взвешивая этот вопрос, затем поднял глаза на Лубенцова и проговорил с той же бледной улыбкой: — Поскольку вы, вероятно, пробудете у нас долго, хотим мы этого или нет,— вам будет полезно глубже понять дух немецкой архитектуры.

С этими словами, несмотря на сквозивший в них оттенок снисходительности, Лубенцов согласился безоговорочно. «Буржуй» был прав. Немецкую архитектуру ему, Лубенцову, следует изучить. И не только архитектуру, но и историю, и местные традиции, о которых говорил Ауэр, и психологию местных буржуев и, разумеется, рабочих. Доктор Ауэр даже не подозревал, как глубоко западали в душу начинающего коменданта его слова.

Теперь, сидя в машине и вспоминая разговор с Ауэром, Лубенцов упрямо сжимал зубы и твердил про себя: «Все изучим, все поймем».

Понемногу очертания местности менялись. Если вначале дорога шла по равнине, то уже спустя полтора-два часа равнина начала собираться складками. Чем дальше, тем эти складки становились выше и гуще. Они шли террасами в три-четыре яруса. Нижний ярус был весь в светлозеленых свекольных и сизых капустных полях, часто окаймленных рядами деревьев; за ними начинался следующий, более высокий ярус — обширный холм, поросший спелой рожью; третий ярус иногда был покрыт вишневыми садами, низкорослыми и густыми, или желтыми цветками рапса, а совсем сзади, на самом высоком ярусе, темнели хвойные леса.

Наконец, слева на горизонте показались уже настоящие горы. По мере того как дорога подымалась — хотя и незаметно, но неуклонно — все выше и выше, все кругом становилось разнообразнее, ландшафт — все роскошнее, зелень — все буйнее. Вдоль дороги иногда мелькали большие поля белого и красного мака, розового клевера и желтой горчицы. Деревья, посаженные по обе стороны дороги — груши, черешни, развесистые липы или серебристые тополя, — придавали дороге особую прелесть.

Отвлечшись на некоторое время от своих забот и тревог, Лубенцов ощутил давно забытое чувство слияния с окружающей природой; эта тишина и покой, царящие вокруг, напомнили ему детство в дальневосточной тайге, где он бродил со своим отцом-охотником, ночевал на дальних заимках, целыми днями не произносил ни слова, потому что отец был молчалив, да и

не хотелось говорить, а хотелось только слушать заплетающийся говор таежных речек, треск сучьев и птичий крик.

У него так хорошо стало на душе, что он даже удивился своему настроению сладкой расслабленности. Это, может быть, было следствием того, что он влюблен. Может быть, в связи с этим он стал обращать внимание на красоты природы. Несомненно, что Таня имела к этому отношение. В последнее время он вообще заметил, что думает и чувствует за двоих. И добродушно смеялся над собой, что смотрит на все и видит все вокруг двумя парами глаз — своими и ее.

Честно говоря, хорошему настроению Лубенцова содействовало и то обстоятельство, что он иногда вспоминал о своем новом звании. Это можно ему простить, учитывая, что он был кадровым военным, а между кадровыми военными известно, что майор — это почти капитан, а подполковник — почти полковник.

Погруженный в сумбур своих мыслей и впечатлений, Лубенцов забыл о спутниках. Но тут послышался прозаический голос Воронина:

— Нам бы заночевать где-нибудь да поужинать.

Да, уже стемнело. И так как справа от дороги в этот момент появились темные строения, Лубенцов велел повернуть туда.

VII

Воронин распахнул ворота, и машина въехала в огромный двор, края которого уходили куда-то далеко и терялись в темноте. К машине сразу приблизилось несколько человек. Воронин объяснил им свою просьбу кратко и вразумительно.

— Шляфен¹, — сказал он.

— Битте, битте², — гостеприимно и даже как будто с удовольствием произнес мужской голос.

Человек, произнесший эти слова, пошел вперед, Лубенцов и его спутники — за ним. Они подошли к темному дому. Человек распахнул перед Лубенцовым дверь. Одновременно в большом вестибюле стало светло от электрического света, зажегшегося в плафонах по всем четырем углам. Вестибюль был отделан дубом. Посредине, на небольшом возвышении, стояло чучело бегемота, а стены были увешаны рисунками, изображавшими африканских негров и негритянок, и фотографиями африканских пейзажей и свайных деревень. Справа вверх подымалась лестница с дубовыми перилами, покрытыми искусной резьбой, а наверху от лестницы отходила галерея с такими же перилами, как и на лестнице. Галерея эта шла вдоль всех

¹ Спать (нем.).

² Пожалуйста, пожалуйста (нем.).

четырёх стен вестибюля. Тяжелые дубовые двери вели из галереи к комнатам второго этажа.

— К помещику попали, — сказал Воронин, весьма довольный этим обстоятельством.

Провожавший оказался молодым человеком спортивного вида, с незначительным смуглым лицом, в брюках гольф и в короткой серой тужурочке, которая вся блестела застежками-«молниями», расположенными на ней вкривь и вкось. Он молча, переминаясь с ноги на ногу, подождал, пока русские осмотрят бегемота, затем пригласил Лубенцова следовать дальше, через стеклянную дверь в большую комнату, оказавшуюся столовой. Здесь он усадил русских в кресла, а сам исчез. Лубенцов велел Воронину принести из машины что-нибудь поужинать. Воронин встал, но не слишком охотно, покрутился по комнате, посмотрел на картины, висевшие и здесь по стенам. К машине он явно не спешил. Наконец, он все-таки вышел, но уже через минуту вернулся обратно — с пустыми руками и в сопровождении невысокой толстой девушки. Она пробормотала приветствие, открыла огромный буфет и стала доставать оттуда посуду. Потом она исчезла вместе с Ворониным.

Лубенцов стал смотреть в открытое окно. Свет из окон освещал кусок, повидимому обширного, сада — густую листву деревьев и верхушки цветочных клумб. Из сада доносился шум воды — должно быть, неподалеку находился фонтан или ручей. Лубенцовым овладело странное и не приятное самочувствие человека, внезапно оторванного от своей почвы и перенесенного на другую, совсем чужую, почти нереальную в своей паразитической непохожести на то, к чему он привык. С тем, настоящим, всамделишным миром, в котором Лубенцов существовал раньше, его теперь связывала, казалось, только тонкая нить воспоминаний, которая раскручивалась, подобно катушке провода, вслед за его машиной по дороге *оттуда сюда* (образ естественный для разведчика, не раз тянувшего телефонный провод в расположение противника). Ей-богу, здесь было нелегко себе представить, что где-то, и не так уж далеко, жили, ходили, разговаривали Тарас Петрович Середа, капитан Мецшерский, генерал Сизокрылов, Плотников, Чохов.

Лубенцов отвернулся от окна. Стол уже был уставлен яствами, но отнюдь не воинскими. Опять появившийся из боковой двери молодой человек спортивного вида пригласил Лубенцова к столу, назвав его «герр командант», из чего Лубенцов сделал вполне правильный вывод, что Воронин успел с ним переговорить и показать «товар лицом». Лубенцов посмотрел на Воронина сердито. Тот спрятал глаза и при этом незаметно подмигнул шоферу, который одобрительно хмыкнул.

Когда они уже уселись за стол, из боковой, почти незаметной маленькой двери к ним вышла очень красивая женщина лет сорока в длинном бальном платье. Она направилась к

Лубенцову, вставшему ей навстречу, и подала ему руку. Он пожал ее руку. Не зная, как полагается вести себя в подобных случаях, он стоял неподвижно. Однако его выручила улыбка, как всегда очень приятная и дружественная. Хозяйка в ответ тоже улыбнулась ему. Его улыбка, повидимому, ободрила ее, — глубокая, тревожная морщина, прорезавшая ее лоб между большими серыми глазами, распрямилась. Жестом руки она пригласила его сесть за стол, но сама не села, повернулась к нему спиной, чтобы дать какое-то распоряжение служанке, а может быть, для того, чтобы показать ему свою красивую обнаженную спину. На Воронина и шофера она не обратила никакого внимания, словно их не было в комнате. И эта черточка была, пожалуй, единственной неприятной деталью во всем ее привлекательном облике. Лубенцов, прежде чем она успела усесться рядом с ним, представил ей обоих.

— Дмитрий Воронин. Иван Тищенко, — сказал он.

Она, спохватившись, подала обоим руку и представилась:

— Лизелоттэ фон Мельхиор.

— Лубенцов, — представился и он.

Она подняла глаза к потолку с полукомическим, полуглубокомысленным видом, словно делала в уме сложные арифметические подсчеты. Наконец, она сказала:

— Also, Herr Lubentsoff, Herr Woronin und Herr...¹ — «Тищенко» она никак не могла произнести и засмеялась приятным смехом, после чего села и, повернувшись к Лубенцову, начала с улыбкой накладывать ему на тарелку какой-то салат. Потом она начала накладывать салат и остальным двум, но уже без улыбки.

Лубенцов с затаенным любопытством, чувствуя себя так, словно он в театре, наблюдал за ней, за ее размеренными, точными и плавными движениями, за тонкой игрой ее лица. Он считал нужным не показывать своего знания немецкого языка — так ему было удобнее наблюдать за ней; кроме того, молчание предохраняло его, может быть, от каких-либо бестактностей, которые могли бы произойти из-за незнания этикета. Например, он толком не знал, нужно ли ему ухаживать за ней за столом, то есть не должен ли и он положить ей еды на тарелку. Он сделал то единственно разумное, что мог: ничего не стал делать, а начал есть, косясь на загадочные ножи и серебряные лопаточки, неизвестно для чего положенные рядом с его тарелкой.

Молчание, воцарившееся за столом, нельзя было назвать тягостным, поскольку немка и немец думали, что русские не понимают их, а русские знали, что немцы их не понимают. Все с легкостью ограничивались вежливыми улыбками и словами «битте» и «данке»². Мысли же у всех были такие:

¹ Итак, господин Лубенцов, господин Воронин и господин... (нем.)

² «Пожалуйста» и «спасибо» (нем.).

Лубенцов думал о том, как бы он и его товарищи не совершили чего-либо неполагающегося за столом; поэтому он время от времени поглядывал на Воронина и Тищенко предостерегающим взглядом. Кроме того, он прикидывал, как выглядела бы Таня, если бы ее одеть в это платье.

Помещица тоже боялась совершить что-нибудь бестактное в отношении русских — например, задеть их демократизм, развившийся только что так ясно в поступке этого подполковника. Она думала и о том, что у этого русского милое лицо и что ведет он себя совершенно по-светски: свободно, но скромно или, наоборот, скромно, но свободно. Но это не были ее единственные мысли. Несмотря на милое лицо подполковника, она не очень доверяла ему и боялась, как бы русские что-нибудь у нее не взяли. Поэтому она решила, что велит дать им на дорогу жареную индейку, вина, — она знала из литературы, что русские очень любят вино, — и какие-нибудь подарки небольшой ценности, чтобы этим продемонстрировать, во-первых, свою лояльность в отношении пришедших сюда русских войск и, во-вторых, немного удовлетворить их корыстолюбие, не рискуя большим.

Что касается Воронина, то он пришел к выводу, что он не зря согласился ехать служить с гвардии майором, то бишь с подполковником, и что его ожидает интересная жизнь с разными приключениями, и что будет о чем писать своим в Шую. Кроме того, он одобрительно следил за Лубенцовым и нашел, что начальник ведет себя здесь так, словно он с детства только и делал, что ужинал с помещиками. Будучи совершенно бескорыстным человеком, Воронин тем не менее, глядя на помещицу и ее сына и не без презрения отмечая их подчеркнутую любезность, догадывался, что они боятся, как бы у них чего-нибудь не забрали, и был доволен тем, что они боятся.

Шофер Иван Тищенко, человек меланхолический, тяжело-дум, ни о чем особенном не думал, а только отдавал честь закуске, справедливо считая, что он как шофер не обязан думать, когда здесь присутствует начальник, а должен есть то, что дают. Он только изредка поглядывал на многочисленные «молнии» на молодом помещике, не понимая их назначения и втайне удивляясь тому, как люди непросто живут.

Ничего особенного не думал и молодой помещик, с его низким лобиком и почти белыми глазами. Он только все время следил за матерью, чтобы выполнить все, что она велит и что кажется ей необходимым в этой довольно сложной ситуации, наступившей в связи с приходом русских.

Уверившись в том, что ни подполковник, ни тем более его подчиненные не понимают по-немецки, госпожа фон Мельхиор стала понемногу разговаривать с сыном, и из их разговора Лубенцов, внутренне смеясь, узнал, что: а) он, Лубенцов, пресимпатичнейший молодой человек; б) Воронин — плут; в) шофер—

противное животное; г) нужно спрятать что-то ценное (что именно, Лубенцов не уловил) в какое-то потайное место, ибо она опасается «гостей»; д) как ей кажется, русские не такие джентльмены, как англичане, но и не такие свиньи, как американцы.

Все это она изрекала время от времени с лучезарнейшей улыбкой, необычайно красившей ее лицо, и с таким видом, словно речь шла о том, чтобы ей передали горчицу или придвинули хлебницу. Но в ее громких и смелых высказываниях чувствовалось озорство и щеголяние этим озорством. Сын ее сдержанно и несколько испуганно улыбался.

Лубенцов, не моргнув глазом, выслушал все и, наскоро поев, озабоченно взглянул на ручные часы и с деланным смущением улыбнулся. Она поняла и притворилась разочарованной желанием подполковника уйти так рано на отдых.

Молодой человек повел всех троих обратно в вестибюль с бегомотом, оттуда они поднялись по лестнице на второй этаж. Лубенцов с Ворониным улеглись в большой душевной спальне. Один Тищенко отказался спать в доме — с детства не слишком доверяя помещикам и капиталистам, он боялся, как бы тут не сперли машину. Он улегся в машине на заднем сиденье.

Лубенцов проснулся рано утром. Тихо, чтобы не разбудить Воронина, он оделся и сошел вниз. Очугтившись на крыльце, он увидел помещичий двор во всей его красе. При свете дня двор оказался еще огромнее, чем это представлялось ночью. Он мог бы послужить центральной усадьбой для большого совхоза. Длиннейшие кирпичные коровники и свинарники, амбары и лабазы окружали его. Все эти службы были двухэтажные — в первом этаже помещались животные и хранились запасы, а во втором, повидимому, жили батраки: на маленьких оконцах вторых этажей висели занавесочки и стояли горшочки с геранью. Двор был весь вымошен булыжником, но булыжник виднелся лишь кое-где под слоем многолетней грязи, смешанной с навозом и перепревшей соломой. Чистой была только асфальтовая дорога, которая вела от ворот к помещичьему дому. Посреди двора возвышался четырехугольный помост, заваленный кучами навоза — сюда их свозили со всего двора. В прохладном утреннем тумане неясно вырисовывались очертания пузатых силосных башен и белой водокачки. Из дальних темных помещений доносилось слабое мычание коров, а время от времени — негромкое ржание лошадей. Во дворе там и сям поодиночке и большими группами расхаживали индейки и цесарки.

Это было здесь. Но как только Лубенцов, обойдя господский дом, оказался на другой стороне его, перед ним появилась совершенно иная картина. За домом находился тенистый и, повидимому, обширный парк, который доходил почти до самых балконов и только здесь оставлял небольшое четырехугольное

пространство, сплошь засаженное красными розами. Посредине розария находился фонтан с бронзовой фигурой.

Постояв с минуту в тени и тишине парка, Лубенцов снова обошел дом и очутился на другой, хозяйственной, стороне. Двор оживал. Распахнулись яркозеленые ворота одного из сараев, и оттуда медленно вышли один за другим три трактора. В другом конце двора батраки запрягали могучих битюгов в высокобортные повозки, большие, как автобусы. Старик с седыми усами, в нахлобученном на глаза картузике выгонял из ворот коров. Их было не менее сотни. За ними плотной кучкой бежали овцы, а сзади суетился полный усердия черный лохматый пес.

Лубенцов вышел вслед за стадом через широкие дубовые ворота и увидел перед собой большое село, почти сплошь состоявшее из двухэтажных красных кирпичных домов с яркозелеными оконными рамами и ставнями. Дома стояли впритык один к другому. Только изредка от дома к дому тянулась высокая побеленная каменная ограда. И то, что все тут было каменное, включая мостовую и плитчатые тротуары, и не было видно никакой зелени — ни деревца, ни травки, — все это неожиданно напомнило Восток, улицу крымского или закавказского аула. Отсутствие всякой зелени на деревенской улице было тем более странно, что Германию можно было бы по праву назвать зеленой страной — в этом Лубенцов уже убедился. И он вспомнил о помещицьем парке, об огромном количестве росших там старых деревьев, и его воображению представилось, что деревьям всего села однажды приказано было перебраться в помещицкий парк, и они ушли туда, оставив деревню голой, каменной и залитой солнцем.

Но вот появились и деревья. Посреди села, напротив опрятной красной церкви, находился пруд, вокруг которого росли ивы. Лубенцов дошел вместе со стадом до пруда. Старый пастух покосился на него, глаза старика на мгновение выразили панический страх. Лубенцов улыбнулся ему и отдал приветствие, приложив руку к фуражке. Старик замер, потом сдержанно поклонился и сразу же засуетился, забил длинным бичом по земле, закричал на коров и овец и быстро-быстро погнался их дальше, по улице направо.

Село просыпалось. Отовсюду слышалось пение петухов, кудахтанье кур, мычание и бляение, ликующее ржание и визгливый лай. Вдоль домов засновали женщины. Раскрывались ставни, в окнах появлялись заспанные лица детей. Это все было по-милому хорошо знакомо, и Лубенцов подумал, что у всякого русского человека, даже городского, в крови неистребимая любовь к деревне.

Затем Лубенцов обратил внимание на то, что у самого берега пруда расположились люди. Многие из них еще спали на подстилках из соломы и на старых вещах, некоторые — под

самодельными палатками, из-под которых торчали ноги. Кое-кто уже встал, умывался. Женщины бегали от пруда к домам и просили у хозяев кружку, тарелку.

Неподалеку слышались рыдания, но никто даже не оборачивался на них. Все были заняты своим делом — вступлением в новый длинный нелегкий летний день.

Среди ив стоял, широко расставив ноги, большой костлявый человек, обросший редкой красноватой бородой. Он сек ослепительно рыжую девочку пучком ивовых прутьев. Он делал это так размеренно и злобно, словно в маленьком вздрагивавшем теле рыжей девочки сосредоточились все причины войны, поражения, бездомности и бедности. Эта размеренная лютость потрясла Лубенцова. Он пошел на этого человека, и, когда тень его упала рядом, человек поднял глаза. Он враз опустил по швам большие руки, и прутья ивы упали на траву. Лубенцов стал искать подходящие немецкие слова, но как назло не мог вспомнить ничего подходящего. Ему пришлось ограничиться маловыразительными словами, которые он вспомнил:

— Нихт гут,— сказал он.— Кинд, кляйнес кинд¹.

Маленькая бледная женщина прижала рыжую девочку к себе, однакоже встала между человеком, раньше бившим девочку, и Лубенцовым. Что-то говоря без умолку, так быстро, что Лубенцов ничего не понимал, она то жалко улыбалась Лубенцову, то оборачивалась к тому человеку; она была и благодарна русскому офицеру за то, что тот защитил девочку от избивавшего ее человека, и одновременно боялась, как бы муж не имел от русского крупных неприятностей за то, что избивал свою дочь. Поэтому она, жалуясь на мужа, в то же время оттирала его все дальше к ивам.

Что касается рыжей девочки, то она немедленно забыла о своих воплях и, вся сгорая от любопытства, глядела на Лубенцова во все гляделки и во весь свой широко открытый рот. Даже бесчисленные веснушки и те, кажется, у нее расширились от изумления и интереса.

— Wer sind diese Leute? ² — спросил Лубенцов, обращаясь к женщине и обедав рукой весь табор.

— Wir sind Flüchtlinge aus Schlesien!.. ³ — предупредив ответ матери, пронзительно выкрикнула рыжая девочка и вся расцвела от удовольствия и от гордости перед другими детьми, которых бог лишил возможности запросто поговорить с русским офицером.

Лубенцов покачал головой и задумался. Он не мог не вспомнить огромный помещичий дом, пустынный, с высокими гулкими комнатами, дом, в котором жили только двое.

¹ Нехорошо. Ребенок, маленький ребенок (нем.).

² Кто эти люди? (нем.)

³ Мы беженцы из Силезии!.. (нем.)

Он медленно пошел обратно к поместью и вскоре заметил, что беженцы, по преимуществу мужчины, идут вслед за ним. Он подумал, что они хотят обратиться к нему с какой-то просьбой, и остановился. Но нет, они шли не за тем. Они обошли его стороной, держась на некотором угрюмом отдалении, и направились к воротам усадьбы, где навстречу им вышел молодой помещик, на сей раз одетый в теплое пальто, в зеленой шляпе с пришитым к ней заячьим хвостиком. Беженцы остановились у ворот, а он начал громко распоряжаться, впуская их поодиночке и по двое. Тут он заметил Лубенцова, поклонился и сказал, вроде как бы извиняясь, но в то же время жалостливо:

— Flüchtlinge ¹.

Лубенцов буркнул:

— Понятно.

— Arbeit ²,— сказал помещик, показывая на себя, и на свой двор, и на окрестности, где простирались поля и огороды. Он произнес это слово тоже с миной, полной сочувствия к беженцам и некоторого самодовольства по поводу того, что он предоставляет им работу.

Лубенцов вошел во двор. Он увидел издали Воронина и Тищенко, стоявших возле машины.

— Поехали,— крикнул им Лубенцов.— Давай, давай.

Воронин хотел было спросить насчет завтрака, но промолчал, заметив, что у Лубенцова мрачный и рассеянный вид. Тищенко завел машину, и через минуту они покинули поместье.

VIII

Вырвавшись из села, дорога вскоре стала извиваться среди гор. Это начинался Гарц. То и дело в долинах мелькала красная черепица крыш. Ландшафт становился все более прекрасным, все более разнообразным, напоминая Крым, но без южной окраски, без субтропических деревьев и кустарников. Обочины дороги и спускавшиеся вниз то справа, то слева пологие обрывы поросли боярышником и бузиной, кустами шиповника и барбариса. А горы сверху донизу заросли густым еловым лесом, и эти мириады елок, темнозеленых и чуть позолоченных сверху солнцем, казались зрительным выражением вековечной тишины и тысячелетнего покоя.

Все время слышался шум воды— это рядом с дорогой текла быстрая горная река, прозрачная, скачущая по камням. Иногда мимо пронеслись тихие придорожные гостиницы с большими вывесками, написанными готическим шрифтом, на

¹ Беженцы (нем.).

² Работа (нем.).

которых были изображены олени, вепри или еще что-нибудь в этом роде.

Часа в два пополудни Лубенцов, не без волнения, увидел, наконец, город Лаутербург — свою резиденцию. Город был очень красиво расположен в котловине среди гор. Он пестрел своими красными островерхими крышами, утопавшими в море зелени. На противоположном его краю высоко на скале виднелись серые приземистые башни средневекового замка, имевшего и теперь — в солнечную ясную погоду — сумрачный и грозный вид.

Поглядев на Лаутербург сверху, Лубенцов снова сел в машину, и они начали спускаться в город. Но не доезжая города, Лубенцов увидел справа от дороги большие и молчаливые заводские корпуса и велел Ивану завернуть туда.

Есть что-то очень неестественное, ненормальное в облике неработающего завода. Уходящие вдаль просторные цеха, бесконечные ряды станков, разбегающиеся во все стороны узкие ленты рельсов, эстакады подъемных кранов — все эти огромные площади, являющиеся по самой своей сути рабочими местами, в неподвижном состоянии теряют всякий смысл и приобретают черты чего-то нереального.

На всей территории завода не было ни одной живой души. Все это спящее царство металла тихо ржавело, пылилось, глохло. Запах давно остывшей золы неподвижно стоял в воздухе. Чувствовалось, пройдет еще небольшой срок, и все тут зарастет бурьяном и плющом, словно сооружение седой древности.

Гулкое эхо шагов Лубенцова и Воронина отдавалось под закопченными стеклянными потолками пустынных зданий.

Лубенцов шел и смотрел по сторонам, испытывая тяжелое чувство; может быть, впервые в жизни он здесь понял, как легко и быстро природа завладевает тем, что человек выпустил из рук. Все, что человек сделал, он отнял у природы силой, она же тихо, но неотвратимо старается все вернуть в первоначальный вид. И как только человек перестает действовать, она это делает, причем делает с необычайной легкостью, мягкостью и быстротой. Вещи стремятся к инертности, то есть к покою и ничтожеству, иначе говоря — к обратному слиянию с природой; они устают, если их не подстегивать, они превращаются в ничто, если их запустить.

— Да что мы тут будем ходить, — заговорил Воронин, которому пришлось не по душе эта мерзость запустения. Кроме того, он вспомнил наставления Татьяны Владимировны; она просила Воронина не позволять Лубенцову слишком много ходить пешком. — Сами видите, никого тут нет.

Лубенцов остановился, прислушался, наконец приложил ладони ко рту и крикнул громко и протяжно «а-у-уу», словно находился в лесу. Ему показалось, что кто-то отозвался. И дей-

ствительно, минуту спустя из-за невысокого барака, увешанного красными огнетушителями и пожарными топориками, появился человек. Лубенцов ожидал увидеть человека оборванного, обросшего, чуть ли не одетого в звериные шкуры. И то, что появившийся на одичавшем заводском дворе человек оказался гладко выбритым, довольно элегантным, в шляпе, приличном костюме и при галстуке, делало всю картину еще менее правдоподобной, еще более нереальной.

Ко всему прочему человек этот, подойдя ближе, приподнял шляпу и коротко представился:

— Маркс.

Лубенцов даже опешил; на одно мгновение он решил, что одинокий человек на пустынном заводе сошел с ума и поэтому при виде советских людей назвал себя именем великого коммуниста. Но человек повторил:

— Инженер Вернер Маркс, к вашим услугам.

Он имел довольно унылый вид: заброшенность окружающего все-таки действовала на него. Он проводил Лубенцова в контору и там показал ему канцелярские книги, ради которых находился здесь — единственный из многотысячного персонала: он инвентаризировал заводское имущество на предмет демонтажа — завод находился в списке предприятий, подлежащих демонтажу.

Инженер Маркс говорил оживленно, и видно было, что он рад неожиданному собеседнику и что он немножко гордится образцовым порядком, царившим в больших канцелярских книгах, которые он так точно и аккуратно вел с целью окончательно умертвить свой завод.

Вернувшись к своей машине в сопровождении инженера Маркса, Лубенцов спросил, куда делись рабочие. Маркс пожал плечами.

— Живут, как могут, — сказал он, — в Лаутербурге и в ближних селах.

Лубенцов сел в машину и минут через двадцать очутился в городе.

Здесь все выглядело не так мило и уютно, как это представлялось сверху. Город был сильно разрушен, многие улицы завалены щебнем разбитых домов. На улицах было тихо и безлюдно. То и дело попадались английские патрули, в своих светлых мешковатых костюмах похожие на пожарных.

Лубенцов остановил машину.

— Видишь вот эти две башни? — спросил он у Ивана. — Вот и поезжай туда, к той церкви, и жди меня там. А я пройду пешком, надо осмотреть город получше.

Воронин запротестовал:

— Вы все ходите и ходите. Куда это годится?

— Пешком все виднее. Слезай, слезай, Дмитрий Егорыч. Воронин пожал плечами.

Они медленно пошли вдвоем по широкой, вымощенной плитками улице. Между плитками пробивалась трава, и свежесть травы еще больше подчеркивала древность самого города. Да, это был очень старинный город. От главной улицы ответвлялись в стороны средневековые улочки, темные и такие узкие, что по ним с трудом могла бы пройти машина. Дома на этих улочках становились чем выше, тем шире: второй этаж нависал над первым, третий — над вторым. Стены домов были разделены поперечными и продольными брусками на квадраты и треугольники. Иногда под карнизами виднелись резные деревянные фигурки, раскрашенные в зеленый, красный и желтый цвет. Острроверхие крыши были темнубурого от старости цвета.

Большая улица привела к большой площади, именовавшейся, как во многих других немецких городках, Марктплац, то есть Базарной площадью; на этой площади стоял собор, две башни которого возвышались над городом, — эти башни Лубенцов видел при въезде и возле них велел Ивану стоять и дожидаться. Машина была уже здесь, но Иван куда-то скрылся. Левый придел собора был разрушен. Изуродована осколками была и статуя Роланда одиннадцатого века, стоявшая в нише возле собора. От этой статуи веяло уже просто необычайной стариной. На Лубенцова и Воронина произвели большое впечатление тысячелетние камни, сквозь которые то и дело пробивалась яркозеленая трава 1945 года, огромный меч рыцаря и черты его большого каменного лица, стершегося и неясного.

Дома на площади уцелели, и вся площадь, обсаженная вязами, с маленьким сквером в центре, выглядела тихим и уютным островком среди развалин. Точнее, за собором справа все было в развалинах, а влево все осталось в целости. Раны, нанесенные городу, такому старому, что, казалось, его могли разрушить полчища Атиллы, были тем не менее свежими ранами. Лубенцов удивился им, так как в летописи войны что-то не слышно было о крупных боях союзников под Лаутербургом и вообще в этих местах Средней Германии, по которым они проходили триумфальным маршем, не встречая сопротивления.

Вскоре Лубенцов с Ворониным вышли на северную окраину города и увидели перед собой гору с тем самым замком, который был ими замечен издали; при въезде. К замку вела светлая песчаная дорожка, то появлявшаяся, то исчезающая среди зелени.

У подножия горы, в почетном одиночестве, среди обнесенных чугунной оградой деревьев, стоял большой красивый дом, над которым развевался британский флаг. Тут, повидимому, была английская комендатура. А правее, внизу, виднелась станция железной дороги — семафоры, стрелки и пакгаузы,

показавшиеся Лубенцову чем-то чужеродным и неожиданным в этом средневековом городке. На станции царило оживленное движение. Тут стояли длинные шеренги зеленых грузовых автомашин, на рельсах пытели паровозики, длинные составы небольших платформ занимали все пути. Среди огромных ящиков, которыми было заставлено все кругом, сновали английские солдаты.

Не успел Лубенцов подойти ближе, как к нему направились два англичанина. Лубенцов смотрел на них с интересом, так как до этой поездки почти не видел англичан. В книгах он читал, что англичане высоки, сухопары и молчаливы. Эти двое не были ни высокими, ни сухопарыми, ни молчаливыми. Они заговорили с ним повышенными голосами, быстро и строго. Лубенцов, улыбнувшись, развел руками. Однако улыбка его, обаяние которой он уже сознавал, не вызвала никакого отклика. Англичане заговорили еще громче и еще более недружелюбно. Наконец, один из них довольно красноречиво замахал руками: иди, мол, отсюда, здесь стоять нельзя. Тогда Лубенцов слегка рассердился и сказал:

— Я советский комендант.

Англичане враз замолчали, переглянулись, отдали честь и начали неторопливое, но несомненно смущенное отступление в сторону.

Вся эта полунемая сцена озадачила Лубенцова. Он постоял, подумал и пошел обратно в город. Пошел он быстро, хотя при этом сильно прихрамывал. Воронин шел за ним, покачивая головой.

— Все ходит и ходит,— бурчал он себе под нос.

Вскоре они опять очутились на площади. Машина стояла, как прежде, у собора, а Ивана не было. Они нашли его внутри собора. Он оглядывал грандиозное здание спокойными полусонными глазами, не испытывая, повидимому, никакого почтения к тому, что видел.

Минут через десять машина остановилась возле английской комендатуры. Лубенцов прошел мимо часового в дом. Дом был богатый, но выглядел ободраным. От зоркого глаза бывшего разведчика не укрылось то обстоятельство, что тут недавно — буквально вчера — сняли ковры: паркет был поновее посредине комнат, а вдоль стен поблек. Под потолками вместо люстр висела путаница обрезанных проводов. В вестибюле между колоннами стояли штабеля дощатых ящиков.

Здесь уже было известно, что прибыл советский комендант. Навстречу Лубенцову вышел английский майор — высокий, круглолицый, полный, но тонконогий, с маленькими усиками на румяном лице. С ним вместе был бледный старый маленький немец — он оказался переводчиком. Говорил он по-русски хорошо, но старомодно, языком начала века, — видимо, бывал в России до революции.

— Милости прошу,— сказал он.— Милости прошу, сударь, милостивый государь, очень рад вас видеть, весьма приятно.

Эти выражения могли бы при других обстоятельствах рассмешить Лубенцова. Однако теперь он не был расположен к веселью, ему многое не понравилось, в том числе и то, что в английской комендатуре переводчиком служит немец. Сразу после войны это казалось в высшей степени неуместным, даже обидным.

Майор Фрезер — так звали англичанина — повел Лубенцова в свой кабинет, где на стене висел план города Лаутербурга. Он сообщил советскому коменданту, какие здесь имеются важные объекты, где выставлены посты, и пожелал сдать эти объекты с рук на руки. Называл он Лубенцова «май дир субколонэл» (мой милый подполковник) — с некоторой фамильярностью, но дружелюбно.

— Ладно, мой дорогой майор, согласен,— ответил ему в тон Лубенцов.

Тут с улицы донесся гул и грохот. Оба коменданта подошли к окну. По улице двигалась длинная, растянувшаяся, быть может, на несколько километров колонна советской артиллерии. Лубенцов как-то по-детски обрадовался, увидев своих после перерыва, который казался ему очень долгим. Он некоторое время с внезапным интересом следил за пушками, виденными им миллион раз.

— Ну, поехали,— сказал он, наконец, повернувшись снова к майору Фрезеру.

Майор кивнул и надел берет. Они вышли втроем из кабинета. В соседней комнате Лубенцов увидел двух англичан, которые стояли у открытого окна и, глядя на проходившую советскую артиллерию, что-то быстро записывали в блокноты. При этом каждый из них зажал в уголке рта мокрый огрызок сигары, дымившей, как паровоз. Один был маленький, в голубом суконном жакете, с голубой пилоткой на голове; другой — длинный, в костюме цвета хаки и в коричневом берете. Английский комендант, увидев их и бросив быстрый взгляд на Лубенцова, выкрикнул что-то сдавленным голосом; голубой и коричневый оглянулись и, не отдав чести, стремительно юркнули в боковую дверь.

Лубенцов остановился как вкопанный. Он посмотрел на англичанина взглядом, полным упрека и обиды. Он готов был высказать все, что думал, но промолчал. Почему он промолчал? Прежде всего он вспомнил про переводчика-немца; он не хотел доставлять немцу удовольствия присутствовать при ссоре русского с англичанином. Кроме того, он не был уверен в том, что, заметив такое недружественное поведение союзников, он имеет право показать, что заметил это: может быть, было выгоднее в этом случае промолчать. И, наконец, невысказанная, затаенная обида дает человеку некую дополнительную

внутреннюю силу, которая может при случае пригодиться. Впрочем, последняя мысль, если она и приходила в голову Лубенцову, то подсознательно, скорее в виде чувства, чем мысли.

Что касается англичанина, то он заметно расстроился. Его круглое добродушное лицо стало замкнутым и грустным. Может быть, если бы он считал себя вправе быть откровенным, он сказал бы, что ему, как порядочному человеку, претят тайные козни против союзников, что он не разделяет мнения своего начальства о необходимости этих мер. Но он не мог быть искренним, так как не верил в искренность Лубенцова. А Лубенцов, который был до этого момента настроен очень дружелюбно и доверчиво, начиная с этого момента стал подозрительным и недоверчивым.

У подъезда стояли две машины — «виллис» Лубенцова и большая легковая, принадлежавшая английскому коменданту. Лубенцов сел с англичанином в его машину, а Воронин последовал за ними на своей. Когда машины тронулись, Лубенцов сказал:

— На станцию.

Немец перевел, и, как Лубенцов и ожидал, англичанин стал возражать против поездки на станцию. Он ссылаясь на то, что там нет ничего интересного, и предложил ехать в замок, затем в лагерь перемещенных лиц, на пивоваренный и ликерный заводы, а если время позволит — в расположенную недалеко горную гостиницу, где их угостят форелью. В первую очередь он считал нужным поехать на ликерный завод и там поставить охрану.

— Нет, мы начнем со станции,— сказал Лубенцов, и они поехали на станцию.

— Что здесь грузят? — спросил Лубенцов, когда они вышли из машины возле вокзала.

— Английское военное имущество,— быстро перевел Кранц объяснения майора Фрезера.

Они пошли вдоль рядов стоявших на платформе ящиков. К Лубенцову тотчас же присоединился Воронин. Он с решительным видом придерживал правой рукой свой автомат. На ящиках были черной краской нанесены английские надписи. Лубенцов, солидно и медленно шагая среди грузов, чувствовал себя в весьма глупом положении и не знал, на что решиться. Потребовать вскрыть ящики было неразумно. Англичанин вполне мог отказаться от этого, сославшись на военную тайну. Мимо проходили немцы грузчики с тюками на спинах.

— Поедем на ликерный завод, мой дорогой подполковник? — спросил майор Фрезер.

Этот «май дир субколонэл» порядком действовал Лубенцову на нервы. Он притворился, что не слышит.

Они шли по высокой платформе вдоль пакгауза. Вскоре им преградила путь целая гора ящиков. Лубенцов остановился. Он покосился на Воронина. У старшины было напряженное лицо. Он крепко сжимал шею приклада автомата маленькой тонкой ручкой. Лубенцов посмотрел на него, прямо ему в глаза, так пристально и так выразительно, что Воронин сразу понял, что Лубенцову нужно ему сказать нечто очень важное и такое, что вслух сказать нельзя. В глазах Лубенцова Воронин прочитал почти мольбу о чем-то, до чего только сам Воронин мог додуматься и что сразу понял бы покойный ординарец Лубенцова, Чибирев, понимавший своего начальника с полуслова.

Понял ли Воронин Лубенцова? Лубенцов показал английскому коменданту рукой на поросший буками и грабами горный склон за железной дорогой и стал говорить о красоте этих мест и что ему очень нравится горный пейзаж — может быть, потому, что он в детстве жил на Дальнем Востоке, где тоже много гор и холмов. Переводчик, старый немец Кранц, переводил его слова очень подробно, а англичанин рассеянно кивал головой, соглашаясь и время от времени нетерпеливо поглядывая куда-то назад, на станцию.

Тут один из ящиков, находившихся на самом верху, задвигался, накренился и грохнулся рядом с ними, затем медленно перевалился через край платформы и опрокинулся на полотно железной дороги. Доски лопнули и встали торчком. Английский комендант отскочил в сторону.

— Медведь! Олух царя небесного! — ликуя и еле сохраняя спокойный вид, выругал Лубенцов Воронина, чье красное от натуги и притворно испуганное лицо выглянуло из-за ящиков.

Англичане засуетились, забегали, заговорили, потом остановились и замолкли.

— Господин майор, смотрите, — с притворным удивлением сказал Лубенцов, показывая вниз, на рельсы. Там лежал очень красивый маленький шлифовальный станок, такой новенький, что казалось — он только что вылупился из этого деревянного, раздавшегося в разные стороны яйца. Это была вполне современная немецкая машина с длинной медной пластинкой, на которой было написано:

ХЕМНИЦ, МАШИНБАУВЕРКЕ¹

— Это немецкое оборудование, — продолжал Лубенцов. — Как вам, наверно, известно, оно не подлежит эвакуации. По положению, вы не должны демонтировать и вывозить оборудование из этой зоны. Я вынужден буду потребовать приостановления отгрузки.

¹ Хемниц, Машиностроительный завод.

Он говорил медленно, по-русски, вовсе не интересуясь, понимает ли англичанин его слова. Он знал, что англичанин прекрасно понимает смысл сказанного. Кранц тоже это знал и не пытался переводить. А Лубенцов все продолжал говорить, причем не только спокойным, но, пожалуй, даже ласковым тоном,— может быть, потому, что, разговаривая, он думал не об англичанах, а о Воронине, об уме и отваге этого маленького человека, о его почти гениальном, с точки зрения разведчика, проникновении в суть настоящей ситуации и своей роли в ней.

Воронин тем временем — теперь уже на правах хозяина положения — вскрывал один ящик за другим: у него в руках оказался неизвестно откуда взявшийся ломик. Во всех ящиках были немецкие станки и оборудование. Немцы носильщики скрылись. Лубенцов стоял, окруженный молчаливыми англичанами, и, словно перестав их замечать, неторопливо отдавал приказания Воронину:

— Этот вскрой. Вот этот. Давай из той кучи. Сверлильный. Так. Револьверный.— Он покосился на майора Фрезера и сказал: — Фрезерный. Ладно. Хватит.

Майор Фрезер покраснел, кашлянул, потом сухо бросил переводчику:

— Мисандерстендинг ¹.

— Непонимание,— перевел Кранц после довольно долгого размышления. Лубенцову показалось, что тонкие губы немца дрожат от сдерживаемой усмешки.

Станки были из подземного завода, который, как оказалось, производил самолеты-снаряды «ФАУ-2». Этот завод находился в горах, неподалеку от Лаутербурга, но не был нанесен на план города, переданный англичанином Лубенцову. Когда они вернулись в комендатуру, Лубенцов предложил майору Фрезеру нанести завод на план. Тот сделал кружочек на нужном месте.

— Непонимание,— сказал немец переводчик. Видимо, ему понравилось это длинное слово и то, что он вспомнил его так кстати. Он произносил его с удовольствием.

— Больше никаких объектов нет? — хмуро спросил Лубенцов.

Фрезер как бы задумался на мгновение, потом нанес на карту еще один завод — химический — и небольшой заводик точной аппаратуры.

— Там все тоже упаковано? — спросил Лубенцов.

— Йес ²,— выдал из себя англичанин.

— Ох-ох-ох,— сказал Лубенцов, и этот комично-горестный возглас оказался вполне международным. Фрезер снова покраснел и сказал, что Лубенцов может располагаться в комен-

¹ Недоразумение (англ.).

² Да (англ.).

датуре, как дома. Помещение очень удобное, при Гитлере тут находился «Коричневый дом» — местная организация нацистской партии.

Пока следовало установить советские караулы на объектах. Лубенцов велел Воронину связаться с какой-нибудь из ближайших воинских частей и попросить солдат. Фрезер уже не имел желания сдать объекты «с рук на руки» и поручил эту заботу одному из своих офицеров, который и ушел вместе с Ворониным.

Когда они ушли, в комнате воцарилось молчание. Лубенцов смотрел в открытое окно. Фрезер почти с ненавистью глядел на его русский затылок. Потом Фрезер все-таки превозмог себя. Он пригласил Лубенцова в соседнюю комнату, где был накрыт стол.

Переводчик пошел вместе с ними, но за стол не сел, а присел на кончик дивана, переводя замечания английского и советского комендантов издали.

Фрезер сказал, что он не профессиональный военный. Он окончил Итонскую школу и Оксфордский университет. Он баронет. Знает ли «мистер субколонэл» («май дир» он уже Лубенцова не называл), что такое баронет? Лубенцов без размышлений ответил утвердительно, хотя представлял себе существо этого титула весьма туманно. Фрезер добавил, что, как ему кажется, господин подполковник тоже из хорошей семьи. Верно, подтвердил Лубенцов, из хорошей: отец — лесоруб, а мать — крестьянка. «Да», — протянул майор Фрезер неопределенно. ~~Нисмолчав, он сказал, что и он бывал на Дальнем Востоке, но не на советских землях, а в Гонконге и Сингапуре.~~ «Это вполне естественно, что не на советских землях», — велел перевести Лубенцов.

Неизвестно, что ответил бы на это английский комендант, но тут его позвали, и Лубенцов остался в одиночестве за столом. С Кранцем он не стал разговаривать. Только изредка он бросал на него взгляд исподлбья, и немец под этим взглядом ежился.

Англичанин вернулся минут через десять, очень оживленный и чем-то довольный. Одновременно за дверь послышались всхлипывание, шарканье ног, тихий взволнованный говор. Фрезер распахнул дверь и впустил троих: толстую растрепанную женщину с крупной добродушной бородавкой на щекастом красном лице, одетую в красный полосатый свитер с закатанными рукавами, широкую юбку и клеенчатый фартук; другую женщину, тоже пожилую, с гладко причесанными седыми волосами, в накинутах на плечи мужском пальто, и благообразного старичка в очках, с шляпой в руке. Толстая с бородавкой быстро зататорила, жестикулируя и хлопая себя время от времени по широким бедрам, изредка всхлиывая и тут же улыбаясь извиняющейся улыбкой. Из ее слов Лубенцов понял, что кто-то их грабит, и они просят защиты коменданта.

Англичанин очаровательно улыбнулся и, протянув руку к Лубенцову, торжественно представил его:

— Совет командант.

Он весь расцвел, будто представлял им старого своего друга, причем такого человека, который один только и способен разрешить все вопросы и разъяснить все сомнения. Потом он кинул на Лубенцова насмешливый взгляд, отошел в сторонку и сел в кресло, приняв свободную, независимую позу, означающую: мое дело сторона, тут появился другой, настоящий хозяин.

По его странному поведению и по некоторому смущению немцев Лубенцов сразу же заподозрил что-то неладное. И верно, оказалось, что немцев грабят русские из местного лагеря.

Лубенцов встал с места и с минуту постоял, не зная, что делать. Ему в голову пришла спасительная мысль: надо велеть написать заявление — разберемся, дескать, завтра. Это было бы удобно, но скорее всего неправильно. Он взял с буфета свою фуражку и сказал:

— Поеду посмотрю, в чем дело.

На улице было уже темно. Погода изменилась, шел мелкий теплый дождь. Машина стояла у тротуара, и стекла на ней поблескивали слепым блеском. Казалось, она стоит тут очень давно и не сможет тронуться с места. Вокруг не было ни одного светлого окна. Улицы были совершенно пустынные — ни звука шагов, ни человеческого голоса.

— Иван,— позвал Лубенцов.

Зажглись фары машины, вырвав из темноты длинный кусок дождя. Две немки и немец пугливо жались к крыльцу.

— Давай, давай,— сердито сказал Лубенцов, показывая руками на заднее сиденье машины.

Они медленно подошли и уселись. Лубенцов поместился рядом с Иваном. Машина тронулась. Свет от фар замелькал по стенам старых домов, по мокрому веткам деревьев, свисающим над каменными оградами. Они проехали немало узеньких проулков, замощенных кривыми плитами, прежде чем толстая немка, сидевшая сзади, отчаянно вскрикнула:

— Hier, hier!..¹

Иван затормозил. Лубенцов вышел из машины и пошел вслед за немцами в большой двор. Справа находилась мастерская для ремонта автомобилей, слева — темный дом с открытыми настежь дверями и окнами, за которыми блуждали огоньки свечей. Двор сразу же заполнился шаркающими шагами и негромкими голосами. Зажегся электрический фонарик. Он побегал по машине и, на мгновение остановившись на Лубенцове, испуганно погас. Какой-то немец похрабрее подошел к Лубенцову и стал ему объяснять, в чем дело. Из дома забрали шесть

¹ Здесь, здесь!.. (нем.)

пальто, две швейные машины, три радиоприемника, бочку фруктового вина, а из мастерской — паяльную лампу и различные инструменты. Люди, взявшие все это, ушли с полчаса назад. Один из них был русский с деревянной ногой из соседнего лагеря. Об этом русском немец говорил с плохо скрываемым ужасом.

— Где этот лагерь? — спросил Лубенцов. Ему стали что-то объяснять, но он нетерпеливо выхватил из толпы рукой за плечо мальчика лет пятнадцати и подтолкнул его к машине. Они поехали. Вскоре город остался позади. Дорога шла среди огородов. Потом мальчик велел повернуть налево, на немощеную песчаную дорогу, которая привела к деревянным баракам. Вокруг стояли столбы с обрывками колючей проволоки.

Лубенцов направился к ближайшему барaku. Там у порога кто-то стоял. Лубенцов, приблизившись, разглядел женщину в белой косынке. Она тоже взгляделась в него и вдруг вскрикнула пронзительно-громко ликующим голосом:

— Наши! Наши пришли!

С обеих сторон длинного коридора распахнулось не меньше двух десятков дверей. Коридор моментально переполнился людьми. Лубенцова почти втащили в одну из комнат. Она была освещена тусклым светом керосиновой лампы, стоявшей на самодельном дощатом столе. Лубенцов, взволнованный до глубины души, видел вокруг себя белые косынки девушек, ватные пиджаки мужчин. Комната была большая, нештукатуренная, обставленная двумя десятками деревянных топчанов, покрытых то полосатым соломенным матрацем, то тонким байковым одеялом. Два угла были отгорожены простынями. В третьем углу на веревках висели детские колыбели. Пахло пеленками и керосином.

Лубенцову пододвинули стул, усадили его. Пожилые женщины смотрели на него так любовно, причитали при этом так надрывно, словно он был давно ожидаемым, долго не подававшим о себе вестей сыном. Молодые девушки вытирали глаза кончиками платков. Худые подростки шупали его погоны и, не очень интересуясь лицом Лубенцова, замороженно вглядывались в его орден. Комната все больше заполнялась людьми.

Напротив Лубенцова уселся широкоплечий молодой человек с иссиня-черной бородой, в белой рубашке. Положив на стол большие скрещенные руки, он безотрывно глядел на Лубенцова. Его сосредоточенный неподвижный взгляд обладал какой-то гипнотической силой.

Лубенцова закидали вопросами. На столе появилась бутылка и селедка с огурцами. Но Лубенцов не стал пить, а обещал прийти через несколько дней, когда немного освободится. Он встал, чтобы уйти, и только тут вспомнил, зачем сюда приехал. С минуту он колебался, прежде чем заговорить об этом, а потом все-таки сказал.

Все переглянулись. Человек с черной бородой встал с места. И только теперь Лубенцов заметил, что вместо ноги у него деревяшка — грубая, небрежно обтесанная. Одноногий не стал объясняться, только коротко спросил:

— Надо вернуть?

— Да, надо вернуть,— сказал Лубенцов.

— Ладно, вернем.

Он вышел вместе с Лубенцовым из барака и, сказав «пождидите», исчез. Лубенцов остался в одиночестве. Он стоял в темноте, неподвижный и напряженный. Он чувствовал, что готов заплакать. Теплота всех этих глаз перевернула ему душу. Жалость к этим людям и гордость за свою армию переполняли его. «Почему я должен,— думал он,— заставлять этих родных мне людей, так много страдавших, возвращать чье-то имущество, может быть, нечестно нажитое? Почему я обязан обижать этих дорогих мне людей, которых и так столько обижали и унижали? Я ведь их люблю. А тех, у кого они взяли эти ничтожные вещи, я не люблю и никогда не буду любить».

Послышался частый стук деревяшки, и из темноты вынырнул одноногий.

— Все сделано,— сказал он. Помолчав некоторое время, он проговорил: — Я лейтенант. Угодил в плен под Вязьмой в сорок первом. С оторванной ногой.— Снова минуту помолчав, он тихо заключил: — Нехорошо.

— Ничего,— сказал Лубенцов.— Все будет в порядке.

— Сам виноват,— сказал человек, как будто размышляя вслух.— Мог бы застрелиться. Хотя это очень трудно. И нога лежала рядом. Ее оторвало болванкой, почти целая лежала, отдельно только. Как-то засмотрелся я на эту ногу, тут меня и схватили.

— Ничего,— сказал Лубенцов.— Все будет хорошо.

— Бочку вина наполовину выпили,— сказал человек.— А все остальное отдадим. Уже понесли отдавать. Напрямки, через огороды. Если хотите — поедем, проверите.

На некотором отдалении от них стояла толпа людей, выславших из барачков.

— Мы бы не стали у них брать, бог с ними,— продолжал человек.— Да мы тут совсем обносились. Американцы и особенно англичане держали нас в черном теле. Даже хлеба не давали. Не всегда давали. Всегда были против нас, за немцев. Мы им указывали тех немцев, которые особо издевались над нашими при Гитлере. Англичане их не трогали. А позавчера приехали к нам и говорят: делайте, что хотите, все ваше, русские сюда идут, все теперь ваше. Вот мы, значит, и разыгрались...

— Больше ничего такого не делайте,— сказал Лубенцов.

— Ладно. Я и сам думал, что не может советское командование дать такой приказ.

— Конечно,— сказал Лубенцов.

— Поехали?

— Поехали.

Они пошли к машине. Опять зажглись фары. Немецкий мальчик забился в угол заднего сиденья. Машина двинулась в обратный путь.

Человек сказал:

— Англичане расклеили объявления, что советские власти запрещают немцам ходить по улицам после семи часов вечера. Иначе — расстрел. Что, и это неправда?

— Неправда.

Человек нехорошо усмехнулся и сказал:

— Так я и думал. А там бог их знает. Странно все-таки.

— Странно, — согласился Лубенцов.

— Это для вас странно, — вдруг сказал одноногий резко и как бы непоследовательно. — Если бы вы тут были... — Он махнул рукой.

Когда машина въехала в тот самый двор, откуда выехала полчаса назад, ее сразу же окружили темные фигуры мужчин и женщин. Они уже не тихо, а довольно громко и оживленно говорили наперебой, сообщая, что им все вернули и что все в порядке. А та толстая с бородавкой без конца благодарила, варьируя слово «данке» на все лады.

Тут немцы заметили одноногого и, сразу оробев, замолчали.

— Спасибо вам, — сказал Лубенцов, пожимая руку одноногому. И в третий раз повторил: — Все будет в порядке.

Х

После всего происшедшего Лубенцов решил не ездить ночевать в английскую комендатуру. Если бы одноногий позвал его с собой, он, вероятнее всего, поехал бы к русским в лагерь. Его туда тянуло, ему хотелось поговорить с ними, подбодрить их, рассеять смутную тревогу, которую они, несомненно, испытывали и которая странным образом уживалась в них с чувством великой радости. Но одноногому даже в голову не могло прийти, что советскому коменданту негде ночевать, и, почтительно простившись, он исчез в темноте. Частый стук дровяшки вскоре пропал в отдалении.

— Поедем на станцию, — решил Лубенцов.

— Вам бы поспать не мешало, — возразил Иван, но тем не менее развернул машину. Они снова поехали по темным улицам. Иван заговорил задумчиво: — Да, интересно кругом получается. Ничего не поймешь. Помещики, капиталисты. А коменданты — коммунисты. И что из этого выйдет? И что немцы думают? И за кем пойдут?

Лубенцов засмеялся.

— Вопросы ты задаешь правильные,— сказал он.— Над этими вопросами бьются теперь все правительства, министры все. Тебя бы в министры, Иван.

— Не дай бог,— ответил Иван.

По станционной платформе ходил советский парный патруль. Поговорив минуту с солдатами, Лубенцов снова сел в машину.

— Поедем к подземному заводу,— сказал он.

Они вскоре выехали из города. Машина поднялась в гору, потом спустилась вниз. Здесь был где-то поворот налево. Лубенцов зажег свет в машине, посмотрел карту. Они поехали дальше; наконец, фары нащупали в темноте малозаметный поворот. Они повернули налево, некоторое время ехали по ровному месту. По обе стороны полевой дороги стояла высокая рожь. Потом направо показались холмы. Собственно это были не холмы, а довольно высокие, поросшие соснами скалы. Свет фар освещал гранитные глыбы, на которых каким-то чудом смогли вырасти высокие деревья.

Они поехали медленнее. Вскоре их окликнул громкий голос, крикнувший по-русски:

— Стой! Кто идет?

«Посты и тут выставлены»,— подумал Лубенцов, довольный, и, сойдя с машины, сказал:

— Я подполковник Лубенцов, советский комендант.

— Пропуск,— возразил часовой из темноты.

— Еще не знаю,— сознался Лубенцов.

— Ну и проезжай,— сказал часовой недовольным голосом.

— Придется,— улыбнулся Лубенцов.

Он опять сел в машину. Иван развернулся, и они поехали обратно, на главную дорогу. На перекрестке Лубенцов велел ехать не направо, в город, а налево.

— Здесь в лесу где-нибудь заночуем,— решил он.

Проехав несколько километров, Иван повернул с дороги и остановил машину среди деревьев и кустарника.

Иван посидел с минуту неподвижно — видимо, отдыхал,— потом спросил:

— Кушать будете?

— Давай чего-нибудь. Кормил меня англичанин, да там не хотелось. Кусок не лез в горло. Ты рано встаешь?

— Когда надо, тогда и встаю.

— Нам нужно проснуться затемно и поехать в город. А то неудобно: увидят немцы, что их комендант ночует в лесу, как бродяга, потеряют уважение.

— Беда — уже светает.

— Часика два поспим. Еще нет четырех.

Так собирался Лубенцов заночевать первый раз в городе, где был комендантом. Однако ему не спалось. Спать на заднем сиденье машины было неудобно, а главное, образы прошедших

суток, голоса, слышанные за день, громкие и тихие, поток слов, русских и немецких, и мысли, мысли обо всем виденном и слышанном не давали покоя. У него не выходил из головы одноногий человек, бывший лейтенант, взятый в плен под Вязьмой. Лубенцов хорошо помнил Вязьму. Он там находился в окружении в 1941 году. Он там тоже был лейтенантом и тоже мог бы попасть в плен, вот так, как этот одноногий. Он тоже мог бы не успеть застрелиться. Что бы он делал? Неужели тоже остался бы в живых, находился бы в лагере, ходил бы, стуча деревяшкой, по немецкой земле, как не примирившийся, но внешне покорный раб? Ему были понятны озлобление и горечь в глазах у одноногого. Одноногий был волевым и сильным человеком, вожаком в здешнем лагере. Если бы не беда, приключившаяся с ним под Вязьмой, он вполне мог бы теперь приехать сюда, в Лаутербург, советским комендантом. А он, Лубенцов? Случись с ним такая беда, как с тем лейтенантом четыре года назад, он, может быть, находился бы здесь, в лагере, как этот лейтенант.

Нет, насколько Лубенцов себя знал, он не мог бы примириться с такой жизнью. Его давно сгноили бы в тюрьме, убили бы, замучили, он пытался бы бежать. Но ведь на одной ноге далеко не убежишь. Так или иначе, Лубенцов испытывал теперь чувство глубокой жалости и нежности к одноному лейтенанту.

— Жизнь штука сложная,— тихо произнес он вслух, думая, что Иван спит.

Но Иван не спал. Он вздохнул и сказал:

— Это верно.

Оба замолчали и уже больше не разговаривали. Лубенцов лежал без сна. Услышав, наконец, ровное дыхание Ивана, он бесшумно вышел из машины и стал прогуливаться в лесу. Земля тут повсюду была усыпана валунами, иногда очень большими. Эти гладкие камни валялись то здесь, то там. Лубенцов слышал шум воды неподалеку и вскоре подошел к склону, у подножия которого протекала быстрая горная река. Она пенилась и посверкивала в брезжущем свете утра.

Лубенцов посмотрел вправо и заметил за деревьями ту самую дорогу, по которой он сюда приехал. Дорога в этом месте делала петлю, и оказалось, что почти под самыми ногами Лубенцова, только ниже метров на сорок, находится черепичная кровля какого-то дома. Лубенцов пошел по тропинке вниз к дому и через несколько минут очутился в саду, окружавшем этот одинокий двухэтажный дом. Отсюда он разобрал надпись на вывеске, висевшей над окнами первого этажа: «Gasthof zum Weissen Hirsch»¹.

Ставни гостиницы были закрыты, но сквозь щели пробивался свет. До слуха Лубенцова донесся звон посуды. Послы-

¹ Гостиница «Белого Оленя» (нем.).

шались голоса. Лубенцов притаился. Он внезапно почувствовал себя разведчиком. Он тихо пошел вправо, держась на приличном отдалении от гостиницы, и вскоре увидел ее фасад и небольшой дворик, уставленный столиками. Возле крыльца стояли три легковые машины. Дверь гостиницы отворилась, на крыльце появилось несколько человек. И первый, кого заметил Лубенцов, был английский комендант, майор Фрезер. Лубенцов нагнулся и лег за куст. Это движение было произвольным. Он тут же с ужасом подумал, что будет, если эти люди увидят советского коменданта в столь неподобающей, прямо сказать — неприличной позе. Но и встать уже нельзя было.

Ругая себя последними словами, Лубенцов прикрылся пахучей веткой можжевельника и волей-неволей продолжал наблюдать. Кроме майора Фрезера, здесь были еще два англичанина — голубой и коричневый, — а также несколько немцев и немок. Воспитанник Оксфорда был сильно подвыпивши и даже слегка покачивался. «Тоже не совсем красиво для коменданта», — подумал Лубенцов, но при этом должен был признать, что лучше пьяный комендант, чем комендант, лежащий в кустах.

Он имел возможность хорошо рассмотреть все общество. Здесь был переводчик Кранц — маленький, с пергаментным лицом, очень старый, но с очень живыми глазами и легкой походкой, похожий на старого мальчика. Другой немец, в черной шляпе и больших очках, закрывавших добрую половину его сурового, надменного лица, все время разговаривал с голубым англичанином. Говорил он, повидимому, по-английски, — они обходились без переводчика. Сам Фрезер, улыбаясь и время от времени хихикая, держал в своих руках руку рослой красивой блондинки с высоко взбитой прической. Были здесь еще три другие немки — все три молодые и довольно смазливые, одна из них — совсем молодая, может быть, лет семнадцати. Она была очень пьяна.

Они оживленно беседовали и медленно шли к кустарнику, где лежал Лубенцов. Несмотря на утреннюю прохладу, он весь вспотел. К счастью, они свернули по тропинке к обрыву. Там они постояли, поглядели на восходящее солнце и вниз, на горную реку. Потом высокая блондинка со взбитой прической что-то крикнула, коричневый англичанин вместе с Кранцем побежали к гостинице и через минуту вернулись к обществу в сопровождении толстого мужчины без пиджака, в одном жилете, который нес в руках поднос с наполненными бокалами. Высокая блондинка взяла в руку бокал, выпила и, высоко подняв его над головой, бросила в пропасть. Ее примеру последовали все остальные. Они посмотрели вниз, следя, повидимому, за падением бокалов. Потом блондинка всплакнула, но тут же попудрила себе лицо, и все, оживленно разговаривая, пошли обратно к гостинице.

Лубенцов встал, пробрался среди кустов к ведущей вверх тропинке и через пять минут очутился возле своей машины. Он растолкал Ивана, сел рядом с ним и скомандовал ехать. Вскоре машина советского коменданта возвратилась в город и медленно подкатила к крыльцу английской комендатуры. Здесь на ступеньках сидел Воронин. Он курил, по-хозяйски оглядывался. Его тонкое лисье личико выражало довольство и самоуверенность.

— Все в порядке,— сказал он.— Посты выставлены. Я их сам развел. Пропуск и отзыв: Ленинград — Лейпциг. Где разместимся? Здесь?

Подумав, Лубенцов возразил:

— Нет, не желаю я ихнего наследства. Да и вообще неприлично советской комендатуре помещаться в «Коричневом доме», хотя бы и бывшем.

Это мнение одобрили и Воронин с Иваном.

— На площади, там, где собор, есть подходящий дом,— сказал Воронин.— Пустой, никем не занят. И место хорошее. Мебель там есть на первый случай. Только стекла выбиты. Но их вставить нехитрое дело.

— Разведаль? — усмехнулся Лубенцов.

Они поехали проверить посты, побывали на всех заводах и складах. Повсюду из разных уголков им навстречу выходили русские солдаты, довольно меланхолические, чуть заспанные, но бодрствующие, и задавали свой вечный вопрос: «Кто идет?»

«Как хорошо»,— думал Лубенцов, глядя на них с умилением. Его умилял их такой обыденный, непарадный вид, полное отсутствие в них какой бы то ни было позы. Каждый из них в отдельности, как бы он ни гордился своим отечеством и победой, меньше всего был склонен преувеличивать свое значение в достижении победы и с удивительным здравым смыслом и даже некоторой иронией относился к громким словам, витийству, пропагандистским преувеличениям. Им по самой природе было чуждо зазнайство. Лубенцов готов был каждого из них расцеловать.

Наконец, отправились на площадь к собору. Дом, выбранный Ворониным, действительно оказался вполне подходящим. Это был основательно построенный из серого гранита трехэтажный, по углам украшенный башенками дом. По обе стороны широкого подъезда стояли поддерживавшие свод кариакиды в виде двух каменных женщин. Кивнув на них, Лубенцов сказал:

— Неудобно для комендатуры, а?

— Ничего,— усмехнулся Воронин.— Художественное произведение.

— Сойдет,— согласился с ним Иван.

К ноге одной из каменных женщин была приклеена бумажка, оказавшаяся распоряжением английской комендатуры

на немецком языке. Лубенцов прочитал листок. Британская комендатура приказывала немцам в связи с вступлением советских войск прекращать всякое движение в девятнадцать часов под страхом расстрела.

Лубенцов сорвал бумажку, скомкал ее, хотел бросить, но потом раздумал и положил к себе в карман.

Они поднялись по широкой лестнице. Она, хотя и обсыпанная стеклом и щебнем, выглядела весьма представительно. Обойдя множество комнат, Лубенцов сказал:

— Дом хороший. Подойдет.

— Для круговой обороны подходящий, — сказал Воронин.

— Имеем гараж на четыре машины, — сообщил Иван, успевший осмотреть двор.

— Надо узнать, чей дом.

— Учреждение.

— Смотря какое.

— Не детский сад, во всяком случае.

— Банк, пожалуй. Несгораемых шкафов уйма.

— Правда, пустых.

— Да, похоже, что банк.

Решили здесь обосноваться.

Воронин сказал:

— Надо объявить в городе, где комендатура наша будет.

— Сами узнают, — сказал Лубенцов. — Завтра и флаг повесим.

— Неужели и флаг?

— Точно не знаю, кажется, да.

Попытались умыться. Но вода не текла ни из одного из десятка кранов в умывальниках и ваннах, расположенных в пустом доме. Света тоже не было. Воронин взял в машине свой солдатский котелок и, убежав, вскоре принес воды. Умылись. Поели все трое на одном из зеленых канцелярских столов. И Лубенцов, побрившись, начистив сапоги и даже надрав пуговицы, снова отправился в английскую комендатуру.

Здесь вовсе не чувствовалось, что англичане собираются в дорогу. Всюду было тихо и сонно. Майор Фрезер, разумеется, спал. Лубенцов заставил англичан его разбудить. Он появился в накинутом на плечи халате и, завидя Лубенцова, крикнул:

— Мистер Крэнс!

Это он звал переводчика. Кранц сразу же появился, и Лубенцов сказал ему:

— Я прибыл с прощальным визитом.

Фрезер поклонился и спросил, не желает ли подполковник познакомиться с деятелями местного немецкого самоуправления. Лубенцов ответил, что желает, но не смеет ради этого задерживать английских офицеров и сам познакомится с бургомистром.

— Бургомистр здесь, — сказал Фрезер.

Кранц вышел и вернулся с высоким немцем в больших роговых очках. Лубенцов сразу узнал его. Он видел его на расвете вместе с англичанами возле горной гостиницы.

— Бургомистр Зеленбах,— представился он с каменным лицом.

Лубенцов не обратил на него никакого внимания и, вынув из кармана сорванный им с ноги каменной женщины приказ английской комендатуры, раздраженно спросил, чем можно объяснить этот странный приказ, вовсе не соответствующий истине; неужели англичанин не знает, что в советской зоне оккупации комендантский час — не семь, а одиннадцать часов?

Майор Фрезер развел руками.

— Мисандерстендинг? — внезапно произнес Лубенцов забывшееся ему английское слово.

Фрезер, удивившись, что-то пробормотал. Он решил, что советский комендант знает по-английски и только притворялся, что не знает.

В его голове пронеслось все, что говорилось в течение вчерашнего дня по-английски в присутствии советского коменданта; он густо покраснел и вдруг озлился против этого молодого русоволового интригана и притворщика, казавшегося таким простодушным. «Опасные, скрытные и недоброжелательные люди, отравленные своей идеологией и ненавидящие человечество»,— думал он о русских. И чем яснее он сознавал, что сам дал русскому основания для недоверия и подозрительности, чем больше был недоволен собой и приказами своего командования, тем сильнее злился на Лубенцова и на всех русских, тем упорнее подозревал их в самых худших намерениях.

Ему стоило немалого труда пригласить Лубенцова в свой кабинет, где на столе стояла бутылка водки и лежали тонкие бутерброды.

— Прошу извинения за скромное угощение,— буркнул Фрезер.

Лубенцов посмотрел на Кранца, который задержался с переводом, тоже думая, что Лубенцов все понимает по-английски. Когда Кранц перевел слова англичанина, Лубенцов не удержался, чтобы не съязвить:

— В «Белом Олене»,— сказал он,— кормят хорошо.

Фрезер заморгал глазами и, судорожно улыбувшись, сказал:

— Англия бедна.

— Бедна? — угрюмо переспросил Лубенцов, сразу поняв, что Фрезер оправдывается не так по поводу скромного угощения, как за голые стены комендатуры и за вчерашний случай на станции.— А мы что? Богаты? У вас один Ковентри, а у нас их тысяча. Ладно,— продолжал он, махнув рукой.— Счастливого пути.

Фрезер стремительно пошел к выходу, сопровождаемый бургомистром, переводчиком и Лубенцовым. У комендатуры стояли три машины — английская, советская и маленький «опель», принадлежавший, очевидно, бургомистру. Фрезер, ни на кого не глядя, торопливо откланялся, сел в свою машину и уехал.

Стоявший на крыльце Воронин буркнул:
— Скатертью дорога.

XI

— Почему нет света и воды? — спросил Лубенцов, резко обернувшись к Зеленбаху, стоявшему чопорно и прямо, с шляпой в руке.

Зеленбах стал объяснять, в чем дело. Лубенцов выслушал его объяснения, которые хорошо понял, но затем терпеливо выслушал и перевод старого Кранца. Объяснения сводились к тому, что свет поступал из города, находящегося теперь в английской зоне, и в связи с уходом англичан подача электроэнергии была прекращена ими. На вопрос Лубенцова — имеется ли электростанция здесь в городе, Зеленбах ответил, что электростанция имеется, но она сильно повреждена и, кроме того, нет топлива: неоткуда взять уголь.

— А раньше как было? — спросил Лубенцов. — Город освещался местной электростанцией или как?

— Только частично. Станция маломощная, восемь тысяч киловатт.

— А топлива давно нет?

Зеленбах с минуту молчал. Дело в том, что топлива не было всего несколько дней — с тех пор, как стало ясно, что англичане отсюда уходят. Бургомистр посмотрел на Лубенцова. Советский комендант — статный, широкоплечий, синеглазый, очень простодушный, с добрыми губами — показался ему простаком, славным недалеким парнем, имевшим, вероятно, большой успех у женщин.

— Давно, — ответил Зеленбах, бросив быстрый взгляд на Кранца.

— Давно, — перевел Кранц.

— Значит, будем жить без света? — засмеялся Лубенцов. Потом спросил: — А производится уголь в нашем районе? Да? Где? Сколько километров до этих шахт? Всего тридцать? — Лубенцов рассмеялся совсем добродушно. — А я всю жизнь слышал насчет германского организаторского гения разные легенды. Что же это вы, господин Зеленбах, не можете организовать такую ерунду? Не красиво, господин Зеленбах. Просто из рук вон. — Он подождал, пока Кранц переведет эту тираду, и отметил про себя, что Кранц переводит очень точно. — Поехали, посмотрим электростанцию, господин Зеленбах. Давай, давай.

— Fahren das Kraftwerk besichtigen, Herr Seelenbach,— перевел Кранц, потом задумался над тем, каким образом перевести эти непереводаемые слова «давай, давай», слова, полные множества оттенков.— Schneller, schneller,— сказал он неуверенно. Потом поправился: — Aber gar schnell.— Потом добавил: — An die Arbeit! ¹

Они сели в машину бургомистра и поехали через железнодорожный переезд в горы.

Небольшая электростанция из желтого кирпича действительно оказалась слегка поврежденной, но внутри, на кафельном полу, стояли два двигателя, смазанные и имевшие весьма благополучный вид. Все кругом было пустынно, шумели деревья, журчали ручьи. У входа стоял только одинокий сонный на вид советский часовой. Он стоял молча, наблюдая с невозмутимым лицом за происходящим.

— Механика сюда,— сказал Лубенцов.

Зеленбах недоуменно пожал плечами и стал оглядываться во все стороны, словно ища этого механика. Потом он заговорил с Кранцем. Потом пошел по дороге вниз, где виднелись крайние домики города, но тут же вернулся и опять начал шептаться с Кранцем о чем-то.

Солдат сказал:

— Механик вот в том доме живет, во втором налево.

Кранц побежал вниз по тропинке к домам и минут через десять вернулся с неторопливым пожилым человеком, которого представил, как «господина Майера, механика». Механик поздоровался с Лубенцовым, и все, что Кранц ему переводил, сопровождал спокойными междометиями и односложными замечаниями вроде: «на, я», «о я», «гевис», «зихер», «я, я» ².

Он стал объяснять положение вещей на станции и сказал, что рабочие разбрелись и он точно не знает, где они теперь, а с топливом дело тоже очень плохо.

— Тут и топливо есть, товарищ подполковник,— опять вмешался часовой.— Вон там, в овраге лежит.

Лубенцов подошел к оврагу и все остальные за ним. На вопрос о том, на сколько хватит топлива, механик, окинув взглядом угольную кучу, сказал, что должно хватить дня на три, если давать свет с темноты до часу ночи.

— Давай,— сказал Лубенцов.— Когда же будет свет, господин Майер?

— Завтра,— ответил механик.

— А сегодня нельзя?

Подумав, Майер сказал:

— Можно.

¹ Быстрее, быстрее; побыстрее; за работу! (нем.)

² Ну, да, о да, конечно, несомненно, да, да (нем.).

— Прекрасно! — воскликнул Лубенцов. — А угля мы тебе подвезем. Вот бургомистр — он все сделает. За эти два-три дня он тебя углем завалит так, что некуда будет девать. Верно ведь, господин Зеленбах?

— Яволь¹, — произнес бургомистр хмуро.

Они сели в машину. Зеленбах велел своему шоферу ехать обратно. Лубенцов удивился и сказал:

— Ты куда поехал? А уголь? Что будет с углем? Нет, голубчик, так дело не пойдет. Вези нас к шахтам.

Машина развернулась и, обогнув город, спустилась в равнину. Немецкие деревни, проходящие мимо, уже серьезно занимали Лубенцова, ему хотелось в каждой из них остановиться, узнать, что там люди делают.

Он расспрашивал Кранца то об одном, то о другом. Здесь было много интересного и непонятного. На вершинах отдельно стоявших гор — Лубенцов мысленно называл их по-дальневосточному «сопками» — виднелись развалины. Это были остатки рыцарских замков, некогда охранявших герцогство от разбойничьих набегов и крестьянских восстаний.

Высоко-высоко над зреющими нивами проходила воздушная дорога из стальных канатов, подвешенных на железные эстакады; по этим канатам недавно еще двигались вагонетки с медной и железной рудой из горных рудников на железнодорожную станцию. Теперь вагонетки висели неподвижно; рудники не работали. Лубенцов отметил это в своем блокноте.

Машина мчалась быстро, и тридцать пять километров проехали за полчаса.

— Где шахты? — спросил Лубенцов.

Выяснилось, что ни Зеленбах, ни Кранц тут прежде никогда не бывали. Но вскоре слева от дороги показались темные продолговатые бараки. Лубенцов остановил машину и пошел к ним. Нигде не было ни души — ни в конторе, ни в мастерской. Лубенцов пошел дальше. Кругом лежали кучи крепезного леса — досок, горбылей и тонких бревен. Тропинка шла среди высокого ковыля и нагретого солнцем папоротника. Все это ничуть не напоминало об индустриальном пейзаже. Но вот Лубенцов очутился на краю огромной глубокой котловины овальной формы. Ее опоясывали ниточки железнодорожных путей, на которых там и сям стояли неподвижные паровозы и платформы, казавшиеся с такой высоты черненькими букашками. Неровные бока этого необыкновенного по величине бесконечного карьера показывали всю здешнюю землю в разрезе: сверху — тонкий слой сероватой земли, поросшей ковылем и папоротником, ниже — красноватая глина, затем — толстый слой белого песка и, наконец, — черный угольный слой. Неподвижные экскаваторы

¹ Так точно (нем.).

высились то тут, то там. Большое озеро с помпой для выкачивания воды находилось посредине котлована.

Лубенцов оглянулся. Старик Кранц стоял возле него. Зеленбах отстал; он шагал сюда, высоко, но медленно поднимая длинные ноги над травой.

— Это и есть шахты? — спросил Лубенцов.

— Да, сударь, — сказал Кранц и продолжал, старательно выговаривая каждое слово: — Она есть неглубокая, а открытая — бурый уголь добывает себя так в здешней местности.

Они вернулись к машине и поехали дальше, к поселку. Поселок этот ничем не отличался от любого другого немецкого села, с той разницей, что здесь, как и на шахте, в воздухе висел несильный приятный запах мазута. Они остановились на перекрестке. Лубенцов сказал:

— Найдите тут кого-нибудь... Управляющего, что ли.

Зеленбах поклонился и пошел вдоль улицы.

— Чего это он у вас такой... неживой? — спросил Лубенцов у Кранца. Кранц вежливо улыбнулся и развел руками. Лубенцов продолжал: — За какие достоинства вы его выбрали?

— Назначенный через американское военное правительство, — объяснил Кранц.

— А профессия у него какая?

— Хозяин большой, очень большой торговли.

— Лавочник? — переспросил Лубенцов.

Кранц не расслышал презрения в его тоне, и только обрадовался, вспомнив, видимо, забытое русское слово.

— Да, да! Вот, вот! Лавочник! Да.

Зеленбах вскоре вернулся один и сообщил, что управляющий перебрался вместе с англичанами на запад, в город Брауншвейг.

— Ну, а кто есть?

— Никого нет.

— Как так? А рабочие есть?

— Рабочие есть.

— Где они?

Зеленбах развел руками.

— Они, — сказал он неопределенно, — здесь... живут...

Лубенцов нетерпеливо махнул рукой и пошел по улице. На углу он увидел пивную с большой желтой вывеской, на которой было написано шахтерское слово «Глюкауф». Он вошел в пивную. Здесь было полно народу, как в праздник. Стеклянные кружки со светлым пивом стояли на круглых картонных подставках.

Все оглянулись на входившего Лубенцова. Воцарилось молчание.

— Что же это получается? — сказал он. — Уголь нужен, а вы пиво пьете!

Его голос прозвучал обиженно и недоуменно, и именно этот тон крайне удивил шахтеров. Некоторые сконфуженно улыбнулись.

— Управляющий сбежал! — продолжал он, устало садясь на стул.— Тоже причина! Между прочим, у нас в Советском Союзе управляющие сбежали почти тридцать лет назад, а уголь все-таки добывается...

Кранц, улыбнувшись тонкими губами, перевел эти слова. Рабочие засмеялись.

— Кто у вас тут есть? Профсоюз есть у вас? — продолжал Лубенцов.— Коммунисты, социал-демократы есть? Или ни черта у вас нет? Ну, вот вы! Кто вы такой? — Он ткнул пальцем в одного молодого худощавого паренька. Тот смутился и ничего не ответил.— Ну, скажите, скажите...

— Я рабочий,— тихо сказал паренек.

— Ну, а вы? Вы? Вы?

— Рабочий.

— Рабочий.

— Машинист экскаватора.

— Горнорабочий.

— Шофер.

— Монтер.

— Тагебаумайстер ¹.

— Ну, а коммунисты среди вас есть?

Коммунистов среди них не было.

Один старичок, пожевав губами, сказал:

— У нас были коммунисты, но их давно нет, давно нет.

Другой старичок, сидевший рядом с ним, проговорил:

— Подожди, Карл. У нас есть один коммунист.

— Да, да,— поддержал его третий старичок.— Один коммунист у нас есть.

— Это кто же? — спросил четвертый старичок.

— Ну, как же! Ганс Эперле — коммунист.

— Да, да,— подтвердили другие старики.— Эперле коммунист.

— Где он? — спросил Лубенцов, любясь этим неторопливым разговором старых шахтеров; он подумал, что они, несмотря на немецкую речь и внешность, все-таки здорово напоминают русских рабочих.

— Я его сейчас приведу,— крикнул паренек и выбежал из пивной. Не прошло и двух минут, как он вернулся вместе с высоким костлявым человеком в синем комбинезоне.

— Вы коммунист? — спросил Лубенцов.

— Да. Месяц, как вернулся из лагеря.

Лубенцов пристально посмотрел ему в глаза и встретил взгляд глубокий и серьезный. В другое время Лубенцов сразу

¹ Наземный мастер (нем.).

утих бы и стал бы разговаривать с этим человеком с тем волнением, которое всегда вызывал в нем человеческий подвиг. Однако сейчас ему было не до того. Предложенный ему темп жизни не допускал умиления, раздумий и длинных пауз, и этот новый жизненный ритм был очень чутко уловлен Лубенцовым. Он сразу накинулся на Эперле с градом упреков, вопросов и предложений.

— Уже месяц, как вернулись? Что же это вы, товарищ Эперле? Что же вы делали этот месяц? Ну, почему теперь не работают? Куда это годится? Электростанции стоят, железные дороги почти не работают, а вы что? Сколько у вас коммунистов? Шесть? Это немало! Это совсем немало. А социал-демократов сколько? Тридцать! Ого! И профсоюз есть? Всё есть, а угля нет! Ой, беда! Ну и ну!

В пивной становилось все больше народу.

Кое-кто из шахтеров стал объяснять, что англичане увезли с собой часть машин и что шахта «Генриетта» принадлежит угольному концерну, находящемуся в английской зоне оккупации; оттуда нет никаких вестей, управляющий сбежал и т. д. и т. п.

— Ну и что же, ну и что же? — начинал сердиться Лубенцов. — Рабочие-то остались! Главные-то люди — на месте! Беда с вами, немцы! Когда вы поймете, что можете жить без управляющих?

Наконец, было решено, что завтра шахта приступит к работе, и тут один из старичков шахтеров вдруг спросил:

— Как будет с заработной платой?

— А со снабжением как будет? — спросил другой старичок, жуя губами.

Лубенцов несколько растерялся. Он посмотрел на старичков сердито. Они ему теперь очень не понравились. Он был так доволен тем, что все вопросы легко и просто уладились, что теперь ему показалось даже оскорбительным то обстоятельство, что немецкие рабочие, которых он, Лубенцов, только что как бы простил от имени советского народа, еще осмеливаются говорить о деньгах, снабжении, спецодежде и прочих «шкурных» делах.

Все значение этих «шкурных» дел Лубенцов понял лишь тогда, когда зашел в квартиру к Эперле. Там сидели за столом девочка, мальчик и женщина лет сорока. Их домашний обиход, одежда, а главное, еда (они обедали) свидетельствовали о такой бедности, что Лубенцов не мог не упрекнуть себя за свой мальчишеский административный восторг.

Они ели так называемый «пелотин» — варево из желудей и буковых шишек.

Лубенцов совершил над собой некоторое насилие, чтобы заставить себя смотреть равнодушной и без излишнего состра-

дания на этих людей. Он заставил себя подумать о своей родной стране, где советские граждане, победители, жили не лучше, чем эти немцы, — по крайней мере в тех местах, где побывали гитлеровские войска. Он заставил себя вспомнить обо всей нищей и голодающей Европе, пришедшей в такой страшный упадок по вине немецкой агрессии. И все-таки эти мысли, несмотря на их горькую справедливость, не смогли заслонить от него тот факт, что в вверенном ему районе люди голодают. Как человек, он мог сколько угодно думать: «Поделом вам за все», но как комендант он так думать не имел права.

При этом Лубенцов сам ощутил голод — он давно не ел, ему захотелось чего-нибудь поесть. И он не мог скрыть от себя того обстоятельства, что ему довольно легко осуществить это желание в отличие от немецких рабочих.

После разговора с Эперле Лубенцов с Кранцем пошли к машине. Здесь, возле машины, их ожидал Зеленбах, о существовании которого Лубенцов совершенно забыл. Бургомистр стоял неподвижно, похожий на большого черного журавля. Все молча уселись в машину. Спустя некоторое время Лубенцов спросил, на чем Зеленбах собирается вывозить уголь. Зеленбах ответил, что в городе имеется несколько транспортных фирм, но вряд ли у них есть бензин. Тогда Лубенцов спросил, где производится бензин. Зеленбах ответил, что синтетический бензин производится в районе города Фихтенроде.

— Будет бензин, — буркнул Лубенцов, вспомнив, что в этот город назначен комендантом его знакомый, майор Пигарев, служивший раньше в штабе корпуса.

Кранц перевел его слова Зеленбаху с такой же уверенностью, с какой они были произнесены. Он про себя удивлялся, как все получается быстро и просто у этого русского; а получается все потому, что этот русский даже не может себе представить, что бы что-нибудь на свете нельзя было сделать. В бога он, вероятно, не верит, как все коммунисты. Он, вероятно, верит в прогресс. И в связи с этим весьма оптимистически настроен. «Разумеется, он не представляет себе всей сложности задач, которые встанут перед ним», — продолжал думать Кранц, искоса поглядывая на профиль Лубенцова.

Что касается Зеленбаха, то он тоже все время наблюдал исподлобья за советским комендантом. Комендант оказывался не так прост, как ему, Зеленбаху, казалось вначале. Впрочем, может быть, он и был прост, — Зеленбах никак не мог определить это, — но он имел какую-то школу, привычки, навыки, какой-то свой подход к делам, который был совершенно чужд стилю работы западных комендатур, вовсе не склонных заниматься мелочами и вообще старавшихся заниматься чем-либо как можно меньше.

Показался Лаутербург.

У подъезда комендатуры стоял Воронин, который, как обычно, курил сигарету с независимым и скучающим видом. Рядом стояло несколько немцев, при появлении коменданта снявших шляпы.

Воронин сказал:

— Первые посетители явились. Нужен переводчик. Кранца позвать?

— Нет, этого не будет,— возразил Лубенцов,— мы не англичане.— Он покосился на переводчика, который стоял возле машины бургомистра — бледный, сухонький, седой,— и добавил: — Только вот что: нужно ему уплатить. Лучше всего продовольствием.

Воронин сказал:

— Нет так нет. Сейчас позову другую, русскую. Сама пришла проситься.

Лубенцов вошел в дом. Здесь на диванчике возле широкой лестницы сидела девушка, хорошо одетая, на первый взгляд — красивая (есть такие девушки — красивые на первый взгляд). Она встала и представилась:

— Альбина Терещенко.— Крепко пожав Лубенцову руку, она выпалила единым духом: — Угнана сюда из Харькова в сорок втором году. Служила конторщицей в банке. Может быть, вам нужен переводчик? Я хорошо владею немецким языком и немного печатаю на немецкой машинке.

Поднимаясь с ней по лестнице, Лубенцов задал ей устную анкету, из которой выяснилось, что Альбина училась в Харькове в институте пищевой промышленности, в 1941 году окончила второй курс, незамужняя, в комсомоле не состояла.

Она производила впечатление красавицы, и надо было иметь хорошие глаза, чтобы заметить, что она похожа на грызуна, нечто вроде ласки или горноста. У нее были мелкие жемчужные зубки, тонкое личико, большие красивые глаза, бледная кожа на лице, стройная длинная шея, на которой плавно покачивалась маленькая, почти змеиная головка. Вдобавок ее клетчатая юбка, туго облегавшая широкие бедра, внизу расходилась клешем, причем сзади была несколько длиннее, что, право же, напоминало хвост.

Лубенцов, однако, не имел ни времени, ни жизненного опыта для того, чтобы заметить все это. Он был наблюдателен и считал себя даже физиономистом, но только в отношении мужчин. Женщин он знал мало и разбирался в них плохо. Они ему нравились все. Он питал к ним слабость, понятную в молодом и добром человеке.

Переводила Альбина быстро, толково. Она вообще все делала быстро и толково. Стоило ей часок повертеться по дому, как дом превратился в учреждение, а будущий кабинет

коменданта — в уютную и в то же время вполне служебного типа комнату. Появились занавески темнобордового цвета и длинные дорожки, тоже темные, но посветлее, чем занавески. Ворониным и Иваном, а также вызванными ею немецкими поденщиками она командовала бойко, заставляя их перетаскивать мебель, нести стулья, кресла, книжные шкафы, вешать гардины, подметать лестницу.

— Цветов не полагается или как? — спросила она у Лубенцова, ставя на окно вазу для цветов.

— По-моему, не надо, — рассеянно ответил Лубенцов. — Некоторая официальность нужна, правда ведь? — Он делал записи в блокноте, стараясь составить себе хотя бы приблизительный план работы на ближайшие дни.

— Вы правы, — ответила Альбина и исчезла с вазой. Вернувшись, она продолжала: — Немцы любят власть. — Она пододвинула к столу тяжелое кресло с золотыми львами на подлокотниках. — И жесткую власть притом.

— Вы думаете? — спросил Лубенцов, подымая на нее глаза.

— Да. Я их знаю. Чем жестче с ними обращаться, тем они больше уважают. Они англичан уважают потому, что англичане высокомерны и не считают их за людей. Американцев они не так уважают — те с ними больше запанибрата. А русских — еще меньше, потому что русские показывают свой демократизм где надо и где не надо. Эффектно получается, когда русские, после всех своих бед, хлопают немца по плечу, как товарища. Даже русские евреи, я видела, и те...

Она говорила по-русски с южным акцентом — «г» произносила с придыханием, «е» в иностранных словах произносила как «э» — «эффэкт», «энэргия», «тэма». Слово «эффэктно» она особенно любила. Голос ее — грудной, низкий, бархатный, обволакивающий — к концу фразы становился все ниже, и фраза кончалась каким-то глухим рокотом — очень приятным. Под глазами у нее, несмотря на молодые годы — ей было всего двадцать четыре, — пряталось множество мелких морщинок и таилась синева, как после длинного ряда бессонных ночей.

— Немцы бывают разные, — сказал Лубенцов. — Да и приятно быть великодушным.

— Вы правы, — согласилась она неожиданно. И так же неожиданно спросила: — Где вы будете жить?

Он сказал:

— Здесь где-нибудь. Тут комнат много.

— Это не годится, — заявила она уверенно. — Учреждение есть учреждение. Тем более комендатура. Да и вам будет лучше на частной квартире. Свободнее.

— Верно, — согласился Лубенцов подумав.

Он снова принялся за свой план, изредка наблюдая за тем, как она порхает по комнате и командует Ворониным и Иваном.

Иван делал все охотно и бездумно, Воронин же был мрачен, как туча. Всякий раз, когда Альбина что-то приказывала, он вопросительно взглядывал на Лубенцова: что скажет начальник. Лубенцов рассеянно кивал головой или говорил:

— Давай, давай.

Он никак не мог сосредоточиться. Ему все казалось, что чего-то важного не хватает, но прошло добрых полчаса, прежде чем он понял, что не хватает телефона. Когда он сказал об этом Альбине, она вспыхнула от досады на то, что сама не догадалась о таком важном деле. Она сказала:

— Все будет сделано.

Она надела свою шляпку и ушла. Вскоре прибыли монтеры. Очень тихие, почтительные, они поставили в разных комнатах телефонные аппараты, благо проводка здесь была с прежних времен. В кабинете Лубенцова установили два телефона — один белый с красными кнопками, другой черный с белыми кнопками. Комната сразу приобрела от этого еще более нарядный вид.

Лубенцов попросил соединить его с городом Альтштадтом. Альбина кивнула головой, подняла трубку, важно сказала «хир командантур»¹, улыбнулась Лубенцову и затараторила по-немецки. Уже через минуту ответила телефонная станция Альтштадта, и еще через минуту на другом конце провода оказался окружной комендант генерал Куприянов. Выслушав доклад Лубенцова, он сказал:

— Все ясно. Насчет работы шахт и железных дорог приму меры. Конечно, не все пойдет гладко. Мы с тобой еще не комендантовали за границей. У меня тут у самого голова идет кругом. Главное — присмотрись к немцам. Свяжись с антифашистскими партиями. Коммунисты там есть? Поищи, поищи их!.. Штаты маршал Жуков утвердил. Полагается тебе несколько офицеров и взвод солдат, комендантский. Как дадут людей — пришлю. Пока пользуйся солдатами из воинских частей. Попроси у них, они дадут... Инструкции воспоследуют. У меня их уже целая гора.

Положив трубку, Лубенцов пошел посмотреть дом. Уборка заканчивалась. В большой полутемной комнате возле кабинета — будущей приемной — одиноко танцевал худощавый немец полотер с надегой на ногу щеткой и с глазами, мечтательно устремленными ввысь. Стекольщики вставляли оконные стекла. Человек двадцать женщин мыли полы в комнатах и коридорах. Снизу доносился густой голос Альбины. Она о чем-то спорила с немцами, стоявшими у входа в комендатуру.

— Нельзя, нельзя. Уже пятый раз вам говорю. Завтра придете, — произносила она по-немецки недовольным голосом, выпраживая их за дверь.

¹ Комендатура у телефона (нем.).

Лубенцов стоял у дубовых перил ведущей вниз широкой лестницы, потом позвал Альбину и попросил ее связаться по телефону с комендантом города Фихтенроде.

— Его фамилия Пигарев, Павел Петрович. Мой сослуживец. Звоните, а я пойду чего-нибудь поем. Не помню, когда ел в последний раз.

Он наскоро поел вместе с Ворониным, потом снова пошел наверх. В кабинете мыли полы. Связаться с Пигаревым Альбина пока еще не смогла, так как в фихтенродской комендатуре телефона еще не было. Лубенцов с некоторым самодовольством воспринял это известие. Потом он вышел на улицу, прошелся по площади, постоял под деревьями сквера. Он вспомнил слова генерала Куприянова насчет того, что надо «поискать» немецких коммунистов, и засмеялся: ему это показалось смешно. Он пожалел о том, что не расспросил Эперлэ поподробнее.

«А есть ли вообще в Германии коммунисты?» — подумал Лубенцов. Он прошел мимо собора и завернул налево, на улицу. Дома стояли молчаливые и темные. Улица вскоре привела его к небольшой площади, посреди которой стояла ратуша — старинное здание с двумя башенками, украшенное вдоль карниза деревянными резными фигурками. Лубенцов вошел в ратушу, но и здесь все было тихо и пусто. Он вышел обратно на площадь. Там стоял Воронин.

— Ты как сюда попал? — спросил Лубенцов.

— Пошел за вами следом.

— Зачем?

— На всякий случай. Город-то чужой...

Они молча пошли обратно, но только успели завернуть за угол, как с обеих сторон улицы от домов отделились фигуры нескольких человек. Лубенцов остановился. Люди шли навстречу медленно и, казалось, угрожающе. Улица была узкая, темная, сумерки сгустились.

— Сейчас полосну их очередью, — сказал Воронин. На его окаменевшем лице изобразились ненависть и презрение.

— Подожди, — коротко приказал Лубенцов.

Он внимательно всматривался в лица этих людей, и они так же внимательно — в его лицо. Наконец, один из них спросил, не имеют ли они честь разговаривать с советским комендантом, на что Лубенцов односложно ответил: «Да». И тогда бывшая среди них женщина заговорила с ним на вполне хорошем русском языке и сказала, что она жила четыре года в Москве. Она была страшно взволнована и, вместо того чтобы объяснить суть дела, твердила только, что жила в Москве четыре года, с 1925 по 1930 год. Она придвинула красивое изможденное лицо, обрамленное седыми нечесаными волосами, почти к самому лицу Лубенцова и вдруг произнесла голосом, в котором явственно прозвучала тревога:

— Вы молодой... Вы не помните.

Лубенцов спросил:

— Короче говоря, кто вы? И что вам нужно?

Она произнесла в ответ слово, которого он вначале не понял, и только после того, как она произнесла его несколько раз подряд, он понял: она сказала «пятерка». Перед Лубенцовым, как выяснилось спустя минуту, стояла руководящая пятерка местной организации КПГ.

Лубенцов ахнул. То, что он в совершенно незнакомом городе среди тысяч людей наткнулся именно на тех, кого искал и кого не надеялся найти, показалось ему чудом и предначертанием. Он не понял, что смог найти коммунистов только потому, что они искали его, а не только он их. Они могли бы ему рассказать о том, что целый день обивали пороги комендатуры, что ездили за ним на электростанцию, но прибыли туда слишком поздно и что позднее их не пускала Альбина.

Женщина, которую звали Ганной Небель и которую все остальные полуласково, полусутоливо величали «Мутти» («мамаша»), пригласила Лубенцова к себе — она жила неподалеку. Маленькая каморка на чердаке с трудом вместила семерых. Пятерка состояла из самой хозяйки, двух пожилых людей — Карла Вандергаста и Курта Лерхе — и двоих людей помоложе — Руди Форлендера и Отто Ланггейнриха.

Уже после нескольких минут разговора Воронин, выразивший всем своим хмурым видом высшую степень недоверия, милостиво снял руку с шейки приклада автомата, а затем закинул автомат за спину. Каждому в отдельности он, может быть, и не поверил бы; один человек может про себя сказать неправду с самым убедительным видом. Но пять человек вместе не могут врать, во всяком случае так убедительно, чтобы вызвать у двух взрослых людей боль и радость, замирание сердца и бурную симпатию.

Вандергаст и Лерхе недавно вернулись из концлагерей — один из Маутхаузена, другой из Заксенгаузена. Форлендер сидел три года в тюрьме, потом был призван на войну, работал на строительстве Атлантического вала, оттуда был за антивоенную пропаганду послан в штрафную роту, или, как ее называли, «Himmelsfahrtkommando» («команда путешественников на тот свет»); после ранения он опять попал в рабочий батальон, но вскоре бежал и скрывался здесь, неподалеку от Лаутербурга, в маленькой будке, в большом помещицком фруктовом саду — там работал садовником брат его жены. Наконец, Ланггейнрих — огромный неразговорчивый крестьянин с топорным и честным лицом — тоже отсидел четыре года, затем работал на известковом заводе в горах Гарца, а теперь жил в деревне Финкендорф; в июле 1944 года его снова замели, как заметали всех подозрительных после покушения на Гитлера. Что касается «Мутти», то она имела самый большой тюремный стаж и

все эти годы выходила из одного лагеря, чтобы через полгода попасть в другой.

Они создали здесь, в Лаутербурге, комитет антифашистского сопротивления. Как только пришли американцы, «плетерка» написала и напечатала в местной типографии воззвание этого комитета. Эти воззвания были вывешены на улицах, но американские патрули прокололи их штыками.

— Они нас загнали в подполье, — сказал Лерхе. — Да, да, товарищ. Наш народ, обманутый Гитлером, после поражения был готов пойти нам, антифашистам, навстречу с открытой душой. Но американцы повели дело так, что народ опять стал относиться к нам недоверчиво. Вера в нацизм пропала, никакая другая не пришла ей на смену. Это опасно. Народ без веры — это опасно. А те стремились — да, да, товарищ, — стремились оставить наш народ без всякой веры.

— Американцы велели очищать город от обломков, а надсмотрщиками назначили нацистских чиновников, — хмуро заметил Вандергаст.

— Вот, вот! — воскликнул Лерхе. — Мы с Вандергастом пошли к американскому коменданту просить, чтобы не давали нацистам опять командовать. Нас выгнали! Да, да, товарищ! Нас, антифашистов, выгнали из американской комендатуры! И пригрозили избить! Как будто мы боимся побоев! Как будто нас никогда не били!

— Ладно, что было, то прошло, — успокоительно пробормотал Ланггейрих.

— Ты, Ланггейрих, слишком добрый, — закричал Лерхе. — Этого нельзя забыть! Гитлеровцев ласкали, а нас третировали! Назначили бургомистром Зеленбаха, который продавал в своем магазине вонючие сочинения Гитлера и его своры! Возвратившимся из лагерей антифашистам не давали жилья, а дома бывших нацистов пустуют и охраняются! Нас загнали в подполье, а фашист Дистельберг остался хозяйничать на своей колбасной фабрике!

— Это было трудное время, — тихо сказала «Мутти». — Может быть, более трудное, чем при Гитлере. Время больших разочарований и сомнений. Я часто думала: может быть, мы уже никому не нужны? Безнадежно устарели? Кто мы? Обломки прошлого?

— Ладно, ладно, Ганна, — пробормотал Ланггейрих. — Ты все усложняешь. Ты любишь усложнять.

— Я люблю правду.

Вандергаст сказал:

— Но не думайте, что мы только размышляли. Мы что-то и делали. Делали, что могли.

— Меньше, чем могли, — сказал Форлендер.

— Согласен, меньше. Но что-то делали. Мы связались с коммунистами и коммунистически настроенными рабочими. С

батраками. Нам удалось устроить Форлендера в полиции. Он добился ареста некоторых спекулянтов, нацистов. Когда мы узнали, что вы придете, мы установили гражданскую охрану у некоторых предприятий, не дали разграбить склады, сахарный и колбасный заводы. Мы припрятали кое-какие драгоценные вещи из замка... К сожалению, не все. Англичане успели увести древнейшее издание библии, отпечатанной Гутенбергом, древнюю Лохгеймскую книгу песен, картины... Но кое-что мы уберегли, а главное... — Вандергаст вдруг задрожал, заранее возбужденный тем, что собирался сказать. При этом он поднял правую руку и сжал ее в кулак. Только теперь Лубенцов заметил, что рука Вандергаста вся искривлена, изуродована. — Главное, мы уберегли веру в будущее. Да, это мы сохранили, несмотря, конечно, на разные настроения и все такое... Переведи, Ганна, товарищу как можно точнее.

— Я все понял, — быстро сказал Лубенцов.

Он не знал, что еще сказать в эту торжественную минуту. Тут в комнате вдруг стало ослепительно светло; все вздрогнули от неожиданности и подняли головы вверх: под потолком загорелась электрическая лампочка.

— Молодец Майер, держишь слово, — вскричал Лубенцов, обращаясь к лампочке, и встал с места. — Ну, я пошел. Дел много. Договорим в следующий раз. Будем работать вместе, вот и все.

XIII

На улице он сказал:

— Черт! Надо было что-нибудь им хорошее сказать, а я ничего не придумал. Надо было им хоть руки пожать.

Он был недоволен собой. Но Воронин, смотревший на жизнь более практично, возразил:

— Ничего, товарищ подполковник. Достаточно того, что мы к ним зашли. Это уже имеет политическое значение.

Показалась комендатура. Из ее раскрытых окон доносился голос Альбины. Она говорила по телефону — сначала по-немецки, потом стала говорить по-русски. Лубенцов с Ворониным вошли в дом. Здесь было тихо. Рабочие уже ушли. Все кругом блестело.

Альбина разговаривала с Пигаревым, кокетничая напропалую. Завидев входившего Лубенцова, она осеклась и сказала в трубку:

— Подполковник Лубенцов у телефона.

— Здравствуй, Пигарев, — сказал Лубенцов. — Ну, как? Устроился? Ну, а я уже устроился. У меня тут уже все на мази. Все есть, кроме бензина. Бензин есть у тебя. Не знаешь? Так вот я тебе говорю. В пяти километрах от Фихтенроде — завод синтетического бензина.

— Ладно, присылай за бензином,— сказал Пигарев.

Лубенцов тут же позвонил Зеленбаху. В ратуше бургомистра не было. Из квартиры ответили, что Зеленбах отдыхает.

— Поднять его. Через полчаса чтобы он был здесь,— сказал Лубенцов.

Альбина охотно перевела эти слова по телефону жене Зеленбаха.

Бургомистр явился минут через пятнадцать. Альбина доложила о его приходе.

— Зовите,— сказал Лубенцов.

— Может, лучше, если он подождет минут десять, я сказала ему, что вы очень заняты.

Лубенцов засмеялся, но повторил:

— Зовите.

Зеленбах вошел и поклонился. Лубенцов сказал:

— Завтра утром пошлете машины за бензином в Фихтенроде. Обратитесь к коменданту майору Пигареву. А вы уже говорили с автотранспортными фирмами? Еще не говорили? Ах, как нехорошо! Просто из рук вон! Сейчас вы вызовете к себе в ратушу хозяев этих фирм и дадите им нужные распоряжения. Не завтра, а немедленно. И вообще вы слишком рано кончаете работу. Вы и все чиновники магистрата. Когда город в развалинах, жрать нечего, люди страдают — магистрат не имеет права уходить со службы в пять часов вечера. Завтра с утра все население, включая буржуазию, должно выйти на очистку улиц от обломков. Движение разрешается до одиннадцати вечера. Все пивные, кафе и прочее открыть. Все. Вы свободны.

Но Зеленбах не уходил. Он начал говорить сдержанно-взволнованно:

— Я понимаю, что ко мне имеется много претензий... Это вполне естественно при моей должности в столь тяжелое время... Я выполнял указания оккупационных властей... и старался, очень старался... заслужить доверие. Я и впредь буду...

Лубенцов прервал его:

— Теперь слишком поздно говорить на эти темы.— Заметив, что эти слова имеют двойной смысл, он поправил Альбину:— Поздно в том смысле, что поздно, время позднее. Я прошлую ночь совсем не спал.

Когда дверь за бургомистром закрылась, Лубенцов сказал Воронину:

— Постели мне здесь где-нибудь.

Альбина воспротивилась этому.

— Что вы, товарищ подполковник,— сказала она.— Знаете что? Поедем пока ко мне. У меня хорошая квартира. Вы отдохнете, а завтра я подыщу вам... Есть очень хороший особняк генерала в отставке фон Липпе. Сам генерал сбежал.

Лубенцов улыбнулся и махнул рукой:

— Неудобно подполковнику спать в генеральской постели.

Она воскликнула:

— Наоборот, это поднимет ваш авторитет среди немцев.

Ее кто-то позвал, и она вышла.

— Резвая бабка,— сказал Воронин.

— Да, молодец девица,— согласился Лубенцов.— Ты ее, кажется, не очень любишь?

Воронин на этот вопрос ничего не ответил, а только спросил:

— Ну, что, вызвать Ивана? Поедете к ней отдыхать?

— Нет, не поеду,— засмеялся Лубенцов,— не бойся.

Воронин, довольный, ухмыльнулся и пошел стелить Лубенцову постель. За этим занятием его застала Альбина.

— Вы кому стелите? — спросила она.

Воронин ответил с некоторым злорадством:

— Как так кому? Подполковнику Лубенцову, коменданту города.

— Он поедет ко мне. Коменданту нельзя так спать. Это снижает его авторитет.

— Опять ты со своим авторитетом! Да не вмешивайся ты не в свое дело! Тут все свои, переводить не надо.

Глаза Альбины сверкнули, но она сдержалась, подошла вплотную к Воронину, разметала его чуб и сказала шутливо:

— Ох, вы какой строгий! Как монах.

Ее голое зарожотал.

Воронин, неожиданно для себя самого, схватил ее за плечи. Но она вырвалась и сказала:

— Ну, ну, осторожнее на поворотах. Коменданту пожалуюсь.

Воронин вполголоса выругался и проговорил не без восхищения:

— Ух, проклятая!

— Девушку я тебе раздобуду, не беспокойся,— сказала Альбина, приводя в порядок прическу.— Такую эффектную, что не видел ты ничего похожего. Любой национальности, какую хочешь. А меня не трогай. Для вас я аусгешлэссен! ¹

— Ладно, иди к бесу,— пробурчал Воронин.— Не искушай. Надоела.

Она постояла с минуту, посмотрела, как он стелет на диван шинель и байковое одеяло, и, с презрением покачав головой, сказала:

— Ладно, я сейчас сама постелю.

Но вместо того, чтобы стелить, она стала звонить кому-то по телефону. Она говорила по-немецки. Потом, поманив за собой Воронина, вышла на балкон. Вскоре к дому подкатила автомашина. Из нее вылезли две немки, неся два огромных

¹ Аусгешлэссен — исключается (нем.).

баула, в которых, как вскоре выяснилось, были одеяла, подушки, простыни и полотенца. Одна из немок — пожилая, пухлая — говорила с Альбиной подобострастно, низко кланяясь и прижимая ручки к высокой груди. Альбина отвечала ей кратко и не слишком приветливо.

— Гут¹, — повторяла она много раз, но довольно сухо.

Вторая немка — востроглазая служаночка — стояла у стены и смотрела на Альбину и Воронина боязливо, но с интересом.

Альбина выпроводила их. Глаза ее были полны торжества.

— Подлизывается, старая карга, — сказала она.

— А это кто? — спросил Воронин.

— Фрау Бетхер, хозяйка галантерейной фирмы. Я у нее работала одно время. Сволочь порядочная.

Когда Лубенцов, наконец, улегся спать, было два часа ночи. Заснул он не скоро — перед его закрытыми глазами все мелькали лица и пейзажи. И ему все казалось, что он едет без конца куда-то. Такой напряженной жизнью он, пожалуй, и на фронте не жил.

«Завтракал с капиталистом, полдничал с помещицей, обедал с английским баронетом, провел вечер с подпольной коммунистической группой, — думал он усмехаясь. — Как в авантюрном романе. Расскажешь — не поверят».

Спал он плохо.

Ему снилось, что он ползет с двумя разведчиками по снежному полю. Они в белых масках. Впереди виднеется черная полоска леса, а левее — деревенька, вся разрушенная.

«Немцы там в деревне», — говорит кто-то из разведчиков, и Лубенцов узнает голос своего бывшего ординарца Чибирева, погибшего в городе Шнайдемюле. Он удивляется, почему Чибирев здесь, и радуется тому, что Чибирев, оказывается, был в длительной отлучке и, наконец, вернулся, а вовсе не был убит, как это считалось раньше. И он тут же решает оставить Чибирева при комендатуре, причем нисколько не удивляется тому, что он, комендант, ползет по снегу, как разведчик.

Они ползут и вскоре замирают позади одного из крайних домов — покинутого, полуобгоревшего. И они видят, что по деревне ездят машины, ходят немецкие солдаты. Но когда трое из этих немецких солдат приближаются, Лубенцов с изумлением и не без ужаса замечает, что это вовсе не немцы, а англичане, а именно — майор Фрезер, бывший комендант Лаутербурга, и два английских офицера — голубой и коричневый. Все пьяны и веселы. С ними — красивая немка с высоко взбитой прической и бокалом в руке. Лубенцов слышит звук взводимой гранаты и говорит Чибиреву:

— Стой! Это не фашисты! Это наши союзники.

¹ Хорошо (нем.).

— Фашисты, — настаивает Чибирев. — Не знаю я никаких союзников, товарищ гвардии майор.

И Лубенцов во сне соображает, что Чибирев прав в том смысле, что действительно не знает никаких союзников, так как погиб в Шнайдемюле раньше встречи с союзниками. Однако Лубенцова и теперь совсем не удивляет то обстоятельство, что погибший Чибирев ныне жив и находится с ним. Он старается переубедить Чибирева:

— Ты не знаешь, а я знаю. Это союзники, английские офицеры.

— Почему же они здесь? — спрашивает Чибирев.

Лубенцов в душе соглашается с ним — он сам не понимает, по какой причине союзники здесь, в этой, повидимому белорусской, деревне. Он говорит:

— Не понимаю.

Тогда Чибирев замахивается, Лубенцов в отчаянии перехватывает его руку с гранатой. Но граната уже летит, описывая темную, тяжелую дугу в воздухе.

Ему еще снились какие-то сны. Видения, не похожие на действительность, но связанные с ней то одной, то другой чертой, мучили его до самого утра.

А с утра снова началась действительная жизнь, похожая на сон, настолько была она чужда всей прошлой жизни Сергея Лубенцова. Бесконечной чередой перед ним стали проходить торговцы, фабриканты, бывшие нацисты, железнодорожные чиновники, пасторы, люди всех национальностей Европы, пригнанные в Германию Гитлером. Просили квартир, топлива, горючего, оконного стекла, лицензии на автомобили, пропусков на родину, освобождения от войскового постоя; жаловались на за что-то не уплативших англичан, на что-то взявших русских, на что-то присвоивших американцев, на кого-то обвегоривших французов; репатрианты искали управы на немцев, немцы — на репатриантов; рабочие просили защиты от фабрикантов, фабриканты — от чрезмерных требований рабочих. Хмурые и оживленные, изможденные и толстые, старые и молодые сменяли друг друга у комендантского стола — каждый со своей заботой, своим горем, своей манерой разговаривать, пугаться, радоваться.

Лубенцов только отфыркивался, как пловец в бурную погоду, и не переставал принимать и принимать людей. Ему все это было интересно. Однако к исходу дня он понял, что так продолжаться не может: он оказывался не хозяином положения, а исполнителем, вынужденным заниматься только тем, что ему навязывают сотни просителей.

Зеленбах посылал к нему всех без разбору. От ратуши к комендатуре, мимо домов, а потом напрямик через развалины люди тянулись цепочкой, так что временами это напоминало хлебную очередь. А возле самой комендатуры, на площади, стало оживленно, как на торжище.

Воронин вначале похваливал бургомистра: без нас, дескать, ничего не решает, старается. Но чем дольше все это продолжалось, тем Лубенцов, в ответ на замечания Воронина в этом духе, все больше мрачнел. Во время краткого промежутка, выкроенного на обед, он, наконец, не выдержал:

— Боюсь,— сказал он,— что Зеленбах нас дурачит. Все на меня спихнул. Просто не знаю, что делать. Скорее бы офицеры приехали, один я тут совсем зашыюсь.

Альбина, усмехнувшись, надоумила его:

— Установите приемные часы.

Выход из положения был довольно прост, но Лубенцов, никогда прежде не бывший бюрократором, нашел его гениальным. У него освободилось время для ознакомления со своим районом и для разговора с теми, с кем действительно необходимо было говорить.

На следующее утро он вызвал к себе руководителей четырех разрешенных Союзным Командованием политических партий. Компартию на этом совещании представлял Курт Лерхе, уже знакомый Лубенцову по позавчерашней встрече. За эти два дня Лерхе неуловимо изменился. Лицо его было попрежнему бледно и сосредоточено в себе; он был попрежнему одет в какие-то обноски — короткий пиджачок и брюки непонятного цвета с невероятной бахромой на обшлагах и штанинах, свитерок, кое-как залатанный неумелой рукой. Но в его голосе появились металлические нотки, жесты стали увереннее, округлее. Пришедшие вместе с ним представители других партий заметно побаивались его — в особенности Франц Иост, руководитель социал-демократической организации. Лерхе относился к социал-демократу с откровенной враждебностью и несколько раз угрожающе говорил о «предателях, приведших к власти Гитлера», относя эти страшные слова именно к Иосту, который чувствовал себя очень плохо, все время ерзал на своем стуле и, ежась, настороженно поглядывал на Лубенцова красивыми карими глазами.

Ненависть Лерхе находила живой отклик в душе Лубенцова, который и сам, как коммунист, испытывал глубокую неприязнь к немецким социал-демократам. Но он старался соблюдать спокойствие и объективность, помня, что он — комендант, то есть лицо официальное, а не представитель самой великой из компартий мира. По этой причине Лубенцов отнесся ко всем пришедшим равно, пожал руку всем четверым одинаково.

Христианско-демократический союз представлял ветеринарный врач Эрих Грельман — высокий тяжелый старик с длинными седыми волосами, либерально-демократическую партию — совладелец крупной портняжной фирмы «Мюллер и Маурициус» Гуго Маурициус, изящный моложавый человек лет пятидесяти, портной с лицом аристократа.

Усадив всех четырех в кресла, познакомившись с ними и перебросившись несколькими словами, Лубенцов подумал: «А дальше что?» Он почувствовал свою полную неподготовленность к предстоящей беседе. Он был незнаком с программами партий, с их взаимоотношениями и, привыкший у себя в стране к однопартийной системе, не мог взять в толк, зачем понадобилось столько партий, раз у всех должна быть одна задача: перестроить Германию на новой основе, вытравив из ее сознания нацизм и агрессивность.

Его выручили сами посетители. Они попросили разрешения изложить ему свои нужды и просьбы. Догадываясь о том, что комендант — коммунист, они предоставили первому высказаться Лерхе.

Лерхе сразу же напал на Зеленбаха, на порядки, царившие в магистрате, стал жаловаться на тяжелое положение, в которое компартию поставили «все эти господа», находившиеся под покровительством американской, а затем английской комендатур. Он говорил справедливые вещи, но Лубенцова кое-что в его словах покорило. Прежде всего, было бестактно и неумно повторять, что, дескать, «теперь мы вам покажем, теперь мы вас проучим», то есть беспрерывно подчеркивать то обстоятельство, что советские власти будут оказывать преимущественное покровительство коммунистической партии. Лерхе вдобавок изъяснялся слишком торжественно, употребляя такие выражения, как «вопиющие к небу факты», «жребий брошен» и т. д.

Чтобы показать остальным свою близость к коменданту, Лерхе, между прочим, мимоходом сказал ему, что Карл (так он назвал Вандергаста) и «Мутти» вызваны в Галле и, вероятно, будут работать в провинциальном правительстве.

Несмотря на всю суровость и нервозность Лерхе, Лубенцов внезапно уловил в его поведении нечто детское и жалкое. Кто его мог осудить за невинное желание после многих лет унижений показать «этим господам» свое торжество? Да, он торжествовал. В своих лохмотьях он держался так, словно на нем была мантия. Как ни странно, черты детскости, неожиданные в этом озлобленном и желчном человеке, примирили с ним Лубенцова.

Затем говорил Грельман, который взял под защиту Зеленбаха, утверждая, что бургомистр участвовал в заговоре «20 июля»; его свояченица прятала американского летчика в Дессау; Зеленбах действительно не дал компартии помещение и т. д., но таковы были указания комендатур — «тех комендатур, которые были здесь до вашего прихода», — осторожно сказал он.

Маурициус пошучивал. Иост молчал. Все ждали, что скажет комендант. Лубенцов сказал, что материальное положение в городе и в районе очень тяжелое, население не имеет топлива, многие живут в развалинах. Работы по очистке улиц ведутся медленно. Среди населения существует растерянность, непонимание, глубокое уныние. Все четыре партии обязаны дружно работать, с тем чтобы улучшить положение, активизировать антифашистские силы.

Что касается бургомистра, продолжал Лубенцов, то дело тут не в том, хорош ли он был раньше, а в том, сможет ли он справиться с делом в дальнейшем. Лубенцов предложил созвать собрание антифашистов и решить этот вопрос. Может быть, целесообразно выдвинуть в бургомистры человека помоложе и подеятельнее, чем господин Зеленбах, лично против которого Лубенцов ничего не имеет.

«Я становлюсь дипломатом»,— думал он в это время, довольный собой, но с тем грустным чувством, с каким думают: «Я старею».

Дождавшись, пока Альбина переведет его слова, Лубенцов в заключение сказал, что нацистов и тех, кто помогал им, постигнет суровая кара.

Лубенцов поднялся с места, давая понять, что беседа окончена. Все встали вслед за ним, только один Иост остался сидеть в кресле. Не без оснований приняв последние слова коменданта на свой счет, он внезапно покраснел и сказал, волнуясь:

— Вы совершенно правильно сказали. Сейчас все антифашисты должны объединиться. Особенно мы. Рабочие партии. Жертвы террора.

Так как Лубенцов его не слушал,— не слушал из антипатии,— Иост встал и начал что-то возбужденно шептать на ухо Альбине. Лубенцов между тем попрощался с остальными. Уже у двери он спросил у Альбины:

— Что он вас там... улещивает?

Она ему тоже ответила по-русски!

— Жалуются на этого...— Она неприметно кивнула головой на Лерхе.— Говорит, он тоже был в концлагере.

Лубенцов недоверчиво покосился на Иоста, который, может быть поняв, что речь идет о нем, запальчиво сказал:

— Пять лет! Пять лет я был в Заксенгаузене! Вместе, кстати говоря, с Куртом. В одном бараке даже! — Он ткнул пальцем в плечо Лерхе, и его лицо приобрело обиженное выражение.

Лубенцов недоверчиво посмотрел на Лерхе. Лерхе сказал угрюмо:

— Да, да, да, но если бы не они, не было бы вообще концлагерей в Германии.

«Твердый орешек»,— подумал Лубенцов. Он вместе со всеми вышел в приемную и, окончательно прощаясь, вдруг обратился к Маурициусу:

— Вы, господин Маурициус, по-моему, недаром глядите на господина Лерхе с некоторым интересом. Я полагаю, что это — профессиональный интерес. Вам, наверное, хочется сшить ему костюм. И действительно, прошу вас приодеть нуждающихся антифашистов как можно лучше и как можно скорее.

Маурициус улыбнулся и поклонился.

— Будет сделано, — сказал он.

После приема Лубенцов выехал в район. Это был густо населенный, не пострадавший от войны — за исключением самого города — благословенный кусок земли. Западная часть его располагалась в поросших хвойными лесами горах, восточная, равнинная, часть была вся под нивами, огородами и садами.

Три дня подряд Лубенцов в сопровождении Альбины уезжал из города то по одной, то по другой дороге и возвращался поздно вечером. Он останавливался в поселках, на рудниках, осматривал предприятия, попивал пиво в деревенских «гастхофах», где по вечерам собирались крестьяне. Он беседовал с бургомистрами селений и с руководителями партий и все, что узнавал, записывал в записную книжку, которая вскоре превратилась в своеобразный справочник по всем делам и горестям Лаутербургского района.

Позднее его хвалили за эти непрерывные разъезды, встречи и знакомства, за его стремление все видеть собственными глазами, во всем «разобраться на месте», и называли все это «правильным стилем работы». Но «стиль» этот возник бессознательно — он был следствием постоянного жадного интереса к жизни, которым Лубенцов был переполнен, сам того не сознавая. В планах, которые он составлял на каждый день, главное место занимал глагол «ознакомиться». Но знакомясь, он обязательно вмешивался во все, что требовало вмешательства.

Возвращаясь вечером в комендатуру, он первым делом спрашивал Воронина, приехали ли офицеры, которых ему уже неделю как обещал генерал Куприянов. Офицеры все не приезжали, и Лубенцов без конца звонил в Альтштадт.

Наконец, вернувшись на третий день в комендатуру, он встретил Воронина на крыльце. Воронин ждал его.

— Завтра приедут, — сказал он.

— Точно приедут?

— Точно приедут. Сам генерал Куприянов звонил.

Поднимаясь по лестнице, он расспросил Воронина, что случилось за день. Воронин прочитал ему список всех приходивших и звонивших.

Приходил Лерхе («в новом костюме», — отметил Воронин). Просился на прием суперинтендэнт Клаусталь — глава местных лютеран; раза три прибежал хозяин кинематографа со списком кинокартин, которые он просил просмотреть и разре-

шить к демонстрации. Делегация рабочих приходила с завода электромоторов. Приезжал полковник Соколов — командир полка, расположенного в окрестностях города (у него Воронин брал солдат для суточного наряда), — хотел познакомиться с комендантом.

— Зачем Лерхе приходил — не знаешь?

— Бургомистра они сместили. Просили вас утвердить бургомистром Форлендера — помните, того, длинного?

Лубенцов обернулся к Альбине, шедшей следом за ним.

— Надо передать им, — сказал он, — что Форлендер утвержден.

— Есть, — коротко и деловито сказала Альбина.

Они втроем вошли в кабинет. Альбина сразу же сняла шляпку, села на стул в дальний угол, где царил полумрак, вынула из сумочки блокнот, положила его на подоконник и стала что-то быстро писать — вероятно, распоряжение об утверждении нового бургомистра.

Лубенцов просмотрел список посетителей и спросил:

— Что же ты им всем сказала?

— Как кому, — усмехнулся Воронин. — Рабочим — чтобы пришли вечером, капиталистам — что вас в ближайшие дни не будет, полковнику Соколову — что вы к нему приедете, этому попу — чтобы позвонил по телефону.

— А кто же переводил?

Воронин несколько смутился и виновато сказал:

— Пришлось позвать того старичка, Кранца.

Лубенцов нахмурился.

— Чтобы этого больше не было, — сказал он. Помолчав, он спросил: — Как с уборкой улиц?

— Убирать убирают, но энтузиазма особого не видно. Еле двигаются.

Альбина сидела в углу и глядела на Лубенцова влюбленными глазами. Этот взгляд, усвоенный ею за время их разъездов по району, начал беспокоить Лубенцова. Ему становилось не по себе от этого красноречивого и нескромного взгляда. Хотя взгляд ее был слишком красноречивым, чтобы быть по-настоящему влюбленным, Лубенцов, недостаточно опытный в таких делах, принимал все за чистую монету и испытывал неясную тревогу. Он чувствовал себя почти виноватым в том, что не имел права и просто не мог отвечать Альбине взаимностью.

Что касается Альбины, то она была очень удивлена сдержанностью и всем поведением коменданта. Сдержанность его в отношении ее она не могла понять. Она решила, что ему не нравится ее живость, разговорчивость, и в последнее время усвоила новую тактику — стала молчаливой, задумчивой, старалась придать своим глазам мечтательное выражение. Но незаметно было, чтобы эта игра имела успех.

Кроме того, она отметила в нем разительное и полное отсутствие интереса ко всем благам жизни, которые сама она ценила так высоко. Она действительно была увезена из Харькова в 1942 году, но поехала почти охотно, считая, что при некотором умении можно в Германии прожить лучше и интереснее, чем в оккупированном Харькове. Правда, она разочаровалась, ей тут пришлось хлебнуть немало горя. Зато теперь, после освобождения, все ее помыслы были устремлены к тому, чтобы наверстать упущенное. У нее сейчас, в связи с непрерывными разъездами, не было времени пустить в ход все свое влияние в качестве переводчицы и доверенного лица коменданта. Но кое-что она успела. Хозяева разных фирм присылали ей на дом разные вещи. Квартира, которую она заняла в доме книготорговца при первых же слухах о приближении советских войск, превратилась чуть ли не в комиссионный магазин — столько тут было различных вещей, безделушек, мебели, приемников и т. д.

Бескорыстие коменданта изумляло Альбину; она уже не пыталась заговаривать о квартире для него; она была рада и тому, что он не догадался спросить, откуда взялись постельные принадлежности, на которых он спал в одной из комнат Дома на площади. И в то же время она восхищалась этой чертой в его характере. Он казался ей не от мира сего. Никто так не восхищается подвижничеством, как люди, не способные на подвижничество; никто так не умиляется бескорыстием, как скряги и стяжатели. Лубенцов, который сам себе казался человеком рассудочным, трезвым, вполне прозаическим, казался Альбине человеком странным, ни на кого не похожим и поэтическим. То, что для него было вполне естественно, ей представлялось непонятным и бесконечно далеким от обычности. Тут сказывались два противоположных мировоззрения, и в этом смысле Лубенцов был дальше от Альбины, чем она от человекообразной обезьяны, хотя оба не сознавали этого.

XV

Рано утром Лубенцова разбудил Воронин:

— Офицеры приехали.

Лубенцов вскочил, быстро оделся и пошел к своему кабинету, где его ждали новые сослуживцы. Он открыл дверь, и ему навстречу поднялись с дивана три человека в шинелях. Они приложили правые руки к козырькам фуражек — все одновременно — и представились.

— Всего трое? — быстро спросил Лубенцов. — А остальных все подбирают и никак подобрать не могут? Снимайте шинели, товарищи. — Он крикнул Воронину, чтобы дал чего-нибудь позавтракать. Когда офицеры разделлись и уселись опять

на диван, он пододвинул к ним стул и сел напротив них. Он больше всего боялся быть официальным и сразу хотел им дать понять, что они все вместе — маленькая советская колония в немецком городе — больше, чем сослуживцы, — они — друзья, единомышленники. Поэтому он и не сел за стол и не стал их расспрашивать сразу о прошлой работе и прочем, о чем полагается спрашивать в таких случаях. Он начал им сам рассказывать — о Лаутербурге и прилегающем районе, о разных немцах, виденных им за эти дни, о проблемах, стоявших перед комендатурой; он не скрыл от них и того обстоятельства, что немцы, и так боящиеся русских, — и не без оснований! — здесь, на этих территориях, особенно запуганы. Тут, к сожалению, не последнюю роль играла странная пропаганда, которую проводили оккупационные власти союзников.

Разговаривая, он, разумеется, наблюдал своих товарищей, оценивал их. Он заметил за свою недолгую, но полную впечатлений жизнь, что людей по внешности можно подразделить на несколько крупных категорий и что свойства характера каждой категории во многом сходны. Конечно, тут можно было и ошибиться.

Майор Касаткин, присланный на должность заместителя коменданта, был приземист, большоголов и молчалив. Ему было лет под пятьдесят. Его довольно красивое лицо с правильными чертами и спокойными глазами под тяжеловатыми веками производило впечатление большой честности, при некоторой сухости и прямолинейности. Улыбался он редко, но хорошо. Во всяком случае, во всей его основательной фигуре было нечто внушающее доверие.

Капитан Чегодаев был огромным детиной, слишком толстым для своих тридцати лет, с большим лицом, на котором все было маленьким — и глазки, и носик, и ротик. Он был смешлив и хотя теперь — при новом начальнике — смеялся сдержанно, но нетрудно было заметить, что в обычное время от его хохота дрожат стекла. Он был прислан на должность офицера по сельскому хозяйству и со смехом объявил об этом Лубенцову — со смехом потому, что до войны работал плановиком на предприятии. Правда, то был завод, производивший сельскохозяйственные машины, и это, по видимому, и послужило причиной такого назначения.

Третий офицер — старший лейтенант Меньшов — до войны был работником сельского райкома комсомола, до того работал токарем по металлу, а сюда был прислан офицером по промышленности. Опять-таки — явная несуразица, так как токарное дело он давно забыл, а в сельском хозяйстве разбирался прекрасно.

— Ладно, — решил Лубенцов. — Придется все сделать наоборот. Договорюсь с генералом сегодня же.

Между тем с завтраком что-то не ладилось. Воронин и шофер Иван хлопотали, бегали, наконец вызвали Лубенцова в соседнюю комнату и сообщили, что завтракать нечем. Запасы кончились. Надо ехать в воинскую часть, кое-что получить по аттестатам. В это время пришла Альбина, которая, узнав, в чем дело, покровительственно улыбнулась и сказала:

— Здесь в переулке — немецкая харчевня. Хозяин ее, герр Пингель, будет счастлив кормить работников советской комендатуры.

Альбина поманила за собой Ивана и исчезла вместе с ним. Вскоре Иван вернулся с молоденькой девушкой в белом фарточке. Она несла поднос, покрытый салфеткой. То была форель на пару, местное блюдо — гордость этих изобиловавших горными речками мест.

Вслед за официанткой появился сам хозяин ресторана герр Пингель — маленький хромой немец. Он рассыпался в любезностях и попросил составить меню на всю неделю, с тем чтобы ведать снабжением офицеров советской комендатуры. Говорил он весело, неназойливо, хотя, конечно, не преминул попросить лицензию на дополнительные закупки мяса, молока и хлеба для питания советских офицеров. Впрочем, это было вполне естественно.

Лубенцов посмотрел на его ногу и спросил:

— Были на фронте?

— Ранен на Восточном фронте, — сказал герр Пингель, вытянувшись во фронт и не без гордости, словно хвалил русских за это достижение.

— В какой армии вы были?

— Во Второй танковой.

— А, у Гейнца Гудериана!

— Так точно.

Вторая немецкая танковая армия генерал-полковника Гудериана была хорошо знакома Лубенцову.

На территории Советского Союза она прошла до линии Смоленск — Рославль, потом была двинута на юг и участвовала в боях на Украине. Затем ее перебросили на Орел и дальше — на Тулу. Здесь она вместе с большим количеством техники и людей потеряла свой боевой пыл, которым так гордился «быстроходный Гейнец» — так танкисты называли своего командующего. За отход без разрешения Гудериан был снят Гитлером и направлен в резерв главного командования сухопутных войск. А этот маленький герр Пингель был ранен под Тулой, обморозил себе ноги и попал в госпиталь.

Было очень странно, что этот человек, имевший на своей совести немало человеческих жизней и разрушенных домов, стоит теперь у стола с салфеткой в руке — мирный, хромоногий, улыбающийся, довольно симпатичный, жизнелюбивый маленький немец. На его лице улыбка, но не заискивающая, а

довольно мудрая профессиональная улыбка ресторатора, угощающего своих клиентов.

Еще страннее было то, что Лубенцов не чувствовал к нему никакой враждебности. А ведь большие, черные, чуть выпуклые глаза этого немца видели те самые города и села, которые видел Лубенцов в том же 1941 году. Он был башенным стрелком и хладнокровно наводил свою пушку на то, что было дорого Лубенцову, на соотечественников Лубенцова, которые Пингелю ничего дурного не сделали. Он, вероятно, чванился тем, что он родом из Лаутербурга, не ставя ни во что те чужие города, которые он захватывал, и людей, которые там жили.

А теперь Лубенцов был призван заботиться о благосостоянии этого немца и всех горожан Лаутербурга. И, может быть, страннее всего было то, что Лубенцов делал это так же старательно и обстоятельно, как за несколько месяцев до того убивал Пингеля и ему подобных.

Если Лубенцов после беседы с бывшим немецким танкистом как-то даже расчувствовался, то этого нельзя было сказать о майоре Касаткине, который слушал весь разговор, сурово поджав губы. Когда немец ушел, Касаткин посмотрел на Лубенцова исподлобья и сказал:

— Теперь они все хорошие.

Лубенцов несколько смутился — он расслышал в этих словах оттенок упрека и подумал, что упрек этот до некоторой степени справедлив, — нет пока никаких оснований умиляться по поводу того, что бывший танкист угощает своих бывших противников форелью.

Альбина тем временем вышла из комнаты и, вернувшись, сказала, что в приемной много народу и что с комендантом хочет говорить некая фрау Лютвиц. Альбина особенно напирала на эту самую фрау Лютвиц, так что у Лубенцова создалось впечатление, что ее нужно принять в первую очередь. Когда фрау Лютвиц вошла, — завтрак уже окончился, и Воронин убрал со стола, — Лубенцов сразу узнал ее. Это была та самая немка, которая на днях снилась ему; он видел ее с майором Фрезером у горной гостиницы. Она тогда бросила бокал в пропась и всплакнула — очевидно, по поводу ухода англичан.

Теперь она была чуть омущена или старалась казаться смущенной. Она была высока ростом, красива, хорошо сложена и изящно одета. Запах духов наполнил комнату. Она села и заговорила быстро, неожиданно громко и свободно, небрежно положив на зеленое сукно стола большую полную руку. Она говорила, и Лубенцов и остальные офицеры глядели на эту руку — очень белую и, если так можно выразиться о руке, томную, то есть несколько вяловатую, но не от рыхлости или слабости, а от расслабленности нарочитой и многообещающей. Она сидела, плотно и уютно положив одну ногу на другую.

И хотя она что-то говорила, вкладывая в свои слова убежденность и даже горячность, но чувствовалось, что она знает, что главное это не то, что она говорит, а то, как она сидит.

Касаткин закурил и стал глядеть в окно, чего нельзя было сказать о Меньшове и Чегодаеве, которые смотрели на женщину во все глаза.

Лубенцову стоило некоторого труда заговорить с ней официальным тоном, что он, впрочем, и сделал. Он не понял, чего собственно хочет от него эта женщина. В общем ее слова сводились к тому, что она привезла коменданту продукцию своего завода — старой фирмы, насчитывавшей уже около сотни лет и имевшей заслуги в германском экспорте. Привезла она ее «для проверки», как она выразилась.

— Какого завода? — спросил Лубенцов у Альбины.

— Она хозяйка ликерного завода. Это самый крупный здесь ликерный завод, — ответила Альбина очень быстро и деловито, и ее лицо стало при этом преувеличенно строгим. Говоря, она пошла навстречу пожилому немцу, который внес небольшой красивый ящик с красно-золотыми наклейками. Этот немец оказался не кто иной, как Кранц. Он был, надо сказать, порядочно смущен и, поставив ящик на стул у двери, принужденно поклонился, потом сразу отвернулся, давая понять, что в данном случае он только рабочая сила, а к затее заводчицы относится отрицательно. Он в самом деле отговаривал, как мог, фрау Лютвиц от этого дела, ссылаясь на то, что немного знает советского коменданта и уверен, что подполковник рассердится.

Лубенцов, поняв в чем дело, действительно посерел от злости, но сдержался, вместо ответа вынул свою записную книжку и стал задавать вопросы. Ответы заводчицы он записывал. Он спросил, сколько литров выпускает завод ежесуточно; как снабжается сырьем; по каким ценам продает свою продукцию; сколько имеет рабочих и служащих; на сколько времени обеспечен спиртом. Записав все это, он сказал, чтобы завод продолжал, не снижая выработку, выпускать продукцию. Оккупационные власти окажут ему содействие. Злые желваки ходили по его щекам. Не исключена возможность, сказал он, что часть продукции оккупационные власти законтрактуют для своей внутриармейской торговли, в связи с чем заводу будет оказана помощь сырьем. Что касается его, Лубенцова, и его товарищей, то они не разбираются в этом производстве.

При последних словах Кранц торопливо поклонился и вместе с ящиком исчез в дверях. Фрау Лютвиц была очень напугана. Ее длинные ресницы растерянно заморгали, и она сразу помолодела, потому что потеряла самоуверенность и светский тон. Конечно, она считала, что все так получилось потому, что Лубенцов был не один. Она для того и взяла с собой Кранца, чтобы побеседовать с комендантом наедине, даже без

переводчицы. Теперь она не знала, что сказать и как вышутаться из неприятного положения. Она сказала:

— Британская комендатура установила такой порядок. Я не имела представления... Прошу извинения.

Конечно, она сказала неправду. Британская комендатура таких порядков не устанавливала. Это сама фрау Лютвиц установила такой порядок во время пребывания здесь американцев, а затем англичан. Так или иначе она своим женским умом поняла, что самое правильное свалить все на них. Она безошибочно определила, что русские подозрительны по отношению к своим союзникам. Она знала, что они имеют на то основания. Лубенцов, действительно готовый после всего, что он видел и слышал здесь, подозревать англичан в чем угодно, искренне поверил фрау Лютвиц.

— Ладно, ничего,— сказал он и даже проводил фрау Лютвиц до двери. После того как за ней закрылась дверь, он повернулся лицом к офицерам и сказал: — А жалко, ящик с хорошим ликером уплыл.— Он бросил лукавый взгляд на Чегодаева, который в ответ рассмеялся с явным сочувствием к его словам.— Вот вам, пожалуйста, капиталистическое окружение.— По ассоциации, хорошо понятой всеми, он спросил: — Где ваши семьи?

— Я холостяк,— сказал Меньшов.

— Жена в Москве,— ответил Чегодаев,— а детей пока нет.

— У меня семья в Костроме,— сказал Касаткин.— Четверо детей.— Он встал с места и стал шагать назад и вперед по комнате.— Вы, конечно, правильно поступили,— проговорил он.— Нельзя терять самообладания. Но, честно говоря, я бы не выдержал. Сволочь такая, взятку принесла. Бессовестная баба. Нет, все-таки надо было ей сказать.

— Вызывайте свои семьи,— сказал Лубенцов.— Я вот тоже хлопочу, чтобы мою жену демобилизовали. Обещают.

Альбина, до сих пор стоявшая молча, опершись руками на спинку стула, со своей обычной, несколько загадочной улыбкой, перестала улыбаться и сказала с поразившей Лубенцова бесцеремонностью:

— Не надоели вам еще ваши женушки? Там люди дожидаются приема.

Эти слова неожиданно поставили Лубенцова в сложное положение. Если бы Альбина сказала их ему наедине, он бы посмеялся и пошутил насчет того, что все девушки до замужества не любят, когда им говорят нежно о женах,— потом, мол, взгляды меняются. Но сказанные здесь, в присутствии знакомых людей слова Альбины и резкий тон этих слов могли показаться признаком особых отношений между ней и Лубенцовым. Просто подчиненная не должна была и не могла говорить так. Он рассердился, но сдержался, покосился на Касаткина и неловко сострил:

— Придется вас выдать замуж, тогда вы не будете сердиться на всю замужнюю часть человечества.

Лубенцову предстояла поездка в Фихтенроде к майору Пигареву насчет регулярного снабжения бензином Лаутербурга и района. Приемом людей должен был заняться Касаткин. Альбина оделась, приготовившись сопутствовать Лубенцову, но он сказал ей сухо:

— Я поеду один. Там мне переводчик не нужен. Вы останетесь тут с майором Касаткиным.

Она сверкнула глазами, но промолчала. Впервые за эти дни он сел в машину без нее.

XVI

Как всегда наедине с Лубенцовым, Иван был разговорчив. Он хвалил немецкие дороги, потом спросил, как себя чувствует подполковник и нравится ли ему его работа. Лубенцов подумал и ответил, что нравится.

— А я вот хочу домой,— сказал Иван помолчав.

— А тебе, может, отпуск дать? Сейчас отпуска солдатам разрешили.

Иван повернул к Лубенцову недоверчивое лицо. Ему трудно было поверить, что солдат может получить отпуск.

— Ты бы мне давно сказал,— продолжал Лубенцов.— Почему ты мне не говорил?

Иван неопределенно хмыкнул:

— Тут эта переводчица с вами была все время. Неудобно. Она вот домой не хочет. Ей здесь хорошо. Прижилась.

Вдали показался Фихтенроде — небольшой старинный городок. Он пострадал меньше, чем Лаутербург, от бомбежек и выглядел наряднее и оживленнее. Не без ревнивого чувства Лубенцов заметил, что с работами по очистке улиц от обломков тут дело обстоит благополучнее, чем у него в Лаутербурге. Непроезжих улиц, пожалуй, не было.

— Молодец Пигарев,— сказал Лубенцов.

Комендатура находилась тут в большом доме, значительно большем, чем дом на площади Лаутербурга, и все здесь в комендатуре было гораздо торжественнее, упорядоченнее. Внизу стоял рослый часовой, держа у ноги самозарядную винтовку с примкнутым штыком. Государственный флаг на шесте, сшитый из очень яркого плотного шелка, был раза в четыре больше лаутербургского. У входа помещалось бюро пропусков. Оказалось, что немцы здесь без пропуска не могут зайти в комендатуру.

Лубенцов поднялся по лестнице и вошел в большой зал, весь в коврах. В углу стояли огромные напольные часы, издававшие тонкий звон каждые четверть часа, а все остальное

время мирно и успокоительно стучавшие, что придавало комнате необычайно солидный вид. В дальнем углу у окна, возле двери, обитой черной кожей, за столиком сидел сержант с красной повязкой на рукаве. Сержант был в роговых очках, и это обстоятельство тоже добавляло солидности и основательности комнате и всей комендатуре.

При входе Лубенцова сержант встал и спросил, что Лубенцову нужно. Сержант был молодой, худой, с большим кадыком, очень обходительный, — видно, сильно интеллигентный. Он сказал:

— Прошу вас присесть. Товарищ майор вас несомненно примет. Однако его сейчас нет в комендатуре, вероятнее всего, он у себя на дому.

Сержант позвонил майору Пигареву «на дом», и Лубенцов услышал в трубку громкий и радостный голос Пигарева, кричавшего:

— Тащи его сюда!

Пигарев жил в большом особняке. Здесь тоже стоял часовой с самозарядной винтовкой, но без примкнутого штыка. Часовой поприествовал Лубенцова «по-ефрейторски» и запахнул перед ним красивую чугунную решетку, загораживавшую невысокую арку. Это был вход во двор — глубокий, полутемный вход, вымощенный брусчаткой. Он проходил сквозь весь дом, стены его и своды поросли густыми зарослями хмеля и плюща. Все это походило на зеленый грот. А впереди виднелся кокетливый маленький дворик с клумбами и старыми вязами.

Во дворике Лубенцова радостно встретил Пигарев в расстегнутом кителе и в тапках на босу ногу. Они вошли в дом через маленькую одностворчатую дверку, выкрашенную в темно-красный цвет. Дверка красиво выделялась среди зеленых зарослей того же хмеля и плюща, которыми вся задняя стена дома была сплошь покрыта.

— Богато живешь, — пошутил Лубенцов, похлопывая Пигарева по спине и поглядывая с сердечной симпатией на простое, топорное, но очень милое лицо товарища, с вздернутым носом, хитрыми маленькими глазками и рыжеватыми волосами, зачесанными на прямой пробор.

— Занял дом, в котором раньше жил американский комендант, — ответил Пигарев. — Соблюдаю, так сказать, преемственность. Лучший дом в городе. Немцы любят, чтобы власть выглядела представительно.

— В который раз слышу! И откуда вы все так хорошо знаете, что немцы любят? Между прочим, я заметил, что немцы любят сытно есть.

Они поднялись в столовую, поговорили о том о сем. Комендатура Фихтенроде была уже полностью укомплектована офицерами. Лубенцов удивился.

— Очень просто,— весело объяснил Пигарев.— Я все эти дни почти безвыездно сидел в Альтштадте... Знакомился с инструкциями и требовал людей. Давайте людей — и никаких! Дали. Хороших ребят. Знающих. Агронома — на сельское хозяйство. Инженера — на промышленность. Пропагандист — хороший политработник, бывший доцент. На начальство надейся, а сам не плошай.

— Это верно,— огорченно протянул Лубенцов и только завел разговор о бензине, как раздался оглушительный телефонный звонок. Коменданта вызывал Лаутербург. Это был Меньшов, который позвал Лубенцова к телефону и сказал:

— Товарищ подполковник, к вам приехала жена.

Лубенцов положил трубку. Пигарев заметил на его лице необыкновенную перемену.

— Таня приехала,— сказал Лубенцов.

Пигарев быстро оделся, и они пошли к комендатуре.

— Сделаю, сделаю; все сделаю с бензином,— говорил Пигарев.— Езжай, езжай, не беспокойся. На свадьбу позови смотри. Мы это дело вспрыснем. Я слышал, у тебя в твоём Лаутербурге ликерный завод. Я тебе бензину, ты мне — ликеру.

Возле комендатуры Пигарев крикнул:

— Орлов! Матюшин! Беневоленский!

Из комендатуры вышли два офицера и сержант в очках. Пигарев познакомил их с Лубенцовым и спросил:

— Машина твоя заправлена? А то заправлю. Беневоленский! Букет цветов! Мигом! Розы!

Лубенцов слушал все эти милые глупости так, словно они относились не к нему. На него напало нечто вроде столбняка,— настолько был он радостно ошарашен предстоящим свиданием. Он был рад, что Пигареву пришла в голову мысль насчет цветов — сам Лубенцов до этого бы не додумался. И насчет свадьбы тоже верно. Надо устроить свадьбу.

По дороге он думал о том, как они будут с Таней жить, и ничего путного не мог придумать, потому что ему было трудно себе представить, как все это будет. Ему было странно, что теперь они будут все время вместе. Они будут вместе есть, вечером они будут гулять. Это все, что он мог придумать.

В машине сильно пахло розами. Иван выказал свойственный ему такт и на этот раз все время молчал, хотя не без удивления замечал, что подполковник изредка улыбается про себя. Иван думал о том, как странно, что такой бравый, удивительно толковый и умный человек, как подполковник Лубенцов, так расчувствовался и, как про себя говорил Иван, «раскис» при известии о приезде Татьяны Владимировны. Он, Иван, тоже любил свою жену, но всегда старался, чтобы это было незаметно.

Лубенцов поднялся по лестнице наверх в том же почти бессознательном состоянии, в каком находился все это время. Он ожидал, что каждую минуту может увидеть Таню, но когда

он увидел ее, ему это показалось неожиданным. Он испытал то чувство, какое испытывает человек, увидев в первый раз нечто хорошо знакомое, но понаслышке. Скажем, человек, впервые приехавший в Ленинград, может именно так увидеть Медного всадника. Самое поразительное здесь то, что все точно так, как ожидалось. Это-то и производит неотразимое впечатление. Но вот Таня произнесла свои первые слова:

— Нашу дивизию направляют в Советский Союз.

Он сначала не понял, потом спросил беспомощно:

— Что же нам делать?

— Мне дали три дня отпуска. Постараемся эти три дня провести как можно лучше. Это все, что мы можем сделать.

Три дня прошли быстро. Хотя офицеры комендатуры всячески старались заменить Лубенцова во всех делах, но ему все равно приходилось по нескольку часов в день работать. Однако все время, что бы он ни делал, он думал о Тане, находившейся так близко от него, за какими-нибудь тремя-четырьмя перегородками. Он думал о ней и во время важных совещаний с представителями антифашистских партий, или с работниками магистрата, или с бургомистрами окружающих деревень. Иногда — очень редко — она заходила к нему в кабинет. Никого не удивляло то обстоятельство, что входила русская офицерша. Удивлялся он один: какая она взростлая, молчаливая, какая красивая. Говорила она, по его мнению, очень умно и очень кстати. Она всем нравилась, и он удивлялся и гордился тем, что это его жена и что наступит час, когда она — сдержанная, скромная, без труда вызывающая в людях немедленное уважение — будет вся его, и он, Сережа Лубенцов, — для себя-то он был по-старому Сережей Лубенцовым, мальчиком из таежного селения, — будет для нее всем на свете.

Было наслаждение и в том, что вот он сидит здесь и занимается делами, а она — рядом, недалеко. Он может в любую минуту сказать: «Господа (или товарищи), я занят» — и уйти к ней. Правда, он этого не делал, потому что не считал возможным оставить важное совещание или заседание. И ему доставляло острое наслаждение — отсрочить свое счастье, свою близость с Таней, но знать, что эта близость может в любую минуту стать действительностью.

Иногда ему становилось невмоготу. Он всей душой рвался к ней, и вдруг пунцово краснел, вставал с места, ходил по комнате, чтобы люди не заметили этого нескромного румянца воспоминаний.

Ко всему примешивалась и с каждым днем становилась все более нестерпимой горечь близкой разлуки.

Вечером третьего дня они поехали на прогулку в горы. Машина поднималась все выше. Лубенцов и Таня молчали, держась за руки, как дети. На повороте Лубенцов попросил Ивана остановиться, помог Тане выйти из машины. Они посто-

яли у края и поглядели вниз, на пестрые крыши города. Потом они пошли немного пешком. Перед ними справа от дороги оказалась гостиница «Белого оленя» с белыми столиками на открытом воздухе, под большими зонтами, как на пляже. Рядом дети и пожилые люди играли в кегельбан.

— Пива не хочешь? — спросил Лубенцов.

— Нет, — сказала Таня.

Они минут пять посмотрели на играющих, потом опять сели в машину.

— Подземный завод показать? — спросил Лубенцов.

— Как хочешь, — сказала Таня.

Они свернули с дороги и поехали по песчаному проселку. Справа поднимались горы. Голые, серые, причудливого вида скалы торчали на вершинах из массы сосняка. Желтые стволы сосен, накаленные солнцем за день, казалось, теперь отдавали обратно миру свой жар, и поэтому было так тепло, тихо и мирно кругом. Пели птицы. Вскоре показались огромные, выбитые в породе ворота, за ними — вторые.

Это и был подземный военный завод. Лубенцов и Таня прошли мимо отдавшего честь часового, постояли у входа, посмотрели на колоссальное, вырубленное в горе помещение, уставленное поблескивавшими в полутьме станками.

Трудно было поверить, что наверху, над этим мрачным цехом мирно покачиваются кроны старых сосен и поют птицы.

Можно было только удивляться огромным усилиям, сделанным Германией для ведения войны. Но бессмысленность этих усилий и то, что завод в чреве горы строили не немцы, уверенные, пусть ошибочно, в том, что их труд нужен родине, а подневольные иностранцы, жившие в лагере неподалеку, — все это сводило на нет впечатление от подземного гиганта, созданного людьми для уничтожения людей.

— На днях начнем демонтировать, — пробормотал Лубенцов.

Они сели в машину, поехали дальше и скоро снова достигли асфальта. Машина пошла в гору, дорога забирала все круче. Разнообразные деревья росли кругом — рябина, бук, граб и ольха. Потом пошли сплошняком густые, могучие, многослойные еловые леса. Несмотря на красоты природы, на чистоту воздуха, на пение птиц и бормотание горных потоков, Таня и Лубенцов сидели унылые. Он вначале пытался что-то говорить, рассеять ее и свое тяжелое настроение, но потом умолк. Иван тоже молчал, полный сочувствия.

Они проехали красивое горное селение. Подъем становился все круче.

— Мы скоро будем на Брокене, — сказал Лубенцов. — Это тот самый Брокен, где ведьмы в «Фаусте» собираются. Вальпургиева ночь именно здесь и происходила. У Гейне есть книга «Путешествие на Гарц». Это тоже про здешние места.

— Да,— сказала Таня.— Я так и думала.

Они очутились на лысой макушке Брокена. Солнце стало заходить. С вершины они увидели весь Гарц, поросшие деревьями горы, веселые деревеньки с похожими на иголки колоколенками церквушек. Воздух был прозрачен до того, что видно было на сотню верст кругом. Нежное пурпурное зарево охватило небо и позолотило бархатные складки гор до самых глубоких впадин.

Лубенцов посмотрел сбоку на Таню. Ее лицо было серьезно и полно глубокой грусти. И оттого, что она не могла даже здесь, перед лицом огромного, прекрасного мира, забыть о предстоящей разлуке, Лубенцов почувствовал, что сердце у него разрывается от счастья, гордости и горя. Но он продолжал говорить тоном, который ему самому казался глупо-игривым и пошлым:

— Здесь они собираются, ведьмы со всей Германии, молодые и старые, верхом на помеле либо просто так, и танцуют вокруг козла. Вон там — видишь те камни — так называемый алтарь ведьм... Хижина из камня — в память посещения Гёте. Американцы ее разрушили неизвестно зачем. Тебе не холодно?

— Нет... Хижину надо бы восстановить.

— Ха!.. В тебе говорит жена коменданта! Я уже думал об этом. Дай я тебя поцелую. Я люблю тебя очень сильно. Как я буду жить без тебя?

Она поплакала немножко, и они отправились в Лаутербург.

На следующее утро за Таней пришла машина из медсанбата. Лубенцов даже не смог проводить Таню, так как был вызван на совещание в Карлсхорст, а к совещанию следовало подготовиться.

Когда машина отъехала, Лубенцов долго стоял на тротуаре. Было очень рано. Солнце только вставало. Он ничего не видел перед собой, и только постепенно в круг его зрения входили покрытые брусчаткой улицы, каменное лицо Роланда, черный провал в левом приделе собора, длинные утренние тени прохожих на другой стороне площади. И только теперь Лубенцов понял по-настоящему, что ему предстоит длительная и тяжелая разлука с женщиной, которая стала ему по-настоящему близкой и необходимой, как хлеб. Ему внезапно опротивел этот тихий немецкий город; все его проблемы показались ему незначительными, неважными, ненужными. Весь пейзаж с замком и горами, и плитчатые тротуары, и черепичные островерхия крыши, и лица немцев и немок, и даже лица сослуживцев показались ему постылыми, чужими и не имеющими к нему, к его душе, к его внутренней жизни, к его настоящему и будущему ровно никакго отношения.

В Карлсхорсте ему пришлось выступать в присутствии маршала Жукова на большом совещании, посвященном денацифици-

кации. Но даже в этих напряженных обстоятельствах он думал все о том же. И, отвечая на вопросы маршала и двух генералов, думал все о том же.

Впрочем ответы его очень понравились маршалу и генералам, может быть потому, что, думая о посторонних вещах и занятый своими личными делами, он не проявил никакого волнения или смущения в связи с делами служебными; ему теперь было все безразлично — даже то, понравится он или не понравится своим начальникам, хотя обычно это его всегда волновало.

XVII

Лицо Воронина, когда он встретил Лубенцова на пороге комендантского кабинета поздно вечером, показалось Лубенцову каким-то особенным: Воронина распирало лукавое веселье. Лубенцов спросил, что случилось.

— Альбина сбежала, — сказал Воронин с удовольствием.

Лубенцов вошел в кабинет Касаткина. Офицеры были в сборе. Касаткин сказал:

— Понимаете? Еще не кончился прием, как она мне говорит: «Все. Больше я переводить не буду. Я уезжаю из Лаутербурга». Какая странная безответственность. Где книга приказов? Когда она была зачислена? На какой оклад? — Он нервно закурил. — Вела себя грубо, обрывала меня. И я не уверен, что она достаточно точно переводила.

— Да нет, переводила она точно, — возразил Меньшов. — Я немного в немецком разбираюсь. Переводчица она была хорошая, все оттенки передавала очень верно. Но взбалмошная какая-то, чудачка.

— Где же она? — спросил Лубенцов.

Воронин, стоявший у двери, сказал:

— Как сказала, так и сделала. Уехала. Наняла у немцев два грузовика и отбыла в неизвестном направлении.

— Безобразие, — проворчал Касаткин.

Лубенцов сказал:

— Вообще она имела право так сделать. Зачислять ее никто не зачислял, книги приказов у меня пока еще нет. Придется ее, эту книгу, завести. Что с ней случилось? Непонятно! Раньше она вела себя вполне удовлетворительно. Была дисциплинирована. Да... Обиделась за что-то?

— Что значит обиделась! — вскипел снова Касаткин. — Какие могут быть обиды в учреждении, тем более в военном!

— Она-то человек невоенный, — примирительно сказал Чегодаев.

Лубенцов повернулся к Воронину:

— Надо достать переводчика. Отправляйся в лагерь к этому одноному, поговори с ним, он кого-нибудь порекомендует.

Рано утром, когда все еще спали, Воронин разбудил Ивана и поехал в бывший русский лагерь за городом. Там почти никого не оставалось — все переселились в Лаутербург и другие города. Девушки работали официантками в воинских частях, продавщицами в военторге; молодые ребята были мобилизованы в армию.

Одноногий еще находился здесь. В этот ранний час он уже не спал, сидел на ступеньке у входа в барак и курил. Воронин молодцевато соскочил с машины. Он был весь в орденах. В то время все ходили еще при всех орденах — не так из гордости, как из-за того, что еще не знали, как с ними обращаться, где их прятать, куда класть. Орденов у Воронина было много, среди них — орден Красного Знамени и два ордена Славы. Сидевший на ступеньке одноногий человек в белой рубашке поднялся навстречу Воронину, пристально глядя на его ордена. Воронин поздоровался с ним дружелюбно, но с некоторым чувством превосходства и объяснил, что ему нужно.

— Войдем, — сказал одноногий. Они вошли в коридор, а оттуда в дощатую клетушку, обклеенную немецкими журналами и газетами. Пропуская Воронина вперед, одноногий властно крикнул: — Ксана, зайди ко мне!

Одноногий усадил Воронина за стол.

— Позавтракаем вместе? — спросил он.

— Собственно я уже завтракал.

— Для солдата два раза позавтракать — нетрудное дело, — возразил одноногий.

Появилась кое-какая еда и бутылка красного вина. Минут через десять в комнатушку вошла худенькая невысокого роста девушка с злыми серыми глазами под очень черными, густыми, сросшимися на переносице бровями. Волосы ее были растрепаны. Длинные, черные, они падали почти до пояса; она, видимо, только что проснулась.

— В переводчицы пойдешь к коменданту? — спросил одноногий. — Прислал он за переводчицей. Поручил мне подыскать подходящего человека. Вместо этой б... Сбежала эта б...

Неприличное слово он произносил обыденно, без всякого подчеркивания, как любое другое.

— Могу пойти, — сказала она, неласково взглянув на Воронина.

— Поехали, — сказал Воронин. Он встал, пожал одноногому руку и спросил: — А вы нигде не работаете? Зайдите к нам в комендатуру. Пока репатриация, пока то да се... Комендант вас уважает.

Лицо одноногого на мгновение покрылось румянцем. Он ничего не ответил.

Воронин с девушкой вышли из дома вдвоем.

— Вы откуда? — спросил Воронин.

— Из Луги, Ленинградской области.

- Как сюда попали?
- Как все.
- Где работали там, в Луге.
- Училась.
- А тут?
- На подземном заводе.
- Возраст?
- Двадцать один год.
- Замужем?
- Нет.

— А хочешь замуж?

Девушка не улыбнулась, промолчала.

— Злюка ты.

— Станешь злюкой.

— Ясно. Образование?

— Десять классов.

— Грамотная. Родители?

— Отец — в Красной Армии. Еще не знаю, что с ним.

Мать — домашняя хозяйка. Там же, в Луге.

— За границей не была? — спросил Воронин и сам громко рассмеялся своей остроте. — Ладно. Немецкий хорошо знаешь? Говорить, писать, читать?

— Да, умею.

— Анкета на этом кончается.

Девушка невесело усмехнулась и сказала:

— Так скоро? А фамилию не спросили.

— Это верно, — смутился Воронин.

— Ксения Андреевна Спиридонова.

— Дмитрий Егорович Воронин, одна тысяча девятьсот шестнадцатого года рождения, холост. — Он покосился на нее и добавил: — Однако имею невесту в городе Шуе, Ивановской области.

Ксения Спиридонова была после краткого разговора зачислена Касаткиным в штат и записана в большую книгу на девственно чистой странице этого канцелярского первенца лаутербургской комендатуры.

Об Альбине Лубенцов вспомнил еще раз спустя несколько дней. Возле комендатуры остановилась машина, из которой выскочили два хорошо одетых господина с большим свертком, над которым они дрожали так, словно он был из стекла.

Эти двое оказались портными фирмы «Мюллер и Маурициус». Они привезли коменданту штатский костюм. Воронин ввел их к Лубенцову.

— Какой костюм? Кто вам заказывал костюм? — спросил Лубенцов растерянно.

— Ваша переводчица, господин комендант, — объяснил старший из портных. — Она просила сшить костюм без примерки, так как вы, господин комендант, очень заняты. Лично

господин Маурициус на глаз определил размеры. Разрешите положить на диван?

«Ну и бабка», — подумал Воронин усмехаясь.

— Сколько стоит? — спросил Лубенцов, очень озадаченный.

Портные переглянулись.

— Нам ничего не сказано, — смущенно сказал старший из них. — Полагаю, что денег не нужно.

— Как так не нужно? Немедленно звоните и узнайте.

Портной позвонил Маурициусу, объяснил, в чем дело, долго слушал, жался, наконец положил трубку и сказал цену. Лубенцов уплатил, и портные уехали.

— Ну, и бабка! — воскликнул Воронин.

Подумав, он сказал, что в одном вопросе Альбина была права — коменданту следует жить не в комендатуре, а где-нибудь отдельно. Более того, выяснилось, что Воронин даже имеет на примете несколько особняков.

— Я думал, что Татьяна Владимировна уже останется тут, вот я и решил подыскать для вас что-нибудь подходящее в смысле жилплощади.

— Теперь это ни к чему, — сказал Лубенцов.

Воронин возразил:

— Она же вернется, товарищ подполковник, помяните мое слово. Теперь женщин не очень-то в армии будут держать. Не к чему. Мужиков хватит. Скоро вернется Татьяна Владимировна. В этом, я думаю, и Альбинка была уверена. А то не сбегала бы, будьте спокойны.

Лубенцов поднял на Воронина удивленное лицо, хотел рассердиться, потом подумал и промолчал. Они поехали.

Воронин действительно выбрал особняки один лучше другого. Два из них — оба принадлежали раньше крупнейшим богачам — ничем не уступали особняку Пигарева в Фихтенроде. Это были прекрасные просторные дома с высокими потолками, с большими каминами, с красивыми чугунными решетками, огораживающими палисадники. Однако Лубенцов наотрез отказался занимать их. Он не стал объяснять Воронину причин и только сказал, что ему нужен маленький домик, как можно скромнее. Воронин согласился с этим и тут же принялся за поиски подходящего жилья.

Уже на следующее утро он вышел из комендатуры, решив не откладывать дела в долгий ящик. У фонаря возле комендатуры стоял старик Кранц. У старика был несчастный, голодный вид. Подняв лицо к верхним окнам дома, чтобы посмотреть, нет ли там коменданта, и убедившись, что Лубенцова нигде не видно, Воронин зазвал старика к себе. Не говоря ни слова, он нарезал сала и хлеба, приготовил чай.

Они стали есть.

— Ты откуда по-русски так хорошо знаешь?

— Жил в Петербурге... виноват, Ленинграде... до войны.

— Какой войны?

— Нет, нет! До первой всемирной войны.

— А...

— Часовых дел мастер Кранц. Был известный на Васильевском острове.

— Понятно.

Когда они поели, Воронин сказал:

— Пошли со мной. Нужно найти домик какой-нибудь поскромнее для коменданта. Поможешь мне.

Кранц подумал и повел Воронина на одну из самых узких средневековых улочек города, где все дома были похожи на маленькие церкви — с башенками и глухими каменными оградами.

Домик, предназначенный Кранцем для коменданта, стоял во дворе, недалеко от довольно большого двухэтажного особняка, где жил какой-то профессор. Домик тоже принадлежал ему, но пустовал. Двор, обсаженный старыми липами, содержался в отличном порядке. Здесь находилась длинная оранжерея под стеклянной крышей. Из большого дома доносились звуки рояля.

— Это музицирует дочь профессора, девица Эрика, — сказал Кранц.

Во дворе их встретила старушка в очках — очень чистенькая, беленькая, в белом передничке, с белой наколкой на седых волосах. Узнав от Кранца, в чем дело, она пришла в ужас, но не потому, что здесь будет жить комендант, а потому, что домик казался ей для этого слишком плохим, и она боялась, что дело кончится тем, что комендант займет большой дом, а владельцев переселит в маленький. Она вначале и предполагала, что речь идет о большом доме. Кранц ее успокоил, и она засемила к дому, чтобы сообщить обо всем профессору.

Воронин, считавший, что профессор — это обязательно врач, был доволен тем, что подполковник будет жить у врача, — Татьяна Владимировна, когда она приедет, станет общаться с коллегой, что может оказаться полезным для нее. К тому же дворик был солнечный, веселый, а что касается самого домика, то, по мнению Воронина, лучшего нельзя было желать. Там были три комнатки, кухня, самая необходимая мебель, клетки с птичками на застекленной террасе и горшки с цветочками на подоконниках.

Старушка в очках, которую Воронин называл мамашей, вернулась, переговорила с Кранцем и пообещала обставить домик получше, для чего она принесет сюда кое-какую мебель и ковры. Но Воронин, который прекрасно понимал своего начальника и разделял его воззрения на этот вопрос, категорически запротестовал.

— Мамаша,— сказал он,— ничего не приносит. Нам, пролетариям, все эти хреновины не нужны. Нам нужен минимум весь мир.

«Мамаша» не ужаснулась этим аппетитам; весь мир она охотно отдавала Воронину, были бы только целы вещи профессора. Так обо всем договорились, и Лубенцов переехал в новую квартиру.

РАССКАЗ О ШЕСТИ СОЛДАТАХ

— Что же нам теперь делать? — спросил Коротеев, приподнявшись на локте.

Не только ему, но и всем солдатам казалось, что вот буквально через минуту вся армия по всему фронту от Балтийского до Черного моря хлынет в обратный путь, домой. И представлялось вовсе нелогичным двигаться дальше на запад без всякой нужды. Однако Веретенников, думавший то же самое, что и остальные, но облеченный ответственностью, которая заставляла его быть мудрым, сказал:

— Наше дело маленькое. Мы идем в свою часть, а там — что начальство скажет.

Солдаты медленно встали. Веретенников посмотрел на машины. В машинах были снаряды, красиво упакованные в длинные ящики. Впереди стояли машины с «катюшами» — зелеными, новенькими, необыкновенной, на взгляд солдата, красоты. Глаза Веретенникова округлились. Зачем это все? Куда это везут? Кому это нужно? Грузы, казавшиеся всего пятнадцать минут назад самыми главными и драгоценными в мире, теперь никому не были нужны.

Огромный дамоклов меч, висевший над страной и над каждым советским человеком от мала до велика с таким же постоянством, как небо, в мгновение ока растаял в воздухе.

Однако солдаты по приказу Веретенникова взобрались на одну из машин, чтобы ехать дальше на запад, но это были уже другие люди, жившие в другое время, в иную эпоху. И они это чувствовали.

Машины тронулись в путь. Вскоре на землю пала первая мирная ночь, полная звезд. Колонна въехала в огромный разрушенный город. То была Варшава, но солдаты не знали этого. Великий город-мученик смотрел зияющими провалами пустых глазниц-окон, но над этими окнами уже развевались праздничные флаги.

Варшава осталась позади. Машины шли одна за другой, и их фары были зажжены, как в мирное время. И Веретенников подумал, что он давно не видел ночью машин с зажженными фарами и что очень красиво они так идут друг за дружкой с веерами яркого света.

Машины шли до Познани, здесь им надо было свернуть налево. Шестеро солдат спрыгнули на западной окраине города. И вскоре они опять увидели розовый рассвет. Как писали в старину, розовоперстая Эос простерла свои длани с востока к западу. И это действительно было похоже на большие светлые руки, щедро и ласково-простирающиеся по небу вверх.

Было еще очень рано. Попутные машины не появлялись — водители спали где-нибудь в польском доме, либо на сиденье машины в придорожной роще, либо на шинели под кузовом, меж колес, в стороне от дороги. Солдаты постояли, постояли и пошли. Вскоре они увидели деревню с красивым двухбашенным костелом. Издали при свете утреннего солнца костел весь сиял, деревня радовала глаз.

Но когда солдаты подошли ближе, оказалось, что деревня разрушена, дома почти сплошь взорваны, костел наполовину сожжен. Все кругом было пустынно, ни души. И только возле одного домика, стоявшего несколько на отлете, возились дряхлый старик, очень похожая на него старуха и два мальчика лет по двенадцати. Они восстанавливали свой дом. Дом! Он был весь выворочен наизнанку. Целой осталась только печь из красного кирпича. Она была вся на виду — плита, лежанка, дымоход, суживавшийся кверху. Сохранилась и часть стропил, и кусок крыши из зеленого шифера, и крылечко с одними ступеньками, но без двери.

Солдаты остановились, чтобы посмотреть на это показавшееся им жалостным и удивительным зрелище. Старик и старуха работали очень медленно, очень размеренно, экономя каждое движение. Негибкими тонкими морщинистыми руками они поднимали тесину, несли ее к дому и при помощи мальчиков очень медленно ставили на ту, которая уже была прибита от окна до крыльца. Потом старик становился на колени, брал из продолговатого ящика гвоздь и слабыми негулкими ударами молотка забивал его. Все это он делал сидя, чтобы не уставать, и очень медленно. Приладив тесину, он минуту кашлял, потом медленно вставал со скамеечки и отправлялся метров за десять к доскам и тесинам. Доски были разные — и новые, и посеревшие от времени, с ржавыми кружочками на том месте, где когда-то были вбиты гвозди. Здесь, возле досок, старики о чем-то с минуту совещались — тихо и тоже как будто так, словно боялись устать от громкого разговора.

— Этак они лет десять будут свой домишко строить, — сказал Коротеев. Он свернул махорочную папиросу, но закуривать не стал, а положил ее в карман. Потом он подошел к небольшому грубому верстаку, взял в руки рубанок и с изысканием, неожиданным в этом нескладном человеке, провёл рубанком по доске. Потом он положил рубанок на место и взялся за пилу, прислоненную к верстаку. Он поднял ее одной рукой, подержал на весу, зубцами вверх, рука его дрогнула,

и пила заходила, извиваясь и вибрируя. Потом он поднял зубцы на уровень глаз и, прищурясь, посмотрел на развод. Затем он опять поставил пилу на место и с задумчивой усмешкой вернулся к остальным.

— И я плотник,— сказал Зуев.

Между тем старик и старуха подняли тесину вдвоем за оба конца, поднесли ее к верстаку и положили на него. Старик вынул из кармана металлический метр, смерил тесину. Один из мальчиков приложил линейку к доске и провел карандашом черту. Тогда старичок взял пилу и поставил ее на эту отметину, а старуха взялась за вторую ручку, и они начали невероятно медленно отпиливать край доски.

Солдаты вопросительно смотрели на Веретенникова, но Веретенников глядел на дорогу, где только что появилась колонна машин. Машины вскоре поровнялись с солдатами, но Веретенников не поднял руки. Когда машины проехали, он сказал:

— Ладно.

И начал снимать шинель. Через четверть минуты на этом месте лежала гора шинелей, вещмешков и плащ-палаток, и еще через четверть минуты пила оказалась в руках Коротеева, а ошеломленные старики были затурканы, отодвинуты в сторону, прижаты к скамеечке, стоявшей возле потухшего костра с перекладиной для котелка, усажены на эту скамеечку и оставлены здесь глядеть на то, как рождается новая легенда о радости мирного труда и о дружбе народов.

Солдаты работали с упоением, время от времени запевали какие-то песни, но прерывали их на полуслове, чтобы обменяться замечаниями. Старичок иногда пытался вмешаться — то он хотел поднести что-нибудь, то подать, то стружки убрать,— но его яростно почти до недружелюбия отталкивали, гнали обратно к старухе и кричали при этом чуть ли не злобно:

— Сиди!

Старуха шептала имя святой Марии, ходила куда-то за локом для солдат и пыталась заговаривать с Коротеевым о том, что не знает, как сможет с ними расплатиться. Он, впрочем, не понимал, что такое она бормочет по-польски, и отмахивался:

— Не мешай работать, бабка!

Мальчики, оказавшиеся внуками стариков, объяснили солдатам, что их родители в каком-то лагере и неизвестно, живы ли.

— Живы, живы! — кричал сверху Зуев. Он стоял на крыше с молотком в руках, рот его был полон гвоздей.

К мальчикам приходили их сверстники из деревни, они взбирались на росшие рядом ивы и долго смотрели на солдат сквозь листву.

Спустя четыре дня Веретенников сильно забеспокоился: машин на дороге становилось все меньше; как бы вообще не

застрять надолго в Польше. Расписка за сено, лежавшая у него в кармане, тревожила его,— расписку надо было сдать.

Поэтому, когда поздно вечером издали показался свет многих фар, Веретенников велел солдатам быстро одеться и схватать винтовки. Дом был почти готов. Они наскоро простились с старшим из мальчиков,— старики и младший мальчик уже спали,— сунули ему в руку кулек с сахаром и выбежали на дорогу.

Машины остановились. Передняя оказалась санитарным автобусом с кожаными мягкими сиденьями. Солдаты уселись и с комфортом поехали в Берлин.

ХVIII

Рота капитана Чохова в большинстве состояла из молодых солдат, среди которых не все успели принять участие в войне.

Полк размещался за городом, в казармах старого прусского лейб-гвардии полка. Казармы эти стояли в лесу, похожем на парк. Невдалеке от них находились дворцы Фридриха Великого.

Чохов был все время в состоянии, которое можно определить словами: «Сдержанно счастлив». Он проводил с солдатами весь день. Часто он оставался ночевать в казарме — не только потому, что ему не хотелось или лень было идти в свое общежитие, а потому, что он двадцать четыре часа в сутки беспокоился о роте. Не то чтобы он не доверял своим командирам взводов. Напротив, все трое были бывальными людьми, дисциплинированными и аккуратными лейтенантами. А старшина роты, мариупольский рабочий Сакуненко, был умным и исправным служакой, как большинство украинцев-старшин. И все-таки Чохов жил все время в страхе, что без него может случиться какое-нибудь неприятное происшествие, которое положит тень на его роту. Он все время горел служебным рвением, несколько мальчишеским стремлением вести свою роту без сучка и задоринки сквозь строй многочисленных искушений, которые, как думалось Чохову, подстерегают его солдат со всех сторон.

Главными врагами Чохова были вино и женщины. Этих двух искушений он опасался больше всего на свете. Разумеется, не для себя, а для солдат. За себя он был спокоен.

Во время тактических и строевых занятий на солдат из расположенных вокруг домиков во все глаза глядели немки. Глядели уже без всякого страха, а с откровенным женским интересом к молодым здоровым мужчинам, одетым в военную форму. Военная форма действует на некоторых, главным образом одиноких женщин, независимо от их национальности: она придает бравый вид и по традиции свидетельствует об

отваге и мужественности, да и попросту — военные люди не имеют жен или — что иногда все равно — живут вдалеке от них.

Этот интерес свидетельствовал о том, что понемногу — и как быстро! — забыта великая и, казалось, вечная вражда между двумя народами, а на смену ей приходят естественные, вполне человеческие взаимоотношения. Но это обстоятельство вовсе не успокаивало Чохова, а, напротив, наполняло его дополнительной тревогой. Он возненавидел немок преувеличенной ненавистью. Он считал, что от них можно всего ожидать. Он был прав в том отношении, что немки действительно не считали дружбу с русскими солдатами национальным предательством. Кроме того, — и это в самом деле было опасно, — в Германии в то время сильно развилась проституция — обычное следствие военной разрухи. Невдалеке от казарм каждый вечер прохаживались молодые женщины вполне определенной наружности. Буржуазная Европа, разоренная войной, казалась своей испитой, непривлекательный лик. В Потсдаме, как и по всей Германии, были и легальные публичные дома. Чохов, узнав про них, изумился. Он раньше думал, что у цивилизованных народов уже с незапамятных времен нет ничего подобного.

Итак, постоянный страх перед «чрезвычайными происшествиями» заставлял Чохова проводить в казармах весь день. Но не только это. Помимо того, ему там было хорошо. Его смутные опасения, что в мирное время служба в армии может оказаться пресной и однообразной, оказались беспочвенными. Конечно, все было совсем не так, как во время войны. Все было не так, но не менее захватывающе. Его пленял четкий воинский распорядок, развод караула под звуки самого настоящего военного духового оркестра, звуки горна, неподвижные часовые у полкового знамени, командирские занятия на карте и на полигоне и особенно боевые стрельбы, к которым все офицеры готовились с волнением. Ему теперь приходилось чуть ли не лекции читать. Он проводил с солдатами уроки по материальной части пехотного оружия и по уставам — боевому, строевому, дисциплинарному и внутренней службы. Поэтому он сам приналег на уставы и нашел в их краткости и определенности многое, что соответствовало его характеру. Неумолимая регламентация на все случаи жизни не могла ему представляться целиком выполнимой, — он ведь воевал и знал, как часто на войне приходится отступать от устава. Но она была тем идеалом, к которому следовало стремиться, и, как всякий идеал, имела в себе нечто поэтическое — по крайней мере для Чохова.

Что касается солдат, то его отношение к делу передавалось и им. Правда, командир интересовал их больше всего тогда, когда он по вечерам рассказывал размеренным и спокойным голосом, с серьезным, почти печальным видом о бое-

вых действиях на Карельском и Первом Белорусском фронтах, о могучих прорывах укреплений противника, о рейдах в тыл врага, о случаях, приключавшихся с ним или с его однопольчанами. Он рассказывал о разведчиках, в том числе о некоем гвардии майоре Лубенцове, служившем в одной дивизии с Чоховым. Он излагал им ход боев за тот город, в котором они несли теперь службу, или, как он выражался, «где они стояли на страже государственных интересов Советского Союза». Эти слова он повторял часто, так как они превращали это, на первый взгляд довольно бессмысленное, пребывание гарнизона в чужой стране в очень важную боевую задачу.

В свое общежитие Чохов ходил все реже и реже.

Однажды он пошел туда и, войдя в свою комнату, замер удивленный. Было темно, но он почувствовал, что кто-то тут есть. Он повернул выключатель и увидел Воробейцева, который спал, одетый и в сапогах, на своей койке. Рядом, загроздив всю комнату, лежало штук пять чемоданов, один на другом. Чохов пробрался к своей койке. Воробейцев, услышав шорох, проснулся, посмотрел непонимающими глазами на Чохова, потом сел на кровати, хмуро поздоровался и сказал:

— Загорел ты как. Совсем черный, узнать нельзя. Все ходишь?.. Тактические занятия?.. Строевая?.. Бьешь в котелок?..

— Да,— сказал Чохов, потом посмотрел на чемоданы, на Воробейцева и спросил: — Выперли?

Воробейцев ответил не без раздражения:

— Да, выперли, если тебе нравится это словечко. Словечко выразительное. Пришли два полковника с автоматчиками и попросили. Почему выперли? Вежливо попросили... Не одного меня, кстати. Весь квартал попросили. За час велели выехать. Приказ. Наверно, начальству наши домики понравились.

Несмотря на свой обычный залихватский тон, заметно было, что он очень расстроен и даже напуган. Видимо, сцена выселения была не такая гладкая, как это им изображалось теперь, и ему там было сказано нечто весьма серьезное.

— А ты бы свою мебель попросил,— сказал Чохов.— Рояль.

— Черта с два! — махнул рукой Воробейцев.— У наших попросишь!

Его что-то угнетало. Всю ночь он ерзал на своей постели, вертелся, выходил пить воду, что было вовсе на него не похоже. Утром он поплелся вместе с Чоховым в казармы. Чохов удивлялся его молчаливости. В офицерской столовой Чохов достал для него талон. Завтрак Воробейцеву не понравился — видимо, было слишком прост для его нынешних привычек. После завтрака он подождал Чохова у ворот и вместе с ним пошел вслед за ротой на занятия.

Стояла прекрасная июльская погода, мягкая и нежаркая. Все кругом было как на картине. Столетние липы и дубы

разрослись широко и буйно; буки, напротив, несмотря на свою старость, росли больше вверх, оставаясь худощавыми и стройными. Солнечные лучи, прорываясь сквозь листву, падали густой сеткой на белую дорогу и на зеленые каски солдат; солдаты шли тремя квадратами, повзводно, и пели. Они пели не новую советскую песню, сочиненную еще до войны, с маловразумительными словами, но мелодичной музыкой, пригодной для строевого шага. Запевала, находившийся во втором взводе — на вид совсем замухрышка, худой и малорослый парень с неожиданно высоким и сильным голосом, — пел основную строфу, после чего вся рота вступала в два голоса. Это двухголосье неожиданно придавало песне минорное звучание.

Белоруссия родная,
Украина золотая,
Ваше счастье молодое
Мы штыками, штыками оградим...

Может быть, тут играли роль и слова. Конечно, солдаты не очень обращали внимание на их смысл, но было что-то печальное в том, что еще надо «штыками, штыками» ограждать свое «молодое счастье». И как бы в подтверждение этого солдаты несли за собой фанерные мишени, изображавшие темные фигуры условного врага, и наклеенные на дощечки бумажные листы с концентрическими кругами.

Сегодня предстояли стрельбы, а стрельбы являлись для офицеров серьезным испытанием, для солдат — любимым занятием. Это было настоящее дело, для которого требовалось умение; кроме того, оно считалось чем-то вроде отдыха, так как пока стреляли одни, другие сидели на траве и под видом повторения правил стрельбы отдыхали, мечтали, глядели на перистые облака, недвижно стоявшие в чистом небе.

Но Чохов был не из тех командиров, которые дают солдатам отдыхать во время занятий. Пока устанавливали мишени в специально отрытых для этой цели рвах; пока старшина получал боевые патроны; пока солдаты, выделенные для оцепления стрельбища, занимали свои места на ближних и дальних опушках, Чохов приказал заняться обучением строевому шагу, выправке, ружейным приемам.

Разбившись по отделениям, под руководством сержантов, солдаты маршировали на зеленой лужайке. Они шагали, останавливались по команде, с шага переходили на бег, с бега — на шаг, подходили с вымышленным докладом к сержанту, уходили от него по всем правилам военного строя. Слова команд слышались то здесь, то там, одновременный топот ног сотрясал поляну. Издали это мельтешение маленьких групп людей, то идущих навстречу друг другу, то расходящихся в разные стороны, казалось бессмысленным, но красивым.

Чохов не отдыхал ни минуты и все ходил от группы к группе неспешным, но четким шагом. Воробейцев шел за ним, куря сигарету за сигаретой. Хотя его все эти экзерциции интересовали мало, он тем не менее преисполнился уважения к Чохову, замечая, что тот чувствует себя здесь, как рыба в воде. Время от времени Чохов подходил к какому-нибудь из отделений, с минуту следил за движениями солдат, а когда был недоволен чем-нибудь, — не шумел, не кричал на сержанта, а сам начинал показывать, как нужно делать. Показывал он образцово. Он двигался почти как балерина — плавно, но отчетливо. Движения его рук, ног, головы, плеч были согласованны до филигранности, так что можно было заглядеться. При этом лицо его оставалось непроницаемым и суровым, и радость владения собственным телом выражалась только через движения. Это были уверенные, молодецкие, но очень скромные движения, в них был весь его характер. Воробейцев ощущал это.

Вскоре Воробейцев устал от бесконечного хождения и прилег под деревом, попрежнему куря сигарету за сигаретой. Когда был объявлен перерыв, к нему присоединились Чохов и три лейтенанта — командиры взводов. Наступила тишина. Все было готово к стрельбам. Издалека виднелись поднятые над бруствером темные и белые мишени; те, что поближе — для стрельбы из винтовок, а подальше, еле видные на расстоянии восьмисот метров, — для стрельб из пулемета.

Солдаты построились. Старшина раздал по три патрона, отсчитывая их каждому в ладонь. Патроны были теперь на строгом учете, и Чохов задумчиво улыбался, глядя на скупость старшины и вспоминая, как всего два с лишним месяца назад патроны раздавали без всякого счета — бери, сколько хочешь, и стреляй хоть целый день подряд, хоть неделю. Он не мог не вспомнить и о том, что за все четыре года войны, тогда, когда людям угрожала настоящая опасность, он и его солдаты не имели касок или во всяком случае не носили их, а теперь, когда опасности нет, — все в стальных касках.

Взводы поотделенно занимали огневой рубеж. Сигналисты взмахнули флажками. Звук горна протяжно разнесся по лесам и перелескам. Раздались первые залпы. Сердце Чохова выиграло. И вдруг от группы офицеров, стоявших в полукилометре слева, отделился человек и, замахав руками, бегом пустился к Чохову.

— Отставить! — стал слышен его крик, когда он подбежал ближе.

— Отставить! — скомандовал Чохов, еще не зная, в чем дело, но боясь, не приключился ли какой-нибудь несчастный случай.

Солдаты недоуменно переглянулись и нерешительно поднялись с травы, оставив на траве винтовки.

Прибежавший командир батальона сказал запыхавшись:

— Отставить. Стрельб не будет. Отправляться в казармы и ждать указаний.

Чохов, ни о чем не спрашивая, дал команду собирать миссии и строиться. Он был очень удивлен и взволнован, но не подавал вида. Его воображению, еще не остывшему после долгих лет войны, стали представляться разнообразные осложнения. Может быть, снова где-то всплыл Гитлер, судьба которого была еще не ясна, и поднял немцев. Может быть, американские и английские буржуи решились напасть на Красную Армию в Германии и т. д. Он был так взволнован, что даже не заметил исчезновения Воробейцева.

К вечеру стало известно, что в Берлин или чуть ли даже не сюда, в Потсдам, приехали Сталин и Молотов. Никто не знал, зачем они приехали. И солдаты, естественно, решили, что глава советского правительства и его заместитель прибыли для инспектирования своих победоносных войск. Все ходили томительно взволнованные, улыбающиеся и довольные, ожидая важных событий.

В Потсдаме вдруг необычайно увеличилось движение легковых автомобилей и бронетранспортеров. Стало много генералов и полковников. Оживилось также и небо над городом. Почти целый день не смолкало гудение самолетов.

На следующий день офицеры, приехавшие из Берлина, рассказали, что прилетели Уинстон Черчилль и президент Трумэн. Передавали, что Черчилля встречал гвардейский духовой оркестр в леопардовых шкурах. Повидимому, речь шла о конференции трех держав.

Поздно ночью дежурный вызвал Чохова к воротам. Его в караулке ожидал Воробейцев. Он был сильно подвыпивши, выглядел очень довольным и сразу громко зашептал Чохову на ухо:

— Так знаешь, почему меня выперли? Знаешь, кто будет жить в моем доме? Трумэн! Президент Соединенных Штатов Америки. А ты говоришь — выперли!

ХІХ

Потсдамская конференция трех держав открылась 17 июля в пять часов вечера во дворце Цецилиенхоф. Советский Союз представляли Сталин, Молотов, Вышинский, генерал армии Антонов, Сабуров и целый ряд дипломатов, советников и консультантов. Делегация Великобритании состояла из Уинстона Черчилля, Антони Идена, фельдмаршала Аллана Брука, маршала авиации Чарльза Портала, адмирала флота Эндрю Каннингхэма, фельдмаршала Гарольда Александера и других. И, наконец, Соединенные Штаты были представлены новым президентом Гарри Трумэном, государственным секретарем

Джеймсом Бирнсом, адмиралом флота Вильямом Леги, генералом армии Джорджем Маршаллом, адмиралом флота Эрнестом Кингом, генералом армии Арнольдом, генерал-лейтенантом Брегоном Соммервеллом, дипломатом и промышленником Авереллом Гарриманом и другими.

С предыдущей, Ялтинской, конференции трех держав прошло всего пять месяцев, но за это время произошли серьезные перемены во всей обстановке, наступила новая эпоха. Немецкие армии были разгромлены и вынуждены пойти на безоговорочную капитуляцию. Войска союзников оккупировали всю Германию. Их гарнизоны распоряжались в стране по своему усмотрению. Германия лежала молчаливая и покорная. Главари нацистского режима были в тюрьме. Возмездие постигло Германию со всей силой, беспрецедентное возмездие, соответствующее злодеяниям немецкого фашизма. На милость победителя была отдана великая держава с населением в семьдесят миллионов человек. Она была лишена голоса, прав. Солдатам она казалась большим безликим пространством, где уже не было ни ученых, ни артистов, ни писателей, ни просто мыслящих людей, ни даже отцов и матерей, ни даже сыновей и дочерей, а были одни побежденные.

Руководители победивших народов должны были договориться о дальнейшей судьбе Германии, потому что они, в отличие от их солдат, прекрасно знали, что такое положение не может длиться долго.

Для того они и собрались в сердце побежденной Германии.

Замок Цецилиенхоф был выстроен в 1913—1916 годах в стиле старинного английского поместья. Двухэтажный, приземистый, обвитый диким виноградом, дом стоял большим квадратом среди каштанов, дубов и тиссов старого парка. Темные дубовые ворота в центре фасада вели во внутренний двор, обсаженный белыми розами и подстриженными кустарниками.

Цецилиенхоф был выстроен для принцессы Цецилии, дочери русской великой княгини Анастасии и жены германского кронпринца. Замок имел сто семьдесят шесть комнат. Принцесса любила море, но в связи с войной была лишена возможности кататься на яхте, поэтому одна из комнат ее замка, так называемая «белая комната», изображала корабельную каюту; во время оно рядом даже запускали мотор, чтобы у причудницы-принцессы была полная иллюзия морского плавания.

В этом обширном замке начались совещания представителей трех держав-победительниц. Почти все делегаты уже хорошо знали друг друга. Самые крупные изменения произошли в американской делегации: на мировую арену впервые выступил Трумэн.

Лицо и внешний вид нового президента выделялись своей незначительностью. Случайность того обстоятельства, что он стал президентом, так и сквозила во всем его облике. Позднее карикатуристы придали — не без труда — его лицу зловещее выражение, используя для этой цели неприятный, лишенный верхней губы рот. Рот Трумэна действительно был спасением для карикатуристов — он один давал некоторую возможность придать лицу президента индивидуальное выражение. Президент одевался тщательно и безвкусно. Он походил на воробья с оперением канарейки. Носки его были оранжевые, туфли — то красные, то лимонно-желтые, костюмы — пестро-клетчатые или сиреневые, рубашки — всех цветов; из карманчика пиджака всегда торчал кончик яркого платочка. К тому же он переодевался два, а то и три раза в день, и это производило несколько комичное впечатление.

Франтовство нового президента и весь его облик серьезно изменили атмосферу конференции, которая вовсе не была похожа на прежнюю, когда Соединенные Штаты представлял покойный Рузвельт. Рузвельт был не лишен величия, и сама его болезнь, и бледность красивого лица, и острое чувство юмора, свойственное ему при этом, накладывали на встречи большой тройки свой отпечаток. Внешность была отражением внутреннего содержания и общественных взглядов этих двух людей. Рузвельт был человеком с широким кругозором и старался быть верным американским демократическим традициям. Конечно, он при этом исходил из интересов своей страны и вовсе не склонен был поступаться этими интересами, в том числе и интересами банкиров и промышленников. Но интересы своей страны он понимал широко. Он был почти свободен от страха перед Советским Союзом и считал, что сосуществование американской демократии и советской демократии — вполне реальное дело: каждая из этих демократий имеет свои преимущества; народы достойны того строя, который они себе избирают.

Трумэн, по всей видимости, не имел ни выдержки, ни обаяния, ни широты взглядов, свойственных покойному президенту.

На все заседания приходил Клемент Эттли, лидер партии лейбористов, вероятный премьер-министр Англии после предстоящих через несколько дней выборов в британский парламент. Это был человек неяркий, но и неглупый. Надо сказать, что он вел себя скромно и естественно, в отличие от Трумэна, хотя тоже присутствовал на такого рода историческом совещании впервые в жизни. Трумэн охотно и как-то даже провинциальному любовно позировал перед фотоаппаратами. Чувствуя, что на него из какого-нибудь угла устремился глазок объектива, президент тут же, даже во время беседы с кем-нибудь, поворачивался к аппарату и принимал надлежащий вид — то значительный, то веселый.

Кругом дворца ходили патрули трех армий, шныряли корреспонденты и кинооператоры многих стран, но сюда, в большой дворцовый зал из темного дуба, не доходило никаких звуков. Однако за каждой из делегаций стояли огромные массы, сложнейшие и запутаннейшие интересы.

Сталин и другие советские делегаты знали, что на конференциях не решаются судьбы народов, что конференции призваны только сформулировать то, что уже решено объективным ходом исторического развития. Но чтобы сформулировать, надо понимать ход исторического развития, надо уметь видеть и обобщать факты, множество фактов различного значения. Сталин хотел, чтобы его контрагенты поняли, что в результате войны возник целый ряд новых фактов и среди них важнейшим был тот, что Советский Союз стал ведущей силой мировой политики и что в связи с этим надо учитывать его интересы и считаться с его мнением во всех без исключения вопросах послевоенного устройства мира.

Сталин и советские делегаты знали еще и то, что США потеряли за войну триста тысяч убитыми, то есть столько, сколько США теряют ежегодно в мирное время от автомобильных катастроф. Штаты не испытали ни одной бомбежки, ни одна хижина там не была разрушена, ни одна пуля не просвистела над их территорией. То, что президент в ярком однобортном пиджачке судит и рядит вкривь и вкось о европейских делах, о судьбе измученной Польши, о ближайших перспективах поруганной Франции, о размерах репараций с лежавшей в развалинах Германии, не могло не вызвать в Сталине раздражения. Тем не менее он сдерживался, так как знал, что только взаимными уступками и ясным пониманием взаимных интересов можно добиться соглашения.

Черчилль тоже был не в восторге от нового президента. Он ревниво прислушивался к его речам. Его коробило, что человек, не имевший никакого влияния на ход войны, теперь пожинает плоды чужих трудов. Но, конечно, главным двигателем поступков Черчилля был страх перед Советским Союзом. «Остаться с ним один на один в Европе...» — думал он, дымя сигарой и глядя сквозь клубы дыма на лицо Сталина. Черчилль был склонен считать себя спасителем «цивилизации», то есть капиталистического мира, и последним его пророком. Будучи аристократом до мозга костей, он тем не менее знал силу масс в условиях нашего времени. Он был аристократом-демагогом. Он сознавал значение идеологии и трезво признавал, что в руках большевиков находится идеология, очень сильно действующая на массы. Ей надо было противопоставить воинствующую пропаганду капитализма, но завуалированную, тонкую. Это будет нелегко, так как полевение масс стало фактом. Англия, возможно, изберет лейбористов — потому что лейбористы пустили в ход лозунг национализации промышленности и

другие социалистические лозунги. Единственной твердыней старого порядка является Америка. Надо дать ей это понять. Но, поняв это, она может заодно съесть и Англию. Положение у него было очень сложное.

Черчилль изредка мечтал о том, чтобы в ближайшие дни, потерпев поражение на выборах, уйти в отставку и превратиться из премьер-министра в лидера оппозиции, из официального лица в «свободного художника», который будет иметь возможность говорить почти все, что он думает. Война окончена, да здравствует война!

Но пока следовало решить германский вопрос. Американцы еще в 1944 году на конференции в Квебеке предлагали разделить Германию на пять отдельных государств. Теперь Трумэн при поддержке Черчилля склонялся к тому, чтобы поделить ее на два государства — Северное и Южное, причем в Южное должна быть включена и Австрия с Венгрией! Советские представители настаивали на единстве Германии с тем, однако, чтобы она стала миролюбивой и демократической страной. Американцы предлагали аграризировать Германию, превратив ее в сплошь помещичью и крестьянскую страну, распахав под картофель и брюкву всю ее территорию, создав из нее таким образом нечто вроде большого европейского огорода. В этом проекте, малограмотном и наивно-реакционном, может быть, проявилось стремление американских промышленников снабжать созданный таким образом новый рынок готовой продукцией своих заводов и фабрик.

В общем не было недостатка в разных проектах, но все они наталкивались на решительный отпор советской делегации. Она не задавалась эфемерной целью обессиления Германии, что на первый взгляд казалось заманчивым для государства, испытавшего по вине Германии такие страшные бедствия.

Каждый из участников конференции знал в подробностях цели и намерения другого, знал его слабости и сильные стороны и мог почти всегда безошибочно угадать его побуждения. Были даже известны оттенки мнений в каждой из делегаций, характер каждого из членов делегаций. Но внешне все происходило так, словно известно только то, о чем один другому сообщает на конференции. Советские делегаты прекрасно знали, что Гарри Трумэн был тем самым сенатором, который в 1941 году выразил пожелание, чтобы СССР и Германия взаимно уничтожили друг друга. Но советские делегаты вели себя с ним так, словно принимали за чистую монету его дружельюбие и высказываемое им восхищение победами советских войск. Они знали, что Черчилль как был, так и остался самым убежденным и яростным противником советского строя и что он считал бы себя счастливейшим человеком в мире, если бы его долголетняя и почти романтическая мечта о ликвидации советского строя осуществилась. Но они говорили с ним так,

словно не имеют об этом никакого понятия и не замечают его уловок и подвохов почти по всем вопросам, обсуждаемым на конференции и за кулисами конференции. Они притворялись, будто не знают, что в английской зоне оккупации сосредоточены немецкие воинские соединения под видом рабочих бригад и батальонов. Они как бы совсем не были осведомлены о выступлениях британских консерваторов — близких друзей Черчилля — насчет все той же красной опасности и все того же коммунистического заговора. А Черчилль, хотя он прекрасно знал, что они все это знают, в свою очередь притворялся, что не подозревает ни о чем.

Советские делегаты знали, что американцы и англичане, сбрасывая оружие итальянским партизанам на севере Италии, посылали специальные миссии, обязанные следить, чтобы это оружие не попало к гарибальдийцам, то есть тем наиболее боеспособным партизанским отрядам, которые находились под командованием коммунистов.

Одним словом, наши делегаты знали, что наряду с общей войной против фашистов английские и американские солдаты, сами не подозревая об этом, вели тайную войну против СССР и за то, чтобы все осталось так, как было до войны. Вдохновителем этой тайной войны был Черчилль, который иногда пользовался поддержкой американцев, а иногда действовал на свой страх и риск. Впоследствии противники Рузвельта, вроде Трумэна, Стимсона, Бирнса и др., считали крупным просчетом покойного президента то обстоятельство, что он не поддержал Черчилля во многих «благих начинаниях» подобного рода.

Так они сидели за круглым столом, эти друзья-враги, эти союзники-противники, прекрасно зная друг друга, но соблюдая все внешние приличия.

После заседаний довольно часто устраивались приемы то одной, то другой делегацией, — приемы, которые интересны только для тех, кто на них не бывал. Особым успехом пользовались приемы советские, так как там всегда было вдоволь зернистой и паюсной икры и «Московской» водки. Английские приемы были подчеркнута убогими — Англия была в тяжелом положении; американцы собирались отменить ленд-лиз, чем ставили Англию на край нищеты. Что касается приемов американских, то еда здесь состояла из консервов разных видов и названий.

А за стенами дворца затаил дыхание весь мир, ожидая великих решений. И эти общие решения должны были быть найдены, несмотря на глубокие противоречия и серьезные разногласия, вопреки тому, что каждая из делегаций вкладывала в одни и те же слова различный смысл. Более того, конференция смогла принять эти решения именно потому, что каждая делегация вкладывала в одни и те же слова разный смысл. И делегации это знали, но делали вид, что не знают.

Дома, где жили американские делегаты, охранялись парнями высокого роста, с большими пистолетами, подвязанными под самым подбородком. Освободившись от смены, они уезжали на «джипах» в Берлин, где каждый из них делал свой маленький бизнес, торгуя сигаретами «Честерфилд» и «Кемел», плитками шоколада и консервами. Проезжая мимо советских солдат, они останавливали «джипы» и закатывали рукава выше локтя. На их обнаженных руках были нанизаны ручные часы, иногда штук по пятнадцати на каждой руке. Оккупационные марки они ценили очень высоко, так как имели возможность обменять их впоследствии на доллары.

При всем уважении и даже особой солдатской нежности к воинам союзной армии, облегчившим достижение победы, советские люди с удивлением и неприязнью воспринимали поведение американских солдат. Берлинские толкучки были полны американцев, похожих на мелочных торговцев, лихо зазывающих покупателя.

Однако среди советских людей были и такие, которым нравился залихватский тон «ами», их бесцеремонность, подчеркнутое неуважение к воинской дисциплине, обаятельная фамильярность в обращении друг с другом, в том числе и со старшими начальниками, наконец — откровенная жажда наживы.

Все эти черты производили особенно чарующее впечатление на тех наших людей, для которых капиталистическая частная собственность втайне была хотя и запрещенной, но заманчивой мечтой. Таких людей у нас не так мало, как это принято думать; они привыкли скрывать свои аппетиты в стране, где частная собственность отменена и находится в общем презрении, но аппетиты от этого не становились меньше. И, будучи на словах весьма правоверными, они в глубине души тосковали о старом. Для них, как для всех мещан в мире, настоящее было плохо уже тем, что оно настоящее, а прошлое — хорошо уже тем, что оно прошлое.

Замечание «Коммунистического манифеста» о том, что вопрос о собственности является центральным вопросом в деятельности партий, остается в силе и по сей день. В конце концов водораздел идеологий идет по линии отношения к собственности, а не по линии государственных границ. Я думаю, что скупой, жадный, корыстный человек он ни говорил на любых собраниях. Корыстолюбие в личной жизни — это едва ли не то же самое, что капитализм в общественной. Дайте волю бескорыстному человеку — и он пойдет путешествовать. Дайте волю человеку корыстолюбивому — и он станет капиталистом.

Капитану Воробейцеву американские солдаты очень понравились. Они были стяжателями, но не скрывали этого. Они

хотели заработать как можно больше, но не делали из этого секрета. Воробейцев был у себя дома, в своей семье, окружен людьми, которые стремились к тому же самому, но открыто этого никогда не выражали. Он сам тоже. Он любил джаз, но говорил всем, что любит Чайковского. Он любил играть в карты, но говорил, что любит играть в шахматы. Он не верил никому, так как знал, что сам не достоин доверия.

Все это очень естественно. Передовая идея, ставшая знаменем великого государства, не может за короткий срок побороть все остатки старого; вынужденные разделять ее открыто, но тайне отрицая ее или оставаясь равнодушными к ней, отсталые люди приучаются лицемерить и хитрить. Но на этой констатации мы не можем успокоиться. Кое-что зависит и от нас, ибо размножению такого рода лицемерия содействуют переоценка принуждения и недооценка воспитания. А что такое воспитание? Воспитывать — значит говорить людям правду об их жизни и о жизни всего мира. Этому учил Ленин, этому учит наша партия. Надо, чтобы все, занимающиеся воспитанием, помнили и делали это.

Но вернемся к нашему рассказу.

Воробейцев слонялся по Бабельсбергу поблизости от своей бывшей квартиры, где, впрочем, как вскоре выяснилось, поселился вовсе не президент Трумэн, а один из членов американской делегации, вице-адмирал Эмори Лэнд. Если американские солдаты занимались своим маленьким и грубым бизнесом, то адмирал Эмори Лэнд делал это в гораздо более крупных масштабах. То и дело к нему приводили немецких маклеров и агентов. Перед его особняком останавливались грузовики с опознавательными знаками американской армии, в которые грузились тюки с товарами.

Воробейцев вертелся вокруг этого квартала, покупал у американцев часы, электрические бритвы, сигареты, жевательную резинку и сульфидин. Двух американцев из охраны звали Петренко и Каплан. Они были сыновьями выходцев из Украины и могли объясняться по-русски. Впрочем, это были такие же разбитные парни, как и коренные американцы, но они сохранили глубокое уважение к своей старой родине и сентиментальную любовь к ней. Первый говорил о Полтаве, а второй об Одессе почти со слезами на глазах, хотя они никогда там не бывали. Воробейцев подружился с ними. Они хлопали его по спине и говорили, что скоро конференция кончится и он сможет вернуться в особняк и что они постараются, чтобы все там, в особняке, осталось на месте. Они восхищались храбростью Красной Армии и очень горевали по поводу разрушений, причиненных немцами Полтаве и Одессе.

Они познакомили Воробейцева с американским лейтенантом по имени Уайт. Уайт тоже знал по-русски. Это был худощавый, но огромного роста детина, постоянная веселость

которого перемежалась с задумчивостью, граничившей с идиотизмом. В такие минуты он сидел неподвижно, широко раскрытыми голубыми глазами уставившись в одну точку, и что-то шептал тонкими губами — может быть, молитву. Немцев он презирал. Англичан иначе не называл, как «дурачье», французов — «барахло». Он уважал только русских и вовсе не потому, что говорил это в присутствии Воробейцева. Он действительно восхищался русскими и говорил, что только они да американцы чего-нибудь стоят и что он, Уайт, плюет на все, но с русскими он бы не захотел драться, то есть воевать.

Воробейцев однажды вздумал познакомиться с ним Чохова. Воробейцев не отдавал себе отчета в своих чувствах к Чохову. Как это ни покажется странным, но Воробейцев, желающий жить так, как американцы, и вести себя так, как они, одновременно хотел жить так, как Чохов, и вести себя так, как он. И хотя это было несовместимо, — и он прекрасно понимал это, — но так ему хотелось. Быть может, желая познакомиться Чохова с американцами, он — не слишком сознательно — пытался решить для себя этот вопрос. Но, повторяю, если он так думал, то очень неопределенно.

Договорившись с Чоховым о встрече и встретясь с ним, он с похвалой отзывался о своих новых знакомых, не скрыв восхищения стилем их поведения, легкостью и свободой, которые, по его мнению, были им свойственны в общении с людьми и друг с другом, а также высоким уровнем жизни американцев. Ему очень нравилась масса вещей, которыми они были окружены, и даже самое оформление этих вещей, сделанных красиво и добротно. Все это он так или иначе выразил перед Чоховым, весьма далекий от того, чтобы вкладывать в это малейший политический смысл. Чохов, со своей стороны, относился к американцам с той естественной симпатией, какую обычно питают к союзникам. Поэтому он, хотя и без особой охоты, так как не хотел уходить из казармы, согласился познакомиться с американскими военнослужащими.

Они отправились в один дом, где находился «кэмп» для американских офицеров. Там их встретил Уайт. Они выпили виски с содой и направились в другой дом, где их ожидали Петренко и Каплан. Чохов вначале удивился тому, что три американца прилично говорят по-русски, хотя и перемежают русскую речь специфическими английскими словечками, так что иногда эта речь становилась совсем непонятной.

Чохов был спокоен, пил мало, мало говорил. Они начали его раздражать понемногу только тогда, когда стали хвастать своими приобретениями и заработками за время войны. Тогда он почувствовал в них нечто необычайно чуждое. Потом они отплясывали какой-то залихватский танец, сопровождая его ритмичной, лишенной мелодии песней. Воробейцев, оказывается, тоже уже знал эту песню и фальшиво подпевал ее.

Потом они стали ставить пластинки на большую радиолу. Пластинки тоже были очень большие, так что на одной было записано штук десять разных ритмичных и лишенных мелодии песен — каких-то изломанных, издерганных. Женский голос, певший некоторые из этих песен, был как-то по-особенному похабен, и чувствовалось, что поющая изламывается, как при пляске святого Витта. Чохову казалось, что он видит эту женщину — очень худую, угловатую, усталую и невероятно наглую.

Каплан куда-то исчез, потом появился с тремя девушками. Он подошел к Чохову, растрепал ему волосы и, как бы утешая и успокаивая его, сказал, что девиц всего три, но ничего — «будем меняться». И он спросил Чохова, какая ему нравится, пусть он ее возьмет, как гость и русский офицер. «Дорогой друг», — сказал он, глядя Чохова по голове, как ребенка.

Чохов растерялся. Он посмотрел на женщин. Одна из них была молоденькая, лет шестнадцати, с большим завитым стоячим чубом впереди и с цветной шерстяной косынкой на самом затылке. Видно было, что ей холодно и страшно, а она старалась выглядеть веселой и развязной. Особенно жалок был ее красный острый носик.

Не то чтобы Чохов, как это пишется в книгах, вспомнил о своей сестренке — у него не было сестер. И вообще он вряд ли о чем-то вспоминал в эти минуты. Но ему стало жалко, смешно и страшно смотреть на девочку и на то, как она представлялась женщиной.

— Иди. Иди домой, — сказал Чохов, подходя к ней вплотную. — Иди. Иди. — Он говорил настойчиво, не зло, но строго и с болью, которую она почувствовала. Он толкал ее к выходу, причем старался это делать незаметно, — не потому, что ему стыдно было своего порыва перед всеми, нет, ему было неловко оттого, что им, остальным, может стать стыдно за себя.

Уайт следил за ним неподвижным взглядом, потом подошел и тоже стал ее толкать к выходу, говоря сразу на трех языках:

— Гоу. Гоу. Шнелль нах хаус. Иди к черту.

Когда она очутилась за порогом, он закрыл за ней дверь, повернулся и прошел мимо Чохова на свое место. Тут он застыл в какой-то странной горестной позе. Потом он сказал:

— Не имеет денег. Теперь умрет с голоду.

Чохов вначале не понял, что это относится к девушке, потом понял, постоял, взял фуражку и незаметно ушел.

Воробейцев потом искал его по всему дому и вокруг. Американцы были безутешны. Чохов им понравился, и они никак не могли понять, почему он ушел, когда все было так весело.

Что касается Воробейцева, то он не мог не понять причины ухода Чохова и даже позднее упрекал Чохова за то, что тот ушел один, не позвал его с собой.

Однажды вечером Уайт пригласил Воробейцева прокатиться на «джипе» по окрестностям Берлина. Они покатались по всему городу, затем выехали за город и скоро очутились в пригороде Хапенфельде. Незнакомые Воробейцеву американцы ждали их в одном из маленьких домиков, расположенных здесь на берегу озера. Начался пир горой. Воробейцев здорово напился. На рассвете американцы исчезли, но вскоре вернулись с рюкзаком, полным золотых вещей. Воробейцев к этому времени уже протрезвел. Американцы были на него сердиты, так как он, как оказалось, наотрез отказался пойти с ними «на охоту» за этими кольцами к некоему спрятавшему свои товары немецкому ювелиру. Тем не менее они дали Воробейцеву десяток перстней и золотую браслетку.

Воробейцев с некоторым страхом следил за дележкой. Он очень нервничал. Ведь это было похоже на грабеж, и он, капитан Красной Армии, так или иначе был соучастником. Он даже начал их упрекать, но они его как будто совсем не поняли. Уайт засмеялся и добавил ему пять штук колец. Между тем наступил день. Они уселись в «джип» и понеслись с бешеной скоростью в Потсдам.

Конференция закончилась 2 августа. Утром 3-го Воробейцев пришел в Бабельсберг и обнаружил, что улицы там пусты — ни караула, ни патрулей. Двери и окна всех домов были настежь открыты. Особняк, который Воробейцев считал своим жильем, был пуст, хоть шаром покати. Увезли даже белый рояль. На полу валялись огрызки яблок, окурки сигарет, пустые сигаретные и консервные коробки, апельсиновые корки. Тут же находился большой «боксер», огромная слюнявая собака, брошенная впопыхах или надоевшая хозяевам.

Даже несчастная машина Воробейцева, поганенький «штейр», была угнана, и Воробейцев досадовал главным образом по этому поводу.

Воробейцев побаивался собак, а «боксер» к тому же выглядел настоящим страшилищем.

— Убирайся отсюда, — сердито сказал Воробейцев.

Собака выскочила из дома, но через минуту опять прибежала и села в углу, глядя на Воробейцева огромными глазами. Воробейцеву стало не по себе. Он покинул особняк и поплелся в общежитие. Собака увязалась за ним. На нее с уважением и не без страха оглядывались прохожие. Два знакомых Воробейцеву майора остановились. Один спросил:

— Ваш? Ну и пес! Схватит — не обрадуешься.

— Мой, — сказал Воробейцев с важностью, хотя за полминуты до того думал о том, как бы отделаться от собаки. Он почувствовал, что уважение людей к собаке до некоторой степени переносится на ее хозяина.

— Пошли, дружок,— сказал он собаке ласково.

Она завиляла обрубок хвоста. Так они вдвоем пришли в общежитие. Здесь Воробейцев достал из чемодана сахар и бросил собаке кусок. Она съела. Второй кусок сахара Воробейцев решил лично поднести к ее пасти. Она взяла сахар очень нежно, даже не притронувшись зубами к его руке.

— Ф-фу! — Воробейцев выдохнул из себя воздух.— Значит, будем друзьями? Только — слушаться! Ясно?

Собака прислушалась к его голосу и, почувствовав оттенок угрозы, уныло опустила голову и хвост.

— Молодец, молодец! Хороший! Ты мужик или баба? Мужик. А интересно, как тебя зовут?

Собака весело завиляла хвостом.

— Понимаешь по-русски? — засмеялся Воробейцев.— Молочина.

Он оставил собаку у себя, а сам пошел к Чохову.

На одной из улиц Потсдама его задержал офицерский комендантский патруль. Старший, молодой майор богатырского телосложения, заметив издали Воробейцева, зычно крикнул:

— Товарищ капитан! На минуточку.

Мысли Воробейцева были далеко. Он за последние дни почти забыл, что служит в армии. Он вздрогнул и остановился. Майор подошел к нему, укоризненно покачал головой и сказал:

— Вы давно на себя в зеркало не смотрели, капитан. Пойдемте со мной. У нас в комендатуре имеется подходящее зеркало.

Воробейцев смотрел на него воспаленными, ничего не понимающими глазами, потом так же растерянно посмотрел вниз на свою гимнастерку, брюки и сапоги. Ворот у гимнастерки был расстегнут, пряжка пояса находилась почти на боку.

В комендатуре действительно оказалось зеркало, и в нем Воробейцев увидел, впервые за много дней, свое лицо: мятое, испитое лицо с всклокоченными волосами, неприятное до того, что это признал сам Воробейцев.

Возмездие последовало тут же. Во дворе комендатуры проштрафившиеся офицеры были выстроены в одну шеренгу. В глубине двора были так же выстроены проштрафившиеся солдаты. К офицерам вышел молоденький младший лейтенант, румяный, беленький, одетый, как на иллюстрации в красноармейском журнале — воплощенный строевой устав, и дело пошло. Шеренгу гоняли четыре часа, с двумя пятнадцатиминутными перерывами, по двору. Шагом. Строевым шагом. Бегом. Команды «ложись» и «встать» следовали одна за другой.

В течение первого часа кое-кто — а в особенности, разумеется, Воробейцев — огрызался по адресу младшего лейтенанта. Бегали вяло, ложились и вставали медленно. Воробей-

цева нервировал не так младший лейтенант, как шедший впереди, тоже прощтрафившийся, толстый майор, который выполнял все команды очень старательно, на младшего лейтенанта глядел заискивающе, и так как был туговат на ухо, то и дело спрашивал у Воробейцева:

— Что он сказал?

После первого часа во двор вышел полковник. Он сел за столик посреди двора и спокойными внимательными глазами начал следить за эволюциями офицеров. Тут уж было не до шуток и не до споров. Взгляд полковника довольно часто останавливался на Воробейцеве, и под этим взглядом Воробейцев ложился и вскакивал, как под пулями. Пот градом катился с его лица. Ноги ослабели. Сказались множество бессонных ночей и злоупотребление водкой. Зато третий час прошел гораздо легче: ко всему на свете привыкаешь. Толстый майор — тот даже похудел и дышал не так трудно.

Когда все закончилось, офицеры выстроились в очередь у столика, где стопкой лежали их документы, отобранные ранее. Полковник выдавал документы лично и при этом говорил несколько слов.

— Надеюсь,— сказал он Воробейцеву,— что этот урок пойдет вам на пользу. Хорошо, если вы поймете, что своим внешним видом и поведением на улице иностранного государства вы позорите честь советского мундира. Кроме того, я вынужден буду сообщить в отдел кадров Группы Советских Оккупационных войск в Германии, при котором вы состоите в настоящее время в резерве, о том, что офицеры резерва — вы не первый случай — нуждаются в более серьезной воспитательной работе. Ясно?

— Ясно,— сказал Воробейцев и, взяв удостоверение личности, отошел от стола.

Он был немедленно возвращен обратно окриком полковника, который сказал:

— Как вы отходите от старшего начальника? Дайте удостоверение. Получите удостоверение.

— Разрешите идти? — гаркнул приведенный в отчаяние Воробейцев.

— Идите,— сказал полковник.

Воробейцев приложил руку к козырьку, повернулся на каблуках по всем правилам и строевым шагом, слишком высоко поднимая длинные ноги, чтобы хоть этим выразить свой протест, отошел от полковника. Он боялся, что его снова возвратят, но все сошло благополучно.

Темнело. Несмотря на усталость, Воробейцев уже не брел, как прежде, а, опасаясь встретить комендантский патруль, шел четким шагом. К Чохову он пришел поздно, в одиннадцатом часу. Он сразу отметил возле казарм особое оживление. Солдаты бегали как угорелые, перекликались громче обычного.

В караульном помещении у Воробейцева не спросили документов. Он прошел по мощеному двору в одноэтажный кирпичный барак, где размещалась рота Чохова, и, пройдя через барак, очутился в огороженной тесом комнатушке, где обычно находились офицеры. Здесь за столиком сидели Чохов и старшина Сакуненко. Перед старшиной лежал огромный разграфленный лист бумаги.

Чохов кивнул Воробейцеву. Тот сел на лавку и, как всегда, закурил.

Чохов сказал:

— Расформировали нашу часть.

Голос его не дрогнул, но Воробейцев понял состояние Чохова и покачал головой. Чохов сослался на какие-то дела и вышел. Он хотел побыть в одиночестве. Он воспринял приказ о расформировании как несчастье, свалившееся ему на голову. Ему казалось, что его преследует злой рок, и в какую бы часть он ни пришел — ее обязательно расформируют, и Чохов опять останется между небом и землей, никому не нужный и одинокий.

Опять в душу Чохова закрался тот неприятный и унижительный страх, который впервые появился у него в дни расформирования дивизии генерала Середы, — страх перед будущим вне армии, перед самостоятельной жизнью. И опять Чохов не знал, что он будет делать, если его демобилизуют из армии. И он почувствовал, как и тогда, но, может быть, в еще большей степени, что не может жить без армии и что он любит своих солдат не только как людей, но именно как солдат; так же, как в прошлый раз перед разлукой с ними, почувствовал, что любит их не только как солдат, но и как людей.

Вспомнив, что у него сидит Воробейцев, он вернулся в казарму.

Воробейцев лежал, покуривая и пуская кольца дыма к темному потолку. Рядом на лавке сидел старшина Сакуненко, и они негромко беседовали о том о сем, главным образом — о конференции трех держав, постановления которой еще не были опубликованы.

— Полагаю, — сказал старшина, — что раз эту Германию взяли к ногтю, то это на много лет. С другой стороны, я полагаю, что наши многоуважаемые союзники захотят, як бы сказать, завоювать авторитет у немцев — и будут нас этим делом штовхать.

Он говорил длинно и медленно, в глубоком раздумье. Воробейцев молчал и пускал кольца дыма к потолку. Когда Чохов вошел, он сказал:

— Твоего старшину нужно в наркоминдел определить. Целый час, как он мне тут бубнит о международном положении.

— А вас куда? — усмехнувшись с некоторой досадой, произнес старшина.

— Меня? — Воробейцев задумался.— Я бы согласился пойти на должность коменданта города Потсдам. Вы бы у меня тогда все ходили строевым шагом. Или даже не ходили бы совсем, а только бегали, как японские солдаты.

— Бодливой корове бог рог не дае,— сказал старшина.

— Между прочим, конференция большой тройки уже закончилась,— сообщил Воробейцев.— Особнячок мой освободили. Всю мебель сперли. Не в этом дело. Переедешь ко мне, Чохов? Опять будешь околачиваться в отделе кадров? Пожаруй, пора и мне определиться на место. У нас теперь гайку так закрутят, что на воле не проживешь.— Он всмотрелся в темное лицо Чохова и, вздохнув, сказал: — Не горюй, Чохов. Получишь назначение, не беспокойся.

XXII

Воробейцев все устроил. Он переговорил с майором Хлябиным в отделе кадров и еще с какими-то знакомыми ему людьми. Он остерегся сообщать о своих переговорах Чохову, так как уже знал капитана достаточно хорошо. Договорившись обо всем, он пришел в общежитие, где Чохов мрачно коротал свои дни, и сказал:

— Дело в шляпе. Ты передан в распоряжение Советской Военной Администрации, в связи с чем тебе надлежит явиться в отдел и получить бумаги.

Чохов сидел в это время спиной к Воробейцеву у стола и что-то быстро писал. Слышал он Воробейцева или нет, но повернулся к нему лишь минуты две спустя. Воробейцев удивился, увидев на лице Чохова радостное выражение. Чохов сказал:

— Ты слышал радио?

— А что такое?

— Мы объявили войну Японии.

Он протянул Воробейцеву лист бумаги, на котором был написан рапорт с просьбой послать его, Чохова, в войска Дальневосточного фронта. Воробейцев прочитал рапорт, скривил лицо и сказал:

— Да брось. Чудак ты! По бомбежкам соскучился? Пусть другие повоюют. Я знаю, там войска четыре года стояли на границе и ждали. Птенец ты, ей-богу, Чохов.

Чохов не стал его слушать и пошел в отдел кадров, чтобы сдать там рапорт. Рапорт у него приняли и сказали, что вызовут в свое время.

Весь день Чохов сидел у радиоприемника и слушал Москву. Рано утром дождался он первой сводки с Дальневосточ-

ного фронта, и слова этой сводки подействовали на него, как труба на боевого коня.

Голос диктора объявил:

«На Дальнем Востоке советские войска с утра 9 августа по дальневосточному времени пересекли на широком фронте границу Маньчжурии в Приморье, в районе Хабаровска и Забайкалья. В Приморье наши войска, сломив сильное сопротивление противника, прорвали железобетонную оборонительную полосу японцев и в течение дня 9 августа продвинулись вперед на пятнадцать километров. В районе Хабаровска наши войска на ряде участков с боем форсировали реки Амур и Усури, заняв при этом город Фуань и несколько других населенных пунктов. В Забайкалье наши войска, преодолев ожесточенное сопротивление противника, штурмом овладели Маньчжуро-Джалайнурским укрепленным районом японцев и заняли города и железнодорожные станции Маньчжурия и Джалайнур. В районе озера Буир-Нур наши войска овладели населенными пунктами Джинджин Сумэ и Хошу Сумэ, не встретив особого сопротивления противника. В общем за день 9 августа наши войска продвинулись от пятнадцати до двадцати двух километров. Наша авиация наносила удары по основным железнодорожным узлам Маньчжурии — Харбин, Чаньчунь, Гирин — и портам Сейсин, Расин».

Несмотря на то, что названия населенных пунктов звучали для уха Чохова, привыкшего к европейскому театру военных действий, чуждо, все остальное в сводке казалось знакомым и желанным. Можно сказать, не обвиняясь, что если где-нибудь на свете было место, куда влеклась душа Чохова, то это была теперь Маньчжурия.

Он стал просиживать целые дни в отделе кадров и, всегда робкий с начальством и не любивший напоминать о себе, теперь набрался смелости и в свойственной ему угрюмой и гордой манере по несколько раз в день спрашивал о судьбе своего рапорта.

Это продолжалось недолго, так как уже спустя четыре дня Япония объявила декларацию о безоговорочной капитуляции. На следующий день радио принесло известие о том, что военный министр Японии Карецика Анами покончил жизнь самоубийством. Японцы стали сдаваться в плен десятками тысяч.

Чохова отделяли от Маньчжурии безграничные пространства, но ему казалось, что он слышит собственными ушами утихающую, замирающую стрельбу и видит, как армия движется все медленнее и медленнее.

Таким образом, ответа на рапорт не последовало. Чохов получил документы и, взяв свой фанерный чемоданчик, отправился на юго-восточную окраину Берлина, в Карлсхорст, в распоряжение СВАГ — Советской Военной Администрации в Германии.

Среди нескольких десятков офицеров, прибывших, как и он, в Карлсхорст за назначением, оказался и Воробейцев. Воробейцев был весел, хорошо одет, много смеялся. Его самоуверенность подействовала и здесь на начальников, и он был назначен старшим группы офицеров, которые должны были следовать в город Галле. Распорядился он своими временными подчиненными на свой манер. Когда они, получив несложные инструкции, высыпали гурьбой на улицу, он поднял руку и, подмигнув всем сразу, объявил:

— Вы дети взрослые и при офицерских чинах. Добирайтесь сами, кто как хочет. Самостоятельность — мать удовольствий. Конечно, прошу вас без опоздания прибыть на место, чтобы уж меня не подводить и не подтверждать старого правила, что за добрые дела приходится расплачиваться собственной шкурой. Будьте готовы!

Офицеры рассмеялись и разошлись попарно, по трое, оставив Воробейцева с Чоховым одних. Минуту постояв, они двинулись по улице.

— Надоел резерв, что ли? — спросил Чохов, глядя сбоку на усталый и чуть обрюзгший профиль Воробейцева.

— Надо чувствовать дух времени, — высокопарно сказал Воробейцев. — Сейчас время не то. Все приходит в уставной вид. Капитану в особняке долго не прожить. Это все я понял на днях, когда меня гоняли в комендатуре. Строевая подготовка — полезная вещь для гибкого ума.

Он повернул в переулок и поманил за собой Чохова. Там под сенью лип стояла машина — не тот горбатый «штейр», которым Воробейцев владел раньше, а новая.

В машине оказалась огромная собака «боксер» в ошейнике с серебряной насечкой. Воробейцев покосился на Чохова, желая увидеть, какое впечатление произведет страшный пес на Чохова, но Чохов не обратил на собаку внимания, только рассеянно погладил ее по голове, как будто знал ее с детства.

— Прошу, — сказал Воробейцев, отпирая дверку. — Машину приобрел. Называется «опель-капитан». Поедем с комфортом. Разгадка загадки: капитан на капитане сидит, капитаном погоняет.

Не особенно прислушиваясь к странному и усталому паясничанью Воробейцева, Чохов глядел на улицы Берлина, через которые они проезжали. Хотя улицы были уже подметены и сделаны проезжими, но еще трудно было себе представить, где и как живут эти толпы берлинцев, идущие во всех направлениях среди развалин города.

Воробейцев несколько раз останавливался, чтобы справиться о дороге. Наконец, они выехали на Александерплац — огромную площадь, окруженную скелетами многоэтажных домов. Оттуда напрямик поехали на запад, мимо мест исторических боев. Они проехали рейхстаг, возле которого располага-

лась огромная толкучка. Тут было полно американцев, французских офицеров, негров и немцев.

В Потсдаме Воробейцев заехал в военторг, где, как оказалось, у него работали знакомые. Он вынес оттуда сверток и осторожно положил его на заднее сиденье. Наконец, в своем общежитии они погрузили вещи Воробейцева. После этого Воробейцев предложил Чохову посидеть перед выездом. Они с минуту молча посидели. Воробейцев почему-то впал в торжественно-меланхолическое настроение и долго ехал молча.

Они миновали Беелитц, затем проехали знакомый Чохову Виттенберг и по мосту перебрались через Эльбу. Дорога была обсажена с обеих сторон тополями. Они отъехали километра два, и здесь путь им преградила большая толпа людей, которые сгрудились вместе на самой середине дороги, громко кричали и размахивали руками.

Воробейцев остановил машину и пошел вперед с начальническим видом. Чохов тоже пошел за ним, и они стали свидетелями страшного и непонятного зрелища, которое произвело на обоих впечатление чего-то нереального. Множество людей — несомненно русских, — среди которых были женщины и дети, били одного человека. Они били его руками, палками, чем попало. Каждый старался нанести ему смертельный удар. Так как их было много и они мешали друг другу, то ему удавалось увернуться от смертельных ударов. Он был на ногах; голова его, лицо и черная борода были в крови, и кровь текла по его обнаженной груди и разорванной рубашке. Человек этот был высокого роста, сухощавый. Глаза его, широко раскрытые, безумно глядели то в ту, то в другую сторону. Он был одет в белую рубашку и синие диагональные брюки. Он был бос. Руки его — худые и загорелые — были протянуты вперед, словно он искал, как слепой, выхода. Но он не оборонялся. Он просто валился, когда очередной удар заставлял его упасть, снова поднимался и куда-то шел, оставаясь на одном месте, в то время как очередной удар толкал его в другую сторону, и он оборачивался туда, где встречал следующий удар. Его убивали, знали, что убивают, и делали это яростно и неумело.

Воробейцев, побледнев как смерть, подошел к первому попавшемуся человеку из толпы.

— В чем дело? Что тут происходит? — спросил он, но тон не получился начальническим, как он этого хотел, а скорее испуганным и робким.

Спрошенный обернулся к нему и, увидев советскую военную форму, сказал:

— Изменник родины. Полицаем был в лагере у немцев. Бороду отрастил, чтобы его не опознали. А тут его узнали.

Сказав это, человек вдруг бросился вперед и ударил того, окровавленного, в бок чем-то острым. Рубашка на этом месте сразу стала темнокрасной дочерна.

Отскочив обратно от изменника так же быстро, человек снова повернул большое лицо к Воробейцеву и сказал:

— Гад. Сколько наших замучил...

— Может... лучше его под суд. Властям сдайте его. Так не годится. Зачем так?

Человек ничего не ответил. Он вдруг сжался и снова бросился вперед. Но нанести удар ему на этот раз не дали. Его опередила старая женщина, которая, крикнув: «Это тебе за Митьку!» — тоже ударила изменника. Ударила слабо, неумело, но с такой ненавистью, которая заставила содрогнуться Воробейцева. Он отошел на несколько шагов назад и вполголоса сказал Чохову:

— Изменник родины... Опознали его...

Чохов пошел вперед и минуту холодными глазами смотрел, как убивают изменника. Заметив его и его взгляд, кое-кто расступился, может быть ожидая, что и он захочет участвовать в побоище или, напротив, прекратить побоище, передав преступника закону. Но Чохов стоял неподвижно, не шевеля ни одним мускулом лица; потом резко повернулся и пошел к машине.

— Если бы не было на мне военной формы,— сказал он, усаживаясь рядом с Воробейцевым,— я бы ему...

Часть дороги освободилась, и они поехали дальше в молчании.

XXIII

В городе Галле, в большом некрасивом доме на площади Штейнтор, где размещалась в то время Советская Военная Администрация провинции Саксония-Ангальт, Чохов и Воробейцев встретили нескольких офицеров, выехавших с ними одновременно из Карлсхорста. Они все пошли прежде всего в столовую, которую тут называли по-немецки «кантина», затем отправились посмотреть город.

Это был промышленный город с старинным университетом и большой историей. На Базарной площади стояли памятник композитору Генделю, который родился в Галле, мрачный собор и древняя ратуша, сильно пострадавшая от бомбежки.

Вернувшись в СВА, они немного подождали; вскоре их вызвали к полковнику и после краткой беседы распределили по провинции. Чохову, Воробейцеву и еще нескольким офицерам достался город Альтштадт.

Не теряя времени, они выехали и вскоре были на месте.

У генерала Куприянова в это время происходило важное совещание, и поэтому пришлось подождать.

Новички уселись на диванах в вестибюле второго этажа. Наконец, одна из дверей распахнулась, и оттуда в вестибюль

стали поодиночке и группами выходить офицеры. Вскоре их тут набралось человек сорок. Они оживленно беседовали, о чем-то спорили. Через минуту вслед за ними вышел генерал. Чохов и все его спутники встали.

— Это что, новички прибыли? — спросил генерал.

— Так точно, товарищ генерал! — ответил за всех Воробейцев, приложив руку к фуражке.

— Хорошо, хорошо, — неизвестно кого и за что похвалил генерал. — Сейчас займусь вами.

Он ушел, оставив офицеров очень довольными им и собой — тоже неизвестно почему. Может быть, просто потому, что в голосе генерала и в атмосфере, царившей здесь, не было излишней официальности, которая (часто без всякой надобности) царит в наших военных учреждениях.

Вдруг Чохов заметил в группе офицеров, куривших неподалеку, очень знакомый русский затылок. Он готов был уже броситься вперед, однако же остановился, опасаясь ошибки. Но нет, это был гвардии майор Лубенцов. Ни у кого другого не могло быть такого затылка, таких плеч, а главное — такого жеста правой рукой во время разговора — свободного и одновременно сдержанного, быстрого, но основательного. Русоголовый рассмеялся, чуть откинув голову назад, и тут у Чохова отпали все сомнения. Все-таки он не пошел к Лубенцову, верный своей обычной манере никому не навязываться. Лубенцов случайно повернулся к нему во время разговора. Их глаза встретились, и его лицо просветлело.

— Чохов, — сказал он неуверенно и пошел навстречу капитану. Они постояли секунду друг против друга, потом Лубенцов решительно подошел ближе и обнял его быстрым и крепким объятием.

— Тоже в комендатуру? — спросил он.

— Да, товарищ гвардии майор, — ответил Чохов, очень смущенный и этим объятием и тем, что Лубенцов произнес последние слова с оттенком насмешки, — так показалось Чохову, — и, наконец, тем, что Лубенцов был подполковником, а Чохов назвал его по-старому.

— Ну и прекрасно, — сказал Лубенцов, на мгновение задумался, потом быстро и сильно ударил Чохова по плечу. — Поедете ко мне. У меня вакансии есть. Сейчас договарюсь. Показывайте, где ваши чемоданы, саквояжи, баулы или что там у вас есть.

Лубенцов крепко взял Чохова за локоть и собрался уже вместе с ним куда-то идти. В этот момент к нему протянулась длинная рука и чей-то голос проговорил так же быстро и энергично, как только что говорил Лубенцов:

— Не узнаете, товарищ подполковник? Капитан Воробейцев из оперативного отделения. Привет вам от генерала Середы. Видел его на днях в Берлине. Он возвращается на

родину. Говорят, будет корпусом командовать. Интересовался вами, спрашивал, где вы находитесь. Я сказал, что вы назначены комендантом.

Воробейцев знал, что сказать. Хотя он с Середой не встречался, а только мимоходом слышал в отделе кадров, что генерал не то собирается, не то уже уехал на родину, но тем не менее счел полезным передать привет.

— Сизокрылов вызван в Москву,— продолжал Воробейцев.— Говорят, будет заместителем Председателя Совнаркома СССР. Какой человек, а? Тарас Петрович мне о нем рассказывал.

Может быть, единственная ошибка, какую допустил Воробейцев, заключалась в том, что он все это говорил слишком громко. Так или иначе, Лубенцов,— хотя он выслушал сообщение Воробейцева с большим вниманием, при этом радостно улыбаясь своим воспоминаниям, связанным с Середой и Сизокрыловым,— не отпустил локтя Чохова и, когда Воробейцев кончил, обратился к Чохову:

— Пошли.

Чохов нерешительно покосился на Воробейцева. Ему стало очень неловко оттого, что Лубенцов зовет только его, не проявляя никакого желания взять с собой Воробейцева. Тем не менее он пошел вместе с Лубенцовым по длинному коридору и только спустя минуту робко сказал:

— А нельзя взять к вам в комендатуру капитана Воробейцева?

— Воробейцева? Ах, вот этого капитана!.. Я что-то плохо его помню. Ладно, сейчас выясним.

Они вошли в одну из комнат. Здесь Лубенцов быстро договорился о назначении Чохова одним из дежурных помощников коменданта в Лаутербурге и собрался уже уйти, когда Чохов еще более робко напомнил:

— А как с Воробейцевым?

— Да, да,— рассеянно сказал Лубенцов и попросил личное дело Воробейцева.

Они сели рядышком на диване. Лубенцов стал листать личное дело, потом сказал:

— Что ж, человек как будто ничего. Отзывы хорошие: «деловитый», «энергичный»... «предан нашему делу»... Родом из Москвы. «Самолюбив»? Это не беда. Отец, мать... В порядке. Великая вещь — анкета! Все как на ладони!

Чохов быстро пошел обратно в вестибюль. Воробейцев стоял хмурый у окна и курил. Завидев Чохова, он отвернулся и стал что-то разглядывать за окном.

— Мы оба зачислены в лаутербургскую комендатуру,— сказал Чохов.— Сейчас поедем.

Не скрывая своей радости, Воробейцев так же хлопнул Чохова по плечу, как давеча Лубенцов, и зашептал:

— Ну что ж, я очень рад. Дело не в должности — мне все равно где работать. А все-таки приятно с офицерами из одной дивизии. Лубенцов парень первого класса. Спасибо тебе, Вася, удружил, удружил. И, кроме того, место хорошее. Я узнавал. Гарц! Слышал? В общем горы и всякая красота. Об этом Гарце стихи писали.

Чохов чувствовал себя ужасно неловко. Он сердился на Воробейцева за то, что тот поневоле поставил его, Чохова, в неприятное и унижительное положение просителя. Он был сердит и на себя, на свой проклятый характер, заставивший его просить за человека, который ему по сути дела не нравился и которого он не считал близким себе человеком. Эта дружба поневоле, опутавшая его, расстроила все удовольствие от встречи с тем настоящим другом, которого он — может быть, единственного на свете — любил и походить на которого стремился.

Впрочем, когда через несколько минут появился Лубенцов, Чохов уже успокоился. В конце концов ведь не было никакой беды в том, что Воробейцев будет служить вместе с ними.

Лубенцов подошел к ним не один, а в сопровождении молодого, румяного, полного капитана в очках. Из-за очков глядели огромные голубоватые глаза довольного миром и людьми младенца.

— Знакомьтесь, — сказал Лубенцов и посмотрел на капитана в очках ласково, действительно так, как смотрят на удачного, умного ребенка. — Новый офицер нашей комендатуры, капитан Яворский. Будет ведать пропагандой. Кандидат филологических наук. А это — наши новые дежурные помощники. Не кандидаты наук, но ребята хорошие, боевые. Скажу вам всем словами евангелия: любите друг друга.

Они вчетвером вышли на улицу. Узнав, что у Воробейцева машина, Лубенцов усмехнулся:

— Я вижу, вы там не зевали, — сказал он.

Решили, что Яворский поедет с Воробейцевым, а Чохов — с Лубенцовым.

По дороге Лубенцов стал рассказывать Чохову о своем районе. Чохова подмывало говорить о прошедшей войне, о боевых делах, об осаде Шнайдемюля и боях за Потсдам. Но Лубенцов, повидимому, был уже очень далек от этого всего.

— Коммунисты и социал-демократы, — сказал он, — на днях предложили провести демократическую земельную реформу. Это сейчас будет важнейшим вопросом немецкой жизни. Мы непосредственно не будем вмешиваться, так как это есть немецкое внутреннее дело. Очень опасно и необдуманно, если мы будем проводить реформу, так сказать, силой штыка. Реформа эта давно назрела. Она стояла в порядке дня демократической революции еще сто лет назад. Надо ликвидировать помещичье землевладение в Германии — оно рождает империализм. — Он пристально посмотрел на Чохова. — Вам при-

дется почитать о Германии. Я сумел собрать довольно богатую библиотеку по германскому вопросу. Приходится изучать немецкий язык. Советую вам сделать то же. Я стараюсь делать все как можно основательнее, раз уж злая судьба и военное командование заставили меня стать комендантом немецкого района.

— Я, наверно, не смогу хорошо работать,— помолчав, сказал Чохов.— Командовать ротой — это то, что я умею.

— Ничего, научитесь. В конце концов главное — быть добросовестным. Быть добросовестным! Как это просто и как нелегко. Особенно в условиях, когда ты обладаешь властью, когда каждое твое слово — почти закон. Если человек не кретин какой-нибудь, если он, как бы вам объяснить, любит людей, что ли, то для него достаточно только быть добросовестным. Вы любите людей, Чохов? — спросил вдруг Лубенцов засмеявшись.

— Не знаю,— сказал, смутившись, Чохов.— Не думал об этом.

Помолчали. Потом Чохов сказал:

— Я подавал рапорт, чтобы меня послали на Дальний Восток воевать. Но война там быстро кончилась.

— Ну и слава богу,— сказал Лубенцов.— Далась вам война! — Он задумался, потом продолжал: — А Татьяна Владимировна не просилась. Ее без просьб послали. Она теперь в Мукдене. Совершенно неожиданно дивизию Воробьева посадили в эшелоны и повезли через всю Россию. Жду, авось теперь Таня сможет демобилизоваться. Без жены обойтись не так трудно, когда ты холост. А вот когда женат, то, честное слово, сил нету больше.

Показался Лаутербург. Они подъехали к комендатуре. Их встретил Воронин, который сразу узнал Чохова и очень обрадовался ему. Чохов посмотрел на здание комендатуры. Здание имело вид вполне официальный и еле напоминало тот обычный гражданского вида дом, который стараниями Лубенцова, Воронина и Альбины был превращен в комендатуру.

Нынче все было не так. Даже женщины-кариатиды потеряли свой легкомысленный вид, когда под ними встал на часах русский солдат с автоматом, чуть ли не соперничая в суровости лица с расположенной напротив, старой, как Европа, статуей рыцаря Роланда.

На флагштоке развевался советский государственный флаг.

РАССКАЗ О ШЕСТИ СОЛДАТАХ

Они переезжали Одер по понтонному мосту военного времени. На обоих берегах реки валялись разбитые пушки. Берега были изрыты окопами и рвами, уже зеленеющими молодой травой. Изломанные снарядами деревья кое-где уже поросли свежими побегами. Машина остановилась на западном берегу.

Солдаты разделись и полезли в воду. Небаба заплыл далеко, потом вернулся, вылез на берег и сказал:

— Там, на дне, машины.— Он понизил голос: — И люди.

К ним подошел шофер санитарного автобуса.

— Куда поедете, дядьки? — спросил он.— Мы вот решили сразу повернуть на север. Наша часть — на севере.

— А через Берлин не поедете?

— Не-ет. Там наши патрули свирепствуют. Нам маленькими городишками интереснее.

— А мы в Берлин. Узнаем, где наша часть,— сказал Веретенников.

— А зачем вам ваша часть? — спросил шофер.— Поедем с нами. Наша бригада стоит по-над самым морем. Чайки летают. Рыбы много. Красота вокруг. Там заявитесь, а скоро домой отпустят. Вы же вроде как путешественники. Если бы на мне не висела машина и командировка, я бы уж поездил по Европе!

— Нет,— сказал Веретенников.— Когда-нибудь в другой раз.

Шофер рассмеялся и ушел к автобусу, а солдаты двинулись дальше пешком. Их часто обгоняли машины, но солдаты приставились к пешему хождению.

Они шли мимо незасеянных, мрачных полей, над которыми, надрывую крича, вились вороны, может быть недоумевающие по поводу бесплодия некогда тучных нив. Деревни и городки на пути были разрушены.

Разговаривали солдаты мало, больше смотрели. Только Петухов, обычно самый неразговорчивый, теперь не мог успокоиться:

— Ах ты, господи, как же это я Варшаву проспал! Проморгал Варшаву, будь ты неладен! В двадцатом году на красноармейских митингах голос надорвал от крику: «Даешь Варшаву!» а нонче — она, Варшава-та, тут как тут, а я ее, Варшаву-ту, и не приметил. Как бы нам и Берлин не проспять.

Но вот однажды солдаты стали замечать, что приближаются к большому городу. Потянулись со всех сторон столбы высоковольтных передач. Стали попадаться многоэтажные дома с огромными рекламами уже несуществующих фирм и запрещенных газет. Одна за другой появлялись пригородные станции на высоких дачных платформах. Вскоре пригороды потянулись сплошняком. Дома здесь были почти все невредимы. Благоустроенные и красивые поселки радовали глаз. Солдаты шли по пригородам и предместьям, с любопытством озираясь на жителей, которых становилось все больше, и наивно удивлялись тому, что все-таки в Германии осталось еще немало немцев.

На западном небосклоне заалелся закат — который уже закат на их пути. Но этот, берлинский, закат был другой,

какой-то особенный, казалось солдатам, — он озарял большой город, до того иноземный, до того несусветный! Однако долго любоваться этим закатом им не дал советский воинский патруль, строго окликнувший и немедленно отконвоировавший их в комендатуру. Привыкшие к спокойному движению и медленной смене впечатлений, они вначале были ошарашены внезапной переменой темпа жизни, той быстротой, с какой их включили в общеармейскую жизнь. Прежде всего, их послали вместе с двумя сотнями других солдат на аэродром, где они стали очищать от обломков самолетов взлетные дорожки и восстанавливать поврежденные бомбами ангары. Спустя недели две их перевезли на машинах чинить мост через Шпрее в центре Берлина. Теперь, если они и вспоминали совместное путешествие, то уже как далекое прошлое. Только во время перекуров или перед сном кто-нибудь — чаще всего Небаба — спрашивал то у одного, то у другого:

— А помнишь того поляка?

Или:

— А помнишь того шофера?

И так далее.

И солдаты улыбались.

Один Веретенников не мог успокоиться. Его волновало то обстоятельство, что начальство дивизии, может быть, разыскивает солдат и сено, негодует на Веретенникова и считает его человеком, не заслуживающим доверия. В связи с этими мыслями он однажды решился подойти к какому-то подполковнику, приехавшему проверять работу. Подполковник, задерганный, крикливый, не успев выслушать, в чем дело, сразу кинулся на прораба-лейтенанта:

— Чего же вы их задерживаете? Пусть идут в свою часть.

И совершенно неожиданно шестеро солдат опять оказались вместе и снова превратились в отдельную команду.

Покинув Берлин, они попрежнему пошли на запад, к тому городку, где по сведениям, полученным Веретенниковым в берлинской комендатуре, находилась их дивизия. Чем ближе солдаты подходили к этому городку, тем Веретенников становился молчаливее и строже. Иногда он тревожно поглядывал на Петухова. Тот, впрочем, вначале не понимал этих взглядов, но затем вспомнил, в чем дело. Веретенникова беспокоила расписка за сено. В этой расписке значилось меньшее количество сена, чем солдаты приняли на хранение. Петухова этот вопрос тревожил мало: ошибка — и все! Но понемногу тревога Веретенникова передалась и ему. Он вздыхал и сконфуженно гладил усы.

Наконец, они дошли. Городок стоял на Эльбе — чистенький, будто промытый ливнем. И люди тут были чистенькие, вежливые, особенно дети. Пока Веретенников ходил в комендатуру спрашивать, солдаты посидели с немецкими детьми в

скверике и поговорили с ними с помощью рук и нескольких немецких слов. Дети уже знали, правда, много русских слов. Зуев выдал им по сухарю и по куску сахару, но дети не стали есть, а спрятали сухари и сахар в карманы и поблагодарили очень вежливо, объяснив, что отдадут подарки матерям. И это понравилось солдатам.

Веретенников разузнал, что дивизия ушла за неделю до того за Эльбу, где сменила американские части. Вернувшись к солдатам, он сообщил им эту новость, и солдаты пошли дальше.

Они перешли по мосту Эльбу. Перед их глазами открылась плодородная равнина, вся в фруктовых садах и огородах. Было тепло и солнечно. По дороге шло оживленное движение — машины, воинские и немецкие, мчались с большой скоростью с востока на запад и с запада на восток.

— Поедем или пойдем? — спросил Веретенников.

— Можно и поехать, — сказал Коротеев, расслышав в вопросе старшего особое служебное рвение: дивизия была близко.

— На нашей или на немецкой?

— Давайте на немецкой попробуем.

Веретенников поднял руку. Немецкий грузовик остановился как вкопанный. Он следовал именно туда, куда им было нужно, и спустя два часа они оказались на месте. Сойдя с машины, солдаты отправились разыскивать штаб дивизии. Встречный сержант показал им военный городок, расположенный за городом. Но городок был пуст. Покинутые кирпичные казармы грелись на солнце так, зря. Во всем городке оставались только два лейтенанта и старшина. Они досадливо отмахнулись от солдат, не захотели смотреть никаких документов и расписок и вообще были сильно «под мухой». Они сказали, что дивизия расформирована, короче говоря — нет уже этой дивизии. Они угостили солдат вином, дали им хлеба и консервов столько, сколько солдаты могли унести, и даже пытались всучить им гору каких-то старых ватников, которые забыли списать и некуда было деть. Наконец, они посоветовали Веретенникову вернуться в город, где стоит запасной полк.

Солдаты посидели, посидели и пошли в полк.

Здесь прежде всего оказалось, что Петухов, Коротеев и Атабеков уже две недели не солдаты: они подлежат демобилизации по возрасту. Им тут же отправили документы и на следующий день отправили домой, в Россию.

Веретенников, Зуев и Небаба остались в полку, а спустя некоторое время их вместе с еще пятнадцатью солдатами и молодым лейтенантом посадили на машины и отправили в большой город. Там им объявили, что они назначены служить в какой-то немецкий городок с трудно произносимым названием в качестве комендантского взвода.

Они вскоре выехали туда. Веретенников, Зуев и Небаба, немного грустные после разлуки с тремя товарищами, сидели на грузовике и смотрели по сторонам. Дорога шла вначале по равнине, затем равнина начала собираться складками. Чем дальше, тем эти складки становились выше и гуще. Они шли террасами в три-четыре яруса. Нижний ярус был весь в свекольных, капустных и картофельных полях, окаймленных рядами деревьев. За ними начинался следующий, более высокий ярус, — обширные покатые холмы, засеянные рожью или овсом. Третий ярус иногда был покрыт низкорослыми и густыми вишневыми садами, либо полями белого мака, либо неизвестными солдатам желтыми цветами. А совсем сзади, на самом высоком ярусе, темнели хвойные леса.

Начинался Гарц. Тишина и покой царили кругом. На деревьях пели птицы, внизу журчали ручьи. Огромные валуны валялись между деревьями. Дорога начала идти вниз, и вскоре перед солдатами открылась панорама города.

— Он самый? — спрашивали солдаты друг у друга.

— Видно, он самый.

Все оживились.

Вскоре машина, проехав несколько кварталов сплошных развалин, затем не пострадавшие несколько кварталов, остановилась на большой площади, возле дома с советским флагом. Напротив дома стоял огромный, поврежденный бомбой собор. Посреди площади располагался сквер с большими старыми деревьями.

Солдаты соскочили с машин и, разминая затекшие руки и ноги, сгрудились у входа, где стоял часовой. В доме распахнулись окна, послышались радостные возгласы, а через минуту из комендатуры вышел молодой подполковник, синеглазый, веселый, быстрый, а следом за ним появились еще несколько офицеров и гражданская девушка.

— Вольно, — сказал подполковник. Он потирал руки и казался очень довольным. — Вот молодцы, что приехали. — Он пытливо переводил взгляд с одного солдата на другого. Веретенников встретился с ним глазами, и они улыбнулись друг другу. — Это ваш дом, — продолжал подполковник, уже глядя на одного Веретенникова, — нижний весь этаж будет вашей казармой, столовой, клубом. Места много. — Он обратился к высокому полковнику, вышедшему в этот момент из комендатуры. — Вот, товарищ Соколов, прибыл мой взвод. Таким образом, ваши солдаты будут, наконец, свободны от комендантской службы. Я вам, наверно, сильно надоел. — Полковник улыбнулся, а подполковник (видимо, он и был комендантом) продолжал, снова обращаясь к солдатам, но на этот раз серьезно и проникновенно: — На вас возложена необычайно важная задача — представлять Советский Союз. Что это значит, вам ясно. Мы будем работать вместе, помогая друг другу.

Каждый из вас много видел, много пережил. Вы молодые люди, но старые солдаты, и мне не приходится вам много объяснять. Нам всем будет нелегко вдали от родины, да и вообще служба, да еще в таких особых условиях, не всегда бывает легким делом. Но если мы будем жить дружно, делиться своими горестями и радостями, всегда помнить о своем долге, нам будет легче. С командиром взвода вы знакомы, он приехал вместе с вами. Вот этот старшина, товарищ Воронин, назначен помощником командира взвода. Сержанты среди вас есть — они будут командовать отделениями.

От этой речи Веретенникову сделалось хорошо на душе. Комендант понравился и остальным солдатам. Взвод собрался уже войти в дом, как вдруг откуда-то появилась толстая немка с носом картошкой и большой бородавкой на щеке, в красном свитере и клеенчатом фартуке. Она, смущенно улыбаясь во всю ширину своего дородного лица, подошла к коменданту и заговорила по-немецки, при этом протягивая ему какую-то бумагу.

Смуглая серьезная девушка, стоявшая возле коменданта, начала переводить:

— Она спрашивает, помните ли вы ее, не забыли ли.

— Помню, как же не помнить, — засмеялся комендант. — Мы с ней познакомились в первый день моего приезда.

Девушка перевела его слова немке, и та восторженно закивала головой и снова заговорила быстро и громко.

— Она говорит, — сказала девушка, — что все жители ее дома очень уважают вас и что она пришла с жалобой на магистрат. Магистрат должен отремонтировать их дом, но до сих пор обещает и ничего не делает. А так как они знают, что господин комендант охотно помогает простым людям, они и послали ее, как знакомую коменданта, жаловаться на магистрат.

Комендант снова засмеялся и сказал, что сделает все, что сможет. Потом он добавил:

— Скажите ей, что она правильно сделала, что пришла. Критика недостатков — вещь нужная. Пусть напишет о недостатках в газету, в «Фольксцейтунг»¹, например.

Когда девушка перевела немке слова коменданта, та широко раскрыла глаза, захохотала, комично всплеснула руками, произнесла громкий губной звук вроде «пу» или «па» и заговорила еще быстрее, чем раньше.

— Разве я писатель? — воскликнула она. — Какой из меня писатель? Я домашняя хозяйка, у меня четверо детей, но я не люблю безобразий, ненавижу, когда обещают и не делают, когда болтают «народ, народ», а о народе не заботятся. —

¹ «Фольксцейтунг» («Народная газета») — орган коммунистической организации провинции Саксония-Ангальт в то время.

Немка замолчала, потом добавила тихо: — И муж у меня погиб на войне... Если бы хоть за что-нибудь путное погиб! — Она вынула платок и размазала по широкому лицу внезапно хлынувшие из глаз слезы.

Стало очень тихо. Переводчица ясно и отдельно произнесла эти слова по-русски. Все стояли серьезные. Потом лейтенант негромко скомандовал идти, и солдаты один за другим бесшумно вошли в распахнутые настежь двери дома.

Часть вторая

ЗЕМЛЯ

I

Город Лаутербург внимательно и настороженно следил за комендатурой.

Комендатура, открытая для всякого, кто приходил с просьбой, запросом или жалобой, тем не менее жила своей особой, замкнутой, немножко таинственной жизнью. Через телефонные провода и радио она была связана с Альштадтом, Галле, Берлином и, повидимому, Москвой. Нарочные на советских воинских автомашинах приезжали сюда, вручали пакеты и шифровки.

Синеглазый подполковник, видимо очень молодой, но умный и дельный, хорошо знающий немецкий язык, но притворяющийся, что не знает (это было не раз замечено), владеющий также и английским языком, но притворяющийся, что и английского не понимает (этот слух был распушен стариком Кранцем), — комендант часто уезжал на машине, ездил по району, появлялся то здесь, то там. Казалось, он никогда не спит. Его работоспособность изумляла всех. Он покупал в книжной лавке «Ганс Минден» много немецких книг, и было замечено, что в первое время он покупал буквари, книги для школьного чтения, затем путеводители, различного рода справочники, сочинения по Германии, затем стал покупать детективные романы, наконец перешел на классику — приобрел однажды всего Гёте, Шиллера, Лессинга и Уланда. Иногда он объезжал или обходил город ночами, появляясь то в ресторане, то в гостинице, то в кинотеатре; он осмотрел собор и замок, предложил магистрату привести тот и другой в порядок, как памятники древности, и выдал для этой цели лицензию на строительные материалы; он велел срочно восстановить полуразрушенные дома и т. д.

Его здесь прозвали «Оберстлейтнант Давай»¹, так как, отдав распоряжение очистить от обломков улицу, или отремонтировать автомашину, или пустить в ход предприятие, или открыть магазин,— одним словом, что-нибудь сделать,— он кончал свое распоряжение этим странным русским словом, неизвестно что обозначавшим, но звучащим, как приказ и одновременно как благословение. И в том, что коменданта так прозвали, были одновременно оттенок насмешливости над человеком, облюбовавшим какое-то одно словцо, и признание кипучей энергии коменданта, энергии, хорошо выражаемой этим словом.

У него была страсть, у этого молодого человека, всех заставлять работать. Он обижался даже какой-то полудетской обидой, когда сталкивался с бездельником или замечал, что кто-то плохо исполняет свои обязанности. Тогда его голос, обычно довольно высокий, вдруг понижался, становился даже басовитым, и он ронял этим низким голосом обиженно, сердито и растерянно:

— Ну, как же так? Ну, разве так можно? Ах, как нехорошо. Просто из рук вон.— Потом его голос опять становился обычным, речь — быстрой, уверенной, и он бросал русские слова, ставшие почти поговоркой среди немцев: — Работать надо. Давай, давай!

Комендатуру в целом тоже не оставили без прозвища. Ее называли попросту «Дом на площади» («Das Haus am Platz»). Это прозвище — Дом на площади — произносили по-разному: одни — со страхом, другие — с уважением, третьи — враждебно, четвертые — доверчиво. Некоторые называли комендатуру этим прозвищем для того, чтобы не произносить ее настоящего имени, с той же подоплекой, с какой христиане не называют по имени дьявола, заменяя это «нечистым», «чохом» и т. д. В устах других прозвище звучало дружественно, даже ласково. Так или иначе, Дом на площади властно вошел в жизнь города и Лаутербургского района. О его деятельности говорили разное, но никто не мог отрицать того обстоятельства, что Дом на площади старался упорядочить жизнь граждан, наладить производство и торговлю. Это не всегда удавалось ему, правда. Вместе с тем Дом на площади неумолимо выполнял то, что было постановлено Потсдамской конференцией — демонтировал военные заводы, вел розыски военных преступников, смешал с должностей, в том числе и в частных предприятиях, людей, бывших активными функционерами нацистской партии.

О том, что творилось внутри комендатуры, предпочитали говорить шепотом: «Кто-то приехал в Дом на площади»; «В Доме на площади было важное совещание в присутствии

¹ «Подполковник Давай».

генерала»; «Дом на площади что-то затевает, там идут совещания»; «Дом на площади нам этого не позволит»; «Как бы Дом на площади не вмешался»; «Придется попросить вмешательства Дома на площади».

Лаутербуржцы оказались неплохими психологами и довольно скоро изучили характер всех обитателей Дома на площади. Касаткин не пользовался их симпатиями: он был хотя и справедлив, но очень строг. Пожалуй, немцы были для него все еще не людьми, а только лишь объектами деятельности комендатуры. Капитан Чегодаев — тот был горяч и незлобив. Накричит, нашумит, но тут же успокоится, разберется и все решит правильно: чтобы и советским властям на пользу и немцам не в ущерб. С рабочими он был неизменно ласков, хотя любил попрекать их тем, что они при Гитлере вели себя слишком смиренно, не устраивали забастовок и восстаний.

Капитана Яворского уважали за блестящее знание немецкого языка, интеллигентность и доброту, которую кое-кто использовал в своих интересах. Но он имел один недостаток — он был несамостоятелен и почти всегда заканчивал свои умные и дельные речи, замечания и советы словами: «В общем я узнаю мнение коменданта».

Капитана Воробейцева лаутербуржцы не любили. Никогда нельзя было определить, что ему понравится, а что вызовет его гнев. Он тоже хорошо относился к простым людям, с предпринимателями же — большими и малыми — был резок, насмешлив. Впрочем, вскоре различные хозяева заводов и заводиков, магазинов и лавок, портняжных и сапожных мастерских установили, что этот капитан не чужд материальных интересов, любит пожить. Этой тайной они не делились друг с другом, но, как могли, использовали ее. И тем не менее боялись его, может быть, больше, чем всех других офицеров комендатуры, потому что он был необуздан и ехиден, знал их коммерческие дела вдоль и поперек и догадывался о нарушениях ими законов Контрольного Совета и распоряжений Администрации.

С капитаном Чоховым и старшим лейтенантом Меньшовым немцы сталкивались мало, так как первый из них занимался главным образом советскими военнослужащими, прибывающими в город или уезжающими из него, их порядком, размещением, поведением, снабжением; второй — Меньшов — большей частью пропадал в деревнях и селах.

Что касается самого коменданта, то между ним и населением города вскоре установились странные и сложные отношения. Хотя он — как ему полагалось по должности — строго проводил те мероприятия, какие клонились к ликвидации военного потенциала, хотя он сурово преследовал за нарушение установленных законов, но тем не менее понемногу почти не осталось в городе жителя, который не питал бы к подполковнику сдержанных, но дружеских чувств. Дело в том, что все, что он

делал, — он делал не только потому, что таковы были его обязанности, а потому, что считал это необходимым, то есть он вкладывал во все, что делал, человеческое чувство, личную убежденность. Он проявлял заботу о школах, предприятиях, детских садах, качестве продукции, посевном материале, бензине, угле и т. д. не потому, что он был обязан это делать, а по-человечески, с полным и горячим убеждением, что это нужно людям и что без этого им будет хуже. Люди сразу угадывают такое отношение к себе, угадывают безошибочно. Если в Касаткине чувствовалось, что забота его о благосостоянии населения — служебная забота, признак добросовестности, но не чувства; если Яворский относился к своей работе до некоторой степени абстрактно, как к решению интересной математической либо шахматной задачи; если в поведении Чегодаева, Меньшова и отчасти Воробейцева присутствовал оттенок юношеского тщеславия, гордости своим влиянием на жизнь множества людей, то в Лубенцове всего этого не было начисто. Служебный долг и человеческое чувство были слиты и жили в нем нераздельно.

Он никогда не пытался скрыть от немцев горькую правду. В этом отношении он даже был подчеркнута педантичен и при всякой возможности напоминал им об их исторической вине перед советским народом и о том, что они должны искупить и искупят свою вину. Постоянное общение с бывшими врагами на службе и особенно в быту располагало к забвению их старых грехов. Люди — всюду люди: в Лаутербурге смеялись над теми же остротами, что и в Тамбове, плакали от тех же обид, что и в Хабаровске, краснели от тех же сальностей и бледнели от тех же оскорблений. И эти мелкие, но многочисленные бытовые человеческие сходства приводили и не могли не приводить к сближению русских людей с немецкими. Лубенцов понимал это и не этому сопротивлялся внутренне, — нет, он сопротивлялся забвению того, что было и что следовало помнить во что бы то ни стало, потому что только это оправдывало его и его товарищей пребывание здесь, оправдывало ущемление прав немцев, без которого они не могли бы войти в семью свободных народов.

Поэтому он, рискуя показаться людям чуть-чуть смешным и не боясь этого, повторял, где только мог, слова о вине немцев в том, что они поддались психозу громких и пошлых слов, говорящих Гитлером, избрали легкую и страшную судьбу — совершать чудовищные несправедливости ради собственной шкуры.

Лубенцов принимал в своем кабинете — большой светлой комнате, где некогда заседал Наблюдательный Совет акционерного общества «Лаутербург АГ». Тут стоял большой стол, покрытый зеленым ворсистым сукном, несгораемый шкаф, другой стол — длинный, для заседаний, приставленный к письменному так, чтобы они составили столь приятное для бюрократов начертание буквы Т. Этот второй стол был покрыт зеленой ска-

тертью, под тон письменному столу, — найдя эту скатерть, Воронин сильно возгордился по поводу изящества своего вкуса. Портреты Ленина и Сталина висели на стене слева. Справа были большие окна. Позднее Воронин привез из политотдела СВА портреты Маркса и Энгельса: он счел очень уместным вывесить в кабинете советского коменданта портреты двух великих немцев, являющихся как бы связующим звеном в идейной жизни обеих стран.

Под портретами висела карта всего района, на которой местным художником по просьбе Лубенцова были нарисованы условные картинки, обозначающие дешезние богатства: горки угольных брикетов, изображение рыбы, лошади, свиньи, ржаного колоса, морковки, маленькие заводики с высокими трубами и т. д.

В стеклянном книжном шкафу стояли собранные Лубенцовым немецкие книги, касавшиеся экономики и истории района. Это были краеведческие брошюры, солидные издания, путеводители, а также грамматики и словари.

В этом же шкафу Лубенцов завел подробную картотеку, в которую заносил все, что ему становилось известным о населенных пунктах района, включая самые маленькие хутора. Картотеку эту он вел сам. Поступление налогов, ход заготовок, лесоразработок, рост поголовья крупного рогатого скота и овец, улов рыбы, характеристика бургомистров, учителей, адвокатов, деятелей партий и профсоюзов, выполнение планов всеми предприятиями — все это заносилось в карточки.

Сведения о картотеке просочились в город. Вокруг нее даже возникли разные таинственные слухи, что-де там собраны биографии всех жителей до третьего колена.

В последнее время жители города не могли не заметить, что Дом на площади лихорадит. Там шли непрерывные совещания, которые нередко затягивались до поздней ночи и даже до утра. Туда приезжали деревенские бургомистры и крестьяне. Дважды были приняты делегации переселенцев из Силезии, Судетской области и Восточной Пруссии. Запыленные машины то и дело останавливались у подъезда.

Шла подготовка к земельной реформе. Первой, еще неясной вестью о ней были митинги, проведенные в деревнях. Батраки и бедные крестьяне обратились в Советскую Администрацию с просьбой о разделе помещичьей земли. Особенно бурно проходили митинги переселенцев. Эти люди, не имевшие ни кола, ни двора и жившие большими лагерями, просили об устройстве, о том, чтобы им нарезали землю, которую они могли бы обрабатывать.

Резолюции этих митингов печатались в коммунистической газете «Фольксцейтунг» и социал-демократической — «Фольксблат». Через некоторое время состоялись совещания демократического блока партий, где представители компартии впервые

обнародовали проект реформы. Проект гласил, что разделу подлежат все имения с земельной площадью более ста гектаров. Что касается имений военных преступников, то эти имения должны были быть конфискованы полностью — даже те, в которых насчитывалось менее ста гектаров. Землю — пахотную, лесные угодья и луга — предполагалось нарезать крестьянам, преимущественно батракам, переселенцам и бедноте.

II

В связи с тем, что Лаутербург распоряжением СВА стал административным центром «крайса» (района), следовало создать в нем районное самоуправление. Генерал Куприянов посоветовал Лубенцову назначить ландратом — главой самоуправления — человека беспартийного, пользующегося авторитетом среди всех групп населения. Лерхе, новый бургомистр Форлендер и начальник полиции Иост предложили на эту должность некоего профессора Себастьяна. Кандидатуру профессора поддержали и Грельман с Маурициусом. Лубенцов поручил им переговорить с профессором, но переговоры ни к чему не привели — профессор отказался от чести быть ландратом.

— Как так отказался? — рассердился Лубенцов. — Значит, плохо вы с ним говорили. Что он за птица, этот профессор? Честный человек? Как же может честный человек отказаться от работы в такой сложный момент? Где он живет? Я к нему съезжу сам.

— Вы ведь живете у него в доме, — сказал Иост, сделав большие глаза.

Лубенцов удивился еще больше Иоста.

— Так это мой хозяин! — воскликнул он. — Замкнутый господин. Я его ни разу не видел. Винить некого — себя только.

В тот же день вечером он вызвал к себе домой Ксению. В ожидании переводчицы он вышел в сад и впервые за все это время внимательно осмотрел его. Здесь царил образцовый порядок. Под стеклами небольшой оранжереи стояли горшочки с рассадой и росли диковинные цветы. Позади дома находился фонтан, в центре которого стоял пухлый ребенок из белого камня с луком в руках.

Из дома послышались звуки рояля. «Нелюдим-профессор любит музыку», — усмехнулся Лубенцов и поднял глаза к окнам второго этажа. Внезапно музыка прекратилась, и на балконе появилось белое платье.

Было уже довольно темно, и Лубенцов не разобрал черт лица этой женщины. Услышав внизу шорох, она спросила мелодичным голосом: «Вер да?»¹ Не получив ответа, она пере-

¹ Кто там? (нем.)

гнулась через ограду балкона вниз, взгляделась и, произнеся удивленное междометие, скрылась в доме.

Тут раздался скрип калитки. Это пришла Ксения. Они поднялись по темной лестнице наверх. Лубенцов вдруг подумал, что следовало бы предварительно позвонить по телефону, а не так — взял да и нагрянул без приглашения. Но было уже поздно. Наверху раскрылась дверь. Зажегся свет. Старушка в белом передничке и белой наколке на голове — Лубенцов вспомнил, что видел ее как-то раньше, она, повидимому, убирала у него в домике по утрам, — взгляделась в Лубенцова и полуудивленно, полуиспуганно произнесла:

— Герр комендант...

Ксения попросила ее доложить профессору, что комендант хочет его видеть по важному делу. Они вошли вслед за ней в комнату. Лубенцов попросил Ксению сказать, что он извиняется за непрошенное вторжение, но так как у него важное дело и, кроме того, ему давно пора познакомиться со своим хозяином и поблагодарить его за гостеприимство, то он разрешил себе прийти вот так запросто, без предупреждения. Старушка ушла, а минуту спустя в комнату медленно вошел высокий молоджавый человек в темном костюме, с совсем белой головой. В руке он держал очки, которые при входе приложил на мгновение к глазам, как лорнет, но тут же опустил их вниз.

После обычных вежливостей они уселись за круглый стол. Лубенцов предложил профессору сигарету, которую тот охотно взял. Оба закурили, и Лубенцов сразу приступил к делу.

Себастьян слушал его молча, не прерывая, потом сказал, что вынужден отказаться от почетного предложения, так как чувствует себя неважно и, кроме того, не думает, что окажется способным исполнять столь ответственные обязанности с честью. Он не администратор, а человек науки, химик по профессии, и если может быть у человека цель в жизни, то его, профессора Себастьяна, цель — закончить свой большой труд по коллоидной химии, труд, начатый им уже давно.

В ответ на это Лубенцов сказал, что он понимает стремление людей к спокойной научной деятельности, к тому, что «нами, людьми дела, презрительно зовется сидячей жизнью», но он не может согласиться с тем, что ради науки, создаваемой на пользу человечества, предается забвению человечество. Особенно теперь, когда немцы переживают такую серьезную и тяжелую пору, долг каждого, в том числе и человека науки, заключается в том, чтобы помочь своему народу встать на ноги.

— Вам, может быть, странно и смешно, — продолжал Лубенцов, — что я, офицер оккупационных войск, уговариваю вас, немецкого профессора, позаботиться о немецком народе. Три месяца назад мне это казалось бы еще более странным.

Себастьян рассмеялся.

— Да, — сказал он, — вы это остроумно заметили.

Лубенцов продолжал:

— Я, как представитель оккупационных властей, заинтересован в том, чтобы здесь, в Германии, установился твердый демократический порядок. И мы этого не сможем добиться без самодеятельности самих немецких граждан, в особенности передовой части их — людей ученых, представителей интеллигенции, которые должны наиболее остро чувствовать создающуюся обстановку.

— Но почему вы обращаетесь именно ко мне? — спросил Себастьян.

— Потому, что мне указали на вас, как на одного из самых авторитетных представителей немецкой интеллигенции в этом городе.

— Следовательно, вам кажется, что, если я или подобный мне человек будет стоять во главе управления, вам легче будет достичь своих целей? — Произнеся эти слова несколько вызывающим тоном, Себастьян осекся и забарабанил пальцами по столу. Видно было, что он жалеет о своей неосторожности, о том, что так откровенно высказался. Он вовсе не собирался делать этого раньше — напротив, хотел быть максимально сдержанным и не давать коменданту поймать себя на чем-нибудь подобном.

— Да, да, да! — воскликнул Лубенцов. — Совершенно верно! Мы для того и хотим вашего назначения, чтобы, используя ваш авторитет, добиваться своих целей. Вы выразились совершенно верно. Но вопрос заключается в том, каковы наши цели. Сходятся ли они с вашими целями. В чем они расходятся. Вот в чем весь вопрос!

Он встал и, победоносно взглянув на профессора, продолжал свой монолог.

— Вы ненавидите нацистов — и мы их ненавидим. Вы противник войны — и мы противники войны. Вы сторонник сильной, свободной, но миролюбивой и демократической Германии — мы тоже. Вы лучше нас знаете местные условия, традиции, взаимоотношения, — потому вы должны нам помогать, поправлять нас, если мы будем делать что-то необдуманно или глупо. Примите наше предложение, и у вас будет масса возможностей помогать нам лучше и вернее делать наше дело. Мы будем с вами ссориться, доказывать свою правоту — вы будете доказывать свою. Цель у нас одна — помогайте нам избирать наилучшие средства. — Он сел, как бы ожидая ответа. Так как профессор молчал, Лубенцов снова заговорил, но уже спокойно: — На днях я прочитал книгу, которая произвела на меня большое впечатление. Это немецкая книга, очень знаменитая. К стыду своему, я её тут прочитал впервые в жизни, хотя слышал о ней и раньше, еще в школе. Это «Фауст» Гёте. Вторую часть её я читать не стал — это мне показалось слишком трудным делом, а я очень занят и не имею возможности сидеть

и читать столько, сколько я хотел бы. Вы, конечно, читали эту книгу. В ней рассказывается о том, как великий ученый, — ну, конечно, ученый по тому времени, — изучив все науки, вдруг, — а собственно говоря, не вдруг, но после долгих размышлений, — пришел к выводу, что этого для него мало, что он должен окунуться в живую человеческую жизнь, принять в ней посильное участие. Главная идея заключена во второй части, которую я не осилил. — Профессор улыбнулся. — Этот ученый в конце концов после многих исканий понимает, что смысл жизни в том, чтобы приносить пользу своему народу и, конечно, всему человечеству. Не думаете ли вы, что эта правильная мысль относится и к вам? Я не поручусь, что понял все написанное в этой книге, но что я понял ее основную идею — за это я ручаюсь.

— Вы поняли правильно, — тихо сказал Себастьян.

Тут Лубенцов поднял глаза и увидел, что возле двери стоит девушка в светлом платье — повидимому, та самая, что вышла на балкон. Лубенцов встал. Себастьян тоже встал и сказал:

— Знакомьтесь. Это моя дочь, Эрика.

Лубенцов назвал свою фамилию.

Она посмотрела на него исподлобья, потом уселась рядом с отцом на спинку кресла. Взгляд ее был насторожен, даже несколько враждебен.

— Обдумайте все, — сказал Лубенцов.

— Хорошо, — ответил Себастьян. — Я все обдумаю. Могу вам теперь же сказать, что вы во многом правы и что я, возможно, приму ваше предложение.

Лубенцов даже покраснел от удовольствия.

— С вашего разрешения я завтра снова зайду к вам, — сказал он.

— Пожалуйста. Буду очень рад. Мне было приятно беседовать с вами.

Внезапно в разговор вмешалась дочь профессора. Она сказала, глядя в упор на Лубенцова большими злыми глазами:

— Вчера сюда заходили два русских солдата. Они были в нетрезвом состоянии. Мы с трудом от них отделались, и то лишь тогда, когда объяснили им, что здесь проживает советский комендант.

— Надеюсь, они вам не нанесли никакого ущерба? — спросил Лубенцов смешавшись.

Себастьян тихо сказал:

— Ничего особенного.

— Они увели нашу машину, — сказала Эрика.

— Ай, как нехорошо! — воскликнул Лубенцов, покачав головой почти в отчаянии. — Найдем, обязательно найдем вашу машину. Скажите мне, какая машина, какой марки и так далее. Ксения Андреевна, запишите, пожалуйста.

— Кроме того,— продолжала Эрика Себастьян ровным, злым голосом,— они пытались оказать мне слишком много внимания, как даме.

Лубенцов покраснел до корней волос. Профессор сказал, примирительно погладив дочь по плечу:

— Скажу вам прямо, господин подполковник. У вас симпатичные солдаты, добрый и спокойный народ. Я на своих прогулках много наблюдал за ними. Но ваш пьяный солдат — это ужас. Извините, может быть, я выражаюсь слишком откровенно...

Лубенцов принужденно рассмеялся. Да, ему была не очень по душе откровенность профессора. Однако он заставил себя сказать:

— Что ж, вы правы.— Подумав мгновенье, он добавил:— Пьяный человек вообще отвратителен. А подвыпивший русский солдат почти так же плох, как трезвый немецкий.

— Верно! — воскликнул Себастьян, довольный тем, что может согласиться с комендантом, не кривя душой.— Вы совершенно правы. Нет ничего отвратительнее трезвого немецкого солдата, выполняющего, как у нас говорят, свой долг. Он методически жесток. Расчетливый изувер, он как бы сдает свою совесть на временное хранение в полковую кассу, чтобы потом спокойно получить ее обратно. Да, господин подполковник, недаром наш солдат прославился в этом отношении. Наши властители, мелкие и крупные, многое сделали, чтобы вдохнуть в него душу наемника. Нет такого неправого дела, за которое не сражался бы немецкий наемный солдат. Он защищал права английской короны в Америке, дрался на стороне шведских протестантов против императора, защищал императора против шведских протестантов, гугенотов против французского короля и французского короля против гугенотов...

— В последней войне,— сказал Лубенцов,— он воевал за интересы немецких капиталистов и помещиков против всех народов и против немецкого народа.

— Вероятно, хотя этот вопрос для меня еще не ясен.

Они расстались довольные друг другом.

III

«Мерседес-бенц», шестицилиндровый, синего цвета, однодверный, с откидным верхом, мотор номер такой-то, шасси номер такой-то, на передней облицовке слева трещина, сиденье черное кожаное».

Сдав эти сведения Воробейцеву для немедленного принятия мер по розыску, Лубенцов велел подать себе машину. Но Воробейцев покачал головой:

— Тищенко уехал в отпуск, товарищ подполковник.

Надо было подыскать шофера из немцев. Воронин взял это дело на себя. Он вышел из дому и сразу же нашел Кранца, стоявшего, как обычно, под фонарем неподалеку от комендатуры; сунув старику в карман коробку консервов, Воронин сказал:

— Нужен шофер, срочно.

Кранц подумал и проговорил:

— Пойдемте со мной.

Они пошли вдвоем.

— Ты женат? — спросил Воронин.

— Я... забыл как называется. Жена умерла.

— Вдовец?

— Вот! Да! Вдовец! — Помолчав, он сказал: — Моя жена была русская женщина.

— Ну? — удивился Воронин.

— Да. Элизабет. Элизавета Николаевна. Нет на свете лучше, чем русская женщина.

— Это верно, — сказал Воронин.

— Она умерла, — продолжал Кранц. Его лицо стало печальным. — И после нее я стал несчастный. Не надо было уезжать из России. Здесь она не могла. Хотела обратно, в свое отечество. — После некоторого молчания он спросил: — Не разрешите ли вы мне, господин фельдфебель, ставить вам один вопрос.

— Пожалуйста, спрашивай.

— Это правда, что будет уничтожение помещиков?

— Как так — уничтожение? Никакое не уничтожение. Землю отберут, народу раздадут. А как же? Думаю, что сами крестьяне хотят. Им прямая выгода.

— Они не хотят, — сказал Кранц.

— Как так не хотят?

— Нет. Они хотят, но они боятся. Они имеют страх.

— Чего же тут бояться? Надо им разъяснить. Проводить работу с теми, кто боится. Почему боятся?

— Мечь помещиков. Понимаете — мечь.

— А что? Угрожают помещики?

— Да, — сказал Кранц.

Воронин свистнул и покачал головой.

Дальше они шли в молчании. Наконец, Кранц остановился на обсаженной липами улице у облупившегося четырехэтажного дома. Они прошли в дом. Кранц постучал в одну из дверей третьего этажа. Зажегся свет, дверь открылась. Перед ними стоял плосколицый, плешивый молодой человек в пижаме. Он посмотрел на Воронина, Воронин — на него, лица обоих выразили удивление, потом расплылись в улыбке. Воронин закричал:

— Подожди, подожди. Это где же я тебя!..

Человек в пижаме воскликнул:

— О-о!.. — И неожиданно заговорил по-русски: — Через речку!.. Через Одер! Раз, два, три — готово!

Да, это был старый знакомый старшины Воронина — Фриц Армут, бывший штаб-фельдфебель германской армии, на днях вернувшийся из русского плена. Воронин и другие разведчики утащили его в качестве «языка» из немецкого передового охранения в апреле этого года. Черт возьми! Это все казалось событиями незапамятной древности. Армут побежал впереди Воронина, открывая перед ним двери, и был страшно рад, как будто встретил родного брата. Он познакомил его с женой и детьми и все время говорил то по-немецки — для своих, то по-русски — для Воронина.

После того как Воронин вытащил его за шиворот из войны, Армут оказался в советском лагере для военнопленных, на Украине. Там пленных использовали на лесозаготовках. Относились к ним хорошо, жили они терпимо. А потом он заболел, и его вместе с другими больными и слабыми здоровьем погрузили в эшелоны и отправили в Германию. Рассказав об этом Воронину, Армут повернулся к жене и стал рассказывать — уже по-немецки — о том, как ловко этот «фельдфебель» с несколькими разведчиками утащили его из-под носа у всей германской армии как раз в тот момент, когда к ним в дивизию приехал рейхсминистр фон Риббентроп. Армут все это рассказал, перемежая слова непонятным для немцев выражением, которому он научился в России:

— Эх, ёльки-пальки!

Эти слова и немецкое произношение их неизменно вызывали на лице Воронина широкую улыбку.

— Эх, ёльки-пальки, карашо!

Армут стал торопливо накрывать на стол.

— Закуска нет,— сказал он.— Водка нет. Немножко спирт есть, ёльки-пальки!

Но Воронин отказался — шофер нужен был срочно, и они отправились в комендантуру.

— Привел старого знакомого, можно сказать — дружка,— сказал Воронин, распахивая дверь комендантского кабинета.

Лубенцов взглянул на Армута и тоже сразу вспомнил этот искусный и отважный поиск через Одер, за который его, Лубенцова, наградили орденом Александра Невского.

Когда Армут ушел, чтобы заняться машиной, Воронин сообщил Лубенцову о многозначительных словах «одного старого немца» насчет того, что помещики запугивают крестьян.

— Бабы сплетни! — рассердился Лубенцов.— Как они могут запугивать? Чем?.. А если бы это и было, я бы уж давно об этом знал. Что-то слишком ты с немцами связался, Дмитрий Егорыч! И каким образом, скажи пожалуйста, он мог тебе все это рассказать, раз ты по-немецки еле понимаешь?

— Этот немец,— сказал Воронин, чуть покраснев,— говорит по-русски. Это Кранц.

— Опять Кранц! Сколько раз просил я вас, товарищ старшина, не якшаться с этим прихвостнем баронета Фрезера! Идите.

Уже спустя два дня Лубенцов горько пожалел об этом разговоре. Сведения Кранца подтвердились. В селение Финкендорф однажды ночью прибыл какой-то человек с запада, который привез письмо крестьянам от помещика, графа фон Борна, сбежавшего ранее в связи с приходом советских войск. Фон Борн был одним из богатейших помещиков в провинции. Во времена Гитлера он, хотя и не занимал официальных должностей, тем не менее был связан и по-родственному и знакомством с крупными деятелями нацистской партии. Сын его служил начальником штаба одной из эсэсовских танковых дивизий. Вообще фон Борнов было много в «вермахте».

Помещик в своем письме угрожал, что каждый, кто посмеет воспользоваться его землей и имуществом, будет объявлен вне закона. Он сообщал своим крестьянам, что русские через полтора года, в соответствии с тайными решениями «большой тройки», оставят эти края, и тогда он на законном основании взыщет с крестьян, и они, люди, посягнувшие на чужую собственность, будут рассматриваться как воры и грабители и будут судимы как таковые.

Это письмо произвело на крестьян большое впечатление.

Хотя община Финкендорф была одним из застрельщиков земельной реформы — еще десять дней назад общее собрание крестьян вынесло решение по этому вопросу,— теперь даже самые активные члены общины и общинного управления перестали упоминать о предполагавшейся реформе, словно никаких разговоров о ней и не было. Слова «земля», «реформа» стали запрещенными словами.

Узнав об этом, Лубенцов вечером выехал в Финкендорф. Остановив машину возле пивной, он увидел через неярко освещенные окна, что народа там полно. Он вошел вместе с Ксенией. Люди сидели вокруг столиков, играли в домино и в карты и потягивали пиво из кружек. Лубенцов сразу заметил среди них в углу бургомистра Ланггейнриха. Бургомистр встретил коменданта не без замешательства. Возле него сразу очистили два места, и Лубенцов с переводчицей сели у столика. Ланггейнрих заказал две кружки пива. Разговор в трактире моментально умолк, только слышны были удары костяшек по столу.

— Как дела? — спросил Лубенцов. — Что-то с заготовками у вас дело идет слабо. А я всегда надеюсь на вас, Ланггейнрих, больше, чем на многих других бургомистров. Все-таки вы член компартии, старый антифашист.

— Все будет сделано, господин подполковник,— сказал Ланггейнрих и добавил, чуть усмехаясь: — Вы всегда спешите, господин подполковник. А крестьяне народ медлительный.

— Это верно,— усмехнулся и Лубенцов.

— Останетесь ночевать у нас или поедете дальше? — поинтересовался Ланггейнрих.

— Пожалуй, у вас останусь. Устроите на ночлег?

— Устроим.

Ланггейнрих встал с места, бросил хозяину на ходу: «Запишешь на меня» — и вместе с Лубенцовым и Ксенией вышел на улицу. Здесь возле машины, вокруг Фрица Армута, стояло человек шесть крестьян. Он им что-то громко и оживленно рассказывал. При виде Лубенцова он замолчал. Все раступились.

— Мы пойдем пешком,— сказал Лубенцов Ксении.— Пусть он едет к дому бургомистра. Так вот,— обратился Лубенцов к Ланггейнриху, медленно шедшему рядом с ним.— Что это вы за письмо получили? И известие об этом письме доходит до меня не через вас, Ланггейнрих, а совсем другими путями. Нехорошо получается. Неприлично. Просто из рук вон. Бургомистр по крайней мере обязан информировать коменданта о разных происшествиях.

Ланггейнрих почесал затылок.

— Трусливый у нас народ, вот что я вам скажу, господин комендант. Никудышный народ. Тени своей боится.

— А бургомистр на что? Да еще коммунист? Почему вы не разъясняете крестьянам положение? И ладно, так хоть информировали бы во-время.— Он досадливо махнул рукой.

— Видите ли,— начал было оправдываться Ланггейнрих, но Лубенцов не захотел его слушать.

— У вас телефон есть дома? — спросил он.— Нет? Зайдем тогда к вам в контору.

Они зашли в неосвещенное здание маленькой ратуши. Ксения соединила Лубенцова с Лаутербургом. У телефона оказался Чохов, который дежурил по комендатуре. Лубенцов спросил:

— Нового ничего нет? Машину Себастьяна нашли?

— Ищут, товарищ подполковник,— ответил Чохов.— В вверенной вам комендатуре и районе происшествий особых нет.

Лубенцов улыбнулся и положил трубку.

Они вышли из ратуши и подошли к большому помещицкому дому.

— Может быть, здесь переночуете? — спросил Ланггейнрих.— Комнаты большие, хорошие.

— А что, разве дом пустует? — встрепенулся Лубенцов.— Это как так? Ну, знаете, Ланггейнрих, вы начинаете сердить

меня. Ведь договорились же еще на прошлой неделе, что сюда вселят переселенцев... Не хочу я слушать никаких оправданий! Почему они не вселились?

Ланггейнрих молчал.

— А вы еще говорите, что народ у вас трусливый. Каков пастырь — таков и приход. Бойтесь Рихарда фон Борна, Ланггейнрих? Всех вы бойтесь. Гитлера вы боялись. Теперь бойтесь фон Борна. Только меня вы не бойтесь. А зря!

— Перевести ему это? — спросила Ксения.

— Да, да, переведите и как можно точнее. И не давайте мне советов, что говорить и чего не говорить, товарищ Спиридонова.

— Я не боюсь,— твердо сказал Ланггейнрих.— Не боюсь. Но я знаю настроения крестьян и...

— И плететесь в хвосте у этих отсталых настроений!

Они подошли к дому Ланггейнриха. Все были мрачны и недовольны друг другом и сразу же улеглись спать.

Лубенцову долго не спалось на узкой и жесткой постели. «Привык к роскошной жизни,— думал он.— Простая деревенская кровать уже не по мне». Он думал о том, что в дальнейшем будет ночевать при своих разъездах только у рабочих и крестьян; и чем беднее ночлег — тем лучше. Оккупанты потому плохо изучают страну, что, имея власть, они располагают возможностью останавливаться и жить, ночевать и есть у богатых. Поэтому они рискуют получить извращенное представление о действительной жизни в стране. Им кажется, что вся страна только и состоит, что из богатых домов и мягких постелей, и что тут питаются только свининой да запивают ее вином. Для советских оккупантов такое дело не годится. «Спи, спи,— говорил он себе, ворочаясь с боку на бок.— Живи так, как живут бедняки, тогда ты поймешь, что им нужно, о чем они думают и чего хотят».

«Да,— подумал он вдруг,— но вот живут же в этой деревне бедняки, которые сами не знают, чего хотят. Или, пожалуй, они знают, но они боятся хотеть. Прошлое хватает их за ноги и держит, не дает идти вперед».

Ланггейнрих тоже не спал. Лубенцов долго слышал по соседству медленные шаги, вздохи; то и дело раздавался треск зажигалки и доносился тяжелый запах табачного дыма. Лубенцов прекрасно понимал сложное положение, в каком находился бургомистр, испытывавший нажим со стороны Лубенцова и в то же время сильное влияние маленького деревенского общественного мнения, которое было совсем не шуточным делом.

Уснув, наконец, Лубенцов вскоре проснулся и посмотрел на часы. Пять часов утра — самое время вставать для крестьянина. Он быстро оделся. Дверь в комнату открылась, вошел Ланггейнрих, тоже одетый. В руках он нес таз с водой для

умывания. Лубенцов молча умылся, потом пошел вслед за бургомистром в соседнюю комнату. Марта Ланггейрих, жена бургомистра, бесшумно накрывала на стол. Посуда тихо звенела. Пахло хлебной квашней. Вскоре в комнату вошла Ксения. Утренние сумерки располагали к молчанию. Не хотелось говорить, думать, спорить, хотя говорить было о чем и спорить тоже.

— Что же будет? — пересилив себя, спросил, наконец, Лубенцов. — Что вы сегодня намерены делать?

Ланггейрих сказал:

— Сегодня я переселю в помещичий дом беженцев. Пусть меня убьют, если я этого не сделаю.

Он говорил угрюмо, но решительно. Лицо Лубенцова просветлело.

— Это будет единственно достойным ответом господину фон Борну, — сказал он. — И достаточно красноречивым. Сегодня вечером, когда крестьяне придут с полевых работ, созывите собрание. С ними надо говорить в открытую, не играть в прятки. Прислать вам докладчика или вы справитесь?

— Справимся, — буркнул Ланггейрих.

Марта пристально глядела в лицо мужа. При его последних словах она покачала головой.

— Пусть лучше приедет кто-нибудь чужой, — сказала она.

— Подумайте, — прищурил глаза Лубенцов. — Может, и в самом деле?..

— Справимся, — снова сказал Ланггейрих.

Они встали из-за стола и направились к выходу. Марта провожала их за дверь. Ланггейрих, не оглядываясь на нее, пошел вместе с Ксенией вперед, а Лубенцов отстал и, пожав Марте руку, сказал ей на прощанье по-немецки:

— Хабен зи кайне ангст (не бойтесь).

Она улыбнулась ему виноватой улыбкой.

Село оживало. По улице потянулись крестьяне и крестьянки. Догнав Ланггейриха и Ксению, Лубенцов пошел с ними рядом. Машина уже стояла возле общинного управления. Армут был на ногах. Понемногу светлело. Небо на востоке горело алым пламенем.

IV

Они поехали дальше. Ксения молчала. Она вообще, в отличие от Альбины, старалась быть как можно незаметнее. Переводила она не так лихо, как Альбина, — не угадывала наперед того, что Лубенцов собирается сказать, и иногда не могла подобрать сразу нужного слова, — но она была точна и старательна. Она никак не проявляла своего отношения ни к словам, ни к действиям Лубенцова. Когда же Лубенцов время от времени спрашивал ее мнения о том или ином деле и даже о

том, верно ли, по ее мнению, он сделал то-то и то-то, она без всяких колебаний уклонялась от ответа и говорила:

— Я в этом не разбираюсь.

Или:

— Вам виднее.

Если вначале такие ответы вызывали в Лубенцове легкую досаду, то потом он привык к сдержанности и молчаливости новой переводчицы. Он даже чувствовал перед ней некоторую робость — во всяком случае его не покидало ощущение, что она судит все его поступки, на каких-то только ей ведомых весах взвешивает все за и против; в ее больших, несколько мрачных серых глазах всегда было нечто оценивающее.

Лубенцов спросил:

— Как вы думаете, провернет Ланггейнрих это дело? Не испугается напоследок?

— Вам виднее, — сказала Ксения. — Вы его дольше знаете. Я его вижу в первый раз.

Что ж, она была права. Лубенцов не мог ничего возразить.

— Вы, как всегда, правы, — рассмеялся Лубенцов и больше не затевал разговора.

Из соседнего большого села, где он решил остановиться, он велел Ксении позвонить в Финкендорф и спросить у Ланггейнриха, начал ли он переселять беженцев.

Ланггейнрих ответил, что переселение начнется через час и что беженцы предупреждены. Правда, не все хотят переселяться.

— И их запугали?! — рассердился Лубенцов и сказал: — Передайте ему, что на обратном пути я заеду и проверю.

Ланггейнрих в ответ промолчал, потом сказал, что звонили из комендатуры, разыскивали господина коменданта.

Ксения соединилась с комендатурой. Касаткин, услышав ее голос, закричал:

— Где товарищ подполковник? Передайте ему, чтобы он срочно приехал в Лаутербург. Дело очень важное, не терпит отлагательств.

— Что там у них произошло? — удивился Лубенцов, но так как по телефону не полагалось спрашивать о таких делах, он велел передать, что через час выедет.

Село, из которого они говорили по телефону, было тем самым селом, в котором Лубенцов с Ворониным останавливались на ночлег по дороге в Лаутербург. Здесь жила помещица Лизелотта фон Мельхиор.

Он усмехнулся, вспомнив, о чем она говорила тогда за столом, думая, что он ее не понимает. Она боялась, чтобы незваные гости — комендант и сопровождавшие его солдаты — чего-то не взяли в помещицьем доме. Теперь у нее отберут весь этот дом и всю эту землю, а у нее было гектаров шестьсот

земли. И если тогда, когда она говорила свои оскорбительные слова, они ни в какой степени не задели Лубенцова, то теперь он вспомнил о них с внезапным презрением. Она подозревала его в корыстолюбии и думала, что он может взять у нее какие-то никчемные вещи. Но нет, он не корыстолюбив. Он все у нее заберет, но не для себя, ему ничего не нужно.

У круглого тенистого пруда, расположенного посреди села, Лубенцов остановил машину и, выйдя из нее, сразу увидел того большого рыжего беженца, которого он видел тогда на этом самом месте,— он избивал свою маленькую дочь. Беженец тоже узнал Лубенцова и опустил голову. Лубенцов пошел к нему навстречу и, поздоровавшись, спросил, как его зовут. Немец ответил, что его зовут Ганс Кваппенберг.

— Как поживает ваша дочь? — спросил Лубенцов с непроницаемым лицом.

— Хорошо,— ответил Кваппенберг, смутившись.

— Жилье вам тут дали?

Кваппенберг развел большими грубыми руками.

— Живем в сарае,— сказал он.

— Батрачите?

— Да.

— Значит, живете в сарае? А зимой что будет?

Кваппенберг пылливо взглянул на коменданта и нерешительно сказал:

— Говорят... земельная реформа будет.

— Говорят,— весело согласился Лубенцов.

К ним направлялась группа людей. Лубенцов узнал местного бургомистра и нескольких других знакомых крестьян и батраков. Лубенцов поздоровался с ними, улыбнувшись молодому, очень милому парню, Гельмуту Рейнике. Он был батраком, активистом и на днях вступил в коммунистическую партию. Русский, румяный, немного стеснительный, полный юношеского обаяния, он всегда вызывал в Лубенцове чувство дружеской симпатии.

— Обеспечим вас жильем, обязательно обеспечим,— продолжал Лубенцов, обращаясь к Кваппенбергу.— Можете так и передать вашей жене и дочке. Я ведь с ними знаком.

— Да,— сказал Кваппенберг, снова смутившись.

Лубенцов повернулся к бургомистру, спросил, как идут дела с уборкой и заготовками.

Бургомистр — его звали Веллер, он совсем не был похож на крестьянина,— худой, с острым лицом, в очках, стал докладывать. Рейнике время от времени вставлял фразу-другую. Они медленно шли вдоль пруда. Лубенцов на ходу записывал в блокнот кое-что из того, что говорил Веллер, твердя при этом:

— Так, так. Да, да.

Подняв голову от блокнота, он заметил, что крестьяне все смотрят куда-то влево. Он тоже посмотрел туда. По улице шла

помещица. Ее стройная, изящная фигурка двигалась быстро, ветер развеивал длинную шаль, накинутую на ее плечи.

Чем ближе она подходила, тем заметнее становилось выражение горя на ее лице. Так бегут топиться.

— Мне надо с вами говорить,— сказала она.

— Пожалуйста,— ответил Лубенцов.

— Без свидетелей.

Крестьяне отошли в сторону.

Лизелотта фон Мельхиор бросила быстрый враждебный взгляд на Ксению.

— Мы можем поговорить без переводчика,— сказала она резко.

— Мы можем поговорить без переводчика, — перевела слово в слово Ксения, не моргнув глазом и без всякого выражения.

— Я прекрасно знаю,— продолжала помещица,— что вы владеете немецким языком, и все это знают. Я очень просила бы вас уделить мне несколько минут без всяких свидетелей.

— Скажите ей,— сказал Лубенцов,— что у нее ошибочные сведения. Я действительно многое понимаю, но говорить не могу. Если она хочет услышать мой ответ, она должна примириться с присутствием переводчицы.

Когда Ксения перевела ей это, помещица, помолчав, сказала:

— Пусть будет так. Переводите. Мне известно, что Советская Военная Администрация собирается провести так называемую земельную реформу. Не пытайтесь меня переубедить — я это знаю точно. Но вам известно, что мой покойный муж полковник фон Мельхиор был расстрелян как антифашист?

— Да. Он был участником военного заговора против Гитлера. Это мне известно.

— Я прошу вас поставить в известность ваших начальников об этом.

— Хорошо.

— Я прошу вас отдать себе отчет в том, что покушение на собственность врага гитлеровского режима не может прибавить Советской Администрации популярности в стране.

— Неужели вы не понимаете, госпожа фон Мельхиор, что не Администрация инициатор земельной реформы, а сами крестьяне, безземельные и бедные крестьяне, которые тоскуют о земле.

— Крестьяне всегда не прочь попользоваться чужим добром. Но вы, представители оккупационной власти, вы не можете потворствовать этим наклонностям, которые приведут к беспорядку и анархии в стране.

— Напротив, мы поддерживаем это законное желание крестьян, потому что оно соответствует соглашениям Потсдамской конференции о демократизации Германии. Передача

земли крестьянам — это и есть демократизация, во всяком случае это очень важная часть демократизации.

— Вы напрасно ссылаетесь на Потсдамскую конференцию. Ведь ваши союзники не проводят никаких реформ в своих зонах. Мне известно — я на днях получила письмо от моей сестры из Баварии, — что там ничего подобного не происходит... Не знаю, может быть, и там крестьяне хотели бы овладеть чужим имуществом, но им не разрешают.

— На этот счет ничего не могу вам сказать. Лично я надеюсь, что и там будет проведена реформа.

Они подошли к машине, и помещица, внезапно обессилев, оперлась об крыло автомобиля. Она смотрела куда-то вдаль, в пространство между Лубенцовым и Ксенией. Потом из ее глаз внезапно пролилось несколько слез, и она сказала:

— Не выдержала все-таки. Самое отвратительное в женщине — ее слабость.

Лубенцов мысленно не согласился с ней — в этот момент она была очень хороша.

— Вас лично я не виню, — сказала она. — Вы исполнитель слепой силы, частица большой машины. Я глубоко убеждена, что вы не можете хотеть зла людям, даже если они помещики.

Лицо Лубенцова стало серьезным до угрюмости.

— Что я? — сказал он. — Я, как вы справедливо заметили, действительно маленькая частица... Но тем не менее я все-таки мыслящая частица. Если вы хотите знать мое мнение, то я вам могу сказать, что я желаю счастья всем людям, даже если они батраки.

Она сказала «прощайте» и медленно пошла обратно. Лубенцов и Ксения сели в машину и поехали обратно в город. После некоторого молчания Лубенцов сказал:

— Вы не смогли перевести слово «тоска».

— Я никогда не слышала его по-немецки.

— «Тоска» — по-немецки «зензухт».

— Я не знала этого слова.

— Надо читать книги. Вы читаете немецкие книги?

— Нет.

— Надо читать. В немецких стихах целая куча этих «зензухтов». Не думайте, что я вами недоволен. В общем вы переводите неплохо. Но вам не хватает слов. Надо читать.

— Хорошо.

V

Лубенцов застал всех офицеров у Касаткина.

— Что тут стряслось? — спросил Лубенцов, усаживаясь на стул как был, в плаще и фуражке.

Касаткин, волнуясь, сообщил, что вчера вечером из Бер-

лина прибыли доктор Шнейдер и доктор Шернер — члены центрального правления христианско-демократического союза советской зоны. Они провели митинг, на котором присутствовали свыше семисот человек, и там открыто высказались против предполагавшейся земельной реформы, говоря, что она приведет к развалу сельского хозяйства. Коммунисты и социал-демократы, видимо, были захвачены врасплох, во всяком случае никто не выступил с отповедью берлинским политикам. Весь город в волнении. Кое-кто вслух агитирует против земельной реформы. Особенно отличается Грельман. Хотя сам он на митинге не выступал и ведет себя с достаточной осторожностью, но ясно, что он один из самых ярких противников реформы.

— Попадет нам от генерала Куприянова, — сказал Лубенцов. — Вы ему докладывали?

— Да.

— Что он сказал?

— Назвал меня шляпой. — Лицо Касаткина потемнело. — Еще он сказал, что, если бы вы были здесь, этого не случилось бы.

Лубенцов посмотрел на своего заместителя взглядом, полным сочувствия.

— Генерал ошибается, — сказал он. — Это просто мне повезло, что я тут не был. Что бы я сделал? Приехали вожди одной из демократических партий и желают выступить на митинге. Какие могут быть возражения? Нет, нет, Иван Афанасьевич, я вас не виню. Вот вы, товарищ Яворский, виноваты гораздо больше.

— Да, я виноват, — сказал Яворский. — Мое упущение. Я даже не знал об их приезде.

— Нехорошо. Вы должны быть в курсе всех событий.

— Сегодня они имели нахальство просить разрешение на проведение второго митинга, на электромоторном заводе на сей раз.

— И вы?

— Запретили, конечно, — ответил за Яворского Касаткин. Лубенцов сказал:

— Ну, знаете, это легче всего. Яворский, поговорите с товарищами из КПГ и СПД. У них на заводе сильные ячейки. Неужели рабочие, коммунисты и социал-демократы спасуют перед этими двумя «докторами»?

Он соединился с Куприяновым и изложил генералу свои соображения, с которыми генерал, после некоторого раздумья, согласился.

Немного позже в комендатуру пожаловали Шнейдер с Шернером. Оба они были старые люди. Шнейдер до фашистского переворота был прусским министром и членом рейхстага. Свою большую лысую голову он держал высоко, вел себя по-

чти величественно. Шернер оказался, наоборот, маленьким, юрким старичком, хитрецом и остроумцем. У него был огромный нос странной формы, без переносицы, так что казалось, что он начинается сразу же от пробора и сходит на нет у самого подбородка. Это было не лицо, а сплошной нос, который морщился, расходился складками, усмеялся, улыбался, говорил быстро, сопел громко и глядел презрительно на окружающие его мелкие носы.

Оба доктора пришли поблагодарить коменданта за разрешение устроить второй митинг. Шнейдер торжественно заявил, что они совершают турне по всей советской зоне и имеют на то разрешение СШАГ. Они очень хотели попытаться, связывался ли комендант с Берлином насчет разрешения на второй митинг, или сам, по своей инициативе, отменил приказ своего заместителя.

Лубенцов был очень любезен и вскоре усыпил подозрительность берлинцев своим хорошо наигранным равнодушием к содержанию их вчерашних выступлений, так же как и к содержанию предстоящих. Он не отказал себе в удовольствии заявить своим собеседникам, что очень хотел бы их послушать, но, к сожалению, не сумеет быть, так как занят другими делами. Он даже притворился, что вежливо скрывает ладонью зевок. Одним словом, вся атмосфера в комендатуре казалась настолько спокойной, что это поразило вождей ХДС, которые думали, что здесь после их вчерашних выступлений царит немалый переполох.

Лубенцов проводил их не только до двери, но даже на крыльцо. Они сели в машину, где их ожидал Грельман. Машина была открытая — большой «мерседес». Лысая голова Шнейдера блестела на солнце. Он стоял в машине рядом с шофером, держась одной рукой за ветровое стекло, а другой махая Лубенцову. Лубенцов вспомнил, что в такой позе ездил по немецким городам Гитлер.

Отъехав, Шнейдер надел шляпу и сел. То же самое на заднем сиденье сделал Шернер.

Лубенцов рассмеялся и пошел обратно к себе. Его хорошее настроение еще больше улучшилось, когда Яворский сообщил ему, что профессор Себастьян вчера вечером дал согласие занять пост ландрата — то есть главы немецкого районного самоуправления.

В связи с этим известием Лубенцов вспомнил о пропавшей машине профессора и вызвал к себе Воробейцева.

Воробейцев вошел и остановился возле двери. Там он стоял все время разговора. Лубенцов не обратил на это внимания. А дело было в том, что Воробейцев боялся подойти ближе, так как утром выпил и запах мог выдать его.

— Как дела с автомобилем Себастьяна? — спросил Лубенцов. — Это очень важное дело. Я поручил вам его, потому

что считаю вас человеком расторопным. А вы до сих пор ничего не сделали.

— Принимаю все меры,— отрапортовал Воробейцев.— Я лично побывал во всех воинских частях, расположенных поблизости от города. Командиры частей занимаются этим делом.

— А вы с немецкой полицией связались? Напрасно. Свяжитесь с начальником полиции Иостом. Это дельный парень, хотя и социал-демократ. Вполне возможно, что машина стоит где-нибудь во дворе или у какого-нибудь немца в гараже. Полиции легче ее разыскать, чем вам.

— Есть! Сейчас свяжусь.

Воробейцев вышел из кабинета с чувством внезапно возникшей в нем досады на Лубенцова. Досада возникла потому, что Лубенцов был прав: Воробейцеву действительно следовало прежде всего связаться с полицией, а он этого не сделал. Помимо того, Воробейцев ревновал к Лубенцову Чохова. И, наконец, досада его накапливалась в нем по той причине, что не имела выхода: ему трудно было найти в Лубенцове слабое место, над которым можно было бы посмеяться — хотя бы внутренне — или позубоскалить с кем-нибудь. Этот Лубенцов был весь в своей работе, только ею он жил. И все-таки он оставался чертовски самим собой!

Покинув кабинет Лубенцова, Воробейцев отправился в полицию к Иосту и передал ему приказание коменданта принять все меры к розыску машины нового ландрата.

Назначение Иоста на пост начальника полиции произошло не без трудностей, так как Лерхе категорически возражал против кандидатуры социал-демократа. Свою старую справедливую ненависть к соглашателям — таким, как Шейдеман, Носке, Мюллер, Вельс,— Лерхе переносил на всех социал-демократов вообще. Назначение социал-демократа на любой пост неизменно наталкивалось на его решительное и бурное противодействие.

Взаимное недоверие двух рабочих партий в Лаутербурге часто вызывало путаницу, ненужные трения и разнобой, и требовались большая осторожность, терпение и такт, чтобы сглаживать конфликты, унимать ершистого Лерхе. «Лучше враг, чем предатель»,— говаривал Лерхе в ответ на мягкие упреки Лубенцова и Яворского или на протесты своих же товарищей-коммунистов, в особенности Форлендера.

Он был прямолинеен, этот Лерхе, глубоко честен и неутомим. Его видели повсюду. Всюду он хотел быть сам, никому не доверял. Не было дня, чтобы он не выступил на двух-трех собраниях. Говорил он вдохновенно, но все примеры брал из стародавних времен, до 1933 года, и об этих временах говорил увлеченно, со страстью почти пророческой. Вернее, ее можно было бы назвать пророческой, эту страсть, если бы речь шла о

будущем, а не о прошлом. И хотя все эти воспоминания были очень полезны для молодых немцев, которым та пора казалась древностью, но беда заключалась в том, что сам Лерхе жил только прошлыми интересами.

Лерхе считал ошибкой Советской Военной Администрации то, что социал-демократическая партия была разрешена в советской зоне. Он с горечью воспринимал объективный подход лаутербургского коменданта к обеим партиям и тяжело переживал каждое новое назначение социал-демократа на любую должность.

VI

Разыскать машину даже в небольшом городе — почти то же самое, что иголку в стоге сена. Прежде всего нет уверенности, что машина находится здесь. Но если бы она и была тут, то при обилии развалин, задних дворов, гаражей, сараев, стальных закоулков найти ее — нелегкое дело.

Однако категорический приказ коменданта надо было выполнить. Иост отдал распоряжение всем полицейским провести тщательное прочесывание дворов, а сам вместе с Воробейцевым отправился тоже на поиски. Они ездили из одного двора в другой, открывали ворота и двери разных построек, а если двери были заперты, — владельцы вызывались из квартир и отпирали их. Перед глазами Воробейцева за день прошла сотня дворов. Он видел сотни автомобилей. Многие из них стояли в гаражах без резины, на деревянных брусках или бревнах — «опели» и «мерседесы», «БМВ», «вандереры» и «майбахи».

Воробейцев был убежден в том, что машину профессора Себастьяна ему не найти, но тем не менее продолжал поиски: ему нравилось входить в чужие дворы и чуть ли не вламываться в чужие квартиры, перебрасываться словечками с молодыми немками, покровительственно похлопывать по спине пожилых немцев. Кроме того, он так знакомился с возможностями приобретения автомашин. В надлежащий момент всучить начальству классный автомобиль, рассуждал Воробейцев, это значит заслужить благодарность и доброе отношение, что может оказаться не лишним в какой-нибудь момент.

В одном из дворов на Мольткештрассе из большого обветшалого дома к ним вышла девушка с ключами от гаражей. Это была высокая, разбитная немка с пышными рыжими волосами, полная не по летам. Ее толстые белые обнаженные руки произвели на Воробейцева большое впечатление. Пока Иост обследовал гараж, Воробейцев поговорил с этой девицей — ее звали Ингеборг, а сокращенно Инга. Воробейцев уже говорил по-немецки довольно сносно — во всяком случае

располагал словарем из каких-нибудь ста пятидесяти слов, при помощи которых можно было вполне объясняться, учитывая, что разговоры его были весьма далеки от философских или научных тем.

Они вошли в гараж вслед за Иостом, и среди десятка машин нашли «мерседес-бенц» профессора Себастьяна.

Иост зажег карманный фонарь, радостно забегал вокруг машины, еще и еще раз проверяя номера, и, наконец, спросил у Инги, как эта машина попала сюда. Она ответила, что «мерседес» пригнали два русских солдата; они приказали ей хранить машину, никому ее не отдавать, ибо этот автомобиль — собственность ГПУ.

Слово «ГПУ», как ни странно, было знакомо всем немцам, хотя в Советском Союзе это слово можно найти только в учебнике истории. Но в Германии и других западных странах фашистская и иная пропаганда много потрудились над тем, чтобы заstraщать людей этим таинственным и непонятным словом.

— Чепуха! — захохотался Воробейцев.

Однако, когда Иост завел машину и выехал из гаража во двор, Инга запротестовала почти со слезами на глазах, говоря, что она боится тех двоих, их мести за то, что она не уберегла машину.

— Дурочка ты, — сказал Воробейцев, смеясь и поглаживая полную руку Инги. — Нет никакого на свете ГПУ. А этих двух мы задержим. Как отведем машину, я приеду сюда и буду их дожидаться. Мы их тут захватим. Ты как живешь, отдельно или с родственниками? С родственниками? Гм... Ты этих двух тут задержи, если они придут раньше меня.

С этими словами Воробейцев сел за руль и поехал со двора. Иост сел в свою машину. Он хотел отправиться вместе с Воробейцевым к Себастьяну, чтобы вручить ему машину, но Воробейцев подумал, что лучше будет, если он сам это сделает, так как в этом случае Лубенцов будет думать, что ее разыскал он, Воробейцев. Поэтому он велел Иосту ехать по своим делам.

Перед домом профессора Себастьяна он несколько раз погудел — так громогласно, что из всех окон старых домов, расположенных поблизости, высунулись любопытные лица. Старушка с белой наколкой на голове подошла к воротам, пристально посмотрела сквозь решетку, радостно всплеснула руками и распахнула ворота. Воробейцев въехал по асфальтовой дорожке мимо дома к маленькому кирпичному гаражу. Здесь он остановил машину, вышел из нее и крикнул:

— Эй, кто там! Принимайте свой автомобиль!

К нему вышла девушка — такая миловидная и стройная, с такими тонкими, но прекрасной формы обнаженными смуглыми руками, что Воробейцев забыл об Инге и ее толстых белых руках. Он весьма почтительно расшаркался перед дочерью профессора Себастьяна. Она спросила:

— Машина прислана господином Лубенцовым?

Воробейцев криво усмехнулся и ответил:

— Почему господином Лубенцовым? Я лично ее обнаружил.

— Спасибо,— сказала она, глядя на машину и открывая то одну, то другую дверку. Она это делала с хозяйски-деловитым видом, и выражения ее благодарности были настолько сдержанны, что Воробейцев даже обиделся. Он рассчитывал на то, что возвращение украденной машины вызовет целый взрыв чувств. Он перешел на деловой тон и спросил, в порядке ли машина, не нанесен ли ей какой-нибудь ущерб.

— Все в порядке,— сказала девушка. Так как он не уходил и, покуривая сигарету, оглядывал садик, она пригласила его зайти. Они поднялись по лестнице. В маленькой гостиной она предложила ему сесть. Он присел и начал раздумывать о том, с какой стороны повести разговор. Он сказал ей несколько любезностей, которые она приняла весьма спокойно. Ее не то голубые, не то серые глаза глядели на него холодно.

— К сожалению, не могу вас ничем угостить,— сказала она.— Вы, вероятно, знаете, что мы трудно живем.

Он сказал:

— Это странно. У вас живет комендант. Он может, если захочет... Я только его помощник, но мой квартирный хозяин на меня не жалуется.

Он не мог достаточно точно выразить свои мысли по-немецки, и она слегка улыбнулась, когда он стал говорить одними только существительными без склонений и без союзов; глаголы он произносил только в неопределенном наклонении. На ее улыбку он ответил смехом.

— Вы коммунист? — вдруг спросила она.

— Нет,— сказал он, удивленный ее внезапным вопросом. Она посмотрела на него с легким сомнением в глазах.

— Правда, правда,— заверил он ее.— Советский Союз все равно коммунист — не коммунист. Советский Союз все имеет равные права,— так звучали бы произнесенные им слова, если перевести их точно на русский язык.

Она спросила, верно ли, что учиться в высших школах в Советском Союзе разрешают только коммунистам. Он сначала не понял ее, а когда понял — громко расхохотался и сказал по-русски:

— Чепуха! — и по-немецки: — Дум (глупо).

Его смех и ужимки были достаточно искренни, чтобы убедить Эрику Себастьян в его правдивости.

Тут в гостиной появился сам профессор. Он сердечно поблагодарил Воробейцева. Воробейцев, получив приглашение приходить к Себастьянам, откланялся и пошел в комендатуру.

Над городом сгустились сумерки. Осветились окна домов. Только в комендатуре почему-то было темно во всех окнах, и

Воробейцев удивился этому. Он прошел мимо часового и поднялся наверх. В приемной на диване сидел Лубенцов — одетый, в плаще и фуражке, так, словно он еще не раздевался с момента своего приезда в город. Остальные офицеры тоже были здесь — один сидел, другой расхаживал по комнате, третий стоял, облокотившись на спинку стула.

Воробейцев отрапортовал Лубенцову насчет машины. Лубенцов сказал:

— Хорошо. Садитесь.

Воробейцев сел, не понимая, почему тут царит такая напряженная атмосфера. Света не зажигали. Яворский ходил из угла в угол. Потом из фраз, которыми время от времени перебрасывался Лубенцов с Касаткиным и Яворским, Воробейцев понял, что все очень взволнованы, так как только что начался митинг на заводе. Этот митинг должен был показать зрелость двух социалистических рабочих партий, их способность противопоставить демагогии буржуазных политиков свою, демократическую, линию, от которой зависело будущее Германии.

Воробейцев подсел к Чохову, сидевшему у окна. Чохов, как до некоторой степени и Воробейцев, не понимал, почему так волнуется Лубенцов. В конце концов будет так, как скажет советская комендатура. Комендатура за земельную реформу — значит, будет земельная реформа. Решает реальная сила, а не митинги и не ораторские уловки. Поэтому он с некоторым удивлением следил за Лубенцовым, который обычно курил мало, а теперь — сигарету за сигаретой, и с неменьшим удивлением усмехался, когда звонил генерал Куприянов, — а он звонил уже раза три, — видимо, взволнованный не менее Лубенцова и все спрашивавший, как проходит митинг.

Воробейцев, пожав плечами, сказал:

— Товарищ подполковник! По-моему, надо туда съездить кому-нибудь из нас, побывать там. Это будет полезно. Пусть они увидят, что за ними надзор.

Лубенцов повернул к Воробейцеву лицо и негромко сказал:

— Мы уже обсуждали этот вопрос и решили, что лучше будет, если мы туда не поедem.

— А я попрежнему думаю, — вмешался Меньшов из дальнего угла комнаты, где он стоял, заложив руки за спину и прислонившись к стене, — что тут деликатничать нечего. Вопрос серьезный...

— Серьезный, серьезный! — сказал Касаткин, остановившись посреди комнаты. — Потому мы так и решили, что серьезный. Сергей Платонович уже излагал нашу точку зрения. Немцы сами заинтересованы в реформе, и сами пусть защищают ее от нападок. В конце концов это чисто немецкое дело. Легче всего отдавать приказы. Они и будут потом ссылаться: нам-де было приказано... наша хага с краю...

Раздался звонок телефона. Яворский схватил трубку.

— Хорошо,— воскликнул он по-немецки.— Понятно. Хорошо.

Положив трубку, он сказал:

— Шнейдер кончил свою речь. Полное молчание. Ни одного аплодисмента.

Лубенцов ничего на это не сказал, только закурил очередную сигарету.

— Они им дадут жару,— сказал Чегодаев и засмеялся.— Рабочие — они все-таки рабочие, даже немецкие. Нет, определенно я думаю, что все там будет хорошо. Я знаю этот завод! Там есть ребята просто замечательные.

— Возможно, конечно,— возразил Меньшов, усаживаясь на краешек стола.— Но, как говорится, на бога надейся, а сам не плошай.

— А мы разве плошаем? — спросил Яворский, протирая очки.— Разве мы не делаем все, что нужно, для того, чтобы они поняли? Что мы, сложа руки сидим все это время? Ты не то говоришь. Эта пословица не к нам, а к ним относится: на комендатуру надейся, а сам не плошай.

— Они на нашей территории не церемонились,— негромко сказал Воробейцев.

— То они! — воскликнул Чегодаев, стукнув большим кулаком по своему колену.

— Э, ладно,— махнул на него рукой Воробейцев и отвернулся к Чохову.

За этим «э, ладно» скрывалась мыслишка, которая могла бы быть выражена словами: «Все мы одним миром мазаны». И надо сказать, что Воробейцев действительно так думал. Идеиные вопросы отнюдь не волновали его — и не потому, что он считал, что все люди братья, а потому, что считал, что все люди скоты. Как бы там ни было, он отвернулся, выражая этим свое равнодушие к продолжавшемуся разговору, и стал думать об Эрике Себастьян и ее тонких девических руках. Потом он вспомнил об Инге и вдруг подумал, что ведь надо было поймать этих двух нарушителей. Кстати, ему просто хотелось уйти из комендатуры, потому что он был не больно заинтересован этим митингом и не придавал ему во всяком случае того значения, какое придавали все остальные.

Он опять встал и доложил коменданту о том, что считает нужным отправиться в тот гараж, где была обнаружена украденная автомашина, для задержания лиц, совершивших этот поступок.

Лубенцов разрешил ему идти. Тогда Воробейцев не без лукавства, желая, чтобы товарищ разделил с ним предстоящий приятный вечерок, сказал:

— Я один не справлюсь с этим делом. Их двое.

— Возьмите с собой автоматчика,— рассеянно сказал Лубенцов.

— А может быть, капитан Чохов пойдет со мной?

— Ладно,— так же рассеянно сказал Лубенцов.— Давай. И Воробейцев с Чоховым покинули кабинет.

VII

— Ты совсем про меня забыл,— сказал Воробейцев, когда они вышли из комендатуры.— Ни разу у меня не был. Все не можешь наглядеться на своего Лубенцова. Неужели тебе с ним интересно? По-моему, он только и говорит, что о земельной реформе, да о заготовках, да о репарациях, да о демонтаже, да о вине немецкого народа... Не человек, а ходячая газета. Где ты живешь?

— В комендатуре, вместе с командиром взвода.

— Это на тебя похоже. Твой идеал — казарма. Вот здесь за углом моя квартира, зайдем на минутку.

Квартира Воробейцева в Лаутербурге оказалась далеко не такой шикарной, как в Бабельсберге. Воробейцев стал осторожнее. Он занимал теперь две комнаты в двухэтажном доме. Правда, комнаты были большие, с обширным балконом и отдельной лестницей вниз во двор. Стены были увешаны картинами, полы — застланы коврами. Раньше в этой квартире жила Альбина Терещенко.

— Мой хозяин — владелец книжного магазина,— сказал Воробейцев.— Тоже, между прочим, не нахвалится твоим Лубенцовым. Тот у него повадился покупать книги.— Говорил он это с издевкой, хотя прекрасно сознавал, что никаких оснований для насмешек не имеет и что факт чтения книг не может очернить перед Чоховым Лубенцова, скорее даже наоборот. И сознавая все это и сам не испытывая никакого желания насмеяться над Лубенцовым, он все-таки говорил все, относящееся к Лубенцову, в тоне насмешки. Он называл его «наш», часто прибавляя к этому слову «то»: «а наш-то опять поехал в деревню», «наш-то здорово пробрал Касаткина», «наш-то немецкую классику читает» и так далее. И этим оборотом речи, неопределенно-язвительным, он пытался себя и Чохова настроить против Лубенцова, хотя не отдавал себе отчета, зачем он это делает и для чего ему это нужно.

Сегодня, после посещения дома профессора Себастьяна, он решил пустить слушок, в который сам ни капли не верил.

— Наш-то знал, где поселиться. Там такая девчонка — дочь профессора! Яблочко.

— Ладно, пошли,— сказал Чохов.

Они пошли по слабо освещенным улицам, миновали несколько кварталов сплошных развалин. Улицы были уже рас-

чищены от щебня, и их гладкий асфальт и ровные тротуары составляли пугающий контраст с обрамлением из зияющих окон, груд кирпича, обломков и торчащих из них железных балок.

Инга очень обрадовалась приходу Воробейцева, так как весь вечер жила в страхе, что вот-вот появятся «хозяева» автомобиля. Она провела их по темной крутой деревянной лестнице в чердачное помещение, где за маленькими окошками находились клетушки, в которых жило множество людей. Здесь Инга познакомилась русских офицеров со своим отцом, седоусым железнодорожником. Здесь же, в углу на сундуке, спал двухлетний ребенок.

— Это чей?— спросил Воробейцев.

— Мой,— ответила Инга.

Воробейцев удивленно свистнул: Инге было семнадцать лет.

— А муж где?— спросил он.

Она ничего не ответила.

— Зачем ты ее допрашиваешь?— спросил Чохов.— Всегда лезешь не в свое дело.

Они уселись за стол. Воробейцев, человек предусмотрительный, вынул из полевой сумки бутылку и закуску. Отец Инги прищелкнул языком.

— Давно не пробовал,— сказал он.— Нельзя достать. То есть достать можно, но дорого.

После ужина Воробейцев встал и поманил за собой Ингу:

— Пойдем посмотрим... Может быть, они пришли.

Инге не хотелось идти с Воробейцевым. Она замялась и сказала:

— Если придут, то обязательно найдут сюда за ключами.

Воробейцев обиделся, рассердился, начал ее уговаривать. Она поежилась и вышла с ним.

Чохов угостил отца Инги сигаретой, и тот, блаженно пуская клубы дыма, говорил:

— Данке, данке, герр офицер.

Видно было, что он рад сигарете больше, чем вину и еде. Он показал Чохову набор трубок разных размеров и фасонов. Но во всех этих трубках не было ни крупинки табака. Чохову захотелось объяснить немцу, что надо сажать табак, что в России в войну сами крестьяне, да и городские жители сажали табак, но он не знал, как объяснить все это по-немецки, и поэтому сидел молча, курил и думал о чем-то. Немец захмелел и стал рассказывать Чохову про свои дела. И хотя он видел, что Чохов мало что понимает, он все-таки объяснял очень старательно, повторяя фразы по несколько раз. Ему хотелось, чтобы русский офицер его понял. Он говорил о том, что старики, такие, как он, всегда знали цену Гитлеру, чувствовали, к чему Гитлер ведет Германию, ненавидели и презирали его. Он жаловался на молодежь, которую Гитлеру удалось обмануть

и развратить. Инга была членом БДМ (Союза немецких девушек — одной из многочисленных гитлеровских массовых организаций). Она тоже кричала «хайль Гитлер» до отупения. Летом она, как и другие девушки, находилась в лагерях. Там она и забеременела. Когда отец стал ее упрекать, она пригрозила ему, что донесет в свою организацию, и он вынужден был все это пережить — весь этот позор, который Инга не считала позором, так как в лагерях БДМ такие дела поощрялись руководителями, и ребенок, рожденный таким образом, назывался «кинд фюр фюрер» (ребенок для фюрера).

Чохов, ничего почти не понимая, тем не менее утвердительно кивал головой.

Вскоре вернулись Воробейцев и Инга. Она была угрюма, а он очень сердит. Прервав старика на полуслове, он сказал Чохову:

— Ладно, хватит ждать у моря погоды. Пойдем, пожалуй.

Они уже совсем собрались, когда раздался громкий стук в дверь и низкий мужской голос произнес по-русски:

— Эй, вы там! Ключ дайте!

Воробейцев прыгнул вперед, как кошка, быстро распахнул дверь и втащил в комнату опешившего и сразу же перепугавшегося на смерть сержанта. Это был молодой — лет двадцати пяти — рыжеватый парень в надвинутой на самые глаза засаленной пилотке. При виде двух офицеров он растерянно замигал глазами, но тут его взгляд упал на пустую бутылку, стоявшую на столе, и он сразу же несколько воспрянул духом.

— Вы чего меня хватаете, товарищ капитан? — спросил он обиженно. — Я бы и сам вошел. Дай ключи, — обернулся он к Инге.

— Ключи? — насмешливо переспросил Воробейцев. — Пошли в комендатуру, там тебе дадут ключи. Ключи от рая. Будешь, как святой Петр. Слышал про такого?

— Вы почему со мной так? — продолжал свое сержант, в то же время косясь на дверь. — Раз я сержант, а вы офицер... Я тоже здесь по поручению.

— По поручению? — продолжал язвить Воробейцев. — По поручению начальника мародерской команды?

Чохову надоела эта перепалка, и он сказал:

— Ваша увольнительная. С вами говорят офицеры советской комендатуры. Поправьте пилотку. Встаньте, как полагается. Есть у вас увольнительная?

Сержант посмотрел на Чохова и сразу понял, что шутки плохи. Поддавшись строгому и внушительному тону, сам Воробейцев тоже перестал подшучивать в своей манере, поправил пояс, стал сух и сдержан.

Увольнительной у сержанта не оказалось. Бежать было невозможно. Он сделал несколько глотательных движений, потом произнес просительно:

— Товарищи офицеры, я тут ни при чем... Мне поручили. Я ведь ничего плохого не думал. Верно, взяли машину. У них машин много. Покатались бы и бросили. Баловство — и все.

Слушая эти слова, Воробейцев не мог не вспомнить о том, что свой «опель-капитан» он тоже взял примерно таким же образом, как этот солдат — «мерседес» профессора Себастьяна; если бы его, Воробейцева, за это задержали и привели в комендатуру, он говорил бы то же самое, ибо он тоже считал это безделицей, этакой оккупантской резвостью, вполне невинным, как говорил этот сержант, баловством. Но несмотря на свои мысли или, может быть, благодаря им, он глядел на сержанта враждебно и сурово, и в его глазах сержант видел холодный блеск строго исполняемого долга — чуть ли не сияние невинности, торжествующей над грехом.

Что касается Чохова, то он от души пожалел сержанта, хотя сам никогда бы не мог совершить такого проступка, как сержант. А пожалел он его потому, что все-таки сержант был русский человек, воевавший, вероятно, четыре года в невыносимых условиях, делавший скорее всего свое дело честно и самоотверженно, а проступок свой он совершил, может быть, незнательно, поддавшись той атмосфере легкости и беспечности, которая на первых порах царит среди войск в побежденной ими стране. И в конце концов, думал Чохов с некоторой досадой на немцев, в том числе даже на эту толстую добродушную Ингу и ее славного отца, эти немцы немало награбили в других странах; ничего страшного, если они хлебнут хотя бы сотую часть того, что хлебнули русские, поляки, чехи и французы. И даже когда Чохов вспомнил о Лубенцове, он в душе упрекнул своего друга за чрезмерное, как бы сказать, пристрастие к немцам и чрезмерную же требовательность к своим.

Несмотря на все эти мысли, Чохову даже не могло прийти в голову отпустить сержанта на все четыре стороны. Чохов был прислан сюда своим начальником, и он должен был задержать правонарушителя, даже если бы для этого пришлось вступить в перестрелку. Поэтому он надел фуражку и, кивнув Инге и ее отцу, подошел к сержанту.

— Пошли, — сказал он.

Сержант покорно повернулся и пошел.

Молча двигались они втроем по ночному городу, где все уже совсем затихло. Сержант шел, опустив голову. Лишь когда показалась комендатура, скупо освещенная четырьмя фонарями, в свете которых алел, подрагивая, флаг над крыльцом, сержант замедлил шаги и полуобернулся к Чохову.

— Товарищ капитан, — сказал он. На Воробейцева он не обращал никакого внимания. — Виноват я, товарищ капитан.

— Ладно, иди, не разговаривай, — оборвал его Воробейцев, уязвленный тем, что тот считал Чохова более важной персоной, чем его, Воробейцева. — Там разберемся.

Сквозь узкие щели на тяжелых оконных занавесях верхнего этажа пробивался свет. В комендатуре не спали.

Они все трое поднялись по лестнице и вошли в приемную. Приемная была ярко освещена, но пуста. Зато из кабинета доносился громкий разговор. Воробейцев приоткрыл дверь и замер от неожиданности: кабинет был полон людей. На диване — опять-таки в плаще и фуражке — сидел Лубенцов. Остальные офицеры комендатуры сидели кто где. Были здесь три не знакомых Воробейцеву офицера — повидимому, из Альтштадта — и два соседних коменданта — Леонов и Пигарев. Смешно, что все были без шинелей и фуражек, кроме самого «хозяина».

— Генерал Куприянов на проводе, — сказал Меньшов, протягивая телефонную трубку Лубенцову.

— Да, товарищ генерал. Да, все закончилось. Вы уже знаете? Я вижу, информация у вас не из одного только источника. — Лубенцов помолчал, потом коротко засмеялся и продолжал: — Митинг прошел под лозунгом «реакция поднимает голову». Рабочие показали себя с наилучшей стороны. Подробный отчет я вам вышлю утром. Во всяком случае, Шнейдер полностью провалился. Убежал, пальто оставил, и рабочие потом это пальто на палку подняли и вынесли вслед за ним к машине.. Да нет, особых эксцессов не было. Бить его не били — это неправда. Выступили девять рабочих. Один инженер. Сами руководители демократических партий могли уже и не выступать... Инженер и два рабочих не были подготовлены, они выступили стихийно, но зато здорово. Да, да, вот именно по-большевистски выступили. Один рабочий — Шульц, — я его знаю, спокойный такой, медлительный, — поднялся на трибуну и спрашивает: «Не ваш ли родственник тюрингенский помещик Шнейдер? Не о его ли земле вы заботитесь, господин Шнейдер?» Вопрос был не в бровь, а в глаз. Может быть, это и вправду его родственник. Не знаю. Во всяком случае — полный разгром. Рабочий коллектив высказался определенно за земельную реформу, за демократизацию. А это крупнейшее предприятие в районе... Хорошо. Есть. Выеду.

VIII

— Товарищ подполковник, — доложил Воробейцев, приложив руку к козырьку фуражки. — Один из мародеров, забравших машину у профессора Себастьяна, задержан.

Лубенцов повернул голову к Воробейцеву. На его лице застыла недоуменная гримаса, словно он о чем-то вспоминал и никак не мог вспомнить. Наконец, он сказал:

— Ах, да. — Он помолчал. — Ладно, введите его.

Вошли Чохов с сержантом. Сержант застыл посреди комнаты с выражением безмерной усталости на молодом веснушчатом лице. Несколько мгновений он смотрел вниз, на паркетный пол,

а потом, не поднимая головы, поднял глаза и стал смотреть на подполковника Леонова, считая, что он здесь самый главный. Тут заговорил Лубенцов, но сержант, бросив на него мимоличный взгляд, все равно продолжал смотреть на Леонова, так как Лубенцов был одет и выглядел скорее как гость.

— Чего же вы не представляетесь?— спросил Лубенцов.— Фамилия, звание, из какой части?

— Сержант Белецкий, из отдельного противотанкового дивизиона.

— У полковника Соколова служите?

— Так точно,— ответил сержант, задрожав и все еще продолжая глядеть на подполковника Леонова.

— Кто вам разрешил отлучиться без увольнительной?

— Я сам... без разрешения,— выдавил из себя сержант.

— Ну хорошо,— нетерпеливо сказал Лубенцов.— Но машину? Для кого вы брали машину? Для себя вы, что ли, брали машину? Зачем вам понадобилась эта машина? Что вам нужно было возить на этой машине? Ну, отвечайте, объясните мне.

Так как сержант молчал, Лубенцов тоже перестал говорить.

— Я виноват, товарищ комендант,— сказал, наконец, сержант.— Баловство. Одно баловство.— Это слово он повторил еще несколько раз, переводя взгляд с Леонова на Лубенцова и обратно, растерянный, казалось, не оттого, что он совершил проступок и теперь будет наказан, а главным образом оттого, что никак не может понять, кто здесь главный и к кому, собственно говоря, надо обращаться.

— Вы откуда родом?— неожиданно спросил Лубенцов. Эти слова прозвучали почти ласково среди тяжелого молчания многих людей.

— Я из Саратова, из Саратова я,— вдруг быстро заговорил сержант, таким тоном, словно то обстоятельство, что он родом оттуда, может явиться для него спасением.— Родители мои саратовские. И я лично жил до двенадцатого ноября сорок первого года в Саратове, а двенадцатого ноября был призван в действующую армию.

Эти простые слова, произнесенные тоном сокровеннейшей исповеди, казалось, никого не растрогали, и все продолжали смотреть на сержанта сурово. Только лицо Чохова стало необыкновенно грустным, но он стоял позади сержанта, и тот не мог его видеть.

Но если сержант думал, что все эти офицеры равнодушны к его судьбе,— он ошибался. Хотя Лубенцов смотрел на него с приличествующей данному случаю строгостью, на самом деле ему было очень жаль сержанта, и он втайне сердился на Чохова и Воробейцева за то, что они задержали этого человека, хотя машина была уже найдена и главное таким образом уже было сделано. Он мысленно представил себе уютный садик профессора Себастьяна, фонтан с амуриком посередине и досадливо

подумал о том, что надо же было этому молодому парню в ноябре 1941 года быть призванным в действующую армию, для того чтобы спустя четыре года оказаться здесь, в этом далеком и чужом Лаутербурге, и зайти тут в некий дом с садом, где проживает некий профессор с дочерью. И хотя профессор Себастьян, и его дочь, и сад, и фонтан не были непосредственно повинны в том, что сюда пришли из Саратова и других городов русские люди, которым в тех городах было хорошо, но ведь часть вины была и на них. И все-таки, несмотря на все это, Лубенцов был обязан предать сержанта Белецкого суду военного трибунала по обвинению в мародерстве. Это был не только его долг — это было полезно, необходимо как ради того, чтобы установить правильные, здоровые отношения с местным населением, так и для того, чтобы укрепить дисциплину в рядах оккупационных войск.

Он встал, подошел к столу, написал «записку об арестовании» и протянул ее Воробейцеву.

— Пока посадите его на гауптвахту,— сказал он, не глядя на сержанта.— Сообщите полковнику Соколову и оформляйте материал для передачи дела в военный трибунал.

Воробейцев щелкнул каблуками и вместе с сержантом вышел из кабинета.

— Жалко парня,— пробормотал подполковник Леонов. Лубенцов на это ничего не ответил.

— Он был только исполнителем,— сказал Чохов.— Честно провоевал всю войну. Что он? Солдат! Ему сказали: достать машину, он и достал.

Лубенцов и на это ничего не ответил и начал складывать в папку какие-то бумаги на столе. Леонов и Пигарев надели фуражки. Вошел помощник дежурного сержант Веретенников и сказал, что машина готова.

Лубенцов и два других коменданта, вместе с тремя альтштадтскими офицерами из СВА, вышли из кабинета, спустились вниз по лестнице и расселись по машинам. Машин было три. Лубенцов сел вместе с Леоновым, с которым познакомился еще в Альтштадте у архитектора Ауэра. Лубенцов и Леонов любили друг друга. Несмотря на то, что Леонов был значительно старше Лубенцова,— ему было сорок лет,— но с Лубенцовым он чувствовал себя как с равным. Во время коротких встреч и поспешного обмена впечатлениями и взглядами на те или иные комендантские дела Леонов почуял в Лубенцове ту прекрасную смесь простодушия и ума, которая называется обаянием. Леонов был куда опытнее Лубенцова — до некоторой степени он мог считать себя даже участником гражданской войны, так как, будучи безпризорником, был подобран артиллерийской батареей при знаменитой 25-й Чапаевской дивизии. Шестнадцати лет — в 1921 году — он уже был секретарем укома комсомола на Урале. Не имея ни отца, ни матери, он с детства привык

считать отцом и матерью советскую власть, и поэтому не просто, как многие другие, был сторонником советского строя,— он любил этот строй и весь советский уклад жизни горячей и интимной любовью, о которой никогда не говорил, но которую в нем все ощущали.

Так как за рулем сидел немец, разговор шел о безразличных вещах. Однако здесь, в машине, незримо присутствовал рыжеватый сержант Белецкий, и оба коменданта думали о нем. Им казалось, что они видят его, как он беспомощно стоит посреди большой комнаты, сторбившись и сжимая и разжимая короткие пальцы больших рук.

Лубенцов сказал:

— Принципиально важное значение митинга заключается в том, что сами немцы сказали свое слово. Я лично в связи с этим убедился в жизненности реформы... Никакая армия не может принести свободу в побежденную страну, если народ этой страны не желает свободы. Мы можем дать только первоначальный толчок.

— Это глубокая мысль,— сказал Леонов.— Ты прав. Но надо иметь в виду, что обыватель часто не знает сам, где для него польза, а где вред. Приходится его наталкивать на верное решение вопроса. Поэтому то, что ты называешь первоначальным толчком,— дело длительное и тонкое.

«Сержант Белецкий сидит теперь на гауптвахте в ожидании решения своей участи,— думал Лубенцов,— и это все входит в комплекс «первоначального толчка», той советской политики, которую мы проводим в Германии. И хотя мне этот сержант дороже десяти немецких профессоров-нейтралов, которые еще сегодня не знают, что скажут завтра, но я обязан предать его суду».

— Этот ваш новый ландрат,— сказал Леонов,— что он собой представляет?

— Теоретик,— ответил Лубенцов.— Автор многих научных трудов.

— У них теория и практика в химической промышленности были тесно увязаны. Профессор Бош — руководитель «ИГ Фарбениндустри», крупнейшего из немецких химических концернов,— одновременно был выдающимся ученым-химиком. Доктор Дуисбург — тоже. Ты поговори с этим Себастьяном, он может тебе много интересного рассказать о немецкой химической промышленности... Кстати, у тебя в районе расположен химический завод, входящий в «ИГ Фарбениндустри».

— Да. На днях начнем его демонтировать.

— Мне кажется, тебе следует поставить вопрос о приостановке демонтажа. После земельной реформы, хотя бы для того, чтобы доказать ее рентабельность, понадобится много химических удобрений. Где мы их возьмем? Из России, что ли, повезем? Невыгодно! Глупо! Ведь и иприт и минеральные удобрения делаются из одного и того же сырья — каменного угля. На-

до только что-то убавить или добавить. Ты разужнай про это дело. Нет ничего легче, чем разобрать станки и куда-то их отпратить, упаковать лабораторное оборудование и погрузить в вагоны... А потом что? Обратно везти?

Машины въезжали в Альштатт. Вскоре они остановились возле здания комендатуры. Тут стояли десятка два других машин — видимо, съехались все или почти все коменданты округа.

Совещание продолжалось не более часа. Генерал Куприянов не любил продолжительных разговоров. Он заслушал доклады трех комендантов, дал оценку их работы, затем выступил подполковник Горбенко. Он сообщил, что проект постановления о земельной реформе принят немецкими партиями и будет на днях подписан правительством провинции. В заключение Куприянов произнес несколько напутственных слов:

— Начнется конфискация помещичьих земель и крупных кулацких хозяйств, дележка земли между крестьянами. Это очень ответственный момент, от которого зависит многое. Держите ухо востро! Под вашим наблюдением будет проходить великое мероприятие — да, да, великое, и не приходится его преуменьшать, — которое, наконец, приведет к реализации вековой мечты германских крестьян, мечты, за которую отдал свою жизнь вождь крестьянской революции Томас Мюнцер четыре столетия назад... Последствия этой реформы неисчислимы. Провала ее нам история не простит.

Генерал Куприянов не любил высокопарных слов, и если произнес их теперь, то для того, чтобы коменданты в текучке мелких повседневных дел не забывали о том значении, какое их работа имеет для истории Европы, а не только для их служебного списка.

После совещания, когда все коменданты кучками по два, по три человека стали выходить из кабинета, Куприянов окликнул Лубенцова.

— Вы ужинали? — спросил он. — Не ужинали? Возьмите Леонова и пошли ко мне.

Пигарев дожидался Лубенцова внизу, но сразу же заметив, что генерал некоторых комендантов, и Лубенцова в их числе, отличил и пригласил к себе, очень обиделся, ревниво посмотрел им вслед и, мрачный, уехал.

Лубенцов и еще несколько комендантов пошли с генералом пешком через спящий город.

По дороге Лубенцов сказал Куприянову о химическом заводе. Генерал задумался.

— Пожалуй, это верно, — сказал он, наконец. — Демонтаж мы пока приостановим. Я свяжусь с начальником СВА. Послушаем, что он скажет.

Они подошли к дому, где жил генерал.

— Тише, — предупредил Куприянов остальных, отпирая дверь. Они на цыпочках прошли в дом. В большой комнате,

освещенной только проникавшим в окно светом уличного фонаря, генерал шепотом сказал:

— Рассаживайтесь. Только потише. Жена приехала, спит с дороги. Устала и раздражена,— не успел ее встретить на вокзале, задержался на совещании с немцами.

Он комично развел руками, зажег свет, открыл буфет и поставил на стол синие банки с икрой и две бутылки водки,— не какой-нибудь, а особой Московской, по которой так тосковали души комендантов и которую не могли заменить никакие местные шнапсы и ликеры, как бы ни были они хороши.

— Все отечественное,— сказал генерал, довольно улыбаясь.

Так как у Лубенцова из головы все не выходил тот сержант, он, после некоторого раздумья, рассказал Куприянову всю историю. Куприянов, видимо, уловил в тоне рассказа сомнения, одолевавшие Лубенцова, но ничего не сказал, только развел руками и заговорил о другом.

— С этим Шнейдером получилось хорошо,— сказал он.— Понимаете, мы получили конкретную мишень. Демократические партии — в том числе и честные люди из партии самого Шнейдера — имеют конкретный объект для борьбы. То, что он и поддерживающие его группы против земельной реформы,— это мы знали. Но высказавшись открыто, он обнаружил себя, свою идеологию. Это полезно. Нельзя драться в темноте.— Он негромко рассмеялся.— То, что он пальтишко забыл,— тоже хорошо. Символично. Кстати, пальтишко это прислали сюда. Хорошее пальтишко, драповое. Завтра буду ему вручать. Приятная процедура.

После ужина Куприянов сунул Лубенцову и Леонову по бутылке водки и по коробке икры.

— Вы у нас дальние,— сказал он,— военторг до вас ничего не довозит, все застревает по дороге. Берите, берите...

IX

Среди многих последствий митинга на большом заводе «Лаутербург АГ» обозначилось и то последствие, что Лубенцов особо заинтересовался заводом, рабочими и инженерами, их материальным положением, настроениями. На следующий же день он поехал на завод и не узнал его, настолько все здесь изменилось в сравнении с тем, что застал Лубенцов, приехав впервые в Лаутербург. Он не мог не удивиться тому, как меняют пейзаж работающие люди, как те же пакгаузы, дворы, большие сложенные из красного кирпича цехи, узкоколейные железные дороги до неузнаваемости меняют свой облик, когда появляется человек и когда все это нагромождение построек, металла, камней приобретает смысл.

«Рабочие — всегда рабочие, даже немецкие», — вспомнил он изречение Чегодаева и вполне согласился с ним, увидев людей в спецовках, стоящих у станков, двигающихся с вагонетками по огромным дворам. Черное лицо паровозного машиниста, выглядывающее из окошка «кукушки»; громкие гортанные возгласы крановщиков, вззирающих из своих вздыбленных к небу железных клетушек на расстилающийся внизу дымный деловитый мир; мастера в синих тужурках, со сложенными металлическими метрами, торчащими из карманов; запах металлической стружки и машинного масла в механическом цехе; — одним словом, все зрелище промышленного предприятия произвело на Лубенцова то впечатление силы и целеустремленности, какое производит зрелище любого завода на постороннего человека.

Но в данном случае Лубенцова интересовал не сам по себе завод и даже не то, как он выполняет план. Его интересовали здешние люди, к которым он после вчерашнего митинга испытывал чувство, похожее на нежность.

Занимал ли и он в их сердцах какое-нибудь место — то есть не он лично, а то, что он представлял в этом городе? Понимали ли они чистоту его помыслов, его стремление к совмещению государственных интересов Советского Союза с интересами немецких рабочих, — а он был убежден, что эти интересы совпадают. Медленно проходя по территории завода в сопровождении инженера Маркса, Лубенцов пытливо вглядывался в лица. Рабочие в свою очередь внимательно глядели на коменданта, а когда он проходил мимо, провожали его взглядами.

Истины ради надо сказать, что к Советской Военной Администрации рабочие в то время еще относились настороженно. Многие им было неясно, и нельзя утверждать, что чувство вины за окончившуюся недавно войну глубоко укоренилось в их сознании. Это чувство вины существовало, но оно легко забывалось, что свойственно людям при таких обстоятельствах. И так как оно забывалось, то у многих рабочих — и не у худших, а у лучших среди них — проскальзывало недоумение, почему Советский Союз, рабочее государство, взимает с Германии крупные репарации, демонтирует заводы и фабрики, нанося этим ущерб не бывшим правителям Германии, которые пока находились в нетях, а самому германскому населению. Понятно, когда это делают американцы и англичане, но непонятно, что то же самое или почти то же самое проводят советские люди. И несмотря на то, что немецкие рабочие знали — не могли не знать — о колоссальных потерях, причиненных германской армией Советскому Союзу и тем же советским людям, но они, немецкие рабочие, — совсем по-человечески, — гораздо легче примирялись с чужой бедой, чем со своей собственной.

И все-таки, вопреки всем сложностям и противоречиям в сознании рабочих, это были рабочие! И они в решительный

момент высказались за демократическую реформу. Поистине рабочие были бы очень удивлены, если бы узнали, как они вдохновили советского коменданта.

Лубенцов отправился в ландратсамт к профессору Себастьяну, чтобы вместе с ним поехать по деревням.

Профессора на месте не оказалось — он уехал в Галле, куда его пригласил президент провинции, престарелый профессор Рюдигер.

От Рюдигера Себастьян вернулся вечером, очень расстроенный. Рюдигер ознакомил его с проектом земельной реформы, которую президент провинции должен был подписать и не хотел подписать. Он позвал своего старого друга именно с той целью, чтобы посоветоваться с ним. Профессор Себастьян, ознакомившись с проектом, ужаснулся и даже слушать не хотел об этой реформе или по крайней мере о своей причастности к ее проведению. Потом он оказался свидетелем разговора Рюдигера с его заместителем — коммунистом Карлом Вандергастом. Вандергаст старался убедить Рюдигера в необходимости реформы. Он хорошо знал историю Германии последних десятилетий и, аргументируя свою точку зрения многочисленными фактами и личными воспоминаниями, произносил убежденно и страстно:

— Как вы этого не понимаете! Юнкерство — это война. Кто не хочет рейхсвера, тот должен позаботиться о ликвидации помещиков. Кто не хочет в конечном счете фашизма, — должен ликвидировать класс помещиков.

Он потрясал своей правой рукой, изуродованной палачами в концлагере Маутхаузен. Это было красноречивее слов.

Затем к Рюдигеру приехал советский генерал, начальник СВА, умный и блестящий политик, которого Рюдигер ставил необычайно высоко и считал искренним другом немецкого народа. Генерал притворился, что приехал по другому поводу, но, конечно, не прошло и пяти минут, как разговор перешел на проект земельной реформы. Генерал говорил мягко, улыбаясь, словно его не очень заботила судьба этой реформы.

— Неужели вы думаете, — спросил он, — что мы сторонники реформы ради доктринерства, ради того, чтобы провести в жизнь некую — пусть будет правильную — теорию? Неужели вы считаете нас такими узко мыслящими людьми? Земельная реформа — необходимость. Это нормальная демократическая реформа, недоделанная буржуазной революцией.

Вернувшись в Лаутербург на своем «мерседесе», Себастьян узнал в ландратсамте, что его разыскивает комендант. Он при этих обстоятельствах не хотел встречаться с Лубенцовым и опять выслушивать убеждения, которые были ему известны, и мотивы, которые он уже знал наизусть. Усевшись за столом в своем кабинете, он велел отвечать всем, кто бы ни звонил, что он еще не вернулся.

Ясное дело, что Рюдигер подпишет закон о земельной реформе. Себастьян хорошо знал старика. В крайнем случае он уйдет в отставку, что, конечно, русским невыгодно. Что же делать ему, Себастьяну? Тоже подмахнуть? Вопрос заключается в том, может ли он это сделать по совести. Он был против земельной реформы. Он был вообще против реформ. Почему? Со свойственной ему ясностью мысли он откровенно сказал себе, что он против реформы по той причине, что против нее были его многочисленные друзья, родственники, наконец все его собственные представления и принципы. Он считал, что в принципе незаконно забирать у людей их собственность. Но дело было не только в этом. Дело было и в том, что эта собственность принадлежала его друзьям, знакомым, — его кругу. Он соглашался с доводами коммунистов, что помещичье землевладение в Германии в прошлом порождало множество отвратительных последствий, что помещичьи имения были гнездами реакционного офицерства, пошедшего затем в услужение к Гитлеру. Но из этого он делал вывод, что надо конфисковать имения военных преступников и нацистских вожakov, которых он от души ненавидел и презирал. Однако он не мог согласиться с конфискацией вообще всех имений потому только, что они большие.

А будут ли счастливы люди в своих маленьких хозяйствах? И может ли вообще человек быть счастливым?

Сторож затопил камин, и профессор, глядя на огонь и покуривая сигарету, повторял эти слова: «Может ли вообще человек быть счастливым?» Но жизнь требовала решений, и Себастьян волей-неволей возвращался к проблеме дня. Перед его глазами проходили лица Рюдигера, Вандергаста, генерала, Шнейдера, Лерхе, наконец — живые синие глаза молодого коменданта.

В советских офицерах чувствовалась глубокая убежденность. Их ненависть к помещикам была Себастьяну понятна. К русским помещикам. Себастьян понимал природу их ненависти и уважал ее. Но он не мог на этом основании возненавидеть помещиков немецких. Честно говоря, он считал, что немецкие помещики гораздо благороднее, порядочнее, симпатичнее и умнее, чем русские помещики. Но не он ли некогда на таких же весьма шатких основаниях считал Вильгельма II человеком гораздо более благородным, симпатичным и умным, чем Николай II? В 1917 году, узнав о том, что русские свергли царя Николая II, он, Себастьян, воспринял это, как вполне естественное, справедливое и разумное дело. Но даже тогда, в феврале 1917 года, он не допускал мысли о том, что то же самое можно сделать с императором Вильгельмом II. И когда это случилось в следующем же году, низложение кайзера произвело на Себастьяна впечатление непоправимой катастрофы. А спустя короткое время Себастьян не только прими-

рился с этим, но считал это тоже вполне разумным и справедливым актом, отвечающим жизненным интересам немецкого народа.

«Да, мы, немцы,— думал он,— консерваторы и филистеры. Мы боимся перемен, переворотов. Мы настолько боимся переворотов, что позволили Гитлеру совершить переворот, который в конечном счете привел к нынешнему положению. И не потому ли Гитлеру дали совершить переворот, что он заверил помещиков и капиталистов в незыблемости их частной собственности?»

Если он не подпишет закона, его, вероятно, отстранят от должности, и это будет очень хорошо, потому что и так до него доходили кислые отклики друзей на то, что он согласился сотрудничать с русскими. Подписать закон? Это вызовет раздражение его друзей в обеих частях Германии, поставит его в положение предателя интересов тех людей, мнением которых он дорожил. Конечно, можно будет пустить слух, что его принудили. До некоторой степени это будет даже справедливо. Человечество за последнее время привыкло к насилию и склонилось перед ним; никто уже не осуждает подлостей, сделанных по принуждению.

Все это было бы не так сложно, если бы Себастьян дорожил мнением только старых своих друзей. Но он уже имел новых. Это были лаутербургские антифашисты, рабочие и крестьяне. Они относились к профессору, ставшему ландратом, с трогательным доверием и уважением; они считали его своим человеком, делились с ним горестями и сомнениями. Многие из них заняли разные посты в ландратсамте и исполняли свои обязанности с большим жаром, здравым смыслом и хозяйской заботливостью. Даже колючий и подозрительный Лерхе, и тот безоговорочно доверял Себастьяну и отзывался о нем с большим дружелюбием.

Да, профессор Себастьян боялся обмануть доверие этих людей. Они считали его антифашистом и деятелем новой Германии, которую они хотели построить, и их чувства обязывали его.

Правда, он не боролся с Гитлером, но и не поддавался никаким соблазнам. Он отказался от выгоднейшей практической работы в химической промышленности, уединился и стал писать теоретический курс, прочитанный им в свое время в университете в Галле. К нему засылали высокопоставленных агитаторов; однажды он получил письмо от самого министра Функа, но Себастьян продолжал держаться своей независимой позиции. Он с нетерпением ждал поражения Гитлера и был уверен в этом поражении даже во времена величайших успехов нацистской власти. Вот он дождался, а теперь не знает, чего хочет.

В разгар этих размышлений перед Себастьяном неожиданно открылся третий путь. Поздно вечером ему позвонила

Эрика и попросила немедленно приехать домой. Дома его ожидала большая неожиданность. Он там застал своего сына Вальтера, о судьбе которого ничего не знал. Вальтер прибыл из Франкфурта-на-Майне и имел пропуск, выданный американским командованием. Следовал он в американскую зону Берлина, но, свернув в сторону от своего маршрута, первым делом заехал в Лаутербург.

Х

Вальтер Себастьян прибыл в Лаутербург не один. Вместе с ним приехал небольшого роста и невоенного вида приземистый американский майор. Все, что американец видел, он немедленно трогал руками, если же заинтересовавший его предмет был расположен далеко от него, он ухитрялся под каким-нибудь предлогом приблизиться и неизменно клал узкую волосатую руку на этот предмет — будь то ваза, занавеска, книга или блокнот. Его рука нежно поглаживала предмет, а выпустив его, не переставала двигаться: толстым пальцем он поочередно трогал все остальные пальцы, и это как-то раздражало собеседников майора, создавало атмосферу нервной напряженности, хотя лицо американца при этом оставалось совершенно спокойным.

Старик Себастьян был уверен, что его сын находится в каком-нибудь концлагере или тюрьме у американцев, так как при Гитлере он занимал довольно видные места в химической промышленности. Вначале профессор, увидев американца, подумал даже, что сын находится под арестом. Но уже спустя несколько минут стало ясно, что у Вальтера все в порядке и он является при американце чем-то вроде советника.

Вальтер сильно постарел и в свои тридцать семь лет выглядел пятидесятилетним. Он был почти совсем лыс, и нежная прядь мягких белокурых волос еле прикрывала его темя, очень отдаленно напоминая ту мощную русую гриву, которая некогда производила такое большое впечатление на женщин. Одним словом, в этом полном и пожилом человеке с тяжелым взглядом и усталыми, опущенными книзу уголками рта профессор Себастьян с трудом узнал своего сына. Они не виделись четыре года, — Вальтер работал всю войну в Саарской области.

Вальтер сразу, без обиняков, предложил отцу переехать в американскую зону. Он сказал, что все для переезда готово, что профессор Себастьян будет хорошо принят и назначен на любую должность в химической промышленности. Он сказал, что Герман Шмиц лично просил передать Себастьяну свое пожелание повидаться с ним.

— А господин Шмиц разве не в тюрьме? — удивился Себастьян.

— Да, в тюрьме,— ответил Вальтер рассеянно.— Но он получил месячный отпуск к семье для поправления здоровья.

Себастьян удивился, но промолчал. Между тем Эрика накрыла на стол. Старушку Вебер они еще раньше отпустили, так как хотели обойтись без посторонних свидетелей.

— Плохо живете,— угрюмо сказал Вальтер, окидывая взглядом скудную трапезу.

Эрика неожиданно рассердилась и сказала:

— Живем, как все.

Вальтер поднял на нее тяжелые глаза, и в глубине их на секунду промелькнуло страдальческое и ласковое выражение. Но он ничего не сказал и снова обратился к отцу:

— Ты будешь получать американский военный офицерский паек и жалованье в долларах. К твоим услугам будет любая лаборатория.

Старик с любопытством посмотрел на сына.

— Я ведь теперь не частное лицо, Вальтер,— сказал он усмехаясь.— Я местный ландрат, руководитель самоуправления. Я не могу просто встать и уехать.

— Твоя наивность приводит меня в умиление,— резко сказал Вальтер; его лицо вовсе не изобразило никакого умиления.— Неужели ты не знаешь, что самоуправление это только ширма для самоуправления оккупационных властей? Не только здесь — во всех зонах.

Себастьян покосился на американца, но лицо майора Коллинза оставалось неподвижным. Может быть, он не знал немецкого языка? Однако уже спустя несколько минут он заговорил по-немецки и заговорил очень хорошо, почти без акцента. Только концы фраз он произносил чуть нараспев, по-американски. Он сказал несколько приятных слов. Эрике — что-то вроде того, что ей к лицу хозяйничать за столом. Хотя по поводу предложения Вальтера американец не сказал ни слова, но профессор прекрасно понял, что Вальтер говорит от имени обоих, и не только их обоих, но от имени людей гораздо более высокопоставленных, чем майор Коллинз. И это, неизвестно почему, раздражало Себастьяна, и ему все время казалось, что американец намеревается положить свою узкую волосатую руку на него, профессора Себастьяна, и ласково погладить его, так, как он гладил неодушевленные предметы.

— Хорошо, я все это обдумаю,— сказал Себастьян и, не выдержав, пожаловался: — Я очень сожалею, что принял на себя обязанности ландрата. Это оказалось куда сложнее, чем я думал.

— Это только начало,— мрачно произнес Вальтер, вставая.— Стоит вложить только палец в этот грубый и страшный механизм, и они тебе покажут, что такое демократия и что такое самоуправление.

Хотя Себастьян сам думал нечто подобное, но эти слова рассердили его. Он покраснел и вызывающе спросил:

— Кто это они? Союзники господина Коллинза?

Господин Коллинз в это время долго примеривался к стоявшему на другом конце стола кофейнику и при последнем вопросе Себастьяна, наконец, протянул руку и погладил кофейник быстрым и ласковым движением всех пальцев.

— Да,— сказал он, не переставая поглаживать кофейник,— господин Вальтер, кажется, намекает именно на них.— Имя «Вальтер» он произнес по-английски: «Уолтер».

Получив это подтверждение из уст официального лица, Вальтер опять заговорил. Он говорил о том, что мир расколот и что если раньше благодаря глупой политике Гитлера русские нашли общий язык с англосаксонским миром, то теперь дело коренным образом изменилось.

— Выходит, что идея господина Рудольфа Гесса близка к своему осуществлению? — спросил Себастьян.

— Ах, при чем тут Гесс! — с досадой воскликнул Вальтер. Он был удивлен, что встретил со стороны отца противодействие.

В этот момент раздался пронзительный звонок. Эрика пошла вниз открывать. К великому конфузу и удивлению профессора, в комнату вошел советский комендант. Все встали. Себастьян, сам не зная почему, смутился и покраснел, представляя Лубенцову своего сына и американца. Пожав им руки, Лубенцов сел за стол и не понял, а почувствовал в атмосфере этой большой комнаты что-то очень напряженное, двусмысленное, полное недосказанности и какого-то надрыва и подействовавшее не на зрение и слух Лубенцова, а на некое шестое чувство, которое можно было назвать *служебной ревностью*. Из тысячи мельчайших оттенков поведения, из каких-то неверных, фальшивых нот в разговоре, из предательского дрожания всех, даже из сухого похлопывания форточки, открываемой и закрываемой ветром, в нем оформилось неясное подозрение. Все длилось, может быть, одно мгновение и было слишком неопределенно, нематериально, чтобы человеку, трезво мыслящему, подобно Лубенцову, воспитанному в глубоком неверии ко всему кажущемуся, мерцающему в глубине сознания, это могло показаться важным и убедительным.

Так как переводчицы с Лубенцовым не было, он заговорил по-немецки самостоятельно — вначале несмело, запинаясь, потом все смелее и свободнее, что доставило ему неожиданное наслаждение. Вот когда сказались длинные монологи на немецком языке, которые Лубенцов произносил перед сном, оставаясь в одиночестве.

Он спросил, не может ли профессор Себастьян сопровождать ему завтра утром в поездке по некоторым деревням. Себастьян ответил, что может. Лубенцов спросил, не создаст ли это неудобств для профессора, учитывая, что у него гости. Не

дожидаясь ответа, он попросил извинения у Вальтера и американца и пообещал, что он не задержит профессора слишком долго и что к обеду они обязательно вернуться. Мгновение подумав, он пригласил их всех к себе обедать.

— Как только мы приедем,— сказал он,— прошу пожаловать ко мне. Постараюсь вас угостить как можно лучше. У меня есть нечто, любимое даже такими людьми, которые не любят русских, а именно — русская водка и русская икра. Прошлой ночью один знакомый сделал мне этот маленький подарок, и я с удовольствием разделю его с вами, господин профессор, и с вашими друзьями.

— Почему ты не подаешь кофе, Эрика? — спросил профессор. Его лоб покрылся испариной.

— Нет, спасибо,— возразил Лубенцов.— Я только что пил кофе.— Он повернулся к американцу.— Вы говорите по-немецки?

— Да,— ответил Коллинз и любезно добавил: — И удивляюсь, как хорошо говорите вы.

«Следовало бы сказать: «Вы мне льстите»,— подумал Лубенцов, но не мог вспомнить этих слов и сказал:

— Учусь. Это не очень трудно в стране, где даже маленькие дети говорят по-немецки. Вы надолго в гости? — спросил он вдруг и успокоительно добавил: — Это я не в служебном порядке спрашиваю. Достаточно быть другом профессора Себастьяна, чтобы не вызывать никаких подозрений комендатуры.

— Дня на два, на три,— сказал Вальтер.

— А потом дальше, в Берлин? — спросил Лубенцов. В ответ на быстрый вопросительный взгляд Вальтера он коротко рассмеялся и объяснил: — Не удивляйтесь моей осведомленности. Это очень просто — внизу в машине дремлет ваш негршофер. Я, естественно, заинтересовался чужой машиной с американскими военными номерами и позволил себе разбудить его и спросить, куда он следует.

— Почему ты не наливаешь кофе, Эрика? — спросил профессор, забыв о том, что уже задавал этот вопрос.

— Спасибо. Я только что пил кофе,— опять сказал Лубенцов.

Он простился и ушел. Коллинз тоже решил пойти спать, и Вальтер проводил его в отведенную ему комнату.

— Молодой нахал этот русский,— сказал Вальтер, вернувшись.— Ведет себя, как завоеватель.

— Он и есть завоеватель,— возразил Себастьян.

— А как ведет себя мистер Коллинз? — вызывающе спросила Эрика.— Хватает руками вещи, словно на аукционе.— Она казалась довольной тем, что Лубенцов посрамил Вальтера и этого американца, которые в его присутствии сильно присмирели.— По-моему, наш получше и поумнее твоего. К отцу он относится с большим уважением.

Себастьян сказал:

— Если ты даже считаешь русских нашими врагами, Вальтер, то должен тебе сказать, что недооценка врагов — глупа. Этот молодой комендант имеет огромный авторитет даже среди наших привередливых лаутербуржцев. Он работает по двадцать часов в сутки, и никто не знает, когда он спит. Положение в нашем районе он знает до мельчайших подробностей, словно здесь родился и вырос. Кроме того, он ухитряется много читать, и все жители могут тебе перечислить те немецкие книги, которые он прочитал за последнее время. Пастор Клаусталь рассказал мне ходячую остроту по поводу этого молодого человека. Пародируя первые строчки библии, кто-то пустил о нем такую шутку: «И земля была безвидна и пуста, и было темно над бездной, и дух господина коменданта витал над водами. И господин комендант сказал: да будет свет. И стал свет. И господин комендант увидел, что свет хорош, и сказал: «Давай, давай».

— Дело в том, что он заставил господина Зеленбаха восстановить в городе электрическое освещение,— пояснила Эрика, захлебываясь от смеха.

— Как вам все это нравится! — устало сказал Вальтер.— В конце концов дело же не в том, есть ли среди русских симпатичные люди. Дело в самом существовании вопроса, в той политике, которую русские проводят в нашей стране...— Он с минуту помолчал.— Вы хоть не ставьте меня в неловкое положение перед американцем,— продолжал он.— Этот Коллинз влиятельный офицер экономического отдела Американской Администрации. Он один из видных сотрудников фирмы «Дюпон де Немур». Сейчас он разбирает архивы «ИГ Фарбениндустрii». От него во многом зависит будущее нашей химической промышленности.

Себастьян пытливо посмотрел в глаза сыну.

— Надеюсь, «ИГ Фарбен» будет упразднена, согласно духа и буквы потсдамских решений?

— Как знать, как знать, — возразил Вальтер.— Мне кажется, что среди американских офицеров на этот счет существуют разные мнения.

— Я все это обдумую, все обдумую,— пробормотал Себастьян.

Эрика отвела Вальтера в предназначенную ему комнату и вскоре вернулась. Она погасила верхний свет, оставив гореть в углу синюю настольную лампу, которую Коллинз в течение вечера особенно часто гладил руками. Так как ей не хотелось спать,— она слишком была взволнована событиями этого вечера,— она уселась с ногами на диван и испытующе посмотрела на отца.

— Всюду политика, политика! — сказал Себастьян.— Она преследует тебя, как кошмар. Нет уже ни домашнего очага, ни домашних интересов. Все это поглотило страшное чудовище — политика! Она заглядывает в окна и в душу. Ты гонишь ее в

дверь — она влезает в окно и спрашивает бесстрастно и по-хозяйски: с кем ты? «Не воображайте, что неучастие в политике убережет вас от ее последствий». Это сказал еще Бисмарк. Но что он знал? То были младенческие времена! Прошла та эпоха, когда каждый был сам по себе. Да, Эрика. Столкновения больших масс — вот что такое двадцатое столетие. На столе небесного крупье — судьба народов, а не отдельных людей. Санта Клаус приносит подарки не примерным детям, а удачливым народам... «С кем ты?» — спрашивает политика. «Ты мой», — говорит одна сторона, заметь, не человек, не Вальтер, не доктор Шнейдер, не профессор Рюдигер, а сторона — огромный лагерь. «Ты мой», — говорит другая сторона, вот хотя бы господин Лубенцов, и опять-таки не он один, а огромный лагерь, который стоит за ним. И ты не можешь уйти от этого ни с альпийским штоком в горы Гарца, ни в собственную квартиру, ни в пещеру...

XI

Так получилось, что в ближайшие после описанного вечера дни Себастьян все время был вместе с Лубенцовым. Впоследствии Лубенцова очень хвалили за это, считая, что он проявил недюжинную предусмотрительность, почувствовав, что гости профессора способны повлиять на Себастьяна в плохую сторону. Но на самом деле это было не так. Он просто решил, что пришла надобность ясно и недвусмысленно разъяснить Себастьяну суть земельной реформы, показать жизнь крестьян, в том числе беженцев, или, как их теперь вежливо называли, переселенцев, чтобы профессор своими глазами убедился в необходимости отчуждения помещичьих земель в пользу тех, кто обрабатывает землю. Лубенцов считал профессора Себастьяна очень честным человеком, которому предвзвешенности не помешают увидеть то, что есть на самом деле.

Они ездил из деревни в деревню. С некоторым удивлением Себастьян заметил, как хорошо знает комендант все, что творится в этих деревнях, помнит фамилии и житейские обстоятельства большого числа крестьян и переселенцев. Вопреки обычному порядку, они не заезжали в ратуши, к бургомистрам и вообще к начальству, а останавливались где-нибудь в избе победнее, вступали в беседы с крестьянами и крестьянками. Разговор шел главным образом между крестьянином и ландратом, а комендант только направлял разговор, задавая вопросы, время от времени делая какие-нибудь замечания, и Себастьян умилялся здравому смыслу своих соотечественников и смелости их разговоров с советским комендантом, перед которым они ничего или почти ничего не скрывали, с которым они делились своими сомнениями так, словно это был кто-то из их среды.

С другой стороны, Себастьян по заслугам оценивал верный тон молодого коменданта, его вдохновенное упорство в достижении цели.

— Помещичью землю надо конфисковать,— повторял комендант на все лады и доказывал это сотнями различных соображений, а главное фактов. Он не вдавался в исторические доказательства, которые были так обычны в устах немецких коммунистов и социал-демократов. Он знал, что насчет истории Германии Себастьян посильнее его. Он показывал профессору семьи переселенцев, ютившихся в конюшнях, сараях, в полуразрушенных флигельках и просто под открытым небом. Он заставлял безземельных крестьян выкладывать свои нужды, рассказывать о своем житье. Иногда после пребывания в домишке бедняка они заезжали на часок в большой тихий помещичий дом, где их встречали изрядно напуганные помещик и помещица. После того, что профессор видел там, здешний быт, жизненный уклад, простор огромных комнат и колоссальных служб производили на него тяжелое впечатление. Оставшись наедине с кем-нибудь из знакомых помещиков, он говорил, потупив глаза:

— Надо как-то сжаться... Надо чем-то поступиться. Нельзя в эпоху такого страшного обнищания всего нашего отечества жить попрежнему...

Лубенцов от души удивлялся неустойчивости профессорских взглядов. Он не раз замечал, что после беседы с помещиками Себастьян начинал колебаться, толковал о нерентабельности мелкого крестьянского хозяйства, о том, что новые крестьяне, многие из которых непривычны к сельскохозяйственному труду, не смогут дать достаточного количества продуктов; что среди помещиков есть в высшей степени порядочные люди, которые готовы на любое сотрудничество с антифашистскими партиями, таких людей нет смысла сгонять с их земель. Зато после бесед с бедными крестьянами и переселенцами, после зрелища чрезвычайной нужды Себастьян говорил нечто прямо противоположное, сетовал на несправедливость устройства общественных отношений «на нашей грешной земле» и бормотал:

— Вы правы, вы во многом правы.

На следующий день после приезда Вальтера Лубенцов с Себастьяном вернулись часов в пять вечера. Лубенцов забежал к себе узнать, как обстоит дело с обедом. Обед был готов. Взводный повар Небаба, с красным, лоснящимся лицом, стоял у кафельной плиты, уперев руки в бока и глядя, как старушка Вебер и еще одна девушка, взятая к ней в помощь, перетирают посуду. Здесь же находилась Ксения. В столовой на пустом, но покрытом белой скатертью столе стояли, радуя глаз, бутылка Московской водки и коробочка зернистой икры.

Лубенцов послал Ксению звать к столу, и минут через пятнадцать явились все четверо — американец, Себастьян, его сын

и дочь. Из русских, кроме Лубенцова, присутствовали Касаткин, Яворский и Ксения. Касаткин вначале не хотел участвовать в приеме, цели которого казались ему туманными и необходимость в котором он не понимал. Но Лубенцов настоял на этом.

Водка очень понравилась как немцам, так и американцу, который со своей стороны принес бутылку виски. Оно пахло дымком и чем-то похожим на ременную кожу.

Лубенцов по русскому обычаю произносил много тостов — поочередно за всех присутствующих, потом за немецкий народ, за американскую армию и, наконец, за точное выполнение решений Потсдамской конференции.

Он себя чувствовал очень усталым и вместо разговоров с превеликим удовольствием лег бы спать; нет ничего более утомительного, чем показное веселье. Однако надо было говорить, смеяться, занимать каждого в отдельности, ни о ком надолго не забывать. Он говорил по-немецки, а когда ему не хватало слов,— переходил на русский, и тогда Яворский и Ксения на обоих краях стола начинали вполголоса переводить: Яворский — дружелюбно и с дежурной, но милой улыбкой на толстых добрых губах, Ксения — равнодушно и с каменным лицом.

Часто в разговор самостоятельно вступал Яворский, и Лубенцов был ему благодарен за это. Яворский рассказал о Московском Художественном театре, о советском балете, музыке и кино, кстати он ввернул словечко насчет того, что немецкие бомбы попали в два московских театра. Он рассказывал интересно, и Лубенцов не без гордости оглядывал гостей: смотрите, дескать, какие у нас ребята.

После обеда Лубенцов пригласил своих гостей на киносеанс в помещении комендантского взвода. Там демонстрировалась только что полученная советская кинокартина.

Гости уселись среди русских солдат. Солдаты искоса глядели на Эрику. По этим взглядам Лубенцов понял впервые, что она очень красивая девушка. Ее глаза блестели глубоким и влажным блеском.

Показывали «Юность Максима». Картина растрогала всех, даже американца. Когда зажегся свет, он долго тряс Лубенцову руку, словно Лубенцов был героем либо автором картины. Солдаты опять глядели на Эрику.

Когда вся компания вернулась обратно к дому Себастьяна, было уже темно. Светила луна. Цветы одуряюще пахли. Американец стал трогать их пальцами, и Эрика враждебно посмотрела на него.

Лубенцов попрощался и собрался уходить. В это мгновение Эрика что-то торопливо шепнула отцу, и Себастьян пригласил всех присутствующих на торжество по случаю дня рождения Эрики через неделю. Лубенцов заметил, что Вальтер при этом пожал плечами.

На следующий день с утра Лубенцов и Себастьян снова

отправились по деревням — на сей раз не в горы, как вчера, а в равнинную часть района, на восток. По дороге Лубенцов впервые заговорил с Себастьяном о его сыне. Он спросил, чем занимался Вальтер раньше и что делает теперь.

— Он инженер,— ответил Себастьян.

— Тоже химик?

— Да.

— Крупный специалист, очевидно?

— Да... Весьма способный инженер.

— Он находится на американской службе?

— Точно не знаю. Повидимому.— Спустя минуту он добавил: — Помогает разбирать архивы...

— Надеюсь, вы меня извините, что я не даю вам возможности дольше бывать с сыном после длительной разлуки. У нас принято, что дело — прежде всего. Общее дело, конечно.

— Это я заметил,— сказал Себастьян.

— И теперь как раз такой серьезный момент, так много решается важных вопросов. Я думаю, что решается судьба Германии на много лет вперед.

— Вполне возможно,— сказал Себастьян.

Машина въехала в большую деревню, хорошо знакомую Лубенцову: вот посреди деревни пруд, маленькая ратуша и маленькая кирха, а далеко влево видны верхушки деревьев парка госпожи фон Мельхиор.

Возле сарая, расположенного среди огородов, горел небольшой костер, на котором несколько женщин готовили пищу. Худая, ослепительно рыжая девочка лет десяти, увидев подхлотивших людей, крикнула, видимо предупреждая кого-то:

— Гекомен дер руссише оберст мит ден бляуен ауген! ¹

Себастьян расхохотался.

— Вас тут знают,— сказал он.

Лубенцов смущенно согласился:

— Да, я тут часто бывал.

Из сарая вышли двое мужчин — глубокий старик и рыжий детина с перевязанной рукой.

— А, Кваппенберг,— узнал его Лубенцов.— Что с вами?

— Ушиб руку.

Вместе с Себастьяном Лубенцов прошел в сарай и широким жестом руки показал на постели из соломы и на детей, копавшихся в углу. Потом он так же молча вышел из сарая, и Себастьян поплелся за ним.

— Посидите здесь, потолкуйте с этим занятным стариком и с Кваппенбергом,— сказал Лубенцов.— А я пойду — мне надо поговорить с бургомистром. Прошлый раз мы договорились, что он расселит этих людей по более зажиточным домам, но они всё тут. Да вот и он идет.

¹ Приехал русский полковник с синими глазами (нем.).

К ним подошел бургомистр Веллер. Он уже издали громко закричал:

— Они не хотят, они сами не хотят, господин комендант!

— Кто не хочет? Переселенцы не хотят?

— Так точно. Они сами.— Он подошел ближе. С ним был Гельмут Рейнике, молодое румяное лицо которого выражало наивное огорчение по поводу того, что со вселением ничего не выходит.

Лубенцов обернулся к Кваппенбергу и спросил:

— Правду он говорит?

— Куда мы пойдем? — спросил Кваппенберг и вздохнул.— Нас никуда не пускают. Мне назначили вселиться к Биберу. Он сам бедняк, домик у него маленький... Ясно, что он не пустит.

— К Биберу? — спросил Лубенцов, повернувшись к бургомистру.— Почему к Биберу? У него ведь семеро детей. Речь шла о зажиточных домах, где много комнат и сравнительно небольшие семьи. Ведь это временно, временно! Будем строить! К Фледеру, например, кого-нибудь вселили?

— Да! Сам Фледер попросил к себе переселенцев,— сказал Веллер и, обращаясь к Себастьяну, стал объяснять: — У него огромный дом, господин ландрат. И вообще он человек покладистый, щедрый. А остальные не хотят иметь квартирентов. Гюнтер пригрозил, что он сожжет собственный дом, если к нему вселят чужих.

Лубенцов пошел с Веллером и Рейнике в деревню.

На другой стороне пруда им навстречу из большого дома вышел Ганс Фледер — высокий, широкоплечий человек лет сорока пяти, с усиками, в зеленой шляпе. Он пожал Лубенцову руку, пошел с ним рядом и начал расспрашивать о здоровье.

— Вы очень осунулись, господин комендант,— сказал он, качая головой; в его голосе и лице не было и тени притворства; казалось, здоровье коменданта глубоко и бескорыстно волнует его.— Вы слишком много занимаетесь делами. Конечно, дела — важная штука, но без отдыха тоже не обойдешься. Ну, и заботы о вас надлежащей нет. Человек вы холостой, а какой-нибудь денщик — что он может? Суп сварить да палатку поставить... Я сам на войне одно время был денщиком у полковника, знаю все... Приехали бы вы ко мне сюда. Одна неделя — и вас не узнают.— Так как Лубенцов молчал, Фледер перешел на деловой тон: — Нехорошо ведут себя наши крестьяне. Забыли, что такое человечность. В церковь ходят, Библию читают, а поступают, как скоты. Я, господин комендант, впустил к себе четыре переселенческих семьи. Нужно будет — впусу еще семьи две-три. В такое время приходится потесниться.— Вокруг них собирался народ.— Да, да, Гюнтер,— обратился Фледер к тощему хромому человеку с палкой в руке,— ты

нехорошо поступаешь. Ты не должен вымещать свой геморой на ни в чем не повинных людях.— Все сдержанно засмеялись.— Спроси у господина коменданта, он тебе то же скажет.

— Вы большой мастер говорить, это все знают,— пробурчал Гюнтер.— Вам хорошо, у вас дом, как дворец.

— А у тебя что? Хижина? Тоже шесть комнат. Мог бы уступить одну... Кстати, господин комендант, я тут затеял одну штуку. Стадион для нашей молодежи... Я пожертвовал на эту затею кубометров двадцать досок. Собственных, моих. Все будет, как в городе.

Рейнике застенчиво улыбнулся.

— Две футбольных команды готовлю,— сказал он.— Скоро вызовем Лаутербург на соревнования.

Фледер откланялся и ушел поговорить с ландратом, которого заметил на другой стороне пруда.

Когда Лубенцов закончил свои дела в деревне и вернулся к сараю переселенцев, Себастьян там не было. Армут побежал к Фледеру и вызвал оттуда профессора.

Они поехали дальше.

— Хороший человек,— сказал Себастьян о Фледере.— Настоящий хозяин и в то же время широкая натура, человеколюбец...

В соседнем селе Лубенцов остановил машину у помещичьего дома. В доме жили переселенцы. Он удовлетворенно хмыкнул.

— Вот видите? — спросил он.— Это уже до некоторой степени решение вопроса.

— А где фон Борн? — спросил Себастьян, который знал это село и лично был знаком с помещиком.

— На западе. Пишет оттуда угрожающие письма.

— Он отвратительный человек. Я его знаю. Один из самых неприятных помещиков.

— А остальные лучше?

— Есть очень милые и образованные люди.

— Милые и образованные? — насмешливо переспросил Лубенцов.— Дайте им только возможность, и эти милые и образованные съедят вас всех с потрохами. Это ловкие, жадные люди, которые знают, как сохранить свое значение, власть и собственность во всех обстоятельствах, при всех переменах. Они породили белогвардейское офицерье, которое разделалось с немецкими революционерами в восемнадцатом и двадцать третьем. Оно же поддержало Гитлера. Что вы мне говорите о родовых поместьях? Мне непонятно, как это можно наследовать большую неправедно нажитую собственность и считать себя честным человеком да еще милым и образованным.

В широко распахнутые ворота помещичьей усадьбы входили дети, множество маленьких детей с большими граблями, лопатами и цапками в руках,— и это зрелище вдруг умилило

Себастьяна. Он положил руку на плечо Лубенцову и проговорил задрожавшим от волнения голосом:

— Не думайте, что я человек без сердца. Клянусь богом, я готов собственноручно застрелить десяток помещиков для того, чтобы вот эти дети были довольны и счастливы.

Они постояли молча. Так же молча пошли они к машине. Здесь их встретил бургомистр Ланггейнрих.

— Молодец, — сказал ему Лубенцов по-русски, и Ланггейнрих, который уже знал это слово, улыбнулся.

Они втроем посидели у Ланггейнриха в доме, попили молока с хлебом, поговорили. Себастьян потом сказал о бургомистре:

— Хороший человек! В нем прекрасный сплав крестьянской добропорядочности и широты взглядов.

ХИ

«Почему я должен возиться с этим профессором, задабривать его, нянчиться с ним? — спрашивал себя Лубенцов все эти дни, иногда с трудом сдерживая накипавшую в сердце досаду. — В конце концов я представитель военных властей, и может быть, прав Касаткин, когда он обвиняет меня в некотором либерализме».

Честно говоря, Лубенцов не совсем понимал, по какой причине Себастьян, при его мягкотелости и половинчатости, пользуется таким авторитетом среди немцев. Он был умным и милым человеком, порывистым, немного чудаковатым, в нем отсутствовала та тяжеловесная солидность, какая была свойственна многим немцам его возраста и положения. Это нравилось Лубенцову. Вообще, если бы не сложные служебные отношения, связывающие его с Себастьяном, Лубенцов с гораздо большим удовольствием общался бы с ним и, вероятно, гордился бы его дружбой и привязанностью.

Часто досадуя на Себастьяна, Лубенцов все-таки чувствовал, а впоследствии и понял, в чем заключается секрет влияния профессора на людей. Себастьян действительно не являлся борцом, был склонен к мягкости, всепрощению и бесплодным умствованиям; но он был человеком высокой и крайне щепетильной честности. Эта честность, ставшая чертой характера, и привлекала к нему человеческие души, она же влекла к нему Лубенцова. Человек, честный перед собой и людьми, — почти борец; в гитлеровской Германии, где были смещены все нравственные представления, это подтвердилось с особенной силой.

Лубенцов тоже был человеком очень честным, но он был, кроме того, и человеком действия; в отличие от Себастьяна он не только глубоко и искренне воспринимал те или иные явления жизни, но и сразу же старался найти способы для того,

чтобы одни явления укрепить, другие преодолеть, третьи сломать. Он тоже, подобно Себастьяну, сомневался и размышлял, но он это делал не вслух, как Себастьян, а про себя; он не мог себе позволить, подобно Себастьяну, откладывать принятие решений, хотя бы они были не вполне зрелыми. Нетерпение и являлось главной причиной его конфликтов с Себастьяном и того раздражения, какое зачастую вызывал в нем профессор.

Право же, он временами жалел, что уговорил Себастьяна стать ландратом, и, нередко приходя в отчаяние от колебаний старика, готов был признать, что честность — весьма неудобная штука при решении важных и не терпящих отлагательства вопросов.

Однако, несмотря на эти мысли, Лубенцов продолжал «воспитывать профессора Себастьяна в духе коммунизма», как иногда пошучивал капитан Яворский. Они продолжали ездить по селам, заводам и рудникам, проводили вечера в нескончаемых разговорах обо всем на свете.

Вальтер провел в Лаутербурге четыре дня. За эти дни он от души возненавидел советского коменданта: тот все время был со стариком; вдвоем они уезжали и приезжали, вместе ужинали, иногда Эрика накрывала им стол в отдельной комнате; извинившись, они уединялись под предлогом служебных разговоров; то и дело звенела входная дверь — это приходили вызываемые ими чиновники ландратсамта, офицеры комендатуры или руководители демократических партий.

Вальтер и Коллинз сидели в одиночестве и раздраженно курили. Им не удалось ни разу толком поговорить с профессором. Наконец, они объявили, что уезжают.

— Уезжаете? — засуетился Себастьян. Ему стало совестно, что он так редко виделся с сыном; в то же время он испытывал некоторое чувство облегчения оттого, что сын и Коллинз уезжают. Перед отъездом Вальтеру удалось поговорить с ним наедине. Они вышли после разговора, длившегося свыше часа, хмурые и растроганные.

Проводив Вальтера и Коллинза к машине, Себастьян, задумчивый и обуреваемый колебаниями больше, чем когда-либо раньше, вернулся в дом. Между ним и сыном было решено, что на обратном пути из Берлина Вальтер заедет в Лаутербург, а за это время профессор должен все обдумать и решить.

Но, вернувшись в дом, профессор Себастьян опять был подхвачен водоворотом событий. Из Галле позвонил необыкновенно взволнованный старик Рюдигер; он сообщил, что закон о земельной реформе им подписан окончательно и бесповоротно. После этого пришли Меньшов, Лерхе, Иост и Форлендер. Они обратили внимание ландрата на то, что в земельном отделе проводятся махинации с помещичьей землей, — она передается задним числом монастырям и благотворительным обществам; в

ландбухе¹ сделано по крайней мере десять подчисток. Коммунисты и социал-демократы потребовали снятия руководителя кадастр-амта² и замены его сторонником земельной реформы. Затем, когда все ушли, пришел сам комендант. Он поздравил Себастьяна с принятием закона о земельной реформе и сообщил ему, что СВАГ приняла решение не демонтировать химический завод, а перевести его на производство удобрений. Завод раньше принадлежал концерну «ИГ Фарбениндустри» и производил взрывчатку, а в настоящее время — до решения его участи — выпускал глиссантин, то есть антифриз, для автомобильных радиаторов.

— Как вы думаете, — спросил Лубенцов, — трудно будет наладить на заводе производство удобрений?

— Нет, не трудно, — сказал Себастьян.

— Вы можете съездить на завод и составить подробную записку на этот счет?

— Могу.

Комендант выглядел усталым и счастливым. Когда вошла Эрика, он воскликнул:

— Вы знаете уже? Закон о земельной реформе принят!

— Я знаю, — сказала Эрика улыбувшись.

— Ну и как, вы довольны, правда?

Он весь излучал доброту и веселье.

— Оставайтесь у нас обедать, — сказала Эрика.

— Не могу. Дел много. Да и господина Себастьяна я, с вашего позволения, заберу с собой.

— Опять! Куда же вы его?..

— Ему нужно на химический завод.

— Так, сразу? — слабо запротестовал Себастьян.

— Конечно, сразу. — Он чуть не сказал по-русски «давай, давай», но так как уже знал, что это словечко засечено немцами, во-время удержался. — Мы пообедаем где-нибудь вместе. Очень вас прошу, поедем, не будем откладывать важное дело.

— Поедем так поедем, — вздохнул Себастьян; вздохнул он, впрочем, с некоторым притворством, так как на самом деле был доволен тем, что он нужен людям и без него нельзя обойтись.

С момента вступления в силу закона о земельной реформе для немецкого самоуправления и для комендатуры начались особенно напряженные дни. То, что Лубенцову представлялось простым и ясным делом, на практике оказалось необычайно сложным.

Прежде всего надо было установить подлинное количество земли во всем районе и в каждом хозяйстве в отдельности. Данные земельного отдела устарели. Каждый день случалась

¹ Ландбух — земельная книга.

² Кадастр-амт — отдел учета земельных владений.

какая-нибудь неожиданность вроде раздела задним числом имущества между отцом и сыновьями, скоропалительных разводов мужей с женами; кулаки предпринимали головоломные комбинации с тем, чтобы оказаться владельцами земли площадью менее ста гектаров.

Бургомистры и крестьянские комиссии иногда приходили в отчаяние, сталкиваясь с этой повседневной хитросплетенной борьбой богатого меньшинства с подавляющим большинством крестьян, заинтересованных в реформе.

Однажды к Лубенцову явился Ганс Фледер. Окинув неторопливым взглядом кабинет коменданта, он остановил взгляд на портретах, потом обратился к Лубенцову и спросил его о здоровье. Лубенцов ответил, что здоров.

— Это хорошо,— сказал Фледер.— Здоровье самое главное в жизни человека, тем более такого человека, как вы, который несет столь ответственные обязанности по устройству жизни многих людей. Только смотрите не принимайте никаких возбуждающих порошков, они поддерживают работоспособность, но, к сожалению, ненадолго...

Лубенцов нетерпеливо застучал пальцами по столу и в то же время должен был сознаться, что спокойный, заботливый тон Фледера обезоруживает его. Фледер, пожалуй, был единственным человеком в Лаутербургском районе, который разговаривал с комендантом в таком тоне,— именно не как житель говорит с военным комендантом, а как человек пожилой, житейски опытный разговаривает с человеком более молодым и менее опытным.

— Я пришел к вам,— продолжал Фледер,— против своего желания, так как знал, что у вас и без меня немало забот. Однако я вынужден обстоятельствами. Комиссия по земельной реформе собирается конфисковать мою землю, несмотря на то, что я имею всего семьдесят гектаров. Это незаконно и несправедливо. Обратите на это внимание.

Он сидел, спокойный и даже веселый, голос его звучал почти сочувственно, словно он жалел время и труд такого милого человека, каким является русский комендант. Лубенцов позвонил в деревню к бургомистру Веллеру. Бургомистр подтвердил, что Фледер говорит правду. Он действительно имел всего семьдесят два гектара, что было установлено специальным обмером, проводившимся по указанию самого ландрата, профессора Себастьяна.

— Хорошо, я разберусь,— сказал Лубенцов.

Фледер поднялся, поклонился и вышел.

Через минуту в кабинет ворвался Себастьян. Он набросился на Лубенцова, говоря, что Лерхе и вообще коммунисты делают все, что им заблагорассудится, вот они решили забрать землю у образцового хозяина и честного человека Фледера, хотя не имеют на это права.

— И вы их всегда поддерживаете, — сердился Себастьян. — Вы всегда толкуете закон так, что он обращается острием против человека, против личности.

Лубенцов ничего не ответил, а вызвал Лерхе.

— Что с Фледером? Надо соблюдать закон, — сказал он.

— Закон! — воскликнул Лерхе со свойственной ему прямо-той. — Я вообще считаю, что сто гектаров — слишком много.

— Вот видите? — спросил Себастьян. — Вот так они решают вопросы. Я уйду в отставку. Делайте, как хотите, но меня не вмешивайте. Я ненавижу несправедливость.

Лерхе поблел.

— Вы всегда рады уйти в кусты! — сказал он. — Каждый раз вы угрожаете отставкой! Это, наконец, становится невыносимым! — Он повернулся к Лубенцову. — Я сам был в деревне! Врет ваш Фледер! Не верю, что он имеет только семьдесят гектаров! Он самый богатый крестьянин в районе! Его дочь проговорилась, что у него есть земля возле Фихтенроде! Вот вам правда! Вот вам справедливость!

— Это ложь! — вскричал Себастьян. — Фледер честный человек. Вы ненавидите людей и не верите в их правдивость.

— Я ненавижу богачей, а не людей и не верю в правдивость богачей! И народ согласен со мной, а не с вами, господин профессор!

— Что вы на это скажете? — обратился Себастьян к Лубенцову. Его голос дрожал.

— Боюсь, что Лерхе прав, — ответил Лубенцов спокойно. — Фледер очень богатый человек.

Себастьян постоял минуту неподвижно, потом вышел, хлопнув дверью.

Лубенцов покачал головой.

— Не надо так кипятиться, — упрекнул он Лерхе. — Расследуйте это дело. Пошлите людей в Фихтенроде, и пусть они выяснят.

В тот же день в Фихтенроде уехали два члена районной комиссии по реформе и молодой батрак Рейнике, которого Лерхе прочил на пост председателя сельской комиссии по проведению реформы. Договорились, что, вернувшись, они явятся сразу в комендатуру для доклада.

Комендатура опустела. Только внизу слышались звуки аккордеона и согласное пение солдат. Лубенцов, Меньшов, Лерхе и Иост сидели в комендантском кабинете, пили чай и ждали.

Посланцы вернулись в первом часу ночи. Они сообщили, что за Фледером никакой земли в Фихтенродском районе не числится.

В ближайшие дни история с Фледером получила широкую огласку. О ней заговорили газеты западных зон. Лубенцов впервые в жизни увидел в газетах свое имя. О нем писали с

ироническим уважением, называя его «выдающимся энтузиастом и одним из самых деятельных и искренних поборников ликвидации благосостояния немецкого крестьянства».

Себастьян со времени своего скандала с Лерхе не появлялся у Лубенцова и не звонил ему.

Из Альтштадта Лубенцова без конца запрашивали о «деле Фледера» и упрекали его за *излишнюю ретивость*. Это дело его совсем заездило. Он созвал совещание офицеров комендатуры и в свою очередь упрекнул Меньшова; он сказал, что Меньшов, проявив *излишнюю ретивость*, не учел, что комендатура проводит работу на глазах у всего мира. Но предложению о замене Лерхе в районной комиссии по реформе другим коммунистом, хотя бы Форлендером, Лубенцов категорически воспротивился.

XII

Во время совещания Лубенцов обратил внимание на то, что Воробейцева и Чохова почему-то здесь нет.

— Может быть, вы дали им какое-нибудь поручение? — спросил Лубенцов у Касаткина. Но оказалось, что никаких заданий ни Чохов, ни Воробейцев не получали.

— Распустились, вот и все, — сказал Касаткин.

Лубенцов покачал головой. При каждом шуме за дверью он подымал голову и смотрел с беспокойством на дверь, ожидая увидеть Чохова. Но тот так и не явился до конца совещания.

После совещания Лубенцов опять вспомнил о Чохове. Он упрекнул себя за то, что редко видится с Чоховым, предоставив товарища самому себе и дружбе с Воробейцевым, которого Лубенцов недолюбливал.

Он пошел по кабинетам. С некоторым удивлением осматривал он комендатуру, превратившуюся в настоящее учреждение. Офицеры сидели за столами, принимали немцев, писали что-то, совещались и звонили по телефону. Яворский разговаривал с хозяином кинотеатра, разрешая ему демонстрировать одни кинокартины и запрещая другие. Увидев Лубенцова, Яворский кинулся к нему со списком переименованных улиц и площадей города, предложенным магистратом. Лубенцов просмотрел список и утвердил все переименования, кроме одного. Площадь Адольфа Гитлера магистрат предложил переименовать в площадь Карла Маркса. Лубенцову показалось бестактным сопоставить эти два несоизмеримых имени даже в этом случае, и вместе с Яворским они решили назвать площадь именем Фридриха Шиллера.

В соседнем кабинете работал Чегодаев. Тут было накурено и шумно. Рабочие — члены производственных советов, советские военные инженеры — военпреды на заводах, проф-

союзные руководители приходили сюда со своими просьбами и требованиями.

По всему коридору был слышен громкий голос и оглушительный смех Чегодаева. Когда вошел Лубенцов, Чегодаев вскочил и торжественно отпартовал:

— Товарищ подполковник, отдел промышленности разрабатывает план промышленной продукции на будущий, тысяча девятьсот сорок шестой год. Докладывает капитан Чегодаев.

— Вольно,— сказал Лубенцов.

— Товарищ подполковник,— быстро заговорил Чегодаев, сразу же переходя на другой, «бытовой» тон.— Рабочие медного рудника сообщают, что хозяин ночью сбежал. Как быть? Я думаю, что рабочие должны взять производство под свой контроль...

— Думаю, что так. Запросите Альтштадт.

Кабинет Меньшова тоже был полон людей. Тут находилась депутация крестьян. Меньшов вполголоса доложил, что община Финкендорф просит не делить среди крестьян землю графа фон Борн.

— Как так не делить?

— Они говорят, что у фон Борна семеноводческое хозяйство, и есть смысл сохранить его в прежних размерах, чтобы оно стало сельскохозяйственным кооперативом или «провинциальным имением» вроде совхоза. По их мнению, так целесообразней. Коммунисты и социал-демократы поддерживают крестьян. Это инициатива Ланггейриха.

— Очень хорошо. По-моему, здоровая идея. Наше начальство, очевидно, тоже их поддержит.

Лубенцов обошел все комнаты. Чохов и Воробейцев как в воду канули. Он спустился вниз. Там было пустынно,— большинство солдат находилось в наряде. Один повар Небаба, красный, как рак, возился у плиты. Воронин сидел в каптерке и что-то писал.

— Дмитрий Егорыч,— сказал Лубенцов.— Сделай милость, пойди поищи Чохова. Исчез он вместе с Воробейцевым, и всё!

Воронин молча кивнул головой и встал с места.

— Давно тебя не видел,— сказал Лубенцов.— Совсем забегался с этой реформой. Как, доволен своей работой?

— Почему недоволен? Доволен.

— Солдаты какие подобралась? Ничего?

— Солдаты хорошие. И сержанты опытные, особенно Веретенников. Вполне тянет на помкомвзвода.

— Надо мне почаще тут бывать,— виновато сказал Лубенцов.— Тут у вас, как в России. Легче дышится как-то. А там,— он показал рукой наверх,— там теперь трудно. Сложный переплет.

— Да,— согласился Воронин.

— Так поищи, пожалуйста, Чохова.

— Поищу.

Лубенцов вышел из каптерки, миновал большую комнату, обвешанную советскими плакатами и портретами,— комната служила красным уголком,— и поднялся наверх.

Начинался прием.

Ксения вводила людей одного за другим. Первым она ввела сухошавого человека в старомодном черном сюртуке. Это был пастор Клаусталь, суперинтендэнт, то есть руководитель лютеранских церквей этого района. Клаусталь сказал, что собор в основном отремонтирован и что он просит коменданта прийти посмотреть на работы. Лубенцов пообещал зайти, но Клаусталь не уходил, попрежнему сидел, чуть согнувшись, в большом кресле, в которое можно было усадить четырех таких худых пасторов. Лубенцов замолчал, выжидательно глядя на пастора. Наконец, Клаусталь сказал:

— Мне хотелось бы задать вам вопрос.— Лубенцов кивнул головой.— Какова, по вашему мнению, роль церкви в создавшейся обстановке?

Лубенцов слегка смешался, так как вопрос застал его врасплох, и он положительно не знал, что ответить. Он вспомнил, что у него среди купленных книг лежит толстый том «Истории церкви в Германии» и пожалел, что не успел еще посмотреть эту книгу.

— Видите ли,— продолжал пастор,— в связи с земельной реформой в наших приходах происходит некая дискуссия. Если говорить с христианской точки зрения, земельная реформа благо, ибо она проводится в интересах бедных людей...

Насчет реформы Лубенцов мог говорить хоть целый день. Он закивал головой.

— Тут мы с вами сходимся,— сказал он.

— С другой стороны,— продолжал пастор,— многие помещики и богатые крестьяне — весьма благородные люди, которые относились с большой терпимостью к батракам из России и других стран... и вообще пользуются симпатией и доверием со стороны прихожан. Не кажется ли вам, господин комендант, что к таким людям нужно проявить милосердие?

— Ах, вы вот о чем! — пробормотал Лубенцов мрачней.— На этот счет у нас такое мнение. В тяжелом положении, постигшем Германию, более всего виноваты именно эти симпатичные, благородные люди, как вы изволите их называть. Они создали немецкую военную касту. В этих самых домах, больших и малых, обвешанных оленьими рогами, родились и росли офицеры вермахта. И хотя они гордились своей родовитостью, они ради своего благополучия сами отдались под власть безродного австрийского ефрейтора. Это было им выгодно — вот в чем дело. Нет, господин Клаусталь, тут мы с вами никогда не сойдемся, и я вам честно об этом говорю, потому что я не дипло-

мат, а солдат. Да и речь-то идет не о ликвидации людей, а о ликвидации класса. Германия без Гитлера — это все та же Германия; Германия без помещиков — это уже другая, новая страна, где нет почвы для Гитлера. Что, впрочем, об этом толковать? Закон принят, и закон будет выполняться. А вы можете помочь своему народу, если, как вам положено, будете стоять на стороне неимущих и обездоленных... Посмотреть собор я приду, постараюсь сегодня прийти.

Клаусталь вышел из комнаты. Лубенцов сказал Ксенни:

— Следующий!

И ахнул: «следующим» оказалась Эрика Себастьян. Она шла медленно и нерешительно, устремив на Лубенцова прямой, напряженный взгляд.

— Садитесь,— сказал Лубенцов.

Она сказала:

— Я пришла к вам по следующему поводу. Мне сообщили, что арестован один из солдат, забравших у нас машину, и что ему угрожает военно-полевой суд. Я прошу вас... Они вели себя в общем вполне пристойно тогда. Они сказали, что берут машину на несколько дней. Может быть, они действительно ее вернули бы... А насчет их... разговора со мной... Боже мой, разве нельзя солдатам поухаживать за молодой и не отталкивающей женщиной?..

«Кругом христиане, никуда не денешься от них»,— подумал Лубенцов. Перед ним вдруг встало лицо сержанта Белецкого. Лубенцов сказал сухо:

— Этот солдат нарушил воинскую дисциплину. К вам это не имеет никакого отношения. Это внутреннее дело наших войск.

Она побледнела, сказала: «Ясно» — и повернулась, чтобы уходить. Ему вдруг стало ее жалко, но он подавил это чувство и добавил только:

— Вы можете написать свое свидетельское показание и прислать сюда. Я могу вам лишь обещать передать ваше письмо по назначению.

После ее ухода, принимая все новых и новых людей, Лубенцов часто думал о ней и отгонял от себя эти мысли, злясь на себя за то, что думает о ком-то, кто не является его Таней, и обвиняя себя за это в слабости воли и в склонности к дурному.

К концу дня приехал профессор Себастьян. Они несколько дней не виделись с Лубенцовым и встретились очень сухо, хотя время от времени кидали друг на друга исподлобья любопытные взгляды. Себастьян молча протянул Лубенцову докладную записку, написанную на машинке.

«Прощение об отставке»,— промелькнуло в голове у Лубенцова, и он приготовился к тяжелому разговору. Но, взглянув на бумагу, просветлел. Это была докладная насчет химического

завода. Себастьян излагал результаты своего обследования, перечислял меры, необходимые для перевода предприятия на новое производство.

Лубенцов позвонил в Альтштадт. Генерал Куприянов сказал, что будет целесообразно, если Себастьян поедет в СВА и лично доложит об этом важнейшем вопросе, которым интересуется маршал Жуков. Положив трубку, Лубенцов передал слова генерала Себастьяну.

Себастьян, если и был польщен, ничем не показал этого Лубенцову. Он подчеркнуто официально сказал, что благодарит за приглашение и завтра утром выедет, после чего откланялся и ушел.

— Есть еще кто-нибудь на прием? — спросил Лубенцов у Ксении.

— Депутация батраков.

— Зовите.

В кабинет вошли четыре человека; среди них Лубенцов с удовольствием увидел Гельмута Рейнике. Он подошел к молодому батраку, пожал его руку, усадил вначале его, потом остальных и дружелюбно спросил:

— Ну, что у вас, товарищи?

Самый старый из батраков, долговязый человек с маленьким морщинистым лицом, заговорил смущенно и нескладно:

— Господин комендант. Мы прибыли от имени группы батраков поговорить с вами насчет господина Фледера.— Лубенцов насторожился.— Господин комендант, господин Фледер хороший человек, он заботится о своих рабочих. Господин комендант, господин Фледер хорошо кормит своих рабочих, повышает их культурность, выписывает для них газеты, коммунистические и социал-демократические. Господин комендант, господин Фледер построил на свои средства «спортплатц» для крестьян, на свои средства, и лес свой дал на это дело, а также подарки детям батраков готовит к сочельнику, богатые подарки готовит, да.

— Так что вы хотите? — спросил Лубенцов. Его лицо стало серым.— Реформу отменить, что ли? Жить, как жили, батраками, и получать подарки к сочельнику? Этого вы хотите?

— Нет, господин комендант, зачем, господин комендант,— сказал другой батрак.— Нет, мы за... Мы хотим все поместья забрать, разделить, коммуны сделать. Вот что мы хотим.— Он сконфуженно улыбнулся.— Но мы просим, чтобы господина Фледера... У него и земли немного.

— И ты об этом просишь, Рейнике? — спросил Лубенцов в упор молодого парня, который пунцово покраснел и что-то проворчал нечленораздельное.

Лубенцов долго молчал, наконец, когда ему самому стало уже невмоготу, сказал:

— Если у Фледера земли мало, так его и не тронут. Ведь

закон ясен... Ну и ну! Беда с вами, немцы! Когда вы уже поймете, что можно жить без хозяев, самим быть хозяевами...

— Господин комендант,— вмешался Рейнике. Он был по-прежнему пунцово-красен и чуть не плакал.— Не поймите нас неправильно... Мы понимаем. Вся наша жизнь в земельной реформе. Мы только... Мы...

Лубенцов грустно улыбнулся.

— Все,— сказал он.— Ваше ходатайство мы учтем, конечно.

Они торопливо и молча покинули кабинет.

На этом прием закончился. Лубенцов отослал Ксению, посидел несколько минут в одиночестве, потом вспомнил о Чохове и пошел справиться, появился ли Чохов. Чохова все еще не было.

Лубенцов пошел в ратушу, где располагалась районная комиссия по земельной реформе, и поднялся к Лерхе. Тот уже знал про депутацию батраков.

— Рейнике будем исключать из партии! — вскричал он.

— Не за что. Его воспитать надо, а не исключать. Он и сам, кажется, горько жалеет о том, что сделал. Ладно. Пошли посмотрим собор — я обещал Клаусталю. Только захватите Форлендера.

Лерхе недовольно покачал головой. Он не одобрял заигрывания с церковью, как и вообще любых отклонений от прямой, последовательной линии, которая иногда представлялась его воображению именно в виде ровной, ледяной, неуютной, но ясной дороги.

Они направились втроем в собор.

Огромная брешь в левом приделе была искусно закрыта, так что почти не заметно было, где находились ее границы. Собор был пуст, шепот здесь отдавался громким эхом. Старичок сторож побегал за Клаусталем, и пастор вскоре явился. Он показал им гробницу одного из германских императоров тринадцатого века и его жены. Каменные фигуры императора и императрицы во весь рост лежали рядом, огражденные чугуновой решеткой. Орган, не пострадавший от бомбежки и ярко начищенный, сиял во всю стену.

— Ну что ж,— сказал Лубенцов,— как будто все в порядке?

Его голос отозвался в соборе мощно и раскатисто.

— Скамейки, господин комендант,— сказал Клаусталь.— Почти все скамейки сгорели, часть растащили...

Лубенцов подумал про себя, что немцы любят удобства даже на молитве. Он обернулся к Форлендеру:

— Что ж, надо заказывать. Отпустите им леса. Надеюсь, есть тут хорошие столяры? Ну, вот и хорошо.— Он посмотрел в мрачное лицо Лерхе, и ему вдруг очень захотелось засмеяться. Но он сдержался и подумал о том, что Лерхе — милый,

честный и хороший человек, но в чем-то очень ограничен и, может быть, до некоторой степени ближе к средневековым монахам, которые вдохновили строительство этого собора, чем к тем гуманистам, которые боролись против них.

Вернувшись в комендатуру, Лубенцов опять пошел к Касаткину.

— Чохова нашли? — спросил он.

— Нет.

— Воронин не возвращался?

— Нет.

Воронин вернулся вечером и сказал, что нигде не мог найти Чохова и что, поужинав, отправится продолжать поиски.

— Не надо, хватит, — хмуро сказал Лубенцов. — Тут ему нянек нет. Придется строго их наказать.

Но Воронин, любивший Чохова и желавший избавить его от неприятностей, наскоро поужинав, опять отправился на поиски. Внизу, возле комендатуры, его дождался Кранц.

— Пошли, — сказал Воронин и сунул Кранцу в руку завернутую в газету буханку хлеба. — Куда же мы пойдем?

Кранц подумал и полувопросительно сказал:

— На Кляйн-Петерштрассе?

— Это еще что за штрасса?

— Это... — Кранц замялся. — Это улица, где находятся публичные дома.

— Ну, нет, — сказал Воронин. — Не может быть, чтобы капитан Чохов... Ладно, пошли.

Кляйн-Петерштрассе была до невозможности узенькой улицей, по которой не могла бы проехать машина. Дома тут были трех- и четырехэтажные, приклеенные один к другому, но вообще эта улица не отличалась от других и ничем не выдавала своего назначения. Правда, в некоторых распахнутых окнах виднелись всклокоченные женские головы. Может быть, эти женщины зазывали прохожих из окон, но на сей раз они этого не делали, видимо смущенные красной повязкой на рукаве Воронина — приметой комендантского патруля. Однако стоило Воронину с Кранцем войти в первый попавшийся дом, как все стало ясно до отвращения. Вся улица состояла из «заведений». В каждом здании их было по шесть-восемь, каждое со своей хозяйкой и со своими «барышнями» (так их называл по-русски Кранц). Убогая обстановка маленьких клетушек, состоявшая из железной кровати, одного стула и обязательного таза для умывания, испуганные и противные лица «барышень», многие из которых были полуодеты, — все это даже видавшего виды Воронина привело в ужас.

— Ну и ну, — твердил он, поглядывая на Кранца осуждающе, словно Кранц был во всем этом виноват.

Тем не менее Воронин открывал дверь за дверью и с каменным лицом заглядывал в каморки; при этом он думал про

себя, что после того, что здесь видел, он, пожалуй, может вообще навсегда потерять всякий интерес к женщинам.

Очувшись, наконец, в конце улицы, под тусклым электрическим фонарем, Воронин облегченно вздохнул, плюнул и сказал:

— Будьте вы прокляты.

Итак, Чохова на Кляйн-Петерштрассе не оказалось. Воронин, простившись с Кранцем, отправился домой, чтобы доложить Лубенцову, что капитана Чохова он не нашел.

Вернувшись к себе, Воронин сел заканчивать письмо своей невесте в город Шую.

«Моя милая Катя,— написал он,— я очень скучаю о тебе. И хотя Лаутербург городок покрасивее Шуи, но мне хочется домой, опротивел мне этот Лаутербург до тошноты, честное слово. Тут такое иногда увидишь, что, если рассказать там, у нас,— никто не поверит. Обнимаю тебя и целую сто раз и рад от души, что ты у меня есть и что ты живешь в нашей родной и простецкой Шуе, а не здесь, допустим, в этом красивом Лаутербурге».

XIV

Чохов в это время находился в деревне за пятнадцать километров от Лаутербурга. Прешлой ночью он был в гостях у Воробейцева и остался ночевать у него, а на рассвете Воробейцев его разбудил.

— Съездим на охоту,— сказал Воробейцев.— Тут у одного немца есть хорошая легавая собака. Ружья и патроны я приготовил. А к десяти мы будем, как штыки, в комендатуре. Зайцев тут видимо-невидимо.

Зайцев действительно развелось в Германии в то время очень много, так как немцам не разрешалось пользоваться охотничьими ружьями, как и другим оружием. Они это настолько усвоили, что сопровождавший Чохова и Воробейцева молодой парень даже отказался взять ружье в руки. Он только ходил с ними и показывал хорошие места для охоты. Принадлежавшая ему резвая коричневая собака с длинными ушами, под кличкой «Эльба», бежала впереди охотников, делая правильный «челнок», то появляясь, то исчезая в высокой траве, дрожа от возбуждения и изредка поворачивая к охотникам раскрытую улыбающуюся пасть, как будто звала их за собой и сулила массу удовольствий.

Чохов никогда до сих пор не охотился, но им вскоре овладел охотничий азарт, особенно после того, как был застрелен первый заяц, выбежавший буквально из-под его ног. Зайца застрелил Воробейцев, и если раньше он был непривычно сдержан и сосредоточен, то теперь безумно расхвастался и начал рассказывать о своих многочисленных охотах и о том, что в

запасной части, стоявшей под Москвой, он осенью сорок третьего года снабжал всю офицерскую кухню зайцами и птицей, за что его не хотели отпускать на фронт, в связи с чем он в запасной части пробыл почти год.

Чохов после удачного выстрела Воробейцева стал внимательнее и собраннее, так как заяц-то был его, Чохова, и только отсутствие охотничьих навыков заставило его промедлить с выстрелом.

Однако и второго зайца он проворонил, хотя заметил его первый. Дело в том, что в последнее мгновение перед выстрелом он вдруг испугался, решив, что прыгнул за зайца собаку и что эта маленькая тень, летящая стремглав среди травы, — тень собаки. Не выстрелил и Воробейцев, так как в это время он, шагая длинными ногами метрах в пятнадцати правее, все не переставал разглагольствовать о своих прошлых охотничьих победах. Когда же заяц прошмыгнул перед его носом и исчез в роще, он накинулся на Чохова с упреками. Чохов молчал, так как признавал себя виноватым. Но вскоре Воробейцев сказал, что пора отдохнуть и выпить, и что без выпивки не бывает охоты, и что, по сути дела, охота — только повод для выпивки на лоне природы, и пусть Чохов не выглядит так мрачно, так как зайцев на свете много и всех не перестреляешь. Парень, тащивший на спине убитого зайца и туго напиханную сумку с провизией, по сигналу Воробейцева постелил на траве нечто вроде пледа, положил на этот плед сумку, а сам отошел в сторону и присел на корточки. Собаку он взял на поводок и привязал к елке.

Воробейцев живо разложил еду, откупорил бутылку. Они выпили по одной. Чохов сказал:

— Позови немца.

Воробейцев пропустил мимо ушей слова Чохова. Снова выпили по рюмке. Становилось все теплее. Солнце поднялось выше. Чохов обеспокоенно посмотрел на часы. Он все время помнил, что им надо не опоздать в комендатуру, но после четвертой или пятой рюмки он вообще вообразил, что сегодня воскресенье и что спешить некуда. Он лег на спину и, не слушая, что говорит Воробейцев, глядел в бездонное небо. Про немца он тоже забыл и даже забыл, что он в Германии. Небо, ясное и утреннее, чуть-чуть холодноватое, было такое, как в Новгороде. Когда Воробейцев стал его тормошить, он встал. Он уже толком не помнил, почему он здесь находится, и пошел неверным шагом вперед, мутными глазами глядя на бегающую взад и вперед собаку. Раздался выстрел и следом за ним другой. Чохов все шел вперед, и так как ему было все равно куда идти, он вскоре незаметно для себя забрел в густой молодой орешник и потерял из виду Воробейцева и сопровождавшего их мальчишку немца. С трудом выбрался он из густых зарослей на поляну. Из-под его ног выпорхнул целый выводок куропаток.

Он пошел дальше. Словно догадавшись о том, что он ни для кого не опасен, мимо него пробежали один за другим два зайца. Чохов рассердился, что они так безбоязненно бегают мимо него, нахмурился, остановился. Он смутно понимал, что ради этих зайцев он и находится здесь, но как их достать, не знал, а о ружье, висевшем у него за спиной, совсем забыл. Он встал «смирно» и крикнул властно, по-командирски:

— Зайцы, ко мне!

Он постоял так неподвижно минут пять, но так как к нему никто не шел,— в том числе не появлялся и Воробейцев,— он стал тяжело и упорно думать о чем-то. Тут его взгляд упал на целую россыпь белых грибов, торчавших возле самой его ноги.

— Грибы, ко мне! — сказал Чохов и опять задумался.

Наконец, он решил пойти «домой», сделал «кругом» через левое плечо и пошел. Пошел он совсем по другому направлению и вышел на большое поле, где немецкие крестьяне скирдовали пшеницу. Он остановился, долго смотрел на них. Глубочайше уверенный в том, что он на родине, он был очень рад, увидев крестьян.

— Колхозники, ко мне,— пролепетал он и, заметив рядом огромную кучу соломы, уселся возле нее и уснул. Тут его и нашел Воробейцев, который сбился с ног, разыскивая товарища. Он стрелял в воздух, кричал, но все понапрасну. Наконец, он повстречал немца-крестьянина и тот объяснил ему, что какой-то «русский солдат» спит неподалеку.

Молодой немец, сопровождавший Воробейцева, еле тащился, нагруженный зайцами.

Воробейцев разбудил Чохова, которого сон несколько вытрезвил.

— Что это мы пили за гадость? — спросил он.

Воробейцев сказал, что надо опохмелиться и что, выпив рюмки две, он «станет совсем молодцом». Парнишка опять расстелил плед. На свет божий появилась вторая бутылка.

— Иди сюда,— позвал Чохов немца. Немец приблизился и сел с ними. Чохов выпил рюмку, и они снова пошли. Тут Чохову сразу же повезло. Он подранил зайца, которого немец добил ножом. Чохов был первоклассным стрелком и доказал это вскоре, когда Воробейцеву вздумалось потренироваться в стрельбе, бросая вверх пустую бутылку в качестве подвижной мишени.

Чохову так втемяшилось в голову, что сегодня воскресенье, что он уже ни о чем не беспокоился и, увлеченный охотой, провёл весь день в лесу. Когда начало темнеть, они вернулись обратно к оставленной в деревне машине.

— Где бы тут одного зайчишку обжарить? — спросил Воробейцев у паренька, и тот показал ему барское поместье. Они въехали в большие ворота. На огромном дворе не было ни души. Вдали виднелся неосвещенный дом. Воробейцев скрылся

в доме, оставив Чохова возле машины. Вскоре Воробейцев вернулся возбужденный, рассеянный. Он произнес только одно слово: «Пошли» — и пошел впереди, время от времени оборачивая к Чохову напряженное и судорожно улыбающееся лицо, как собака во время охоты.

Они очутились в большой зале, посреди которой стояло чучело бегемота. Стены залы были увешаны картинками и фотографиями, изображавшими голых и полуголых негров и негритянок с кольцами в носах и ушах. Из-за бегемота появился невысокий молодой человек в курточке с застёжками «молния». Он изобразил на лице гостеприимную улыбку и провел обоих офицеров в следующую комнату — столовую. Затем он с Воробейцевым исчез в боковой двери.

Чохов подошел к окну. Уже совсем стемнело. Чуть прелый запах отцветающих роз доносился из окна. Слабо освещенная оконным светом, колыхалась медная листва деревьев.

Заслышав шаги, Чохов повернул голову. В столовую снова вошли Воробейцев и молодой человек. Вместе с ними была женщина, одетая в закрытое черное платье. Она подошла к Чохову, протянула ему руку, улыбнулась и представилась:

— Лизелоттэ Мельхиор.

Приставку «фон» она опустила.

Чохов пробормотал свою фамилию и поднял глаза на Воробейцева. Воробейцев был бледен и серьезен.

Пожилая служанка накрыла на стол. Все уселись. Разговор не клеился. Чохов удивлялся молчаливости и напряженности Воробейцева. Впрочем, после выпивки Воробейцев разговорился. Он шпарил по-немецки напропалую, бесстрашно продираясь сквозь придаточные предложения и опрокидывая, как попало, грамматические правила. Он сидел возле женщины, подливал ей вина и глядел на нее почти страшными от затаенной страсти глазами.

Женщина вначале молчала, глядела на скатерть. Потом она тоже оживилась, начала посматривать на Воробейцева чуть прищуренными холодными глазами, наконец заговорила. Она сказала, что ее отец имел большое поместье в Африке, в Камеруне, еще до первой мировой войны; она там в раннем детстве провела несколько месяцев. То было поместье гораздо более обширное и богатое, чем это, немецкое. Впрочем, и это поместье уже больше ей не принадлежит, сказала она, помолчав. Оно до раздела находится под опекой ландратсамта. Несмотря на всю свою выдержку, помещица не могла скрыть своего волнения; ее глаза сверкнули.

— Конечно, не в богатстве счастье, — сказала она, улынувшись Воробейцеву.

Она начала смеяться приятным, волнующим смехом и все смотрела на Воробейцева, а тот тоже смотрел на нее безотрывно.

— Мне много не нужно,— продолжала она, бросив на Воробейцева пытливый и затравленный взгляд.— Если бы мне оставили этот дом и несколько гектаров земли...

Глаза Воробейцева пронизывали ее; но, услышав последние слова, он вдруг принял суховатый, деловой вид и сказал:

— Конечно... Это верно... М-м-м... Это правильная мысль. При некоторых условиях...

Чохов почти ничего не понял из разговора, но ему было неприятно здесь находиться, и он подумал, что они совершенно зря сюда заехали. Он сказал об этом Воробейцеву, тот раздраженно возразил:

— Зайца своего собственного мы имеем право съесть или как? Переночуем и поедем.

Вскоре зайца принесли. Он весь плавал в жиру, и Чохов подумал, что помещикам и после реформы, видимо, неплохо живется. Воробейцев не притронулся к зайцу; он наклонился к женщине и что-то ей говорил. Наконец, он встал и сказал торопливо, почти захлебываясь:

— Поздно уже, спать пора. А, Вася? Спать пора, правда?

Чохов поднялся и вместе с Воробейцевым и молодым человеком с застезками «молния» вышел в залу с бегемотом. Молодой человек повел их по лестнице вверх. Воробейцев прыгал через три ступеньки и все оглядывался на Чохова.

В полутемной комнате Чохов улегся на двуспальной кровати, укрытой перинами вместо одеял. Воробейцев медлил, курил, потом приблизил лицо к лицу Чохова, опять посидел, покурил, затем встал и вышел. Чохов вскоре уснул. Рано утром его разбудил Воробейцев, уже вполне одетый. При сером свете занимавшегося дня Воробейцев был особенно бледен. Он стал торопить Чохова.

— Надо ехать, надо ехать,— говорил он беспокойно.

Чохов быстро оделся, они вышли. Парень и собака уже были возле машины.

— Надо ехать,— повторял Воробейцев, не глядя на помещичий дом.

Когда они выехали из ворот имения, Воробейцев вдруг засмеялся, прищелкнул языком и, покосившись на Чохова, сказал:

— Заяц-то был неплох...

Он опять засмеялся и в это мгновение на повороте улицы ударил машину об угол дома. Толчок на минуту оглушил Чохова. Он с трудом вылез из машины. Все отделались испугом. Радиатор и правое крыло были исковерканы. Собака выскочила из машины и, втянув голову в плечи, приникла к земле. Сопровождавший их молодой парень никак не мог опомниться от испуга и еще с полминуты негромко и протяжно выл на одной ноте.

— Да ладно, заткнись! — прикрикнул на него Воробейцев. Воробейцев был очень мрачен.

Из поврежденного дома высыпали люди. До чего много людей жило в этом маленьком доме — взрослых и детей. Детей было человек восемь. Здесь жили две большие семьи — местный крестьянин впустил к себе семью переселенца.

Рядом была авторемонтная мастерская. Машину затолкали туда, а Чохов, Воробейцев, молодой немец, собака и убитые зайцы остались стоять и лежать посреди улицы. Воробейцев вполголоса ругался. Чохов молчал.

Они направились в сельскую гостиницу — двухэтажный дом с пивной внизу. Здесь они уселись у столика. Воробейцев тем же делом бегал в авторемонтную мастерскую. Наконец, он вернулся совсем мрачный и сказал Чохову, что придется завтра машину на буксире потащить в город, так как ремонт требуется серьезный.

— Наш-то будет сердиться, — сказал Воробейцев, усаживаясь за стол. — Здорово нам попадет от него.

Чохов вначале пропустил это мимо ушей, но потом вдруг пристально посмотрел на Воробейцева, встал с места, прошелся по пустой комнате взад и вперед и спросил:

— Сегодня какой день?

— Суббота, — сказал Воробейцев.

— Ты не шути, — быстро заговорил Чохов, остановившись возле Воробейцева. — Ты эти шутки брось. Как так суббота? Ты знаешь, что ты сказал? Ты понимаешь, что ты сделал?

Воробейцев чуть отодвинулся.

— Во-первых, не «ты сделал», а мы сделали, — сказал он, быстро встал и отошел в угол комнаты. — Что ты пионера из себя корчишь? На меня одного хочешь все взвалить? И водочку пить и остаться любимчиком у Лубенцова?

Чохов оглянулся на молодого немца, сидевшего в углу между ружьями, сумками и убитыми зайцами, и промолчал.

— Зря ты взъерепенился, — миролюбиво сказал Воробейцев, медленно приближаясь к Чохову. — Ничего страшного не случилось. У нас выходных дней не бывает. Что ж тут такого? Случилось несчастье — машина разбилась. Это со всяким может случиться. Даже с твоим Лубенцовым. Выехали на охоту на рассвете, а на обратном пути машина разбилась. Вот мы и застряли. Тоже трагедия! «Отелло, или венецианский мавр»!

Чохов вышел на улицу и постоял у двери пивной с опущенной головой. Ему было стыдно крестьян, шедших на полевые работы. Ему казалось, что они знают, что он бездельник и нарушитель дисциплины, и смотрят на него, как все труженики смотрят на бездельников. Из пивной вышел Воробейцев.

— Вася, а Вася, — сказал он. — Ну зачем ты так боишься начальства? Ну правильно, мы виноваты, и я виноват больше, чем ты. Это я тебя втравил в это дело. Ничего, как-нибудь отбредемся. Больше так постараемся не делать.

Чохов отошел от него на середину улицы. В деревне все было тихо. Громко горланили петухи. Потом появились дети. Они вышли на улицу, сонные, полуодетые, зевая во весь рот. Длинные тени ложились от них поперек всей улицы.

Из двери пивной показался и парень с собакой и убитыми зайцами. Чохов постоял, глядя налево, туда, откуда должны были вскоре появиться машины, следующие в город. Гостиница стояла на пригорке, и вся деревенская улица, превращающаяся примерно через километр в большую дорогу, была перед его глазами. Направо он не глядел, и вот как раз оттуда минут через пять появились две легковые машины, которые, поравнявшись с гостиницей, круто затормозили.

Чохов обернулся. Из передней машины выскочил Лубенцов; он медленно обогнул машину спереди и так же медленно пошел к пивной.

Чохов старался не смотреть на него. Он смотрел на машины. За стеклами первой он увидел Ксению Спиридонову и Меньшова. На второй были Лерхе и два незнакомых немца.

Лубенцов подошел к двери пивной, внимательно посмотрел на Воробейцева, потом так же внимательно — на зайцев и на собаку, затем поднял глаза на Чохова.

— Мясозаготовки? — спросил он.

— Машина разбилась, — пробормотал Воробейцев.

— Кроме зайцев, все живы остались, — сказал Лубенцов. — Что же вы стоите? Садитесь по машинам. Парнишке придется добираться пешком.

Воробейцев сел в машину к Лубенцову, а Чохову пришлось сесть к немцам. Машины тронулись.

XV

Они повернули направо, на другую, меньшую деревенскую улицу и остановились возле одного из домов. Все высыпали из машин. Медленно вылезли и Чохов с Воробейцевым. Лерхе постучал в калитку, и вскоре к ним вышла молодая женщина.

— Где Веллер? — спросил Лерхе.

— Спит еще, — отвечала она. Она глядела на всех с любопытством.

— Разбудите его, — сказал Лерхе.

Пока она будила Веллера, все молчали. Воробейцев курил сигарету за сигаретой. Меньшов отозвал Чохова и шепотом спросил:

— Где ты пропадал?

Чохов пробормотал что-то нечленораздельное.

Появился Веллер. Он поздоровался со всеми за руку и молча стал ожидать, что ему скажут.

— Позовите Рейнике, — сказал Лерхе.

Молодая женщина быстро пошла по улице и вернулась вскоре с Рейнике, молодым белокурым парнем с открытым лицом и широкими скулами.

Все вошли во двор, и Чохов с Воробейцевым тоже. Воробейцев напустил на себя деловитый и нахмуренный вид, так что молодая женщина смотрела на него с некоторым страхом.

Они прошли в большую горницу, всю уставленную мебелью, так что почти негде было стоять. Все сели, и Лубенцов заговорил с Веллером и Рейнике. Он говорил по-немецки, и Чохов почти ничего не понимал, но видел, что Лубенцов сердится. Рейнике был очень смущен, растерянно разводил руками. Веллер сидел угрюмый.

Так как Лубенцов не пожелал пользоваться переводом, а говорил по-немецки сам, Ксения отошла к окну и стала глядеть во двор. Чохов рассеянно смотрел на ее профиль — очень строгий, правильный и очень русский. Голова ее с тяжелыми косами была повязана платочком из синего сатина. Концы этого платочка были завязаны сзади — так в Германии никто не завязывал косынок. За окном желтел большой клен. Ксения однажды повернулась и заметила на себе взгляд Чохова. Оба смутились, и Ксения снова отвернулась к окну.

Голос Лубенцова раздавался в притихшей комнате — то строгий, то издевательский. Изредка он останавливался и спрашивал у Ксении:

— Как это будет по-немецки — «подкулачник»?

Или:

— Как это будет по-немецки — «вы разоблачили себя», да так, чтобы покрепче.

Ксения отвечала довольно быстро, а когда не знала точного перевода слова, то говорила:

— Это можно объяснить так...

Потом Лубенцов стал говорить с Рейнике. В его голосе появилась горечь. Он говорил скорее укоризненно, чем зло.

— Как будет по-ихнему — «дали себя обкрутить вокруг пальца»? — спросил он у Ксении и после ее ответа сказал: — Это неточно передает.

Она предложила другую фразу.

— Это лучше, — сказал он и продолжал разговор по-немецки.

Потом ездили по полям, наблюдали, как крестьяне убирают урожай, осмотрели мельницу, требовавшую ремонта, и, вернувшись в село, на несколько минут остановились возле домика, где жил Рейнике. Здесь Лубенцов и Лерхе о чем-то поговорили с Рейнике, затем машины пошли в город.

Чем ближе они подъезжали к городу, тем раскаяние и смущение Чохова становились все сильнее.

Наконец, они подъехали к комендатуре. Чохов покинул немецкую машину, которая тут же ушла, и через пять минут —

вкупе с Воробейцевым — оказался у Лубенцова в комендантском кабинете.

— Вот возьмите бумагу и пишите объяснение, — сказал Лубенцов.

Было нечто унижительное в том, что их, как провинившихся школьников, посадили по обе стороны стола, дали в руки по перу и по листку бумаги и заставили писать.

Но не это было главное. Главное было то, что Чохов не знал, что писать. Должен ли он написать правду или написать то, о чем говорил Воробейцев, — то есть, что им помешала вернуться во-время авария автомашины, которая по этому варианту произошла не сегодня утром, а вчера утром. Тогда Лубенцов может задать законный вопрос, почему же они не вернулись в город на попутной машине, почему они не позвонили по телефону из села с просьбой прислать за ними машину или по крайней мере не сообщили об аварии.

С другой стороны, Чохов, несмотря на всю злость на Воробейцева, которую он испытывал, не хотел ставить Воробейцева в исключительно тяжелое положение своим явным отрицанием всего, что Воробейцев напишет. Он сознавал, что для Воробейцева это может иметь самые серьезные последствия, так как явная ложь произведет на Лубенцова и Касаткина слишком невыгодное впечатление.

Воробейцев понимал, что творится в душе у Чохова, и то и дело порывался переглянуться с ним, переговорить с ним, что-нибудь шепнуть. Но это было невозможно: Воробейцев знал, что бывший разведчик не так прост, — он сидит за своим столом и глядит в бумаги, но он все прекрасно видит. Тогда Воробейцев решился и стал писать свои объяснения так, как давеча он предлагал Чохову — то есть что они были на охоте; что по дороге в город машина разбилась; что, пока он устраивал ее в авторемонтной мастерской и пытался вместе с немецкими мастерами починить ее, прошло много времени; что немецкие мастера обещали, что вот-вот закончат, а он думал, что они действительно вот-вот закончат и он сможет если не во-время, то с небольшим опозданием приехать в Лаутербург, однако потом он спохватился, что уже стало поздно, пришлось переночевать в деревне; он все же передал через попутную машину записку в комендатуру, которую немцы, повидимому, не вручили по назначению; он даже об этом не говорил Чохову, потому что тот был очень огорчен их опозданием и поссорился с Воробейцевым из-за этого; и он обещает, что найдет эту немецкую машину, потому что запомнил ее номер, и докажет, что сделал все положенное; кроме того, он обещает, что в дальнейшем ничего подобного не повторится.

В то время, как он писал все это, он многозначительно поглядывал на Чохова, стараясь хотя бы взглядом сообщить товарищу свою самоуверенность. Но Чохов не глядел на

Воробейцева. Он и не писал ничего. Когда прошло минут тридцать и Лубенцов поднял на них глаза, Воробейцев вскочил и с готовностью подал ему свою писульку. Чохов остался сидеть на месте; когда же Лубенцов испытующе посмотрел на него, он мрачно сказал:

— Ничего я не буду писать. Виноват я, и всё.

— Как так не будете писать? — с оттенком юмора спросил Лубенцов. — Ведь вы получили приказание писать.

Чохов молчал.

— Ладно, идите, — сказал Лубенцов, и оба вышли.

На следующее утро к Чохову пришел солдат и передал ему приказание явиться к коменданту в кабинет.

Лубенцов спешил по срочному делу в Фихтенроде. Кроме того, он терпеть не мог читать нотации. Но надо было все высказать Чохову, другого выхода не было, и он стал говорить. Не без иронии по собственному адресу он заметил, что все, что он говорил, получалось убедительно и складно, — не без иронии потому, что он впервые отметил в себе это новое умение читать нотации и вообще говорить складно, — оно, это умение, пришло к нему здесь, в Германии, так как *говорить* было одной из важных обязанностей коменданта. Он напрактиковался, или, грубо говоря, «насобачился», до того, что ему не стоило труда произнести без подготовки речь, при этом не испытывая волнения, — не то, что раньше.

Но как ни насмешливо, словно посторонний наблюдатель, следил за собой Лубенцов, как ни удивлялся складности своей речи, но то, что он говорил, было очень серьезно и обдуманно.

Он начал с того, что бросил на стол объяснительную записку Воробейцева и сказал с горечью:

— Вот, полюбуйтесь, товарищ Чохов, записка капитана Воробейцева. Даже писать не научился правильно. «Товарищ» с мягким знаком пишет. «Привосходно» вместо «превосходно». А ведь он школу окончил, в вузе учился два года. Дело тут не в правописании. Дело в том, что многие наши люди — и боюсь, что вы тоже, — привыкли жить захребетниками у государства, не стремитесь самостоятельно работать, самостоятельно учиться. Вы представляете себе советское государство поповским работником, который вам яичко испечет да сам и облупит. Это верно, что наше государство в отличие от остальных кровно заинтересовано в том, чтобы каждый гражданин стал образованным и высококультурным человеком. Но ведь это достижимо только при условии, если каждый будет помогать государству в этом, будет сам к чему-то стремиться, рваться вперед, овладевать культурой. А на деле получается, что такие молодые люди, как вы, например, капитан Чохов, знают гораздо меньше, чем их отцы, окончившие на медные гроши церковноприходскую школу... А ведь в то время им государство мешало, не давало ходу... Ох, как я ненавижу наших полуин-

теллигентов с их поверхностными знаниями, с их полным отсутствием любознательности, с их вечным иждивенчеством за счет самого благородного из государств! Как я ненавижу этих недорослей, которые и от простого народа оторвались и в интеллигенцию не вошли! А ведь офицер — типичный представитель интеллигентного труда. Почему вы не читаете, Чохов, книг? Почему не учите немецкому языку, на котором, кстати говоря, написаны великие произведения? Почему вы серьезно не вникаете в дело? Неужели и вы относитесь к категории людей, которые с детства, чувствуя заботу о себе нашего общества, так или иначе забыли о своем долге перед собой и обществом? Капитан Чохов, вы плохо исполняете свои обязанности.

Говоря все это, Лубенцов, полный жалости и любви, смотрел, как все больше темнело лицо Чохова.

Воцарилось долгое и тяжелое молчание. Потом Чохов впервые поднял глаза на Лубенцова и проговорил:

— Вы все правильно сказали. Я постараюсь. Я просто не гожусь для этой службы. Я вам сразу про это сказал.

— Василий Максимыч! Голубчик! — воскликнул Лубенцов, подойдя к Чохову и обнимая его. — Годишься! Конечно, годишься! Ты только пойми все. — Произнося эти слова, Лубенцов в то же время думал, что, может быть, напрасно так быстро расчувствовался и что это, может быть, непедагогично и глупо, лучше было бы дуться дня два-три, чтобы Чохов глубже понял свою вину. Так поступили бы многие умные начальники. И все-таки он чувствовал, что поступает правильно, потому что Чохов принадлежал к тем натурам, для которых сознаться в своей вине слишком трудно, чтобы это могло быть неискренним или скоропреходящим.

XVI

Когда Чохов вышел из кабинета, Лубенцов спросил у дежурного, прибыл ли бургомистр Веллер. Бургомистр был здесь. Лубенцов надел фуражку и вместе с Веллером сел в машину.

«Дело Фледера» все еще не кончилось ничем, и Лубенцов решил лично распутать это кляузное дело.

Несмотря на воскресный день, в фихтенродской комендантуре царил такая же суета, как и в лаутербургской. И здесь люди сбились с ног. Пигарев, однако, был дома. Оставив Веллера в машине, Лубенцов направился к Пигареву. Он прошел под увитым плющом сводом, очутился в маленьком дворике и вошел в ту самую одностворчатую дверь, окрашенную в ярко-красную, вроде трамвайной, краску. Всюду было тихо. Он открыл следующую дверь и увидел Пигарева, сидевшего за столом в брюках и нижней рубашке. А рядом с ним, за тем же столом, сидела — вернее, стояла на коленях на стуле, опершись

о стол локтями и заглядывая через плечо Пигарева в бумаги, которые он рассматривал,— Альбина Терещенко.

Лубенцов не поверил своим глазам, настолько это было неожиданно. Он даже сделал шаг назад, чтобы уйти. Но Пигарев оглянулся, заметно смутился, однако крикнул в своей манере — громко и весело:

— А, Сергей Платонович! Коллега! Заходи, заходи.

Альбина лениво спустила ноги со стула — она оказалась в пижамных брюках — и повернула голову к Лубенцову. Она владела собой прямо мастерски, и ее смущение не распознал бы даже более внимательный наблюдатель, чем Лубенцов.

— Заходи, заходи,— продолжал Пигарев, хлопая Лубенцова по плечу.— Давно не видались. Аграрный вопрос! Некогда с товарищем повидаться! Садись, Сергей Платонович.— Он покосился на Альбину, и его лицо вдруг потеряло выражение веселости и радушия.— Ну, знакомить я тебя не буду. Помоему, вы хорошо знакомы. Что ж, назовем вещи своими именами. Моя жена.— Он глянул на Лубенцова исподлобья, и было что-то в его взгляде на Лубенцова новое, не такое, как раньше, испытующее и загнанное.

Дело в том, что Пигарев ревновал Альбину к Лубенцову. Он был уверен, что во время работы ее в лаутербургской комендантуре между нею и Лубенцовым что-то было, потому что, хотя он любил ее, может быть, первой настоящей любовью, он не питал к ней ровно никакого доверия. Более того, он был убежден в ее развращенности. И всего удивительнее было, может быть, то, что и любил он ее именно по этой причине.

Лубенцов всего этого не знал, но он почувствовал нечто неприятное в тоне разговора и постарался поскорее объяснить Пигареву свое дело, с тем чтобы немедленно заняться расследованием. Однако тут вмешалась Альбина, которая быстро оправилась от первоначального смущения и начала просить своим обволакивающим голосом Лубенцова остаться хоть на полчаса, позавтракать с ними. Лубенцов вынужден был согласиться, и они сели к столу.

— У вас теперь переводчицей Ксения Спиридонова? — спросила Альбина, накрывая на стол.— Злющая кикимора. Терпеть ее не могу. Из нее слова не выдавишь. Да и вряд ли она хорошо знает немецкий. Работала она на заводе. Может быть, даже читать не умеет.

— Нет, почему,— сказал Лубенцов, не зная, как найти правильный тон с Альбиной, неожиданно оказавшейся женой товарища.— Она старается.

— Ну, уж лучше Альбины, я думаю, переводчицы не найдется,— сказал Пигарев.— Ее можно было бы вполне и комендантом сделать. Все знает. Но не думай, я ее не сманивал. Так получилось.

Не обошлось и без выпивки. Время шло. Лубенцов хотел покончить скорее с этим ненужным завтраком, но уйти было невозможно. Он понимал, что уйти нельзя, что «молодожены» обязательно обидятся: Пигарев подумает, что Лубенцов считает его брак чем-то стыдным и нехорошим, то есть тем, чем сам Пигарев в глубине души считал этот брак; Альбина оскорбится, решив, что Лубенцов не одобряет товарища и презрительно относится к ней, к Альбине, по той причине, что она несколько лет была здесь, в Германии, и бог ее знает, что она тут делала. Все это создавало довольно сложный переплет намеков, раненых самолюбий и напряженного внимания друг к другу, которые были для Лубенцова в высшей степени тягостными, не говоря уже о том, что он не хотел тратить дорогое время на всю эту в общем сущую безделицу.

Закусывая и обмениваясь то с Альбиной, то с Пигаревым незначительными фразами, Лубенцов напряженно думал о том, что у Пигарева, кажется, была жена, и о том, что Пигарев, вероятно, даже не сообщил той жене об этой. И Лубенцов был целиком на стороне той жены, не потому, что вообще был таким уж сторонником сохранения старой жены во что бы то ни стало, а потому, что новой женой была эта Альбина, против которой он в общем ничего не имел и о которой, по сути дела, ничего плохого не мог бы сказать, кроме того, что она такая, какая есть.

Ко всему прочему он вскоре стал замечать, что Альбина — может быть, под влиянием выпитого вина — смотрит на него опять так же, как смотрела тогда, когда была у него переводчицей в Лаутербурге, и что говорит она с ним тем же низким, обволакивающим контральто, который заставляет думать, что за произнесенными словами стоят совсем другие — гораздо более значительные и интимные.

Когда в соседней комнате позвонил телефон и Пигарев вышел взять трубку, Альбина приблизила лицо к лицу Лубенцова и спросила:

— А вам не жалко, что я уехала?

Лубенцов отшутился:

— Наоборот. Быть женой ведь приятнее, чем переводчицей.

— Это можно совмещать,— сказала Альбина и добавила тихо и одновременно вызывающе: — Я не хотела уходить от вас. Я думаю о вас. Очень часто.

Вошедший Пигарев подозрительно посмотрел на них и сказал:

— Ладно, пора в комендатуру.

Он быстро оделся и вышел вместе с Лубенцовым.

— Вот такие дела,— сказал Пигарев и вдруг спросил в упор: — Ты, я вижу, чем-то недоволен? Осуждаешь? — Не получив ответа, он продолжал: — Мне и без тебя хватает судей.

Вызывали в политотдел... Люблю ее, и все, и никто мне не указ. А что касается Вари, так я с ней даже не расписан. И нечего мне голову морочить.

— К тому же она далеко, а эта рядом,— съязвил Лубенцов, но, не желая вступать в бесплодный спор, торопливо добавил: — Конечно, дело твое. И хватит об этом.

— Нет, не хватит, не хватит,— рассердился Пигарев.— Вот ты мой товарищ, я тебя люблю, а ты тоже меня осуждаешь. Нет, я вижу, что осуждаешь! А почему, не сможешь мне объяснить...— Он криво усмехнулся.— А Альбина о тебе хорошо отзывается. Хвалит. Говорит, что ты комендант почище меня...

Они подошли к комендатуре, и Пигареву пришлось замолчать. Часовой сделал им на караул. Капитан в просторном вестибюле отдал рапорт. Они поднялись наверх и прошли прямо в кабинет. Пигарев нажал на кнопку электрического звонка и одновременно крикнул:

— Беневоленский!

Вошел сержант в очках.

— Петрова сюда. Ландрата вызвать немедленно.

Петров — офицер комендатуры по сельскому хозяйству — тут же явился в кабинет и, выслушав дело Лубенцова, кратко сказал:

— Выясним.

Спустя минут пять явился толстый добродушный ландрат. Пигарев говорил с ним отрывисто и властно, и видно было, что ландрат его побаивается. Лубенцов подумал: «Этот ландрат не осмелился бы орать на Пигарева, как Себастьян на меня. Видно, я действительно либерал».

Они поехали в ландратсамт и часа два рылись в «грундбухе». Они там ничего не нашли. Чиновник, ведавший этими делами, был скользко-услужлив, но не слишком ретив. Пигарев кричал на него, тот моргал глазами и повторял:

— Не числится, господин комендант.

Тут вмешался капитан Петров:

— Как так не числится? А ведь мы с вами однажды говорили про одно хозяйство... Флюдер, или Флядер... Женщина, помните? Толстая. В деревне Биркенхаузен.

— Поехали в Биркенхаузен,— сказал Лубенцов.

В Биркенхаузене дело выяснилось с такой быстротой, что Лубенцов удивился. То, что издавека да еще через третьих лиц выглядело необычайно запутанным, здесь, на месте, оказалось проще простого. Разумеется, усадьба в восемьдесят га принадлежала Фледеру. Вся деревня знала об этом. Фрау Мольдер, сестра невестки Фледера, не особенно пыталась это скрыть. Веселая, толстая, разбитная, она встретила советских офицеров и чинов самоуправления радушно и давала показания не без некоторого удовольствия, потому что явно недолюбливала своего хозяина.

Она сказала, что у Фледера есть также большой лес в Мекленбурге, в районе города Грайфсвальда.

Лубенцов даже руками развел. Он позвонил Касаткину, что придет завтра, а сам без дальнейших размышлений вместе с Веллером отправился на машине в Грайфсвальд. Он весело и злорадно усмехался, представляя себе, что скажет старик Себастьян.

Путь предстоял длинный. Вообще говоря, следовало попросить на эту поездку разрешения СВА, но Лубенцов решил не тратить попусту время. Армут жал вовсю. Дороги были прекрасные. Машина делала сто километров в час.

По обе стороны дороги мелькали голые поля, перелески и деревни. Навстречу то и дело попадались машины и высокобортные телеги. Лубенцов иногда поглядывал на свою карту. Усвоенный им за войну инстинкт правильного выбора дороги безошибочно вел машину в нужном направлении. Они ехали на северо-восток. Широкая равнина грелась в лучах теплого осеннего солнца. Понемногу спокойствие и радостное ощущение длительной поездки охватили душу Лубенцова. И, ощущая в себе это настроение, он в то же время почти неотступно думал о делах, в частности о том, как полезно для крестьян и батраков, что Фледер, этот сладкогласный, мягкостелющийся кулак, прикидывавшийся с таким искусством доброжелательным и веселым другом народа, будет изобличен в обыкновенном мошенничестве. Иногда ход привычных мыслей Лубенцова прерывался размышлениями о Тане, и эти размышления и воспоминания, сладкие и горькие в одно и то же время, то и дело перебивались более конкретными и потому опасными мыслями, связанными с тонким лицом, стройной фигурой и светлыми волосами Эрки Себастьян.

От этих мыслей Лубенцов хмурился и, чтобы рассеять их, начинал более или менее оживленно разговаривать то с Армутом, то с Веллером. Потом он снова замолкал, и опять путаница разных мыслей и образы разных людей мелькали у него в голове под мерный рокот мотора и плавное покачивание машины.

Поглядывая на Армута, он думал об Иване, которого он, вероятно, никогда больше не увидит, так как Иван подпадал под новый закон о демобилизации, принятый на днях Верховным Советом СССР.

Веллер, заметив молчаливость коменданта, тоже помалкивал, тем более что чувствовал себя несколько виноватым в истории с Фледером. Он сознавал, что проявил неуместную и глупую доверчивость; честно говоря, он до сегодняшних разоблачений восхищался Фледером и считал его своим ближайшим помощником в проведении реформы, так как Фледер пользовался влиянием среди крестьян и очень ловко прикидывался горячим сторонником демократических преобразований. Теперь Веллер восхищался настойчивостью и пронизательностью

коменданта, непримиримостью и правильным чутьем Лерхе и обещал себе, что будет стараться подражать им и учиться у них.

Армут, как всегда в поездках, все время молчал и лишь прислушивался к мотору, сцеплению, коробке скоростей, карданному валу и резине. Он был в полном сознании своей ответственности за жизнь советского коменданта и за успех его поездки, в суть которой он не входил, но которую считал весьма важным делом, раз это дело казалось важным коменданту. Помимо того, он немного грустил, считая, что работает на машине коменданта временно, так как не знал еще, что Иван не вернется.

Так они ехали, каждый со своими мыслями, но все трое неразрывно связанные между собой не только пребыванием в одной машине, но и многими другими нитями, чувствами и интересами.

Часа через три Лубенцов почувствовал голод и с досадой хватился, что забыл взять с собой что-нибудь съестное. Спустя несколько минут до него донесся запах жареного мяса. Он покосился на Веллера. Веллер достал из кармана пальто обернутый в газету пакет, вынул оттуда бутерброд с мясом, потом опять завернул пакет в газету, спрятал его в карман, а бутерброд стал медленно и негромко поедать. Съев бутерброд, он откинулся на спинку сиденья и задремал.

Голод давал себя знать все сильнее. Лубенцов все больше мрачнел и нет-нет, а все возвращался мыслями к обернутому в газету аккуратному пакетику в кармане Веллера. Веллер же, ни о чем не подозревая, сидел, дремал, вновь просыпался, зевал, глядел в окно. Спустя часа полтора он опять вынул из кармана свой сверток. Лубенцов спиной — ей-богу, спиной — почувствовал это и стал напряженно и с каким-то странным любопытством ждать, что будет дальше. Веллер вынул из свертка еще один бутерброд, на этот раз с большой, разрезанной надвое сосиской. Он снова аккуратно завернул пакет и спрятал его в карман, затем съел бутерброд и стал глядеть в окно.

Лубенцов спиной чувствовал каждое движение Веллера, и каждое движение Веллера вызывало в Лубенцове нечто очень близкое к ненависти.

Вскоре машина въехала в довольно большой город. Лубенцов спросил у прохожего, где находится советская комендатура, и они отправились туда. Дежурный лейтенант дал Лубенцову записку в офицерскую столовую и молодого солдата в качестве проводника. Вместе с Веллером и Армутом Лубенцов вошел в столовую. Русская девушка-официантка подала им горячих, как огонь, щей, котлеты с гречневой кашей и теплый компот — все блюда сразу. Лубенцов с подчеркнутым радушием угощал Веллера, пододвигая к нему хлеб, огурцы и помидоры. Чувство вражды к Веллеру исчезло в нем и сменилось чувством приятного для самолюбия чуть-чуть презрительного превосходства,

смешанного с насмешливым удивлением. Он в душе посмеивался над Веллером, считая, что этим сытным обедом в советской столовой дал ему предметный урок товарищества.

Уплатив за обед, Лубенцов вышел вслед за Веллером и Армутом на улицу. Армут достал из багажника бачок с бензином и налил бензина в бак. Затем все уселись и поехали дальше. Вскоре городок остался позади, и снова замелькали поля и перелески, черепичные крыши деревень, выпасы со стадами коров и овец. Лубенцов с беспокойством посматривал на карту. До Грайфсвальда оставалось еще двести километров. Несмотря на быстроту езды, они в среднем делали шестьдесят — семьдесят километров в час, учитывая разные остановки, задержки, медленную езду в населенных пунктах и так далее. Таким образом, они, если даже исключить возможность каких-либо неожиданностей, приедут в Грайфсвальд только к вечеру. Заняться делом, ради которого они ехали, удастся только завтра, и неизвестно еще, сколько времени оно потребует.

— Давай, давай,— поторапливал Лубенцов Армута.

Начало темнеть. С пастбищ потянулись стада. Коровы и овцы, лошади и козы то и дело запружали дорогу, и машина из-за этого двигалась очень медленно. Армут во всю мочь давил на автомобильную сирену, но это не очень помогало.

Стало темно. Армут включил фары. Дорога обезлюдела. Вскоре пришлось остановиться — спустило одно заднее колесо. Армут заменил его запасным, заодно снова долил бензину и масла, и опять поехали дальше. Через несколько минут Лубенцов услышал за спиной шуршание бумаги. Веллер развернул свой сверток, достал из него еще один бутерброд, остатки опять спрятал и начал медленно жевать.

Лубенцов криво усмехнулся и зло забарабанил пальцами о подлокотник. Его подмывало сказать Веллеру что-нибудь оскорбительное. Ему хотелось вырвать из рук Веллера бутерброд и выбросить в окно этот кусок хлеба с мясом. Но он сдержался. До Грайфсвальда он не проронил ни слова.

Грайфсвальд оказался необычайно красивым старинным приморским городком, совершенно непострадавшим от войны. Тут было множество замечательных по архитектуре зданий, уютных площадей и тенистых улиц. Свежий морской ветер шуршал в листве деревьев. Впрочем, осмотреть город у Лубенцова не было времени. Полковник — комендант города, узнав, что привело Лубенцова сюда, сразу же пустил дело в ход. Он и сам был заинтересован в этом деле, так как земля, принадлежавшая Фледеру, числилась тут за другим владельцем. Несмотря на позднее время, полковник вызвал к себе заведующего кадастр-амтом, молодого и энергичного человека, бывшего крестьянина, члена коммунистической партии, который, не откладывая дела в долгий ящик, предложил Лубенцову немедленно выехать на место.

Они наскоро поужинали в маленьком ресторанчике напротив комендатуры, где питались офицеры советской воинской части, стоявшей в городе. Опять, как днем, Лубенцов потчевал Веллера.

— Ешьте, Веллер,— говорил он.— А то, смотрите, проголодаемся в дороге.

Веллер благодушно кивал головой, благодарил и ел за двоих.

Лубенцов уплатил за ужин, и они отправились за город, в лесные угодья господина Фледера.

Как и следовало ожидать, ведавший этими угодьями старичок оказался подставным лицом и под напором приехавших с Гарца русского офицера и односельчанина Фледера вынужден был сознаться, чьим имуществом он управляет.

На следующее утро, получив в земельном отделе необходимые документы, Лубенцов выехал обратно. На сей раз он захватил с собой еды на троих на всю дорогу.

Когда они уже подъезжали к предгорьям Гарца, Лубенцов вдруг повернулся всем корпусом к Веллеру и сказал:

— Извините меня, Веллер, я иностранец и, как это бывает, многого не понимаю в обычаях чужой страны. Скажите, это у вас принято — не делиться своей едой с товарищами по поездке, забывшими захватить еды в дорогу?

Веллер ужасно смутился, покраснел и сказал, что нельзя сказать, что это принято или что это является неким обычаем,— так было бы неправильно сказать; но так как-то водится; бывает, что и в гости идешь со своей провизией, и когда едешь на несколько дней, скажем, к своим родителям, то заранее посылаешь им деньги на эти несколько дней по столько-то марок на день; в хорошие времена тоже так было; аккуратность,— неискренне хихикнул он,— национальная немецкая черта.

— Немецкая? — переспросил Лубенцов.— Верно ли это? Не черта ли это всех мелких собственников?.. Нет, нет, Веллер. Я не сержусь на вас, а просто размышляю вслух.

XVII

Лубенцов ввалился в комендатуру веселый и усталый. Он тут же вызвал Касаткина и Меньшова и сообщил им о результатах поездки. Они очень обрадовались. Меньшов зарделся от удовольствия.

— Где Чохов? — вдруг спросил Лубенцов.

— Здесь,— ответил Касаткин.— У себя.

— Ну, как они тут с Воробейцевым?

— Пока все хорошо, стараются.

— Позовите ко мне Чохова.

Когда Чохов вошел, Лубенцов сказал:

— Василий Максимович, пойдём ко мне, поужинаем. И Воронина возьмите с собой, если он свободен. Посидим. Вспомним генерала Середу и наше дивизионное житье-бытьё.

Но, придя домой вместе с Чоховым, Лубенцов возле своей двери столкнулся с Себастьяном.

— Я к вам,— сказал Себастьян.

— Прошу.

Себастьян зашел, и тут Лубенцов с удивлением заметил, что ландрат одет в парадный костюм — он был в длинной визитке, накрахмаленной снежно-белой манишке и лакированных туфлях. Воронин даже потихоньку свистнул.

— Я на вас сердит и не пришел бы к вам,— откровенно сказал Себастьян,— но меня заставила прийти моя дочь. У нее день рождения, и вы приглашены уже давно.

— А почему вы на меня сердитесь? — лукаво спросил Лубенцов.— У вас нет никаких оснований, и я готов...

Себастьян замахал руками:

— Прошу вас, не будем говорить сегодня о делах. Объявим на один вечер перемирие. Итак, мы вас ждем.

С этими словами профессор вышел.

— Что делать? — беспомощно сказал Лубенцов.— В кои веки выдалась возможность посидеть с вами — и вот такое! Придется пойти. Эх, старик! Он не хочет говорить о делах и не понимает, что для меня посещение именин его дочери — вовсе не удовольствие, а тоже дело, и не легкое! Да еще в такое горячее время, когда ландрату следовало бы заниматься более важными вопросами...

— А как с подарком? — вставил Воронин.

— Ох!.. Подарок!.. Тьфу!

— Сделаем,— сказал Воронин и побежал искать Кранца.

— Надеть штатский костюм?—спросил Лубенцов у Чохова.

Чохову даже трудно было себе представить, что Лубенцов будет в штатском костюме. Штатский костюм казался Чохову чем-то необычайно бесформенным. Но, поразмыслив, он сказал, что лучше действительно Лубенцову одеться в штатское, как бы демонстрируя этим, что он в данном случае частное лицо.

Лубенцов вытащил из шкафа свой костюм.

— Спасибо Альбине,— сказал он.

Когда он оделся, Чохов с трудом узнал его — настолько этот стройный, русский, очень молодой человек не был похож на подполковника Лубенцова. Однако Чохов должен был признать, что штатский костюм Лубенцову к лицу. Следовало только выгладить пиджак. Они нашли электрический утюг, и Чохов взял на себя миссию привести пиджак в порядок. Но тут оказалось, что у Лубенцова нет ботинок, а надеть сапоги под брюки, повидимому, было неприлично. У Чохова ботинки были, так как он иногда носил военные брюки навыпуск, и он побежал за ботинками. Когда он вернулся, возник вопрос о галстуке.

Лубенцов сознался, что никогда в жизни не носил галстука. Но этой беде помог Воронин, который вскоре прибежал со свертками в руках.

Включив утюг, Чохов пошел посмотреть на подарки, которые Воронин раздобыл для Эрики Себастьян.

— Что у тебя там? — спросил Лубенцов.

Воронин развернул свою добычу. Там было всего по три: три пары чулок в красивых пакетиках из целофана; три флакона одеколona «французского, высшей марки», заверил Воронин; три бутылки ликера — «это здешний, местный, — заметил Воронин. — Может, неудобно?»

— Им бы консервы преподнести, — пробормотал Лубенцов. — Плохо живут. Наш ландрат, надо ему отдать справедливость, не из хапуг.

Чулки Лубенцов сразу забраковал. Такого рода подарок показался ему просто неприличным, чуть ли не нескромным намеком на что-то.

— Ты бы еще подвязки принес, — проворчал он.

Остановились на одеколоне. Ликер Лубенцов тоже после некоторого раздумья решил взять с собой и незаметно сунуть фрау Вебер в прихожей.

— Хорошо бы цветы, — предложил Чохов.

— Цветов у них много, — возразил Воронин. — Да и что толку? Завянут — выкинут.

Лубенцов рассеянно спросил:

— А как же с галстуком быть?

— С галстуком? Минуточку, — сказал Воронин и выбежал на улицу за ворота. Он зажег фонарик и осветил стоявшего в темноте Кранца и его галстук.

— Неважнецкий галстук, — сказал он.

— Могу принести другой, — предложил Кранц.

— Долго ждать.

Кранц снял свой галстук и вручил Воронину.

— Завтра отдам, — сказал Воронин. — Чулки получай обратно. Не прошли.

Кранц стал возражать, говоря, что это вполне прилично — дарить чулки и что сейчас с чулками дело обстоит очень плохо, так что вот такие чулки — наилучший подарок для дамы.

— Не хочет, — сказал Воронин. — Подожди, сейчас деньги принесу за ликер и духи.

Он вернулся в дом, быстро вывязал галстук Лубенцову, потом сказал:

— Деньги.

Лубенцов дал ему денег и отправился в большой дом, испытывая страшное смущение в непривычном костюме. Так как закапал дождик, он постарался быстро пробежать расстояние до большого дома — штатского пальто у него не было. Проклиная в душе всю эту историю, он нажал на звонок.

Гостей было человек тридцать. Когда Лубенцов, сунув в руки фрау Вебер свои подарки, вошел в большую гостиную, никто не обратил на него внимания, так как все, сидя в креслах, на стульях и диванах, слушали девушку, игравшую на рояле. К тому же многие из присутствовавших не знали Лубенцова, те же, что были с ним знакомы, не узнали его в штатском костюме. Эрика, обернувшись, удивленно прищурилась, с полминуты разглядывала его и только потом сразу просветлела, бесшумно поднялась с места, подошла к нему и крепко пожала ему руку. Девушка продолжала играть на рояле. Эрика стояла рядом с Лубенцовым и молча смотрела на него. Ему стало не по себе, он шепнул:

— Поздравляю.

— Я вас не узнала,— шепнула она в ответ.

Девушка кончила играть, все зааплодировали и стали просить ее сыграть еще. А Эрика все продолжала стоять возле Лубенцова. Потом ее позвали, и она очень неохотно отошла от него и скрылась в соседней комнате.

Лубенцов не без чувства облегчения сел на свободный стул и принялся рассматривать людей.

Он узнал президента Рюдигера, сидевшего в кресле рядом с женой — большой суровой старухой, удивительно похожей на своего мужа. Возле них с одной стороны сидел Себастьян, с другой — худой и задумчивый Клаусталь, а рядом с пастором — незнакомый Лубенцову мужчина в черной шикарной паре, с блестящей при свете люстры лысиной. Правее, на диване, расположились три седых старика весьма ученого вида. Слева от Себастьяна стоял бывший бургомистр Зеленбах, в своих огромных черных очках похожий на филина. Он опирался рукой на оттоманку, на которой устроились его толстая жена и две дочери. Хозяин книжной лавки Минден, бесцветный человек с двойными цилиндрическими очками, примостился в уголке у самого рояля, а рядом стоял изящный Гуго Маурициус с маленькой, болезненного вида блондинкой — женой.

Позади всей этой группы на диванчике полулежала и курила сигарету фрау Лютвиц, а возле нее сидели двое незнакомых Лубенцову грузных людей во фраках.

Все смотрели вдаль с таким выражением лиц, словно они разглядывают нечто интересное, но так как оно заслонено от них чужими головами и горю помочь нельзя, то приходится спокойно ждать, пока передние не насмотрятся. Это они слушали музыку.

Лубенцов внимательно посмотрел на Себастьяна. Профессор был красив в своем черном костюме. Его большие темные глаза теперь — может быть, благодаря музыке — казались очень грустными; прямые седые волосы всклокочены, и эта небрежность — особенно в окружении приглашенных и припозаженных причесок остальных мужчин — заставила Лубенцова

дружелюбно улыбнуться. Он впервые смотрел на Себастьяна не как на ландрата и не как на профессора, а как на человека среди других людей. И Лубенцов решил, что Себастьян — красивый, очень приятный и несомненно значительный человек.

Придя к этому выводу, Лубенцов повернул голову влево, к другой большой группе людей, сидевших слева от рояля.

Здесь было больше молодежи: прилично и старательно одетые юноши с гладкими прическами и узкими пиджачками и девушки, сдержанно-взволнованные, раскрасневшиеся, с трудом заставляющие себя сидеть неподвижно. Среди них находился только один пожилой человек — Эрих Грельман. Он был одет в коричневый мешковатый костюм. Музыкакой он, повидимому, не интересовался и все время шептался с какой-то одетой в длинное вишневого цвета платье дамой, в которой Лубенцов вскоре с удивлением узнал помещицу фон Мельхиор.

Наконец, еще левее, у окна, тоже стояло и сидело несколько человек. Среди них были Форлендер, Иост и рабочий-коммунист Визецки, ведавший в ландратсамте вопросами труда. Узнав их, Лубенцов приятно удивился и мысленно назвал эту группу «левыми скамьями», как это принято в парламентах в отношении левых партий.

Визецки был с женой — молодой работницей, опрятно, но бедно одетой. Она смотрела на собравшееся общество с нескрываемой насмешкой, ее голубые острые глаза смеялись. Этот взгляд пришелся по душе Лубенцову. Ему понравилось, что работница, оказавшаяся в «высшем свете», не оробела, не желает приспособливаться; она пришла такая, какая есть. И Лубенцов подумал, что, когда рабочие придут к власти в стране, эта женщина, если ей придется принимать у себя гостей, даже самых высокопоставленных, будет делать это со спокойным достоинством, весело и непринужденно. Он чуть не вынул из кармана записную книжку, чтобы, по своему обыкновению, занести туда для памяти фамилию фрау Визецки, но во-время сдержался.

В то же время Лубенцов был рад, что Себастьян, хотя и пригласил «светское общество» Лаутербурга, как он дельвал, вероятно, прежде, счел нужным позвать и своих новых друзей и сослуживцев. Это уже было прогрессом, хотя от позы «между двух стульев», как ни была она для него тягостна, он еще не отказался.

Лубенцов посмотрел на Себастьяна и с трудом скрыл веселую усмешку, когда вспомнил о своей поездке. Ему захотелось сразу же подойти к профессору и огорошить его рассказом о землях «честного Фледера» в Биркенхаузене и под Грайфсвальдом. И вдруг взгляд Лубенцова упал на сидевшего рядом с Клаусталем господина со сверкающей лысиной, и Лубенцов узнал Фледера. Да, это был Фледер собственной персоной; по-

видимому, Лубенцов не узнал его раньше лишь потому, что не мог себе представить его во фраке и к тому же не знал, что у Фледера лысина, так как никогда не видел его без головного убора.

«Э-э, да тут весь Лаутербургский район в поперечном разрезе», — подумал Лубенцов, и злые желваки заходили у него на лице.

«Честный Фледер» чувствовал себя несколько стесненно в высоком обществе. Он то и дело ерзал на своем стуле и воровато поглядывал на Рюдигера и Себастьяна; музыку он явно не слушал и с трудом сохранил задумчивый вид, подобающий человеку, слушающему музыку: он хотел быть похожим на профессоров и городских воротил.

Между тем девушка кончила играть. Общество разделилось на группки и кружки. Во всех углах завязалась оживленная беседа. Эрика, вернувшаяся в залу, подходила то к одному, то к другому кружку. Ее смех звучал то в одном, то в другом углу. Лубенцов исподлобья следил за ней.

Многие уже узнали коменданта и, вероятно, распространили среди остальных новость о его появлении на вечере. Но Лубенцов с легким удивлением отметил, что все без исключения отнеслись к этому факту внешне равнодушно, так, словно ничего особенного не произошло. Проходя мимо него, они вежливо склоняли головы и продолжали свои беседы друг с другом. Он был этому рад, так как их такт освобождал его от обязанности находиться в центре внимания, что-то объяснять, кого-то агитировать. С другой стороны, он не мог не отметить, что до некоторой степени их сдержанность его задевала — именно потому, что он привык быть в центре внимания и в глубине души предполагал, что его приход произведет сенсацию. К своим противоречивым чувствам он отнесся с юмором.

Он продолжал следить за Эрикой и замечал, что и она следит за ним. Раза два их взгляды встретились, и он мгновенно отворачивался.

Фледер все время беседовал с Рюдигером и Себастьяном. Себастьян несколько раз хлопал его по плечу — вероятно, хвалил за филантропические начинания «честного Фледера». Лубенцов усмехнулся, встал с места и прошелся по гостиной.

Он ходил от кружка к кружку, ловя обрывки разговоров. И чем больше он слушал то, о чем здесь говорили, тем более удивлялся. О политических событиях большой важности, происходящих теперь в Германии, здесь не упоминалось вовсе, словно их не существовало.

В одном кружке говорили о религии.

— Протестантизм — враг самой идеи бога, — медленно, растягивая слова, но не без внутренней страсти говорил один старичок, которого Лубенцову представили как «профессора

доктора». — Сделав Библию основой веры, Лютер превратил идею бога в идею книги. Грубые легенды пастушеского племени волей-неволей ударили по идее откровения, которая не нуждается в доказательствах...

В другом кружке молодежь с воодушевлением говорила о спорте. Один юноша вспоминал о своем довоенном путешествии в Скандинавию и о том, как он видел там конькобежные состязания. Толстая девушка, закатывая большие, как блюдечки, добрые голубые глаза, замирающим голосом говорила о слаломе.

В третьем кружке, центром которого являлась фрау Лютвиц, шла речь о модах — в частности, о новых американских журналах мод, присланных ей знакомыми с Запада.

Лубенцов слушал все эти разговоры с недоумением и досадой. Что это? Равнодушие или усталость? Безразличие или скрытая враждебность? Или они просто хотят забыться, не думать о том самом насущном, от чего зависела их жизнь? Или они считают, что за них должен думать кто-то другой?

Да, он, Лубенцов, вынужден думать не об «идее откровения», а о несравненно более близких и важных делах — например, об улучшении продовольственного снабжения немцев, об увеличении пайков хлеба и мяса, об удобрениях для полей и заготовках зерна, о пуске предприятий и справедливом разделе земли.

Он ненавидел праздношатающихся бездельников, людей, которые всегда стремятся быть свидетелями, «нейтралов», как он называл их с презрением. И в то же время он жалел стариков и молодых, — разумеется, Лютвицы и Фледеры в счет не шли, — столь приверженных к старому, столь слабо ощущающих новое. И к этому чувству неприязни и жалости примешивалось и удивление. Лубенцов удивлялся, что большие мировые события и явления, которые, канув в вечность, кажутся потомкам событиями и явлениями, целиком захватившими всех современников, на самом деле захватывают далеко не всех. Во время этих событий многие люди живут, опутанные своими маленькими мыслишками и делишками. И одна из важнейших проблем века не заключается ли в том, что два противоположных лагеря бьются за души маленьких людей, обывателей, огромного всемирного «болота», чье имя легион. Эта борьба трудна тем, что обыватель по самой своей сущности тянется к капитализму.

«Но так ли это? — думал Лубенцов, с жадным любопытством разглядывая лица людей. — Разве нельзя, ведя правильную и умную политику, убедить их в преимуществах нового образа жизни и хозяйствования, новых человеческих взаимоотношений перед старыми, отжившими?» И он ответил себе спокойно и убежденно: «Это трудно, но возможно».

Он направился к «левым скамьям».

Здесь царила совсем другая атмосфера. Форлендер разговаривал с Иостом об объединении обеих рабочих партий в одну большую, сильную марксистскую партию. Оба были согласны с тем, что вопрос назрел. Визецки задумчиво улыбался, наконец сказал:

— Наш Лерхе будет бунтовать.

Слова «наш Лерхе» он произнес ласково, а слово «бунтовать» с оттенком иронии.

— Вам еще не надоело здесь? — спросила фрау Визецки у Лубенцова.

— Неудобно уйти так сразу, — ответил Лубенцов, — да и в общем тут для меня много интересного.

— О, интересного тут много, — засмеялась фрау Визецки. — Так и разит прошлым веком. Что касается меня, то мне надоели эти господа с их внешним лоском и внутренней пустотой. Пойдем, Рейнгольд? — обратилась она к Визецкому.

— Не уходите, — попросил ее Лубенцов от всей души. — Без вас тут совсем станет уныло.

Позади раздали жидкие аплодисменты. Помещица фон Мельхиор пошла к роялю. «Всеяден наш профессор», — подумал Лубенцов о Себастьяне с мимолетным упреком. Мельхиор заиграла, и Лубенцов вначале рассеянно, а потом все внимательнее начал слушать музыку.

Игра на рояле всегда навевала на него меланхолию, рассеянную и тихую грусть и вызывала воспоминания о лесных полянах, берегах озер и рек, милых сердцу людях, виденных когда-то. Госпожа Мельхиор играла, повидимому, очень хорошо, — во всяком случае, все примолкли и, кажется, искренне увлеклись игрой. Только Фледер ерзал на стуле и оглядывался. Помещица играла что-то грустное, нежное, своей непосредственностью и неожиданностью поворотов похожее на импровизацию. Под такую музыку, казалось Лубенцову, нельзя делать ничего дурного и думать ни о чем дурном. И, блуждая глазами по слушателям, он с внезапным наивным огорчением убеждался в том, что музыкой нельзя переделать людей: Фледер оставался Фледером, фрау Лютвиц — корыстной заводчицей, Зеленбах — лавочником, да и сама Мельхиор, игравшая так чудесно, с упорством бульдога держалась за свои неправедно нажитые богатства.

Потом его взгляд упал на Эрику, сидевшую далеко, на другом краю комнаты. Она смотрела на него, несомненно. Смотрела прямо на него и, когда их взгляды встретились, не отвернулась, а продолжала упорно смотреть. По его спине прошел холодок.

Мельхиор кончила играть, и все направились в столовую. Лубенцов тоже пошел туда, но внезапно к нему подошла Эрика

и попросила его последовать за ней в другую комнату. Он покраснел до корней волос, но пошел за ней. В небольшой полутемной комнате его дожидалась госпожа Мельхиор.

— Вы, кажется, уже знакомы,— сказала Эрика, напряженно улыбаясь.— Извините, что я вас оторвала от общества. Госпожа фон Мельхиор очень просила меня...

Она быстро вышла из комнаты.

Госпожа фон Мельхиор, очень бледная и очень красивая в своем вишневом платье, стояла с минуту, не зная с чего начать. Наконец, она сказала:

— Я вас не узнала вначале, господин Лубенцов. А узнав, попросила фрейлейн Эрику... Ваш помощник не говорил с вами... обо мне?

— Какой помощник? — удивился Лубенцов.

Ее глаза на мгновение раскрылись, потом сузились, и она сказала упавшим голосом:

— Значит, не говорил?..

— А о чем собственно?

— Дело в том,— проговорила она после некоторого молчания, запинаясь,— что я просила оставить мне только дом и хотя бы пять гектаров земли... Как всем крестьянам... Я буду работать... Как все крестьяне... Я умею. Научусь.

— Фрау Мельхиор,— сказал Лубенцов.— Это невозможно, невозможно по многим причинам. Хотя бы потому, что мы не можем делать исключения ни для кого, поймите это. Я даже не могу вам посочувствовать, так как глубоко убежден в правильности проводимых мер.

Они постояли с минуту молча.

— Вы хорошо говорите по-немецки,— сказала она, наконец, и ее сжатые руки разжались.

— Отвечу вам более основательным комплиментом,— сказал Лубенцов.— Вы прекрасно играете. С таким талантом нет смысла опасаться будущего и мечтать о пяти гектарах... При соединимся к остальным?

— Идите, господин Лубенцов. Я немного посижу одна.

Он вышел из комнаты. Гостиная была пуста. «Не смуться ли мне домой?» — подумал он и действительно собрался уйти, как вдруг дверь открылась и на пороге показался капитан Воробейцев в советской военной форме с медалями на груди, в широчайших синих галифе. В руке он нес букет цветов и какой-то сверток. Он рассеянно взглянул на Лубенцова, но не узнал его в гражданской одежде. Раскрылась другая дверь в столовую, и оттуда появилась старушка Вебер. Она пригласила Воробейцева войти, и он вслед за ней скрылся в столовой. Почти сразу же после этого из столовой вышел Себастьян.

— А, вот вы где,— сказал он Лубенцову.— Прошу, прошу. Лубенцов сказал:

— Господин профессор, к сожалению, служебные дела... Я пойду.

— Нет, нет,—запротестовал Себастьян.— Эрика будет огорчена. И гости...—Он лукаво усмехнулся.—Они польщены вашим присутствием на скромном празднике немецкого профессора. Это тоже полезно для служебных дел, а, как вы думаете?

Лубенцов нахмурился, но послушно вошел вместе с Себастьяном в столовую.

Гости уже выпили. В столовой было шумно. Жужжанье голосов становилось все громче. Лубенцов сел на отведенное ему место между женой Рюдигера и Форлендером. Он поискал глазами Воробейцева; тот сидел, очень важный, среди молодых девушек на другом краю стола, и его взгляд бесцеремонно скользил по лицам гостей.

Вскоре дверь тихонько приотворилась, пропуская госпожу Мельхиор. Она сразу же с порога увидела Воробейцева, и ее лицо перекопилось. Эрика подошла к ней, они о чем-то пошептались и вышли из комнаты. Через несколько минут Эрика вернулась одна. Она посмотрела на Лубенцова долгим, пристальным взглядом и села на свое место. Помещица больше не появлялась.

Фледер, изрядно выпив, стал разговаривать громко и неприлично. Время от времени он обращался чрез стол к Лубенцову, приглашал его к себе в деревню отдыхать и хвастался своими сливками, свиной и грушами.

— За ваше здоровье, господин комендант,—воскликнул он.

Этот возглас достиг слуха Воробейцева, который в это время, сбросив с себя важность, что-то шептал своим соседкам. Он сразу умолк, пристально взглянул на Лубенцова, узнал его и тихо свистнул. Одернув китель, он медленно направился к Лубенцову.

Пробравшись среди гостей, он вскоре очутился возле стула, где сидел Лубенцов, и шепнул ему:

— Товарищ подполковник, меня пригласили, и мне неудобно было отказать.

Лубенцов не видел ничего дурного в том, что Воробейцев принял приглашение; офицеры комендатуры вынуждены были все время общаться с немцами, и ограничивать это общение было неразумно, да и невозможно. Но у некоторых начальников в СВА существовала иная точка зрения, и Лубенцов знал это. Поэтому он сказал:

— Надо было поставить в известность меня или майора Касаткина.

— Есть,—сказал Воробейцев.— Учту.

Он отошел от Лубенцова, довольный тем, что подполковник так спокойно отнесся к его появлению здесь, на вечере. Но чувство свободы исчезло, и Воробейцев, потолкавшись немного в гостиной, вскоре ушел.

Лубенцов тоже собрался уходить. Он мигнул «левым скамьям». Фрау Визецки кивнула и улыбнулась.

Но и на этот раз Лубенцову пришлось задержаться. К нему направился своей медвежьей походкой руководитель ХДС Эрих Грельман, который в течение всего ужина пристально и хмуро поглядывал на Лубенцова.

— Хочу поговорить с вами откровенно,— сказал Грельман. Он показал Лубенцову на стул, сел напротив и заговорил медленно и веско: — Я боюсь, что наши левые не понимают, что творят, и ведут Германию к голоду, к дефициту сельскохозяйственных продуктов... Поймите, господин комендант. Ведь и у вас в Советском Союзе опыт показал, что мелкое землевладение нерентабельно. Вы заменили его крупным землевладением. А левые хотят здесь, в Германии, раздробить большие поместья, раздать их многим владельцам по несколько гектаров и таким образом привести к застою и в конечном счете к развалу наше сельское хозяйство...

— Вы обращаетесь не по адресу,— сказал Лубенцов сухо.— Я не решаю этого вопроса. Вам надлежит обратиться гораздо выше и там развивать свои доводы. Тем более что, как вам известно, инициатива в этом вопросе исходит не от Военной Администрации, а от двух демократических партий.

— Понятно, понятно,— махнув рукой, сказал Грельман.— Понятно и то, что эти партии не выступили бы со своей инициативой, если не ожидали бы поддержки Военной Администрации. Господин комендант! — после некоторого молчания продолжал Грельман торжественным тоном.— Я высокого мнения о вашем уме и энергии, а также о свойственном вам чувстве справедливости. Именно поэтому я решился откровенно сказать вам свое мнение, не боясь последствий. Именно потому, что я желаю добра вам лично и не питаю никаких враждебных чувств к советским оккупационным властям, я счел своим долгом ознакомить вас с моим мнением, которое является не только моим.

— Благодарю за откровенность,— сказал Лубенцов.— Разрешите и мне быть откровенным. В вашей партии состоят свыше ста помещиков Лаутербургского района. Кроме помещиков, у вас несколько сот крестьян. Среди них есть и безземельные. Вы и от их имени говорите со мной? Или вы думаете, что они не имеют своего мнения и не смогут его высказать? Боюсь, что вы грубо ошибаетесь. Вы слабо представляете себе, что думают крестьяне. Говорят, что со стороны виднее. Я за то время, что работаю здесь, беседовал с сотнями крестьян. Я не хвастаюсь этим, так как считаю своей обязанностью говорить с людьми. Кстати, мне известно, что вы этого не делали. Вы не интересовались тем, что думают крестьяне, опасаясь, что они вас не поддержат и выразят вам недоверие, потому что их интересы прямо противоположны

вашим идеям. А вот с помещиками вы беседуете. В прошлую субботу вы были в гостях у помещика Вальдау, в среду — у помещицы фон Мельхиор. И так далее. Я ценю вашу искренность, но повторяю в третий раз, что вы обращаетесь не туда, куда следует.

— Пусть будет так,— сказал Грельман не то покорно, не то угрожающе.

— Будет так,— ответил Лубенцов и пошел к выходу. В гостиной играл патефон, молодежь танцевала. «Левые» дожидались его у двери.

— Скорей пошли,— шепнул им Лубенцов и открыл дверь. В это мгновение его окликнул Фледер, который стоял неподалеку и что-то горячо втолковывал Себастьяну.

— Вы уже уходите? — спросил Фледер улыбаясь. — Всё дела, дела!.. А отдыхать когда? Ведь отдыхать необходимо!

Себастьян улыбался, глядя на Фледера устало и ласково.

— Он приглашает нас к себе,— сказал он. — Действительно, мы могли бы несколько дней чудесно отдохнуть у господина Фледера. Он рыболов и любитель спорта.

— А куда он нас приглашает? — спросил Лубенцов, мрачняя, и повернулся к Фледеру: — Куда вы меня приглашаете, господин Фледер? Может быть, в Биркенхаузен или Грайфсвальд? Там тоже красивые места. Я вчера там был. В Биркенхаузене замечательно. Дом у вас там прекрасный, горы кругом, рядом река. А лес под Грайфсвальдом над самым морем! Привет вам от фрау Мольдер и от старика Ланке. Хотел вам раньше передать, но господин Себастьян так дорожит вами, что не отпускает вас ни на шаг. Вы у него вроде как герой сегодняшнего праздника... Просто не наглядится на своего «честного Фледера».

С этими словами Лубенцов круто повернулся и вышел в прихожую, оставив бледного и дрожащего Фледера и растерянного Себастьяна глядеть друг на друга. Впрочем, Себастьян сразу опомнился и бросился вслед за Лубенцовым. Он догнал его у двери домика, где Лубенцов в темноте прощался с Форлендером, Иостом и Визецкими.

— Да, да, да,— сказал Себастьян. — Вы мне преподали серьезный урок. Мерзкий человек этот Фледер и как умеет притворяться... Ну, и вы хороший! Надо было сразу сказать. У вас прямо убийственная, мефистофельская ирония. Его там отливают водой, как нервную знатную даму. Впрочем, некоторые знатные дамы ведут себя мужественнее. Наделали вы переполоха. Ну, хорошо, ну, спокойной ночи, завтра поговорим.— Он вдруг засмеялся и, смеясь, сказал: — А в остальном вечер прошел неплохо, как вы считаете?

Он суетливо пожал Лубенцову руку и ушел. Посмеявшись и поздравив Лубенцова с разоблачением Фледера, ушли и Визецкие, Иост и Форлендер. Лубенцов почувствовал чудовищную

усталость. Шел теплый дождик, и Лубенцов поднял лицо вверх, чтобы капли дождя освежили его. Возле большого дома раздавались голоса. Засветился и снова погас фонарик. Кто-то из гостей уходил.

«Молодец, старый хрыч», — подумал Лубенцов о Себастьяне полунасмешливо, полулюбовно.

ХІХ

Проезжая утром по дороге в комендатуру мимо ресторана Пингеля, Лубенцов заметил возле входа в ресторан американскую воинскую машину «додж». Здесь же на тротуаре стояли сержант Веретенников с двумя солдатами.

— Американцы какие-то приехали, — сказал Веретенников. — Драку учинили. Что с ними делать? Союзники все-таки. Арестовать неудобно. Да и не так это просто. Ужасно перепились.

Лубенцов вошел в ресторан. У одного из столов сидели шестеро американцев. Они пели песню. Кроме них, в ресторане никого не было, и только из дверцы, ведущей на кухню, виднелось перепуганное лицо фрау Пингель. При виде Лубенцова она скрылась и появилась вместе с бледным и дрожащим Пингелем. Рука его была на перевязи.

Американцы, увидев Лубенцова, прекратили пение и стали весело тараторить, повидимому приглашая русского офицера к своему столу. Один из них поднял высоко над головой две нераспечатанных бутылки горлышками вниз.

Один из американцев, лейтенант, сравнительно более трезвый и говоривший по-немецки, объяснил в ответ на вопрос Лубенцова, что ничего особенного не произошло; они просто выгнали из ресторана всех немцев, потому что немцам нечего делать там, где пьют американские солдаты; не уплатили они по той причине, что не собираются платить немцам, так как немцы обязаны все давать американцам и русским бесплатно, и пусть они будут благодарны уже за то, что их не убивают, «этих проклятых нацистов».

Тут была не ненависть, а озорство, ощущение безнаказанности и безответственности, та оккупационная вольница, которая встречалась и среди советских солдат, но против которой советское командование боролось всеми средствами.

Лубенцов спросил, что им нужно в Лаутербурге и как они забрели в этот городок. Лейтенант ответил, что они следуют в Берлин по делам службы. Лубенцов сказал, что они поехали не туда, так как та дорога, по которой должны следовать американцы, не проходит через Лаутербург.

— Какая разница? — сказал лейтенант.

Лубенцов сказал довольно строго, что им следует немедленно уехать и что он, как комендант, не может разрешить устраивать дебоши в вверенном ему городе. Лейтенант обиделся, надулся и сказал, что он не предполагал, что русские станут защищать немцев от своих товарищей по оружию. Лубенцов настойчиво повторил, что дело тут не в защите немцев, а в том порядке, который установлен высшим командованием — Контрольным Советом, в который входит, как, наверное, известно лейтенанту, и генерал Эйзенхауэр и маршал Жуков. Лейтенант обиженно поджал губы, так что Лубенцову стало даже чуточку жалко его, как бывает жалко ребенка, у которого забирают спички и который никак не может понять, зачем людям нужно лишать его удовольствия.

Лейтенант велел остальным собираться. Они недовольно поднялись, не очень дружелюбно простились и уехали.

— Не уплатили! — всплеснула руками фрау Пингель.

Официантки стали собирать осколки разбитых бокалов и тарелок. Пингель хмуρο молчал.

Лубенцов начал шарить по карманам, чтобы возместить Пингелю его потери и убытки, так как до некоторой степени считал своим долгом защищать достоинство союзников от немеских обвинений. Но денег он у себя не нашел. Он бросал деньги, не придавая им никакой цены. За войну он так привык жить на полном иждивении у государства, что теперь, в мирных условиях, заметил, что отучился соизмерять свои средства. Он только знал, что коменданту полагается за все платить, но так как разучился ценить деньги — он платил за все втридорога: сколько вынимал из кармана, столько и платил.

Это происшествие с американцами было только одним из многих. Начиная с сентября американцы все чаще заглядывали в Лаутербург. Некоторые из них являлись в комендатуру, другие просто приезжали в город, останавливались у немцев на квартирах. Лубенцов, наконец, потерял терпение и запросил СВА, как быть. Причины американских визитов были весьма разнообразны. Один капитан приехал для того, чтобы расплатиться с неким немецким лавочником за купленные несколько месяцев назад вещи; другой американский офицер, после того как комендантский патруль обнаружил его машину в одном из лаутербургских дворов, объяснил, что не знал о том, что в Берлин можно ездить лишь по одной определенной дороге; третьи — целая группа офицеров, в течение двух-трех дней путешествовавшая по всему району вкривь и вкось, — заявили, что совершая увеселительную прогулку, и так далее.

Из СВА поступило указание возвращать американцев к демаркационной линии, вежливо, но настойчиво объясняя им незаконность их действий. Поневоле возникло подозрение, что прогулки совершаются неспроста, а с разведывательными целями. Вполне возможно, что не всегда это было так. Например,

те американцы, которые дебоширили в ресторане Пингеля, не имели никакой тайной цели. Но несколько случаев не могли не насторожить Лубенцова.

Особенно не понравился ему американский капитан по фамилии О'Селливэн, который прибыл якобы затем, чтобы расплатиться с целым рядом немцев за какие-то ранее купленные у них вещи. После того как этот капитан был обнаружен и приведен в комендатуру, Лубенцов поручил капитану Чохову сопроводить его до демаркационной линии.

Чохов ехал на своей машине впереди, а американец на своей — сзади. Собственно говоря, Чохов вначале подумал, что позади следует ехать ему, так как он до некоторой степени является конвоирующим. Но потом он решил, что вернее будет все-таки наоборот, именно для того, чтобы не подчеркивать свою роль, и проявить максимум такта в отношении союзника. Однако уже в первой деревне Чохов, поглядев назад, обнаружил, что машина американца не следует за ним. Он остановил машину, подождал минут пять, потом вернулся обратно.

Машина американца стояла посередине деревни возле пивной. Американского капитана и шофера в машине не было.

Чохов вошел в пивную. Американцы стояли у стойки. Хозяйка или официантка, молодая девушка с высоко взбитой прической, разговаривала с ними. Оказалось, что О'Селливэн знает немецкий язык, хотя в Лаутербурге утверждал, что не знает.

Он оглянулся на вошедшего Чохова. Лицо Чохова было мрачным, и он без всяких церемоний показал рукой на дверь. — О'кэй, — сказал американец, улыбаясь, и пошел к двери.

Чохов вышел вслед за ним. Американцы уселись в машину. Чохов зло сказал им несколько слов по-русски, сопровождая свои слова красноречивыми жестами, потом тоже сел в машину и, с минуту поколебавшись, опять поехал впереди.

В следующей деревне американская машина прибавила ходу. Поравнявшись с Чоховым, О'Селливэн просунул в окошко бутылку, предлагая, повидимому, Чохову остановиться и выпить. Чохов ничего не ответил, но посмотрел достаточно выразительно.

Машина О'Селливэна — большой легковой «студебеккер», окрашенный в разные цвета — зеленый, коричневый и белый (остатки военной маскировки), — взревела, обогнала машину Чохова и скрылась за поворотом. Чохов побледнел от злости.

— Нажмай, — сказал он. Шофер «нажал»; но «студебеккер» был помощнее; к тому же дорога шла в гору. Только в следующей деревне, где машина американца снова остановилась у пивной, Чохов догнал его. Чохов выглядел довольно глупо, когда вошел в пивную и встретил насмешливую улыбку О'Селливэна, сидевшего в углу за столиком и тянувшего из

рюмки коричневую жидкость. Бутылка — та самая, которую он высовывал в окошко машины, дабы искусить Чохова,— стояла откупоренная на столе.

— Плиз ¹,— сказал О'Селливэн, быстрым движением хватая стул и ставя его возле себя.

Чохов с превеликим удовольствием взял бы американца за шиворот и выволок к машине, но, помня предупреждение Лубенцова о тактичном отношении к союзнику, сел рядом и вынул сигарету, чтобы закурить. О'Селливэн предупредительно вынул из кармана пачку «Честерфилда». Но Чохов закурил свою. Пить из налитой ему рюмки он тоже не стал. О'Селливэн взял его рюмку, наполненную водкой, и поставил себе на голову, предварительно сняв пилотку. Потом он встал, с рюмкой на голове влез на стул, оттуда на стол, потом слез со стола на стул, оттуда на пол, снова сел, снял рюмку с головы и поставил ее на стол перед Чоховым.

Чохов не улыбнулся даже краешком губ.

Тогда американец взял три стакана и стал ими жонглировать, причем делал это очень ловко, одним глазком все время следя за Чоховым, который сидел с необычайно скучающим видом. Потом американец развел руки в стороны, и все три стакана — один за другим — с грохотом упали на пол и рассыпались на мелкие осколки. Чохов даже не шелохнулся, продолжая рассматривать его лицо и покуривать свою сигарету, не затягиваясь, а просто пуская дым.

После этого американец уплатил хозяину пивной и направился к выходу. Чохов встал и пошел за ним, чувствуя себя в ужасно глупом положении и проклиная Лубенцова за то, что он послал именно его, Чохова, с этим юродивым.

Когда О'Селливэн сел в машину рядом с шофером, Чохов решительно открыл заднюю дверцу его машины и тоже сел в нее. О'Селливэн засмеялся. Машина тронулась. Комендантская машина пошла следом за ней.

Они без дальнейших приключений доехали до деревни, находившейся на самой демаркационной линии. На краю деревни стоял шлагбаум, возле шлагбаума ходил советский солдат с автоматом. О'Селливэн жестами пригласил Чохова ехать с ним дальше, в американскую зону, и при этом говорил что-то по-английски, время от времени произнося по-русски слово «карашо».

Чохов вышел из машины и сказал солдату:

— Выпусти его, пускай едет к...

Солдат открыл шлагбаум, и О'Селливэн, махнув Чохову на прощанье рукой, поехал дальше по дороге туда, где метрах в сорока, возле мостика через ручей, стоял американский солдат.

¹ Прошу (англ.).

Чохов вернулся в Лаутербург часов в семь вечера и, поднимаясь по лестнице комендатуры, вдруг остановился, удивившись охватившему его на мгновение радостному предчувствию чего-то приятного. И затем еще больше удивился тому, что, по видимому, это приятное — не что иное, как занятие кружка по изучению немецкого языка, которое должно было начаться в восемь часов.

Он нахмурился, постоял с минуту и пошел дальше. Лубенцова не было, он уехал в Галле. Чохов доложил Касаткину о поездке с американцем и пошел в комнату, где собирался кружок. Почти все офицеры были в сборе. Ксения сидела у столика и что-то читала. Ее толстые косы были сплетены, увязаны и уложены вокруг головы так туго, что казалось, ей больно. Она подняла лицо, посмотрела на входившего Чохова и тут же снова склонилась над тетрадкой.

Так как не все еще собрались, офицеры мирно беседовали между собой. Они говорили о городе Лаутербурге, оценивая город каждый со своей колокольни. Чохов услышал примерно такой диалог:

В о р с к и й. Культурный городок. В городской читальне всегда полно юношей и девушек. Много читают... Любят очень свой город, его исторические памятники.

Ч е г о д а е в. Трудовой городишко. Разные мастерские, ремонтные и всякие. Промышленность солидная. Хорошо работают, молодцы.

Л е й т е н а н т — командир взвода. Город бездельников. Пьяных много, в пивных всегда народ. Неизвестно, когда и работают.

М е н ь ш о в. Город очень приличный. Все вежливые, особенно дети очень вежливые. Только и слышать — «пожалуйста», «битте». Чистенько живут.

В о р о б е й ц е в. Развратный, пропащий город! Всё проститутки да спекулянты. Черт знает, что творится.

Кто из них был прав? Все.

Занимаясь с Ксенией в кружке, Чохов иногда вместе с ней покидал здание комендатуры, и они шли рядом до ее дома. Здесь Чохов прощался и уходил. Их разговор был вначале односложен. Но чем дальше, тем больше они говорили. Люди, знающие их, удивились бы, услышав, как свободно льется их беседа. Говорила больше Ксения. Она как бы отыгрывалась за свою обычную молчаливость. При Чохове у нее раскрывалась душа. Она чувствовала, что при нем можно говорить все, потому что никто на свете от него ничего не может узнать. То доверие, какое он внушал людям вообще, он сумел внушить ей во много раз сильнее.

Несколько мальчишеское презрение к женщинам, которое он еще не изжил в себе, понемногу таяло в нем.

Их прогулки становились все продолжительнее. Они уходили далеко за город. Трудно решить, кто был зачинщиком этих загородных прогулок,— они начались как-то сами собой,— но все-таки, пожалуй, она. Чохову было стыдно ходить по городу с девушкой. На немцев он не обращал внимания, но при встрече с советскими офицерами или солдатами мучительно краснел. Может быть, он опасался, что ее примут за немку и, таким образом, заподозрят Чохова в немыслимом с его точки зрения поступке: что он прогуливается с немкой по городу. Впрочем, принять ее за немку было невозможно. Немцам, если бы им об этом сказали, это показалось бы смешным, настолько Ксения похожа на русскую, и только на русскую. Но важнее для Чохова было другое. Самолюбие Чохова страдало от того, что кто-то мог подумать, что он, подобно всем, не может обойтись без женщины. Однако прекратить эти прогулки он уже тоже не мог. Они углублялись в узкие средневековые улочки, похожие на декорации игрушечного театра, и вскоре оставляли позади себя город; в город они поднимались не по большой дороге, а по тропиночкам, которые шли вверх довольно круто и были густо посыпаны желтыми кленовыми листьями и золотыми листьями буков. Вскоре они оказывались на вершине, с которой малиновые кровли города, освещенные заходящим солнцем, и желтая листва деревьев представляли зрелище, полное спокойствия и красоты. Правее, на другой стороне города вздымались скалистые стены, и замок, серый и печальный при любой погоде, казался на таком расстоянии тоже декорацией игрушечного театра, на котором разыгрывается какая-нибудь сказка братьев Гримм.

Это сравнение со сказочной декорацией, однажды высказанное Чоховым, неожиданно привело Ксению почти в иступленное состояние. Она с презрением посмотрела на Чохова, ее строгое лицо исказилось, и она проговорила:

— Какие вы все забывчивые! Они вами прямо не нахвалятся. Кричали «рус, сдавайся», теперь кричат «рус хорошо». Вы им верите, а им верить нельзя. Скорее бы уж домой уехать. Долго нас будут мариновать? Вы бы хоть узнали, спросили.

Нельзя сказать, чтобы ее слова не нашли отклика в душе Чохова. Они подняли со дна его души все, что, казалось, давно устоялось, осело или вовсе исчезло, но что, видимо, где-то все-таки существовало там. Это были обрывки воспоминаний, мысли о погибших родных людях, о разоренных дотла землях — все то, что память держала под спудом и что казалось до того давно прошедшим, что неизвестно, было ли оно вообще. Чохов даже испытал нечто вроде угрызений совести по поводу того, что он это как бы совсем забыл, так легко все простил, подчиняясь ходу повседневной жизни и под влиянием свойственной людям склонности к забвению прошлого.

Однако в то же время политика по отношению к народу побежденной страны казалась настолько единственно правильной, настолько разумной и само собой разумеющейся, происходящая борьба за новый строй жизни и мыслей в этой стране представлялась настолько успешной, что Чохов сделал попытку оспорить слова Ксении и свои собственные воспоминания.

— Нельзя,— сказал он,— всех под одно.— И он начал выкладывать ей тот великий список, который обычно выкладывался в таких случаях: — А Маркс и Энгельс? А Либкнехт? А Тельман?

На это она ответила уже без горячности, скорее с печалью:

— Они их выгнали или убили.— И она махнула рукой.— Они всех убьют. Всех, кто хочет сделать их людьми. Они и Вандергаста убьют и Лерхе, дай им только волю. И Лубенцова и вас, дайте им только волю.

Чохов подумал о том, как ответил бы на это Лубенцов, и сразу решил, что Лубенцов ответил бы: «А на это мы им воли не дадим». Или что-нибудь в этом роде. И Чохов позавидовал Лубенцову, что он мог бы именно так ответить — весело и непринужденно, обходя существо вопроса тогда, когда это необходимо, потому что в конце концов ведь было смешно стоять здесь, на этой золотой от палой листвы горе, и спорить о том, что решается там, внизу. И Лубенцов был бы, конечно, прав, не входя в обсуждение вопросов, над которыми бился теперь весь мир.

Но Чохов не мог отшутиться, потому что слова Ксении произвели на него большое впечатление. Кроме того, Ксения нравилась ему именно теперь особенно сильно. Она была серьезна. В ней не было ничего похожего на отношение к нему как к молодому человеку, пригодному для флирта. Он и не был пригоден для этого.

Они постояли несколько минут молча, потом она медленно пошла дальше, по тропинке вниз; она не позвала его за собой, а только оглянулась с истинно женственным поворотом головы, в котором было столько уверенности в том, что он за ней следует, что более наблюдательному человеку, чем Чохов, это сказало бы многое. Но Чохов думал еще о ее словах больше, чем о ней самой, и проблемы послевоенного устройства мира занимали его еще больше, чем проблемы его собственного послевоенного устройства.

В другой раз она повела его на ту скалу, где располагался замок.

Замок, издали казавшийся пустующим, необитаемым, был полон людей. Здесь в комнатах со стенами необычайной толщины и, в каморках, находившихся в самой крепостной стене, — там, где некогда помещались солдаты, обслуживавшие бойницы, — теперь жили люди, потерявшие жилье после американ-

ской бомбардировки. Во дворе замка на неровных, выщербленных плитах играли дети.

В замке был сторож, старик лет шестидесяти. Он рассказывал легенды, связанные с этим местом. То, что он рассказал, было похоже, как две капли воды, на рассказы о других замках. Здесь жил князь, который замуровывал своих врагов в стены. В подземельях, по преданию, находился некогда монетный двор; чеканщиков отсюда никуда не отпускали, и они погибали в подземельях. У князя был единственный сын, которого он казнил, а потом, раскаявшись, верхом на коне, во всех доспехах бросился вниз со скалы.

От более поздних времен здесь остались клавикорды, портрет Екатерины II тех времен, когда она еще была бедной принцессой Ангальт-Цербстской, старинная мебель.

Сторож похвалил коменданта, сказав, что по его приказу люди понемногу переселяют отсюда в отремонтированные городские дома, а здесь вскоре открывается музей.

Однажды Ксения повела Чохова на противоположную окраину города, и, свернув от крайних домов в поле, они дошли до группы барачных неприятного вида. Подходя к ним, Ксения замедлила шаги. Чохов понял, что это бывший лагерь для русских пленных и что здесь Ксения жила раньше. Они подошли к одному из барачных. Ксения постучала в окно. В окне сразу же появилось большое и бледное лицо, обросшее бородой, и через минуту на пороге показался человек с деревяшкой вместо одной ноги, в белой рубахе без пояса.

— Гоша,— сказала Ксения,— познакомься. Это капитан Чохов.

То, что Ксения назвала человека уменьшительным именем, произвело на Чохова неприятное впечатление. Но это мимолетное чувство быстро прошло, так как одноногий после первых же слов, сказанных им, показался Чохову человеком значительным и особенным. Он здесь в бараках остался в одиночестве, нигде не работал — ссылался на свою ногу. Бывшие лагерники, теперь работавшие кто где, снабжали его всем необходимым, хотя никто их к этому не обязывал.

— Доживу уже здесь до отъезда на родину,— сказал он.

— А когда едете? — спросил Чохов.

— Обещают скоро отправить. А ты как? — спросил он Ксению.

— Просилась,— сказала она.— Пока не отпускают.— Она сердито посмотрела на Чохова.— Замолвили бы вы словечко подполковнику. Он немецкий язык знает не хуже меня, обойдется. У него теперь Яворский есть. Да и переводчика он найдет.

— Хорошо, скажу,— сказал Чохов.

Ксения в ответ на эти слова бросила на него быстрый взгляд, выразивший необычайно сложную гамму разнообразных

чувств. Да, она хотела уехать домой, и это желание было совершенно искренним; стало быть, ей следовало радоваться обещанию Чохова поговорить об этом с Лубенцовым. И она действительно радовалась его обещанию, так как знала о связывавшей Чохова и Лубенцова стародавней дружбе. Но в то же время она огорчилась, что Чохов воспринял эту просьбу с такой наивной уверенностью в ее полной искренности, и девушку пронизала острая боль от его честной готовности помочь ее отъезду.

Но Чохов, со свойственной ему прямою характера, не уловил этих сложностей.

Однако на следующий день, когда Чохов, освободившись от работы, узнал, что Ксения уехала с Касаткиным в район, он почувствовал, что без нее ему скучно. Заметив это, он несколько удивился, потом рассердился на себя, и, лишь когда то же самое повторилось несколько дней подряд, он, наконец, стал догадываться, что любит Ксению.

Но и убедившись в том, что ему без Ксении нехорошо, и признавшись перед самим собой, что он все время хочет ее видеть, Чохов тем не менее все еще не мог согласиться с тем, что Ксения — его судьба. Его смущало то, что он познакомился с ней случайно. То есть если бы не произошел ряд мелких и крупных случайностей, а именно: если бы не была расформирована его часть, а потом другая часть, если бы он не согласился идти в Альтштадте работать в Советскую Военную Администрацию, если бы случайно не ушла из комендатуры Альбина, если бы одноногий не порекомендовал именно Ксению на ее место, если бы Ксения вообще находилась не в Лаутербурге, а в другом городе, если бы Лубенцов не устроил Чохову разнос и не заставил его изучать немецкий язык, то есть заниматься с переводчицей, — если бы всего этого не случилось, Чохов не был бы знаком с Ксенией и, следовательно, не возникло бы то чувство, которое связывало его с нею. Несмотря на всю наивность этих рассуждений, они сильно действовали на Чохова и заставляли его быть сдержанным.

Он сам толком не знал, как представлял он себе ранее такую встречу — встречу особую, единственную, на всю жизнь. Девушка, что ли, должна быть обязательно из его родного города? Быть знакомой ему с детства? Или он должен отправиться, как в сказках, на поиски своей «доли» и при этом должен получить какое-то знамение, что это именно та самая? Может быть, он так действительно думал, потому что детские представления не так легко, как это кажется, выветриваются из головы взрослого человека.

Серьезное значение имело и то обстоятельство, что Ксения была угнана немцами в Германию и жила здесь несколько лет. Мужское население страны, подвергшейся оккупации чужих войск, испытывает жгучую ревность, — оно ревнует женщин,

живущих на оккупированной территории, к оккупантам. Так было, когда немцы были на территории СССР. То же самое чувствовали теперь многие немцы по отношению к своим женщинам.

С особенной остротой эта странная общенародная ревность проявлялась по отношению к девушкам, которые вынуждены были подневольно работать в Германии. Это отношение многих солдат и офицеров нередко было несправедливым и оскорбительным, но оно было. Такие люди ненавидели и презирали русскую женщину, сблизившуюся с захватчиком, пожалуй больше, чем самого захватчика.

Чохову, которого сильно тронула ненависть Ксении к немцам, почудилось в ее ненависти и нечто очень личное. Он предполагал, хотя и не имел на это никаких оснований, что она ненавидит не просто немецких фашистов за их злодеяния, а может быть, одного какого-нибудь немецкого фашиста за его злодеяние по отношению к ней и переносит эту ненависть на всех немцев вообще. И эта непонятная, беспредметная ревность к одному немцу, который, может быть, некогда надругался над Ксенией, причиняла самолюбивому и скрытному Чохову страдания, которые не становились легче оттого, что не имели оснований.

XXI

Между тем их прогулки и встречи не могли остаться в секрете. Чохов стал замечать — а скорее всего, ему стало казаться, — что товарищи смотрят на него по-особому и в разговоре с ним на что-то намекают. Лубенцов раза два после конца работы, когда офицеры оставались на совещание, неожиданно говорил ему, что вопросы, которые будут обсуждаться, его не особенно касаются и что он может быть свободен. Он впервые в жизни почувствовал себя глубоко зависимым от окружающих. Он никогда никого не боялся, а теперь он опасался чьего-либо прозрачного намека или насмешливой улыбки. Он считал при этом, что Ксении должно быть еще стыднее, чем ему, и удивлялся, почему она не боится никого. Она была моложе, но взрослее. Он же решил, что она потому никого не опасается, что не любит его и поэтому не находит ничего предосудительного в их встречах. А она любила его, но была в свою очередь уверена, что он не помышляет ни о чем подобном.

Во всяком случае, Ксения сумела сделать то, чего не смог даже Лубенцов, — отвадить Чохова от Воробейцева. Чохов совершенно потерял к нему всякий интерес.

Воробейцев не преминул заметить эту перемену в отношении Чохова и вскоре узнал причину. Он понял, что Ксения не только отвлекает Чохова от товарища, но, весьма вероятно, отзывается о нем, Воробейцеве, враждебно. Он не ошибался.

Ксения невзлюбила Воробейцева с самого его приезда в комендатуру. Она-то сама скрывала свои чувства, но ее глаза не могли их скрыть. У нее были такие глаза, которые без труда скрывали дружеские или любовные чувства, но не в состоянии были скрывать чувства неприязненные или враждебные. Немцы, приходившие в комендатуру по разным делам, побаивались ее взгляда. Почти таким же взглядом глядела она на Воробейцева. Это часто выводило его из равновесия, и он стал избегать ее.

Воробейцева сильно задело, когда он узнал, что его друг Вася Чохов «спутался с этой молодой ведьмой».

Последнее время Воробейцев все больше и больше обособлялся от остальных офицеров комендатуры. Он все меньше имел с ними общих интересов, так как они были заняты только своим делом и, находясь под сильным влиянием Лубенцова, относились к своей службе с добросовестностью, доходящей до фанатизма. Воробейцев же был к службе равнодушен и оправдывал себя тем, что он-де человек с широкими запросами, что одной службой не проживешь. Он усвоил в отношении своих сослуживцев пренебрежительную мину, и их «добропорядочность» и некоторый страх перед «капиталистическим окружением» вызывали его презрительные замечания. Он никак не мог понять также и их желания вернуться на родину и ту тоску о родине, которую они часто высказывали и которая казалась ему либо лицемерной, либо свидетельствующей об их ограниченности, если она была искренна. Лицемерной он считал ее по той причине, что офицеры комендатуры жили здесь, в завоеванной стране, ни в чем не нуждаясь, в то время как у себя на родине они жили бы наравне с миллионами других людей, может быть, в районах, пострадавших от войны, в дотла разрушенных городах. Он не мог поверить, что, несмотря на это различие уровня жизни, советские офицеры действительно хотят вернуться домой. Лично Воробейцев чувствовал себя здесь, в Германии, как рыба в воде, и все уродства от капиталистической частной собственности до публичных домов не только не смущали его, а, наоборот, нравились ему.

Заметив, что и Чохов от него отдаляется, Воробейцев впал в уныние, а узнав, кто является виновником этого, избрал тактику, старую, как мир: он стал говорить о Ксении разные гадости.

Нельзя сказать, чтобы Воробейцев действовал, совершенно сознательно поставив перед собой задачу оклеветать человека без всякой вины с его стороны. Он это делал и потому, что был весь переполнен неуважением к женщинам вообще и наперед убежден в непорядочности каждой из них. Поэтому, когда он говорил то Чегодаеву, то Меньшову о том, что Ксения вела себя здесь, в Германии, в лагере и на заводе, где она работала, непорядочно,— он действительно верил в это, хотя и не имел никаких доказательств и не искал их. Он даже считал, что ока-

зывает Чохову услугу, косвенно предостерегая его от близости с Ксенией.

Правда, самому Чохову он не решался ничего говорить. А не решался потому, что уважал Чохова, преклонялся перед цельностью его натуры, а уважать значило для Воробейцева бояться. Он потому и любил Чохова, что до некоторой степени считал его образцом для себя, хотя и недосыгаемым. Нечестный человек хочет быть честным, болтливый — молчаливым, развязный — сдержанным, трусливый — храбрым. Нравственность, как сказано в эпиграфе к IV главе «Онегина», — в природе вещей.

Однажды Воробейцеву во время его ночного дежурства по комендатуре позвонил начальник полиции Иост. Он сообщил, что в одном из дворов снова замечена американская воинская машина. Воробейцев взял с собой автоматчика и поехал по указанному адресу.

Распросив жителей, Воробейцев поднялся во второй этаж дома и на квартире у некоего Меркера обнаружил капитана О'Селливэна, ставшего в комендатуре притчей во языцех. Американец, увидев советского офицера с красной повязкой на рукаве, расхохотался и стал без возражений собираться в дорогу.

Пока он собирался, Воробейцев поговорил с Меркером. Это был юркий человек с маленькими усиками а ля Гитлер. Он, повидимому, не имел определенных занятий, маклерствовал, покупал, продавал. При Зеленбахе он работал в магистрате и ведал там финансами и торговлей, но был уволен по настоянию Яворского, так как раньше состоял в нацистской партии и был хотя и мелким, но каким-то деятелем в ней. Квартира его была обставлена очень хорошо. Тут было множество бронзовых статуэток, ковров, красивой посуды, картин и ценной мебели.

Воробейцев пошнырял по комнатам. Меркер сопровождал его.

— Красивый ковер, — заметил Воробейцев, шупая руками большой ковер, висевший на стене.

— Можете купить, господин капитан, — сказал Меркер. — Две тысячи марок.

То же самое он неизменно говорил в ответ на все замечания Воробейцева по поводу того или иного предмета:

— Можете купить, — и тут же называл цену.

Повидимому, вся его квартира продавалась оптом и в розницу.

После этого случая Воробейцев зачастил к Меркеру. Немец доставал для Воробейцева всякие вещи по очень низким ценам, так как хотел заручиться поддержкой и приобрести связи в комендатуре.

Стараясь отвести Чохова от Ксении, Воробейцев заказал Меркеру хороший мотоцикл; он знал, что Чохов мечтает о

мотоцикле давно. Вскоре Меркер позвонил Воробейцеву в комендатуру: исполнено, дескать... Воробейцев нашел Чохова, и они вместе пошли на Гнейзенауштрассе, где проживал Меркер.

Мотоцикл был превосходный, мощный и очень красивый. Глаза Чохова заблестели. Он, не говоря ни слова, сел на него и выехал из ворот. Вначале он ехал медленно, затем все быстрее, а оказавшись за городом, помчался с огромной скоростью. При этом лицо его оставалось непроницаемо спокойным, словно он сидел в кресле. Но внутренне он ликовал. Эта бешеная езда на мощной машине, требующая верного глаза и твердой воли, пришлась Чохову по нутру.

Вернувшись обратно во двор Меркера, он молча уплатил за мотоцикл и сказал Воробейцеву:

— Садись сзади.

Воробейцев боязливо поморщился, но все-таки сел.

Мотоцикл рванулся из ворот, как буря. Воробейцев побледнел. Они помчались по улицам и через минуту уже были за городом. На поворотах машина наклонялась почти до земли. Ветер рвал голову с плеч. Воробейцев сидел ни жив ни мертв, судорожно уцепившись за Чохова.

— Не дави,— сказал Чохов и на секунду оглянулся на Воробейцева. Лицо Чохова было спокойное и серьезное.

— Ты чего оглядываешься? — взревел Воробейцев.— Вперед гляди!

— Не дави,— повторил Чохов.

— Спусти меня на землю,— взмолился Воробейцев,— или сбавь скорость.

Чохов сбавил скорость и поехал обратно в город.

Возле комендатуры его окружили солдаты. Они разглядывали мотоцикл, обсуждали его достоинства. Вскоре в дверях показалась Ксения. Она тоже подошла и посмотрела на мотоцикл. Чохов страшно смутился. Он не знал, что делать. Она ждала, что он пойдет с ней, но не мог же он при солдатах взять да и пойти, а мотоцикл бросить на их попечение. Воробейцев между тем громко говорил солдатам:

— Хороша машинка?.. Это я раздобыл. Капитан Чохов назначается председателем клуба самоубийц. Как ездит!.. Скорость звука. Все время на волосок от смерти. Одно удовольствие.

Ксения внимательно посмотрела на Чохова и неожиданно для всех сказала:

— Покатайте меня.

Чохов вспыхнул от удовольствия и завел машину. Все раступились. Секунда — и машина, Чохов и Ксения исчезли с быстротой ракеты.

— Уф!..— сказал Веретенников.— Вот это да!

— Как бы кого не задавил,— покачал головой Небаба.

— Не задавит,— возразил Воронин.— Большого хладнокровия человек. Я его знаю давно.

Солдаты ушли к себе, а Воробейцев долго стоял, ожидая возвращения Чохова, и, не дождавшись, плюнул и медленно пошел домой.

Чохов и Ксения на мотоцикле укатили довольно далеко. Он посмотрел в зеркальце. Лицо Ксении было покойно и только чуть зарделось от быстрой езды.

— Смотрите, еще какого-нибудь немца задавите,— сказала она насмешливо.— Подполковник вас за это в два счета отдаст под трибунал... Вы ему говорили обо мне?

— Еще нет,— ответил Чохов.— Сегодня скажу.

Возвратившись в город, Чохов простился с Ксенией и пошел к Лубенцову домой. У Лубенцова был в гостях командир полка, полковник Соколов. Они ужинали. Чохов сел и прислушался к их разговору.

— Я в политике ничего не понимаю,— сказал Соколов.— Мое дело — служба. Я на вашей должности окошел бы. Противная работенка! Каждый день жди какой-нибудь каверзы. В чужую душу не влезешь. Тем более в душу целого народа, да еще какого народа! Не люблю я их, скажу честно.

Лубенцов ответил:

— Это мне непонятно. Я тоже не политик, хотя ни капельки этим не горжусь и стараюсь быть им, насколько могу. А немцы? Немцы — люди, живущие в Германии и говорящие по-немецки. Я не могу поверить и признать, что подлость является отличительной чертой какого-нибудь национального характера. От такой точки зрения до расизма — один шаг. Мы же их за расизм и били. Нет, товарищ полковник! Мы с Яворским теперь занимаемся школьным вопросом. В связи с этим я на днях читал немецкую школьную хрестоматию гитлеровских времен. Там есть глава, которая называется «Русский», и в ней про нас сказано так: «Русский белокур, ленив, хитер, любит пить и петь». Вот и все. Как о каком-то маленьком безвестном племени, сказано о великом народе с большой и сложной историей... Это звучит столь же убедительно, как то, что мы иногда говорим о немцах: «Немец аккуратен, скуп, педантичен, жесток...»

— Ну и накинулись вы на меня,— захохотал Соколов.— Ладно, виноват. Согласен. Но все-таки вам с ними будет неладко.

— Это я знаю! — засмеялся и Лубенцов, но тут же снова стал серьезным.— Но должен вам сказать, что работа моя с каждым днем все больше облегчается политическим ростом самих немцев. Коммунистическая организация колоссально выросла, социал-демократы левеют. А рабочие! Рабочие еще скажут свое слово, увидите.

Чохов, слушая этот разговор, очень жалел, что тут нет Ксении. Он с горечью сознавал, что не сможет передать Ксении

своими словами слова Лубенцова с той убедительностью, с какой они были произнесены. И, вспомнив о Ксении, он почувствовал в груди странный и приятный укол.

Когда Соколов ушел, Лубенцов спросил у Чохова:

— Вы ко мне по делу, Василий Максимович?

— Нет,— сказал Чохов, помолчав,— проведать зашел.—

Он добавил: — Купил мотоцикл.

— Смотрите не задавите кого-нибудь,— улыбнулся Лубенцов.— Еще под трибунал попадете.

XXII

Лубенцов с Яворским действительно занимались «школьным вопросом». Это был непростой вопрос. Учителя сплошь состояли раньше в нацистской партии. Учебники из-за их ярко выраженного фашистского характера пришлось запретить. Из Альтштадта предложили организовать семинары новых учителей и собрать учебники «веймарской республики», пока в Берлине составляются новые.

В связи с этим Лубенцов подумал об Эрике. Он удивлялся тому, что она ничего не делает, играет целыми днями на рояле,— он слышал звуки рояля по утрам, когда уходил на службу, и вечером, когда приходил. Он не мог понять, как это великовозрастная, умная и образованная девушка может ничего не делать. Жениха она ловит, что ли? Его удивляло и чем-то раздражало ее безделье. Когда он бывал у Себастьяна, она неизменно сидела в углу, иногда вязала что-нибудь и нередко принимала участие в разговоре, высказывая здравые мысли о чужой работе, но никогда не изъявляя желаний что-то делать для общей пользы. При этом она смотрела на Лубенцова открытым и ясным взглядом, от которого ему становилось не по себе.

Однажды он зашел вечером к Себастьяну и не застал его дома.

— Отец скоро придет,— сказала Эрика.— Подождите. У меня кофе на столе.

— Хорошо,— сказал Лубенцов после минутного колебания.— Кстати, есть к вам дело.

Она посмотрела на него недоумевающе. Они прошли в столовую и сели пить кофе. Он сказал:

— Мы решили организовать учительский семинар. Возьмитесь за организацию этого дела. Сами будете учиться. Мне кажется, вы будете хорошей учительницей. Отдадим вам тот особняк, где стояла английская комендатура. Наберете хороших людей, умных, дельных... Лекторов для них подберете. В университете в Галле открывается подготовительный двухгодичный семинар для рабочих и крестьян. Это очень важный

вопрос, фрейлейн Эрика. От его решения во многом зависит будущее Германии.

— Вы думаете, я это смогу? — спросила она.

— Конечно, сможете! А что тут уметь? Мы вам поможем, отец, коммунисты, остальные демократические партии — все помогут. — Он улыбнулся. — Рояль от вас не уйдет... Как вы можете в такое время стоять в стороне от жизни? Разве так можно? Ах, как нехорошо, просто из рук вон... Вы извините меня, что я говорю с вами откровенно...

Она неподвижно сидела на кушетке с простывшей чашкой кофе в руке. Стройная, длинноногая, с короткими темнорусыми волосами, с тонким нежным лицом и открытым взглядом, прямо устремленным на него, она ему вдруг так понравилась, что он заставил себя отвести глаза в сторону и потерял нить разговора. Оба посидели минуту молча. Часы в соседней комнате медленно пробили девять раз.

— Какой вы странный, — сказала она вдруг. — Вас, наверно, ничто на свете не интересует, кроме вашей работы.

— Хорошо, что вы мне напомнили, — сказал он, сбрасывая с себя оцепенение и вставая. — Меня ждут в комендатуре.

Она тоже быстро встала и, сделав шаг к нему, сказала голосом, который прозвучал умоляюще:

— Не уходите. Пожалуйста. — Она сразу оправилась и заговорила уже обычным тоном: — Отец придет с минуты на минуту. Ваше предложение мне нравится. Вы правы, и спасибо вам за откровенность.

«Надо идти», — неотступно думал он, но сел обратно на место. К счастью, открылась дверь и вошел Себастьян.

— Отец, — сказала Эрика, пойдя ему навстречу. — Господин Лубенцов предлагает мне заняться организацией учительского семинара и тоже стать учительницей.

Себастьян даже глаза раскрыл.

— Кому? Тебе? — спросил он и обратился к Лубенцову: — Вы это серьезно?.. — Он задумался на мгновение. — А почему бы и нет? Это даже интересно. Просто превосходная идея! — Он расшагался по комнате и, потирая руки и лукаво поглядывая то на Эрику, то на Лубенцова, заговорил: — В вас, господин Лубенцов, скрыт великий педагог и знаток людей. Ваше предложение свидетельствует об этом. А я все думал, куда бы определить Эрику, и мне не приходило в голову ничего хорошего. Между тем я ведь преподаватель, и считался не из последних. Ну, а ты, Эрика? Как твоё мнение?

— Я попробую, — сказала она смущенно и радостно.

— Очень рад... — начал было Лубенцов, но Себастьян перебил его:

— Ах, бросьте эти дипломатические обороты речи. У вас в голове целые гнезда остроумных идей, вот и все, что я могу вам

сказать... Кстати, слышали? Фледер сбежал на запад! — Лубенцов еще не знал об этом, и Себастьян возгордился своей осведомленностью. — Я расту, как ландрат, — засмеялся он. — Впервые я узнал раньше вас важную новость.

Когда Лубенцов ушел, а Себастьян собрался лечь спать, раздался продолжительный звонок во входную дверь, послышались гулкие шаги и приглушенные разговоры. Это приехал из Берлина Вальтер все с тем же американцем, майором Коллинзом.

Они задержались в Берлине дольше, чем предполагали. Несмотря на опоздание, они привезли Эрике ко дню рождения много подарков. Коллинз преподнес ей коробку чулок и целый багажник продуктов — кофе, шоколада и консервов разного рода. Они не имели возможности задержаться надолго и поэтому сразу же приступили к объяснению. Впрочем, Коллинз был сильно пьян и в разговоре не участвовал; зато его шофер, рослый негр, все нес и нес из машины разные коробки и картонки; Коллинз считал это наилучшей агитацией.

Вальтер заговорил с отцом о переезде на запад, но получил еще более уклончивый ответ, чем в прошлый раз.

— Подождем, подождем, — твердил Себастьян. — Не будем спешить с этим вопросом. Очень хочется быть вместе с тобой, но пока что я не готов к столь важным решениям... К тому же надо надеяться, что будет заключен мирный договор, и тогда...

— Мирный договор! — горько усмехаясь, сказал Вальтер. — Неужели ты на это рассчитываешь?

Эрика сказала враждебно:

— Теперь не время об этом говорить. Утром договоришь. Спать надо.

Однако и утром поговорить не пришлось. Кто-то сообщил в комендатуру о появлении в городе очередной американской машины. Хотя на этот раз Коллинз велел шоферу не оставаться во дворе Себастьяна, где жил комендант, и шофер заехал на какой-то другой двор, но там его обнаружили, и ему пришлось повести комендантский патруль в особняк ландрата, где ночевал Коллинз.

На рассвете в дверь особняка позвонили, и Воробейцев, в тот день снова дежуривший по комендатуре, потребовал от американца немедленного выезда. Коллинз вначале заартачился, но Воробейцев сослался на категорический приказ. Коллинз, выругавшись по-английски и по-русски, вынужден был уступить. Он разбудил Вальтера. Вальтер ужасно рассердился и сказал отцу:

— Вот тебе твоя официальная должность! Ты не имеешь даже права принять у себя своего собственного сына.

— Собственного сына, который требует моего бегства с этой официальной должности, — язвительно ответил Себастьян,

но тем не менее накинул пальто на пижаму, побежал в домик к Лубенцову и осыпал коменданта упреками.

— Придется мне съехать от вас, — покачал головой Лубенцов. — Я слишком близко живу и в угоду вам вынужден пренебрегать приказами моих начальников. Американцы должны следовать по установленному маршруту — так договорились Жуков с Эйзенхауэром.

— Пожалуйста, отправьте американца, но моего сына!

На этом столковались. Воробейцев получил приказание оставить Вальтера, а американца препроводить к демаркационной линии, но Вальтер на это не согласился и уехал вместе с Коллинзом.

Этот американский майор Коллинз показался Воробейцеву прекрасным парнем. Воробейцев по его приглашению пересел к нему в машину, предоставив своей следовать позади. Коллинз болтал без умолку, угощал Воробейцева джином, а напоследок пригласил в гости к себе во Франкфурт, дал ему точный адрес и наобещал гору всяких удовольствий.

У них оказались общие знакомые. Когда Воробейцев рассказал ему, что знаком с некоторыми офицерами, бывшими во время Потсдамской Конференции в охране американских делегатов, и назвал фамилию Уайта, Коллинз воскликнул:

— Фрэнк Уайт! Как же, я его хорошо знаю. Он тоже во Франкфурте, служит в Администрации, не в моем, а в другом отделе. Превосходный офицер... Очень хорошо отзывался о русских. Кстати, он русский язык знает неплохо.

— Да, — подтвердил Воробейцев. — Он самый. Фрэнк, да, да. Он вдруг вспомнил «операцию» с кольцами и смущенно замолчал.

— Честнейший офицер, — продолжал восхищаться Уайтом Коллинз. — По-моему, он уже даже не лейтенант, получил повышение. Как ваша фамилия? Я обязательно ему передам, что имел честь с вами познакомиться — правда, при таких неприятных обстоятельствах... Служба есть служба, разумеется.

Воробейцев, у которого не шла с ума история с кольцами, воздержался от сообщения своей фамилии и вообще пожалел о том, что вспомнил об Уайте. Он сказал, что Уайт фамилии его не знает, а знает только имя: Виктор.

Себастьян-младший всю дорогу молчал, не вмешиваясь в разговор и отвечая на обращения к нему Коллинза односложными «да» и «нет».

У шлагбаума демаркационной линии Коллинз выскочил из машины одновременно с Воробейцевым, долго тряс его руку и снова повторил приглашение.

— Приезжай обязательно, — сказал он, переходя на ты. — Будешь доволен. Съездим денька на два в Париж. Ты не был в Париже? Напрасно. Слава этого города вполне заслуженна. Мы туда часто ездим — с разрешением и без разрешения.

На обратном пути Воробейцев думал об этом Коллинзе, снова испытал к нему и к Уайту, вообще ко всем американцам легкое чувство зависти. Каждого из них лично он и в грош не ставил. Он даже относился к ним — к каждому из них в отдельности — с некоторым презрением, разделяя общее мнение многих советских офицеров, что американцы не вояки и что им легко было громить немцев тогда, когда немцы уже были обессилены. Он завидовал их расхристанности и представлял себе американскую оккупационную зону и всю Западную Европу широкой ареной для безграничного разгула сильных ощущений и сногшибательных приключений — всего того, что было почти недоступно в условиях советской зоны под наблюдением серьезных глаз советских начальников.

Да, у советских начальников были серьезные глаза, и все, что они делали, — они делали всерьез. Они всерьез хотели коренным образом изменить условия немецкой жизни, они всерьез принимали решения разных международных конференций и свои обязательства, они всерьез думали сделать немцев миролюбивыми. Будучи материалистами и не скрывая этого, они верили в идеи и идеалы, в которые ни капельки не верили американцы, хотя они всюду — даже в выступлениях самых высоких официальных лиц — ссылались на господ бога, на провидение и на высшую справедливость.

В комендатуре Воробейцев застал обычное совещание — одно из тех совещаний, которые ему уже осточертели и которые, в особенности теперь, составили разительный контраст с миром, только что промелькнувшим перед его глазами. Речь шла об укреплении государственных и семеноводческих хозяйств и вообще о проблеме семян для предстоящего весеннего посева; о центнерах картофеля, развитии местного табаководства и прочих таких предметах, до которых Воробейцеву не было ровно никакого дела. Он с удивлением смотрел на офицеров комендатуры, которые с серьезным видом разбирали эти вопросы.

XXIII

То, что Воробейцеву казалось таким будничным и пресным, остальных офицеров, и в особенности Лубенцова, трогало и волновало, захватывало до глубины души. Каждое новое проявление сознания и самоотверженности любого немецкого крестьянина и рабочего было для них праздником; каждая неудача огорчала их, как личное горе.

Однако Лубенцова в последнее время стало беспокоить странное состояние, не знакомое ему прежде. По вечерам, оставшись в одиночестве, он испытывал нечто вроде слуховых галлюцинаций. В его ушах непрерывно звучала немецкая речь, он слышал разные голоса — женские, мужские и детские, мо-

люды и стариковские. Среди них он иногда распознавал голоса знакомые, слышанные в течение дня и повторявшие быстро и внятно то, что говорилось днем. Этот бесконечный многоголовый разговор доводил его до зубовного скрежета. Он стал плохо спать. «Не схожу ли я с ума?» — думал он иногда, холодея от страха. Это было нервное переутомление, но он, никогда не знавший прежде никакой усталости, кроме физической, очень встревожился.

Свое состояние он скрывал от всех, даже от Воронина. Впрочем, пронизательный Воронин вскоре заметил нездоровый вид подполковника и по вечерам стал приходить в комендантский домик, за что Лубенцов был ему очень благодарен. Воронин несколько раз пытался осторожно намекнуть Лубенцову на необходимость отдыха, но Лубенцов отмахивался от него, так как дел было много, да и не привык Лубенцов отдыхать.

Даже тогда, когда он в воскресенье выходил просто погулять по улице, он не переставал быть комендантом, потому что, где бы он ни был, к нему обращались по разным вопросам, о чем-то просили и на что-то жаловались. Однажды он вспомнил, как его не узнали в гостиной Эрики Себастьян, когда он был в гражданском костюме. Он решил использовать этот способ остаться неузнанным и по воскресеньям отправлялся гулять по городу в штатском. Он несомненно достиг цели, так как его действительно никто не узнавал. Он иногда глазам своим не верил, замечая, как хорошо знакомые люди проходят мимо, не обратив на него никакого внимания. Все было бы отлично, если бы в эту своеобразную форму отхода от служебных тягот то и дело не встревал его собственный неуемный характер. Обнаружив какой-нибудь неурядок — все еще заваленный обломками переулочка, закрытую, вопреки распоряжению комендатуры, лавку, или кинотеатр, или пивную, — он сейчас же разыскивал виновников. Ему было смешно наблюдать, как они вначале разговаривали с ним дерзко и небрежно, а потом, узнав в нем «oberstлейтнанта Давай», рассыпались в извинениях либо жалобах.

Однажды он забрел на Кляйн-Петерштрассе — улицу публичных домов, о которой знал понаслышке и которую увидел впервые своими глазами. Эта улица произвела на него ужасное впечатление, и он пошел искать бургомистра Форлендера. Он застал его за партией преферанса с Визецким и другим товарищем, ведавшим в магистрате вопросами культуры.

Жена Форлендера неохотно впустила в дом незнакомого ей человека, который потребовал немедленного свидания с бургомистром и которого она приняла — из-за его твердого немецкого выговора — за балтийского немца.

— Играете? — спросил он у Форлендера, насмешливо и свирепо поглядывая то на одного, то на другого из играющих.

Он рассмеялся, увидя возмущенное и непонимающее лицо бургомистра, который глядел ему в глаза и не узнавал его. Только минуту спустя Форлендер хлопнул себя по колену и воскликнул, расплывшись в улыбке:

— Господин подполковник! В шляпе вас невозможно узнать!

— Это вполне естественно,— возразил Лубенцов.— Если бы вы побывали там, где я сейчас был, вы бы тоже сильно изменились к худшему.

Он рассказал им о том, что видел на той улице. Они реагировали на его рассказ довольно сдержанно и вовсе не пришли в ужас, так как все это было им знакомо и считалось вполне естественным. Но, уступая настояниям коменданта, Форлендер сказал, что завтра они пойдут и все посмотрят, а в ближайшие дни поставят вопрос на заседании магистрата.

— Почему завтра? Пойдемте сейчас. Вы любите все откладывать на завтра.

Они оделись без особой охоты. Он направился было вместе с ними, потом с досадой решил, что надо же ему отдохнуть, и предоставил им отправиться одним, а сам пошел опять бродить по городу.

Проституция в Лаутербурге не ограничивалась Кляйн-Петерштрассе. Она существовала в разных формах, и одной из форм были брачные объявления, которые Лубенцов обнаружил на многих витринах справочных бюро и просто на стенах домов.

Эти объявления он читал с отвращением и насмешкой. Вот некоторые из них.

«Молодая вдова 29 лет, блондинка с правильными чертами лица, любящая природу и животных, муж погиб на Восточном фронте в 1942 году, ищет человека не старше 50 лет с целью совместных прогулок и катания на лодке. Брак не обязателен».

«Молодой человек 42 лет, брюнет, на хорошей должности, не принадлежал к нацистской партии, идеалист-романтик, ищет молодую девушку 19—20 лет, блондинку, рост не меньше метра шестидесяти, с целью совместного времяпрепровождения. Возможен впоследствии брак. Присылка фотографий обязательна».

«Какая интеллигентная девушка до 25 лет, католического вероисповедания, с хорошим характером и полной фигурой, с собственностью, желает встретиться с молодым человеком, 45/158 (первое число этой дроби, как узнал Лубенцов, означало возраст, второе — рост в сантиметрах), темнорусым, доверчивым и жизнерадостным? Собственный автомобиль. Тайна — дело чести».

«Молодой человек, 33/175, полный юмора, стройный, торговец, авто, разведенный, любит искусство, ищет скромную, хо-

рошо выглядящую, приятную партнершу, вероисповедание безразлично, до 22 лет, 165 см».

«Девушка, беженка из Силезии, 20/163, из хорошей семьи, стройная, ищет друга и покровителя до 60 лет».

Он заходил в кино на дневные сеансы, смотрел на картины с прославленной немецкой кинозвездой Марикой Рэк, забредал в парикмахерские и кафе, и все, что он видел, огорчало его. Оно производило на него впечатление медленного тления, вырождения культуры, превращения ее в пустую и занимательную мишуру, рассчитанную на самые низменные вкусы. Он разрешил одному импрессарию, надоевшему ему до смерти, открыть нечто вроде эстрадного театра, — тут это называлось варьете, — и однажды пошел посмотреть на это самое варьете, которое считал своим детищем.

Он ужаснулся пустоты всех без исключения номеров; вызвавшим наиболее бурный смех зала был номер, в котором некий господин во фраке, исполняя куплеты со своей партнершей, время от времени хлопал ее ладонью по заду.

Лубенцов хотел было формальным приказом запретить эти представления, но Себастьян и Форлендер отговорили его — так велось испокон веку, такие представления были и до Гитлера, и это даже до некоторой степени традиция.

Он уступил, при этом твердо зная, что с такой традицией надо бороться, что это портит вкусы и ухудшает нравы.

Ко всему прочему, Лубенцова тревожила все больше Эрика Себастьян. Он был не рад, что навязал ей работу. В связи со своими новыми занятиями она беспрестанно звонила ему, а иногда приходила в комендатуру. Он сознавал, что ему приятно с ней встречаться, и это сознание пугало его до смешного. Разговоры их носили сугубо деловой характер, и все было бы хорошо, если бы не ее лицо, прямой, открытый и зоркий взгляд, — одним словом, если бы это была не она, а кто-нибудь другой.

Однажды она — по действительно срочному делу — зашла поздно вечером к нему домой. К счастью, у Лубенцова сидел Воронин. Старшина посмотрел на Эрику подозрительно и встревоженно. Переговорив с Лубенцовым, она ушла.

Воронин покосился на Лубенцова и сказал:

— Никак, фрейлейн в вас влюблена. Смотрит, как кошка на сало.

К удивлению Воронина, предполагавшего, что начальник посмеется над этими словами, Лубенцов ужасно рассердился и устроил старшине форменный нагоняй.

— Меньше всего, — сказал он, — я ожидал таких глупых разговоров от тебя. Неужели и на тебя начинает действовать атмосфера буржуазной Европы? Это недостойно военнослужащего Красной Армии!

Воронин покачал головой и промолчал. А Лубенцов, который знал, что бранит Воронина несправедливо, никак не мог остановиться, с ужасом чувствуя, что не в состоянии владеть собой. Наконец, он успокоился, извинился за свою горячность, жалко улыбнулся. Сердце Воронина сжалось. Он спросил:

— Ляжете спать?

— Да, пора.— Помолчал, Лубенцов сказал: — У нашего капитана с переводчицей, по-моему, роман?

— Похоже на то.

— Оба сдержанные, молчаливые, просто не понимаю, как они признаются друг другу.

— Как-нибудь.

— Останься у меня ночевать, Дмитрий Егорыч.

— Хорошо.

В присутствии Воронина ему было спокойно и спалось лучше.

XXIV

На следующий вечер Эрика снова зашла к Лубенцову. Она постучалась, он сказал по-русски «войдите», и она медленно открыла дверь.

Войдя, она бросила любопытный и боязливый взгляд на полумертвую комнату, освещенную только настольной лампой. Боязливость ее взгляда заставила Лубенцова вздрогнуть. Это была не робость человека перед другим человеком, а женская дрожь перед тем неотвратимым, что должно произойти, выражение уверенности в мужском праве повелевать, сила слабости. Все это было прочтено Лубенцовым в ее взгляде — робком, но смелом, боязливом, но доверчивом.

Надо было быть стариком или философом, чтобы отнестись ко всему этому равнодушно. Лубенцов не был ни тем, ни другим. Но он был комендантом. И свойственное ему обостренное чувство служебного долга, обостренное до того, что индивидуальность и служба почти безраздельно сливались воедино,— что свойственно как раз молодым людям и нефилософам,— заставило его говорить и двигаться совершенно спокойно, ничем не проявляя той страсти, которая охватила его.

Он плохо соображал, чего она у него просила и о чем говорила, потому что знал, как и она, что все это только повод. Но, несмотря на то, что он почти ничего не соображал, он отвечал ей на вопросы довольно логично — по крайней мере в той степени, в какой логичны были вопросы. Она подошла к его книгам и стала их рассматривать. Ее лицо осветилось красноватым светом настольной лампы; монах счел бы это отблеском геенны огненной.

Ему стоило только сказать ей одно ласковое слово. Но он огромным усилием воли превозмог себя и заговорил о «школь-

ной проблеме». Он произнес целую филиппику о недопустимости телесных наказаний в новой немецкой школе. Он посоветовал ей почитать «Педагогическую поэму» Макаренко и работы Надежды Константиновны Крупской.

— Немецких детей,— сказал он, встав с места и прохаживаясь по комнате,— надо любовно и настойчиво воспитывать в духе любви ко всем народам и уважения к трудящимся людям.— Он называл ее «фрейлейн Себастьян», чтобы обращение по имени не прозвучало сближающе.— Вы, фрейлейн Себастьян, должны проникнуться этими идеями, и вам станет радостно жить и работать для Германии.

Она стояла, опустив голову, любящая и разочарованная, полная преклонения перед этим цельным характером и уныния по поводу его кажущейся отрешенности от земных страстей. Тихонько вздохнув, она сказала, что просит его не забыть свое обещание,— а о каком обещании шла речь, он не знал. Позднее он вспомнил, что она просила дать ей две-три советских книги, так как она начала изучать русский язык. Еще позже в его памяти медленно и плавно восстанавливалось все, что было сказано за эти минуты,— он обещал ей помогать в изучении русского языка, в связи с чем она сказала, что «позволит себе иногда заходить сюда по вечерам».

Как только она ушла, Лубенцов сразу же сел писать Тане письмо. Обычно он не давал в письмах воли своим чувствам, но сегодня написалось по-иному. Он умолял ее добиться поскорее демобилизации и приехать. Он возмущался тем, что ее до сих пор держат в далекой Маньчжурии, когда война уже так давно окончилась. Он писал ей, что не может без нее жить, и упрекал ее, что она редко пишет. Когда муж упрекает жену в том, что она редко ему пишет, это не всегда значит, что он беспокоится за нее,— иногда это является признаком того, что он беспокоится за себя.

В ближайшие дни Лубенцов почти совсем переселился в комендатуру. Когда же несколько дней спустя все-таки решил остаться дома, он все ждал с замиранием сердца, что она может вот-вот появиться, и этот страх, в равной доле смешанный с желанием, чтобы она действительно появилась, снова заставил его переключаться в комендатуру.

Свободные вечера он стал проводить внизу, с солдатами. Он называл это «провести вечер в России». Он чувствовал себя здесь очень хорошо. В клубной комнате было уютно и тепло. Люди играли в домино и шашки, рассказывали о своих домашних делах и о приключениях военного времени. Лубенцов и сам частенько рассказывал им про действия разведчиков, про сметку и храбрость их нынешнего помкомвзвода, старшины Воронина; иногда он подробно объяснял им немецкие дела, политику советского правительства в германском вопросе. Они слушали с глубоким интересом, польщенные его вниманием

к ним и не подозревая о том, как он польщен их вниманием и как хорошо ему с ними.

Бывало, они начинали петь русские песни; Зуев играл на аккордеоне. Лубенцова прошибала слеза от этого пения. К нему однажды подошел Касаткин и, сев рядом, спросил:

— О чем задумался, Сергей Платонович?

— Ей-богу, сам не знаю, Иван Митрофанович,— ответил Лубенцов.— Вероятно, тоска по родине. Хочется домой. И тут есть озера и речки, леса есть. Все, как у людей, а тянет к своим озерам и речкам, в свои леса. Никогда не думал, что это возможно, что это так сильно. Хочется послушать деток, говорящих на русском языке. Хочется поудить рыбу в русской речке. Тоскую о том, чтобы быть как все, чтобы ничем не выделяться, чтобы вместе с толпой служащих идти с работы домой. И чтобы был свой дом. И чтобы не казалось всегда, что кто-то чужой, посторонний, с неясным лицом, заглядывает тебе через плечо... Тоскую о том, чтобы меня звали не господин, а товарищ.

После долгого молчания Касаткин спросил непохожим на него тихим и ласковым голосом:

— Устал, Сергей Платонович?

— Устал,— сознался Лубенцов и поднял глаза на Касаткина. И, увидев его сидящим в расслабленной позе на диване, понял, что и Касаткин ужасно устал и что все, что он, Лубенцов, говорил, в той же, если не в большей, степени относится и к Касаткину.

Сидевший рядом Яворский сказал, вздохнув:

— Даже заседание месткома кажется мне отсюда прекрасным и романтическим событием.

Помолчали. Потом Лубенцов спросил:

— Как ваша семья, Иван Митрофанович?

— Едет,— коротко, но с явно счастливым видом сказал Касаткин. Он потупился, потому что ему было неудобно выказывать свое хорошее настроение перед Лубенцовым, у которого с приездом жены, как он знал, пока ничего не получалось.

Лубенцов почувствовал прилив необычайной нежности ко всем этим людям, своим товарищам, и упрекнул себя в том, что, занятый делами, мало говорит с ними о личном, интимном, об их горестях и радостях. Зная наперечет сотни немцев по фамилии, он еле может вспомнить фамилии двух десятков живущих рядом с ним солдат; с офицерами он тоже разговаривает только о делах службы.

— Пошли ко мне,— сказал он, вставая с места.— У меня вино есть, еда кой-какая, посидим, поужинаем.

Он вышел вместе с Касаткиным, Яворским, Чоховым и Чегодаевым и, усмехаясь, думал о том, что в таком обществе ему Эрика не страшна.

Стояла лунная ночь. Их шаги отдавались в гулкой тишине узких улиц. Инстинктивно, как люди военные, они шли в ногу, и этот согласный топот ног успокаивал Лубенцова.

Придя к Лубенцову, офицеры уселись за стол. Пока Лубенцов возился с ужином, Чохов ушел в его комнату и сел к письменному столу. Его взгляд рассеянно упал на исписанную страницу блокнота. Прочитав первые строчки, Чохов стал внимательнее.

На страничке было написано:

«ПАМЯТКА СОВЕТСКОГО КОМЕНДАНТА

1. Самый нетерпимый недостаток, какой может быть у коменданта, — корыстолюбие. Хотя бы он был крупным администратором, умным человеком, знатоком вверенного ему района, но если он корыстен — он должен быть немедленно снят.

2. Величайшее достоинство для коменданта — бескорыстие. Хотя бы он был средним администратором, среднего ума человеком, но если он бескорыстен — он способен быть комендантом.

3. Человек не может быть похож на ангела. Но сразу же после ангелов должен идти комендант. Он имеет право покупать только на собственные деньги, пить только дома, а жить только с собственной женой, и ни с кем больше.

4. Постоянная серьезность — недостаток для коменданта. Серьезностью часто прикрывается тупость. Слишком много шутить — тоже недостаток. Шутками часто прикрывается ничтожество.

5. Комендант — революционер, поскольку он представляет государство и общественный строй, созданные революцией; его революционность должна выражаться в том, что он обязан охранять порядок и законность, а также уважать и оберегать обычаи, принятые в данной стране, то есть ликвидировать в данной, не созревшей до революции, стране страх перед будущей революцией.

6. Его революционность должна выражаться и в любви к трудящимся классам населения и в помощи этим классам в первую очередь.

7. Внутренняя жизнь комендатуры не может долго остаться секретом для населения. Поэтому нужно, чтобы комендатура не должна была иметь от населения никаких секретов, кроме служебных.

8. Комендант — дипломат, но только с врагами. Населению же он должен говорить суровую правду.

9. Комендант — учитель: он должен уметь повторять общеизвестные истины.

10. Пусть комендант старается, чтобы граждане города или района, где он действует, думали, что все невыгодное для них исходит лично от него, а все выгодное — от Москвы. Тогда они будут уважать коменданта за прямоту и силу духа, а Москву — за то, что она имеет таких самозабвенных слуг.

11. Комендант представляет СССР. Пусть он это всегда помнит. Он должен, вставая, думать о родине и, ложась спать, думать о ней. День без мысли о родине — пропавший день для коменданта. Он должен ежедневно читать советские газеты, книги, журналы. Пусть он выписывает областную и районную газеты тех мест, откуда он родом. Из старых писателей пусть он чаще других читает Толстого, Пушкина и Некрасова. Книги Салтыкова-Щедрина полезны для него, потому что они написаны вице-губернатором, который знал недостатки управления.

12. Дома у него должен быть вполне советский обиход, то же — в комендатуре.

13. Но вместе с тем комендант обязан изучать язык, быт, культуру и историю классовой борьбы данной страны. Для него это полезно, как для человека; для населения это полезно, потому что предохранит его от многих ошибок, за которые придется расплачиваться населению.

14. Комендант всегда прав, потому что за ним стоит вооруженная сила. Поэтому нужно, чтобы он был действительно всегда прав.

15. Комендант — хозяин, иногда строгий, но всегда справедливый.

Комендант, кроме того, и гость. Пусть он уважает хозяев, у которых отнял на время хозяйские права. Пусть помнит, что сделал он это для того, чтобы они могли опять стать хозяевами.

Подполковник *С. Лубенцов*.

1945 год.
Лаутербург».

Чохов прочитал, потом снова перечитал заметки. За этим занятием застал его Лубенцов.

— Да не читайте вы эти глупости! — крикнул он покраснев.

— Это не глупости, — сказал Чохов.

— Нет, глупости, глупости, — сердито бормотал Лубенцов, засовывая блокнот в один из ящиков письменного стола. — Плоды бессонницы... Литературное творчество коменданта района второго разряда. Ладно, забудьте про это.

— Я не забуду, — ответил Чохов. Его голос прозвучал торжественно.

— Пошли ужинать, — махнув рукой, сказал Лубенцов.

Часть третья
ИСПЫТАНИЕ

I

Демаркационная линия между советской и западными зонами причудливо извивалась, перерезая надвое Гарц западнее Брокена. Через бурелом, минуя маленькие горные водопады, подымаясь на горы и опускаясь в долины, она первое время не была особенно приметна, но потом понемногу все больше опоясывалась колючей проволокой, запиралась с обеих сторон шлагбаумами, обрастала кордегардиями и караульными будками. С двух сторон ее обходили патрули: с одной стороны советские, с другой — английские и американские. В горах ее охраняли шотландцы в плиссированных клетчатых юбочках, на южных склонах — «ками» в стальных шлемах и брюках гольф.

Из демаркационной линии она медленно, но верно превращалась в границу.

Когда впоследствии проводилось дознание, каким образом бывший ээсовец Фриц Бюрке попал в советскую зону, выяснилось, что он воспользовался простым, но остроумным трюком, которым многие немцы пользовались и до него. Вечером, перед закатом солнца, когда на вершинах гор еще горят алые отсветы, а в раселинах темно, Бюрке нырнул в одну из этих раселин, выбрался на дорогу и пошел не на советскую сторону, куда ему нужно было, а как бы от советской стороны на американскую, и появился перед американским солдатом, будто шел с востока. Разумеется, американец, обнаружив, что у высокого плешивого немца нет пропуска в американскую зону, не преминул вернуть его «обратно». Он дал оглушительный свисток. Советский солдат у противоположного шлагбаума лениво отозвался:

— Чего?...

— Э джермен фром юр сайд! ¹ — крикнул в ответ американский солдат.

— Вот еще, ходят взад-вперед! — проворчал русский солдат. — Иди, иди к себе обратно. — И Фриц Бюрке с послушанием, подобающим побежденному, «вернулся» на советскую сторону и неспешным шагом пошел на восток.

Высокого плешивого немца в поношенном пальто, с котомкой за плечами видели потом в горной гостинице в Ширке, где он переночевал. Потом он, спустя неделю, появился в Бланкенбурге и еще через день — в Вернигероде. Потом его след пропал. В Лаутербурге он появился значительно позже, ранней весной, и уже совсем в другом виде. Он был одет в

¹ Немец с твоей стороны! (англ.)

южнобаварский костюм — замшевые трусы с помочами и серую куртку с зелеными нашивками.

Он зашел выпить пива в ресторан Пингеля и сел в дальнем углу, посматривая на посетителей равнодушным и усталым взглядом маленьких серых глаз. Пингель, который знал все население Лаутербурга и окрестностей, заинтересовался этим человеком, поскольку он был чужак и, может быть, еще потому, что в этом человеке что-то показалось странным содержателю ресторана, тонкому знатоку людей. Во всяком случае, Пингель шепотом предложил посетителю водки, а водку он давал только близким знакомым или высокопоставленным лицам города. Бюрке кивнул с небрежным видом, несколько обидевшим Пингеля, так как он ожидал, что посетитель рассыплется в благодарностях.

Выпив рюмку, Бюрке попросил другую все с тем же небрежным видом, словно не знал, что водка одно из самых дефицитных удовольствий в нынешние времена. Тем не менее Пингель подал ему и вторую рюмку.

Хотя ресторан был переполнен, а около столика Бюрке стояло три пустых стула, но никто не садился рядом с ним. Было в его глазах нечто такое, что заставляло людей, пододвинувших с вопросом насчет этих стульев, прикусить язык. Наконец, он сам пригласил к своему столу двух девиц, вошедших в ресторан и остановившихся неподалеку. Поняв, зачем им машет рукой этот человек, они порхнули к нему, сели и поблагодарили его за любезность. Он в ответ не произнес ни слова, только постукивал волосатой рукой по столу.

При взгляде на Бюрке никому не пришло в голову, что главное чувство, владевшее им, — страх. Он слыл среди знакомых и на самом деле был человеком отчаянной храбрости. Но с недавнего времени, точнее с апреля 1945 года, он был травмирован почти паническим унижительным страхом. Он принял предложение отправиться в советскую зону потому, что не имел другого выхода и, может быть, еще в надежде, что, отправляясь навстречу опасности, он сможет превозмочь в себе это состояние, граничившее с психической болезнью.

Видимо, оно было следствием колоссального нервного напряжения, предшествовавшего поражению Германии, и последующих событий, когда он жил, как затравленный зверь, скрываясь то здесь, то там, то в подвале виллы его покровителя Линдемманна, то где-нибудь в толпе беженцев, располагавшихся табором в окрестностях Мюнхена. Из американской зоны он вскоре ушел в английскую, так как англичане, более чем американцы напуганные проникновением русских в центр Европы, по этой причине мягче относились к провинившимся во время войны немцам. Так по крайней мере говорили среди скрывавшихся нацистов. Если бы тихий пансион в Гамбурге, где под чужой фамилией проживал Бюрке, не посетила од-

нажды одна дама, зная его в стародавние времена и поспешившая сообщить о нем английским властям, он, может быть, прожил бы благополучно еще много лет. Но, получив донесение, что в пансионе скрывается видный ээсовец, британская комендатура арестовала Бюрке. Одновременно в другом пансионе был арестован бывший имперский министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, которого тоже выдали свои же, немцы. При нем было три письма — к Черчиллю, Идену и Монгомери — и пузырек с ядом.

В тюрьме, где Риббентроп провел вместе с Бюрке ночь — одну из самых страшных ночей, пережитых Бюрке, — бывший рейхсминистр рассказал, что прибыл в Гамбург, чтобы спрятаться у друга-винооторговца, с которым он был в близких отношениях двадцать пять лет. Однако тот отказался его принять. Тогда Риббентроп под фамилией Рейзе укрылся в частном пансионе, но вскоре был обнаружен.

Утром в камеру пришла сестра Риббентропа. Она опознала брата, и англичане изолировали его.

Это было время, когда каждый день в Германии кого-то ловили или кого-то судили. В течение нескольких недель были схвачены: секретарша Гитлера Криста Шроден, командующий войсками в Дании генерал Линдемманн, начальник Майданека Пауль Гофман, гаулейтер провинции Магдебург-Ангальт Рудольф Иордан, генерал-полковник Иодль, гросс-адмирал Дениц, Риттер фон Эпп, сестры Гитлера Ангела Хаммиг и Паула Вольф, фюрер Словакии Тиссо; в маленькой деревне близ Берхтесгадена поймали Юлиуса Штрейхера, а двумя днями раньше был опознан в поезде ехавший под вымышленным именем, с черной повязкой на глазу, Генрих Гиммлер.

Одним словом, та Германия, которой Бюрке принадлежал всей душой, гнула на его глазах. Ее крупнейшие вожди один за другим попадали в тюрьмы и лагеря, кончали самоубийством или сдавались на милость победителей. «Тысячелетняя империя» рушилась, не прожив и четверти века. Покровители и друзья Бюрке метались, как затравленные, по Западной Германии без всякой надежды скрыться, уцелеть. Их гнал только биологический инстинкт самосохранения, безумное желание пожить хоть еще одну неделю, хоть еще один день.

Бюрке был человеком бесстрашным, грубым, малоинтеллигентным. Неинтеллигентность была не только его свойством — он даже гордился ею и культивировал ее, как нечто ценное, способное лишить человека колебаний и сомнений.

Однако события первых недель после войны сделали Бюрке более восприимчивым, и наполнили его сомнениями, не известными ему ранее, и страхом, которого он не испытывал никогда прежде. Поистине, он стал «интеллигентом». Он стал относиться почти с жалостью к угнетенным и обиженным, среди которых числил теперь и себя. Он начал вспоминать с некото-

рым раскаянием то, что делал раньше, и стал искать себе оправданий, среди которых первое место занимало так называемое «солдатское повиновение» приказам разных фюреров.

Более того, Бюрке стал читать книги. В пансионе, где он поселился на окраине Гамбурга, имелась библиотека, и Бюрке, может быть впервые после окончания школы, занялся чтением и стал находить в этом занятии некоторое удовольствие. Он даже завел себе очки, так как заметил, что дальнорезок. Он сильно похудел — не так от недоедания, как от того, что называл «душевыми переживаниями», хотя раньше никогда не поверил бы, что можно худеть от душевных переживаний.

Нет, определенно он теперь жалел о том, что в свое время пошел в СС,— было гораздо целесообразнее служить просто в вермахте, где он мог бы тоже сделать неплохую карьеру.

Он становился сентиментален, и, когда читал в книгах трогательные сцены, его глаза наливались слезами. Он сам умилялся от этих слез, считая, что они искупают многое из того, что он раньше делал, и являются признаком духовного возрождения. Ему снились сны по преимуществу очень трогательные. Однажды ему снилось, что он является начальником концентрационного лагеря, опоясанного, как полагается лагерям, колючей проволокой и охраняемого, как в действительности, людьми с автоматами. Но в самом концлагере, внутри его, все было очень красиво: на окнах бараков висели голубые занавески, а на стенах — коврики с вышитыми изображениями детей и животных, у входа в крематорий сверкали елочные игрушки. В воздухе гудел колокольный звон, напомнивший Бюрке о детских годах. Все заключенные были старые, у всех были пышные седые бороды, и можно было предполагать, что это святые или ангелы, хотя и без крыльев. Они ходили медленно, и их лица светились. А он, Бюрке, командовал ими — он строил их в ряды. Они строились и перестраивались необычайно быстро и согласно, как вышколенные солдаты, и он испытывал от этого большое умиление и готов был заплакать от радости, что такие старые люди столь умело выполняют любые команды и при этом улыбаются блаженными улыбками. И тут слышится позади твердый русский голос, произносящий: «Фриц Бюрке, вы арестованы как военный преступник!» Этим возгласом кончались почти все его сны, и он просыпался, дрожа от страха, и так как сон не сразу улетучивался из его на смерть запуганного мозга, ему хотелось ответить этому голосу, что не надо его трогать, ведь этот голос сам видел, как все хорошо, благостно и тихо.

После двух спокойных недель он начал надеяться, что избежит ареста. Он говорил себе, что его не за что арестовывать и судить, потому что он ведь сидит теперь смиренно и готов всегда вот так сидеть, до самой смерти, ни во что не вмешива-

ясь, и готов дать самую великую клятву, что вот таким образом, как частное лицо, он проживет всю жизнь и ему ничего ни от кого не нужно.

Он почти не выходил на улицу, а если выходил, то с палкой, искусно подражая походке хромого, и в очках, которые сильно изменяли его лицо. Одна из служанок пансиона покупала и приносила ему скромную еду, какую можно было достать в то время. И когда к нему в комнату ворвалось человек десять английских солдат с автоматами наперевес, он был почти удивлен. Он не оказал никакого сопротивления, как того опасались англичане.

В тюрьме он почувствовал облегчение. Все стало определенным и ясным. Рухнули надежды, и вместе с ними кончилось тягостное одиночество. Он вскоре попал в лагерь, где содержалось немало эсэсовцев и генералов вермахта, обвиненных в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Режим в лагере и питание были вполне терпимыми. Людям не возбранялось общаться друг с другом.

Вообще все оказалось гораздо лучше, чем можно было себе представить. Разумеется, в этом неожиданно хорошем самочувствии заключенных деятелей СС, СД и вермахта играло роль то обстоятельство, что они так или иначе сравнивали режим британского концлагеря с режимом, который был им хорошо известен по немецким концлагерям, и с тем режимом, который они устроили бы для англичан, если бы победителями оказались они, а не англичане. Первые две-три недели Фриц Бюрке, как, вероятно, и остальные, попросту удивлялся тому, что их не убивают. Потом он привык к этому и даже начал поглядывать на англичан с некоторым презрением — да, с вполне искренним неуважением профессионального убийцы к чистоплюям.

Генералам англичане отвели отдельные комнаты, а один фельдмаршал даже имел апартаменты. Так как этот фельдмаршал страдал сильным нервным расстройством и занимался писанием мемуаров, английские солдаты, по специальному распоряжению командования, входили к нему, предварительно надев на ботинки суконные галоши с длинными завязками, словно в храм или музей.

По воскресеньям к лагерю съезжались жены арестованных с письмами и передачами. В лагере играло радио. Приезжали немецкие адвокаты, изъявившие желание защищать некоторых из заключенных на предстоящих процессах. Фельдмаршал иногда выходил гулять, и все отдавали ему честь, на что он — чопорный, прямой, со строгим и важным лицом — отвечал небрежным кивком головы.

В одном из уголков лагеря было несколько женских барачков, где жили бывшие надзирательницы немецких женских концлагерей, летчицы из «Люфтваффе» и одна англичанка, которая вела при Гитлере антианглийские передачи по бер-

линскому радио. Составилась компания, в которую вошел и Бюрке. Англичанка получала щедрые посылки от своих английских друзей и родственников и пекла на электрической плитке вкусные блины, которыми угощала своих друзей-эсэсовцев.

Говорили о том, что главное — выиграть время. Нужно, чтобы поостыли страсти, чтобы выдохлись митинговые ораторы в Гайд-парке и других говорильнях. Чем позже начнутся процессы, тем лучше будет для обвиняемых. Говорили, что англичане склонны очень сурово отнестись к тем обвиняемым, которые были виновны в убийствах английских и американских военнопленных или в уничтожении команд торпедированных немецкими подводными лодками английских и американских военных и торговых кораблей. Таких обвиняемых ожидал почти наверняка расстрел. Но зато по отношению к виновным в зверском обращении, скажем, с русскими военнопленными, приговоры предполагались не столь суровые. То же самое относилось к тем, кто просто служил в охране концлагерей, если в этих лагерях не было англичан или американцев. Наибольшей опасностью была бы выдача тех или иных заключенных советским властям по требованию советского командования либо польским и чешским властям.

Итак, следовало выиграть время и следовало остаться в руках англичан. Это были две заповеди, от которых зависела жизнь многих заключенных.

II

Однако понемногу этот санаторий для чинов СС, СД, «зипо»¹ и «гестапо» начал рассасываться. Некоторых англичане все-таки выдавали по требованию других стран. Это была почти верная казнь. Возникали душераздирающие сцены. Выражение «ехать на восток» стало тут синонимом таких выражений, как «сыграл в ящик», «загнулся», «дал дуба», — одним словом, означало смерть. Россия стояла перед глазами этих людей некоей огромной Немезидой с холодными ненавидящими глазами, с окровавленным мечом в руке. В отличие от нее американское правосудие выглядело долговязым, веселым, несерьезным, как сам «дядя Сэм» на карикатурах. В нем не было убежденности. В нем не было ненависти. Он играл, напускал на себя суровость, но оставался равнодушным к сути самой проблемы. Он судил потому, что имел эту возможность, а судить интересно. Его глаза блестели от сознания своей власти и могущества, но не от пожиравшей его страсти установить справедливость. Поэтому от него можно было ожидать неожидан-

¹ «Зипо» — полиция безопасности.

ностей, но нельзя было ожидать последовательности действий. И эсэсовцы мечтали о том, чтобы попасть к американцам, если уж не было возможности остаться у англичан.

Что касается англичан, то тут был вопрос особый. Они испытали ужасы гитлеровской войны, хотя и не в такой степени, как Восточная Европа. Но английское правосудие, гордое своими вековыми традициями, испытывало какое-то своеобразное и нездоровое сладострастие, мягко обращаясь или оправдывая своих врагов. При этом адвокаты и прокуроры ссылались на христианскую цивилизацию, традиции англо-саксонского мира, римское право и «Габеас корпус»¹. Далеко не все из этих чванных и слабых интеллигентов отдавали себе отчет в том, что выполняют спрятанную под разными красивыми словами волю правителей своей страны, которые всегда были согласны на любой союз с кем угодно против противников капиталистической частной собственности, то есть против коммунистов. Английские правители искали союзников в Европе против СССР. Такими естественными союзниками в будущем были бывшие нацисты, которых для этой цели следовало щадить, затем немного подлакировать и привести в более цивилизованный вид, лишив их лексикон людоедских выражений, способных вызвать ропот английского обывателя.

Об этом бывшие немецкие нацисты смутно догадывались. Но, зная, что англичане на первых порах вынуждены будут считаться с озлобленным против нацистов общественным мнением, они думали о выигрыше времени.

И тем не менее, несмотря на все эти висевшие в воздухе настроения, на все эти расчеты, Бюрке долго не мог оправиться от изумления, когда английский военный суд оправдал его и передал в распоряжение немецкого суда или комиссии по денацификации. На суде Бюрке разыгрывал — и делал это мастерски — роль нерассуждающего и исполнительного солдата. Его участие в похищении Муссолини и в диверсии во время Арденнского сражения принесло ему определенную пользу, так как окружило его ореолом бесстрашия. К счастью, не было никаких доказательств того, что он расстреливал военнопленных и заключенных в лагерях. Его действия во Франции, когда он служил в тылах эсэсовской дивизии «Рейх», прошли мимо суда. Французские власти потребовали однажды его выдачи, но сделали это робко и не настаивали на своем требовании. Он вел себя на суде очень осторожно и однажды высказал сожаление по поводу того, что верой и правдой, без рассуждений, служил людям, которые были недостойны такой честной службы. Но и это он высказал в весьма туманных выражениях, ибо, как он выразился, «воинская честь не позволяет ему распространяться на эту тему». Немецкие и английские газеты печатали интервью

¹ «Неприкосновенность личности» (лат.).

с ним своих корреспондентов. Английский майор, являвшийся прокурором на этом процессе, после окончания заседания суда подошел к Бюрке, пожал ему руку и сказал, что он сам фронтовой командир и что, если ему еще раз придется воевать, он желал бы иметь таких солдат, как Фриц Бюрке. Этот факт стал известен, и майор был отозван в Англию.

Нельзя сказать, чтобы спокойствие, уравновешенный тон, недоуменные улыбки и возмущенные восклицания, — одним словом, все то, что с таким искусством разыгрывал Бюрке во время процесса, — дались ему легко. Нет, все это стоило ему огромного напряжения сил. Дело в том, что он ожидал каждое мгновение, что появится некий свидетель, видевший его, Бюрке, на оккупированной русскими территории Восточной Германии, либо во время его службы в Лилле и Авранше, либо в концлагере Заксенгаузен, севернее Берлина, куда он прибыл уже в апреле, перед самым приходом русских войск, для ликвидации некоторых неудобных арестантов. С замиранием сердца вглядывался он в каждого свидетеля обвинения, слушал слова присяги, даваемой свидетелем, вслушивался в первые слова показаний и облегченно откидывался на спинку стула. Нет, это был не тот свидетель; свидетели говорили больше об СС вообще, чем о нем, Бюрке, в частности. Да и свидетелей было мало. Одновременно с этим процессом происходили десятки других, среди них — Люнебургский процесс надсмотрщиков Бельзенского лагеря смерти, где перед судом предстал давний знакомый Бюрке Иозеф Крамер. Крамер впоследствии был приговорен к смертной казни, и Бюрке мысленно благодарил бога за то, что в свое время отказался от должности начальника Бельзенского лагеря, которую ему предлагал Эрих Кальтенбруннер.

Одним словом, выходило, что Бюрке не так уж скомпрометирован, что деяния его не так уж ужасны. Нет, определенно та парижская гадалка, мадам Ригу, которая некогда предсказала ему, что он умрет генералом, может быть кое-что и понимала в своем деле!

Все эти жестокие страхи и переживания привели к тому, что Бюрке, ранее такой несдержанный, грубый, хваставшийся физической силой и беспощадностью, основательно изменил свой облик. Он стал говорить тихо, ходить медленно, стал жаловаться на болезни. В его взгляде и голосе появилось что-то сладкое, ханжеское, и со своей большой плешью он стал похож на средневекового монаха, чьи жадность, чревоугодие, сладострастие и злоба искусно скрыты за приличествующей его сану елейностью.

Немецкий суд все-таки приговорил Бюрке к трем годам тюрьмы. Но на следующую же ночь после приговора Бюрке бежал на юг, в Баварию, в американскую зону.

Здесь он нашел защитника в лице известного промышлен-

ника Линдемманна, знакомого Бюрке по прежним временам. Линдемманн был внештатным советником Американской Военной Администрации, вернее, ее экономического отдела. Он часто выезжал во Франкфурт-на-Майне, где в то время располагалась Американская Администрация. Среди американцев у него нашлись знакомые, в том числе — начальник экономического отдела бригадный генерал Уильям Дрейпер. Последний стал приезжать к Линдемманну в гости в Мюнхен и советовался с ним по экономическим вопросам.

Когда начался процесс главных военных преступников в Нюрнберге, Линдемманн посоветовал Бюрке временно исчезнуть, так как страсти накалились и это могло привести к разным неожиданностям. Бюрке получил документы на чужое имя и с помощью своих друзей очутился в Португалии, где нашел большую немецкую колонию, состоявшую из бывших офицеров вермахта.

Здесь Бюрке впервые услышал рассмешившие его вначале рассуждения о том, что войска СС были прообразом объединенной Западной Европы в борьбе против азиатских полчищ. Войска СС в новейшем истолковании, поскольку они состояли из головорезов разных национальностей, из фашистов всех стран — от Норвегии до Италии, — изображались чуть ли не как интернациональные бригады, призванные вовсе не для того, чтобы создать великую Германию, а для того, чтобы «защитить Европу», скромной частью которой является и Германия... Не Европа должна была стать германской, как это твердили десять лет подряд, а Германия, вместе с Англией, Францией и другими странами, согласно этой новой интерпретации, защищала в этой войне Европу от Азии.

Как сказано, Бюрке вначале хохотал над этой концепцией, но вскоре понял ее выгоду в нынешние смутные времена. Со временем же он почти уверовал в эти «исторические факты» и стал вспоминать, как дружно уживались в эсэсовских формированиях западноукраинские бандиты с изменниками господина Жака Дорио, испанские фалангисты с хорватскими усташами.

Процесс главных военных преступников в Нюрнберге шел мелкой сеткой, как дождь. Бюрке с удовлетворением отмечал, как падает интерес к нему во всех слоях общества. Немецкие газеты, приходившие из Германии, уделяли ему все меньше и меньше места, иногда целыми неделями вовсе не упоминали о нем. Был пущен слух, что специально для немцев будет издан стенографический отчет — подлинный и правдивый. Это был ловкий слух, потому что таким образом подвергалась сомнению правдивость отчетов, публикуемых в газетах, и, с другой стороны, приглушался интерес читателей к этим отчетам: нет-де смысла их читать, так как вскоре появится отчет полный и правдивый.

При этих обстоятельствах Линдемани, который привязался к Бюрке и жаждал отблагодарить его за услуги, оказанные ему эсэсовцем в прошлом, считал возможным прислать ему через оказию весточку о возможности и желательности возвращения в Германию. В этом письме он намекнул, что согласовал вопрос со своими друзьями из Американской Администрации, но что Бюрке, разумеется, надлежит приехать нелегально. К письму был приложен чек на предъявителя для получения в одном из португальских банков скромной, но достаточной для переезда суммы.

В Мюнхене его ожидали приятные новости. Бывший гитлеровский министр путей сообщения Дорпмюллер был советником Американской Администрации, в этой же Администрации в качестве советников служили и получали оклады и другие видные нацистские чиновники. Левые лозунги были в загоне. В земле Гессен был проведен референдум по вопросу о национализации тяжелой промышленности и железных дорог; за национализацию высказалось свыше семидесяти процентов населения, но американские власти просто отменили референдум и оставили все попрежнему.

У Бюрке не оставалось никаких сомнений в приближении переломного момента, начала конца соглашения и дружбы между восточной великой державой и ее западными союзниками в войне; кулак разжался и разделился на пальцы — загребушие, но не убивающие.

Линдемани и близкие к нему люди стали разговаривать на каком-то смешанном англо-немецком жаргоне. Английский язык входил в моду. Девушек стали называть «герлс». Кинотеатры показывали американские картины, книжные прилавки были завалены американскими романами. Потом книжный рынок заполнили мемуары родственников и знакомых Гитлера. Знаменитый замок в Берхтесгадене превратился в музей, куда валом валили американские туристы. Там продавали сувениры, касающиеся Гитлера. Пока медленно, спотыкаясь, брел вперед Нюрнбергский процесс, со всех прилавков продавали мемуары жены Геринга, брата Риббентропа, горничной Гимmlера. Рабочие были пришиблены, так как они куда больше разных лавочников и военных ощущали вину немецкого народа и честнее, чем кто-либо, относились к своему долгу побежденных. Поэтому они работали спокойно, упрямо, не позволяя себе выступать против оккупационных властей, в руках которых была вооруженная армия, и не имея возможности выступать против предпринимателей, находившихся под покровительством англо-американцев. Рабочий класс, эта единственная сила, которая действительно могла бы расправиться с остатками нацизма и добиться демократических свобод, была таким образом скована по рукам и ногам.

Таково было положение в Западной Германии в ту пору. И в этом котле варилось неопределенное и неясное будущее, черты которого не могли не приводить в ужас людей с душой, с любовью к Германии и человечеству.

Но Фриц Бюрке не был таким человеком. Напротив, он был тем прошлым, которое хотело выжить и стать будущим. Попав в эту атмосферу брожения, он сразу же пришел к выводу, что выкормивший его нацистский режим, в котором он усомнился было на первых порах после поражения, на самом деле — хороший и самый подходящий для Германии. Бюрке считал этот режим вполне приличным, как только оказалось, что этот режим уже не вызывает вражды и омерзения, как раньше, а, наоборот, возбуждает любопытство и нездоровый интерес. Преступления были так громадны, что в них перестали верить; увидев, что эти звери, убившие миллионы людей, ходят на двух ногах, одеты в приличные пиджачные тройки и пары, носят галстуки и очки, прямые проборы и ежики, люди заколебались, не в силах поверить, что эти господа действительно совершали такие небывалые преступления; когда жена бельзенского палача Иозефа Крамера показала на суде и доказала, что Крамер был превосходным семьянином, нежным отцом и любящим мужем, все поверили в это с гораздо большей легкостью, чем в то, что он хладнокровно замучил миллион человек.

Никто еще не написал злую сатиру на чудовищно куцую память человека; никто еще даже по-настоящему не удивился безграничной способности человека забывать — этому наследию обезьяньих времен, которое используется некоторыми политиками для своих темных целей.

III

В Кельне у одного банкира на узком совещании промышленников и финансистов, где присутствовали также два-три бежавших с востока крупных помещика, зашел разговор о земельной реформе в советской оккупационной зоне. Попутно кто-то обратил внимание присутствующих на то, что советские власти фактически прибирают к рукам, национализируют и экспроприируют крупные предприятия, принадлежавшие различным компаниям. Участились случаи, когда советские власти смещают управляющих такими предприятиями, заменяя их неопытными, но озлобленными против предпринимателей немецкими коммунистами из рабочих. Все это делается под видом конфискации предприятий военных преступников, хотя пока что никакие суды не установили наличия военных преступлений ряда уважаемых и мощных производственных единиц. Нельзя тот факт, что многие из предприятий работали «на оборону», то есть производили определенные товары, нужные на

войне, вменять в вину людям, которые руководили производственным процессом, поскольку не доказано, что эти люди, выпуская продукцию, имели целью захват чужих территорий, уничтожение народов и так далее.

Банкир сказал, что обвинять предпринимателей в военных преступлениях нацизма столь же смешно и нелогично, как обвинять кузнеца, сделавшего кочергу, в том, что этой кочергой жена била мужа.

Эта острота позабавила всех, тем более что не имела ничего общего с действительными фактами.

Кто-то сказал, что следовало бы послать в Восточную Германию верных людей, которые могли бы собрать необходимую информацию там на месте. В связи с этим предложением Линдемманн сказал, что у него есть на примете человек,— кстати говоря, оправданный английским военным судом, хотя еще и не прошедший денацификацию,— который мог бы в данном случае оказаться полезным. Он хорошо знает Восточную Германию и имеет там обширные знакомства.

Все согласились с тем, что это было бы полезно для получения исчерпывающей информации. Слово «информация» всем понравилось. Оно придавало делу приличный вид. Многие из друзей банкира были кровно заинтересованы в судьбе восточногерманских предприятий. Некоторые были также связаны с крупным землевладением либо лично, либо через своих родных и близких.

Вернувшись к себе в Мюнхен, Линдемманн, очень довольный результатами разговоров в Кельне, немедленно вызвал к себе Бюрке и сообщил ему о его предполагаемой миссии. Он был настолько уверен в личном бесстрашии Бюрке и в его стремлении мстить, убивать, бесчинствовать, резать, то есть был настолько убежден в том, что Бюрке никак и ни в чем не изменился, что не ожидал никаких колебаний со стороны бывшего эсэсовца; услышав от Бюрке немедленный отказ и заметив в его глазах нечто паническое, робкое, Линдемманн удивился и огорчился. Он подумал о том, как все измельчало, зашаталось, опустилось, лишилось основ. Возникло неловкое молчание. Наконец, Линдемманн сказал сухо и без того оттенка почтения, который ранее всегда присутствовал в его разговоре с эсэсовцем:

— До свидания.

Бюрке ушел и потом весь вечер с горечью думал о том, что теперь Линдемманн перестанет его подкармливать; его, Бюрке, всегда использовали на самой черной и грязной работе, по мокрым делам, плоды его дел пожинали другие, а он только сытно ел и пил, и собственности у него никакой нету, и как был он нищим псом, так и остался им.

С горя он напился. «Да,— думал он,— фюрер был прав, богачей надо убивать. Но богачей убивать сам же фюрер не

давал. И вот фюрер помер, а богачи как были, так и остались и с легкостью его продали, лижут теперь пятки у америкашек, а те, кто был ему предан,— в дерьме».

Но жить без поддержки богачей было невозможно, все стоило очень дорого; работы никакой не было. Он встретился с несколькими бывшими ээсовцами, которые прозябали, подобно Бюрке. Они мечтали о полном разрыве англо-американцев с Советским Союзом и надеялись на этот разрыв. От этого, по их мнению, зависела вся их будущность. В отличие от Бюрке, который был весьма сдержан в своих оценках, они на все лады расхваливали американцев и рассказывали разные случаи, неопровержимо доказывающие, что американцы готовы «опереться на здоровые силы нации», то есть на бывших нацистов.

Но это все было в будущем. А пока Бюрке понял, что у него нет выбора. Как ни пугала его перспектива очутиться на территории, оккупированной русскими, ему пришлось смириться скрепя сердце.

Так очутился он в Лаутербурге в ресторане Пингеля, где мы прервали наше повествование, чтобы рассказать о пути Бюрке сюда.

Пригласив к своему столу двух девиц легкого поведения с той целью, чтобы выглядеть, как все, и никому не бросаться в глаза своим одиночеством, Бюрке вскоре расплатился и готов был уже покинуть помещение ресторана, когда в дверях появился комендантский патруль — два невысоких ростом, но коренастых русских солдат с красными повязками на рукавах. Трудно передать словами ощущения Бюрке при виде этих солдат, каждый из которых был вдвое ниже его ростом. Он смотрел на них одними глазами, не поворачивая головы. Он и раньше знал, что боится русских, но все-таки не ожидал такого панического страха. «Надо взять себя в руки»,— решил он и медленно пошел к выходу, прямо на солдат, которые стояли у дверей с таким видом, словно зашли сюда погреться. К ним, прихрамывая, подошел предупредительный и улыбающийся хозяин; он о чем-то с ними поговорил. Бюрке шел медленно, стараясь сохранять независимый и спокойный вид. Это, может быть, не удалось ему или были какие-нибудь другие причины, но один из солдат вдруг посмотрел на него и, вместо того чтобы уступить ему проход, сказал по-немецки:

— Папире ¹.

Бюрке опустил руку в грудной карман и нащупал там свои документы, но солдат махнул рукой — не надо, мол, и сказал:

— Комм ².

Они вышли втроем. Бюрке пошел вперед. Голова его лихорадочно работала, и он старался уяснить себе, что тут

¹ Документы (нем.).

² Идем (нем.).

произошло, почему они задержали именно его, не спросив документов у других.

Он завернул за угол. Направо был узкий переулок, и туда можно было бы быстро повернуть и, может быть, скрыться. Но Бюрке взял себя в руки и пошел все так же медленно, решив не делать никаких попыток к бегству, так как был уверен в своих документах. Если только русские не имеют о нем точных сведений от каких-нибудь своих агентов в Западной Германии, тогда все это пустая случайность и его сразу же выпустят. Решив надеяться на лучшее, он шел и шел и, наконец, вышел на площадь, где справа стоял собор, а слева находился дом в три этажа, над которым развевался советский флаг.

Действительно, как он и предполагал, задержали его «на всякий случай». Может быть, хозяин ресторана сказал патрулю, что он нездешний, чужак. Во всяком случае, в комендатуре его документы просмотрели быстро и небрежно. В них было сказано, что он купец, мясник из Эйзенаха; он даже имел нечто вроде командировки от фирмы сюда, в Лаутербург.

Счастливым и совсем ослабевшим от пережитого страха, он вышел из комендатуры на свет божий и вдруг остановился как вкопанный. Со стороны собора, пересекая всю площадь, быстрыми и решительными шагами к нему шел русский офицер. Собственно говоря, шел он не один: справа и слева от него шли двое в штатском, — очевидно, немцы, — а немного позади — несколько немецких мальчиков. Мальчики двигались на почтительном расстоянии, но смотрели на офицера с очевидным интересом и, повидимому, прислушивались к тому, что он говорил немцам. В руках у детей были нитки, на концах которых развевались бумажные белые змеи. А русский что-то говорил, сопровождая свои слова жестами обеих рук и как бы изображая нечто руками в воздухе.

Все это было в высшей степени обычно и не должно было бы обратить на себя особого внимания Бюрке, если бы не лицо офицера, которое несомненно было Бюрке хорошо знакомо, знакомо до ужаса. Бюрке готов был бы поклясться, что именно этого русского он, Бюрке, убил 2 мая 1945 года в лесу западнее Берлина. Именно этот офицер вышел с белым флагом в качестве парламентаря и обратился к нему, Бюрке, и другим, скрывавшимся вместе с ним в зарослях леса, с требованием о сдаче в плен. Именно навстречу к этому офицеру поднялся, чтобы сдаться в плен, капитан Конрад Винкель — друг и спутник Бюрке в многочисленных скитаниях по русским тылам. Бюрке тогда убил Винкеля и убил этого офицера. То, что он его убил, было несомненно, так же несомненно, как то, что он убил Винкеля. И все-таки именно тот офицер шел теперь через площадь, о чем-то весело разговаривая и что-то показывая руками в воздухе слушавшим его немцам. Бюрке глубоко потрясло и то, что позади русского шли немецкие мальчики с бе-

лыми бумажными змеями,— тогда, 2 мая, позади этого, убитого им, офицера тоже шли немецкие мальчики с шестами, на которых развевались белые лоскутки.

Бюрке был суеверен, но не до такой степени, чтобы поверить, что мертвые встают из гроба и в ясную солнечную погоду шагают через большую замощенную брусчаткой площадь, разговаривая и смеясь. И все-таки это была правда. Тот самый синеглазый русский офицер-парламентер, живой и веселый, шел прямо на Бюрке, пока еще не видя его. Бюрке настолько потерял над собой контроль, что сделал два шага назад и уперся спиной в фонарный столб, стоявший возле комендатуры. Это произвольное движение заставило русского обратить внимание на Бюрке, и он посмотрел на него в упор. Глаза русского посуровели и сузились, и он замедлил шаг. Бюрке ожидал, что сейчас произойдет нечто ужасное и сверхъестественное и что русский скажет нечто вроде: «Вы меня убили, а теперь я вас убью» — или: «Вот и вы наконец, я вас ждал».

Русский действительно обратился к Бюрке. Он сказал:

— Вы меня ждете?

Но и эти простые слова показались Бюрке полными потустороннего смысла. Однако он нашел в себе силы пролепетать «нет», повернулся и сначала медленно, потом все быстрее пошел по тротуару, не разбирая дороги, и остановился только на самой окраине города, у подножия горы, на вершине которой мрачной громадой стоял замок.

IV

На Лубенцова встреча с Бюрке тоже произвела хотя и неопределенное, но неприятное впечатление. Он спросил у дежурного, к кому и зачем приходил этот высокий, немного сутулый краснолицый немец. Дежурный сначала не понял, о ком идет речь, потом сказал:

— Ах, да. Сержант Веретенников задержал его в ресторане «Братвурст». Нездешний. Оказался мясником из Тюрингии. Почему-то не понравился он сержанту Веретенникову.

Конечно, события, которые развернулись в ближайшее время в районе Лаутербурга, Лубенцов не мог связать с появлением этого немца возле комендатуры. Но вскоре стало ясно, что действия против земельной реформы направляются неким центром, а не являются разрозненными, как это было раньше.

Уже спустя несколько дней Касаткин выехал расследовать два случая падежа лошадей, принадлежавших ранее помещику; лошади были распределены между крестьянами, но содержались попрежнему в помещичьих службах. Касаткин

вернулся из этой поездки очень удрученный. Он рассказал о царившем среди крестьян в связи с падежом лошадей тяжелом настроении. Крестьяне считали, что падеж не мог быть следствием простой случайности. Немецкие зоотехники, напротив, приписывали все эти происшествия некоей болезни скота, но у них не было того опыта, который был у Касаткина. Касаткин некогда проводил раскулачивание в степном приволжском районе; он-то хорошо знал, на что способен взбесившийся кулак, когда у него отнимают собственность.

Профессор Себастьян, который, как и зоотехники, не имел этого опыта и еще доньше не совсем изверился в порядочности немецких помещиков и кулаков, откровенно сказал Лубенцову и Касаткину, что подозрения комендатуры похожи на детективный роман и что в наше время вряд ли могут происходить такого рода бессмысленные преступления.

— Я знаю, — сказал он, — что слово «вредительство» очень популярно у вас в стране. Но я не могу поверить, что люди сознательно идут на такого рода преступления. Трудно мне допустить, например, чтобы госпожа фон Мельхиор могла подсыпать яду лошадям.

Лубенцов рассмеялся: действительно, было нелегко себе представить картину, как госпожа фон Мельхиор, играющая фуги из «Хорошо темперированного клавира» Баха, пробирается ночью в свою конюшню с ядом в руке. И в этом отношении Себастьян был, вероятно, прав.

Лубенцов был человеком по характеру благодушным и добрым, и ему страстно хотелось, чтобы все люди были хорошими, добрыми и разумными существами; чтобы они так же ясно, как он и его товарищи, понимали ход истории, — а он считал, что чувствует и понимает ход истории; чтобы они всё воспринимали и делали сознательно; чтобы их не тащили назад старые предрассудки и собственнические инстинкты. Но что же делать, если этого нет и в помине? Если многие люди оказывают упорное сопротивление всему новому, всему тому, что должно преобразовать мир на справедливых началах, и это сопротивление делает рост нового таким мучительно трудным?

Так природная доброта, добросердечие и любовь к людям силой событий на какой-то точке своего развития перерастали в ненависть к тем, кто становится на пути. К этому чувству, отличающему настоящих коммунистов, приобщился Лубенцов с особой силой в это время, когда ему пришлось отражать то, что он довольно точно назвал контрнаступлением немецких кулаков, помещиков и капиталистов.

Конечно, ему было легче, чем, скажем, большевикам старшего поколения, занимавшим историческую арену в начале русской революции. Ему было легче потому, что за ним стояла хорошо организованная вооруженная сила — Советская Армия, и его поддерживала растущая, хотя еще не совсем уверен-

ная в себе, мощь немецкого рабочего класса. Располагая такими силами, нетрудно подавить сопротивление. Но одного принуждения было недостаточно. Лубенцов не хотел строить будущую Германию, как он себе ее представлял, на песке гоголого принуждения. Это было легко, но недолговечно.

Поэтому он вместе с энергичным следствием по поводу разных случаев вредительства и саботажа проводил и заставлял своих офицеров проводить собрания рабочих и крестьян. Он по всем вопросам советовался с немецкими коммунистами и социал-демократами, активно поддерживавшими земельную реформу и мероприятия Советской Администрации. Объективности ради да и просто по велению здравого смысла он не только не избегал, но все чаще общался и с членами двух буржуазных партий, ХДС и ЛДП, среди которых было немало ремесленников, рабочих, крестьян и хозяев небольших предприятий.

Если первые два случая преднамеренного уничтожения лошадей были не совсем ясны, то третий случай произошел при обстоятельствах, более чем понятных. В деревне Ульмендорф были прирезаны двенадцать молочных коров. Хозяин двора, где они стояли, был найден связанным в чулане. Он показал, что на рассвете к нему пришли трое не знакомых ему людей — двое в черных очках, нахлобученных фуражках и с поднятыми воротниками, а третий в чем-то наподобие маски. Они, по его словам, потребовали перебить скот, отобранный у местного помещика. Он отказался выполнить их приказ. Тогда они его связали и зарезали коров сами. При этом они не ограничились только помещичьим скотом, а прирезали корову и двух бычков, принадлежавших крестьянину.

На следующее утро жена крестьянина повезла машину говядины на рынок и продала ее по спекулятивным ценам.

В ближайшие дни этому примеру последовали и другие богатые крестьяне, которые, вместо того чтобы сдать мясо по заготовкам, втайне, — уже без вмешательства кого-то из посторонних и не в виде мести за реквизицию помещичьего имущества, — прирезали большое количество скота и повезли продавать мясо.

Лубенцов поднял на ноги всю полицию. Пришлось устанавливать заставы полицейских по дорогам в город, перехватывать спекулянтов, реквизировать мясо, которое они везли продавать. Комендатура занялась строжайшим учетом всего наличного скота. За короткое время Лубенцов и Меньшов уже знали наперечет всех лошадей и коров, свиней и баранов района. Малейшие изменения поголовья, любая болезнь немедленно расследовались комендатурой. Меньшов знал теперь всю скотину лучше, чем ветеринарные врачи, работавшие в земельном отделе, а особенно породистых свиней и коров, производителей-быков и жеребцов знал даже по кличкам.

Бургомистры лично отвечали за любой случай падежа скота.

Вместе с немецкими ветеринарными врачами и зоотехниками Лубенцов обследовал стада и пастбища. Ему даже стали сниться коровы и лошади, телята и ягнята. Теперь он во время своих разъездов останавливал машину не только тогда, когда видел людей, с которыми ему было интересно или полезно поговорить, а и тогда, когда замечал табун лошадей, стадо коров или овец. Он спрыгивал с машины, беседовал с пастухами, расспрашивал их и, когда появлялся в деревне, удивлял крестьян своим непонятным для них точным знанием положения дел в скотском поголовье. Крестьянки в шутку говорили, что комендант дружит с горными человечками, гномами, в которых немножко верили жители горных сел.

Массовый падеж скота прекратился. Однако то и дело то здесь, то там происходили случаи, похожие на диверсионные акты. Вместе с Касаткиным, Меньшовым и Иостом Лубенцов завел специальную карту-схему, где отмечал эти случаи, и вскоре перед ними вырисовалась вполне ясная картина. Флажки понемногу опоясали равнинную часть района, потом медленно поднялись в гору, потом исчезли на время и вскоре снова появились на территории «крайса» значительно южнее. Однажды он показал генералу Куприянову эту схему.

Выслушав Лубенцова, Куприянов согласился с ним, но заметил, что в других местах провинции такие случаи вовсе не происходят в какой-то определенной последовательности и вовсе не похожи на некий извилистый путь людей, переходящих с места на место. Однако генерал дал распоряжение контрразведке учесть данные Лубенцова и принять немедленные меры.

Так началась охота на Бюрке, в которой участвовала и немецкая полиция.

Несмотря на то, что Бюрке оказался неуловимым, Лубенцов вскоре уже имел о нем довольно верные и подробные сведения. Было ясно, что в этих районах действовал какой-то умелый диверсант, которого условно называли «генералом Вервольфа».

Так как в связи с событиями обо всех «чужаках» бургомистры, члены комитетов крестьянской взаимопомощи и просто граждане-добровольцы немедленно доносили в комендатуру или в полицию, то вскоре у Лубенцова появились данные о некоем высоком, чуть сутулом, краснолицем человеке, которого видели поблизости от тех мест, где совершались диверсии. Один горный мастер, работавший на медных рудниках, видел этого человека спящим возле водопада. Две крестьянские девочки, которые несли обед своему отцу-пастуху, были испуганы появлением в расщелинах скал человека с красным лицом. Человека, весьма похожего на него, встретила Марта Ланггейн-

рих, жена бургомистра, поздно вечером за селом. Он был не один. С ним рядом шагали еще двое не известных Марте людей.

Однако все это было весьма неопределенно. Более точные сведения Лубенцов получил несколько позднее, в связи с совсем другим делом.

В это время уже начали работать некоторые школы, и об одной из этих школ в комендатуру поступили тревожные известия.

Преподававший в младших классах учитель Генике, по этим сведениям, ведет во время занятий агитацию против земельной реформы и вообще против мероприятий Советской Военной Администрации в Германии.

Лубенцов вместе с Яворским отправился в горную деревню, где находилась школа. Они заехали к бургомистру, поговорили с ним о том о сем, потом спросили, как идут дела в школе. Бургомистр признался, что не знает, так как занят другими делами, а школой руководят органы просвещения, районные и окружные. Лубенцов слегка пожурил его за это равнодушие к своей школе и предложил ему пойти туда.

Они пришли в школу уже к концу занятий. Директор встретил их очень приветливо — это был знакомый Лубенцову честный и неглупый человек, кандидат партии. Яворский стал расспрашивать его насчет учебного процесса. Потом он спросил у директора, доволен ли тот своими учителями, достаточно ли они квалифицированы и лояльны. Директор сказал, что у него нет никаких жалоб на учителей.

В это время в комнату вошел один учитель — низенький, шуплый, с бледным высокомерным лицом.

«Это он», — подумал Лубенцов и ошибся. Учитель представился. Его фамилия была Корнелнус. Он преподавал математику и физику в старших классах.

По просьбе коменданта, директор собрал всех учителей. К некоторому удивлению Лубенцова, Генике оказался полным мужчиной добродушного вида, разговорчивым и чуть самодовольным.

Яворский стал расспрашивать учителей о том, в чем они нуждаются, как у них идет дело, довольны ли они новыми учебниками. Он сказал им, что комендант интересуется, насколько их нынешняя работа соответствует решениям конференции великих держав в Потсдаме, достаточно ли наглядно они объясняют детям задачи, стоящие перед германским народом, насущную необходимость для немцев внедрения демократических традиций и ненависти к нацизму, приведшему Германию на край гибели.

Учителя мялись и ничего особенного не ответили на этот прямо поставленный вопрос. Только один Генике с юмористическим видом пожал плечами, развел руками и сказал, что они делают то, что в их силах.

Лубенцов вмешался в разговор:

— Ну вот, хотя бы вы, господин Генике. Как вы строите свои уроки? Иллюстрируете ли вы то, что преподаете, фактами из современной жизни? Скажем конкретно — рассказываете ли вы детям о земельной реформе?

Генике чуть помедлил ответом, словно вспоминая. Он пристально смотрел выпуклыми глазами на коменданта. Может быть, он пытался проникнуть в его мысли, узнать, случаен ли этот вопрос, или за ним что-то кроется. Лицо коменданта было непроницаемо. Он смотрел на Генике с интересом.

— Как правило, я этого не делаю,— ответил Генике.— Это не всегда целесообразно с педагогической точки зрения.

— Как правило, вы этого не делаете,— сказал Лубенцов.— А в виде исключения?

Его настойчивость становилась подозрительной, и все при- тихли. Так как Генике ничего не отвечал, Лубенцов продолжал, обращаясь уже ко всем:

— Вот господин Генике считает, что поддерживать мероприятия демократических партий и директивы Советской Администрации непедагогично. Но, господин Генике,— обратился он вновь к учителю,— не кажется ли вам, что с точки зрения детей довольно странно, что их учитель, воспитатель, человек, которому они должны доверять и с которым они делятся своими чувствами и переживаниями, подчеркнуто обходит все актуальные вопросы современности? Как правило, обходит. Не покажется ли детям, что учитель, воспитатель потому обходит эти вопросы, что он не разделяет взглядов демократических партий и Военной Администрации на те проблемы, которые сейчас стоят в Германии и о которых даже дети знают? А вы, господин Генике, не думаете, что в преподавании аполитичность, отсутствие политики — тоже политика?

— Да, пожалуй... Пожалуй,— с выражением раздумья произнес Генике.— Это действительно может быть так истолковано детьми.

Лубенцова больше всего возмутило именно это показное раздумье. Несмотря на свой большой опыт разговора с различными людьми, из которых многие никак не могли назваться друзьями и единомышленниками, Лубенцов, пожалуй, впервые сталкивался с такой поразительной лживостью. Но сам Генике уже не так интересовал его, как все остальные учителя. Он с немым вопросом переводил глаза с одного на другого — с седовласого старика на молодую женщину, с нее на худощавого математика и с него на директора — и с чувством, похожим на отчаяние, спрашивал их — конечно, про себя: «Неужели вы все знали о нем, знали и молчали? Неужели вы отличаетесь от него только большей осторожностью? Неужели и о вас возможно такое же донесение, но его поймали, а вас нет? Если вы узнаете о нем,— проявите ли вы отвращение и

вражду к нему, а если проявите, то будут ли они, отвращение и вражда, искренни? Можно ли доверить вам воспитание юного поколения немцев, таких немцев, для которых чужие народы не будут предметом вражды, ненависти и презрения?»

И, может быть, для того, чтобы выяснить для себя эти вопросы, он тут же, не откладывая дела, без обиняков спросил Генике, как бы он отнесся к такому учителю, который не только избегает говорить детям о важнейших вопросах современной жизни, но прямо высказывается против принимаемых мер по оздоровлению немецкого жизненного уклада. То есть если учитель говорит детям, что их родители не должны брать землю, принадлежащую помещикам, говорит детям переселенцев, что получение этими переселенцами земли — кража; наконец, страшит детей наказанием на этом и том свете?

Было не смешно, а страшно смотреть, как менялся весь облик Генике в продолжение одной минуты. Ни для него, ни для остальных учителей уже не было сомнений в том, что комендант не случайно обращается к нему и не случайно начал именно с ним разговор.

— Вы молчите? — спросил Лубенцов, глядя на трясущиеся щеки учителя. — Я вынужден вам разъяснить, что такого человека мы рассматриваем как ярого противника советской оккупационной политики и как врага немецкого народа.

Были ли остальные учителя возмущены и взволнованы этими разоблачениями? Лубенцову казалось, что были, что они с недоумением и по меньшей мере с неудовольствием глядели на Генике. Но и на них Лубенцов теперь, после случая с Генике, глядел с недоверием и только на обратном пути домой упрекнул себя за это недоверие, потому что в нем таилась опасность — перестать доверять кому-либо, — опасность страшная, которая всегда влекла и влечет за собой тяжкие последствия для себя и для других. С нежностью вспоминал он многих немцев, людей искренних, откровенных, отдавших себя целиком делу строительства новой жизни в прекрасной и несчастной стране — Германии.

V

Вернувшись вечером в комендатуру, Лубенцов не мог решить, следует ли арестовать Генике, или стоит ограничиться отстранением его от работы. Касаткин был за то, чтобы арестовать Генике. Яворский колебался.

Оставшись в одиночестве, Лубенцов начал рассматривать прибывшие за день бумаги. Среди них была выписка из постановления военного трибунала о том, что сержант Белецкий приговорен к трем годам дисциплинарного батальона. Лубенцов задал себе вопрос, почему у него не дрогнула рука предать суду своего человека, а здесь, когда речь идет о заведомом

враге, он колеблется, обдумывает, готов советоваться с каждым. Может быть, потому, что он всей душой желал, чтобы наши люди не делали ничего плохого и каждое проявление плохого в них вызывало в нем боль и злость, а от немцев, сделавших столько плохого, он в глубине души все еще ожидал всяких каверз? Не потому ли воспринимал он подлость и лживость Генике с меньшим возмущением и уж во всяком случае с меньшей болью, чем историю с Белецким?

Он написал приказ об аресте Генике. Но до того, как отдал этот приказ, поехал,— это было уже поздно ночью,— к Леонову, чтобы опять посоветоваться.

Однако в Фельденштейнской комендатуре ему сказали, что к Леонову приехала жена. Остро позавидовав товарищу по этому поводу, Лубенцов не стал его тревожить своими делами и поехал обратно в Лаутербург.

По дороге с ним случилось небольшое происшествие, которое несколько усилило его решимость арестовать Генике. Ему встретила легковая машина. Немец, сидевший там за рулем, выключил фары, и Лубенцову показалось, что этот промелькнувший мимо немец за рулем не кто иной, как Генике. Он был действительно похож на Генике — круглолицый, с напряженным взглядом и грузной фигурой. В этот момент Лубенцов вспомнил о том, что существует еще одна Германия — за демаркационной линией, Германия, где все еще не проводятся никакие реформы и куда стремятся такие люди, как учитель Генике.

Дома Лубенцова ожидал профессор Себастьян. Он был сосредоточен и задумчив. Вынув из кармана конверт, он вытащил из него письмо и молча передал Лубенцову. На бумаге было напечатано машинописью всего несколько слов: «Если русский холуй господин Себастьян не перестанет помогать тем, кому он помогает в грабеже чужих земель и чужого имущества, с ним будет поступлено по заслугам. Мы стоим на посту». Вместо подписи был нарисован желудь.

Лубенцов рассмеялся — не очень искренне, так как был серьезно обеспокоен, но этот смех вызвал ответную улыбку Себастьяна, который сказал:

— Я наперед знал, что вы будете смеяться. Я даже представлял себе, как вы будете смеяться, и вы действительно рассмеялись именно так.

— Это не кажется вам похожим на детективный роман? — прищурясь, спросил Лубенцов. — Между тем это не роман, а реальная борьба, захватывающая и далеко небезопасная.

Он подумал, потом рассказал Себастьяну историю с Генике.

— Придется его арестовать,— спокойно закончил он свой рассказ.

Себастьян промолчал.

— Вызовем Иоста,— предложил Лубенцов.

Он позвонил в полицию. Иост приехал через несколько минут. Прочитав анонимное письмо, он задумался.

— Не пора ли вооружить полицию? — спросил он.— Ребята у меня хорошие, я ручаюсь за них.

— Вооружайте,— согласился Лубенцов.— Об этом уже шла речь с начальником СВА. Вопрос решен.

Иост заметно оживился и спросил:

— Значит, вы дадите распоряжение о выдаче нам пистолетов?

Лубенцов воскликнул:

— Иост, зачем вы мне это говорите? Помилуйте, неужели в Германии совсем не осталось оружия? Поищите, поищите, товарищ Иост...

Иост хитровато усмехнулся и развел руками.

— Ну хорошо,— сказал он.— Раз такое дело... Найдем оружие, конечно. Вас не проведешь.

— Под всеми мостами на дне речек, а то и просто в лесу можно найти оружия чертову уйму,— объяснил Лубенцов удивленному Себастьяну.— Оно требует только очистки от ржавчины.

Себастьян и Иост собрались уходить. Лубенцов шепнул Иосту на прощанье:

— Ни один волос не должен упасть с головы профессора, понятно?

Несколько дней спустя Касаткин зашел в кабинет к Лубенцову.

— Запрашивали из Галле,— сказал он.— Все насчет этого учителя, Генике. Какая-то газета в Рейнской области напечатала статью по этому поводу — дескать, сажают интеллигенцию... Наше начальство заволновалось. Спрашивают, были ли достаточные основания для ареста.

— И что вы ответили?

— Ответил, что были. Утром нам с вами придется выехать в СВА для объяснений.

— Что ж, объясним! Беда! То мы ни с кем не считаемся, делаем, что в голову взбредет, то вдруг начинаем чутко прислушиваться к любым высказываниям какой-нибудь поганой газетенки за границей. Следствие ведется? Что удалось узнать?

— Придется им умыться со статьей. Генике не только виноват, но и связан с целым рядом лиц по сю и по ту сторону демаркационной линии. Он много чего рассказал. В том числе подтвердил, что связан с крупным фашистом, который направляет действия против мероприятий Администрации; он находится где-то в нашем районе.

— Ну и слава богу,— облегченно вздохнул Лубенцов.— А то я немножко стухнул.

Итак, краснолицый реально существовал. Весь район был поставлен на ноги. Однако после ареста Генике,— может быть, в связи с этим арестом,— «генерал Вервольфа» исчез. Лубенцов искренне жалел об его исчезновении. Было бы очень обидно, если бы краснолицый убежал за демаркационную линию и избежал таким образом кары.

Во всяком случае, кругом стало тихо и мирно; началась засыпка семян к весенней посевной кампании. Новые крестьяне и безземельные, получившие землю, работали на своих участках, находя все больший вкус в реформе и понемногу освобождаясь от страха перед помещичьим возмездием. Когда же Советская Администрация распорядилась получить с них первый взнос с оплаты за землю, они и вовсе ободрились. Взнос был ничтожным, но это все-таки был взнос. Он означал, что земля *куплена*, а не взята. И крестьяне охотно и с удовольствием вбивали столбики вдоль своей новой межи, столбики, означавшие, что участок — ихний, собственный, купленный.

Краснолицый исчез.

VI

Воробейцев, придя однажды к своему новому приятелю Меркеру, застал у него высокого краснолицего плешивого человека, одетого в черный костюм и похожего в этом костюме на духовное лицо. Меркер познакомил «господина капитана» с «попом», как Воробейцев мысленно называл краснолицего.

— Как живешь? — спросил Воробейцев у Меркера. — Достал ты мне тот «нэш»? Гоночный? С красной кожей на сиденьях?

— Достал, достал, господин капитан, — угодливо сказал Меркер.

У Воробейцева разгорелись глаза.

— Веди, показывай, — сказал он.

Воробейцев вышел вслед за Меркером.

— Это кто? — спросил Воробейцев, когда они вышли на улицу.

— Один знакомый, — ответил Меркер. — Вернее, знакомый моих знакомых. Приехал из Тюрингии по торговым делам.

— Чем он торгует?

— Различной м... м... мебелью и вообще... разным недвижимым имуществом.

— Он не в Зуле живет? Охотничьими ружьями не торгует?

— Вполне возможно... Я спрошу. Обязательно узнаю. А что, вам нужны ружья?

— Вот еще, спрашивает! Конечно, нужны!

Когда они после осмотра гоночной машины, которую Меркер раздобыл для Воробейцева, вернулись обратно, «поп» си-

дел все в той же позе у стола, зябко потирая большие руки. На сей раз он не испугался русского. Этого русского нечего было пугаться: он ходил по комнате — худой, длинный, изломанный, болтливый, нарочито грубый, удивительно невнимательный. «Поп» стал с ним разговаривать оживленно, ласково, расспрашивал его про подполковника «фон Любенцоф». Узнав, что русский интересуется ружьями, он выразил желание при первой же возможности, как только прибудет партия товаров, подарить капитану трехствольное ружье с одним стволом нарезным — на крупного зверя. Воробейцев еще не видел таких ружей и очень обрадовался.

Русский капитан легко говорил по-немецки, и «поп» чувствовал себя с ним довольно свободно. Только фуражка русского с малиновым околышем и большой красной звездой, фуражка, лежавшая на столе между ними, иногда, когда он косился на нее, выводила его из равновесия. Но потом Меркер нежно взял эту фуражку обеими руками, так, словно она была живая, и переложил ее куда-то на другое место, так как фрау Меркер стала накрывать на стол. После этого «поп» стал себя вести с Воробейцевым совсем запросто. Он даже раз хлопнул русского по колену в знак своих дружеских чувств, и сам в душе возгордился этим своим жестом, о котором не мог даже мечтать час назад. Он решил, что поборол в себе страх перед «ними», что, наконец, перестал бояться «их».

Бюрке в эти дни, как и Лубенцову, тоже снились коровы, лошади, ягнята и телята. Но Лубенцову снились живые, а ему плавающие в крови. Он мечтал об уничтожении всего скота в советской зоне, с тем чтобы здесь начался повальный голод, лучший союзник пославших его.

Фрау Меркер подала на стол огромный противень с жареной бараниной.

— Это последнее мясо у нас, — печально сказал Меркер. — От тех двух баранов, которых вы, господин капитан, изволили подарить нам... А что дальше будет...

— Ладно, — сказал Воробейцев, — не горюй. Подброшу тебе кое-что за эту машину. Сахару велю тебе дать с завода. Не бойся. Не похудеете, — сказал он, обращаясь уже к жене Меркера, и похлопал ее по ляжке, не стесняясь присутствием мужа.

— О, — сказала она, нагибаясь к Воробейцеву и обнимая его. — Либер керль! ¹

— Гулять так гулять! — воскликнул Воробейцев, возбужденный этим быстрым объятием. — Что же это? Водки у вас нет, что ли? Доставай, доставай. Пришло тебе еще.

«Поп» осторожно клал себе в тарелку куски баранины и при этом глядел на них странно пристальным взглядом. Время

¹ Милый парень! (нем.)

от времени он переводил взгляд с баранины на Воробейцева. Одобрительно кивая головой и иногда смеясь в ответ на остроты, успокаиваясь все больше и больше, он неопределенно думал о том, что в общем не все русские страшны; вот этот русский — порядочный бездельник и парень неплохой.

О подполковнике «Любенцоф» Воробейцев отозвался, в отличие от всех немцев, рассказывавших Бюрке о коменданте, не слишком почтительно. То есть в словах его ничего непочтительного не было, но было что-то раздраженное в выражении лица и в жестах, сопровождавших слова, так что чувствовалось, что Воробейцев недоволен любопытством немца, одним тем, что этому приезжему немцу так интересно что-то знать о Лубенцове. Разумеется, Воробейцев не собирался отзываться плохо о своем, советском, коменданте перед этими немцами, кто бы они ни были, хотя бы потому, что они немцы. Но он не в силах был скрыть свою неприязнь. Он сразу же перевел разговор на себя. И чем больше он пил, тем больше говорил о себе, и из его слов получалось, что в комендатуре главный — он, что все дела зависят от него, а начальство в Галле и даже в Берлине предпочитает всем другим офицерам его. Он сам как будто бы не замечал, что проделывает довольно интересный, хотя и обычный в устах пьяных и хвастливых людей, фокус: он рассказывал о словах, сказанных Лубенцовым, и о делах, сделанных Лубенцовым, но вместо Лубенцова подставлял себя. И оттого, что он в глубине души, конечно, знал об этой подстановке, он еще больше ненавидел Лубенцова, а себя еще больше любил и жалел.

— Выпьем! — кричал он то и дело по-русски и провозглашал один и тот же тост: — За встречу под столом!

Когда он объяснил своим собутыльникам суть этого тоста, они много смеялись и тоже стали провозглашать его по-русски, на ломаном языке, весьма отдаленно напоминавшем верное произношение этих слов.

— За стреч пот столём! — кричали то Меркер, то Бюрке, выпивая свои рюмки; Воробейцев же пил стаканами, чему оба удивлялись, а заметив, что ему нравится их удивление, удивлялись вслух.

— Выпьем! — опять крикнул Воробейцев и чокнулся с обоими. Однако Меркер на этот раз спасовал и сказал, что больше пить не может. Тогда Воробейцев, не говоря ни слова, взял за горлышко начатую бутылку и небрежным жестом выкинул ее в открытую форточку.

— Будешь пить? — спросил он, берясь за горлышко другой, еще не распечатанной бутылки.

— Я, я, — испуганно забормотал Меркер и выпил свою рюмку залпом.

Бюрке напряженно улыбался. Пьяная удадь Воробейцева немного пугала его. Меркер суетился, задабривая русского. Он

вовсе не хотел, чтобы его квартира стала предметом наблюдения.

Наконец, Воробейцев уgomонился и его уложили спать на диване. Улеглись спать и остальные. Но Меркер все беспокоился, как бы кто-нибудь не пожаловался в полицию или — еще хуже — в комендатуру. И когда поздно ночью раздался стук в дверь, Меркер очень испугался. Он попытался растолкать Воробейцева, но это оказалось невозможным. Бюрке, разбуженный стуком, уже сидел на кровати и быстро одевался. С перекошенным лицом Меркер пошел открывать. К великому своему облегчению, он услышал за дверью английский говор и впустил двух американцев. Оба были ему незнакомы, но один из них сказал, что прислан О'Селливэном, и тогда Меркер совсем успокоился. Сказавший это был высоким человеком с большими неподвижными глазами. Он осмотрел полутемную комнату, стол с опрокинутыми бутылками, хмыкнул и, заметив лежащую на диване фигуру, подошел к ней, наклонился и сказал:

— Э, Виктор!

Он быстро растолкал Воробейцева, который долго не узнавал его.

— Ты как сюда попал? — закричал Воробейцев.

Это был Уайт, тот самый Фрэнк Уайт, с которым Воробейцев познакомился во время Потсдамской конференции. Появление его здесь показалось Воробейцеву прямо-таки удивительным. Нельзя сказать, чтобы Воробейцев слишком уж обрадовался возобновлению знакомства. А Уайт все похлопывал Воробейцева по плечу и говорил:

— Миртэсэн.

Это странное слово он повторял много раз, и Воробейцев вначале принял это слово за какое-то неизвестное ему американское приветствие. И только гораздо позже он понял, что Уайт говорит по-русски «мир тесен».

— Да, мир тесен, — сказал Воробейцев, не очень довольный этим обстоятельством.

Второй американец, никого не спрашивая, хлебнул из одной бутылки и лег на место Воробейцева спать. Меркер вытащил из другой комнаты Бюрке, и они уселись «допивать». Тут не было недостатков в тостах. Тосты произносил Уайт. Выпили за Россию и за Соединенные Штаты.

— Выпьем и за Германию, — сказал Уайт, исподлобья взглянув на Бюрке.

Выпили.

— Теперь давайте за Англию и Францию, — предложил Воробейцев, который снова сильно захмелел.

Но за Англию и Францию Уайт отказался пить. Он отрицательно замотал головой.

— Тогда за встречу под столом, — предложил Меркер, и Уайт, не без труда поняв, что он сказал, оглушительно

захотал, так что чуть не захлебнулся вином. Потом он стал смертельно серьезным, уставился в одну точку и зашевелил губами.

— А где твой друг, этот хороший и весьма милый капитан? — спросил вдруг Уайт, обращаясь к Воробейцеву.

— Мы с ним больше не встречаемся, — сказал Воробейцев, Уайт спросил:

— Уехал далеко? Россия?

— Здесь он, — хмуро сказал Воробейцев.

— Ссора? Женщина?

Воробейцев не стал ничего объяснять и в ответ только буркнул нечто нечленораздельное.

— Он хороший, — сказал Уайт. — А я и ты нехорошие. Очень плохие. Нас надо повешать. — Он говорил спокойно, с неподвижным лицом. — Майор Коллинз передает тебе привет. Говорит, что ты хороший. Очень любит тебя.

Последние слова заставили Воробейцева сразу протрезветь. Если раньше он думал, что появление Уайта — случайность, то теперь, после упоминания о Коллинзе, он взглянул на Уайта с опаской. Вскоре он поднялся с места, говоря, что пора уходить. За окном было уже почти совсем светло. Появились первые прохожие.

— Придешь сегодня? — спросил Уайт. — Вечером приходи. Или я к тебе приду? Могу прийти. Домой к тебе или на службу?

— Зачем? — сказал Воробейцев. — Я сюда приду.

Он подошел к зеркалу, привел в порядок свой китель, застегнул его на все пуговицы, поправил помявшиеся погоны и надел фуражку. Его собственный вид в зеркале заставил его подтянуться и приободриться. Глядя на свой мундир, он как бы вспомнил о своей принадлежности к войскам величайшей державы и почувствовал уверенность в себе. Вместе с тем — и одно было связано с другим — он преисполнился чувства неприязни и подозрительности по отношению к своим трем собутыльникам. В этот момент, который мог бы оказаться спасительным для него, он как бы наполовину прозрел и осознал, что американец гораздо ближе к этим немцам, чем к нему, Воробейцеву, и что все они составляют одно целое, причем их цель — привлечь к себе, опутать и подмять под себя его, Воробейцева.

Эти мысли или обрывки мыслей пронесли у него в голове. Он теперь с особенной силой хотел быть таким, как Чохов, о котором он, оказываясь, думал гораздо больше, чем сам предполагал, и воспоминания о котором встали перед ним с особенной остротой после того, как сам Уайт, похвалив Чохова, определил пропасть, разделявшую двух друзей.

Воробейцев сказал в сухой и отрывистой чоховской манере:

— Зря ты сюда приехал. Если ты следуешь в Берлин, то маршрут совсем не тот.

Манера-то походила на чоховскую, да совесть была нечиста. И, встретив холодный взгляд огромных белых глаз американца и увидав на столе узкие белые руки Меркера, Воробейцев деланно хихикнул и сказал:

— Это я шучу. Ладно. Увидимся.— Он вышел на улицу. На лестнице он столкнулся с маленьким пожилым немцем, лицо которого было ему знакомо. Он однажды встречал его у Меркера и несколько раз видел возле комендатуры.

VII

Побродив некоторое время по улицам, Воробейцев отправился в комендатуру и, так как было еще слишком рано, прошел через черный ход во двор и оттуда попал в помещение комендантского взвода, где в одной из комнат жили командир взвода и Чохов.

Оба уже были на ногах и умывались. Причем оба умывались так старательно, так шумно, с такой любовью к этому делу, что Воробейцев тоже решил умыться. И постарался сделать это в точности, как они, то есть без боязни залить воду за ворот рубахи или замочить закатанный рукав, что для нервного Воробейцева было нелегко.

Они сели завтракать. Пища была самая что ни на есть солдатская — гречневая каша с салом. Воробейцеву вовсе не хотелось есть ее, но он ел, чтобы быть таким, как они. Вскоре к ним присоединился Воронин, сообщивший, что Лубенцов сегодня ночевал в комендатуре у себя в кабинете, так как поздно засиделся. Чохов наложил для коменданта миску каши, и Воронин отнес ее наверх, а потом вернулся и тоже сел завтракать.

Воробейцев начал говорить о том, что пора уже, пожалуй, ехать на родину; надоела эта Германия, как горькая редька.

Чохов посмотрел на него с удивлением. Он впервые слышал от Воробейцева нечто подобное. Воробейцев говорил очень искренним голосом и смотрел перед собой с выражением тоски в глазах, которую и впрямь можно было принять за тоску по родине.

Тогда Чохов посоветовал ему написать рапорт Лубенцову и сразу, пока не начался рабочий день, зайти к Сергею Платоновичу и поговорить с ним об этом.

Воробейцев сказал: «Да, верно»,— и поднялся с места, но потом заколебался, заговорил о чем-то другом, снова сел. Ему вдруг показалось страшным ехать домой. Он вел тут слишком легкую жизнь и слишком к ней привык. На родине его ожидает снабжение по карточкам и настоящий труд, да еще, может быть, на пострадавших от войны территориях.

— Эх, ребята,— сказал он.— Я тут в одном месте обнаружил такую машину — пальцы оближешь. Представьте себе — гоночная, небольшая, но с длиннейшим капотом. Сплошной мотор. Восемь цилиндров. А мест всего два и одно сзади откидное. Сиденья из красной кожи высшего качества. Игрушка. Легко развивает скорость до ста восьмидесяти километров. Только не знаю — себе оставить или подарить кому-нибудь — скажем, генералу Куприянову. Конечно, машина не для капитана. Вечером я ее возьму и обязательно вам покажу.

— Где это вы все достаете? — спросил Воронин.— Я и сам хочу найти для подполковника какую-нибудь машину получше.

— Что подполковник? — засмеялся Воробейцев.— Он этим мало интересуется. Уж кому-кому, а ему легко заполучить все, что угодно. Могу подыскать для него. Я сегодня вечером буду в одном месте, спрошу.

— Ловкач,— сказал Воронин, когда Воробейцев ушел.

Поевши, Воронин вышел на улицу. Его ожидала машина, так как по поручению командира взвода ему надлежало ехать в Альтштадт. У фонаря стоял Кранц.

— Ну что, поедешь со мной? — спросил Воронин.

— Хорошо,— сказал Кранц.

Они сели в машину и поехали. А так как машина, на которой они ехали,— старый «вандерер»,— стучала и грохотала, Воронин вспомнил о разговоре с Воробейцевым и сказал:

— Пора машину сменить. Неудобно коменданту на такой ездить.

— Полиция может подобрать подходящую машину для господина коменданта,— сказал Кранц.— Скажите господину Иосту.

— Капитан Воробейцев раздобыл красивую спортивную машину. И где он все достает?

Кранц сразу понял, где Воробейцев достал эту машину. Сегодня рано утром он встретил Воробейцева выходящим из квартиры Меркера. Кранц вел с Меркером кое-какие коммерческие дела, был у него чем-то вроде маклера, исполнял мелкие поручения, но Меркера не любил и знал о нем — хотя никому об этом не рассказывал — немало компрометирующего еще с гитлеровских времен. То, что советский офицер, повидимому, ночевал у Меркера, покорило Кранца. Особенно удивился он, когда попал к Меркеру в квартиру и обнаружил, что там находились два американца и один чужой немец, нездешний, явный баварец, судя по акценту.

Кранц подумал, что это не его дело и что вольно капитану Воробейцеву якшаться с кем угодно. В отличие от Воронина или от подполковника Лубенцова, Кранц не считал коммерческие дела чем-то предосудительным. Но он знал, что они, Воронин и Лубенцов, так именно считают. Он прекрасно знал, с какой скрупулезностью «подполковник Давай» относился к этим

делаю. Поглядев сбоку на маленькое лицо Воронина, на его узкие татарские глазки под иссиня-черными тоже узкими бровями, Кранц решил про себя, что надо предостеречь комендатуру.

На этот счет у него были свои мысли. Он желал русским добра. Ему хотелось, чтобы немцы думали о России хорошо. Он вряд ли вкладывал в это свое желание какой-либо особый политический смысл. Частная жизнь капитана Воробейцева, о которой весь Лаутербург кое-что знал, коробила Кранца, хотя многим немцам здесь она казалась естественной и вполне человеческой. Естественной она, пожалуй, казалась бы и Кранцу, если бы он не мог читать русских газет и книг и если бы не знал Лубенцова и Воронина. А он знал их, и гораздо лучше, чем они предполагали. Он вообще многое знал.

Может быть, русские даже сами того не понимали, насколько они на виду. Когда кто-нибудь из немцев высказывался против русских, он обязательно упоминал капитана Воробейцева в том смысле, что вот они, русские, говорят про социализм и кичатся социализмом, построенным у них; а если взглянуть на них повнимательнее — вот хотя бы на того же капитана Воробейцева, — сразу видишь цену словам.

Хорошее всегда сокровеннее плохого, оно не так заметно, как плохое.

Перебрасываясь с Ворониным односложными замечаниями, Кранц не решился сказать ему что-либо в присутствии немца-шофера, который немного понимал по-русски. Разговор шел вполне нейтральный.

— Как тебя зовут? — спросил Воронин.

— Пауль.

— А!.. Пауль Кранц, значит?

— Да. Это по-русски Павел.

— Ну? Неужели? Как? Значит, немецкие имена переводятся на русский?

— Да. Почти все.

Воронин страшно заинтересовался.

— А Иван как по-немецки?

— Иоганн Ваня — это Ганс по-нашему.

— Ну?.. А твоего отца как звали?

— Томас.

— А по-русски?

— Фома.

Воронин расхохотался.

— Значит, тебя зовут Павлом Фомичом?

— Да, — улыбнулся Кранц. — Так меня жена звала.

— А меня как зовут по-немецки?

— Деметриус.

— Похоже, но потруднее, еле выговоришь. А Екатерина Федоровна как будет по-вашему?

— Катарина. А Федор — Теодор.

— Вот тебе раз!

Так они болтали до приезда в Альтштадт. И только здесь, возле склада, где Воронин получал что-то для своего взвода, Кранц как бы невзначай сказал Воронину о «коммерческих связях» Воробейцева с черным рынком, который имелся в Лаутербурге, как и повсюду.

Брови у Воронина на мгновение поднялись, потом снова встали на свое обычное место.

— А может, у него служба такая,— сказал он спокойно.— И нечего вам, Павел Фомич, мешаться не в свои дела.

Кранц обиделся и всю обратную дорогу сидел молча, хотя Воронин то и дело пытался заговорить с ним,— конечно, не о Воробейцеве, а вообще о разном, главным образом об именах.

В Лаутербурге Воронин остановил машину возле домика коменданта и вынес Кранцу несколько пачек сигарет. Но хотя Кранц был завзятым курильщиком и наверняка нуждался в куреве, он на этот раз наотрез отказался взять сигареты и быстро ушел. Воронин долго смотрел вслед Кранцу. Потом он поглядел на сигареты и сделал вывод, что предупреждение Кранца имеет гораздо большее значение, чем ему показалось вначале.

Второе предупреждение последовало из совсем неожиданного источника.

На следующий день отправлялся в Советский Союз эшелон с репатриантами. Ксения пошла на станцию провожать своих товарищей и подруг, со многими из которых провела вместе несколько страшных лет. Лубенцов поручил Чохову представлять на проводах комендатуру. Подходя к эшелону, Чохов издали увидел Ксению, стоящую в кружке отъезжающих девушек и парней, среди которых выделялась широкая фигура одноногого.

Чохов покосился на них, но не подошел, а медленно двинулся по перрону, заходя то в один, то в другой вагон, проверяя, все ли тут в порядке. К нему обращались разные люди с жалобами то на то, то на другое. Он выслушивал их, потом шел за ними в вагоны, чтобы проверить жалобы. Ехали довольно тесно, хотя один вагон, задний, был никем не занят и почему-то заперт. Чохов велел открыть этот вагон, и люди, не имевшие места, быстро заняли его.

Возвращаясь с хвоста поезда к его голове, Чохов увидел, что одноногий и Ксения отделились от остальных и медленно идут у самой стены вокзала, причем одноногий положил большую руку на плечо Ксении. Они говорили о чем-то вполголоса и, видимо, были очень заняты своим разговором. Чохов испытал щемящее чувство ревности. Он посмотрел на них только однажды, но ему казалось, что он навеки запомнит эти два лица, чуть склоненные к земле. Оба были очень серьезны. Одноногий говорил. Ксения молчала, слушала.

Чохов прошел мимо. Издали показался паровоз — тот самый, который должен был повести состав. Два сцепщика в замасленных комбинезонах не спеша шли от здания станции к голове поезда. Чохов пошел за ними, долго смотрел, как они сцепляют паровоз с составом. Раздался металлический лягз. Машинист, высунувшись из окошка паровоза и глядя назад, что-то крикнул по-немецки, и это показалось Чохову неожиданным; он все еще не мог представить себе мирных, работающих немцев: переживания войны слишком глубоко сидели в нем.

Поезд трянуло. Паровоз громко запыхтел. Все было готово. Чохов повернулся и пошел обратно к центру состава. Начальник станции подошел к нему и что-то сказал по-немецки. Чохов не понял, хотя уже понимал немецкий язык довольно хорошо. Он даже не слышал, что начальник станции говорит, так как опять увидел Ксению и одноногого. Те уже стояли среди других. Ксения увидела Чохова и быстро пошла к нему. Начальник станции продолжал что-то говорить Чохову. Чохов рассеянно кивал головой. Ксения подошла и сказала:

— Товарищ капитан, товарищи вас зовут.

— Ладно,— сказал Чохов и вместе с ней пошел к группе, в которой находился одноногий.

Все были взволнованы и растроганы. Одноногий, сделав шаг навстречу Чохову, протянул ему руку.

— Прошу вас передать нашу общую благодарность коменданту,— сказал он.— И от меня личный привет передайте ему и всем товарищам из комендатуры. Желаю вам счастливо оставаться и все сделать, что нужно, тут, в Германии.

— Хорошо, передам,— сказал Чохов угрюмо.

Одноногий все тряс его руку и заглядывал ему в глаза светлым и растроганным взглядом своих обычно сумрачных глаз.

— Ксению берегите,— сказал он негромко.

— Гоша, дай и нам проститься,— проговорила одна из девушек, и одноногий нехотя выпустил руку Чохова. С Чоховым стали прощаться и остальные.

— Счастливого пути,— сказал Чохов. Мрачное настроение покинуло его сразу же после слов одноногого о Ксении: эти слова были явно сказаны лично ему, Чохову, и сказаны так, как брат может сказать о сестре, доверяя ее жениху. Чохов это смутно понял, и краска бросилась ему в лицо.

Ксения стояла в стороне. Ее рот был полуоткрыт, и непонятно было, то ли она грустно улыбается, то ли собирается заплакать. Потом она действительно заплакала, но не навзрыд. Выражение ее лица даже ничуть не изменилось, а просто из глаз показалось несколько слезинок, которые поползли вниз. Она не пыталась их вытирать и не пыталась скрыть лицо. Она смотрела все так же, ни на кого не глядя, куда-то вперед.

— Вы старшего по эшелону выбрали? — спросил Чохов, продолжая выполнять свои обязанности. Он чувствовал, что сердце его наполняется восторгом, испытанным, может быть, один или два раза за всю жизнь.

— Гоша у нас выбран старшим, — сказал кто-то.

Чохов кивнул головой, так как наперед знал, что именно одноногий должен быть старшим и что именно его все выберут.

Как ни непохож был одноногий на Лубенцова, но Чохов почему-то вспомнил в этот момент о своем начальнике — потому, очевидно, что, попади Лубенцов в эти обстоятельства, его тоже выбрали бы всегда старшим и он тоже был бы поверенным во всех делах и мыслях окружающих его людей. А он, Чохов? Мог ли и он быть таким? Способен ли и он раствориться в делах, в общем интересе, в то же время оставаясь самим собой — особым, ни на кого не похожим? Он в этом сомневался. Будучи крайне самолюбивым, он в то же время относился к себе в высшей степени критически.

Между тем начальник станции сообщил, что поезд готов к отправлению. Одноногий, стуча деревяшкой по плитам перрона, отошел от остальных, словно ему было тесно среди людей, и, подняв руку вверх, зычно крикнул:

— Внимание! По вагонам!

Потом он подошел к Чохову, обнял его быстрым объятием, так же быстро обнял Ксению и заковылял к составу. На подножке того вагона, к которому он направился, сидел человек с аккордеоном. В этот момент он заиграл самую популярную в то время советскую песню «В прифронтовом лесу». Одноногий встал на подножку, переступил ногой через играющего и очутился в тамбуре. С полминуты постоял он вот так — спиной к станции, потом медленно повернулся всем корпусом, снял шляпу и взмахнул ею. Чохов и Ксения смотрели на него, и он улыбнулся им сдержанной и тревожной улыбкой.

Поезд тронулся. Звуки песни вскоре пропали. Чохов и Ксения остались на пустом перроне вдвоем. Они постояли минуты две и потом медленно направились на вокзальную площадь, где стоял мотоцикл Чохова.

VIII

Они сели на мотоцикл.

— Поедем за город, — сказала Ксения. — Мне надо с вами поговорить.

Чохов завел машину, и они спустя несколько минут были в горах. Здесь, на безлюдной дороге, под соснами, Чохов остановился и слез с мотоцикла. Ксения тоже слезла и внимательно посмотрела на Чохова.

«Сейчас что-нибудь скажет про одноногого», — подумал Чохов.

— Гоша вот что велел передать,— сказала Ксения, и в ее голосе Чохов почувствовал волнение.— Вчера он был у одного немца, который живет тут недалеко, на Гнейзенауштрассе. Он не просто туда пришел. Его вызвали. В Лаутербург приехал какой-то американец, который имел письмо к Гоше. Письмо от одного... нашего... русского... оттуда, с запада. Цапайло его фамилия. Человек как человек, но, видно, совесть была нечиста, и когда стало известно, что Красная Армия сюда идет, он убежал на запад. Ночью убежал, никого не предупредил. Правда, он и раньше все время толковал, что неизвестно еще, как поступят с нами наши, то есть советские, не посадят ли за то, что мы оказались на вражеской земле. Нас этим все время запугивали. И англичане нам об этом твердили и американцы... Видимо, тот Цапайло... и испугался. Вчера он прислал Гоше письмо через американского офицера: беги сюда, на запад. Будешь хорошо здесь жить. Устроим тебя... А этот офицер-американец,— он хорошо говорит по-русски, но фамилии его Гоша не знает,— сказал, что у него есть официальный пропуск на Гошу, выданный американским командованием. Так что Гоша мог сегодня уехать с этим американцем на запад. Он, конечно, не уехал, но американцу сказал, что подумает, так как опасался, что, если сразу откажется, они его там пристукнут, так как побоятся, что он про все сообщит. Так вот,— продолжала она, помолчав.— Гоша велел передать, что у того немца часто бывает капитан Воробейцев. Он ведет с ним какие-то темные дела, спекулянтские. В общем пользуется служебным положением и достает для этого немчика дефицитные товары, а тот взамен ему тоже что-то там достает. И Гоша велел об этом передать товарищу Лубенцову. Конечно, Гоше не хочется, чтобы его, Гошу, вмешивали в это дело, чтобы его тягали. А просто он просит предупредить, чтобы последили. Но если понадобятся его показания, то он, так и быть, согласен в крайнем случае подтвердить это письменно или как-нибудь иначе. Адрес его у меня есть. Но,— она умоляюще посмотрела на Чохова,— если можно обойтись без участия Гоши...

Чохов молчал и слушал. Собственно говоря, он совсем не удивился. Он довольно хорошо знал Воробейцева и мог вполне поверить в то, что Воробейцев действительно делает какие-то темные коммерческие дела. И, однако, зная это и не удивившись этому, Чохов был поражен и взволнован. Потому, очевидно, что, услышав такого рода сведения о Воробейцеве из *чужих* уст, он вдруг впервые начал оценивать Воробейцева и весь его облик совсем не так, как раньше на основании личных наблюдений. Раньше, когда он все это видел и ощущал лично, оно вовсе не казалось ему таким грозным и опасным, как сейчас, когда были произнесены вслух такие слова, как «темные дела», «коммерческие махинации», «использование служебного положения» и т. д. Одно дело наблюдать,

догадываться и испытывать личное недовольство недостатками товарища, другое дело — когда эти недостатки и пороки становятся общеизвестными.

— Поговорить, что ли, с Воробейцевым? — растерянно сказал Чохов после некоторого молчания.

Ксения посмотрела на него и неожиданно ответила с оттенком ласковой насмешки:

— Вы очень хороший человек, Василий Максимович. Но мне кажется, что говорить надо не с Воробейцевым, а с Лубенцовым. Во всяком случае, я обязана это сделать. Мне Гоша поручил.

Он ничего не ответил, только стал молча заводить мотоцикл.

Вернувшись в комендатуру, Ксения пошла к Лубенцову. Но Лубенцова не оказалось, он был в отъезде. Чохов пошел к себе. Он шел по длинному коридору и, когда поровнялся с дверью, за которой обычно работал Воробейцев, на мгновение приостановился, прошел мимо, вернулся обратно, приоткрыл дверь. Воробейцев сидел за столом и что-то старательно писал, нагнув голову так, что белесая прядь прямых волос достигала стола и заслоняла его лицо. Услышав скрипение двери, он поднял голову, привычным взмахом головы отправил прядь на место и, увидев Чохова, просветлел.

— Садись, Вася,— сказал он.— Мы редко видимся. Как будто живем в разных городах.

— Да,— сказал Чохов.

— Я по тебе соскучился,— признался Воробейцев, и что-то жалкое промелькнуло на его лице.

— Мне надо с тобой поговорить,— сказал Чохов.

Воробейцев посмотрел на него быстрым испытующим взглядом.

— Что ж,— сказал он,— поговорить можно.— Он начал складывать бумаги и, то и дело кидая на Чохова взгляд исподлобья, сказал: — Ты мне это так торжественно объявил... Как в Большом академическом театре.— Несмотря на легкий тон, он был обеспокоен.— Что ж, поговорить можно,— продолжал он, все так же складывая бумаги, причем делал это очень старательно и не спеша. Наконец, он встал с места, посмотрел из ручные часы и сказал: — Пожалуй, можно и кончать. Можно идти и пообедать. Тем более что вечером мы все должны быть здесь — очередное совещание. Наш-то не дремлет.

Чохов ничего не ответил, угрюмо ждал, пока Воробейцев собирался, и они вдвоем вышли из комендатуры.

«А что я ему буду говорить?» — вдруг подумал Чохов и почувствовал себя неловко. Читать нотации было совсем не в его духе.

— Куда пойдем? Ко мне? — спросил Воробейцев.

Чохов кивнул головой. Они шли еще некоторое время молча, наконец Воробейцев, как всегда нетерпеливый, заговорил:

— Чего ты напустил на себя такой важный вид? Что у тебя там? О чем ты хочешь говорить? А то ты все идешь, как будто на моих похоронах. Выкладывай, что имеешь!

Улица была пустыня, и Чохов мог бы и сейчас объяснить Воробейцеву все, но он не знал, с чего начать, поэтому отмахнулся от вопросов и заговорил только в квартире Воробейцева.

— Это нехорошо кончится,— сказал он.— Связался с немцами жуликами, спекулянтами. Делаешь темные дела.

— Что, что именно? — вскочил с места Воробейцев.— Ты это брось! Это все сплетни! Какая-то сволочь выдумала. А что? Ты где это слышал? Кто это тебе?..— Он закидал Чохова тревожными вопросами, стараясь выудить, что собственно такое случилось и что известно о его, Воробейцева, поведении. При этом он лихорадочно прикидывал, кто именно мог бы оказаться в свидетелях против него, кто что знает — в особенности из немцев. Не то чтобы он находил свое поведение и свои «дела» чем-то сильно предосудительным, однако теперь, оказавшись перед опасностью разоблачения, он на минуту посмотрел на себя и свои «дела» не своими глазами и не глазами тех немцев коммерсантов, с которыми якшался, а глазами Лубенцова и Касаткина. С их точки зрения его жизнь и поведение были в высшей степени преступны, и если бы они узнали хоть половину из этой мелкой эпопеи самоснабжения, использования должности и так далее, они бы несомненно сочли его преступником, почти врагом.

Главное было теперь разузнать у этого простака Чохова, что именно им уже известно и откуда известно. Хуже всего, если бы оказалось, что «капнул» кто-то из немцев. Этого он никак не мог ожидать, так как те немцы, с которыми он водился, смотрели на его мелкую погоню за наживой как на естественное дело: они сами занимались этим всю жизнь и не имели представления о другой жизни. Они могли это сделать из мести, и то вряд ли, так как боялись его и, по его мнению, считали его всесильным и способным нанести им серьезный ущерб. В конце концов он действовал им на пользу, давал некоторым предпринимателям больше дефицитных товаров, чем им полагалось, а взамен получал кое-что. Такие операции казались им, по его наблюдениям, вполне нормальными.

— Это все сплетни,— говорил он между тем, шагая из угла в угол.— И не верь, Вася. Это все Касаткин, у которого все на подозрении. Он уже раз вызывал меня. Шумел, что я выписал ликерному заводу больше бензина, чем надо... Просто ошибка получилась.

— Ты мне этого не говори. Я тебя знаю. Знаю твою философию.

— Ну и что? Что ты знаешь? За философию не наказывают! Если бы наказывали за философию, то многие погорели бы, как свечи! Философию! А кто тебя тянет за язык? Ты мне друг или так только? Может быть, ты пойдешь стукнешь Лубенцову про мою философию? Никак не ожидал, что ты доносчик! Я думал, что ты человек благородный, человек с душой солдата.

Он размахивал руками, распаяясь все больше. Собака-«боксер», лежавшая в углу на ковровой подстилке, привстала и зарычала на Чохова.

— Значит, нет у меня друзей?— продолжал Воробейцев.— Единственный друг, значит, вот этот пес? Так, что ли? В последнее время ты совсем меня забыл. С бабой тебе приятнее проводить время, чем с товарищем? Ах, Вася, Вася!

Чохов не ожидал такого взрыва чувств. Его, всегда такого сдержанного, выводило из равновесия выражение чувств вслух.

Он начал оправдываться:

— Я именно как друг и хотел тебя предупредить. Брось, Воробейцев, все это. Смотри, как дружно мы все работаем. Если в чем виноват, то прямо пойди к Сергею Платоновичу и открыто скажи. Он поймет. Ведь ты же знаешь, какой он человек. Ты только притворяешься, что не знаешь.

Воробейцев, слушая Чохова, жалел себя все больше. Тем временем он прикидывал в уме, как ему нужно будет держаться, если его вызовет Лубенцов, и как — если его вызовет Касаткин. Он был доволен, что Чохов предупредил его. И он глядел на Чохова любящим взглядом, но в то же время прикидывал, нельзя ли повернуть дело так, чтобы уговорить Чохова свидетельствовать при случае о его, Воробейцева, невинности. В крайнем случае можно будет сознаться в легкомыслии, непонимании опасности капиталистического окружения и, главное, бить на то, что с ним, Воробейцевым, не работали, мало с ним беседовали, мало разъясняли. Он знал, что это всегда действует очень сильно на наших людей, которые стремятся всегда со всеми «работать» и всем «разъяснять».

Собака перестала рычать и, успокоенная, опустилась на подстилку, продолжая глядеть на хозяина доверчивыми большими навывкате глазами.

— Все свои знакомства прекрати,— сказал Чохов, вставая.— Сразу же отрежь.

— Да какие знакомства? — обиженно спросил Воробейцев.— Опять ты мне толкуешь про знакомства.

— Зря ходишь к немцам домой.

— Никуда я не хожу! С одной стороны, вы кричите: немцы бывают разные, есть и хорошие! Большинство хороших! Надо им помочь! А с другой стороны — никуда не ходи, ни с кем не общайся...

— Ходи к хорошим,— сказал Чохов.

— А ты что — не был у Меркера? Мотоцикл тебе кто устроил? Тот же Меркер!

Чохов пожал плечами и пошел к выходу, сопровождаемый тихим рычанием собаки. У выхода из дома он постоял минуту, потом пошел обратно в комендатуру, послонялся там по комнатам. Дежурный сержант Веретенников сказал, что Лубенцов все еще не приезжал, но звонил из соседнего города Фельзенштейн; он задержался у подполковника Леонова и к совещанию придет.

Веретенников держал в руках большую пачку писем и раскладывал их по стопкам. Чохов сел возле него и задумался.

— Чего это вам никогда писем нет, товарищ капитан? — спросил сержант.

— Не от кого получать, — сказал Чохов.

— Сегодня подполковнику три письма. Майор Касаткин совсем перестал получать письма с тех пор, как жена приехала. Но больше всех получает старшина Воронин. Так и сыплются со всех концов России — и от родственников и от бывших разведчиков. И девушка какая-то ему пишет без конца. Я уже все почерки изучил.

— А капитан Воробейцев много получает писем? — вдруг спросил Чохов.

— Нет, редко ему пишут. Вначале часто писали — больше всего одна девушка из Загорска Московской области. Но в последнее время перестала писать. Он ей не отвечал.

Чохов хотел спросить про Ксению, но не решился. Это показалось ему некрасивым — справляться про ее переписку. Он поднялся, чтобы уйти, но тут дверь открылась и вошел Лубенцов, как всегда, не один — с Меньшовым и какими-то тремя немцами и одной немкой. Не заметив Чохова, он прошел со своими спутниками в кабинет, оставив дверь открытой. Чохов слышал издали его быструю речь, прерываемую то и дело голосами немцев. Вскоре немцы с немкой ушли. Чохов поднялся, чтобы идти к Лубенцову. Веретенников протянул ему письма и сказал:

— Передайте, товарищ капитан. Он обрадуется. Любит письма получать.

Чохов усмехнулся, взял письма и вошел в кабинет. Лубенцов, заметив письма в его руке, стремительно пошел ему навстречу, взял их, сел на первый попавшийся стул, начал читать и тут же вскочил с места.

— Можете меня поздравить, — сказал он. — Таня на днях приезжает. Недавно демобилизовалась, получает документы.

Он отвернулся, может быть потому, что не хотел, чтобы заметили выражение его лица в этот момент. И только когда Меньшов вышел, Лубенцов повернулся к Чохову, подошел к нему и обнял его.

— Наконец-то,— сказал он,— начинается скучная, постная, трезвая, семейная жизнь. Если есть на свете счастливый человек, то это я. Вам все это еще предстоит. Что-то мне надо было делать срочное, но я все забыл, ей-богу. Такие известия плохо отражаются на практической работе. Пойдем ко мне, Вася, выпьем по маленькой.

— Сейчас должно быть совещание,— сказал Чохов.

— Ах, да. Ну, потом выпьем.

IX

Когда офицеры собрались в кабинет и Лубенцов начал проводить совещание, Чохов следил за ним с особым интересом. Если замечание Лубенцова о том, что получение радостных известий плохо отражается на практической работе, и было верным, то поведение Лубенцова на совещании не подтверждало этого ни в малейшей степени. Все шло, как всегда. Лубенцов только раза три бросил на Чохова веселый взгляд.

В общем Чохов пришел к выводу, что радостные известия не так уж вредны для работы.

Но, следя за Лубенцовым, Чохов в то же время следил и за Воробейцевым и подумал, что и дурные известия не так уж плохо отражаются — по крайней мере внешне — на людях. Воробейцев слушал подчеркнуто внимательно, что-то записывал в блокнот, иногда бросал односложные одобрительные реплики Лубенцову и Касаткину и вообще выглядел, как самый старательный и ретивый службист из всех присутствующих.

По этому поводу Чохов подумал о том, что поистине чужая душа потемки и что очень трудно по внешним признакам понять человека, если он умеет притворяться. Но чем может помочь такое притворство, думал Чохов, если там, в одной из комнат, находится маленькая строгая девушка с непреклонными глазами, которая обязательно сегодня или в крайнем случае завтра расскажет все Лубенцову, и начнется медленное и упорное дознание, от которого будет лихорадить весь Дом на площади и которое приведет, очевидно, к крупным неприятностям для Воробейцева. Он жалел Воробейцева, а Ксенией, хотя она-то и собиралась нанести Воробейцеву удар, гордился. Эти два как будто несовместимые чувства одновременно владели Чоховым.

После совещания, когда все собрались расходиться, Лубенцов вдруг заговорил совсем о другом, не имевшем касательства к вопросам, разбиравшимся на совещании.

— Товарищи,— сказал он.— У меня еще один небольшой вопрос личного порядка, так сказать. А именно, я хотел бы узнать, как обстоят у вас у всех личные, самые интимные дела. То есть я хотел бы знать, в каком состоянии находятся ваши

семейные обстоятельства. К товарищу Касаткину приехала жена с детьми. Это хорошо. Чегодаев выписал свою семью. Правильно сделал. Моя жена тоже вскоре придет. Я очень рад. А как быть с холостяками? Вы все великовозрастные молодые люди. Неужели у вас нет на примете невест? Это было бы хорошо. Как ни странно, это вещь нужная в нашем положении. Не улыбайтесь, товарищи, я говорю серьезно. Я, конечно, не имею ни права, ни желания заставлять вас жениться. Но если у вас были такие намерения — осуществляйте их немедленно. Спишитесь, вызывайте. У меня все.

Все поднялись и пошли к выходу, оживленно и не без юмора обсуждая «брачное выступление» коменданта.

Лубенцов счел необходимым заговорить о личных делах офицеров, так как приехал от подполковника Леонова, где случилась следующая история.

Один из офицеров Леонова, лейтенант Поливанов, сошелся с молодой немкой. Лубенцову пришлось присутствовать при разговоре Леонова с Поливановым по этому поводу.

Молоденький лейтенант Поливанов, тихий и милый юноша, командовавший комендантским взводом, не знал, зачем его вызвали, и, когда Леонов заговорил, лейтенант страшно смутился. Впрочем, он не стал отнекиваться и что-либо отрицать и, подняв глаза на Леонова, сказал, что любит эту девушку и она любит его.

Тогда Леонов спросил, понимает ли Поливанов, что так нельзя, что не может офицер советской комендатуры вступать в связь с немецкой девушкой, кто бы она ни была. На это Поливанов ответил, что не понимает. И этот простой ответ, надо признаться, поставил Леонова и Лубенцова в тупик, потому что это был в основном верный ответ: непонятно, по какой причине советский молодой человек — на какой бы он службе ни находился — не имеет права влюбиться в иностранную девушку. Но следовало объяснить Поливанову то, что для них самих было неясно.

Леонов, как и Лубенцов, был сторонником того, громко говоря, направления среди советских офицеров, которое утверждает, что, прежде чем приказать, нужно разъяснить, — разумеется, если для этого есть возможность, если это не на поле боя или в иных исключительных условиях.

По этой причине Леонов при помощи Лубенцова стал объяснять Поливанову, что они, советские люди, выполняют здесь государственную задачу, причем задачу огромной важности и большого политического резонанса, и не могут себе позволить роскошь отвлекаться на какие бы то ни было посторонние дела, тем более не должны вступать в неслужебные связи с местным населением.

— Мы обязаны, — сказал Леонов, — всячески охранять моральную чистоту наших людей за границей и вынуждены

бороться с малейшими проявлениями расхлябанности, бесхарактерности и забвения служебного долга самым беспощадным образом.

— Но я ее люблю,— сказал Поливанов все с той же трудно оспариваемой простотой.

— Перед вами выбор,— сказал Леонов.— Либо вы порвете всякие отношения с этой девушкой, либо отправитесь на родину.

— Она хочет поехать со мной,— сказал Поливанов.— Можно это сделать?

Он был бледен.

— Нет,— сказал Леонов.— Перед вами выбор, о котором я сказал.

— Хорошо,— произнес Поливанов после некоторого молчания.— Я поеду на родину.

Все помолчали. Потом Леонов сказал:

— Садись, Поливанов.— Он перешел на «ты», показывая этим, что официальный разговор закончен. И ему и Лубенцову хотелось сказать Поливанову что-то ласковое, чем-то успокоить, подбодрить его, но они не нашли слов, да и вряд ли ему нужны были слова. Он чувствовал их отношение к нему. Когда Леонов после долгого молчания сказал ему: «Ничего, Поливанов, ты человек молодой, у тебя все впереди»,— Поливанов сказал:

— Спасибо вам, товарищ подполковник.

Он благодарил, конечно, не за банальные слова утешения, а вообще за их отношение к нему, за весь этот разговор, очень человеческий, хотя и суровый.

В связи с этим Лубенцов подумал о своих офицерах и решил, что лучшее лекарство от таких болезней — сделать коммандатуру женатой.

Когда Чохов вышел вместе с Лубенцовым в приемную, он с некоторым облегчением отметил, что Ксении здесь нет. Видимо, не дождавшись конца совещания, она ушла. Чохов не знал, что дома Лубенцова с тем же известием дожидается Воронин, который был обеспокоен сообщением Кранца и уже сам, по своей инициативе, провел кое-какие «разведывательные операции».

Он даже побывал в квартире Меркера, придумав какой-то пустячный повод. При этом, со свойственной ему дьявольской наблюдательностью, он заметил, что в соседней комнате находится кто-то скрывшийся туда, как только выяснилось, что в квартиру ненароком зашел русский солдат. На вешалке висело большое грязно-белое полупальто с шалевым воротником из дигейки. А пальто Меркера — маленькое, демисезонное, темно-синего цвета, висело рядом.

Воронин обратил внимание на множество красивых и, по-видимому, дорогих вещей, расставленных повсюду. Решив войти в предполагаемую роль Воробейцева, Воронин стал вос-

хищаться то одним, то другим предметом, на что Меркер неизменно говорил:

— Это можно купить, господин фельдфебель... это стоит недорого...

Жена Меркера тоже как будто продавалась по дешевой цене,— она кокетливо улыбалась Воронину и была одета в очень открытое платье.

На столе у Меркера стояли десятка полтора банок с американской свиной тушонкой, пачки сигарет «Лэки Стрэйк»; в углу, в ведре с водой, плавал огромный кусок сливочного масла кило на десять.

Вернувшись домой, Воронин стал с нетерпением дожидаться Лубенцова. Но Лубенцов пришел не один, а с Чоховым, Меньшовым и... Воробейцевым. Дело в том, что, когда они покинули комендатуру, получилось так, что Воробейцев никак от них не хотел отстать, и Лубенцов пригласил всех к себе.

Когда они расселись вокруг стола, Лубенцов признался, что он позвал их неспроста, что у него сегодня радостный день и что, если они не возражают, он угостит их вином.

Не успели они выпить по первой рюмке, как позвонил телефон.

— Никак вас не оставят в покое,— с искусной миной, избравшей досаду и одновременно восхищение, сказал Воробейцев.

Лубенцов взял трубку. Звонил Себастьян, который хотел с ним немедленно встретиться по важному делу.

— Хорошо,— сказал Лубенцов.— Я к вам сейчас зайду.

Он извинился перед товарищами и пошел в соседний дом.

Профессор ожидал его на пороге. Они поднялись наверх, прошли в гостиную и соседнюю комнату. В третьей был кабинет профессора. Эту комнату Лубенцов видел впервые. Кругом с не немецкой неаккуратностью валялись книги и рукописи.

— Давно вы у нас не были,— сказал Себастьян. Он взял со стола какую-то бумагу с коротким машинописным текстом, повертел ее в руках и снова положил на место. Потом поднял на Лубенцова глаза и спросил: — Вы довольны мной? То есть моей работой?

— Да, мы довольны вашей работой,— ответил Лубенцов, удивленный вопросом.— Благодаря вашим стараниям и самоотверженности положение с сельским хозяйством в нашем районе лучше, чем во многих других. Вы пользуетесь громадным авторитетом среди населения. Вас любят. И вы заслуживаете этой любви. Должен вам сказать, что в вас есть много качеств государственного деятеля. Иногда вам, может быть, не хватает твердости характера... Вернее, я бы сказал, что характер у вас есть, но, как бы вам это объяснить, вы слишком много размышляете.

Себастьян рассмеялся смущенно.

— Спасибо за добрые слова,— сказал он.— Вы правы в том смысле, что я слишком рефлектирующий индивидуум. И беда, вероятно, не в том, что я много размышляю, а в том, что я размышляю медленно, медленнее, чем этого требуют обстоятельства. Если бы мне дать волю, я бы только и делал, что размышлял. Известный пример из истории философии о буридановом осле, который издох с голоду между двух охапок сена, не зная, какую из них выбрать, целиком и полностью относится ко мне.

— Но вы выбрали,— засмеялся Лубенцов.

— Благодаря вам,— возразил Себастьян.— Вы заставили меня поесть из одной охапки.

— Заставили? — улыбнулся Лубенцов.

— Уговорили.

Теперь засмеялись оба.

— У меня к вам просьба,— продолжал Себастьян, вертя в руке очки.— Не кажется вам, что с меня хватит? Мне ведь, наконец, нужно закончить свой научный труд. Университет в Галле предложил мне прочитать там курс лекций.

— Как!.. Вы покинете Лаутербург? — опешил Лубенцов.

— Нет,— сказал Себастьян, которому ревнивый возглас Лубенцова доставил явное удовольствие.— Нет, нет. Я буду ездить на лекции два раза в неделю. И готов продолжать свою деятельность в лаутербургском магистрате в общественном порядке.

Лубенцов подумал и сказал:

— Вы правы. Ладно, я запрошу свое начальство. Я лично считаю ваше предложение целесообразным.

— Вы умный мальчик! — восхищенно воскликнул Себастьян.— А Эрика со мной спорила. Утверждала, что вы никогда не согласитесь отпустить меня с должности ландрата.

— Она считает меня более тупым, чем я есть на самом деле,— усмехнулся Лубенцов.— А кого вы предлагаете взамен? Есть у вас кто-нибудь на примете?

— Я предложил бы кандидатуру господина Ланггейнриха. Он хорошо понимает сельское хозяйство и очень предан земельной реформе. И размышляет он не так медленно...

— А ведь он может и не захотеть с земли да в контору?

— У вас разве откажешься?

— Кандидатура хорошая. Ладно. Поговорите вы с ним. Он вас уважает.

— Поговорю,— сказал Себастьян и довольно рассмеялся.— Вы умеете себя вести с нами, немцами. Я часто удивляюсь, как хорошо вы поняли психологию немца, его слабые и сильные стороны. И вы прекрасно умеете пользоваться этими слабыми и сильными сторонами.

Лубенцов нахмурился.

— Что значит пользоваться? — сказал он. — Неужели я похож на дипломата или на интригана? Поймите, господин Себастьян, мы вовсе не заигрываем с немцами, как это думают некоторые из вас. Дело тут и проще и сложнее. То, что мы стараемся по мере наших сил получше устроить вашу жизнь, поднять ваш жизненный уровень, добиться объединения Германии и так далее — это не заигрывание, а определенная политика, основанная на определенном мировоззрении. Я прекрасно знаю, что некоторые немцы думают, что вы, дескать, немцы, хитрые, вы используете наши противоречия с союзниками, и мы, ссорясь между собой, вынуждены заигрывать с вами. Вы ошибаетесь. Мы проводим политику, вполне для нас естественную, а вовсе не диктуемую недолговечными тактическими соображениями. Мы просто считаем, что земля и вообще все должно принадлежать тем, кто трудится. Вот и все. Если хотите знать, то и американцы вовсе не заигрывают с вами в пику нам, русским. Они тоже проводят политику, основанную на определенном мировоззрении. Грубо говоря, они поддерживают капиталистов и помещиков и подавляют рабочих и крестьян. Они дают волю первым и не дают воли вторым. Неважно, какими словами они прикрывают эту свою политику и насколько эти слова убедительны. Важна сама политика. Мы способны сделать и уже сделали немало глупостей. Но линия наша — верная и единственно прогрессивная. Союзники в лучшем случае хотят вас привести к состоянию, которое было до Гитлера, то есть они хотят вести вас назад. Мы пробуем вести вас вперед.

— Любую линию, — сказал Себастьян, — даже правильную, можно проводить хорошо и плохо. Вы ее проводите хорошо.

— Ну и прекрасно! — воскликнул Лубенцов. — Я очень рад, что мы довольны друг другом.

Лубенцов встал, вспомнив, что его ожидают сослуживцы. Поднялся и Себастьян. Он с минуту постоял неподвижно, потом сказал чуть изменившимся голосом:

— У меня еще одно дело к вам. Я хотел бы съездить на запад, точнее во Франкфурт-на-Майне. Мой сын очень просил меня приехать погостить.

— Да? — сказал Лубенцов и снова уселся. Пытливо посмотрев на Себастьяна, он медленно спросил: — Вам надолго?

— На неделю, — быстро ответил Себастьян.

— Что ж, мне кажется, это вполне возможная вещь. Думаю, что пропуск вы получите. Я по крайней мере буду об этом просить.

— Благодарю вас. Я так и думал.

— А что, — усмехнулся Лубенцов, — фрейлейн Эрика сомневалась и в этом?

— Н-нет, — смутился Себастьян. — Не она. Я сомневался.

— Вы ошиблись.

— Очень рад, — сказал Себастьян и, подойдя ближе к

Лубенцову, произнес выразительно: — Эрика не поедет. Я поеду один. Она останется здесь.

— Как заложница? — заметил Лубенцов как бы в упрек, но на самом деле очень довольный этим сообщением Себастьяна.

— Да, господин Лубенцов, — сказал Себастьян. — Вот именно. Я не хотел бы, чтобы вы в чем-нибудь сомневались. После того, как профессор Вильдапфель, крупнейший наш агроном, уехал и не вернулся, вы имеете полное право испытывать недоверие.

— Да, вы правы, — согласился Лубенцов. — Начальник СВА очень расстроился, когда случилась эта история. Он считает, что сам Вильдапфель еще пожалеет о своем поступке. Измена своему слову и обязательствам всегда кончается печально для самого изменившего. Она приводит к душевной опустошенности и к позднему раскаянию. В вас я уверен. Прежде всего — вы умный человек. Что касается Вильдапфеля, то я думаю, что он просто недостаточно умен. Ведь ученый — это не всегда одно и то же, что умный? Как вы думаете?

— О нет! К сожалению, не одно и то же. Ученых дураков не намного меньше, чем невежественных дураков. Но касательно Вильдапфеля вы ошибаетесь. Он человек чрезвычайно умный, но и чрезвычайно корыстолюбивый. Его, разумеется, купили обещаниями материальных благ.

Х

Раздался звон стеклянной двери, она распахнулась, и в комнату вошла Эрика. Позади нее показались еще какие-то женщины и молодые люди, но, увидев коменданта и ландрата, они оробели и отпрянули назад.

Лубенцов впервые за последнее время посмотрел прямо в глаза Эрике. Его взгляд был на этот раз полон спокойствия и откровенно выразил то восхищение, какое она вызывала в нем. Оглядывая ее с головы до ног спокойным и довольным взглядом, он думал: «Ох, как говорится, бог миловал. Как она хороша! У нее румяные с холода щеки, красивые губы, чудный овал лица. Как хорошо, что я могу на нее смотреть уже без смущения, без тайных желаний. Она мне нравится, но я уже не боюсь этого, потому что приезжает Таня».

Наблюдая ее и слушая ее голос, он, по правде говоря, гордился собой, своей выдержкой. А если и чувствовал некие сожаления, то их тихая горечь перекрывалась радостным чувством удовлетворения собой, которое обуревает человека, сумевшего одержать победу над своими страстями.

— Вы ни разу не заходили в наш семинар, — упрекнула она его. — Всюду вы бываете, а у нас ни разу не были.

— Приду обязательно, поверьте мне,— пообещал он.— Никак времени не выберу. Но знаю все, что у вас делается. И рад, что работа идет хорошо. Нужны, очень нужны учителя.

— У нас много хороших людей,— сказала она просияв.— Я никогда не думала, что в нашем захолустном Лаутербурге столько по-настоящему хороших, честных людей. Хотя бы для того, чтобы в этом убедиться, стоило заняться семинаром.— Она помолчала.— Хочется посидеть с вами, но не могу, меня ждут.— Она вдруг нахмурилась, быстро попрощалась и вышла.

— Пойду и я,— сказал Лубенцов Себастьяну.

Себастьян проводил его до наружной двери.

Совсем стемнело. Мрачное беззвездное небо лежало над городом. Со света казалось особенно темно. Лубенцов медленно пошел по двору, привыкая к темноте.

— Товарищ подполковник,— услышал он негромкий возглас Воронина, и хорошо знакомый голос разведчика в этой крошечной фронтовой темноте напомнил Лубенцову войну.

Воронин вполголоса поведал о предупреждении Кранца и о своем посещении Меркера.

— Это малина,— сказал он.— Самая настоящая малина. Кроме того, Кранц сказал, что Меркер бывший фашист.

Известие сильно встревожило Лубенцова. Они с Ворониным постояли с минуту молча, потом вошли в дом.

Окинув беглым взглядом лицо Воробейцева, Лубенцов сел за стол, извинился за долгую отлучку и поднял свой бокал, уже наполненный вином. Все выпили и снова налили.

— За Татьяну Владимировну,— сказал Воронин.

Лубенцов вздохнул.

— Так и быть,— сказал он.— Выпьем за Татьяну Владимировну. Вероятно, она уже на пути сюда.— После того как все выпили, Лубенцов спросил: — А теперь расскажите мне, товарищи, как вы проводите свободное время. Где бываете? Что читаете, если вообще читаете? Ну, расскажите хоть вы, Воробейцев.

Воробейцев бросил быстрый взгляд на Чохова и сказал:

— Да так, ничего особенного, товарищ подполковник. Читаю понемногу. Изучаю немецкий и вообще... Скучновато, конечно. Наверное, в большом центре — скажем, в Галле или в Веймаре — офицеры веселее проводят время. Там Дома Красной Армии. Артисты приезжают.

— Да,— сказал Лубенцов, непроизвольно нахмурясь.— Там веселее, разумеется.— Он помолчал, рассеянно повертел в руке рюмку, потом продолжал: — Ну, а все-таки? Ну, что вы делали вчера после работы?

— Даже не помню,— сказал Воробейцев и опять посмотрел на Чохова. Чохов сидел сосредоточенный, со сдвинутыми бровями и крепко сжатым ртом.— Дома сидел, кажется. Да, да, дома. У меня собака. Заболела.

— Это та, с которой вы ходили на зайцев? — спросил Лубенцов без улыбки.

— Нет. Другая. Та охотничья. Не моя. У меня «боксер».

Воцарилось молчание. Меньшов, который не подозревал о том, что здесь происходит, первый нарушил тяжкое молчание и стал рассказывать о том, как он проводит свободное время. Он сказал, что два раза был в варьете. Там артисты представляют, острят. Глупо, но весело. Читать он стал в последнее время много. И, может быть, только здесь понял, что чтение не праздное занятие, а необходимость и удовольствие. В частности, он прочитал все советские книги о Великой Отечественной войне. Они ему очень понравились, потому что при чтении каждый раз вспоминаешь факты из собственной военной биографии. Пробует он читать и по-немецки. Он легко прочитал несколько детективных романов, но серьезные вещи ему даются трудно.

Он рассказывал не спеша, в полной уверенности, что все это очень интересно Лубенцову, раз Лубенцов задал такой вопрос.

— Теперь мы хотим приготовить самодеятельный спектакль,— продолжал он.— Еще не выбрали. Может быть, что-нибудь Островского поставим. Среди наших солдат есть способные ребята. И женщины появились. Анастасия Степановна Касаткина, оказывается, старая любительница. Беда только, что старая. Предлагали мы Ксении исполнить роль молодой, но она что-то не очень расположена.

— Легка на помине,— сказал Воронин, открыв дверь.

На пороге стояла Ксения.

— Прошу, прошу к столу,— сказал Лубенцов, вставая. Он подвел ее к столу и усадил. Мигом возле нее очутился чистый прибор и была налита «штрафная». Но пить она не стала.

— Я к вам по делу,— сказала она.

— А что? Что-нибудь случилось?

— Нет. Мне надо с вами поговорить.

Лубенцов окинул ее пытливым взглядом и почему-то — будто душа почуяла — вспомнил о предупреждении Кранца и о только что происшедшем неприятном разговоре с Воробейцевым. Нечто тревожное ощутил и Воробейцев. Он почувствовал какое-то неприятное колотье в сердце и не мог объяснить себе причину этого; может быть, тут сыграло роль какое-то неупоминанное движение Чохова, лицо которого становилось все мрачнее и настороженнее.

Чувство напряжения, неловкости и неясных предчувствий, испытываемое пятью из шести присутствующих, было бы невыносимым, если бы шестой, Меньшов, замолчал. Но Меньшов, выпив, был очень разговорчив и мил, шутил и смеялся, рассказывая то одно, то другое из своих столкновений и встреч с разными немцами. Потом он сказал, что принимает совет Лубен-

цова и завтра обязательно напишет знакомой девушке, с которой у него роман еще школьной поры.

— Ларису в «Бесприданнице» она сыграла бы превосходно! — воскликнул он.

— Да, значит, вы хотели со мной поговорить, — сказал Лубенцов и вышел с Ксенией в другую комнату.

— Выпьем еще по одной, что ли? — предложил Воробейцев и, чокнувшись с Меньшовым, выпил. Потом он встал, прошелся по комнате, остановился в дальнем углу, закурил.

Лубенцов и Ксения вернулись из соседней комнаты минут через пять и снова сели на свои места. Ксения пригубила из рюмки вино.

— Что вы, черти, приуныли? — шутливо спросил Лубенцов. — Как будто не рады, что ваше начальство становится семейным. — Он налил всем. Воробейцев подошел к столу.

— Разрешите произнести тост, — сказал он. — Мне хочется выпить за дружбу. За то, чтобы все мы уважали друг друга и друг друга защищали. Как на фронте, хотя и в мирное время. Взаимно... вот именно, защищали и уважали друг друга. Я, в частности, хотел бы скорее вернуться на родину... которую я, как и другие, защищал в годы Великой Отечественной войны. И вот я хочу выпить за участников войны. И еще я хочу...

— Что ж, вы хотите одну рюмку выпить за все на свете! — сказал Лубенцов. — Давайте за дружбу, раз вы предложили за дружбу. Тост хороший, только не совсем ясный. Уважать друг друга — это я понимаю. А защищать? От кого защищать? Да ладно, не будем придираться, выпьем за дружбу. — Он чокнулся со всеми, ни на кого при этом не глядя.

— Я пойду, — сказал Чохов.

— Да, поздно, — заторопился и Воробейцев и сразу же зауетился, ища свою фуражку. Но Чохов не хотел идти вдвоем с Воробейцевым и поэтому спросил Меньшова:

— Вы идете, Меньшов?

— Конечно, — сказал Меньшов.

Ксения молча встала и присоединилась к остальным. Лубенцов глядел, как они собираются. Он, конечно, понимал, что следовало бы произнести обычные в таких случаях слова, вежливости ради задерживать гостей или в крайнем случае проводить их к выходу. Но ему не хотелось этого всего делать, и он махнул рукой на приличия, подумав про себя: «Ладно, воспользуюсь тем, что я начальство. Подчиненные вынуждены прощать начальству невежливость».

Наконец, все ушли. Один Воронин, насупясь, сидел за столом.

— Ну и вечерок, — сказал Воронин. — А этот Воробейцев — подлец. Это я вам точно говорю. Я за ним следил все время. Нечистая душонка. Все время хитрит, притворяется, старается вас задобрить.

— Вы слишком скоро делаете выводы, товарищ старшина, — хмуро сказал Лубенцов. — У нас часто бывает — стоит кому-то на кого-то чего-нибудь сказать, как он сразу всем кажется подозрительным. Еще и не проверили ничего. Все одни слухи, видимость одна, — и сразу же все начинают коситься. — Он задумался, затем сказал: — Ксения Андреевна тоже сообщила мне про связь Воробейцева с этим спекулянтом.

— Вот видите, — сказал Воронин. — Вы куда это собираетесь? — удивился он, видя, что Лубенцов надевает шинель.

— Прогуляюсь. Что-то голова болит.

— И я с вами пойду.

— Зачем? Скоро вернусь.

— Нет, я пойду с вами.

Они вышли вдвоем и медленно пошли по улице. Было сыро и холодно.

— Погодка для прогулок, — пробурчал Воронин.

— Иди домой. Я к Касаткину хочу зайти.

— И я с вами, — сказал Воронин.

— Надо было позвонить предварительно, — пробормотал Лубенцов. — Который час?

— Около двенадцати. Может, на завтра отложите?

Лубенцов промолчал и продолжал идти дальше. Наконец, они дошли до дома, где жил Касаткин. Лубенцов постоял около двери, потом решительно нажал на звонок. Послышались шаги. Дверь открыл Касаткин. Он был одет в украинскую рубашку, гражданские брюки навыпуск и комнатные туфли, обшитые мехом. Лубенцов еле узнал его. Обеспокоенная поздним звонком, появилась Анастасия Степановна — высокая полная женщина с белым, несколько рыхлым лицом. Она была одета в яркий халат. Из-за этого халата тотчас же выглянули два уморительных маленьких Касаткина — мальчишки лет по восемь — десять, с точно такими же волосами ежиком, как у отца, и вообще похожие на него необыкновенно. Они выглядели ничуть не сонными.

— Спать, спать, — закричала на них Анастасия Степановна, делая большие глаза и тут же, без всякого перехода, улыбнувшись Лубенцову широкой улыбкой, обнажившей два ряда белейших мелких зубов и образовавшей на ее толстых щеках две милейшие ямочки. Но Касаткин зашикал на нее, потому что заметил в выражении лица Лубенцова, да и просто понял по его позднему приходу, что случилось нечто необычное. Она встревоженно взглянула на того и другого и, что-то пробормотав, исчезла за дверью вместе с детьми.

— Я вас здесь подожду, — сказал Воронин, усаживаясь на стул в прихожей и вынимая пачку сигарет.

Оставшись с Касаткиным без свидетелей, Лубенцов рассказал ему все, что узнал от Воронина и от Ксении. Касаткин сразу же, как раньше Воронин, сказал, что Воробейцев давно

ему не нравится. Как и Воронину, Лубенцов довольно зло возразил Касаткину, что русский мужик задним умом крепок и что сейчас нужны не рассуждения, а срочное расследование. Расследование он поручает Касаткину и настаивает на том, чтобы оно проходило совершенно секретно.

— Как бы то ни было,— сказал Касаткин твердо,— мы с вами слишком слабо реагировали на случаи нарушения дисциплины со стороны Воробейцева... и, между прочим, со стороны Чохова. А такие случаи были. Достаточно вспомнить историю о прогуле. Потом Воробейцев неоднократно опаздывал на работу, относился к ней с недостаточным рвением, плохо посещал кружок по изучению истории партии...

— Ах, да это все ведь мелочи! — не без досады воскликнул Лубенцов.— Чегодаев тоже плохо посещал кружок! Какая связь между этим и темными коммерческими махинациями! Этак и до абсурда дойти недалеко.— Он помолчал, закурил и сказал уже спокойно: — Надеюсь, что все это сильно преувеличено. Я тоже не питаю особых симпатий к Воробейцеву, и в этом смысле я вас понимаю. Но собственные симпатии и антипатии в таких делах могут только ввести в заблуждение.— Он опять минуту помолчал, затем спросил: — Ну, как Анастасия Степановна? Нравится ей здесь? Не жалеет, что приехала? Трудно вначале в незнакомой стране...

— Стерпится-слюбится,— сказал Касаткин.— Насчет Меркера я свяжусь с полицией.

Наконец, они вышли в прихожую, Воронин встал и снял с вешалки шинель. Все трое постояли минуту молча.

— Вот какие дела,— сказал, наконец, Лубенцов, покачал головой и пошел к выходу.

XI

После ухода Лубенцова Касаткин вызвал к себе Ксению и Иоста. Начальник полиции уже лег спать, но сразу же оделся и через пятнадцать минут был на месте: немцы давно усвоили, что для комендатуры нет ни дня, ни ночи; вначале они пугались при ночных вызовах, а потом привыкли.

Касаткин навел справки о Меркере и велел установить за его квартирой наблюдение, причем предупредил Иоста, что для этой цели следует отобрать самых проверенных людей, на которых можно вполне положиться; все происходящее в квартире Меркера должно быть известно полиции. Все посетители, все дела «малины» должны находиться под неусыпным надзором. За каждым человеком, посещающим квартиру Меркера, в свою очередь должна быть установлена слежка, все равно, кто бы ни был этот посетитель и какое бы место он ни занимал, скажем, в магистрате или где бы то ни было.

Напоследок Касаткин потребовал от Иоста, чтобы полиция докладывала свои наблюдения каждые два часа, но ни в коем случае не по телефону, а только лично.

С этим он отпустил Иоста. Спать он не хотел, так как вся история глубоко взволновала его. Ксения тоже не подымалась уходить, несмотря на то, что Анастасия Степановна то и дело просовывала голову в дверь и глядела красноречивыми глазами на мужа.

— Постелите мне здесь на диване,— наконец, сказала ей Ксения.

— Да, да,— обрадовался Касаткин.— Спите тут, а как Иост явится, я вас разбужу.

В три часа ночи приехал Иост. Ничего особенного за это время не случилось. Свет у Меркера до сих пор горел, пробиваясь сквозь густые шторы, но это, разумеется, ничего не значило.

В пять часов утра Иост опять не мог сообщить ничего особенного, кроме того, что свет у Меркера погас полчаса назад. Наблюдающие полицейские заняли хорошую позицию в противоположном доме, у одного железнодорожника, который там жил, а теперь находился на дежурстве. Как парадный ход, так и черный были под наблюдением.

В течение следующего дня Иост каждые два часа приезжал в комендатуру, и к концу дня составил довольно солидный список людей, приходивших к Меркеру и уходивших от него. Это были большей частью местные коммерсанты, в том числе владелец ликерного завода Лютвиц, хозяин меховой фирмы Рабе и другие. Некоторый интерес представило то обстоятельство, что дважды за день у Меркера побывал бывший помещик Аренсберг, который недавно куда-то исчез из поля зрения полиции и теперь вот объявился таким образом.

В три часа дня Касаткин и Иост пришли к Лубенцову доложить о принятых мерах. Лубенцов решил, что меры недостаточные, так как неизвестно, что происходит в самой квартире. Иост сказал, что постарается, но это ему удалось только на следующий день. Он послал на квартиру Меркера исправить телефон, который Меркеру нарочно испортили, потом газовую колонку.

Главное случилось в половине одиннадцатого вечера, когда из квартиры Меркера вышел незнакомый полицейским человек с красным лицом, одетый в светлое полупальто с воротником из цыгейки. Иосту дали об этом немедленно знать. По всем приметам, это был тот самый «генерал Вервольфа», которого столько времени разыскивали полиция и советская контрразведка. Агент, следивший за ним, упустил его из виду на одном из перекрестков, за что получил неслыханный нагоняй лично от заместителя коменданта майора Касаткина, а потом от Иоста.

Лубенцова в этот день не было в городе, так как он выехал по вызову генерала Куприянова в Альтштадт. Там он, между прочим, попросил дать Себастьяну пропуск в западную зону. Куприянов вначале и слушать не захотел про это. После истории с Вильдапфелем он был полон недоверия вообще ко всем профессорам на свете. Однако Лубенцов с горячностью отстаивал свою точку зрения и сказал, что нельзя запрещать честному человеку что-нибудь делать на том основании, что нечестный сделал худо. Он рассказал Куприянову о своем разговоре с Себастьяном, а также о том, что дочь Себастьяна остается. Куприянов стал колебаться и, наконец, согласился. Лубенцов попросил его лично позвонить профессору и сказать о том, что не имеет возражений против отставки Себастьяна с должности ландрата, а также против его поездки к сыну на неделю. Переводчик, передавший все это по телефону Себастьяну, добавил под диктовку Куприянова, что университет с нетерпением ждет возвращения профессора и начала курса химии: этот курс профессор должен будет читать перед новыми студентами — немецкой молодежью из самых широких демократических слоев.

Слова благодарности Себастьяна были тут же переданы переводчиком генералу. Слова эти, полные самых трогательных выражений, были сказаны, по всей видимости, от души. Куприянов совсем успокоился и пробурчал:

— Ох, Лубенцов, подведешь ты меня под трибунал...

Вернувшись из Альтштадта и узнав от Касаткина последние известия о «малине» (это слово с легкой руки Воронина стало условным для обозначения дела Меркера), Лубенцов немедленно поехал в полицию вместе со своим заместителем.

— Этого человека надо было немедленно арестовать, — сказал Лубенцов полицейским чинам. — Даже по самому отдаленному подозрению. Тут вы сильно промазали, господа. И вообще непонятно, как может он скрываться в городе. Если бы полиция хорошо работала, такой человек не мог бы скрыться. Где ваша массовая база? Где поддержка населения? Неужели вы думаете, что полиция может обойтись только своими силами? Нет, товарищи, простите — господа... Впрочем, ладно. Что вы думаете насчет обыска у Меркера? Внезапного обыска? Как бы он не заметил, что за ним наблюдают. Тогда все станет гораздо более трудным.

Не успел Лубенцов с Касаткиным вернуться в комендатуру, как туда же приехал Иост и очень смущенно, разводя руками и как бы извиняясь, сообщил, что они уже собирались делать обыск, но в квартиру к Меркеру в это время приехал на машине офицер комендатуры, капитан Воробейцев. Он там пробыл с час и ушел, неся в руке чемодан. Сойдя вниз, он сел в свою машину — новый спортивный «нэш», на днях зарегистрированный им в полиции, — и уехал. Кстати, регистрация была

незаконная, так как советские военнослужащие обязаны были регистрировать свои машины в органах Советской Администрации, а не в немецкой полиции.

— Надо было делать обыск,— сказал Лубенцов, досадливо махнув рукой.

— А Меркера что? — спросил Иост.— Арестовать?

— Арестовать,— сказал Касаткин.

— А может быть, этот краснолицый еще туда вернется? — заколебался Иост.

— Ладно, подождем еще часа два, до позднего вечера. В одиннадцать часов действуйте. Я пришлю вам нескольких автоматчиков. И Воронин придет с ними.

В одиннадцать часов был произведен обыск и были арестованы Меркер, его жена и одна девица. При обыске нашли несколько тысяч американских долларов, много драгоценностей, продуктов питания и других товаров, три американских пропуска в западную зону с пустыми местами для фамилий, план города Лаутербурга с крестиками на тех местах, где располагались советские посты охраны; на обороте этого плана находился список населенных пунктов, где стояли советские гарнизоны, с надписями: «возможно, штаб полка», «возможно, полк», «возможно, штаб дивизии», «артиллерийская часть» и так далее. Среди прочих бумаг нашли большую любительскую фотографию Лубенцова, на обороте которой были кратко описаны его приметы.

Одновременно с Меркером в разных частях города были задержаны некоторые из его посетителей, в том числе помещик Аренсберг, которого полиция разыскивала давно.

Бумаги, захваченные у Меркера при обыске, привезли в комендатуру. Лубенцов, Яворский и Ксения сели их рассматривать. Дежурному было велено никого не пропускать в кабинет. Углубленный в чтение бумаг, Лубенцов тем не менее услышал, как Касаткин, приоткрыв дверь, велит дежурному прислать сюда двух автоматчиков и командира комендантского взвода.

— Зачем они вам? — спросил Лубенцов, подняв глаза на Касаткина.

Касаткин повернул к нему лицо, бесшумно прикрыл дверь и, подойдя к столу, сказал:

— Арестовать Воробейцева.

— По-моему, не надо спешить,— сказал Лубенцов, подымаясь с места.— Нет, нет, Иван Митрофанович. Не будем делать необдуманных шагов. Вызовем его, побеседуем, выясним. Воробейцев просто доставал через этого поганца что-нибудь вроде машины, фотоаппарата и, разумеется, не знал, что за птица этот Меркер. Вы ведь не думаете, что Воробейцев — враг. Или думаете?

— Надо его арестовать,— сказал Касаткин.

— Надо разобраться,— возразил Лубенцов.— Яворский, скажите дежурному, чтобы вызвали Воробейцева.

Яворский ушел и сразу вернулся.

Воцарилось молчание, нарушаемое только шелестом бумаги.

— Я в партии не первый год,— высоким ненатуральным голосом заговорил Касаткин.— Я был в партии уже тогда, когда вы, может быть, еще состояли пионером. Я требую, чтобы вы считались с моим мнением. Вы чересчур самонадеянны и думаете, что понимаете больше всех.

Лицо Лубенцова залилось краской, потом побледнело, но он сказал почти мягко:

— Такие вещи лучше говорить наедине.

— Да, да,— пробормотал Касаткин и отошел к окну.

Ксения встала и вышла из комнаты. Яворский вспотел, покраснел, тоже поднялся и хотел выйти, но Лубенцов оставил его.

— Что ж, говорите, говорите теперь,— сказал Лубенцов.— Я готов выслушать все, что вы мне скажете. И заранее говорю вам, что буду рассматривать наш разговор не как разговор начальника с подчиненным, а как обмен мнениями двух членов партии. Поэтому выкладывайте. Давайте, давайте. Лучше сказать, чем таить в себе. Я ведь впервые слышу от вас эти обвинения. А я-то думал, что мы живем душа в душу.

В дверь просунулась голова дежурного.

— Командир взвода и автоматчики прибыли в ваше распоряжение! — громко доложил он, щелкнув каблуками.

— Отставить,— сказал Лубенцов.— Пусть идут отдыхать. Воробейцева вызвать ко мне.

Дежурный скрылся.

— Вы обязаны считаться с мнением других товарищей,— негромко сказал Касаткин.— Вы не должны думать, что все вам открыто, что вы все знаете...

Слушая, Лубенцов покачивал головой, полный искреннего удивления, еще более сильного, чем испытываемая им обида. А он-то думал все время, что по всем вопросам советуется с Касаткиным, почти ничего не делает без его совета и что между ними существуют самые правильные, какие только могут быть, служебные и товарищеские взаимоотношения. Лубенцов очень редко, только в крайнем случае, принимал с ним тон начальника, всегда подчеркивал, что их служебные отношения в конце концов дело случайное и что с таким же успехом он мог быть подчиненным Касаткина, как и начальником его. Но теперь он думал, что, может быть, Касаткин прав; может быть, он, Лубенцов, не все делал для того, чтобы создать правильную, товарищескую атмосферу в комендатуре. Легче всего было решить для себя, что Касаткин, не ощущая над собой твердой руки, «распустился», «зазнался не по чину» и так далее. Но

Лубенцов по характеру своему был склонен при подобных конфликтах выискивать и свою вину.

— Если вы правы,— сказал он с обезоруживающей простотой,— значит, я виноват. И я все это обдумую. Во всяком случае можете быть уверены в том, что я вас высоко ценю и ваше мнение для меня всегда имело большое значение. Но не могу же я с вами всегда соглашаться!

Касаткин что-то пробормотал и вышел. Снова вошла Ксения, ждавшая окончания разговора в приемной. Была уже поздняя ночь.

— Воробейцева вызвали? — спросил у нее Лубенцов.

— Не могут его нигде найти,— сказала Ксения, недобро усмехнувшись.— Разве его вечером найдешь?

На рассвете приехали из Альтштадта офицеры контрразведки. Они вместе с Касаткиным весь день допрашивали арестованных.

Вечером, когда они собрались в кабинете Лубенцова для подведения итогов, дверь широко распахнулась, и на пороге появился генерал Куприянов. Все встали. Он вошел быстрыми шагами, остановился посреди комнаты, снял фуражку, положил ее на стол, сел и спросил:

— Где Воробейцев?

— А что?— растерянно сказал Лубенцов.— Вызвать его?— и он сделал два шага к двери, чтобы отдать распоряжение о вызове Воробейцева.

— Можете не трудиться,— сказал генерал. Он тяжело сидел на стуле и казался очень старым.— Можете не трудиться,— повторил он.— Ваш Воробейцев вчера сбежал. Он изменил родине. Сегодня в шестнадцать часов он выступал по радио во Франкфурте-на-Майне. Вот что он говорил,— и генерал бросил на стол скомканную бумажку.

ХИ

С пронзительной отчетливостью увидел Лубенцов в эти мгновения все, что обычно скользит, не задерживаясь, на поверхности сознания: тонкие морщины на сгибах пальцев больших рук генерала Куприянова; чуть колышущуюся тень люстры, потревоженной тяжелыми шагами генерала; чуть раскачивающуюся, как маятник, медную бляшку, привязанную витой веревочкой к кольцу ключа, вставленного в замок тяжелой темнокоричневой с черными прожилками двери. Эта внезапно появившаяся поразительная острота видения мелких подробностей как бы спасала его от лицезрения того большого и страшного, что произошло только что. Она рассеивала его внимание и не давала сосредоточиться на самом главном. Можно сказать, что сердце его исходило каплями крови вместо того, чтобы

кровь хлынула мгновенным и необратимым потоком. Меньше всего он в эти мгновенья думал о Воробейцеве как о человеке, с которым он был знаком, который жил бок о бок с ним. Мысли о себе, о своей роли во всем этом и обо всех последствиях тоже еще не приходили ему в голову. Он думал обо всем случившемся отвлеченно, как о чем-то необычайно уродливом, противоестественном и отвратительном, которое вдруг соприкоснулось с ним и отравило ему жизнь надолго, может быть навсегда. На первых порах он готов был не поверить в то, что случилось,—слишком чудовищно выглядело оно в его глазах. Он не верил в государственную измену того человека — кто бы он ни был,—как не верят в смерть близких людей. Пусть тот человек — кто бы он ни был — был даже не человеком, а лягушкой, жабой, но даже от жабы нельзя было ожидать, что она залает по-собачьи. Да, это было страшно именно своей противоестественностью, несуразностью, невозможностью. Он вначале до того не поверил в реальность происшедшего, что мгновенье ожидал, что вот-вот откроется дверь и тот войдет — и все окажется бредом. Это было бы действительно реально, действительно так, как должно быть. Ему вдруг на мгновенье пришла в голову ненормальная мысль, что если закрыть глаза и пойти вперед по всем комнатам Дома на площади, шупая воздух, как слепой, то обязательно напорешься, не можешь же напороться на того, который сбежал,—сбежал в то время, как личное дело его с фотокарточкой и анкетой мирно лежало в нескороаемом шкафу среди других личных дел и анкет.

Как натура в высшей степени деятельная, Лубенцов хотел что-то делать, что-то предпринимать, и ужас оттого, что ничего делать и ничего предпринять нельзя, глубоко потряс его.

Между тем глаза его видели все, что вокруг, с той же поразительной отчетливостью. И слова, которые говорились вокруг, и слова, которые говорил он сам,—а он все-таки говорил что-то и притом довольно спокойным голосом,—воспринимались им тоже с необыкновенной ясностью. Его слух улавливал не только то, что говорилось, но и то, что стояло за всеми словами, что подразумевалось, и он даже знал наперед, какие слова последуют затем.

Надо было что-нибудь делать; пусть будет видимость дела, но что-нибудь надо делать. Вместе с контрразведчиками и Касаткиным Лубенцов сел в машину и поехал в дом, где раньше жил Воробейцев. Они поднялись по лестнице. Дверь, за которой когда-то жил Воробейцев, была заперта. За ключами к хозяину решили не ходить, и Лубенцов при помощи других с силой нажал на дверь и сорвал замок.

Дверь открылась, и на вошедших пахнуло спертым, прокисшим, тяжелым воздухом, таким же отвратительным, как все то, что случилось. И Лубенцову подумалось, что такой воздух тут стоял всегда, потому что не мог тот человек жить в другом

воздухе. Он, тот человек, ходил среди всех и чувствовал себя в том воздухе, которым дышали все, так же плохо, как рыба на песке, и он, вероятно, при первой же возможности спасался сюда, в эту полутемную комнату, наполненную тем воздухом, которым он мог дышать привольно.

Дело объяснилось тем, что Воробейцев запер в комнате собаку,— большого слюнтявого «боксера», который, заслышав людей, завилял обрубок хвоста, довольный своим освобождением. Пока делали обыск, Лубенцов смотрел в выпученные глаза собаки, словно хотел в них прочитать правду о том человеке, который тут жил. И Лубенцов испытывал глупое, но сильное желание, чтобы этот пес мог заговорить и рассказать, объяснить, как все это могло произойти.

Холодное оцепенение понемногу овладевало Лубенцовым, чем-то напоминая паралич, так невысказанно казалось ему двинуть рукой или ногой. Он стоял, прислонившись к стене, и невидящими глазами смотрел на людей, которые выдвигали и задвигали ящики, раскрывали и закрывали дверцы шкафов, выкидывали на пол какие-то флаконы, тряпки, переплетенные в кожу бювары. Он равнодушно смотрел на все это, только где-то в глубине души удивляясь изобилию вещей, никому не нужных, но, повидимому, собираемых в свое время старательно и любовно, со знанием дела и со страстью почти коллекционерской.

Обыск кончался. Люди поодиночке скрывались в ванной и долго мыли там руки, потом возвращались, садились, закуривали. Не сидел только один Лубенцов, которому казалось невозможным сесть на стул, на котором вчера еще, может быть, сидел тот.

— Ничего особенного? — спросил он.

— Да нет. Ничего особенного, — ответил один из офицеров. — Вещей много нахватал. Мужских и дамских, всяких.

— Все бросил, — сказал другой офицер из другого угла комнаты. — Видно, увез с собой только самое ценное.

— Пил сильно, — сказал третий, сидевший посреди комнаты у стола.

Да, повсюду в квартире валялись пустые бутылки. Их тут было не меньше сотни, разной формы и с разными наклейками. Похабные игрушки, неприличные открытки лежали тут и там.

Страхнув с себя оцепенение, Лубенцов вышел, сел в машину и поехал в комендатуру. Кругом стояла непроглядная ночь без единого просвета на небе. Город спал крепким предрассветным сном, и Лубенцову, думавшему все об одном и том же, вдруг стало стыдно перед этим городом и жителями его за то, что произошло в Доме на площади. Он застонал, как от физической боли, но, вспомнив о шофере, раза два неестественно кашлянул.

У него все-таки хватило сил доложить о результатах обыска генералу Куприянову, который все еще не уехал и сидел все в том же кожаном пальто в кабинете Лубенцова. Выслушав доклад, Куприянов встал, сухо простился и уехал.

Наконец, Лубенцов остался в одиночестве. И только в одиночестве он со всей силой ощутил глубину своего позора. Он никогда еще не чувствовал себя таким глубоко несчастным.

Посидев с полчаса, он заставил себя вызвать дежурного и велел принести все личные дела офицеров комендатуры. Пока вызывали офицера, ведавшего секретной частью, Лубенцову вдруг захотелось пойти вниз, к солдатам. Он не давал себе отчета, почему в нем возникло такое желание. Он сошел вниз и вскоре очутился в большой комнате, служившей клубным помещением. Там, разумеется, никого не было. Он зажег свет. Все тут находилось в образцовом порядке. Русские книги, брошюры и уставы в стеклянных шкафах. Свежий, утром только выпущенный «Боевой листок». Доска приказов. Плакаты с изображением частей стрелкового оружия. Большие портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Тельмана и портреты поменьше — русских писателей. Вся обывденная обстановка небольшого, но хорошо поставленного красноармейского клуба внесла в сердце Лубенцова еще большее смятение, потому что контраст этого спокойного и достойного бытия людей с тем, с чем он сегодня столкнулся, был до невозможности разителен.

Он услышал за стеной разговор и остановился у входа в караульное помещение, где горел неяркий свет электрической настольной лампы. Здесь сидело несколько солдат, готовившихся сменить караульных. Они негромко разговаривали. Один из них рассказал о полученном накануне письме из Великих Лук, откуда он был родом. Другой ругательски ругал правление своего колхоза в Днепропетровской области за то, что не успели во-время убрать картофель, который так и остался под снегом. Третий в этой связи рассуждал о том, что сейчас, когда на родину вернутся демобилизованные, дела повсюду пойдут лучше.

Потом заговорил сержант Веретенников. Он рассказал о путешествии, совершенном им и еще пятью солдатами, из Белоруссии на Гарц. Он говорил неторопливо и образно, и от его рассказа повеяло воздухом больших дорог и запахом хвои и солнца.

— Одно нарушение мы сделали в Польше,— сказал он, помолчав.— Нам положено было поскорее догонять свою часть, а мы остановились в одной деревне, помогли старикам дом отремонтировать. Несколько дней повозились там, да... Вообще мы были даже не солдатами, а совсем свободными людьми, делали все, что хотели.

Лубенцов отошел от двери и опять поднялся наверх. Здесь он послонялся по пустым комнатам, затем пошел в свой каби-

нет. На столе у него уже лежала гора папок. Он стал их перебирать, ища ту папку. Ему представлялось, что той папки здесь нет, раз нет человека, на которого она составлена.

Но папка была на месте и ничем внешне не отличалась от других.

Лубенцов долго просматривал и перечитывал личное дело Воробейцева. Перечитывал и удивлялся формальности, с какой составляется анкета, и тому, что она ровно ни о чем не говорит. Она фиксирует какие-то внешние обстоятельства жизни человека, но о самом важном, о самом сокровенном она молчит, как глухонемая. Более того, она своим наличием усыпляет бдительность, успокаивает, располагает к дремоте, как бы намекая на то, что человек, которому она посвящена, не ходит по земле, а в плоско-бумажном виде благочинно стоит в несгораемом шкафу среди других таких же.

Лубенцов постарался вспомнить свою первую встречу с Воробейцевым и дальнейшие впечатления о нем. Да, нет сомнения, что Воробейцев при первом знакомстве и в дальнейшем производил на Лубенцова неприятное впечатление. Но ведь он не старался проверить свое впечатление, ближе присмотреться к Воробейцеву. Он верил в анкету, как старики верят в бога.

Здесь было штук шесть характеристик Воробейцева, подписанных разными начальниками. Краска бросилась Лубенцову в лицо, когда он прочитал — медленно, слово за словом — эти характеристики, пустые, ничего не говорящие слова. Один начальник писал: «Энергичен, старателен. Занимаемой должности соответствует». Другой глубокомысленно заметил: «Не свободен от недостатков личного порядка, но занимаемой должности соответствует». «Морально устойчив», — сообщал третий.

Наконец, последняя характеристика была подписана не кем иным, как им же, Лубенцовым. Это была такая же жалкая, ничего не говорящая писанина, как и предыдущие. Правда, тут имелись слова о том, что Воробейцев страдает индивидуализмом и что он груб и самонадеян. Но и здесь были сказаны формальные и безответственные слова о том, что он предан общему делу, занимаемой должности соответствует.

Лубенцов позвонил и велел дежурному забрать папки. Снова оставшись в одиночестве, он стал смотреть в окно, где попрежнему царил непроглядная темень. Потом его взгляд упал на стол — не на письменный, а на приставленный к нему длинный стол, покрытый зеленой скатертью. На этом столе, рядом с пустым графином, лежала скомканная бумажка. Не спуская с нее глаз, Лубенцов встал и пошел к ней, взял ее, медленно разглядел и стал читать.

Воробейцев, этот подлый шут, говорил в высокопарных выражениях и, несмотря на то, что он только один день как находился вне рядов русской армии, уже выражался как-то не по-русски, какими-то странными, словно переведенными с

иностранного языка фразами. С этой бумажки на Лубенцова повеяло тем же затхлым, прокисшим и отвратительным запахом, запахом измены, который обдал Лубенцова в квартире Воробейцева. Воробейцев сказал, что он просит политического убежища, так как из-за политических несогласий с коммунистической партией и советским правительством скрылся из советской зоны. Это было бы смешно, если бы в мотивировке бегства не присутствовало столько подлого. Воробейцев объяснял, что удрал потому, что в Советском Союзе нет свободы; что в высшие учебные заведения там принимают только коммунистов и комсомольцев; что все там получают только половину заработной платы, а вторая половина идет в пользу ГПУ; что ярким доказательством рабства, существующего в Советском Союзе, может явиться то, что комендантом города Лаутербурга было категорически приказано всем офицерам немедленно жениться; что советские власти в Германии решили арестовать всех учителей; что советские солдаты забирают машины у немецкой интеллигенции, а советские власти, потворствуя им, не принимают против этого никаких мер.

Кончив чтение, Лубенцов положил бумажку на стол и стал ходить по комнате, собираясь с мыслями.

Он все еще не мог поверить, что тот ел, пил, ходил вот здесь, по этим пластинкам паркета, от двери к столу и от стола к двери, вот по этим самым пластинкам, что он сидел на этом самом диване, козырял, разговаривал — одним словом, притворялся человеком. Но как ни трудно было себе это представить, но так оно было, и следовало все это трезво оценить, следовало выяснить причины.

Никогда еще мозг Лубенцова не был в таком напряжении. Трудно было собрать мысли, поставить их на свои места, составить для себя ясную картину происшедшего и свою роль в ней, в этой картине. Кто же он, Лубенцов? Тюфяк? Человек, ничего не видевший, не замечавший, благодушествующий, довольный собой? Или человек здоровый, нормальный, верящий в людей, не могущий себе представить всей глубины подлости, на которую плохой человек способен? Тут только впервые Лубенцов стал думать о том, как может случай с Воробейцевым отозваться на его, Лубенцова, судьбе. Да, у него защемило сердце, потому что он высоко ценил свою воинскую репутацию и стремился к ее чистоте. Но не это сейчас было главным. Важнее всего было уяснить себе весь ход событий, понять причины происшедшего.

В разгар этого придирчивого и жестокого разговора с самим собой Лубенцов услышал негромкий скрип открываемых дверей. В полутемном прямоугольнике появилась фигура Касаткина. Когда Касаткин подошел ближе и Лубенцов увидел его угрюмое и измученное лицо, он преисполнился чувством раскаяния и сострадания и сказал:

— Вы были правы, Иван Митрофанович.

Но Касаткин отмахнулся от этой попытки поговорить по душам и сказал:

— Я считаю нужным немедленно арестовать капитана Чохова. Они были друзьями, вместе прибыли, вместе проводили время. Есть сведения, что Чохов бывал у Меркера на квартире вместе с ним... с Воробейцевым, и получил от Меркера мотоцикл. Кроме того,— продолжал Касаткин очень твердым голосом, глядя мимо Лубенцова,— я считаю, что отъезд профессора Себастьяна — наша большая ошибка.— Он сказал «наша», хотя, разумеется, хотел сказать «ваша».— Себастьян не вернется. Есть сведения, что у него недавно побывали высокопоставленные американцы, которые вместе с его сыном уговорили его бежать на запад. В порядке предупреждения я считаю необходимым подвергнуть аресту дочь Себастьяна и ряд лиц, наиболее связанных с ней. Мое мнение разделяет и генерал Куприянов, с которым я только что говорил по телефону.

Он говорил тихо, но твердо, почти начальническим тоном, так как, видимо, считал, что Лубенцов, совершив серьезную ошибку, был так виноват перед Касаткиным, все предусмотревшим и обо всем предупредившим, что потерял право возражать.

Лубенцов весь похолодел.

— Вы это что, майор? — спросил он.— Вы, кажется, разговариваете со мной так, как будто получили назначение на мое место. Я отстранен от работы? Где приказ об этом? Почему вы говорите с генералом Куприяновым без моего ведома, по собственной инициативе? Чохов не будет арестован, пока я здесь сижу. И никто не будет арестован «в виде предупреждения». Я вижу, вы кажетесь себе необыкновенно решительным и твердым человеком. На самом деле вы паникер и мямля. Что собственно случилось? Сбежал один подлец. На этом основании вы начинаете подозревать всех, вы впадаете в панику. Вам, майор, недостает спокойствия и выдержки. Это большой недостаток для коммуниста и советского офицера.

Не глядя больше на Касаткина, он снял трубку и соединился с генералом Куприяновым. Генерала на службе не оказалось. Телефонная станция позвонила к нему на квартиру.

— Куприянов у телефона,— послышался голос генерала.

— С вами говорит Лубенцов,— сказал Лубенцов и даже на таком далеком расстоянии уловил в односложном «да» генерала Куприянова сухость и недовольство. Но, не обратив на это внимания, Лубенцов продолжал настойчиво и твердо говорить, оставляя без ответа недовольные междометия и неоднократные попытки генерала прервать его.— Снимайте меня,— сказал он.— Это в вашей власти. Отзовите меня немедленно. Но я предупреждаю вас, товарищ генерал, что я не могу допустить, чтобы мы в панике натворили глупостей. В чем я виноват — я отвечу, но разрешите мне самому расхлебать всю кашу.

Не предпринимайте шагов через мою голову, пока вы меня не сняли. Я лучше знаю положение на месте, чем кто бы то ни было. Для этого я сюда поставлен. Не будем давать врагам пищу для клеветы и насмешек. Я ничего не боюсь, во всяком случае за себя не боюсь,— я боюсь только ущерба нашему общему делу. Мне вы по крайней мере верите? Или один подлец заставил вас потерять доверие ко всем людям? А я не потерял ни к кому доверия и считал бы себя ничтожным и несчастным человеком, если бы из-за него... из-за Воробейцева... потерял бы веру в людей вообще. Именно об этом я и думаю все время.— Его голос неожиданно для него самого задрожал, и он замолчал.— Хорошо,— сказал он, наконец, в ответ на слова генерала.— Я буду завтра у вас в одиннадцать часов.

Он положил трубку, вернее, не положил, а попытался положить, но все не мог попасть трубкой на вилки телефона. Устыдившись своего волнения, он вполголоса выругался.

— Идите, вы свободны,— сказал он Касаткину.

ХIII

Часов в шесть утра Лубенцов забылся тяжелым сном и часа полтора спустя проснулся в очень радостном настроении. Ему снилось что-то приятное, и, открыв глаза, он несколько минут находился в полном забвении случившихся событий и лежал, испытывая чувство беспричинного счастья. Потом он все вспомнил, и всего его пронизала нечеловеческая боль. Тем не менее он заставил себя одеться, умыться. Мгновение подумав, он отправился к Эрике Себастьян.

Она встретила его с удивлением, которого не пыталась скрыть.

— Пришел вас проведать,— сказал он улыбаясь.

— Я очень рада,— пробормотала она и, так как привыкла, что Лубенцов говорит только о делах, сразу же начала рассказывать о работе семинара и о курьезах разного рода, которые случались во время занятий.

— Вы молодец,— сказал он по-русски. Она знала это слово и рассмеялась.

— У вас сегодня хорошее настроение,— сказала она.

— Да. Вы психолог,— сказал он.— Очень хорошее.

— Почему?

— Без особых причин. Бывает же хорошее настроение без особых причин.

— Бывает,— ответила она серьезно.— Вернее, людям кажется, что бывает. Но, вероятно, это оттого, что они не могут догадаться о причинах. А причины всегда есть.

— Вы близки к марксизму. Как отец? Получали вы от него какие-нибудь известия?

— Нет. Он должен приехать через три-четыре дня. А письма из Западной Германии все равно пришли бы после его приезда. Вообще чем дальше идет время, тем обе части Германии становятся отчужденнее друг от друга. Как будто два различных государства. Ведь это ужасно! И долго это будет продолжаться?

— Кто знает?

— Неужели есть что-нибудь на свете, чего вы не знаете?

— Есть, и очень многое.

— А мне всегда казалось, что вы все знаете. А если чего и не знаете, то немедленно же узнаете.

— Стараюсь,— засмеялся Лубенцов.— Да, это очень нехорошо, что Германия до сих пор разделена на несколько частей. Так оно и получается, что профессор Себастьян и его дочь живут в одном государстве, а его сын — в другом. Это очень ненормально. Во всяком случае, я думаю, что советское правительство будет стараться объединить обе части. К сожалению, это зависит не только от него.

— Да. Кажется, американцы этого не хотят.

— Почему вы так думаете?

— Слышала я их разговор. Вот когда здесь был майор Коллинз с братом. Он обо всем говорил в таком тоне... Отец не согласен с ним.

Глаза Лубенцова прояснились.

— Он спорил с ними? — спросил он.

— Да.

— А вы на чьей стороне были?

Она улыбнулась.

— На вашей,— сказала она. Она вдруг покраснела, потом положила руку на стопку книг.— Я все это время читаю советскую литературу. Тут много интересного.

Идя сюда, в дом Себастьянов, Лубенцов, несмотря на категорический тон вчерашнего своего разговора с Касаткиным, все-таки где-то в глубине души подозревал, что и Эрика замешана в заговоре, что она осталась тут для отвода глаз, что Себастьян сбежал, а не уехал на несколько дней. Подозрительность Касаткина, с которой Лубенцов внутренне боролся, тем не менее зацепилась за что-то в нем и отравляла его. Надо было стряхнуть с себя это проклятье, и Лубенцов стряхнул его с себя. Разговор с Эрикой успокоил его. Во всяком случае, он понял еще раз и с еще большей силой, что подозрения Касаткина беспочвенны. И он уяснил для себя, что подозрительность вовсе не достоинство для советского деятеля. Она — прямая противоположность бдительности, и не дай бог, чтобы вторая перешла в первую. Первая, если она не распространяется нарочно, с вражескими целями,— следствие паники, неуверенности в себе, в своих силах, в своем влиянии на людей. Да, в случае с Воробейцевым он, Лубенцов, не проявил бдительности.

Но он не должен, не имеет права впасть в ее противоположность.

Прощаясь с Эрикой, он от глубины чувств поцеловал ее руку, то есть сделал то, чего никогда в жизни не делал и что привело ее в сильное волнение.

Во всяком случае, теперь, после первых самых лютых переживаний в связи с делом Воробейцева, Лубенцов ясно понял линию своего поведения и знал, что будет говорить и что будет делать.

Но важно было и выяснить, почему Воробейцев стал изменником. Конечно, немалую роль играли тут черты характера. Но ведь несимпатичных, нехороших людей не так уж мало. Но это вовсе не значило, что они все способны стать изменниками.

Этот вопрос, который волновал и мучил Лубенцова, следовало выяснить, и Лубенцов решил взяться за его выяснение.

Но время подходило к девяти часам, а в одиннадцать он должен быть у Куприянова. Возле комендатуры его ожидал Воронин. Глядя на Воронина, Лубенцов понял, что тот все знает. Но старшина не стал ничего говорить. Он только окинул взглядом Лубенцова, и этот взгляд был красноречивее слов.

— Машину,— сказал Лубенцов.

Машина через пять минут выехала из ворот.

— Поеду с вами,— сказал Воронин.

— Хорошо.

Они всю дорогу ехали молча, в том тяжелом мужском молчании, которое, быть может, стоит людям года жизни. Ведь они были больше, чем братья. Они любили и глубоко уважали друг друга. Они знали подноготную друг друга, как не всегда знают близкие родственники.

Только когда машина въехала в Альтштадт, Воронин впервые открыл рот.

— Если вы уедете,— сказал он,— заберите меня с собой.

У генерала Куприянова было человек десять разных людей, среди них два генерала. Это было для Лубенцова неожиданным, так как он предполагал, что будет говорить с Куприяновым наедине, и к этому именно и приготовился. А здесь на него десять пар глаз смотрели с враждебным выражением, как смотря на человека, чьи все достоинства давно забыты и перечеркнуты и чья жизнь, какая бы она ни была, померкла в свете того, что случилось в последнюю минуту. Было ясно, что только что они говорили о нем, и говорили в выражениях весьма нелестных. На Лубенцова злое выражение их глаз действовало с огромной силой, так как он к этому не привык. Да, он был «счастливчиком», человеком, которого окружающие, как правило, любили и ценили, о котором и начальники и подчиненные всегда отзывались с теплотой и доверием. И внезапная перемена в отношении к нему глубоко задела его.

Потом они стали говорить, и говорили так же враждебно, как раньше глядели на него. Они говорили о нем в таких выражениях, как будто его здесь не было и как будто он непосредственно виноват в бегстве Воробейцева и объективно не меньший преступник, чем Воробейцев. А он слушал, и ему хотелось спросить у них: «Что вы делаете? Как вы можете так говорить обо мне?» Но он молчал и слушал, потому что понимал, что эти вопросы ни к чему не приведут и только вызовут новый взрыв негодования. Кто-то спросил, верно ли, что его заместитель требовал ареста Воробейцева, а он, Лубенцов, не позволил его арестовать. Он ответил, что верно, что так оно было. Ему хотелось сказать, что он не мог подозревать Воробейцева в таких замыслах и что, кроме того, если бы Воробейцев был арестован, он был бы самое большее отослан обратно в СССР и, будучи врагом и изменником, продолжал бы маскироваться, как маскировался до этой поры; его обвинили бы в худшем случае в коммерческих делишках, а на самом деле это был бы изменник в душе, который мог бы в любой момент, еще более сложный, чем теперь, стать явным изменником. Лубенцов хотел все это сказать, но он этого не сказал, потому что знал, что такие слова не будут поняты правильно и только поставят Лубенцова в положение человека, не желающего признать свои ошибки и противопоставляющего себя всем остальным. Поэтому он сказал только, что виноват, и еще раз повторил, что виноват.

Потом он заявил, что в конечном счете дело не в нем и не в мере его вины, а в том, чтобы в связи с этим делом не совершить еще более непоправимых вещей. Он сказал, что готов нести полную ответственность за все случившееся, однако он просит, чтобы ему дали возможность самому выправить положение и самому разобраться во всем деле.

И хотя многие признали в глубине души, что он прав и что действительно нет оснований заподозрить всех и вся, тем не менее они продолжали обвинять его и всех офицеров комендатуры и говорить, что не питают к лаутербургским офицерам политического доверия и тому подобные слова, которые привели Лубенцова в состояние полного изнеможения.

Тем не менее его репутация была настолько высока и его точка зрения на дальнейший ход дел настолько убедительна, что здесь не были сказаны никакие решительные слова. Ему было велено ехать обратно. На следующий вечер созывалось собрание актива, где будет обсуждаться деятельность лаутербургской комендатуры.

С этим Лубенцов отправился в обратный путь. И снова весь обратный путь они с Ворониным молчали.

Как только Лубенцов приехал в Лаутербург, он стал проводить расследование. Он побывал на трех квартирах, где в течение пребывания в городе жил Воробейцев. Он узнал все ка-

сательно махинаций с автомашинами. На маслозаводе, сахарном и ликерном заводах он окольными путями выяснил, сколько продуктов получил Воробейцев. С помощью Кранца и из допросов Меркера он уяснил себе весь круг интересов Воробейцева.

Он твердо установил, что Воробейцев ни с кем и нигде не вел никаких политических разговоров, никакой враждебной агитации. Он жил только наживой и думал только о ней. Он был жаден и вел легкую жизнь. И если бы после ареста Меркера не испугался разоблачения и не понял, что ему грозит серьезная кара, он никогда не убежал бы.

Короче говоря, Воробейцев стал изменником потому, что был корыстным, жадным до собственности человеком. Это представляло для Лубенцова вовсе не какой-либо академический интерес, а имело жизненно важное значение не только для самозащиты самого Лубенцова, но для него лично. Тяготение к наживе, к собственности, к вещам сделало Воробейцева изменником. Два мира, живущих рядом, действуют друг на друга. Наш мир, действуя на лучшие стороны человека, вербует себе сторонников своим стремлением к справедливому распределению богатств, своими высокими целями, своим уважением к человеку труда и верой в его будущее. Другой мир, действуя на темные и подлые инстинкты человека, вербует себе сторонников среди корыстных и жадных людей, для которых общее дело не имеет никакого значения, для которых значение имеют только их личные делишки. Не признавая ничего, кроме чистогана, он завлекает, прельщает, заманивает их этим чистоганом.

«Да, но разве Воробейцев один? Разве таких мало? Однако не все же они, не все же эти стяжатели, жадные на чужое добро, на легкую добычу, становятся изменниками родины», — раздумывал Лубенцов и, наконец, пришел к следующей формуле: «Не все стяжатели — изменники родины, но все изменники родины — безусловно стяжатели».

Итак, жажда собственности в обществе, отрицающем капиталистическую собственность, делает человека отребьем общества. Не разделяя тех идей, которыми живет общество, человек привыкает скрывать свои мысли, лицемерить, подличать. Обманывая окружающих, а иногда и себя самого, он иногда доходит до высоких ступеней, но раньше или позже его разоблачают или он сам разоблачает себя.

Лубенцов снова побывал в последней, опечатанной, квартире Воробейцева и сам осмотрел все, что в этой квартире находилось. Все следы жившего тут недавно человека свидетельствовали о попойках, разгуле, мелком разврате. Глядя на пустые бутылки, неприличные открытки, читая эту немую повесть разгульных ночей, Лубенцов ужасался, удивлялся, на что уходила энергия, на что разбазаривались силы. Но вместе с чувством омерзения и удивления он испытывал неожиданное

чувство некоторой зависти к этой абсолютной свободе от всяких обязанностей, к этому забубенному времяпровождению, захватскому и бесшабашному существованию. Лубенцов подумал, что, по сути, и он по своему характеру — гуляка и что он не уступил бы всем этим ничтожествам ни в чем. Полупрезрительно, полугрустно думал он о том, что, уж если бы он загулял, — он бы не мог запереться в четырех стенах, гулять исподтишка, гулять потихоньку, чтобы никто не увидел и не услышал. Он устроил бы по крайней мере дым коромыслом без всякой боязни перед кем бы то ни было. Но он так не делал, не делал потому, что самое важное для него, весь смысл его жизни заключался в победе нового мира, в счастье миллионов людей. И без этого не было ему жизни и не было веселья.

Он заставлял себя после всех своих розысков и расследований возвращаться в комендатуру. Да, именно заставлял себя, потому что Дом на площади, ставший для него родным домом, теперь перестал им быть. Его там встречали хмурые лица. Ему казалось, что даже стук подкованных подошв солдат, идущих на смену караулов, звучит мрачно. То и дело приезжали разные комиссии. И ему стоило немало труда спокойно отвечать на их вопросы, подробно освещать то одно, то другое обстоятельство и вообще вести себя сдержанно и даже по возможности непринужденно.

С пяти до семи были его приемные часы. Капитан Чегодаев зашел к нему перед началом приема и сказал:

— Человек двадцать дожидаются. Объявить, что приема сегодня не будет?

Он пристально смотрел на Лубенцова, и его маленькие глазки были полны преданности, понимания и любви. Однако Лубенцов вызывающе посмотрел на него и произнес с деланным удивлением:

— Почему не будет? Что такое случилось? Приглашайте.

Начался прием, и Чегодаев с Ксенией, присутствовавшие во время приема, с молчаливым изумлением слушали слова Лубенцова и его смех. Сдержанная Ксения ничем не выказала своего удивления, но Чегодаев, который был страшно взволнован и взвинчен, — как и все обитатели Дома на площади, — вскоре выскочил из кабинета, зашел к Меньшову, сел и сказал:

— Не могу там сидеть. У меня душа разрывается, на него глядя.

Через минуту за ним пришла Ксения, сказавшая, что Лубенцов велел ему вернуться, так как пришли по важному делу представители рудоуправления. Чегодаев вздохнул и пошел в кабинет коменданта.

В семь часов вечера Лубенцов, Касаткин, Яворский, Чегодаев и Меньшов выехали в Альштадт на собрание актива.

Когда офицеры лаутербургской комендатуры вошли в зал, все взоры устремились на них. Лубенцов в нерешительности постоял у двери, потом, не глядя по сторонам, быстро пошел вперед, к передним рядам. Первые два ряда никем не были заняты.

— Тут мы и сядем,— сказал Лубенцов.

Меньшов пробормотал:

— Это, наверно, места для начальства.

— Ничего,— сказал Лубенцов.— Сегодня нам и с начальством можно посидеть.

Они сели и, не оглядываясь, стали смотреть на пустую сцену, где стоял стол, покрытый красной скатертью, а в стороне от него — трибуна с настольной лампой, графином и стаканом.

Лубенцов сидел напряженный, чувствуя спиной взгляды и перебирая в уме лица многих знакомых и друзей, вероятно находившихся в этом зале. С каждой минутой на его сердце наваливалась все большая тяжесть.

Наконец, из боковой двери появился Куприянов и несколько полковников. Они подошли к тем рядам, где сидели Лубенцов и его товарищи. Зал встал. Куприянов сказал: «Вольно». Все сели, и только один Лубенцов опоздал. И ему стало неловко оттого, что он не сел вместе со всеми, и он подумал о том, что многие могут истолковать это так, будто он в связи с постигшим его несчастьем стал преувеличенно почтителен по отношению к начальникам.

Он сел.

На сцену вышел секретарь партийной организации подполковник Горбенко — один из друзей Лубенцова, умный, толковый человек, которому все предсказывали большую будущность. На этот раз его голос был торжествен и строг и усталые, добрые, чуть близорукие глаза глядели сурово.

«Как он не похож на себя,— думал Лубенцов.— И все из-за этого дурачка, из-за этого ничтожества, из-за Воробейцева. Все натворил этот никчемный, жалкий и подлый человечек. Из-за него собрались тут две сотни офицеров, превосходные и славные русские люди, выполняющие одну из самых сложных задач, выпадавших когда-либо на долю русских людей...»

Горбенко открыл собрание и предложил избрать президиум. На сцену быстро и несколько суетливо вышел подполковник из промышленного отдела и огласил список. Все проголосовали. Генералы и полковники медленно встали и пошли к ступенькам, ведущим на сцену. Одновременно изо всех углов зала стали проходить к тем же ступенькам офицеры, чьи имена находились в списке. Президиум уселся на свои места. Председательское место занял полковник, который дал слово для сообщения подполковнику Горбенко.

Проходя от стола к трибуне, Горбенко бросил мимолетный взгляд на Лубенцова, однако, встретив ответный взгляд Лубенцова, отвернулся. Он встал у пюпитра, разложил бумагу и начал читать с листа, но время от времени подымал глаза и заканчивал фразу без заглядывания в бумагу, так, словно хотел убедить аудиторию в том, что не читает, а говорит.

Он сказал, что районная комендатура Лаутербурга проделала довольно серьезную работу и неплохо выполняла соответствующие приказы по демократизации и денацификации порученного ей района. Однако комендант, подполковник Лубенцов, неплохо работавший с немцами, запустил воспитательную работу в коллективе комендатуры, в результате чего бывший офицер, разложившись и потеряв облик советского человека, совершил измену родине и бежал в американскую зону. Этот неслыханный случай наложил клеймо позора на лаутербургскую комендатуру и на весь коллектив советских офицеров. Вина за это тяжкое преступление ложится на Лубенцова, который не только мало и плохо работал со своими офицерами, но и проявил политическую слепоту, отказавшись тогда, когда еще было время, задержать и изолировать изменника. Притупление бдительности, обязательной для коммуниста, особенно в тех условиях, в которых советские люди находятся здесь, в Германии, является тягчайшим преступлением. Майор товарищ Касаткин, заместитель Лубенцова, обратился с вполне справедливой жалобой в Администрацию. Если бы не самонадеянность и политическая слепота Лубенцова — этого инцидента не произошло бы.

Помолчав, Горбенко произнес заключительные слова:

— Я знаю Лубенцова давно и считал его способным, серьезным и культурным офицером. Но его поведение в этом последнем случае должно заставить нас всех во многом пересмотреть наше отношение к нему, внимательно и серьезно обсудить его поступки, а также более глубоко изучить весь наш личный состав и изучать его повседневно, без всяких скидок на прошлые заслуги.

После Горбенко выступил офицер, который обвинил Лубенцова в том, что он вообще отличается либеральностью, нетерпимой на его должности. Он рассказал историю с профессором Себастьяном, которого Лубенцов отпустил в западную зону, якобы в гости к сыну. И это несмотря на то, что недавно был случай со специалистом по сельскому хозяйству профессором Вильдапфелем, который обманул Советскую Администрацию и убежал из нашей зоны. Лубенцов слишком часто бывал у этого Себастьяна, был даже на именинах его дочери, причем находился там в штатском костюме. Известен случай, когда Лубенцов устроил обед в честь Себастьяна и некоего американского разведчика, майора Коллинза. Во время своих разъездов Лубенцов останавливался на ночевку у немцев. Он проводил

долгие беседы, причем не только с трудящимися, но даже с помещиками. Он позволял себе говорить немцам, что репарации со временем будут отменены; он жалел немцев, говоря им, что они плохо живут, и давая им беспочвенные обещания, что их жизненный уровень будет поднят.

Третий выступивший сказал, что, если бы Лубенцов проявил бдительность, он давно мог бы понять нутро Воробейцева. Воробейцев был нарушителем дисциплины и вместе с капитаном Чоховым, бывшим сослуживцем Лубенцова, — кстати, и Воробейцев некоторое время служил в дивизии, где работал начальником разведки Лубенцов, — неоднократно нарушал дисциплину, не являлся на работу во-время, а иногда даже вовсе не приходил на службу. Лубенцов ограничивался разговорами и журил этого врага народа вместо того, чтобы наказать его.

Лубенцов слушал все это и сам удивлялся своему внешнему спокойствию. Сердце, вначале стучавшее быстро и бурно, понемногу успокаивалось, стало биться отчетливыми, но очень редкими ударами. При каждом выходе очередного оратора Лубенцов думал: «Неужели и этот не найдет ни одного доброго слова? Неужели и этот будет говорить одно плохое или такое, что кажется плохим в надлежащей передаче? Что же это значит? Неужели я на самом деле так плох — слеп, глуп, бездеятелен, либерален, самонадеян и высокомерен? Неужели я — почти Воробейцев?» Он спрашивал себя, что думают о выступлениях все собравшиеся здесь люди, и приходил к выводу, что и они разделяют мнение ораторов, потому что выступления звучат чрезвычайно убедительно, до того убедительно, что иногда ему, Лубенцову, самому кажется, что выступающие правы.

Он время от времени отводил пристальный взгляд от выступавших и смотрел на генерала Куприянова, человека, который лучше, чем кто-либо, знал всю подноготную Лубенцова, знал до малейших подробностей все, что Лубенцов делал, и почему делал именно так, а не иначе. Что же думает генерал Куприянов? Какова его точка зрения? Что он скажет?

Генерал Куприянов со своей стороны иногда косился на Лубенцова и отмечал про себя те преувеличения и передержки, которые допускались в пылу речей тем или иным оратором. И тем не менее Куприянов все больше ожесточался против Лубенцова.

Дело в том, что Куприянов считал, что всегда чутко прислушивается к мнению своих офицеров. При этом он не замечал, что они, его офицеры, еще более чутко прислушиваются к его мнению. Думая, что он действует так или иначе потому, что таково общее суждение, он не замечал, что общее суждение складывается в угоду его мнению. Он часто по разным поводам спрашивал у руководителей партийной организации, каково мнение членов партии, потому что от души желал

услышать это мнение и учесть его. Но некоторые подчиненные ему офицеры, излагая это общее мнение, вовсе не излагали его таким, каким оно было и какого они даже не удосуживались узнавать, а таким, каким было мнение генерала Куприянова или, если они не знали его мнения,— таким, каким оно должно было быть по их предположениям.

Если бы ему честно сообщали мнение других людей, генерал несомненно прислушался бы к нему, но так как ему сообщали его же мнение, он фактически принимал единоличные решения.

Так происходило и теперь, в деле Лубенцова.

Окружавшие генерала офицеры знали, что генерал очень расстроен, удручен и разгневан в связи со случившимся. Поэтому офицеры выступали так остро на собрании. Тут сказывалось, правда, и уважение к личности генерала, которого все высоко ценили. Но была в этом и немалая доля того, что можно назвать ловлей на лету исходящих «сверху» впечатлений и произнесенных «наверху» слов, часто сказанных случайно и необдуманно. Генерал же, которому выступления казались свободно выраженным общим мнением, пришел к выводу, что в деле Лубенцова надо действовать с большой строгостью.

Может быть, Куприянов не отдавал себе ясного отчета в том, что, обвиняя Лубенцова, он до некоторой степени снимает ответственность с себя; подвергая Лубенцова осуждению, он перед высшим начальством — перед Берлином и Москвой — смягчает свою вину. И хотя он понимал, что случившееся чрезвычайное происшествие с одним из рядовых офицеров одной из рядовых комендатур не может быть серьезно поставлено в вину ему, генералу Куприянову, но он достаточно хорошо знал обычай некоторых крупных начальников, которые после такого рода происшествий — вовсе не из любви к истине, а для отчета перед вышестоящими, еще более крупными начальниками — стремятся найти виновника, а если виновника найти нельзя, то хотя бы найти наиболее виновного.

При этом надо сказать, что генерал Куприянов был человеком честным и душевным и делал все это потому, что так было принято делать, хотя в глубине души со всей ясностью сознавал, что вина Лубенцова не так велика, как это изображают здесь на собрании и как он, генерал Куприянов, изобразит в своем выступлении. Но, сознавая это, он тем строже и враждебнее глядел на Лубенцова, подпадая под властное влияние массового психоза, который он, сам того не зная, сам создал.

Вскоре объявили перерыв. Зал опустел. Ушел и Касаткин. С минуту помявшись, встали Чегодаев, Яворский и Меньшов.

— Пойдем покурим,— пробормотал Чегодаев.

Они ушли, и Лубенцов остался один. Он думал о том, что и ему следовало бы выйти в фойе. Он знал, что ему хватило бы сил выйти, потолкаться среди людей и даже перекинуться словами с теми, кто пожелают с ним заговорить; это было бы прилично. Но теперь ему было все равно, что о нем подумают. Хуже уже не могло быть. И он остался сидеть на месте, вопреки своему обыкновению делать все так, как все, и быть таким, как все.

Вскоре он услышал, что люди начинают собираться. Потом появились и его офицеры; они молча сели рядом с ним. Наконец, заполнились и места президиума.

Следующим выступил майор Пигарев. Лубенцов откинулся на спинку стула. Его переполнило чувство внезапного острого любопытства. Что же скажет Пигарев?

Пигарев начал с того, что знает Лубенцова как хорошего работника. И вся беда его, сказал Пигарев, заключается в том, что он зазнался. Его слишком расхвалили. Всегда всем комендантам тыкали в лицо пример лаутербургской комендатуры и нескольких других комендатур, которые числились любимчиками.

— Много раз и от кого угодно слышал я похвалы по адресу Лубенцова, — с внезапной злобой сказал Пигарев. Помолчав, он продолжал: — Это-то и привело к таким плачевным результатам. — В его голосе прозвучало сожаление, которое поразило Лубенцова не свойственными ранее Пигареву лицемерными нотками. — Он давал всем советы, цитировал в разговоре немецкие стихи... Зазнался, зазнался товарищ Лубенцов. Потому он и Касаткина не послушал... Довольно легкое дело пускать пыль в глаза немцам, цитируя на память какого-нибудь Гёте или Шиллера. (Генерал Куприянов сочувственно кивнул головой.) Культура вещь хорошая, но поклоняться буржуазной культуре тоже не надо. (Генерал Куприянов снова кивнул.) Про этого Себастьяна Лубенцов мне уши прожужжал. И такой, и сякой, честный, интересный... А тому только это и нужно. Охмурил Лубенцова и подался на запад, лови его... (Генерал Куприянов улыбнулся.) Но, конечно, самый большой позор для нас — история с Воробейцевым. Для нас всех. И за это, я вам скажу, надо голову оторвать! — Последние слова он выкрикнул громко и, опьяняясь своим криком, стукнул кулаком по кафедре. — Вот говорят, что Лубенцов скромный, скромно живет, простой... Грош цена этой эффектной простоте и скромности. Пусть живет, как хочет, но пусть видит, что кругом него делается, пусть умеет разоблачать врагов. Пусть не важничает! Не думает, что понимает лучше других, лучше всех!

Раздались аплодисменты. Пигарев отрывисто вскинул голову вверх, и Лубенцов ужаснулся, настолько этот жест был точной копией с подобного же привычного жеста Альбины.

В двенадцать часов ночи собрание было прервано за поздним временем. Продолжение его перенесли на следующий вечер, на семь часов. Лубенцов вышел на улицу. В толпе он потерял своих сослуживцев. Машин было очень много; они подъезжали одна за другой, освещая неярким светом подфарников мокрую брусчатку. Темные фигуры, односложно переговариваясь, подходили к краю тротуара, вглядывались в темные очертания машин и уезжали. Людей и машин становилось все меньше. И Лубенцов впервые в жизни почувствовал себя одиноким человеком, отгороженным невидимой стеной от всех своих товарищей. И это чувство одиночества не прекратилось и тогда, когда подъехала его машина, из которой высунулась большая голова Чегодаева, произнесшего:

— Сюда, товарищ подполковник.

— Давайте поменяемся местами,— сказал Лубенцов. Чегодаев послушно вышел из машины и сел рядом с шофером. Лубенцов хотел сесть сзади. Но прежде чем он сел, к нему подскочил какой-то офицер из задней машины.

— Что же вы стоите? Проезжайте,— сказал он, негодуя на задержку. Но, присмотревшись и узнав Лубенцова, он осекся, пробормотал извинение и замер на месте, словно увидел привидение.

Лубенцов сел в машину. Она тронулась, и он ушел в себя, полный все того же внезапно охватившего его чувства неприячности и оторванности от всего на свете.

Чувство стыда и обиды на своих товарищей овладело им и переворачивало ему душу так, что нельзя уже было терпеть. Пробегаящие мимо редкие огоньки деревень и завывание ветра за стеклами машины были под стать его внутреннему состоянию. И ему казалось, что вот так он мчится, никому не нужный, мимо темных домов, мимо людей, занятых своими делами, своими заботами, и никому нет дела до него с его заботами и делами. И он думал с содроганием, что так уже будет длиться всю жизнь, что он будет один в темноте, отгороженный стеклами дребезжащего стального ящика от всего остального мира.

Когда он очнулся от этого состояния у себя на квартире в Лаутербурге, он даже удивился, потому что не мог вспомнить момента приезда и того, как он вышел из машины и как оказался дома, настолько мысли его были заняты другим. Но так или иначе, он был дома; здесь оказался Воронин. Шаги Воронина раздавались в соседней комнате. Воронин, видимо, готовил ужин, хотя знал, что Лубенцов есть не будет, как вообще почти не ел в течение последних дней.

Воронин ни о чем не спрашивал и ничего не говорил, только возился с тарелками. И эта возня и звон тарелок немного успокоили Лубенцова.

Он подумал, что хорошо бы завтра выйти и сказать: «Ну вас к черту! Не желаю я выслушивать того, что вы мне говорите. Не желаю и не хочу принимать на свой счет всю эту мерзость. Я не тот человек, о котором вы говорили здесь. Как бы внешне убедительно ни выглядели ваши обвинения и как бы внешне дружески ни звучали ваши попреки, но все, что вы говорите,— ложь и клевета».

Но, разумеется, он не мог так сказать и никогда так не скажет. Не скажет потому, что любит и уважает этих людей; потому, что если бы это случилось с другим, он бы, быть может, так же говорил, как они. А главное — потому, что он старался быть и был дисциплинированным членом партии, человеком, привыкшим уважать своих товарищей, считаться с их мнением и искать в их словах, как бы ни были жестоки эти слова, крупицу истины. Он верил в коллектив и был воспитан в уверенности, что коллектив в конечном счете всегда оказывается прав.

Да, он был дисциплинированным солдатом. И вдруг он почувствовал и понял, что в течение месяцев и лет находится в состоянии постоянного и жестокого самоконтроля; что все время невидимые щупальцы, созданные им для себя, держат его; и что он не произносил ни слова без предварительного обдумывания и не делал движения без того, чтобы не иметь в виду чьих-то посторонних глаз; и что он выковал в себе ту железную самодисциплину, которая незаметно для него тяготила и давила его, делала расчетливым и аккуратным до противности, до отворачивания к себе.

Но все это он делал не для себя, не в своих интересах, не для того, чтобы, будучи похожим на всех, выдвинуться выше других, а потому, что считал это необходимым для общего дела. Без самодисциплины невозможна дисциплина, а без последней нельзя выполнить то грандиозное, что предначертано поколению, к которому он принадлежал.

Вошел Воронин, поставил на стол какую-то посуду, постоял неподвижно, потом вдруг сказал:

— Выпейте водки, товарищ подполковник. Помогает.

— Давай.

Воронин заметно обрадовался, оживился, ушел и быстро вернулся с бутылкой. Он налил полный стакан Лубенцову и себе. Оба выпили.

— А теперь вам спать надо,— сказал Воронин.

— Да, да.

Но тут раздался стук шагов, дверь открылась, и в комнату вошел Чохов.

Чохов был одет, как на парад. Сапоги его были начищены до блеска. Поверх шинели блестели полевые ремни. Он был чисто выбрит, хмур, спокоен. Хмур и спокоен, как всегда. Но

что-то в нем было непривычным и грозным, и Лубенцов вначале не понял, что именно. Потом понял: на груди у Чохова висел автомат. Автомат на офицере мирного времени, одетом с иголки, в фуражке с малиновым околышем и с золотыми погонами взамен полевых,— это и было то необычное, что поразило Лубенцова.

— Садитесь,— сказал Лубенцов.

Но Чохов не сажился. Он положил на стол сложенную вчетверо бумажку и начал говорить негромко, ясно и отдельно.

— Товарищ подполковник,— сказал он.— Разрешите доложить. Во всем виноват я один. Я уломал вас, чтобы вы взяли Воробейцева сюда в комендатуру. Я знал Воробейцева, его характер, то, чем он дышал, товарищ подполковник. Но я не сказал этого вам и сам не понимал по своей глупости и отсталости, чем это кончится для него... и для нас всех. Я кругом виноват, и только я один. Вот я это все написал. Вот оно все. Вот.— Помолчав, он сказал изменившимся голосом: — Простите меня, Сергей Платонович. Этого гада... Этому гаду...— его голос пресекался.

— Вы куда собрались? — внезапно спросил Лубенцов, вставая в страшном волнении.— Вы что это придумали? Вы в своем уме?

— Нет, нет. Вы меня не останавливайте,— сказал Чохов уже спокойно.— Мне нужен отпуск на два дня. Вот и все, что я прошу.

— Вы в своем уме, спрашивают вас! — воскликнул Лубенцов. Он подошел к Чохову вплотную.

— Я должен его убить,— сказал Чохов.

— Вы не понимаете, что вы затеяли,— возразил Лубенцов.— Вы дитя, Чохов! Вы даже не подумали, в какое положение поставите меня. Снимайте шинель! Чохов, вы слышите?

— Товарищ подполковник,— внезапно вмешался в разговор Воронин, делая шаг вперед к Лубенцову.— По-моему, правильно он решил. Надо эту мразь стереть с лица земли. Отпустите меня с капитаном. Не беспокойтесь, мы это сделаем все так чисто, что никто чихнуть не успеет. Вы разве не доверяете старшине Воронину? Вы забыли, что я делал на фронте... Сколькo «языков» мы вместе перетаскали?!

— И ты дуришь? — спросил Лубенцов, обращая укоризненный взгляд на Воронина.— Может быть, и мне отправиться вместе с вами? — Он на минуту задумался, усмехнулся и мечтательно произнес: — Мы бы совсем неплохо провели этот поиск и приволокли бы предателя в Лаутербург. Заодно можно прихватить еще кое-кого... Эх вы! Чудаки! Капитан Чохов, вы арестованы домашним арестом. Отбывать будете здесь, у меня. Снимайте автомат. Что у вас там еще? Нож? Все снимайте. Пояс снимайте: вы арестованы. И не глядите на меня так,

словно перед вами Воробейцев. — Он выпил водки и продолжал, все больше возбуждаясь: — Плюньте. Самое страшное наказание для него: пусть живет. Пусть живет наедине со своей подлостью и ничтожеством. Раздевайтесь, Василий Максимович. Садитесь. Ну, разоблачил себя один подлец. Неужели это такая большая потеря? Да хрен с ним в конце концов! Может быть, это хорошо, что он разоблачил себя, что он не с нами, что мы не будем обманываться в нем, не будем считать его одним из своих. Такие случаи бывали и еще будут. Они не так уж неестественны при нынешних обстоятельствах, когда два больших лагеря борются друг с другом. Зачем же приходить в уныние или решаться на отчаянные поступки? Вот выпейте рюмочку, и, поскольку вы арестованы, спешить вам некуда, посидите со мной или ложитесь спать. А если и я буду арестован сегодня ночью, что весьма возможно, то пусть уже нас возьмут вместе.

Чохов твердыми шагами подошел к окну и прижался лбом к стеклу. Из его глаз выкатились две слезы. Он закрыл глаза, чтобы их смахнуть, постоял так еще минуту, потом повернулся к Лубенцову.

— Пойду вкачу мотоцикл во двор, — сказал он.

Он вышел, вкатил мотоцикл во двор и вернулся обратно.

Уже начало светать, когда Чохов и Воронин уснули. А Лубенцов все ходил по комнате, время от времени останавливаясь возле дивана, где спал Чохов, и смотрел на капитана глазами, полными нежности. Он вспомнил, что когда-то уже видел Чохова спящим. Это было год назад, но казалось, что с тех пор прошли десятилетия — так много событий и переживаний пронеслось за это время. Во сне лицо Чохова выглядело совсем юным, решительный рот был полуоткрыт. Чохов неровно дышал и время от времени глубоко вздыхал. Лубенцов взял со стола заявление Чохова и разорвал его, не читая, в мелкие клочки.

В девять часов Лубенцов отправился в комендатуру. Он вызвал Яворского. По покрасневшим глазам и желтому лицу заметно было, что Яворский тоже спал мало и плохо.

— Как с Ланггейнрихом? Вызвали вы его? — спросил Лубенцов.

— Нет.

— Напрасно. Ведь ландрат до сих пор не назначен. Вызовите его.

— Он не хочет идти на эту должность.

— Не хочет! Мало чего не хочет! Он самый подходящий человек. Профессор Себастьян рекомендовал его не без оснований. Вызовите его сейчас.

— Есть.

— Можете идти. Пришлите ко мне Чегодаева.

Пришел Чегодаев.

— Вы обратили внимание, — сказал Лубенцов, — что шахты за последнюю декаду не выполнили плана? Вы беседовали об этом с руководителями шахты?

— Еще не беседовал.

— Поедем туда.

— Есть.

Они выехали на шахту. В шахтоуправлении шло заседание производственного совета, возглавляемого старым знакомым Лубенцова Гансом Эперле. Лубенцов, недовольный вялым ходом прений, выступил и сказал, что нельзя допускать, чтобы обыватели болтали — рабочие-де не в состоянии сами управлять предприятием; ведь шахта прошлую декаду блестяще работала, и т. д.

Потом он заехал еще куда-то по делам, но потом с трудом вспомнил, где был и с кем разговаривал. Вернувшись в город, Лубенцов поехал в комендатуру. Здесь он оставил Чегодаева, машину отпустил, а сам отправился пешком к дому у подножия горы, где теперь работал семинар по подготовке новых учителей. Некогда тут помещалась английская комендатура.

В прохладной прихожей было тихо, и казалось, что никого в доме нет. Но, пройдя дальше, Лубенцов услышал из-за открытых дверей негромкое гудение одного голоса и настойчивую тишину, прерываемую покашливаниями. Те же звуки слышались из-за другой двери. Все вместе напоминало школу во время уроков. Казалось, что вот сейчас двери раскроются и из классов гурьбой бросятся дети.

— О! Господин Лубенцов! — услышал он удивленный возглас. Из бокового коридора показалась фрау Визецки. Она широко улыбнулась и пошла ему навстречу. Из-за ее спины появилось еще одно любопытное круглое женское личико.

Пока Лубенцов расспрашивал фрау Визецки о ее делах, раздался звонок. Коридор переполнился людьми, и Лубенцова окружили со всех сторон дружеские лица. Все наперебой здоровались с комендантом, не скрывая своего удовольствия по поводу его прихода. У него сжалось сердце, и он не без труда заставил себя улыбаться этим милым людям, которые не подозревали о смятенном состоянии его души.

Потом он увидел Эрику. Она пошла к нему, вся светясь от радости.

— Наконец-то вы к нам пожаловали, — сказала она. — Сию минуту договорюсь... Вы ведь не откажетесь побеседовать хотя бы полчаса с будущими учителями?

— Сегодня никак не могу, — сказал Лубенцов. — Дня через два-три. — Подумав, он добавил: — Или пришлю своего заместителя. Он это сделает не хуже, а может быть, лучше, чем я.

Эрика недоверчиво усмехнулась.

Тем временем к ним подошли лекторы, среди которых был Лерхе, читавший слушателям семинара марксизм-ленинизм.

Он сказал, что ему очень нравится эта работа и, может быть, в ней — его призвание.

Лубенцов уже знал, что Лерхе уходит с поста руководителя районной организации компартии. Хотя Лубенцов сам считал, что Лерхе не годится для этой работы, что он резок, не гибок, живет старинными представлениями, а главное, слишком враждебно относится к социал-демократам — всем без исключения, — все-таки Лубенцов расстроился: их связывала многомесячная совместная работа, в течение которой он успел полюбить немецкого коммуниста за кристальную честность, бескорыстие, непримиримость и жгучую ненависть к врагам; правда, Лерхе нередко относил к числу врагов таких людей, которые не были врагами. Коммунисты и социал-демократы объединялись в одну единую социалистическую партию. Вопрос был решен, и Лерхе понял, что при таких условиях он должен отойти от руководящей работы.

Лубенцова обрадовало то, что Лерхе не пал духом и даже как-то успокоился, стал ровнее в обращении и ласковей к людям.

— Теперь меня есть кому заменить, теперь все стали развитые и умные, — сказал Лерхе не без желчи, но добавил: — Организация сильная, и много хороших людей.

Вскоре раздался звонок. Коридор опустел. Одна Эрика не тронулась с места.

— У вас измученный вид, — сказала она.

— Работы много, Эрика.

Она вздохнула и проговорила:

— Ради великой цели не жаль труда.

Он посмотрел на нее удивленно; услышав непривычные в ее устах громкие слова. Он даже подумал, не шутит ли она, не пародирует ли его. Но она была серьезна, и ее глаза смотрели на него проникновенно.

Эрика, как, вероятно, многие женщины на белом свете, была способна легче всего усвоить большую идею и проникнуться ею не отвлеченно, а посредством большого чувства к носителю этой идеи. Чтобы убедиться в правоте дела социализма, она должна была прежде почувствовать правоту и личное обаяние Лубенцова. Полюбив его, она разделила те взгляды, которые разделял он. Она в связи с этим стала с горячностью и фанатизмом новообращенного читать все, что могла достать об СССР и коммунистических воззрениях, и восприняла новые для нее взгляды безусловно, без всякой критики — потому, что эти взгляды разделял Лубенцов. Она не терпела никаких критических замечаний по поводу мировоззрения, к которому приобщилась таким чисто женским путем, и была наивна, мила и немного смешна в своей прямолинейности и непримиримости.

Уже гораздо позже ее новые взгляды на жизнь и мироустройство стали существовать отдельно от ее интимных чувств.

Они стояли одни в полутемном прохладном вестибюле.

— Как отец? — спросил он небрежно. — Пишет?

— Зачем? Он не сегодня-завтра придет.

— Ага. Понятно.

Они вышли на крыльцо. Было холодно.

— Зайдите в дом. Вы простудитесь, — сказал он.

— Нет, — ответила она просто. Потом спокойно добавила: — Отец обязательно придет в ближайшие дни. Он рассеянный и неорганизованный, но обещания свои всегда исполняет.

— Ага. Понятно. !

На этом они расстались.

«Если я обманулся в нем, — думал Лубенцов, медленно идя по улице, — то мне в утешение можно сказать, что я обманулся не один. Его родная дочь и та обманулась. Или она такая актриса и такая сволочь, каких свет не видывал».

XVI

В приемной Лубенцова ожидал Ланггейнрих. Рядом с ним сидели его жена Марта и капитан Яворский. Увидев вошедшего Лубенцова, все встали. Марта поздоровалась и скромно отошла в угол, чтобы не мешать разговору мужчин. Но Лубенцов подошел к ней и сказал:

— Заходите, заходите тоже, Марта. Это вопрос серьезный. Без женщины тут не обойдешься.

Они вошли в кабинет. Здесь сидел Касаткин. Лубенцов бросил на него быстрый взгляд. Касаткин плохо выглядел. Тоже, видимо, плохо спал. Брови его были страдальчески стянуты.

— Ну, что ж, — сказал Лубенцов, становясь еще оживленнее, потирая руки и самолично усаживая Ланггейнриха и его жену на диван. — Садитесь, товарищи. Я пользовался вашим гостеприимством не однажды, а вы у меня ни разу не бывали. Чаю не хотите?

От чая они отказались.

— Ну, вы, вероятно, знаете, зачем вас позвали, — продолжал Лубенцов, глядя на супругов лукаво. — По государственному делу.

— Знаем, — протянула Марта.

— И не очень довольны? — подхватил Лубенцов.

— Да, не очень довольны, — подтвердила Марта. — Совсем недовольны. Как же мы уедем из деревни? У нас хозяйство... Да и вообще не под силу Ланггейнриху (она называла его по фамилии) такое дело.

— Жена всегда считает своего мужа хуже, чем он есть, — возразил Лубенцов со смехом.

— Нет, она права, — сказал Ланггейнрих. Он был смущен, несколько растерян и произнес умоляющим голосом: — На-

прасно вы... это всё... придумали. Ну, куда мне, скажите на милость! Профессор Себастьян — это я понимаю. Человек ученый, умный, влиятельный.

— Он сам вас и предложил,— сказал Лубенцов.— Он о вас лучшего мнения, чем ваша жена. Я тоже.

Ланггейнрих, который все время смотрел вниз, при этих словах вскинул глаза на Лубенцова и с оттенком недоверчивости сказал:

— А профессор Себастьян?.. Он что?.. Уезжает из Лаутербурга? Не вернется сюда?

— Почему не вернется? — медленно сказал Лубенцов, искоса взглянув на Касаткина.— Он будет преподавать... У него ведь своя специальность. В Галле возобновил работу университет. Там нужны специалисты, это тоже важное дело.

Ланггейнрих испытующе впился взглядом в лицо Лубенцова и снова опустил глаза, ничего не сказав.

— А районный комитет — тот сразу поддержал вашу кандидатуру,— продолжал Лубенцов,— В конце концов можно вынести решение партийного комитета, и вы пойдете, куда бы вас ни послали. Так ведь, товарищ Ланггейнрих? Партийная дисциплина, Марта! Но дело не в этом. Мы хотим, чтобы вы пошли на это сами, добровольно. Когда человек добровольно идет, он лучше работает. Ну, попробуйте в конце концов, не выйдете — отпустим обратно в деревню. Обещая вам: не получится — отпустим. И вот товарищ Касаткин вам это тоже обещает... на случай, если я уеду... Обещаете, товарищ Касаткин? — Он сказал Касаткину по-русски: — Скажите ему, что если окажется, что он не в силах справиться с работой, его отпустят, заменят другим товарищем, подберут другого человека.

Касаткин, который по-немецки понимал, но говорить не мог или не решался, ответил тоже по-русски:

— Конечно. Это вполне естественно.

— Вот и товарищ Касаткин обещает,— сказал Лубенцов.

— А куда вы собираетесь ехать? — спросил Ланггейнрих.

— Может, в отпуск поеду,— быстро сказал Лубенцов. Он подошел к Марте, сел напротив нее и стал объяснять: — Поймите, Марта. Это необходимо. Ученость тут ни при чем. Мало, что ли, ученых бездельников! Главное, что у вашего мужа крепкая хватка и чистая совесть. Ведь с этим вы не можете не согласиться, Марта? Надо думать не только о себе и о своих удобствах.

— Конечно, сказала Марта, смутившись и глядя в сторону.

— Ну, вот видите! — воскликнул Лубенцов и обратился к Ланггейнриху.— Ну вот, Ланггейнрих, Марта согласна.

Ланггейнрих усмехнулся.

— Этого еще мало,— сказал он.— Я и сам человек взрослый.

— Не притворяйтесь таким самостоятельным,— улыбнулся Лубенцов.— Все равно я вам не поверю. Я сразу узнал, что все зависит от Марты. Зря, что ли, она приехала? Ну что ж, попробуете, Ланггейнрих? Попробуйте. Мы вам поможем.

Ланггейнрих махнул рукой. Лубенцов похлопал его по плечу и произнес по-русски:

— Молодец!

Марта поднялась с места и сказала:

— И как вы нас уговорили! Я думала, что никто меня не сможет уговорить.

— Это нужно для дела,— отозвался Лубенцов.

Он проводил Ланггейнриха и Марту до двери, потом медленно повернулся лицом к своим офицерам. Оживление его сразу пропало. Касаткин и Яворский молчали.

Лубенцов сказал:

— Помогайте ему, товарищи. Поддержите его. Он прекрасный мужик и, конечно, отлично справится с работой. Притворяется только, что растерян и смущен, а сам уже в это время думает, как все получше устроить. Я его хорошо знаю. Слышите? Помогайте ему.

— Поможем, конечно,— тихо пообещал Яворский.

Касаткин только кивнул головой и вышел.

— Товарищ подполковник,— сказал Яворский.— Я хотел... Хотел бы...— Он вспотел, не находил слов, был бледен, расстроен. Его толстые добрые губы дрожали. Протерев очки, он продолжал: —Я должен буду сегодня выступить. Мне сказали, чтобы я выступил. Вы знаете, как я вас ценю, уважаю и просто... люблю. Да, люблю вас, Сергей Платонович. За многое. Но мне предложил товарищ Горбенко. Я должен сказать. Не обижайтесь на меня.

Лубенцов холодно посмотрел на него, усмехнулся и вышел, хлопнув дверью. Но потом пожалел Яворского внезапно и непонятной жалостью, вернулся обратно, подошел к окну и сказал рассеянно:

— Ладно. Хорошо. Ладно.

Вошел Меньшов, принесший бумаги коменданту на подпись. Лубенцов подписал. Время подошло к пяти. Лубенцов встал. Лицо его внезапно потемнело, и он сказал:

— Пора ехать.

И сразу же стал неразговорчив, тих. Суэта и мельканье лиц прекратились.

— Пора ехать,— повторил он, надел фуражку и вышел на улицу. Машины уже ожидали внизу.

Около семи часов вечера они подкатили к дому, где происходило собрание. При виде его Лубенцов почувствовал дрожь, и все события сегодняшнего дня — посещение шахты, разговор с Лерхе и Эрикой, беседа с Ланггейнрихами отодвинулись от него куда-то вдаль, словно он сам разделился на двух

человек, совсем разных, не похожих друг на друга. Он теперь с удивлением думал о том, как мог он жить той, другой жизнью и как могло у него хватить сил жить ею и не упасть под тяжестью второй жизни, которая начиналась теперь.

До начала собрания оставалось минут двадцать, и Лубенцов на этот раз заставил себя стоять и ходить по фойе, раскланиваться с людьми, которые с ним раскланивались, и притворяться, что не замечает людей, которые отворачивались от него. Фойе заполнялось все больше. Он остановился у стены и стал глядеть на людей. Многих из них он знал, про многих слышал хорошее. Это были в большинстве своем молодые, но умудренные опытом люди, с многочисленными орденскими планками на груди, подтянутые, серьезные. Он впервые смотрел на них со стороны, потому что раньше всегда привык чувствовать себя одним из них. И его сердце, размягчившееся от жестоких страданий, ощутило к ним, ко всем этим людям, нежность и любовь, которая оттого, что казалась ему теперь неразделенной, еще сильнее ранила его душу.

Полный тревоги за себя и за них, он смотрел на их простые лица и с переполненным сердцем думал: «Под силу ли нам, простым русским людям, наша советская судьба, сумеем ли мы исполнить до конца великие предназначения и оправдать великие надежды? Не одолеют ли нас мелочи жизни, не остудится ли наш пыл рутинной, зазнайством, жаждой покоя?»

Задав себе эти вопросы, новые для него, Лубенцов с чувством, близким к восторгу, отвечал: «Да, под силу, да, исполним, да, не сойдем с верного пути». И то, что он испытал чувство беспредельной любви к товарищам и уверенности в них и в себе не тогда, когда ему было хорошо, когда он занимал почетное положение, а именно теперь, когда он был в отчаянном положении, — заставило его с небывалой силой понять, что его нынешнее чувство является объективным отражением реальной жизни, а не следствием мелкого и глуповатого оптимизма.

Тут раздался звонок, сзывающий людей в зал.

Объявив собрание открытым, полковник Горбенко сообщил, что сегодня оно будет длиться всего два часа и поэтому не закончится, так как в двадцать один час руководящие товарищи должны будут уехать на важное и срочное совещание с представителями немецких партий и профсоюзов, президиум же решил, что комкать прения не годится. Ораторов записалось много.

Это сообщение расстроило Лубенцова, который надеялся, что сегодня все закончится и будет, наконец, решено окончательно и бесповоротно.

Впившись пальцами в спинку впереди стоящего стула, Лубенцов стал слушать выступавших. Слушая их, он успокаивал

себя, сдерживался, хотя его много раз подмывало встать и опровергнуть тут же на месте то, что говорилось. И одновременно с этим он старался, как всегда это делал, находить верное в густой череде обвинений, раздававшихся с трибуны. Он говорил себе: «Нельзя на все смотреть только со своей личной точки зрения. То, что мне кажется, может быть и неверным. Неужели весь этот зал, вмещающий две с лишним сотни людей, проявляет злонамеренность или желает моей гибели и позора? Ведь, может быть, многие из этих людей искренне хотят указать мне на мои слабости и недостатки с той целью, чтобы я исправился и понял все. Поэтому я не должен и не имею права проявлять глупую строптивость. Я должен попытаться понять их точку зрения и стать на их место». И он в сотый раз говорил себе, что, если бы случай с Воробейцевым произошел в другой комендатуре, он, Лубенцов, быть может, тоже выступил бы здесь со злой и непримиримой речью. Так ли это? Что бы он сказал? Нет, он не выступил бы так, а постарался бы спокойно и серьезно проанализировать случившееся. Но, возможно, ему это кажется теперь, когда сам он попал в такое положение?

Потом выступал Яворский. Лоб Яворского был покрыт крупными каплями пота. Он каялся, и делал это очень красиво и интеллигентно, округлыми, изящными фразами. Свое покаяние он читал с бумаги, и то, что оно было написано заранее, плохо вязалось с взволнованным тоном, каким он произносил эти заготовленные наперед словеса. Он признал правильными все обвинения, справедливые и несправедливые, без разбора, почти со сладострастием отрекаясь от Лубенцова и от всего хорошего, что вся комендатура сделала в Лаутербургском районе.

Касаткин, выступления которого Лубенцов ждал с особым волнением, говорил совсем не так. Он излагал факты, положительные и отрицательные, строго объективно. Он сказал, что Лубенцов честный коммунист и талантливый работник и у него можно многому поучиться. «Да, я многому научился у Лубенцова», — сказал он твердо и несколько вызывающе. В то же время он с той же твердостью обвинял Лубенцова в ротозействе, либеральности, излишней доверчивости и опять требовал арестов.

Слушая Касаткина, Лубенцов был ему почти благодарен за объективное изложение его взглядов. Но и теперь он не мог согласиться, — и в этом он был непоколебим, — что случай с Воробейцевым должен явиться причиной недоверия к людям вообще.

Он внезапно вспомнил Дальний Восток, и юношеские впечатления странно и неуместно стали проноситься в его голове. Он представил себе зимнюю тайгу после того, как выпадет первый снег и огромные пространства превращаются в откры-

тую книгу для людей, умеющих читать ее. Перед глазами внимательного наблюдателя сокровенная жизнь лесных просторов вся как на ладони. Он видит след лисы и медведя, разлапистый след глухаря и огромную поступь уссурийского тигра. Если бы придумать такую лакмусовую бумажку, такое зеркало следов человеческой души, по которой можно читать самое тайное, самое глубинное!

Почти в конце заседания Лубенцову передали по рядам записку, которую он взял в руки, но не стал разворачивать, так как в это время начал говорить полковник — глава одной из комиссий, приезжавших в последние дни в Лаутербург для расследования. Полковник сказал, что Лубенцов потерял моральный облик коммуниста, связавшись с семьей немецкого профессора Себастьяна, которого он продвинул на должность ландрата. Он откровенно намекнул на то, что Лубенцов состоял в близких отношениях с дочерью Себастьяна, которую он же продвинул на курсы новых немецких учителей. Тот факт, что Эрика Себастьян не уехала с отцом на запад, изображался в этом выступлении как доказательство ее связи с Лубенцовым. Полковник иронически похвалил Лубенцова за его успех у женщин и иронически же сказал, что было бы гораздо полезнее, если бы Лубенцов имел успех не у Эрики Себастьян, а у ее отца, который ныне находится в американской зоне.

Этот полковник, с низким лбом и рачьими глазами, с толстыми губами любителя выпить и закусить, негодовал по поводу мнимых грехов Лубенцова с таким видом, что Лубенцов от души возненавидел его. И с ужасом Лубенцов опять подумал о том, что позорящие его слова звучат убедительно и что, вероятно, все им поверят. Поведению Лубенцова придавался дурной, позорный смысл. В воздухе пронесся душный ветерок угрюмой подозрительности, недоверия к людям — не только к нему, Лубенцову, но и ко всем сидящим здесь. «И неужели они этого не понимают? — спрашивал себя Лубенцов. — Неужели никто здесь не догадывается, что то же можно сказать о любом из них и каждому будет так же трудно, как мне, опровергнуть все это?»

В конце своей речи оратор вынул из кармана гимнастерки бумагу и, торжествующе глядя на аудиторию, медленно разгладил ее и сказал:

— Как выяснилось, Лубенцов занимался, так сказать, и «литературным трудом». Вот его «произведение», которое вручил мне один из офицеров лаутербургской комендатуры. — Зал замер, ожидая каких-то необычайно крупных новых разоблачений. — Вот, пожалуйста, — продолжал полковник, — я вам зачитаю. Товарищ Лубенцов написал что-то вроде инструкции, которую он назвал «Памяткой советского коменданта». Он позволяет себе давать наставления и советы, как должен себя вести советский комендант. — Он стал читать сочиненную

Лубенцовым в часы бессонницы «памятку». И хотя в этой «памятке» не было ничего такого, что могло бы навести тень на ее автора, но полковник читал с таким выражением, как будто в ней что ни слово, то нарушение каких-то правил, что ни буква, то отклонение от служебных обязанностей. И хотя все понимали, что в ней ничего дурного нет, но тон, каким она читалась, наводил на подозрения, назойливо требуя от аудитории осуждения и добиваясь этого осуждения. Преподнесенная в таком виде, «памятка» показалась людям предосудительной, хотя бы по одному тому, что она не была похожа на обычные утвержденные инструкции. Лубенцов, сгорая от стыда за то, что его «писанина», как он сам называл ее, предназначенная только для себя и неизвестно какими судьбами ставшая достоянием гласности, теперь читалась на собрании, прислушивался к словам «памятки». В устах полковника, при том тоне и в том обрамлении, как он ее читал, она показалась Лубенцову ужасно глупой. Но ведь только глупой — и ничего больше. А люди, вероятно, воспринимали ее как что-то преступное, запрещенное.

— Вот, — победоносно заключил полковник, поднимая высоко над головой бумажку. — Решил всех нас учить, нигде не утверждал инструкции, никому не давал на проверку.

Следующим оратором вызвали Меньшова. Меньшов протиснулся, стараясь не задеть колени Лубенцова. Он произнес всего несколько слов, очень взволнованных и путанных. Он сказал, что злосчастную «памятку» передал полковнику он, но не для того, чтобы ее обнародовать, а, наоборот, чтобы показать, что товарищ Лубенцов правильно относится к своим обязанностям и даже вот... в письменном виде... это может быть подтверждено, и что «памятку» он получил от другого офицера, который взял с него слово, что он никому ее не покажет. Тот офицер втайне от Лубенцова переписал ее для себя. А Лубенцов ни в коем случае не распространял ее и никому не давал читать. И что они, офицеры лаутербургской комендатуры, старались все время работать как можно лучше и ошибки свои постараются исправить.

Он вышел из-за трибуны, готовый сойти вниз с лесенки, но вдруг остановился и отчаянным голосом сказал:

— А на товарища Лубенцова мы не обижаемся. Он старался. Он все делал. Все, что нужно, старался делать для блага нашей родины.

Лицо генерала Куприянова выразило недоумение. Генерал развел руками.

Когда Меньшов сошел с трибуны, Лубенцов чисто механически развернул полученную им записку. В ней было написано:

«К вам приехала жена. Она дожидается вас в здании комендатуры в комнате № 63».

То, что говорилось дальше, Лубенцов уже не слышал. Все вместе складывалось слишком страшно, чтобы обращать внимание на мелкие или крупные нападки или негодовать по поводу крупных или мелких несправедливостей. Чувства, которые он испытывал, трудно описать. Вместе с волнением и радостью — страстное желание, чтобы Таня очутилась теперь за тридевять земель отсюда. Он рассматривал ее приезд как свое великое несчастье.

Неопытный в личных делах, он еще не успел убедиться и увериться в том, что женщина, жена может быть не только участницей великого таинства любви, гордой и счастливой своим мужем, но и реальной жизненной поддержкой — может быть, одной из самых сильных, какие только есть на свете. В этом ему еще предстояло убедиться. Но теперь он этого не знал и с ужасом уязвленной гордости и жалости к себе и к ней воспринял ее приезд в этих страшных обстоятельствах.

Но она его ждала в комнате номер шестьдесят три. Ему трудно было поверить в это — в то, что она находится так близко от него и его несчастья.

Он решился показать записку Чегодаеву, сидевшему рядом с ним. Тот не удержался и громко ахнул, сокрушенно покачав головой.

Как только был объявлен перерыв, Лубенцов встал и быстро пошел к дверям. Но его остановила толпа людей, устремившихся, как и он, к выходу. Он не стал расталкивать эту толпу. Ему было даже чем-то приятно то, что он движется медленно, что хоть на несколько минут будет отсрочена встреча с Таней. Так он двигался вместе с толпой и, наконец, очутился на улице.

Шел сильный дождь, и все кругом блесло.

Лубенцов пошел к машинам и, разыскав свою, велел ехать к зданию альтштадтской комендатуры.

Он быстро поднялся по ступеням и уже в вестибюле второго этажа увидел Таню. Она стояла — стройная, высокая, в сером широком дорожном пальто, очень изящная и немного чужая. Может быть, ее меняло гражданское платье, в котором он никогда не видел ее раньше, — серая шляпа с пером вместо шапки-ушанки или синего берета, туфли на высоких каблуках вместо сапог.

Со страхом, доселе ему незнакомым, серьезный и тихий, приближался к ней Лубенцов. Он обнял ее, и она прижалась к нему, вся дрожащая от радости. Ее радость отозвалась в нем ноющей болью.

Она сказала что-то про вещи, и он вначале не понял ее, настолько был он сейчас безразличен ко всем вещам на свете. Он послушно последовал за ней в комнату номер шестьдесят три. Там стояло несколько чемоданов. Он наивно ужаснулся,

подумав, что ей страшно трудно было добираться сюда с таким количеством вещей на попутных машинах: по старой военной памяти он вообразил, что именно так едут сюда из России одиночки. С удовольствием взвалил он себе на плечи чемоданы, испытывая под их тяжестью великое наслаждение. Он не позволил ей взять ничего, но она, смеясь, вырвала у него из рук один чемодан и легко понесла его. Они встретили на лестнице офицеров, возвращавшихся с собрания, но ему было все равно, что они подумают, а если он и обратил на них внимание, то только с той точки зрения, насколько понравилась им Таня. И он думал, что снесет все тяжести на свете и пусть на него накладывают все, что угодно,— он все снесет.

По дороге, в машине, они почти все время молча держались за руки.

Дома Лубенцова ожидал сюрприз. У него на квартире, при ярком освещении, собрались Чегодаев, Меньшов, Ксения, Воронин и жена Касаткина, Анастасия Степановна. Стол был накрыт. Чохов, все еще находящийся «под арестом», сидел в уголке, спокойный, строгий и — без пояса. Так полагалось арестованному, а Чохов старался делать все что полагалось.

Все разговаривали по возможности непринужденно, рассказывали Тане о Лаутербурге и о здешней жизни советской колонии. Никто ни словом не обмолвился о том, что теперь происходит в лаутербургской комендатуре. Только Анастасия Степановна однажды обняла Таню и всхлипнула. Все посмотрели на нее быстрым укоризненным взглядом. Но Таня ничего не поняла,—может быть, отнесла это странное и неожиданное движение за счет радости по поводу появления человека с родины.

Гости, впрочем, не засиделись. Несмотря на сконфуженные просьбы Лубенцова и Тани остаться, они, не менее сконфуженно, ссылались то на то, то на другое и вскоре ушли.

Не ушел один Чохов. Он нерешительно потоптался возле двери, потом спросил:

— А мне что, товарищ подполковник? Можно мне идти?

Смысл вопроса дошел до Лубенцова не сразу. Поняв, о чем его спрашивают, он подошел к Чохову и сказал:

— Иди, Василий Максимыч. Но утром обязательно приходи завтракать. Будем тебя ждать.

Оставшись наедине с Таней, Лубенцов пошел к ней — но не прямо и не быстро, а медленно и кругами, задерживаясь по пустякам то у стола, то возле стула, то у подоконника. Он почти задышался.

Утром, когда она еще спала, а он собирался идти на службу, он вспомнил, как часто представлял себе ее приезд; он, для которого работа составляла львиную долю всего бытия, собирался показать ей район, познакомить с людьми, которых он полюбил, показать ей комендатуру, город Лаутербург, сводить в собор и во все другие достопримечательные места,

объездить Гарц, пещеры и водопады. Но сейчас, при нынешних обстоятельствах, все это казалось ему уже невозможным, ненужным и далеким. Это была уже не его жизнь, не то, чем он жил все эти месяцы так напряженно.

Не желая будить Таню, Лубенцов оставил ей записку с разными хозяйственными распоряжениями, пообещав прислать сюда Ксению.

В комендатуре он все время думал о Тане. Спустя минут сорок он позвонил ей по телефону, но никто не ответил. Он хотел уже сбежать домой, проверить, все ли там хорошо, как вдруг увидел в окне ее, Таню. Она шла, пересекая площадь, и увидеть ее на этой площади Лаутербурга показалось ему очень удивительным, потому что в его мозгу эта площадь и она существовали совсем отдельно, как бы в разных мирах. Кроме того, ему было интересно просто смотреть, как она ходит. Несмотря на то, что в кабинете у него сидели люди, в том числе Лерхе и Иост, он как будто совсем забыл про них и стал смотреть внимательно, именно с огромным интересом, на то, как Таня идет по площади одна.

Он впервые в жизни подумал о том, что нет на свете двух равных походок и что в сущности походка имеет огромное значение для определения характера человека. Конечно, все это неуловимо и, вероятно, требует многолетнего наблюдения для того, чтобы стать чем-то определенным. Но походка Тани произвела на Лубенцова очень большое впечатление. Это была собранная, грациозная, решительная и в то же время необычайно женственная походка. Было в ней нечто очень достойное и в то же время скромное.

Он с трудом отвел глаза от окна и сел на свое место. Но, и начав совещание, которое он проводил, он представлял себе, как Таня приближается, видит государственный флаг над зданием комендатуры, подходит все ближе, останавливается возле часового, спрашивает его о чем-то своим чистым голосом и как часовой, — сегодня на часах Петруничев, — зная, кто она такая, потому что, разумеется, все уже знали, что она приехала, говорит ей с улыбкой (он охотно улыбается; у него и кожа вокруг губ, натянутая на больших, чуть выдающихся вперед зубах, всегда готова обнажить зубы в улыбке), что подполковник у себя наверху. И вот она теперь поднимается по лестнице.

Раздался стук в дверь.

— Войдите, — сказал Лубенцов и стремительно пошел к двери.

Таня вошла, увидела людей и чуть попятилась.

— Заходи, заходи, — сказал Лубенцов. Он подвел ее к столу и познакомил со всеми собравшимися. И все посмотрели на нее с любопытством и стали вежливо ей кланяться, как это принято у немцев.

Он усадил ее на диван и прошептал, чтобы она посидела, а если ей скучно, то Ксения может показать ей комендатуру. Но она шепнула в ответ, что ей не скучно и что она посидит.

Лубенцов, который в последнее время проводил совещания без переводчицы, на этот раз говорил по-русски, а Ксения переводила, потом она переводила то, что отвечали немцы. Речь шла о работе одного завода, потом о городском благоустройстве. После совещания к Лубенцову пришли с докладами офицеры комендатуры, затем явился Ланггейнрих, сообщивший, что он завтра будет принимать дела. Он попросил Лубенцова приехать в Финкендорф и поговорить с новым бургомистром, которого он рекомендовал на свое место. Лубенцов сказал, что не будет откладывать, и велел приготовить машину. Они вышли втроем из дома, и Лубенцов видел, как из окон нижнего этажа смотрят солдаты на жену коменданта, и ему это было приятно.

Они проехали через весь город. Лубенцов обратил внимание Тани на дома, западная стена которых была аккуратно и кокетливо покрыта сплошь красной черепицей, иногда с маленьким окошечком посередине; это называлось здесь «*Vieberschwänze*» — «Бобровыми хвостами». Потом он начал рассказывать о городе и его жителях, о замке, о легендах Гарца и местных обычаях.

Ежегодно в троицу, рассказал он, жители горных деревень собираются на деревенской площади. У каждого в укрытой белым платком клетке — зяблик. Избираются судьи, и начинаются состязания зябликов в пении: какая из птичек споет дольше, какая — красивее.

В некоторых деревнях справляют «Праздник березы». Перед дверью дома, где живет любимая девушка, юноша весной ночью вкапывает березку. Утром молодые люди идут в лес, поют, выпивают, украшают березы пестрыми лентами. В других деревнях во время второго сенокоса, в начале августа, другой праздник — «Гразетанц», то есть сенной, или травяной, танец. В этот день женщины — хозяева. Они идут в ратушу и забирают у бургомистра власть на весь день, выбирая на его должность одну из женщин. Потом они раскладывают охапки сена на площади и приглашают мужчин танцевать. Начинаются танцы — польки, вальсы, кадрили, «райнлендер». Женщины продают сено с аукциона; естественно, дороже продают те, кто посимпатичнее. А та, что продала свое сено всех дороже, избирается королевой.

Слушая рассказы Лубенцова, Ланггейнрих — он уже немного понимал по-русски — усмехался и кивал головой.

Потом Лубенцов начал рассказывать Тане местные легенды: о «Диком Человеке» — духе Гарца с длинной бородой и растрепанными волосами, одетом в звериные шкуры; он — защитник бедняков, находящихся в опасности или беде; о Генрихе Птицелове, который будто бы жив до сих пор, правит

Гарцем, ловит птиц. Гакельберг — рыцарь, мчащийся верхом по воздуху, — является спасти свой край, когда краю грозит опасность.

— Угнетенный народ, — сказал Ланггейнрих, решив подвести под эти легенды марксистский базис, — придумывал для себя утешения...

В маленькой деревенской ратуше с когтистой крышей из красной черепицы и с деревянными фигурами по углам карниза Лубенцов поговорил с вновь назначенным бургомистром, некоторое время присутствовал на приеме крестьян, пришедших сюда по разным делам, вмешивался в разговоры, почти всех молодых людей называя по имени, а стариков по фамилии.

Часа два спустя они поехали обратно. Таня молчала, только гладила руку мужа.

— Нет, — сказала она, наконец. — Немцы не заслужили таких комендантов, как ты. — Он посмотрел на нее удивленно. Она продолжала: — В моем родном городе Юхнове в сорок первом году был немецкий комендант. Он организовал неподалеку от Юхнова детский дом для советских детей. Детей там хорошо кормили, но потом забирали у них кровь для немецких офицерских госпиталей. Это факт. Это мне рассказывали мои земляки несколько дней назад. А ты обращаешься с немцами так, как будто всего этого никогда, никогда не было.

— Так надо, — сказал Лубенцов. — Мы ведь не фашисты, — добавил он минуту погодя.

— Я все понимаю. Но надо про это помнить.

— У меня на этот счет странное ощущение. Я и помню и не помню. Я все время думаю про это и, с другой стороны, понимаю, что путь, по которому мы ведем их, — правильный путь, и если они будут верно идти, *того* больше не повторится. Вот в чем дело.

— Я тебя люблю, — сказала она, и он не понял, почему она это сказала именно теперь, потому что не был актером и не знал, когда именно он наиболее обаятелен.

— Ты что? — спросил он вдруг. — Завтракала уже? Купалась уже?

— Ах! — вспомнила она и всплеснула руками. — Там для меня все готово, а я не выдержала и побежала к тебе. И капитан Чохов там ждет завтрака.

Приехав домой, они сели завтракать. Разговор не клеился. Чохов был молчалив. Он чувствовал себя неловко, его угнетала обязанность притворяться спокойным. Радость Тани, которая ничего не знала о происходящем, и неумелое притворство Лубенцова мучили Чохова. Он был до того удручен, что не мог заставить себя съесть ни куска и в угрюмом молчании думал одно и то же: «Это я во всем виноват, я — и никто больше».

Перед его глазами все время стояло лицо Воробейцева, и его сердце обливалось кровью, когда он вспоминал их поездки и разговоры. «Ведь я так легко мог его убить. Ведь мне ничего не стоило укокошить его хотя бы там, в общежитии в Потсдаме, или, например, на охоте, или у него на квартире... Да, но ведь он тогда не был изменником. И кто мог подумать, что он не просто слюнтяй и ничтожество, а преступник и подлец...»

Чохов поднялся с места и, пробормотав прощальные слова, ушел.

А Лубенцов никак не мог придумать, как лучше рассказать обо всем Тане. Больше всего он боялся, что гадкая сплетня про Эрику Себастьян дойдет до Тани из других уст и что она поверит этой сплетне. Он пристально смотрел на Таню и, улыбаясь ей, неотступно думал о том, поверит ли она и что сделает, если поверит. Она может, не выслушивая никаких объяснений, просто взять и уехать. И он со страхом думал, что в конце концов мало знает ее.

Она начала распаковывать свои чемоданы. И он с особенной болью следил за ее работой, так как предполагал, что она это делает зря и что завтра придется снова складывать чемоданы, чтобы куда-нибудь уехать, — в лучшем случае вдвоем. В то же время он любовался ее вещами — платьями и ночными сорочками, которые она без стеснения вынимала и раскладывала на стульях, столах и диванах. По комнате разнеслось благоухание этих вещей. Вынутые и разложенные где попало, они наполнили комнату запахом уюта, женщины, семьи. Таня раскладывала их любовно, и Лубенцов видел, что она любит красивые вещи, и понимал ее любовь к красивым вещам. Но настолько он знал ее, чтобы быть уверенным в том, что вещи не являются и никогда не будут главным для нее.

Наконец, он сказал:

— Таня, у меня очень большие неприятности по службе.

— Я это чувствовала, — сказала она, поднимаясь с корточек и подходя к нему.

Он был поражен этими ясными и спокойными словами. Она пристально смотрела на него, потом подошла и села рядом.

— Я чувствовала и видела, как ты мучаешься, хотя ты притворялся довольно искусно. Ты здесь здорово научился притворяться. Вероятно, если бы я не любила тебя, я бы ничего не поняла.

Он поведал ей обо всем, что случилось за последние дни. И в конце, после минутного молчания, все-таки решился и рассказал ей о подозрениях начальников насчет Эрики Себастьян.

Она не пошевелинулась и все продолжала пристально глядеть на него. Она прекрасно понимала, как трудно было ему сказать ей эти слова. Более того, она допускала, что ска-

занное вчера на собрании — правда. Но она даже не спросила у Лубенцова, правда ли это. Потому что при данных обстоятельствах это потеряло всякое значение. Важно было то, что он, любимый ею человек, находился в тяжелом положении, был в беде; почувствовав всю меру его отчаяния, она уже не могла думать о своих оскорбленных чувствах, если они даже действительно были оскорблены. Ей даже показалось непонятным, хотя и трогательным, его волнение. Она знала, что никогда не спросит его ни о чем, несмотря на то, что при других обстоятельствах связь Лубенцова с немкой показалась бы ей чудовищно оскорбительным, непоправимым поступком.

Она придвинулась к нему, обняла его, и так они молча просидели несколько минут. Потом она встала и сказала:

— Тебе надо хорошо обдумать сегодняшнее выступление.

— Да,— сказал он и тоже встал.— Я пойду в комендатуру.

— Нет, иди погуляй в одиночестве. Подумай.

— Хорошо. Ты права.

ХVIII

Погода стояла ветреная и хмурая, под стать теперешнему состоянию Лубенцова. Он пошел по улице и незаметно для себя вышел на большую дорогу, ведущую на запад, в горы. Вскоре он достиг гостиницы «Белого оленя», возле которой ночевал в машине в памятную ночь своего приезда в Лаутербург. Ходьба и сильный ветер прояснили его мысли. Он зашел в гостиницу, посидел там несколько минут, выпил кружку пива и снова вышел, с тем чтобы идти в город.

На асфальте узкой дороги не видно было ни пешеходов, ни машин. Царила великая тишина. Только ветер яростными порывами бушевал среди сосен и гнул к земле голые кусты боярышника у обочины дороги.

Дорога делала крутой поворот, и, пройдя под нависшей над самой дорогой глыбой гранита, Лубенцов увидел одинокого путника, идущего, как и он, по направлению к городу. Путник был одет в черненькое пальтецо. Ботинки его и брюки были в грязи. В руке он держал длинную самодельную палку, повидимому, вырубленную недавно здесь же, в горах. Со шляпой, надвинутой на самые уши, шел он, сутулясь, большими шагами.

Его худая высокая фигура показалась Лубенцову знакомой. Несмотря на холод и ветер, человек шел широко и даже как будто весело. Когда внизу, в котловине, показались красные крыши Лаутербурга, путник остановился и некоторое время постоял неподвижно, глядя вниз, на город.

Нет, определенно что-то в нем было знакомо Лубенцову. Лубенцов прибавил шагу и вскоре, за следующим поворотом,

поровнялся с путником. Тот не слышал его приближения, так как ветер был очень силен и свирепо завывал.

Это был профессор Себастьян. Радость Лубенцова могла равняться только с его удивлением. Он не стал окликать профессора, а замедлил шаги и еще некоторое время шел следом за ним, с умилением прислушиваясь к голосу профессора. Да, профессор разговаривал с собой, время от времени пел что-то, вернее, бурчал себе под нос какую-то песню.

Честность — великая сила. И при решении важных исторических вопросов она имеет немалое значение. В этот момент Лубенцов, почти смеясь от счастья, понял, что он был прав, что воспитание людей, даже старых, может делать чудеса, и благословил свои беседы, разговоры, уговоры, разъезды с Себастьяном, свои терпеливые споры с ним, свой «либерализм», о котором с угрюмым упреком говорил Касаткин.

Кое-как совладав с биением своего сердца, Лубенцов приготовил первую фразу и произнес ее громко:

— Э, да мы, кажется, знакомы!

Себастьян остановился как вкопанный и повернул голову к Лубенцову. На его лице изобразилась радостная улыбка.

— Вот кого я не ожидал встретить здесь, — сказал он, — и с кем хотел встретиться больше, чем со всеми.

— Пошли, пошли, укроемся за скалу, — сказал Лубенцов. — Ветер так и валит с ног.

— Как там моя дочь?

— Здорова.

— Надеюсь, вы не станете убеждать меня в том, что идете за мной с самого Франкфурта-на-Майне? — спросил Себастьян.

— Не стану, — ответил Лубенцов. — Почему вы пешком? Что с вами приключилось?

— Моей злосчастной машине совсем капут. Пришлось ее бросить возле одной гостиницы в горах. Километров десять отсюда. Еле добрался. И вообще хлебнул немало приключений, о которых буду еще иметь честь рассказать вам. Сигарет нету?

— Курите. Пошли. Рассказывайте.

— Теперь не буду рассказывать. После, когда отогреюсь, все расскажу. Вкратце скажу — не хотели меня отпускать. Еле уехал. Фактически убежал. Но это длинный разговор.

Они пошли рядом. Так как дорога шла под гору, они двигались быстро и вскоре очутились на лаутербургской улице. Слева от них была гора с замком, справа — здание бывшей английской комендатуры, где теперь помещался учительский семинар.

— Вы совершили приятную прогулку, — сказал Лубенцов, прощаясь с профессором на углу, так как сам спешил в комендатуру.

— Приятную? — сказал профессор, выразительно посмотрев на Лубенцова. — По правде говоря, не слишком приятную,

но зато полезную. Очень полезную. Я вам все расскажу. Я все время думал о том, как я вам буду рассказывать.

Он ушел налево, а Лубенцов, постояв на углу еще минуты две, пошел направо.

«Мое сегодняшнее выступление почти готово»,— подумал он.

Показалась громада собора. Обойдя его, он увидел издали помещение комендатуры и развевавшийся над ним в порывах ветра советский флаг. В этот момент Лубенцов почувствовал, что он очень устал, как после тяжелой болезни.

Издали еще он рассмотрел две машины, которые стояли в готовности везти его и его сотрудников на собрание. Касаткин, Яворский, Чегодаев и Меньшов уже стояли на улице. Рядом на тротуаре тревожно прохаживался Воронин, видимо беспокоясь за Лубенцова, которого нигде не могли найти.

Лубенцов с невольным злорадством посмотрел на Касаткина. Он хотел было ничего им не говорить, испытывая почти мальчишеское желание произвести главный эффект во время своего выступления. Но тут же он попенял себе самому и сказал, обращаясь в Меньшову:

— Идите, Меньшов, вверх и позвоните генералу Куприянову, что профессор Себастьян только что вернулся.

— Черт возьми!— громыхнул Чегодаев и хлопнул Меньшова по спине.— Беги скорее!

— Это хорошо. Это очень хорошо,— пробормотал Касаткин, и его угрюмое лицо просветлело. Яворский начал протирать очки.

Меньшов быстро сбегал вверх и вернулся минут через пять, сказав, что передал обо всем адъютанту генерала. Самого генерала не было.

Они сели по машинам и поехали.

И опять началось собрание. И опять весь зал сидел напряженный и взволнованный. И снова президиум выглядел суровым и непримиримым.

Лубенцов, усевшись на свое место, прежде всего посмотрел на Куприянова и с некоторым удивлением отметил, что у Куприянова все тот же нахмуренный и замкнутый вид. «Неужели он еще не знает?»— подумал Лубенцов.

Куприянов действительно не знал о возвращении Себастьяна, так как прибыл на собрание с какого-то другого совещания, не заехав к себе на службу.

Первым дали слово Леонову.

Леонов сидел где-то в задних рядах. Он, не торопясь, пошел к трибуне через весь зал. На его лице застыла непонятная задумчивая улыбка. Он грузно поднялся по лестнице и, остановившись у трибуны, все с той же непонятной улыбкой окинул взглядом молчаливый зал. Он начал говорить медленно, спокойно, с той уверенной в себе, чуть иронической миной,

которую слушатели так любят и которая готова при случае разрешиться сногсшибательной шуткой, остротой и удивительно уместной народной поговоркой. Его басок рокотал негромко, но властно, а большие руки, положенные на пюпитр и слабо сжатые в кулаки, не позволяли себе излишней жестикуляции; только иногда одна из них поднимет указательный палец или просто разожметя, а изредка разжимаются обе ладонями вверх и тут же соприкасаются и тогда впиваются друг в друга, чтобы, полежав здесь полминуты вместе, снова разжаться и лечь обратно в спокойной и непринужденной позе.

Лубенцов смотрел все время на эти руки, и каждая из них казалась ему близким другом, на которого можно положиться, как на самого себя, — мудрым и спокойным другом, немножко смешным.

— Что ж, — сказал Леонов. — Начну с того, чем кончил уважаемый товарищ полковник на вчерашнем заседании. Вот как раз насчет этой самой «памятки», которую он нам зачитал здесь с таким видом, словно это «Майн кампф» Адольфа Гитлера. И чего эта «памятка» так его испугала? Неплохо написано, а главное — верно. Готов ее переписать и кое в чем ей следовать. Жаль, что Лубенцов мне про нее раньше не говорил. А не говорил, конечно, потому, что писал ее вроде как дневник — для себя. А дневники на собраниях читать не полагаются. Они публикуются после смерти, и то если написаны каким-нибудь Пушкиным или Толстым, а не нами, грешными. Многие Лубенцова знают. А кто не знает, мог по этому отрывку из дневника судить о том, что это человек, преданный нашему делу, мыслящий, деятельный и кристально честный. А я? Я Лубенцова знаю и без того. Знаю и верю ему. А когда с человеком, которого ты знаешь и которому веришь, случается несчастье, то долг всех его товарищей, в особенности коммунистов, разобратся в этом деле подробно и без истерик и помочь ему. Так или не так? Так, именно так. Что же случилось с Лубенцовым? Вернее, что случилось в комендатуре, которую он возглавляет? В комендатуру по недосмотру отдела кадров попал негодяй. Или, может быть, и отдел кадров нельзя тут слишком обвинять. Может быть, этот человек стал негодяем уже здесь, вкусив буржуазной отравы. В чем вина Лубенцова? В том, что он не раскусил этого мерзавца. К слову сказать, такие мерзавцы, хотя бы они были круглыми дураками, одно умеют делать превосходно. Они умеют маскироваться. В этом умении им отказать нельзя. Так вот, на этом примере мы должны учиться лучше распознавать людей, пристальнее смотреть на людей, а не на их анкеты. И на этом примере мы должны учиться не впадать в панику, не валить всех в одну кучу... Тут обвиняли Лубенцова, что он общался с немцами, что-то говорил им, обещал, беседовал. Странное обвинение, основанное на недоверии к людям. Я не могу поверить, что кто бы то ни было

на свете способен сагитировать Лубенцова против нашего строя. Напротив, я уверен, что Лубенцов способен сагитировать многих и многих за наш строй. Он это и делал. И пусть делает дальше. Смотрите, что получается с Лубенцовым. Его достоинства изображаются как недостатки. Даже тот факт, что он изучает экономику своего района, германскую историю и литературу, даже и это под горячую руку, — не знаю, с чистыми или нечистыми намерениями, это дело товарища Пигарева решить, — даже и это изображается как некий недостаток Лубенцова, чуть ли не приведший к бегству Воробейцева. Лубенцов пишет, что комендант должен быть бескорыстен, а корыстный комендант, даже если он семи пядей во лбу, не может исполнять эту должность, — и вот уже говорят, что это чуть ли не что-то криминальное, хотя это общепризнано нами всеми. Критика и шельмование — две разные вещи, не будем их путать. У нас их иногда путают. И пусть тень мерзавца Воробейцева не падает на наше собрание, на нас всех. Спокойствие и отсутствие паники в нашем деле — вещь необходимая. Вот тут незазнавшийся товарищ Пигарев бил кулаком по этому месту, — здесь на трибуне даже трещина появилась. А я вам говорю без ударов кулаком, что нет среди нас человека более простого в обращении, лучшего товарища, всегда готового прийти на помощь и попросить о помощи, посоветовать и посочетоваться, чем товарищ Лубенцов. Я обращаюсь к президиуму — не пора ли, товарищи, дать высказаться Лубенцову? А то обвиняют его, а слова не дают.

С этими словами Леонов сошел с трибуны под шумные аплодисменты зала. Аплодисменты эти долго не прекращались, несмотря на нервный звонок председателя. И, несмотря на этот звонок, на перешептывание президиума, на удивленное и мрачное лицо генерала Куприянова, после выступления Леонова в настроении зала наступил явный перелом, неожиданный для Лубенцова.

Это был даже не перелом настроения; просто то настроение, которое здесь пробивалось раньше, но которое из-за атмосферы запуганности, опасений и справедливого возмущения делом Воробейцева не проявляло себя, теперь, после свободного, спокойного и даже несколько веселого выступления Леонова, наконец проявило себя.

После Леонова выступали еще три офицера. И эти офицеры, с которыми Лубенцов был знаком не так уж близко и от которых вовсе не ожидал горячей поддержки, решительно поддержали его. И Лубенцов не без удивления слушал, как они рассказывали о своих встречах и разговорах с ним, о которых он уже давно забыл, а они помнили.

Затем выступил Чегодаев. Этот большой, толстый человек, не отличавшийся ораторским талантом, начал бесхитростно рассказывать о делах и днях лаутербургской комендатуры, о

работе Лубенцова и других офицеров, о его беседах с ними, об авторитете, который он имеет у немцев, и так далее. И это было убедительнее любых ораторских ухищрений. Его выступление подействовало на генерала Куприянова, который заколебался, что было немедленно замечено окружающими его людьми в президиуме и многими в зале. И это в свою очередь вызвало со стороны тех людей, которые склонны приноравливать свою точку зрения к точке зрения начальства, желание выступить совсем не в том духе, в каком они собирались выступить раньше.

Секретарь парторганизации подполковник Горбенко был от души рад новому повороту дела — он любил Лубенцова и ценил его. Но так как сам он вначале информировал собрание совсем в другом духе и ему было немного стыдно перед Лубенцовым, то теперь он без труда уговорил себя, что резкий тон, взятый им, имел чисто педагогические цели и что собрание проходит успешно, по заранее задуманному рисунку. Он шепнул об этом генералу Куприянову, который хотя и не согласился с этим, но не стал оспаривать мнение подполковника и только еще более утвердился в новом настроении и в решении не снимать Лубенцова с работы, как он предполагал раньше. Поэтому, когда как раз в это время адъютант генерала, появившийся из-за кулис на сцене, шепнул ему о возвращении профессора Себастьяна из американской зоны в Лаутербург, генерал воспринял это не как сенсацию, а как лишнее подтверждение того верного мнения, какое складывалось среди офицеров, той истины, которая после длительного обсуждения выявилась, наконец, и выявилась демократически, путем активного и свободного участия в прениях всех записавшихся ораторов, несмотря на то, что многие ораторы в пылу полемики, естественно, взбудораженные безобразным случаем с Воробейцевым, навалили на Лубенцова кучу несправедливых обвинений. С другой стороны, те товарищи, которые выступили в защиту Лубенцова, чересчур расхваливали его и как бы пытались снять с него всю ответственность за случившееся, что тоже неверно.

Следовало найти золотую середину. И выступление генерала Куприянова, последовавшее вслед за выступлением Чегодаева, и было той золотой серединой, которая в общем была справедливой — действительно справедливой. И весь зал был благодарен Куприянову за его выступление, и он сам пошел, что выступление очень удачно.

Потом слово было предоставлено Лубенцову. Не будем приводить его речи. Смысл ее ясен из всей деятельности Лубенцова и из его воззрений, известных читателю. Он опроверг несправедливые обвинения и, сознавшись в своей вине в деле Воробейцева, со всей страстью обрушился на людей, смешивающих бдительность с подозрительностью. Он сказал, что верит в своих товарищей и верит в правильные устремления,

здравый смысл и будущее немецкого трудового народа. Это то, на чем мы стоим и без чего не имела бы смысла наша работа, нелегкая миссия борющегося, убежденного, цельного советского человека и коммуниста в мире, раздираемом противоречиями.

ХІХ

В этот вечер Себастьян так и не дождался Лубенцова, хотя, отдохнув и выспавшись, жаждал поскорее увидеть его и рассказать обо всем, что он видел и передумал за дни пребывания на западе.

Более того, Себастьян считал, что если он смог что-нибудь увидеть и узнать во время своего пребывания там, то этим он в большой мере обязан Лубенцову. Именно общение с Лубенцовым, их совместные разъезды по Лаутербургскому району научили его этому как будто простому, а на самом деле очень сложному и трудному искусству — общаться с простыми людьми, и беседуя с ними, уметь их слушать и понимать.

Если бы он во Франкфурте-на-Майне в загородном доме Вальтера не имел за плечами этого кратковременного, но важного опыта, он узнал бы только то, что Вальтер и приятели Вальтера пожелали бы ему рассказать.

Но нет, он кое-чему научился у русского подполковника. Вальтера удивила неожиданная энергия отца, его длительные беседы с разными людьми, его прогулки по городу и окрестностям, во время которых — иногда в присутствии Вальтера — он с легкостью заговаривал с рабочими, торговцами, крестьянами и просто со случайными прохожими. Вальтер никогда не знал за отцом такого демократизма, такого — по мнению Вальтера — ненормального интереса к жизни и делам черни, толпы. Но Себастьян только хитро усмехался в ответ на его недоумения и продолжал узнавать жизнь не по рецептам господина Себастьяна-младшего, а по рецептам господина Лубенцова.

Справедливости ради надо сказать, что разобраться во всей обстановке помогло Себастьяну не одно только общение с Лубенцовым, а и общение с подполковником Дугласом, американским офицером, с которым его во Франкфурте познакомил Вальтер. Себастьян и американец понравились друг другу и стали часто встречаться и вместе гулять.

Дуглас, умный и веселый собеседник, огромного роста детина с глазами ребенка, разделял воззрения покойного президента Рузвельта и не скрывал этого ни от Себастьяна, ни от своих начальников. Начальники побаивались его прямоты, глубокого ума, широкой образованности и острого языка. Вместе со своими ближайшими сотрудниками он составлял кружок, к которому даже его противники относились с уважением, сознавая, что «дугласовцы» — наиболее талантливые работники

Администрации. Академическая ученость в германском вопросе соединялась в Дугласе с быстротой соображения и пронырливостью первоклассного газетного репортера.

Он не скрыл от Себастьяна, что является ярым противником американской политики в Германии, и немножко приоткрыл перед немецким ученым завесу, скрывавшую действительные факты.

На вечерних раутах, которые Вальтер устраивал специально для отца, преобладали настроения больших надежд и, пожалуй, даже полной уверенности в том, что крупная немецкая промышленность сможет с помощью американцев очиститься от «безрассудных обвинений», встать на ноги и занять принадлежащее ей по праву место в хищном братстве предпринимателей, «эксплуататоров», как их честили разные левые во всех странах мира.

Сам Вальтер преувеличенно восторгался американцами и пересыпал свою речь американскими словечками, что неприятно резало слух профессору Себастьяну и чем-то напоминало ему его путешествие в Египет лет пятнадцать назад и говор александрийских извозчиков, пересыпавших свою речь словечками всех языков мира; это пахло колонией, и Себастьяна, с его чувствительностью и эстетическим вкусом, всего пердегивало.

Впрочем, восторги Вальтера казались Себастьяну не такими уж искренними. Нередко он после служебных дел приходил домой мрачный и молчаливый.

Перед Себастьяном прошла целая галерея немецких промышленников и банкиров, людей, которые еще недавно могли почитаться потерпевшими полную катастрофу. Теперь они жили и приобрели старую самоуверенную осанку.

Уже не было секретом, что в Американской Администрации задают тон сторонники «восстановления», что лозунгом бригадного генерала Уильяма Дрейпера-младшего, руководителя экономического управления, является: «Сперва восстановление, потом реформы». Советники Администрации из немцев нарочито представляли перед американцами положение немецкой промышленности в самом пессимистическом свете, говорили, что она находится в состоянии полного ничтожества и что денацификация, провозглашенная Потсдамским соглашением, лишив германскую промышленность ее лучших руководителей, приведет к застою, остановке транспорта и к полному и окончательному краху всей экономики.

Но дело было, конечно, не только в информации советников. Дело было в том, — и об этом говорили почти открыто, — что и Клей, и Дрейпер, и некоторые другие руководители Американской Администрации были людьми «большого бизнеса», банкирами и промышленниками, представителями как раз тех американских промышленных и банковских концернов, которые

в свое время вложили в германскую промышленность огромные деньги, имели постоянную связь с германским капиталом и по этой причине числились специалистами по германскому вопросу и знатоками германской экономики.

Американские администраторы были сплошь да рядом всего-навсего денежными тузами, надевшими военные мундиры.

Все это Себастьяну вскоре стало ясно, а беседы его с Дугласом помогли ему окончательно понять положение вещей.

Дуглас с грустью воспринимал все события последнего времени, ругал Дрейпера на чем свет стоит и не скрывал от Себастьяна своего уныния и возмущения.

— Покойный президент, — сказал он, — перевернулся бы в гробу, если бы все это видел. Решено, я уйду в отставку. Поеду домой, будь что будет.

Однажды Дуглас повез Себастьяна километров за семьдесят от города в лагерь для немецких переселенцев из восточных земель. Лагерь этот являл картину ужасной нищеты. У беженцев не было даже посуды, и они готовили еду в старых консервных банках. В большинстве это были безработные. Среди них ползали слухи, которые кем-то усиленно муссировались, — слухи о том, что вскоре они вернуться на свои земли за Одером и Нейссе. Когда? Тогда, когда оттуда прогонят русских и поляков. Кто прогонит?

В ответ на это следовала многозначительная ухмылка.

Иронически усмехаясь, Дуглас рассказал Себастьяну о том, что американские коменданты на местах — в городках и крупных селах — жили, как мелкие князьки. Вовсе неподготовленные к несению этой службы, они жили в свое удовольствие. Всеми делами фактически заправляли молодые красивые немки, ставшие их наложницами. Кому эти немки симпатизировали — тех поддерживали американские коменданты. А так как девицы, как правило, принадлежали к привилегированным слоям населения, то оказывалось чаще всего, что эти слои получали постоянные льготы в ущерб другим.

В связи со словами Дугласа Себастьян не мог не вспомнить об отношениях Лубенцова и Эрики. Он, конечно, догадывался о том, что происходило между его дочерью и советским комендантом, чуть-чуть сочувствовал Эрике, но в то же время восхищался выдержкой Лубенцова, его чувством служебного долга и ответственности. Профессор вздыхал, думая об Эрике, и решил поскорее вернуться домой.

Здесь, на западе, ненависть к Советскому Союзу уже не скрывалась, по крайней мере в кругах, близких к Вальтеру. Вся зона кишела разными «организациями», «бюро», «конторами», «представительствами» различных свергнутых на Востоке режимов. В десятках лагерей собирались перемещенные лица, люди без определенных профессий, бывшие политики и адвокаты, накипь варшавских, пражских и львовских кафе,

украинские фашисты, хорватские усташы и сторонники словацкого диктатора Тиссо — люди, лишенные отечества, изменники и уголовники. Их подкармливали, поддерживали, укрывали.

Себастьян с ужасом думал о будущем, о том, к чему это все приведет и не настанет ли день, когда бывшие союзники в войне открыто разорвут друг с другом. Тогда — горе Германии, разделенной на две части, Германии, которая немедленно превратится в плацдарм кровопролитнейшей из войн.

Как-то вечером Вальтер впервые заговорил о старом проекте переезда Себастьяна сюда, на запад. Он представил отцу все выгоды этого переезда.

— Напиши Эрике,— сказал он.— Мы передадим письмо через верного человека и организуем ее переезд сюда. Захватят и твою библиотеку и все ценное, что у тебя есть.

Себастьян сказал:

— Нет. Я не перееду сюда. Побуду там, у себя. Времена изменятся. Будет подписан мирный договор, Германия объединится...

— Неужели ты веришь в это?— спросил Вальтер грустно.— Разве ты не видишь, что этого уже никогда не будет?

— Не знаю. Вот ты все время расхваливаешь здешние порядки. А чем вы здесь можете похвастать? Тем, что все остается попрежнему? Что нацисты вылезают из своих нор и, уплачивая штраф в тысячу марок, считаются очищенными от гитлеровской скверны? Тем, что юнкера попрежнему владеют поместьями? Что люди, приведшие Гитлера к власти, снова выходят на свет божий, как будто ничего не изменилось на этом свете? Что американские офицеры и банкиры, презирающие немецкий народ, преклоняются перед немецкими банкирами? Объявляют нацизм народным движением, а наших промышленников — невинными агнцами? Там у нас хотя бы проводят эксперименты. Там хотя бы искренне пытаются искоренить нацизм. Нет там нацистам житья, нет и не будет, и они это прекрасно знают. Там хотя бы пытаются дать возможность антинацистским силам играть ведущую роль... Не знаю, чем все кончится, будет ли советская политика иметь успех, но по крайней мере они пытаются что-то сделать... Не сердись, Вальтер. Таково мое мнение, и я от него не собираюсь отказываться.

— Значит, ты хочешь обратно в Лаутербург?— спросил Вальтер и как бы невзначай заметил: — Ты, я вижу, больший патриот, чем сами русские. Вот как раз из Лаутербурга убежал один русский офицер. Убежал сюда. Ему тамошний рай надоел.

Себастьян ничего не ответил, только махнул рукой. Он был рад, что, наконец, высказал все, что хотел высказать.

На следующий день ему пришлось вспомнить об этих словах Вальтера. Во время прогулки он заметил на противоположном тротуаре группу американских военных и среди них человека в русской шинели, но без погон. Лицо человека показалось

Себастьяну очень знакомым. Он где-то видел эту развинченную походку и сухощавую фигуру, эти глубоко запавшие маленькие глазки и большой, чуть обвисший нос. На голове человека была русская форменная шапка с ясно видимым, более светлым пятиконечным следом от недавно снятой звезды.

«Неужели это тот капитан из лаутербургской комендатуры?» — с удивлением и испугом подумал Себастьян.

Воробейцев тоже узнал его. Он вдруг остановился, смешался, весь побелел и сделал шаг назад. Но потом, ложно поняв присутствие Себастьяна во Франкфурте, обрел свою обычную нахальную мину и крикнул:

— А!.. Земляк из Лаутербурга!

Себастьян согнулся, как под ударом, быстро прошел мимо и завернул за угол.

На следующий день утром к Вальтеру пришел Коллинз. Себастьян мельком видел, как он проходил к Вальтеру в кабинет, трогая на ходу разные предметы в столовой. Вальтер пробыл с американцем часа два, и, когда они вышли из кабинета, их лица были довольно мрачны и решительны.

— Ты не можешь вернуться обратно,— сказал Вальтер.

— Почему?— спросил Себастьян, медленно вставая.— Что же, я арестован, что ли?

— Ах нет,— вмешался Коллинз.— Вы неправильно поняли нас. Просто вам, господин профессор, рекомендуется задержаться для вашей же пользы... Дело в том, что в Лаутербурге произошли большие события, весьма серьезные. Арестованы комендант и ваша дочь. Вам нельзя вернуться.

Себастьян посмотрел на него в упор, хотел что-то ответить, но сдержался и сел на место.

— Вашу дочь мы выручим,— продолжал Коллинз.— Не беспокойтесь. Все будет вполне удовлетворительно.

— Хорошо,— произнес Себастьян смиренно.

Ночью он пробрался в гараж. Так как в его машине почти не было бензина, он перелил весь бензин из машины Вальтера в свою и уехал.

Не то чтобы он не поверил, что Эрика арестована. Нет, именно допуская, что это возможно, он твердо решил вернуться. Господин Коллинз плохо рассчитал.

XX

Что касается Воробейцева, то он в тот момент, когда Себастьян не пожелал с ним поздороваться, грубо выругался и пустился в дальнейший путь с тремя американцами, которые теперь всюду сопровождали его.

• Это были славные рослые парни, забулдыги и шутники. С ними вместе он ходил и ездил по радиостанциям и редакциям. Жил он вольготно и привольно и чувствовал себя до

некоторой степени героем дня. Он дал несколько пресс-конференций. К нему в отель приходили отщепенцы из бывших властителей и просили его протекции для устройства на работу. Он говорил, что ему взбрело на ум, и ему верили или притворялись, что верят. Ему давали деньги в оккупационных марках и долларах и разрешали посещать американский офицерский бар, где всегда было весело и шумно и куда ходили немки, предварительно освидетельствованные американским врачом-венерологом. Ему обещали, что он совершит путешествие — нечто вроде пропагандистского турне — по Соединенным Штатам и Южной Америке. Он хотел побывать в Париже, и ему обещали, что он там будет. Поездки эти, правда, все откладывались, и, когда он однажды настойчиво попросил отпустить его, американский лейтенант, в чьем ведении он находился, пропустил его просьбу мимо ушей. Уайт, с которым Воробейцев виделся раза два, похлопывал его по плечу, хвалил за его «смелый и решительный поступок» и глядел на него при этом неподвижными глазами, непроницаемыми, как свинец.

С тремя американцами, которые сопровождали Воробейцева, он подружился. Это были бесхитростные парни, они относились к нему, вроде как к кинозвезде, и ему казалось, что они гордятся тем, что назначены сопровождать и охранять его.

Труднее было ему тогда, когда он оставался в одиночестве. Тогда его охватывал страх. Ему мерещилось, что в Альтштадте, Галле, Берлине и даже в Москве идут совещания с целью уничтожить его. Кроме того, его преследовала странная галлюцинация, которая особенно досаждала ему перед сном, когда он лежал в постели: перед ним возникало вдруг человеческое лицо — довольно широкое, плоское, с черной бородой и кровавой полосой от правого виска до низа левой щеки. Оно не давало ему уснуть, и он никак не мог вспомнить, чье это лицо и почему оно преследует его. Он только знал совершенно точно, что где-то видел это лицо, но не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах.

Он старался ложиться спать как можно позже, пил и гулял напропалую, но все равно хотя бы на рассвете, когда он ложился спать, ему вспоминалось это лицо.

После встречи с Себастьяном он и сопровождавшие его американцы зашли в бар и стоя выпили по рюмке водки. Он уплатил, — он всегда платил за них.

Один из американцев, светловолосый, по имени Майкл, сказал (они все неплохо говорили по-немецки):

— Сегодня в варьете выступает та самая Эдит.

— Пойдем туда? — спросил другой, которого звали Томом. Он был черноволосый и ленивый, родом из штата Миссури — «оттуда, откуда и президент Трумэн», хвастался он иногда.

— Там мы погуляем как следует, — поддержал их третий, Билл, большой и рыжий. Он всегда улыбался.

— Да, обязательно сходим,— оживился Воробейцев и указал по второй рюмке.

Они стояли тесным кружком. Вдруг Билл, глядя на Воробейцева со спокойной улыбкой, поднял правую ногу и сильно ударил Воробейцева кованым каблуком ботинка по носку хромового сапога. Удар был неожиданный, хамский, беспричинный — просто так, потому, что это ему захотелось сделать, и потому, что он знал, что Воробейцев не может ему ответить тем же. Это был удар по русскому, лишенному защиты родины, по человеку, впавшему в полное ничтожество. И оттого, что никто не ожидал этого удара и тем не менее остальные американцы продолжали с подчеркнуто скучающим видом разговаривать и шутить, как будто ничего не произошло, Воробейцев, униженный, дрожащий, вдруг с предельной силой понял, что он одинокий, как перст, мерзавец, которого никто не защищает на свете. И циническое знание этого было написано на ухмыляющемся лице рыжего американца и на лицах его товарищей; их скучающие лица были, может быть, еще страшнее, чем издевательская ухмылка рыжего.

Воробейцев в этот момент сознавал, что никакой человек в мире не должен был и не мог бы стерпеть этого и только он один мог и должен был это стерпеть. И вдруг он понял с поразительной ясностью, что не будет ему никакой легкой жизни и никаких путешествий и что через короткий срок он будет рядовым отребьем и отщепенцем среди таких же, как он. И он, наконец, припомнил, кому принадлежало то лицо — окровавленное, бородатое, с полными ужаса глазами. Оно принадлежало тому изменнику родины, которого убивали, медленно и методично, разоблачившие его люди на дороге между Виттенбергом и Галле месяцев семь тому назад.

XXI

Когда профессор Себастьян шел пешком от своей испортившейся машины в Лаутербург, он по дороге забрел в горную деревню, где решил отдохнуть. Здесь происходило нечто вроде гулянья. Крестьяне узнали его, так как он тут несколько раз бывал вместе с Лубенцовым.

Он постоял и посмотрел на танцы, потом зашел в пивнушку, которая была переполнена людьми, и разговорился с девушкой и парнем, ворковавшими за столом. Оба были румяные, рослые и влюбленные. Руки их, красные и огрубевшие, выдали виды, зато лица были почти совсем детские.

Под впечатлением антисоветских разговоров в доме Вальтера и тех обвинений, которые там выпались по адресу Советской Военной Администрации и вообще советской политики в Германии, Себастьян начал спрашивать молодых людей об их настроении и жизненных планах.

Оба — и парень и девушка — сказали Себастьяну, что они довольны своей жизнью и что в будущем году собираются на подготовительные курсы для рабочей и крестьянской молодежи в Галле, с тем чтобы два года спустя поступить в университет. С фанатизмом новообращенных они говорили о земельной реформе и со страстной верой в будущее объяснялись в любви к новым порядкам, к новому строю жизни, который здесь возникал.

Их бесхитростная исповедь произвела на Себастьяна большое впечатление, и, сравнивая слова этих молодых людей с разговорами Вальтера и его друзей, Себастьян, несмотря на свой жизненный опыт и знания, даже удивился, какие полярные точки зрения на один и тот же предмет могут существовать у разных людей.

Утром к Себастьяну собрались друзья. Он рассказал им о своих франкфуртских впечатлениях. Были тут и новые подруги Эрики, среди них умная и проникательная фрау Вицеки. Вскоре пришел и комендант, но он был не один, с ним вместе зашли капитан Яворский и изящно одетая молодая женщина с красивым, запоминающимся лицом. Эрика пошла им навстречу и, окинув Таню быстрым взглядом, вся вспыхнула. Покраснела и Таня. Лубенцов, с трудом сохранявший спокойный вид, познакомил их. Немного оправясь, он выразил надежду, что Таня и Эрика подружатся. Обе в ответ промолчали. Себастьян растерянно сказал:

— Эрика, дай кофе. Почему ты не подаешь кофе, Эрика?

Когда все получили свои чашечки с кофе, Себастьян стал продолжать свой рассказ. Может быть, под влиянием только что происшедшего безмолвного столкновения судеб, от которого он хотел отвлечься, его рассказ полился широко и свободно. С блестящим юмором изобразил он посетителей салона Вальтера, с восхищением говорил о подполковнике Дугласе и его друзьях. Потом, рассказав о своей встрече с молодой парочкой в пивной, он задумался и сказал:

— Сопоставив мнения о вас, господин подполковник, ваших сторонников и ваших противников, любовь одних, ненависть и жалобы других, я вспомнил одну притчу. У Гейнзе, интересного и полузабытого писателя, есть такая басня: «Домашний восковой идол стоял около огня, где обжигались глиняные вазы, и начал таять. Он стал горько жаловаться: «Взгляни,— сказал он, обращаясь к огню,— как ты жесток ко мне. Вазам ты придаешь прочность, а меня губишь». Но огонь ответил: «Ты можешь жаловаться только на собственную свою природу. Что касается меня, то я везде и всегда огонь». Будьте везде и всегда огнем, господин подполковник, на радость благородной глине и на страх восковым идолам всех мастей.

Лубенцов почувствовал, как к его горлу подкатывается ком. Таня, которой Яворский вполголоса перевел слова

Себастьяна, тоже ощутила необыкновенное волнение. Вскоре они тихо простились и ушли.

Вечером солдаты комендантского взвода давали свое первое самодеятельное представление. Раскаты хохота доносились весь этот вечер из окон Дома на площади, и прохожие останавливались, с любопытством прислушивались, улыбались. Подойдя однажды к окну вместе с Таней и Чоховым, Лубенцов увидел стоявших под окнами немцев. Заметив, что «оберстлейтнант Давай» смотрит на них из окна, они быстро разошлись.

— Надо в городе организовать театр, — сказал Лубенцов. — Придется этим заняться.

Потом Таня с Чоховым вернулись обратно в клубную комнату, где шло представление, а Лубенцов остался у окна. В городе зажигались огни, и Лубенцов внезапно подумал о том, что случилось нечто невероятное: он полюбил этот городок, этот злосчастный Лаутербург, его улочки и садики, брусчатку его площадей, черепичные крыши и старинные проулки, зеленые горы вокруг него и людей, живших в нем, с их заботами, печальями и радостями, — конечно, далеко не всех.

— Не вздумай только снова воевать с нами, — сказал он вслух, обращаясь к многочисленным огонькам. — Помни об этом. В следующий раз от тебя не останется камня на камне. Я первый дам команду: «Огонь!»

Но перед ним пронеслись лица его новых, приобретенных здесь, друзей — хороших, прямых и нелицемерных тружеников, и он отогнал от себя мысли о войне. На смену пришли другие мысли. Позади раздались аплодисменты, и Лубенцов вернулся к своим солдатам.

Летом 1947 года Советская Военная Администрация в Германии по настоятельной просьбе подполковника Лубенцова отпустила его на родину для учебы в военной академии имени Фрунзе.

Вместе с Лубенцовым и Таней выехали демобилизовавшийся старшина Воронин и сержант Веретенников, получивший отпуск.

Они решили ехать до Галле на машинах, а там сесть в поезд. Простившись со всеми друзьями — русскими и немецкими, — они выехали рано утром из города Лаутербурга.

На самой окраине города Лубенцов увидел из окна машины маленькую лавчонку с разнообразной металлической посудой в витрине. Он решил, что неплохо было бы купить что-нибудь на память о Лаутербурге. Попросив остановить машину, он вошел в лавку. Его узнали. За прилавком поднялась суета. Появился сам хозяин, маленький человечек в кожаном фартуке, с пышными седыми усами. Он спросил, что нужно «господину коменданту». Лубенцов попросил показать себе что-нибудь красивое на память.

— Для вас,— сказал старичок,— я найду что-нибудь выдающееся.

Он исчез под прилавком, долго там что-то искал, наконец показался снова. Его глаза были полны гордости. Он поставил на прилавок две чаши кованого серебра с необычайно тонкой резьбой, изображавшей Вальпургиеву ночь — танец ведьм на знаменитом Брокене.

— Это очень красиво,— сказал Лубенцов.

— Очень красиво!— воскликнул старичок.— Собственная работа.

Старушка, видимо жена хозяина, кивала головой.

— Это наш местный художественный промысел,— улыбаясь, проговорил старичок и вдруг заволновался:— Садитесь, господин комендант.

— Нет, я спешу,— сказал Лубенцов и спросил:— Значит, это местный художественный промысел?

— Да, старинный.

Лубенцов рассчитался и, уходя с чашами в руках, подумал: «Если я еще раз когда-нибудь буду комендантом, я обязательно заинтересуюсь и вопросами местных художественных промыслов. Совсем упустил из виду это дело. А может быть, и не это одно».

Он улынулся. Ему было немножко грустно, потому что всегда немножко грустно покидать место, где положено много труда и истрачено много душевных сил.

Когда он уже садился в машину, его окликнули. Он обернулся и увидел, что из ворот одного дома к нему идет, улыбаясь, толстая женщина с большой бородавкой на лице, в красном свитере и клеенчатом фартуке.

— Ох, господин комендант,— воскликнула она.— Очень рада вас видеть. Вы меня помните, надеюсь? Если бы вы знали, что я вам скажу!— Она сунула руку в карман фартука и бережно вытащила оттуда сложенную вчетверо газету.— Вот, полюбуйте. Напечатали мою статью о местных наших лаутербургских безобразиях. Вы, наверно, забыли, что сами мне посоветовали писать в газету. А я не забыла. Ха-ха-ха! — оглушительно рассмеялась она.— Я теперь целые вечера пишу в газету. Бургомистр господин Форлендер меня боится, как огня.

Лубенцов от души посмеялся вместе с ней, пожал ей руку с сердечностью, которая была ей непонятна, так как она не знала, что он уезжает навсегда, и сел в машину.

И вот они проделали в поезде весь обратный путь с запада на восток. Перед их глазами пронеслись знакомые картины, города, еще лежащие в развалинах, оживающая Германия, поднимающаяся из пепла Польша.

Наконец, за окнами вагона появились белорусские земли. Здесь повсюду виднелись еще следы войны — траншеи и ходы сообщения, заросшие высокой травой, воронки от бомб, залитые водой. Но все заметно оживало. На месте пепелищ подымались светлые срубы. Колосились нивы, стога сена стояли на лугах. Правда, жили тут еще плохо, война глубокой бороздой прошла по этим местам.

Лубенцов, Таня и их спутники почти безотрывно глядели в окно. С их душ понемногу спадали западноевропейские впечатления и взамен их возникали новые. В то же время их не оставляла некая тревога, потому что они хорошо знали всю сложность и запутанность мировых отношений; грозный воздух Европы был им слишком хорошо знаком; краснолицый и его сообщники были еще живы. Но теперь, глядя на пространства родной земли, Лубенцов и его товарищи со всей силой осознали, что в конечном счете важнее всего на свете — поднять родную страну, сделать ее счастливой и изобильной, так как от этого зависит все остальное.

Лубенцов, его жена и друзья как бы возвращались назад, в прошлое, почти по тем же дорогам, по которым они шли на запад. Но они были старше годами, зрелее опытом и поэтому по-новому осмыслили все величие и значение родной страны. И каждый из них в душе давал обещание любить ее горячее и делать для нее больше. Они возвращались как бы в прежний, более тесный круг переживаний, впечатлений и знакомств. Но теперь они почувствовали, что этот круг неизмеримо шире, чем он был или казался им прежде, и что только через свое, родное можно по-настоящему понять, охватить большое, всемирное.

Так двигались они по великой русской равнине. На душе у них было тихо и светло.

Поблизости от Гомеля вдруг заволновался Веретенников. — Пожалуй, я тут сойду, — внезапно сказал он.

— Как? — воскликнул Воронин. — Мы же вместе до самого Иванова едем.

— Мне здесь нужно... Дело одно, — смущенно возразил Веретенников.

— Сердечное? — сдался Воронин.

— Сердечное.

Он попрощался с Лубенцовым и Таней, записал адрес Воронина, надел вещмешок и соскочил с поезда. Поезд ушел, а он все еще стоял на маленькой платформе, вдыхая могучие запахи земли. Потом он вспомнил о чем-то, порылся в кармане гимнастерки, вынул оттуда бумажку — расписку за сено, — засмеялся, разорвал ее, бросил и зашагал пешком по проселку.

А Лубенцов, Таня и Воронин поехали дальше на восток. Купы деревьев проходили мимо вагона, и от их теней в вагоне то светлело, то темнело.

ДВА ПИСЬМА

1

Здравствуйте, товарищ Мещерский!

Пишет вам майор Чохов. Я служу в Закавказье, в воинской части, на должности, соответствующей должности Весельчакова, если вы его помните. Кстати, Весельчаков и его жена Глафира Петровна живут в Макарьеве на Унже, Костромской области. Он работает мастером на лесозаготовках, она — при больнице в леспромхозе. Встречаете ли вы кого-нибудь из наших общих знакомых? Я совсем потерял из виду всех. Слышал, что тов. Лубенцов в Москве. Встречаетесь ли вы с ним? Привет вам от моей жены Ксении Андреевны. Она работает библиотекарем в нашей воинской части. Она хвалила ваши стихи. Они читателям очень нравятся. У нас дочь Таня. Поздравляю вас с Днем победы.

В. Чохов.

9 мая 1950 года

2

Дорогой Василий Максимович!

Какой вы молодец, что написали мне. Вспомнилось все, и на душе стало хорошо и радостно.

С подполковником Лубенцовым я встречаюсь редко, так как он очень занят. Он кончает Академию имени Фрунзе. Снимает комнатку в Москве, в районе Зубовской площади. Татьяна Владимировна работает врачом в районной поликлинике. У них сын Володя. Живут они дружно и счастливо. Сергей Платонович такой же, каким вы его знаете, — очень хороший человек.

Когда я впервые шел к нему в гости по длинному коридору коммунальной квартиры, я думал о том, что вот в этой квартире живет замечательный человек, герой и государственный деятель. И я подумал о том, как много героев и замечательных деятелей живут в домах Москвы и других городов, — скромные и простые люди, не занимающие крупных мест, хотя они справлялись бы с любой работой. И вот они так живут, честно работают, а когда им скажут: «Иди, побеждай, делай чудеса», — они пойдут, победят, будут делать чудеса.

Генерал Середа в отставке, живет на Украине. Дочь его учится в МГУ. Воронин работает заготовщиком на обувной фабрике в Иванове. Он женился и, кажется, имеет уже двух детишек.

Крепко обнимаю вас, дорогой друг.

Ваш Саша Мещерский.

Вера Инбер



ПРОГУЛКА В ГОРЫ

(Глава из поэмы «Ленин в Женеве»)

Женевское озеро — чаша лазури,
отрада туристов.
Но грозно Женевское озеро в бурю,
идет, как на приступ.
Тяжелыми волнами бьет, как тараном,
отелей подножья,
дрожать заставляя хрусталь в ресторанах
алмазною дрожью.
Раскаты громов повторяются долго
в горах богатырских.
Отличная буря. Такие на Волге
бывают. В Симбирске.
А утром — прозрачность, тишайшего тише:
все кажется близким.
Поют водопады, и пропасти дышат
озоном альпийским.
Свежо на душе от чудесной погоды,
от синей прохлады.
«Спасибо, сосед. Мы с женой — пешеходы.
Возить нас не надо».
И дом на окраине, с лестницей хлипкой, —
жилище простое, —
следит из окошек с хорошей улыбкой
за русской четою...

Тумана в горах ничего нет коварней,
но нынче — ни дымки.
Прозрачно струится дымок сыроварни,
видны все тропинки.

Под шапкой снегов, под гранитной громадой —
лесная опушка,
где мирно пасут шоколадное стадо
пастух и пастушка.
Идиллия с виду! Но труд их нелегок,
они молчаливы.
Вокруг травянистой площадки пологой
крутые обрывы.
Они наблюдательны, эти подростки:
они замечают,
в какой седловине какие полоски
туман предвещают.
Они замечают походку идущих
по трудной дороге:
иной волочит, как неопытный грузчик,
тяжелые ноги.
Иной, как танцор, не ступает на пятку,
он скоро устанет;
как видно, забыл, что отставшим не сладко,
что это не танец.
Но есть и такие, что поступью мерной,
по осыпям тропок,
все выше и выше, со спутником верным,
шагают бок о бок.
Так крепко вонзаются их альпенштоки
в кремнистую почву,
что в пору по северным склонам жестоким
пройти даже ночью.
Таких колдовство никакое не тронет
вдали от селений.
Корежатся гномы и злобные тролли
при их появлении.
Так славно идут они, весело, стройно —
хорошие люди!
И дети вдогонку: «Идите спокойно,
тумана не будет...»
Запивши ломоть еще теплого сыра
водой ключевой,
до вечного льда в океане эфира
вздымаются двое.
Глядят, как рождается ниткою тонкой
ручей из-под льдины,
как малое облачко, меньше ягненка,
плывет над долиной.
Мир Гор! Величавая, белая с синим,
рельефная карта.
Забыты на время в женевской низине
Плеханов и Мартов,

прямые нападки и взгляды косые.
И огненно, крупно,
во весь горизонт, только мысль о России
стоит неотступно.
В России война. Катастрофа. Цусима.
Час гнева и горя.
Цвет русского флота сглотнула пучина
Японского моря.
Матросские жизни в бою проиграла,
на дно уложила
бездарность царя и его адмиралов,
преступность режима.
Дрожат перед бурей, скрипят перед штормом
уключины трона.
И все это множится эхом повторным
в долине, где Рона.
И чаша лазурного озера даже —
и та, поглядите,
вскипает волнением, как будто на страже
идуших событий.

Михаил Луконин



УТРО

Сон какой-то приснился мне, что ли,
или просто причуда пришла —
я проснулся

с тоскою по школе.

Как она позабыться могла!

Лампу вижу.

— Носи, починила.

Что не спишь-то,

на воле темно.

В пузырьке вот застыли чернила,
говорила —

не ставь на окно...

Тихо мама беседует, тихо,
и сквозь ласковый голос ее
леденящая вьюга-шутиха
прорывается в наше жильё.

Вечер, что ли, теперь

или утро —

загадал я,

а вот и ответ —

до чего же придумано мудро —
посинело окошко,—

рассвет!

С печки свесясь, гляжу не мигая,
пламя лампы трепещет в зрачке,
ходит мама моя дорогая,
спит сестренка —

кусок в кулачке.

— Мам, зачем меня кличут: «Натальин»,
я ведь, правда, Денисов?

— Поспи,
ты Денисов, не верь, наболтали...

— Мам,
а волки не мерзнут в степи?

Да, забыл я,
вчера у комбеда
дед Ефим меня встретил, не вру.
В дом завел и — за стол.

Я обедал!

Щи скромные
в красном жиру!

А богато живут! Объяденье!

А тепло!

Им мороз нипочем!

Можно — буду ходить каждый день я?.

Мама ухо зажала плечом,
знаю, знаю привычку —
не хочет.

— Мам, а что?

— Поумнел он теперь...

Не ходи туда, слышишь, сыночек,
пусть богатством подавится, зверь!
Хитрый, чувствует — копится сила,
чует кошка...

Сынок, не ходи,
умирали, и то не просила,
а теперь — рассвело впереди.
Ох, отец бы услышал про это!..

— Не пойду!

— Не ходи ты туда...

— Мам,
быть может, придет в это лето?

Я не видел его никогда...

Груня встала
и будит сестру.

Синим льдом подоконник окован,
Журавцы заскрипели в Быкове,
значит, все повернулось к утру.

Дай мне, мама, букварь и тетрадки,
дай чернильницу — мой пузырек.

Рань какая!

Бегу без оглядки,
все сугробы секу поперек.

У дверей
 снег всегда зачернилен.
Вновь галдеж, суета, толкотня,
но простой колокольчик всеилен,
он за парту сажает меня.

«Не сгибайся,
 держи себя прямо.
Если знаешь —
 другим помоги.
Не замазывай кляксу упрямо,
переделывай честно,
 не лги!» —
Первоклассная эта наука
будет в сердце греметь до конца.
Хитрый дед,
 не видать тебе внука,
он идет
 по дороге отца!

НАЧАЛО ТРЕВОГИ

(Из поэмы)

Пахнул в лицо,
 волной холодной встретил
и сразу выдул крупную слезу.
А там —
 уже забыт он, этот ветер,
забыт он, этот ветер
 там,
 внизу.

А тут —
 на высоте,
 в небесной сини,
меня с боков обходят облака,
гляжу
 и улетаю вместе с ними.
Куда?
 Еще неведомо пока.
Хотя б черновики путей,
 наброски
дорог и троп,
 как бы летать я мог!

Чтоб видеть все,
как дым от папироски,
рукой сдвигаю облачный дымок.
Я на таком ветру себя не помню.
Ну что же — рви,
пронизывай насквозь,
ты, вижу, рад тому, что нелегко мне?
Ты недоволен тем,
как мне жилось?
Мы старые друзья с тобою,
ветер!
Я тот же,
ошибаешься во мне.
Чего же ты досадного заметил,
поймав меня
на этой крутизне?
Что ты смеешься, ветер, непонятно...
Нас помнят вместе трудные края.
Что?..
Я не слышу. Что?..
Тебе приятна
большая обтекаемость моя?
Что за острота, ветер,
брось ты это,
а то возьму и снегом залеплю.
Машина?
Где?
Внизу?
Какого цвета?
А... да, моя,
я технику люблю.
Перемени же тему, ветер, что ты.
Кто, я? Боюсь вот этой высоты?
А помнишь злые финские высоты?
На Одере меня не помнишь ты?
Дрожу от высоты?
Во мне есть сила!
Вершина смерти страхом не трясла,
а эту высоту ведь жизнь воздвигла...
Не от нее?
От той, что вознесла?
Не ври!
Вверх поднимаюсь каждый день я.
Кто — я упал?
А где стою — смотри!
Как — снизу вверх?
Нелепое паденье!

По лестнице житейской?

Не мудри!

И что за шутки глупые, откуда?

Вот привязался, слушать не хочу.

Теперь мне не страшна твоя простуда,
легко скользя,

над городом лечу.

Лечу,

все выше, круче забираю

и вверх и вниз гляжу — какой простор!

Невольно жмусь к незыблемому краю
и вижу —

город реки распростер.

Вот захочу — найду свое оконце,

свой дом от прочих взглядом отделю.

Москва!

Тебя пронизывает солнце.

Как я тебя, любимая, люблю!..

А ты все дуешь, ветер.

Слишком много

ты на себя берешь.

Пусти пока!

Но что ж качает сердце мне тревога,

навеянная свистом сквозняка?

Увидимся когда?

Да нет, не надо.

Ты друг мне?

Так не делают друзья!

Я уйду.

Томит меня досада:

зачем навстречу к ветру вылез я?

Да громче говори, охрип ты, что ли,

ведь звал тебя давно — идем со мной.

Легко ли одному кружиться в поле,

без дела так болтаться над землей.

Еще раз я зову —

иди под крышу,

моторы двигай, мельницы крути.

Меня зовешь к себе?

Куда?

Не слышу!

А!..

нет уж,

нам с тобой не по пути!

Я уйду в затишье,

злой ты, ветер.

Прощай!

Тепло на верхнем этаже.

Вот и не слышу я — что ты ответил,
беснуйся там,

а я —

не твой уже.

А я — .

меня тревога просквозила...

Вот, ветер, что наделал ты со зла.

Смотри теперь —

неведомая сила

меня путем тревоги повела.

Н. Заболоцкий



ХОДОКИ

В зипунах домашнего покроя,
Из далеких сел, из-за Оки,
Шли они, неведомые, трое —
По мирскому делу ходоки.

Русь металась в голоде и буре,
Все смешалось, сдвинутое враз.
Гул вокзалов, крик в комендатуре,
Человечье горе без прикрас.

Только эти трое почему-то
Выделялись в скопище людей,
Не кричали бешено и люто,
Не ломали строй очередей.

Всматриваясь старыми глазами
В то, что здесь наделала нужда,
Горевали путники, а сами
Говорили мало, как всегда.

Есть черта, присущая народу:
Мыслит он не разумом одним, —
Всю свою душевную природу
Наши люди связывают с ним.

Оттого прекрасны наши сказки,
Наши песни, сложенные в лад.
В них и ум и сердце без опаски
На одном наречье говорят.

Эти трое мало говорили.
Что слова! Была не в этом суть.
Но зато в душе они скопили
Многое за долгий этот путь.

Потому, быть может, и таились
В их глазах тревожные огни
В поздний час, когда остановились
У порога Смольного они.

Но когда радушный их хозяин,
Человек в потертом пиджаке,
Сам работой до смерти измаян,
С ними говорил накоротке,

Говорил о скудном их районе,
Говорил о той поре, когда
Выйдут электрические кони
На поля народного труда,

Говорил, как жизнь расправит крылья,
Как, воспрянув духом, весь народ
Золотые хлебы изобилья
По стране, ликуя, понесет,—

Лишь тогда тяжелая тревога
В трех сердцах растаяла, как сон,
И внезапно видно стало много
Из того, что видел только он.

И котомки сами развязались,
Серой пылью в комнате пыли,
И в руках стыдливо показались
Черствые ржаные кренделя.

С этим угощением безыскусным
К Ленину крестьяне подошли.
Ели все. И горьким был и вкусным.
Скудный дар истерзанной земли.

УСТУПИ МНЕ, СКВОРЕЦ, УГОЛОК...

Уступи мне, скворец, уголок,
Посели меня в старом скворешнике.
Отдаю тебе душу в залог
За твои голубые подснежники.

И свистит и бормочет весна.
По колено затоплены тополи.
Пробуждаются клены от сна,
Чтоб, как бабочки, листья захлопали.

И такой на полях кавардак
И такая ручьев околесица,
Что попробуй, покинув чердак,
Слома голову в рошу не броситься!

Начинай серенаду, скворец,
Сквозь литавры и бубны истории.
Ты — наш первый весенний певец
Из березовой консерватории.

Открывай представленья, свистун!
Запрокинься головкою розовой,
Разрывая сияние струн
В самом горле у рощи березовой.

Я и сам бы стараться горазд,
Да шепнула мне бабочка-странница:
«Кто бывает весной горласт,
Тот без голоса к лету останется».

А весна хороша, хороша!
Охватило всю душу сиренями.
Поднимай же скворешню, душа,
Над твоими садами весенними.

Поселись на высоком шесте,
Польхая по небу восторгами,
Прилепись паутинкой к звезде
Вместе с птичьими скороговорками.

Повернись к мирозданию лицом,
Голубые подснежники чествуя,
С потерявшим сознание скворцом
По весенним полям путешествуя.

ПЕКРАСНАЯ ДЕВОЧКА

Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей

Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам ее,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчишки, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про нее,
Она ж за ними бегаёт по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Ее переполняет, и смеется
Дурнушка маленькая с ротиком уродца,
Охваченная счастьем бытия.

Ни тени зависти, ни умысла худого
Еще не знает это существо.
Ей все на свете так безмерно ново,
Так живо все, что для иных мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине ее горит,
Всю боль свою один переболит .
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты ее нехороши
И нечем ей прельстить воображенье,—
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

ОСЕННИЕ ПЕЙЗАЖИ

1. ПОД ДОЖДЕМ

Мой зонтик рвется, точно птица,
И вырывается, треща.
Шумит над миром и дымится
Сырая хижина дождя.

И я стою в переплетенье
Прохладных вытянутых тел,
Как будто дождик на мгновенье
Со мною слиться захотел.

2. У Т Р О

Обрываются речи влюбленных,
Улетает последний скворец.
Целый день осыпаются с кленов
Силуэты багровых сердец.
Что ты, осень, наделала с нами!
В красном золоте стынет земля.
Пламя скорби свистит под ногами,
Ворохами листвы шевеля.

8. К А Н Н Ы

Все то, что сияло и пело,
В осенние скрылось леса,
И медленно дышат на тело
Последним теплом небеса.
Ползут по деревьям туманы,
Фонтаны умолкли в саду.
Одни неподвижные канны
Пылают у всех на виду.
Так, вытянув крылья, орлица
Стоит на уступе скалы,
И в клюве ее шевелится
Огонь, выступая из мглы.

ЖУРАВЛИ

Вылетев из Африки в апреле
К берегам отеческой земли,
Длинным треугольником летели,
Утопая в небе, журавли.

Вытянув серебряные крылья
Через весь широкий небосвод,
Вел вожак в долину изобилья
Свой немногочисленный народ.

Но когда под крыльями блеснуло
Озеро, прозрачное насквозь,
Черное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось.

Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.

Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И, рыданию горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.

Там вверху, где движутся светила,
В искупенье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:

Гордый дух, высокое стремление,
Волю непреклонную к борьбе —
То, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.

А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно,
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.

ЛЕБЕДЬ В ЗООПАРКЕ

Сквозь летние сумерки парка
По краю искусственных вод
Красавица дева, дикарка,
Высокая лебедь плывет.

Плывет белоснежное диво,
Животное, полное грез,
Колебя на лоне залива
Лиловые тени берез.

Головка ее шелковиста
И мантия снега белей,
И дивные два аметиста
Мерцают в глазницах у ней.

И светлое льется сиянье
Над белым изгибом спины,
И вся она как изваянье
Приподнятой к небу волны.

Скрежещут над парком трамваи,
Скрипит под машинами мост,
Истошно кричат попугаи,
Поджав перламутровый хвост.

И звери сидят в отдаленье,
Приделаны к выступам нор,
И смотрят фигуры оленье
На воду сквозь тонкий забор.

И вся мировая столица,
Весь город сверкающий наш,
Над маленьким парком теснится,
Этаж громоздя на этаж.

И слышит, как в сказочном мире
У самого края стены
Крылатое диво на лире
Поет нам о счастье весны.

Евг. Евтушенко



* * *

Тебя после каждой лекции
со всех сторон теребят.
Ты комплименты лестные
слушаешь от ребят.
В жизни так много славного —
свиданья, театр, цветы,
но нету чего-то главного,
которого хочешь ты.

Вот ты бежишь по лестницам.
Тебе восемнадцать лет.
В сумочке —

с профилем ленинским
твой комсомольский билет.
В поткивающей полночи
сонной квартиры твоей —
знаю —

ты просишь помощи
у строгих великих идей.
И, распутив светлорусые
косы густые свои,
думаешь о революции,
хочешь большой любви.
В квартире —

шаганье маятника
да твой разговор с душой...
Очень еще ты маленькая.
Я рядом большой, большой.

Людмила Щипахина



ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Лет десять было мне еще,
Зимой снега кружили.
Меня девчонкой, девочкой
Куда-то увозили.
И не спросив, согласна ли,
Помчались поезда,
И были веки красные
У матери тогда.
В вагонах полки жесткие
Нас день и ночь качали,
И пассажиры взрослые
Меня не замечали.
Не спрашивали: «Девочка,
Откуда ты? Куда ты?»
Лет десять было мне еще,
А год был сорок пятый.
Лицо к стеклу приплюснув,
Оглядывала местность я.
Мне было очень грустно
И очень интересно.
А поезд шел и грохал,
Не замедляя бега.
И залепляли окна
Густые хлопья снега.
Но я глядела в окна,
Вставая спозаранку,
Там в липком снеге мокли
Раздавленные танки,
Тянулись вдоль траншей
Который час подряд,

А поезд все быстрее
Бежал на Сталинград.
Мы торопились слишком,
Прощания не долги,
И мы забыли книжки
На самой верхней полке.
Мы книги купим снова,
Все хлопоты не в счет —
Раз в этот год суровый
Нас Сталинград зовет.
В пути я стала строже,
Взрослея на глазах,
Как будто детство тоже
Забыли впопыхах.

ИСКАТЕЛЬ

Направо — путь непроходим,
Так рассудили здраво.
Он был упрямый человек,
И он пошел направо.
Был путь меж скал
Зажат в тисках,
Ущельями изрезан.
А он шагал, а он искал
На выступах железо.
Жизнь у геолога тяжка.
Погода брови хмурит.
Его застал буран и шквал,
В горах гремела буря.
И молнии во весь разбег
Сходились, как ножи.
Он был упрямый человек,
И он остался жив.
Ущелья свежий вихрь продул.
И буря миновала.
...Он в рюкзаке принес руду
Ценнейшего металла.
Был тугоплавок тот металл
И был на редкость крепок,
Как будто он в себя впитал
Упорство человека.
Он в слитке тяжело блестит,
Внушительный и строгий.
...А человек опять в пути,
Опять бегут дороги.

И чтоб руду найти опять,
Он путь пройдет немалый,
И будут грозы грохотать
И рушиться обвалы.
Но он пойдет,
Пойдет вперед
И будет вновь спешить.
А если он в пути умрет —
Он все же будет жить
В моторе, в рычаге, в станке,
На дне секретных ампул.
И даже в ярком волоске
Твоей настольной лампы.

ХАРАКТЕР

Рядом встав с поступками моими,
Мой характер в сутолоке дней
С каждую минутой ощутимей,
С каждым днем понятней и видней.

Он ведет со мною бессловесный
Разговор немного свысока,
Будто он совсем не мой ровесник,
А видавший виды старикан.

Это он мой лоб уже отметил
Меж бровей морщинкою упрямой,
Правду научил искать на свете
И всегда в глаза смотреть ей прямо.

Это он, и сам не замечая,
Дал мне жажду ненасытных дел,
Силу заложил между плечами,
В платье незаметное одел.

Это он следит за мною строго,
Не прощая никогда грехи.
Это он, испытывая строки,
Истиной врывается в стихи.

Что поможет мне в беде, в утрате?
С чем бороться? Чем мне дорожить?
Мне подскажет правду мой характер,
Друг, с которым нужно жизнь прожить.

Сергей Антонов



РАССКАЗЫ

ТЕТЯ ЛУША

Наташе

После долгого отсутствия в колхоз воротились Гавриловы. Приехали они всей семьей — сам Гаврилов, жена, две дочери и неженатый сын Саша. В первый же вечер Саша Гаврилов прогуливался вдоль деревни дачником: в пиджаке, без галстука, в штиблетах на босу ногу, и любопытные женщины украдкой разглядывали его из-за занавесок.

На другой день девчата устроили вечеринку в избе веселой разведенки Катерины Валаховой. Народа набилось много. Ребятишки Катерины путались под ногами. Она кричала на них и называла их «самоделки». Погулять она любила и, немного выпив, всегда пела песенку о том, что если станет тоскливо, то надо пойти в лес, стукнуть веточкой о пенек и выйдет славный паренек. Девчата смеялись, но в веселье Катерины было что-то горькое, отчаянное.

На вечеринку пришел Саша — снова без галстука и в штиблетах на босу ногу. Только на пиджак приколот значок Сельскохозяйственной выставки, чтобы все видели, что он бывал в Москве.

Зашла и Лукерья Ивановна — председатель колхоза — посмотреть, что за работник приехал в деревню. Это была ладная, стройная женщина со смелым взглядом умных, темнокарих, как крепкий чай, глаз. Ходила она в ватной теплушке, надетой по-мужски небрежно, с расстегнутым воротом, и в керзовых сапогах с железными подковками. Она умела водить машины, трактора, класть печи, рубить в лапу углы и играть на гармошке. К концу войны ей было двадцать лет. Мужчин в то время в деревне не осталось, и Лушу выбрали председателем. С тех пор она десять лет вела колхозное хозяйство.

Сашу она помнила пятнадцатилетним парнишкой — тогда он был тихий, застенчивый. А теперь задается, делает вид, что ему скучно, разговаривает через силу. Только Катерина сумела расшевелить его своими вольными разговорами.

И когда начались танцы, Саша выбрал Катерину.

Луше стало обидно за девчат, особенно за Настеньку. Настеньке Саша определенно нравился. Она долго готовилась к вечеру, бегала по избам, брала под залог пластинки, принесла патефон, надела длинное платье с бантиком. Она стояла, вся как натянутая струна, тугая и крепкая, с замиранием сердца ожидая, когда Саша заметит ее и увидит, какая она. Но Саша танцевал с Катериной, а Настеньке оставалось только менять пластинки. Иногда он подходил, чтобы сказать, какой танец ставить, но и от этих слов Настенька вспыхивала ярким румянцем.

«Этакая лампочка», — ласково подумала Луша. И, выбрав минуту, попрекнула Катерину:

— Что ты на нем повисла? Дай другим потанцевать.

Катерина поняла ее слова по-своему, отошла к Саше, и когда заиграли краковяк, он пригласил Лушу. Пришлось идти.

Саша плясал неумело, но лихо. Уверенный, что ему все простится, он вел себя развязно, бесцеремонно, а женщины понимали, что сами виноваты в этом, и не порицали его.

— Ты с Катериной не очень, — сказала ему Луша. — Гляди, шофера ноги переломают.

— А что мне Катерина, — отвечал Саша. — Что я, не видал таких, что ли...

«Теленок еще», — подумала Луша. Но танцевать ей нравилось. Саша жал ее пальцы, плотно прижимал ее к себе, и она не противилась. Она совсем забыла о Настеньке и танцевала один танец за другим. У нее кружилась голова, она чувствовала спиной беспокойную мужскую руку, ощущала запах здорового мальчишеского пота, ей казалось, что между ними идет какой-то молчаливый заговор, и была рада этому и не рада.

Но когда вечер кончился и Саша предложил проводить ее, она отказалась наотрез. Она пошла одна, недовольная собой, стыдясь себя и своего поведения.

Стояла тихая ясная ночь. Месяц светил в полную силу. Тихое небо, скромно мерцающее звездами, и неподвижные рябины с черной листвой и еще более черными гроздьями ягод, и белые, словно меловые, тропки, пересеченные прозрачными, нежными лунными тенями, и полосатый туман вдали, за овинами — все было спокойно, бесстрастно, словно ничего не случилось.

И, шагая домой по уснувшей деревне, Луша думала, что утро вечера мудреней, что завтра все забудется и жизнь потечет попрежнему. И постепенно успокаивалась.

Деревня стояла на столбовом шоссе. Машины ходили часто, давили кур. Вечерами проезжие шофера бродили по избам —

просились переночевать. Некоторые, кто посмелей, иногда увязывались и за Лушей, когда она вот так же, как сейчас, шагала по шоссе широким, солдатским шагом, плотно засунув руки в карманы теплушки; набивались на ночевку.

— Дома небось жена дожидается, а ты — ночевать... — обыкновенно отвечала Луша спокойно-дружелюбным тоном, и почему-то именно этот тон лишал смельчаков всякой надежды.

Луше не пришлось выйти замуж. Жила она в своей избе одна.

На полпути Луша увидела Настеньку.

Настенька шла другой дорогой, неудобной стороной деревни, бесшумно, быстренько, чтобы никто не заметил, и несла патефон и чемодан с пластинками.

«Эх, ярочка-доярочка, — подумала Луша, — так и не поплясала ни разу».

Она догнала девушку, взялась за чемодан.

— Давай донесу.

— Да ладно, тетя Луша, я сама.

— Давай.

— Да ладно. Уже близко.

Луша понимала, что Настенька сердится на нее, но все-таки отобрала чемодан и донесла до ворот.

А потом вернулась домой, в свою пустую, не прибранную с утра избу, легла и стала думать. По шоссе изредка пробегали машины, и тогда в избе дребезжали стекла, тихонько, словно их кто-то придерживает ладонью, и серебристый след освещенных фарами окон медленно проползал по стене наискосок сверху вниз и угасал на полу. Луша думала: как это так — машина идет по ровной дороге, а след ползет сверху вниз. Так и заснула, не понимая, почему это.

Дня через два Саша поругался с проезжими шоферами. Луша первая увидела из окна — назревает драка. Она выбежала на улицу и схватила Сашу за руку. Он был выпивши.

Пьяная ругань и грубости не пугали Лушу. При ней часто ругались кто как умел, и она не обращала на это внимания. Но Саша не стал ругаться. Он притих, смутился и послушно пошел в избу. И Луша подумала, что из него может получиться хороший мужик, если он попадет в настоящие женские руки.

— Вот что, Саша, — сказала она. — Давай-ка определяйся. Хватит болтаться без дела.

— Мне положен месяц отпуска. Могу погулять.

— На гулянку, значит, приехал?

— От семьи не хотел отламываться, вот и приехал. Что я — в городе не заработал бы, что ли? Я, если хочешь знать, вдвое против тебя заработаю.

Он сидел, развалиясь на стуле, и Луше было жалко его.

— Чаю хочешь? — спросила она.

— Что я, не видал чаю, что ли?

Потом он пил чай, а она смотрела на его русый вихор, торчащий на затылке. И вдруг ей до того захотелось пригласить этот вихор, что она испугалась и сказала быстро:

— Ну, допивай да ступай себе.

Саша допил стакан и ушел.

После этого он заходил еще раза два-три, уже трезвый, но так же долго пил чай и хвастался.

В деревне говорили: привораживает Луша парня. Считали годы — ему двадцать второй, ей тридцатый. Сомнительно покачивали головами. А старик Гаврилов, видимо, на правах будущего свекра, перестал выходить на работу.

«Сама виновата, — грустно думала Луша. — Надо отваживать его».

И вскоре для этого представился случай.

Неожиданно приехал вновь назначенный главный инженер МТС с семьей. Квартиру подготовить еще не успели, и Луша предложила свою избу.

— Я домой только ночевать хожу, — сказала она. — Хозяйствуйте.

Инженер и жена его были люди пожилые, а сынок у них был четырехлетний — Светик.

В первый же вечер, придя домой, Луша не узнала своей горницы. Все было переставлено, перепутано, стол был застлан чужой скатертью, чужие вещи стояли на комод.

Пришлось привыкать жить в собственном доме. Пришлось думать, где переодеться, куда прятать от мужских глаз кое-какую одежку. Но эти неудобства не были неприятны Луше: хоть ненадолго, а в доме появился хозяин.

Жене инженера было трудно. Она никогда не жила в деревне и боялась коров.

Кое-как приготовив обед, она садилась у окна и говорила устало:

— Хоть бы Филипп скорей приходил.

Когда приходил муж, она наливала ему суп, а сама садилась напротив и молча смотрела, как он ел. И Луша вспоминала, что совершенно так же смотрела на Сашу, когда он пил чай.

После обеда супруги разговаривали. Муж обычно был чем-нибудь недоволен и капризничал по пустякам.

Чтобы не мешать, Луша уходила к себе за перегородку. И ей казалось, что не у нее живут люди, а она снимает у них угол.

Саша заходить перестал; Луша видела его редко. Говорили, что он пытается ухаживать за Настенькой, но та не хочет встречаться с ним якобы потому, что боится Луши. Впрочем, Луша обращала мало внимания на такие разговоры. Незаметно она втянулась в чужую семейную жизнь, заразилась чужими заботами, подружилась со Светиком и каждое утро приглаживала его жесткий вихор на затылке. Она любила стирать его одежду — маленькие чулочки с петельками, маленькие лифчики и обижалась, если мать стирала сама.

А когда у Светика заболел живот, обе женщины сбились с ног.

Мать чаще прежнего смотрела в окно и говорила:

— Хотя бы Филипп скорей приходил.

И Луша вторила:

— Хотя бы Филипп Васильевич скорей приходил.

Вечером на эмтеэсовском газике приезжал инженер, и, хотя от него решительно никакой помощи не было, в избе становилось спокойней.

Недели через три на усадьбе МТС приготовили квартиру, и инженер уехал.

Луша пришла в опустевшую избу, вымыла блюда, которое стояло вместо пепельницы, села на стул и заплакала громко, навзрыд, так, что было слышно на улице.

На другой день, проходя мимо риги, она увидела пухлого сопливого мальчонку.

Сама не понимая, что с ней, она бросилась к нему и стала целовать до боли. Он заорал благим матом, вырвался и убежал.

Придя в себя, Луша испуганно оглянулась. Вокруг никого не было. Тогда она подумала, что мальчишка может рассказать родителям, и испугалась еще больше.

Днем в контору пришла мать пухленького мальчонки.

— Ты что же это, — закричала она, — моего мужика в МТС не отпускаешь, а другие идут?!

У Луши отлегло от сердца.

— Кто идет? — спросила она.

— Да ты что, не знаешь? Сашка Гаврилов наниматься собрался.

На другой день Луша вызвала Сашу в правление.

— Ты что, в МТС хочешь подаваться? — спросила она.

— Еще не обдумал. Погляжу.

— Значит, так у тебя: только на родину вернулся и снова бежать? Не пустим. Мужчины нам самим нужны. — И Луша внезапно покраснела. С ней этого давно не бывало, она удивилась и покраснела еще больше.

Саша внимательно смотрел на нее.

— Пиши заявление,— продолжала она, сторонясь его взгляда.— В колхоз примем. Строительной бригадой будешь заправлять.

— А что делать?

— Дел хватит. Вон скотный двор в Поповке весь в дырках.

— Надо поглядеть, что за скотный двор.

— Была бы охота. Пойдем хоть сейчас покажу.

— А может, вечером?

— Давай вечером. А то и мне недосуг — в Вознесенское надо, молотилку принимать... А когда вечером? — спросила Луша и снова покраснела.

— Часов этак в семь.

— Давай в семь,— быстро согласилась она, со смятением чувствуя, что деловой разговор помимо ее воли превращается в назначение свидания.

— К тебе приходиться? — спросил Саша.

— Зачем ко мне?— Луша строго сдвинула брови.— Я буду здесь, в правлении.

— Как хочешь,— согласился Саша.

— А то давай так: выходи на развилке и жди. Я пойду из Вознесенского прямо на Поповку. На развилке и встретимся. Чего мне попусту сюда заходить.

— Что за развилка?

— Не знаешь, что ли? Где лес горел.

— Ладно. На развилке так на развилке,— сказал Саша и, уходя, добавил: — Только без опоздания. В семь так в семь.

У Луши пылали щеки. Нагнувшись над бумагами, она посмотрела по сторонам, стараясь угадать, не понял ли кто-нибудь скрытого смысла ее разговора. Старый бухгалтер сосредоточенно заполнял ведомость, а девушка делопроизводитель, повернувшись к окну, переливала чернила из бутылки в чернильницу, и лица ее не было видно.

— Если будут звонить, я в Вознесенском,— сказала Луша и вышла.

И когда она проходила мимо окна, ей показалось, что девушка смеется.

До Вознесенского было около пяти километров. Луша шла лесной дорогой. Высоко в небе висело маленькое солнце. Белые березки-сестренки росли парами, из одного корня, и в их чистой зелени, как ранняя проседа, мелькали твердые желтые листочки. Луша дошла до развилки, той самой, где через четыре часа была назначена встреча с Сашей. Здесь дорога раздваивалась: налево — на Поповку, направо — на Вознесенское. Кругом виднелись черные пни, обгорелые стволы берез и осинки. И только островки молодого подлеска оживляли это глухое, скучное место. «Что здесь случится через четыре часа?—

подумала Луша, и сердце ее сжалось.— Может, не приходиться? Может, лучше оставаться попрежнему без радости, зато и без горя. А приду — не совладаю с собой... Вот и гляди сама, как лучше».

Лес кончился. Открылось широкое поле, свежая стерня, приземистые суслоны ржи, тучи воробьев над ними. На стерне, как на ладошке, стали видны все огрехи сеяльщиков, а воробьи лучше агрономов предупреждали, что зерно осыпается — давно пора молотить. В другое время Луша обязательно заметила бы это и встревожилась, но сейчас шла, ничего не видя, и твердила про себя: «Вот и смотри сама, что лучше».

Живо кончилось, началось клевернице, потом снова стерня; показались крыши Вознесенского, а Луша так и не решила, что лучше.

Издали она заметила, что молотилки еще нет.

— Да что они, очумели? — сказала она вслух и прибавила шаг.

Колхозники, наряженные для молотьбы, сидели. Делать было нечего: место для молотилки подготовлено, четырехугольная площадка очищена от дерна, весы привезены.

— Если Настька Этак будет привередничать, — слышался пронзительный голос Катерины, — так в девках останется.

— Надо приглядеться, — возражал кто-то. — Вон Василиса выскочила замуж, а что за мужик? Седой, как луна, — светит, а не греет.

— Какой ни на есть, а все-таки муж. Дешевле мужниного хлеба не найдешь.

Шел обычный женский разговор. Обсуждали, стоит ли выходить Настеньке за Сашу, обсуждали горячо, будто это от них только зависело.

Другой на месте Луши сорвал бы досаду на первом попавшемся: «Хлеб-то чей — ваш или не ваш? Ночью дождь хлынет — все упадет! Пришли бы сказали, что молотилки нет, чем языками трепать».

Но она ничем не выдала своего волнения, спросила только, не приезжал ли машинист, не было ли эмтеёсовского начальства. Сказали, что не было.

И Луша пошла обратно, репетируя по пути суровый телефонный разговор с директором МТС. О свидании, назначенном в семь часов, она совсем забыла и только у развилки вспомнила на минуту Сашу, девушку, которая смеялась за окном, подвивалась на свои недавние муки и сказала вслух:

— Это не беда, что она смеялась. Беда, что ты, милая, над собой смеешься.

Она решила известить Сашу, что сегодня ей некогда. Пусть приходит в Поповку завтра — ферма все расскажет. «А можно и не извещать, — подумала Луша. — Пусть прогуляется. Посидит-посидит и вернется. Небось волки не заедят.

У крыльца правления стоял эмтеэсовский газик.

Луша вошла в контору, увидела Филиппа Васильевича и дала волю негодованию. Что это такое? Приезжают каждый день, ругают, попрекают, а чтобы помочь, так и нет никого. Хлеб молотить надо, а чем молотить? По-дедовски, цепами? Соседнему колхозу еще когда молотилку пригнали; там председатель — мужик, его вокруг пальца не обернешь, а тут женщина — значит, колхоз обижать можно. С утра обещали молотилку, вот уже шесть часов, а ее нет. Бригада целый день бездельничает. Что это такое?

Филипп Васильевич сидел за Лушиным столом, под ходиками и терпеливо слушал. Когда она кончила говорить, он объяснил, что в соседнем колхозе затянули молотьбу и в данный момент домолачивают последние центнеры. Он только что был там и дал указание, чтобы агрегат самое позднее через час был переброшен в Вознесенское. Потом он достал записную книжку, нашел табличку и стал упрекать Лушу за медленную вывозку зерна на элеватор.

— И вам не совестно? — сказала Луша. — Молотилку не даете, а зерно требуете.

— Я же информировал, что молотилка через час будет, — отвечал Филипп Васильевич. — А график надо нагонять. Придется вам мобилизоваться и вдвое увеличить вывозку.

Ходики показывали половину седьмого. Саша, наверное, уже собирается.

— Машины каждый день возят, а больше у нас транспорта нет. На велосипеде не повезешь, — сказала Луша.

Филипп Васильевич посчитал расстояния и центнеры, и его удивило, что машины делают мало рейсов. Он достал карту, стал смотреть маршрут. Машины петляли через Поповку, и рейс удлинялся чуть ли не на десять километров. Филипп Васильевич спросил, почему не используется прямая дорога.

— А вы бы сами разок проехали по этой дороге, — сказала Луша. — Там ни одного живого мостика нет.

На ходиках было без пятнадцати семь. Саша, наверное, уже идет на развилку. «Хоть бы уезжал скорей», — подумала Луша об инженере.

Но Филипп Васильевич завел воспитательный разговор о председателях колхозов, которые заблаговременно не думают об осени и не чинят дороги. Видимо, у него было много свободного времени.

— А кто будет чинить? — оборвала его Луша. — Наши бабы еще не научились мосты уделявать, а мужиков плотников у нас нет. И потом, извините, Филипп Васильевич, мне некогда.

Она попрощалась с удивленным инженером и выбежала на улицу. Было без десяти семь.

«Куда это я?» — подумала Луша просто так, для вида, чтобы хоть на минуту обмануть себя.

Она быстро шла вдоль деревни, и лицо у нее было красивое и злое.

На пути ее остановила Настя.

— Чего тебе? — спросила Луша, не сбавляя шага.

— Опять стадо на болотину погнажи. Там одна осока. Ее посолишь — и то через силу коровы едят, а так и вовсе не едят. С такой пастьбой разве план надоишь?

— Бери коня, езжай к пастухам. Скажи, чтобы перегнали. А в Вознесенском погляди, пришла ли молотилка.

— А ты куда, тетя Луша?

— Какая я тебе тетя. Сказано — и ступай.

Настя отстала.

Луша вышла на околицу и направилась к лесу. Солнце садилось. Было оно раза в два больше, чем днем, и заливало небеса холодным малиновым рассветом. Притихший лес дождался ночи. Изъезженный проселок спускался под изволок, и шагать было неприятно — легко, словно кто-то против воли тянул вперед и вперед. И Луша шла, всем своим существом ощущая эту насильную легкость, и на душе ее было невесело.

— Да что такое в самом деле, — рассердилась она. — Что я — рябая? Что я, не заработала права душу свою отогреть? Десять лет ташу такое хозяйство, недоедаю, недосыпаю, два раза на день через три деревни по кругу бегаю.

— А что с твоих трудов? — возражал ей какой-то внутренний голос. — Если бы ты колхоз в передовые вывела, тогда другой разговор. Тогда бы и мужики понаехали и от женихов отбою бы не было. А пока за десять-то лет одни Гавриловы вернулись. Один парень приехал, и того хочешь к рукам прибрать. А ты председатель, ты за все в ответе. И за хомуты, и за ломаные печи, и за то, что мужиков мало. Перед всеми женщинами в ответе: и перед Катериной и перед Настей.

— Что там Настя! Я люблю его.

— А Настя не любит? — перебивал внутренний голос.

— Она еще найдет. К ней годы приходят, а у меня уходят.

— Вот и совестно тебе завлекать Сашу, — убеждал голос. — С какого бока ни погляди — совестно. Не похвалят тебя бабы. Добейся сперва, чтобы наши девчата в штапельных кофточках гуляли да чтобы их женихи не сманивали, а сами к нам приезжали да тут бы и оставались. А пока нет этого — живи, как все, такая твоя судьба. Тебя поставили о людях думать.

— А о себе когда! — чуть не крикнула Луша, но во-время опомнилась. Начинаясь горелый лес, и развилка была близко.

Через минуту она увидела Сашу. Он сидел на пеньке спиной к дороге и играл веточкой. Луше почему-то вспомнилась песенка Катерины: «Только стукни о пенек, выйдет славный паренек»; она поморщилась и остановилась.

Саша не замечал ее.

«Сейчас подойду,— быстро думала Луша,— а он спросит: «Ну, куда пойдём?» — и посмотрит на меня со значением, как тогда, в конторе... А я скажу спокойно: «Что у тебя, память отшибло? Скотный двор поглядим — и домой». И все... И все... И чтобы никаких глупостей».

Она сошла с дороги и остановилась перед ним.

— Что же опаздываешь? — спросил Саша.

Она стояла молча, опустив голову.

— А я уже домой собрался.

Она все стояла, не поднимая глаз.

— Ну, пошли, что ли... — сказал Саша. — Поглядим поскорей, да мне назад надо. Батяка сегодня именины отмечает.

Он поднялся, стряхнул брюки и пошел, играя веточкой.

И Луша внезапно поняла, что он и не думал ни о каком свидании, когда разговаривал в конторе, да и не знал, наверное, никогда, что тут встречаются с ухажерами колхозные девчата. Просто собрался человек смотреть скотный двор с председателем колхоза — только и всего. А танцы у Катерины и чаепития — все это просто так, глупости подвыпившего парня, которые давно пора забыть так же крепко, как забыл Саша, а не строить на таких пустяках бабьи фантазии.

Указывая дорогу, Луша молча прошла лес и направилась к Поповке напрямик — поляной.

Блекнут к осени деревенские полянки. Летом они щедро разукрашены цветами, алыми, бирюзовыми, белыми, и густой, тяжелый от медовых запахов воздух неподвижно стоит над землей. А сейчас все потускнело — и цветы и травы. Редко где задумчиво клонит помятые головки бледно-голубой, словно выцветший за лето, колокольчик да прячется в тени крошечная застенчивая незабудка, да отцветают бело-розовые, грязноватые кашки, лаская вечерний воздух еле слышным прощальным запахом.

Скотный двор был пуст. Луша вошла вслед за Сашей и стала объяснять, что в первую очередь надо делать строительной бригаде. Она показала, где перестлать полы, где поправить рамы, сказала, что надо добавить вытяжные стояки, потому что каждая корова испаряет дыханием десять килограммов воды в сутки и зимой стоит такой туман, что не видать ничего.

— У вас тут за год всего не переделаешь. В эмтеэсе, наверное, легче, — заметил Саша.

А она говорила, говорила, и на глазах у нее стояли слезы. Было темно, и она думала, что Саша не заметит. Но он заметил. Он взял ее под руку и повел к окну, ближе к свету.

— Что ты? — спросил он.

Она не отвечала.

— Лушенька, что ты? — повторил он испуганно.

Луша длинно вздохнула и уронила голову на его плечо. Он стоял озадаченный, обнимал ее и чувствовал, как вся она, с головы до ног, вздрагивает от бесшумных рыданий. Было тихо, только где-то далеко-далеко в лесу слышался тупой, ритмический стук, похожий на туканье топора.

— Думаешь, я правда в эмтеэс подамся? — говорил Саша. — Это я так. Я не пойду в эмтеэс.

Звук приближался. Стало ясно, что скачет лошадь. Луша отпрянула к стене. Лошадь затопала рядом, послышался голос: «Стой, леший!» — и в воротах появилась Настя.

— Тетя Луша! — крикнула она в темноту.

— Ну, что тебе опять? — спросила Луша неестественно спокойно, как в конторе, когда ее отрывали от дел.

— В Вознесенском подвод не хватает. Снопы не успевают к молотилке подвозить. Машиновед ругается.

— Я сейчас. — Луша насухо, до боли, утерла глаза и щеки, туго повязала платок и вышла.

— Там Саша, — сказала она. — Разъясни ему, что уделывать. Ты доярка — твоя и забота.

Настя стояла в нерешительности.

— Иди, не бойся. Он изображает только из себя. А парень хороший.

Луша взлетела в седло и тронула коня каблуками.

Конь всхрапнул и помчался напрямик по поляне, прибывая к земле редкие кашки и колокольчики.

ВОЗНИЦА

А. Прокофьеву

Как известно, наш таксомоторный парк шефствует над колхозом «Трудовик». Прошлой осенью мы познакомились с библиотекаршей этого колхоза и в порядке шефской помощи посулили прислать ей художественную литературу. Потом, как это иногда у нас бывает, обещание забыли и только в феврале, получив из «Трудовика» письмо, стали собирать книги.

Шоферы — народ дружный: за один день натаскали целую гору литературы. Здесь было все, начиная от Пушкина и кончая правилами уличного движения. Мой напарник притащил даже роман какого-то графа Салиаса, но в этом романе некоторые герои говорили латинским шрифтом, и графа пришлось выкинуть.

И вот в один прекрасный день я погрузил книги на заднее сиденье «победы», заложил в багажник две конистры бензина

и выехал с территории. Только выехал, вспомнил — лопатку забыл. Пришлось возвращаться. «Ну, думаю, пути не будет». Так и случилось — поднялась метель. Понадеявшись, что погода направится, я дал газу и часа в три свернул на проселок. Однако метель свистела все сильнее и снег залеплял ветровые стекла. Круглое, без лучей, солнце просвечивало сквозь облака. Ничего не было видно. Дорогу замело. Ветер качал машину. Пришлось спускать воду и ночевать в поле. Спать было холодно. Я то и дело зажигал свет и читал художественную литературу.

Погода бушевала всю ночь, а к утру вдруг сразу стало так тихо вокруг, будто метель мне приснилась. Небо было чистое, пышный снег сверкал до самого горизонта, и деревенские ребята черной цепочкой тянулись в школу на лыжах.

Совсем близко в низинке лежало село. Ребята сказали, что до «Трудовика» восемнадцать километров, и я пошел в село просить лошадь.

Тут тоже не повезло: правление было на замке, а председатель и бригадиры — все ушли в соседнюю деревню Кирилловку, в клуб, на отчетное собрание.

Пришлось идти в Кирилловку.

Клуб я угадал сразу: возле крыльца стояли лошади, запряженные в сани. Видно, колхоз был большой, объединенный, и на собрание съехались люди из многих деревень. Лошади дремали. Только мохноногий силач жеребец пританцовывал и нервничал, будто ему очень некогда.

Я отворил дверь и протиснулся в наполненную печным теплом комнату.

Собрание началось недавно — председатель делал отчетный доклад. Меня прижали между белокурой девушкой и парнем, от которого пахло лигроином, а спереди всю видимость заслонял широкий тулуп какого-то деда. Я стал легонько поталкивать его, чтобы пробраться вперед, но он проговорил, не оборачиваясь:

— Я тебе не ворота, на две половинки не растворюсь. Надо приходиться, когда положено.

Белокурая, видно, поняла, что я приезжий, и сказала:

— Ты, Спиридон Кузьмич, людей учишь, а сам не хуже опаздываешь.

— Мне что! Меня за красный стол не посадят, — ответил Спиридон Кузьмич.

— Значит, недостойный, — сказал парень.

— А ты достойный? Докатились — из города председателя наняли за тыщу рублей.

— Значит, своих не нашли, — сказал парень.

— Поискали бы получше, так сыскали бы. За тыщу каждый станет работать.

Я уперся глазами в овчинную спину Спиридона Кузьмича и стал слушать. Поскольку и я был когда-то деревенским мужиком, слушать было интересно и радостно. С прошлого года денежные доходы артели поднялись чуть не вдвое. И трудень получилась раз в пять больше прошлогоднего.

Докладчик, как это и положено, не забыл отметить лучших людей, в частности безотказных колхозников: доярку Любу Качалкину, скотника Качалкина Илью Васильевича и возчика молока Качалкина Леньку. И когда отмечали Любу Качалкину, белокурая девушка сделала вид, будто это ее не касается.

— А в Игнатовке косилка на улице лежит. Если ее ребятишки на игрушки растаскают, кто за это отвечать будет? — ни с того ни с сего спросил Спиридон Кузьмич.

На него зашумели, а председатель сказал, что если Спиридон Кузьмич еще раз нарушит регламент, то его попросят из зала.

Было заметно, что председатель бережлив и рачителен до невозможности. Я, например, никогда не сказал бы, что доходы составляют девятьсот сорок тысяч рублей и двадцать шесть копеек. Мне рядом с такими крупными тысячами советно было бы цепляться за двадцать шесть копеек. А он не упустил и копейки и даже сделал на этих копейках ударение. Трудно будет выпросить подводу у такого председателя. А если узнает, что за груз везу, и **вовсе не даст**.

Между тем колхозники слушали отчетный доклад сочувственно. Только Спиридон Кузьмич снова не вытерпел и спросил:

— А наши шофера бензин покупают у частных лиц. Кто за это отвечать будет?

Я поглядел на него сбоку. На вид ему было лет около шестидесяти. На сивой голове его лежал маленький, будто взятый взаймы у внучонка, малахай. Под небольшим острым носиком серdito топорщились рыжие, почти красные, усы. Он то и дело ехидно ухмылялся, и возле глаз его привычными стрелками собирались морщины. Колючий, недобрый был старик... Но как только председатель заговорил о недостатках, Спиридон Кузьмич повеселел, морщины его расправились и даже усы улеглись, как у ежа колючки.

— В части постройки свинофермы, — говорил докладчик, — тоже подготовились плохо. Надо немедленно завозить цемент, и если по погоде не пойдут машины — выделить на это дело лошадей.

— Вот они как, — ласково проговорил Спиридон Кузьмич и покосился в мою сторону, видно приняв меня за районное начальство. — Нормальный рацион коням назначить, на это их нету, а работать коней заставляют через силу. — И сразу же крикнул новый вопрос:

— А пересветовские несушки по сорок два яйца снесли. Кто за это отвечать будет?

— Ты бы помалкивал, дед,— сказала девушка.— И про несушек ты зря и про косилки. Косилка, сам знаешь, эмтеэсовская. Ты бы лучше на трудовень порадовался.

— Осень была сухая — вот и получился трудовень,— возразил Спиридон Кузьмич.— Летошный год был урожайный, а вы на Подметаева облакачиваетесь... Погода трудовень-то обеспечила, а не Подметаев.

— И сегодняшний год обеспечим,— твердо сказала девушка.

— Это еще поглядим. Вчерась вон какая заметуха мела. Если на срегенье метет — лето будет гнилое. Это всем известно, кроме твоего председателя. Обрати одни палки в ведомости наработаем... Поглядим...

— Поглядим,— сказала девушка.

— То-то и есть, что поглядим.

— Поглядим,— повторила девушка.

— Ясно, поглядим,— Спиридон Кузьмич рассердился.— Заладили — Подметаев, Подметаев, пропитались к нему почтением...

Начались выступления. Председатель попросил внимательно обсудить проект резолюции и полнее отметить дефекты. С мест закричали, что дефектов нету, а какая-то женщина предложила вписать пункт о том, чтобы товарища Подметаева закрепить председателем на двадцать лет и никуда не перестанавливать. Кое-как ее убедили, что такого пункта вписывать не положено, а председатель снова попросил отметить недостатки. Поднялся шум. Кто-то внес предложение создать комиссию, которая учтет все недостатки и подработает резолюцию. Стали называть кандидатуры. Белокурая девушка подняла руку и крикнула:

— Спиридона Кузьмича!

Все засмеялись, но, когда стали выбирать, Спиридон Кузьмич в комиссию прошел почти единогласно. После этого объявили, что будет кино, и я, наконец, увидел председателя. Это был веселый, комсомольского возраста парень, в шерстяной фуфайке, в модном пиджаке и в высоких с загнутыми верхами валенках. Как только я сказал, что застряла машина и нужна подвода, лицо у председателя сделалось скучным.

— Не могу, товарищ,— сказал он категорически.— У нас у самих напряженное положение. Сорок километров — конец не маленький,— добавил он и застегнулся на все пуговицы, обозначая этим конец беседы.

В таких случаях остается один способ: изобразить на лице полное упадничество и жалким видом действовать на сознание начальства. Нам с напарником иногда удавалось таким методом выбивать в таксомоторном парке дефицитные запчасти.

Наверное, у меня получилось натурально, потому что председатель расстегнул пиджак и спросил:

— Груза много?

Я ответил, что килограммов пятьдесят.

— А что за груз?

— Да груз нужный...

— А все-таки?

— Для культурных надобностей. Мы, видишь ли, шефы...

— Да ты не крути вокруг вопроса. Какой груз?

Пришлось признаваться, что везу художественную литературу.

— А-а-а! — сказал председатель серьезно. — Художественную литературу! Спиридон Кузьмич, подбрось товарища до «Трудовика».

— Не поеду, — сказал Спиридон Кузьмич.

Он стоял в длинном, до полу, нагольном тулупе, как в колоколе, и глядел в ноги.

— Как это не поедешь?

— А так вот — не поеду. У меня состояние здоровья.

— Ну что ж. Придется тебя снова разбирать на правлении, — сказал председатель и застегнулся на все пуговицы.

Спиридон Кузьмич сердито кивнул мне, запахнул тулуп и пошел к выходу.

— Тяжелые все-таки бывают люди, — сказал я председателю на прощанье.

— Ничего... — Он весело улыбнулся. — Мы его с бригадиров сняли, вот он и не в духе.

Наступил вечер, а снег сверкал так же ярко. Все было в снегу — и земля, и избы, и телеграфные провода.

Я перетащил литературу в сани, и скоро мохноногий жеребец мчал нас к «Трудовика». Спиридон Кузьмич сидел впереди и молчал. И только проехав километров пять, сказал вдруг:

— И фамилия у него вредная — Подметаев.

Я вопросительно взглянул на возницу.

— Разве это фамилия? — продолжал Спиридон Кузьмич. — Без него куда легче было.

— Так ведь в прошлом-то году хуже жили, — сказал я.

— Хуже жили, а легче было... — отозвался Спиридон Кузьмич и хлестнул коня. — Прошлый год меня за критику уважали. Больно я люблю критику. И душу отведешь и от людей почтение. Бывало, в правлении посидишь, посрамишь их там всех, а трудодни, между прочим, идут. Какие ни на есть, а все-таки трудодни. Прошлый год куда легче было. Все недостатки были под рукой — нагинаться не надо. Меня, бывало, сам председатель сельсовета за критику уважал. Как придет, всегда вызывает на беседу. «Как, мол, Спиридон Кузьмич, дела?» Тут я ему и высыпаю кучерявые фактики: «Вот, мол,

свинья в свинарнике подняться не могла, хвост приморозила. Кто за это отвечать должен?» Недостатков у нас было — куда ни обернись. Наговоришь ему, а он тебе спасибо. В пример ставил: «Вот, мол, активист, за колхоз болеет».

— А теперь что, нет недостатков?

— Таких, чтобы свинья приморозилась, нету, — с сожалением проговорил Спиридон Кузьмич, но вдруг спохватился и добавил: — Как же — нету! И теперь есть! С таким председателем да чтобы недостатков не было? Что ты? Только теперь вникать надо, сразу не разберешься, что к чему... — И он снова в сердцах хлестнул коня. — Бывает, найдешь неполадку, — к примеру, ворота на скотном дворе не затворяют, — станешь Подметаева срамить, а он не реагирует. «Ты, говорит, не инспектор, а такой же колхозник. Чем, говорит, болтать, подойди да затвори». Тпру, черт! — закричал вдруг Спиридон Кузьмич диким голосом и соскочил с саней. Жеребец притормозил и остановился как вкопанный.

Волоча по снегу полы тулупа и поругиваясь, Спиридон Кузьмич обошел вокруг коня и по пути ткнул его локтем в морду.

— Чересседелка лопнула, — объявил он спокойно, садясь в сани и запахиваясь в тулуп. — Закурить есть?

Закурили. Жеребец стоял, поводя ушами. До «Трудовика» оставалось еще километра четыре.

— Надо бы ехать, Спиридон Кузьмич, — сказал я. — Гляди-ка, звезды на небе.

— То-то и оно, что звезды. Подметаев на это не глядит. Хошь тебе день, хошь ночь, а поезжай. Никакого регламенту нету. Ровно у меня только и делов, чтобы людей по колхозам развозить. Я им в кучера не нанимался. Мы еще поставим вопрос...

— Поедем, Спиридон Кузьмич. Ладно...

— Куда ж ты поедешь? Сказано — чересседелка лопнула.

— Так надо сделать что-нибудь. Неужели так и будем стоять?

— А что ты сделаешь?

— Ну что... Ну, свяжи ее...

— Она и так коротка — за самый конец подвязана. А с узлом ты ее навряд ли на оглоблю натянешь. Я думаю — коротка будет...

— Да ты попробуй.

— Что пробовать. Коротка будет. У нас с упряжью, скажу я тебе, — полный разгром. Взять, к примеру, вожжи. Разве это вожжи? — Спиридон Кузьмич сплюнул. — То были ременные, после сыромятные. Кончились сыромятные — стали веревочные давать. А теперь из какой-то бумаги делают вожжи... Кто за это отвечать будет?

Тут я, по правде сказать, растерялся. Вокруг — ни огонька. До самого горизонта во все стороны — снежная равнина. Небо по краям потемнело — видно, опять собиралась метель. А Спиридон Кузьмич сидел, покуривал и не думал ударить пальцем о палец. Вот беда! В одном месте на машине застрял, в другом на лошади.

— Спиридон Кузьмич, давай делать что-нибудь. Что мы тут засели, как зимовщики.

— Хуже! — отвечал Спиридон Кузьмич. — Зимовщикам, я читал, и апельсины дают и консервы всякие... А мы тут без ничего пропадаем.

Потеряв всякую надежду, я поднялся с саней и с помощью своего брючного ремня кое-как наладил чересседелку. Потом сел на место возницы, выпростал из-под хвоста коня заскорузлые от мороза вожжи, и мы поехали.

Спиридон Кузьмич сидел сзади на книгах и до самого «Трудовика» наводил критику.

ДРУЖОК

Вс. Рождественскому

До зимы сорок первого года старый мастер Савелий Петрович и Дружок жили у Фонтанки. Но зимой на набережной упала бомба, стена дома развалилась, и Савелий Петрович переехал в другой район. Ему дали две комнаты. В первой, маленькой и светлой, все время пахло коптилкой, а в углу валялась проволочная хлебница, покрытая толстым слоем пыли. Возле хлебницы стояла красивая тарелка, из которой Дружок пил воду.

Вторая комната была большая и холодная. Окна в ней были забиты фанерой, пушистой от инея, и под голой кроватью лежала одна женская туфля. Дверь в эту комнату открывали редко, и Дружок не любил туда ходить.

В маленькой комнате висело зеркало. Если вспрыгнуть на стул с отломанной спинкой — в зеркало становилось видно еще одну комнату. Там, на стуле, у которого тоже была отломана спинка, всегда стоял белый пес с вывернутым наизнанку ухом — такой маленький, что легко мог уместиться в крышке от швейной машины. Он с любопытством рассматривал Дружка и принюхивался, шевеля сырым черным носом. Пес был дрянной и до того грязный, что всклокоченная шерсть его пожелтела и перепуталась. Однако в комнату Савелия Петровича он никогда не забегал, и поэтому на него совершенно не стоило обращать внимания.

Рано утром Савелий Петрович уходил на работу, и до пяти часов вечера Дружок оставался один. Без хозяина было скучно, и к пяти часам Дружок уже сидел, ткнувшись носом в узкую щелку между дверью и полом, громко принюхивался, фыркал и дожидался знакомых шагов по лестнице.

Савелий Петрович возвращался в пальто, в кашне и в облезлой меховой шапке. Не раздеваясь, он садился к столу, наливал в чашку воду из чайника и осторожно доставал из кармана завернутый в бумагу плоский кусок черного хлеба.

Во все время еды он не сводил своих добрых, усталых глаз с куска, словно опасаясь, что хлеб сейчас побежит и его надо будет догонять.

Дружок сидел рядом и на всякий случай следил за хлебом. Ему часто казалось, что с бороды хозяина падает крошка, и он бросался обнюхивать пол. Но возле стула валялась только старая пуговица да чернели капли растаявшего снега.

После обеда Савелий Петрович любил побеседовать с Дружком. Он говорил что-то до того нежным и грустным голосом, что Дружку казалось, будто ему почесывают шею. Он смотрел на хозяина черными слезящимися глазами, вилял хвостом и повизгивал от радости.

А Савелий Петрович говорил:

— Вон ты какой водохлеб — больше хозяина пьешь... Думаешь, легко за водой ходить? Это в мирные времена, бывало, как в сказке: крантик повернешь — и вода. А сейчас — куда я к ночи пойду? Коленки-то у меня болят или не болят? Только потому и иду, что ты один у меня остался...

Немного поворчав, он поднимался и шел на Неву за водой.

Иногда к ним забегала дружинница в больших сапогах. Ее звали Ира. Была она худенькая, бледная и веселая. Вручив Савелию Петровичу противодифтеритную таблетку, она брала Дружка на колени и, расчесывая его спутанную шерсть, начинала разговаривать.

— Мне всегда достается сторона, наиболее опасная при артиллерийских обстрелах, — говорила Ира. — Сегодня опять первых номеров трое.

— Сколько я тебе говорил — грех покойников номерами называть.

— Так положено...

Ира вздрагивала и ежилась. Дружок с недоумением смотрел на нее, подняв ухо.

— Замерзла? — спрашивал Савелий Петрович.

— Ничего. Дома отогреюсь.

— А у тебя что там, паровое отопление?

Савелий Петрович улыбался, довольный собственной шуткой.

— А мы не нуждаемся в паровом отоплении. Мы горячий утюг под одеяло кладем.

Дружок не понимал человеческих слов, и ему казалось, что хозяин произносит все время одно и то же: «Ба-ша-ша, ба-ша-ша», а Ира в ответ звенит, как бубенчик.

Дружок любил такие вечера. Савелий Петрович выламывал из дырявой дверцы буфета доску и затоплял железную печурку. Бок печурки быстро становился малиновым. По комнате плыл теплый воздух. От запаха дыма и горелой краски в комнате делалось уютно, и Дружок, теснее прижимаясь к Ире, шурил от удовольствия глаза. Но Ира всегда почему-то торопилась и убегала, так и не согревшись как следует.

Когда становилось совсем тепло, приходил сосед — высокий человек с опухшим серым лицом и полинявшими глазами. Он жил за стенкой, и от него пахло фиолетовыми чернилами. Сосед садился у печки напротив Савелия Петровича, и они начинали по очереди произносить однообразные звуки. «Ба-ша-ша, ба-ша-ша...» — говорил Савелий Петрович. «Бурру, бурру...» — отвечал сосед.

Дружок обыкновенно подремывал в углу, сложив передние лапы крестиком и стараясь не глядеть на гостя. Ему не нравилось, что сосед все время смотрит на него жадным, бессовестным взглядом.

— Одним больше хлеба дают, а другим — меньше, — говорил сосед. — Несправедливо.

— Идите к нам на завод, и вам станут давать больше, — советовал Савелий Петрович.

— У меня другая специальность... Что я буду делать на вашем заводе.

— Ира вон тоже в университете училась. А вот нашла себе дело. Не такое время, чтобы сидеть сложивши руки...

— Сил нет на завод идти, Савелий Петрович.

— Работать станете, и силы придут. У вас все мысли направлены на питание — этак вы наверняка кончитесь... А вы переключите мечты на работу — и легче будет.

Дружок закрывал глаза, но и с закрытыми глазами чувствовал, что тяжелый взгляд соседа лежит у него на лбу. Дружку становилось тоскливо, он подбегал к хозяину, трогал носом валенок.

— Ба-ша-ша, Дружок, ба-ша-ша, — говорил Савелий Петрович, и глаза его становились ласковыми, и на лице появлялось много морщинок.

Однажды Савелий Петрович вернулся позже обычного. Пойти за водой у него не хватило сил, и он разделил то, что оставалось в чайнике, пополам: половину налил в красивую тарелку, стоящую в углу, половину — в свою чашку. Потом он по обыкновению достал из внутреннего кармана кусок хлеба и начал есть. В это время все двери сами собой отворились, раздался грохот, со стены упало зеркало, и комната, в которой жил чужой грязный пес, куда-то исчезла.

Дружок не умел читать и поэтому не знал, что их квартира находится на стороне, наиболее опасной при артиллерийских обстрелах. Он подумал, что произошла одна из многочисленных, непонятных ему людских затей, и не очень испугался. Но на всякий случай он побежал в большую комнату, которая стала светлой, потому что из окон вылетела фанера, и забрался под кровать. Через несколько минут на улице забегали люди, и Дружок отправился к хозяину, узнать, в чем дело.

Савелий Петрович сидел, откинувшись на спинку стула, и на правой щеке его застыла кровь. Недоеденный кусок хлеба лежал на столе, на обрывке газеты. Повсюду валялись холодные, как лед, осколки стекла. Через дырявые окна залетали пушистые снежинки и робко кружились, словно стесняясь, что без спроса попали в чужую комнату.

Дружок подошел к хозяину, ткнул носом в валенок. Савелий Петрович сидел не шевелясь и не хотел замечать своего приятеля.

Дружок обиженно твякнул.

Держась за стену, вошел сосед, взял со стола хлеб и ушел.

Потом вбежала Ира и вслед за ней появилось много незнакомых людей. Дружку показалось, что в комнате вырос целый лес кирзовых сапог. Люди начали суетиться, беспокойно переговариваться. Дружок догадался, что произошла какая-то беда, и тоже забеспокоился, засуетился, подбежал к Ире. Но на этот раз и она не обращала на него никакого внимания. Незнакомые люди расставили носилки на низких ножках, с брезентом, провисшим до самого пола, и подняли Савелия Петровича со стула.

Дружок понял, что хозяина хотят унести, и начал зло лаять, скаля белые, как фарфор, зубы.

Чужие люди укладывали Савелия Петровича на носилки, словно что-то неживое, состоящее из нескольких частей. Сначала положили его тело и голову, потом вложили ноги, потом впихнули одну свисавшую руку, потом другую. И на голову косо надели облезлую шапку.

Совсем осипший Дружок лаял, подпрыгивал, пытался укусить Иру. Его пнули так, что он отлетел и ударился о стену.

Чужие люди подняли носилки и, нестройно стуча сапогами, вынесли Савелия Петровича в коридор. Кто-то наступил на красивую тарелку и раздавил ее.

Отдышавшись, Дружок бросился на лестницу и стал лаять, отчаянно и хрипло, и ему казалось, что на каждом этаже лает собака. Он лаял о том, что чужие люди схватили и унесли Савелия Петровича, что они плохо укладывали его на носилки, что шапку на него надели косо...

Но никто не откликнулся на лай Дружка. Подумав немного, он выбежал на улицу и бросился вперед, обнюхивая рифленые следы шин. Густо шел снег. Скоро следы исчезли, но сладкий запах резины вел Дружка все дальше и дальше. На одном из перекрестков он остановился. Запах тянулся направо, и точно такой же свежий запах уходил прямо вдоль улицы. Дружок подумал и повернул направо, потому что когда они с Савелием Петровичем ходили в булочную, то всегда поворачивали направо. Однако Дружок уже сомневался, часто останавливался и нерешительно оглядывался.

Вскоре ему показалось, что за снежной пеленой чернеет машина. Он взвизгнул и, увязая по брюхо в сугробах, бросился вперед.

Но это была другая машина. Держась друг за друга, в ней стояли люди в одинаковых касках и в одинаковых плащ-палатках. Один из них показал на Дружка. Все посмотрели вниз и засмеялись. Машина тронулась. Люди одинаково качнулись, машина пустила едкий дым и уехала.

Снег падал. Сугробы лежали по сторонам. Со стен домов свисала проволока, чернела на снегу большими кольцами, жалобно позванивала под ветром. Улица была пустынна.

«Зачем я тут стою?» — подумал Дружок, подняв переднюю ногу и вздрагивая от холода. Он старался вспомнить что-то очень важное и тревожное, то самое, из-за чего он очутился на чужой улице, знал, что это вспомнить необходимо, — но ничего вспомнить не мог. Он знал только, что с Савелием Петровичем случилась беда, но какая беда и при чем здесь эта улица и машина с одинаковыми людьми и жалобная проволока — было совсем неясно.

Дружок подумал еще немного и побежал домой.

Люди попадались редко.

На углу, возле убежища, стояла старушка. Она посмотрела на Дружка, как на привидение, и проговорила: «Осподи сусе, собака!» И снова потянулась пустая улица, засыпанная снегом почти до окон первых этажей, и не было людей ни на мосту, ни на набережной. И только по переулку шли девочка и женщина.

— Мама, смотри, собачка! — закричала девочка, но мать не поверила и не оглянулась, и тянула девочку за руку, а девочка долго шла боком и смотрела на Дружка.

Недалеко от дома, на бульваре, навстречу попался мужчина в драповом пальто. Перевешиваясь вперед, он тянул санки. На санках лежало что-то длинное, завернутое в простыню.

— Гм, брудастый, — сказал он одобрительно и тоже стал смотреть вслед.

— Брудастый, — повторил мужчина, сел на свободный угол санок и задремал бы, если бы не подошел дворник и не

сказал: «Гражданин, который тут из вас которого везет. Вставай. Заснешь».

Дружок добежал до парадной и поднялся по лестнице. Он долго скулил и царапался, но никто не открывал. И только на следующее утро сосед впустил его.

Хозяина дома не было. Дружок побегал по комнате, увидел свою разбитую тарелку, вспомнил что-то важное и сразу забыл. Ему стало страшно, и он начал звать хозяина громко и настойчиво.

В комнатах было холодно. Кресло, на котором всегда отдыхал Савелий Петрович, побелело от снега. Аккуратные су-гробики лежали на сиденье и на узких ручках. Снег выбелил и подоконник, и засохшие цветы, и стол, и все, что было на столе.

Дружок забрался под стол и заснул поскуливая.

Проснулся он оттого, что хлопнула входная дверь. Было утро. Из булочной вернулся сосед. Обыкновенно сосед сразу же отпирал свою комнату и принимался за еду. Но на этот раз он не пошел к себе, а остановился в коридоре, и Дружок слышал, как тикают его карманные часы.

Дружок наострил ухо.

Все было тихо. Щелкая листьями, на диване перелистывалась книжка. Тикали карманные часы в коридоре. Через разбитые окна бесшумно залетал снег. Наконец, дверь отворилась и вошел сосед. Дружок пролаял один раз и осекся, потому что получилось очень трусливо.

— Дружок,— сказал сосед сипло.— Дружок.

Дружок попятился и уперся в диван.

— Дружок...— сосед протянул руку со сложенными щепоткой пальцами,— на, на...

От руки его ничем съедобным не пахло, и Дружок стал пятиться вдоль дивана к дверям другой комнаты. Потоптавшись, сосед тяжело повалился на колени и схватил его за переднюю лапу. Дружок взвизгнул, укусил палец соседа, бросился в большую комнату и забился под кровать. Прижавшись к стене, он залился отчаянным лаем и лаял так громко, что не заметил, как наступил вечер.

Целые сутки Дружок не решался вылезти из-под кровати, хотя ему хотелось и пить и есть. Он засыпал, просыпался, засыпал снова. Возле него иногда появлялся Савелий Петрович и, свернувшись клубком, ложился под кровать, не снимая ни шапки, ни кашне. От него, как всегда, пахло куревом и железными стружками, и он говорил «ба-ша-ша», когда Дружок жаловался на соседа. Но как только Дружок открывал глаза — хозяин исчезал, и снова становилось холодно и пустынно, и не было ничего под кроватью, кроме одной старой женской туфли.

Однако, несмотря на страх, Дружку все-таки пришлось выходить из своего убежища. Он кормился крысами, а крысы водились только на кухне. Если приоткрыть носом дверь, пройти немного в темноте по коридору, там, где пахнет галошами и уборной, то налево, возле комнаты соседа, есть другая дверь. За этой дверью начинается кухня.

И вечером, стараясь не стучать когтями, Дружок отправился на охоту.

Ночь прошла спокойно.

Сосед выходил из комнаты четыре раза, но в кухню не заглядывал.

На следующий вечер Дружок пошел на охоту смелее. Он совсем успокоился, но его мучила жажда. Еще вчера он слизал снег со стула, с подоконника и даже с высушенных цветов, а нового снега не появлялось.

На кухне все было по-старому. В углу темнела плита, заваленная кастрюлями, сковородками и бутылками. Примуса, гардины, колун, разбитые бутылки валялись у окна.

Дружок собрался было притаиться на своем излюбленном месте, но вдруг заметил предмет, которого раньше не видел. Это был поставленный набор фанерный ящик с открытой крышкой, как-то странно державшейся на весу. В ящике стояло блюдо, наполненное водой.

Дружок подошел ближе и нерешительно оглянулся. От ящика несло фиолетовыми чернилами. Посматривая на блюдо и раздумывая, как поступить, Дружок долго ходил около ящика.

Запах, напоминавший о соседе, пугал его.

Наконец, он твердо решил не забираться в подозрительное сооружение и потратил ночь на охоту.

Но к утру ему до того захотелось пить и так свежо и вкусно пахла вода, что он, уже ни о чем не раздумывая и забыв свои сомнения, осторожно вошел внутрь ящика и потянулся к блюду.

Внезапно ящик опрокинулся и крышка, громко стукнув, захлопнулась.

Дружок был не настолько безрассуден, чтобы лаять. Он поскреб лапами по стенке, догадался, что крышка оказалась наверху, и, встав на задние лапы, попробовал открыть ее головой. Крышка не подавалась. Тогда он стал подпрыгивать, ударяя по ней всем телом. Так прыгал он больше часа, но толку не было: крышка чуть-чуть приоткрывалась и захлопывалась снова. Обессилев, Дружок улегся на дно и стал дрожать. Вместе с ним дрожал и ящик. Было тихо. Сосед, видимо, спал. Только изредка слышалось, как мимо бегают крысы.

Так прошло еще часа два или три.

Утром вошел сосед в шлепанцах и ударил по ящику ногой.

Дружок яростно залаял.

— Бурру,— сказал сосед и отошел. Было слышно, как он нетерпеливо копается в углу, чихает, гремит тарелками и при-мусами.

Не найдя нужного предмета на кухне, сосед отправился в комнаты Савелия Петровича. Он долго шаркал шлепанцами, передвигая стулья, открывал дверцы буфета.

Он все время бурчал себе под нос, и голос его становился все больше и больше сердитым. Но Дружок перестал дрожать. Ему сначала смутно, а потом все отчетливей стало казаться, что домой идет Савелий Петрович. Может быть, он еще далеко, может быть, он еще около того убежища, где старуха сказала «осподи сусе», но он идет домой, несомненно идет домой, идет в своем кашне и в шапке, от которой пахнет куревом и железными опилками.

Сосед, наверное, сел отдыхать, потому что брякнула пружина дивана. Несколько минут он сидел, сердито разговаривая сам с собой, потом снова пришел в кухню и стал рыться в куче пыльных вещей.

Но Дружок уже не думал о нем. Несомненно, домой идет Савелий Петрович. Он совсем близко, он, наверное, прошел уже чугунную тумбу и поднимается по лестнице, останавливаясь через каждые три ступеньки, чтобы отдышаться.

Дружок встал и забарабанил хвостом по фанере. Между тем сосед довольным голосом сказал «бур-ру» и быстрыми шагами направился к ящику. Дружок застыл.

В парадную дверь постучали.

Сосед уронил что-то тяжелое, и это тяжелое стукнулось об пол сначала железом, а потом деревом. Потоптавшись, он пошел открывать.

— Ба-ша-ша, ба-ша-ша,— раздалось в коридоре.

Дружок хотел залаять, но не мог. Он плакал. Горло его дергалось. А голос Савелия Петровича раздавался уже в кухне. Открылась крышка ящика. Дружок выпрыгнул, упал и вскочил на ноги.

Хозяин его стоял рядом в пальто, в кашне и в облезлой меховой шапке, и из-под шапки виднелся чистый белый бинт. Дружок бросился к нему, улыбаясь, виляя и хвостом и всем телом, бросился, зная, что сейчас сделает глупость, которую очень не любил хозяин.

— Ну, ну! — сказал Савелий Петрович и погрозил пальцем.

Дружок подпрыгнул изо всех сил и лизнул хозяина в щеку. Это и была та самая глупость, за которую всегда сердился Савелий Петрович.

В это время послышались звуки артиллерийской канонады, которые через минуту слились в равномерный радостный гул.

— Это что значит? — удивленно спросил сосед.

— Где-то у Войбокало бьют...— сказал Савелий Петрович,— пока вы за собакой гонялись, наши-то, видать,— врага погнажи. Вот это что значит!

Канонада бушевала все сильнее и сильнее, и Савелий Петрович, сняв шапку, слушал гул ее, как долгожданную музыку.

АНКЕТА

Ю. Герману

Начальник областного управления связи Семен Еремеевич был человек простой, приходил на работу всегда во-время, здоровался с секретаршей за руку и иногда даже писал в стенгазету заметки под псевдонимом «Муха». В приемной его с утра ожидали посетители — кое-кто с важными делами, а кое-кто и с такими, которые легко можно было решить и в нижестоящих инстанциях, не затрудняя Семена Еремеевича. Однако стиль работы Семена Еремеевича заключался в том, чтобы принимать всех желающих и лично вникать в дело.

Приемная была оставлена просто, но по-деловому. У двери стоял стол секретарши, на столе — пишущая машинка с широкой кареткой. В углу висел репродуктор, и играло радио для развлечения ожидающих и еще для того, чтобы заглушать голос начальника, доносившийся из кабинета, так как бесспорно среди посетителей могли находиться и случайные люди.

Кабинет отличался скромностью, присущей Семену Еремеевичу. В глубине стоял широкий письменный стол с бронзовыми чернильницами и перед ним два кожаных кресла. Справа был стол для заседаний — длинный, накрытый зеленым сукном и с обеих сторон аккуратно заставленный стульями. Семен Еремеевич очень не любил, когда за этот стол кто-нибудь садился, и если видел отодвинутый стул, то всегда собственноручно подвигал его на место, так, чтобы спинки образовывали ровную, прямую линию.

Быстрая секретарша на минуту скрылась в кабинете и проговорила, вернувшись:

— Товарищ Ефимова, пожалуйста.

Молодая женщина в кокетливой шляпке с перьями, совсем не подходившей к ее бледному лицу, прошла в кабинет. Она, видимо, волновалась, потому что забыла закрыть за собой обе обитые черной клеенкой двери.

Семен Еремеевич медленно писал, склонив по привычке голову набок.

— Садитесь, пожалуйста,— сказал он, не поднимая глаз.

Ефимова села на краешек холодного кресла и посмотрела сквозь бронзовый забор чернильного прибора на Семена Ере-

меевича. У него было полное симпатичное лицо некурящего человека и белые, совершенно седые волосы.

— Да, я вас слушаю,— сказал он, продолжая писать.

— Моя фамилия Ефимова,— тихо кашлянув, начала женщина давно приготовленную и отредактированную в уме фразу.— Я была у вас неделю тому назад по вопросу устройства на работу. Вы взяли мою автобиографию и анкету и предложили мне прийти сегодня...

Начальник молча писал. Она взглянула на него, как будто не понимая, что надо просто сесть и подождать.

— Да,— отозвался Семен Еремеевич.

Начальнику трудно было переключить внимание. Перед ним лежала копия жалобы жителей села Веселого на плохую работу трансляционной сети. Жалоба каким-то образом попала в Москву. Оттуда и пришла эта копия и вместе с ней распоряжение, в котором предлагалось немедленно ликвидировать перебой, наказать виновных и доложить об исполнении к такому-то числу. (Число это вчера прошло.) Распоряжение было написано резко и содержало обидные для Семена Еремеевича намеки на плохое руководство. На такие письма начальник составлял ответы сам.

В первую очередь, как это и положено, он вывел в верхнем углу гриф «секретно». Затем он написал, что летом трансляционная сеть в некоторых районах области работала недостаточно четко в связи с тем, что на линии перегорали трансформаторы. А трансформаторы перегорали в связи с тем, что лето изобиловало грозами. Своевременно исправлять повреждения не удавалось по трем причинам: во-первых, заявка на специалистов, посланная за номером таким-то, удовлетворена не более чем на десять процентов, и линейные кадры до сих пор остаются некомплектованными, во-вторых, работу тормозили неблагоприятные метеорологические условия, в-третьих...

— Да, я вас слушаю,— повторил Семен Еремеевич, несколько раздражаясь от того, что третья причина улетучилась из памяти. Конечно, в этом нет ничего удивительного, и каждому, кто работает на более или менее ответственной должности, понятно, как рассеивается внимание, когда в кабинете находятся посторонние люди. Только Юлий Цезарь мог одновременно писать, читать и без конспекта произносить речи. Но то было в древнем Риме, и требования тогда были совершенно другие.

— Моя фамилия Ефимова,— начала назойливая женщина.— Я насчет работы...

— Вам придется пройти в отдел кадров, заполнить анкету,— мягко ответил Семен Еремеевич.

— Анкета и автобиография у вас.

— Как ваша фамилия?

— Ефимова.

Порывшись в нижнем ящике стола, Семен Еремеевич вынул папку с надписью «кадры». Документы Ефимовой действительно находились у него.

В анкете было сказано, что Ефимова, Евгения Васильевна, женского пола, русская, родилась в 1922 году, в семье рабочего, в 1940 году поступила в Ленинградский институт, окончила его с отличием и получила квалификацию инженера-электрика по радиосвязи. Работники такой специальности в нашей системе всегда нужны позарез, и Семен Еремеевич стал читать внимательнее. В автобиографии уточнялось, что занятия в институте Ефимова прервала в связи с войной и защитила диплом в 1950 году. Затем было написано, что в 1952 году она вышла замуж, а в 1953 году развелась.

Буквы «д» в коротенькой, на одну страничку, автобиографии торчали вверх хвостиками. Заметив эти смешные хвостики, Семен Еремеевич вспомнил, что недавно держал в руках и эту анкету и автобиографию, а вспомнив документы — вспомнил и лицо робкой худенькой женщины и неприятную историю, связанную с ее делом.

Оторвавшись от бумаг, он взглянул на Ефимову. Губы ее были неумело покрашены — видимо, специально для этого случая, и такое легкомыслие, конечно, не могло не произвести на начальника неблагоприятного впечатления.

«Ну и народ у меня в отделе кадров, — подумал он. — Боятся ответственности, как черти ладана».

Сложность вопроса заключалась в том, что во время войны Ефимова находилась в оккупации.

Из-за этого обстоятельства документы ее и перекочевали из несгораемого шкафа отдела кадров в письменный стол Семена Еремеевича.

Из-за этого в прошлую среду Семен Еремеевич и попросил ее зайти через неделю.

После окончания института Ефимова два года работала линейным инженером на радиоузле у Савельева и уволилась в 1952 году, как было написано в анкете, «по семейным обстоятельствам». За неделю начальник управления собирался позвонить Савельеву, который занимал теперь такой же пост, как и Семен Еремеевич, в соседней области, и узнать о деловых качествах Ефимовой.

Если Савельев не похвалит Ефимову — можно с чистой совестью отказать ей и покончить с этим щекотливым вопросом.

Однако Семен Еремеевич, загруженный текучкой, не успел сделать это. Он попросил Евгению Васильевну подождать еще неделю и, как только она вышла, заказал междугородний разговор.

Но Савельев несерьезно отнесся к вопросу. Он сказал, что Ефимова — честный, квалифицированный работник, и выразил готовность дать ей характеристику.

— А не кажется тебе, что ей трудно придется на линии? — спросил Семен Еремеевич. — Слабовольная она какая-то, бесхарактерная. Пугливая какая-то...

Савельеву этого не казалось. По его мнению, Ефимова всегда была настойчива и требовательна.

— А как она по бытовой линии? — спросил Семен Еремеевич. — То женится, то разводится. Несерьезно как-то...

Савельев объяснил, что она вышла замуж за диктора районного радиоузла. Муж настоял, чтобы она бросила работу. Вскоре после этого стало известно, что у диктора где-то в деревне остались жена и ребенок. И Ефимова развелась. «И, по моему, правильно сделала», — добавил Савельев.

— А тебе известно, что она уже полгода не работает?

Этого Савельеву известно не было.

— Ну вот, — сказал Семен Еремеевич. — Надо изучать своих работников.

— Да ты бери ее, бери! — закричал Савельев. — Не пожалеешь!

На этом разговор закончился. Конечно, Савельеву легко было рассуждать, поскольку Ефимова прибыла к нему с направлением главка. А Семен Еремеевич должен брать ее сам — на свою личную ответственность. Формально, конечно, для зачисления Ефимовой не было препятствий, но если взглянуть на вопрос поглубже — анкета все-таки не чистая. Возьмешь, а потом не оберешься неприятностей. Приедет, например, ревизия, поднимет личные дела — вот и неприятность. В техническом отделе один — из дворян по происхождению, другой — до революции черт знает кем был... чуть ли не дьяконом; в общем не нашей масти. А тут еще эта. «Понятно, скажут, почему тут у вас трансформаторы перегорают. Окружили себя негодными людьми, притупилась бдительность». Еще ротозейство пришьют...

Через неделю Ефимова опять сидела в кабинете Семена Еремеевича.

— Как у вас с семейным положением? — спросил начальник.

— Я живу с папой и мамой, — заговорила Евгения Васильевна. — На Кирпичной улице, дом десять.

— Это там, возле Первомайского садика?

— Да, да, возле садика маленький такой домик. Два крайних окна — наши, остальные — соседей. Мама работает на кирпичном заводе. А папа — совсем старенький. Инвалид. Приходится возить на коляске.

— У него, что же, ручная коляска?

— Да, такая легонькая... С рычагами. А он слабенький — рычаги не может двигать.

— Надо бы ему моторную заказать. Наша промышленность теперь изготавливает моторные.

— Просили — не дают. Требуют целую кучу справок.

Такая постановка дела возмутила Семена Еремеевича.

— Какое безобразие, — сказал он. — А вы настойчивей действуйте. Напишите в газету. В Москву в крайнем случае.

— Спасибо. Вы знаете, ведь я из-за папы и живу тут. А то бы давно уехала к Савельеву — он бы меня взял.

— Значит, в отъезд вы не можете?

— Вы же сами понимаете, как это мне трудно.

— Да, жаль. А я вам уже подобрал место на периферии.

— Где?

— В селе Веселом. Там линейный инженер вот так нужен.

— И далеко это село?

— Около сотни километров отсюда. Кажется, сто двенадцать.

— Туда я никак не смогу, — сказала Ефимова со свойственной большинству посетителей несговорчивостью. — А нельзя где-нибудь поближе? Я ведь согласна ездить. Только так, чтобы вечерами быть дома.

— Да разве я не понимаю, — мягко улыбнулся Семен Еремеевич. — Представляю ваше положение. В свое время тоже с отцом намучился.

— Что вы! Я нисколько не мучаюсь... А может, появится место где-нибудь поближе?

— Трудно сказать. Зайдите через недельку.

Через неделю Ефимова снова пришла к нему. На этот раз она была в сильном возбуждении и мяла в кулаке кружевной платок.

— Как с моим делом, товарищ начальник? — спросила она, сознательно не называя Семена Еремеевича по имени-отчеству.

— Пока еще ничего нет. Кроме села Веселого, ничего нет, — тактично, не обращая внимания на ее тон, ответил начальник. — В Веселом очень нужен линейный инженер.

— Ваша секретарша только что передо мной печатала приказ о назначении техника на городской узел... Значит, у вас были вакансии. И, вероятно, есть. Вы просто говорили неправду.

Какой-нибудь другой руководитель учреждения в ответ на такой выпад быстро призвал бы посетителя к порядку. Но Семен Еремеевич не стал ни кричать, ни браниться. Он только встал со своего стула и сказал сдержанно:

— Товарищ Ефимова!

— Я догадываюсь, в чем дело. — Ефимова тоже встала. Бледные щеки ее покрылись пятнами. — Вас пугает, что я была в оккупации.

— Да что вы, причем тут оккупация. — Семен Еремеевич сел и поправил стопку папок. Он очень любил, чтобы на письменном столе всегда был полный, можно даже сказать, блестя-

щий порядок. И если оказывался, например, неочиненный карандаш или неполная чернильница, он всегда вызывал секретаршу и делал ей соответствующее внушение.

— Нет, разрешите, я вам все-таки объясню,— не унималась Ефимова.— Наш институт в самом начале войны эвакуировался в Пятигорск из осажденного Ленинграда. В Пятигорске мы продолжали занятия. Потом, когда фронт подошел, нас со дня на день обещали перевезти в Среднюю Азию. Но не успели. Ребята, которые посмелей, конечно, уехали на крышах и на подножках, а я не могла так... На вокзале билетов не достать... В чужие эшелоны не пускали... Потом мы пошли пешком... Потом нас окружили... Очень тяжелое было время...

— Помню это время, помню.— Семен Еремеевич вздохнул.— Меня самого из Крыма в последнюю минуту вывезли,— и поправил на столе папки.

— Вас-то, конечно, надо было вывезти.

— Да, приказ был из центра. Немедленно выехать. А я уж мечтал связаться с партизанами — натура у меня с детства партизанская. Но ничего не вышло: приказ есть приказ.

— Я тоже хотела связаться с партизанами. Только я не знала, где они помещаются.

— Какая из вас партизанка. И долго вы находились у немцев?

— Пять месяцев. Пришлось работать учительницей. Надо же было чем-нибудь жить? Я, конечно, виновата, что не пошла в партизаны... Сейчас я бы в любой системе стала работать, на простой технической должности. Все равно не берут.

— Перестраховщики.

— Нет, не перестраховщики. Есть указание, что человека с высшим образованием не имеют права держать на рядовой работе. Вы не улыбайтесь — это правильное указание. Нас учили, на нас тратили деньги. И мы должны работать в полную силу. Между прочим, я доучивалась после войны и дирекция института знала, что я была в оккупации.

— Да,— Семен Еремеевич вздохнул,— узкую вам дали специальность.

— Я пыталась ее переменить. Недавно подавала заявление в институт иностранных языков. Но они сказали: «У вас уже есть высшее образование, поэтому ваше заявление будем рассматривать в последнюю очередь. Если останутся места».

— Перестраховщики,— снова сказал Семен Еремеевич.

— А по-моему, правильно. Другие тоже хотят иметь высшее образование. Но что мне делать, прямо не знаю. Лучше без руки или без ноги жить, чем у нас без работы.

Она посмотрела перед собой куда-то в пространство и спросила:

— А как туда ехать, в это Веселое село?

Семен Еремеевич терпеливо объяснил, что ехать придется сначала в поезде, а потом автобусом. От автобусной станции километра три, не больше. Но следует иметь в виду, что автобусы зимой ходят нерегулярно, особенно во время снежных заносов. И билеты на поезд — за свой счет. Но в общем транспорт нормальный. А вот по поводу жилья в Веселом нельзя сказать ничего утешительного. Единственная возможность — снять частную квартиру.

Семен Еремеевич вышел из-за стола, попрощался с Ефимовой за руку и предложил ей зайти на всякий случай через неделю-две.

Через две недели Ефимова пришла радостная. И губы ее уже не были накрашены.

— Знаете, все устроилось, Семен Еремеевич! — начала она, даже не поздоровавшись. — Директор кирпичного завода по моей просьбе перевел маму во вторую смену. А по утрам к нам будет приходить девушка, дальняя родственница соседей. Она недавно приехала из деревни: Будет готовить обед, убираться. А по воскресеньям я стану приезжать домой. Правильно?

— Где же вы устроились? — спросил Семен Еремеевич.

— Как где? Я поеду в Веселое.

— Ах, вот что... — Семен Еремеевич опустил глаза и поправил папки. — Видите ли, мы не могли тянуть столько времени. В Веселом штаты укомплектованы.

Ефимова медленно поднялась с кресла и, как ненормальная, стала оглядываться вокруг.

— Вы же говорили... — начала она. — Вы же сказали...
Через две недели. У вас...

И вдруг, отвернувшись, закрыла лицо руками и выбежала из кабинета. И снова, между прочим, за ней пришлось закрыть обе двери.

Больше Ефимова не приходила. Семен Еремеевич, кажется, не обратил на это особенного внимания и постепенно совсем забыл о докучливой посетительнице. Но как-то, наводя порядок в письменном столе, он наткнулся на коротенькую автобиографию. Пробежав глазами строчки со смешными хвостиками в буквах «д», он снова вспомнил женщину в шляпке с перьями и задумался. Что с ней случилось? Где она сейчас? Может быть, устроилась где-нибудь? Вряд ли. Все ее справки и характеристики остались здесь, да и работать она может только в системе связи — у нее узкая специальность. Может быть, она отправилась в Москву — жаловаться, добралась до министра? Если это так, то сд дня на день надо ожидать строгого запроса от людей, не вникающих в суть дела: на каком основании инженер Ефимова не зачисляется на работу? Сами, мол, пишете, что не хватает специалистов, а специалисты обивают ваши пороги. Что можно ответить на такой запрос?

Семен Еремеевич вызвал секретаршу и, разбирая дела, заинтересовался, не записывалась ли на прием такая худенькая женщина, по фамилии, кажется, Ефимова.

В списках Ефимовой не было.

Семен Еремеевич снова задумался. Может быть, ему вспомнился давний случай с женщиной, которую долго не принимали на работу, потому что муж ее оказался замешанным в какую-то непонятную историю и был арестован. Женщина написала о своих мытарствах куда следует и бросилась в реку. Конечно, такой случай, хотя он произошел и не в нашей системе и много лет назад, не мог не оставить следа на впечатлительной натуре Семена Еремеевича.

Он стал нервничать. На руках его, так же как и в прошлом году, когда приезжали представители главка, появились красные пятнышки.

Через три недели, чтобы покончить с неизвестностью, Семен Еремеевич приказал было послать пользующегося его доверием сотрудника на квартиру Ефимовой, но, посоветовавшись с ним, спохватился и отменил приказ. Во всех случаях такое посещение выглядело бы странным и по меньшей мере несолидным.

Наконец, Семен Еремеевич решил ни о чем не думать и терпеливо дожидаться душевного равновесия. Но смутная тревога с каждым днем звучала сильнее и настойчивей в его отзывчивом сердце. Он стал кричать, стучать кулаком по столу и один раз забыл пометить на важной бумаге гриф «секретно», чего раньше с ним никогда не случалось.

Однажды, возвращаясь домой после заседания, он подъехал к Кирпичной улице, велел шоферу дожидаться за углом и подошел к дому номер десять. Был темный сентябрьский вечер. Уличный фонарь освещал бревенчатые стены одноэтажного домика, выщербленный кирпичный фундамент, шелушащиеся от старой краски ставни, железный, скрипящий на ветру навес крыльца, две неровные створки парадной двери со щелью для писем, заткнутой тряпками. У стен болтались бечевки, по которым когда-то вился хмель. Вокруг крыльца летом густо росла крапива, и теперь желтоватые, поблекшие прутья ее пробивались между ступенями. Очевидно, парадная дверь была заколочена и жители ходили домой через двор черным ходом.

Три окна в домике были ярко освещены, а в двух крайних, о которых говорила Ефимова, света не было. Черные стекла мрачно смотрели на Семена Еремеевича.

Долго стоял так Семен Еремеевич один на пустынной улице, на ветру и на холоде, размышляя о том, сколько мелких случайностей мешают нормальной работе, как трудно руководить большим коллективом и как много выдержки требуется от руководителя. Потом зябко поежился и пошел к машине.

Утром он поднялся с головной болью и, не позавтракав, поехал на работу.

К своему удивлению, в приемной он увидел Ефимову. Она просила секретаршу включить ее фамилию в список сегодняшнего приема. На этот раз Ефимова выглядела смелой и решительной и на лице ее играл свежий молодой румянец.

— Какой там список, Евгения Васильевна! — воскликнул Семен Еремеевич, не переносивший формализма. — Пойдемте, пойдемте! — И, взяв ее под руку, ввел в кабинет.

— Я пришла за своими документами, товарищ начальник, — сказала Ефимова, отстраняясь от него.

— Устроились?

— Устроилась.

— Если не секрет — где?

— У Савельева. Он узнал о моем положении и прислал письмо. Обещает на первое время комнату и общежитие, а через год — квартиру.

— Ну что ж, счастливого пути, — сказал Семен Еремеевич, искренно радуясь. — Я тоже придерживал для вас место, но вы долго не заходили.

— Меня не было в городе. Я ездила копать картошку.

— Как же вас угораздило?

— От кирпичного завода послали маму. Но ей трудно, и я поехала вместо нее. Кстати, до села Веселого не сто, а семьдесят два километра.

— Вы были в Веселом?

— Да. И видела, что творится там на радиоузле.

— А что такое?

— Монтеры торгуют казенным проводом. Говорят легковверным абонентам, что на складе нет материалов и якобы достают провод для ввода сами. И за это берут деньги.

— Безобразие, — сказал Семен Еремеевич. — Куда же там руководство смотрит?

— Так там же некому смотреть. Там полгода нет линейного инженера.

Семен Еремеевич опустил глаза и поправил папки.

— А вы, значит, не были в оккупации, товарищ начальник? — неожиданно спросила Ефимова.

— Нет, — вздрогнув, ответил Семен Еремеевич. — А что?

— И у белых не служили?

— Откуда вы взяли? У меня совершенно чистая анкета.

— Так почему же вы стали таким жестким человеком? — медленно проговорила Ефимова.

Семен Еремеевич только покачал головой, снисходительно улыбнулся и перешел к текущим делам.

Недавно я заехал в лесной район, где двадцать лет назад работал практикантом в изыскательской партии и ни разу с тех пор не бывал. Приближение к полузабытым местам волнует как-то особенно свежо и сильно; словно едешь в прошедшие годы на свидание со своей молодостью. Самой малости, оставшейся неизменной,— какого-нибудь старого осокоря или замшелого камня — достаточно для того, чтобы в памяти ожило множество мелких подробностей, казалось бы, навсегда забытых встреч, лиц, разговоров, и давние чувства с новой силой начинают волновать душу.

Все вокруг изменилось. Шоссе, для которого мы выбрали трассу, было давно построено и бежало теперь, прямое, широкое, украшенное надолбами и дорожными знаками, мимо новеньких эмтеэсовских служб, выложенных из белого кирпича, мимо медно-рыжих ржаных полей, мимо одинокой могилки солдата, погибшего в дни войны, мимо тоненьких, подвязанных саженцев. Исчезли и кочковатое болото и крутая песчаная горушка. Словом — не осталось ни одной приметы, которая могла бы дать толчок воспоминаниям.

В стороне, километрах в пяти от трассы, была деревня; там все мы, семеро изыскателей, останавливались на несколько дней, чтобы привести в порядок материалы. Я немного помнил своих хозяев: и старого ворчливого бородача и жену его, маленькую, смешливую старушку. Она смеялась надо всем, в чем находила хоть капельку смешного, смеялась тихо, но долго, до слез, смеялась до того, что муж сердился на нее и конфузился. Она, впрочем, не обращала внимания на его воркотню и, вволю насмеявшись, восклицала, утирая слезы: «Ох, беда с вами!» — или что-нибудь вроде этого.

Впрочем, лица хозяев представлялись как-то смутно, расплывчато, словно придуманные. Гораздо отчетливей я помнил дочь этих добрых стариков — смуглую девушку по имени Нюра, с глянцевым малиновым румянцем, который сильно и красиво пробивался сквозь густой загар ее полных щек. Она была веселая, в мать, любила плясать под гармошку и ловко выбивала дробь босыми ногами. Эта девушка встретила нас в лесу и на вопрос, где бы остановиться на ночлег, не раздумывая, предложила свою избу. Позже оказалось, что это предложение было сделано не без расчета. За ней ухаживал мрачный широкоплечий увалень — сын лесника. Каждый вечер он приходил в деревню на свидание, проделывая в один конец, кажется, восемь километров, и торчал под окнами, чем очень смешил старушку. Нюра любила своего ухажера без памяти и вся светилась при нем. Но то ли ради нарушения однообразия встреч, то ли ради испытания верности, она решила его

подразнить и исполнила это с жестокостью сильно любящей женщины. Увидев, что его возлюбленную окружают семь «ученых» парней, сын лесника встревожился не на шутку, а когда она начала кокетничать с начальником партии, молодым, но бывалым инженером, перестал приходить совсем — как отрезал. Нюра поняла, что переборщила, и, перетерпев кое-как двое суток, побежала к своему милому. Старушка смеялась весь вечер. Дочь вернулась поздно ночью и, кажется, плакала. А утром объявила, что своего «лешего» не хочет и видеть. Однако с нами разговаривать перестала, а на ни в чем не повинного начальника партии даже рассердилась. В это утро мы пошли дальше и больше не виделись ни со стариками, ни с их дочерью, ни с сыном лесника.

Подумав немного, я решил навестить давних своих хозяев и пошел сперва лесной дорогой, потом напрямик, ровными, чистыми коридорами недавних сосновых посадок, и вскоре из переменчивой тени леса вышел на яркий полевой простор. Травы косили недавно, кошевина была низка, и как бы обмелевшая тропка местами была совсем незаметна. Небо, кое-где побеленное тонкими, прозрачными облаками, светлело высоко-высоко; сквозь лесные ветви оно казалось ниже и синее. Вскоре показались ометы свежего сена и крыши деревни. Сырой ветерок, напоенный вкусным запахом чернозема и полынной горчинкой, легкой волной струился на уровне лица.

Избу я нашел сразу. Все три окна и наружная дверь были распахнуты настежь. Куры, дежурившие на крыльце, неохотно уступили дорогу. Как только я отворил дверь в горницу, занавески вырвались в окна и весело захлопали. В горнице был такой же воздух, как в поле.

— Здравствуйте,— сказал я.

Никто не отозвался, только кошка вышла из-за перегородки и потерлась о сапог. Хозяева, очевидно, ушли давно.

Как и прежде, в избе царили чистота и порядок: занавески сияли белизной, на стене висел численник и рядом на гвоздике были наколоты сорванные листочки. Однако былого достатка не чувствовалось и мебели было меньше. Только зеркало, в которое я смотрелся двадцать лет назад, висело на прежнем месте, между окнами. Зеркало потускнело, рама потрескалась, и в него было видно не лучше, чем в поднос. Но я сразу вспомнил, что здесь, под зеркалом, спал начальник партии, а я ночевал в чуланчике за сеньями, что в этом чуланчике, пахнущем новой рогожей,— маленькое оконце, и по утрам сквозь оконце бил упругий луч солнца и словно сопротивлялся, когда я проходил сквозь него.

— Опять дороги вымерять приехали? — послышался спокойный голос.

В дверях стояла босая женщина с шишковатыми, плоскими ступнями. Трудно было догадаться, что это та самая

веселая Нюра, которая часами плясала под гармошку и бегала на кордон лесника. Она похудела, строгое продолговатое лицо ее стало еще более смуглым, румянец исчез, в черных волосах проблескивала седина.

— Вон вы как устарели-то,— сказала Нюра с улыбкой, разглядывая меня.— Звать-то вас как?.. Вас тогда много стояло — все имена перепутались.

Если русская женщина однажды привечала в своем доме чужого человека, то он навсегда становится словно родным для нее — это дело известное. Мы сразу разговорились. Нюра стала хлопотать у печи, ставить самовар. Я спросил о стариках.

— Померли,— ответила она.— Обоих схоронила. Может, медку принести?

Вскоре на столе заклокотал самовар, и слышно было, как о его медные стенки постукивают вареные яйца.

— С нашими правленцами никогда во-время домой не придешь,— сказала Нюра.— Сейчас вызывали в правление, на карточку снимать надумали. Я тут лучшая доярка, не кто-нибудь.— Она засмеялась и стала в эту минуту очень похожа на мать.— Я им говорю: «Чего меня снимать? Вы Дарью снимите...» Конечно, надоила я летошний год больше всех, так что с этого? Ребятишки за подол не тянут — вот и надоила. У меня один Никитушка, и тот цельный день бегаёт, вовсе от дому отбился. А Дарья вон словчилась немного поменьше моего надоить, а у ней и мужик с капризом и ребятишек целая лесенка — шесть душ. Вот я и спрашиваю правленцев: кого на карточку снимать — меня или Дарью? Так и не далась сниматься. Председатель накричал: «Ты, мол, и такая и сякая; ты тут не командуй; твой арестант воротится, над ним и командуй...»

Нюра внезапно смутилась и смолкла. Видимо, ей было неприятно посвящать чужого человека в свои семейные дела. Но слово «арестант» было произнесено, и она внимательно посмотрела на меня большими темными глазами, словно оценивая, стоит ли объяснять, в чем дело, и пойму ли я ее так, как надо.

— Мой-то третий год в тюрьме,— наконец, сказала она.— Скоро воротится.

И посмотрела на численник.

— Это тот самый, сын лесника?

— Тот самый. Федя. Как с войны пришел, так мы с ним и расписались. Ловкий был мужик, переимчивый. Сперва его бригадиром поставили, потом выдвинули на бухгалтера. Стали жить. Сынка назвали, Никитушку. Толстый был мальчонка, тяжелый — от земли не оторвать. Воротится Федя с работы, и идут они с Никитушкой гулять. Я ужин стряпаю, а они до борка пойдут. Отужинаем, послушаем по радио, какая погода, — и спать. Бывало, Федя идет утром в правление, с портфелем под ручку, а бабы завидуют: «Вон, мол, какой у тебя

генерал...» Надо бы лучше жить — да некуда. А тот год, когда его бухгалтером поставили, плохо было: лето мокрое, поля залило, да плюс к тому председатель непутевый — с утра опохмеляется, а к ночи до того напьется, хоть выжимай. Бабы, конечно, недовольные, серчают на правление. Раз у колодца слышу — моего Федю касаются: будто оказалось у Феди списано на харчи городским, которые приезжали на уборочную, чуть не две тонны продуктов да три тысячи литров молока. Будто городские от силы половину израсходовали, а остальные председатель и Федя поделили между собой. Я, конечно, обиделась за своего мужика. Стали спорить. До того дошло — хоть разливай. Воротилась в избу, Федя спрашивает: «Кто это тебя покарбал?» Я было хотела уберечь его от бабьих сплетен, да больно пристал. Пришлось рассказывать. Вижу — ухмыляется. «Да ты что, Федя?» — спрашиваю его. «А ты, говорит, считаешь, с твоих соток кормимся? Хотя, говорит, картошка у нас не меченая — ты все-таки без нужды в бой не лезь. Шум подымать — не в наших интересах». С этого разговора и пошло у нас все наперекос. Напала на меня какая-то трясуха. Как вспомню, что картошка краденая, не могу стряпать — руки отнимаются. Бывало, придет Федор с работы, начнет что-нибудь рассказывать, я слушаю-слушаю да как зареву. Он глядит — ничего понять не может. Жалко его прямо не знаю как. Потом и говорить перестал: посадит Никитку на колени и следит за мной из угла, как затравленный. Ждет, когда заговорю. А мне молчать легче. Уж такая уродилась — через силу улещать не умею. Так и жили молчком до самой осени. А осенью посылают Федора в город сдавать хлебосдачу. Утром, он еще спал, я проверила у него карманы, есть ли деньги. Вижу — нет. Ну вот, воротился он из города выпивши и подает Никитушке игрушку — заводной грузовик. Дорогой грузовик — рублей двадцать пять платил, не меньше. Подает он Никитушке грузовик, а я спрашиваю: «Это, говорю, откуда? С каких доходов?» А он себе ухмыляется. Тут не знаю, что со мной стало. «Никитушка, говорю, не бери». А он тянет. Я его как ожгу по руке. Шум, конечно, рев на всю горницу. Федор побелел, как смерть, встал передо мной и говорит: «Нет, говорит, Нюра. Не справляется моя нервная система. Уйду я куда глаза глядят, а ты прости и не поминай лихом». И правда, взял в сельсовете справку, уложил сундучок и поехал в Кашин. Так и стали мы жить врозь. Федор каждый месяц деньги слал — когда сотню пришлет, когда полторы. И письма писал, велел отвечать на кашинскую почту до востребования. Никитке в ту пору четвертый годок шел. Тосковал мальчонка, все поминал, как они с отцом до борка гулять ходили. Бывало, погляжу на него, и сердце останавливается: «Что же это я, дура, наделала. Мужика не уберегла». А Никитушка к тому времени на отца стал похож — ну прямо, как срисованный! Вот однажды я и говорю ему: «Не

тоскуй, Никитушка. Пойдем с тобой до борка». Пошли. Идем тропкой, а Никитушка и говорит: «Здесь не ходи — здесь грязища». Идем мимо козы, а он опять: «Не подходи к козе — пырнет...» Поняла я, что он это отцовы слова повторяет, и больше не стала ходить — не могла больше. Всю ночь проревела. И правда, чем Никитка виноватый, что без отца живет? Да и отцу там не сахарно — в каждом письме тоска. А письма идут хорошие, писаны под линейку, буквы кудрявые — видно, пишет с уважением, хотел бы вернуться, да только намекает, а до дела дотронуться не смеет. Обдумалась я, попросила соседку подомовничать с Никитушкой, собралась да и поехала в Кашин. Приехала в Кашин и встала на почте у окошка, где письма дают до востребования. Стою и жду Федора. День стою — нет, другой стою — нет, на третий, гляжу, приходит. Худой стал, серый какой-то и сапоги сносил. Зима, стужа, а он в полуботиночках. Глядит на меня — ничего не понимает. «Прости, говорю, Федя. Проведать приехала». Молчит, а сам рад, вижу, без памяти. «Один, спрашиваю, живешь? На квартиру-то к тебе можно?» Опомнился он тут, поздоровался. «Обожди, говорит, сейчас пойдем. Только спрошу — может, от тебя письмо есть». Спросил — письма нету. И пошли мы к нему. Комнату он снимал у старушки пенсионерки. Плохо было, не прибрано, грязное белье под кроватью. Стала я прибираться, перестирала все, перештопала, пол вымыла. И про Никитушку переговорили, и поревела я — на все время хватило. «Ну, говорит, Нюра, вези сына, переезжай ко мне. Пропаду я без вас». А утром велел идти с ним на работу. Работал он завскладом при бане. Склад большой, кирпичный, товар разложен по полочкам. И у Федора на складе письменный стол казенный под стеклом, а на столе телефон. Не понравилось мне одно: чернила на столе в чекушке из-под водки, а на подоконнике клей — тоже в чекушке из-под водки. Хотела я сказать, чтобы бутылки сменил — весь вид портят, но как сел он возле телефона, так я на него и залюбовалась. Только недолго пришлось любоваться. Часу не прошло — заходит молодая девушка, показывает Федору документы и велит подать шнурованную книгу. Федор спрашивает: «В чем дело?» — «Должны были вам заслать с базы двести десятков банного мыла по пятьдесят граммов кусок, — отвечает девушка, — а заслали по ошибке стограммовые». «Это ей надо в АХО проверять, — объясняет Федор. — АХО накладные проводит, а я тут ни при чем...» — «Правильно, Федя, правильно, — говорю я ему, — только ты на меня не гляди, ты барышне разъясняй...» А у самой уже сердечко заняло. Чую, что дело не чисто. Девушка листает книжку и говорит, что и в АХО была, и у директора была, и накладные глядела — подчищены, говорит, накладные. Листала она странички, листала и долисталась до этого мыла. А там — три кляксы. Одна клякса, где вес проставлен, другая — сумма, а третья — где цена. «Что это у вас тут

за кляксы?» — спрашивает девушка. А Федя опять же мне объясняет, что книгу много народа глядит и что он эти кляксы в первый раз видит. «Да что ты мне толкуешь! — говорю я ему. — Ты ей говори, а не мне». А сама словно заледенела. Прибегает тут АХО, склизкий такой мужик: «Здравствуйте» да «здравствуйте» — этакий рукосуй, прости господи. Еще хуже дело запутал. Запечатали склад. Пошли мы с Федором к нему на квартиру. Идем, молчим. Дошли до крыльца — он спрашивает: «Зайдешь?» — «Нет, говорю, не зайду». — «Значит, не приедешь?» — «Нет, Федя, не приеду. И денег не присылай. Краденых не возьму». И пошла на станцию. А он бежит рядом, доказывает, что не виноватый, что его этот рукосуй подбил продать излишнее мыло, а на его долю досталось всего четыре сотни...

После этого случая от Федора не было писем почитай с полгода, а то и больше. И только на троицу, помню, пришло письмо на зеленой бумаге из города Риги. Вон его куда занесло. Пишет — работает на мебельной фабрике, хорошо зарабатывает и не только что пить, а даже курить бросил. Дальше пишет, что от фабрики дали ему комнату с центральным отоплением, и требует меня к себе. А еще в конверт вложена справка на фабричном бланке, что, мол, Федор такой-то действительно ведет себя исправно, не пьет и не курит, и справка дана для предоставления супруге, а в конце — подпись и печать.

Побегла я к председателю советоваться, как быть. А он говорит: «Гляди сама. Конечно, отпускать тебя жалко, да нигде не сказано, чей приказ для бабы главнее — председателя или законного мужика». Подумала я, подумала, продала корову, окна заколотила и поехала. В Риге Федя встречает, светится, как солнышко. Побрился для этого случая в парикмахерской. Постарел немного, поседел, а на вид ничего — сытый. Хватает Никитушку на руки, а тот не дается: «Я, говорит, большой — на руки не хочу». Сели в машину — поехали на квартиру. Стали жить. Чудно как-то: петухи не кричат, вставать рано не надо, делать нечего. Только и делов — Федора с работы ждать, а Никитушку из школы. В кино ходили, в парк. На карточку снимались — вон она висит, карточка. Прожили так три месяца, приходит женщина — латышка. Федор на фабрику пошел, я на базар собралась — тут она и приходит. Приносит большой черный чемодан. «Берите, говорит, чемодан. Ваш, говорит, супруг оставлял его нам на сохранение. А теперь мы уезжаем в отпуск». Поставила чемодан посреди комнаты и ушла. Думаю: «Что такое? И почему Федор ничего не говорил? И зачем ему понадобилось носить имущество к чужим людям?» Опять заныло сердце. Такая тоска напала, что и на базар не пошла. До чемодана не дотронулась, как будто там динамит какой, — так целый день и стоял черный чемодан посреди комнаты. А я сижу на стуле, глаз с него не спускаю. «Неужели,

думаю, снова нечистое дело? И что ты делаешь, Феденька, солнышко ты мое... И что тебя на казну тянет?.. Ведь ты и плотничать, и крыши крыть, и дранку щипать — все можешь. На что тебе это?» Дождалась вечера — приходит. Увидел чемодан — побелел как смерть. Глянул на меня: догадалась или нет? А я молчу — правды боюсь. Он ходил, ходил, успокоился немного и говорит: «Что это тут за чемоданы посреди комнаты набросаны». — «Твой, говорю, не мой. Ты и прибери». Прибрал под койку. Сели обедать — молчим. Никитушка то на меня поглядит, то на отца, не понимает, что за молчанки. Встал Федор утром, пошел на работу не евши. Вернулся — сели обедать. Говорим через силу, ровно подстерегаем друг дружку, кто первый помянет про черный чемодан. И Федор молчит, и я заговаривать боюсь. Так и спать легли. Ночь — молчим, день — молчим. И такая мука целую неделю. Я уж до последней черты дошла — ну, думаю, хоть солжет про свой чемодан что-нибудь, всему поверю, только бы кончилась эта мука. Нет больше моей мочи.

Первый не выдержал Федор. Встал утром, надел чистую рубашку, поцеловал Никитушку и пошел, будто на фабрику. Часа через два прибегает сам не свой: руки дрожат, на лице пятна. Ходил-ходил по комнате, да вдруг как падет на кровать. «Я, говорит, на себя в милицию заявил. Довела ты меня, погубительница!» Я молчу. Он сел на кровати, злющий-презлющий. «Рада?» — спрашивает. И тут сама не знаю, как у меня сказалося: «Рада, говорю, Федя...» Ну, суд был. Вынули из этого чемодана всякого барахла тысяч, говорят, на десять. Федор-то на фабрике связался с мазуриками, и таскали они какую-то дорогую фанеру — ореховую, что ли. Дали ему, горемычному, три года... Третий год идет... Скоро воротится.

— Интересно, какой воротится, — осторожно заметил я.

— Думаете, за прежнее примется? — догадалась Нюра. — Что вы! Если человек сам на себя заявил — значит, у него душа переворотилась. — Она вздохнула и добавила. — И письма такие пишет уважительные... Нет, что вы!..

Наступил прозрачный голубой вечер. Окна были раскрыты настежь, и занавески тихо колыхались, и в горнице стоял такой же ароматный воздух, как в поле. Запел сверчок.

— А если и прежний вернется, — сказала вдруг Нюра, — что поделаешь. Буду дальше маяться. Нам, бабам, обратно в девки ходу нету.

А. Твардовский



ЗА ДАЛЬЮ ДАЛЬ

(Главы из книги)

ОГНИ СИБИРИ

Избыток лет бесповоротных
Не лечит слабостей иных:
Я все, как в юности, охотник
До разговоров молодых.

Я все, как в дни мои былые,
Хоть до утра часов с восьми
Решать вопросы мировые
Любитель, хлебом не корми.

Любитель дружеских признаний,
Изустных повестей любых
В дому, в пути, а то и в бане,
Где место самое для них.

Мне дорог дружбы неподдельной
Душевный лад и обиход,
Где слово шутки безидейной
Тотчас тебе не ставят в счет,

Где о грядущих днях Сибири,
Пути гвардейского полка,
Целинных землях и Шекспире,
Вреде вина и табака,

И обо всем на белом свете
Беспротокольный склад речей,—
Ты лишь у смеха на примете
На случай глупости твоей.

Так вот, как высказано выше,
С годами важен я не стал.
Еще не весь, должно быть, вышел
Живучей юности запал.

Нет, я живу, спешу тревожно,
Не тем ли доля хороша,
Заполнить мой дневник дорожный
Всем, чем полна еще душа.

Что бьется, просится наружу.
И будь такой ли он, сякой,
Читатель-друг, я не нарушу
Условий дружбы дорогой.

Согласно принятому плану
Вернусь назад, метнусь вперед,
Но я, по совести, не стану
Зазря вводить тебя в расход.

Я не позволю на мякину
Тебя заманивать хитро.
И не скажу, что сердце выну:
Ему на месте быть добро.

С меня довольно было б чуда
И велика была бы честь
То слово вынуть из-под спуда,
Что нужно всем, как пить и есть.

Продолжим, стало быть, беседу,
Держа попрежнему в виду
Обширный край, куда я еду
И где на станции сойду.

Порой забытыми задами,
Не главной улицей с тобой
Пройдем, но верь, что наши дали
Нас не оставят за собой.

Меня при этом не убудет,
Коль скажешь ты иль кто другой:
Не многовато ль, дескать, будет
Подряд материи такой,

Как отступленья, восклицанья
Да оговорок этих тьма.
Не стать ли им чрезмерной данью
Заветам старого письма?

Я повторю великодушно:
Не хлопочи о том, дружок,
Читай, пока не станет скучно,
А там — бросай. И я — молчок.

Тебя я тотчас покидаю,
Поникнув скромно головой.
Я не о том совсем мечтаю,
Чтоб был читатель волевой,

Что, не страшась печатной тины,
Вплоть до конца несет свой крест
И в силу самодисциплины,
Что преподносят, то и ест.

Нет, мне читатель слабовольный,
Нестойкий, пуганный милей:
Уж если вник,— с меня довольно,
Горжусь победою моей,

Волнуюсь руки потираю:
Ты мой. И холод по спине:
А вдруг такого потеряю?
Тогда конец и горю мне.

Тогда забьюсь в куток под лавкой
И затаю свою беду,
А нет — на должность с твердой ставкой
В Союз писателей пойду,
Где ни сомненья, ни тревога
Меня уже не тронут впредь...

Но нет! Не вся еще дорога,
И есть, что видеть, есть, что петь...

Сибирь! И лег и встал — и снова
Вдоль полотна пути — Сибирь.
Какой дремучестью суровой
Объята даль ее и ширь...

Идет, идет в окне экспресса
Вдоль этой просеки одной
Неотодвинутого леса
Оббитый ветром перестой.

И в той чаще нерушимой
Завалы целые добра.
И ни тропы вблизи, ни дыма,
Ни белой метки топора.

Сибирь! Леса и горы скопом,
Земли довольно, чтоб на ней
Раздаться вширь пяти Европам
Со всею музыкой своей...

И снова сутки прочь. И снова —
Сибирь! Как свист пурги —
Сибирь, —
Звучит и ныне это слово,
Но та ли только эта быль?

В часы дорожные ночные
Вглядишься — глаз не отвести:
Как Млечный Путь, огни земные
Вдоль моего текут пути,

Над глухоманью вековечной,
Что днем и то была темна.
И точно в небе эта млечность
Тревожна чем-то и скрытна...

Текут, бегут огни Сибири
И с нерассказанной красой
Сквозь непроглядность этой шири
И дали — длятся полосой,

Лучатся в тех угрюмых зонах,
Где время шло во мгле слепой,
Дробятся в дебрях потрясенных,
Смыкая зарева бессонных
Таежных кузниц меж собой.

И в том немеркнущем свеченье
Вдали угадываю я
Ночное позднее движение,
Оседлый мир, тепло жилья.
Нелегкий труд и отдых сладкий,
Уют особенной цены,
Что с первой детскою кроваткой
У голой лепится стены.

Как знать, такой отрадой дивной
И там бывает жизнь полна —
С тайгою дикой, серединной,
Чуть отступившей от окна.
С углом в бараке закопченном
И чаем в кружке жестяной.

Под стать моим молодоженам,
Что едут рядом за стеной,—
У первой нежности во власти,
В плену у юности своей.
И что такое в жизни счастье,
Как ни мудри, а им видней...

Так час ли, два в работе поезд,
А точно годы протекли,
И этот долгий звездный пояс
Уж опоясал полземли.

А что там — в каждом поселенье,
И кем освоена она
На озаренном протяжении,
Лесная эта сторона;

И как в иной таежный угол
Издалека вели сюда
Кого приказ, кого заслуга,
Кого мечта, кого беда...

Но до того, как жизнь рассудит
Судьбу, назвав, какая чья,
Любой из тысяч этих судеб
И так и так обязан я.
Хотя бы тем одним, что знаю,
Что полон памятью живой
Твоих огней, Сибирь ночная,
Когда все та же, не иная,
Видна ты далее дневной.

Могучий край всемирной славы,
Что грозной щедростью стяжал,
Завод и житница державы,
Ее рудник и арсенал,
Родимый край ее сибирских
Трем войнам памятных полков —
С иртышских,

Томских,
Обских,
Бийских,
И енисейских берегов...

Край, где несметный клад заложен,
Под слоем слой мощней вдвойне,
Иной еще не потревожен,
Как донный лед на глубине.

Сестра Урала и Алтая,
Своя, родная вдаль и вширь,
По гребню светом залитая,
С плечом великого Китая
Плечо сомкнувшая Сибирь!
Тот свет по ней идет все шире,
Как день, сменяя ночи тьму.
И что! Какие силы в мире
Потщатся путь закрыть ему!

Он и в столетьях не померкнет,
Тот вещий отблеск наших дней.
Он — жизнь. А жизнь сильнее смерти,
Ей больше нужно от людей.

И перемен бесповоротных
Неукротим победный ход.
В нем власть и воля душ несчетных,
В нем страсть, что вдаль меня зовет.

Мне дорог мир большой и трудный,
Я в нем — моей отчизны сын.
Я полон с ней мечтою чудной
Дойти до избранных вершин.

Я до конца в походе с нею,
И мне все тяготы легки.
Я всех врагов ее сильнее:
Мои враги — ее враги.

Да, я причастен гордой силе
И в этом мире — богатырь
С тобой, Москва, с тобой, Россия,
С тобою, звездная Сибирь!

Со всем — без края, без предела,
С чем людям жить и счастьем быть.
Люблю! И что со мной ни делай,
А мне уже не разлюбить.

И той любви надежной мерой
Мне мерить жизнь и смерть до дна.
И нет на свете большей веры,
Что сердцу может быть дана.

ДРУГ ДЕТСТВА

И дружбы долг, и честь, и совесть
Велят мне в книгу занести
Одной судьбы особой повесть.
Что сердцу встала на пути.

Я не скажу, что в ней отрада,
Что память эта мне легка,
Но мне свое исполнить надо,
Чтоб вдаль глядеть наверняка.

В ней и великой нет заслуги —
Не тем помечена числом...
А речь идет о старом друге,
О лучшем сверстнике моем.

С кем мы пасли скотину в поле,
Палили в залесье костры,
С кем вместе в школе, в комсомоле
И всюду были до поры.

И врозь по взрослым шли дорогам
С запасом дружбы юных дней.
И я-то знаю, он во многом
Был безупречней и сильней.

Я знаю, если б не случиться
Разлуке — горшей из разлук,
Я мог бы тем одним гордиться,
Что это был мой первый друг.

Но годы целые за мною,
Весь этот жизни лучший срок,
Та дружба числилась виною,
Что мне любой напомнить мог...

Легка ты, мудрость, на помине:
Лес рубят, щепки, мол, летят.
Но за удел такой доньше
Не предусмотрено наград.

А — жаль! Вот собственно и повесть,
И немудрен ее сюжет...

Стояли наш и встречный поезд
В тайге на станции Тайшет.

Два знатных поезда, и каждый
Был полон судеб, срочных дел
И с независимостью важной
На окна встречного глядел.

Один туда, другой обратно,
Равны маршруты и права.
«Москва — Владивосток»? — Понятно.
Так-так: «Владивосток — Москва»...

Я вышел в людный шум перронный,
В минутный вторгнулся поток:
Газетой запастись районной,
Весенней клюквы взять кулек.

В толпе размять бока со вкусом,
Весь этот обозреть мирок —
До окончаний с твердым знаком
В словах: «Багажъ» и «Кипятокъ».

Да, я люблю тебя душевно
И, сколько еду,— все не сыт
Тобой, дорожный, многодневный
Простой и в меру быстрый быт.

Так, благодушествуя вволю,
Иду. Не скоро ли свисток?
Вдруг точно отзыв давней боли
Внутри во мне прошел, как ток...

Кого я в памяти обычной
Среди иных потерь своих,
Как за чертою пограничной,
Держал,— он, вот он был, в живых.

Я не ошибся, хоть и годы
И эта стеганка на нем.
Он! И меня узнал он, с ходу
Ко мне работает плечом.

И чувство стыдное испуга,
Беды пришло еще на миг,

Но мы уже трясли друг друга
За плечи, за руки...

— Старик!

— Старик!

Взаимной давней клички

Пустое в сущности словцо
Явилось вдруг по той привычке,
А я смотрю ему в лицо:

Все то же в нем, что прежде было,
Но седина, усталость глаз,
Зубов казенных блеск унылый —
Словцо то нынче в самый раз,

Ровесник-друг. А я то что же —
Хоть не ступал за тот порог,
И я, конечно, не моложе,
Одно, что зубы уберег.

— Старик.— И нет нелепей муки:
Ему ли, мне ль свисток дадут,
И вот — семнадцать лет разлуки
И этой встречи пять минут.

И вот они легли меж нами —
Леса, и горы, и моря,
И годы, годы с их мечтами,
Трудами, войнами, смертями —
Вся жизнь его, вся жизнь моя...
— Ну, вот и свиделись с тобою.

Ну, жив, здоров?

— Как видишь, жив.

Хоть непривычно без конвоя,
Но так ли, сяк ли — пассажир
Заправский: с полкой и билетом.

— Домой?

— Да как сказать, где дом...

— Ах, да. Прости, что я об этом.

— Ну что там, можно и о том.

Как раз, как песне, пусть не новой,

Под стать приходятся слова:

Жена найдет себе другого,

А мать... Но если и жива...

- Так. Ты туда, а я обратно.
- Да, встреча: вышел, посмотрю...
- И я смотрю: невероятно..:
- Не куришь?
- Как еще курю...

Стоим. И будто все вопросы
И встреча, как ни коротка,
Но что еще без папиросы
Могли мы делать до свистка.

Уже его мы оба ждали,
Когда донесся этот звук.
Нам разрешали наши дали
Друг друга выпустить из рук.
— Пора.
— Ну что же, до свиданья.
— Так ты — смотри — звони, пиши.—
Слова как будто в оправданье,
Что тяжесть некая с души.

И тут на росстани тайшетской,
Когда вагон уже потек,
Он, прибодрившись молодецки,
Вдруг взял мне вслед под козырек.

И этот жест полусхотливый,
Из глаз ушедший через миг,
Тоской безмолвного порыва
Мне в сердце самое проник.

И все. И нету остановки.
И не сойти уже мне здесь,
Махнув на все командировки,
Чтоб в поезд к другу пересесть.

Нет, ни к чему ребячья удаль,
И слишком эта дань мала,
Чтоб возместить собою убыль,
Какую юность понесла.

И от нележкой этой были
На встречной скорости двойной
Мы в два конца свои спешили
Впритирку с ветром за стеной.

Бежал размеченный столбами,
Как бы кружась, в окне простор.
И расстоянье между нами
Росло на запад и восток.

И каждый миг был новой вехой
Пути, что звал к местам иным.
А между тем я как бы ехал
И с ним, товарищем моим.

И подо мной опять гудела
В пути оставленная сталь.
И до обратного предела
Располагалась та же даль.

И от вокзала до вокзала
Я снова в грудь ее вбирал:
И тьму тайги, и плес Байкала,
И степь, и дымчатый Урал.

И к Волге-матушке с востока
Я приближался в должный срок
И, стоя с другом локоть в локоть,
Ее заранее стерег.

А через сутки с другом вместе,
Вцепившись намертво в окно,
Встречал столичные предместья,
Как будто их давным-давно,
Как он, не видел. И с тревогой
В вокзальный тот вступал поток...

А между тем своей дорогой
Все дальше ехал на восток.

И разве диво то, что с другом
Не мог расстаться я вполне?
Он был недремлющим недугом,
Что столько лет горел во мне.

Он сердца был живого частью,
Бедой и болью потайной.
И годы были не во власти
Нас разделить своей стеной.

И, не кичась судьбой иною,
Я постигал его удел,
Я с другом был за той стеною
И ведал все и хлеб тот ел.

В труде, в пути, в страде походной
Я неразлучен был с одной
И той же думой неисконной;
Да, я с ним был, как он со мной.

Он всюду шел со мной по свету,
Всему причастен на земле.
По одному со мной билету,
Как равный гость, бывал в Кремле.

И те же радости и беды
Душой сыновней ведал он:
И всю войну, и День победы,
И дело нынешних времен.

Я знал: вседневно и всечасно
Его любовь была верна.
Винить в беде своей безгласной
Страну? При чем же тут страна!

Он жил ее мечтой высокой,
Он вместе с ней глядел вперед.
Винить в своей судьбе жестокой
Народ? Какой же тут народ!..

И минул день в пути и вечер,
И ночь уже пошла в окне,
А боль и радость этой встречи,
Как жар, теснились во мне.

Врываясь вдаль, работал поезд,
И мне тогда еще в пути
Стучала в сердце эта повесть,
Что я не вправе обойти.

Нет, обойти ее — не дело,
И не резон душе моей:
Мне правда Партии велела
Всегда во всем быть верным ей.

С той правдой малого разлада
Не понесет моя строка.
И мне свое исполнить надо,
Чтоб вдаль смотреть наверняка.

Вас. Гроссман



ШЕСТОЕ АВГУСТА

(Рассказ)

I

В этот вечер сильно пахли листья и травы, тишина была нежной и ясной. Тяжелые лепестки огромных белых цветов на клумбе перед домом начальника порозовели, потом на цветы легла тень: пришла ночь. Цветы белели словно вырезанные из тяжелого, плотного камня, вдавленного в синюю густую тьму. Спокойное море, окружавшее остров, из желто-зеленого, дышащего жаром и соленой гнилью, стало розовым, фиолетовым, а потом волна зашумела дробно и тревожно, и на маленькую островную землю, на аэродромные постройки, на пальмовую рощу и на серебристую мачту-антенну навалилась душная, влажная мгла.

Во мраке колыхались красные и зеленые огоньки — сигнальные знаки на гидросамолетах в бухте, засветились звезды — тяжелые, яркие, жирные, как бабочки, цветы и светляки, жившие среди чавкающих, душных болотных зарослей.

Чугунная ступня солнца продолжала давить на ночную землю: ни прохлады, ни ветерка, все та же мокрая, томящая теплынь, все та же липнущая к телу рубаха, все тот же пот на висках.

На террасе в плетеных креслах сидели летчики — экипаж самолета. Коричневая девушка в белом колпачке и в белом накрахмаленном халате, в больших круглых очках принесла на подносе еду, расставила кружки черного холодного чая.

У командира самолета Баренса руки были маленькие, как у ребенка, и казалось, его тонким пальцам не удержать штурвал самолета, идущего над океаном.

Но летчики знали, что в обширных списках личного состава военно-морской авиации Соединенных Штатов имя подполковника Баренса стоит в первой пятерке. Те, кто бывал у него дома и совершал с ним боевые полеты, не могли объединить в своем представлении человечка в клеенчатом фартуке, с зеленой маленькой лейкой в руках, многословно объяснявшего достоинства окраски и формы выращенных им тюльпанов, с великим летчиком, молчаливым и упорным, лишенным нервности и эмоций.

Второй пилот Блек считался меланхоликом. Его голова лысела совершенно равномерно, всей поверхностью. При взгляде на бледную кожу, просвечивающую между редких волос, становилось скучно. Но и у Блека были страсти. Ему казалось, что он находится накануне открытия рецепта социального переустройства, которое приведет к экономическому расцвету и всеобщему миру. Однако, пока открытие это не было завершено, Блек летал на четырехмоторном бомбардировщике.

Третий член экипажа, радист Диль, был человеком, в котором жили две враждебные страсти — к спорту и к еде. Он участвовал почти до последнего времени в баскетбольной команде морских летчиков. Но страсть к еде добавила ему шесть кило, и он из участника команды превратился в болельщика. Диль был образован, силен в теории, и его лекции по электронике пользовались успехом среди техников и мотористов.

Штурман Митчерлих, седеющий, красивый, сухощавый, также отлично знал свое дело. До 1941 года он вел занятия по навигационным приборам в Высшей школе пилотов морской авиации, но когда началась война — попросился на фронт и получил назначение в один из Тихоокеанских полков. Считалось, что в его жизни была опустошившая душу, несчастная любовь, — этим объясняли цинизм, с которым он расставался со своими возлюбленными.

Пятый член экипажа — двадцатидвухлетний бомбардир Джозеф Коннор, румяный и светлоглазый — не имел большого летного стажа, но еще на учебной практике он неизменно занимал первое место. Считалось, что в полку он установил несколько рекордов — чаще всех смеялся, дальше всех заплывал в море, чаще всех получал письма, написанные женским почерком. Его дразнили этими письмами, но письма ему писала мать, от этого он и краснел. Он не выносил выпивок и тайно от товарищей пировал — пил молоко с пенками, заедая каждый глоток ложкой персикового варенья. Два раза в неделю он писал письма домой.

Около недели экипаж отдыхал в полном безделье, внезапно сменившем еженочные полеты над японскими островами.

Но безделье томило лишь Коннора, остальные чувствовали себя неплохо. Первый пилот высаживал дикорастущие на

острове растения в самодельные горшки, сделанные из консервных банок. Он решил добиться акклиматизации на родине некоторых луковичных растений и спешно готовил домой посылку,— ее брался доставить приятель, делавший грузовые рейсы.

Митчерлих ночью играл в покер с интендантами и начальником склада горючего, а когда поднимался северо-восточный ветер и становилось не так жарко, развлекался с туземной официанткой, грудастой девушкой Молли; судя по лицу, ей было не больше пятнадцати лет.

Диль вычерчивал кривую, предугадывавшую исход любого баскетбольного состязания. Работа эта оказалась трудоемкой, требовала обработки многолетних материалов и привлечения высших ветвей математики. По вечерам Диль шел на кухню и готовил блюда из нежной местной рыбы, овощей, фруктов и консервированных специй, привезенных из Соединенных Штатов. Он ел медленно, задумчиво, никого не приглашая, иногда, подняв брови и пожимая плечами, повторял по нескольку раз одно и то же блюдо, если гастрономическая комбинация казалась ему не совсем ясной.

Меланхолик Блек лежал в гамаке с ворохом газет и брошюр. Он делал пометки цветными карандашами на полях, но внезапно, словно проваливался в воздушную яму, засыпал.

Коннор много купался, писал маме письма и читал романы. Он не замечал, что в него влюблены девушки из секретариата начальника, а также туземные официантки. Когда голубоглазый, бронзовый, в белоснежном костюме, в белой фуражке, с полотенцем на плече, словно сбежавший с первой страницы иллюстрированного журнала, он возвращался с пляжа, среди маленького женского населения острова происходило волнение и беспроволочный телеграф передавал сообщение: «Он вернулся с пляжа».

Женские уши умели различить шум четырех моторов идущего на посадку самолета, на котором летал Коннор, и по острову проносилось: «Он пришел». Но юный садист — истребитель варенья, сохранял неведение, равнодушие и невинность.

Как-то коричневая Молли сказала Митчерлиху, что готова любить его долгие годы, но скажи слово голубоглазый бомбардир, ее б не удержали ни душевная привязанность, ни даже соображения практического разума. Митчерлих похлопал ее ладонью по спине и ответил: «Я бы сделал то же на твоём месте». Но когда Коннор лежал в гамаке и, открыв рот, читал роман, Митчерлих, высмеивая его перед Дилем и Блеком, проговорил: «Вот макет мужчины из папье-маше. Молодой идиот, лишенный первичных половых признаков».

Недоумевая, откуда вдруг взялась в великолепном Митчерлихе такая злоба, Диль смеялся, а меланхолический философ Блек, обладавший пониманием людей, сказал:

— Смиритесь, старик, вам ничто не поможет!

Казалось, ничто или почти ничто не связывало между собою этих людей, экипаж военного гидросамолета, собранных главным штабом на острове. Однако была одна общая им всем черта — каждый из них был талантом, выдающимся в своей сфере специалистом. Им дали самолет с невиданно совершенной моторной группой, электроаппаратурой, приборами, прицельными приспособлениями, с большим количеством новшеств и усовершенствований; все они, привыкшие к достижениям техники, первое время чувствовали себя на этой, не вошедшей еще в серию машине так, как может чувствовать себя крестьянин-тракторист, привыкший к плугу и керосиновому двигателю и вдруг севший на легковой «бьюик».

Они летали часто, много, подолгу. Им не давали покою ни днем, ни ночью. Чем хуже была погода, порывистей ветер, ничтожней видимость, шире грозовой фронт, тем вероятней было получение приказа о вылете.

Начальник говорил им, что они совершают разведывательные полеты, что материалы аэрофотосъемки представляют особый интерес для командования.

Видимо, все же суть дела была не в разведке, а в тренировке. Особенно ясно было это для Коннора — самолет при каждом полете снабжали бомбами не совсем обычной формы и нестандартного веса. Бомбы эти, конечно, не были фугасными, не были они и зажигательными. Взрываясь в различных расстояниях от земли, они давали компактное облако сигнального темного дыма. При сбрасывании их полагалось учитывать необычайно большое число элементов. Все это потом сверялось с данными аэрофотосъемки. Конечно, Джозеф скоро набил руку в этом пустом занятии. А несколько дней назад их вызвали к начальнику, взяли торжественную подписку, и начальник рассказал им о новом оружии. Потом они присягали, что сохранят в тайне беседу.

У многих военных людей есть утешительное, постоянное чувство: наше дело маленькое, телячье — выполнять. Пусть начальство решает и приказывает, ломает себе голову, с нас хватит того, что мы отдаем свою жизнь.

После нескольких десятков полетов они спелись между собой, достигли совершенной рабочей слаженности, всегда необходимой и на заводе, и в шахте, и на рыбацкой лодке.

Но у них не установилось душевной, человеческой связи, которая так хороша в каждодневном тяжелом однообразном труде, согревает, освещает жизнь.

Вечером, ужиная, они, пошучивая друг над другом, разглядывали новую официантку, заменившую в этот вечер Молли, у которой был приступ малярии. Как большинство людей, которым в работе постоянно приходилось иметь дело со смертью, они, даже Блек, считавший себя философом, не задумывались

над сутью жизни и сутью смерти. Смерть летчика для них была низведена в профессиональную вредность, высшую профессиональную неудачу, сопутствующую браку в работе и всегда могущую досадно проявиться. Смерть летчика не была роком, мистическим ударом,— она являлась следствием технических и навигационных причин, тактических новинок истребительной авиации и зенитной артиллерии противника, числа оборотов мотора, метеорологических условий.

Когда погибал летчик или экипаж, они спрашивали:

— Что у них там случилось?

Но их не удовлетворял ответ: «Забарахлила правая группа моторов, когда пилот шел на цель», «Отказала пушка при сближении с истребителем противника».

Они спрашивали: «А почему перестали работать моторы?», «Что же произошло с пушкой, почему она отказала?» И им было мало услышать, что нарушился контакт, или перестало поступать горячее, или что у пушки при отдаче заела автоматика, подающая снаряд.

Когда же они узнавали во всей глубине техническую основу гибели самолета, то уже естественной делалась и гибель людей,— она являлась частью технического вопроса.

Очень редко причиной смерти становились сами люди: однажды пилот сошел с ума в воздухе, второй оказался пьян, у третьего и четвертого запоздал рефлекс — растерялись. Но и в этих случаях дело сводилось к техническому браку: все же отказывал мотор, а не человек. Это было главное в конечном счете.

Правда, иногда летчики, выпив, пускались в излияния. Человек, как ни крути,— человек: у него есть мать, отец, сестры, а если он успевает жениться и если после этого у самолета барахлит мотор, на свете оказывались еще одна вдова и новые сироты.

В этот вечер летчики философствовали, хотя никто не был сильно пьян.

— Не забудьте,— сказал Блек,— что военный летчик не только гибнет, но и губит других.

Митчерлих добавил, что он может не только погубить человека, но и создать его. Оглянувшись на новую официантку, с любопытством слушавшую, он сказал ей:

— Я готов вас убедить в этом — конечно, когда станет прохладней.

Джозеф, чтобы скрыть стыд, стал давиться и кашлять.

Девушка вызывающе сказала:

— Да? Я сомневаюсь.

Четверо засмеялись, а у Коннора опять сделался кашель.

— Тогда поставьте поднос,— весело сказал Митчерлих,— и пренебрежем метеорологическим фактором.

— Не знаю про могущество,— сказал командир корабля,— но по части воспитанности, майор, дело плохо.

Самолюбивый Митчерлих был страстным поклонником самого себя — он любил свою свежую проседь, свой профиль, свои пальцы на ногах, свой смех, свой кашель с мокротой, свою манеру подносить рюмку к губам, свою независимость, свою резкость.

Но он все же сдержался и сказал:

— То, что вы говорите, тоже довольно-таки грубо.

— Я отвечаю на грубость, сказанную женщине,— сказал командир корабля.

Официантки уже не было на террасе, и Митчерлих, искренне удивляясь, произнес:

— Вот этой маленькой очкастой мартышке?

— Она девушка и родилась в одном году с моей дочерью,— сказал Баренс.

Тут взял слово Блек. Он произнес быстрым, но монотонным голосом речь о том, что люди равны при рождении и все равны в смерти, и потому в короткий миг жизни, между двумя безднами равенства, надо соблюдать законы, не знающие черных, белых, желтых, богатых и нищих.

Диль, не дослушав его речь, проговорил:

— Оказывается, учение Блека сводится к тому, что надо подлизываться к командиру корабля и обвинять штурмана.

Но тут Блек, потеряв свою меланхоличность, повелительно и звонко крикнул радисту:

— Прекратите скотство в отношении меня лично.

— Э, ребята, бросьте,— нараспев произнес Коннор.— Виноватого нет. Все это от безделья.

Слова эти проговорил самый младший, слюнтяй и сластена, и потому справедливость их показалась комичной, и каждый произнес насмешливую самокритическую фразу.

Митчерлих сказал совершенно несвойственным ему тоном:

— Человек и при уме и честности может быть одновременно полным ничтожеством. В этом он и достигает равенства со всеми остальными. Потому и говорят, что все люди братья.

— Кроме того, каждый любит себя больше других, в этом все похоже,— проговорил Блек,— это тоже всеобщее равенство. Разница в том, что один хвастается своим себялюбием, как Митчерлих, другой скрывает его, как Баренс, а третий, вроде меня, для своего удовольствия притворяется, что любит ближнего больше, чем самого себя.

Диль сказал:

— Аминь. Я себя чувствую среди вас дураком. Хочется вытащить блокнот и записывать изречения.

Баренс пробормотал:

— Только не мои, конечно.

А Коннор сказал:

— У вас у всех есть занятия, а я от скуки превращаюсь в полного идиота, что для меня не так уж трудно.

Хорошего настроения и самокритики хватило всего на несколько минут. Внезапно заговорили о войне.

Блек сказал:

— Не надо забывать, мы боремся с величайшим злом — фашизмом. В таком деле и помереть не жалко, надо только помнить об этом.

— Это верно,— сказал Диль,— но как удержать это в памяти, когда валишься, как Петрушка, вниз головой, в горящем самолете. В эти минуты забываешь свое имя.

А Митчерлих вдруг спросил у Джозефа, присюсюкивая, точно говорил с малюткой:

— Конечно, смерть — бяка, смерть — кака, как вы полагаете? Но уж пусть начальство,— добавил он,— судит о целях войны, с меня достаточно, что я рискую своей шкурой. А то окажется потом, что война была несправедливой, и опять моя шкура будет отвечать.

— От ответственности никто не открутится,— сказал Баренс.

Но тут все стали возражать ему — разве солдат может отвечать.

— Я ведь говорю о чисто моральной ответственности,— поправился Баренс.

Блек сказал:

— Знаешь, техника освобождает нас в этом деле от моральной ответственности. Раньше ты разбивал врагу голову дубиной и тебя обдавало его мозгом — вот тогда ты отвечал; потом расстояние стало все увеличиваться — на длину копья, полета стрелы, и ты только слышал его крик, потом он отдалился на выстрел из пищали, мушкета, и ты уже не слышал его стонов, только видел, как он падает — пестрый человечек, серая фигурка, потом неясный силуэт, потом точка, потом не стал виден не только человек, но даже линкор, по которому бьешь... Кому нести ответственность? Тот, кто видит врага, — наблюдатель, он не стреляет, а тот, кто стреляет, — огневик, тот не видит, у него только данные — цифры, за что же ему отвечать? Нет, отвечают не те, кто стреляет.

Джозеф тоже сказал несколько слов:

— Мне не пришлось ни разу видеть японца в форме.

— Ну и в самом деле смешно, почему мальчик должен знать, чего они там хотят,— сказал Диль.— Тут надо вычертить кривую — по оси ординат откладывается дальность, а по абсциссе — ответственность стрелка: кривая стремится к нулю, моральная ответственность становится бесконечно малой, практически ею можно пренебречь. Обычная вещь при расчетах.

Ночью бомбардир писал письмо:

«Дорогая мамочка, если бы ты знала, как я скучаю по тебе. Я ведь не виноват, что меня мало интересуют здешние люди. Меня тошнит от их развлечений, споров и от их выпивок.

Если бы ты только знала, как мне хочется быть возле тебя. Скажу тебе правду, не только потому, что люблю тебя больше всех на свете, но ведь ты единственная понимаешь, что я ближе к маленьким, чем к большим, и мне не нужно коктейлей и двусмысленных разговоров. Вечером нужно позвать меня, чтобы я шел ужинать и не торчал до темноты на площадке, а когда я лягу спать, ты посмотришь, аккуратно ли я сложил одежду и хорошо ли укрыт. А здесь спортом они не хотяя занимаются из-за жары, посмеиваются надо мной, почему я не люблю карт и прочего, не веду в пьяном виде идиотских, умных разговоров. И конца этому не видно. Блек объяснял сегодня вечером цели войны, но я так и не понял ясно, какое мне до всего этого дело. Я-то знаю, чего хочу,— быть дома, возле тебя и всех наших родных, снова видеть свою комнату, наш сад и двор, сидеть с тобой за ужином и слушать твой голос...»

Утром в штаб вызвали командира корабля. Вернувшись в свой домик, он по телефону попросил зайти всех членов команды.

Они застали Баренса в садике, он высаживал из грунта какие-то коричневые, мохнатые, похожие на гусениц корешки с цилиндрическими янтарно-желтыми побегами и прикрывал их бумажными колпачками с надписями и датами. Шея его и уши покраснели,— он был садовник в эту минуту.

— Получен приказ сегодня ночью вылететь,— сказал он, встал, распрямился, вытер ладони, сощурил глаза — и садовник исчез.

— Боевой полет? — спросили четверо одновременно.

— Да, новое оружие. Словом, понимаете сами. То, о чем говорил начальник во время секретного инструктажа. Почему-то на этот раз летим с пассажиром. Кроме того, нас сопровождают два Боинга — двадцать девять.

— Объект и трасса намечены? — спросил Митчерлих.

— Да, вылетело из головы название городка. Я сейчас погляжу запись. Приказано строго держаться маршрута. Я вам передам его.

— А как со связью? — спросил Диль.

— Есть инструкция. Словом, Диль, скучать вам не придется.

— А по моей части есть специальные указания? — спросил Коннор.

— Есть, но не много. Частные объекты не даны. Примерно геометрический центр города. Сейчас посмотрю. Указана только критическая высота,— ни ниже, ни выше,— шесть тысяч метров.

Блек не задавал вопросов, он раздражался всякий раз, ощущая разницу в положении первого и второго пилота. Ему, конечно, надо было инструктировать людей, а не Баренсу.

Митчерлих сказал, обращаясь к Баренсу:

— Несколько необычайно, правда?

— Не совсем по-обычному, — нерешительно сказал Баренс.

Днем их дважды вызывали в штаб, беседовали, снова и снова инструктировали. Потом их познакомили с пассажиром — сутулым, худым полковником с близорукими, голубоватыми глазами, с белой, совершенно круглой, точно очерченной циркулем, широкой лысиной, человеком с манерами и движениями, не имевшими ничего общего с военной службой.

— Какой-то медицинский профессор, владелец клиники, — сказал о нем Митчерлих.

— Да, вроде аптекаря, но, может быть, вице-президент, — сказал Диль.

Вместе с пассажиром они поехали к самолету.

Полковника больше всего интересовал бомбардир. Он спрашивал Джозефа, осматривал устройство автоматического прицела, механизм сбрасывающего аппарата. По вопросам, которые он задавал, чувствовалось, что он не дурак. Может быть, изобретатель? Никто не слышал его фамилии. Затем они выверяли работу моторов, приборов.

Начальник лично следил за всем, а полковник уехал на базу. Потом с материнской придирчивостью и заботой их осматривал врач, им сделали ванны и приказали лечь спать.

И вот они сидели на террасе, пили холодный крепкий чай и поглядывали на узкую полосу шоссе, на белевшие во мраке огромные восковые цветы, прислушивались к негромкому плеску воды, к постукиванию движка на радиостанции. Их не так уж волновала тайнственность, которой обставлялся полет. В конце концов не все ли равно — разведка ли, новое ли оружие, контрольное испытание машины, идущей в серию, ультиматум, военная прогулка высокопоставленного лица? Служба есть служба...

По пути на аэродром Джозеф сидел рядом с шофером, смешливым, хорошим пареньком, черным, вроде грека. Машина шла быстро, и синие фары ее окрашивали все вокруг в сказовые тона.

В эти минуты, как, пожалуй, никогда до этого, он особенно ясно ощутил счастье жизни, той, что равно добра и щедра к молодым и старым людям, собакам, лягушкам, бабочкам, червям и птицам...

Ему стало душно, жарко от счастья, даже пот выступил на лбу от желания сделать что-то шальное, что дало бы ему возможность со всей полнотой почувствовать свои двадцать два веселых года, свои широкие плечи, легкие и быстрые движе-

ния, свое веселое, молодое сердце, свою доброту ко всему живому.

Когда машина остановилась на берегу, Джозеф сказал Баренсу:

— Отлучусь на десять минут. Можно?

Баренс кивнул:

— Время есть.

Джозеф побежал к темным деревьям, сел, быстро разделся и по теплоте, не успевшему остыть песку пошел к воде. И в тот миг, когда он стоял в береговой котловине, закрытой от всего мира деревьями, а перед ним тяжело колыхалась ленивая и широкая океанская вода, он вновь ощутил прилив беспричинного счастья.

Разбежавшись, он бросился в воду и поплыл. Вода была теплой, он то и дело окунал голову, соленый вкус возник на губах, струйки воды, стекавшей с волос, щекотали виски, набегали на глаза. По-особому хороши стали звезды в небе, когда он смотрел на них мокрыми глазами. Капли воды дрожали на ресницах, и в каждой капле растворился крошечный квант звездного света, и, должно быть, оттого, что свет прошел через бездны пространства и времени, а соленые капли, захватившие этот свет, были согреты живым теплом человеческого тела, в душе у юноши возникло какое-то странное, щемящее и сладостное ощущение... Он плыл живой, молодой, и в нем в этот миг соединилось вместе и прошедшее и настоящее — вот ко всему любопытный и жалостливый Джо в детском передничке смотрит в печальные глаза отца, вернувшегося с работы, и слышит сиплый голос: «Здравствуй, дорогой мальчик», и слышит победный рев четырех моторов самолета, поднятого над двумя океанами — белых облаков и темной воды, и шум в белокурой вихрастой голове после первой выпивки...

Ему показалось, что когда-то он уже плыл в ночной теплой воде, и мир так же был хорош, и звездный свет на мокрых ресницах казался понятен, привычен, близок ему, как близка и привычна мать, этот свет, шедший из галактической и межгалактической бездны, от Сириуса, от Паруса и Индийской Мухи, от Водяного Змея и Центавра, от Больших и Малых Магеллановых Облаков... И в эти секунды он почувствовал братскую и сыновнюю, нежную, добрую связь со всем живым, что существовало на земле и в глубинах моря, со слепыми протейми в подземных пещерных водах, со всем живым, чье легкое, доброе дыхание шло через пространство от звезд и мягкой голубоватой прохладой касалось его ресниц.

Он весело вскрикнул, окунулся, всплыл, снова посмотрел вверх сквозь брызги и капли воды, снова крикнул и, охваченный внезапным ребячьим страхом, что чудовище, не то осьминог, не то акула, сейчас схватит его за ногу, поплыл к берегу.

Два часа находились они в воздухе. Самолет шел все время по приборам. Серая плотная мгла лежала над огромным пространством.

Согласованность действий команды достигла своего высшего предела, и самолет казался людям живым, наделенным волей существом, высшим по сравнению с людьми организмом. Сейчас решения и поступки людей определялись не так, как это бывает в обычной жизни, а одними лишь показаниями приборов и цифрами расчетов. Красные и сине-черные стрелки на больших и малых циферблатах, светящиеся цифры выражали сложный мир высоты, скоростей, давлений, широты, долготы, магнитных поправок, заменявший сейчас человеческие страсти, воспоминания, сомнения, привязанности. Сердца, дыхание летчиков сделались лишь простой математической функцией, от волнообразного движения синуса, от скольжения логарифмов, от показаний телеприборов, от меняющегося напряжения электромагнитного поля.

Это было удивительно. Ведь самолет, который управлял поступками людей, страстно выполнявших его волю, мертвый самолет, металл, стекло, пластмасса, возник и летел сейчас во тьме по воле человека, послушный, покорный одной лишь этой живой воле.

Бронированная птичья грудь, винты, светлые крылья рассекали, дробили, отбрасывали тьму и пространство,— слепой уверенно шел к цели.

Мгла над землей, густая и клубящаяся, такая же густая и клубящаяся, как мгла над океаном, охватывала необъятное, уже казавшееся космически, эйнштейновски-криволинейным пространство. Хотя мгла была непроницаема для любого самого сильного объекта, люди совершенно уверенно чувствовали ее огромность.

Пассажир, склонив большую лысую голову, смотрел в иллюминатор,— угрюмое движение в сырой мгле поражало его. Он видел огромный океан тьмы впервые, и это зрелище тревожило его.

Но чувство волнения, с которым он смотрел в иллюминатор, было вызвано не тем, что он впервые в жизни наблюдал тьму над океаном. Чувство вызывалось тем, что картина эта была ему уже знакомой, он знал ее уже. Он вспомнил, как впервые услышал в чтении матери начальные строки библии,— бог, простерев руку, летел в неразделенном хаосе небес, земли и воды. Таким и был безвидный хаос, возникший в его детских снах,— он клубился вот так же, как он клубится сейчас, он казался тяжелым и легким одновременно, в нем таилась и тьма, и жизнь, и вечный лед смерти, и легкость небес, и черная тяжесть руд, земель и вод.

Пассажира вытянул руку и посмотрел на свои утолщенные подagraй длинные пальцы, поросшие короткими волосами, выхоленные ногти, ощутил маленький мозоль на пальце, образовавшийся от многих десятилетий пользования автоматической ручкой. Но мгла над бездной оставалась мглой, и он опустил руку.

В тот момент, когда самолет выходил на Японские острова, начался восход солнца.

Первый утренний свет коснулся растрепанной белокурой головы молодого бомбардира, и вокруг нее встало светящееся облако. Юноша склонился над прицельным устройством и, придерживая дыхание, стал следить за стрелками приборов, в последний раз выверять плавное, медленное движение ориентированной по приборам прицельной нити, еще далекой от контрольной точки.

Оба пилота сидели за пультом управления. Блек, отстраняясь, откинулся от пульта, и руки его повторили движение, которое делает закончивший игру пианист,— первому пилоту полагалось вести самолет в момент выхода на цель.

Блек переглянулся с Митчерлихом, они подмигнули друг другу — их радовала точность работы: около тысячи километров самолет шел по-слепому, во тьме, и вот секунда в секунду он вышел к той точке побережья, которая была заранее задана. Тут было чем гордиться,— человек приближался по точности своих действий к прибору, и, если бы отказала электронная лампа, нарушив автоматичность работы, человек мог бы на время заменить ее. Пареньки на Бонингах тоже не отстали.

Радист Диль сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. По инструкции, полученной перед полетом, он мог сейчас немного передохнуть,— связь, которую он держал в продолжение всего полета, сейчас следовало прервать и возобновить с сигналом: «Иду на цель». Диль нащупал в кармане шоколадную плитку, привычным движением переломил ее и засунул себе в рот большой кусок шоколада.

«Так, пожалуй, веселей»,— подумал он, скосив глаза на свою оттопыренную щеку.

Пассажира вновь привалился к иллюминатору. Солнце нетерпеливо выплывало из тяжелой, темной воды и, легко отделившись от нее, перешло в воздух, и тотчас зарозовела снежная вершина прибрежной горы, и ее серый, мягко покатый склон, поросший японской сосной, засветился. Огромное водное пространство окрасилось зеленью и оранжевой желтизной. Немота живой поверхности океана казалась странной,— ведь тысячи всплесков, шумов, шорохов, гудение стояли над могучей водой.

А там, где сходились суша и море, в рассветной дымке, дремлющей в последних мгновениях тьмы, в полукруглой, чашеподобной котловине, закрытой от утреннего солнца склоном дальней горы, лежал город.

Из быстро тающего сумрака выступали очертания мола, портовых сооружений, угадывался массив городского парка, плешины площадей и линии улиц, блеснула многорукавная дельта реки.

Пассажир отвернулся от иллюминатора, оглядел летчиков. Две спины, одна квадратная, другая длинная, сутулая, в форменных белых кителях,— пилоты. Митчерлих, спрашивавший его накануне о нью-йоркских концертах, делал пометки на карте. Диль сосредоточенно всасывал шоколад и спокойно наблюдал за аппаратурой.

Пассажир шевелил губами, но гул моторов, шум в ушах не давали разобрать его слов.

Джозеф оглянулся в его сторону; глаза старика жадно смотрели на руку юноши; казалось, эта рука школяра, с неподстриженными ногтями, с чернильным пятном на указательном пальце, оставшемся после писания вчерашнего письма к матери, гипнотизировала его. Ведь никто в мире — ни президент, ни школьный учитель, ни воздушный генерал Арнольд, ни физики, возглавляемые гениальным Эйнштейном, ни Дюпон, ни родная мать — никто-никто не стоял в этот миг рядом с этим мальчиком.

Но так ли? Порвались ли стальные нити, протянутые через океан до этих пальцев?

Слов почти не было слышно, но по неясным звукам, а больше по движению губ Джозеф понял, что большеголовый аптекарь молился. Сам Джозеф не знал всех этих сложных мыслей. Его дело — включить телеустройство, далее уже действовала автоматика.

Джозеф нажал на полированную белую кнопку — она легко ушла в выточенное стальное гнездо, и вскоре легкий щелчок, который ощутила подушечка указательного пальца, подтвердил: бомба пошла на цель. Этот миг всегда был приятен Коннору — миг успокоения, когда трудное напряжение разряжалось. В такие мгновения ему казалось, что бомба отрывалась не от брюха самолета, а от его собственных внутренностей. Сразу становилось просторней и легче дышать — пловец освободился от гири, тянущей его вниз.

Он склонился над стереосмотровым устройством, ожидая, пока бомба совершала свою дорогу.

Могучие, жадные линзы, как бы приподняв на огромной ладони океан и землю, приблизили их к глазам Джозефа. Он увидел тысячи подробностей этого утра: плещущую и дышащую океанскую воду, и бесконечное, выходящее розовато-белое драное кружево прибойной пены, и зелень рисовых посевов в алмазной чешуе поливных вод, и быстро плывущий на запад город, — от него веяло той острой прелестью, которой полны, особенно в утренний час, чужеземные города. Глаз быстро ловил чуждый необычайный вид домов и улиц, паутину дорог, яркие цветные

пятна крыш, а сердце подсказывало, что и в этом чужом городе в ранний час сонно улыбаются красивые девочки, матери смотрят из окон на бегущих в школу школьников, старики радуются еще одному утру, богатому теплом, светом, голубизной неба...

Вот в этот-то миг кусок урана закончил свое падение и часть его перестала быть веществом. Бомба взорвалась на заданной высоте в две тысячи футов. Вспыхнул свет, свет смерти, давящий, жгущий, затмивший солнце.

Он ударил подобно оstromу, быстрому топору, он давил на глаза, нажимал на череп, и протуберанцы пурпурного, золотого, синего и фиолетового пламени распоролли утренний воздух до самой стратосферы, осветили землю и все, что жило на ней, поразительно прекрасным светом, — он был серым и в то же время непередаваемо ярким, в сотни раз более ярким, чем самое яркое тропическое солнце, чем самое яркое зимнее солнце, сияющее над снежной равниной.

Светящийся шар, словно вновь рожденная звезда, стремительно вознесся в небо, раскрылся в субстратосфере наподобие огромного гриба, превратился в светящийся огненный столб.

Пассажиру казалось — из воронки, выжженной в том месте земли, над которым сверкнул эпицентр взрыва, где родилась неведомая планете температура в семьдесят миллионов градусов, поднимаются клубы обращенных в раскаленный атомный пар железа, алюминия, гранита, стекла, цветов, листьев, обращенных в атомный пар человеческих глаз, смоляных девичьих кос, сердец, крови, костей — и заполняют огромный куб пространства.

В этот миг автоматически закрылись все смотровые окна, отключились приборы. Самолет ощутил удар вызванного им атомного тайфуна. Оглушенный пассажир упал на пол, зажмурился, ему представилось, что небо, земля, вода вновь вернулись в хаос... Так и не победив зла, отцом и сыном которого он является, человек закрыл книгу Бытия...

Это показало пассажиру на миг, но он открыл глаза и увидел маленькие руки первого пилота, оставшегося сидеть за пультом управления. Эти руки были вырублены из камня, такими неподвижными и холодными казались они.

Через мгновенье он услышал голос радиста и подумал: «Президент уже все знает...»

Четырнадцатилетним худым мальчишкой он ходил по тихим вечерним улицам маленького городка и разговаривал сам с собой, прохожие оглядывались на него и смеялись... Он поднимал руку к темному небу, вот так, как он пробовал поднять ее в самолете, и произносил клятву: «Всю жизнь я посвящу одному делу — освобождению энергии. Я не потеряю часу, не отклонюсь ни на шаг. То, что не удалось алхимикам, удастся нам. Жизнь станет прекрасна, человек полетит к звездам».

Штурман Митчерлих помог пассажиру встать, усадил его на низкое кожаное сиденье. Штурман усмехнулся бледными губами и проговорил:

— Вы меня вчера взволновали рассказом о зимних концертах...

Блек провел рукой по глазам:

— Режет, как ножом. Но здорово мы им дали за Пирл Харбор, по самой макушке!

Пассажир подумал:

«Странно! Юноша со вчерашнего вечера гипнотизировал меня, а с момента взрыва он перестал меня совершенно занимать. Где они — те, что были там, внизу?»

Радиостанции не умолкали. Вышли экстренные выпуски тысяч газет. Два миллиарда людей говорили о погибшем городе, который никого не интересовал накануне. Назывались самые разные цифры погибших — от девяноста тысяч до полумиллиона.

Сознание людей, освоившее в эпоху фашизма миллионные цифры убитых в лагерях уничтожения, было потрясено быстротой, с которой убивала урановая бомба. В одну секунду, первую секунду после взрыва, число убитых и умирающих достигло семидесяти тысяч человек! Все почувствовали: средства уничтожения поднялись на такую высоту, что не такой уж фантастической стала казаться перспектива уничтожения человечества ради процветания и величия государств, счастья народов и мира между ними.

Политики, философы, военные, журналисты, публицисты в первые же часы после взрыва доказали, что мощный удар урановой бомбы, воздав фашизму за преступления против человечества и парализовав в большой мере сопротивление Японии, ускорит приход мира, которого жаждают все матери ради жизни своих детей. Эти доказательства сразу поняли и в японском генеральном штабе и в императорском токийском дворце.

Всего этого не успел понять маленький четырехлетний японец. Он проснулся на рассвете и протянул толстые руки к бабушке. В полутьме за спущенными занавесками он видел ее седые волосы и золотой зуб. Ее узкие слезящиеся глаза улыбались среди темных морщин. Мальчик знал, что это он доставляет бабушке столько радости, — ей приятно, проснувшись, увидеть внука. А сегодня день особенно хорош. У мальчика наладился желудок, ему предстояло попробовать кое-что получше, чем жиденький рисовый отвар.

Так ни этот мальчик, ни его бабушка, ни сотни других детей, их мам и бабушек не поняли, почему именно им причитается за Пирл Харбор и за Освенцим. Но политики, философы и публицисты в данном случае не считали эту частную тему актуальной.

Вечером после ужина летчики сидели на террасе и выпивали. Все они возбужденно говорили, плохо слушая один другого. Днем они получили благодарности от столь высокопоставленных людей, что казалось, легче получить на Земле радиосигнал с Марса, чем подобные служебные телеграммы.

Было очень душно, и казалось тщетным бесшумное вращение вделанного в потолок большого, как винт самолета, вентилятора.

Командир корабля подошел к перилам. Так же, как и вчера, мерцали в большой высокой черноте южные звезды и неясно светлели над темной землей лепестки цветов.

Баренс повернулся к товарищам, сидевшим за столом, и сказал:

— Меня всю жизнь раздражали старинные, заросшие сады, тупой и жадный лопух, крапива, лесная неразбериха тропиков. К чему прут из земли тысячи хищных ординарных, на одно рыло, растений. Я всегда верил, что садовники истребят эти заросли и в мире восторжествуют лилии, платаны, дубы, буки, пшеница.

— Понятно,— проговорил, зловеще и дурашливо посмеиваясь, краснолицый, как индеец, Митчерлих,— все ясно. Мы с командиром против зарослей.

Шея его была багрова,— казалось, вот-вот вспыхнет от этой огненной багровости сухая седина. Он багровел так, когда пил долго и много. Он поднес стакан Баренсу и сказал:

— За успех садовников.

Баренс выпил и, поставив пустой стакан на перила террасы, проговорил:

— Хватит хвалить садовников.

Второй пилот объяснил:

— Сегодня Баренс не хочет думать о ботанике и вегетарианстве.

— Блек, дорогой друг, это все ерунда. Не стоит говорить. Но вот где Джозеф, я хочу с ним выпить,— проговорил Баренс.

— Он вышел на минутку, моет руки.

— По-моему, он уже четыре раза мыл руки.

— Ну что ж, его так учила мама,— сказал Митчерлих.

— За кого молился аптекарь, когда Джо нажимал на железку,— за них или за нас? — спросил Диль.

— Надо было спросить, если тебя это интересует, а теперь он уже докладывает в Вашингтоне: «Митчерлих — бабник, Диль — обжора»,— а президент хватается за голову.

— Вам льстит, что он слышал твое и мое имя? — спросил Митчерлих.— Плевал я на все это.

— А почему бы и нет? Представляешь себе, как выбирали людей для такого дела! А? Выбрали-то наш экипаж.

— Ничего не понимаю,— сказал Коннор, вернувшись на террасу,— все вы ничуть не изменились.

— Ты поменьше пей, Джозеф, это все же не молоко. Перекрыты все рекорды истории, я имею в виду — сразу.

— Это война,— сказал Блек,— не забудь — это война со зверем, с фашизмом.

Джозеф поднял руку и разглядывал свои пальцы.

— Тут выпили за садовников,— сказал Баренс.— Мне всегда казалось, что это самое честное, бескровное дело. А теперь я подумал: выпьем лучше за монастыри, а?

— Выходит, что я нажал на железку, не вы. Ладно!

— Да не шуми так, ты разбудишь весь остров!

— Чему смеяться? А, Диль? Вас не интересует, куда они девались? — крикнул Джозеф радисту.

— Авель, Авель, где брат твой Каин?

— Каин обычный паренек, не многим хуже Авеля, и город был полон людей вроде нас. Разница в том, что мы есть, а они были. Верно, Блек? Ведь ты сам говорил: пора подумать обо всем.

— Тебя действительно скучно слушать,— сказал Блек.— Кому нужны пьяные, глупые мысли. Знаешь, человек умирает надолго, но если он глуп, то навсегда.

На его лбу и на висках выступили красные пятна.

— Я слежу за тобой, Коннор, ты выпил не меньше меня,— сказал Диль.

— Я? Ты ослеп! Вот девочки свидетельницы,— я выпил два литра.

— Пусть официантки присягнут, но это невозможно.

— Девочки, сколько я выпил? Только правду!

— Не пора ли пойти спать? — проговорил Блек и встал.

— Спать я не буду. Мне надо подумать.

— Вот видишь, ты перепил. Думать будешь в другой раз.

— Слушай, Джозеф, совет старшего по возрасту,— проговорил Блек.— Иди спать. И пусть астрономы без нас решают проблему — возможна ли жизнь на земле.

— Пусть дитя поспит с девочкой, это заменит ему липовый чай или отвар малины. Утром ты проснешься счастливым и здоровым,— поддержал Митчерлих.

— Смотрите, Диль уже вычерчивает кривую храпа.

— Перестань ты, наконец, смотреть на свои ладони и пальцы! — крикнул командир корабля.

Они встретились днем, выспавшиеся, выбритые, шурились и улыбались при мысли о предстоящем длительном отпуске.

Дневное солнце било в глаза, блистало на плоскостях самолетов, и казалось, даже необъятного зеркала Великого океана было недостаточно, чтобы отразить его нержавеющей, вечный блеск. Свет солнца был щедр, огромен, затоплял пространство, мешал видеть, ослеплял людей, птиц, животных.

Баренс положил на стол пачку газет и сказал:

— Крепко же вы спали. Я завтракал один, никто не брал почты. Никто не слышал, что тут творилось.

— Что же?

— Джозефа свезли на рассвете в санитарную часть, у него стало неладно с головой.

Посмотрев на лица товарищей, он сказал:

— Не то чтобы совсем помешался, но вроде. Он отправился среди ночи купаться, а на столе оставил письмо. Потом пытался повеситься на берегу; его обнаружил часовой, и все обошлось. Первые слова его письма я прочел. Не стоит повторять: жуткое письмо, как будто именно мать кругом виновата.

Блек, сокрушаясь, присвистнул:

— Видишь, Баренс, ты вчера забыл — кроме монастырей, есть еще сумасшедшие дома. Я сразу заметил, что с ним не хорошо. Но ничего. Если это не на всю жизнь, то через несколько дней пройдет.

II. Замойский



ВЛАДЫКИ МИРА

(Из прошлого)

В каждом большом селе есть такие дома, а иногда их несколько, куда с охотой пускают ночевать нищих и другой проходящий народ. Особенно нищих. А нищие бывают разные. Или это — многосемейные и безземельные, те, что «дошли до сумы» и нищенство им в тягость. Ни лошади, ни коровы у них нет. Часть членов семьи пасет скотину, два-три парня, даже поженившиеся, живут в работниках, а остальные идут «по миру». Обычно вдвоем — отец с сыном или брат с братом. Уходят далеко от своего села, очень даже далеко, чуть ли не в соседнюю губернию, не говоря уже о соседнем уезде.

Набранные в селах куски хлеба — «милостыньку» — и муку они продают обычно лавочнику для выкормки свиней. За куски дают по копейке за фунт, а за муку — полторы копейки. Но муку подают мало. Разве только по утрам в чьей-либо избе, где еще хлеб не испечен. Иногда всыплют вместо муки отрубей.

Есть нищие-погорельцы. Есть настоящие, а часто фальшивые. Настоящие погорельцы — народ скучный, угрюмый, к нищенской вольной жизни непривычный. Они пошли «по нужде». «Красный петух» выгнал. А фальшивые погорельцы — народ разбитной. Больше всего они ездят на телегах, в кибитках, как цыгане. Причем в кибитке, под пологом, словно в шалаше, сидит или старуха, или старик в обгорелых отрепьях и вокруг них все обгорелое. Даже солома. Но прежде всего, чтобы сразу оглобли и дуга. Особенно дуга, ее видно сразу и всякому. Ну и местами телега, колеса, даже чекушки в осях.

Впавшие в нужду мужики крепятся-крепятся, но делать нечего — голод не тетка, и если нет иного выхода, то говорят в таких случаях кому-либо: «Хоть оглобли обжигай».

«Обжигатели» — народ продувной. Это нищие, можно сказать — профессиональные люди, выдавшие все, и притом говоруны. Говорят, вернее причитают, они не хуже «волчков», то есть бродяг беспаспортных, с «волчьим билетом». Таким разрешается в селе пробыть не больше трех дней.

«Обжигатели» заезжают очень далеко на лошади с опаленной гривой и полусожженным хвостом, и у них от местного старосты имеется какая-нибудь «гумага» с печатью. Староста в накладе не остается.

Есть целые села, притом самые зажиточные, этих «обжигателей». И не скоро в таком селе сосватаешь себе невесту. Невесты богаты. Они сами тоже «обжигаются» и едут побираться.

Это своего рода промысел, ремесло. Очень часто даже не сам «погорелец» едет, а посылает своего работника, за что платит ему «издельно».

Надо сказать, что в селах «обжигателей» всем чужим нищим подают очень хорошо. Как же, а вдруг они где-нибудь на стороне встретятся с таким нищим, которому отказали? Он же опозорит их, раскроет все карты. А ведь люди-то, если не все, то неопытные, верят несчастным «от огня».

Есть нищие-уроды: хромые, безрукие, особенно слепые. Среди них тоже много «притворщиков». А есть полунищие. Это монахи, монашенки — просители «на храм божий» с кружкой на груди.

Целые стаи нищих на «святой Руси».

А коробейники? А татары-«выкрещенцы», которые сменяли Магомета на Христа и вместо Абдуллы получили при святом крещении имя Николая или Алексея. Этим подают православные очень щедро. Притом Абдулла-Николай (а кто он, сам сатана не разберет) очень трогательно рассказывает свою историю перемены веры на веру. И, конечно, как его чуть не убили за такую измену, а татары, а мулла именем аллаха прокляли его. Как тут не подать, не напоить и не накормить? А притом же, у него и крест на груди. Он его нарочно носит на виду.

Мы с братом Васькой — мне пятнадцать лет, ему тринадцать — принадлежим к нищим первой категории. Мы — пешие. У каждого из нас по две сумы, крест-накрест.

В левую суму собираем муку, в правую — хлебные куски. И еще по котомке за спиной. В котомках наши пожитки. Ведь мы «пропадаем», как мать говорит, по полтора или два месяца «в крым-песках, на кусках». Котомки за спиной — это наше богатство, это кладовая, это склад, родной дом. Это все!

Что, например, у меня в котомке? Запасные портки, рубаха, полотенце, портянки, что называется белье. Во втором отделении — книги: Некрасов, Крылов, Горький, Лермонтов, Сенкевич, песенник и псалтырь. О, псалтырь — доходное дело! Если мы выискиваем покойника, «новопреставленного раба», и если над этим «новопреставленным» некому читать,

я предлагаю свои услуги. И вот, пожалуйста, мы читаем с Васькой попеременно весь день, с перерывом на обед, и всю ночь до рассвета. На второй день «раба» хоронят, мы на поминках «почетные гости», не считая попов, а после нам вручается полтинник, полотенце, на котором читали псалтырь, и полкаравая пирога. Это не шутка.

Еще в сумке у меня большая тетрадь. В нее я по дороге, сидя где-нибудь у ручья, родника, реки, в лесу, на меже среди хлебов, сочиняю и записываю басни, стихи, даже рассказы. А Васька читает Шерлок Холмса. Этот в его котомке покоится.

Во второй тетради, особой, я ежедневно записываю, где, в каком селе мы были, что видели, слышали, кого встретили. Фамилию хозяина, где ночевали, как он живет и злые ли собаки в селе. Собаки — это самые злые, непримиримые, не считая урядника и стражника, наши враги.

Вторую тетрадь можно назвать «дневником». Я уже имел, начитавшись, о дневниках кое-какое понятие.

В сущности вел я его не без умысла. И вот почему.

Какой бы интерес пускать нищих, да еще нередко целым скопом, какому-нибудь богачу-кулаку или лавочнику? А пускали охотно. Больше того, просто требовали: «Ночевать приходите к нам». Даже перебивали, что называется «приглашали наперебой». Странного ничего в этом не было. Ведь мы именно «странники». Мы ходим из двора во двор, из села в село, из уезда в уезд. А богатые люди очень любопытные. Им все хочется знать, что делается в других селах. Знать все происшествия.

Мало того, знать, как живет, но и что делает какой-либо знакомый, тоже богач, лавочник, в дальнем селе.

Откуда же он удовлетворит любопытство? Кто ему, богачу, лавочнику, нередко даже попу, расскажет? Если не все, то хоть чуть-чуть? Никто, кроме нищего. Бывалого, опытного.

И мы, нищие всех категорий, знали это хорошо. Мы ночевали не за «Христа ради» и были не с пустыми руками. Мы — газета, вестовые, что хошь.

За это нас пускали, и каждый рассказывал все, что знал. И для этого я вел свою запись во второй тетради. Опыт у меня уже есть. Побираюсь не первый год. Если не пасу стадо. Когда пасу, на время меня заменяет отец или младший брат, а я отправляюсь в «туманны горы» — побираться.

...И вот вечер. Мы в дальнем селе чужого уезда, в большой избе богатого мужика. Изба выстроена глаголем, то есть семистенка, три комнаты и кухня. Семья богача человек из двадцати с ребяташками.

Нам отвели угловую комнату. На полу расстелена солома. Стоит большой стол. Мы сходили в баню богача, что стоит на огороде, вымылись и сидим за столом.

Нас кормят ужином. На столе три бутылки вина, купленные вскладчину. От вина мы с Васькой отказываемся. Черт его

знает. Охмелеешь, уснешь, а у меня в кармане уже пять рублей выручки. Но все-таки меня заставил выпить полчашки Иван, по прозвищу «Вихрь». Он не один, а с «вожаком» — здоровым, рябым, кривоглазым парнем, страшным обжорой. Иван Вихрь знаком нам. Он нередко ночевал и у нас в доме. Оба парня дружат с моим отцом. Оба богомольные.

В раннем детстве, когда Иван с родными был в поле во время жнитва, на них налетел большой вихрь перед грозой. Вихрем взметнуло обносы, солому, пыль, и, наконец, самой воронкой этого страшного седого смерча подхватило Ваньку. Подхватило, подняло, как сноп, отнесло на соседний загон и там сбросило. Ему вывихнуло руки, ноги, сотрясло мозг, и с тех пор он весь трясется. А ноги сведены в коленках, и он не может даже есть. И особенно крутится из стороны в сторону голова. Это мешает попасть ложкой в рот.

Когда он побирается, то сидит в кибитке, но на виду, и они едут с вожаком вдоль улицы. И все знают, что это Иван Вихрь, и охотно выносят ему подавание.

Так как он ходить не может, то вожак Андрей, если Ивану надо слезть — на ночевку ли, по другому ли делу, — вожак забирает его на «курлышки», то есть на спину, как маленькое дитя, и несет.

Но удивительным было, как я замечал уже несколько раз, что когда он пьет водку, то вся тряска на этот момент прекращается. И он не прольет ни единой капли.

В некоторых селах его зовут не Вихрь, а Иван Трясучий. Но это все равно.

Человек он добрый, простой, умный, но, кроме пристрастия к водке, у него, как у множества бывалых нищих, — не «нищих от сохи», а профессионалов, — большое пристрастие к денежной игре в карты, игре в три листика, так называемой «темной».

Говорят, что Вихрь Трясучий женат. Может быть. Ведь ему не более тридцати с чем-нибудь лет.

Второй нищий Савелий, по прозвищу «Дудолад». Это забулдыга, здоровенный, с рыжей, во всю грудь, бородой, могучий в плечах. Ему под пятьдесят лет. Он великий мастер играть на тростниковых дудках, притом с коротким рожком.

Указательный палец у него изуродован. Он вогнут как-то внутрь. Говорят, в детстве дверью придавило. И когда он играет, мне всегда кажется, что все звуки идут именно не из дудок, а из его уродливого пальца. Савелий не раз ночевал у нас. Он большой балагур, очень хорошо, заливисто смеется и поет старинные песни. В своем селе, где редко бывает, поет в церковном хору.

Об остальных нищих только упомяну. Здесь Ерема, безбородый и безусый — Бабыя Коленка, — лет неопределенных. Он умеет показывать фокусы на картах и на бобах с наперстком.

Аким Рыболов, старик лет шестидесяти, с каким-то темным прошлым. Этот побывал во всех приволжских городах, работал грузчиком на Волге, до этого был половым в трактире, стрелочником, батраком где-то в Сибири. Но обо всем этом говорил неохотно. Зато анекдоты, да такие, что его, оглядываясь, останавливали, рассказывать был мастер. Аким тоже бывал в нашем селе.

И еще два человека, мне совсем незнакомые,— Игнатий и Ефим.

Когда допили вторую бутылку, а третью оставили про запас и поужинали, Вихрь, крутя головой, предложил, ни к кому не обращаясь:

— Перекинемся, а?

Вошла сноха хозяина, а с ней и сам старик, крупный, крепкий, с большой лысиной, окаймленной седыми кудрями.

— Убери у них со стола,— сказал он.

Сноха быстро убрала, вытерла стол, а Иван и Савелий вынули по колоде старых карт. Метнули, чьими картами начать. Начали картами Вихря.

— В три аль в четыре? — спросил Савелий.

— Все будут играть? — спросил уже Вихрь.

Оказалось, кроме нас с братом, все пять человек будут играть.

— Давайте в три карты.

Началась знакомая мне игра. Играли «с козырем». Раздали по три карты. Открыли козыря. У кого если и не было козыря, но карты попали хорошие, крупные, начиная от валета и до туза, да еще разной масти, то он мог выиграть и без козыря. Но лучше, если есть в запасе козырь, хотя бы шестерка. Иные даже до хода бросали карты. Так карты были безнадежны. И в игре оставалось два-три человека.

Вот первый ход Савелия. Рядом Иван, дальше Аким, Игнатий с перевязанным глазом и Ефим безрукий.

— Копейку под тебя,— говорит Савелий Вихрю.

— Мирю. Семишник под тебя,— говорит дальше Вихрь Акиму.

Аким бросил карты. Но Игнатий «мирил» и уже ходит под Ефима гривной, то есть тремя копейками. Итого в игре пока шесть копеек. Карт никто не бросил. Все «мирили», то есть согласились. Выиграл Игнатий. Ему по три копейки отдали Савелий и Вихрь.

Если хорошие карты, игроки по несколько раз «мирят» и набавляют сумму. Иногда дело доходит до того, что остаются только двое. Остальные карты побросали, но деньги, которые «замырили», все равно кладут на кон.

Сначала игра не имела большого азарта. Игра, про которую говорят — «не стоит свеч». Но вот как-то случилось, что дело дошло до полтинника. Эта сумма большая. В игре

остались Савелий и Ефим. Выиграл Ефим. Савелий выбросил серебряный полтинник. Остальные по той сумме, которую сами назвали, когда «ходили». Аким собрал более рубля.

Тут же распили остальную бутылку водки и послали еще за двумя к шинкарке. А шинкарка недалеко. Это сноха хозяина, но она, хотя нищие и знают про это ее занятие, скрывает его. Шинкарке грозит трехмесячная тюрьма, если ее «поймают».

Выждав некоторое время, будто ходила куда-то далеко, сноха принесла две бутылки и получила рубль. Шестнадцать копеек на этом — в ее доход.

Мы с Васькой сидим и смотрим. А меня так и подмывает вступить в игру. Тем более что мне еще поднесли полчашки «за хорошие глаза». Это Вихрь поднес.

Ставки пошли крупнее. Куда мне. Тем более что однажды, «наславив» на рождество двадцать шесть копеек, я в тот же день их проиграл. Я очень жалел, сердце сжимала тоска, на глазах были слезы.

«Нет, воздержусь. К черту, — решил я. — Продую пять рублей, а ведь скоро надо заворачивать по другим селам домой. Неизвестно, сколько еще наберем. А дома хлеба нет. На наши нищенские деньги, если даже мы наберем восемь рублей за полтора месяца, и то отец может у мельника купить пять пудов муки, да еще останется на мыло, на соль, на керосин. И матери на селедку».

Мать очень любит соленую рыбу. Хоть тарань, хоть воблу, все равно. А пока у меня защиты в пиджаке заветных пять рублей бумажками да полтинник звонких.

Я сижу рядом с Савелием, заглядываю ему в карты, которые он неохотно показывает, держит их под столом, если хороши, а Васька — с угла, возле Ивана Вихря. Но Васька скоро начал клевать носом, а затем лег спать. Возле Вихря уселся его жолак, Андрей, и молча, без подсказок, наблюдает. Подсказок Вихрь не любит и ругается матерно.

Мне тоже хочется спать, но хочется и посмотреть.

Игра становится все азартней. Больше всего везет Ивану. Перед ним не только куча серебра, но и бумажки. Савелий нервничает. Иногда и он загребают. Возле него тоже много денег. Но продулись Ефим и Игнатий. Они сидели осовелые и прикладывались к водке. Скоро хлопнул картами Аким и выругался, воскликнув:

— Черт! Красненькую, а?

— Переменить карты. Потасовать хорошенько.

В игре остались двое: Иван Вихрь и Савелий Дудолад.

Они отдохнули, выпили. У обоих лица свирепые. Иван меньше стал вертеться. Или от водки, или от азарта. Ему везло, как колдуну.

Теперь сражались двое. Вновь везло Ивану. Вожак Андрей глупо улыбался, хлопал в ладоши, чуть не подпрыгивая от радости.

— Выпьем, Иван?

— А что ж!

— Везет тебе, дьяволу вертячему. Гляди, куча какая!

Игра шла переменная. То Савелий берет, то Иван. И уже не с копейки начинают ход, а с рубля. Все больше и больше тает куча денег перед Савелием. Все большую сумму назначает он, а Иван уже играет осторожно. Он не прочь бы и совсем бросить, но нельзя, если его игрок не согласен. Иван только «мирит», не называя в ответ свою сумму.

— Пять под тебя,— кричит Савелий.

— Мирю,— тихо говорит Иван.

Щелкают картами. Иван кроет или козырем, или в масть большой картой.

— Да что те че-ерт! — злится Савелий.

Но вот Иван «ходит». У него хорошие карты.

— Пять под тебя!

Я с ужасом думаю: «Пять рублей?» С ума сойти. Даже хозяин, который сидит здесь, и сноха возле голландки, даже они вздохнули.

— Мирю. Еще два рубля,— набавляет Савелий.

Щелкают карты. Савелий выигрывает. Семь рублей платит ему Иван.

И вот с этого-то момента, что называется, «повезло» Савелию. Почти что ни кон — его выигрыш. Иногда только возьмет Иван. Куча денег — бумажек, серебра, меди — перекочевывает, и очень заметно, от Ивана к Савелию.

Иван нервничает. Он начинает потеть, трет лоб.

— Давай в четыре,— говорит он Савелию, надеясь на «перебой».

Тот соглашается. Сдают по четыре карты, по одной выбрасывают. Больше возможности иметь хорошие карты.

Но и это не помогает Ивану. Деньги ползут к Савелию, как живые. Вожак Андрей перестал прыгать и хлопать в ладоши. Он ходил и сопел, как лошадь в загоне.

Наконец, в последней крупной ставке в четвертную — двадцать пять рублей — куча Ивана исчезла дотла. Денег даже не хватало.

— Выпьем? — предложил Савелий.

— Придется,— согласился Иван.

Но невелика еще беда. Ведь Иван проиграл чужие деньги. Своих-то не больше десяти. Но у него нет уже денег. Ни своих, ни чужих. Нет, кажется, еще нашел пятерку. Поставил и ее, перекрестив карту под столом, но и, «крещеная», она улетела к Савелию.

А игроки не уходят. Куда там. Ждут, что же будет дальше. Тогда Вихрь, желая отыграться (может быть, хотя бы вернуть свои деньги и потом сказать «хватит», — на что с радостью согласится Савелий), предлагает осекшимся голосом:

— Знаешь, Савелий, у меня два мешка муки по три пуда.

— Под муку хошь играть? — весело спрашивает Савелий, хлебнув из чайной чашки и закусывая соленым огурцом.

— А что ж. Муку вон хозяин купит. Купишь, хозяин?

— По шесть гривен пуд.

— Ну вот. Шестью шесть — собачья шерсть. Ставлю муку. Давай карту.

И один мешок за другим улетели, как воробышки.

Савелий хохочет, угощает водкой всех. И все хохочут.

— Куски есть? — уже насмешливо спрашивает Савелий.

— Четыре мешка по полторы пуда.

— Ставь куски, — разошелся Савелий. — Хозяин, берешь куски?

— По копейке фунт. Итого шесть пудов. Каждый пуд сорок копеек. А всего два сорок копеек. Беру.

Но куски не сразу упорхнули. Они даже оттянули один мешок муки. Иван решил, что наступил «перебой». Глядь, черта с два! Улетела мука, а за нею и четыре мешка кусков. Все это стояло здесь же, в избе.

Мне до боли было жаль Ивана. Ну, что он теперь? С каким трудом собирал, ездил, клянчил, вертел головой и вот: «куда куски, куда милостынька».

— На что еще будем играть? — спросил Савелий.

Иван задумался. Играть-то в сущности не на что. Потом стукнул себя по лбу:

— На лошады!

— Что-о? — вскинулся Савелий, и все насторожились. — Ты, может, скажешь и на кибитку? И на жоака Андрея? Не-ет, на черта мне лошадь. Нищий у нищего суму не крадет. Нет, Иван, у меня крест на груди. Ты уж бросай. Десять рублей я тебе верну. Или муку с кусками.

Но Иван заупрямился. Над ним ведь смеялись все, кроме Андрея и меня. Даже хозяин хихикал.

И тут Ефим безрукий будто нарочно подсказал:

— Иван, а что тебе стоит поставить на кон соседнюю вон улицу вон этого села. Ты еще не ездил по ней?

— Это как поставить улицу на кон? — спросил Иван.

— Очень просто. Все, что соберешь, если проиграешь, отдашь Савелию, а выиграешь — твое счастье. А оценку улицы мы дадим. Ну хоть в пять рублей. Самая дорогая ей цена.

— И то правда, — поддержали его Аким с Игнатием. — Улица так себе, а глядишь, с паршивой овцы шерсти клок.

Иван подумал-подумал. Чудно. Улицу в карты проиграть. А Савелий смеха ради кричит:

— Ставь улицу за пятерку. Как она зовется, хозяин?

— Широкая.

— Ого, Широкая. Да там, никак, и поп живет? Нет, хорошая улица. Хошь, Иван, играю на нее. По-честному, по-христиански. Поскольку там церква с алтарем и хоругвой.

И Иван поставил на карту Широкою улицу за пять рублей. В два хода улица с ее мукой и кусками уже была у Савелия.

— Ставь другую улицу, Иван! Они рядом. Авось на ней повезет тебе, вертячему.

Иван поставил и вторую улицу и даже не узнал, как она называется. И ее проиграл. Савелий потирал руки.

— Хозяин, сколько у вас улиц в селе? Без выселков.

— Четыре,— ответил хозяин.

— Вот и акурат! — подхватил затейник Ефим.— Две на две.

И Иван, мрачно отпив водки, возгласил хрипло:

— Ставлю все село с выселками.

Полетело и село и три поселка отрубников, один из них переселенцы с Украины. Чисто! В пору Савелию завтра объявить себя старшиной, а лучше всего помещиком. Дом помещика находился недалеко от села. Ясно, что и он попал на карты.

«Что за чертовщина,— подумал я.— Так Иван может проиграть в карты и соседнее село, а за ним другое, третье».

И едва я подумал, как Ефим весело крикнул:

— Савелий, что тебе это одно село. Бери два, если везет. Какое за вами село, хозяин?

— Деревня Николаевка,— ответил хозяин.— Пятьдесят дворов.

— К черту деревню в полсотни дворов. Эка невидаль. Не стоит карты марать. А дальше какое? Да чтоб оно большое.

— Александровка. Шестьсот домов.

— Вот это нищему кусок пирога. Дуйте на шестьсот дворов.

Под смех, снова под выпивку — а принесли еще две бутылки водки — пьяные нищие играли в карты на села, и только на крупные.

Мне вспомнились читанные рассказы, как помещики в крепостное время проигрывали и выигрывали целые семьи крестьян. Да и наше семейство вместе с другими было, правда, не выиграно, а выменяно из татарского села Рахмановки на борзых собак.

Иван проиграл еще четыре села и три деревни. Этого ему хватило бы для побора недели на две, если не больше. И все, что ни насобирает, пойдет Савелию в монету.

Возможно, дело дошло бы и до всего уезда, с городом вместе, но вот на селе Кучки, или по-длинному оно называется

«Кучук-порт-Архангельское», получился перелом. Иван не только не проиграл это село длиною в семь верст, с двумя церквями, с волостным правлением, но и отыграл до этого проигранную Блиновку.

Я очень обрадовался. Действительно, в таком азарте Иван мог проиграть целый уезд, а потом недолго и до губернии. А зажмурив глаза, можно поставить на карту весь земной шар с его морями, лесами и горами. Жалко, что ль?

Вот они, властелины мира, владыки его какие!

С Блиновки клубок, словно волшебный, начал раскатываться в обратную сторону. От Савелия к Ивану. Уже вернулась Федоровка, ярмарочное село, с чудотворной иконой Николая-угодника, затем вернулось село Студенец с большой, пятиглавой синей церковью, Носковы хутора опять в нищенской власти Вихря — Кувака, Варезжа, — и пошло-пошло в обрат, к чародею Ивану. Скоро отыграл он и то село, где находимся мы, со всеми улицами и с бородатым хозяином дома.

Клубок все раскручивался. Вернулись чудесным образом куски, мука, которые попрежнему стояли в избе на полу.

И дело дошло до денег.

— Выпьем, Савелий? — весело предложил Иван.

Выпили, закусили. Будто лица стали серьезнее.

— Теперь давай на деньги, — предложил Иван.

— А они у тебя есть?

— Что ж, другой раз тряхну муку.

— Нет, на это я не игрок. И устал к тому же. Десятку я тебе верну.

— Не возьму. Она теперь несчастная.

— И не надо, — обрадовался Савелий.

— Эх ты черт. Мне хоть половину своих денег по совести отыграть. Где же взять? И хозяин ушел. Хоть бы пятерку какую.

И меня словно бес толкнул. Да что, в самом деле. Разве он не отдаст? Этот властелин мира, который бросается селами, как бабками. Да что ему пять рублей?

— Дядя Иван, я тебе дам взаймы.

— Ой ли, сынок. Аль есть?

— Есть.

— Давай под счастливую руку. Семь тебе аль отцу отдам.

Я оборвал нитки в поле пиджака, вынул три рубля и две рублевки. Трясущимися руками я подал их в трясущиеся руки Вихря.

Он не сразу поставил на все. Он поставил — ведь это деньги, а не туманные села — один рубль. Савелий «мирил» и пошел тоже на рубль добавочно. Хотя карты были неважные, всего по одному козырю, но последнюю карту, бескозырную, крыть Савелию было нечем. Не та масть.

Иван рискнул на три рубля поставить. Савелий добавил еще три. Игра на шесть рублей. И эти шесть рублей у Ивана.

Ход Савелия. Он ставит пять рублей, чтобы сразу сбить Ивана, но у Вихря — я сижу рядом — два козыря. Он добавляет последние три. И еще восемь рублей идут к Ивану.

Так и пошла игра. Три кона берет Иван, один Савелий. Иван не рискует теперь. Хмель, кажется, сошел с него. А Савелий добавил водки и начал горячиться. Он ставил по крупной, на любую карту, а Иван или «мирил», или бросал карты, если сомневался в выигрыше. Он уже отдал мне пятерку, а с ней вместе еще трешницу на всякий случай.

И как раньше везло Савелию, так сейчас повезло Ивану. Перед ним уже куча бумажек. Но все равно он играет осторожно.

Наконец, перед обоими по равной на взгляд куче денег, да еще с серебром и медью.

Возле Савелия сидит Аким с невозмутимым лицом. Ведь игроки наблюдают и за выражением лиц не только друг друга, но даже и тех, кто видит их карты.

Наблюдаю и я за лицом Савелия и почему-то за его уродливым пальцем. Палец мне теперь кажется хищным, злым, беспощадным.

Иван сдал по четыре карты. Поднял их и тихо отвел в сторону. Вероятно, чтобы я не видел. Неприятно, когда со стороны кто-нибудь смотрит. Да еще издает восклицания, вздохи удивления или восторга. Сбросили по лишней карте.

Случайно я взглянул не на Савелия, а на Акима. Тот, взглянув в карты Савелия, вдруг на один момент приподнял брови и быстро отвернулся, принимаясь набивать глиняную трубку табаком. Мне показалось, что даже лицо его побледнело. Заметил, как и у Савелия задрожала левая рука, а пальцы крепко сжали карты.

Помедлив, он вздохнул и нескоро начал. Ход был его. Затем тихо сказал:

— Хожу пять.

Иван тоже помедлил и тоже со вздохом произнес:

— Мирю. Еще пять.

— Мирю, — произнес Савелий, и в голосе его еле заметная дрожь. — Десять.

Иван положил карты перед собой, накрыл их левой рукой, а правой расправил усы. Подумал и сказал:

— Мирю. Пятнадцать.

— Мирю. Двадцать.

Что такое? И Аким, и Ефим, и Игнатий насторожились. Крупные ставки. И ни один не сдает. Все набавляют. Уже двадцать пять, уже тридцать. Наконец, Савелий, весь дрожа, почти выкрикнул:

— Мирю под все твои деньги, черт круговой.

— Мирю и под твои. Давай в кучу все. Чьи будут.

И они, не считая, сколько у кого денег,— да это тепер и не надо,— сдвинули деньги в одну кучу, на середину. Аким со страхом и сожалением смотрел на Вихря, а у меня мурашки пробежали по спине.

На столе в куче лежали все наличные деньги этих пяти нищих, а тепер двоих.

— Выпьем, Иван?

— Выпьем, Савелий.

— Да что вас, че-ерт! — не утерпел безрукий Ефим.

— А ничего,— ответил Савелий.— Бог правду видит.

— И не скоро ее скажет,— в тон ответил Иван, хрустя огурцом.— Ходи, Савелий.

Савелий ходит с валета козырей.

— Ах, ты так? — говорит Иван.— Хорошо. Крою дамой, под тебя десятку козырей.

— Хорошо, крою тузом козырей. А эту чем покроешь?

Наверху козырная девятка.

— А вот чем,— с силой бросает Иван короля козырей.

Наступила минута полного оцепенения. Иван перестал крутить головой. Савелий, очнувшись, начал проверять карты. Козырь на козыре. Шесть козырей. Да каких? Самых главных. Это очень и очень редкое совпадение. Будь тут у каждого по тысяче рублей, по миллиону, и то рискнули бы. У Савелия куда уж лучше: туз, валет и девятка. Здесь достаточно было бы туза с девяткой, а третью простую, и то верный выигрыш. А тут еще валет. Но у Ивана явный выигрыш. У него король, дама и десятка. Проиграть никак нельзя.

— Наваждение! — выкрикнул Савелий и сам отодвинул деньги Ивану.

— Не без бога,— согласился Иван и вдруг захохотал. Да так захохотал, что начал икать и кашлять.

Все нервное напряжение его кончилось, и на глазах показались даже слезы.

Отдышавшись, он позвал жоака Андрея, который только что вышел из оцепенения, и приказал ему попросить у снохи еще бутылку водки.

Выпили, и все вдруг впереводку загалдели. Начали вспоминать подобные же случаи. А их оказалось очень много. Можно, оказывается, и на таких картах неопытному игроку проиграть, какие были у Ивана, если бы ход был с них и пойти десяткой. Противник покрыл бы валетом, пошел девятку, а наверху туз. Были такие случаи.

— На-ка держи, сынок.— Вихрь протягивает мне (а я глазам своим не верю) десять рублей.— Это тебе за твои счастливые деньги. Только сам никогда не играй. Карточная игра — она зараза, она хуже водки. Сколько через нее

смертей, убивств разных. Иной и на себя руки положит. Лучше выпить.

Иван позвал Андрея и, указывая на деньги, велел:

— Возьми под сохранность.

Он доверял этому верзиле все, даже деньги. И верзила был честен перед Вертячим, как домашний пес.

Скоро рассвет. Вся нищая братия улеглась на полу, на соломе. Я лег рядом с Васькой.

А некоторое время спустя эти владыки мира дали такой храп, что в окнах зазвенели стекла.

Завтра всем идти по улицам, по избам и снова, как кто может, на разные голоса:

— Подайте милостыньку Христа ради!

Анна Ахматова



ПЕТРОГРАД. 1916

Сучья в иссиня-белом снеге;
Коридор Петровских Коллегий
Бесконечен, гулок и прям.
 (Что угодно может случиться,
 Но он будет упрямо сниться
 Тем, кто нынче проходит там.)
До смешного близка развязка:
Вкруг костров извозничья пляска,
Над дворцом черно-желтый стяг...
Все уже на местах — кто надо;
Пятым актом из Летнего сада
Пахнет...

 Звонко поет моряк.
...Словно в зеркале страшной ночи
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек,
А по набережной легендарной
Приближается не календарный —
Настоящий Двадцатый Век.

АЗИЯ

*Он прочен, мой азийский дом,
И беспокоиться не надо...
Еще приду. Цвета, ограда,
Будь полон, светлый водоем.*

1

Третью весну встречаю вдали
От Ленинграда.
Третью? И, кажется мне, она
Будет последней.

Но не забуду я никогда,
До часа смерти,
Как был отраден мне звук воды
В тени древесной.
Персик зацвел, а фиалок дым
Все благовонней.
Кто мне посмеет сказать, что здесь
Я на чужбине.

2

Разве я стала совсем не та,
Что там, у моря,
Разве забыли мои уста
Твой привкус, горе?
На этой древней сухой земле
Я снова дома,
Китайский ветер поет во мгле
И все знакомо...
Гляжу, дыхание тая,
На эти склоны,
Я знаю, что вокруг друзья —
Их миллионы.
И звук какой-то ветер мчит
На крыльях ночи —
То сердце Азии стучит
И мне пророчит,
Что снова здесь найду приют
В день светлый мира.
...И где-то близко, здесь, цветут
Поля Кашмира.

3

Ты Азия — родина родин! —
Вместилище гор и пустынь...
Ни с чем предыдущим не сходен
Твой воздух — он огнен и синь.
Невиданной сказочной ширмой
Соседний мерещится край,
И стаи голубок над Бирмой
Летят в нерушимый Китай.
Великая долго молчала,
Закутавшись в пламенный зной,
И вечную юность скрывала
Под грозной своей сединой.

Но близилась светлая эра
К навеки священным местам.
Где ты воспевала Гессера¹,
Все стали Гессерами там.
И ты перед миром предстала
С оливковой веткой в руках —
И новая правда звучала
На древних твоих языках.

¹ Гессер — древний народный герой эпических поэм Китая, Монголии и Тибета.

Константин Симонов



ДРУЗЬЯ СОРОК ПЕРВОГО ГОДА

Москва сорок первого года,
Ты души умела открыть!
И зря у нас вышло из моды
Об этом друзьям говорить.
А все же, когда непогода
Напомнит о прошлой войне,
Москва сорок первого года
Неслышно заходит ко мне.

Хоть шоры на память наденьте!
А все же поделишь порой
Друзей на залегших в Ташкенте
И в снежных полях под Москвой,
На тех, кто и выступит метко
И всех перепьет за столом,
И тех, с кем и нынче в разведку
Пойдешь без раздумья вдвоем.

Не чтобы ославить кого-то,
А чтобы изведать до дна,
Москва сорок первого года
Нам меркой душевной дана.
Пожалуй, и нынче полезно,
Не выпустив память из рук,
Той меркой простой и железной
Обмерить кого-нибудь вдруг!

Друзья сорок первого года,
Вы в сердце до гроба со мной!
А эти — искавшие брода,
Чтоб выжить любой ценой,—
Про них, хоть и помню и видел,
Пишу, опустив имена.
Но если их все же обидел —
Пусть терпят.
На то и война!

Ник. Асеев



ПАМЯТНИК

Нанесли мы венков — не пройти, не проехать,
раскатили стихов долгозвучное эхо;

удивлялись глазастости, гулкости баса,
называли певцом победившего класса;

объявили о памятнике всему свету,
да вот все как-то времени нет Моссовету.

А тому Новодевичий вид не по нраву:
не ему посвящал он стихов своих славу.

Не по нраву тому за стеною жилище;
и прошла его тень сквозь ограду кладбища.

Разве сердце, гремевшее жарко и бурно,
успокоила б эта безмолвная урна?

Разве плечи такого тугого размаха
уместились бы в этом вместилище праха?

И тогда он своими большими руками
сам на площади этой стал выращивать камень.

Камень вздыбился, вырос огромной скалою
и прорезался прочной лицевой скулою,

две ноги — две колонны могучего торса,
головой непреклонной в стратосферу уперся

и пошел он, шагая по белому свету,
проводить на земле резолюцию эту:

чтобы всюду — на месте помоек и свалок
разлилось бы дыхание пармских фиалок,

где жестянки и щебень, тряпье и отбросы —
распылялись бы влажно индийские розы,

чтобы радугой радость — звуки и краски,
чтобы всем бы хватало одеяла и ласки,

чтобы каждый был доброй судьбою отмечен,
чтобы мир этот дьявольский стал человечен!

Борис Слуцкий

*

* * *

Когда убили Белоянниса —
В тот самый день, когда убили,
Собралися, не побоялися
Друзья героя на могиле.

И славным именем товарища
Назвали площадь городскую,
Где камни, стены и трава еще
О нем и помнят и тоскуют.

О том переименовании
Молчит газет лихая клика.
Но знает новое название
Народ от мала до велика.

Идут афинские автобусы,
Звенят по городу трамваи.
Исполненный

античной

доблести,

Кондуктор площадь называет.

Сказал, стоит и не сгибается —
Исполнен доблести безмерной.
А Белояннис улыбается
Ему улыбкою бессмертной.

Мальчишка-гид ведет по городу
Туриста с челюстями лошади.
— Мы где? — В ответ прямое, гордое:
— На Белояннисовой площади.

Сказал — как будто гвоздь вколачивал.
И видно недругу и другу,
Как Белояннис брату младшему
Сжимает худенькую руку.

Еще над площадью мотаются
Чужие флаги злыми вихрями,
А все же площадь называется
По-нашему, а не по-ихнему.

Она, прекрасная и грозная,
Свободой тайною рокошет
И знает — рано или поздно —
Будет, как народ захочет.

БЕЗ ЧЕТВЕРТИ ДЕВЯТЬ УТРА

От Кировской и до Арбата
Москва спешила на работу,
А от Арбата до окраин
Уже работала Москва.
Скрипели перьями ребята.
Завод распахивал ворота,
И труд спокойно, как хозяин,
Входил, вступал в свои права.

Все восемь миллионов щеток
Зубных и восемь — платяных
(А если я наврал в расчетах,
Прошу не осудить за них)
Уже сработали. Отмыли,
Отчистили и отскребли,
И москвичи на службу шли
И сигаретами дымили.

Ты, утро, с головою свежей
Скорей на гвоздик табель вешай,
Скорей спецовку надевай!
Ты слышишь: весь огромный город,
Как грузчик, расстегнувший ворот,
Уже басит тебе: «Давай!»

Давай побольше солнца в окна
И дождик, чтобы пыль размокла,
И ветерок давай — берем!
Ты слышишь крик: «Подъем, подъем!»

Вставай же, утро, подымайся —
И на работу собирайся
И на погоду не ссылайся.
Такой закон у здешних мест:
Кто не работает — не ест!

Алексей Марков

*

ДУБ

Уже десятый день подряд
Свистят, аукают метели.
Деревья голые стоят,
Они от стужи почернели.
И только дуб назло ветрам
Листвой чугуною рокочет,
Ее он сбросит только сам,
Когда он сам того захочет.

Назым Хикмет



ПИСЬМО МЕМЕДУ

Это глупое сердце
паршивую шутку сыграло со мной.
Может быть,
не придется с тобой увидаться, Мемед.
Знаю,
станешь, мой сын, молодцом,
будешь, стройный
высокий,
кудрявый,—
и я был таким
в двадцать лет.
Глаза твои синие-синие,
иногда как-то странно печальные,
лоб твой светлый-пресветлый,
голос звонкий —
мой был никудышный,—
будешь, сын, задушевные песни петь,
будешь говоруном, как отец,
будут мед лить уста твои,
Много девушки будут терпеть!
Трудно вырастить мальчика без отца.
Береги свою мать.
Я не мог
сделать так,
чтоб она улыбалась...
Это сделаешь ты, сынок.

Твоя мать крепка
и мягка,
как шелк.
Даже в старости будет прекрасной, Мемед,
точно такой,
как я видел ее
в первый раз
на Босфоре
семнадцати лет...

...Лунный свет,
туманный свет,
первая красавица,
золотой ранет...

Твоя мать...
Ранним утром однажды
расстались мы с ней,
чтобы встретиться...

Над Стамбулом
вставал рассвет.
Твоя мать —
лучшая из матерей,
даст бог,
проживет сто лет.

Мальчик мой,
я ничуть не боюсь умереть.
Все ж порой
сердце вздрогнет тревожно
за работой,
в ночном одиночестве —
жизнью, мой сын,
насытиться невозможно.

В этом мире живи ты
не как квартирант,
не как дачник сезонный —
помни:
в этом мире
ты должен прочно жить,
жить,
как в отцовском доме.
Зерну,
земле
и морю верь,

но прежде всего —
человеку.

Облако,
книгу,
машину люби,
но прежде всего —
человека.

Глубоко в груди своей
ощущай
боль ветки засыхающей,
звезды угасающей,
раненого животного боль,
но прежде всего —
человека.

Радуйся всем благам земным:
солнцу,
дождю
и снегу,
зиме и лету,
тьме и свету,
но прежде всего —
человеку.

Мой сын!
Прекрасна Турция твоя.
Как преданны и как правдивы,
верны,
отважны,
терпеливы
отчизны истинные сыновья!

Страдает наш народ трудолюбивый.
Но он воспрянет,
верю —
он будет счастлив, непременно будет!
А вместе с ним и ты, мой сын,
построишь
и увидишь коммунизм.
Мемед!
Вдали от родины и от родимой речи,
от хлеба нашего и соли,
тоскуя по тебе
и матери твоей,
по моему народу,
живу я,
но не на чужбине —
в стране моих прекрасных снов,

здесь,
в белом городе
моих заветных дней.
Пусть смерть не даст мне свидеться с тобою,
но в глубине груди моей спокойно.
В тебе, мой сын, еще так долго,
в моем народе —
вечно будет продолжаться
та жизнь,
которая окончится во мне.

Перевод М. Павловой

Л. Василевский



У ПОДНОЖЬЯ ГВАДОРРАМЫ

(Рассказ бойца интернациональной бригады)

От гладких гранитных валунов, торчавших на каждом шагу в этой местности среди небольших полян выгоревшей травы и сухих кустов ладанника, несло нестерпимым жаром. Таким же жаром несло и сверху, из безоблачного бледноглубого неба, как будто там была раскаленная железная крыша. Густой, знойный воздух был неподвижен, и тучи пыли, поднятой непрерывно рвущимися снарядами, висели в воздухе и, медленно оседая, покрывали тела людей сплошной зудящей коркой грязи, смешанной с потом.

Пули марокканских стрелков щелкали о камни и, рикошетируя, летели во всех направлениях. Артиллерия мятежников беглым огнем обстреливала руины деревушки Брунете. Немецкие «юнкеры» и итальянские «фиаты» сыпали бомбы, добавляя жару в это испанское пекло.

Генерал Вальтер стоял в одних трусах на южной окраине деревушки, захваченной нами несколько дней назад после ожесточенного боя. Он снял свою генеральскую фуражку с расшитым золотом козырьком, — единственную часть своей одежды, отличавшую его сейчас от таких же голых и грязных солдат и офицеров, теснившихся с ним в этой каменной щели. У генерала было резко очерченное лицо в крупных морщинах, с нависшим над тонкими губами носом, мясистый подбородок и суровые серые глаза. Вытирая грязным платком наголо обритую голову, он пристально посмотрел на меня и, ругаясь на польском и испанском языках, сказал:

— Поезжай к Мера ¹ и добейся, чтобы он начал наступать!

¹ Сиприано Мера — один из вождей ФАИ (Федерации анархистов Иберии), командовал дивизией Республиканской армии в 1937—1938 гг.

Будь дипломатичен. Черт их побери! Иди на все, но сдвинь их с места!

Метрах в ста впереди траншеи, вполоборота к противнику, стоял наш танк со сбитой гусеницей. Два танкиста лежали под ним, ожидая буксира. Вокруг рвались снаряды, и их осколки звонко стучали по броне. Стрелок оставался в башне танка и вел редкий огонь, экономя снаряды. Этот неравный поединок танка с батареей противника приковал внимание всех.

Генерал опять повернулся ко мне и уже было раскрыл рот, но в этот момент снаряд попал в танк, и желто-фиолетовое пламя вырвалось из открытого люка башни.

— Еще один,— сквозь зубы проговорил генерал и, взглянув на меня, в сердцах закричал: — Чего же ты ждешь?!

Схватив в охапку одежду и оружие, я рывком выскочил из траншеи и пополз вдоль невысокой стенки ближайшего двора. Неотступно за мной полз и мой всегдашний спутник — разведчик Таба, такой же черный и грязный, как и все мы, в своем неизменном рваном марокканском бурнусе, одетом на голое тело. На засыпанных обломками улицах Брунете стояла тошнотворная вонь от разлагавшихся под жарким солнцем вздутых трупов, которые было невозможно убрать под жестоким огнем. Петляя среди развалин и припадая к горячей земле при каждом близком разрыве, мы приблизились к северной окраине деревни и, выбравшись на дорогу, ведущую в тыл, поползли по кювету к ложине. В ней, среди густых кустов и низкорослых деревьев, укрывались ближайшие тылы дивизии.

Пока мой шофер матрос Пинент с трудом маневрировал, выводя наш «шевроле» из запутанного лабиринта камней и спрятанных между ними замаскированных машин, нам с трудом удалось напиться у маленького родника. Табу с руганью и свистом прогнали ошалелые от жары и жажды солдаты, как только он попытался смыть с себя грязь. Он предпринял еще одну попытку и ринулся в мешанину тел, энергично работая локтями и ногами, но тут же вылетел вон, получив здоровенный пинок под зад.

— Черт с ними, пусть пьют,— сконфуженно пробормотал он. В другое время я от души посмеялся бы над этим очередным приключением Табы, но сейчас было не до этого.

Наше положение в Брунете становилось с каждым часом все тяжелей, и исход успешно начатого наступления, с которым у республиканской стороны было связано столько надежд, грозил драматической развязкой.

Наконец, к нам подъехал Пинент. На полу машины сидели, поджав ноги, двое раненых с забинтованными головами.

— Камарада хефе¹, можно довести этих парней до госпиталя в Тореладонес? — спросил у меня Пинент.

¹ Товарищ начальник (испан.).

Я посмотрел на раненых. Это были испанцы матросы, братья Пинента по оружию.

— Хорошо,— сказал я.— Только давай быстрее, надо спешить.

Поднявшись из лощины по руслу высохшего ручья к шоссе, мы остановились в кустах осмотреться и выбрать удобный момент, чтобы выскочить на дорогу. Она беспрерывно обстреливалась мятежниками и хорошо просматривалась ими на полого спускавшейся в их сторону местности. Группы разрывов то там, то здесь вздымали каменистую почву. Освещенная ярким солнцем дорога была пустынна.

— Поезжай,— сказал я Пиненту, убедившись, что ожидание беспечно.

На большой скорости мы выскочили на асфальт и помчались на север. Обстрел заметно усилился. Пинент резко отворачивал от близких разрывов, отчего нас бросало из стороны в сторону.

— О madre mia! ¹ — простонал один из раненых матросов, ударившись головой о борт машины, и через бинты его повязки стала просачиваться кровь. Второй лежал, скорчившись, у моих ног. Оба сильно страдали, и испытываемая ими боль отражалась в их черных затуманенных глазах. Через несколько минут мы вышли из зоны обстрела.

Нам предстояло проехать километров пятьдесят по дуге тыловых дорог и вновь спуститься к фронту на участке дивизии анархистов.

Мы мчались по извилистой дороге. Теперь нам навстречу неслись грузовики с боеприпасами и людьми. Лихие шоферы испанцы давали волю своему южному темпераменту, подогреваемому пылающим солнцем, грохотом боя и ревом авиационных моторов в воздухе.

От быстрой езды не чувствовалось прохлады. Сухой, жаркий воздух иссушал кожу и горячей струей проникал в нос и горло. Через полчаса мы влетели в Тореладонес и, сдав своих раненых в госпиталь, подкатили к большому квадратному бассейну в центре деревни. Солдаты купались в нем, перекликаясь с женщинами, стиравшими тут же белье и оглушительно стучавшими своими вальками.

Пока Пинент ездил заправлять машину, мы кое-как вымылись среди этого гама.

— Одну минутку,— сказал Таба и, накинув свой бурнус, скрылся среди домов. Когда подъехал Пинент, Таба вновь появился возле меня с двумя бутылками своей любимой анисовой водки. Матрос одобрительно скосил глаза на бутылки и, надвинув потуже свою замусоленную фуражку, на ленте которой

¹ О мать моя! (испан.)

еще можно было прочесть «Хаиме-1» — название корабля, на котором он служил,— включил скорость.

Грохот боя затихал по мере удаления от фронта и у Кольменар де ла Вьеха слышался уже только как отдаленный гул. Здесь мы повернули на юго-запад и, проехав километров пятнадцать, наткнулись на рогатку, перегораживающую дорогу. Лаконичная надпись «Альто!» висела посреди, но кругом никого не было.

— Вот начинается их царство,— зло сказал Пинент и надавил на кнопку сигнала.

Мы ждали, изнывая от нетерпения и жары, но никто не показывался у этого заслона.

— Чего же здесь ждать? Я сброшу рогатку, и мы поедem дальше,— предложил Таба.

— Омбре!¹ Ты в своем уме? — воскликнул Пинент.— Ты еще не знаешь их повадок. Попробуй поезжай — и сразу же получишь пулю в спину!

Наконец, на очередной продолжительный сигнал откуда-то со стороны послышался голос и над кустами появилась голова в солдатской пилотке.

— Эсперо покито², — прокричал солдат и двинулся в нашу сторону. Выйдя на дорогу, он продолжал застегивать свои штаны и, справившись, наконец, со всеми пуговицами, взял на руку винтовку.

— Кто будете и куда направляетесь? — спросил он не очень любезно.

— Мы едем из Брунете к комдиву Мера,— ответил Таба.

— О! Бойнос диас сеньорес³. Вы из Брунете? Очень приятно,— засуетился он.— Проезжайте, пожалуйста. Счастливого пути,— не очень кстати сказал он и отодвинул в сторону рогатку.

— Этот анархист совсем не такой страшный, как ты их расписывал,— сказал я Пиненту.

— Карамба! Это же шут гороховый,— зло пробурчал он.

В этот день нам определенно не везло. За одним из поворотов послышался треск мотоциклетного мотора, а вслед за тем выскочил и сам мотоциклист, который тут же врезался в левое крыло нашей машины. Мотоцикл свалился в кювет, а ехавшего на нем солдата выбросило нам на капот. Пинент резко затормозил.

— Ке пасса?⁴ — растерянно произнес он, но Таба уже выскочил из машины и, стащив мотоциклиста с капота, поставил его на ноги.

¹ Человек, человек (*испан.*).

² Подождите немного (*испан.*).

³ Добрый день, господи (*испан.*).

⁴ Что случилось? (*испан.*)

— А ну, стой крепче,— говорил он, ощупывая неловкого гонщика.— Куда ты так спешил? У тебя все в порядке. Кости целы, а синяки у солдата быстро проходят. Что будем делать?— спросил он у меня по-польски.

Я пожал плечами.

Таба вытащил одну из своих бутылок и налил пострадавшему порядочную чарку водки. В это время Пинент шептал мне на ухо:

— Его нельзя оставлять на дороге. Из-за такого пустяка они создадут историю с плохим началом и еще худшим концом. Нет! Вы их не знаете!

Опять завел он свое, видимо собираясь повторить все то, что не раз говорил мне об анархистах.

Мотоциклист, выпив водку, сидел рядом с Табой на краю дороги, растирая ушибленную ногу. В этот момент нас нагнал крытый грузовик с черно-красным анархическим флажком и, заскрипев тормозами, остановился. Из-под тента высунулось несколько голов, а сидевший рядом с шофером военный, с нашивками капрала, сошел на дорогу и, переводя взгляд с валявшегося в канаве мотоцикла на бутылку с водкой в руках Табы, вдруг весело спросил:

— Почему пьете без нас?

Я подмигнул Табе, и он протянул бутылку капралу, который с нескрываемым удовольствием взял ее. Дождавшись, когда он сделал несколько основательных глотков, Таба спросил:

— Не захватите ли вы этого парня с его трещоткой?

— Можно,— ответил капрал, отхлебнув еще большой глоток водки, и передал бутылку своим людям, с вождедением смотревшим на нее. Когда они кончили остатки, капрал приказал им положить мотоцикл в кузов, и мы, распрощавшись с ними, тронулись дальше.

После первого поворота Пинент укоризненно сказал Табе:

— И чего ты вылез со своей бутылкой?

— Ладно, не будь жадным. Водка — лучшее средство уладить любое недоразумение, особенно когда имеешь дело с анархистами. Ты лучше смотри за дорогой, а то мы расстанемся и со второй бутылкой,— добродушно ответил Таба, роясь в своих бездонных карманах.

Через пятнадцать минут более умеренной езды мы подъехали к штабу анархической дивизии. Это было небольшое поместье с фруктовым садом, обнесенным красивой кованой решеткой. Ворота сада выходили на шоссе, и от них к дому вела широкая асфальтированная дорожка. Хорошо одетые солдаты, с черно-красными косынками на шее, вооруженные крупнокалиберными маузерами, с кинжалами и гранатами у поясов, несли охрану у входа.

— Альто! — приказал один из них.

Я повторил ему, что еду из Брунете к комдиву Мера. Упоминание Брунете и здесь возымело свое действие. Нагловатый тон охраны сменился почтительным удивлением.

— Пожалуйста, проезжайте,— хором ответили они, пропуская нас в сад.

У входа в дом тоже стояли маузеристы. Молоденький лейтенант, почти мальчик, в лихо сдвинутой набок офицерской фуражке, отставив одну ногу вперед, молча рассматривал нас, играя свистком на серебряной цепочке. Узнав, откуда мы явились, он вежливо попросил подождать и быстро скрылся за дверью.

Солдаты из охраны дома перешептывались между собой и с любопытством разглядывали нас. Наша потрепанная и грязная одежда красноречиво говорила о том, что мы только что вышли из боя и прибыли к ним из того самого Брунете, молва о котором уже широко распространилась среди частей армии.

— Как там в Брунете? Крепко дерутся мавры и легионеры Франко? — спрашивали они, обращаясь к Табе, чувствуя в нем боевого солдата.

Вначале Таба отвечал без особых прикрас, но вот в его глазах блеснул лукавый огонек, и он в свою очередь стал задавать им вопросы:

— А у вас как? Что-то тихо на вашем участке. А?

Анархисты переглянулись, и один из них после недолгого молчания сказал:

— Знаешь, амиго ¹, против нас они ведут себя тихо.

Этот ответ, видимо, должен был сказать нам, что мятежники боятся анархистов. Оценив в полной мере глупость этих слов, Таба с плохо скрытой иронией заметил:

— Ну, конечно, они вас боятся.

— Натуралментэ ²,— гордо подтвердил широкоплечий парень, небрежно подбрасывавший на ладони ручную гранату.

Скорчив притворно скорбную мину, Таба продолжал опасный разговор:

— А вот нас они не боятся. С нами они воюют, и мы их понемногу бьем!

Опасаясь, что эта плохо скрытая ирония все же будет понята, я незаметно толкнул Табу. К счастью, в этот момент из дверей дома вышел лейтенант, а за ним — высокий человек в форме капитана. Посмотрев на странную фигуру Табы, капитан, обращаясь только ко мне, пригласил войти в дом.

— Оставайтесь здесь,— сказал я своим спутникам и шагнул вслед за капитаном.

Те мимолетные впечатления, которые я получил от первых встреч с людьми этой анархической дивизии,— их подчеркнутая

¹ Друг (испан.).

² Естественно, понятно (испан.).

развязность, обособленность и напускная воинственность,— как бы дополняли все то, что я слышал об анархистах вообще. «Что же ждет меня здесь дальше?» — подумал я, оказавшись за дверью этого дома.

Пройдя через прихожую, где у стен стояли средневековые рыцарские доспехи, столь принятое украшение богатых испанских домов, мы вошли в обширную столовую, отделанную светлой корабельной сосной. В глаза бросалось необычное освещение этой комнаты. В центре потолка, в металлической раме, был вделан большой овальный витраж из разноцветных стекол. Почти всю стену напротив входа занимал второй витраж, на котором был изображен бой рыцарей на турнире. От этих витражей столовая была наполнена мягким рассеянным светом смешанных красок и неуловимых оттенков. Черная кованая люстра, подвешенная в центре рамы потолочного витража над большим овальным столом, бросала причудливые тени на ковровую скатерть, искрящуюся хрустальную посуду и на лица людей.

Капитан подвел меня к человеку, сидевшему во главе стола.

— Команданте¹ Мера! — громко, отчеканивая каждый слог, произнес он.

Я представился комдиву по всем правилам испанского военного этикета. Не торопясь, Мера встал из-за стола и молча подал мне руку, а затем, показав на сидевших за столом, скрипучим голосом сказал:

— Офицеры моего штаба.

Сделав поклона, я отковырял им.

Мера был высокий и немного сутулый человек, с широкими плечами, угловатым и неприветливым лицом без улыбки. Его глаза, сидевшие глубоко под спутанными бровями, были жестки, а презрительная и вместе с тем горькая складка губ говорила о том, что он многое пережил и во многом разочарован.

— Будем обедать, потом поговорим о делах,— сказал он и, усевшись в свое кресло, добавил: — На войне надо быть сытым. Ешь больше...— Этим он, видимо, проявил максимум добродушия и юмора, на которые был способен.

На столе искрилась дорогая хрустальная и фарфоровая посуда. Пища была проста и обильна, а большие куски жареной баранины издавали соблазнительный запах. Запыленные бутылки старого вина из подвалов какого-нибудь замка стояли перед каждым прибором. За дни боев я питался плохо, от случая к случаю, и был голоден. При виде вкусной еды у меня засосало под ложечкой, но, проглотив голодную слюну, я перереборол желание сейчас же воспользоваться приглашением к обеду.

¹ Командир (испан.).

От предчувствия назревающей неудачи под Брунете, от жалости к бесцельно гибнущим там людям, наконец от голода, испытываемого мною сейчас, и душившей меня злобы против анархистов, не оказавших нам помощи, мне в пору было реветь, но я заставил себя улыбнуться. Помня приказ генерала быть дипломатичным, я сказал, изобразив на своем лице самую любезную улыбку:

— Благодарю вас, товарищ комдив, но, быть может, вы хотите сперва выслушать то, что поручил мне передать вам генерал Вальтер?

Мера вопросительно и даже с изумлением посмотрел на меня.

— Полчаса ничего не изменят. Как ты думаешь? — проговорил он, разворачивая салфетку и засовывая ее за воротник френча.

Почувствовав, что выполнение поручения моего генерала будет совсем нелегким, я решил для себя пойти на все: просить, упрашивать, даже унижаться... И, когда я об этом думал, передо мной вновь вставали картины ожесточенного боя за Брунете: кровь на горячих камнях, муки раненых под палящим солнцем и гибель сотен бойцов испанцев и интернационалистов, приехавших в Испанию из многих стран мира.

— Товарищ Мера, я прежде всего хочу выполнить полученный мною приказ, поэтому я и прошу вас выслушать меня, — опять, выдавливая на своем лице улыбку, проговорил я.

— Что там стряслось у вас? — сквозь зубы проворчал Мера.

— Разрешите доложить, — спросил я и сделал шаг в сторону двери, как бы освобождая для него проход.

Мера поднялся, сорвал с себя салфетку и бросил ее на стол с нескрываемым раздражением. Но затем, внезапно передумав, он опять сел в кресло и, повернув ко мне свое окаменевшее лицо, проскрипел:

— Говори здесь. У меня нет секретов от своих людей!

Эти слова встретили полное одобрение всех сидевших за столом. Те из них, кто был помоложе, приняли нарочито небрежные позы, приготовившись слушать меня и всем своим видом давая понять, что и их мнение будет играть немалую роль.

Из пятнадцати человек офицеров только четверо были пожилые люди, просто и даже небрежно одетые. Они носили длинные волосы, столь принятые у анархистов, и, видимо, составляли идейное ядро дивизии. Остальные были молоды, тщательно и даже франтовато одеты в новую офицерскую форму со всеми знаками различия, положенными каждому чину. Однако, несмотря на эти внешние признаки, сразу же чувствовалось, что все они не военные люди и только совсем недавно надели эту непривычную для них форму. В их поведении и манерах сквозило желание во всем подражать офицерам старой

королевской армии, замкнутой и недоступной для них касте испанских аристократов. У них у всех до блеска были напояжены туго зачесанные назад волосы, и под рассеянным светом этой необычно освещенной комнаты казалось, что на головах они носят блестящие футляры. Тонкие, тщательно подстриженные усики придавали их лицам фатовато-задорный вид, а страсть к золотым украшениям и побрякушкам убедительно говорила о том, кем они были на самом деле. Кольца, браслеты и брелоки — трофеи сомнительных походов — украшали каждого из них в количествах, явно превышавших все принятые нормы. Можно было не сомневаться в том, что все они еще совсем недавно, до начала событий, подвизались в притонах Мадрида, Барселоны, Валенсии и других больших городов. Эти люди пришли в революцию из мрака вертепов, и анархизм явился для них лишь удобной и легальной возможностью прикрыть свое преступное прошлое. Ни о какой идейности для этих людей не могло быть и речи. Они ни во что не верили, кроме темной силы, живущей в них самих. Несмываемая печать преступности лежала на их лицах, отражавших все мыслимые человеческие пороки. Ничто не могло скрыть их подлинного лица: ни внешняя опрятность, ни старательные попытки подражать аристократам-офицерам, ни попытки изменить привычные манеры. Эти люди были грязной накипью бурных революционных событий, которая рано или поздно должна быть сметена.

— Мы слушаем тебя, — сказал Мера, нарочито внимательно раскуривая большую сигару.

— После жестокого боя мы взяли Брунете, — начал я, сдерживая волнение.

— Слыхали об этом, — для чего-то вставил он.

— Сейчас мы несем большие потери... Противник накапливает силы и с часу на час должен перейти в контрнаступление...

— Это вам точно известно, что франкисты перейдут в контрнаступление? — спросил Мера.

— Да, точно известно. Именно поэтому нам сейчас и нужна ваша помощь. — Я сделал паузу, в который раз удивляясь тому, что Мера, получив приказ командующего Мадридским фронтом, не выполняет его и нам приходится уговаривать его вступить в бой. Но такова уж была обстановка на республиканской стороне Испании, где анархисты и правые социалисты продолжали свои политические интриги даже перед грозной опасностью возможной победы мятежников.

— Так... — неопределенно протянул Мера.

— Ваша дивизия прекрасно обучена. Она обладает высоким боевым духом. Совсем недавно вы получили оружие, с таким трудом доставленное в Испанию издалека... Своим участием в бою вы могли бы еще сегодня решить исход так

успешно начатой операции...— уже с нескрываемым волнением говорил я при полном молчании всех присутствующих.

— Хм! Значит, развить успех? — опять неопределенно заметил комдив.

— Совершенно верно, товарищ Мера!

— Говоришь, получили новое оружие издалека?

— Да, это действительно так,— не понимая, к чему клонит он, ответил я.

— А ведь оружие получили не только мы. Без оружия не воюют. Правильно я говорю? — очень спокойно, с расстановкой сказал Мера под одобрительные кивки своих офицеров.

«Что же это за человек? Долго ли он будет уходить от прямого обсуждения вопроса, ради которого я сюда приехал?» — так думал я с усиливающейся горечью в душе.

— Мы нуждаемся в вашей помощи... Очень нуждаемся... Она нужна сейчас же, немедленно... Наша дивизия истекает кровью! — неожиданно вырвалось у меня, и я почувствовал, как притихли в напряжении все сидевшие за столом.

— Мы никому не отказываем в помощи, если нас об этом просят,— с расстановкой сказал Мера. Эту фразу он сказал так, как будто бы все зависело только от него одного и только он один мог бы изменить ход событий. Но мне было не до отвлеченных рассуждений. В его словах мне показалось согласие немедленно бросить свою дивизию в бой.

— Значит, я могу сообщить генералу Вальтеру, что вы сегодня же переходите в наступление?

— Это не так просто, как вам там кажется. Мы стоим ближе к Мадриду,— спокойно сказал Мера и, поглядев на меня, добавил: — Чем ближе к Мадриду, тем сильнее противник.

— Но ведь против вас стоят всего два марокканских табора и части третьего иностранного легиона!

— Кто знает? Может быть, и больше,— небрежно бросил он, явно чувствуя мое отчаяние.

— Тогда следовало бы немедленно организовать разведку для захвата пленных,— предложил я.

— Пленные мавры не разговорчивы..

— А у вас уже были пленные мавры?

На этот вопрос я не получил ответа. Горечь все больше захлестывала меня. От волнения, усталости и, должно быть, от голода я испытывал легкое головокружение. Все это, видимо, мешало мне спокойно и обдуманно вести разговор с этим скользким человеком.

— В соответствии с приказом командования Мадридского фронта, ваша дивизия должна была начать наступление еще три дня тому назад,— продолжал я, не отдавая себе полного отчета в этой фразе.

— Откуда ты это взял? — зло глядя на меня, спросил Мера.

— Но ведь есть приказ...

— Чей приказ?

— Генерала Миаха!

— Приказы выполняют, когда для этого имеются возможности,— уже совсем нагло заявил он.

— Но высшее командование знает возможности своих частей, когда отдает им приказы.

— Что ты хочешь этим сказать? — грозно спросил Мера, глядя на меня в упор.

— Имея такую прекрасную боевую закалку, ваша дивизия быстро достигнет успеха еще сегодня же... а завтра все может быть значительно труднее... — начал я вновь, пытаясь неумелой лестью сгладить неудачный оборот разговора.

Мера мрачно помолчал, а затем зло спросил:

— Кто ты такой? От чьего имени здесь выступаешь?

— Я из дивизии генерала Вальтера, которая ведет в Брунете тяжелый бой и истекает кровью.

Но Мера пропустил мимо ушей эти слова и неожиданно загремел:

— Ты приехал командовать нами? Не туда приехал! Мы вольные анархисты, и нами еще никто не командовал,— при этом он с гордостью посмотрел на меня.

— Опасность угрожает всему Мадридскому фронту. Если мы будем разбиты, противник бросится на вас и вам придется один на один отражать его. Лучше это сделать сейчас, пока у нас есть еще силы и мы крепко сковываем врага.— Здесь я опять решил перейти к лести, пытаясь еще раз этим приемом сгладить неприятный оборот разговора.— Боевой дух ваших частей настолько высок, что успех вашего наступления обеспечен заранее...

Но лесть не удавалась мне, и первую же фразу я произнес так неубедительно для самого себя, что сразу же выдохся и замолчал.

— Мы не боимся своих противников,— высокомерно и довольно двусмысленно бросил Мера, неизвестно кого имея в виду.— Мы верим в стихийные силы народа и его стремление к свободе! Это вы, коммунисты, все подчиняете дисциплине, связывая ею дух свободного человека!..

Видя, что разговор ни к чему не приведет, я спросил его, что же мне сообщить генералу Вальтеру. Хотя это был естественный вопрос, вытекавший из всего нашего разговора, но Мера он застал врасплох. Растерянно он смотрел на меня некоторое время.

— Сегодня я ничего не могу сказать,— буркнул он и поднялся из-за стола. За ним поднялись все, бросая досадные взгляды на баранину, которая уже наверняка успела остыть, и нетронутые бутылки с вином.

Сделав несколько быстрых шагов по направлению к двери, Мера так неожиданно повернулся ко мне, что шедший за ним анархист едва не наткнулся на него. Глядя с яростью на меня, он спросил:

— Так говоришь — боевая дивизия, боевой дух?

— Да, я считаю...

Он грубо прервал меня и в сердцах закричал:

— Врешь! Все врешь! У вас в интербригадах все говорят, что у анархистов нет побед на фронте. А знаешь ли ты, что без нас невозможна победа революции в Испании?

Чувствовалось, что его душила злоба. Затронутый вопрос был самым большим для анархистов.

— Победы будут! Будут победы! — крикнул он. — Мы не участвуем в правительстве, но мы дали согласие на организацию регулярной армии. Я тоже за регулярную армию, хотя это и против наших анархических принципов. Я был самым близким другом Дурутти¹, — продолжал громко выкрикивать Мера.

— Я знаю об этом, — пытаюсь успокоить его, сказал я.

— Знаешь? Ничего ты не знаешь! — опять закричал он. — Мы воюем вместе с коммунистами, социалистами и другими партиями против Франко, несмотря на наши разногласия. Потом, потом, после победы мы будем разговаривать об этом!

Все это было довольно откровенно сказано. Для этого многозначительного «потом» анархисты берегли свои боевые части и полученное оружие, выжидая удобный момент для захвата власти. В его выкриках чувствовались не только бессилие и злоба, но и разочарование во всем. Отсутствие у анархистов побед на фронте, их уклонение от участия в боях являлись еще одной причиной падения их престижа в народных массах Испании. Мера не мог этого не понимать. Отвечать на все это не имело смысла. Я молчал. В комнате на некоторое время установилась гнетущая тишина.

— Сейчас я еду на передовую, и ты можешь остаться у нас, — неожиданно заявил Мера.

— Не могу ли я сопровождать вас? — спросил я.

— У меня нет места в машине, — не очень остроумно ответил он.

— А у меня есть своя машина, — сказал я, не поняв сразу его нежелания брать меня с собой.

— Вот и оставайся с нею здесь, она тебе еще пригодится, — опять грубо и зло крикнул он, а затем, рванув с силой дверь, вышел из столовой. Этот идейный анархист все больше показывал свой неустержимый деспотизм. За Мера из столовой, обходя меня, быстро вышли и все остальные. Я оглянулся. В нескольких шагах позади меня стоял встретивший меня

¹ Видный испанский анархист, склонявшийся все больше к коммунистам. Он был застрелен в Мадриде при подозрительных обстоятельствах.

капитан. Он холодно улыбнулся и, показывая на стол, церемонно сказал:

— Сеньор майор, может быть, мы с вами все же пообедаем? Уж это во всяком случае ничего не изменит.

Думая над содержанием донесения своему генералу, я сразу не понял предложения капитана, и ему пришлось его повторить.

— Я хотел бы проведать своих людей,— сказал я ему.

— Они уже пообедали. Я об этом побеспокоился.

— Большое вам спасибо,— искренне сказал я, готовый многое простить этому анархисту за эту маленькую заботу о моих измученных товарищах.— Все же я хотел бы их повидать.

— О, пожалуйста. Я буду ждать вас здесь,— весело сказал он, направляясь к столу.

Я вышел в сад. Было время послеобеденной сиесты¹, которую по старой испанской традиции здесь, видимо, строго соблюдали. Всюду под деревьями спали солдаты. Мои спутники: Пинент и Таба лежали под яблоней.

— Тебе придется сейчас же вернуться в Брунете и отвезти донесение генералу,— сказал я Пиненту.

— Есть,— ответил он и побежал к машине. Я сел писать донесение. Подъехал Пинент, я передал ему конверт и приказал быстрее возвращаться обратно. Проводив его, мы сели с Табой у фонтана. Порывшись в своих необъятных шароварах и вытащив небольшой хлебец и кусок сыра, он протянул их мне.

— Я думаю, что вам не удалось там пообедать, а? — лукаво подмигивая, спросил он.

— Где ты это раздобыл? — спросил я.

— Как где? Взял на солдатской кухне, и вино тоже,— ответил он, наливая мне стаканчик из своей баклажки.

Когда я справился с едой, к нам подошел капитан.

— А я вас ждал и, не дождавшись, пообедал один. Прощу,— и он сделал жест в сторону дома.

— Спасибо, я уже подкрепился,— ответил я.

— Как хотите... Между прочим, сейчас начнутся занятия по тактике — не хотите ли послушать? — предложил капитан.

— На какую тему занятие?

— О тактике Махно.

— Какого Махно? — в один голос спросили мы оба.

— О, это известный русский анархист. У него была своя армия. Одно время он воевал в союзе с Красной Армией.

— А потом? — спросил Таба.

— Что потом? — не понял капитан.

— Вы сказали, что одно время он был в союзе с Красной Армией. Вот я и спрашиваю, что было потом, после того как этого союза не стало.

¹ Полуденный отдых в жарких странах.

— Ну, затем... Махно воевал самостоятельно...

— Против кого? — не удержавшись, спросил я.

Капитан замялся. Видимо, он не хотел говорить об этом. Выждав некоторое время, я сказал, что тактика Махно не применима в условиях нашей войны.

— Нет, почему же? — настаивал капитан.

Эта навязчивость начинала меня злить, и я откровенно сказал, что Махно никогда не был революционером и что он широко известен как обыкновенный бандит.

— Вы повторяете то, что говорят коммунисты о всех вождях анархистов, — с нескрываемой злобой сказал капитан.

— Важна правда, а кто ее говорит — это уже... особый вопрос, — как бы в сторону заметил Таба.

Чтобы кончить этот неприятный разговор, я еще раз поблагодарил капитана за приглашение к обеду и, сославшись на усталость, отказался пойти на лекцию.

— Тогда я могу проводить вас в комнату, где вы смогли бы поспать.

Наступил вечер. Солнце зашло за близкий хребет Сиерры Гвадаррамы, и его лучи светили из-за горы вверх, отчего небо казалось золотистым. На земле все было в тени. Жара немного спала, но все же было душно.

Капитан привел меня в небольшую боковую надстройку над вторым этажом виллы и тут же ушел. Я намеревался растянуться на широком диване, как в дверь моей комнаты кто-то постучал, а вслед за тем в ней появился человек, которого я только мельком успел разглядеть за столом.

— Амиго, — протяжно произнес он и рассыпался дребезжащим смехом. — Ке тал? ¹ Расскажи, как вы воюете в Брунете, — и вошедший без приглашения уселся за стол. Заметив мой вопросительный взгляд, он назвал свое имя — Горки, командир батальона имени Бакунина ². Горки был несомненно псевдоним, взятый испанцем в честь М. Горького, которого анархисты почему-то причисляли к числу своих сторонников. Решив в этом доме ничему не удивляться, я стал рассказывать Горки о ходе Брунетской операции, но очень скоро убедился, что слушает он меня без особого интереса. Из небрежно заданных вопросов я понял, что его больше всего интересует, что мы намереваемся сделать, если нам не удастся продвинуться южнее Брунете, и ожидаем ли мы значительных подкреплений. На эти вопросы я не дал ему никакого определенного ответа. Моему собеседнику было около тридцати лет. На его худом и смуглом лице, с очень живыми, бегающими глазами, лежала печать напускного добродушия и простоватости, в чем чувствовалась укоренившаяся манера казаться проще, чем он был на

¹ Как дела? (испан.)

² У анархистов были батальоны, носившие имена анархистских вождей.

самом деле. Впрочем, его лицо хитреца не производило никакого особого впечатления. Привлекали внимание его руки, очень подвижные, с длинными и тонкими пальцами, слегка расплюснутыми на концах. Он беспрерывно двигал ими, и его пальцы легко скользили по столу и вещам, лежавшим на нем. Такие пальцы бывают, наверное, у шулеров, которые безошибочно нащупывают крапленые карты.

— Бойно амиго! Грациас!¹ — неожиданно произнес он и поднялся со своего места. — Адиос!² — уже в дверях добавил он и бесшумно скрылся. Я раздумывал над целью этого неожиданного визита и, не придя ни к какому определенному выводу, взял бинокль и вышел на плоскую крышу виллы, на которой был разбит уже запущенный цветник. Пышные ползучие растения вились по тонким деревянным арочкам, заплетая все пространство между ними густой зеленой сеткой. В южной части горизонта, на местности, полого спускавшейся вниз, виднелась небольшая деревушка. Это были передовые позиции анархистов на правом фланге их участка. Дальше, на протяжении нескольких километров, к стыку с нашей дивизией шла труднопроходимая каменная местность, по которой у обоих противников тянулась редкая цепь постов.

Внизу послышался шум подъехавших к дому машин. Я выглянул за парапет крыши и увидел большой лимузин «испаносююза», в который садился Мера. За ним, во вторую открытую машину, сел мой новый знакомый Горки. Обе машины выехали на шоссе и направились в сторону фронта. Отъехав несколько сот метров, машины остановились, и из них вышли два человека, которые, разговаривая, медленно пошли по дороге. В бинокль я разглядел Мера и Горки. Вскоре они вернулись к своим машинам. Лимузин Мера развернулся на дороге и, взяв с места большой ход, скрылся в северном направлении, а машина Горки помчалась на юг, к видневшейся вдали деревушке.

Не раздеваясь, я улегся на диван и сразу заснул.

Был час ночи, когда Таба разбудил меня.

— Вставайте, анархисты бегут!

— Почему бегут? Куда бегут? — спросонья спрашивал я.

— Все кричат, что марокканцы прорвали фронт, — как всегда спокойно, сказал Таба.

— Где Пинент?

— Он уже вернулся и стережет машину, чтобы ее не увели.

Мы выбежали в сад. Один за одним на шоссе выезжали грузовики, переполненные людьми, и устремлялись на север.

— Где комдив Мера? — спросил я, поймав какого-то офицера за рукав.

¹ Спасибо (испан.).

² До свидания (испан.).

— Он давно уехал. Уезжайте быстрее. Мавры наступают. Они уже близко! — проговорил он, вырываясь из моих рук.

Слышались крики и топот бегущих людей. Где-то вдали раздавались выстрелы и редкие разрывы ручных гранат.

Выехав за ворота сада, я решил продвинуться к линии фронта. Необходимо было попытаться выяснить обстановку. Медленно мы продвигались на юг. Навстречу бежали отдельные толпы солдат. Проносились машины с офицерами. Никто ничего не знал, но все кричали: «Морос, морос!»¹

На перекрестке дорог, километрах в трех от штаба, стояла легковая машина, возле которой ходили несколько человек.

— Стойте! — крикнули они нам. — Почему отступаем?

— Об этом я хотел узнать у вас. Вы получили чей-либо приказ? — спросил я.

— Нет, мы ничего не получали. Ночью нам позвонили из батальона Горки и передали, что марокканцы перешли в наступление. Но против нас противник не проявлял никакой активности. Здесь тоже не слышно боя, а между тем все бегут. Что же произошло? — недоуменно спрашивал офицер.

— Это провокация пятой колонны². Поезжайте к себе и оставайтесь на прежних позициях. Вышлите сюда взвод с пулеметами и задерживайте бегущих. Это приказ штаба фронта, — строго сказал я этому неизвестному мне офицеру.

— Слушаюсь! — ответил он и побежал к машине.

«Вот результат моих переговоров с Мера. Очередное предательство анархистов! Они хотят открыть фронт в самом опасном месте — между Мадридом и Брунете», — подумал я.

На первый взгляд обстановка была непонятной. С фронта не доносилось ни одного выстрела. Артиллерия противника молчала, а между тем подразделения дивизии оставляли свои позиции и двигались в тыл. К концу ночи паническое бегство в темноте постепенно превратилось в медленный отход. По дорогам и тропинкам шли группы солдат, таща свои вещи и личное оружие. Там, где группы были больше, мы останавливались и уговаривали людей вернуться назад, уверяя, что марокканцы не наступают. В ответ унылое «Кьен сабе?»³ или озлобленные ругательства.

Пришлось повернуть обратно. Когда мы подъехали к ротатке, где накануне познакомились с первым солдатом дивизии Мера, там стояло несколько грузовиков с вооруженными людьми из нашей дивизии. Перед нами толпой сгрудились отступающие анархисты. Командир роты из дивизии генерала Вальтера, венгерца, капитан Радвани, что-то кричал солдатам.

¹ Мавры (*испан.*).

² Этим именем назывались в республиканской Испании все подпольные силы контрреволюции.

³ Кто знает? (*испан.*)

Пинент дал продолжительный сигнал и, уменьшив скорость, поехал на толпу, которая расступилась и пропустила нас к капитану. Радвани вскочил на подножку нашей машины.

— Проедемте немного дальше и объясните мне, почему они бегут. Мы получили об этом сообщение еще в полночь. Генерал приказал остановить их любыми средствами, а людям моей роты временно занять позиции у покинутой ими деревушки.

Я рассказал Радвани все что знал, и мы условились послать впереди его роты группу разведчиков из отряда Гутьерасса, который должен был подъехать с минуты на минуту.

— Что будем делать с этим стадом? — спросил он меня.

— Давайте вначале попробуем уговорить их вернуться на позиции вместе с людьми вашей роты. Должны же среди них быть честные люди! — предложил я.

Радвани вызвал политрука своей роты, молодого испанца Алехандро, студента Мадридского университета, и предложил ему выступить перед анархистами.

Студент полез на маленький броневичок, стоявший на дороге, и, утвердившись на нем, звонким голосом обратился к толпе. Его речь была горяча и непосредственна. Он говорил:

— Товарищи! Никто из вас не знает, почему вам приказали оставить позиции и открыть фронт врагу. Но каждый из вас понимает, что это создает страшную опасность для Мадрида и частей армии, сражающихся под Брунете. Подумайте, что будет, если враг действительно ринется в открытые вами ворота! Там, — и он указал рукой в сторону Брунете, — героически сражаются и умирают ваши братья. Здесь вы бросили фронт, не увидев в лицо ни одного врага! Где ваши командиры? Почему их нет среди вас? Вспомните свой долг перед Республикой. Вы — честные сыны испанского народа! Пока не поздно, надо возвращаться назад. Пойдемте вместе!

— Ты там не был. Откуда знаешь, что мавры не наступают? Езжай сам туда, если хочешь, а нас пропустите. Мы не хотим погибать! — кричал какой-то невидимый в толпе человек.

Люди заметно заволновались. По всему чувствовалось, что наступает переломный момент. Или они пойдут назад, или в новом безотчетном приступе паники ринутся вперед, пустив в ход оружие, чтобы расчистить себе путь. В этот момент из-за поворота дороги появились еще два броневичка и несколько грузовых машин с вооруженными людьми. Это были разведчики из отряда Гутьерасса, особо подобранный и испытанный народ, отличавшийся отчаянной храбростью. На ходу они прыгали из машин и с винтовками наперевес, рассыпаясь цепью, охватывали толпу анархистов с флангов.

Высокий худой Гутьерасс влез на броневичок и, став рядом с Алехандро, крикнул толпе:

— Кто станет отступать дальше — будет расстрелян на месте! Кто возвращается на фронт — пусть отойдет в сторону!

Толпа после некоторого колебания полезла через кювет, и люди молча стали рассаживаться под кустами.

Александр и Гуттиерасс слезли со своей трибуны и присоединились к нам.

— Я пойду в разведку с ребятами Гуттиерасса, — вызвался Таба, как всегда готовый на любое опасное дело.

— Хорошо. Я дам тебе еще четырех человек. Обследуйте деревню и постарайтесь захватить пленных, — приказал Гуттиерасс.

Два разведчика устроились на крыше броневичка, и двоих я взял в свою машину. По пустынной дороге мы покатали назад, к фронту. Проехав километра три южнее покинутого штаба Мера, мы высадили разведчиков, и они быстро скрылись в предрассветном сумраке.

Перед позициями, занимаемыми анархистами, в широкой развилке двух больших дорог, почти рядом с Мадридом, лежала пустынная местность, слегка понижавшаяся к югу. Заброшенные тропинки вились меж холмов и гранитных валунов. Полуразрушенная деревушка с кучами низкорослых деревьев и сухой, безлистный кустарник не оживляли этого печального пейзажа.

Здесь, на стороне мятежников, у дороги, ведущей из Мадрида к португальской границе, фронт занимали марокканцы. В их таборах были люди из близких друг другу племен риффов и кабиллов, живущих во французском и испанском Марокко. Наряду с пожилыми солдатами, участниками нескольких африканских войн и восстаний, в таборах были совсем молодые, только впервые взявшие оружие в руки. Как большинство колониальных солдат, нанятых из воинственных племен, марокканцы были дики и смелы. Проданные генералу Франко своими феодалами-вождями и благословенные мусульманским духовенством, они были фанатично настроены и не задумывались над тем, за чьи интересы и против кого они воюют. Мусульмане шли защищать реакционнейший католицизм Франко, объявившего себя покровителем ислама. Будучи слепым оружием в его руках, они боролись против испанской республики, которая могла дать свободу их давно угнетаемой родине. Из горных деревень Атласа их согнали в старые испанские пресидиос¹, на аэродромах Тетуана, Мелильи и Сеуты грузили в немецкие трехмоторные «юнкерсы» и за час перебрасывали на юг Испании. Здесь они быстро приходили в себя от

¹ Старинные испанские крепости (испан.).

непривычного путешествия по воздуху и, вступив на твердую землю, вновь видели, как и у себя на родине, пальмы, жаркое африканское солнце и недоступно гордых испанских офицеров, которых они презирали в душе, но и очень боялись за их холодную жестокость.

Вместе с наемниками из иностранного легиона марокканцы сразу же были брошены в бой и быстро дошли до Мадрида, легко преодолев неумелое сопротивление слабо вооруженных и плохо обученных отрядов народной милиции. Но здесь, в узких кварталах предместий Карабанчель и Каса дель Кампо, их встретили танки, в которых сидели таинственные «русос» и отчаянные бойцы интербригад. Горных африканских стрелков отбросили и почти на три года загнали в окопы. Вначале они еще бросались в штыковые атаки, под густой огонь пулеметов и скорострельных пушек, но каждый раз откатывались назад, поливая своей кровью чужие им развалины...

Этой ночью, как всегда сотворив намаз¹, марокканцы нестройно запели свои тоскливые, протяжные песни, отдававшиеся в ночи, как вой волков. С темнотой их боевые дозоры вылезли из траншей вперед и тихо легли на теплые камни. Яркие южные звезды дрожали над ними в нагретом за день воздухе. Сгустились смутные тени, и непроницаемая чернота летней ночи окутала все.

На окраине полуразрушенной дереvушки, в каменном овине, где еще пахло сухим навозом, вокруг маленького костра сидели четыре марокканца из племени риффов. Горьковатый дымок, пахнущий ладаном, тонкой струйкой подымался к потолку, расплываясь там серым облачком.

Пожилой рифф — кабо², с седой щетиной на небритых щеках, в невысокой темнокрасной феске, сидел на скрещенных ногах и, закрыв глаза, раскачивался в такт заунывной песне без слов. Это был старый испытанный воин. Двенадцать лет тому назад он дрался в войсках Абд-дель-Керима против тех самых испанских генералов, за которых теперь шел умирать.

Напротив него сидел темнокожий юноша по имени Хафид. Он ощипывал белую курицу, готовясь изжарить ее на углях. Его лицо с узкими, небольшими глазами и широким носом было сосредоточенно и угрюмо. Месяц назад Хафид был ранен и только сегодня вернулся из госпиталя. По дороге на фронт, на рассвете этого дня, в одной из дереvушек он украл барана и эту белую курицу. Чтобы баран не блеял, Хафид перевязал ему морду ремешком и вынес его задворками за дереvню. Протащив барана километра два, он изрядно устал, а затем взял его за задние ноги и стал толкать вперед, как тачку. Баран

¹ Мусульманская молитва.

² Капрал (испан.).

засеменил передними ножками, но вскоре уткнулся головой в асфальт дороги. В досадном раздумье стоял Хафид над ним. Он уже вытащил нож, чтобы освежевать свою добычу, когда его нагнала машина с солдатами из иностранного легиона. Он попросил их подвезти его. Остаток пути прошел в веселой болтовне с легионерами, которые завидовали его удаче и просили уступить им хотя бы курицу, но Хафид не согласился. Однако донести свою богатую добычу до места ему не удалось. Там, где он должен был сойти с грузовика, чтобы пешком пройти последние километры до своего табора, легионеры столкнули его на дорогу и быстро умчались, увозя барана. Злой, стоял Хафид, проклиная белых дьяволов. Усталый, пришел он в свою часть. Часа три ждал явки к лейтенанту-испанцу, который оказался не в духе и поэтому больно ударил его стеклом по голове. Только теперь, уже вечером, он готовился покончить с курицей, жалкими остатками своей богатой охоты.

Он уже наполовину ошипал курицу, когда в овин вбежал вестовой и позвал кабо к лейтенанту. Вскоре старик вернулся и приказал собираться в разведку. По привычке Хафид схватил винтовку и сумку с гранатами и уже было бросился к выходу, но, вспомнив про курицу, подвесил ее к подсумку.

Перепрыгнув через траншею, они пробежали немного, а затем поползли. До противника было не более тысячи метров. Старый рифф ощупывал руками тропинку. Временами они останавливались и слушали, припав к земле. Тогда были слышны шорохи ящериц в камнях. Чем ближе подползали к противнику, тем чаще останавливались и дольше слушали. Тишина настораживала их. Молчаливый противник впереди для них, диких горных охотников, был как зверь, к которому нужно было незаметно подкрасться, чтобы убить его.

Метрах в ста от крайней лачуги деревушки, занятой анархистами, Хафид бесшумно сполз в отлогую яму. Чья-то тень метнулась на дне и зашуршала в кустах. Почти машинально он выстрелил в темноту и быстро взял в рот свой нож, готовый к рукопашной схватке. Но визг вспугнутой им бродячей собаки сразу успокоил его. Выстрел всполюшил противника. Из развалин застрочил пулемет, и вся позиция у деревушки опоясалась вспышками. Марокканцы ответили огнем. Кабо метнул гранату. Она разорвалась во дворе крайней лачуги.

Кто-то крикнул: «Морос! Морос!» — и в темноте это слово все быстрее передавалось от одного к другому, наращивая необъяснимый страх. Через несколько минут оно звучало, как стон: «Морос! Морос!»

На позициях анархистов началась паника. Люди бежали среди развалин, стреляя в каждую тень. Через несколько минут в деревушке не осталось ни одного солдата.

В начале суматохи марокканцы отвечали на выстрелы, но потом прекратили огонь и с недоумением вслушивались в удалявшиеся крики, все слабей доносившиеся к ним. Наконец, все затихло. Долго лежали они, не доверяя этой непонятной тишине.

Кончалась короткая летняя ночь. Небо над Мадридом как бы дрогнуло, и легкая полоса предрассвета едва растворила черноту ночи. Совсем близко стали вырисовываться разрушенные стены окраинных домов.

В развалинах, откуда совсем недавно стрелял пулемет, было тихо. Ни одного звука не долетало оттуда. Ни одна тень не шевелилась там. Кабо дал знак рассредоточиться и осмотреть деревню. Хафид пролез через разбитую стену и углубился в путаницу развалин. Все говорило за то, что противник покинул позиции. Долго шарили марокканцы по лачугам, натываясь всюду на брошенное оружие и солдатские вещи.

Когда первые солнечные лучи едва осветили местность, с севера к деревушке подошли пять разведчиков. Они тихо вошли в развалины, держа наготове оружие. Таба бесшумно проскользнул в крайний дом с выбитыми окнами и, услышав слабый шорох чьих-то крадущихся шагов снаружи, замер, прижавшись к стене меж окон. Невидимый противник крался с внешней стороны дома и тоже замер, прислушиваясь. Через несколько секунд силуэт пригнувшегося человека медленно прошел на фоне окна. Таба выглянул вслед и почти под собой увидел марокканца, лежавшего на земле. По обеим сторонам его головы были видны конец лезвия и рукоятка ножа, который он держал в зубах.

Где-то в руинах раздались несколько выстрелов. Марокканец вздрогнул и медленно стал подниматься, но Таба поскользнулся прыгнул ему на спину. Он крепко прижал голову своего противника к земле и одновременно вывернул за спину его правую руку. Это был старый и проверенный прием. Его он не раз применял, беря «языка». Тут Таба заметил полуощипанную курицу, попавшую ему под колено. Беззвучно рассмеявшись, он пригнулся к уху пленника и по-арабски сказал ему: «Лежи тихо! Курятник!»

Молодой африканец был крепко прижат к земле и обезоружен. Он не видел своего врага и ждал удара ножом в спину. Так бы он поступил сам, а поэтому иного исхода не ждал. Он считал, что наступили последние минуты его жизни, и торопливо читал молитву аллаху. Но Таба и не думал разделаться с ним. Он вынул нож изо рта Хафида и, размотав его длинную чалму, крепко связал ею ему зади руки. Оставаясь настороже, он не мог удержаться от того, чтобы теперь же не приступить к обработке этого темнокожего мальчишки. Таба был агитатор по призванию. Он уже не питал никакой вражды к своему пленнику. Это чувство прошло, как только он победил и обезо-

ружил его. Теперь он даже жалел его и, поглядывая по сторонам, добродушно шептал ему на ухо:

— Не дрожи. Я тебя не трону. Ну, зачем ты полез в эту драку? Кого пришел защищать? Сидел бы в своих горах, пас бы коз и разводил бы кур, если ты их так любишь. Я знаю, вы любите это дело. А? Ничего! Эта война даже тебя многому научит, тебе стоило приехать сюда, чтобы попасть к нам в плен. Вот здесь ты многое узнаешь и поймешь! Ну, не дрожи! Клянусь аллахом, я тебя не трону. Для тебя война окончилась...

Среди развалин опять прогремел близкий выстрел и слышались знакомые голоса разведчиков. Через невысокий забор соседнего двора перескочил старый рифф-кабо и бросился бежать к ближайшей купе деревьев. За ним, шагах в десяти, бежал мексиканец Диего, крутя над головой свое лассо. Он остановился на миг и ловко метнул большую петлю, которая, извиваясь, полетела вперед, настигая беглеца. Диего сильно дернул за конец, и опустившаяся петля затянулась на уровне локтей марокканца, крепко прижав его руки к телу. Каким-то неуловимым движением он подтянул к себе пленного и одновременно перевернул лицом вниз, чем лишил того возможности воспользоваться оружием.

— Ойе¹, Диего, я тоже поймал одного,— крикнул Таба.

— Тащи его сюда,— смеясь, ответил Диего, показывая свои ослепительные зубы.

Из-за деревьев показались первые бойцы подходившей роты капитана Радвани, а за ними и он сам.

— Кто там был?— спросил капитан, показывая на деревню.

— Вот эти,— и Диего кивнул в сторону марокканцев.

Таба привел своего пленного и посадил его под деревом рядом со старым риффом. Через несколько минут к ним подошли еще двое разведчиков. Последним через забор перелез худой андалузец Гарсия. Его лицо было в крови. Увидев марокканцев, он бросился к ним с ножом, но Таба перехватил его руку.

— Зачем ты хочешь их убить? Они пленные, и этого с них пока хватит,— сказал он.

— Всех их надо убивать: они не дают нам пощады! Попадись к ним, они сразу выпустят тебе кишки,— выплевывая кровь из разбитого рта, шипел андалузец.

— А что случилось, что ты так распалился?— спросил Диего.

— Один из них выбил мне зубы!

— Который из них?— спросил Таба.

¹ Восклицание, вроде русского «эй!».

— Я того прикончил там,— и Гарсия махнул рукой в сторону деревушки.

— Ну, тогда хватит с тебя. Тебе все мало,— опять вставил Диего, скручивая одной рукой сигарету.

— Всех мавров надо убивать!— не унимался андалузец.

— Ладно, амиго, успокойся. Мы не такие, как они. Мы солдаты революции. Когда же ты поймешь это?— добродушно говорил Таба и, достав бинт, стал осторожно стирать кровь с разбитого лица Гарсия. По мере того как тот успокаивался, он ласково говорил ему:

— Они темные люди. Им надо все объяснять, и тогда они пойдут с нами. Чем это он разбил тебе рот?

— Он метнул в меня свой проклятый нож, но я подставил карабин, и нож, перевернувшись, стукнул меня рукояткой по зубам. Он высадил мне четыре передних зуба!— И Гарсия готов был вновь распалиться.

— А ты что?— спросил его маленький Карлос. В ответ Гарсия опять махнул рукой сверху вниз.

— Ну и хватит с тебя. Теперь остынь. Подумаешь, выбили зубы,— опять сказал Диего. Гарсия с завистью посмотрел ему в рот, полный крупных белых зубов.

— Да, он выбил мне четыре передних зуба. Ты понимаешь, если бы я не прикрылся карабином, то он засадил бы мне в шею свой дьявольский нож,— опять, волнуясь, доказывал Гарсия.

— Ну, не злись, дружок. Ты остался жив, а он умер. Вот и все. Тебе повезло, а ему нет,— совсем ласково говорил Таба, опять вытирая кровь, выступившую из разбитых губ Гарсия.— Ты знаешь, я даже завидую тебе...

Все вопросительно посмотрели на Табу.

— Ей-богу, завидую, ребята. Теперь он будет много дней ходить к этой маленькой дантистке француженке, что лечит ребятам зубы на тыловой базе в Мадриде.— И, обращаясь к Гарсия, Таба продолжал: — Ты будешь сидеть перед ней разваливаясь в кресле, а она будет копать своими пальчиками в твоей разбитой пасти. И это будет каждый день... А потом она вставит тебе красивые зубы... А как она хорошо пахнет, эта маленькая французская девчонка!

— А ты откуда знаешь?— успокаиваясь, спросил Гарсия, и на его разбитом лице вместо улыбки появилась гримаса.

— Знаете, амигос¹, она мне очень нравится, давно уж меня никто не обнимал... Вот я и пошел к ней, подвязав зубы.

— Ну и что, вылечила она тебя?— спросил Карлос, подмигивая остальным.

— Да ведь зубы-то у меня не болели. Она быстро это узнала и... прогнала меня.— Все дружно захохотали, а Таба,

¹ Друзья (испан.).

не смущаясь, продолжал:— Зато пять минут я видел совсем близко ее лицо, шею, даже грудь. Ее каштановые волосы касались моего лица. Эх, друзья, когда же кончится война на земле и мы обнимем своих подружек?

Теперь никто не смеялся. Каждый из этих молодых мужчин, вышедших из очередной схватки с врагом, вспомнил чьи-то милые глаза и ласковые руки...

Я подошел к партизанам. Таба улыбнулся мне. Старый рифф сидел, глядя в землю, а молодой напряженно думал и никак не мог понять, почему этот маленький, кривоногий человек в марокканском бурнусе не только не убил его там, в развалинах, но и не дал убить другому, вот этому худому и злому парню с разбитым лицом. Все окружавшие его сейчас были враги, и иначе к ним он относиться не мог. Но этот, которого все называют странным именем Таба, не вызывал этого холодного и злого чувства. В этом было что-то новое, не знакомое для Хафида, беспокоившее его своей неясностью и новизной.

— Марокканцев надо отправить в тыл и по пути показать анархистам. Вы не захватите их? — спросил капитан Радвани.

Это предложение понравилось всем. Взяв обоих пленных в свою открытую машину, мы поехали назад. У рогатки, где было много солдат из дивизии Мера, мы остановились. Плотным колом обступила нас толпа, с любопытством смотревшая на пленных морос, а Таба рассказывал о короткой стычке с ними в деревушке, которую этой ночью в панике бросили анархисты. Понемногу в разговор вступали и остальные разведчики, поругивая и высмеивая анархистов за трусость. Чем дальше, тем больше это превращалось в откровенные, крепко соленые, солдатские разговоры по душам. В них мы, офицеры, не вмешивались. Солдаты-анархисты были смущены и зло поглядывали на своих командиров, появившихся опять неизвестно откуда.

В полдень мы приехали в Тореладонес и там узнали, что этой ночью наши части оставили Брунете и отошли на свои старые позиции. Поручив пленных разведчикам Гутиерасса, я поехал к фронту.

Генерал Вальтер проверял расположение отошедших из Брунете подразделений. Он медленно шагал по траншеям. Его суровое лицо носило следы большой усталости и огромного напряжения последних дней. Он переходил из роты в роту, испытующе глядя в глаза людей, и многих недосчитывал. Над траншеями неслись снаряды наших батарей. Противник после нескольких неудачных атак в это утро присмирел. Ему тоже не дешево досталось Брунете, и сейчас в бессильной злобе он обстреливал густым пулеметным огнем наши траншеи, намереваясь помешать нам укрепиться на старых позициях. Чтобы сократить путь, генерал вылезал кое-где из траншей и, не очень спеша, переходил открытые участки. Это не была бравада.

В этом было нечто другое, быть может укоренившаяся уже привычка к опасности, а быть может, сказывалась сильная усталость, граничившая с апатией. Чувствовалось, что сейчас он шел и действовал только усилием воли. Когда ему говорили о необходимости поберечь себя, этот резкий и сильный человек смотрел на говорившего ему непонимающим взглядом.

К вечеру, осмотрев позиции артиллерии, генерал вернулся на свой командный пункт в маленький домик, скрытый за большими гранитными камнями. Здесь он написал донесение в Штаб фронта и приказал мне отвезти его в Мадрид.

— Поешь на дорогу,— сказал он мне, садясь за небольшой стол, накрытый для него под старой яблоней.

С наступлением темноты затихала стрельба. Поев и выпив стакан вина, генерал с удовольствием растянулся на койке, поставленной здесь же под деревом. Я переставил фонарь на край стола, чтобы свет не падал ему в лицо.

— До свидания, мой генерал,— сказал я.

— Для меня в Испании не найдется пули. Я должен еще вернуться в Польшу,— проговорил он, закончив какую-то невысказанную мысль. А затем приподнялся и, посмотрев на меня, сказал:— Ну, ладно. Поезжай и вернись завтра к вечеру,— и он отвернулся в темноту.

Над испанской землей опять распростерлась кромешная тьма. Горечь неудачи камнем давила на душу. Эту истерзанную страну окружали океан, море и границы враждебных стран. И весь остальной мир, где были друзья, казался таким далеким...

Мы проехали уснувший Тореладонес, где, прижавшись к домам, стояли вереницы машин и одинокие фигуры часовых бродили по улицам.

На окраине, в редкой оливковой рощице, горел костер, освещающая своим танцующим пламенем уродливые стволы старых олив, людей, сидевших вокруг костра, и стоявшую в стороне машину. В котелках варились рис и кофе. Таба сидел между пленных, поджав ноги. Все курили и слушали молодого марокканца Хафида, который заканчивал рассказ о себе. Старый рифф был спокоен. Он задумчиво глядел в огонь и, слегка раскачиваясь, однозвучно тянул бесконечную заунывную песню без слов. Увидев меня, Таба заулыбался и похлопал обоих пленных по плечу, а они дружески улыбнулись ему в ответ.

Мы выпили кофе и все вместе тронулись в дорогу. Солнце взшло, и начался новый жаркий день. Когда мы проехали Фуэнкоррал, впереди, в дымке разрывов, стал виден Мадрид.

Н. Мельников



В ВАГОНЕ

(Рассказ)

Поезд отправлялся в полдень. Отъезжающие курортники мрачно мокли под дождем, выстроившись на посадку. Дождь шел вчера и позавчера и обещал идти завтра. Весь месяц море лежало холодное и враждебное. И все-таки было жаль покидать его. Кто-нибудь нет-нет да оглянется, прислушается. А в вагонах тем временем уже снимали вымокшие плащи, рассовывали чемоданы.

— Ну и погодка дрянь! — проворчал пассажир с белесыми, залезанными назад волосами. Белым платком он тщательно вытирал широкий лоб. Лицо его как бы стекало от выпуклых скул к крошечному, величиной с копейку, подбородку. Презрительно сощутив глаза, такие же белесые, как и волосы, он поглядел на худенькую, черноволосую, молчаливую женщину. — Вот тебе твой курорт, Александра Афанасьевна!..

— Ладно тебе, Паша, — ответила Александра Афанасьевна. — Уймись уж. — Перед ней на столике стояла стеклянная баночка с нарциссами. Она смотрела на цветы, темные глаза ее блестели, словно задержались на них дождевые капельки.

— Полезный дождь, — сказал с боковой нижней полки толстый, шарообразный человек в ватничке. — Жаловаться не приходится.

Лицо у толстяка было красное, вспотевшее.

— Дрянь, — не обращая внимания на слова толстяка, повторил белесый. — Двадцать лет не болел малярией, а тут на тебе, — целых пять дней трясло. Говорили мне умные люди, отдыхай, товарищ Енков, дома...

Появился еще один пассажир, и Енков умолк. Сначала просунулся зеленый сундучок, за ним матрос.

— Здравствуйте! — сказал он.

Сундучок легко взлетел на третью полку. Матрос снял бескозырку и метнул ее на крюк, потом, подумав, стащил с себя блузу и остался в одной тельняшке.

— Прошу прощения,— повернулся он к Александре Афанасьевне.

— Располагайтесь, пожалуйста,— ответила она.

Матрос был невысок, жилист, под тельняшкой угадывалась тугая, как футбольный мяч, грудь. Руки, шея, лицо его отливали бронзой. Серые шустрые глаза смотрели из-под мохнатых бровей весело и доверчиво. Коротко остриженные волосы торчали коричневым ежиком.

В вагоне набилось людей, казалось, больше, чем он мог вместить. Но вот перестали греметь чемоданы, и выяснилось, что осталось немало свободных мест.

— Как ты думаешь, Паша, дети получили нашу телеграмму?— спросила Александра Афанасьевна.

— Почему я знаю,— ответил Енков.

— А мне хорошо,— заговорил матрос.— Некуда писать телеграмму.

— Что так?— поинтересовался толстяк.

— Некуда,— матрос вздохнул и улыбнулся.— Как говорится — ни кола ни двора.

— А едете куда?— спросил толстяк.

— Не знаю. Литер до Москвы, а там видно будет. Хорошие люди везде нужны.

Матрос усмехнулся, открыл портсигар, предлагая всем угощаться.

— Это еще поглядеть надо, какой вы,— с ехидцей заметил Енков, беря папиросу.

— Да я шучу,— смутился матрос.

Вагон толкнуло, все невольно поглядели в окно. За дождевой сеткой проплыл вокзал. Пришел проводник отбирать билеты. Где-то с шумом опустилась вторая полка, местный радиозел завел пластинку.

Скоро стало известно, что матрос — механик, демобилизован и теперь едет, как говорил он, на все четыре стороны; супруги Енковы возвращаются с курорта домой в Курганную, а толстяк в ватничке — колхозный счетовод — тоже едет домой под Батайск с курорта.

Неожиданно на столике рядом с нарциссами появилась пол-литровка. Ее незаметно вытащил из своего сундучка матрос. Александра Афанасьевна выложила на столик колбасу и хлеб. Белокопытов принес от проводника четыре стакана. Разлили всем поровну. Александра Афанасьевна хотя и чокнулась, но не выпила, а только пригубила.

— Так не годится,— упрекнул ее толстяк.

— Вы уж простите. Не пью.

— Не пропадет,— заметил Енков.

Ломтики колбасы и хлеба точно сдуло. Толстяк, дожевывая свой бутерброд, доверительно зашептал матросу:

— Белокопытов моя фамилия, между прочим. Первый раз на курорт ездил. Не рассчитал. На обратный билет только и хватило.

Он встал, отошел к своему месту.

Енков тихо сказал:

— За вещичками поглядывать надо,— он кивнул на Белокопытова.— Одежка сомнительная.

— Да бросьте вы,— отмахнулся матрос и, подозвав Белокопытова, сказал:

— Гулять, так гулять всем!

Енков увидал на руке матроса татуировку: одно крошечное слово «Лида».

— А говорите, что нет у вас никого,— хитро подмигнул он матросу.

— Да это я сдуру,— ответил матрос.— Никакой Лиды не существует.

Все помолчали. Странно и грустно было видеть человека с одинокой судьбой. Не так-то часто встретишь человека, у которого нет семьи, пусть небольшой, но все-таки семьи. Война давно окончилась, и, казалось, о ней забыли не только люди, но и целые города, поднявшиеся из пепла.

Легко и быстро стучали колеса, торжественно гремел из репродуктора марш.

— Давай к нам в колхоз. Приспособим,— предложил Белокопытов матросу.— Я и женю тебя, ежели пожелаешь.

— Нашел куда звать,— вмешался Енков.— Чего хорошего у вас?

— А вы почему знаете? — удивился Белокопытов.

— Пылища одна,— усмехнулся Енков.

У Белокопытова гневно сверкнули глаза, но тут же потухли.

— Я, папаша, подумаю,— сказал ему матрос, чтобы смягчить обиду.— Может, и правда подамся с тобой.

— Жениться тоже не советую,— сказал Енков и махнул рукой в сторону жены.— Морока с ними.

— Кто ж заставлял? — проговорила Александра Афанасьевна.

Енков не удостоил ее ответом. За перегородкой послышался чей-то бас:

— Раз билет до Москвы, туда и ехать надо.

— У вас там в Москве автомобилей больше, чем людей,— снова вмешался Енков.— Улицу не перейдешь.

— Это с непривычки,— отозвался бас.

— Слышь, моряк! — откуда-то с другой стороны раздался молодой задиристый голос.— Давайте к нам в Плавск. Устрою, будь здоров, как!

Енков даже крикнул — час от часу не легче. А матрос сидел преспокойно, сложив на груди руки крест-накрест, точно разговор его не касался.

— Вот у нас хорошо, так это правда,— промолвила Александра Афанасьевна.— При каждом доме сад. Яблоньки. Река широкая. Поедьте, сами посмотрите.

— Дура! — оборвал ее Енков.— Из нашего эмтеэс все механики бегут.

— Чего вы ругаетесь, дорогой товарищ? — сказал матрос.— И хаеете все на свете?

— Выпейте лучше,— вмешалась Александра Афанасьевна, решив, что разговор принимает крутой оборот. Щеки у нее пылали. Она пыталась нарезать новые ломтики хлеба, а хлеб крошился.

Белокопытов разлил остаток водки в три стакана. Выпили молча, не чокаясь.

На первой небольшой станции матрос предложил Белокопытову пойти прогуляться.

— Пойдем, погуляем, подышим,— сказал он.

Оба встали и вышли из вагона.

Здесь дождя не было, на платформе ни одной лужицы. Матрос взял Белокопытова под руку:

— Вы, папаша, не робейте,— сказал он ему.— С кем не случается!.. Доедете, не пропадете!

— Оно, конечно, так,— согласился Белокопытов.— Вот только сосед наш — волк, а не человек. Детей пугать им. Я б таких на курорты ни за что не пускал.

— Вы лучше скажите,— говорил матрос,— зачем, подлец, жену обижает?

— Он всех обижает.

— Ну, ладно, папаша, главное, не робейте и баста! — Сказав это, матрос куда-то исчез. А Белокопытов медленно побрел вдоль вагонов.

Но скоро дважды ударил колокол, зазывая пассажиров в вагоны.

Все уже были на своих местах. Не было одного только матроса.

— Не отстал бы? — забеспокоилась Александра Афанасьевна.

— Отстанет, сдадим его вещи куда следует,— сказал Енков.

Матрос пришел, но с другой стороны вагона. Он вытащил из кармана плитку шоколада и положил ее перед Александрой Афанасьевной.

— Это вам.

— Что вы! — испугалась Александра Афанасьевна.— Зачем тратитесь?

— Пустяки!

Она растерянно посмотрела на мужа.

— Не бери,— процедил сквозь зубы.

Матрос прикрыл шоколад ладонью:

— Стоит ли говорить об этом. Вы чуток подождите, я за чаем схожу.

Когда он ушел, Енков сказал:

— Нечего было глаза на него пялить. Приедем домой, поговорим.

— И говорить нечего,— ответила Александра Афанасьевна.— Людей постыдись. Убежала бы куда глаза глядят.

— Кому ты нужна? — усмехнулся Енков.

Вернулся матрос, за ним шел проводник с подносом, уставленным стаканами с чаем.

— А что, если правда в вашу эмтеэс завернуть,— обратился матрос к Енкову.— Нравится вы мне.

— К нам людей силой не затащишь,— ответил Енков.

— Неправда! — вдруг решительно сказала Александра Афанасьевна.— Один убежал, так он отовсюду бегаёт. Зачем зря говорить?

Енков не нашелся, что ответить. Жена никогда не возражала ему. Такого он раньше за ней не знал. А матрос украдкой поглядывал на Александру Афанасьевну и думал, какая дорога привела ее к этому «волку», ее, хорошего, славного человека?

В вагоне было жарко, а Александра Афанасьевна куталась в серенький шерстяной платок.

— Как вас зовут? — спросил ее матрос.

— Шурой, иногда Сашей называют, кто как. А вас?

— Меня Иваном, Ваней.

— Может, поспим,— предложил Енков, но ему никто не ответил. Тогда он полез на свою полку, снял пиджак, хотел повесить его на крюк, но покосился на Белокопытова и раздумал, свернул пиджак, засунул его за подушку, улегся и затих.

— Мне тридцать четыре,— сказала внизу жена.

— Я так и думал,— ответил матрос.— А вы давно замужем?

— Давно, восьмой год,— ответила Александра Афанасьевна.— Мальчику седьмой пошел, девочке пятый. Сережа и Верочка.

Енков тоже попробовал вставить словечко о Сереже и Верочке, но его не услышали.

— Хорошо-то как на курорте побывать,— говорила Александра Афанасьевна.— Кино чуть ли не каждый день. А дома не выберешься.

Потом они молчали, и сколько ни прилаживался Енков, ничего не слышал. «Почему они замолчали,— волновался он. О чем они там молчат?»

— Пусть только дети здоровы будут,— вздохнув, проговорила Александра Афанасьевна.

— Будут,— уверил ее матрос и тихо, тревожно сказал:— Милый вы человек, Шура. Почему я вас раньше не встретил?

Платок сполз с Шуриных плеч, она руками закрыла шею, стыдясь своей худобы. А матрос говорил и говорил. Он рассказывал ей о службе на море, о своем детстве и даже о международном положении. А она смотрела в окно. Там убегали в вечернюю мглу деревья, ложбины, поля, и ей казалось, что вместе с полями и деревьями где-то далеко позади остается и ее прежняя жизнь.

— Легли бы, поспали,— сказал сверху Енков.

— Спи, спи,— прикрикнула на него Александра Афанасьевна.

Ночью поезд подходил к Курганной. Ни матрос, ни Александра Афанасьевна, ни Енков так и не сомкнули глаз. Белокопытов хотя и растянулся на своей полке и лежал лицом к стене, но тоже не спал и думал о чем-то своем.

Енков давно стащил сверху чемодан, сидел в плаще, в кепке и молчал. Выглядел он уже не «волком», а маленьким зверьком, пугливым и настороженным.

Наконец, заскрипели тормоза, Енков взял пальто Александры Афанасьевны, встряхнул его и вежливо подал ей. Потом потащил чемодан к выходу. Матрос тоже спустил свой сундучок вниз, но Александра Афанасьевна остановила его:

— Не надо, Ваня. Прощайте.

Из тамбура раздался голос Енкова:

— Шура, Шурочка!

Александра Афанасьевна в последний раз поглядела на матроса, улыбнулась ему ласково и благодарно и ушла.

А Енков громко звал с платформы:

— Саша, ну где же ты? Осторожней, здесь лужи.

Поезд медленно отходил от Курганной. На столике стояла забытая баночка с нарциссами.

А на рассвете на каком-то полустанке сошел и матрос. Пустынная, размытая дорога шла от поезда в степь, и матрос уходил по ней, уверенно размахивая сундучком.

— Куда ж это он? — спохватился заспанный проводник.

Белокопытов долго смотрел в окно на дорогу, по которой ушел матрос, и размышлял о том, что хорошие люди везде нужны. Он хотел это объяснить проводнику, но задумался и промолчал.

О. Горчаков



НА ЛЯ

(Рассказ)

На хутор он прикатил на дровнях, по мартовскому санному пути, перед распутицей. Лес стоял еще глубоко в снегу, а дорога осела и проглядывала рыжими и черными плешинами. Лес то прятался в дымке, отступая от дороги, то четко вырисовывался по сторонам. Мимо мелькали оголенные темные пни, проносились поляны с бурыми проталинами на пригорках. Ослепительно блестел под полозьями тонкий накат, прерываясь тут и там ржавыми пучками прошлогодней травы.

Ему было странно, что никаких следов не оставила в лесу партизанская зима. А ведь всю зиму по этой пустынной сейчас дороге ходили и ездили немцы и полицейские, в этом лесу погибли сотни его товарищей-партизан. Ночью, в метель и в стужу, когда примерзали пальцы к металлу оружия, пробирались они к опушке, но всюду встречали их пули карателей.

Голод был пыткой. Жевали немолотое жито, топили снег в котелках в те редкие часы, когда можно было развести костры. Усталость валила с ног. На привалах падали замертво, мгновенно засыпали. Спали на снегу; вставая, выбирались из неглубокой ямы размокшего снега, с обмороженными руками и ногами. Вставали не все... Мертвых засыпал снег, а живые снова шли на прорыв, на ракеты, автоматы, скорострельные пушки. Все это припоминал он тогда, по дороге на Козелкин хутор...

Две недели тому назад немецкое командование отозвало свои части, воевавшие против партизан, и бросило их на Центральный фронт. Полицейские укрылись в гарнизонах. Блокада закончилась. Группа десантников-москвичей ушла в Клетнянский лес, а Саша, вместе с двумя другими товарищами,

Федором и Дмитрием, был направлен на Козелкин хутор для возобновления агентурной работы в районе Жирятино и Брянска.

Втроем они обошли деревню. Жирятинский лес подковой охватывал высокий холм. С холма открывался вид на неоглядное заснеженное поле. Вдали, километрах в четырех, виделось за ригами и овинами село Упруссы, а еще дальше едва заметно темнели деревни, занятые немецко-полицейскими гарнизонами. Днем до хутора доносились редкие паровозные гудки, и вдоль горизонта медленно проползал кудрявый, жидкий дымок. Козелкин хутор был невелик — чудом уцелевшая изба, десятка полтора землянок да две прокопченные бани стояли у подножья холма, на берегу еще не вскрывшегося ручья. Хутором называли деревню по старинке — до войны в ней было около тридцати колхозных дворов. Зимой каратели спалили и ограбили деревню дочиста. Жителей в ней оставалось не более полусотни.

Разведчики решили поселиться в уцелевшей избе. Хозяева — старик Колтунов, его жена и внучка — не могли нарадоваться на гостей, истопили баню, сбегали к соседям за самогонном. Впервые за четыре месяца друзья разделись, побанились, сменили белье, пропарили завшивленную одежду, запили баню пераком...

Не прошло и трех недель, как разведчики сколотили агентурную сеть, найдя верных помощников среди жителей окрестных сел вплоть до поселка Урицкого на окраине Брянска. Разведанные поочередно отвозили в штаб, за шестьдесят километров, в Клетнянский лес.

Хуторяне величали партизан по имени и отчеству. Старшему группы, Саше — Александру Васильевичу, было всего двенадцать лет. Александр Васильевич стыдился своей молодости и потому свирепо хмурил брови при встрече с хуторянами и говорил с ними ломким баском.

На благовещенье стаял на землянках снег, но зима не сдавалась. Ночами дожди сменялись снегом, мела поземка, индеVELO поле, а наутро сверкали сосульки на колтуновской крыше, блестел ледок на лужах талой воды, и снова бороздили снег ручейки, чернели стежки, в тяжелой влажной тишине звонко постукивала капель и снег отступал от порога, от поваленных плетней, сползал по южному склону холма.

Пасмурные дни, шум дождя, скользкая слякоть, цепкая грязь на сапогах — любая весенняя примета радовала партизан: зиме приходил конец. Однажды ночью, остановив в поле коней, они долго слушали, как грохотал лед на Десне...

Туманные утра и красные дни апреля оставили только маленькие островки снега в лесных чащобах. Потом прилетели черногузки и жаворонки. Лощины набухли водой. Вспучился, запламенел на солнце ручей. На топком берегу его одиноко паслась корова Колтуновых, ходили стреноженные кони партизан. Вербы, купавшие свои ветви в мутной воде ручья, и

березки в поле окутались зеленой дымкой, в один день зазеленел часток лес. Даже угрюмые старухи сосны надели медные сережки — пучки новых побегов. И все наливалось жаром солнца. В каждой почке, в каждой травинке творилось солнечное колдовство. А туманными ночами, выезжая на связь, разведчики неслись вскачь по гулким, черствым от ночных морозцев проселкам.

Александр Васильевич бродил днем по хутору, где на пелище, вокруг закопченных остовов печей и труб, зашелестела уже крапива и поднялся колючий татарник, вдоль ручья, по лесной опушке и в поле. Он часто нагибался, срывал былинку или цветок, прислушивался к перепелиному крику и чувствовал, как тает в груди заледеневшее за зиму сердце. Только легкие, пушистые облака в ласковом небе напоминали теперь снежные сугробы...

Вечерами, сняв сапоги, смазав гусиным салом обмороженные ноги, он часто сидел у открытого настежь окна, вслушиваясь в мирные звуки хутора. Темнеет... Стынет воздух. С длинными перерывами доносится в чуткой тишине бляение козы, скрип колодезной катушки, стук топора за ручьем... За домом Колтуниха доит корову, молочная струя звонко бьет в стенку подойника. И каждый громкий звук, ударяясь о высокую в пять городских этажей лесную стену, отскакивает и возвращается на хутор... Никогда прежде не казались ему такими великолепными солнечные закаты, когда розовело поле и церковными маковками золотисто вспыхивал гребень леса.

А озорные майские грозы!. Когда в избе становилось внезапно темно, настороженно тихо и душно, Александр Васильевич выходил на крыльцо, садился на приступок и ждал, волнуясь, как перед партизанской операцией, как перед сводкой Совинформбюро. Над полями повисала свинцовая туча с дымно-лиловыми краями. Лесная подкова, темнея, сжималась вокруг хутора. Мутнели дали, но тут и там, над горизонтом, вперемежку с косыми, голубовато-серыми полотнами далекого дождя лучились исполинские столбы света. Вдоль пашен ползли и пропадали солнечные пятна. Когда они пересекали дорогу на Уруссы, дорога загоралась и плавилась. Листья дуба трепетно замирали, задыхаясь от страха перед первым ударом грома. И сердце тоже цепенело... И вот — словно чьи-то мощные руки раздирают туго натянутый темный парус неба. Пробегают по нему ослепительно яркие, извилистые трещины. Невесть откуда налетает буйный ветер... В поле гуляют жидкие волны серой пыли, угрюмо гудит лес, а над холмом выются с жалобным писком стрижи. Туча упрямо и часто колет землю штыками молний, голубовато вспыхивает ручей, в рокошущий гул сливаются свирепые удары. Лента дороги пестреет вдруг точками, пятнами, темнеет... И вот со стоном рушится на землю громада воды.

А потом — весело сгоняет ветер небесную хмурь, яснеет весенний воздух, в лесу мирно стучит дятел...

Снова наливалось силами молодое тело, и снова, как прошлым летом, тянуло к опасности, веселили сердце случайные перестрелки и сумасшедшие ночные скачки — стремглав, мимо черных изб, вдребезги разбивая копытами тихие лужицы... Все сильнее пьянил этот дружный топот и перезвон подков... Усталые, но довольные возвращались всадники под утро на хутор, и хутор приветствовал их возвращение мерцанием красноватого огонька в окошке колтуновской избы...

А как они ели теперь! На таганке, на огромной сковороде, всегда шипела, пузырилась, розовея, подергиваясь нежной хрусткой корочкой, сочная говядина, а то и свинина; в печи топилось молоко, ноздри шекотал запах свежевыпеченного хлеба, в погребе стыл холодец. Все это шло оттуда — из полицейских гарнизонов... Перед самой пасхой разведчики разгромили маслозавод у железной дороги, и весь хутор красил пасхальные яйца. В лесной речушке разведчики глушили рыбу гранатами и толом, возвращались на хутор с ведром, а то и с двумя мелкой рыбешки. Головли покрупней Колтуниха жарила, а из ершей и плотвы варила уху — и что это была за уха!

Разведчики помогали хуторянам, как могли, — отбивали скот у немцев, пригоняли подводы с житом и картофелем, отобранными у полицаев, но трудно, голодно жилось хутору в ту весну. Одна была надежда — на урожай да на приход своих войск. Хуторяне не сидели сложа руки, нет! Старики, бабы и девчата — все они трудились от зари до зари, рубили новые избы в лесу, поочередно вспахивали поле на партизанских лошадях. Колтунов приходил под вечер домой разбитый, усталый и говаривал:

— Работаю, аж кости трещат, топаю за плугом, а все про немчуру думаю. Зачем силу трачу, пот зазря проливаю? Лихое нонче времечко, придут супостаты — и капнут всему. Ан нет, гляну на ихние гарнизоны, матюгну германов, про Сталинград вспомню и крепче на рогаль налегаю... Чего печали поддаваться! Авось придут скоро наши солдатики... Пока жив-здоров, не работать невозможно...

Многому научился у двужилых хуторян Александр Васильевич. Вот и Колтуниха — тихая, робкая, маленькая старушонка. И мужа боится и всякому старается услужить. Вся жизнь в поту, в черном теле... А какая негибаемая сила в душе! Дом спалят — новый выстроит, любую беду одолеет. Что вынесли ее старческие кости, сгорбленная спина, сколько урожаев собрали ее заскорузлые маленькие руки, сколько пыльных верст исходили ноги, сколько слез бороздило ее бурные впалые щеки... Александру Васильевичу и его друзьям хотелось как-то заменить ей тех крепких парней, которых она вынянчила,

вскормила и которые сейчас в далеких, залитых водой окопах смотрят, тоскуя, на запад.

После вечерней зари под старым дубом на краю холма собирались хуторские девчата. Они слушали соловьев, узнавая любимых певцов по их коленам, а потом и сами пели. Порой слышались далекие хлопки одиночных выстрелов в полицейских селах. На них не обращали внимания, к ним привыкли и соловьи и девушки.

Больше всего любили девушки две старинные песни: «Виновата ли я» и «Васильки». И странно было слышать эти отзвуки далекого прошлого в сорок третьем году в глухой брянской стороне.

Александр Васильевичу нравилось то, что не упоминалось в этих песнях о войне. В другое время, в другом месте они показались бы ему глупыми, пустыми, но сейчас, после страшной зимы, под звездами, притушенными светом висевших над Брянском ракет, он слышал в этих песнях биеие горячего, влюбленного в жизнь человеческого сердца...

Когда девушки расходились, разведчики седлали коней и спускались с холма в темное, грозное поле. Но всю ночь, не переставая, звучали в ушах Александра Васильевича девичьи песни, и не могли надолго заглушить их ни автоматная трескотня, ни бешеный стук собственного сердца, ни крики немцев...

В хоре выделялся низкий, грудной голос высокой, статной девушки. Ее звали Налей. Козелкин хутор был знаменит своим пристрастием к женскому имени «Нелли». Почему — никто из хуторян не помнил. На хуторе было восемь девушек, носивших это имя. Только произносили его хуторяне — Наля.

Александр Васильевич спросил как-то у Нали, почему не уходит она к партизанам. Наля сказала, что ей не с кем оставить старуху мать; кроме того, она очень боится крови — вида ее не выносит. Он тогда зло посмеялся над Налей — ведь у партизан нет большей добродетели, чем мужество, а душевная мягкость считается чуть ли не пороком. Однако очень скоро Александру Васильевичу пришлось признать, что из Нали получилась неплохая разведчица. По три раза в неделю, закинув за плечи мешок с мукой, отправлялась она в Брянск или Бежицу и чаще других приносила такие важные данные, что разведчики сразу посылали гонца в штаб. В городе у Нали было много школьных друзей — она кончила семилетку в Брянске, — и многие из них взялись за работу: считали эшелоны, устанавливали номера частей, их численность, выясняли расположение оккупационных учреждений.

Наля не понравилась Александру Васильевичу. Она показалась ему грубой, чересчур сильной и рослой, чересчур широкой в плечах. Ему не нравился яркий румянец ее смуглых щек, ее неумело и коротко остриженные темнорусые волосы, ее

простое и круглое лицо. Он все чаще вспоминал теперь свою довоенную московскую девушку и невольно сравнивал Наю с той маленькой завитой блондинкой с бледно-голубыми глазами и подведенными ресницами, хрупкими кистями рук и крохотной ножкой. Когда он прохаживался с ней вечером в парке, он чувствовал себя настоящим мужчиной, способным взять под защиту свою нежную и слабую подругу. Незадолго до войны, в десятом классе, он чуть было не поссорился со своей красавицей, устраивал ей сцены ревности. Но вылетая с десантом в немецкий тыл, он забрал с собой ее карточки и теперь безо всякого на то основания считал ее своей невестой. Он очень дорожил этой своей любовью и гордился своей верностью.

И все же Наля чем-то привлекала его, несмотря на веснушчатый нос, выгоревшие короткие ресницы, несмотря на огрубевшие от неженского труда руки. Его тянуло к ней, и он ругал себя за то, что следит за ней глазами, за то, что вид этой здоровой, крепкой девушки заставляет его волноваться и думать о нехорошем, непозволительном.

Девятнадцать лет!.. Войну он начал в семнадцать. Хвастливые рассказы бывалых сердеедов Дмитрия Хоменко и Федора Прокопюка, хотя он им и не очень-то верил, разжигали в нем тайное любопытство. Но эти рассказы и то многое, что видел и слышал он за последние два года, не омрачили его думы о своей особенной любви.

Как-то, отправляя Наю в Брянск, Александр Васильевич зашел к ней в землянку. Еще на пороге он услышал ее голос и остановился.

— Нет, девонька,— говорила задумчиво Наля,— когда приходит она, ты не спрашиваешь — пришла ли, наконец, настоящая любовь? Ты знаешь — она пришла...

«Ого! Весна на всех действует!..» — подумал Александр Васильевич.

Наля помолчала. И снова певучий ее голос:

— Вот посмотри, довоенная кофточка. Правда, хорошая? Только заплатки на локтях все дело портят. А вот, погляди, мое голубенькое платье. Как оно вылиняло!.. А вечером опять в город идти... Хожу я, знаешь, по Брянску, а у самой поджилки трясутся, ноги подкашиваются. Раньше мимо парка я всегда смело ходила и никакого внимания на немцев не обращала, а теперь считаю зенитки, примечаю, что где стоит, а самой кажется, что каждый немец знает, зачем я там... Одни тряпки! Разве на них что выменяешь на базаре?

Александр Васильевич кашлянул и вошел в землянку. Подруга вскочила, заторопилась, юркнула в открытую дверь.

Налиной матери не было — старуха полоскала белье в ручье. Землянка была чисто выметена и прибрана. На бревенчатой стене висел неумелый карандашный портрет Ленина — на листке из школьной тетради в клеточку. Кроме самодельного

стола со старинной швейной машиной и двух некрашенных табуреток, в землянке ничего не было. Нары были застелены выданными видами красноармейскими плащ-палатками. Пахло свежей осиной. Наля сидела на корточках перед большим кованым, обгорелым с красв сундуком и перебирала свой скарб.

Она смутилась при виде Александра Васильевича, вскочила и, виновато улыбаясь, показала кивком на сундук.

— Вот все, что осталось у нас, погорельцев...

Он мельком взглянул на какие-то тряпки, целлулоидовую куклу с продавленным лбом, нагнулся над стопой книг... Сельский календарь за 1888 год, старинный сборник русских песен, знакомая хрестоматия восьмого класса с чернильными кляксами, еще какие-то учебники... Он поднял с земляного пола пожелтевшую от времени книжку, прочел на первой странице: «Четы-Минен».

— Что, в бога верите? — спросил он. — Вот не знал!

— Нет, что вы! То мамина книжка, — ответила Наля. — Я комсомолка. А вот в судьбу верю...

Александр Васильевич досадливо поморщился, достал из кармана пачку оккупационных марок.

— Вот возьмите. Передайте своим комсомольцам да купите заодно сахарину, табачку и камней для зажигалки, а главное, побольше соли и лука. На хуторе цынга началась.

Наля потупилась и неуверенно проговорила:

— А может, отложить на день? Я вечер карты раскинула... А завтра — воскресный базар...

Александр Васильевич нахмурился.

— Ну, это вы бросьте! Терпеть не могу суеверий. Как вам не стыдно? Разведчица, а крови, оружия боится, на картах гадает. Кстати, вы подружкам своим поменьше рассказывайте. Сколько раз вас нужно конспирации учить!

Наля густо покраснела.

— И вот еще что. Посмотрите там на базаре — не придумали ли чего немцы против обморожения. Гусиный жир что-то плохо помогает.

— Болят у вас ноги? — тихо спросила Наля. — Ну хорошо, хорошо. Я сейчас пойду.

В тот вечер, когда девушки собрались под дубом и разучивали с Дмитрием Хоменко украинские песни, он почувствовал тоскливое беспокойство. «Не случится ли с ней беда в Брянске? Может быть, ее пытаются уже в гестапо? А ведь выдаст Наля, — невольно подумал Александр Васильевич, — обязательно выдаст, если поймут. Суеверна, трусит, оружия и крови боится!»

Ночью Александр Васильевич побывал с Хоменко на окраине Брянска, встретился с подпольщиками города. Небо над городом было необычайно спокойным — ни ракет, ни разрывов зенитных снарядов, ни цветного пунктира трассирующих пуль.

Александр Васильевич не знал, радоваться ему этому или нет. Прежде каждая бомбежка была праздником для всего хутора, но сегодня в городе ночевала Наля.

Незадолго до рассвета друзья вернулись на хутор. Хоменко пошел спать, очень довольный тем, что старший группы вызвался караулить до третьих петухов, пока не проснутся хуторяне. Дверь Налиной землянки была закрыта. Александр Васильевич сидел на травяном откосе холма и ждал. На заре пропел колтуновский петух. Дверь землянки заскрипела, открылась, вышла Налина мать. Старуха зевнула, перекрестив рот, поздоровалась с разведчиком и пошла к ручью. Александр Васильевич подкрался к землянке и заглянул в полуоткрытую дверь. В землянке было темно и пусто. Уже взошло солнце и хуторяне вышли в поле, когда он завидел одинокую фигуру на далеком проселке. Узнав Налью, он повернулся и стремглав пустился бежать, точно не девушка шла к хутору, а колонна танков.

Минут через десять он снова появился на пороге избы, превеличенно широко зевая и потягиваясь, с полотенцем, мылом и зубной щеткой в руках. Будто ненароком взглянул он в сторону Налиной землянки.

— Ну, что нового в Брянске? — спросил Александр Васильевич, подходя к девушке.

Днем Прокопюк привез из Клетнянского леса московскую радиограмму: Центр предлагал Александру Васильевичу легализоваться в Брянске. Такого приказа Александр Васильевич никак сейчас не ждал и не на шутку встревожился. Легализация — фальшивые документы, смертельный риск, постоянная угроза разоблачения. Жить среди немцев, видеть их ежедневно и бороться с ними без оружия. Но разве не мечтал он об этом еще в разведовательной школе, разве не готовил себя ежедневно к подвигу?

Он оседлал коня и поехал с Хоменко в Клетнянский лес.

Путь был тяжелый — километров сорок сплошным болотом, потом по глухолесью. До войны, наверное, это болото считалось непроходимым: редкий шиповник, серые клубы комаров, глубокая, иногда по конское брюхо, трясина. В мертвой, нескончаемой тишине — бульканье, чавканье тины и тихий плеск зеленой воды, лошадиный храп, позвякивание уздечки, шелест папоротника и осоки... И только древний Клетнянский монастырь, что белеет вдали за открытым болотом, напоминает о человеке. И о времени говорят желтые, покоробленные листочки, сброшенные еще, наверное, зимой советским самолетом и застрявшие в ольшанике.

А вот и знакомая партизанская могила. Печален вид этого одинокого, затерянного в болотной глуши, на маленьком

мшистом островке, могильного холмика. Лежит под ним, наверное, храбрый, любимый товарищами партизан — недаром здесь этот высокий столб с фанерной звездой и крепкая осиновая ограда.

Поздно вечером разведчики пересекли самый опасный участок пути: большак, пересекавший узкое, в один километр, горлышко леса и соединявший два крупнейших в округе немецко-полицейских гарнизонов — Мужиново и Акуличи.

Когда большак остался позади, молчание прервал Дмитрий Хоменко:

— Ты что приуныл? По Нале заскучал?

— По Нале? По какой Нале? Их там восемь, — рассеянно проговорил Александр Васильевич.

— Меня не проведешь. Мы с Федькой давно заметили, какие она на тебя жгучие взгляды кидает! Ну а ты, известное дело, законспирировался...

— Взгляды? Наля? На меня? Померещилось тебе! Как же она на меня смотрит? Ты шутишь!

— Обыкновенно. Посмотрит — и загорится вся, словно маков цвет. Не замечал, скажешь?

Александр Васильевич промолчал, даже презрительно махнул рукой, хотя про себя думал: «Неужели это правда? Скажи пожалуйста!.. А все-таки это чертовски приятно!..»

Они вернулись на третий день. Друзей радостно встретил, засыпал вопросами заскучавший было Федя Прокопюк. Александр Васильевич рассказал: надежных документов выправить не удалось, поэтому решено легализовать его не в Брянске, а в местечке Жирятино. Затем он спросил, будто невзначай:

— Где Наля?

Федька хитро прищурился.

— Вот-вот вернуться должна. Я ее снова в Брянск послал. Ну и гонор у нее! Она зачем-то швейную машинку на толкучку потащила. «Зачем?» — спрашиваю. «На продукты, говорит, обменяю». Я ей марки сую, а она разозлилась на меня, накричала...

Вскоре после полудня вернулась на хутор Наля. Александр Васильевич, как был, без ремня и гимнастерки, позабыв даже автомат, ринулся к ее землянке. Он встретил ее у порога, широко, во весь рот улыбаясь. И тут он заметил на Нале новую светлозеленую шелковую блузку и на плечах — пеструю косынку. Над низким вырезом блузки увидел он четкую бронзовую линию загара и белую нежную впадину между туго обтянутыми шелком крепкими грудями. Он мучительно покраснел, кашлянул, нахмурился и спросил, переходя вдруг на «ты»:

— Все в порядке? Давай сведения!

Он поспешно опустил глаза и увидел на босых, запыленных ногах Нали запекшуюся кровь. «Неужели она для меня принарядилась? — подумал, сердясь и ликуя, Александр Васильевич. — Так вот на что она сменяла машинку!»

Вечером снова слушал девичьи песни старый дуб — молодые искренние песни с тем русским надрывом в голосе, от которого пощипывает в глазах и холодеет грудь... Песня плыла над тихим полем, над примолкшим лесом...

Виновата ли я, виновата ли я,
Виновата ли я, что люблю?
Виновата ли я, что мой голос дрожал,
Когда слушал ты песню мою?..

И опять, застряв в листве, не хотел уплыть от старого дуба месяц, и высоко в небе неподвижно серебрились, словно заночевав там, легкие облака. Кончилась песня, вновь нахлынула тишина. Но вот — легкий смешок, и кто-то тихим голосом, все еще под обаянием песни, спрашивает:

— Ну, девчата, что теперь споем?

И под проворными пальцами Нали снова звучит гитара, а кумачовый бант на грифе кажется совсем черным в темноте.

Девушки встрепнулись, зашущукались, прыснули. С конца бревна встала, оправила юбку низенькая полная Наленька Ефремова. За ней поднялся Федор Прокопюк, небрежно повесил автомат на плечо. Наленька обернулась, с вызовом вскинув голову, глянула на подруг и, всплеснув руками, побежала вниз к землянкам. За ней, кашлянув, степенно, в развалюцу направился Федор... Вот слились они в одно пятно, растворились в пахучей, звенящей кузнечиками темноте. Косо чиркнула по темносинему небесному своду падающая звезда.

— Ой, девоньки! — тихо воскликнула Наля. — Гляньте-ка, ночь-то какая!..

Когда, спев все свои любимые песни, разошлись по землянкам девушки, Александр Васильевич проводил Налю. Медленно и молча дошли они до Налиной землянки. У порога Наля повернулась к своему провожатому, глаза их встретились, по лицу его мимолетной лаской пробежало теплое дыхание девушки. Сияние месяца лежало на светлозеленой блузке, на круглом плече, на выпуклости груди... Обнять? Поцеловать? Но, может быть, и нет в ее глазах ничего особенного? А вдруг соврал Хоменко? Боязно, даже страшно...

— До завтра... — прошептала Наля.

— Я уйду завтра, — веско проговорил Александр Васильевич. — Может быть, на месяц, может, очень надолго.

Наля часто замигала и, отвернувшись, уголком косынки провела по щеке. Потом она повернулась к нему, губы ее прыгали — вот-вот расплывется. Внезапно она порывисто обвила

руками его шею. Вглядываясь в Налино лицо, теряя голову, он подумал: «Сейчас можно, нужно. Ведь на смерть иду...»

Но Наля опустила руки и исчезла за дверью, шепнув только:

— Прощай, милый!

...Он долго шел лесом, потом вышел в залитое солнцем поле. И в поле нахлынуло на него смутное чувство радостной, крылатой легкости, уверенной надежды, отважной жажды жизни. Он любил. Кого? Свою московскую мечту? Налю? Или просто свою молодость и самое предчувствие любви? Да не все ли равно!..

Потянулись глубокие, тенистые овраги, где отцветала дикая груша. Вот и река Судость с зарослями черной ольхи и дикой яблони вдоль берега. К берегу подступают поля — раними всходами ржи, картофеля и гречихи пестрят в них наделы крестьян, разделивших по приказу немцев колхозную землю. Как не похожи эти поля на невспаханное, дикое, угрюмое, но вольное поле между деревней Упруссы и селами, занятыми врагом, — ничья земля! Как не похожи они на неразмежеванное поле Козелкина хутора!

Наконец, завидел он жирятинскую колокольню. Будто туча нашла на солнце, заколотилось сердце, в ногах разлилась противная слабость. С тоской оглянулся он на поля, на лес. Они звали его, тревожно звали обратно. Вон стоят на мосту через Судость, облокотившись на перила, полицейские с белыми нарукавными повязками...

.....

Тихое утро. Александр Васильевич с надеждой глядел на поля, но в полях, казалось, не осталось жизни. «Уж лучше все страдания зимы, чем то, что произошло в Жирятине. Ради чего пошел он в зятя? Для выполнения задания?» Так мало сумел он сделать за эти недели в Жирятине!

Он думал о своей московской девушке, но видел почему-то Налю. Лицо москвички он уже не помнил и стыдился этого. Но как посмотрит он в глаза Нале? Напрасно утешал он себя необходимостью своего поступка... Вон — хутор. Там, где покошачьи выгнул свой хребет лес. Он ускорил шаг. Скорей! К друзьям — они все поймут, все простят... Вот и ручей — он уже лег степенно в берега. Землянка Нали была пуста. Товарищи долго тискали ему руки.

— А ты молодец! Такие сведения! Штаб тебя к ордену представил!

Колтунов достал на радостях бутылку самогона. Выпили. Александр Васильевич рассказывал друзьям о Жирятине, не

умолчал и о хозяйке, у которой пристроился в «зятья», и с удивлением видел, что товарищи слушают его с уважением и даже с завистью. Они весело хохотали над его рассказом, и, глядя на них, он и сам успокоился немного, стал посмеиваться, припоминая все новые подробности своего приключения. «Ну что особенного случилось? — уговаривал он себя.— Чтобы выполнить задание, тебе пришлось стать заправским «приймаком», переспать с хозяйкой, иначе тебя выгнали бы в три шага!»

Вечером Александр Васильевич пришел к дубу. Нали не было. И потому, наверное, все показалось ему другим: и песни, и хуторские девчата, и самый майский вечер.

Наконец, он увидел Налю. Она бежала к дубу, искала его глазами. Он растерялся, опустил голову, не встал навстречу. Девушки пели, но он не слышал Налиного голоса. Нет, не хутор, не песни, не девчата изменились. Это он сам стал другим после Жирятина.

Прошло несколько дней. Тень тревожных слухов нависла над хутором, и словно полиняли весенние краски, лес насторожился, холоднее подул ветер, люди съежились. Бескрайнее, чужое поле прятало в своей глубине враждебные города, села, дороги, а хутор, как раскольничий скит, — только верой и крепко. Поле зловеще молчало; отчетливо, навсегда врезалась в память каждая мелочь вокруг. Вон пасутся у ручья кони, с холками, сбитыми до мяса самодельными партизанскими седлами, ходят, собирая кожу на спине, сгоняя оводов и слепней.

Сначала прилетел и закружил над хутором корректировщик. Александра Васильевича самолет застал в землянке, куда он занес семье погибшего партизана несколько фунтов мяса. «Стрекоза» летала так низко, что Александр Васильевич видел даже склоненное вниз вытянутое, с длинным подбородком лицо летчика.

Когда самолет улетел, в землянку по шаткой лестнице, мелькая загорелыми ногами, спустилась Наля.

— Вы здесь? Здравствуйте! — Она повернулась к молодухе, хозяйке землянки. Молодуха качала ребенка в зыбке.— У тебя не найдется для нас молока? У меня мама опять хворает.— Потом она повернулась к Александру Васильевичу и быстро и решительно зашептала: — В Упруссах вчера, говорят, вас разыскивала ваша хозяйка из Жирятина. Ходила и справлялась о вас, просила вернуться. Она решила, видно, что ее «зять» к партизанам сбежал.

Словно огонь полыхнул по его щекам. Он взглянул сбоку, с испугом на Налю, на молодуху.

— Откуда ты знаешь... об этом?

— Да ребята ваши мне все рассказали.— Глаза ее лучисто вспыхнули. Она улыбалась.

В лаз заглянул Прокопюк.

— Немцы! — тихо сказал он. — Из Упрусс идут колонной. Пугнуть?

— Нет! — ответил Александр Васильевич. — Нельзя жителей ставить под удар. Седлай коней! — Он кивнул молодой, опустил глаза, взял Налину руку. — Поедем с нами, — прошептал он едва слышно.

Наля вздрогнула, часто задышала. Потом, левой рукой, она разжала его пальцы, вложила в них что-то мягкое.

— Возьми это на память, — проговорила она. — Не могу уехать с вами. Как я маму брошу?

Она говорила громко. Она не пряталась, как он, ни от молодухи, ни от Прокопюка.

В лесу Александр Васильевич рассмотрел Налин подарок — вышитый кисет из светлозеленого шелка, с белыми кисточками. «Она испортила ту самую блузку, что выменяла в Брянске на швейную машину, — догадался он. — А кисточки и тесемки? Ну, конечно, она сделала их из парашютной стропы, той самой, что выпросила у меня позавчера».

Прокопюк подъехал ближе к Александру Васильевичу.

— Ого! — воскликнул он, глядя на кисет. — Закурим? — Он вытащил из кармана туго набитый кисет из красного сатина с такими же кисточками, как и у Налиного кисета. — Мой красивше! — убежденно заявил он. — От Наленьки Ефремовой! Собственной ручкой вышит!

— Закурите моего, у меня покрепче будет, — крикнул сзади Хоменко, размахивая огромным кисетом, в котором легко поместился бы автоматный диск.

— Все ясно, — засмеялся Прокопюк. — То-то я гляжу, Тоня Колтунова перестала носить свою синюю косынку с белыми цветочками.

Федор и Дмитрий смеялись. Александр Васильевич тоже смеялся от души — в первый раз после Жирятина. Наля знала все и все простила ему. Нет, ей и не нужно было прощать; она ни в чем его не винила...

Позади, на хуторе, раздался винтовочный выстрел. Разведчики остановили коней и долго прислушивались...

Снова блокада, бои, сонная одурь, бесконечное кружение по лесу. Александр Васильевич надеялся проскочить в Клетнянский лес, но оттуда в Жирятинский район пробивались разрозненные партизанские батальоны. Разведчики присоединились к бригаде Кошмизокова. Прошло две недели. И снова, как зимой, неумолимо сжимались клещи голода.

...Партизаны смотрели воспаленными глазами в лесную стену, прислушивались, ждали. Ждали первого выстрела немцев. Где они? Чем кончится день? Хрустит где-то сучок, и хруст этот больно колет сердце каждого партизана.

— Уйдем от бригады, — разлепил сохшиеся губы Федя Прокопюк.

— Пропадем мы с ними. Давай к своим пробиваться.

— Нет,— устало отвечает ему старший группы.— Немцы прочесывают лес цепями. Если одна такая цепь натолкнется на отряд, отряд может ее прорвать и снова скрыться. А если мы трое столкнемся с цепью, с нами в два счета разделяются. Верно?

— Верно,— бурчит Прокопюк.— Но у бригады нет боеприпасов.

Александр Васильевич молчит. Хитро глядя на командира, Дмитрий Хоменко лукаво спрашивает:

— По жирытинскому санаторию, Сашок, тоскуешь, а?

Александр Васильевич дня три уже куска в рот не брал, жевал не переставая лесной чеснок; казалось, весь мир пропах чесноком, от чеснока горело внутри, но огонь этот и запах заглушали немного голод.

Хоменко собирал автоматный диск. Хмуро посмотрев на блестящие желтые патроны на своей ладони, он сказал:

— На полдиска осталось. Навоюешь на пустое брюхо! У меня живот к позвоночнику уже прилип. А помнишь, как на хуторе жили? Мечта! Вот бы смотать туда сейчас — отсюда недалеко. Нам бы там последнее отдали.— Он загнал ладонью диск в приемник и предложил: — Давай, Федор Иванович, в шахматшки, что ли?.. Начинаю: d2—d4.

Александр Васильевич встал, закинул за плечо автомат и сказал:

— Идем на хутор — разведаем. Нет немцев, так достанем чего из съестного!

Федор вскочил:

— Вот это дело! Ведь околеешь так от чеснока да прошлогодних желудей. Айда на хутор! Кстати, со своей кралей поводаюсь!

Комбриг охотно согласился отпустить разведчиков на хутор.

— Возьми человек пять из штабной роты и побольше еды каберите, если повезет,— сказал он Александру Васильевичу.

Знакомыми тропами разведчики подошли к опушке леса, подползли к самой его обочине. Небо безоблачно. Звенят кузнечики. Вспорхнула и полетела к хутору бабочка-капустница. Дуб на холме, землянки, изба Колтуновых...

— Гляди! — прошептал Федор.— Вот они. У ручья. Стирку девки затеяли! Значит, нет фрицев!

Александр Васильевич поднялся и вполголоса приказал: — Держитесь гуськом, с интервалом! Пошли!

Он шел впереди, направляясь прямо к ручью. Еще издали он увидел Наю. Вместе с ней десять — двенадцать девушек и пожилых женщин полоскали белье. Вспыхивали на солнце брызги, мелькало серое полотно.

Сто шагов, семьдесят... Наля поднялась вдруг во весь рост и, высоко взмахнув руками, крикнула во весь голос:

— Назад, Саша! Тут немцы!

В ту же секунду пулеметные струи закосили луг. Пули с воем и визгом неслись через ручей от избы Колтуновых, от Налиной землянки, из-за бревен, где пели вечерами песни...

— Назад, Саша, назад!

Упал Федя Прокопюк. Неужели убит? Нет, вскочил, бежит... Хоменко уже на опушке, залег, строчит по хутору. Над ним нависают ветви, кружась, опускаются листья. На опушке Александр Васильевич оглядывается. Постепенно смолкают хлопки разрывных над головой. Немцы — их много! — гонят женщин к землянкам, толкают, бьют прикладами...

— Не стрелять! Не тратить патроны!

Понуро брели обратно партизаны.

— А Наля-то! Жизнь нам спасла! Круто ей теперь придется, — проговорил Федор. Он вздохнул: — Да, несдобровать ей теперь. Да и хутору тоже.

— А ведь это фрицы заставили их полоскать белье! — почти крикнул вдруг Хоменко. — Для отвода глаз, на хуторе, дескать, все спокойно. — Еще через несколько шагов он громко выругался, махнул рукой, повернулся к Прокопюку: — Наделали делов! Ну, давай, Федя... Пешка д5...

* * *

Через два дня, перед прорывом через Мужинковский большак, когда разведчики лежали втроем в боковом охранении, Прокопюк, не спуская глаз с большака, тихо сказал Александру Васильевичу:

— Все равно узнаешь. В тот день пытали ее, и это самое... повесили. На том самом дубе повесили Налю...

Александр Васильевич отвернулся от друга, крепко зажмурился, уткнулся головой в траву, сжал голову руками.

Потом он бежал, спотыкаясь, за товарищами, стреляя вместе со всеми, и думал:

«Наля! Мы так и не сказали ничего друг другу... Я не виноват, что полюбил слишком поздно. Время летело так быстро...»

Партизаны разметали немецкую засаду на большаке, ломались сквозь непролазную чащу, несли на руках раненых товарищей. Он остался с группой прикрытия у большака, вырвал пулемет из рук убитого наповал партизана, стрелял и думал: «Наля, прости меня!.. Наля, ты умерла, не узнав даже моего настоящего имени».

Виктор Шкловский

ПОРТРЕТ

(Рассказ)

В Ясную Поляну Крамской пошел рано утром узкой тропинкой по лесу.

В листве деревьев много красных клоков осенних листьев. Птиц нет. Тишина.

В лесу провал с поваленными деревьями: когда-то здесь копали руду и вот земля просела. Дуб лежит в провале, как убитый человек на спине, раскинув свои ветви.

Слева показались две белых башенки — въезд в Ясную Поляну. За башенками «прошпект», — желтым листом шумит березовая аллея, подсаженная елками; ели уже поднимаются и глушат березы. Дальше краснеет кленовый сад; за ним небольшой белый дом, хоть пристроен, а не велик. Около дома — клумбы с разноцветными пятнами душистого горошка, настурцией и тяжелыми георгинами, которые тянутся по высоким палкам. Земля обильно полита и черна. Цветы растут весело и даже пахнут как будто пестро. Вдали другой домик, перед ним цветы — штамбовые розы. В саду много женщин, детей. Где-то щелкают шары крокета; в доме играют на рояле.

На открытом балконе накрыт стол. Чистая скатерть, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб, осенние чуть покоричневевшие огурцы, яблоки и желтый все отражающий тульский самовар.

Пестро и беспокойно.

Крамской довольно долго ждал Льва Николаевича в тихом кабинете. Из комнаты дверь в сад. На стене олени рога и гравюры в тоненьких желтых деревянных рамках.

Удобный и недорогой клеенчатый диван. Стол, на столе много рукописей, корректуры, перечеркнутые и исписанные крупным, неразборчивым почерком без нажима.

Перед столом кресло с подрезанными ножками. Кажется, что оно стоит на полу на коленях. Здесь может сидеть человек очень маленького роста.

Крамской ждал.

Вошел Толстой; роста выше среднего, загорелый, сорокапятилетний, сероглазый и почти щеголеватый, несмотря на бороду, моложавый. Рядом с креслом с подпиленными ножками Толстой казался великаном.

Крамской сообразил: значит, Лев Николаевич близорук и не носит очки; работает, низко наклонивши голову над рукописью.

Но глаза у него не близорукие: очень спокойные, не растерянные.

Лев Николаевич начал прямо с отказа. Сказал, что пишет роман, держит корректуру книг «Азбуки» и не может задерживать набор. Начинает еще роман о крестьянах-переселенцах, организует сбор денег на столовую для голодающих Самарской губернии.

Отказывал Лев Николаевич не торопясь, спокойно, как будто пользуясь случаем перечислить для самого себя, что он сам должен сейчас писать и делать.

Крамской ответил:

— Я слишком уважаю причины, по которым ваше сиятельство отказывается от сеансов, чтобы дальше настаивать. И разумеется, должен буду навсегда отказаться от надежды написать портрет. Но все равно, портрет ваш должен быть в галерее.

— Как так?

— Очень просто. Я, разумеется, его не напишу. И никто из моих современников не напишет. Но он будет написан. Я сейчас пишу портреты знаменитых русских людей. Грибоедова я буду писать для галереи в красках, с чужого рисунка. Потом будем искать — не видел ли кто-нибудь Грибоедова, спрашивать — похож ли. Так будет с вашим портретом — будут жалеть, что он не был написан своевременно, начнут копировать фотографию.

Быстро вошла дама лет двадцати шести, миловидная, большеглазая, одетая строго: в черную юбку, стянутую мягким кожаным поясом, в светлую кофточку. У пояса висела довольно тяжелая связка ключей.

Лев Николаевич представил художника жене. Софья Андреевна села, поправила широкую юбку, посмотрела на художника сквозь лорнет.

Разговор начался с начала.

Тон разговора был такой, что Лев Николаевич ничего не понимает и всегда ошибается. Решить может она, Софья Андреевна, но не сразу.

Иван Николаевич долго служил в фотографии, много ретушировал, много писал портретов, расписывал купола и привык не уставать от обычного разговора с заказчиками. А сейчас чем больше он смотрел на Льва Николаевича, тем сильнее ему хотелось писать портрет.

Иван Николаевич предложил:

— Хотите, я напишу портрет, а если он вам не понравится, я его уничтожу.

— Мы знаем вашу работу, господин Крамской,— сказала Софья Андреевна.— Портрет нам наверное очень понравится, но если нам будет жалко его отдать?

— Будем считать,— сказал Крамской,— что передача портрета в галерею будет зависеть от воли графа. Пускай портрет висит у вас.

Лев Николаевич возразил:

— Так нельзя. Портрет оплачен господином Третьяковым.

Софья Андреевна нашла выход:

— А вы не можете сделать для господина Третьякова копию с нашего портрета?

— Копии точной,— ответил Крамской,— нечего и думать получить, хотя бы даже от автора. Я думаю написать два портрета, и вы выберете, который вам понравится.

— Хорошо,— сказала Софья Андреевна.— Портрет нам нужен для наших детей, и мы его вам оплатим: двухсот, двухсотпятидесяти рублей, я думаю, будет довольно?

Крамской брал за портреты не менее тысячи. Краски и холст с подрамником стоили пятьдесят рублей. Но он твердо решил написать портрет, и не решался говорить дальше потому, что видел, что Лев Николаевич уже хочет сесть за работу.

— Я начну работать завтра,— сказал художник.

— Хорошо,— произнес тихим и сильным голосом Лев Николаевич, уже садясь в кресло и низко наклонив голову над рукописью.

Софья Андреевна проводила Ивана Николаевича до передней. Она была довольна потому, что много слыхала о Крамском. Была у ней мысль, что художник может отнять время у Льва Николаевича, но она считала, что у Левы времени всегда хватает.

Крамской уходил, не надев шляпы и вытирая лоб платком.

В саду было жарко, по густой липовой аллее гуляли какие-то пестрые дамы в резкой перебивке теней.

На кухне стучали ножами. Из леса шла молодежь с полотенцами.

Сеанс начался с утра.

Толстой сидел за столом в серо-синей блузе с выпущенным мягким белым отложным воротником. Он посмотрел на Крамского заинтересованно.

— Я сейчас пишу,— сказал он,— про живописца. У меня в романе будет художник, живет он в Риме, бедствует и давно пишет картину о Христе... Не очень образован, но много читает.

Крамской делал быстрый набросок на холсте, слушая Льва Николаевича.

— Мне Боткин Михаил Петрович,— продолжал Толстой,— рассказывал про художника Иванова и показывал сотни его эскизов. Они мне понятны. Мне кажется, что Иванов как будто снимал покровы с предмета. Те покровы, из-за которых предмет не весь виден. Он старался, снимая покровы, не повредить самого произведения.

— Вероятно, так работает каждый художник,— ответил Крамской.— В картине тоже всегда есть портрет — натурщик.

— Портрет,— сказал Лев Николаевич.— Но ведь мы не хотим изображать в романе или картине себя или своих знакомых. Это Соня, моя жена, думает и сестра ее Таня — тоже, что я их описываю, и готовы поссориться из-за того, кто из них Наташа Ростова. А я знаю, что вот Иванов не писал натурщика и не списывал природу под Римом, а писал об общем. Я и Ясную Поляну не описывал, хотя я без нее, может, хуже понимал бы Россию. Когда я вижу вдаль лес, то хотя знаю, что в нем деревья из таких же листьев, какие я вижу ближе к себе, но самые листья писать не буду.

Крамской слушал. Обычно люди, позируя, скучают, и человек на сеансе как будто разговаривает сам с собой.

Этот разговор был не такой. Он ответил:

— Александр Андреевич Иванов изменил искусство мира. Есть у нас сейчас другой художник, совсем молодой, Федор Александрович Васильев. Я от него недавно письмо получил. То, что он делает, до такой степени самобытно и до того стоит вне обычного движения искусства, что я не могу даже сказать, что это хорошо. Это не вполне хорошо, но это гениально.

Лев Николаевич ответил, не удивившись на слово «гениально».

— А как он живет? Лишнего вокруг много?

— Он живет в лихорадочной разбросанности, с порыванием куда-то уйти, что-то сделать и от чего-то освободиться. Друзей случайных много, женщин... и заброшенность.

— Вот у меня дом, в нем столько женщин, и столько у них разговоров об ихних делах, что я иногда сам про себя думаю в женском роде: «я проснулась», или: «я работала», потому что все время слышу женский говор; сбиться в жизни легко.

Лев Николаевич помолчал, потом прибавил:

— В саду прохладно, дамы в легких платьях, около кухни мороженое на льду крутят, а мужики разоряются. Земля не родит, а этого не видят, хотя тут гением быть не надо. Не видеть, что у нас над головой потолочная балка тлеет. Был случай такой в моем доме.

— Один человек говорил, что человеку свойственно смотреть правильно и каждый человек как бы рожден гением. И только надо удивляться, как мало гениев.

— Кто же это говорил? — заинтересовался Лев Николаевич.

— Чернышевский в старой статье.

— Я не всегда люблю Чернышевского.

Краски на портрете уже проложены. Портрет начат сильно. Пришла Софья Андреевна с разгоревшимся лицом. Сказала:

— Китайские яблочки варили.

Посмотрела на портрет и сразу прибавила:

— Этот портрет, Левушка, мы оставим себе.

— Я завтра другой начну, — сказал Иван Николаевич, — в большем размере. А этому дам время сохнуть. Тогда будете выбирать.

— Скоро, — сказала графиня, — я для вас закажу анковский пирог.

— Это у нас такой сдобный пирог домашний, его Берсы выдумали. Очень сдобный. Пекут его для самых почетных гостей. Анке был приятель отца Софьи Андреевны. Тайный советник, а прославился в пироге.

Продолжались сеансы.

К Ивану Николаевичу уже привыкли в доме Толстого. Лев Николаевич много разговаривал с художником. Крамскому казалось, что Лев Николаевич не торопится с сеансами. Сейчас ему трудно самому писать, он о чем-то думает, что-то перешагает.

Второй, большой, портрет был уже, как говорил Крамской, поставлен на ноги. Графиня сказала:

— Лучше этого, второго, сделать нельзя.

Крамской опять принялся за первый портрет. Обе вещи выходили сильно. Хотя они не были окончены в живописи, а только решительно подмалеваны, но сходство уже стало поразительное.

Менялась погода. Сад стал прозрачным, дали Ясной Поляны пестрыми.

В конце сентября, в одно дождливое утро Крамской опоздал.

Лев Николаевич дождался, сидя в жестком кресле у северного окна большого зала.

Крамской взял большой портрет, начал писать, потом оставил.

— Вы что, Иван Николаевич, на погоду огорчаетесь? Погода хорошая, хоть зеленыя поправит, а дождю быть сегодня не долго.

— Товарищ у меня умер, Лев Николаевич,— ответил Крамской, не назвав Толстого вашим сиятельством.— Федор Васильевич умер. Хоть познакомился я с ним только пять лет тому назад, и он, скажу, меня моложе, но я учился у него, а он великому князю ширмы расписывал. Все надеялся, что будут за него хлопотать влиятельные люди.

— Пойдем гулять, Иван Николаевич, дождь перестал.

— Был он,— продолжал Крамской,— художником невозможной, почти гадательной высоты.

Вышли в сад.

Шли долго и твердо.

Резко белели вымытые стволы берез.

Внизу, за лугом, заголубела стальная, тихая, как будто густая река.

— У меня в романе,— сказал Лев Николаевич,— женщина под колесами умрет, оставив у мужчины раскаяние. Я видел, как ее анатомировали; здесь, около Козловой Засеки, в сарае на линии, поблизости вашей дачи.

Крамской молчал, шагая по пестрым листьям, покрывающим дорожку.

— Напишу про человека,— продолжал Толстой,— который виноват перед близким, раскаивается, но ничего сделать не может. Зачем мы так живем?

— Вы меня считаете виноватым?

— Я не про себя и не про вас, Иван Николаевич. А если меня взять. Я известный писатель, у меня чуть ли не три тысячи десятин в Самарской губернии, больше будет. Ну, стану знаменит, как Тургенев, и сам себе говорю — зачем?

Лев Николаевич смотрел на дубы — такие знакомые по детству, по страницам собственной прозы, и повторил, сам с собою говоря:

— Зачем?

— Я стараюсь так не думать, Лев Николаевич.

— Я не про себя. Вот существует помещик Левин, воспитывает детей, сажает яблоневые деревья, у него молодая жена ходит с ключами, варит варенье. А зачем? Кажется ему, что один выход — понять всю глупость шутки, которая над ним сыграна, и вспомнить, что есть вода, нож, ружье и место под колесами вагона.

— Вы ведь верующий, Лев Николаевич?

— Делаю всю мимику верующего и слова говорю, которые выучил, а в определенные дни ем капусту.

— Васильев,— сказал Крамской,— и фамилии не имел, паспорта не имел, дома не имел. Таким трудней. Им уцепиться не за что.

— А Левин,— ответил Лев Николаевич,— продолжает жить, понимая все зло и бессмысленность жизни; это выход слабости. А в душе все перевернулось и никак не может уложиться.

— Я вас расстроил, Лев Николаевич?

— Нет. Я сегодня пришел в зало рано утром, поставил два ваших портрета, посмотрел на человека — очень похожий. Хорошо понятно. Вот картину вашу «Христос в пустыне» я не понял и спрашивал себя: Христос ли это?

— Я не убежден, что это Христос. Но я не умею написать иначе картину. Портреты пишу. Вот хочу написать картину «Смех»: лицо Христа, а вокруг него хохочут люди. Разные. И недоволен я.

— Чем вы недовольны?

— Ведь это же портреты будут, головы. И центра у меня — Христа — нет. Это уже и для Иванова был не центр, и у него распалась картина.

— А я вашу картину помню. Холодное утро, пустыня каменная, сидит человек, думает; только почему это Христос, почему это бог? Надо ли так?

— Я не верю в непорочное зачатъе, хотя по тогдашней логике, и особенно восточной, необыкновенный человек должен был и родиться необыкновенно. В этом нет ничего дурного.

— Это вы хорошо сказали, только снисходительно.

Кленовый лист сменился бледным липовым.

Крамской, тихо шагая и смотря под ноги, заговорил:

— А картина началась так: однажды в Петербурге я бродил белой ночью. Тени нет, все светлое, круглое — колонны, памятники, шпили. На каменной скамейке набережной перед Сенатской площадью сидел человек, длинноволосый, с пледом на плечах. Он не оглянулся на звук моих шагов. Я шел, у меня были свои мысли. Я ходил, думал об искусстве, о том, что хочу писать картину, а мне, сыну казачки и писаря, нужны в год большие тысячи, чтобы дети мои были такие, как все. И вот надо пригвозждать себя к чужим куполам, выписывать ногти богов. Я ходил и думал, что искусство овладеет истиной тогда, когда будет даром даваться: даром видим, даром пишем, даром отдаем.

— Хорошо бы так.

— Ходил, думал. Смотрел, как Суворов стоит, закрывая щитом императорскую корону и совсем чужую папскую тиару.

Опять пришел на набережную. Тот человек не ушел. Солнце уже подымалось за его спиной, складки пледа не изменились; он не заметил ночи. Нельзя сказать, что он был вовсе нечувствителен к ощущениям; нет, он под влиянием наступившего утреннего холода прижал локти ближе к телу. Я прошел рядом. Губы его как будто засохли, слиплись от долгого молчания. Он будто постарел на десять лет. Но все же я догадывался, что это такого рода характер, который имеет силу, однажды решив, сокрушить всякое препятствие. Я в картине старался

вспомнить этого человека и, нарисовав, почувствовал успокоение.

— Но решения сегодня нет.

— А без поисков нет сегодня и России.

— Что же будет дальше?

— Я не знаю продолжения,— ответил Крамской.

— Я не верил,— ответил Толстой,— в Чернышевского, особенно в его роман. И в роман, который пишу, не верю. Хочу только опростать себе досуг для другого дела. Хотел писать о Петре, императоре,— не верю в него. И не написал об нем роман потому, что его не уважаю.

— Что же можно тогда уважать, Лев Николаевич?

— Самарскую глушь с мужиками-земледельцами, башкирцев, о которых мог бы написать Геродот. Мужиков, о которых Гомер должен был бы писать, а я не умею. Учусь, даже греческий язык выучил для Гомера. Он и поет и орет — и все правда.

— А как ваш роман, Лев Николаевич?

— Не знаю. Одно верно: Анна умрет — ей отомстится. Она по-своему хотела обдумать жизнь.

— А как надо думать?

— Надо стараться жить верой, которую всосал с молоком матери, без гордости ума.

— Верить в церковь?

— Вот видите, что небо очистилось. Оно голубое. Надо верить, что это голубое — твердый свод. Иначе надо поверить в революцию.

Лев Николаевич шел устало. У куста с красными доцветающими розами стояла Софья Андреевна. Роза была приколота к ее поясу рядом с ключами.

Графиня улыбалась мужу робко и счастливо.

— Я смотрела портреты,— сказала она.— Лев Николаевич тоже очень доволен. Не знаю даже, который выбрать. Может быть, посоветуете нам взять тот большой; кажется, к нему найдется рама. Ну, что вы так долго гуляли по сырости?

— А я вот разговаривал с Иваном Николаевичем, успокаивал его и обращал из петербургской в свою веру.

— Вы, Иван Николаевич, слушайте Левушку,— он у нас счастливый и спокойный. Идемте,— анковский пирог на столе!

Роберт Рождественский



РЕЧКА ИНЯ

Над ущельями,
над дорогой, над сутолокой круч,
убегающей вниз,
уцепившийся за солнечный луч
жаворонок
легкий
повис.

Я его не слышу.
Для меня
жаворонок этот — не в счет.
Я пришел туда, где течет
маленькая речка Иня.
Что, казалось бы, такого в ней? —
Ручеек течет меж камней.
Переплюнуть можно, вброд перейти,
перепрыгнуть без усилий почти.

Речка, речка! Понимаешь ли ты,
почему
по перекрученной тропе
я пришел твоей напиться воды,
я пришел за песней к тебе?
...На взлохмаченном горбу волоча
бревна самой непомерной длины,
продираешься, сердито урча,
и локтями
раздвигаешь
валуны.

Холод тонких мартовских льдин
ты несешь в темнозеленом нутре...
У меня приятель есть один.
Он скривился б,
на тебя посмотрев.
Он сказал бы,
брови выгнув в дугу,
увидав твой бешеный бег:
«Этих глупых маленьких рек
я
никак
понять не могу.
Для чего они?
Кому нужны?
И вообще,
зачем в них вода?
Если в речке нет глубины,
разве ж это речка тогда?
Разве ж она сможет, звеня,
славу о себе
пронести?!»
Ты прости его, речушка Иня!
Несмышленный он еще.
Ты прости!

ОЖИДАНИЕ

Так
любимых
не ждут у порога.
Так
к больному
не ждут и врача...
Пыль на рыжих, степных дорогах —
хоть картошку пеки — горяча.
Люди мнут фуражки в руках,
от полей глаза отводя...
Я впервые увидел,
как
ждут
дождя.
Ждут,
выдумывая всевозможные сроки,
ждут,
надеясь на чудо,
ждут, матерясь:
«Пусть дороги развезит!

Плевать на дороги!
Лишь бы дождь.
Пусть тогда хоть по горло грязь».

А земля горит
от жары — как в броне.
А земля говорит:
«Помогите мне!
Без воды,
 без дождя
больше я не могу...
Помогите!
Ведь я
не останусь в долгу!»
Как ей скажешь:
 «Выдержи!
 Подожди!»

Чем поможешь?
Минуты, как вечность, идут.
Люди ждут и молчат.
Люди
 курят и ждут...
Ты мне пишешь:
в Москве у вас снова дожди.
Снова дождь.
По бульвару опять не пройдешь.
Снова дождь.
По обочинам мчат ручейки.
Дождь идет по Москве.
 Теплый, ласковый дождь...
Там скрываются от него — чудаки!
Надевают плащи,
открывают зонты.
Начинают погоду ругать с утра,
ходят хмурые...
Если б увидела ты,
как негаданно,
 вымахнув из-за бугра,
мчит,
 дороги не разбирающий,
через поле
 к нам
 напрямик
так пылящий —
 будто пылающий
сельсоветовский грузовик.
Председатель выпрыгивает на ходу,
он кричит,

Скоро!

Скоро!

Вы слышите?

Скоро!!

Птицы грянут звонким обвалом,
растворятся, сгинут туманы...
Темнота заползает в подвалы,
в подворотни,
в пустые карманы.
Наклоняется над часами,
смотрит выцветшими глазами
(ей уже не поможет это!),—
и она говорит

голосами

тех, кто не переносит света.

Говорит спокойно вначале,
а потом — клокоча от гнева:

«Люди! Что ж это вы?

Ведь при мне вы

тоже

кое-что

различали...

Шли, с моею правдой не ссорясь,

хоть и медленно, да осторожно.

Я темней

становилась

нарочно,

чтобы вас не мучила совесть,

чтобы вы не видели грязи,

чтобы вы себя не корили...

Разве было плохо вам?

Разве

вы об этом тогда говорили?!»

Ночь, молчи!

Все равно не перекричать

разрастающейся в полнеба зари.

Замолчи.

Будет утро тебе отвечать!

Будет утро с тобой говорить.

Ты себя оставь для своих льстецов,

а с такими советами к нам не лезь!

Человек погибает

в конце концов,

если он

скрывает

свою болезнь!

Мы хотим оглядеться и вспомнить теперь
тех, кто песен своих не донес до утра.
Говоришь, что грязь не видна при тебе?!
Мы хотим ее видеть!

Слышишь?

Пора!

Знать, в каких притаилась она углах,
в искаженные лица врагов взглянуть,
чтобы руки скрутить им,
чтоб шеи свернуть...

Зазвенели будильники на столах.

А за ними нехотя, как всегда,
коридор наполняется скрипом дверей,
в трубах

с клеткотом гулким

проснулась вода...

С добрым утром!

Ты спишь еще?

Встань скорей!

Ты сегодня веселое платье надень.

Встань!

Я птицам петь для тебя велю...

Начинается день.

Начинается день!

Я люблю это время.

Я

жизнь

люблю!

Яков Хелемский

*

ИЗ ДАГЕСТАНСКИХ СТИХОВ

* * *

Эту улицу, полную ярких огней,
Я запомнил и часто тоскую по ней.

Я запомнил — на фоне густой синевы
Фонари в ореоле прозрачной листвы.

Плоских кровель и крытых балкончиков ряд
И созвездия окон, распахнутых в сад.

Слева — ровно горит в типографии свет.
Там на талере высятся стопки газет.

Справа — видный отсюда далеко окрест,
Осажденный толпой театральный подъезд.

Тут сегодня премьера, невиданный сбор —
Ставят новую пьесу о жителях гор.

«Москвичи», мотоциклы и «газ»-вездеход
У подъезда стоят. Прибывает народ.

Перед кассой коня осадил театрал.
Скинув бурку, торжественно входит он в зал.

А на улице — говор, немолкнущий смех.
Воздух свеж, словно выпал поблизости снег.

Вьются бабочки, льнущие к стеклам террас.
...Эта улица мне вспоминалась не раз.

Этих ламп вереницы, и зрительный зал,
И машины — не в городе я увидал.

Не в столице республики Махачкале,
А в горах, где скала подступает к скале.

Это было в районном ауле Кумух.
Глянешь вниз — и захватит над бездною дух.

Глянешь вверх — до луны фонарей веера.
Выше туч полыхает аул Хурюкра.

От ревущей реки и до-самых небес
Все подвластно рубильнику маленькой ГЭС.

Блещет рампа, всю рукоплещет народ.
Это в лакском театре премьеры идет.

Поезжай в эту даль, где повсюду огни,
Где заоблачный город столице сродни.

И, поверь, не утратишь до старости ты
Ощущение свежести и высоты.

В КРАЙНЕМ ДОМЕ

Застрял наш «газик» на крутом подъеме,
Шалил мотор.
И мы остановились в крайнем доме,
В объятьях гор.

Хозяин был и весел и радушен,
Жену позвал,
Велел дюлму сготовить нам на ужин,
Сварить хинкал.

Дочь принесла домашние колбасы,
Кувшин с вином,
Лепешки, сыр и прочие припасы —
Открытый дом!

Жена, однако, глаз не поднимала
И скрылась прочь.

Лицо закутав темным покрывалом,
Исчезла дочь.

Дымились яства, убран был красиво
Обширный стол.
Да вот семью к столу не пригласил он —
Наш хлебосол.

Чуть захмелев, нам объявил хозяин,
Обняв кувшин:
— Вах! Это — бабы глупые... Нельзя им
Среди мужчин.

Пускай идут отсюда... Мне не жалко.
Зачем нужны?
Для ишака аллах придумал палку
И для жены.

Ай, слушай, там, на ихней половине,
Им веселей.
В компании мужской бокалы сдвинем.
Пью за гостей!

И, словно бы ни в чем не виноват он,
И щедр и прост,
Провозгласил он тост витиеватый,
Отменный тост.

Поняв превратно огорченье наше,
Стараться рад,
Он крикнул: — Вах! Ну, пусть они вам спляшут.
Эй, Марджанат!

Две тени вышли, вняв его призыву,
Не видя нас,
Вокруг стола проплыли молчаливо,
Не подняв глаз.

Их танец был так робок, так недолог
И грустен так...
Хозяин встал — они ушли за полог.
Условный знак.

Хотя с дороги пересохло в горле,
Но я не пил,
И вечер голубой, высокогорный
Мне душен был.

Хотя изрядно мы проголодались,
Я есть не мог.
А хлебосол, улыбкою оскалюсь,
Крошил чеснок.

И толковать с ним было бесполезно.
Он счастлив был.
Он то дремал, то целоваться лез он,
То снова пил.

...Мы спать легли с водителем на крыше,
Раскинув плащ.
Мне все казалось, в доме стон я слышу
И тихий плач.

Сверкнул рассвет, росистый и прохладный,
Меж старых скал.
Жена и дочь ушли на виноградник,
Хозяин спал.

В садах дрозды свистели и зарянки.
Под звон ручья
Шли на работу горцы и горянки —
Одна семья.

На мир глядели девушки бесстрашно
В дому родном.
Нам показался ужин наш вчерашний
Нелепым сном.

Дорога, извиваясь, обдавала
Живым теплом.
Лишь на краю аула все стоял он,
Последний дом...

С. Дипкин



ИЗ ВОСТОЧНОЙ РУКОПИСИ

Был я тем, кто жил в долине роз,
В глинобитном домике простом.
Видел я: рассыпал перлы слез
Соловей над розовым кустом.

Так я начал петь. Я находил
Торные пути к людским сердцам,
В башни звездочетов я входил,
И в книгохранилище, и в храм.

Говорил я то, что нужно всем:
Славил обольстительную страсть,
Открывал невольникам эдем
И клеймил неправедную власть.

Утверждал, что нет небесных чар
В четверице необорных сил,
Что, смеясь, вселенную гончар
Из непрочной глины сотворил.

И хотя попрежнему закон
Лживым был и был бессильным раб,
Был я редким счастьем награжден,
Что мой голос нежен и не слаб.

Помню вечер. Терпкое тепло
Оседало. Дольний мир погас.
И до слуха моего дошло:
Некий царь идет войной на нас.

Облик ветра на его стреле.
Брызжет смертью сабли рукоять.
Мало знаков чисел на земле,
Чтоб его дружины сосчитать.

Помню битву горожан с ордой.
Щебнем стали храмы, ливнем — кровь.
Стала дочь моя совсем седой,
Мать моя ребенком стала вновь.

И вошел в мой город властелин
И рассек мой город лезвием,
И разбился глиняный кувшин
В глинобитном домике моем.

И потомки тех, кто пал в борьбе,
Превратились в диких пастухов,
И поет кочевник на арбе
Странные куски моих стихов.

Непонятны древние слова,
Что курганы в поле вековым,
Но в сознание теплится едва
Память о величии былом.

Вот он возвращается домой,
Рядом с буйволом бредет жена.
От земли отделена каймой
Близкая, степная вышина.

Запрокинул голову, поет,
Полусонно смотрит в синеву
И не знает сам, что создает
Смутный мир, в котором я живу.

ИЗ ИНДИЙСКОГО ЭПОСА «МАХАБХАРАТА»

Эпос «Махабхарата» является важнейшим памятником индийской культуры. В эту поэму, созданную разными народами и кастами Индии, вошли древнейшие сказки, мифы, басни, нравоучительные рассказы. В течение двух тысячелетий поэма, записанная на санскрите, составляла основу образования индийцев. До сих пор сохранился обычай торжественного чтения «Махабхараты» на народных празднествах — сначала на санскрите, затем в переводе на современные языки Индии. На темы «Махабхараты» создаются в Индии пьесы и фильмы.

В России знакомство с «Махабхаратой» насчитывает более полутора столетия. Большую популярность приобрело вольное изложение одного из эпизодов эпоса «Наль и Дамаянти», принадлежащее перу В. А. Жуковского.

В 1950 году опубликован первый полный научный перевод эпоса, сделанный с санскрита В. И. Кальяновым. Предлагаемый вниманию читателей эпизод исполнен на основе этого научного перевода.

О ЗМЕЯХ

Их тысяча было — и смирных, и злобных,
И молниевидных, и тучеподобных,

Прекрасных, блиставших жемчужным нарядом,
Ужасных, грозивших губительным ядом,

Прелестных, с покрытыми чернью серьгами,
Уродливых, скользких, с пятью головами,

Огромных и малых, спокойных и шумных,
И полных премудрости, и скудоумных,

Но грозных и слабых друг с другом сближало
С губительным ядом ужасное жало!

Был первенцем Шеша, вторым был Васуки,
Затем — Айравата, познавший науки.

Такшака, — но всех невозможно исчислить,
А сколько их стало, нельзя и помыслить!..

Змеинное в мире плодилось потомство,
Обычаем было у змей вероломство.

Но были и добрые, чистые змеи,
А всех благонравней, сильнее, мудрее

Был Шеша, в обетах своих неизменный,
Усердный паломник, подвижник смиренный.

Покинул он змей и молитвам предался,
Одним только воздухом Шеша питался.

Рвались его мышцы, его сухожилья,
И высохла кожа его от бессилья.

Спросил его Брахма, великий деяньем:
«Зачем ты бичуешь себя покаяньем?

Чего ты желаешь? И в чем твое бремя?
Зачем ты покинул змеиное племя?»

«О Брахма, всю правду обязан сказать я:
Противны мне змеи, противны мне братья!

Жестоки, трусливы, сильны и коварны,
Они ненавидят наш мир светозарный.

Один перед силой другого трепещет,
Один, озлобясь, на другого клевещет.

И дни провожу я в посте, в покаянье,
Чтоб даже в посмертном своем состоянье,

Когда я покину змеиное тело,
Вовек не имел я со змеями дела!»

Всесущий ответствовал, выслушав Шешу:
«Доволен тобою, тебя я утешу.

Ты, лучший из змей, от коварства избавлен,
Твой разум к деяниям добрым направлен.

С любовью твою добродетель приемлю.
Отныне поддерживай шаткую землю

С ее городами, лесами, горами,
С ее рудниками, полями, морями,

О змей, потрудись для всеобщего блага,
Да станут устойчивы суша и влага!»

Был Шеша обрадован светлым уделом,
И стал он поддерживать собственным телом

Богиню земли, что, на змее покоясь,
Вкруг стана моря повязала, как пояс.

Константин Ваншенкин

*

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Средь лиственниц рыжих,
Средь жгучей густой белизны
На смазанных лыжах
С какой я летал крутизны!

Я чувствовал тонко
Мелькающий запах смолы
И палками звонко
Порой задевал о стволы.

Средь снежного блеска,
Над белым простором долин
Свободно и резко
Бросал меня в воздух трамплин.

Всё цветики это,
А ягодкам срок подойдет...
...В то жаркое лето
Я медленно влез в самолет.

Он воздух разрезал
Широким звенящим крылом,
Над полем, над лесом
Поплыл он — надежный, как дом.

Я ждал того мига,
И знал я, чего захотеть,—
Сказали б: «Не прыгай!» —
Всю жизнь согласился б лететь.

Но в будущность веря
И слыша гуденье в ушах,
В раскрытые двери
Я сделал решительный шаг.

Хлестнула с налета
Тяжелого ветра струя.
Был это не кто-то,
Был это, товарищи, я.

Не кто-то другой,
Не лирический общий герой —
С разбитой ногой
Это я
ночевал под горой.

И ждал я рассвета
И верил солдатской судьбе...
Я счастлив, что это
Могу написать о себе.

* * *

Над лагерем звучал протяжно горн.
А мы гурьбой карабкались на склоны,
И резали мясистый свежий дерн,
И свертывали в толстые рулоны.

Спускался вечер. Плыл туман вдали.
Был труд впервые радостен и сладок.
Мы этот дерн к палаткам принесли
И ровно уложили вдоль палаток.

Весь день на нас смотрела с высоты
И возраста, и опыта, и стажа
Любительница яркой красоты —
Вожатая по имени Наташа.

Смотрела, равнодушная в душе,
Порой изображая восхищенье.
(Она теперь состарилась уже
В системе Министерства просвещения.)

Мы уложили дерн и спать легли,
Усталые, довольные такие,
Пропитанные запахом земли
Наивные мальчишки городские.

А что потом? Назавтра встали мы,
Чтоб увидеть в лучах дневного света
Ободранные жалкие холмы,
Как будто бы обкраденное лето.

Палило солнце,— день вступил в права,—
И вдоль палаток лентой опаленной
Почти дымилась бедная трава,
Которой впредь не сделаться зеленой.

И мы не сразу поняли тогда,
Взгляд отводя, не говоря ни слова,
Что жаль не дня напрасного труда,
Что жаль чего-то большего, иного...

Мы думали, что будет торжество,
Но нас в то утро горько обманули.
(А мы так много ждали от него,
А мы такими гордыми уснули!..)

Наташа в безразличии своем
Произнесла умильным голосочком:
«Мы этот дерн противный уберем
И все засыплем желтеньким песочком...»

Хоть бы спросила, нам-то каково!
Мы промолчали строго, как сумели...

Не огорчайтесь, дети! Ничего!
Весной холмы опять зазеленели.

* * *

Зимний лес! От края и до края
Он застыл смолистою стеной,
Сердце беспокойное смущая
Неправдоподобной тишиной.

Он меня гнетет своим величием,
Полным отрешеньем от всего
И высокомерным безразличием
К жизни за пределами его.

Будто нет веселого сиянья,
Городов, затерянных вдали,
Будто нет ни счастья, ни страданья,
Будто нет вращения земли.

Лишь порой взлетает ворон круто,
Потревожив царственную ель,
И бушует целую минуту
Маленькая тихая метель...

Сергей Михалков

*

ДВЕ БАСНИ

РОМАШКА И РОЗА

«Прошу меня простить за обращение в прозе! —
Ромашка скромная сказала пышной Розе. —
Но вижу я: вокруг вашего стебля
Живет и множится растительная тля.
Мне кажется, что в ней для вас угроза!..»
«Где вам судить о нас, — в ответ вспыхнула Роза, —
Ромашкам полевым в дела садовых роз
Не следует совать свой нос!»
Довольная собой и всех презрев при этом,
Красавица погибла тем же летом —
Не потому, что рано отцвела,
А потому, что дружеским советом
Цветка незнатного она пренебрегла.

*

Кто на других глядит высокомерно,
Тот этой басни не поймет, наверно!

ЛЮБИТЕЛЬ КНИГ

К приятелю, чтоб скоротать досуг,
Зашел незванный гость. «Ты стал читать, мой друг?» —
Воскликнул он и посмотрел вокруг
На полные собрания сочинений
Бальзака и Гюго, Ожешко и Дюма,
На новые, нарядные тома,
На книги сказок и стихотворений
Есенина и Маршака,
Что полки заняли почти до потолка...
«Я знаю, я смешон с моим вопросом,
Ты все их прочитал, всю мудрость их постиг.
Но как ты достаешь до самых верхних книг?»
«Да очень просто! Пылесосом!»

*

Известно мне, порой в домах иных
Стирают только пыль с изданий подписных.

В. Розов



ВЕЧНО ЖИВЫЕ

(Драма в трех действиях)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Федор Иванович Боровднн, врач, 57 лет.	Даша, 17 лет } Люба, 18 лет } сослуживцы Бориса.
Варвара Капитоновна, его мать.	Антонина Николаевна Мона- стырская, 33 года.
Борис, его сын, 25 лет.	Варя, работница мыловаренного завода, 20 лет.
Ирина, его дочь, 27 лет.	Нюра, хлеборезка.
Марк, его племянник, 27 лет.	Миша, студент.
Вероника Богданова, 18 лет.	Танечка, студентка.
Анна Михайловна Ковалева, преподаватель истории, 52 года.	Чернов Николай Николаевич, администратор филармонии, 48 лет.
Владимир, ее сын, 21 год.	
Степан, товарищ Бориса, 24 года.	
Кузьмин Анатолий Александрович, сослуживец Бориса, 29 лет.	

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Комната Вероники. Вероника сидит на диване, подобрала ноги. Борис, стоя на подоконнике, приколачивает одеяло, делает затемнение.

Вероника. Ниже, опусти ниже!

Борис. Ниже нельзя, не хватает.

Вероника. Внизу щель! (Подбегает к окну, тянет одеяло вниз.) Пусти, пусти!.. (Все сооружение срывается.) Да держи ты, держи!.. какой!..

Борис. В третий раз. Так нельзя, Вероника! Я сказал: приколочу вверху, потом сделаю внизу. Так нельзя! (Слез с подоконника.)

Вероника. Ну и пожалуйста! Не можешь. Я сама, я сама!.. *(Влезла на подоконник, но ей не достать до верха окна.)*
Дай стул.

Борис. Стул не уместится на подоконнике.

Вероника. Не хочешь — пожалуйста! *(Слезла, взяла стул, он действительно не уместается на подоконнике. Тогда Вероника снимает с письменного стола часть предметов и двигает стол к окну.)*

Борис хочет ей помочь.

Уйди, я сама.

Борис продолжает помогать.

Борис, ты мне мешаешь. Уйди, слышишь!

Борис отошел, Вероника пододвинула стол, поставила на него стул, влезла, потрогала верх окна — примерилась, слезла, взяла одеяло, молоток, гвозди и снова забралась наверх. Приколачивает одеяло, роняет гвоздь. Борис не двигается. Вероника слезла, взяла несколько гвоздей в зубы и снова взобралась на стул.

Борис. Гвоздь не проглоти.

Вероника молча «работает». Криво, косо, но все же кое-как приколотила одеяло. Слезла, сморгит — внизу щель еще больше.

Вероника. Вот теперь другое дело.

Борис. Да, гораздо лучше.

Вероника. Получше, чем было. *(Закрывает щель книгами.)*

Борис. А цветы — на книжную полку.

Вероника. Еще одно слово — и я тебя выставлю. Успокойся, немцы не прилетят.

Борис. Немцы — не знаю, а милиция прилетит обязательно.

Вероника. Пусть.

Борис. Возьмут штраф.

Вероника. Еще чего!

Борис. Да, да. А не заплатишь — отправят на принудительные работы или посадят в тюрьму за нарушение правил светомаскировки.

Вероника. Можешь издеваться, сколько угодно. Окно я оставлю так, а на милицию, на тюрьму, на твои остроты — вот... тьфу! *(Повернулась и смахнула со стола статуэтку.)*

Борис. Для большей убедительности кокни еще настольную лампу и вазочку.

Вероника вдруг расхохоталась, бежит к дивану, забирается на него с ногами.
Борис идет к ней.

Вероника. Только не подходи! Ненавижу тебя! Борька, не подходи, слышишь!

Борис сел рядом с Вероникой, Вероника примостилась около него.

Скажи, я очень глупая? Очень?

Борис. Нет, не очень.

Вероника. А ты умный, все книжки читаешь, занимаешься, работаешь. Скажи, Борька, ты гений?

Борис смеется.

Гений, гений! Все читал, все знаешь... Скажи, сколько человек живет... *(думает)* в Индии?

Борис. Примерно триста пятьдесят миллионов.

Вероника. Ну откуда, откуда ты это знаешь!

Борис. Читал.

Вероника. Где?

Борис. Да это все знают.

Вероника. Все! Значит, одна я не знаю. Тогда я дура особенная, а ты еще меня в жены хочешь взять. Скажи, ну за что ты меня любишь?

Борис. А я тебя не люблю.

Вероника. Врешь... Это мне нравится. Такой умный, а любит глупую. Ну, где справедливость? Нет справедливости. Нет и не надо! Слушай, Борька, сделай, пожалуйста, из меня умную, а то, когда к папе знакомые приходят — ученые-преученные, я сижу и трясусь: вдруг они меня что-нибудь спросят.

Борис. Поступишь в институт...

Вероника. Да... Примут ли еще. Что я понесу приемной комиссии?

Борис. А это? *(Показывает фигурки на столе.)*

Вероника. Ну что это? Наш кот Маврик. *(Взяла фигурку.)* Это он на окошке, на солнышке развалился — три часа дрых, я его и вылепила с натуры. А вчера... Только ты об этом молчи... *(Подошла к шкафу, достала фигурку.)* Вот я что сделала. Называется «Мама встала». Смотри: один глаз у нее еще спит, слипся, волосы распущены, халат и шлепанцы, зевает... Мама увидела, никому показывать не велела. Спрячь, говорит, эту гадость подальше. Ты смотри не проговорись!

Борис. Вот и отнеси ее приемной комиссии.

Вероника. Как тебе не стыдно! Возьму и... *(Схватила молоток, замахнулась на фигурку.)*

Борис. Не надо!

Вероника *(пряча фигурку)*. За лето сделаю что-нибудь особенное... Вот я дура, дура, а у меня тоже есть некоторые замыслы, да, да, не смейся. И знаешь, я не боюсь войны; вообще, когда ты со мной, я ничего не боюсь. Ничего на свете! Впрочем, я завралась. Скажи, ты мог бы сейчас сделать очень, очень неприятное для тебя дело?

Борис. Какое?

Вероника. Не-ет, скажи: мог бы?

Борис. Мог бы.

Вероника. Боренька, миленький, занавесь это проклятое окошко. Милиционера боюсь.

Борис. Мешать не будешь?

Вероника. Нет, нет. Буду сидеть тихо-тихо. Хочешь, даже смотреть не стану. Закрою глаза и не открою, пока не скажешь.

Борис. Сиди и закрой глаза.

Вероника сидит с зажмуренными глазами, Борис идет к окну.

Вероника (после паузы). А разговаривать можно?

Борис. Можно.

Вероника. Я тебе стихи читаю. Хорошо?

Борис. Так и быть, разрешаю.

Вероника. Слушай.

Журавлики-кораблики
Летят под небесами,
И серые, и белые,
И с длинными носами.
Лягушечки-квакушечки
По берегу гуляли,
Все прыгали и шмыгали
И мошек собирали.

Нравится?

Борис. Очень содержательно!

Вероника. Это, кажется, первое стихотворение, которое я выучила, когда была маленькая.

Борис. И последнее.

Вероника. Ты у меня дождешься!..

Борис. Молчу.

Вероника. Скажи, тебя могут взять в армию?

Борис. Конечно. Я даже хотел...

Вероника. Сам бы пошел?

Борис. А что, возьму и пойду.

Вероника. Хитрый, хитрый. Знаешь, Борька, это даже нехорошо. Отлично знаешь, что тебе дадут броню, вот и хорошишься.

Борис. Почему ты так решила?

Вероника. Знаю, всех умных бронируют.

Борис. Значит, по-твоему, одни дураки воевать будут?

Вероника. Больше я с тобой не разговариваю.

Борис. Если и будет броня, то одна на двоих. Или я, или Кузьмин.

Вероника. С кем ты себя равняешь?

Борис. Практику он знает в сто раз лучше меня.

Вероника. Хватит, хватит!.. Пусть твой Кузьмин знает все на свете... А кто к Первому мая премию получил? Ты или Кузьмин? Кому недавно благодарность вынесли — тебе или

Кузьмину? Сам хвастался. Ты работаешь на заводе государственного значения, ну и все!..

Борис. Вероника, это серьезный разговор. Я хотел с тобой поговорить...

Вероника. А я не желаю. И не смей меня называть «Вероника», слышишь! Кто я?

Борис молчит.

Если ты сейчас не скажешь, кто я, я знаю, что сделаю? Сначала открою один глаз, потом другой, потом вскочу, подбегу к тебе и... *(Говоря, проделывает все это, становится рядом с Борисом на подоконник и хватается за штору-одеяло, грозя сорвать ее.)* Кто я?

Борис. Белка... Белка... Только не мешай.

Вероника. То-то. *(Прошлась по комнате с видом победительницы.)* У меня к тебе еще один вопросик, можно?

Борис. Можно.

Вероника. Что ты мне подаришь завтра?

Борис. Это секрет.

Вероника. Не скажешь?

Борис. Ни за что.

Вероника. Ну, это можешь не говорить. Только если что-нибудь вкусное, я сразу съем и скоро забуду. Ты подари мне, чтобы было на долгую, долгую память, чтоб до старости. Мы будем дедушка и бабушка, посмотрим на эту вещь и скажем: это подарено, когда Белке исполнилось восемнадцать лет. Доживу до ста лет, и у меня будет сто твоих подарков.

Борис сделал штору, слез с подоконника, убирает инструменты.

А мне нравится затемнение: из окон, что напротив, всегда видно, что в комнате делается, а теперь... Поцелуй меня.

Борис целует.

Хорошо... и не видно.

Стук в дверь.

Войдите, войдите.

Входит Степан.

Степан. Богдановы здесь живут?

Борис. Степан!

Вероника. Я Богданова.

Степан. А!.. *(Борису.)* Та самая?

Борис. Она.

Степан *(здороваясь с Вероникой)*. Степан. *(К Борису.)* Говорит все «подзапал», придыхая.) Получил повестку... сейчас. Побежал к тебе... тоже лежит. Твои волнуются... сказали, здесь... я побежал...

Борис. На какое число?

Степан. Чудаки, понимаешь, — на сегодня с вещами. Забеги в контору, возьми расчет... Я в бухгалтерии сказал... пождут... А то доверенность оставь...

Борис. Сегодня?

Степан. В двадцать два часа. Глоточек выпью — все бегом. *(Подошел к графину, пьет.)*

Вероника. Что это?

Борис. Видишь, Вероника, я думал еще несколько дней пробуду здесь, а теперь... Пришла повестка, в армию.

Вероника. Тебе?

Степан. И мне тоже. Мы оба добровольцами...

Вероника *(Борису)*. Ты уезжаешь?.. Сам? А я? Как же я?

Степан. Наклеывается разговорчик — я побежал. *(Веронике.)* Не плачьте, девушка, ваш Борька — золото! Эх, у меня дома тоже!.. Ну что ты с ними поделаешь!.. Не горюйте. Всего! *(Убежал.)*

Вероника и Борис одни. Вероника смотрит непонимающим взглядом.

Борис. Так надо... Иначе нельзя было.

Вероника. Нет, нет. Он же сказал: ты сам, добровольно. Ведь я одна. Что ты, ведь я люблю тебя.

Борис. Пойми, сейчас хорошо, тихо, но война идет, она уже пришла, Белка. Я подал заявление сам, это верно... Не хотел тебе говорить пока... завтра твой день рождения... И вот — надо идти. Как же я мог сделать иначе? Знаешь, сейчас всем будет трудно. Будет трудно работать, учиться, жить, а всего труднее воевать. Если я честный, я должен быть там, где всего труднее, понимаешь?

Вероника. Конечно, конечно...

Борис. Ничего не случится, я знаю. А потом мы будем жить вместе долго-долго, до ста лет. Пойдем к нам, я тебе все объясню, ты поймешь, ты умная.

Вероника. Чего же объяснять — я все понимаю. Я не дуручка.

Борис. Ты сердишься?

Вероника. Иди, дома волнуются.

Борис. А ты?

Вероника. Я приду. Скоро. Очень скоро. Я хочу побыть одна... немножко... несколько минут. Иди, иди.

Борис. Только не опоздай, Белка.

Вероника. Нет, нет. *(Вдруг бросается Борису на шею.)* Боря! Боренька мой!!

Борис. Ну, что ты, что? Не надо.

Вероника *(отпуская Бориса)*. Не буду, не буду.

Борис. Идем вместе.

Вероника. Нет, нет... иди.

Борис. Ты смотри не плачь.

Вероника. Нет, нет... не буду.

Борис подходит к Веронике, хочет ее обнять. Вероника отстраняется.

Я приду.

Борис. Не могу так уйти.
Вероника. Ну... (*Целует Бориса.*) Иди.

Борис выходит из комнаты. Вероника подошла к двери, стоит, слушает. Тишина. Замечает на столике у вешалки книги. Взяла их.

Книжки оставил...

КАРТИНА ВТОРАЯ

Комната в квартире Бороздиных. Видна столовая и часть передней. Варвара Капитоновна укладывает в дорожный мешок вещи. Марк с упорством разучивает на рояле пассаж.

Варвара Капитоновна (*кричит*). Ирина!.. Марк, подожди, пожалуйста.

Марк прекращает игру.

Ирина, захвати утюг!

Голос Ирины. Слышу!

Варвара Капитоновна. Время, время летит... И никого. Знает ли он?

Марк. Степан побежал — скажет.

Варвара Капитоновна. Но у Вероники ли он?

Марк. На работе нет — значит, там.

Варвара Капитоновна. Никому ничего не сказать. Так не похоже на Боря.

Марк. Очень похоже. Ставить в известность после совершения факта — его манера.

Варвара Капитоновна. Решить одному, не посоветовавшись.

Марк. Да, довольно странно.

Варвара Капитоновна. Достань, пожалуйста, из его ящика запонки. Те, что в коробочке из-под перьев.

Марк. Вы еще пару крахмальных воротничков не забудьте.

Варвара Капитоновна. Не возражай, пожалуйста. Места займут немного, а ему будет приятно. Вероникин подарок.

Марк (*достает запонки*). Вряд ли у него там будет время для лирики.

Варвара Капитоновна заворачивает запонки в бумагу, кладет в мешок. Входит Ирина, в руках у нее утюг.

Варвара Капитоновна (*взяв утюг*). Ну, что же в конце концов, отец придет?

Ирина. Я же звонила. Он на операции. И Бориса все нет.

Марк. Исчез!

Варвара Капитоновна (*глядит рубашку*). А нельзя ли ему до завтра задержаться?

Марк. В повестке точно — в двадцать два часа.

Варвара Капитоновна. Какая-то бумажка и уносит человека сразу, вдруг.

Марк. Да... И сопротивляться нельзя.

Варвара Капитоновна (*показывая на рубашку Ирине*). Это ты ему подарила, помнишь?

Ирина. Разве?

Варвара Капитоновна (*Марку*). Позвони Феде еще раз — может быть, освободился.

Марк (*набирая номер*). Не знаю, как и сказать.

Варвара Капитоновна. Не сразу, ведь будто снег на голову.

Марк (*в трубку*). Больница? Доктор Бороздин освобожден? Попросите, пожалуйста. (*Ирине, показывая на рояль*.) Закрой крышку, пыль налетит. (*В трубку*.) Дядя Федя? Дядя Федя, ты можешь сейчас домой приехать? Да нет, особенного ничего. Тут Борис трюк выкинул... (*Варваре Капитоновне*.) Он ругается, не знаю, как подойти.

Варвара Капитоновна. Дай мне (*берет трубку*). Федя, это я. Да нет, нет, это Марк напрасно сказал. Ничего не случилось. Ты во сколько сегодня кончаешь работу? Пожалуйста, не горячись. Повторяю тебе: решительно ничего не случилось. Сидим дома, тихо, славно... Я передаю трубку Ирине...

Ирина (*взяв трубку*). Папа, Борис через час уезжает в армию. Экстренно? Оказывается, он еще двадцать третьего числа подал заявление, сам. Нет, его нет. Ну, приезжай, дома и отругаешь. (*Вешает трубку*.)

Варвара Капитоновна. Всех на ноги поднял, весь дом.

Марк. Все это странно. Ему полагалась броня, мы это отлично знали. И Степан говорил... Глупость он какую-то делает, глупость.

Ирина. Глупо, что не сказал, а остальное все, может быть, очень правильно.

Марк. Еще ты пойдешь в санитарки запишись.

Ирина. Надо будет — и пойду.

Марк. А я считаю: если вышестоящие органы находят нужным оставлять человека здесь, в тылу, значит именно здесь он наиболее полезен. Винтовку держать каждый умеет.

Варвара Капитоновна. Время, время летит.

Марк. Придет мне повестка — пойду, не заплачу.

Ирина. Свинство, если он все еще у Вероники.

Марк. А ты что думала? Он там будет сидеть до последней минуты — сюда только за вещами забежит. Впрочем, в этих делах ты мало понимаешь.

Входит Борис.

Варвара Капитоновна. Боренька, Боря!

Ирина. Ты что, с ума сошел?

Борис. Вы хотите знать, почему я вам ничего не сказал? Так вот: только затем, чтобы не было этих восклицаний и долгих обсуждений. Все. *(Смотрит на вещи, которые собирает бабушка, на стол, накрытый Ириной, и смущается.)*

Варвара Капитоновна. Нехорошо, Боренька.

Марк. А мы тебя ждали, ждали.

Ирина. Что с тобой?

Марк. С Вероникой поругался?

Ирина. Ты думаешь, мы осуждаем тебя? Да я... я завидую тебе.

Марк. Ишь ты!

Ирина. Балда с высшим музыкальным образованием. *(Вышла.)*

Марк. Строга.

Варвара Капитоновна. Сказать надо было, Боря, хотя бы отцу.

Борис *(показывая на вещевой мешок)*. Бабушка, ну куда так много? Нужно только необходимое.

Варвара Капитоновна. Да все кажется необходимым.

Борис. Главное — полегче. Папе звонили?

Варвара Капитоновна. Сейчас придет.

Марк. Ругался в трубку на чем свет.

Борис *(подавая Марку тетради и чертеж)*. Отнеси завтра на завод. Найдешь там Кузьмина Анатолия Александровича — отдай. Или позвони ему.

Марк. Зачем? Конечно, отнесу. Надо вина купить, я сбегаю.

Борис. Не обязательно.

Марк. Ну, такой случай.

Борис. Традиционная выпивка на проводах, с горя?

Марк. Я красенького, за твои успехи. *(Ушел.)*

Варвара Капитоновна. Может быть, и традиционная, но и я непременно рюмочку выпью... Почему ты без Вероники?

Борис. Она сейчас придет.

Варвара Капитоновна. Что у нее?

Борис. Придет... *(Роется в ящике, откуда Марк достал запонки.)*

Варвара Капитоновна. Я их положила, Боря. Вас сразу... на фронт?

Борис. Наверно. *(Садится к столу, пишет.)*

Варвара Капитоновна. Вот и до нашей семьи дошло. У Аносовых обоих сыновей взяли. В каждой семье волнение, провода, слезы. Сорокины из Москвы уезжают, — говорят, опасно. Как ты думаешь, Боря, долетят до Москвы?

Борис пишет.

Наверное, долетят. А может быть, и нет... Что будет, что будет!.. Столбом поднимается... Я не поеду. Лучше умереть здесь, чем где-то скитаться по чужим углам. Тревожное время...

Борис окончил писать. Взял сверток, с которым вошел, развернул его. Там большая плюшевая белка с пушистым хвостом и ушами. На ней подвешено лукошко с золотыми орехами, перевязанное лентой. Борис развязал ленту, высыпал орехи, положил на дно записку, высыпал орехи обратно, завязал ленту, завернул сверток.

Борис. Бабушка, я к вам с просьбой.

Варвара Капитоновна. Что, Боренька?

Борис. Завтра утром, если можно — пораньше, отнесите ей.

Варвара Капитоновна. Что это? Нет, нет, я не спрашиваю. Так что — отдать и?..

Борис. Завтра у нее день рождения. И еще: если ей будет трудно, мало ли что — война, помогите ей.

Варвара Капитоновна. А если я умру?

Борис. Вам умирать не полагается, особенно теперь, когда у вас столько секретов.

Варвара Капитоновна. А я вот возьму и умру!..

Входит Федор Иванович.

Федор Иванович. Э-эх! Двадцать пять лет и быть, извини меня, таким дураком! Что мы — дети? Игрушки это? Прятки? Романтизма хочешь? Характер! Где Ирина? Марк?

Варвара Капитоновна. Ирина на кухне — кофе готовит, а Марк пошел купить красенького.

Федор Иванович. Кофе? Красенькое? Мельчают люди, мельчают. (*Кричит.*) Ирина!

Входит Ирина.

Ирина. Наконец-то!

Федор Иванович. У меня в шкафчике, на заветной полочке — неси.

Ирина вышла.

А Вероника где?

Борис. Сейчас придет.

Федор Иванович. Где она?

Борис. Дома, занята.

Федор Иванович. Чем это занята? Нехорошо. Должна быть здесь, — жених уезжает.

Борис. Не жених.

Федор Иванович. А кто?

Борис. Ну, просто так.

Федор Иванович. Что значит «просто так»? «Просто так» — это что-то подозрительное.

Борис. Я не в том смысле.

Федор Иванович. А в каком?

Борис. Хватит тебе придирааться.

Федор Иванович. Ты что, поспорил с ней?

Борис. Нет.

Федор Иванович. Смотри! В такие минуты, Борис, только радость, только прямота! (*Ирине, которая вошла с пухляком в руках.*) Разбавь согласно правилам. (*Борису.*) Тогда и там будет о чем вспоминать, будет куда возвращаться, будет хотеться жить, жить назло всем бомбам и пулеметам. Жить, чтобы вернуться сюда, где твои самые близкие люди, вернуться славно, поднявши кверху нос!

Входит Марк.

Марк. Купил.

Федор Иванович. Красненькое?

Марк. Да.

Федор Иванович. Вот и будешь сам лакать. Мы найдем более содержательную жидкость. Все в сборе? Садитесь.

Все рассаживаются вокруг стола.

Ирина. Марк, не садись на мое место.

Марк. Откуплено?

Федор Иванович. Не откуплено, а ты знаешь, я не люблю, чтобы за столом мелькали. Сидели так двадцать лет и еще пятьдесят просидим. (*Борису.*) Ты на это место вот каким сел — от горшка три вершка. Так оно твое и будет, пока свой дом не заведешь. А Ирина — когда замуж выйдет, я ее стул на чердак выброшу.

Ирина. С диссертацией отмучаюсь — и выйду.

Федор Иванович. Ты бы мои записки посмотрела, я их лет тридцать собирал: выписки, факты, наблюдения. Думал книгу написать, звание получить. Работал, работал, все думал — потом, а теперь вижу — поздно.

Ирина. Я уже кончаю их просматривать.

Федор Иванович. Ну как?

Ирина. Заключение потом.

Федор Иванович. Ого! Того гляди двойку залепишь?

Ирина. Посмотрим.

Сборы у стола кончены. Федор Иванович поднимает рюмку.

Федор Иванович. За твою жизнь, Борис!

Все пьют. Стук в дверь.

Марк. Вероника! (*Бежит к двери.*)

Входят Даша и Люба.

Даша. Здравствуйте!

Люба. Здравствуйте! Борис Федорович, мы к вам от завода...

Д а ш а. Нам поручили передать эти подарки и сказать от имени заводского комитета...

Л ю б а. И комсомольской ячейки...

Ф е д о р И в а н о в и ч. Держитесь, мол, товарищ Бороздин, до последней капли крови, бейте проклятых фашистов, а наш завод здесь, в тылу, будет выполнять и перевыполнять... Это мы все знаем — не бойтесь, не подведем. Вы лучше садитесь и выпейте на дальнюю дорогу моему сыну Борьке.

Д а ш а. А как же подарки?

Ф е д о р И в а н о в и ч. А подарки возьмем. Что там? (*Разворачивает сверток.*) Безопасная бритва, мыльница, почтовая бумага, конверты... все что полагается. (*Разворачивает второй сверток.*) Пирожные. Одни «наполеоны».

Л ю б а. Это мы от себя по дороге купили. Борис Федорович, мы видели, в буфете всегда эти пирожные брал.

Ф е д о р И в а н о в и ч. Ешь, Борис, больше — воевать по-наполеоновски будешь. Подарок со смыслом! Мы по первой выпили, так теперь по второй. (*Наливает.*) Жизнь на земном шаре еще не устроена так складно, как нам этого бы хотелось — вот ты и уезжаешь. За тебя, Борис! (*Пьет.*)

Д а ш а. Вчера я брата провожала — мама так плакала.

Ф е д о р И в а н о в и ч. А вы?

Д а ш а. И я плакала.

Ф е д о р И в а н о в и ч. От месткома или так, по-домашнему?

Д а ш а (*смеется*). По-домашнему.

Л ю б а. А у нас провожать некого — три сестры и мама... Даже неудобно — у всех уезжают.

Ф е д о р И в а н о в и ч. Да, когда наши вернутся, вы нам позавидуете.

М а р к. В том-то и ужас, что не все вернутся.

Ф е д о р И в а н о в и ч. А кто не вернется — тем памятник до неба. И каждое имя — золотом! За тебя, Борис. (*Пьет.*)

Стук в дверь.

Не иначе, от дирекции.

В а р в а р а К а п и т о н о в н а. Войдите.

Входит Кузьмин.

К у з ь м и н. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, я не кстати: проводы сына, я понимаю... Простите, я даже не отрекомендовался. Кузьмин — товарищ Бориса Федоровича по работе. Борис Федорович, конечно, вы поступили не совсем честно... простите, — не совсем правильно. Вы постарались опередить судьбу. Но, разумеется, смешно было бы вас осуждать особенно мне. Вы отказались от брони, а, вероятно, именно вы получили бы ее. Я остаюсь. (*Ко всем.*) Конечно, может быть, это нехорошо, но война, фронт... меня, знаете, как-то не мают. Вы знаете, мне даже неприятно, когда мальчишки

стреляют из ключа: набьют в обыкновенный ключ от замка спичечных головок, заткнут гвоздем, а потом как ахнут об стенку. Чрезвычайно неприятно. Конечно, если и я понадоблюсь... ну что ж, возьму, как говорят, штык в руки... Борис Федорович, простите, на прошлой неделе мы говорили с вами о соединительной трубке к цапфе...

Борис. Да, да, я сделал расчет. Как раз просил брата отнести вам. Вот *(подает Кузьмину тетради и чертеж)*. В расчете получилось — за практику не ручаюсь. Проверьте.

Федор Иванович. Товарищ Кузьмин, присаживайтесь за стол.

Кузьмин. Благодарю вас, благодарю — ни под каким видом. Спешу. *(Борису.)* Обещаю вам работать не покладая рук за двоих, за десятерых. Кстати, Люба, хотя вы и молодая лаборантка, но порядок должны знать: ушли и оставили на столе прибор. Могла попасть пыль. За него две тысячи золотом заплачено. Так мы с вами можем не сработаться. *(Всем.)* Я еще раз прошу прощения. Ну, Борис Федорович, до встречи! *(Жмет Борису руку.)* Разрешите, я вас обниму. *(Обнимает и целует Бориса.)* Только, пожалуйста, пусть с вами ничего не случится... а то я буду чувствовать себя совершенно неловко. *(Улыбается.)*

Борис. До свидания, Анатолий Александрович. Ничего не случится, мы еще поработаем вместе.

Кузьмин *(всем)*. Всего доброго. Будь она проклята, эта война. Ну до чего же она некстати! *(Ушел.)*

Федор Иванович. Да, Чапаев из него не получился бы.

Марк. Рад, что Борис идет вместо него. Трус. Верно, Борька, может быть, ты из-за него?

Борис. Не трус он.

Люба. Просто глубоко штатский.

Борис. Человек опытный, знающий. А мне надо быть там. Понимаете — там... Я не хочу говорить.

Федор Иванович. А ты не говори. Умный человек и так поймет, а для дураков и язык трепать нечего.

Ирина. Борька, ты мне родной брат, а я тебя вижу как будто впервые.

Федор Иванович. Семейные излияния потом. Что же Вероника не идет?

Борис. Да она сказала — может, и не успеет. Мы попрощались с ней.

Федор Иванович. А я слышал, как ты ее зовешь — Белка. Вы тут в комнате шуры-муры, а я ухо к двери и — подслушиваю. Вот уж белка так белка! Пусть сюда почаще приходит, попрыгает, а то Ирина не по годам серьезна, Марк — для него свет клином на музыке сошелся, бабушка — отпрыгала свой век.

Варвара Капитоновна. Вчера в домоуправлении рассказывали, как надо тушить зажигательные бомбы — может быть, мне еще придется попрыгать — на крыше.

Борис. Мне пора, папа.

Варвара Капитоновна. Уже?

Федор Иванович. Ну что же, пора так пора.

Ирина (*подавая Борису маленькую книжку*). А ось будет свободная минута, откроешь — Лермонтов. (*Обнимает и целует брата.*)

Марк. Ну вот, сказал бы раньше, я бы что-нибудь приготовил.

Борис. Подари свою самописку, если не жалко.

Марк. Нашел подходящий момент выудить! Бери и пиши чаще. (*Целует Бориса.*)

Варвара Капитоновна. Раньше крестик бы я на тебя надела, а теперь — не знаю, что дать — разве пуговицу от платья...

Федор Иванович. Здорово, срезай с нее пуговицу, самую большую, вон — с пояса.

Борис берет нож и срезает пуговицу. Бабушка дает ее и крестит.

Варвара Капитоновна. Все-таки лучше.

Федор Иванович. Ну, мне дарить нечего, и так не забудешь — ругал я тебя немало. Провожать не пойду — устал. Дай глаза. (*Целует Борису глаза.*) Вот девушки проводят.

Даша. Конечно.

Люба. Проводим.

Борис (*Марку, тихо*). Ты не ходи.

Марк. Почему?

Борис. Останься с отцом.

Марк. Понял. До трамвая провожу.

Варвара Капитоновна (*отведя Бориса в сторону*). Боря, ты по какому адресу сейчас едешь?

Борис. Не нужно, бабушка. Так даже лучше. Вы скажите ей: с дороги напишу. Если сейчас придет — отдайте (*кивает на сверток*), там записка.

Марк. Тронулись!

Варвара Капитоновна. Дай в последний раз погляжу.

Федор Иванович. Бабушка!..

Все выходят, кроме Федора Ивановича и Варвары Капитоновны.

Выпить разве еще маленькую?

Варвара Капитоновна. Выпей, Федя.

Федор Иванович хочет выпить, но отстраняет рюмку.

Не пьется одному?

Федор Иванович. Не пьется. *(Собирается уходить.)*

Варвара Капитоновна. Ты куда?

Федор Иванович. На дежурство в больницу.

Варвара Капитоновна. Ты же в пятницу дежурил.

Федор Иванович. Сменю Федорова — старик устал, а мне ведь все равно не спать.

Федор Иванович ушел. Варвара Капитоновна убирает в передней. Двери в комнату закрыты. Со свертком в руках входит Вероника.

Варвара Капитоновна. Вот вы, Вероника!

Вероника. Здравствуйте, Варвара Капитоновна!

Варвара Капитоновна. Здравствуйте, здравствуйте! Боренька все глаза на двери просмотрел.

Вероника. Хотелось что-нибудь купить ему на дорогу. Зашла в магазин, а когда вышла, никак не могла улицу перебежать — мобилизованные идут... колонны... Трамваи остановились, машины тоже... все замерло... только они идут, идут... Очень много... Бабушка, попросите, пожалуйста, Борю сюда на минутку... Я не хочу входить.

Варвара Капитоновна. Он уже ушел, Вероника.

Вероника. Ушел? Куда?

Варвара Капитоновна. Разве вы не знаете?.. Туда, на сборный пункт. Пройдемте в комнаты.

Вероника машинально идет за Варварой Капитоновной.

Вероника. Скоро как... Мне хотелось купить... а потом — все шли, шли... Куда он поехал?

Варвара Капитоновна. Не сказал. Наверное, где-нибудь на Красной Пресне. Ируша и девушки провожать пошли.

Вероника. Какие девушки?

Варвара Капитоновна. С завода приходили. От комсомольской организации и от месткома, кажется. Милые, такие славные. И Федя держался хорошо. Слава богу, обошлось без слез.

Вероника. Без слез...

Варвара Капитоновна. Боря записку вам оставил и вот это. *(Подает Веронике сверток.)*

Вероника. Что это?

Варвара Капитоновна. К завтрашнему дню — у вас рождение. Там и записка.

Вероника *(развернув сверток)*. А где же записка?

Варвара Капитоновна. Тут. Разве нет?

Вероника. Нет нигде. Может быть, на столе положил?

Варвара Капитоновна *(осматривая стол)*. Не видно. Видимо, забыл впопыхах, с собой унес.

Вероника. Забыл?

Варвара Капитоновна. Он вам с дороги скоро напишет.

Вероника. До свидания.

Вероника идет к двери. В это время входит Марк.

Марк. Здравствуйте, Вероника. Что же вы опоздали?.. О, какие у вас грустные глазки. Не уходите, подождите здесь. Садитесь. У нас в доме вы как родная. Мы все вас любим, честное слово, — дядя Федя сейчас об этом говорил. В вас есть какая-то светящаяся точка, звездочка... Ну, не грустите, берите пример с Бориса. Молодец — смеется, острит... только бы жив остался. (*Раскладывает ноты.*) Милая Вероника, человечество воюет без передышки — не в одном месте, так в другом. Подошла наша очередь — ну что ж, повоюем, в грязь лицом не ударим. (*Садится к роялю.*) А по-моему, главное — и во время войны сохранять ритм нормальной человеческой жизни. Даже войне не отдавать своих радостей, своих заветных желаний. Пусть война, а я буду тренировать свои пальцы. Вот так. (*Играет пассаж.*) Вот так!.. (*Играет.*) Вот так!.. (*Играет.*)

Вероника поднялась, чтобы уходить.

Останьтесь, Вероника, у нас вы как будто рядом с ним. И, знаете, в минуту грусти особенно помогает музыка. Послушайте. Бабушка, не гремите посудой.

Марк играет на рояле. Сквозь музыку врывается шум шагов — за окном идут колонны бойцов. Вероника прислушивается к шагам, медленно идет к окну, приоткрывает штору. Бабушка гасит свет и тоже подходит к окну, затем подходит и Марк. Все трое смотрят в окно.

Варвара Капитоновна. Москвичи идут.

Марк. В этом есть что-то торжественное... и жуткое.

Варвара Капитоновна (*тихо, в окно*). Возвращайтесь живыми!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Совершенно чужая комната, в которой поселились Бороздины после эвакуации из Москвы. Однако некоторые вещи знакомы нам по второй картине. В комнате Вероника и Анна Михайловна. Анна Михайловна пьет кофе за маленьким столиком и читает письмо. Вероника — в своем любимом положении, с ногами на диване.

Анна Михайловна (*отложив письмо*). Хотите кофе, Вероника?

Вероника. Спасибо, нет.

Пауза.

(*Говорит бездумно.*) Журавлики-кораблики летят под небесами...

Анна Михайловна. Последняя коробка. Хорошо бы где-нибудь достать.

Вероника. На рынке. У спекулянтов всегда все есть.

Анна Михайловна. Дорого. В Ленинграде я его редко пила, боялась за сердце. А муж любил, особенно вечером, перед работой. Он много работал по вечерам.

Вероника. Анна Михайловна, вы очень любили своего мужа?

Анна Михайловна. Мы с Кириллом прожили вместе двадцать девять лет, и сказать, что я любила его — и мало и неверно. Это была часть меня. Он, я и Владимир составляли одно целое, невозможно врозь. А вот, оказывается, на свете все возможно.

Вероника. Вы сильная женщина, Анна Михайловна!

Анна Михайловна. Это кажется.

Пауза.

Вероника.

Журавлики- кораблики

Летят под небесами,

И белые, и серые...

Тьфу, привязались какие-то глупые стихи!.. Живем в этих комнатах целую вечность, а я все не могу привыкнуть, как будто сосланная.

Анна Михайловна (*снова взяв письмо*). Володя скоро выписывается из госпиталя, а когда — хотя бы сообщил приблизительно. Так и остался легкомысленным. А ему сегодня двадцать один год исполнился.

Вероника. Сегодня? Поздравляю вас.

Анна Михайловна. Спасибо. Он очень славный мальчик. Я даже фотографии его не имею — решительно ничего не осталось.

Вероника. А мы захватили много вещей, все благодаря стараниям Марка.

Анна Михайловна. Да, ваш муж очень практичный человек.

Вероника. А мне ничего не надо. Я бы хотела быть, как вы — одна.

Анна Михайловна. Вас любит Федор Иванович, и, мне кажется, не меньше, чем свою родную дочь.

Вероника. А я не могу любить его.

Анна Михайловна. Он все понимает, Вероника.

Вероника. Знаю, знаю... Который сейчас может быть час?

Анна Михайловна. Вероятно, шестой вначале.

Вероника. Бесконечные дни.

Анна Михайловна. Я не знаю Бориса Федоровича, но говорят, это был в высшей степени умный и порядочный юноша.

Вероника. Был. Пропал без вести — не обязательно умер!

Анна Михайловна. Конечно, конечно. Я просто неправильно выразилась.

Вероника прошла по комнате, подошла к окну.

Вероника. Март, а такая вьюга.

Анна Михайловна. У нас в Ленинграде март тоже всегда снежный.

Пауза.

Можно вам задать вопрос? Если вы на него не захотите ответить — не надо, я не обижусь.

Вероника. Да?

Анна Михайловна. Почему вы вышли замуж за Марка Александровича?

Пауза.

Вероника. Вы пьете без сахара?

Анна Михайловна. Экономлю. Придет Володя, испеку что-нибудь.

Вероника. А у меня раньше было много-много вкусного. И сейчас есть. *(Идет к комоду, достает оттуда банку.)* Вот. Целая корзина золотых орехов. *(Задумалась.)* Когда я выбрала из метро, побежала к дому... А там... развалины... дымилась... пошла по улицам... Пришла к Бороздиным... Ночью... Был один Марк... Он много говорил со мной... Помоему, хорошо говорил... От Бори ничего не было... Федор Иванович не бывал дома целыми днями... А Марк... Словом, мне показалось — я спасаю себя... Я совершила что-то неповторимое... страшное... Вы понимаете меня?

Анна Михайловна. Да.

Вероника. Спасибо. *(Помолчав.)* Вам нравится игрушка?

Анна Михайловна. Очень. Вероятно, сделана по заказу. В магазинах я таких никогда не встречала.

Вероника. Когда-нибудь я заверну ее и уйду, тихонько, одна.

Анна Михайловна. Куда?

Вероника. Не знаю. На самый край света. *(Очень тихо.)* Я умираю, Анна Михайловна.

Анна Михайловна. Что вы, Вероника!

Вероника. Я умираю, Анна Михайловна... Поступила здесь учиться — не могла, ушла. Работала на заводе только две недели — тоже ушла. Все рассыпается.

Анна Михайловна. Это война, Вероника.

Вероника. Да... трудно учиться, работать, жить... Нет, нет. Вы, Ирина, Федор Иванович, Марк — все волнуются, работают, живут. А я... я все потеряла.

Анна Михайловна. У вас осталась жизнь, Вероника. Она вся впереди — долгая, неизвестная.

Вероника. А зачем жить? Вот вы преподаете историю, вы умная, скажите — в чем смысл жизни?

Анна Михайловна (*помолчав*). Может быть, в том, что остается после нас. Этот дом построен, видимо, в середине прошлого века. Люди, клавшие кирпичи этих стен, исчезли, но мы с вами нашли здесь, в эти страшные дни, пристанище; это чашка — чьи руки ее сделали, не знаю, — но я сейчас пью из нее кофе — она удобна, изящна. А разве ваши учителя не оставили глубокого следа в вашем сердце? Человечество из поколения в поколение передает другим труды своих рук, мыслей, духовных порывов. Идите работать, Вероника, не ищите ответов на вопросы внутри себя, там вы их не найдете. И оправданий себе не подыщите — вы слишком честны для этого.

Входит Марк.

Марк. Николай Николаевич не приходил?

Вероника. Неужели придет?

Марк. Не приходил?

Вероника. Нет.

Анна Михайловна собирается уходить.

Посидите, Анна Михайловна.

Анна Михайловна. Я пойду к себе — Марк Александрович, вероятно, устал.

Марк (*фальшиво*). Вы не мешаете, Анна Михайловна, сидите.

Анна Михайловна. Мне скоро на лекцию. (*Ушла.*)

Марк. Если придет Чернов, ты, пожалуйста, будь с ним повежливее.

Вероника. Противный он.

Марк. Мне он, может быть, в сто раз противнее, чем тебе, а ничего не поделаешь — начальство.

Вероника. И деньги у тебя взаймы берет, а никогда не отдает.

Марк. Зато он какой администратор! Концерты устраивает самые выгодные.

Вероника. Особенно неприятно смотреть, как ты лебещишь перед ним.

Марк (*строго*). Я никогда перед ним не лебежуху... то есть не лебещу... то есть... У, какое идиотское слово!

Вероника. Ты совсем перестал заниматься, Марк.

Марк. Да, иногда в отчаянье прихожу. Ох, эта война, война!.. Ну ничего, будет же ей конец. Самое главное сейчас — выжить. Понимаешь, главное — выжить!

Стук в дверь.

Пожалуйста.

Входит Чернов. Это солидный, степенный, хорошо одетый мужчина.

Чернов. Добрый вечер, Вероника Алексеевна.

Вероника. Здравствуйте.

Чернов. Марк Александрович, вы меня извините за вторжение...

Марк. Что вы, Николай Николаевич, мы очень рады. Пожалуйста, раздевайтесь.

Чернов (*снимая шубу*). Немцы-то как на Кавказе продвинулись, читали? Ничего, мы еще им покажем себя. Можно, я положу шляпу на этот столик?

Марк. Пожалуйста, пожалуйста.

Чернов (*проходя в центр комнаты*). Уютно у вас, тепло... А у меня жена с детьми в Ташкенте... Живу, как бесприютный.

Вероника. Я пойду в магазин, Марк.

Марк. Ну что же, сходи. Может быть, папиросы дают — возьми.

Вероника. Хорошо. (*Ушла*.)

Чернов. Я всегда восхищаюсь вашей супругой, какая она непосредственная, чистая.

Марк. Вы не обижайтесь на нее, Николай Николаевич.

Чернов. Я сказал совершенно искренне. А эта детская невыдержанность делает ее просто очаровательной. Искал вас сегодня в филармонии...

Марк. Да, да, мне передавали.

Чернов. Мне совестно к вам обращаться, но выручайте, Марк Александрович. Жена пишет — сидит без копейки.

Марк. Сколько, Николай Николаевич?

Чернов. Буквально сколько можете. Хотя бы пятьсот рублей.

Марк (*доставая деньги*). Пожалуйста, Николай Николаевич.

Чернов. Я все подсчитаю, и вы не беспокойтесь...

Марк. Что вы, что вы, Николай Николаевич!

Чернов. И еще небольшая просьба: вы бы не могли попросить Федора Ивановича достать некоторые медикаменты?

Марк (*испуганно*). Какие?

Чернов. Хорошо бы сульфидин, опий, камфору.

Марк. Нет, нет, что вы. Дядя Федя болезненно щепетилен. С этим к нему подступиться невозможно.

Чернов. Ну не надо, не надо.

Марк. Может быть, в его домашней аптечке есть — я посмотрю.

Чернов. Нет, если действительно неудобно — не нужно.

Марк. Ничего, ничего... (*Уходит и возвращается с медикаментами в руках*.) Вот все, что есть.

Чернов. Большое вам спасибо. Вы скажите Федору Ивановичу, что это для меня. Надеюсь, не обидится, в сущности — пустяк. (*Прячет медикаменты в портфель*.) Вы сегодня будете у Антонины Николаевны?

Марк. Может быть.

Чернов. Извинитесь за меня, я занят, не могу прийти. Кстати, могу вам предложить эту коробку конфет. *(Достаёт из своего большого портфеля коробку.)* Сделайте именинный подарок. Антонина Николаевна будет рада. Не очень роскошно, но вы привяжите сверху какой-нибудь пустячок. Ну, хотя бы вот эту игрушку *(показывает на белку, оставленную Вероникой на диване)*. Получится неплохо, уверяю вас. Война — надо во всем проявлять фантазию.

Марк. Сколько?

Чернов. Ничего, ничего. Потом сочтемся. Пустяк. Я оставлю, да?

Марк. Хорошо, Николай Николаевич. Спасибо.

Чернов *(одеваясь)*. Завтра хотели, чтобы вы выступали в госпитале — бесплатно, разумеется, а я вас перебросил в другую бригаду, кажется, недурно заработаете. Пригодится, верно?

Марк. Спасибо, Николай Николаевич.

Чернов *(прощаясь с Марком)*. Откланяйтесь вашей супруге.

Марк. До свиданья, Николай Николаевич.

Чернов ушел. Марк подошел к шкафу, вынул оттуда костюм, прошел в другую комнату переодеваться. Быстро входит Ирина.

Ирина. Дома есть кто?

Марк *(кричит из другой комнаты)*. Нельзя, нельзя — я переодеваюсь.

Ирина. Анна Михайловна, Анна Михайловна!

Входит Анна Михайловна.

Ирина. Поздравьте меня! Просто отдышаться не могу!.. Сегодня делала сложнейшую полостную операцию — прошла исключительно удачно. Отец наблюдал, хвалил. Паренек совсем был готов, как они выражаются, «комиссоваться» — то есть на тот свет отправиться, а я рискнула, конечно с согласия отца. У нас нет чая? Обедать отца дождусь.

Анна Михайловна. Я вам могу предложить кофе.

Ирина. Пожалуйста, пить хочется смертельно.

Анна Михайловна вышла.

Марк! Я сегодня совершила чудо! Воскрешение из мертвых.

Анна Михайловна возвращается.

Понимаете — он умирал. А теперь — будет жить! Будет, будет! *(Подбегает к телефону.)* Госпиталь? Это кто? Нянюшка, как состояние Сазонова из сорок пятой палаты? Это Бороздина говорит. На боли жалуется? Ничего, пусть потерпит, голубчик. Есть просил? Просил! *(Вешает трубку.)* Есть просил — великий

признак! У меня у самой аппетит разыгрался. (*Жадно ест бутерброд.*)

Входит Марк, завязывает перед зеркалом галстук.

Да, чтобы понять все это, надо быть или врачом, или умирающим. Это тридцать второй, мною воскрешенный.

Марк. Ты бы делала зарубку, как бойцы на винтовках: убью фашиста — и зарубку делают. Так и ты, ну хотя бы на операционном столе.

Ирина. Ты меняешься, Марк, и не в лучшую сторону.

Марк. А я не понимаю, как это можно копаться в чьих-то потрохах, делать ампутации, резекции, а потом плясать от радости.

Анна Михайловна. Успех в любой профессии доставляет чувство удовлетворения и радости.

Марк. По-вашему, если гробовщик сделал отличный гроб — он потирает себе руки от удовольствия.

Анна Михайловна. Как это ни парадоксально — вероятно, да.

Марк. Тьфу!

Ирина. Тонкая натура, ты что прифрантился?

Марк. Концерт.

Ирина. Ври умнее — среды у тебя выходные.

Марк. Говорят тебе, концерт — шефский.

Ирина. Где это?

Марк. В клубе пиццевиков.

Ирина (*встает из-за стола*). Спасибо, Анна Михайловна. пойду запишу в свою тетрадочку.

Анна Михайловна. Не перегружайте себя, Ирина Федоровна. Я замечала, вы и по ночам пишете, пишете...

Марк. Действительно, что ты там, летописи, что ли, сочиняешь?

Ирина. Да. «Се повести временных лет...» (*Ушла.*)

Анна Михайловна. По-моему, она к докторской диссертации готовится.

Марк. Ого, на перекладных скачет! Просидит она всю жизнь в девицах, помяните мое слово.

Анна Михайловна. Почему вы так решили?

Марк. Когда молодая женщина так исступленно работает — значит, она что-то заглушает в себе. (*Привязывает белку к коробке конфет.*)

Анна Михайловна. Вы хотите унести эту белочку?

Марк. Да... тут один мальчик именинник, по дороге зайду поздравлю.

Анна Михайловна. Мне кажется, ваша жена очень дорожит этой вещью.

Марк. Ничего, я ей куплю другую игрушку.

Анна Михайловна. Вы бы поговорили с женой, Марк Александрович, у нее очень тяжелое настроение.

Марк. Да, вижу. И чего ей надо, не пойму. Кажется, сыта, в тепле, ни в чем не нуждается. Поговорите вы с ней, Анна Михайловна. Мне самому просто невыносимо, иногда домой возвращаться не хочется. (*Одевается.*) Скажите Веронике, что приду не поздно. (*Ушел.*)

Входит Ирина.

Анна Михайловна. Все-таки нехорошо получилось. Ирина. Что такое?

Анна Михайловна. Ваша невестка оставила на диване миленькую плюшевую белку, — очевидно, чей-то подарок.

Ирина. Борин подарок.

Анна Михайловна. Я так и думала. А Марк Александрович сейчас привязал ее к коробке конфет и унес какому-то мальчику.

Ирина. Черт знает что делается! Концерт!.. Я чувствовала!.. Мальчику! Зовут этого мальчика Антонина.

Анна Михайловна. Что вы, Ирина Федоровна!

Ирина. Да, да. Нужно быть глупой, как Вероника, чтобы ничего не видеть.

Анна Михайловна. Может быть, вы ошибаетесь?

Ирина. Ошибаюсь! Наша операционная сестра живет в одном доме с этой особой... Я уж молчу, чтобы отец не знал.

Анна Михайловна. Бедная девочка, до чего же ее жаль.

Ирина. Представьте себе, мне — ни капельки. Это какая-то кукла. Сидит на своем диванчике, ежится, как будто тонула, а ее только что из воды вытащили.

Анна Михайловна. Это вы верно заметили, Ирина Федоровна, но у нее доброе сердце.

Ирина. Это у вас доброе сердце, Анна Михайловна. Вы бы знали ее раньше: хохотала так, что завидно делалось. Лепила, в художественное училище собиралась. Талант!.. А теперь? Самое большее, что из нее получится, — это домашняя хозяйка. И то, вероятно, плохая.

Анна Михайловна. Вы судите, как энергичная женщина. У девочки погибли родители...

Ирина. Знаю. Первое время и я не могла на нее смотреть без слез. Но дни идут... В этой адской войне надо выстаивать, а не превращаться в простоквашу. Иначе что получится? Сейчас счастливых нет и быть не может.

Анна Михайловна. Вы обижены за пропавшего брата, Ирина Федоровна.

Ирина. Да, и за него.

Анна Михайловна (*резко*). И не правы! Война калечит людей не только физически, она разрушает внутренний

мир человека — и, может быть, это одно из самых страшных ее действий. Вы же понимаете состояние раненых, когда они кричат, стонут и своим поведением даже мешают вам лечить их. Там вы терпеливы, снисходительны, а здесь...

Входит Федор Иванович.

Ирина. Ты что задержался?

Федор Иванович. Ребятам отправляли: кого домой, кого в выздоравливающий батальон. Обедать будем?

Анна Михайловна. Я сейчас.

Ирина. Нет, нет, я сама.

Анна Михайловна. Мне не составит труда, наоборот, — так я себя чувствую в семье.

Ирина вышла.

Федор Иванович. А Вероника где? Марк?

Анна Михайловна. Марк Александрович сказал — у него концерт, а Вероника, вероятно, пошла прогуляться.

Федор Иванович. Не люблю, когда дом пуст. Скоро ли мы сможем сесть за стол все вместе, как в Москве?

Вошла Ирина.

А вы, Анна Михайловна?

Анна Михайловна. Я только что выпила кофе. *(Ушла.)*

Федор Иванович. Ну, двое так двое. Дай-ка графинчик. Надо sprыснуть твои успехи. Молодец ты, Ирина.

Ирина *(подавая отцу графин)*. Ты бы воздержался.

Федор Иванович. С устатку. *(Наливает.)* Проглотн маленькую, хочешь?

Ирина. Еще чего. Мерзость!

Федор Иванович *(выпив рюмку)*. Писем не было?

Ирина. Нет.

Федор Иванович. Понимаю. Глупый вопрос задал... Ничего, потерпим. Ты бабушке деньги отправила?

Ирина. Да, утром. Чего она там в Москве сидит, караулит!

Федор Иванович. Упрямая. Доктор Бобров на тебя поглядывает, заметила?

Ирина. Есть у меня время!

Федор Иванович. Это что, перловка, что ли?

Ирина. Я откуда знаю — ешь, не разглядывай!

Федор Иванович. Гречневой хочется.

Входит Вероника.

Вот кстати, садись. Кашу ты варила?

Вероника. Я.

Федор Иванович. Прекрасная! Садись.

Вероника. Я уже обедала. *(Прошла, села на диван.)*
Федор Иванович. Снег-то третий день лепит и лепит.
Вероника. Да.

Ирина начинает убирать со стола. Вероника подходит к ней.

Давай я уберу.

Ирина. Ладно, сиди уж.

Вероника отошла. Ирина унесла посуду.

Федор Иванович *(подойдя к Веронике)*. Ну, как?

Вероника. Что?

Федор Иванович. Гуляла?

Вероника. Да.

Федор Иванович *(не зная, что сказать дальше)*. Это хорошо... Знаешь, духу надо, больше духу...

Вероника. Наверно.

Федор Иванович. Ты меня извини, но... заняться бы тебе чем-нибудь.

Вероника. Не могу.

Федор Иванович. А ты через не могу.

Вероника. Подумаю.

Федор Иванович. И ты потерпи... Придет письмо... И вообще все будет в лучшем виде, вот увидишь.

Вероника. Вы мне никогда не простите за него?
(Плачет.)

Федор Иванович. Я люблю тебя, глупая.

Вошла Анна Михайловна.

Анна Михайловна. Очки где-то оставила. *(Ищет.)*

Федор Иванович. А я никогда не читал лекций, боялся большой аудитории. А вообще мог бы. Газеты были?

Анна Михайловна. Я положила их на ваш стол.

Федор Иванович. Спасибо. *(Ушел.)*

Анна Михайловна *(найдя очки)*. Вот они. *(Веронике.)* Марк Александрович просил передать, что вернется не поздно.

Вероника *(ищет)*. Куда я положила свою белочку?.. Вы не видели, Анна Михайловна?

Анна Михайловна. Ее унес Марк Александрович.

Вероника. Унес Марк? Куда?

Анна Михайловна. Подарить какому-то мальчику.

Вероника. Мою белку!.. мальчику!..

Анна Михайловна. Вы не волнуйтесь, Вероника.

Вероника. Куда он ушел?

Анна Михайловна. У него концерт в клубе работников пищевой промышленности.

Вероника *(бежит к телефону)*. Клуб? Скажите, у вас во сколько начинается концерт? Это клуб пищевой промышлен-

ности? Нет, у вас должен быть концерт. Выходной? (*Кладет трубку.*) В клубе сегодня выходной.

Входит Ирина.

Ирина. Ты что раскричалась?

Вероника. Где Марк?

Ирина. На концерте.

Вероника. Я звонила — там выходной.

Ирина. Значит, укатил в гости.

Вероника. Куда?

Ирина. Я не знаю.

Вероника. Вы чего-то не говорите мне. Он унес кому-то мою белку.

Ирина. Ну и что? Подняла крик из-за игрушки.

Вероника. Кому унес? Ты знаешь, да?

Ирина. Ну... знаю.

Вероника. Кому?

Ирина. Антонине Николаевне Монастырской.

Вероника. Какой Монастырской? Зачем?

Ирина. Спроси у Марка.

Анна Михайловна. Ирина Федоровна, если вы начали говорить правду...

Вероника (*Ирине, кричит*). Говори!

Ирина. Ты не командуй. Ну, Марк бывает у этой Монастырской... часто... Ну, поняла?

Вероника. Ты мне нарочно говоришь это.

Ирина. С какой стати?

Вероника. Назло. Ты завидуешь мне — меня любят, у меня муж, а ты... ты все еще старая дева!

Анна Михайловна. Вероника, что вы!

Ирина. Монастырская живет на улице Гоголя, где главный гастроном, кажется, на втором этаже — можешь проверить. (*Ушла.*)

Анна Михайловна. Вы успокойтесь, Вероника.

Вероника. Надо что-то делать... надо что-то делать... надо что-то делать...

Анна Михайловна. Конечно... Придет Марк Александрович, вы объяснитесь, сейчас не волнуйтесь, надо подождать...

Вероника. Ждать! Опять ждать! Я и так все время чего-то жду, жду, жду... Хватит! Я не хочу больше этого! Ничего не хочу — ни этих стен, ни Марка, ни Ирины, ни вас, никого! Я знаю, вы все обвиняете меня, только притворяетесь из жалости. А я не хочу этого! Не хочу! (*Одевается.*)

Анна Михайловна. Куда вы?

Вероника. Туда... к нему.

Анна Михайловна. Это неудобно.

Вероника. Все удобно! Борис не сделал бы так... он научил бы меня... он придет и все простит мне, все... Он любит меня, любит, любит!.. *(Убегает.)*

Анна Михайловна *(зовет)*. Ирина Федоровна!

Входит Ирина.

Она убежала, туда...

Ирина. Ну, зачем меня черт дернул вмешаться в это дело... Ничего не будет, поскандалит — и все. Испортила настроение... Так хорошо на душе было.

Анна Михайловна. Все-таки вы слишком жестоки с ней.

Ирина. Да, знаю. Ничего с собой поделывать не могу.

Анна Михайловна *(взглянула на часы)*. Пора.

Ирина. Вы очень спешите, Анна Михайловна?

Анна Михайловна. Нет, пойду тихонько. А что?

Ирина. Скажите, я старая дева, да?

Анна Михайловна. Что вы, Ирина Федоровна, вам всего двадцать девять лет.

Ирина. И вы не подумайте — я не черствая и не то, что не могу любить. Я любила, честное слово, любила... сильно... Это еще в школе было, в десятом классе... Он такой был тихий, хороший — Гриша... Только, пожалуйста, не говорите об этом никому...

Анна Михайловна. Я — копилка, Ирина Федоровна, надежная копилка.

Ирина. Он меня даже провожал несколько раз. А потом уехал жить в Свердловск...

Входит Федор Иванович.

Федор Иванович. Новые инструкции прислали, читала?

Ирина. Нет.

Федор Иванович *(размахивая листками бумаги)*. Полюбопытствуй!

Анна Михайловна. Мы еще продолжим наш разговор, Ирина Федоровна.

Ирина *(поспешно)*. Да, да.

Анна Михайловна ушла.

Федор Иванович. Толкового на три копейки, а канцелярщины — пуд. Писанина и писанина!

Ирина. Не рычи. Давай разберемся.

Ирина берет у отца бумаги, садится к столу, читает. Федор Иванович подошел к карте, на которой черными флажками обозначена линия фронта. Стоит, рассматривает.

Федор Иванович. Какая змея получилась.

Стук в дверь.

Можно.

Входит Володя, за плечами у него вещевой мешок.

Володя. Анна Михайловна Ковалева здесь живет?

Ирина. Здесь. Только она на уроках в вечернем техникуме.

Володя. А комната ее где?

Ирина (*показывая*). Вот эта.

Володя идет в комнату Анны Михайловны.

Федор Иванович. Молодой человек, вы собственно куда?

Володя (*улыбаясь*). Домой. Я ее сын.

Ирина. Володя!

Володя. Да. А вы, наверное, Вероника?

Федор Иванович. А я — Марк Александрович.

Володя (*смеется*). Ирина Федоровна!

Федор Иванович. Разберешься постепенно.

Володя. Вот вы какие!

Федор Иванович. Нравимся? Ну, гость дорогой, сбрасывай пожитки.

Володя кладет вещевой мешок.

Анна Михайловна только что ушла, так что потерпи еще малость. Ируша, дай-ка с заветной полочки. Мы пока покалякаем. Ты пьющий?

Володя. Конечно.

Федор Иванович. (*Ирине*). Слыхала, как гордо сказано? (*Володе*.) Тебе сколько лет?

Ирина вышла.

Володя. Двадцать один.

Федор Иванович. А я, знаешь, водку только лет в двадцать пять попробовал. Некогда было. Мировая война, революция, гражданская... словом, не везло.

Володя. Я все-таки на фронте был.

Федор Иванович. Понимаю. В отпуск или по чистой?

Вошла Ирина.

Володя. По чистой.

Федор Иванович. Чем заслужил?

Володя. Пуля в легком сидит. Это не больно. Только вы матери не говорите — сидит и пусть сидит, а ей скажем, что вытащили.

Ирина. Что ж ты не написал о приезде?

Володя. Нарочно. У меня сегодня день рождения.

Федор Иванович. Сюрприз?

Володя. Да. Вот только вид не праздничный.

Федор Иванович. Да, всучил тебе кладовщик не первый сорт.

Володя. Взял что попало, только бы побыстрее. И в дороге пропылился. В Азии-то уже жарко.

Ирина. А почему ты решил, что я Вероника?

Володя. Мать писала — хорошенькая.

Федор Иванович. Ирина, твои шансы повышаются!

Ирина. Чудак, это она о Веронике писала.

Володя. О вас она тоже хорошо писала.

Федор Иванович (*Ирине*). А Вероника где?

Ирина. Не знаю.

Федор Иванович (*поднимая рюмку*). Ну, молодой герой, в нашем доме ты первая ласточка. (*Чокаются*.) Дай бог, не последняя!

Володя (*чокаясь*). Да, как говорится!

Ирина. Он не в этом смысле сказал, Володя.

Володя (*серьезно*). Я знаю.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Комната Антонины Николаевны Монастырской. Антонина Николаевна и Варя сервируют стол.

Антонина Николаевна. Вот, Вавочка, как может перевернуться вся жизнь.

Варя. Вы не огорчайтесь, Антонина Николаевна. Получается прямо необыкновенно, как до войны.

Антонина Николаевна. Ты бы видела мои комнаты в Ленинграде. Какая мебель!.. Шкаф — клен «птичий глаз»! И представь, я его забила огромными гвоздями, там посуда. Хрусталь сложила в ванну. Неужели разворуют? А какие люди собирались у меня в этот день! Шум, смех... К концу вечера мы обязательно брали машину и айда по городу. Из конца в конец! На Васильевский, по Петроградской стороне, на острова — всюду! Катанье на машинах в эту ночь было традицией. А теперь... Какой ужас эта война! Она меня как будто вышибла из той жизни одним махом, одним ударом... И знаешь, Вава, какая самая страшная мысль: а вдруг уже ничего не будет по-старому? Ничего, никогда!

Варя. Будет, Антонина Николаевна, будет, я еще к вам в Ленинград в гости приеду.

Антонина Николаевна. Хорошо бы. Я тебе так признательна, ты мне дала приют у себя.

В а р я. Ну, не надо этого, не надо! К нам в город сколько понаехало — всех пристроили. Понимаем, чай, горе-то. А вы ленинградка — самая пострадавшая. Посмотрите-ка лучше, как я селедочку разделала: огурчики соленые, лучок, яичком сверху покрошила, как вы советовали.

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Спасибо тебе.

В а р я. А кофточку вашу крепжоржетовую я не продавала, прямо на это мясо выменяла. Кость была, я ее вырезала — завтра суп сварим.

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. А юбку шерстяную почему обратно принесла, не берут?

В а р я. Дают мало, а юбка хорошая, чего ее по дешевке пускать?

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Хочешь, возьми себе, если нравится?

В а р я. Что вы, не надо! Этакую красоту!

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Бери, бери. Я же тебе должна.

В а р я. Вот что я вам скажу, Антонина Николаевна: по-растрясете вы свое имущество, а дальше что? Война-то, она тянется и тянется... Пойду-ка я обратно на мыловаренный завод работать. Деньги будут, рабочая карточка... Зря вы тогда меня с толку сбили.

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Нет, нет! Что ты! Я же погибну без тебя. А кто станет все делать: на базар ходить, стряпать?! Потерпи, Вава. Я что-нибудь придумаю.

В а р я. Вчера девчат с завода встретила, — Варвара, говорят, ты что, в домработницы переквалифицировалась? Нашла время! Зубоскалят...

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Завидуют. Чем они на заводе там заняты? Дохлых кошек на мыло переваривают.

В а р я. Ну уж, Антонина Николаевна, никогда мы таким делом не занимались, вы нашего производства не знаете.

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. У меня еще отрезы в чемодане есть, я тебе не показывала. Проживем припеваючи, увидишь. Ты такая добрая, отзывчивая... Не порть мне этот день такими разговорами, хорошо?

В а р я. Хорошо.

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Мне и так плакать хочется. Ну, что это за жизнь, что за жизнь! *(Плачет.)*

В а р я. Ну, не убивайтесь. И гости сегодня придут хорошие — этот, Марк Александрович, как он на пианино играет. Просто душу выворачивает... Товарищ Чернов тоже мужчина примечательный. Нюра придет...

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Ничего ты не понимаешь, Вава. Придет в гости хлебобрезка Нюра. Ведь почему зову? Завишу от нее, хлеб носит. Да не только хлеб, помнишь, сыр приносила, колбасу, где-то даже паюсную икру достала.

В а р я. У них в торговой сети связи хорошо налажены.

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Она будет царицей бала!
Я за ней должна ухаживать!.. Как противно!.. Как противно!..

В а р я. Нехорошая эта Нюрка, верно. Рассказала бы я вам, откуда эта Нюрка хлеб берет, как она его вешает, да огорчать не хочется.

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Не рассказывай, Вава, не хочу я знать всей этой грязи, этой мерзости.

В а р я. Студент придет?

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Миша? Да, да, обещал. И невесту свою приведет, я потребовала показать.

В а р я. Он — хороший, идейный.

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Знаешь, когда он рассказывает о вселенной, даже жутко становится. Без конца и без края, подумай. Какой-то кошмар! Только он не очень идейный. Знаешь, он зачем сюда ходит?

В а р я. Зачем?

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Досыта поесть. Живет плохо, бедствует. Ну, пусть ходит, а то от одной Нюрки задохнуться можно. Вава, ты оденься получше.

В а р я. Я самое хорошее надела, Антонина Николаевна.

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Надень мое, любое.

В а р я. Велико будет.

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Приладь.

Звонок. Варя открывает дверь. Входит Чернов.

Ч е р н о в. Поздравляю, Антонина Николаевна. (*Передает ей несколько коробок конфет и еще маленькую коробочку.*) Вавочка, здравствуйте.

В а р я. Здравствуйте, Николай Николаевич. Вы раньше всех.

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Ты примерь, Вава.

В а р я. Попробую. (*Ушла.*)

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а (*раскрыв коробочку*). О, как щедро!

Ч е р н о в. Я не могу у вас остаться — дела в филармонии, отправляю бригады в район и в воинские части. Освобожусь только к полуночи.

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. И ничего не потеряете — будет иллюзия праздника.

Ч е р н о в. Мне просто приятно бывать с вами, на остальных мне начихать.

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а (*смеется*). Собственно и мне тоже.

Ч е р н о в. И на Бороздина?

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Вы будете мне припоминать его и тогда, когда я, допустим, стану вашей женой?

Чернов. Нет, только до тех пор, пока он бывает у вас. Я мог бы сделать так, чтобы он перестал появляться здесь, но я знаю женский характер: если от вас отрывать мужчину насильно, это значит поднимать ему цену и увеличивать вашу привязанность к нему. Естественный ход событий наиболее верен.

Антонина Николаевна. Какой практицизм!

Чернов. Мне около пятидесяти, и я не хочу казаться лучше или хуже.

Антонина Николаевна. Это скучно, но ценно. Вы написали жене в Ташкент?

Чернов. Пока нет. Разумеется, я буду ей высылать алименты на младшего. Старший уже сам становится на ноги, он тоже обязан помогать матери. Там все будет нормально, по закону. Вы только скажите — да.

Антонина Николаевна молчит. Чернов взглянул на часы.

За актерами придет машина из воинской части — задерживать нельзя. Потом нужно отправить автобус в район... Нагрузка большая; иногда чувствую даже усталость... *(Улыбнувшись.)* Ну, вот этого я не должен был вам говорить.

Антонина Николаевна. Вы освобождаетесь в двенадцать? Слушайте, поедemте кататься, заезжайте за мной на машине.

Чернов. На легковой машине я отправил в колхоз артистов, приехавших из Москвы.

Антонина Николаевна. Ну, приезжайте на чем-нибудь, хотя бы на автобусе. А что? Будем ездить по городу на автобусе вдвоем, это даже необыкновенно!

Чернов. Автобус у нас один, он в девять часов уходит в район.

Антонина Николаевна. Ну, достаньте какую-нибудь машину. Ну, пожалуйста! Какую-нибудь — пожарную, санитарную, все равно... Достаньте!

Чернов. Это причуда, Антонина Николаевна.

Антонина Николаевна. Пусть!.. Ну, доставьте мне, пожалуйста, бездумное удовольствие...

Чернов. Попробую. До свиданья. *(Пошел, но остановился.)* Я люблю вас сильно.

Чернов ушел. Входит Варя в платье Антонины Николаевны — оно на ней выглядит смешно.

Варя. Я нарочно не входила, не хорошо было бы, верно?

Антонина Николаевна. Умница.

Варя. *(оглядывая свой наряд)*. В каком-то журнале я такую видела...

Антонина Николаевна. В «Крокодиле».

Варя. Да, да, точно.

Антонина Николаевна. Ничего не подобрала?

Варя. Ничего. Свое надену — лучше, верно?

Антонина Николаевна. Безусловно.

Варя. А что вам подарил Николай Николаевич?

Антонина Николаевна. Вот. (*Показывает коробки конфет.*) И это. (*Передает Варя коробочку.*)

Варя (*раскрыв коробочку*). Литерная карточка на питание. И жиры не вырезаны! Неужели свою отдал? Вот добрый человек! Чего же он не остался?

Антонина Николаевна. Не может, занят на работе.

Варя. Деловой, видно.

Звонок.

Откройте, Антонина Николаевна, я в таком виде гостей перекупаю.

Варя убежала. Антонина Николаевна открывает дверь.

Входит Миша, он в «сильных» очках, и Танечка — худенькая девочка с остреньким личиком.

Антонина Николаевна (*показывая на свой фартук*). Гости аккуратны, а хозяева опаздывают.

Миша (*передавая Антонине Николаевне сверток*). Поздравляю.

Антонина Николаевна. Что это?

Миша (*развернув сверток*). Фигус. В такой день полагается дарить цветы.

Антонина Николаевна. Чудак ты, Миша! Спасибо.

Миша. Танечка, познакомься: это та самая Антонина Николаевна, с которой мы в Ленинграде жили в одном парадном. Там только издали кланялись, а здесь познакомились.

Танечка (*Антонине Николаевне*). Здравствуйте, поздравляю вас.

Антонина Николаевна (*здороваясь*). Спасибо. Покажитесь, покажитесь — узнаем Мишин вкус. Он о вас столько рассказывал.

Танечка. Вы извините его; я говорю — не надо фигус, а он говорит: почему, это смешно. Знаете, он своей хозяйке за него два кубометра дров напил.

Миша. Разве называют цену подарка!

Антонина Николаевна. Вы очень славная. Миша — одобряю. (*Тане.*) Повеселимся сегодня. Можно будет потанцевать, спеть.

Миша. Танечка от нашего кружка самодеятельности даже в госпиталях выступает. Соло. Такой голос, меццо.

Антонина Николаевна. Я уверена, у нее масса всяких достоинств.

Миша. И учится она совершенно блестяще...

Танечка. Миша, не преувеличивай.

Миша. Танечка, это же правда.

Танечка. Миша!..

Антонина Николаевна. Простите, я вас оставляю на одну минуту. *(Вышла.)*

Танечка. Миша, ну зачем ты все время говоришь обо мне и обо мне, так неудобно.

Миша. Но ты действительно исключительный человек.

Танечка. Мы недолго посидим здесь, хорошо?

Миша. Ты дашь знак.

Звонок. Прибегает Варя.

Варя. Здравствуйте, Миша. *(Тане.)* Здравствуйте. *(Открывает дверь.)*

Миша *(Тане)*. Ее зовут Варя. Она немножко странная — не работает и не учится.

Танечка. А что делает?

Миша. Обслуживает Антонину Николаевну.

Танечка. А Антонина Николаевна где работает?

Миша. Нигде. Они, знаешь, как-то взаимно друг друга обслуживают.

Входит Марк. Одновременно входит Антонина Николаевна.

Антонина Николаевна. Марк Александрович!

Марк. Поздравляю вас. *(Дает подарок.)*

Антонина Николаевна. Спасибо. Познакомьтесь.

Танечка *(здороваясь с Марком)*. Мы с Мишей вас на концертах слушали.

Миша. Вы по манере игры немножко напоминаете Софроницкого.

Марк. Принимаю как комплимент.

Антонина Николаевна *(развернув сверток, увидав игрушку)*. Я помолодела на десять лет!

Танечка. Ой, какая чудесная игрушка!

Миша *(Тане, тихо)*. Я тебе такую достану, из-под земли выкопаю. *(Марку.)* Где это вы ее купили?

Марк. На заказ сделана.

Миша. Где?

Марк. Из Москвы прислали.

Миша. А! Досада!

Антонина Николаевна. Товарищи, потерпите еще несколько минут. Молодежь, займитесь подбором пластинок — есть Лещенко и Шалапин. Вава, покажи...

Марк. Я, к сожалению, не молодежь.

Варя, Таня и Миша ушли.

Антонина Николаевна. Ты принес коробку конфет, которую купил у Чернова.

Марк. Что ты!

Антонина Николаевна. Не лги. Вон он сколько притащил! Ну, не смущайся, люблю тебя за это — ребенок. Это он постарался для того, чтобы поставить тебя в неловкое положение.

Марк. Да, страшный человек.

Антонина Николаевна. Я сама его боюсь.

Марк. Тоня, ты не спеши с ним... Я скоро оставлю жену.

Антонина Николаевна. Если из-за меня, пожалуйста не надо. Я не хочу вносить разлад в ваш дом.

Марк. Разлада не будет — мы же не зарегистрированы с ней. Говорю тебе откровенно: я не люблю ее, она не любит меня. Ты знаешь, я взвалил себе на плечи что-то непосильное, измучился с ней. Она живет старыми воспоминаниями, ни слова не говорит, но я все вижу, все понимаю.

Антонина Николаевна. Ты ревнуешь!

Марк. Как я могу ревновать к пустому месту. Брат убит, это ясно. У них у всех не хватает мужества признаться себе в этом... Конечно, тяжело, но — война!

Антонина Николаевна. Я тоже буду с тобой откровенна, Марк: да, сейчас война, она унесет много мужчин, а молоденьких девушек будет все больше и больше. Ну кто польстится на меня при таком выборе? Я не спешила замуж, но сейчас это надо сделать. И быстрее, иначе я рискую остаться на бобах. Будет ли это Чернов? — Возможно. Он всегда с деньгами. А деньги, как ни говори, великая вещь.

Марк. Он в тюрьму скоро сядет, его деньги краденые.

Антонина Николаевна. Что сделать! К сожалению, жулики довольно часто богаче честных людей. Его дела не будут меня интересовать. Я с удовольствием вышла бы замуж за богатого, честного человека, но где такой? Они — не нашего поля ягода. Ты не какой-нибудь Миша, ты должен все это понять. И мы останемся друзьями...

Звонок. Пробегает Варя.

Марк. Послушай меня, Тоня...

Входит Нюра. Когда она снимает пальто, на ней богатый, но чудовишно безвкусный наряд. В руках у Нюры сетка-авоська.

Нюра. Поздравляю, Антонина Николаевна, с днем вашего ангела! Тут консервы разные, муки три кило, баранки с маком — вы таких с довоенного времени не едали... Лярдку взяла... Выгружай, Вавка, авоську отдашь. Марк Александрович, привет!

Варя унесла сетку с продуктами.

Марк. Здравствуйте, Нюра.

Нюра (оглядывая стол). Порядок! И в графинчиках булькает. Вон икорка-то моя выглядывает, сберегли тебя на такой день, не скушали.

Марк. Нюра, молодежь в той комнате пластинки подбирает.

Нюра. Ну их к шуту. (Села.) Да и вы свои разговоры бросайте. Мы с Петькой тоже, как начнем ворковать — удержи нет. Хотела я его сюда прихватить, да не идет, кобенится. Он у меня стеснительный. Ждем, что ли, кого?

Антонина Николаевна. Нет, Нюра, вы последняя.

Нюра. Не последняя, а крайняя.

Антонина Николаевна (зовет). Миша, Таня, идите к столу.

Входят Миша и Таня. Позднее Варя.

Нюра. Я уж чуток выпила — ревизионная комиссия была. Устала. Прислали каких-то двух девчонок — чего они понимают, несмышленные? Под прилавок нос сунули, к бухгалтеру сбегали... Кругом ажур.

Антонина Николаевна. Миша, тебе как самому ученому — первый тост.

Миша. С удовольствием.

Нюра (Антонине Николаевне). Какое колечко симпатичное. Продайте?

Антонина Николаевна. Потом, Нюра, потом.

Миша. Товарищи, Антонина Николаевна нас извинит, если мы первую рюмку выпьем не за нее.

Антонина Николаевна (смеясь). За Танечку.

Миша. Даже не за Танечку. За скорейшее окончание войны. За победу!

Нюра. Э, если бы от выпитой водки война скорей окончилась, я бы одна ведро выпила. Однако не возражаю, авось поможет.

Все выпивают.

Миша. Вы, Нюра, правы. Конечно, главное, чтобы каждый из нас сейчас трудился изо всех сил...

Нюра. Стараемся.

Миша. Только общими усилиями...

Таня. Миша, не надо.

Марк. Давайте забудем все, что творится вокруг.

Варя. Да, забудь, я на базар ходила — с вокзала опять раненых везли.

Антонина Николаевна. Будет, будет. Не надо мрачных разговоров!

Нюра. Выпьем вот за что: за хлеб наш насущный, который нас кормит.

Миша. Которым мы кормимся.

Нюра. Я об этом и говорю.

Марк. За Антонину Николаевну.

Все выпивают.

Нюра. Что это мои наряды никто не хвалит?

Миша. Нюра — сногшибательно!

Нюра. У меня еще панбархатное есть, длиннющее. Хотела надеть, да хвост из-под пальто торчит.

Варя. Сколько буханок дала?

Нюра. Ты по своей иждивенческой немного получаешь, тебе не сосчитать.

Антонина Николаевна. Товарищи, без ссор. Танечка, спойте нам. Марк Александрович будет аккомпанировать.

Танечка. Мне не хочется.

Антонина Николаевна. Упрямитесь нехорошо. Танечка *(с резкостью в голосе)*. Мне просто не хочется.

Марк. Антонина Николаевна, не торопите. Подождем минуту вдохновения.

Нюра *(беря белку)*. Все на свете ела, а золотых орехов не щелкала. Раздавлю парочку.

Антонина Николаевна. Разделим поровну. Кто хочет, может унести на память об этом вечере *(делит орехи, находит на дне записку. Марку)*. Что это, поздравление? *(Разворачивает записку, читает.)* «Моя единственная!..» Марк Александрович, единственной у вас должна быть только жена... «Поздравляю тебя с твоим счастливым, радостным днем рождения!» Вы перепутали, Марк, я именинница... «В этот день ты появилась на земле. Какое счастье, жизнь моя. Уйти от тебя тяжело, но остаться нельзя...» Что-то таинственное... «Я не могу жить прежнюю жизнью, беспечно веселиться, в часы, когда по нашей земле идет смерть. Ты поймешь это, моя родная Белочка. Бывают дни и минуты, когда наша частная жизнь, пусть очень счастливая, становится ничтожной перед жизнью всех нас, всего народа, всей страны. Люблю и верю в тебя. Твой Борис».

Пауза.

Что это? Чья это записка?

Марк. Я купил эту вещь на рынке.

Антонина Николаевна. Что за скверная манера покупать подержанные вещи да еще дарить их! Может быть, она заразная.

Танечка *(встает)*. Миша!

Миша встает и вместе с Таней идет к двери.

Антонина Николаевна. Вы куда?

Миша и Таня молча одеваются.

Уходишь, чистый человек! Дали команду!.. Наелся?

Миша. Что?

Антонина Николаевна. Наелся, говорю?

Таня. Как вам не стыдно! Миша свою стипендию матери высылает и все, что подработает. Она больная, вы знаете...

Я ему говорила — не надо к вам ходить, а он всех считает хорошими... У нас в доме крошки в рот не берет, а все время недоедает, знаю... Мы поженимся скоро, он совсем у нас будет, свой...

Миша. Танечка, ты не думай, что я...

Танечка. Здесь ничего не говори, не надо!

Выходят и сталкиваются в дверях с Вероникой.

Видишь, здесь и без нас будет весело.

Ушли.

Марк. Что ты! Зачем ты пришла?

Вероника. Зачем ты взял мою вещь?

Марк. Вероника, как тебе не стыдно!

Вероника. Мне?

Марк. Ты понимаешь, что ты делаешь?

Вероника. Где она?

Марк. Что с тобой? (*Подходит к Веронике.*) Ну, что с тобой?

Вероника. Не трогай меня.

Марк. Только не устраивай скандала. И ты, пожалуйста, ничего не думай...

Вероника (*увидав белку*). Возьми ее со стола.

Марк. Не делай глупостей, Вероника.

Вероника. Заверни ее, на улице мокрый снег.

Марк. Ну, хорошо, хорошо, я иду с тобой.

Вероника. Зачем?

Марк. Я понимаю тебя... но ты успокойся... я сижу в гостях — что особенного?

Вероника. Побыстрее.

Марк (*беря белку, собирая орехи*). Антонина Николаевна, вы извините...

Антонина Николаевна (*Веронике*). Пожалуйста, пожалуйста. Здесь еще вам записка, от какого-то Бори.

Вероника (*забыв все, бросается к записке*). От Бори!..

Марк. Это старая, старая...

Вероника читает записку, Марк подходит к ней, берет ее за плечи.

Ну, что ты переполошилась, глупенькая?

Вероника смотрит на Марка и вдруг с размаха бьет его по лицу.

Что ты? Ты что? Ты что?..

Вероника бьет еще раз, еще и еще. Идет к двери.

Я иду с тобой. (*Ко всем.*) Извините меня... Вы, конечно, понимаете... (*Веронике.*) Я иду.

Вероника ушла. Марк уходит за ней.

Н ю р а. Ревнивая ему досталась — от такой не убежит. Антонина Николаевна. Какая отвратительная сцена. Я даже испугалась.

Н ю р а. Да нет, она добрая. Если бы я своего Петьку с какой бабой застала — тут бы на месте обоих и придумала.

В а р я. Зачем это вы, Антонина Николаевна, Мишу обидели? Как нехорошо сказали — наелся. Меня прямо в краску бросило.

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Оставь меня в покое, еще тебя не хватает.

Н ю р а. Да, уж и без тебя тут много гавкали.

В а р я. Он всегда так хорошо с вами разговаривал...

Н ю р а. Отлипни, говорят!

В а р я. Ты сама молчи. Знаю, как ты хлеб вешаешь да сколько черным ходом уносишь.

Н ю р а. Ну, мы эти разговоры не первый раз слушаем. Считай за счастье, что ты не в магазине, перед прилавком. Я бы тебе ответила — умею, насобачилась.

В а р я. Съехали бы вы от меня, Антонина Николаевна!

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. С ума ты сошла! Куда я уеду?

В а р я. Я на завод пойду обратно. Там меня Варей звали. А вы придумали — Вава. Все равно как собаки лают: ва-ва... Ваша жизнь, может быть, интеллигентная, но уж вы ею сами живите, а я не могу, не получается...

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Перестань, говорят. Меня сюда райисполком вселил, по ордеру, и ты из себя хозяйку не изображай.

В а р я. Ладно... Я в общежитие перееду к девчатам, они пустят... Папаня-то с братом с фронта пишут: Варвара, как ты там одна? А я их успокаиваю... Папаня-то, уезжая, говорил... (Плачет.)

Н ю р а. Ну, навела тоску в светлый день. (Подходит к Антонине Николаевне, берет ее за руку.) Я пойду. Расклеилась вечеруха. Не тот вы народ подбираете, я вам скажу. Не тот. Хлипкие очень. А сейчас война — крепких надо под рукой иметь, своих. Колечко-то как блестит!.. На что оно вам, вы и так красавица. Уступите, а?

А н т о н и н а Н и к о л а е в н а. Господи, хоть бы Чернов поскорей приехал. Спрятаться за него и утихнуть. Я так измучилась, Нюра, так устала... Мне уже тишины хочется, покоя.

Н ю р а. Я сама по покою соскучилась. Ведь на нервах живешь, Антонина Николаевна, на нервах!.. Несу хлеб, а сама оглядываюсь, будто воровка какая... Накоплю пятьсот тысяч и притихну. Вавка, не всхлипывай. Мы тишины хотим. Тишины, слышишь? Не всхлипывай!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЯТАЯ

Декорация третьей картины. В комнате Федор Иванович и Володя. Они сидят за тем же столом и продолжают беседу.

Володя. ...Немцы на наш бугор психической атакой идут... Мы в окопах притаились... Вверху бомбардировщики воют... Слева, около леса, танковый бой идет... Мины свистят... все, знаете, вокруг гудит, грохочет!..

Федор Иванович. Ты стихи пишешь?

Володя. А вы как догадались?

Федор Иванович. Проник.

Володя. Ну, так вот...

Федор Иванович. Гляжу я на тебя — а такие, как ты, и мне в руки попадались, в очень плачевном виде — и думаю: мать ты моя! Что же это маньяк-ефрейтор наделал! Ну, понимаешь, в бога верить хочу!

Володя. Зачем?

Федор Иванович. Чтобы ад был. И чтоб его там варили, жарили, резали... Ну, содохнет он, ему что — тишина! А нам жить и эту кашу расхлебывать. Горе-то — оно, знаешь, и после войны сколько лет эхом по земле грохотать будет.

Володя. Ну, после войны мы проживем!

Федор Иванович. Отвоюем — потанцуем.

Володя. А у нее лекции во сколько кончаются?

Федор Иванович. Когда как. Давай, герой, позвоним ей, а то она после уроков еще имеет привычку идти домой пешком. А это минут сорок. *(Идет к телефону.)*

Володя. Почему пешком?

Федор Иванович. Время быстрее идет. *(В телефон.)* Техникум? Ковалеву Анну Михайловну. Ага! Ну, как уроки кончатся, скажите ей, чтобы домой сразу ехала. К ней сын вернулся. Да, Вольдемар. *(Повесил трубку.)*

Володя. Ну вот, все испортили — она теперь знать будет.

Федор Иванович. А тебе хочется, чтобы она от твоего сюрприза вон там, у порога, без сознания свалилась? Секретарша и та взвизгнула... Скоро освободится, последняя лекция идет. Вот что, герой, у меня тут кое-какое обмундирование есть — наведи красоту, переоденься. Как-никак новорожденный, праздник. *(Достает одежду Бориса.)* Тебе подойдет. Мой разве в плечах пошире.

Володя. Вот вы со мной разговариваете, а все о нем думаете.

Федор Иванович. О всех.

Володя. О нем особенно.

Федор Иванович. Не философствуй, герой.

Володя. Не зовите меня так — не герой я.

Федор Иванович. Грудь под пулю подставил — этого, брат, достаточно.

Володя. Ну, там такие чудеса делают!

Федор Иванович. Читал.

Володя. А я сам видел.

Федор Иванович. Галстук по вкусу выбирай. Ты, наверное, пижон был?

Володя. Слегка. *(Начинает переодеваться, у него из кармана падает на пол фотография.)*

Федор Иванович. У тебя из кармана что-то вылетело.

Володя *(поднимая)*. Фото. *(Прячет в карман.)*

Федор Иванович. Ого, дамское. Понятно.

Володя. Совсем не то.

Федор Иванович. Скромничай! Все вы по этой части ходюки хорошие.

Володя. Честное слово — не то.

Федор Иванович. Заливай, заливай!

Володя. Вот по секрету говорю: совсем этого не было.

Федор Иванович. Почему по секрету?

Володя. Неудобно как-то.

Федор Иванович. Чудак, очень удобно. Из такой войны чистым выбраться совсем не легко.

Володя *(показывая фото)*. Это мама.

Федор Иванович *(глядя на фотографию)*. В молодости?

Володя. Почему, в сорок первом снималась.

Федор Иванович. Да что ты!

Володя. Разве не похожа?

Федор Иванович. Нет, нет, узнаю.

Стук в дверь.

Можно.

Входит Чернов.

Чернов. Если не ошибаюсь, Федор Иванович?

Федор Иванович. Он самый.

Чернов *(здороваясь)*. Я администратор филармонии, где служит ваш племянник Марк Александрович. Моя фамилия Чернов, Николай Николаевич.

Федор Иванович. Очень приятно.

Чернов. Мне вдвойне.

Федор Иванович *(Володе)*. Переоденься в той комнате. *(Тихо.)* Начальство племянника — сам понимаешь, неудобно выставить.

Володя ушел.

Чернов. Столько слышал о чудесах, которые вы творите у себя в госпитале...

Федор Иванович. Садитесь, пожалуйста.

Чернов. Благодарю. (Сел.) Простите, но я к вам с просьбой. Даже неудобно, в первый день знакомства...

Федор Иванович. Ничего, ничего, пожалуйста.

Чернов. Вы главный хирург госпиталя; вероятно, вам не откажут предоставить госпитальную автомашину на некоторый срок?

Федор Иванович. Если понадобится — думаю, не откажут.

Чернов. Будьте добры, достаньте ее для меня. Филармонические все в разъезде. Позарез надо.

Федор Иванович. Это сложнее. Как-то неудобно... Машины сейчас на вес золота, каждый литр горючего экономят...

Чернов. Горючее достану, верну. Это для меня не сложно. Могу и вам достать, не дорого.

Федор Иванович. Нет, мне собственно не надо.

Чернов. Я именно к вам, Федор Иванович, по-товарищески. Знаю, что трудно, — время дьявольское. Все дается с трудом. Я тогда для Марка Александровича тоже бегал, бегал... Ну, раз вы просили, я уж, как говорится, в лепешку!.. Ваше имя! О!.. Вы саже, наверное, не знаете, как в городе о вас хорошо говорят: и наверху и в массе. Вот еще о чем я вас попрошу, Федор Иванович: посоветуйте Марку Александровичу больше заниматься. Он, извините, превращается в самого заурядного пианиста. Броня у него кончается через три месяца, в армию сейчас берут и берут — под чистую вымахивают. (Доверительно.) Вы знаете, какие у нас потери, не мне вам говорить. Даже у вас, говорят, в коридорах кладут. Сделать ему броню на этот раз будет, ну, просто невозможно. (Протягивает папиросы Федору Ивановичу.) Вы курите?

Федор Иванович молчит. Чернов поднимает на него глаза.

Федор Иванович, что с вами? Федор Иванович?.. Кто там есть?.. Кто есть дома?

Вбегает Володя. Он еще не совсем переоделся.

Вы не подумайте, об этом ни одна душа не знает... Я понимаю — ваше имя... (Смотрит на Федора Ивановича.) Неужели Марк Александрович обманывал и меня и вас, это непорочно!.. Мне так трудно было... Да нет, он даже деньги от вас предлагал. Я, конечно, не взял... Собственно даже не я эту броню устраивал... Вы извините... Я поговорю с Марком Александровичем... Это так нехорошо, так нехорошо. Будьте здоровы, Федор Иванович. (Исчез.)

В о л о д я. Какие-нибудь неприятности?

Федор Иванович крупными шагами ходит по комнате.

Да вы не волнуйтесь. Давайте выпьем для успокоения.

Федор Иванович. Герой, ты свое ухарство бросай (показывая на графин с вином), а то прилипнет — балбесом сделаешься.

Володя. Я просто так.

Федор Иванович. То-то!

Володя ушел в другую комнату. Входит Ирина.

Ирина. Ему легче. Он нервничает и возится. Укол сделала. Пусть спит — это лучше, верно? А где воин?

Федор Иванович. Переодевается. Я ему Борин костюм дал, а то вид у него невзрачный.

Входит Володя.

Володя. Подошло.

Ирина. Ну-ка, повернись.

Володя поворачивается. Ирина говорит отцу тихо.

Не надо было, даже жутко.

Федор Иванович. Чепуха.

Ирина. Ты что злой?

Входят Вероника и Марк.

Марк. Дядя Федя, я просто прошу твоей помощи. Ты знаешь, что она сейчас выкинула?

Федор Иванович. Что?

Марк. Влетела к посторонним людям — я туда на минуту зашел, — кричала, как базарная торговка, даже драться полезла. Ты представляешь?

Федор Иванович. Не ударила?

Марк. Дядя Федя, сейчас не до шуток. Там были чужие люди, теперь сплетни пойдут, городишко паршивый. Меня публика знает, тебя тоже.

Федор Иванович. Да, позорить себя я никому не позволю.

Марк (Веронике). Слышишь?

Федор Иванович. Дальше что?

Марк. Дядя Федя, я знаю, вы ее любите. Мне тоже ее жалко. Но мой брак неудачный — мы все это видим, только как-то по-интеллигентски заминаем вопрос. Надо решать. Давайте снимем ей угол, может быть, найдем целую комнату; я готов оплачивать, помогать. В конце концов она сама должна научиться зарабатывать. Сейчас война — все работают. Все это неприятно, но надо решать. Видите, как получается: в свое время пожалеешь человека...

Вероника. Врешь! Ты же опять сам себя пачкаешь!

Марк. Здесь чужие люди, постыдись...

Федор Иванович. Ничего, он дома.

Ирина. Это сын Анны Михайловны.

Марк. Может быть, он уйдет в свою комнату?

Володя хочет уйти.

Федор Иванович. Останься.

Ирина (Марку). Ты не смей так о Веронике говорить.

Марк. Тебе она до сих пор тоже была не по вкусу, разве случилось что?

Ирина. Ничего не случилось, но я твои дела тоже знаю...

Марк. Что вы из-за нее на меня налетаете? Ну, ошибся я... А она тоже не маленькая...

Федор Иванович. Не смей себя равнять с ней! Она совершила ошибку, так она сама же и казнит себя, еле живет... А ты делаешь подлости и хочешь выглядеть чистым человеком! Только что я узнал новость о тебе.

Марк. Какую?

Федор Иванович. Очень приятную. Может быть, ты сам расскажешь о своем блестящем поступке?

Марк. Не понимаю, о чем ты говоришь.

Федор Иванович. Не по-ни-ма-ешь?

Ирина. Марк, не серди папу, говори!

Марк. Я не знаю, что ему наговорили.

Федор Иванович. Припомни!

Марк. Ты, может быть, о том, что я взял лекарства из твоей аптечки? Меня просили для больного... что особенного?

Ирина. Зачем ты взял, кому?

Марк. Болен администратор нашей филармонии Чернов.

Федор Иванович. Платишь?!

Марк. О чем ты?

Федор Иванович. Платишь, говорю! Ты просил от моего имени этого жулика устроить тебе броню, чтобы не идти в армию. И у тебя эта броня есть!

Ирина. Марк!

Вероника. Трус, трус, трус! А Боря... Боря — сам!

Ирина. Папа, этого не может быть, тебе наговорили на него.

Федор Иванович (Марку). Ты что? Думаешь, это легкая шалость? Аллерго?.. Скерцо?.. Или как у вас там?..

Ирина. Тебе нельзя так волноваться...

Федор Иванович. Оставь, пожалуйста, ничего со мной не будет! (Марку.) Как ты мог сделать это? Кто тебе повод дал в нашей семье для такого поступка — я, Ирина или, может быть, Борис?!

Ирина. Перестань сейчас же, слышишь! Сядь! (Насильно усаживает отца на стул. Марку.) Я тебе припомню за отца, увидишь!

Федор Иванович. Вот что, Марк...

Ирина. Молчи, я сказала!

Федор Иванович. Я тихо, Ирина. (Марку, показывая на Володю.) Вон этот пленец грудь под пулю подставил. За меня, за них (показывая на Ирину и Веронику), за всех... за тебя в том числе... Живы останемся, в вечном долгу перед ними будем... в вечном... Не знаю, Марк, как и говорить с тобой... Если бы ты ушел в армию, мы бы тоже ждали тебя... иступленно ждали... и верили... волновались, говорили бы о тебе ежедневно... Вон Ирина плакала бы по ночам... (Ирине.) Мне ведь слышно бывает... (Марку.) Ты думаешь, кому-нибудь на войну сына отправлять хочется?.. Надо!.. Ты что, считаешь, что за тебя, за твое благополучие кто-то должен терять руки, ноги, глаза, челюсти, жизнь? А ты ни за кого и ничто!

Ирина. Папа!

Федор Иванович (тише, показывая на Володю). Ты смотри, смотри на этого ребенка... (Володе.) Извини, герой, я думал, ему особенно стыдно будет твоего присутствия... Скажи ему хотя бы два слова...

Володя. Ну, зачем же?..

Большая пауза. Все разошлись по комнате, молчат. Володя начинает говорить, желая прервать эту тяжелую паузу.

Вы напрасно трусите... Конечно, страшно... Но что же делать?.. Я, например, не жалею, что повидал всякое. Думаю — поумнел. До войны я что знал? Дом да школу... Ну, стадион еще. В общем — маменькин сынок был... А там, знаете, люди — просто особенные... Меня один все портянки учил ~~накручивать~~, колхозник, пожилой... Терпенье имел... научил... А когда в окружение попали, наше подразделение сибиряки отбивали... спасли, а то бы нас всех в кашу... Нет, не жалею... Да и когда ранило — вытащили...

Пауза.

И занятно так было... Мы в разведку ходили, вдвоем... Да разошлись как-то... Обрато иду — поле кругом, снег выпал, видно... по мне стрелять начали... Ну, я, конечно, на землю плашмя. А холодно... хочу встать, над самой головой — жжить, жжить!.. Опять лежу... долго... Чувствую, коченеть начинаю... Вижу, кто-то ко мне подползает, наш... «Лежи, говорит, башки не поднимай, тут, говорит, мертвая полоса»... Это значит, когда нельзя ни назад двигаться, ни вперед... Лежим оба... Дурацкое положение!.. Он крепче меня был, а я чувствую, что замерзаю. Лежать нужно было до темноты, в темноте легче, а ее еще и не видно было... Он мне начал лицо растирать снегом... Наверное, увидел, что нос побелел... А мне вдруг спать захотелось... Он знал, что это смерть... Расстегнул полушубок, прижал к себе... тепло от него... И все чего-то рассказывал: как он живет, где работает... О девушке вдруг начал говорить, как она хороша, как любит его, как он вернется и женится на ней... Эта тема там популярная... Он совсем разгорячился, а мне тоже,

знаете, стало тепло, я чувствовал его волнение... И девушку эту как будто видел, он все называл ее Белка...

Ирина. Скажи, как его звали?

Володя. Борис. Так же, как и вашего брата.

Ирина. А фамилия?

Володя. Не знаю. Он был не из нашего подразделения.

Ирина. А потом разве вы не встречались?

Володя. К сожалению, нет.

Ирина. Что же было дальше, Володя?

Володя. Так мы лежали, а темнота только-только спускалась. Он тоже устал и озяб... А я уже засыпал. Помню, он сильно ударил меня кулаком, я очнулся, снова понял все, что происходит, не выдержал, вскочил на ноги... Вот тут-то меня и стукнуло... сюда (*показывает на грудь*)... Я упал... Он ругался, бранил меня... Ну, а мне уже было все равно. Вдруг он вскочил, схватил меня поперек туловища и побежал... По нему стреляли, а он бежал по замерзшему полю. Бежать нужно было недалеко, до перелеска...

Ирина. Добежали, Володя?

Володя. Он добежал. Положил меня в снег и только сам-то поднялся, а эти гады опять начали стрелять и убили его, так что он прямо на меня упал.

Ирина. Убили?

Володя. Из автоматов, наверно. Так что мне собственно говорить нечего.

Ирина. Кто же это был, ты так и не знаешь?

Володя. Нет. Тут заваруха началась... Когда подошли наши, меня положили на плащ-палатку и понесли, а его стали закапывать.

Ирина. А документов ты его не видел?

Володя. Он тоже из разведки полз, а когда посылают в разведку, ничего не разрешают брать с собой... В карманах у него нашли только какую-то пуговицу...

Ирина (*быстро идет к комоду, достает фотографию Бориса, показывает Володе*). Не похож?

Володя (*после долгой паузы, неуверенно*). Нет.

Ирина (*громко*). Оп!

Володя (*тихо*). Да.

Федор Иванович проходит в другую комнату. Ирина быстро идет за ним. Затем уходит и Марк.

Как получилось... Знаете, у нас в палате младший лейтенант из Пскова лежал, все жену разыскивал, во все концы письма писал, а она, оказывается, на четвертом этаже няней работала, в нашем же госпитале... А один рассказывал...

Вероника. Володя, он ничего не сказал перед?..

Володя. Нет. Он умер сразу.

Вероника. Его там и похоронили?

Володя. Да.

Вероника. Где это?

Володя. Западная окраина Смоленска, около высоты ноль шесть.

Входит Федор Иванович, за ним Ирина и Марк.

Ирина. Папа, ты сейчас никуда не ходи.

Федор Иванович. Пойду, Ирина...

Распахивается дверь, вбегаёт запыхавшаяся Анна Михайловна, бросается к Володе.

Анна Михайловна. Вовочка! Вовулька мой! Федор Иванович, Ирина!.. Товарищи!.. Радость-то какая! Какая радость!.. Какая радость!..

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Комната Бороздиных в Москве. После эвакуации. В комнате Анна Михайловна и Варвара Капитоновна.

Варвара Капитоновна. Никуда вы не поедете.

Анна Михайловна. Володе институт даст общежитие, а я что-нибудь себе подыщу.

Варвара Капитоновна. Врозь будете?

Анна Михайловна. Мы слишком долго стесняли Федора Ивановича.

Варвара Капитоновна. Впрочем, сами уезжайте куда угодно, а Владимира он вам все равно не отдаст, заберет силой. Он строгий.

Анна Михайловна. Теперь мягче стал.

Варвара Капитоновна. Я заметила. И рассеянный: вчера домой ключи от операционной принес, сегодня перчатки оставил.

Входит Марк.

Ну, как, Маркуша?

Марк. Все то же. Вы мой чемодан не видели?

Варвара Капитоновна. В угловой комнате, наверное.

Марк вышел.

Вот и не стреляли в человека, а убили, наповал убили. Очнется ли, уж не знаю.

Входит Марк, в руках у него чемодан.

Откуда у тебя это плоскостопие оказалось?

Марк. От рождения, говорят.

Варвара Капитоновна. Не берут?

Марк. Нет.

Варвара Капитоновна. Вот ведь несчастье какое. (Анне Михайловне.) А такой хороший мальчик рос, мечтательный, вежливый...

Марк. Я возьму две простыни?

Варвара Капитоновна. Бери, Маркуша, бери. Да ведь еще те чисты.

Марк вышел.

Как неприкаянный ходит, мучается.

Входит Федор Иванович.

Федор Иванович. А где все?

Анна Михайловна. Володя в институт уехал, последние дни приема, а там всякие анкеты, справки.

Варвара Капитоновна. Вероники с утра нет. Я им приказала к ужину вернуться. Обещали.

Федор Иванович. Да, да, третий день в Москве околачиваемся, а ни разу за стол вместе не сели. А Ирина где?

Варвара Капитоновна. Это уж тебя надо спросить.

Федор Иванович. А, да!.. Она относительно докторантуры хлопотать поехала. Ну, подождем. А Москва все та же: кипит, шумит, ругается! Меня в трамвае так стиснули, я чуть не задохся от радости.

Анна Михайловна. От радости?

Федор Иванович. Конечно. Так же меня в них и раньше тискали. Родное что-то, знакомое! Попригляжусь в первые дни, порадуюсь, а потом сам тискать начну!

Варвара Капитоновна *(тихо)*. Федя, Марк тут.

Федор Иванович. А!..

Варвара Капитоновна. Не берут его, не дают грехи испкупить...

Федор Иванович. Книги пришли?

Варвара Капитоновна. В кабинете два ящика.

Федор Иванович. Надо произвести раскопки.

Входит Ирина.

Ирина. Фонарики зажгли! Слабо горят, но ведь горят фонарики-сударики! Ничего, скоро Москва таким светом залется, какого еще свет не видывал!

Варвара Капитоновна. Вы еще салютов не видели. Завтра будет.

Анна Михайловна. Почему вы думаете — завтра?

Варвара Капитоновна. По моим подсчетам, завтра.

Федор Иванович. Главнокомандующий!

Ирина. У нас даже радио не работает.

Анна Михайловна. Володя утром чинил, не успел.

Варвара Капитоновна. Тихонько у меня работало, он доконал.

Анна Михайловна. Придет — сделает, он умеет.

Ирина. Милая наша московская квартира, до чего же ты облезлая!

Варвара Капитоновна. А ты как раненых успокаиваешь? Кости целы — мясо нарастет.

Входит Марк. Пауза.

Федя, Анна Михайловна говорит, что она здесь жить не хочет...

Федор Иванович (*хмуро*). Как угодно.

Марк. Оставайтесь, Анна Михайловна, я уезжаю.

Федор Иванович. Куда, если не секрет?

Марк. К товарищу.

Федор Иванович. Кто это?

Марк. Ты не знаешь, учился вместе. Недавно из госпиталя выписался.

Федор Иванович. Тоже пианист?

Марк. Да, был.

Федор Иванович. Тебя отсюда не гонят.

Марк. Знаю.

Федор Иванович. Ну, как хочешь. Надеюсь, сюда заглядывать будешь?

Марк. Да.

Ирина. Останься поужинать.

Марк. Нет, он велел переехать сразу. До свиданья.

Все ответили. Марк вышел.

Федор Иванович. Невмоготу, значит... Так вы, Анна Михайловна, решайте сами. Места у нас много... Ирина, помоги мне ящики отколотить.

Федор Иванович и Ирина ушли.

Варвара Капитоновна. Хотела я Маркушу оставить, да тяжело ему тут, при свидетелях-то... Пойду ужин подогрею, а то газ опять работать перестанет.

Варвара Капитоновна ушла. Вбегает Володя.

Анна Михайловна. Ну?

Володя. Порядок!

Анна Михайловна. Приняли?

Володя. Еще бы! Нам, воевавшим, первая очередь. Вероника дома?

Анна Михайловна. Нет, еще не приходила. Володя, Федор Иванович предлагает у них поселиться, но я думаю, следует отказаться.

Володя. Это еще почему?

Анна Михайловна. Неудобно...

Володя. Ну, что ты выдумываешь! В Ленинград мы сейчас не можем поехать, еще блокада, сама знаешь...

Анна Михайловна. Знаю, Володя, знаю.

Входит Вероника.

Вероника. Ирина не обещала меня здесь пристукнуть?

Анна Михайловна. Нет.

Вероника. А грозила, если к ужину опоздаю.

Анна Михайловна. Варвара Капитоновна еще только разогреть пошла.

Володя. Ты бы помогла ей, старуха все-таки.

Анна Михайловна. Как это я не догадалась...
(Ушла.)

Володя. Меня приняли.

Вероника. Еще бы! Ваш брат везде без очереди лезет.

Володя. Закон.

Вероника. На какое отделение?

Володя. На электромеханическое.

Вероника. Нравится институт?

Володя. Ничего, здание красивое.

Вероника. Длинная чугунная ограда с копиями и каменные ворота с красивой лепкой...

Володя. Да.

Вероника. У этих ворот я ждала его, а он бежал, размахивая книгами... и всегда хохотал. Ты нарочно на это отделение?

Володя. Да... Я электродело люблю.

Вероника. Вам всем подавай только технический.

Володя. Естественно — не медицинский же... Тпру!..

В этом доме не говорят...

Вероника. Ты помнишь то место, Володя?

Володя. Западная окраина Смоленска.

Вероника. Кончится война, и я поеду туда...

Небольшая пауза.

Володя. Ты на работу устраивалась?

Вероника. Да. Была в трех строительных конторах, начальников за хвост ловила. Поймала одного. Мелочь какую-то строит: не то детские ясли, не то молочный пункт.

Володя. Не нанялась?

Вероника. Оставила трудовую книжку. Мне пока все равно где.

Володя. Учиться будешь?

Вероника. Потом буду.

Володя. Глуповато.

Вероника. Не твое дело.

Володя. Смотри, что я тебе принес.

Вероника. Что это?

Володя (развернул принесенный завернутый в газету ком). Глина.

Вероника. Из такой ничего не сделаешь.

Володя (разочарованно). Да что ты!

Вероника. Я сама достану... Потом!

Входит Ирина.

Ирина. Могли бы сказать, что явились. Отец давно есть хочет, да терпит.

Вероника. А ты?

Ирина. Ну, и я тоже. *(Зовет.)* Бабушка!

Входит бабушка.

Сядем мы за стол или нет?

Варвара Капитоновна. Странно, Ирина, как будто задержка из-за меня.

Входят Федор Иванович и Анна Михайловна.

Федор Иванович. Все в сборе? Ну, садись.

Володя. Я переоденусь, мама. *(Ушел.)*

Федор Иванович. К парадному ужину — парадная форма? Интересно, смокинг или просто костюм? Ируша, в шкафчике на заветной полочке...

Ирина. Уже успел?

Федор Иванович. Угу!

Ирина выходит и быстро возвращается обратно.

Наконец-то я на свое место сел. Бабушка, займите ваше парадное кресло — время и на нем оставило свои следы... Анна Михайловна — сюда. Ирина, твой стул давно бы пора на чердак выбросить, но, откровенно говоря, мне этого и не хочется...

Ирина *(улыбнувшись)*. Я, кажется, тебя не подведу.

Федор Иванович. Ты, Вероника, часто здесь сиживала — тут и останешься.

Входит Володя, он в военной форме.

Анна Михайловна. Почему ты в этом?

Володя. Мне так хочется, мама.

Федор Иванович *(показывая на место между собой и Вероникой)*. Ты сядешь сюда.

Володя. Почему так торжественно? *(Понимает, идет и садится на место Бориса.)*

Федор Иванович. Выпьем молча за тех, кто молчит, сказав свое слово.

Залп.

Володя. Салют!

Варвара Капитоновна. Объявился, голубчик, раньше времени!

Анна Михайловна. Пойдемте на улицу, посмотрим.

Варвара Капитоновна. А мы окна откроем, все равно светло, как днем.

Ирина. Интересно, что взяли?
Вероника (Володе). Эх ты, обещал починить радио!

Володя возится около радиоприемника.

Ирина. У соседей узнаю. (Выбежала.)

Варвара Капитоновна. Из двухсот двадцати орудий сразу, слышу.

Федор Иванович. Вот они заговорили..

Анна Михайловна. Живые и мертвые.

Вбегает Ирина.

Федор Иванович. Ну, что взяли?

Ирина. Смоленск.

Пауза.

За окном взлет ракет. Залп. Ворвалось радио. Марш. На сцене темно.
Марш переходит в симфоническую музыку.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ—ФИНАЛ

Продолжает звучать музыка предыдущей картины. Когда открывается занавес — поле, засеянное хлебом. Слева молодой лес. Вдали, на горизонте, селение. На опушке леса деревянная ограда, небольшой обелиск, на котором золотыми буквами написаны имена — могила солдат. День клонится к вечеру. Тишина.

Входит Федор Иванович. Через плечо у него висит фляга с водой, в руках палка-сук. Он подходит к памятнику, молча читает имена. Входит Ирина, в руках у нее несколько полевых цветов.

Ирина. Не это?

Федор Иванович. Нет.

Ирина бросает два-три цветка за ограду.

Ирина. Конечно, все это причуды, папа. Разве можно найти — сколько лет прошло... Ты не устал?

Федор Иванович. Слегка. Да, война в этих местах туда и сюда ходила, не отыщешь... Но поездка приятная, и прогулка тоже... Встряхнулся.

Ирина. Знаешь, что вчера твой милый Бобров на пяти-минутке заявил?

Федор Иванович. Не знаю.

Ирина. Вот послушай...

Федор Иванович. Не буду слушать. Природа меня располагает к лени.

Ирина. Он назло мне, потому что именно я еду на конгресс.

Федор Иванович. Не бубни. Дай тишину послушать. (Помолчав.) Хорошо!

Ирина (после небольшой паузы). Обрато пора — на поезд опоздаем.

Федор Иванович. Пусть уходят все поезда. Я буду гулять здесь с тросточкой и наслаждаться. Как вольный поэт!

Ирина. Не дури. (*Кричит.*) Вероника!.. Володя!..

Голоса Вероники и Володи. Ого-го-го!.. Идем!..

Ирина. Она забыла, зачем приехала. Ты бы намекнул Владимиру, что он за ней по пятам ходит? Просто уже ничего вокруг себя не видит, даже смотреть неловко.

Федор Иванович. А ты, знаешь, не обращай внимания. Ходит, ну и пусть ходит... Пяток не отдавит.

Ирина. Все-таки она странная...

Федор Иванович. Это естественно, Ирина; природа — она, знаешь, не терпит пустоты.

Вбегает Вероника. В руках у нее огромная охапка цветов: желтый полевой львиный зев, лиловый клевер, васильки, ромашки.

Вероника. Вот я! (*Заметила обелиск, подошла к ограде.*)

Федор Иванович. Здесь другие хлопцы. Надул Вольдемар.

Ирина. На вокзал пора, пока доберемся...

Федор Иванович. Поваляюсь немного. (*Лег на траву.*) Успеем?

Ирина. Даю тебе пять минут на блаженство. Действительно, хорошо здесь. (*Показывая на лесок.*) Это что, осина?

Федор Иванович. Ольха.

Ирина прошла в лесок.

Ну, ты огорчена?

Вероника. Нет.

Федор Иванович. Я тоже.

Вероника. Он как будто вечно живой.

Федор Иванович. Они все — вечно живые, в нас...

Вот что, Вероника, присядь-ка рядом.

Вероника присаживается около Федора Ивановича.

Вероника. Что?

Федор Иванович. Нельзя так парня мучить.

Вероника. Ты о Володе?

Федор Иванович. Да. Или бери, или давай точную и полную отставку. Чего ты ждешь?

Вероника (*помолчав*). Чуда.

Федор Иванович. Чудес не бывает.

Вероника. К сожалению. Ты не торопи меня.

Вбегает Володя.

Володя (*отдавая цветы Веронике*). Во! Какие крупные. Это я в овес залез, нарвал.

Федор Иванович. Увидали бы тебя колхозники, так бы всыпали!

Вероника. Ну, куда?! У меня в руках не умещается.

Володя. Преподнесем маме и бабушке.

Федор Иванович. Ну что, герой, надул ты нас — поворачиваем обратно.

Володя. Тут все как-то по-другому... Раньше горелый лес был да снег — все мертво... Надо было сюда сразу после войны приехать.

Федор Иванович. Текучка, герой, текучка!.. То Вероника к экзаменам готовилась, то из тебя пулю вытаскивали, то Ирина докторскую защищала... (Зовет.) Ирина!

Нет ответа.

Вглубь забралась. Пойду разыщу. Вы не уходите отсюда, сейчас домой тронемся. Ох, и красотища вокруг! (Ушел в лесок.)

Вероника. Вот мы и осуществили свою мечту — съездили.

Володя. Ты знаешь, я, вероятно, подлец — вот мне сейчас и грустно и в то же время так хорошо на душе! И какой-то совершенно невероятный прилив сил... Хочешь, я тебя сейчас схвачу на руки и понесу далеко-далеко?

Вероника. Спасибо, я не устала — сама могу идти. Возьми донеси Ирину до станции!..

Володя. Эх, ты!..

Вероника. Слушай, Володя, я хочу поговорить с тобой серьезно.

Володя (насторожившись). Что?

Вероника. Ты не жди от меня ответа.

Володя. Я же тебя ни о чем и не спрашиваю.

Вероника. Спрашиваешь. Все время.

Володя. А ты не отвечай. Я же не прошу. Ждал и буду ждать...

Вероника. Через год ты окончишь институт, а я свой строительный через два...

Володя. Тебе трудно работать и учиться...

Вероника. Нет, легко... Может, потому, что я чувствую себя вечно обязанной.

Володя. А я?

Вероника. Конечно, и ты... И все, кто остались... Боря говорил: надо быть там, где всего труднее... И я всегда буду там... Ты это знай...

Володя. Знаю и тоже буду... Все должны...

Федор Иванович (стуча палкой о дерево). Можно войти?

Вероника. Пожалуйста.

Входят Федор Иванович и Ирина.

Федор Иванович. Ну, тронулись в путь.

Вероника. Пора.

Володя. Идем.

Ирина (глядя вверх). Смотрите, какие-то птицы летят, целая стая.

Федор Иванович (глядя вверх). А, это журавли...

Все смотрят вверх.

Вероника. Никогда их не видела живыми.
Ирина (*прикрывая глаза ладонью*). Плохо видно.
Федор Иванович. Да, прямо на солнце летят.
Вероника. Большие...
Федор Иванович. Хорош мир! Пошли.

Все тронулись в путь.

Вероника. Я догоню, идите.

Федор Иванович, Ирина, Володя уходят. Вероника остается одна.

Боря!. Мне так хочется поговорить с тобой. Рассказать все, все... И я говорю с тобой... Вечером, когда все спят, когда день уже прошел, я говорю с тобой... советуюсь, спрашиваю, и ты всегда отвечаешь мне. Черты твоего лица уходят из памяти, и я ловлю их, ловлю... Это не беда!.. Ты становишься для меня еще более красивым, чем был... Я люблю тебя!..

Голос Ирины. Вероника!

Вероника. Ты для меня как легенда... и жизнь свою я хочу прожить хорошо, очень хорошо, хотя она уже и не так чиста, как твоя... Я еще ничего не сделала... Я учусь, учусь и работаю... Это пока все, что могу... Но я много думаю, Боря. Думаю о том, зачем я живу...

Голос Федора Ивановича. Вероника!

Вероника. ...зачем живем все мы, кому ты и другие отдали свои недожитые жизни... Как мы живем?.. Что каждый из нас вносит каждым днем своего существования в общее счастье? Где твоя капля? И деготь это или мед и свежая роса?..

Голоса Ирины, Федора Ивановича, Володи (*вместе*). Ве-ро-ни-ка!

Вероника. Ты мой, Боря, вечно мой. И я беру твою жизнь с собой! (*Бросает цветы за ограду, к обелиску, падает на землю, целует ее. Кричит.*) Иду! Иду!.. (*Убегает.*)

О Ч Е Р К И

*

Анатолий Злобин



ПРАВДА, КОТОРУЮ Я СКРЫВАЛ

(Записки главного инженера)

После всего, что случилось, я утратил способность удивляться поступкам Красилова. Однако напоследок директор снова поразил меня. Когда я садился в машину, чтобы навсегда покинуть «Сельмаш», дверь соседнего подъезда раскрылась и вышел Красилов. Как ни в чем ни бывало он подошел к машине, открыл дверцу и спросил с деланой улыбкой:

— Уже уезжаете?

— Как видите, — буркнул я.

— Напрасно, Борис Ильич, напрасно дуетесь на меня, — продолжал он. — Поверьте, я сделал все, что было в моих силах. И я попрежнему уверен, что правда восторжествует и все окончится благополучно.

Что я мог ответить на это? Конечно, правда восторжествует. Но в таком случае Красилову непоздоровится. Стараясь оставаться спокойным, я сказал:

— Мне остается поблагодарить вас за урок, который вы преподали мне.

— Что вы! Что вы! Это я стольким обязан вам. Столькому научился у вас! Вряд ли я найду другого такого главного инженера.

Так, обменявшись ироническими комплиментами и улыбками, мы расстались.

Я покидал «Сельмаш» — завод, на котором проработал свыше пятнадцати лет. В кармане пиджака вместе с железнодорожным билетом до Москвы лежал приказ министра об увольнении с работы.

Я уезжал отнюдь не в веселом настроении, но самое неприятное было еще впереди. В Москве меня ожидали сочувственные расспросы знакомых — «как же так могло

получиться?», насмешливые улыбки недругов — «прогремели на все министерство», пренеприятнейшие беседы с начальством, может быть, даже разговор с министром, и после всего этого, в лучшем случае, назначение на новую должность — разумеется, с понижением.

И никому в Москве я не расскажу тайны моего «дела», как не рассказал на заводе в период работы многочисленных комиссий по этому делу. Я не мог рассказать правды, потому что никто не поверил бы мне.

Эта правда — в моих записках. Ради нее я и пишу их.

1

«Сельмаш» стоит на крутом берегу реки, огибающей Н—ск с востока.

Когда подъезжаешь к заводу, кажется, что приехал в загородный парк. За старыми развесистыми деревьями глухо шумят невидимые цехи, а на широкой площади перед ними идет бойкая торговля: возле деревянных ларьков прямо на земле и на брезентовых подстилках навалены кучи огурцов, помидоров, ранних яблок.

На территорию завода ведет широкий проезд, под стать любому городскому проспекту. Вправо и влево от него ответвляются «переулки». Стрелки сообщают — куда: в литейную, в кузницу, в деревообделочный, в механический, в цех комбайнов, в цех косилок. Высокие здания цехов густо окружены деревьями. Вдоль дорожек стоят скамейки с изогнутыми спинками, тут и там разбиты клумбы. В обеденный перерыв здесь шумно и многолюдно, как в городском саду.

Красивый завод «Сельмаш», да вот много уже месяцев он не выполняет плана, задолжал государству продукции на десять миллионов рублей.

Сегодня на «Сельмаш» приехал новый директор, уже четвертый за время моей работы на заводе. Два первых проработали у нас по нескольку лет и ушли на повышение. Особенно выдвинулся Петр Максимович Ларионов — сейчас он работает директором «Тяжмаша», крупнейшего завода страны. Ларионов пришел к нам после войны, когда мы переключились на мирную продукцию. Он проработал на «Сельмаше» восемь лет, освоил и внедрил много новых машин, переоборудовал цехи, ввел новую технологию. Казалось, завод прочно стал на ноги. Однако пришел третий директор — Ефимов — и все пошло на смарку. Понадобилось меньше года, чтобы Ефимов доказал свою полную неспособность руководить заводом. Это был робкий человек, лишенный какой-либо самостоятельности. Три недели назад, получив, наконец, приказ о своем освобождении,

он с облегчением вздохнул и уехал на курорт отдыхать от непосильных трудов.

И вот в просторном директорском кабинете появился мой четвертый директор — Василий Петрович Красилов. Он напомнил мне Ларионова — такой же высокий, такой же подтянутый, хотя и более грузный, так же безукоризненно одет и выбрит.

Лицо Красилова было крупным, даже массивным. Умные пронзительные глаза, слегка вислые щеки и твердая линия рта придавали этому лицу своеобразное выражение — казалось, на нем застыла усмешка. Наверное, именно такие лица принято называть интеллектуальными.

Не прошло и пяти минут, как Красилов вошел в кабинет, а казалось, он находится здесь очень давно. Он сел в глубокое кресло, и кресло пришлось ему впору. Он по-хозяйски передвинул календарь, лампу, мраморный стакан для карандашей, и казалось, эти вещи всегда стояли так, как он их поставил.

— Что же, начнем, — сказал Красилов.

Естественно было предположить, что новый директор начнет с расспросов о состоянии производства. Однако Красилов включил селектор и, сверившись со справочником, который лежал на столе под стеклом, вызвал начальника сборочного цеха.

— Товарищ Дергач, почему так долго ремонтируете сушильную камеру? Третий день камера не работает. Может быть, вы надеетесь на солнце? А если завтра начнутся дожди? Встанет вся сборка. Сегодня вечером на совещании прошу доложить об окончании ремонта.

Начальник цеха был явно растерян. Репродуктор молчал.

— Что же вы молчите? — Красилов улыбнулся в микрофон. — Если вам не известно, могу проинформировать, что совещание начнется в двадцать ноль-ноль в моем кабинете. Дорогу вы, надеюсь, знаете.

— Слушаюсь, — только и пробормотал растерянный Дергач.

Красилов переключил рычажок на пульте.

— Отдел снабжения? Товарищ Мешков? Доложите о причине срыва доставки проката двенадцатого типоразмера. Пятый участок металлораскrojного цеха стоит вторые сутки.

— Дорога не дает вагонов, — ответил без запинки Мешков.

— Ну, знаете... Если для начальника снабжения вагоны могут служить объективной причиной... Займитесь лично этим вопросом. Вечером прошу доложить о доставке проката. У меня все.

Заметив мой недоуменный взгляд, Красилов улыбнулся:

— Вас удивляет моя осведомленность? Прочитал «молнии» у входа. Только и всего.

Мне не очень понравились такие дешевые штучки. Словно угадав мои мысли, Красилов продолжал:

— Вообще красивые эффекты не в моем вкусе, но для начала сойдет и это. Пусть сразу почувствуют твердую руку. А теперь, прошу вас, расскажите мне о состоянии производства, об оборудовании. Сегодня у нас восемнадцатое...

Положение на заводе было малоутешительным. Хотя обеспеченность материалами на восемнадцатое июля составляла семьдесят процентов, месячный план был выполнен только на тридцать. Цехи работали неровно. Штурмовщина владела производством. Ей подчинялись все, от мала до велика,— станки и люди. Двенадцать раз в год, в конце каждого месяца, в какую-то минуту мы все вдруг переставали быть нормальными людьми, начинали бегать, кричать, размахивать руками и потрясать телефонными трубками. День мешался с ночью. Сверхурочная работа, воспаленные от недосыпания глаза, осипшие голоса, лихорадочная суетня, бестолковые крики — все это в нарастающем темпе продолжалось до последнего часа месяца. Затем наступала какая-то апатия, расслабленность. Мы приходили в себя и подсчитывали результаты своей кипучей деятельности. Главный бухгалтер испуганно хватался за голову: превышен фонд заработной платы. Усталые сердитые мастера обходили цехи: участки оголены, заделов нет, оборудование нуждается в ремонте. Снабженцы докладывали: металл перерасходован, запасы съедены.

В первые дни месяца мы отсыпались, отгуливали выходные, приводили в порядок оборудование, **накапливали заделы** — словом, готовились к очередному штурму.

— Странно,— произнес Красилов,— завод выполняет план на восемьдесят процентов, а штурмовщина, как у больших, словно даете все сто.— Красилов усмехнулся.— Стопроцентная штурмовщина.

Новый директор достал из папки листки и начал читать вслух. Это был уже известный на заводе приказ министра по «Сельмашу». В нем говорилось как раз о штурмовщине. Новому директору давалось самое решительное указание — в кратчайший срок добиться ритмичной работы завода.

— Вот моя первая задача,— сказал Красилов, потрясая листками папиросной бумаги.— Ритмичность. Разумеется, можно работать ритмично и не давать плана. Кому это нужно? Ни нам, ни государству. Нам нужна стопроцентная ритмичность.— Красилов раскрыл папку.— Я тут прикинул немножко — в ответ на приказ министра. Вот мой план: закончить год на сто процентов. Люблю цифру сто. Умиротворяющая цифра. Авторитетная. В ней есть какой-то музыкальный ритм. А для меня ритмичность — первая задача...

Директор продолжал говорить о необходимости ритмичной работы, и я уже начал подозревать в нем заурядного красноречивого. Кто же будет говорить о пользе штурмовщины. Все говорят о пользе ритмичности. Предшественник Красилова тоже

немало красноречиво говорил о ритмичности, а штурмовщина тем временем процветала.

Красилов снова угадал мои мысли.

— Впрочем, хватит общих слов,— сказал он.— Будем говорить конкретно. Судя по вашим сводкам, положение с материалами на заводе неплохое. Три четверти месячного запаса. Я ожидал худшего. Итак, встает вопрос: можем ли мы выполнить месячный план и нужно ли его выполнять? И на сколько?

Вопрос поставлен интересно, не правда ли?

— В своем решении,— продолжал Красилов,— будем исходить из того, что наверху не делаем различия — одного или десяти процентов не хватает до плана. Есть только два варианта: выполнить государственный план или не выполнить его.

Возбужденный такой постановкой вопроса, я встал и быстро заходил по кабинету. Сколько раз я предлагал старому директору сделать небольшой маневр с планом — и неизменно получал отказ: тот боялся малейшего риска.

Красилов вопросительно посмотрел на меня:

— Что же вы предлагаете?

— Есть только один выход — пожертвовать планом одного месяца,— бухнул я.

— Зачем так громко,— улыбнулся Красилов.— Я понимаю вас по-другому: вы хотите сказать, что надо создать заделы. Иметь заделы — моя первая заповедь. Помню, в тысяча девятьсот пятидесятом году, когда я был еще начальником производственного отдела, мы провели у нас на заводе такую же операцию. И с тех пор дела пошли на лад. Я стал директором. Надо знать все рычажки и винтики, которые могут регулировать производство,— это моя вторая заповедь.

— Конечно же! — подхватил я.— А главное, вырваться из этого заколдованного круга штурмовщины. И настроение у людей сразу поднимется. А то мы просто потеряли веру в свои силы.

Наша беседа неожиданно прервалась. В кабинет вошел Ключаренко, парторг ЦК на «Сельмаше». Парторг ходил с палочкой, после ранения сильно прихрамывая на левую ногу, и оттого его невысокая фигура, затаенная в черную гимнастерку, казалась еще меньше. Коротко остриженные, «под ежик», волосы придавали смуглому лицу парторга задорное выражение.

Ключаренко вырос на заводе. Двадцать лет назад он строил «Сельмаш», потом работал здесь токарем, мастером участка, комсоргом ЦК. Перед войной он заочно кончил техникум, а после войны — институт. Пожалуй, не было на «Сельмаше» другого человека, который переживал бы заводские неудачи сильнее, чем Ключаренко.

Я ожидал, что Красилов продолжит начатый разговор; однако, познакомившись с парторгом, директор заговорил о

партийных делах, и я, человек беспартийный, счел нужным удалиться.

Часа через два Красилов снова позвал меня.

— Боюсь, что мы не получим поддержки парткома в вашем предложении, — начал он. — У парторга одна идея — совершенно правильная, — вывести завод из прорыва. Наши цели совпадают. Но пути мы избираем разные. Ключаренко считает, что мы уже в этом месяце можем дать программу. Я пытался намекнуть, что в таком случае мы снова оголим цех, съедим все запасы, снова породим штурмовщину и провалим план следующего месяца. Однако мои намеки, кажется, не дошли до него. Если наверху не делают различия — невыполнен план на полпроцента или на десять, то наш парторг считает по пальцам каждый процент, каждый комбайн. Через несколько дней, когда я ознакомлюсь с заводом, будет созван партком с одним вопросом на повестке — месячный план. Попробую еще раз высказать там наши с вами соображения, хотя я не люблю столь широкие обсуждения по таким щекотливым вопросам. Во всяком случае, мне необходимо знать, какой экономический эффект получим мы, если пожертвуем планом этого месяца и перенесем, скажем, десять процентов плана на будущий месяц. Прошу вас, подсчитайте.

— Вот, — я положил на стол директора справку. — Пока вы разговаривали с парторгом, я подсчитал. Мы создадим резерв по крайней мере на полтора месяца.

— Для начала неплохо. Неплохо! Есть у меня заветная мечта: иметь некий постоянный запас машин на случай прорыва. При нашем безобразном снабжении ритмичность просто невозможна без наличия запаса. Впрочем, посмотрим, что решит партком. В крайнем случае придется пойти обходным путем.

Мы проговорили до совещания и — после него — до позднего вечера. Само собой, трудно понять человека с первого раза, но как бы там ни было Красилов производил впечатлительные смелого, решительного, предприимчивого директора.

О себе он рассказывал так, будто читал хорошую анкету. Институт окончил незадолго до войны. Мечтал совершить переворот в технике. Не успел: взяли на фронт. Служил в артиллерии начальником штаба гаубичного полка. Всю войну прошел без единой царапинки. Дошел до самой Эльбы. Получил два ордена. Сразу же после войны демобилизовался. Мирную жизнь начал с должности заместителя начальника цеха. Вскоре стал начальником цеха, а затем — производственного отдела. Все это — на одном и том же небольшом механическом заводе, производящем запасные части для сельскохозяйственных машин. Наконец, в 1950 году был назначен директором этого заводика и с тех пор стал «специалистом» по прорывам.

Красилов развивал интересные взгляды на организацию производства, резко критиковал недостатки этого дела, однако после разговора с ним у меня остался какой-то не совсем приятный осадок. Похоже было на то, что ко всему он подходит с одной точки зрения — выгодно или невыгодно это ему, Красилову. «Это мне мешает», «Я не заинтересован в этом», — то и дело говорил он.

Но в одном я был совершенно согласен с ним: заводу, с его налаженным поточным производством, выгоднее было выпускать старые машины, технология которых осваивалась годами, чем осваивать новую, недостаточно проверенную технику, требующую перестройки технологического процесса. Взять тот же «Сельмаш». Уже года два-три мы чувствовали, что наш комбайн устарел, и все же продолжали выпускать его в тысячах экземпляров. Новенькие, только что сошедшие с конвейера машины, свежеекрашенные, блестящие — они уже были устаревшими.

Особенно держались за старый комбайн наши конструкторы во главе с Хвостовым. Они получили за комбайн лауреатские медали — легко ли им согласиться с тем, что его уже пора снимать с производства? И вот эшелон устаревших машин, один за другим, уходят с заводского двора во все концы страны.

Нечто подобное происходит и в масштабе цехов. Вот, например, мастер литейного цеха Бессонов предложил изменить конструкцию электропечи. А как изменять, если нужно давать план и печь нельзя остановить ни на минуту? Существующий процесс плавки освоен, начнешь возиться с освоением нового, окажешься в числе отстающих, и станут тебя бить в хвост и в гриву. Трудно решиться провести реконструкцию и не менее трудно получить ссуду на нее. Долго мы ломали голову над тем, как быть с предложением Бессонова, и это предложение, которое дало бы нам десятки тонн металла, оставалось под сукном.

В связи с этим зашел у нас разговор о правах директора. Очень мало у него самостоятельности в проведении технической политики. Сколько надо согласовывать и утрясать, чтобы добиться утверждения чего-нибудь! Начнешь подсчитывать экономию от какого-нибудь крохотного дела и столько «нормочасов» на это потратишь, что они съедят всю экономию.

Впрочем, об этом говорил больше я, вспоминая многочисленные случаи бумажной волокиты, губившей техническую инициативу. Красилов кивал головой, давая мне высказаться. Наконец, он решил вставить слово:

— Завидую я вашей горячности, Борис Ильич, честное слово, завидую.

— Накипело, знаете ли...

— Это и хорошо.— Красилов улыбнулся.— Зачем же оправдываться? Вы хоть и намного старше меня, но сохранился у вас этакый задор молодости. А у меня уже все

перекипело. Вначале, после демобилизации, я тоже был горячим, пробовал спорить. А потом как-то свыкся, успокоился... Вот вы жалуетесь на отсутствие прав. А по-моему, прав у директора более, чем достаточно, надо только уметь пользоваться ими.

— Какие же это права, Василий Петрович?— продолжал горячиться я.— Возьмите хотя бы штатное расписание. Мы же тут совершенно бесправные люди. Согласно расписанию мы имеем на заводе пятьсот инженерно-технических работников с фондом зарплаты в полмиллиона. А нам было бы выгоднее держать двести человек с фондом в триста тысяч. Справились бы, уверяю вас. Государство получило бы двести тысяч. Триста человек принесли бы пользу в другом месте. Выгодно? А мы не можем этого сделать: связаны штатным расписанием, на котором кто-то, уже безвестный ныне, поставил свою подпись с помощью резинового штампа. Миллионами, которые мы тратим на машины, нам доверяют ворочать, а тысячи тратить не разрешают, потому-де, что они из фонда зарплаты.

— Вот тут я, пожалуй, готов согласиться с вами. В вопросах финансовой политики у нас, низовых работников, действительно мало прав. Конечно, могут возразить — и возражают,— Красилов сделал ударение на последнем слове,— дай директору свободу, он насаждает на своем заводе любимчиков. Если так, укажите мне верхний потолок, не более трех тысяч, скажем. Спустите мне шкалу: «от» и «до». Я много над этим думал, составил даже проект такой шкалы и обратился с ним в Главк. Мне отвечают — через полгода!— занимайтесь своим делом, делайте свои запчасти и перестаньте прожектерствовать. Есть, мол, люди поумнее нас с вами.

— Тем и кончилось?

— Хотел написать письмо в ЦК, но меня неожиданно перебросили на новое место. Потом на третье. С тех пор как я стал, что называется, специалистом по прорывам, пришлось сменить три завода. И это за четыре года. На новом месте всегда новые заботы. Где уж тут мечтать о переворотах. Так и заглохло дело. Приходится приспособливаться к тем правам, которые имеются.

До позднего вечера просидели мы с Красиловым. На прощанье новый директор сказал:

— Уверен, что мы сработаемся.

В тот июльский вечер я тоже думал так.

«Дорогой Борис Ильич.

Прослышал стороной, что на «Сельмаше» опять перемены. Значит, все-таки сняли Ефимова? С беспокойной душой передавал я ему дела. Чужало мое сердце — не потянет Ефимов. Кого-то пришлют вам теперь? Говорят о Красилове. Встречался я с ним как-то в Центральном Комитете. Представительный муж-

чина. Чувствуется — сильный организатор, знает механику производства.

Вот уже год я на новом месте. Завод — громадина. Наверное, и сейчас можно найти участки, где я еще не успел побывать. А все-таки жаль «Сельмаша» — восемь лет жизни отдал ему. Горько читать, как ругают вас. Горько и обидно — ведь коллектив-то на заводе замечательный. Может, теперь пойдете на поправку — дай бог!

Коротко о своих заботах. Их немало. Номенклатура большая, да все подбавляют и подбавляют. Новые машины, новая технология. А стыдно сказать, почти половина времени уходит впустую: а) на бумажки, б) на защиту своих прав от разных опекунов, в) на комиссии, которые прямо наводняют завод, д) на борьбу за расширение своих прав. Как говорил наш начальник пожарной охраны Терентьев, помнишь: «Обязанностей много, а прав никаких». Ну вот, начал опять плакаться! Если уж говорить об обязанностях, то под номером один я записал бы главную обязанность: «Директор обязан бороться за свои права». А мы плачемся на свое бесправие.

Пиши, что нового на «Сельмаше»? Не собираетесь ли упразднить устаревшую конструкцию комбайна — сколько докладных написали мы с тобой на эту тему! Интересно, как пойдут дела у нового директора? Передавай ему привет от меня. Привет Мешкову, Дергачу, Ключаренко».

Так писал мне Петр Максимович Ларионов, мой второй директор, друг и наставник. Год назад я расстался с Ларионовым, но наша дружба не оборвалась — мы регулярно переписывались, иногда встречались в Москве.

2

Спустя несколько дней Красилов рассказал мне о заседании партийного комитета. Ключаренко сделал доклад, в котором доказывал, что завод имеет возможность выполнить месячный план. Надо, мол, только приналечь всей артелью или, как говорится, мобилизовать все силы. Ключаренко поддержали другие члены парткома. Было предложено немало дельных мероприятий. Красилов пробовал говорить о необходимости заделов, но это не помогло. Его доводы против штурмовщины также не имели успеха. Всем хотелось выполнить план. Красилов был вынужден согласиться с общим мнением.

— Словом, был бурный партком, — говорил директор. — После такого горячего разговора можно ожидать всего, даже выполнения плана.

Однако Красилов попрежнему хотел создать задел для ритмичной работы за счет июльского плана и поэтому в выполнении его не был заинтересован.

— Мы, Борис Ильич, штурмовщиной больше заниматься не будем, несмотря ни на какие решения,— сказал он.

Хоть я был и беспартийный, но привык подчиняться решениям парткома. Я заколебался.

— Обстановка несколько изменилась,— осторожно начал я.— Мы имеем уже шестьдесят два процента плана.

— Борис Ильич! Так быстро сдаете позиции? — Красилов ничуть не был обескуражен. Он улыбался.— Вы же сами предложили маневрировать.

— Да, но раз имеется решение...

— Снова начнете штурмовать,— перебил Красилов,— и снова провалите план. Нет, сама логика подсказывает иное решение. Я твердо стою на том, чтобы оставить часть комбайнов в незавершенном виде и создать задел на август. Месяц только начнется, а у нас уже восемь — десять процентов плана будет налицо. Пусть в июле дадим девяносто, зато в августе, скажем,— сто шесть процентов. Завод получит премию, у меня появится директорский фонд. Я же должен думать о коллективе: надо помочь профсоюзникам открыть скорее ясли, ночной санаторий. С директорским фондом я могу и пособие подбросить нуждающимся, и подарок на свадьбу рабочему преподавнику, и сверхфондовый духовой оркестр для клуба купить.

Нет, и под «духовую» музыку Красилова я не мог пойти против решения своего парткома.

— Ведь это значит задержать на заводе несколько десятков комбайнов в горячую пору уборки. Завод-то выиграет, а государство...

— И тут все в порядке. Задержка будет на час — не больше!

— Как же директор собирается сделать это?

— Трудно ответить на такой вопрос за несколько дней вперед. Все будет зависеть от обстановки. Но обещаю твердо — только один час. Шестьдесят минут.

Это успокоило меня,— я не нашел больше доводов, чтобы возражать против такой задержки: всего на один час!

— По рукам? — спросил он.

— Хорошо, Василий Петрович, я предлагаю компромисс. С этой минуты я начинаю заниматься заготовительными цехами...

— Действительно,— подхватил Красилов,— хватит вам погрязать в текучке. Работайте на будущее, возьмитесь за электропечь, за штамповку. Я тут ознакомился с вашей идеей новой футеровки, которую вы с Бессоновым хотите осуществить на электропечи. Ценное предложение. Занимайтесь им. А я займусь сборкой и один проведу маневр, предложенный вами. Но уговор — тридцать первого числа вы не вмешиваетесь в дела сборки и делаете вид, что ничего не знаете. Ни о каких процентах и заделах мы с вами не говорили.

Я согласился. Кроме всего прочего, мне было интересно просто, по-инженерски посмотреть, как директор сделает маневр один, без чьей-либо помощи.

— Действуйте.— Красилов встал и протянул руку. Пожимая ее, я невольно подумал, что в этом рукопожатии, скрепляющем наш договор, есть что-то нехорошее. Но у Красилова было такое безмятежное выражение лица, что я поспешил отогнать сомнения.

В тот же день директор остановил одну электропечь. Министерство помогало новому директору — еще в Москве Красилову были обещаны дополнительные фонды на механизацию, на капитальное строительство. С легкой руки Красилова мы в один день получили деньги на реконструкцию электропечи. Если бы я знал тогда, что именно из-за нее-то и произойдут все мои дальнейшие беды...

Меж тем приближался конец месяца — пора штурмовщины. Только один человек на заводе — директор — оставался спокойным и невозмутимым. Я не понимал, как же все-таки думает он произвести маневр? На мой наводящий вопрос Красилов ответил:

— Увидите сами. Я все делаю честно, открыто.

«Здравствуй, дорогой Петр Максимович!

Извини, что несколько задержал с ответом: конец месяца, бегаем за программой. Впрочем, я больше сижу в заготовительных цехах. Затеяли реконструкцию электропечей, которые еще ты установил в новой литейной. Есть остроумное предложение, позволяющее повысить их производительность чуть ли не на четверть. Новый директор отвалил нам на это тридцать тысяч. Мы с ним, кажется, срабатываемся. Он горячо поддержал одно мое предложение, которое поможет нам быстро вылезти из прорыва. Я говорю о создании резерва за счет плана очередного месяца. Нас замучила штурмовщина, она, как ржа, разъедает производство, и вырваться из нее можно, лишь создав резерв. Только одно меня при этом угнетает. Понимаешь, мы с Красиловым хотели провести наше предложение через партком. Не тут-то было. Разгорелись страсти — мы давно не давали плана, в июле непременно должны дать. И тут я спасовал — не мог я выступить против наших. Красилов этого не понял: он человек новый, его даже в партком еще не успели избрать, а я ведь сельмашевец. Словом, некрасиво получилось: сам предложил это дело, а потом спрятался в кусты, оставил директора одного.

Вот такие дела, дорогой друг. Пишу тебе как на духу. Были бы у нас широкие права, не надо было бы прибегать ко всяким таким обходным операциям. Дело-то само по себе безобидное, но все-таки делается оно тайно, против парткома, и это не дает мне покоя. Впрочем, может быть, еще маневр не

удастся. Я просто не представляю себе, как можно провести такую операцию в одиночку, а я все-таки тридцать лет на производстве. Красилов только посмеивается — уверен в успехе. Посмотрим, что покажет тридцать первое число.

Как хорошо, что не надо больше ломать голову, где бы раздобыть средства на реконструкцию электропечи.

Это ты правильно сказал о времени, которое уходит впустую. У меня оно сейчас все идет на дело. Скоро приступим к экспериментам. Если пройдут удачно, я тебе непременно опишу все, что мы сделали. И чертежи вышлю.

Никольский».

3

Наконец, настало тридцать первое число. Я с интересом следил за действиями директора. Значительную часть дня я провел вместе с ним. Кое-что мне удалось установить позже — по рассказам, документам. Это дает мне возможность описать всю операцию, проведенную Красиловым 31 июля.

* * *

Без трех минут десять, как обычно, высокая грузная фигура директора появилась в приемной. Потыльный, секретарь Красилова, уже держал наготове острый карандаш. Пересекая приемную, Красилов на минуту приостановился около стола.

— Вызовите срочно Сорокина. Потом оперативка. На двенадцать тридцать вызовите Курапова, на час — предзавкома, в два — Хвостова. В пять — совещание по качеству. Обеспечьте полную явку. Подготовьте сводки в разрезе цехов. Приема сегодня не будет.

— На прием, Василий Петрович, записан только Черноперов. Очень просил принять.

— Зуборез? Из цеха Дергача? Хорошо, пусть придет.

Под бой часов Красилов вошел в кабинет. Не успел он снять плащ и усесться за письменный стол, как в кабинет вкатился начальник производственного отдела Сорокин, короткий, кругленький мужчина, с расплывчатым круглым лицом и таким же расплывчатым неопределенным характером.

— Слушаю вас.— Сорокин склонил голову и принялся внимательно разглядывать пестрый директорский ковер.

— Давайте лучше послушаем вас. Как с планом? Что сделано ночью? До сих пор нет ясности, дадим или не дадим план.

Так Красилов начал свою операцию. Лицо его было хмурым и сосредоточенным. Он сурово глядел на Сорокина. Тот пожегился под этим взглядом, поднял голову и закатил глаза

к потолку, словно хотел найти там ту «ясность», которую требовал директор.

— На поль часов,— заговорил он,— мы имели по товару восемьдесят восемь и две десятых процента. А сегодня мы дадим...— Сорокин перевел глаза на директора.

— Позвольте, Виктор Алексеевич, мы же вчера с вами считали — выходило восемьдесят восемь и семь десятых.

— Совершенно справедливо, Василий Петрович, семь. Однако появилось уточнение. Четыре косилки некомплектных. Пожалуйста.— Сорокин раскрыл папку и осторожно положил ее перед директором.

— Цифры — упрямая вещь,— глубокомысленно произнес Красилов, подписывая сводку.— Не будем из-за пяти десятых ссориться с арифметикой. Ну, а что сделали ночью?

Ночью ничего не сделали. Конвейер стоял: не было подшипников. Только к утру они прибыли, и тогда конвейер пустили.

Красилов посмотрел на зеленую лампочку, горевшую на пульте. Зеленый цвет означал, что главный конвейер, на котором собирались комбайны, в движении. Конвейер остановится — и на директорском пульте вспыхнет красная лампочка.

— Час от часу не легче,— тяжело вздохнул Красилов.— Но вы так и не сказали, сколько же дадим сегодня?

— Сегодня? Сегодня, я думаю...— Сорокин запнулся и снова посмотрел на потолок.

— Вы думаете, до ста не дотянем? — спросил Красилов.

— Нет, не дотянем,— с облегчением отозвался Сорокин,— ни в коем случае. На сборке мало заделов. За один день дать трехдневную программу?..

— А как же решение парткома? А уборка на целине? Партком вынес решение драться за каждый комбайн. Значит, надо драться. Хоть и чудес на свете не бывает, но все-таки свет не без чудес.

— Конечно,— солидно согласился Сорокин,— всякое бывает. В прошлом месяце за последний день дали четырнадцать процентов.

Красилов усмехнулся:

— Итак, Виктор Алексеевич, сборкой я займусь лично. Можете туда сегодня не ходить, я сам сделаю все необходимое. Вам я поручаю задачу более ответственную. Вместе с главным инженером, вы лично и весь ваш отдел, будете заниматься сегодня только заготовительными цехами. Именно там, в заготовительных, решается теперь план будущего месяца.

— Да, именно там,— с готовностью подтвердил Сорокин.

Сорокин повторял чужие, подхваченные с уст начальства или взятые из газет мысли с таким видом, словно это были его собственные, выношенные им мысли. За это и ценил его директор.

Красилов и Сорокин засели за сводки, проверяя положение в цехах. Иногда директор задавал отрывистые вопросы в микрофон, и начальники цехов давали ему требуемые справки. Бесшумно вошел Потыльный и положил на стол папку с бумагами. Просмотрев один листок, Красилов соорудил кислую мину и переложил этот листок в другую папку с надписью «срочно».

Затем директор принялся за сортировку утренней почты и отложил в папку срочных дел еще несколько писем и телеграмм.

В кабинет вошел Ключаренко. Вытянув больную ногу и поставив палочку к столу, парторг уселся в кресло и стал наблюдать за работой Красилова и Сорокина. Наконец, Красилов размашистым движением подвел черту. Сорокин вышел.

— Как видите, Николай Сидорович,— Красилов встал и заходил по кабинету,— как видите, положение неважное. Девяносто восемь, девяносто девять процентов — самое большее, на что мы можем рассчитывать. Да и то, если до предела нажмем на цехи, пойдем на сверхурочные и крепко перерасходуем фонд зарплаты. За это нас тоже по головке не погладят...

— Надо приложить все силы, чтобы выполнить решение парткома,— твердо сказал Ключаренко.— Вы сами голосовали за него.

Директору пришлось перейти к обороне. Красилов это сделал с улыбкой. Разумеется, он не хочет быть мрачным пророком, но тем не менее не мешает взглянуть правде в глаза. Последние дни поставщики то и дело подводят «Сельмаш», к тому же одна электропечь остановлена для реконструкции. Вот и сегодня конвейер простоял почти всю ночь, хотя там дежурил член парткома. Металл на исходе. Шлем одну телеграмму за другой.

Тем временем зеленая лампочка на пульте потухла и тотчас рядом с ней вспыхнула красная. Это было весьма кстати для Красилова.

— Вот полюбуйтесь на эту иллюминацию.— Красилов кивнул на лампочку.— Подумать только, до чего дожили: любой сборщик может остановить конвейер, если у него под рукой не окажется материала. Главный конвейер завода по сути выполняет роль самого обыкновенного транспортера, который волочит комбайны. Я могу целый час звонить на сборку, и мне не скажут, почему остановился конвейер.

Красилов позвонил в цех, и действительно никто из цехового начальства еще не знал, что произошло на конвейере. Разгневанный директор вызвал Потыльного и продиктовал ему приказ, которым устанавливался ограниченный список лиц, имеющих право останавливать конвейер с обязательным уведомлением директора.

— Мало, мало времени я на заводе,— сказал Красилов, грустно улыбнувшись.— Коллектив на «Сельмаше» замечательный, но разболтались люди, отвыкли от настоящей работы.

Потыльный принес отпечатанный на машинке приказ. Красилов спрятал его в письменный ящик.

— Почему же туда? — спросил Ключаренко.— Надо довести приказ до всеобщего сведения. Зачем прятать хороший приказ в ящик?

Красилов тяжело вздохнул, а потом улыбнулся:

— Написать приказ легко, а для того чтобы провести его в жизнь, нужно еще поработать. Бумажками главный конвейер не обеспечишь — нужны материальные средства, нужно создать заделы. На будущей неделе я смогу вывесить приказ без боязни поставить себя в смешное положение.

— Что-то вы, Василий Петрович, все на будущее упираете. А июльский план надо выполнить сегодня. Мне стыдно смотреть людям в глаза. Ведь они надеются на свою парторганизацию, верят ей. Вспомните, какой бурный был партком, как загорелись после него все.

Вряд ли подобные излияния могли подействовать на Красилова. Тем не менее он счел необходимым сочувственно склонить голову.

— Смею вас заверить, сделаю все, что в моих силах. Будем драться до победного.

— Вот именно, будем драться.— Ключаренко встал, пристукнув палкой по полу.

— Вы куда теперь? — спросил Красилов.

— На сборку.

— Пожалели бы себя. Чего вам бегать с больной ногой по цехам. Это нам, хозяйственникам, придется сегодня побегать. Шли бы, Николай Сидорович, в партком. Скоро ведь перевыборы.

Директор явно стремился отвлечь внимание Ключаренко от сборки. Но это ему не удалось. Парторг действовал, как подсказывала ему его совесть. Ключаренко ушел на сборку. Туда же обращено и главное внимание Красилова. Ему надо задержать сборку комбайнов.

Как же он сделает это? Не встанет же директор на конвейер, не крикнет громовым голосом: «Остановитесь!» Не издаст же он приказа, запрещающего перевыполнять нормы, проявлять трудовой энтузиазм и прочее.

Конечно, нет. Он будет стоять в стороне и осуществлять свои замыслы через других — слепых исполнителей своей воли.

Ежедневно «Сельмаш» отгружает два эшелона готовой продукции. Значит, он должен получить примерно столько же сырья: металла, леса, моторов, полотна, эмали, подшипников и т. п. Поток материалов вливается в цехи завода, проходит через плавильные печи, прессы, молоты, пилорамы, станки, через

сотни ловких рабочих рук и, воплотившись в комбайны и косилки, уходит обратно.

Движение этого потока и собирается задержать директор. Для этого ему нужно знать слабые места — «мели» потока.

Красилов вызывает к себе начальника снабжения Мешкова. Перед ним предстает высокий мужчина с хмурым лицом, на котором выделяются густо нависшие седые брови и большой горбатый нос. Начинается деловой разговор.

Хватит ли эмали для окраски комбайнов? Эмали хватает. Есть ли кружки-масленки? За кружками поехали. Это здесь же, в городе, в кооперативной артели. Скоро привезут. А может быть, не скоро? Может быть, сегодня совсем не привезут?

— Какие документы имеются у вас на три непоступивших вагона с листом 0,67? Телеграмму от прокатчиков не получали?

— Забодай их козел, этих прокатчиков; шлем им телеграмму за телеграммой, а они словно воды в рот набрали. Вот сколько мы наслали.— Мешков выхватывает из папки увесистую пачку копий.

— Я думаю, этого вполне достаточно.

— Смотря для чего,— для оправдания — да, а для результатов — мало. Уж не знаю, чем их прошибить. И в обком уже звонил, чтобы нажали на них. Сейчас составляю такую «молнию»...

Красилов резко перебивает:

— Хватит! Хватит транжирить государственные деньги на эту бесполезную переписку. Дайте мне копии,— он властно протягивает руку,— я пошлю докладную министру.

— Пока-то докладная дойдет, а лист нужен цехам сегодня. Будем давать другой типоразмер, более крупный. На складе имеется лист 0,75.

— Ни в коем случае. Категорически запрещаю.

Мешков удивленно вскидывает свои густые брови.

— Но ведь тогда сборка к обеду встанет.

Начальник снабжения упрямо отказывается понимать, к чему клонит директор, и это раздражает директора. Он начинает иронизировать. Насколько он, директор, понимает, сборка не есть функция отдела снабжения. А если снабженцы проявляют о ней такое беспокойство, то его следовало проявить по крайней мере на неделю раньше. Могли бы послать специального толкача за этим металлом.

Директор рекомендует отделу снабжения в следующий раз действовать оперативнее.

— Так, значит, сегодня не давать металл? — невозмутимо спрашивает Мешков.

— Кажется, я уже сказал.

— В таком случае, Василий Петрович, я хотел бы получить письменное указание.

— Надеюсь, указания министра будет для вас достаточно. Если забыли, могу напомнить.— Красилов судорожно роется в ящичке стола.— Будьте любезны. Приказ министра о запрещении использования неразмерженного проката. Можете оставить на память.

Мешков пожимает плечами. Не часто приходится ему получать такие распоряжения. Видимо, новый директор хочет соблюсти все формальности. Пусть будет так. Его, Мешкова, дело — выполнить приказание директора.

Красилов возбужденно ходит по кабинету. Вот работай с такими твердолобыми. Привыкли к бесхозяйственности. Конечно, легче всего взять прокат большого размера и сострогать лишний металл в стружку и так выполнить план за счет перерасхода металла. И не какие-нибудь килограммы — тонны металла уходят на ветер. И это в то время, когда заводы сидят на строгом пайке, когда в стране такая нужда в металле, мы гоним его в стружку или утяжеляем комбайны. Не только перерасходуем дефицитный металл, но и возим его по полям. Хватит! Он, Красилов, научит своих подчиненных хозяйствовать по государственному, научит беречь каждую копейку, каждый килограмм металла.

Мешков слушает молча, склонив голову. Красилов не любит, когда ему возражают.

4

Директор направляется в обход по цехам. Он хочет во что бы то ни стало и как можно скорее найти самое «узкое» место на сборке. Для этого ему не надо разговаривать с людьми, задавать им вопросы — он сам все увидит.

Красилов всегда ходит по заводу один, без сопровождающих. Вот он появляется в огромном здании сборочного цеха. Внизу, в бетонной щели, медленно ползет бесконечная стальная цепь — главный конвейер. Здесь, с широких железных колес, насаженных на толстые оси, начинается рождение комбайнов. Высокие колеса прицепляются к цепи и начинают медленное движение вдоль пролета. Краны опускают на них различные узлы — толстые рамы, гудки железные ящики. Сборщики прилаживают детали, подвешивают звездочки, натягивают цепи. Двигаясь вперед, комбайны постепенно вырастают, обретают свою форму.

Красилов неторопливо шагает вдоль сборки. Из сложного процесса рождения машины наметанный директорский глаз вскоре выхватывает «узкое» место: на сборке не хватает шестеренок. После этого директор направляется в соседний пролет. Вот и зубофрезерный участок, где за тремя станками работает Алексей Черноперов, невысокий худощавый рабочий, в синем комбинезоне.

Переходя от станка к станку, Черноперов почти незаметными движениями руки снимает готовые шестерни и ставит на их место круглые маслянистые заготовки. Его работой можно залюбоваться, и Красилов останавливается, любуется и в то же время думает, как бы ее задержать, приостановить.

Зарядив все станки, Черноперов вытирает руки и достает папиросу. Красилов здороваётся, спрашивает, как дела на участке.

— Приходится поторапливаться,— отвечает Черноперов.— Первый перекур сегодня.

— Да, да,— Красилов берет в руки блестящую шестеренку,— того и гляди из-за этих маленьких деталей встанет вся сборка.

— Из-за меня не встанет. Полторы нормы уже отработал.

— Отлично, товарищ Черноперов. Дирекция надеется, что вы приложите все силы к тому, чтобы не задержать сборку и тем самым помочь заводу выполнить программу.

— Вот надумал заложить пакет сразу на пятнадцать шестерен.— Черноперов кивает головой на станок.

— Только смотрите, товарищ Черноперов, строже за качеством. Чтобы это не привело к браку.

— Станок налаживал сам. За точность ручаюсь.

— Кто ваш сменщик?

— Сегодня остаюсь на сверхурочные. Начальник цеха просил. Хотел зайти к вам на прием, да уж, видно, не получится. Штурмуем всюю — сегодня самая возможность подработать.

— Зачем же вам беспокоиться, отрываться от работы. Можем и здесь поговорить. Вы по какому вопросу?

Черноперов говорит, что он придумал автомат для насадки зубьев на барабан молотилки. Начальник цеха одобрил, теперь требуется разрешение...

— Помню, помню,— перебивает Красилов,— мне показывали ваши чертежи. Мысль правильная. Проект разработан основательно, хоть и нуждается в уточнениях. Одна беда, товарищ Черноперов,— нет денег. Отпущенные на этот год средства уже расписаны до копейки. С кредитами у нас туго, завод и без них по горло в долгах. Так что потерпите. Включим ваш проект в смету будущего года...

Красилов начинает объяснять существующую систему кредитов. Черноперов, слушая, внимательно наблюдает за станками. Он подходит к ним, ставит новые заготовки и снова возвращается к директору.

— Так вы только разрешите, товарищ директор. Я сам сделаю — сверхурочно.

— А материалы где возьмете?— спрашивает Красилов, уже готовый, наверное, начать лекцию о снабжении.

— Мало ли за цехами валяется. Станины старые, лом железный. Вы только разрешите. Я сейчас техникум заочный кончил, вечера у меня свободные.

— Хорошо. Этот вопрос мы решим с начальником цеха. А что, товарищ Черноперов, если дирекция предложит вам должность мастера? Мастером смены на участке барабана. Там у нас с кадрами туго.

— Мне уже предлагали, товарищ директор. Спасибо за приглашение. Решил остаться рабочим. Молодой был бы — пошел. А так семья. Не могу.

— Ну что же, товарищ Черноперов. Неволить вас не будем.

Черноперов снова отходит к станкам. Красилов возвращается в заводоуправление. Лицо его озабочено и сердито.

— Где Курапов?— бросает он на ходу Потыльному.— Уже первый час.

Красилов готовится к серьезному разговору. Достав из срочной папки бумагу, которая еще утром вызвала его недовольство, он принимается сосредоточенно изучать ее, делая пометки в блокноте. Вместо Курапова в кабинет робко входит худенькая девушка в легком нарядном платье. Красилов, заулыбавшись, встает ей навстречу. Добрый день, присаживайтесь, товарищ Осокина. Чувствуйте себя как дома. Вы за начальника отдела? Пошли на повышение? А где же он сам? На сессии горсовета? Отлично, Вера Михайловна, так кажется?

Перейдя с игривого тона на серьезный, директор говорит:

— Сводка по качеству за последнюю декаду заставляет меня насторожиться. Неужели мы в самом деле дали только семьдесят две сотых процента брака по механическим цехам? Даже самые суровые технические лимиты допускают девяносто сотых брака. Вы сами прекрасно знаете, как трудно бывает уложиться в этот лимит, особенно при нашем изношенном станочном парке. Я, разумеется, понимаю, что вы здесь ни при чем, вы составляли сводку по цеховым данным.— Вера Михайловна поспешно кивает головой.— Но вот я и боюсь, что эти цеховые данные, мягко выражаясь, приукрашены. Представьте себе, что одна, всего одна некачественная деталь пропущена нерадивым контролером на сборку. Вот,— Красилов вытягивает руку, на ладони блестит маленькая шестеренка,— вот одна такая шестеренка, крохотная стальная шестеренка, проникла на сборку и ушла с комбайном. Авария! В колхозе будет авария да еще в самый разгар уборки.— Красилов делает круглые глаза, и у Веры Михайловны тотчас глаза становятся круглыми.— Посмотрите это письмо. Очередная рекламация на комбайн. Получена только сегодня. Авария произошла по вине сборки. Из-за такой вот шестеренки. Эта тоже бракованная.— Красилов дает Вере Михайловне подержать шестерню.— На глаз как будто все в порядке. И не подумаешь, что из-за

нее может выйти из строя огромная машина. А завод терпит убыток. Колхозники ругают наш завод.

Директор изображает на своем лице печаль — и она тотчас отражается на лице Веры Михайловны, как в зеркале.

— Я считаю,— продолжает директор,— что отдел технического контроля ослабил контроль над цехами. Нужно немедленно выправить это ненормальное положение. Вы совесть нашего завода и его честь!..

Выйдя от директора, испуганная Вера Осокина бежит в цехи, к участковым контролерам. Директор недоволен работой отдела, нужно усилить контроль, не пропустить на сборку ни одной испорченной детали.

В механическом цехе за железным столом, огороженным фанерой, сидит контролер Бабичев. Опустив голову и сдвинув очки в металлической оправе на нос, он с укоризной смотрит исподлобья на запыхавшуюся девушку.

— Ты что же, хочешь сказать, что я пропускаю на сборку брак? Я восемнадцать лет сижу за этим столом, товарищ учительница. Четыре скамейки просидел.

— Нет, нет, Андрей Игнатьевич,— испуганно говорит Вера Михайловна.— Просто нужно выправить ненормальное положение. Директор приказал усилить контроль. Приказал шестеренки... А про вас мы знаем, что вы лучший контролер. Я еще на практике у вас была, помните?

— То-то,— примирительно говорит Бабичев.— А гайки подкрутить завсегда можно. На то мы и поставлены. Так, что ли, товарищ молодой инженер?

Бабичев улыбается, и Вера тоже улыбается.

Последствием всего этого было то, чего и добивался директор,— Бабичев забраковал партию шестерен, поступивших с зубофрезерного участка. Обычно сведения о браке собираются в конце смены, но сейчас, в горячую штурмовую пору, все произошло быстрее. Начальник цеха Дергач забеспокоился: где же шестерни? — и побежал к Черноперову.

— Алексей Алексеевич, ты, я вижу, без ножа меня зарезать вздумал. Где шестерни?

Черноперов ответил, что десять минут назад сдал мастеру большую партию. Дергач разыскал мастера, и, наконец, ниточка привела его к Бабичеву. Узнав причину задержки, Дергач горячо запротестовал:

— Не может Черноперов дать брак.

— Может или не может, а дал,— ответил Бабичев, холодно поблескивая из-под очков.— Желаете полюбопытствовать?

Достав чертежи, Дергач принялся внимательно рассматривать шестерни. Бабичев равнодушно сгреб со стола в браковочный ящик еще одну партию деталей. Затем он поставил ящик, наполненный шестернями, на тележку и на глазах растерявшегося Дергача повез ее к браковочной кладовой.

Тревожная весть дошла до Черноперова,— тот остано­вил стан­ки, прихватил с собой мерительный инструмент и решительно направился к Бабичеву:

— Ты что же, микронова твоя душа, вздумал браковать мою работу?

— А допуски-то превышены,— язвительно проговорил Бабичев.— Вот они, микрончики-то, и вылезли наружу. Они — хитрые. Пакетиком работали, Алексей Алексеевич?

— Тебя не спросили.— И обычно спокойный Черноперов замысловато выругался. Еще бы! Сам директор разговаривал с ним сегодня, возлагая на него надежды. А тут...

— Оно и видно, что пакетиком,— продолжал Бабичев.— Вот оно и пошло на конус. Вам бы лишь проценты дать да прогрессивку взять. Избаловали вас личными клеймами. А для меня точность — первейшее дело...

— Шестерни в пределах допуска,— категорически заявил Дергач,— я требую повторного контроля.

— Полное ваше право. Пишите акты.

Разгневанный Дергач позвонил ко мне. Что же получается? Полное самоуправство. Из-за неправильно забракованной шестерни останавливают сборку. Примите срочные меры.

Оценив по достоинству ловкость и тонкость Красиловского маневра — ведь отдел технического контроля подчиняется лишь директору,— я посоветовал Дергачу позвонить Красилову и вошел в кабинет директора послушать их разговор и, может быть, помочь начальнику цеха. Красилов разговаривал по телефону с секретарем горкома партии: «Поставщики подводят — из-за них приходится штурмовать. С планом положение тяжелое. Вряд ли удастся дать все сто. Да, да, прилагаем все силы, мобилизованы все резервы, однако было бы несерьезным думать, что можно так быстро вывести завод из такого глубокого прорыва.»

Только Красилов закончил телефонный разговор, как дверь широко распахнулась и в кабинет ворвался красный от возбуждения Дергач. Не сумев дозвониться к директору, он прибежал сам.

— Что же это такое, Василий Петрович? — начал Дергач с порога.

Красилов не ответил,— он уже сосредоточенно перелистывал какие-то бумаги. Дергач оторопело уставился на него. Наконец, Красилов взглянул на начальника цеха.

— Вы, кажется, чем-то недовольны?— спросил он.— Слушаю вас.

Уже успев остыть, Дергач продолжал гораздо спокойнее.

— Прошу вашего экстренного вмешательства.— Дергач рассказал суть дела и добавил: — Я готов отвечать головой за качество этих шестеренок.

— Сколько же их забраковали? — спросил Красилов. — Всего сорок штук? Не так страшно. Такому замечательному зуборезу, как Черноперов, — на час работы. Шестьдесят минут.

— Но ведь тем временем сборка встанет, — не унимался Дергач.

И правда, на пульте вспыхнула красная лампочка. Сложный производственный поток оборвался в одном месте. Несколько шестеренок выпали из него — и главный конвейер завода остановился.

— Ну вот, — выдохнул Дергач, — разве вы хотите этого?

— А вы разве хотите пустить на сборку бракованные детали?

— Василий Петрович, это ошибка.

— К сожалению, я лишен возможности убедиться в этом на расстоянии. Да и вряд ли мое присутствие в цехе исправит эти шестерни. У меня все. — Красилов снова взялся за бу маги.

Обескураженный Дергач вышел ни с чем.

В кабинете начался телефонный перезвон. Звонил мастер, парторг Ключаренко, снова звонил Дергач. Кончилось тем, что Красилов накричал на начальника цеха. Черт знает что, директор завода вынужден заниматься каждой шестеренкой! А где, спрашивается, ваша самостоятельность, где ваша инициатива? Не могут сами решить такого пустякового дела...

Пришел председатель завкома, и на лице директора снова заиграла улыбка. Красилов занялся распределением путевок, а потом уехал домой обедать.

Звонки из цехов продолжались.

— Директор на обеде, — то и дело повторял Потыльный.

Когда через полтора часа Красилов возвратился на завод, обстановка переменилась. Красилов сразу почувствовал это, как только услышал веселое постукивание палочки входящего в кабинет Ключаренко.

— Ну и жаркий денек сегодня, — весело произнес Ключаренко, усаживаясь в кресло. — Сборка чуть было не задохнулась.

Красилов едва приметно усмехнулся:

— Какой же способ искусственного дыхания вы применили?

— Естественное желание рабочих выполнить план...

— Как видно, наибольших успехов в деле выполнения плана добиваются браковщики. Этот, как его, контролер механического цеха...

— Бабичев, неправильно забраковал всю партию шестеренок по одной дефектной детали. Старший контрольный мастер отменил его решение.

Первый удар Красилова был отбит. Но не таков Красилов, чтобы так быстро сложить оружие. Обдумывая новый ход, он

терпеливо объяснял парторгу систему контроля. Бабичев прав. Как же иначе? Выборочный контроль, когда качество всей партии определяется по одной детали,— основной вид заводского контроля даже на таких ответственных деталях, как шестеренки. Со станков «Сельмаша» ежедневно сходит свыше миллиона разных деталей. Если каждую из них проверять, потребуются тысячи контролеров. И без того на заводе сотни людей, которые ничего не производят, а только контролируют производителей. Сколько их: старший контрольный мастер, просто контрольный мастер, старший контролер, просто контролер. Вот в газетах пишут — ученые придумали контролеры-автоматы. Это — вещь. Но что-то этих автоматов пока не видно на наших заводах.

— Кстати, Василий Петрович,— сказал Ключаренко,— к вопросу об автоматах. Подпишите, пожалуйста, это письмо в министерство.

Красилов бегло просмотрел письмо.

— Позвольте, да это же о том самом автомате, который разработал Черноперов. Подписать-то можно, Николай Сидорович, да только наверху вряд ли удовлетворят нашу просьбу.

— Я тут говорил с Москвой по своим делам,— сказал Ключаренко,— и между прочим коснулся этого вопроса. Обещали выделить пятьдесят тысяч на малую механизацию.

Снова Ключаренко обошел Красилова, но тот и виду не подал.

— Быстро-быстро. Не успел я подумать, что делать с этим предложением, а уже налицо результат.— Красилов размашисто подписал письмо.— Спасибо, Николай Сидорович. Ведь у нас лежит под сукном немало и других предложений. Теперь мы их провернем. Что же касается автомата для барабана, над ним, видимо, придется еще поработать: в конструкции есть неточности. Кстати, Николай Сидорович, Черноперов коммунист?

— Кандидат. А что?

— Тем более. Прошу вас, поговорите с ним. Не желает идти в мастера.

— Да, бывает,— протянул Ключаренко неопределенно,— поговорить, конечно, можно, только вряд ли это поможет.

— Не поможет, вызовем на бюро. Заставим.

— Предпочитаю таких вопросов на бюро не разбирать.

— Почему же вы отказываетесь от своей прямой обязанности, от пропагандистской работы?

На смуглом лице парторга проступили красные пятна. Он заговорил взволнованно:

— Поймите, Василий Петрович, дело тут не в пропагандистской работе. Дело сложнее и проще. Что я ему скажу: боишься ответственности? Поможем. Знаний не хватает? Научим. Я и с Черноперовым и с другими не раз говорил.

Их агитация сильнее моей. «Что, говорит, ответственность? Я ее не боюсь. И знания — дело наживное, а вот семья у меня, сам четвертый. Не проживу я на восемьсот рублей. А премия то ли будет, то ли нет». Что я ему скажу на это? Действительно, если в семье один работник, трудно прожить на восемьсот рублей, особенно когда привык жить на две тысячи. Зачем же Черноперову лишаться достатка? И имеем ли право принуждать его к этому? Дело, как видите, не в пропагандистской работе, а в системе оплаты труда. Мастер получает вдвое меньше хорошего рабочего. К тому же у мастера нет никаких прав. Когда-то они были, да их постепенно растеряли. Да и нынешние мастера таковы, что вряд ли им нужны права. Существующая система оплаты ведет к тому, что в мастера идут рабочие, которые не умеют работать на станке. Зачем такому мастеру права? До войны я сам работал мастером. Тогда мастер был фигурой — он мог и к премии представить рабочего, и наказать бракодела, и даже уволить его мог. А теперь мастер имеет одно право — получать шишки от начальства.

— Сие, увы, от нас не зависит.— Красилов развел руками.— Я сам однажды писал докладную на подобную тему. Где наша самостоятельность? Увы, написал — ничего не вышло. Посоветовали оставить пустое прожекторство. О мастерах вы совершенно правы, но о Черноперове мы еще поговорим.

— Хоть бы уверенность, что ли, у рабочих была, что завод станет премию получать. А то сидим в долгах, не выполняем плана, перерасходуем металл.

— Да, да,— Красилов встал и заторопился,— именно, сколько металла расходуем зря. Побегу. Впереди еще полдня. Будем бороться.

Второй, послеобеденный, обход директор начал с заготовительных цехов. Эти цехи давали продукцию для следующего месяца, и поэтому он, зорко присматриваясь ко всему, что мешало их работе, здесь же на месте добивался устранения всех задержек и неполадок, подписывал заявки и т. п.

В литейной Красилов остановился около дуговой электропечи. Печь не работала пятый день. Собственно самой печи уже не было. На ее месте возвышалась груда огнеупорного кирпича, торчали стальные балки. Около печи возился худой длинноволосый юноша в роговых очках. Это и был молодой инженер Бессонов, сменный мастер участка. Красилов осведомился у него о ходе работ.

— Кончаем разрушать. На той неделе начнем перекладывать наново,— ответил Бессонов.

— Видно, недавно кончили институт? — спросил Красилов.

— Два года. А что?

— И, конечно, мечтаете совершить переворот в технике? — Красилов с улыбкой кивнул головой на развороченную печь.

— Какой там поворот,— просто устраняем конструкторские недоделки.— Бессонов развернул чертежи и начал увлеченно объяснять директору техническую суть дела.

— В результате,— говорил он,— толщина футеровки станет меньше, полезный объем печи за счет этого увеличится. Плюс экономия топлива.

— Да, да,— перебил Красилов,— я знакомился с проектом. Однако нет ли опасности, что тонкий слой футеровки приведет к проеданию подины?

— Что вы? Если тщательно осматривать подину, ее никогда не проест. Наоборот, стойкость футеровки увеличится.

— Есть ли трудности в работе?

— Не хватает огнеупоров.

— Будет сделано. Пошлем специально толкача. Передайте Никольскому мое разрешение на это.

Задержался Красилов и в металлораскроечном цехе. Начальник цеха показал директору на стопку железных листов, уплывающих на кране в конец пролета.

— Отправили последнюю партию,— сказал он и попросил у директора разрешения взять со склада стальной лист другого размера, потолще, хотя бы 0,75.

— Да, три вагона с листом до сих пор не поступили,— проговорил Красилов грустно.— А насчет «потолще» категорически запрещаю.—Голос директора зазвенел.

— Но тогда мы нарежем сборку! — испуганно воскликнул начальник цеха.

Красилов снисходительно улыбнулся.

— Ваше, гм... рационализаторское предложение сулит заводу по крайней мере десять тысяч убытка.— Красилов резко изменил тон, улыбка сбежала с его лица.— Вы замкнулись в кругу узкоместнических интересов и пренебрегаете интересами общезаводскими. К чему поведет этот перерасход металла?

Директор внушительно отчеканил все то, чему он уже учал сегодня Мешкова относительно снижения себестоимости и экономии металла. И, конечно, при этом опять упомянул о приказе министра.

Не далее как позавчера Красилов не менее решительно отдавал распоряжение пустить в дело прокат большого размера. И тогда он тоже опирался на приказ министра. Как же так? Очень просто. В письменном столе Красилова лежали два приказа на эту тему. Один, подаренный на память Мешкову, категорически запрещал использовать неразмерный прокат, другой разрешал делать это в определенных случаях. Смотри по обстановке, Красилов вытаскивал на свет то один, то другой приказ и подкреплял его вескими цитатами, также соответствующими данной обстановке. Если, скажем, Красилову

нужно было запретить неразумный прокат, он начинал говорить об экономии, о себестоимости. Если же ему нужно было разрешить, он говорил о государственном плане, о производительности и даже об урожае.

5

Усилия Красилова увенчались успехом: сборка была «зарезана». Красная лампочка на пульте зажглась, видно, надолго. В директорском кабинете неистово трезвоили телефоны.

Дело принимало серьезный оборот, и, казалось, обычное спокойствие покинуло директора. Вернувшись с обхода, он забил тревогу, начал возбужденно кричать в телефонную трубку: «Жми-нажимай! Наддай-давай!»

Его возбужденное настроение передалось в цехи, из цехов, усилившись еще больше, оно перешло на участки. Взвинченные начальственными криками, суетливо забегали мастера, нервничая у станков, запарывали детали рабочие — словом, началась настоящая штурмовщина.

Наконец, Красилов положил трубку и устало откинулся на спинку кресла, вытирая платком лицо.

— Ну и работка, — с усмешкой проговорил он.

Вызвав начальника снабжения Мешкова, директор покричал еще:

— Бейте тревогу! Телеграфируйте во все концы, в министерство — стоит главный конвейер. Пусть Москва принимает решительные меры. А потом — на розыски вагонов. Вот пришла телеграмма от поставщика. — Красилов открыл папку. — Я тут совсем замотался, а она, оказывается, лежит у меня на столе с утра. Сообщают, что отгрузили три вагона еще позавчера. Действуйте. Надо наверстать упущенное.

Интересная новость — телеграмма пришла еще утром! Неужели Красилов действительно не заметил ее и теперь считает долгом честно признаться в этом. Вряд ли. А может быть, и так.

Мешков не стал задумываться над этим, — он выбежал из кабинета обрадованный. На мой осторожный вопрос о телеграмме Красилов ответил улыбкой:

— Вам, я вижу, хочется сделать из меня мрачного злодея, который прячет срочные телеграммы, выдает фиктивные наряды, сбывает некомплектную продукцию и потом строит себе дачи за счет казны. Не выйдет. Приписка и прочие фикции — архаизм, пережиток. При современных средствах государственного контроля «приписка» — безнадежное, гиблое дело. Есть другие способы, более законные и надежные. Я обыкновенный директор. Все мы более или менее удачно выкручиваемся и в основном делаем план. Мы работаем честно. Работаем не для себя, а для государства. И продукцию

кладем на бочку. Я действую в рамках своих законных прав. Хоть и мало их у меня, они все же есть, и я за них держусь.

— Кстати, Василий Петрович, вам привет от Ларионова.

— От Петра Максимовича?

— Да, недавно получил от него письмо.

— Да, да, он же бывший сельмашевец, я совсем забыл. Ведь я и живу в его квартире. Будете писать, передайте горячий привет от меня. Я у Петра Максимовича первую практику проходил, еще до войны. Я его хорошо помню. Строгий мужчина. Пошел в гору. Такой заводище получить... Вот где можно развернуться.

— Он, наоборот, жалуется на свое бесправие, на опекунов...

— Прибедняется, прибедняется,— перебил Красилов.— Неужели такой сильный руководитель, как он, не может вернуться?

— Для этого он слишком принципиален...

Моя стрела попала в цель. Красилов отвел глаза, поглядел, как дымится в пепельнице непотухшая папироса, потянул за карандашом, раздавил им папиросу и лишь тогда заговорил:

— Что же, я готов согласиться с тем, что у нас в ходу самая примитивная уравниловка. И у Ларионова, директора крупнейшего предприятия, и у меня, директора среднего завода, и у директора, скажем, нашей горпромхозовской бани — одинаковые права. Я одновременно могу истратить по счету триста рублей, и директор бани может истратить триста, и Ларионов — триста. Но если директору бани, у которого вершина производства — шайка и мочалка, вполне достаточно такой суммы, то для Ларионова она ничтожна. Мы, помнится, уже говорили о таком ненормальном положении с финансами. К тому же у Ларионова сложнейшая номенклатура, десятки новых машин, ему, разумеется, трудно. Но дело все-таки не столько в том, что не хватает прав, сколько в том, что не каждый умеет пользоваться своими правами.

6

Подошел назначенный час совещания по качеству. Оглядев собравшихся, Красилов с удивлением обнаружил, что Ключаренко почему-то не пришел. Директор приступил к докладу. «Сельмаш» получил за месяц свыше двадцати рекламаций. Значит, двадцать машин выбыло из строя в самое горячее время уборки, когда один день может решить судьбу урожая. Кроме того, были случаи, когда продукция отправлялась некомплектно. Во избежание неприятностей завод был вынужден высылать на самолете ремонтные бригады и недостающие части

машин на места рекламаций. Подобные случаи ведут к удорожанию себестоимости. Поэтому вопрос о качестве...

Красилов говорил в течение часа. Время от времени он поглядывал в окно на высокое здание сборочного цеха, белеющее сквозь густые ветви деревьев. Ни одна машина не вышла за этот час из ворот цеха, и речь Красилова становилась все убедительнее и горячее.

В разгар прений в кабинет вошел Ключаренко. Он присел рядом с Красиловым и прошептал на ухо важную новость: нашлись вагоны. Красилов одобрительно кивнул головой и стал закруглять совещание.

Совещание закончилось чтением пространного директорского приказа о строжайшем контроле за качеством и комплектностью продукции.

Когда народ разошелся, Красилов повернулся к Ключаренко:

— Послушаем теперь рассказ о вашем снабженческом подвиге.

Парторг не почувствовал в этих словах иронии и стал рассказывать. Оказалось, что вагоны еще ночью прибыли в узел и их загнали в тупик. Пришлось нажать через горком, и вагоны передали заводу. Мешков составил на железнодорожников акт за **неподачу грузов**.

— Ох, уж эти мне штрафы, — с сожалением вздохнул Красилов, — мы — им, они — нам. Перекладываем сотни тысяч из одного государственного кармана в другой... Однако эти проклятые вагоны нашлись во-время. Я уже собирался «молнию» давать министру. Когда же они будут на заводе?

— Вагоны уже пришли. Мешков сам приехал на паровозе. Притащил вагоны прямо в раскроечный цех. Теперь живем — сто тонн проката 0,67.

— А сборка все-таки простояла час с лишним, — вздохнул Красилов, посмотрев в окно: трактор вытягивал из ворот цеха три комбайна.

В кабинет беззвучно вошел Потыльный и положил на стол телеграмму с широкой красной полосой посередине — **правительственная!**

Красилов прочитал телеграмму про себя, а затем вслух. Это был государственный заказ на стогометатели.

— Так и есть, — произнес Красилов многозначительно. — Вот оно. Начинается ломка планов. Я давно ожидал нечто подобное, с тех пор как начались целинные земли. Этот стогометатель — первая ласточка, за которой, не сомневаюсь, скоро прилетят другие. А что эти ласточки переворачивают вверх дном все ранее утвержденные планы, графики, сметы — до этого никому нет дела. Так недолго...

В продолжение всей этой речи Ключаренко в упор смотрел на Красилова, и на лице его все сильнее проступало удивление.

Уловив пристальный взгляд парторга, Красилов замолчал на полуслове.

— Странно вы рассуждаете, Василий Петрович, — заговорил парторг. — Словно для вас государственный план — начало всех начал. А что же в таком случае делать с неуклонно растущими потребностями народа, с новейшей техникой? Для этого и целинные земли и новый стогометатель. А план — только производная величина от этой главной задачи — от основного закона социализма.

— Конечно, конечно, — согласился директор. — Все это правильно, но... — Красилов сделал торжественную паузу. — Но коль начинаются такие дела, следует воспользоваться случаем и поставить вопрос о замене нашего сильно изношенного станочного парка хотя бы процентов на тридцать. Никольский дал мне сегодня сводку — восемьдесят процентов наших станков имеют возраст свыше двадцати лет. Шутка сказать. Я давно мечтаю о скоростных станках. А сейчас, в такой момент, наверху не посмеют отказать. Как вы думаете?

Ключаренко поднялся:

— Поговорим об этом позже. Время идет. Займемся текущими делами. Пойдемте в цех, Василий Петрович?

— Целиком надеюсь на вас, Николай Сидорович. Вашего присутствия будет там вполне достаточно. Вы сегодня действуете более чем оперативно. А мы с главным инженером позовем конструкторов да займемся новым стогометателем. Теперь это самое важное. Но сроки, какие жесткие сроки. — Красилов болезненно застонал.

7

Разговор директора с конструкторами был готов затянуться до позднего вечера. Казалось, что действия парторга свели на нет все усилия Красилова и тот признал свое поражение. Но это только казалось.

События нарастали в ускоренном темпе, как обычно бывает к концу штурмового дня. Вслед за сообщением, что нет подшипников — пришлось снять с конвейера двадцать комбайнов, — пришло новое сообщение — нет смазочных кружек.

— Что делать? — спрашивал Дергач у директора. — Снимать с конвейера еще тридцать восемь машин?

— Ни в коем случае. Продолжайте сборку, — приказал Красилов. — Что-нибудь придумаем.

Красилов положил трубку и как ни в чем не бывало продолжал прерванный разговор с конструкторами.

Я уже понимал его замысел, и поэтому меня несколько не удивляло, что директор спокойно поглядывает в окна на новые машины, выезжающие из цеха.

Вскоре вся площадь была запружена комбайнами. Тогда Красилов решил, что пришла пора действовать. Он отпустил конструкторов и вызвал Мешкова:

— Привезли кружки?

Мешков ответил, что за кружками пошла машина. Должны привезти с минуты на минуту.

— Вот что, голубчик,— ласково сказал Красилов, словно и не он кричал сегодня на Мешкова,— не надейтесь-ка на шоферов, поезжайте-ка лучше сами за этими кружками. Знаю я эту артель. Может возникнуть огромная неприятность.

Мешков уехал, а директор направился в очередной обход. Но не в цехи, а на погрузочную площадку. Внимательно осматривая приготовленные к отправке машины, Красилов мурлыкал под нос песенку. Он был доволен результатами осмотра — больше половины комбайнов было без кружек-масленок.

Кружки эти имеют свою историю, которая заслуживает того, чтобы о ней рассказать особо.

Обратимся к двухтомному отчету за подписью главного конструктора Хвостова. Отчет посвящен кружке-масленке и начинается с ее описания:

«Масленка, представляющая собой по форме круглый металлический цилиндрический стакан с двояковыпуклыми плоскостями равнозначного диаметра на обоих концах вышеупомянутой цилиндрической масленки, из которых верхняя плоскость имеет отверстие для вливания масла, а нижняя имеет то же самое для выливания последнего на движущиеся цепи работающего комбайна путем специального фитиля, предназначенного для регулирования подачи, предназначается для автоматического смазывания внешних цепей сельскохозяйственных почвообрабатывающих машин...»

Далее следуют выводы:

§ 1. Масленка ХМА-2¹ универсальна.

§ 2. Масленка-кружка действует автоматически и удлиняет срок службы машин...

§ 3. Масленка снижает себестоимость уборочных работ...

В свое время отчет этот был послан в министерство. В приложение к нему были представлены заключения, экспертизы, акты об испытаниях — всего двести четыре документа.

Вскоре министр дал разрешение на внедрение кружки в производство. Начался сложный процесс промышленного освоения кружки. Ни один завод в радиусе тысячи километров от «Сельмаша» не соглашался взять на себя хлопотливое задание. Наконец, местная артель «Стакан», которой руководил изгнанный из «Сельмаша» прогульщик и пьяница, согласилась взять заказ на кружки.

¹ ХМА-2 означает: «Хвостов, масленка автоматическая, двухдырчатая». (Прим. автора.)

К очередной поре уборочных работ все комбайны, сходившие с конвейера, имели на вооружении кружки конструкции Хвостова. Двести тысяч кружек было послано вдогонку ранее выпущенным машинам. Артель «Стакан» перешла на трехсменную работу. Производство автоматических кружек было переведено на поток. Группа конструкторов во главе с Хвостовым получила авторское свидетельство и денежную премию. Казалось, кружке ХМА-2 обеспечено бессмертное место в истории мировой техники.

И тут вдруг до завода дошли вести, что труженики колхозных полей увидели в кружке ХМА-2 своего опасного врага и начали против нее беспощадную войну: как только новый комбайн выходит из ворот МТС, комбайнер тут же срывает кружку, швыряет ее в кусты или в овраг.

За что же комбайнеры так невзлюбили кружку? Оказывается, солома, пыль, полова садятся на маслянистую поверхность кружки, и вокруг нее образуется ком грязи. Он трется о цепи и, если его во-время не счистить и не выбросить, может загореться. А выбросить грязный ком проще всего вместе с кружкой — раз и навсегда.

Эксперты, посланные Хвостовым для выяснения дел на местности, привезли авторитетный ответ:

— Виновата солома, поскольку она легкомаслопроницаема и быстро воспламеняется.

— Новое прокладывает дорогу в борьбе со старым, — заявил Хвостов. — Будем бороться.

Выпуск кружек продолжался.

Вскоре ХМА-2 нашла широкое применение на полевых станах в качестве сосуда для чаепития и более крепких жидкостей. В одном колхозе из кружек догадались даже спаять трубу и сделали из нее стационарную установку для поливки огорода.

На завод стали поступать письма с издевательским обращением к конструкторам: «Кружка ваша хороша. Только ручки у нее нет, неудобно чай пить. А еще коллективно просим — поскольку кружками мы теперь обеспечены, придумайте на комбайн кастрюлю, а то в нашем раймаге кастрюли редко бывают. Любители выпить из кружки «Эх-ма — двести».

Два года продолжалась борьба за кружку, и в конце концов Хвостов сдался и решил снять ее с производства. Но это оказалось не так-то просто: потребовались новые заключенные, экспертизы, акты о количестве выброшенных кружек и т. п.

В министерстве Хвостову задали резонный вопрос:

— Что же вы раньше думали? Выпустили полтора миллиона кружек, затратили государственные средства, а теперь — назад?

И приказано было ждать решения, а пока работать по утвержденной технологии.

Комбайн не мог считаться готовым и директор не имел права отправить его с завода, пока на нем нет кружки, той самой кружки, которая будет выброшена с комбайна, как только он придет на место. И это называлось — вести решительную борьбу за комплектность продукции.

Красилов вернулся в кабинет и взялся за телефон. Мешков еще не приехал. Ключаренко в парткоме не было: он и Дергач находились на участке барабана. Артель не отвечала на звонки.

— Впрочем, это к лучшему, — сказал мне Красилов. — Уже одиннадцатый час. Теперь я почти наверняка уверен в успехе. Парторг весь день пытался ставить мне палки в колеса, чуть было не поломал все планы. Привык бегать при старом директоре. Вот через месяц, когда завод начнет давать сто процентов, дай бог утихомирится и будет сидеть в своем кабинете. А сейчас только портит. Слабовато разбирается в экономике, не понимает, что необходимо сделать маневр, создать заделы. Любит теоретизировать. Слышали, какую философию развел сегодня? Государственный план — производное от высшего закона социализма. А сам бегаёт по цехам за планом, позабыл обо всем на свете...

— Василий Петрович, — перебил я, — вы сказали, что в августе мы дадим сто процентов. А разве не сто пять или даже сто шесть? Ведь у нас теперь есть резерв...

— Вы вроде нашего парторга, — рассмеялся Красилов. — Он, наверное, тоже будет стоять за сто шесть процентов. А мне выгоднее дать сто...

— Кажется, я понимаю вас...

— Конечно же, это не так сложно. Представьте, что «Сельмаш» начинает во второй половине года давать сто пять, сто десять процентов месячного плана, не оставляя никаких стратегических резервов. Вроде бы нам это выгодно. Мы занимаем одно из первых мест в соревновании, можем даже получить знамя. Но что будет потом? Придет пора утверждения плана, а, как известно, план на будущий год почти автоматически рассчитывается по уровню предыдущего. И вот мы, наивные донкихоты, даем сто десять, сто пятнадцать процентов, а министерство тотчас превращает их в сто. И повышенный план на будущий год утвержден. Мы оказываемся в глупом положении: резервов нет, фондов металла нет. Снова можем оказаться в прорыве. Да, конечно, государственный план для меня закон, но законы надо познавать, а не фетишизировать их. Мы с вами, Борис Ильич, начали в цехах огромную перестройку — и в людях и в оборудовании. Вот сделаем новую электропечь, поставим новые станки. Для этого нам нужны резервы. Много резервов. Мы работали на будущее.

Красилов довольным жестом закруглил свою витиеватую речь и снова взялся за телефон.

Он уже не говорил «я», он говорил «мы», словно заранее был уверен, что я согласен с ним.

Не дозвонившись до Мешкова, который будто в воду канул, директор вызвал двух инженеров из технического отдела, дал им свою машину и послал на поиски пропавшего.

Мешков появился в одиннадцать часов. Он ездил за кружками в соседний город, где открылся новый филиал артели «Стакан». Артель на замке. После долгих розысков нашелся один сторож, да и тот спал пьяный. Пришлось приводить его в чувство с помощью пожарного ведра. Только таким путем удалось открыть склад и получить кружки.

— Я бы всю эту компанию отдал под суд,— закончил свой рассказ возмущенный Мешков.

— Теперь поздно махать руками,— бросил Красилов.— Надо было действовать оперативнее. Легче всего свалить собственную вину на пьяную артель.

Мешков промолчал.

— Итак, действуйте. Немедленно в цех. Запускайте кружки в обработку. А за срыв работы цеха я буду вынужден применить административные меры. Можете идти.

Мешков ушел. Красилов подошел к высоким черным часам в углу кабинета и поднял гири.

— До конца месяца осталось пятьдесят минут,— торжественно проговорил он.— Кружки в наших руках. Начинается последний этап битвы за план. Но где же парторг?

Со сводками работы за день пришел Сорокин, а Ключаренко все не показывался. Красилов просмотрел сводки и одобрительно улыбнулся. Выходит, заготовительные цехи уже имеют трехдневный запас материалов. В августе это пойдет в дело.

— Да, но где же сводка с главного конвейера? Не вижу ее.— Красилов полуобернулся к Сорокину.

— Еще не поступала, Василий Петрович. Что-то медлят...

— Наоборот, торопятся... Итак, завтра, Виктор Алексеевич, начинаем работу по графику. График готов?

Разворачивая свернутый в трубку график, Сорокин с сомнением покачал головой:

— Боюсь, Василий Петрович, сборка будет оголена. По моему, они решили сегодня собрать и сдать, что только можно.

— Я в этом не уверен,— сказал Красилов.

На лице Сорокина появился немой вопрос.

— Вот так, отлично, отлично,— приговаривал Красилов, прикалывая график к стене.— Хватит штурмовать. Хватит!

Вскоре на стене красовался большой, расчерченный на клетки лист бумаги с синей прямой по диагонали график ритма.

В коридоре послышался стук палочки.

— Парторг идет. Сейчас все узнаем из первоисточника.— Красилов снял пиджак и повесил его на спинку кресла.

В кабинет вошли двое — Ключаренко и Дергач. Оба перепачканы в масле, но с довольными лицами.

— Мешкова не встречали? — спросил Красилов.

— Нет, а что?

— Мешков поехал в цех, я думал, вы его видели. Ну, докладывайте о результатах вашей героической трудовой деятельности.

— Подобрали вчистую, — бодро ответил Дергач, весьма довольный тем, что ему удалось оголить сборку. — Только что опробовали двенадцать последних комбайнов. Вот сводка. Девяносто девять и пять десятых. Всего полпроцента не дотянули.

Красилов и бровью не повел. Что и говорить, выдержка у него такая, что можно позавидовать.

— Наверху не делают различия: полпроцента или десять, — сказал он, видимо желая поохладить своих собеседников и подготовить их к неприятным известиям. — Вы где-то перепачкались, Николай Сидорович. Возьмите платок.

Ключаренко и Дергач поглядели друг на друга и громко рассмеялись.

— Прошу познакомиться, — со смехом сказал Дергач, — лучший рабочий участка барабана Николай Сидорович Ключаренко.

Красилов недолюбливал громкого смеха в своем кабинете. Он скривил губы.

— Действительно, я считаю, что парторг сегодня с успехом выколачивал детали из цехов. И настолько увлекся своими новыми обязанностями, что, по-моему, даже не заходил сегодня в партком.

Ключаренко перестал смеяться и устало опустился в кресло.

— Я могу быть свободным? — спросил Сорокин, почуяв, что температура в кабинете начинает накаляться.

— Нет, нет, Виктор Алексеевич. Прошу вас, пойдите проверьте, сколько комбайнов не укомплектовано автоматическими кружками. И сразу доложите мне.

— Может, и мне лучше уйти? — простодушно спросил Дергач.

— Останьтесь, — сказал Красилов. — Вам, я думаю, будет полезно послушать отчет парторга о технической деятельности. — Он обернулся к Ключаренко. — Обещаю, что отниму у вас не более пяти минут. Итак, коротенько скажу сам. Предложение об автомате Черноперова — раз. Контроль за десятком шестеренок — два. Путешествие с Мешковым на паровозе — три. Я думаю, этого достаточно, чтобы воздать должное хозяйственной деятельности нашего парторга.

— Хорошо, признаю, — с жаром заговорил Ключаренко. — Весь день я занимался хозяйственными делами. Но что же мне

оставалось делать? Ведь вы-то, Василий Петрович, сегодня ими не занимались?

— Интересно, что же я сегодня делал? — усмехнулся Красилов.— Я весь день провел в заготовительных цехах. И я был там потому, что только там, в вагранках и электропечах, под кузнечными молотами и на термических участках решается судьба плана. Сборка только собирает, что дадут ей заготовительные цехи.

— Вот именно, вы были в заготовительных. И вы работали на будущий месяц. А сегодня план решался на сборке. Там сегодня решался вопрос нашей чести. Поэтому я был на сборке. И если бы, словно нарочно, весь день нам не лезли палки в колеса,— план был бы выполнен.

— Могу поставить вас в известность,— сухо бросил Красилов,— что вы преувеличиваете результаты своей бурной деятельности. Месячный план...

Затянувшийся спор был прерван пронзительным звонком городского телефона. Красилов быстро взял трубку: по всей видимости, он поджидал этого звонка.

— Красилов слушает... Добрый вечер, Иван Герасимович, вернее, доброй ночи... Сводку пришлем в горком,— Красилов посмотрел на часы,— примерно минут через двадцать... По сравнению с июнем подъем налицо, но в общем неважно. Точных данных у меня под рукой нет, но по всей вероятности...

В это время в кабинет вошел Сорокин, и Красилов стал жестами подзывать его к себе, не отнимая трубки от уха. Сорокин подбежал на цыпочках к столу и положил перед директором бумажку.

— Вот только что принесли, Иван Герасимович. Так, так, это получается, значит... Получается процентов девяносто с небольшим... Нет, нет, не больше. По валу гораздо лучше... Мешало сегодня многое: то листа стального нет, то подшипников... А Ключаренко как раз у меня, мы тут обсуждаем наши невеселые итоги. Хорошо. О, за август можете быть спокойны. Дадим сто один процент. Нет, нет, целину мы не подведем. Твердо! Сводку сейчас посылаю.— Красилов неторопливо положил трубку, поглядывая на Ключаренко и Дергача.

— Василий Петрович, объясните, куда могли деться девять с половиной процентов? — недоумевал Ключаренко.

Торжествуя победу, Красилов откинулся на спинку кресла.

— Что-то до сего времени я не слышал, чтобы потребителю отправляли неокрашенную продукцию,— начал он.

— Как неокрашенную? — возбужденно перебил Дергач.— В половине одиннадцатую мы покрасили последний комбайн. Они успеют высохнуть.

Красилов безнадежно махнул рукой:

— Неокрашенная, сырая, некомплектная — не все ли равно. Вы-то валовую продукцию хоть и дали, но отдел техни-

ческого снабжения не может ее принять и перевести в товар. И уже не успеет принять сегодня.

— Василий Петрович, да объясните же, в чем дело? — взмолился Ключаренко.

— Все это не так сложно, — сказал Красилов. — Вряд ли нужно объяснять вам разницу между валом и товаром. Я еще вчера бил тревогу, что у нас кончаются кружки. Начальник цеха вообще должен был бы снять комбайны ко второй смене с конвейера: он сам доложил мне в семь часов, что кружки кончились.

— Почему же вы не сказали мне? — спросил Ключаренко у Дергача.

— Да замотался с этими барабанами, вылетело из головы.

— Вот видите, — назидательно произнес Красилов. — Вот видите, к чему приводит штурмовщина.

— Что же теперь делать? — спросил Ключаренко.

— Я уже принял необходимые меры. Кружки на месте. Мешков повез их в цех.

— Слава богу, — облегченно вздохнул Дергач.

— Я в этом не уверен. — Красилов грустно улыбнулся. — Кружки прибыли в двадцать три ноль-ноль. Пока они пройдут через окраску и сушку...

Часы начали отбивать время. Вслед за ними зазвонили далекие кремлевские куранты — бой их доносился из репродуктора, установленного на заводском дворе. Настало первое августа. С последним, двенадцатым, ударом Красилов резко встал. Куда девалась его медлительность и степенность. Движения стали стремительными, голос зазвучал жестко и властно.

— Не будем терять времени. Месяц кончен.

— А как же июльский план? — спросил Дергач.

— Ничего страшного не случилось, — сказал Красилов. — Ваш самоотверженный труд не пропадет. Отправим продукцию другим числом. Машины собраны — это главное.

— Но ведь тогда они засчитаются в августовский план! — в отчаянии воскликнул Дергач.

— Разумеется, — подтвердил директор.

— Василий Петрович, вы же говорили, что что-нибудь придумаем, когда я о кружках докладывал.

— Кружек не было. Тут ничего не придумаешь, — холодно сказал Красилов.

— А если договориться с железнодорожниками? Пусть подают платформы. Пока будем грузить, кружки подсохнут. А за простой мы заплатим.

Ключаренко посмотрел на Дергача с такой выразительностью, что тот осекся на полуслове и замолчал. Сорокин с восхищением глядел на директора. Красилов пристукнул кулаком по столу:

— Не советую, пока я директор, вносить такие предложе-

ния. Я сейчас пойду на погрузочную площадку и лично прослежу за погрузкой. Платформы уже поданы. Не в моих правилах задерживать продукцию. Но только готовую. По всем позициям.

В кабинет вошел Потыльный и молча положил на стол правительственную телеграмму.

— Опять новый заказ? — нетерпеливо спросил Красилов.

Нет, это было распоряжение министра о том, что с первого августа автоматические кружки ХМА-2 снимаются с производства.

— Ну вот! — обрадованно воскликнул Дергач. — Выходит, теперь их можно не ждать, а отправлять комбайны. Платформы, вы говорите, поданы...

— Удивляюсь постоянству, с которым вы стремитесь на скамью подсудимых, — зло проговорил Красилов. — Пусть так, но вам не удастся заполучить меня в сообщники. Прошло уже девять минут, как начался новый производственный месяц.

— В самом деле, — сказал Ключаренко Дергачу, кладя руку на его плечо.

— Вот именно. — Красилов улыбнулся, великодушным взглядом прощая Дергача. — Пора усвоить старую истину: готовую продукцию за данное число можно сдавать только до двадцати четырех часов. Надеюсь, вам известен этот пункт из главы о техническом учете.

Красилов нажал кнопку. Явился Потыльный.

— Пишите приказ: «В соответствии с указанием министра от такого-то числа автоматическая кружка ХМА-2 снимается с производства. Заказы на кружку аннулируются. Дата. Подпись». Пошлите заодно поздравительную телеграмму в артель «Стакан». Да они же теперь лопнут. — Красилов расхохотался, вслед за ним засмеялся и Сорокин. — Угробили десять тысяч на новый цех. Завтра же банк закроет им все счета.

— Можно идти? — спросил Потыльный.

— Еще один приказ: «Тридцать первого июля из-за отсутствия автоматических кружек ХМА-2 во второй смене не были закончены сборкой восемьдесят восемь нетоварных комбайнов. Начальник отдела снабжения товарищ Мешков, будучи за два дня предупрежден об отсутствии автоматических кружек, не сумел обеспечить конвейер своевременной доставкой кружек на завод. Приказываю. Параграф первый. За срыв работы цеха комбайнов тридцать первого июля, когда решалась программа месяца, товарищу Мешкову объявить выговор. Параграф второй. Главному бухгалтеру завода дополнительные затраты по укомплектованию восьмидесяти восьми комбайнов автоматическими кружками ХМА-2 отнести за счет товарища Мешкова. Дата. Подпись». Все. Можете идти.

Что и говорить — маневр проведен ловко. Целый день огромный завод работая во всю силу и дал всего-навсего один

процент. Июльский план не выполнен. Зато девять с половиной процентов перенесены на август. И нашелся виновник всех бедствий. Это — Мешков, который действовал сегодня энергичнее других, который спорил и не соглашался, имел дерзость возражать директору.

Все в кабинете молчали. Глухо захлопнулась дверь за Потыльным. Вдруг Дергач поднялся и, повернувшись к директору, сказал с неожиданной смелостью:

— А вот Ларионов не отдал бы такого приказа.

— Предположим,— невозмутимо ответил Красилов.— Но если бы Ларионов следовал вашим советам, он не был бы сейчас директором крупнейшего предприятия. Я тоже лично знал Ларионова, наблюдал за его работой. И я вам скажу — это еще ваше счастье, что я не Ларионов. А он умел по-другому разговаривать в таких случаях. Итак, товарищи, за работу. Завтра,— продолжал он, словно не замечая удрученного вида своих товарищей,— мы кончаем со штурмовщиной, подобной сегодняшней, и начинаем работать строго по графику. Тем более что у нас благодаря случаю скопился небольшой запас. От графика не будет никаких отступлений. Пора переводить производство на более высокую ступень. Тогда и у парторга не будет нужды сидеть сутками в цехе и заменять сборщиков. Ритмичность — есть высший показатель культуры производства. График...

Чем мрачнее становились Ключаренко и Дергач, тем громче и веселее звучал голос директора.

8

Красилов сдержал слово. Эшелон с комбайнами ушел в ноль часов сорок минут. Правда, второй эшелон удалось отправить лишь на другие сутки, но здесь директор не был виноват: железная дорога не дала вагонов.

На заводе все шло по-старому. Как прежде, цехи отдыхали после горячей штурмовщины, люди отсыпались, отгуливали выходные. Как прежде, в первые дни месяца сборка стояла, в механических цехах приводили в порядок оборудование.

А на бумаге работа шла в строгом четком ритме. В первый же вечер Красилов, торжествуя, подошел к стене и рядом с синей линией графика вычертил кусочек красной — три с половиной процента. На другой день — еще три процента.

— Вот что значит иметь резерв,— назидательно говорил Красилов.

На третий день сборка зашевелилась и дала несколько комбайнов. Для полной иллюзии ритма не хватало всего половины процента, которые Красилов взял из своего запаса.

На пятый день сборка, наоборот, дала лишний процент, и Красилов бережно отложил его в резерв.

К общему удивлению, план первой декады был выполнен на двадцать девять процентов. Трудно было желать более четкого ритма. Настроение на заводе стало меняться. Люди начали верить в свои силы. Те же, кто понимал, что ритмичность у нас весьма иллюзорная, утешали себя тем, что завод все-таки начнет выполнять план. Так думал и я. Если бы я знал тогда, к чему все это приведет...

Так или иначе — все шло по графику. Директор держал твердый курс на сто процентов, не давая красной черте опуститься ниже синей или подниматься над ней.

Но, работая на график, Красилов не забывал о будущем. Завершив столь ловко маневр с месячным планом, он начал подготовку к грандиозной махинации с годовой программой, о которой говорил еще вечером 31 июля. Сначала действия его казались безобидными — он делал первые робкие шаги, нащупывая слабые места. Но вот подготовительный период кончился. В середине августа Красилов вызвал меня к себе. Перед ним лежала раскрытая пухлая папка.

— Я тут раскопал вашу переписку с министерством, — сказал Красилов. — Чем же все-таки кончилось дело об этих сорока восьми килограммах?

Красилов имел в виду долгую и довольно некрасивую историю, которую затеял главный конструктор Хвостов. Года три назад, нарушив технические условия, поставщики металла неожиданно стали присылать на «Сельмаш» для рамы комбайна прокат утяжеленного профиля. Прокатчики аккуратно поставляли новую марку — очевидно, им было выгоднее прокатывать более тяжелый профиль: ведь план-то они выполняли в тоннах. Наши традиционные беды с перебоями металла прекратились, но комбайн стал тяжелее на сорок восемь килограммов. Главный конструктор Хвостов не замедлил воспользоваться этим и убедил директора, что лучше выпускать более тяжелые машины, чем иметь перебои в снабжении. Была разработана и утверждена конструкция новой, более тяжелой, рамы. Под сорок восемь килограммов была подведена солидная техническая база.

Началась бурная переписка с министерством. «Сельмаш» просил увесичить лимит металла. Министерство не соглашалось, и так продолжалось около двух лет.

— Ну и чем же кончилась эта интригующая переписка? — Красилов приподнял на ладони увесистую папку с копиями телеграмм.

— Кончилась ничем. Хвостов попрежнему просит утяжелить машину. Я попрежнему против. Министерство, повидимому, твердого мнения на этот счет не имеет.

— В таком случае мы сами сделаем конец,— сказал Красилов,— и надо думать, счастливый.

Я промолчал. Красилов уловил в этом молчаливый протест и пустился в обходный маневр.

— Разумеется, вы правы, Борис Ильич,— утяжелять машину нецелесообразно и неразумно. Мы и не будем утяжелять. Я лично поеду к прокатчикам и договорюсь, чтобы они катали облегченный профиль. Это одна сторона вопроса. Теперь другая: за истекшие семь месяцев завод уже перерасходовал триста пятьдесят тонн металла — из-за этой переписки, не имеющей конца. Если так пойдет дальше, в декабре мы рискуем остаться без проката. И самое обидное, согласитесь, я не виноват в этом перерасходе, а отвечать за грехи старого директора придется мне. Я вправе уберечь себя от такой неприятности.

— Вы умеете убеждать,— только и сказал я.

— Нетрудно быть убедительным, имея дело с разумным человеком,— сказал с улыбкой Красилов.— Так что давайте продолжим переписку, пошлем телеграмму за вашей подписью. Так будет лучше. От того, под каким соусом преподнести тот или иной вопрос, зависит результат.

— Одну минуту, Василий Петрович. Уж если откровенно писать наверх об этих сорока восьми килограммах, то надо ставить вопрос об изменении всей конструкции...

— Эвон, как высоко забрались,— перебил Красилов.

— Но ведь не секрет, что мы даем хозяйству заведомо устаревшую тяжелую машину. Комбайн весит почти семь тонн — подумать только.

— Вы говорите таким тоном, будто я придумал этот комбайн. И Сталинскую премию за него будто я получил.

— Нет, я серьезно, Василий Петрович. Ведь мы в течение девяти лет выпускаем одну и ту же модель. Модернизируем ее для вида, для отчета. Та же кружка...

— А такие серьезные дела надо решать в соответствующем месте. Ключаренко тоже мне все уши прожужжал, что наш комбайн устарел.

— Разве вы можете утверждать обратное?

— Вы говорите наивные вещи, Борис Ильич, честное слово. Можно подумать, что это в самом деле секрет, что наверху не знают, какой комбайн мы даем народному хозяйству. Зачем нам лезть на рожон? Нужно ли это заводу? Мы только что вышли из прорыва, только приводим в порядок дела, и вдруг: бах! — новая конструкция. Прощай освоенный поток, налаженная технология. Несколькими месяцами уходит на наладку нового производства. На нас сыплются все шишки. На завод приезжают десятки комиссий — расследуют наши дела. Мы с вами огребаем выговор за выговором. Заманчивое будущее.

— Но это же цинично, Василий Петрович. Да, проблема внедрения новой техники поставлена у нас с ног на голову...

— То-то и оно,— миролюбиво произнес Красилов.

— Но это не значит, что мы не имеем права драться за новую конструкцию. Облегчили бы машину...

— Пути снижения веса и мне известны. Сделать хотя бы трубчатую раму — тонна долой. Увы, сие от нас не зависит. Страна не даст нам транжирить трубы на комбайны.

— Можно найти другие пути — одинаково выгодные и для страны и для комбайна.

— Вот, вот, давайте сейчас же засядем за это дело, бросим августовский план, вашу электропечь.— Красилов погасил улыбку.— С нас пока хватит нового стогометателя.

— Для красивого отчета...

— Борис Ильич, опять вы за свое. Зачем? Просто у нас с вами разные характеры. Вы любите рассуждать о высоких материях. Я же человек сугубо практичный. И как таковой, я выношу предложение — давайте все же решим вопрос об этих сорока восьми килограммах.

Я махнул рукой. Красилов взялся за дело, и вскоре из-под его бойкого пера вышло такое сочинение, адресованное начальнику главка:

«Просим вашего разрешения о приведении в соответствие фактического расхода проката с нормами Главчермета. Фактический расход металла выше на 48 кг. Перерасход за текущий год 350 тонн. Новый директор не может нести моральной ответственности за допущенный перерасход. В будущем году завод будет изыскивать возможность укладываться в существующую в настоящее время норму. Необходимо увязать с Госснабом увеличение лимита металла».

Мне оставалось только поставить свою подпись под этим образцом канцелярской мудрости.

— А между тем, Василий Петрович, мы уже теперь могли бы снизить расход металла. Я говорю об автомате Черноперова для барабана. Правда, вес барабана останется прежним, но расход металла уменьшится за счет сокращения отходов...

— Знаю, знаю,— перебил Красилов,— сейчас вы начнете говорить о том, что этот автомат механизует самое узкое место на сборке, заменяет двадцать рабочих. Не думаю, чтобы это было целесообразным в настоящее время.

Мне не пришлось гадать, почему нецелесообразно. Красилов не мог скрыть от меня, что автомат Черноперова имел самое близкое отношение к задуманной им операции с годовой программой. Пока участок, на котором изготавливается барабан молотилки, будет оставаться самым узким местом на сборке, директор может быть спокойным — завод не даст больше ста процентов: остальные участки волей-неволей будут равняться по отстающему. Но стоит привести в действие автомат, который будет забивать зубья в барабан в несколько раз быстрее, чем сборщики, работающие с молотками, ничто не будет больше

сдерживать остальные участки. Тут не избежать резкого скачка.

— Неужели вы всерьез намерены проводить эту чудовищную операцию с годовым планом? — спросил я.

— Зачем такие громкие слова? Нет, все-таки вы порядочный Дон Кихот, Борис Ильич. Все вам не так: и комбайн для вас не хорош и план вас не устраивает. До сегодняшнего разговора вы казались мне более практичным человеком. Ведь это почти то же самое, что и наш маневр с июльским планом, предложенный вами.

— Неужели вы не видите разницы? Ваша операция означает, что огромный завод будет работать вполсилы, скроет свои резервы, недодаст сотни машин.

— Какие резервы? Откуда? Можно подумать, что до меня завод давал сто двадцать процентов, ни капли меньше.

Пытаясь убедить меня, Красилов начал терпеливо излагать свой план. Он вовсе не собирается скрывать резервы. Взять гот же август. Хорошо, если завод сумеет дать хотя бы сто процентов: в последние дни опять начались перебои со снабжением (это была правда). В сентябре уже никаких заделов не останется, придется создавать новые. Выходит, и в сентябре рано говорить о скачке. Вот разве октябрь... Но ведь в октябре комбайны уже не нужны: уборка закончилась. Тут самое время придержать производство, создать заделы, провести техническое переустройство в цехах и, разумеется, получить хороший план на будущий год. А с января, когда план утвержден, пустить завод на полный ход. И то количество комбайнов, которое завод недодаст в четвертом квартале, будет с лихвой перекрыто до новой уборки.

Рассуждения Красилова звучали убедительно. Но нет! На этот раз я решил не поддаваться его увещаниям и пытался доказать ему, что нельзя задерживать на несколько месяцев в цехах сотни комбайнов, что это ставит вверх ногами все понятия о себестоимости, производительности труда...

Красилов терпеливо выслушал меня.

— Боюсь, что отвлеченный экономический разговор о себестоимости и прочих вещах ни к чему не приведет. Я вовсе не настаиваю на своем варианте и не собираюсь убеждать вас в его необходимости. Если вы, по примеру нашего парторга, желаете заниматься донкихотством — пожалуйста. Я предпочитаю заняться конкретными вопросами. Увеличение лимита металла — будем ждать ответа из министерства. Автомат Чернопорова... — Красилов вопросительно взглянул на меня.

— Я всепрежнему считаю, что нужно как можно скорее осуществить идею этого автомата.

— Отлично. — Красилов загадочно улыбнулся. — Можете считать, что вы меня переубедили. Я уже дал этому делу ход.

Позавчера Хвостов забрал чертежи для заключения и утверждения.

— Но ведь это же ход назад. Хвостов даст заключение не раньше, чем через полгода.

— О, я в курсе ваших взаимно острых отношений. Вы здесь не объективны. Я предупредил Хвостова, чтобы он не задерживал проект. Но согласитесь, Борис Ильич, я не могу и не имею права рисковать, не имея заключения главного конструктора.

Мне оставалось только кусать локти. На «Сельмаше» легко убить в зародыше самое гениальное предложение; для этого достаточно послать его на заключение главному конструктору Хвостову.

— Итак, вопросов больше нет? — Красилов приподнялся над столом, давая понять, что разговор окончен.

«Здравствуй, Борис!

Получил твое письмо в первых числах. Хотел было тотчас позвонить тебе или отбить телеграмму — поздно. Дело, очевидно, сделано. Гм-м. Не такое оно безобидное, как тебе кажется. Резервы — вещь полезная, но создавать их за счет плана по меньшей мере не солидно. Вы создадите резервы на месяц, на полтора. А дальше? Снова прибегать к подобной операции? От такого «безобидного» дела недалеко и до прямого очковтирательства. Когда я пришел на «Тяжмаш», мне тоже предлагали нечто подобное. Я не согласился. Правда, мы не сумели за один месяц ликвидировать прорыв, пришлось крепко поработать три месяца, зато завод встал прочно на ноги, окрепли тылы, появились резервы, заработанные честным трудом. Я спокоен — мне не придется занимать проценты у соседнего месяца.

Не знаю, почему так ухватился за эту идею Красилов, а вот напротив меня есть небольшой механический завод «Красный луч» — они все время так делали, и ясно зачем. У них система ежемесячных премий, как на «Сельмаше», — и они пользовались этим. Тоже под видом создания запаса. Один месяц дадут 80 процентов, другой — 102. Затем снова 80, снова переносят свой «запас», снова 102. Шесть раз в году получали премии. Кстати, раскусили их, директор полетел из партии.

Ты хочешь оправдаться тем, что вас-де толкает на это отсутствие прав. Неужели ты всерьез думаешь так? Разве, ведя борьбу за расширение своих прав, мы боремся за право быть освобожденными от плана?

Расстроил ты меня своим письмом. Под видом борьбы за расширение прав вы боретесь черт знает за что — за свободу махинаций с планом! Что-то нехорошим влиянием ты стал

поддаваться. На тебя нужна твердая рука: ты человек увлекающийся. И чтобы эта твердая рука указывала тебе правильный путь: твердая рука может и кривую дорогу указать. Смотри, как бы Красилов не сбил тебя с панталыку в погоне за легкими успехами.

Не обижайся за столь строгое поучение. Я не моралист — ты это знаешь. Я просто твой друг, а наша дружба бывает порой нелегка.

Р. С. О новом комбайне ты так и не написал. Или все по-старому? Забыл наши долгие разговоры о новой конструкции?

Петр».

«Здравствуй, Петр!

Прочел твое письмо — и стыдно стало. Ты как в воду глядел. Правда, операцию 31 июля Красилов провел ловко, воспользовавшись тем, что не было во-время кружек, тех самых, двухдырчатых: их теперь сняли. Можно было восторгаться, глядя со стороны, как хитро он обделал дельце, но теперь мне не до восторгов. День и ночь ругаю себя, что не помог Дергачу, не рассказал ему о секрете директорского маневра, и тот оказался безоружным против Красилова. А теперь Красилов делает следующий шаг, вполне логично вытекающий из первого. Он хочет повторить свою комбинацию в масштабе общегодового плана. Понимаешь, что это значит, наверху нетрудно получить визу на искусственно приуменьшенный план: судя по всему главк смотрит на это сквозь пальцы. Там ведь тоже есть любители спокойной жизни — они не прочь занять в своей системе показательный завод, гордость министерства. Красилов для такой цели — лучшая кандидатура. Он спелся с главком. Мы три года добивались увеличения лимита проката на 48 килограммов, а он одним росчерком пера заполучил их. Это, конечно, мелочь, но она характерна.

Однако и я не собираюсь любоваться Красиловым, как любовался им 31 июля. Постараюсь помешать его чудовищной затее. Буду бороться, хватит миндальничать. Путь борьбы для меня ясен — надо противопоставить действиям Красилова техническую идею, которая окажется сильнее его. Только бы найти эту зацепку. Тогда увидит Красилов, что и мы не лыком шиты. Я как-то случайно услышал по телефону его слова: «Этот хлипкий интеллигент-скептик в расчет не идет. Его куда хочешь повернуть можно». Если это говорилось обо мне, тем лучше. У меня будет то преимущество, что он считает меня совершенно безопасным. Так что я становлюсь борцом, надеюсь в следующем письме доложить тебе о первых результатах».

Наши отношения с директором стали строго официальными. Прекратились откровенные разговоры по вечерам. Мы уже не строили совместных планов: у директора были свои планы. Красилов не заговаривал больше о годовой программе, но, хотя у меня не было никаких прямых доказательств, я чувствовал, что он не отказался от своего замысла.

Вскоре директор начал действовать. Он быстро и смело решал злободневные вопросы и столь же решительно и открыто тормозил все, что касалось будущего. На заводе одна за другой стали рождаться различные комиссии, возглавляемые, как правило, Сорокиным. Комиссии проводили обследования, вели наблюдения, ставили эксперименты, писали заключения — словом, затягивали дело до бесконечности. И все это проводилось под лозунгом раскрытия резервов производства. Тут я ничего не мог поделать. Приходилось довольствоваться тем, что Красилов не мешает реконструкции электропечи, и я продолжал заниматься этим интересным делом. Мешков помогал нам доставать дефицитные огнеупоры, и мы с Бессоновым работали чуть ли не за каменщиков, проверяя каждый кирпич.

Тем временем «Сельмаш» выполнил план августа по графику на 100,8 процента. Было похоже, что завод выходит из долгого прорыва. На общезаводской партийной конференции деятельность нового директора получила единодушное одобрение. Рассказывали, что весьма странно прозвучало на конференции одинокое выступление Дергача, который говорил, будто ритмичность на заводе бумажная. Красилова избрали в партком. Двенадцать голосов против.

Штурмовщина уходила из нашей жизни. Августовские премии, полученные за перевыполнение плана, стали общезаводским праздником. В бухгалтериях толпились оживленные очереди. Наконец-то после долгого перерыва на «Сельмаше» снова появились такие очереди.

Реконструкция печи заканчивалась. В один из последних дней августа мы провели первую опытную плавку. Результаты ее оправдали наши ожидания. Объем печи стал больше, а время плавки сократилось. Съем стали увеличился почти на четверть. Успех немалый.

Теперь нам предстояло определить стойкость новой футеровки. Тут главным судьей было время. Старая футеровка держалась обычно сорок восемь плавков. Испытывая печь на предельных режимах, мы легко перешагнули это число. Шестьдесят плавков, семьдесят, восемьдесят, восемьдесят пять — новая футеровка все еще держится. Еще одни сутки тщательных наблюдений — еще семь плавков. Только после того, как мы в девяносто пятый раз выпустили сталь и проверили печь, стала очевидной потребность в замене футеровки. Таким образом,

стойкость ее увеличивалась вдвое, и пятитонная печь стала по существу семитонной.

Все это время я упорно думал, что бы мне противопоставить тактике Красилова. Шли дни — он действовал вовсю, а я все еще не мог помешать ему.

Как это часто бывает, идея пришла неожиданно. Я стоял у электропечи и смотрел сквозь окошечко, как бушует внутри металл, — словно неукротимый океан огня разыгрался за иллюминатором. Какая сила таится в этом бурлящем металле! И вдруг одно слово пронзило мой мозг: «Электропечь!» Да, конечно, эта самая электропечь, и только она поможет нам. Как это раньше не могла прийти в голову такая простая мысль. Ведь я день и ночь торчу у этой печи. Да, да, именно электропечь поможет мне противопоставить красиловскому плану свой контрплан. Кажется, теперь я смогу разрушить замыслы Красилова. И вот как. Если все пойдет, как мы рассчитали, и съем стали возрастет на двадцать процентов, мы быстро проведем реконструкцию остальных печей. Литейный цех начнет больше давать металла, механическим цехам и сборке волей-неволей придется подтянуться, чтобы быстрее обрабатывать и собирать этот металл, — таков закон производства. Тут уж никакой, даже самый ловкий комбинатор вроде Красилова не сможет ничего поделать. Замысел Красилова будет сорван.

Значит, успех моего плана зависит от того, насколько удачна идея нашей печи. Снова и снова мы проверяли с Бессоновым наши расчеты, не жалели времени на эксперименты. Мы быстро сменили футеровку и пошли на самые тяжелые режимы работы: только так можно было проверить жизнеспособность новой идеи.

Красилов только посмеивался над моим увлечением. Он и не подозревал, что оно направлено против него.

Между тем слухи о нашей работе распространились по городу. На завод приехал корреспондент областной газеты. Он постоял в литейной, наблюдая за плавкой, потом направился к директору. Красилов позвал к себе меня и Бессонова и представил нас корреспонденту как авторов проекта реконструированной печи. Начался разговор о технических деталях. Само собой подразумевалось, что после этого разговора в газете появится статья о новой электропечи и о выгодах, которые она принесет заводу.

Однако Красилов рассудил иначе. В середине разговора он сделал этакое простецкое лицо:

— Мы — люди маленькие. Мы — простые хозяйственники. С утра до ночи торчим на заводе. Книжки читаем урывками, раз в месяц. Живем вдали от центра. Не нам, конечно, разбираться в таких вопросах, но все-таки, мне кажется, будет преждевременным печатать материал об электропечи. Работы эти по сути не вышли из стадии эксперимента. Мы, по своей про-

стоте, начнем сейчас шуметь об этом на всех перекрестках, а потом вдруг обнаружится, что идея себя не оправдала,—придется давать отбой. Может, я не точно выражаюсь: не умею я это — не поймите меня превратно. Я не сомневаюсь в идее, но, по моему, надо подождать окончательного исхода испытаний...

— Так вы считаете?...— спросил корреспондент.

— Давайте лучше поставим этот вопрос перед главным инженером,— перебил Красилов.— Он все-таки автор. Скажем так.— Красилов повернулся ко мне.— Считаете ли вы, Борис Ильич, что работы по реконструкции печи закончены и не нуждаются больше в экспериментировании?

Вопрос был поставлен так, что я не мог ответить на него утвердительно.

— Вот видите,— сказал Красилов.— Лучше будет повременить со статьей об электропечи. Напишите о чем-либо другом. Вот уже второй месяц наш завод работает по ежесуточному графику. Разве это не тема — как коллектив завода под руководством партийной организации вышел из прорыва и добился ритмичной работы по графику...

В тот же вечер я направился к директору для решительного разговора, от которого должен был зависеть успех или неуспех моего контрплана. Директор волен делать какие угодно заявления журналистам, но подобные побочные соображения не должны ставить под сомнение идею новой конструкции. Третья печь останавливается в воскресенье для очередной замены футеровки. Пусть директор знает, что начальник литейного цеха получил сегодня приказ приступить к реконструкции еще одной электропечи.

— Приказ — устный или письменный? — спросил Красилов.

— Письменный...

— Подписан вами?

— Мной...

— Ну что же, отлично,— сказал Красилов.— Теперь у нас будут две новых печи. Учтите, что скоро нам понадобится много металла...

Я не ожидал такой легкой победы. Она сама давалась мне в руки.

— В таком случае давайте реконструируем третью и четвертую печи.

— Признаюсь вам,— Красилов развел руками,— лично у меня не хватило бы решимости подписать приказ и на вторую печь. Рискованный приказ подписали вы. Преждевременный приказ. Дело находится по сути в стадии эксперимента, а вы уже спешите перевести его на промышленные рельсы. На вашем месте я поставил бы еще эксперимент на девяносто пять плавок и не торопился бы с реконструкцией других печей. Мало ли что может случиться.

Так или иначе, литейщики начали переключать еще одну печь. Спустя несколько дней ко мне зашел Ключаренко. Красилов оказался неплохим предсказателем. С тех пор как дела на заводе пошли на лад, парторг перестал «выколачивать детали» из цехов и опекать технологию производства. Партком начал заниматься своими делами, и это, разумеется, сулило больше пользы для завода.

Последнее время парторг был занят подготовкой к общезаводской конференции по рационализации и частенько навещался в мой кабинет.

— Какие новости? — начал Ключаренко, усаживаясь в кресло. — Слышал, собираетесь в отпуск? Будете полоскать старые косточки в Черном море. Завидую, Борис Ильич. Жаль только, что конференция пройдет без вас.

— Не могу нарушать графика отпусков...

Ключаренко засмеялся.

— У нас теперь все по графику: комбайны, отпуска, конференции...

— Да и, признаться, устал я порядком. Замотался с этой печью.

— Зато результаты какие... Как у Бессонова дела с докладом?

— О, не извольте беспокоиться, Николай Сидорович. Бессонов сделает прекрасный доклад. Талантливый инженер. Правда, ему не хватает практики, но это дело наживное.

— Кстати, Борис Ильич, что за история получилась у вас со статьей для газеты?

— Не понимаю вас.

— Мне звонили из редакции и сказали, что вы не захотели, чтобы статья о новой печи была напечатана.

— У вас неточная информация, Николай Сидорович. Против опубликования статьи выступил директор. И вообще...

Я подумал, не рассказать ли парторгу о своих опасениях и подозрениях. Но о чем конкретно мог я рассказать? О том, что именно я предложил маневр с июльским планом и как директор осуществил его? Или что директор собирается сманеврировать с годовой программой? Но ведь у меня нет никаких фактов. Самое опасное в махинациях Красилова было то, что он проводил их открыто так, что его очень трудно было уличить. Как, например, доказать, что многочисленные комиссии, созданные им, — одно из средств, которые он использует в своих целях «регулирования» производства; ведь сам парторг активно участвует в работе некоторых из этих комиссий? Мне казалось, что Ключаренко все больше и больше попадает под влияние Красилова. Эх, не сумел наш парторг разобраться в новом директоре, не разглядел, что скрывалось за представительной внешностью. Но ведь он и не знал многого...

В общем я смалодушничал и рассказал только о встречах с корреспондентом.

— И директор может ошибиться,— сказал Ключаренко.— Я не считаю, что писать об этом преждевременно. Надо написать. И лучше всего это сделать вам. Когда напишете, приходите в партком, мы обсудим статью и перешлем ее в редакцию. Возьмем дело под коллективную ответственность.

Поддержка Ключаренко была весьма кстати для моего контрплана.

Я попережнему проводил почти все время в литейной, наблюдая за обеими печами, а по вечерам писал статью, стараясь закончить ее до отъезда в отпуск. Как-то после утренней оперативки Красилов попросил меня остаться.

— Напрасно вы не послушались моего совета, Борис Ильич,— заговорил он, расхаживая по мягкому ковру.— Поверьте, он был продиктован самыми хорошими чувствами. А вы не только игнорировали мой совет, но пошли дальше — втянули в эту историю партком, который собирается обсуждать вашу статью. Зачем?

— Я достаточно взрослый человек и способен принимать самостоятельные решения.

— Прекрасно понимаю вас.— Красилов усмехнулся.— Лавры победителя не дают вам покоя. Хотите как можно быстрее прославить свою идею, а вместе с ней — и себя.

— Считаю возможным не отвечать на подобные выпады.

— Конечно же, правда глаза колет,— понимаю. Спешите, спешите, Борис Ильич. Наверное, уже послали на авторское свидетельство?

— Да, послал!

— Да, к сожалению, я не ошибся в диагнозе. Ну что же, я считал своим долгом предупредить вас, и я сделал это. Поезжайте на море, отдохните. И возвращайтесь. Поверьте, мне очень хотелось бы, чтобы мы сработались с вами.

— У меня нет оснований для того, чтобы менять свою позицию. Наоборот, я собираюсь действовать более активно и думаю, что вам не удастся осуществить свой замысел с годовой программой.

Я погорячился — это было открытым объявлением войны. Красилов только пожал плечами.

— Жаль, очень жаль, Борис Ильич, что вы продолжаете так упорствовать.

Мы вышли из кабинета и молча пошли по коридору: разговоривать нам было не о чем. На лестничной площадке Красилов неожиданно приостановился и громко присвистнул. Я обернулся и увидел большое объявление:

«В пятницу в 18.00 состоится заседание парткома. Повестка дня: Вопрос о новой конструкции комбайна. Приглашаются конструкторы. Партком».

Я уехал в отпуск. Десять дней я наслаждался абсолютным ничегонеделанием — лежал под солнцем, подолгу плавал, бродил по горам, но, конечно, я не мог не думать о заводе, электропечи, о Красилове. Нетрудно было представить себе, как прошло заседание парткома. Конечно же, Красилов не станет там защищать старый комбайн, он поддержит обеими руками новую конструкцию. Партком вынесет решение, директор приложит к нему докладную записку, проект — образовавшееся дело — пометят исходящим номером и пошлют на утверждение в главк, в министерство, а уж там-то Красилов сумеет доказать, что новая конструкция комбайна ничуть не лучше теперешней. Начнутся консультации, согласования — дело о новом комбайне затянется на месяцы, на годы.

Море отвлекало меня от этих мыслей, и я снова наслаждался теплом и бездельем.

На одиннадцатый день я получил письмо от Бессонова. Бессонов писал — заканчивается реконструкция второй печи. На первой только что выдали семьдесят пятую плавку, сварили отличную легированную сталь. Можно твердо считать, что новая футеровка оправдала себя.

В конверте была вырезка из газеты с моей статьей. Ее несколько сократили и написали пышное начало, но все-таки из статьи можно было понять сущность нашей идеи, а это — главное.

Итак, все складывалось как нельзя лучше. Теперь-то я смогу померяться силами с Красиловым. Мой контрплан был близок к осуществлению — уже в октябре мы закончим реконструкцию всех четырех печей и заставим подтянуться остальные цехи до уровня литейного.

В тот же день вечером я получил телеграмму от начальника литейного цеха:

«2 октября на первой печи произошла крупная авария — проедание подины».

Я выехал с первым же поездом и через два дня был на «Сельмаше». Меня встретил на вокзале растерянный Бессонов. Он рассказал, как произошла авария.

Утренняя смена 2 октября началась с неприятностей. Сразу после завалки шихты два раза подряд отключался ток. Бессонов отстал на полчаса от графика. Затем перебои тока прекратились и плавка — восемьдесят восьмая по счету — пошла своим чередом. Бессонов давал предельные режимы, чтобы догнать график. Все шло хорошо. Уже были взяты анализы, уже приготовили приемные ковши — и тут случилось это.

Яйцевидное основание кожуха вдруг зажглось багровым светом. Еще мгновение — часть кожуха отвалилась, расплавленная сталь хлынула вниз, в земляной приямок под печью. Вспыхнула земля, краска. Печь окуталась огнем и дымом. Ста-

левары бросились в стороны. «Подину проело»,— только и успел подумать испуганный Бессонов.

Под земляным полом цеха раздалась два глухих взрыва. В одно мгновение все вокруг окуталось паром, вырвавшимся из-под земли. Казалось, в цехе заработал вулкан. Это кипящая сталь прожгла пол и расплавилла водопроводные трубы, которые, как на грех, проходили под первой печью.

Минут через пять все было кончено — только дымилась, издавая угарный запах, обгорелая печь да пузырилась и парилась остывающая сталь.

Во время аварии Красилов был в командировке. Он поехал к прокатчикам. Как и я, Красилов получил телеграмму об аварии и тотчас же поехал на аэродром. Он вернулся на «Сельмаш» на сутки раньше меня и, развив бешеную деятельность, уже организовал комиссию по расследованию причин аварии. В цехе уже орудовал председатель новой красиловской комиссии — Хвостов. Он ходил по пролету, вытянув голову, словно вынюхивал воздух.

Я осмотрел печь. Подину проело по недосмотру сталеваров: бросали как попало железный лом, расцарапали основание футеровки. В образовавшиеся ямки, в швы между кирпичами проник расплавленный металл, который постепенно, за несколько плавов, разъел всю подину. Конечно, виноват и сменный мастер, который не осмотрел как следует подину перед завалкой. Как ни жаль, придется наказать Бессонова, но зачем понадобилась комиссия? Чтобы установить эти азбучные истины?

Ко мне подошел Хвостов. Сощуриив спрятанные за очками глаза, он сказал:

— Вам не кажется волнующим то обстоятельство, что авария случилась именно на первой печи, где на подине работала предложенная вами облегченная футеровка?

Так вот для чего создана комиссия! Красилов хочет воспользоваться аварией, чтобы опорочить нашу идею.

Я направился в заводоуправление. По тому, как посмотрел на меня в приемной Потыльный, я понял, что дела мои плохи.

— Да,— подтвердил Красилов, вставая мне навстречу,— как ни печально, я вынужден был организовать комиссию по этому делу. Последствия слишком серьезны, чтобы можно было пройти мимо них,— одна печь вышла из строя, другую придется переконструировать назад. Не могу же я спокойно ждать, пока и там проест подину. Ведь вы и на второй печи уменьшили слой футеровки. Выход из строя двух печей ставит под угрозу срыва план октября.

— Идея новой футеровки здесь ни при чем. Такие аварии бывают и с обычными подинами.

— Комиссия сделала противоположные выводы. Именно потому, что ваша идея оказалась технически необоснованной, и произошла эта авария. Вот акты и заключения комиссии.

По распоряжению главка, я вылетаю завтра в Москву, чтобы лично доложить об этом прискорбном случае, о его причинах и следствиях. Прошу вас написать объяснительную записку к этому делу.

Да, Красилов собирался не на шутку расправиться со мной. Уже и «дело» появилось.

— Хоть бы не было этой злополучной статьи, — соболезнующе проговорил Красилов. — Надо же было ей появиться как раз за три дня перед аварией! Недаром я предупреждал вас. И неоднократно. А теперь эта статья посадила в лужу весь завод.

В красиловской папке лежала вырезка из газеты. Видно, приобщенная к «делу» статья весьма пригодилась Красилову.

Вряд ли стоит подробно рассказывать о дальнейшем. События разворачивались стремительно, как в американском кино-детективе. Главк решил создать собственную комиссию по моему делу. Руководители главка увидели в реконструкции печи и последовавшей за ней аварии чуть ли не умышленные действия.

Машина, приведенная в действие Красиловым, работала безотказно. Мне и Бессонову не удалось доказать нашу правоту.

Комиссия прилетела на самолете: подтвердила выводы, что причиной аварии явилась техническая необоснованность идеи новой футеровки, и улетела. Вскоре пришла телеграмма о моем снятии с работы. Бессонов получил выговор.

Я уехал в Москву. Красилов помахал мне на прощанье рукой.

10

Прошло несколько месяцев. Неприятности, связанные с московской поездкой, остались позади. Я работаю теперь у Ларионова. Узнав о моих делах, он прилетел в Москву и, что называется, взял меня на поруки. Меня утвердили начальником производственного отдела «Тяжмаша».

Какое счастье работать рядом с Ларионовым после того, что я пережил на «Сельмаше»! Конечно, я и сам был виноват, но главная моя вина в том, что я скрыл правду о Красилове.

Могу ли я оставаться теперь равнодушным к тому, что происходит на «Сельмаше»? Там у меня осталось много друзей, перед которыми я чувствую себя виноватым: я не поверил в них, утаил от них правду, думая, что с Красиловым можно и нужно бороться в одиночку, исподтишка.

После моего увольнения месячные планы на «Сельмаше» выполнялись в такой последовательности: 100,6—101,2—101,4 процента. Всеми правдами и неправдами директор терпеливо и умело придерживал производство, но придаться к нему нельзя было: завод только что вышел из прорыва.

Во время составления проекта нового годового плана Красилов не раз летал в Москву. Немало наслушались в министер-

стве его слезливых жалоб: производство на «Сельмаше» запущено, коллектив разболтан. Учтите, что нам дано задание на новую технику, — будем осваивать стогометатель...

В декабре приуменьшенный план на будущий год был спущен.

Теперь Красилов приводит в действие все сдерживаемые резервы. И вот результат — в январе «Сельмаш» дает сто десять процентов, потом сто пятнадцать и сто двадцать! Красилов выпускает комбайны, которые он недодал в прошлом году, и загребаёт обеими руками премиальные. «Сельмаш» занимает второе, а затем и первое место в общеминистерском масштабе. В кабинете Красилова красуется переходящее знамя.

А где же достает Красилов металл, чтобы выполнить план на сто двадцать процентов? Оказывается, на заводе работают четыре электропечи, имеющие ту самую футеровку, из-за которой будто бы произошла авария, — словно не было ни аварии, ни выводов комиссии.

Директорский фонд переваливает за два миллиона. Красилов выделяет щедрой рукой двадцать тысяч Черноперову. Тот успешно испытывает свой автомат и после уговоров директора соглашается даже стать мастером: премии идут теперь ежемесячно.

Из ворот завода торжественно выезжает первый стогометатель. Сам Красилов сидит за рулем машины.

Директора любят и уважают. Он умеет быть покладистым и добрым, суровым и непреклонным, насмешливым и веселым.

Все уверены, что «Сельмаш» процветает. А вот обратная сторона этого «процветания»: в глубине заводского двора, замаскированные деревьями, запорошенные снегом, тайно стоят десятки комбайнов, — чуть-чуть недоокрашенных, недособранных, недоукомплектованных. Это — стратегический резерв Красилова, который сошел с конвейера, минув отчетные сводки. В случае нужды директор бросает группу комбайнов в прорыв и таким способом соблюдает ритмичность.

Что из того, что Красилов не пойдет на открытую «приписку»? Мастер замаскированного очковтирательства, он находит более тонкие формы «приписки» — те же девять процентов, умело перенесенные на другой месяц, тот же искусно приуменьшенный годовой план. Он дает столько процентов плана, сколько ему, Красилову, выгодно.

Как знать, пройдет год-другой и сбудутся честолюбивые красиловские планы. Он поднимется еще выше — на работу в министерский аппарат, получит в Москве квартиру, персональный оклад. И тогда уже не на одном заводе, а в целой отрасли промышленности наступит пора лукавого процветания.

Когда я думаю о такой возможности, я понимаю особенно остро, что не должен и дальше скрывать от людей правду о Красилове.

В. Тендряков



РЫЦАРЬ ТЮТЕЛЬКИ В ТЮТЕЛЬКУ

Шторы забыли задвинуть, и в темных стеклах окон отражаются электрические лампочки. Снаружи сыплет дождь. Погода — дрянь, того и гляди сорвется уборка, комбайны намертво садятся на раскисших проселках — без тягача не дотащишь до поля, — хлеба полегают.

Разъехаться бы всем сейчас по домам, выспаться да завтра с утрачка пораньше за работу. А тут заседай, разбирай кляузное дело.

Секретарь парторганизации колхоза «Искра» Петр Сарафанов поднялся с места — большая голова крепко сидит на нешироких плечах, в жестких волосах густая седина. Он медлителен. Не торопясь, растирает в пальцах окурки, некоторое время целится прищуренным глазом куда-то поверх поблескивающего под электрическим светом бритого черепа секретаря райкома и начинает ровно, деловито, с достоинством:

— Не могу понять, товарищи, как это Тихон Викентьевич Татьянников, председатель нашего колхоза, стал таким склочником. Ведь мы оба с ним старые коммунисты. Я его знал еще парнем. С кулаками человек воевал. Помним, Тихон, как тебя Егорка Жилин и свояк его с кистенями стерегли по ночам. Помним, что колхоз-то ты поднял. Кто ж отрицает заслуги? А теперь с тобой работать нет возможности. Как только ты, Тихон, таким характером обзавелся?.. От зазнайства это, головокружение...

Тихон Татьянников, председатель «Искры», сидел против Сарафанова. Его до белизны выгоревшие волосы были гладко причесаны, лицо узкое, сухощавое, подбородок острый, нос острый, весь он чем-то напоминал хорька. Тихон поводил носом из стороны в сторону, маленькие глаза беспокойно и вызывающе бегали, нет-нет да и задерживались на чем-нибудь лице

прилипчивым, вьедливым взглядом. И тот, на ком останавливался этот взгляд, не выдерживал, отворачивал голову с таким выражением, словно хотел сказать: «Да ну тебя, еще свяжешься...» Тихон ерзал на стуле, ему хотелось возразить, но он сдерживался.

— Я, товарищи, больше всего дорожу честью коммуниста,— тем же ровным голосом продолжал Сарафанов.— Запятнать партбилет выговором — большей беды для меня в жизни быть не может. Меня выбрали секретарем парторганизации, и я стараюсь оправдать доверие. Пусть сам Тихон Викентьевич скажет: жалел ли я сил для партийной работы?..

— Уж лучше бы жалел,— сипловатым, простуженным голосом произнес Тихон и с новой силой принялся ерзать на стуле.

— Товарищ Татьянников! — остановил его секретарь райкома.

— А разве можно выполнять партийные поручения, когда ни одного слова... ни единого,— Сарафанов поднял обкуренный палец,— не хочет и слушать товарищ Татьянников! Ему не возразишь. Не-ет! Он, видите ли, председатель колхоза с пятнадцатилетним стажем, депутат областного Совета. Разве можно его гладить против шерсти? Со всей ответственностью заявляю: никакой критики коммунист Татьянников не принимает! Я как-то два дня подряд втолковывал ему решение о клевере. Не послушал. Что ж, думаю, буду действовать за свой страх и риск. Вывел на поле трактор. Прибежал он и давай высмеивать меня, прямо на поле, перед всеми, парней-трактористов не постеснялся...

— Стоило,— не выдержал Татьянников и виновато покусился на секретаря райкома.

— Стоило? Ты ж должен дорожить авторитетом секретаря парторганизации. Вы, товарищи, знаете, что на язык он куда как боек, вечно поговорочками сыплет. Ты ему говоришь, ну скажем, из райкома пришло решение о расширении посева зерновых за счет трав, а он что-нибудь такое: слова, мол, твои правильные, хоть министру в уста, только — хорош хвост у лисы, да овце не к месту. Как же после такого не смеяться колхозникам. Уж как я к нему не подходил: и с глазу на глаз пробовал образумить и на собраниях выступал. Не понимает. Начал членов партии сбивать, решил поставить вопрос ребром. Вот тут-то началось. Куда шуточки и поговорочки делись. Сразу сердито заговорил. Всем встречным и поперечным доказывать стал, что я в колхоз разлад вношу. Это я-то разлад вношу? Ловок Тихон Викентьевич с большой головы на здоровую сваливать. Теперь кто-то на его стороне держится, кто-то на моей, живем в одном колхозе, разные тропки топчем, не можем сговориться. Дошло до того, что в глаза меня стал страшить — выживу-де тебя из колхоза. Решайте, товарищи. Нет больше терпения.

Сарафанов вздохнул, оглядел присутствующих своими серыми, потемневшими от обиды глазами и сел.

Тихон Татьянников выжидательно уставился на секретаря райкома. Тот кивнул головой:

— Можно. Начинай.

Оттолкнув стул, председатель колхоза поднялся, скользнул взглядом по Сарафанову, вытиравшему лоб и шею большим красным платком, сморщил лицо ехидной улыбочкой.

— Сарафанов жаловался: к критике его не прислушиваюсь. Да, не прислушиваюсь! — развел руками Тихон Викентьевич. — Авторитет его подрываю. Да, подрываю! Страшил-де — выработку из колхоза. Не страшил, а объяснил — нам вместе не работать, в одном колхозе не жить. Я же из колхоза не уйду, если только мертвым не вынесут. Опять выходит, близко к правде.

Председатель райисполкома Тютюнов, глубоко утонувший полным телом в мягком кресле, поднял тяжелую, с крупным лбом голову и пробасил в мальчишески упрямый затылок Тихона Викентьевича:

— Татьянников! Здесь бюро райкома, а не ярмарочный балаган. К чему этот издевательский тон?

Татьянников, как на пружинах, упруго повернулся:

— Тон издевательский? Другим тоном об этом человеке говорить нельзя!

Заведующий отделом пропаганды Сергеев, высокий, подслеповато шутившийся из-под очков, бывший учитель, мягко возразил:

— Крутой у тебя характер. Вам помириться надо да работать спокойно. Твоя непримиримость сейчас губит колхоз, подрывает общее дело.

— Ой нет! Ежели и погубит колхоз, то не иначе как мое примиренчество. Петр Сарафанов часто повторял: давай, мол, договоримся — ты не упрямясь и я уступить буду, худой мир лучше доброй ссоры. Эта поговорочка, товарищи, трусом выдумана, трусом по белу свету пущена, трусами подхвачена. Ленин с меньшевиками не шел на примирение!

Сарафанов до испарины багрово покраснел:

— Прислушайтесь, старого коммуниста с меньшевиками сравнивает!

Председатель райисполкома Тютюнов проскрипел пружинами кресла, с досадой крякнул.

Татьянников перегнулся через стол, вытянул шею, уставился своим въедливым взглядом в лицо Сарафанову:

— Скажи, критиковал ты меня года три назад за то, что я не придерживаюсь в системе Вильямса точной схемы? А? Критиковал?..

— Это моя святая обязанность, — проворчал Сарафанов.

— Обязанность! Слышите? Критиковал по обязанности, а

не по необходимости! Зато складно. Сядет, бывало, напротив и как песню поет: поля в севооборотах неровные, чередование неправильное, культуры с поля на поле, как козлы, прыгают (твое выражение, вспомни-ко), не по схеме, не «тютельница в тютельница». Что было бы, если б я, скажем, поля циркулем на квадраты разбил? Пестренькие они получились бы. И чернозем, и песок, и подзол — все на одном поле. Попробуй тут его освоить. Ты к земле с душой подойди, а критиковать по обязанности... — Татьянаников разогнулся, строго повел острым носом, — уж извините меня за резкое слово, значит спекулировать критикой!

Тютюнов из-под тяжелого лба недоверчиво разглядывал Татьянникова; казалось, вот-вот скажет: «Ну-ну, посмотрим, что дальше выкинешь?» Секретарь райкома сидел спокойный, на его чисто выбритом лице было лишь одно выражение — серьезного внимания. Как и против кого оно обернется — еще неизвестно.

Сарафанов, прицелившись прищуренным глазом в угол, успел бросить:

— Трехгодичная давность. Не о том говоришь, Тихон. Мы в ту пору еще дружно с тобой жили.

— Уж потерпи. Обо всем скажу, не утаю, — успокоил Татьянников. — Раз как-то прибегает Сарафанов с газетой и сразу ее мне под нос: «Ты, говорит, за систему держишься. Клевера выращиваешь, а вот товарищ Хрущев сказал...» Забыл он в ту минуту, как меня упрекал: «Точной системы нет, схемы не придерживаюсь». Я тут ему напомнил и от себя добавил: «Словаде товарища Хрущева бьют по макушке в первую очередь таких, как ты». Думаете, он смутился? Нет, разве можно. «Признаюсь, отвечает, и расписываюсь в своих ошибках, потому что имею политическое чутье. Долой систему! Запахивай клевера! Засевай все поля подчистую хлебом!

— Вранье! Так не говорил. Подтасовка, товарищи!

Сарафанов поднялся, но секретарь райкома остановил его:

— Порядок забываешь. Сядь и успокойся.

— Не так? Может, и иначе выразился. Я протокола тогда не вел, процитировать буковку в буковку не могу, разреши уж пересказать в общих словах. Ведь сам недавно признавался, что решил тайком от меня клевера распахивать. А наши клевера вы все знаете. Не грешно ими похвастаться. Удивляются: и скот у нас гладкий и на масло пять трехтонок купили. А отчего? Да оттого, что не солодкой кормим. Я этот клевер десять лет выращивал, на всякие хитрости пускался, чтоб семена получать. Пчелу приучил в клеверном цвету копать! Клевер — победа моя, клевер — богатство наше! — Татьянаников посерьезнел, тыльной стороной ладони вытер лоб и сказал хрипло: — Не дал я Сарафанову распахивать клевера. Не дал! И начались тогда жалобы да попреки — к голосу не прислушиваюсь. Петр

Сарафанов, видите ли, так понимает: раз он секретарь парт-организации — значит, и голос его считай голосом партии. А уж слова «критики не принимаю» он намертво к моей фамилии пришил. Петр Петрович, дорогой товарищ Сарафанов, слышишь, еще раз при всех повторяю: любую критику приму, но такой, как твоя, не принимал и принимать не буду! И пусть бы он попрекал, пусть бы жаловался. Мешает, но терпеть можно.

— Терпеть? Смиренником прикидываешься! — снова не выдержал Сарафанов.

— ...Но вот Сарафанов начал обрабатывать членов партии. А вы представьте себе, например, Мирона Ермакова. Образование — и четырех классов нет. На фронте, перед тем как Днепр форсировать, в партию вступил. Заявление писал: «Умру, считайте коммунистом». Для него партия — святыня. Партбилет себе кровью заработал. И на такого Мирона начинает наседать Сарафанов: Тихон Тягунников к голосу партии не прислушивается, критики не принимает, отступник перед партией. Ты, мол, как сознательный коммунист, должен поддерживать, помочь и прочее. Стал я замечать, что Мирон Ермаков, Игнат Стешин, Семен Смирнов — лучшие люди в колхозе, опора моя — при встречах глаза отводят в сторону, каждое мое слово без веры слушают... Да и как верить такому, когда партийный секретарь его отступником партии величает! — Татьянников вскинул голову, его беспокойные глаза забежали по собравшимся с вызовом. — Тогда я, товарищи, решил бить Сарафанова в открытую. Так, чтоб все видели! Чтоб каждому было понятно, что этому человеку важен не хороший урожай, а выполнение инструкций, не хлеб, а цифра в сводке. «Тютелька в тютельку» для него — бог! В открытую бил его, подрывал авторитет, доказывал — не я, а он вредит партии! Может, не так бы вредил, если б не был секретарем парторганизации. Заявляю здесь всем: буду стараться, чтоб на отчетно-перевыборном собрании провалить твою кандидатуру, товарищ Сарафанов!

Взглядом, полным красноречивого возмущения, Сарафанов обвел присутствующих: «Видите, до чего договорился!» Но на этот взгляд никто не ответил. Председатель райисполкома Тютюнов сидел в своем кресле, опустив голову. Заведующий отделом пропаганды Сергеев смущенно протирал очки...

* * *

Расходились за полночь. Громко двигали стульями, натягивали непросохшие брезентовые плащи, торопливо прощались.

Тягунников уже забыл о Сарафанове. Зажав в угол председателя райисполкома, он, откручивая у него на животе пуговицу, напористо допрашивал:

— Доколь комбайнеры мучаться будут? Перед самой МТС — омут грязи, хоть на плечах переноси комбайны. Догадались бы директора подстегнуть, если ваш доротдел в коленках слаб.

Грузный Тютюнов прятал глаза от въедливого взгляда Татьянникова и обещал все наладить:

— Сам поинтересуюсь, сам.

Сарафанов же сидел в углу и терпеливо ждал, когда все выйдут и можно будет перехватить секретаря райкома, поговорить с ним с глазу на глаз. Он во всем признался, во всем покался — раз секретарь райкома, раз члены бюро говорили, что он неправ, значит нужно верить. Но все-таки поговорить бы, выяснить. Недоразумение какое-то, Тихон Татьянников вышел чистеньким, а он, Петр Сарафанов, все выполнял, как положено, старался и... виноват. Недоразумение...

Артем Анфиногенов



КРАЙ СВЕТА

После взлета с Большой Земли прошло несколько часов, и стоило мысленно представить себе наш серебристый «ИЛ» в виде крохотного самолетика, который неумоимо движется вверх по скату глобуса к самой его макушке, как начинало казаться, будто мы не просто летим, а поднимаемся — именно так — поднимаемся на гудящих моторах к тем местам, которые принято называть «краем света»... Под рукой была карта. Два красных флажка на ней, вырисованные крупно, старательно, с тенями волнистых складок, указывали местонахождения дрейфующих станций «Северный полюс-5» и «Северный полюс-4». Они бастионами высились над роем мелких цветных значков — значки обозначали лагерные стоянки, организованные учеными для выполнения кратковременных наблюдений. Тонкие маршрутные нити связывали эти условные изображения научных групп и отрядов высокоширотной экспедиции Главсевморпути в сложную систему. Как это обычно бывало в последние годы, «СП», постоянно действующие научно-исследовательские станции, созданные на льдах Центральной Арктики, словно отпочковали от себя подвижные отряды исследователей, позволяя значительно расширить поле научных наблюдений.

Далеко в стороне от этих мест, обжитых и сравнительно густо заселенных, проставлен сиротливый кружок — база легного отряда, которым командует Иван Иванович Черевичный. Этим одиноким кружком и замыкается линия нашего пути, подчеркнутая карандашом штурмана.

Гудит, гудит самолет, подбираясь к крайним высотам, и странное дело: интерес к положению машины относительно нашей планеты заметно падает, близкая же встреча с людьми ледового лагеря пробуждает почтительное, даже робкое чувство...

В Арктике в девяносто девяти случаях из ста бывает так, что сначала, в разных местах и от разных людей, услышишь о человеке, а потом уже повстречаешься с ним. Впрочем, это применимо и к целым коллективам.

Едва полярный день потеснит морозную тьму, полгода висевшую над Арктикой, и на просторах Ледовитого океана развернет свою работу очередная, подобная нынешней, высокоширотная экспедиция, как из края в край, по островам и побережью проносятся вести то об одном, то о другом отважном поступке летчиков группы Черевичного. Восемь лет назад, когда его отряд находился в крайнем восточном секторе нашей Арктики, я от диспетчера Амдермы услышал, как действовали экипажи, взлетая с ледовитых аэродромов, внезапно расколовшихся надвое; позапрошлым летом на острове Котельном мне передавали захватывающие подробности стремительных перебазирований, которые выполняли летчики Черевичного, работая в приполюсном районе. Я узнал имена Перова, Сорокина, Каша, Лебедева, Старова, Малькова,— они составляли костяк отряда.

Еще лучше стал мне знаком их командир: не было случая, чтобы при рассказах об отряде его личность обходилась молчанием. Встреченные мною два друга синоптика, принявшиеся как-то повествовать совсем о другом — о своем давнем житье-бытье на острове Врангеля, начали не с обычных деталей приезда, первых встреч, памятных вахт и ошибочных прогнозов, а с конца — с весны 1941 года, когда до них по неведомым каналам дошли слухи о том, что делает в это время Черевичный в далекой Москве.

По сведениям, которые получили синоптики, выходило, что Иван Иванович сочиняет проекты, бегаёт по инстанциям: рвется в экспедицию в высокие широты. Бойтся, пояснили осведомленные, как бы его не опередили. Облюбовал завидное местечко и хочет первым поставить заявочный столбик. Агитирует ученых, чтобы поддержали,— хитрый мужик! А для самого вся эта наука, как нагрузка перед трудным рейсом: чем меньше, тем лучше. Летчик до мозга костей... Любого ученого со всем его хозяйством на пять бочек горючего променяет...

Мои собеседники были тогда еще совсем молодыми парнями, решившими посвятить себя восточному сектору Арктики (в те годы он был наименее изученным). Как выразился один из них, «оба пламенели наукой» и все свободное время, оставшееся после «двухсменки», отдавали описанию атмосферных явлений, ворошили архив,— он оказался довольно богатым,— спорили, обдумывали направление будущих работ.

Когда на лед бухты Роджерса опустили самолет «Н-169», оба они, подготовленные расказами, отнесли к командиру корабля настороженно. Разумеется, это было настоящим событием, что Черевичный, второй пилот Каминский, штурман Аккуратов, магнитолог Острекин и другие члены экипажа

поселились в их рубленом домике. Новые лица, масса новостей, бесконечные истории за общим столом, а главное — сами синоптики вдруг оказались соучастниками большого дела. Ведь экипаж «Н-169» взял на себя дерзость раскрыть тайну «полюса относительной недоступности». Разумеется, они вмиг постигли новаторский характер этого эксперимента, его значение для науки; волнующая картина рисовалась их воображению: самолет, из которого по дюралевой лесенке медленно, спиной к машине, сходит на лед человек. На нижней ступеньке он несколько задерживается, окидывает взглядом застывшее вокруг пространство, смотрит на снег под ногами и, наконец, делает первый шаг, и этот шаг принадлежит истории, он — победное завершение борьбы за покорение самого недоступного места Арктики...

И молодые люди молча, с тревогой в душе наблюдали за командиром корабля. Подходит ли этот человек для столь величественного дела?

Летчик держался просто, был на виду, мыслей своих и настроений не таил. Как-то за обедом, например, откровенно, с удовольствием, почти с гордостью рассказал, что научился «действовать на начальство». «Без этого, — говорил он, — торчать бы мне в Москве да смотреть, как работают другие открыватели. (Себя он тоже называл «открывателем».) А время такое... подходящий момент того и гляди упустишь!..»

О погоде летчик их не расспрашивал, а — пытал. Он знал, конечно, что нет на свете специалиста, который мог бы наверняка предсказать погоду на участке «полюса относительной недоступности», где намечено было произвести посадку. Но всякий раз, когда об этом заходила речь, летчик мрачнел и поглядывал на молодых людей угрюмо и с недоверием. Порой им начинало казаться, что за этой тяжелой докучливостью кроются опасения осторожного, себялюбивого человека, который слишком поздно понял, как велика угроза, созданная им же самим своему положению, не знает, как ее отвести, и мучается этим.

Та, первая, экспедиция на «полюс относительной недоступности», состояла из одного самолета. У нее даже не было официально назначенного начальника, и как-то само собой оказалось, что летчик стал главой маленького отряда. Уже на острове, в ходе последних напряженных приготовлений, молодые люди видели, как охотно выполняют члены экипажа — ученые и авиаторы — его советы и указания.

В один из вечеров, сдвинув на край стола ворох размалеванных карт и бланков, Черевичный сказал двум приятелям жестко и скорбно:

— Вы поймите, ведь в случае чего... возврат там или подлаем... в самый наш метод не захотят верить. Лопнут наши «прыгающие точки», замаринуют нашу «летающую обсер-

ваторию». А без них вся арктическая наука как на привязи. Вот в чем дело!

Еще запомнилось синоптикам, как Черевичный сказал перед стартом, обращаясь к своим товарищам:

— Последним из машины выйду я. И не взлечу, пока самую последнюю пробирку не заполним и самый длинный трос не выберем...

В Москве, за несколько месяцев до нынешней экспедиции, когда план предстоящих действий отряда был уже разработан, Черевичный рассказывал мне, довольный, видимо, результатами этой долгой подготовительной работы:

— Снова наши «точки» начнут прыгать... Что такое «точки»? А вот что. Вылетаю с материка и выбираю льдину. Самую надежную, потолще, и чтобы по размерам подходила. Все грузы, запасы горючего — на нее. Она у нас центральной базой называется. Отсюда уже доставляем ученых по назначению, на «точки». Ну, те же льдины, только поменьше. Они как бы на довольствии состоят у центральной базы. Целая организация, а как же? В отряде для экипажей заведен такой порядок: командир осмотрел площадку, бросил дымовую шашку, чтобы узнать ветер, сел. Дальше: разбить палатку, приготовить горячую пищу. Занимается этим экипаж. Если ученый о еде станет думать да медведей стеречься, когда же он свою программу выполнит?! Охрана, бурение скважин, на лебедке помогать — все экипаж. Обработали ученые одну «точку», на другую — прыг! Потом организуем центральную базу в другом месте. И так далее...

Черевичный был в молодежавом темном кителе с изгибом белой строчки по краю твердого воротника и золотой звездой Героя на груди. На столе лежали книги. Постукивая твердым ногтем по корешку «Дневников» Роберта Скотта, он говорил:

— Я бы на месте англичан останки этого человека давно на родину вывез. Уважаю, хоть он и другой системы придерживался. Специальный бы самолет послал. Доберусь до Антарктиды, обязательно его могилу назову...

Теперь мне предстояло снова встретиться с Черевичным.

Когда самолет доставил нас на театр основных действий отряда, на его центральную базу, лунный рельеф бесконечных белых полей и нежно светящиеся льды производили впечатлительные покоя, безмятежности, незыблемости. Представлялось, что методы совместной работы авиаторов и ученых совершенны настолько, опыт их так велик, что льдина, выбранная с воздуха, должна быть непременно прочной и неколебимой, как городская площадь...

Лагерь... Между черных грибов-палаток и ящиков с грузами, старательно подровнявшись в линию, выстроились самолеты. По некоторым приметам — по тому, что палатки не

утеплены снегом, бачки, в которых греют воду, держатся на зыбких жердочках и не защищены от ветра фанерой, растяжки радиомачт не заморожены, а просто закреплены с помощью увесистой тары,— по всему этому видно, что жильё сооружено здесь ненадолго. К палатке, что возле штока, на котором инеем искрится красный флаг, сходятся твердые тропки. Два человека, видимо только сейчас прилетевшие, идут по одной из них, громко разговаривая между собой.

— Была площадка как площадка, восемьсот метров,— рассказывает первый.— Только начали работу — бах! Осталось четыреста. Положили лопату на трещину, но и без лопаты, простым глазом видно — дышит, расходится. Перов сразу командует: «Запускай моторы!» А механик: «Не могу, Виктор Михайлович, холодные...»

— А мы и палатку даже не поставили,— перебивает второй,— пурга началась. Всю неделю в самолете сидели. Пурга скребет по фюзеляжу, а мы гадаем: удерем до полнолуния или не удерем?

— Перов себя прекрасно проявил, весь сказался... Машина поперек трещины скользнула... только вжик!.. Никто и не услышал, а мы уж в воздухе...

— Теперь наш доктор наук вовсе тощий, жалко смотреть. Как застряли, Сорокин, конечно, всем паек урезал, мало ли что, а ему давал полной нормой. Доктор только рукой машет: «Не поможет, я от злости худею. Потерять семь дней при наших сроках!»

Возле палатки, под флагом — подобие курилки. На одном из ящиков пристроился Черевичный, вокруг стоят летчики.

— Влип! Как кур во щи! — зло и насмешливо говорит командир.— Меня, честно сказать, иной раз удивление берет: ведь как научились на собраниях разных догматиков крыть. Без конспекта, со всеми цитатами. А на деле оказывается, сами не прочь по шаблону работать. И что же дальше? — обращается он к командиру экипажа.

— Что же дальше, товарищ командир? — отвечает летчик.— Стали жить, как хуторяне. Газу хватало, не мерзли. Подровняли ропачки, флажки расставили, радист вахту несет. Особенно-то его не загружали... На шестой день примерно началось. Как раз штурман бодрствовал. Грохот! Минут сорок бухало. Над разломом — пар. Густой, вроде тумана, ветер как раз в нашу сторону. Под ногами зыбко, а что впереди делается, не поймешь. Потом отпустило. Пошли гуськом разводье смотреть. Все же удачно получилось: вдоль посадочной, метров, скажем, за тридцать, темная вода, а где аэродром — хоть бы какая полосочка. Ни трешинки. Чисто! Мотор включили, сыграли отбой. Через день еще раз ахнуло, с другой стороны. Потом опять...

Летчик вздыхает, молчит, лицо его сосредоточенно.

— Так и жили, товарищ командир. Девять суток.— Он переступает ногами, оставляя на снегу узкие следы неразношенных валенок.— И вроде как без дела. А ведь неплохо, в темпе начали, прямо с ходу...

— Вот! — подхватывает Черевичный.— Именно что с ходу! Как же, все постигли, все освоили! Побережье, «полюс недоступности», в Центральной Арктике как дома, что нам этот райончик? Тем более газеты во всех подробностях описывают, как вся Арктика перед нами на коленях стоит... А Арктика, она вон — у Алеши Каша лыженок скушала, и еще спасибо скажите, что трещина под хвостом прошла, а не под шасси, могла и всю машину заодно с экипажем сглотнуть. Запросто.

Переждав короткий смешок и сочувственные поддакивания, Черевичный продолжает:

— Опытный—это тот, кто на каждое задание как на новый опыт смотрит. Применяется значит, думает, не держится старого, как слепой палки. Наш район взять. Тут каждое место своей методы, своего нюха требует. Может, не девять — двадцать девять суток придется сидеть на «приводе», а как же? Или снег, к примеру,— командир поддевает щепотку рассыпчатого снега.— Он ведь только для дурачков одинаковый, надо это учитывать. Одно дело — прошлогодний приполюсный район, другое дело здесь. Сорокин, ты как понимаешь этот вопрос?

Сорокин невысок ростом; когда он говорит, его глаза, почти белые от холода, темнеют. Вслед за ним высказываются другие командиры экипажей, с блеском работавшие в районе Северного полюса, общий разговор приобретает характер делового совещания, и постепенно передо мной раскрывается все своеобразие сложившейся здесь обстановки.

Сектор Арктики, в котором действует отряд, долгое время оставался в стороне от основных исследований, хотя интересовал и ученых и летчиков. Ученым важно было проверить некоторые предположения и догадки, высказанные в литературе, и собрать экспериментальные данные, да и полярные летчики находили, что негоже, когда на знакомой им территории существует довольно любопытный секторок, до сих пор по-настоящему не облетанный. А вдруг там земля? Хотя бы остров? Острова ведь тоже не на каждом шагу встречаются...

К экспедиции готовились тщательно, используя опыт, накопленный годами. В основу плана лег испытанный, удобный, хорошо усвоенный экипажами принцип: центральная база — разлет по «точкам» — общий сбор — перелет на новую главную базу и так далее. Отпечатанный и переплетенный в толстую книгу документ, определяющий действия экипажей, выглядел весьма внушительно. Особенно хороша была схема расположения опорных баз. Обеспечивая уверенные коммуникации с материком, она одновременно позволяла отряду проникнуть в наиболее отдаленные уголки незнакомого района. И нетрудно

было представить, как расширятся и обогатятся представления ученых о многих важных явлениях, когда результаты проведенных здесь исследований объединятся с материалом дрейфующих станций «Северный полюс-5» и «Северный полюс-4», с наблюдениями других отрядов, которые в то же время будут вестись в других секторах Арктики.

Как всегда, Черевичный, один из лучших специалистов по изысканию опорных льдин, вылетел вперед. Но едва радиограмма: «Открыл базу номер один». — была передана на материк, как льдина-избранница с громом треснула и разошлась на части. С того и началось...

А надо сказать, что с точки зрения ученых новый район превзошел самые смелые ожидания. Он оказался для них сущим Клондайком. Они черпали здесь наблюдения и факты бесценной важности, могли видеть, как совершается зарождение процессов, которые потом, разившись и сформировавшись, отзываются на состоянии погоды и льдов по всей трассе Северного морского пути. Поэтому с самого начала каждая лишняя «точка», посещенная синоптиком, дополнительная серия наблюдений, выполненная магнитологом, замер течения, произведенный гидрологом, приобретали широкое, принципиальное значение.

И все, что возбуждало интерес ученых — мощные торошения, неожиданные выходы теплых течений, богатство розы ветров и их ураганная сила — все это оборачивалось против летчиков, диалектика жизни экспедиционного коллектива проявила себя в полной мере.

Здесь многое было не таким и не так, как в других местах. Погода менялась каждые три-четыре часа, внезапные подвижки льда начинались бесшумно, при ясном небе и спокойном барометре, но уже через полчаса грохот торошения достигал канонадного звучания, и, стоя в лагере, трудно было понять, с какой стороны надвигается угроза. Район буйствовал; все, что он ниспосылал на головы залетевших сюда людей, поражало редкостной мощью: если льдины начинало ломать, то уж вдребезги, туман стлался над палатками, как грозовые облака, пурга не прекращалась неделями...

— Неприятно, но не ново. — Черевичный говорил о районе, как о человеке, который пытается его обмануть. — Главное в другом...

После первой же своей посадки он понял, что его неудача — не случайность. И что будет заблуждением, опасной ошибкой, если экипажи не увидят, не распознают, не почувствуют истинный характер этого района, прикрытый мощью и силой мрачных, но далеко не новых для летчиков явлений.

Главное, что путало карты, ставило в тупик не только молодых летчиков, пополнивших отряд, но и ветеранов, что грозило самыми тяжелыми последствиями, — был лед.

Художники говорят, что белых цветов множество. Надо думать, это наблюдение с наибольшей полнотой усвоено полярными летчиками. Для них не существует попросту белого льда. Долго рассматривают они бесконечно разнообразные цветковые оттенки проплывающих под крылом полей, по тончайшим нюансам расцветки, по легчайшей игре теней и полутонов определяя толщину льдины. Приметы сведены в целую шкалу, глаз, безошибочно чувствующий цвет, исключает возможность ошибок.

И вот будто кто-то невидимый и злонамеренный подверг ледяные поля района, над которыми кружились теперь самолеты, тончайшей светомаскировке; снег, растертый Черевичным для вшей наглядности, неуволимо менял расцветку ледовых площадок всюду, где предполагали высадиться ученые. С высоты полоска, присмотренная для создания «точки», спокойно отливала такими же привычными для глаза тонами, что и старая, гостеприимная льдина в приполюсном районе, нарастившая за годы дрейфа три-четыре метра толщины. Но едва машина касалась поверхности, бег самолета тормозился, его начинало «хватать», и механик, стоя возле раскрытой дверцы фюзеляжа, видел, как быстро темнеет, увлажняясь, свежий пористый след под лыжами самолета, на льду, молодом и крупном, как яичная скорлупа. Командир отряда радировал экипажам напутствия, по-фронтальному краткие: «Действовать по обстановке». И чаще всего из таких ловушек выбирались, с ходу поднимаясь в воздух.

Но случалось и так, что в тишине кабины, когда машина уже мчит по льду и летчик не замечает холостого посвистывания винтов, а весь обращается слухом к невидимым, иссеченным, добела накатанным лыжам самолета и готов дать газ, чтобы покинуть неверную площадку,— случалось, что в это время у него за спиной неожиданно раздавалось: «Ах, черт возьми!» По сдержанной ярости этого выкрика почтенного члена-корреспондента, командир корабля понимал, что, подними он сейчас самолет, наука понесет крупную, невосполнимую потерю, и решение его мгновенно меняется. На предельной скорости он пускает машину по льду вперед, потом, не замедляя хода, круто берет в сторону, в случайный просвет между торосами, и, проскользнув на соседнее поле и скорее чутьем, чем глазами, угадав его прочность, останавливает машину.

Льдины, годные для посадки, здесь редки и случайны, как острова на северной границе Карского моря. Следовательно, выход такой: держать под контролем наиболее надежные из открытых льдин, то есть иметь там самолет с радиостанцией, запас горючего, продовольствие. Возможно, что некоторые из этих площадок и не понадобятся, экипажи, сидящие там, окажутся «в пассиве». Но будет достигнуто главное: резервные базы, годные для посадки, позволят уверенно маневрировать летчикам, занятым обслуживанием других «точек».

В дело требовалось ввести все наличные самолеты отряда, но одно непредвиденное затруднение едва не поставило под угрозу вновь созданный вариант работ.

По первоначальному плану, от которого оставались одни лишь грустные воспоминания, радиосвязь центральной базы с материком, «точками» и летающими экипажами должны были осуществлять радиостанции машин, попеременно несущих вахту здесь, на опорной базе,— сегодня одна, завтра другая, послезавтра третья. Теперь нести такую вахту в течение двадцати четырех часов было некому. С другой стороны, оставить аэродром без приемника и передатчика было нельзя. К счастью, совершенно случайно обнаружилось, что на борту одного из самолетов имеется полный комплект радиостанции. В свое время летчик обещал начальнику «СП-3» доставить рацию в Москву и передать ее кому следует из рук в руки. Но случая побывать на материке до сих пор не представилось, и летчик, верный своему слову, вот уже много времени возит ее с собой...

Так в лагере появилась еще одна палатка. Ее внутренняя поверхность, некогда сверкавшая белизной, почернела от дыма и копоти, мутные пятна подтеков чередуются по ней со следами ржавчины от каркаса. Год назад под этим кровом размещалась радиорубка дрейфующей станции «Северный полюс-3», а теперь неожиданным наследником их испытанного временем имущества оказался радист Николай Старков.

Радиопалатка стоит по соседству с жильем командира, здесь хорошо слышны разговоры Черевичного с летчиками.

За спиной Старкова на портативном столике стоит шахматная доска с расставленными на ней фигурами. Партия начата давно, когда кончились вторые сутки бессменного дежурства радиста, и трудно сказать, когда она закончится, потому что партнер Старкова, летчик Каминский, сделал первые ходы в перерыве между двумя вылетами и только теперь, вернувшись на базу, снова склонился над столиком.

В палатку входит Черевичный. Пригладив ладонью сбившиеся волосы, он рассеянно всматривается в ход баталии.

— С «восемьдесят третьим» работал? — В зеленой, как у многих летчиков, куртке и в таких же брюках, туго и тепло сбившихся на коленях, Черевичный смотрит, куда бы присесть.

— Скоро буду,— отвечает радист.— Пока молчит.

Речь идет о самолете, который находится в воздухе.

Старков играет, не снимая наушников. Через радиста проходят сообщения обо всех событиях, он в курсе всех дел. Ритм жизни, врывающийся в палатку, воодушевляет его,— он играет с напором, после каждого удачного хода весело произносит: «Равных нет!» — и, откинув назад волосы и круто повернувшись, припадает к своей аппаратуре.

— Во-время мы «восемьдесят третий» со «старой» точки подняли,— говорит Черевичный Каминскому, раскладывая на

толстых коленях карту.— «Дальняя» больше суток не продержится. Я приказал «восемьдесят третьему» помочь им закончить работу.

— Они два раза запрашивали насчет «восемьдесят третьего».— Старков протягивает командиру бланки.

— Острекин заявляет,— продолжает Черевичный, пробегая радиogramмы,— если «восемьдесят третий» подоспеет вовремя — все пробы возьмут. Теперь ажур: на «старой» одна машина осталась, мы ее сейчас тоже поднимем, делать там больше нечего, а часиков через двенадцать с помощью «восемьдесят третьего» свернем «дальнюю». Вот руки себе и развяжем. Больше никто нас здесь не держит. Всем гамузом дальше двинем.

— Сроки меня беспокоят, Иван Иванович.— Каминский, решившись, наконец, припечатывает ладью на королевском фланге Старкова. Но этот удачный ход словно бы утратил для него свою прелесть. — Скверно со сроками. Вы как считаете?

— Обернемся. «Восемьдесят третий» «дальнюю» обрабатывает — тогда всем гамузом дальше двинем... — повторяет Черевичный.

«Дальняя» и «старая» — точки, на которых сосредоточилось основное внимание ученых. На «старой» все работы уже завершены, машина, которая там еще находится, ждет команду, чтобы перелететь на центральную базу, а экипаж «восемьдесят третьего» держит курс на «дальнюю». Маневр самолетами позволит через несколько часов завершить все исследования, и тогда отряд, наверстывая время, потерянное в первые дни работы, переместится вглубь района.

Пощелкивание и треск динамика покрываются захлебывающимся потоком точек — тире. Старков чуть приглушает звук.

— Для вас, товарищ командир. «Восемьдесят третий», — огрызок карандаша в пальцах левой руки понесся по листку бумаги. Писк смолкает. Старков молчит, вчитываясь.

— Чего там твой Маркони настукал?

— «Нахожусь за облаками, в паре с Кашем, — внятно проносит радист. — Вышли из строя радионавигационные средства. Впереди облачность десять баллов, высота облаков пятьдесят — сто метров. Даю координаты...»

Летчика, работающего под индексом «83», я видел только один раз, мельком, еще на материке. Наверно, он был старшим по должности, потому что, давая наставления двум летчикам, значительно и важно цедил: «Задание особое, условия тяжелые. В такое дело берут не каждого, вас рекомендовал я и несу за это ответственность...»

Динамик раздражается яростным писком, его дряхлая обтяжка готова, кажется, лопнуть.

— Ух, дает! Это Каш: «Выбрал площадку... Буду садиться и сажать восемьдесят третий».

— Молодец! — Черевичный просунул ладонь под карту. — Молодец, соображает, что к чему... Они, видишь, где? — Его палец прилип к листу неподалеку от кружка, обозначающего нашу базу.

Каминский, надев очки, тоже склоняется над картой.

— Рядом. На «дальней» даже знать не будут, что «восемьдесят третий» посадку делал, мы его подправим в два счета. Максимум час на все.

— Только так! — басит Черевичный.

Динамик снова начинает пищать. Старков читает:

— «Восемьдесят третий»: «Принял решение возвращаться на «старую».

И снова ливень, неистовый и оглушительный — от Каша: «Восемь три ложится обратный курс...» — секундная пауза, и в том же темпе: «Иван Иванович... уходит!..»

Что-то дрогнуло в лице Черевичного.

— Старков! — Он кашлянул, подозрительно и сердито взглянул на динамик, будто только сейчас увидел его. — Старков, стучи «восемьдесят третьему»: «Приказываю садиться вместе с Кашем». Кашу: «Обеспечить посадку «восемьдесят третьего».

Подтверждение пришло не сразу, хотя репродуктор продолжал приглушенно пищать.

— Между собой ругаются, — сказал Старков, плотнее прижимая наушники. — Вам, товарищ командир. «Восемьдесят третий»: «Нахожу посадку нецелесообразной возвращаюсь «старую».

— Исполнитель сольных номеров, — отдельно проговорил Каминский, поднимаясь во весь рост.

— Я таких щеглов!.. Весь отряд держать, только бы ему поспокойней, только бы на знакомой площадке посадку сделать! Без риска в Арктике работать хочет! Старков! — Черевичный тоже встает. — Старков! Стучи так: «Принял дополнительные меры график выправим. Точка. Своей властью отстранил от участия экспедиции «восемьдесят третьего». Точка. Прошу поддержать. Точка. Черевичный».

Некоторое время они сидят молча, Черевичный и Каминский, командир корабля «Н-169» и его второй пилот. Может быть, тогда, после первой посадки на «полное относительной недоступности», они сидели вот так же и так же, как сейчас, только совсем по другой причине, им не хотелось говорить.

Черевичный первым нарушает молчание:

— Теперь давай о «дальней» думать. Кто у нас есть? — Ни к кому в отдельности не обращаясь, он добавляет: — Скользят такие по Арктике. Прилепится к полярникам и скользит... Больше о себе думает да как заработать. Идеи я в нем не усматриваю, вот что.

В палатке появляется инженер, днем летавший с летчиком Перовым.

— Как он там сел? — озабоченно спрашивает Каминский о Перове.

— Да как-то примостился. Я спросил, как ему было... Ведь суший огрызок, не льдина. Говорит: «Привычно».

— Взлетел благополучно?

— По-моему, да.

— Машина косточками не хрустела?

— Не слышал... Да вы лучше у него спросите.

— Перов на подходе, — доложил Старков, оборачиваясь.

— Подгадал! Его на «дальнюю» и пошлем, — сказал Черевичный и вместе с Каминским вышел из палатки. Я вышел следом за ними.

...По плотному снегу, прямо из-под ног, уходят вперед прямые, как стрелы, следы, взрыхленные колесами и отполированные лыжами самолетов. Они упираются в высокий ледяной надолб, его светлые зубцы холодны и остры. Флажки и дымовые шашки, жидким пунктиром пробегающие вдоль накатанной полосы, почти не сближаются в перспективе — так коротка эта взлетно-посадочная площадка. В ширину она не больше тридцати метров.

Самолет появляется откуда-то сбоку, на небольшой высоте, и становится хорошо видно, как послушно и уверенно нацеливается округлый нос машины в этот тесно зажатый великолепными торосами кусочек ровного льда. В стремительном сближении самолета с крохотным аэродромом — суровая непреклонность: летчик знает, что надолбы, ропаки, снег не простят ему ни малейшей оплошности. Но его сноровистые, точные действия меньше всего похожи на дерзость, на вызов. Это привычное и властное торжество человека над раскинувшейся вокруг безмолвной снежной пустыней.

Вот самолет скользнул над ропаками, несколько мгновений между отвисшими пятками лыж и снегом держится тонкий просвет, потом он исчезает.

Надо думать, что во всех «точках» района, где посадка так же трудна, летчики так же блистательно делают свое дело...

*База Черевичного.
Экспедиция Главсевморпути.*

К. Лапин



В ЖИГУЛЯХ

(Из дневника)

21 августа 1950 года. Опубликовано постановление Совета Министров СССР «О строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции на реке Волге». Гидроузел в Жигулях — это три Днепрогэса по своей мощности; он будет производить 11,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год (в шесть раз больше, чем производилось во всей дореволюционной России в 1913 году).

На пароходе «Тимирязев» отправляюсь на строительство ГЭС. Капитан Иван Федорович Демидов — потомственный речник. Он четверть века стоит на капитанском мостике. Это живой «путеводитель» по Волге, на его глазах выросли по берегам реки громадные судостроительные верфи и порты, заводы и фабрики, построены каналы и плотины.

— До постройки канала имени Москвы было нелегко плавать даже здесь, в среднем течении, — рассказывает он. — Особенно тяжело приходилось в жаркое лето, во время мелководья. Бывало, ползешь вот так, посреди фарватера, а рядом по Волге мужик на телеге едет. Посмотрит на тебя да еще гукнет, озорник: «Лева держи, капитан, там глубчей!..»

Перед самыми Жигулями довольно долго стоим у поворота реки. Речной семафор — высокий шест на берегу, на котором висят, образуя определенную комбинацию, шары и квадраты, — закрыт. Капитан объясняет: впереди — узкое место фарватера, здесь судам запрещено расходиться.

— На такой реке и «однопутное» движение, а? — сокрушается Демидов. — Но плотина в Жигулях это исправит...

Могучая, полноводная река, пробежав по стране почти две тысячи километров, приняв в себя сотни притоков, набирает у Жигулей особенную силу. В воде отражаются высокие, поросшие лесом склоны правого берега, в рассветной дымке тонет низкий левый берег, и словно не по реке плывешь, а по озеру или по морскому заливу. В половодье и берегов не различишь — на пять километров здесь разливается Волга! И все эти миллиарды кубометров воды по весне бесцельно сбрасываются в Каспий, хотя летом каждая капля влаги в Поволжье на вес золота.

Теперь представим себе, что половодье задержано пятикилометровой плотиной, которая протянулась от Жигулей до высокой террасы левобережной возвышенности. Вода поднимается все выше и выше, разливается все шире и шире. В некоторых местах ширина разлива достигла сорока километров, даже в далекой от Жигулей Казани чувствуется подпор воды.

Вода, поднятая на двадцать шесть метров, с огромной силой вертит лопасти двадцати гигантских турбин Куйбышевской гидроэлектростанции (каждая турбина почти вдвое мощнее всей Волховской ГЭС).

Но куда девать излишек воды, особенно в половодье? Он сбрасывается через водосбросы железобетонной водосливной плотины. А куда же пойдут пароходы, буксиры, плоты? Громадные водяные «лифты» шлюзов поднимут и опустят их из верхней Волги в нижнюю: каждый шлюз опускает и поднимает суда на тринадцать метров — на высоту трехэтажного дома.

Волга в районе строительства — настоящий морской порт. По всем направлениям снуют катеры и лодки. Пыхтящие буксиры заводят в речной рукав километровый плот. Пловучий кран поднимает с баржи новенький грузовик и ставит его на берег, дальше грузовик идет своим ходом. Рядом с дебаркадером транспортеры сгружают с барж камень и песок. В воздухе пахнет нефтью, не смолкают гудки.

Ставрополь на Волге, где помещается штаб строительства, небольшой районный центр. В городе несколько школ и техникумов, бревенчатые хлебные лабазы на берегу Воложки, пожарная каланча, церковь, Дом колхозника. Приезжие заняли не только все комнаты и койки Дома колхозника, они спят в коридорах, стелют себе на полу. Инженер, прибывший на ГЭС на собственной «победе», спит прямо в машине; по утрам можно видеть в окно гостиницы, как он бреется, пристроив зеркала на капоте.

Изыскательская экспедиция разместилась в двухэтажном каменном домике, около него всегда толпятся люди, главным образом молодежь. Экспедиция — учебный комбинат «на коле-

сах», она сама готовит для себя кадры: топографов, бурильщиков, машинистов, водителей, взрывников и т. д. Окрестные села и деревни в избытке дают молодежь — культурных, грамотных юношей и девушек, окончивших среднюю школу. За несколько месяцев экспедиция готовит из них работников нужных профессий.

Василий Александрович Бушуев — начальник экспедиции — выглядит типичным следопытом, путепроходцем в своем синем суконном френче, обтянувшем плотную невысокую фигуру, в брюках, заправленных в сапоги. Не в кабинете за планами и графиками, а в седле, на лошади сидеть ему! За последние два десятилетия Бушуеву пришлось не одну тысячу километров потрястись в седле и на машине, проплыть в лодке и на плоту, пролететь на самолете. Урал, северная тайга, изыскания «малых рек», Дон, Волга — таков его трудовой путь.

Один из знатных людей экспедиции — младший техник-топограф Иван Жигулин. Ему двадцать лет. Из-под кепки торчит озорной светлый чуб. Юношу легко представить себе на гулянке, с гитарой в руках. Таким я его и увидел в первый раз на вечере самодеятельности в Доме культуры строителей. Жигулин угощал парней и девушек семечками, пел и плясал. На другой день мы встретились с Жигулиным на объекте, среди тех же юношей и девушек. Они бежали выполнять приказ по первому его знаку. Сам он за нивелиром казался строгим и вдохновенным. Сделать «по-жигулински» — здесь означает сделать отлично.

На лесистом острове Телячьем гремят взрывы. Группа сейсмиков экспедиции изучает глубоко залегающие грунты по скорости прохождения звука в земле. Испуганные взрывами лоси выбегают из лесу, плывут на правый берег в Жигулевский заповедник. Я сам видел — правда, издали, с моторной лодки — плывущего лося. Достигнув берега, лось, пошатываясь, вышел на песок, отряхнулся и скрылся в кустах.

На острове Середыш — выше Ставрополя по течению — изыскатели нашли отличный гравий и крупнозернистый песок для бетонных работ. Бригадир лучшей женской бурильной бригады Матрена Степановна Фастовец — маленькая светловолосая женщина с крупными веснушками на лице. Засученные во время работы рукава кофточки делают видными на ее руках белые рубцы, похожие на ожоги. Совсем юной девушкой Матрену Фастовец вместе с другими девушками из Полтавы гитлеровцы угнали в рабство. Не желая работать на военном

заводе, выпускавшем снаряды для фронта, она сожгла себе руки серной кислотой.

В 1946 году Фастовец вернулась на родину и поступила уборщицей в изыскательскую экспедицию. Вышла замуж за старшего бурильного мастера Григория Петровича Богданова, бывшего партизана Отечественной войны. Он учил ее бурильному делу. Нелегко приходилось поначалу молодой бурильщице. Когда работа не ладилась, Фастовец бежала к мужу, работавшему в соседней бригаде.

— Ну, а если б меня не было рядом, Мотя, как бы ты поступила? — ворчал муж. — К тому же мы с тобой соревнуемся.

— Ну, покажи, Гриша, як жинке... — просила она.

Годы ученичества позади. Женская бригада Фастовец, овладев передовой техникой бурения, не раз обгоняла бригаду Богданова. После работы Матрена Степановна занимается теорией, ее мечта — стать техником.

На собрании гидростроителей, выбравших делегата в Москву на Всесоюзную конференцию защитников мира, мне впервые довелось увидеть начальника строительства Ивана Васильевича Комзина. Высокий, плечистый, с лицом, какое принято называть «волевым», он сидел в президиуме собрания. В годы первых строительных пятилеток Комзин был прорабом на строительстве комсомольской домны на Магнитке, после войны восстанавливал порты на Балтике.

Делегатом выбрали Ивана Ивановича Грунина, водителя самосвала «ГАЗ-93». Он очень опрятен — гладко выбрит, сапоги начищены. Грунин пришел на ГЭС одним из первых. Именно «пришел», а не приехал, так как его домик оказался на самой территории строительства. Коммунист, участник Сталинградской битвы; после войны он работал в районной конторе «Заготзерно», ездил с кинопередвижкой по району. Грунин — один из инициаторов передового метода «кольцевого» движения машин на строительстве дороги к пристани, застрельщик соревнования «стотысячников».

В нашей комнате в ставропольском Доме колхозника собрался интересный народ. Старший прораб, строивший Горьковский автозавод, рассказывает о строительных битвах первой пятилетки. Три экскаваторщика, окончившие курсы в Сталинграде, ждут прибытия механизмов, пока же, не желая терять времени, работают грузчиками на пристани. Мой сосед по койке — молодой инженер Иван Юртаев — этой осенью с отличием окончил строительный институт имени Куйбышева в Москве. Приехал с двумя чемоданами книг и учебников. Работы по специальности на ГЭС пока нет, и он наблюдает на лесозаводе

за двигателем. Очень симпатичный, душевный паренек, ходит без шапки, курчавый, улыбающийся. Жили в комнате — очень недолго — два странных типа, хаявшие всех и все. Они приехали за «длинным рублем» и скоро отбыли в неизвестном направлении.

Справка отдела кадров: за один сегодняшний день 1 октября получено 510 писем патриотов, желающих строить ГЭС.

Воскресенье 8 октября. Воскресник по прокладке шоссе Куйбышев — Ставрополь. В бору за городом прорубаются просеки. Девушки с лопатами. Колхозники на лошадях. Машины с плакатом на борту: «Все на сооружение подъездных путей к ГЭС!» Начальник строительства дороги Алексей Александрович Николаев, взяв у школьницы лопату, показывает, под каким углом срезать бровку откоса...

На просеку выезжают бульдозеры — они только что прибыли по железной дороге — и скреперы, захватывающие по шесть кубометров земли. Работа сразу идет живей, настроение у всех поднимается. Звенит частушка:

Что за шум стоит над лесом?
Что за гром над озером?
То работает от ГЭСа
Мой милоч с бульдозером!

* * *

Октябрь 1952 года. Рейсовым автобусом «Куйбышев — Ставрополь» еду по гудронированному шоссе. Справа и слева новые поселки — Комсомольский, Портгородок.

Разыскиваю знакомых. Инженер Юртаев работает теперь по своей специальности теплотехника. Он — начальник котельной, проводил теплосеть в поселке. Прошлой зимой жил в палатке, позже в домике из фанеры. Снег выпадал такой, что домик заносило по самую трубу. Сейчас живет в молодежном общежитии поселка Комсомольский — двухэтажном доме у обочины асфальтированного шоссе. За домом среди сосен дети играют в партизан, собирают грибы и ягоды. Рядом с домом — сберкасса, почта. Еще дальше — каменное здание с колоннами: филиал Куйбышевского индустриального института.

Большой правобережный котлован. Два года назад здесь было приволжское село Отважное, махала деревянными, потемневшими от времени крыльями ветряная мельница, гудели грузовики, вызывая пассажиров, засидевшихся в колхозной чай-

ной... Мощные тягачи перевезли на металлических «санках» село на другое место, повыше... В котловане, из которого экскаваторы уже вынули миллионы кубометров грунта, сейчас поместилась бы вся Красная площадь и только кресты собора Василия Блаженного и остроконечные башенки Исторического музея торчали бы наружу.

По дороге промчался самосвал со знакомым номером 74.08. Пока водитель Грунин был в Москве на конференции защитников мира, на этой машине ездил его ученик Саша Власов. Когда Грунин вернулся, ему предложили перейти на работу в управление.

— Не уйду со своего самосвала до конца стройки! — заявил водитель.

Особенно отличился Грунин в тревожные дни половодья. На прибрежной пойме скопилась гора стройматериалов, их нужно было срочно вывезти. По трое суток водитель не вылезал из кабины, спал в краткие минуты погрузки. И всегда был гладко выбрит, всегда сапоги его блестели...

Строители ГЭС должны вынуть и переместить 150 миллионов кубометров земли, уложить более 8 миллионов кубометров бетона. Это много больше того, что сделали днепростроевцы. Но если на Днепрогэсе производственная «вооруженность» одного рабочего составляла в среднем две с половиной лошадиных силы, то на Куйбышевгидрострое эта цифра выросла почти в семь раз. Более чем на 95 процентов здесь механизированы все основные трудоемкие процессы. На стройке работают 9000 механизмов, 5500 электродвигателей. До 2 тысяч вагонов груза в день поступает в адрес Куйбышевгидростроя.

Экскаваторщик Михаил Юрьевич Евец. Из Западной Белоруссии. Коммунист. Тихий голос, белые виски. Прибыл на стройку в первый год. Со старшим сыном Владимиром направился в кабинет начальника строительства. Секретарь не пускает.

— Доложите: земляк приехал.

Узнав, что трудовой путь Евца начался на Магнитке (он там работал поначалу землекопом), Комзин обрадовался:

— Действительно, земляки!

Экскаваторщик Евец не только умело разрабатывает забой, выбирая грунт полной пригоршней ковша и не тратя лишней секунды. Его искусство особо проявляется, когда нужно, скажем, переставить щиты, по которым передвигаются гусеницы экскаватора или когда в породе встречается инородное тело. Тогда кажется, что стрела экскаватора — продолжение руки машиниста, усиленной в тысячи крат, до того точно зубья ковша

поддевают щит посередке, так бережно укладывают его на нужное место. Плита известняка, не влезавшая в ковш, подхватывается зубьями, словно картофелина вилкой, и осторожно опускается в кузов самосвала.

Цикл экскаватора — опускание ковша, зачерпывание грунта, вывод ковша из рабочей зоны, подъем его до нужной высоты и так далее — состоит из 23 отдельных движений. Время, отпущенное на цикл по норме, — 45 секунд. Двадцатитрехлетний комсомолец Василий Лямин, бригадир молодежно-комсомольского экскаватора, первым на Куйбышевгидрострое довел этот цикл до 25 секунд. Что это дает? Экскаватор заменяет труд тысячи человек. Был день, когда Лямин установил невиданный для трехкубового экскаватора рекорд: 2900 кубометров за смену.

В чем «секрет» его сверхскоростей? Плавность, слитность всех движений экскаваторщика — результат точнейшего расчета, отличного глазомера, постоянной практики. Машинист смотрит на ковш, а руки сами находят рычаги управления, ноги то нажимают, то отпускают нужную педаль. Ни спешки, ни рывков, а куртка все-таки мокра к концу смены, а лоб в бисеринках пота, сколько его ни вытирай.

Текст «комсомольской молнии», прилепленной хлебным мякишем к двери автоконторы правобережного района работ:

«Тов. Дрожженко, почему сегодня с утра не вышли на работу четыре 10-тонных самосвала, обещанных М. Евецу и В. Лямину? Если вы считаете, что обещанного три года ждут, загляните в постановление правительства: через три года Куйбышевская ГЭС должна быть уже готова.»

«Все для перемычки!» — написано на бортах машин. Эта надпись осталась с весны.

По проекту здание станции примерно на половину своей длины вдается в Волгу. Чтобы «потеснить» реку, «отобрать» у нее часть русла, пловучие копры забили в дно Волги стальные сваи — шпунтины. Каждая свая входит своей гранью в паз предыдущей, образуя под водой плотный стальной забор... Зимой тут насыпали каменный подводный банкет, весной начали намывать земляную насыпь. Все вместе — сталь, камень и земля — образовали перемычку, гигантской подковой врезающуюся в Волгу. Под ее прикрытием на сухом дне котлована начали строить здание станции.

В половодье вода поднялась вровень с перемычкой, волны хлестали через нее, грозя затопить котлован с механизмами.

«Не останавливать работу в котловане ни на час!» — такое решение приняли коммунисты правобережья, собравшиеся на партийное бюро в середине апреля 1952 года.

Коммунисты возглавили борьбу с паводком. Начальник строительства перенес свой КП на оголовок перемычки.

Талые воды размывали стенки котлована, глинистые дожди на его дне превратились в жидкий кисель, который с трудом расчищали бульдозеры. Гусеницы тяжелых экскаваторов утопали в грунте, сколько бы дощатых и бревенчатых щитов под них ни подкладывали. Но в любую погоду экскаватор коммуниста Евеца вгрызался в забой, самосвал коммуниста Грунина вез липкий грунт на перемычку, прораб — коммунист Маеслав Сатин дежурил на гребне перемычки. И все росло, все поднималась над бушующей Волгой земляная стена, оградившая котлован от Волги.

Под самой террасой левобережной возвышенности проходит рукав Волги — Воложка. Ее русло будет использовано для подводящего канала к шлюзам. Строители шлюзов, так же как и правобережники, отгородились от Воложки земляной стеной перемычки.

Один из героев сооружения земляной перемычки шлюзов — бульдозерист Борис С. Его фамилия упоминается на всех собраниях, ему посвящают статьи в газетах.

...Снежинки пляшут в луче прожектора, мощная машина без усталости движется вперед и назад, вперед и назад. Отвал со стальным многопудовым ножом толкает перед собой кубометра четыре песка, равномерно распределяя его по всей площади. Обратным ходом бульдозерист как бы утюжит песок. Машина похожа на катер,двигающийся по волнам, а конусы песка — на застывшие валы. Подснеженные с одной стороны, они точно в морской пене.

— «Холостые ходы» я ликвидировал! — объясняет Борис С. — Выжимаю из «машинки» все, что можно!

Когда наступает рассвет, гладкая поверхность перемычки выглядит отполированной.

— Паркет! — гордо заявляет Борис. У него свои градации качества: «футбольное поле», «асфальт», «паркет».

Остановив бульдозер у прорабской, он идет в контору.

— Пиши, прораб: тысяча четыреста сорок кубиков, триста сорок два процента! Это сто рубликов с хвостом за ночь!

В прорабской механизаторы и шоферы утренней смены получают наряды на работу. Слышатся голоса:

— Нашел чем хвастать! Поставили бы тебя, Боря, на срезку грунта — узнал бы горе! Создают условия — вот и процветаешь!

На вечер следующего дня назначено открытое партийное собрание, посвященное призыву Лямина и Евеца: развернуть борьбу за перекрытие проектных мощностей механизмов.

Одним из первых на собрании выступает Борис С. Говорит он недолго, как человек, знающий цену своим словам:

— Обязуюсь давать в среднем три нормы в смену!

Вот когда «герою» достается от его товарищей. Они спрашивают: доколе одному С. будут давать наиболее выгодную операцию — чистую планировку откосов? Когда его научат уважать машину, ведь он перенапрягает мотор без нужды, пережигает горючее, совершил несколько серьезных поломок. Кто-то припоминает высказывание бульдозериста: «Что жалеть технику! Стройка-то великая, дадут еще!»

Борис сидит в первом ряду надутый, злой: он ничего не может ответить товарищам. Сурово, но доброжелательно предостерегают они его от зазнайства, от нежелания учиться. Коммунисты советуют руководству участка отказаться от неверной практики выдвижения отдельных «рекордсменов». Стройке нужны не единичные рекорды, а общий подъем и перевыполнение плана, нужны не бездумные рекордисты, а сознательные, передовые механизаторы. Зато тепло говорят выступающие о тех, кто часто остается в тени, — о заслуженном экскаваторщике Клементьеве, о бульдозеристе Калининне.

— Вот она, обратная сторона медали! — обиженно говорит Борис после собрания. — Сначала кричали, ставили в пример, а теперь уже и не ко двору стал... Ничего, уеду на другую стройку, вспомнят. Меня везде возьмут с радостью. А то учиться пойду: не оставаться же мне с девятью классами.

В следующий свой приезд на стройку узнаю, что Борис С. учиться не пошел, хотя ему предоставляли все возможности. И работать продолжал по-старому, «выжимая из машинки все». Когда он сломал пятый по счету бульдозер, его сняли с машины. Обиженный бульдозерист потребовал расчета. Его не стали удерживать. Он уехал, точнее сказать — дезертировал со стройки, давшей ему все: работу, высокий заработок, квартиру, возможность учиться. Где он теперь? Гоняется попрежнему за сомнительной однодневной «славой»? Или честно трудится на новом месте? Надеюсь на последнее, я и не назвал здесь его фамилию.

Филиал Куйбышевского индустриального института на строительстве. Просторный зал на втором этаже большого каменного здания в поселке Комсомольском. На стенах репродукции картин: «Опять двойка», «Прием в комсомол»; днем здесь занимаются учащиеся школы-десятилетки (среди них дети не-

скольких сегодняшних «студентов»). К библиотекарше института нередко приходят подростки и просят: «Тетя, дайте учебник, папе вечером сдавать зачет!»

Среди трехсот студентов люди всех возрастов и профессий. Старший багермейстер земснаряда «1000-80» Александр Лебедев, 28 лет. Старшина водолазов Николай Панфилов, 23 года. Участковый инженер-практик Петр Васильевич Баталов и прораб Руф Сергеевич Морозов — каждому за сорок лет... Многие студенты в ватниках, в грязных резиновых сапогах — пришли прямо с объекта, не заходя домой.

Лекцию читает старший преподаватель кафедры механики Куйбышевского индустриального института Борис Васильевич Соколов. Ослепительно белый воротничок, черный галстук — совершенно «академический» вид. Не подумаешь, что еще утром он читал лекцию в Куйбышеве, а потом 90 километров трясся в машине.

На первом этаже занятия вечерней школы рабочей молодежи.

— «Ковш экскаватора забирает три кубометра земли, — диктует преподаватель математики Добрынина. — Сколько он выбирает земли за смену, если цикл экскаватора равен сорока пяти секундам...»

— Устарелая норма, Александра Ивановна! — кричат с места.

Преподавательница смущена:

— Товарищи, я взяла пример из жизни, возможно, он и устарел. Давайте вместе с вами составим новую задачу...

В этот зимний вечер занятия идут на курсах крановщиков, в Гидротехническом техникуме, на курсах повышения квалификации — шоферов и бульдозеристов... Среди жильцов молодежно-комсомольского общежития, где я побывал, учатся больше половины девушек и 85 процентов юношей. Новая ГЭС получит подготовленные кадры эксплуатационников из числа своих же строителей.

Вот «Массовые культурно-просветительные мероприятия» на воскресенье 30 октября: «Клуб *Гидростроителей* (в Портгородке) — читательская конференция по книге Б. Полевого «Золото»; *Дворец культуры* (в Жигулевске) — выступления народного артиста Армянской ССР Сурена Кочаряна «Сказки Шахерезады»; *редакция газеты «Гидростроитель»* — занятия литературного объединения; *Ставропольский дом культуры* — лекция «Америка глазами американцев»; *Клуб поселка Комсомольского* — занятия секций бокса, фехтования, гимнастики и т. д.

21 августа 1955 года. Строители Куйбышевской ГЭС, став на вахту в честь XX съезда партии, уложили за сутки в здание гидростанции, в верхние судоходные шлюзы и в водосливную плотину 19 050 кубических метров бетона. Перекрыт рекорд, установленный на сооружении гидроэлектростанции Гренд—Кули в США, где однажды было уложено в течение суток 15 700 кубометров.

— Я себя здесь почувствовал, как на фронте перед решающим наступлением,— говорит управляющий трестом Гидроме-ханизации Сергей Борисович Фогельсон, приехавший, как и многие другие специалисты, для наблюдения за ходом опера-ции по перекрытию Волги.— Переправа наведена, участок про-рыва «разминирован», ударные части стянуты в кулак. Вот только авиация пока ещё не «нащупала» нас.

На лице инженера несходящие синеватые пятна. Это след вражеской мины неизвестной конструкции, которая разорва-лась в руках бывшего офицера саперного батальона, когда он в бою пытался разгадать ее секрет.

Пока говорим с Фогельсоном — дело происходит на мо-сту,— появляется и самолет. Он закладывает виражи на высоте семисот метров. С моста гидрологи бросают в реку дощатые щиты-поплавки. Щиты хорошо видны на воде; самолет фото-графирует поплавки, чтобы уточнить направление и скорости потоков, возникающие завихрения, размыв берегов. Эхолотом с моста измеряют меняющуюся глубину протоки.

В штаб перекрытия Волги поступают еще мокрые отпе-чатки аэрофотосъемки, лента эхолота с зигзагами глубин.

Триста водителей одного лишь автоучастка левого берега по условиям социалистического соревнования получили право претендовать на участие в перекрытии Волги. Нужно было в шесть раз меньше (фронт работ на пересыпке реки невелик). Пожилой, заслуженный водитель, целый месяц стоявший в «железном» списке, все-таки не попал в число участников пе-рекрития и... заплакал.

Шестисотпудовые бетонные пирамиды будут сбрасывать в Волгу с самосвалов Ярославского автозавода, оборудованных специальными площадками из сваренных рельс и швеллеров.

Начальник района земляной плотины Федор Иванович Рез-чиков в канун перекрытия показался мне мрачным. Инженерам и прорабам, не говоря уже о водителях ЯАЗов, надоело вхоло-

стю «репетировать» на мосту, они уговорили начальство разрешить сбросить одну шестисотпудовую бетонную пирамиду. Она ухнула у самого берега. Водяной поток, раздвоенный острой гранью пирамиды, изменил свое направление и с силой водомета начал подмывать берег. Буквально на глазах в откосе образовалась большая промоина.

— Я ж говорил: ни к чему это баловство! — пробурчал Резчиков. Он отдал приказ, и десяток самосвалов сбросили рядом с пирамидой камень, изменив направление потока.

Опытный гидростроитель, всю жизнь имеющий дело с реками (в какой-то корреспонденции его назвали «Покорителем рек»), Резчиков знает: вода — могучая, но коварная, страшная сила. Во время перекрытия Дона — а там расход воды составлял лишь 240 кубометров в секунду, в пятнадцать раз меньше здешнего! — прорвавшиеся донские струи за какие-нибудь пять минут слизнули большой кусок берега. Можно представить себе, как будет вести себя Волга, стиснутая в узкой стремнине, когда десятки и сотни бетонных пирамид полетят на ее дно...

30 октября. Девять часов утра. Вереница самосвалов с камнем двинулась на мост. Трехсотпятидесятиметровый водяной вал, выгорбив спину, будто отлитую из блестящего сплава, так же, как и вчера, как неделю назад, грозно катит из-под моста. Сброшенный камень на миг взвихрит на этой гладкой спине гриву пены, и только: волос к волосу, струя к струе, снова пригладилась водяная грива. Поодаль, метрах в десяти за валом, кипят белые буруны.

На мост въезжает самосвал с монолитной плитой известняка, накренившей кузов в одну сторону. На боковой грани «камушка» свежая надпись мазутом: «Привет судакам от экипажа экскаваторщика Коваленко». Стоящие на мосту смеются.

10 часов 25 минут. Водитель-стотысячник Георгий Михайлович Игнатьев ведет колонну машин с бетонными пирамидами. Кажется, что двинулся целый поселок. Вес такой, что мост тяжело оседает, прогибается длинной волной, словно по клавишам гигантского рояля скользит рука пианиста, исполняющего трудный пассаж. Десять инженеров-прорабов стали «регулирующими» движения: белыми флажками указывают они водителям, куда подъезжать.

Машина задним ходом сдала к бровке моста, водитель включил подъемный механизм, и передний конец самосвальной рамы-площадки медленно поднимается. Бетонная пирамида накренилась, дрогнула, — скрежет камня о железо, и темная машина ухнула в пучину. Облегченный в один миг сразу на шестьсот пудов понтон моста буквально подскакивает. Водяной вал, раздавленный огромной тяжестью, выбросил вверх и

вперед многометровые каскады брызг. А через долю секунды доносится глухой звук, словно под водой взорвалась глубинная бомба.

Вторая, третья, десятая пирамида скрылись в пучине. А водяной вал все так же катит из-под барж и понтонов, выгорбив могучую спину, и нет на этой спине ни морщинок, ни прорех. Проваливаются они, что ли, эти десятитонные орешки? Или растворяются в воде, как сахарные?

На мосту, казавшемся час назад широким, как улица Горького в Москве, стало тесно от машин, движущихся непрерывным потоком. Сизая дымка отработанных газов мешает дышать. На самосвалах плакаты: «Слава КПСС!», «Трудовыми победами встретим XX съезд партии!» Это похоже на демонстрацию, на парад.

Одну пирамиду сбросили близко от берега, остроконечная «шапка» торчит из воды. Бешено мчащиеся струи обтекают бетон, просвечивают на солнце желтым, словно пирамида залита кипящим янтарем.

...Третий час сбрасывают пирамиды, но лишь у берегов кое-где высовываются острые «шапки». А посреди протоки также горбится вал, хотя именно здесь сбросили больше всего глыб.

Радиосводка: за шесть часов сброшено 7800 кубометров камня и бетонных пирамид — в полтора раза больше намеченного.

Гора бетонных массивов на высоком береговом откосе заметно для глаза поредела. Пятнадцатитонные краны грузят на самосвалы уже третий, считая от дороги, ряд. Хватит ли пирамид при таких темпах и, главное, при таком «безразличии» Волги?

— Хватит и еще для сталинградцев останется,— говорит Резчиков. Он берет за трубку телефона, установленного на мосту: — Усилить сброс пирамид по краям.

Через минуту радио разносит над Волгой:

— Внимание! Начальник района Резчиков предлагает усилить сброс пирамид на секциях семь, восемь...

В дело пошли окаменевшие отходы бетонных заводов, кресты из бетона, оставшиеся после перекрытия Волги под Горьким; горьковчане прислали их в подарок куйбышевцам. Бетонный крест, который не поднять человеку, несколько секунд виден на поверхности воды — такова сила обезумевших струй.

Новый радиоприказ:

— Товарищ Петров, товарищ Герасимов! Из восьми кранов, грузящих пирамиды, работают только семь. Примите немедленные меры для ускорения погрузки.

Один кран из восьми встал на время, и это вызвало тревогу,— такова интенсивность перекрытия.

Водители самосвалов, начавшие работу в ватниках, снимают их в короткие минуты погрузки. Некоторые жуют заготовленные дома бутерброды. Повар на ходу сует в кабины булочки с горячей котлетой:

— Подкрепляйся, товарищ!

Всеобщий энтузиазм. Первая острая «шапка» торчит в ста метрах от левого берега. Рядом показалась вторая, течение приделало к ней пенный шлейф. Лишь в самой середине протока грозный вал не разорван, горбатая его спина не оседлана.

«Шапок» посреди Волги все больше и больше, яростный прибор кипит уже не в отдалении, а у самого моста. Скорость течения в суженной пионерными насыпями (они выдвигаются с обоих берегов) обмельневшей протоке достигает 5,5 метров в секунду. Это двадцать километров в час!

— Теперь скорость пойдет на снижение,— уверенно говорит начальник гидрологической экспедиции Данилов.

Незаметно стемнело. Каменная гряда от края до края перехватила протоку. Смелчак, пожалуй, мог бы пройти по этим скользким камням с одного берега на другой. Но зачем рисковать — к утру здесь будет проложена автомобильная дорога.

Мост выгорбило дугой. Высота перепада воды почти два метра. Скорость течения до метра в секунду, в районе бывшей верховой перемычки — около пяти.

Два часа ночи. Главный инженер собирает последнее совещание. Докладываются новые цифры:

— Скорость воды под мостом — 0,8 метра в секунду, в верховой протоке — 4,7 до 5 метров, высота перепада—1,93 метра.

— Спасибо, все ясно,— тихо говорит главный инженер и, погладив пальцами набухшие веки, встает.— Поздравляю, товарищи, Волга перекрыта! Спокойной ночи!

На мосту Резчиков. Его словно подменили — шутит, улыбается. Предложил дать в газете объявление о «дешевой распродаже» оставшихся пирамид с одним условием: «Доставка за счет заказчика».

На рассвете начальник строительства поздравляет по радио строителей, перекрывших величайшую реку Европы за 19 часов 25 минут.

Ноябрь. Шесть мощных земснарядов, работая день и ночь, намыли за месяц свыше 4 миллионов кубометров песка в последний русловой отрезок земляной плотины. Пятикилометровая стена от Жигулей до левобережной возвышенности скоро сомкнется, вода в Волге поднимается по полметра в сутки. Создается напор для работы первых турбин.

Внешнесборочная площадка — настоящий цех завода. Здесь собирают узлы гидроагрегатов. Два 450-тонных мостовых

крана перенесли ротор генератора весом в 750 тонн в машинный зал.

— Такой вес в воздухе я видел впервые в жизни,— говорит бригадир сборщиков, работавший на сооружении многих крупнейших гидроэлектростанций страны.

На торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1955 года товарищ Л. М. Каганович сказал:

«Наше государство занимало одно из последних мест по производству электроэнергии. Теперь оно занимает 2-е место в мире. Производство электроэнергии за 5-ю пятилетку увеличивается на 84 проц... Одна Куйбышевская гидроэлектростанция будет производить 11,4 млрд. квтч. электроэнергии».

Что же такое 1 киловатт-час электроэнергии? Если дать один киловатт-час на шахту — с его помощью можно добыть 75 килограммов угля. На фабрике это количество энергии поможет изготовить 10 метров ситца или две пары обуви. Одного киловатт-часа достаточно для выпечки 88 килограммов хлеба. На колхозной ферме, оборудованной электрооилками, один киловатт-час тратится на дойку 45 коров. Электротрактор, израсходовав один киловатт-час, вспашет 0,25 гектара земли. Чтобы сделать легковой автомобиль, нужно 1500—1800 киловатт-часов; изготовление мощного трактора требует 5000 киловатт-часов, паровоза — 60 000.

А Куйбышевская ГЭС — это 11 400 000 000 киловатт-часов электроэнергии в год!

Куйбышевская ГЭС дала первый ток. Из Жигулей в Москву по проводам высоковольтной линии скоро потечет энергия покоренной Волги.

Так осуществляется на деле ленинская формула: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны».

ПОЛГОДА В КОЛХОЗЕ

*(Рассказ С. Пронтарского — председателя колхоза
«Вперед к коммунизму», Гжатского района, Смоленской
области)*

Литературная запись А. Белявского

Много это или мало — шесть с половиной центнеров зерна с гектара? Полгода назад я не мог бы ответить на этот вопрос. Теперь я знаю, что такой урожай вдвое-втрое меньше того, который сняли нынче в низовьях Волги, на Украине, на плодородных землях Кубани и во многих других местах. Шесть с половиной центнеров — это урожай, которым не хвастаются. Но к вашему сведению, товарищ читатель, два года назад наш колхоз получил только один центнер с гектара, а в 1954 году — около двух... И впервые за многие годы колхоз рассчитался с государством по хлебопоставкам, выдал зерно за трудодни и наконец-то будет сеять в 1956 году собственными, а не взятыми взаймы семенами. Лучше обстоит дело со льном. План поставок семян перевыполнен вчетверо и, хотя мы далеко не передовики по урожайности льна, в районе нас стали похваливать. Хвалят нас и за молочное животноводство. С коровы надоено по 2266 килограммов молока — почти на 870 килограммов больше, чем в предыдущем году. На счету у колхоза есть сейчас много денег. Они пойдут на обзаведение, на покупки, на строительство. За трудодень, отработанный на зерновых полях и на фермах, колхозники получили по девять рублей, за льноводческий трудодень — двадцать пять. Таких получек в нашем колхозе еще не бывало.

Мне приятно обо всем этом говорить, но моей личной заслуги тут мало. Я приехал в колхоз на готовое, приехал в разгар сенокоса, и не моя заслуга — расширение посевных площадей и хороший урожай. Наоборот, своим неумелым вмешательством я на первых порах иногда даже мешал делу. Требовал, например, чтобы скорее косили, не заботился о стоговании копен, не знал, что из-за этого их придется снова разбрасывать и пересушивать... Ставил в пример звеньевой Павловой звеньевую

Помазкину, возившую лен не только на заре, а и днем, и не понимал того, что Помазкина поступает недобросовестно, что возить лен в жаркий полдень, когда раскрыты коробочки, недопустимо, так как от жары вытекают семена, а с ними сотни тысяч рублей.

Когда меня спросили в МТС, не соглашусь ли я, чтобы вместо комбайна у нас работала хорошая жатка, я отвечал, что если хорошая, то почему же не согласиться. А из-за этого пришлось потом проводить половину уборки вручную, и мы затаили ее до октября...

Вообще я частенько проявлял невежество. Ведь до этой поры я был так же далек от сельского хозяйства, как от астрономии, не отличал ячменя от пшеницы, смутно представлял себе, что такое сев и уборка, не знал ни одного вида работ на фермах и в поле. Любая деревенская девушка была осведомленней меня — седого и плечистого дяди, приехавшего руководить... Страдай я ложным самолюбием, оно ущемлялось бы на каждом шагу.

Однажды председатель соседнего колхоза осведомился у меня по телефону, не возьму ли я у него хряка в обмен на свиноматок. Я ответил, что на свиноферме нам свиной хряк не нужен, а нужен бычий. Все находившиеся во время этого разговора в правлении раскатило захохотали, и боюсь, что «бычий хряк» еще долго не будет забыт... Мне случалось прибегать к агроному и испуганно говорить ему, что со льном что-то случилось, что он на моих глазах повял и поблек, а агроном спокойно отвечал, что это случается со льном каждый день, что он в полдень выглядит иначе, чем утром... Не знал я и того, что делают со льном после уборки. Слышал краем уха, что его сушат и мочат, но не решался спросить, зачем делать такие противоречивые вещи...

Но невежество не выводило меня из равновесия. Когда надо мною смеялись, я смеялся вместе со всеми, а ночами сидел над учебниками, брошюрами, справочниками и одолевал их в таком количестве и с такой настойчивостью, словно сам собирался писать какой-нибудь труд. Читал курсы почвоведения, монографии о льне, книги по животноводству, сельскохозяйственные журналы, брошюры опытников, рассказы участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки — всего и не перечислишь... В Мишино есть с кем дружить — меня не раз звали к себе вечерами главный инженер МТС, фельдшер, председатель сельпо и работники школы, но я все читаю, читаю и все меньше чувствую себя несмышленишем.

Нет, незнание не было для меня таким страшным. Не оно меня угнетало. Угнетало другое — неприязнь, с которой отнеслись ко мне бывший председатель колхоза, некоторые бригадиры и члены правления. Приехав, я сразу почувствовал вокруг себя холодок, почувствовал, что за моей спиной шепчутся, что мой приезд этим людям не нравится, мешает им, меняет их жизнь.

Вскоре я понял, в чем дело...

Бывшего председателя колхоза редко видели трезвым. А я не пью, и если иногда мне случается выпить сто граммов, то при этом съедаю не меньше килограмма. В собутыльники я не годился. Больше того — позволил себе оштрафовать двух бригадиров за появление на работе в нетрезвом виде... Однажды я пришел на склад, когда взвешивали мясо, и спросил, сколько оно потянуло. Мне показали акт — сто килограммов. Я предложил перевесить при мне. Оказалось сто двадцать... Бригадир вытолкал женщину, пришедшую проверить, правильно ли он записал ей трудодни. Проверяя после этого начисление трудодней по бригаде, я обнаружил, что этот же бригадир приписал своей жене тридцать трудодней «за охрану комбайна». Хоть и был я новичком в сельском хозяйстве, но понимал, что комбайн не утащили бы и без охраны... Член правления М., которому я поручил было ведать строительством, привел ко мне рабочего договариваться о цементировании пола зерносушилки. Я предложил цементнику пять рублей с квадратного метра, и он склонен был согласиться. Тогда М. стал мне с жаром доказывать, что надо платить за метр по меньшей мере двадцать рублей. Я удивился и этой горячности и нелепой цене, на которой рабочий совсем не настаивал. Объяснилась она потом очень просто: М. требовал от рабочих, чтобы они с ним делились.

Мне говорили: «Мелочный ты, Сергей Филиппович... Колхоз богатеет, его не забудет... Ты должен быть председателем, а не надзирателем... Живи с нами в мире, не иди против народа».

Эти люди следили за каждым моим промахом...

Едучи в колхоз, я знал, что мне будет там нелегко. Но что будет так трудно — не думал. Не сразу догадался я, что мне делать. И только несколько времени спустя перенес споры с моими противниками на партийные и общеколхозные собрания. И вот тогда те, кто выдавали себя за народ, оказались изолированными от народа. В бригадах, на фермах, на колхозных собраниях эти люди терпели провал за провалом. Колхозникам нравилось, что у меня нет любимчиков, что нашлась на бригадиров управа.

Я не делал специальных усилий понравиться людям. Добрые отношения с ними сложились как-то сами собой.

Пришла женщина просить продать ей поросенка. Я тут же проверил, сколько у нее трудодней, убедился, что она работает на ржи не хуже, чем другие на льне, где трудодень оплачивается выше, и удовлетворил ее просьбу. Она удивилась, что теперь меркой для оценки людей стал трудодень. Оказывается, прежде лучшим доводом в таких делах была пол-литровка... Или вот еще: понаблюдал я за тем, как работал на поле семидесятилетний Петров, и добился того, что правление объявило ему благодарность. Старик был растроган. Оказывается, прежде таких постановлений не выносили, а практиковалась лишь брань...

Зоотехника Муравьева неизменно ругали на всех собраниях, и он всегда ходил как в воду опущенный. Воспользовавшись мелким поводом, я однажды его расхвалил. После собрания Муравьев подошел ко мне, с чувством пожал мне руку и сказал, что он теперь не пожалеет сил, чтобы помочь мне поднять скотоводство...

Хорошие отношения возникли, может быть, еще и потому, что я со всеми советуюсь. Делаю я это вовсе не с целью польстить людям, но они довольны, что их уважают, что с ними считаются, что на них никогда не кричат. Это уважение я стараюсь подчеркивать. Приехав однажды в бригаду, я никого там не застал, кроме девочки, и велел ей передать женщинам, что правление объявит им выговор. В полдень мне стало известно, что женщины работали в этой бригаде с четырех часов утра и отлучались только затем, чтобы покормить ребят и подоить коров. Я сейчас же поехал в бригаду и принес свои извинения.

Все это здесь ново. Новы и заседания правления, разбирающего десятки вопросов. Бригадирь этим недоволен, они считают это признаком моей неуверенности, неумения решать вопрос самому. Здесь так привыкли к самовластию, что восхождение Устава артели кажется бывшему начальству обременительной демократией. Обременяет их даже и то, что при мне на заседаниях нельзя словечка загнать.

— Ты, Сергей Филиппович, в деревне не жил, — говорили мне недовольно. — В сельском хозяйстве без крепкого слова нельзя.

— Почему нельзя? — не соглашаюсь я. — До механизации брань, может быть, и подсобляла в работе, в ней изливали досаду, ею пытались облегчить свое положение. Но теперь, когда работаем мы не сохой, а умными машинами, для сквернословия нет никаких оправданий.

И все же многим мои новшества нравятся, как нравится им и то, что я никогда не обманываю.

Это важно, и об этом нужно особо сказать.

На второй день приезда я застал шум и ругань на сенокосе. Женщины не хотели косить за десять процентов. «Давай десятую копну!» — кричали они бригадиру. Я посчитал это невежеством и стал объяснять, что между десятью процентами и десятой копной разницы нет. Но они, оказывается, были изощренней меня в счете. Процентам они не доверяли по опыту, так как проценты выводили заглазно, а десятая копна была налицо... После этого случая я сразу дал себе слово наладить учет так, чтобы каждый колхозник ежедневно знал свой заработок, быть точным в словах и сдерживать все свои обещания.

Когда у меня просят лошаадь и я говорю «завтра» или «через недельку», то даю лошаадь точно в назначенный день, как бы трудно ни было это сделать. Давая обещание строителям, дояркам и полеводам, — подкинуть ли мешки, предоставить ли вы-

ходной, прислать ли сменщицу, отпустить ли овес, достать ли дегаль, привезти ли доски, купить ли халаты,—я тут же записываю свои обещания и — хоть кровь из носу — сдерживаю в срок.

Большое впечатление произвело на колхозников то, что я перевез к себе семью. Тут они убедились, что председатель не временный человек, каких было много, что он связывает с колхозом свою дальнейшую жизнь.

Жена у меня привыкла к отдельной квартире с городскими удобствами. Переезд сюда был для нее ломкой налаженной жизни. К тому же у меня сейчас и дома-то нет своего, живу пока на квартире... Отгородил себе половину избы, поставил диван, две кровати, этажерку для книг... Но зато у меня здесь никогда не бывает сердечных припадков. Жена уже не ропщет и даже меня подбадривает, когда приходится мне тяжело.

* * *

Разумеется, я приехал в колхоз не для того только, чтобы вводить трезвость и честность. Меня послали сюда налаживать экономику, поднимать урожайность полей и продуктивность скота, помочь колхозникам получать высокие заработки.

Гжатский район — давний край льна. Посевы его за последние годы были запущены и теперь возрождаются. Партийная организация района замыслила восстановить льняное хозяйство по широкому плану. Делает она это расчетливо, вдумчиво, и истекший год был первым годом масштабных посевов. Лен сразу повысил доходность колхозов района в семь с лишним раз и вывел их всех в миллионеры.

Естественно, что, прибыв в колхоз перед началом уборки, я был озабочен тем, чтобы убрать в первую очередь лен. Но председатель колхоза не может думать только о том, что дает наибольшие доходы и заработки. При таком ограниченном понимании рентабельности государство оставалось бы без хлеба и многих других продуктов. А здесь в разгар уборки зерновых люди готовы были побросать все ради льна. На лен выходили дети и старики, на льне работали без отдыха, не разгибая спины, за теребилкой шли и вязали снопы буквально конвейером, молотили чем могли, даже вручную. Все хотели работать только на льне, занимавшем лишь седьмую часть уборочной площади. А мне приходилось заботиться о том, чтобы бесперебойно снабжать фермы кормами, чтобы, спаси боже, не снизился во время уборки надой молока. Надо было выполнять задание по хлебопоставкам и вывезти зерно за три дня, хотя в колхозе лишь одна грузовая машина, которая и за месяц не могла бы вывезти то, что положено. Нужно было поспевать на поля шести деревень, направлять работы в каждой бригаде. Надо было убрать и рожь, и пшеницу, и овес, и ячмень, про- верить ход дела в каждом звене.

А мои недруги злорадствовали: «Посмотрим, как он управится»... И я не управился бы, если бы не помощь агронома Александра Антоновича Соболева, подсказывавшего мне то одно, то другое; я не управился бы, если бы не бригадиры, которые прониклись в дни уборки общим желанием и вложили в работу свой большой практический опыт, проводя на полях многие сутки подряд; я не управился бы, если бы не поощрял людей на участках, где нет благ, приносимых льняным трудоднем (мы давали, например, по пятьдесят рублей доярке, надойшей за декаду больше молока, чем другие, и отдавали женщинам, занимавшимся уборкой ржи, половину соломы); я не управился бы, если бы не молодые парни — механизаторы из МТС, увлеченные горячностью, овладевшей всеми во время уборки, и работавшие по нескольку суток без нормального отдыха. При нашем безлюдье работа механизаторов имела большее значение, чем где бы то ни было, и поэтому мы все время премировали молодых трактористов и молотильщиков Мишинской МТС. Наконец, я не управился бы, если бы не чудесная погода нынешней осени. Обычно уборка происходит здесь при сильных дождях, и тогда роль организатора во много раз сложнее. Короче говоря, я не обманываюсь и сознаю, что когда в районе говорили: «Пронтарский убрался», «Пронтарский вывез»,—это было неточно, и справедливей было бы сказать, что Пронтарского вывезли.

Но вот уборка закончилась. Закончился хозяйственный год. Все были довольны, радовались урожаю, удвоенным и утроенным заработкам, а я подсчитывал цифры, обходил фермы и склады, и на сердце ложились заботы.

Да, год был чудесный, а в хозяйстве далеко не все ладно.

Мы сидим вдвядцетером на партийном собрании и обсуждаем состояние дел.

После расчета с государством, выдачи хлеба на трудодни и создания фонда семян для посевов на корм скоту осталось только 327 центнеров. А по зоотехническим нормам надо 2070. Радовавший всех урожай 1955 года дал много меньше того, что нам нужно...

Скоту не хватает и грубых кормов. В этом немало нашей вины. Правление четыре раза обсуждало вопрос о сеноуборке, и все же часть сена осталась незастогованной. Убранный во второй бригаде картофель лежит в открытых буртах, и его поморозит. Надо срочно заскирдовать сено, подвезти его к фермам, утеплить бурты картофеля и закупить сена на рынке, потому что уже начал снижаться надой молока и зимой все достижения года могут сойти на нет...

За исключением председателя сельпо, директора молочного завода и директора школы, все наши коммунисты — это бригадиры и члены правления. К сожалению, среди нас нет ни одного рядового колхозника. Не выращивали здесь коммуни-

стов... Поэтому мы говорим здесь о том же, о чем говорим на заседаниях правления. Поэтому и есть у нас там и сям недогляды, недоделки, нескладицы. Но дело не в одних недоглядках. Дело в масштабе хозяйствования. Дело в том, чтобы не смотреть на лен иждивенчески, как на прибыльное дело, как на коммерцию, от которой можно недурно зажечь, запустив все остальное. Дело в том, чтобы сделать доходы от льна источником подъема всех хозяйственных отраслей, чтобы они стали столь же доходными, как эта сотня гектаров. Люди, сидящие вместе со мной на собрании, несравнимо осведомленней меня во всех вопросах хозяйства, но во мне нарастает сомнение, не смотрят ли они на него односторонне, не заинтересованы ли только в одной отрасли, не пренебрегают ли всеми другими.

Вот они возмущаются тем, что мы получили план мясоставок, требующий от нас больше свинины, чем содержится ее во всех наших свиньях. План этот действительно невыполним. Но почему наше свиное поголовье так бедно?! Почему у колхоза только шестьдесят штук свиней, почему маток из них только девять?! Ведь свиноводство — самая эффективная отрасль животноводства, и если оно не стало здесь высокодоходной статьей, то лишь потому, что им не занимались.

А почему в колхозе куры дают только по двадцать девять яиц, а у моего квартирохозяина С. Г. Протасова — по восемьдесят — девяносто? Заинтересовавшись этой разницей, я специально выяснял у колхозников, сколько яиц получают они от несушки в своих личных хозяйствах. Мне называли семьдесят, восемьдесят, даже сто и сто двадцать штук.

Почему наши поля так скупы на урожай? Ответ прост. Они не могут давать его без удобрений, как не может давать привесы свинья без надлежащего корма. А ведь у нас кругом торфяники, залежи туфа. Только в последнем году, по решительному требованию и под контролем района, вывоз удобрений был в несколько раз увеличен, и это сейчас же сказалось на урожае. Да, у нас нет еще прав тешиться успехами истекшего года, тем более что в состоянии поголовья он ничего не изменил. В колхозе не прибавилось ни крупного рогатого скота, ни свиней, ни овец. Выросло производство молока, но не стадо.

* * *

Таким образом, мне стало ясно, что доходы от льна надо употребить на развитие всех отраслей хозяйства артели. А для этого нужно было систематически удобрять поля и строить животноводческие помещения, которые в колхозе либо отсутствовали, либо были столь примитивны, что ни о какой механизации ферм и развитии поголовья скота не приходилось и думать.

Удобрения мы стали вывозить на поля в небывалых до селе количествах. Вывоз удобрений стал повседневным зимним занятием.

Строительство тоже началось в серьезных масштабах. Вот в этой части я уже не путался, не был незнайкой и по праву могу назвать себя инициатором и исполнителем. Стройки были наиболее реальной пользой, какую я принес за полгода работы в колхозе. Они доставили мне и наибольшее удовлетворение.

Так как малолюдность колхоза не позволяла нам строить что-нибудь своими руками, я использовал для строительных работ смоленских рабочих и студентов, приезжавших помогать нам в уборке. Среди этих горожан попадалась разная публика. Были такие, которые оказались совершенно никчемными и попусту слонялись по фермам и избам колхозников, отвлекая от дела других. Но большинство горожан, а особенно рабочие с завода имени Калинина, принесли нам огромную пользу. Я отобрал из них для строительства плотников, штукатуров, каменщиков и договорился с ними: колхоз хорошо кормит их, дает деньги и продукты на обратный путь, а они строят колхозу объекты по типовым чертежам.

Да, это не было строительство из жердей и досок. Все делалось из камня и шлакобетона, по стандартным образцам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Мы построили свинарник, сушилку, часть зернохранилища, крытый ток, кормокухню, молокоприемную, пчельник и силосную башню. Во-семь объектов в сезон! Разумеется, мне помогли наши шефы (Гжатская стройремконтора), а часть материалов и механизмов я раздобыл в других местах, но всю работу сделали горожане. Они сэкономили колхозу не менее трехсот тысяч рублей.

Разумеется, было бы неправильно выдать эти сэкономленные деньги колхозникам на трудодни. С какой стати одни люди должны отдавать свой труд для персонального обогащения других! Поэтому мы, в отличие от прочих колхозов района, где труд горожан вообще не учитывался, строго подсчитали эти рабочие дни, перевели их на трудодни, изъяли полученную сумму из фонда оплаты трудодней и приплюсовали ее к средствам, предназначенным на дальнейшее строительство. Не скажу, чтобы эта мысль вызвала в колхозе энтузиазм, но так как денег на трудодни давалось нынче немало, она в конце концов была принята общим собранием.

Благодаря этому у нас образовались дополнительные средства, позволяющие не прекращать строительство в 1956 году, механизировать фермы и создать целый животноводческий городок. Строить его мы будем на пути из деревни Мишино в деревню Подвязье, ставя около производственных помещений и жилые дома. Когда создастся единое Мишино, в него перенесут свои дворы и жители других деревенок колхоза. Так будет положен конец разбросанности и оторванности наших бригад и прекратят свое существование поселочки по двенадцать — пятнадцать дворов, из которых молодежь бежит от тоски. Это теперь моя мечта, и мы будем осуществлять ее в свое время.

Но еще до соединения деревень, которое поможет нам покончить с безлюдьем в колхозе, мы его электрифицируем. Из всех лишений, какие терпят здесь люди, отсутствие электричества показалось мне самым страшным. Странно и дико было мне, инженеру-электротехнику, оказаться под старость при керосиновой лампочке, и непонятно было, как здесь с этим мирились. Не могу я примириться и с тем, что в нашем колхозе после семи часов вечера выключается телефон. И не скрою, я использовал связи с начальством учреждения, в котором прежде работал, чтобы дать колхозу электроэнергию. За день до того, как я сел писать эту статью, мои друзья по прежней работе сообщили мне, что уже подписано распоряжение о выделении нашему колхозу ветроэлектростанции. Вчера мы принялись заготавливать столбы, и думаю, что к тому времени, когда появится эта статья, на фермах и в избах нашего колхоза уже засияет электрический свет.

* * *

Электричество и соединение деревень должны будут круто изменить нашу жизнь. Молодежь уже не будет стараться всеми правдами и неправдами перекопать из затерянных деревушек в места, где есть электричество, радио, книги, кино и возможность общения... Мы часто говорим на партийных собраниях о необходимости выпускать стенгазету, но кому ее делать?! Одна комсомолка живет за пять километров в одной стороне, другая — за семь километров в другой. Поэтому и на посиделки здесь не собираются. У нас, в Мишино, есть при МТС клуб, где показывают фильмы и бывают танцы, но посещают клуб только рабочие МТС и местные мишинские девушки. Молодежь из пяти остальных деревень ходит сюда только по воскресеньям, да и то не всегда. Ведь и молодым не хочется брести по морозу или месить грязь много километров ради того, чтобы потанцевать два часа. Поэтому же у нас и собрания созываются реже, чем надо бы. Иногда обнаруживается, что колхозницы в дальних деревнях не знают о важных событиях в стране и за рубежом. Ведь и мы-то, мишинцы, находимся в двадцати семи километрах от районного центра и в двадцати пяти от железной дороги, а жителям этих деревень приходится еще до нас добираться.

Девятнадцатилетняя Шура Алферова, окончившая недавно педагогическое училище и приехавшая работать к нам библиотекаршей, недавно тоскливо сказала мне: «Господи, хоть бы частушки послушать! Я бы и их приняла сейчас за вершину искусства!»

А как тянется молодежь к тому, чтобы расширить свой кругозор, видно по работе той же Шуры Алферовой. Она систематически вербует по деревням книгонош, и за один только год каждый ее читатель прочитал в среднем по пятнадцати книг.

1955 год был первым годом, когда молодежь перестала уезжать из нашей деревни, что отчасти объясняется высокими заработками. Но теперь у нас есть возможность добиться прилива в колхоз уехавших прежде людей. Сделав Мишино не только центральной усадьбой колхоза, но благоустроенным поселком, мы можем добиться того, чтобы в нем стало многолюдно и весело. Материальные предпосылки к этому налицо, ибо уровень жизни членов нашей артели теперь не ниже, а частью и выше уровня жизни некоторых городских рабочих и служащих.

У нас нет колхозника, который выработал бы меньше трехсот трудодней. У работников льноводческих звеньев большинство этих трудодней льняные, то есть оплаченные по двадцать пять рублей. У других членов артели льняных трудодней примерно четвертая часть, но в каждой семье работало обычно два человека, а на уборке заняты были и подростки и старики. В среднем каждая семья выработала семьсот трудодней. Но кроме денег за поставку семян, колхоз получил еще крупные премиальные суммы за сортность и качество, а также пшеницу, сахар и масло, распределенные нами на трудодни.

Покажу на примере, каковы у нас доходы колхозников.

Мой квартирохозяин Степан Григорьевич Протасов и его жена Татьяна Андреевна получили за год 6519 рублей, 17 килограммов сахара, 78 килограммов растительного масла, 1070 килограммов зерна и 487 килограммов сена для скота, находящегося в их личном пользовании. Мой сосед Василий Иванович Капусткин получил 5762 рубля, 946 килограммов зерна, 69 килограммов масла, 15 килограммов сахара и 430 килограммов сена. Другой мой сосед — Семен Васильевич Жуков — заработал в колхозе 8809 рублей, 1136 килограммов зерна, 99 килограммов масла, 22 килограмма сахара.

Я упоминаю здесь лишь деньги и продукты, полученные непосредственно на трудодни и притом людьми, работавшими преимущественно по зерновым культурам. Но заработки колхозников этим не ограничиваются. У нас нет, например, доярки, которая не заработала бы сверх трудодней по меньшей мере 1300 килограммов молока, нет телятницы, не получившей теленка за выращивание молодняка, нет звеньевой, оставшейся без процентных отчислений от доходов, принесенных колхозу звеном, и т. д.

Кроме того, колхозники получают доходы и от своих личных хозяйств. В каждом дворе есть куры, поросята, овцы, корова, огород. Все теперь стали лучше питаться, появились свободные деньги и настойчивый спрос на всевозможные городские товары. Перед праздниками было такое паломничество в Москву за вещами, что я вынужден был резко ограничить поездки, мешавшие работе.

Что касается изделий пищевой промышленности — конфет, печенья, сельдей, колбас, копченостей, — то они приво-

зились в большом количестве. Кстати, не могу не видеть прогресса в том, что продажа водки в октябре истекшего года составила в нашем сельпо только двадцать процентов товарооборота. Председатель нашего сельпо сообщил мне, что за три дня праздников продано было сто двадцать литров водки и четыреста литров виноградных вин — соотношение до сих пор здесь небывалое. Праздники впервые прошли без единой драки.

Естественно, что слухи о преуспевании членов нашей артели дошли через родных и знакомых до людей, уехавших в города. Они шлют нам письма, спрашивают, какую работу могут у нас получить, поможет ли им колхоз поставить дом, можно ли строиться в Мишино или только на старом месте, есть ли радио, когда будет электричество. Одна девушка запрашивала даже о том, «будет ли теперь отапливаться эмтэсовский клуб, или опять будет в нем холодище, как в сарае». Несколько семей в 1955 году уже вернулись в колхоз, и мы не сомневаемся, что электрификация и застройка поселка поведет к массовому возвращению людей на родные места.

В 1956 году жизнь у нас станет во всех смыслах значительно лучше. Будут у нас и новые доходы от льна, и конвейер кормов, и крупное стадо молочных коров, и двойные опоросы свиней, и безостановочный откорм их, группа за группой, и образцовые птичники. И еще будут у нас механизированные фермы, целый животноводческий город, и крупная пасека, и ягодушки, и удобные бани, и палисадники возле каждого дома, и ряд новых домов, и электрический свет, и радио в каждой избе, а главное, моральная удовлетворенность тем, что мы дадим стране много продуктов. И все это будет именно в 1956 году, а не когда-нибудь, потому что для всего перечисленного и еще многого другого кое-что уже сделано, делается или будет сделано в ближайшее время.

Я был бы неправдив, если бы утверждал, что все это явилось плодом моей предприимчивости, — пришел, мол, увидел и победил. Нет, я ничего не смог бы достигнуть один. Во-первых, как уже было сказано, я «эксплуатирую» моих прежних сослуживцев. А железнодорожный транспорт — хозяйство, как известно, богатое. Во-вторых, нас поддерживает во всех начинаниях райком партии. С его помощью мы получаем то ссуду на материалы, то железо для кровли, то отборные семена льна на посев... В-третьих, мне помогают своими советами другие председатели колхозов. Видимся мы часто — раза три в месяц. Встречаемся то в райкоме, то в МТС. Когда не встречаемся, переговариваемся по телефону. А советы этих людей не менее ценны, чем железо и семена. Ведь артели неизмеримо труднее хозяйствовать, чем тресту или заводу.

Нам нужно все — и лес, и цемент, и бензин, и машины, и детали, и суперфосфат, и корыта, и пилы, и мешки, и саженцы яблонь, и стекло, и резиновые сапоги, и карманные фонари, и

брезент, и по меньшей мере еще сотня других вещей. Но ни одним из этих предметов нас никто не снабжает. Бери как хочешь и где хочешь. Председатель колхоза имени Маяковского товарищ А. Б. Кавыров, работавший прежде начальником отдела денежного обращения областной конторы Госбанка, справедливо говорил мне по этому поводу:

— Завод может сделать заявку. А тут заявляй не заявляй — один результат. Если надо бензин, посылаю на дорогу клянчить у шоферов. Если надо запчасти, еду в Москву на Тишинский рынок и покупаю привезенные неизвестно откуда. Ты пойми, каково это мне, когда я просидел столько лет в банке, специально следил за законностью денежных операций.

Вместо того чтобы полностью отдаваться борьбе за увеличение производства продуктов и проводить наше время в бригадах, на стройках, фермах, мы тратим его на добывание «дефицитных» вещей.

Но предаваться размышлениям об этих делах не приходится. Их просто надо делать — и все. И хотя морального удовлетворения удачи такого рода сами по себе давать не могут, я нахожу удовлетворение в конечных результатах работы.

Я был до глубины души обрадован отзывом, данным обо мне одной крикливой и грубоватой колхозницей: «Он не кричит, не шпыняет, а народ его слушает. Он, хитрый, ростом и фигурой берет, представительностью. И вот он в крестьянском деле не понимает, даже выпить с плотниками для дела не может, а такие помещения скотине сработал, что хоть сама переселяйся туда. И раз такой человек своим домом здесь заживет, значит верит он и себе и этому месту». Это отзыв скупой, но он меня взволновал.

Впрочем, отзываются о нас, тридцатитысячниках, в разных колхозах по-разному. И в районных учреждениях нам тоже приходится слышать о себе различное.

Мне хочется заключить эту статью или очерк, — не знаю, как и назвать мои записки, — суждением одного районного работника о нас, тридцатитысячниках. «Они не совершили у нас революции, — сказал этот человек. — А некоторые вряд ли и совершат. И все-таки они внесли в нашу жизнь за каких-нибудь полгода то, чего никогда не было в иных колхозах. Этого нельзя пока выразить в тоннах и центнерах. Это, если хотите, новая здоровая атмосфера, которую создали у нас эти честные и культурные люди. У них государственный подход ко всему. Они стали в наших глубинных селениях образцами партийности. Они учатся упорно, не стыдятся обнаруживать, что ищут в книжках объяснения элементарных вещей. И в то же время у каждого из них есть свои специальные знания, каждый из них в чем-то своем сильнее всех нас... Они будут нашими учителями и в свою очередь будут учиться у нас. Но самое главное то, что они и наши колхозники стали друзьями».

ДНЕВНИКИ И ЗАМЕТКИ

*

Корней Чуковский



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

I

Всякий раз, когда я перелистываю его стихотворные сборники, у меня возникает множество мелких, стариковских, никому, должно быть, не нужных, бытовых воспоминаний о нем. Читая, например, его знаменитые строки:

Ночь, улица, фонарь, аптека,—

я вспоминаю эту петербургскую аптеку, принадлежавшую провизору Винникову, на Офицерской улице, невдалеке от канала Пряжки. Мимо этой аптеки Александр Александрович проходил и проезжал каждый день, порою по нескольку раз. Она была на пути к его дому и в его «Плясках смерти» упоминается дважды. Помню я, что в тех же «Плясках смерти» под видом мертвеца выведен наш общий знакомый Аркадий Руманов, ловкий и бездушный делец, талантливо симулировавший надрывную искренность и размашистую поэтичность души.

Я помню, что тот «паноптикум печальный», который упоминается в его «Клеопатре», находился на Невском, в доме № 86, близ Литейного и что сорок лет назад, в декабре, я увидел там Александра Александровича, и меня удивило, как по-нуро и мрачно он стоит возле восковой полулежащей царицы с узенькой змейкой в руке — с черной резиновой змейкой, которая, подчиняясь незамысловатой пружине, снова и снова тысячу раз подряд жалит ее голую грудь, к удовольствию

оравы каких-то похабных картузников. Блок смотрел на нее оцепенело и скорбно:

Она лежит в гробу стеклянном
И не мертва и не жива,
А люди шепчут неустанно
О ней бесстыдные слова

Читая его пятистопные белые ямбы о Северном море, которые по своей четкой классической образности единственные в нашей поэзии могут сравниться с пушкинскими, я вспоминаю тогдашний сестрорецкий курорт с большим рестораном у самого берега и ту пузатую, смешную моторную лодку, которую сдавал напрокат какой-то полуголый татуированный грек и в которую уселась, пройдя по дощатым мосткам, писатель Георгий Чулков (насколько я помню), Гржебин (впоследствии издатель «Шиповника») и неотразимо, неправдоподобно красивый — в широкой артистической шляпе — загорелый и стройный Блок.

В тот вечер он казался (на поверхностный взгляд) таким победоносно счастливым, в такой гармонии со всем окружающим, что меня и сейчас удивляют те гневные строки, которые написаны им под впечатлением этой поездки:

Что сделали из берега морского
Гуляющие модницы и франты?
Наставили столов, дымят, жуют,
Пьют лимонад. Потом бредут по пляжу,
Угрюмо хохоча и заражая
Соленый воздух сплетнями.

Я вспоминаю изображенный в тех же стихах длинный протянутый в море изогнутый мол, на котором действительно были нацарапаны всевозможные надписи — в том числе и те, что воспроизводятся в блоковском «Северном море». Впоследствии нередко я причаливал к этому молу мою финскую шлюпку, приезжая в Сестрорецк из Куоккалы, и всякий раз вспоминал стихотворение Блока.

Я часто встречал Александра Александровича там, в Сестрорецке, а чаще всего — в Озерках и в Шувалове, которые он увековечил в своей «Незнакомке» и в замечательном стихотворении «Над озером».

Когда я познакомился с ним, он казался несокрушимо здоровым — широкоплечий, рослый, красногубый, спокойный, — и даже меланхоличность его неторопливой походки, даже тяжелая грусть его зеленоватых неподвижных задумчивых глаз не разрушали впечатления юношеской победительной силы, которое в те далекие годы он всякий раз производил на меня. Никогда ни раньше, ни потом я не видел, чтобы от какого-нибудь человека так явственно, ощутимо и зримо исходил магнетизм. Трудно было в ту пору представить себе, что на свете есть девушки, которые могут не влюбиться в него. Правда, пе-

чальным, обиженным и даже чуть-чуть презрительным голосом читал он свои стихи о любви:

Влюбленность расцвела в кудрях
И в ранней грусти глаз,
И был я в розовых цепях
У женщин много раз,—

говорил он словно о какой-то прискорбной повинности. Но все же он был в таком пышном расцвете жизненных сил, что казалось, они побеждали даже его, блоковскую, тоску и обиду.

Я помню ту ночь — перед самым рассветом, когда он впервые прочитал «Незнакомку» — кажется, вскоре после того, как она была написана им. Читал он ее на крыше знаменитой башни Вячеслава Иванова. Из этой башни был выход на пологую крышу, и в белую петербургскую ночь мы, художники, поэты, артисты, возбужденные стихами и вином, — а стихами опьянялись тогда, как вином, — вышли под белесоватое небо, и Блок, медлительный, внешне спокойный, молодой, загорелый (он всегда загорал уже ранней весной), взобрался на большую железную раму, соединявшую провода телефонов, и по нашей неотступной мольбе уже в третий, в четвертый раз прочитал эту бессмертную балладу своим сдержанным, глухим, монотонным, безвольным, трагическим голосом. И мы, впитывая в себя их гениальную звукопись, уже заранее страдали, что сейчас ее очарование кончится, а нам хотелось, чтобы оно длилось часами, и вдруг, едва только произнес он последнее слово, из Таврического сада, который был тут же, внизу, какой-то воздушной волной донеслось до нас многоголосое соловьиное пение, и теперь всякий раз, когда, перелистывая сборники Блока, я встречаю там стихи о Незнакомке, мне видится: квадратная железная рама на фоне петербургского белого неба и стоящий на ее перекладине молодой, загорелый, счастливый своим вдохновением поэт, и эта внезапная волна соловьиного пения, в котором было столько родного ему.

Я хорошо помню ту дачную местность под Питером, которая изображена в «Незнакомке». Помню шлагбаумы Финляндской железной дороги, за которыми шла болотная топь, прорытая прямыми канавами:

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Помню ту нарядную булочную, над которой, по тогдашней традиции, красовался в дополнение к вывеске большой позолоченный крендель, видный из вагонного окна:

Вдали над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной
И раздается детский плач.

Словом, со многими стихотворениями Блока у меня, как у старика петербуржца, связано столько конкретных, жанровых, бытовых, реалистических образов, что эти стихотворения, представляющиеся многим такими туманно-загадочными, кажутся мне зачастую столь же точным воспроизведением действительности, как, например, стихотворения Некрасова.

В ту пору далекой юности поэзия Блока действовала на нас, как луна на лунатиков. Сладкозвучие его лирики часто бывало чрезмерно, и нам в ту пору казалось, что он не властен в своем даровании и слишком безвольно предается инерции звуков, которая сильнее его самого. В безвольном непротивлении звукам, в женственной покорности им и было в ту раннюю пору очарование Блока для нас. Казалось, он был тогда не столько владеющий, сколько владимый звуками, не жрец своего искусства, но жертва. В ту далекую раннюю пору, о которой я сейчас говорю, деспотическое засилие музыки в его стихах дошло до необычайных размеров. Казалось, стих сам собою течет, как бы независимо от воли поэта, по многократно повторяющимся звукам:

И приняла, и обласкала,
И обняла,
И в вещних далях им качала
Колокола.

В этой непрерывной, слишком сладкозвучной мелодике было что-то расслабляющее мускулы:

О, весна без конца и без краю,
Без конца и без краю мечта!

И кто из нас не помнит того волнующего, переменяющего всю кровь впечатления, когда после сплошного *а* в незабвенной строке:

Дыша духами и туманами —

вдруг это «а» переходило в «е»:

И веют древними поверьями...

И его манера читать свои стихи вслух еще сильнее в ту пору подчеркивала эту безвольную покорность своему вдохновению:

Что быть должно — то быть должно,
Так пела с детских лет
Шарманка в низкое окно,
И вот — я стал поэт...
И все, как быть должно, пошло:
Любовь, стихи, тоска.
Все приняла в свое русло
Спокойная река.

Эти опущенные безвольные руки, этот монотонный, певучий, трагический голос поэта, который как бы не виноват в

своем творчестве и чувствует себя жертвою своей собственной лирики, — таков был Александр Блок полвека назад, когда я впервые познакомился с ним...

А потом наступила осенняя ясность тридцатилетнего, тридцатипятилетнего возраста. К тому времени Блок овладел всеми тайнами своего мастерства. Прежнее женственно-пассивное непротивление звукам сменилось мужественной твердостью упорного мастера. Но его тяжкая грусть стала еще более тяжелой и словно навсегда налегла на него. Губы побледнели и сжались. Глаза сделались сумрачны, суровы и требовательны. В лице появилась даже как будто надменность, лицо стало неподвижным, застыло.

Все эти годы мы встречались с ним часто и у Ремизова, и у Коммиссаржевской, и у Федора Сологуба, и в разных газетно-журнальных редакциях, но ни о какой близости между нами не могло быть и речи. Я был газетный писатель, литературный плебей, и он явно меня не любил. И письма его ко мне, относящиеся к этому времени, — деловые и сдержанные, без всякой задушевной тональности. Но вот как-то раз, уже во время войны, мы вышли от общих знакомых; оказалось, что нам по пути, мы пошли зимней ночью по спящему городу и почему-то заговорили о старых журналах, и я сказал, какую огромную роль сыграла в моем детском воспитании «Нива» — еженедельный журнал с иллюстрациями, — и что в этом журнале, я помню, было изумительное стихотворение Полонского, которое кончалось такими, вроде как бы неумелыми стихами:

К сердцу приласкается,
Промелькнет и скроется,—

и что такая неудавшаяся рифма для моего детского слуха еще более усиливала впечатление подлинности этих проникновенных стихов. Блок был удивлен и обрадован. Оказалось, что и он помнит эти самые строки (ибо в детстве и он был усердным читателем «Нивы») — и что нам обоим необходимо немедленно вспомнить остальные стихи, которые казались нам в ту минуту такими прекрасными, какими может казаться лишь то, что было читано в детстве. Он как будто впервые увидел меня, как будто только что со мной познакомился, и долго стоял со мной невдалеке от аптеки, о которой я сейчас вспоминал, а потом позвал меня к себе и уже на пороге многозначительно сказал обо мне своей матери Александре Андреевне:

— Представь себе, К. И. любит Полонского!

И видно было, что любовь к Полонскому — одно из его заветнейших чувств, которое является для него как бы мерилом людей.

Он достал из своего монументального книжного шкафа все пять томов Полонского в издании Маркса, но мы так и не нашли этих строк. Его кабинет был для меня неожидан-

ностью: то был кабинет ученого, и в нем преобладали иностранные и старинные книги. Мне бросились в глаза Шахматов, Веселовский, Потебня, и я впервые вспомнил, что Блок по своему образованию филолог, что и дед и отец его были профессора и что отец его жены — Менделеев. Вообще комната на первых порах поразила меня кричащим несходством с ее обитателем. В комнате был уют и покой устойчивой, размеренной, надолго загаданной жизни, а он, проживающий в ней, казался воплощением бездомности, неуюта, катастрофы и гибели.

Александра Андреевна тогда же показала мне его фотографию, снятую в их родовом имении Шахматове. Он сидит за самоваром, с семьей, в саду, среди ласковых улыбок и роз, но лицо у него отчужденное, лермонтовское, враждебное этим улыбкам и розам. Он отвернулся от всех, словно у него в этом доме нет ни семьи, ни угла. И невозможно было не вспомнить стихов:

Милый друг, и в этом тихом доме
Лихорадка бьет меня.
Не найти мне места в тихом доме,
Возле мирного огня.

Голоса поют, взывает вьюга,
Страшен мне уют.
Даже за плечом твоим, подруга,
Чьи-то очи стерегут.

Здесь была главная тема его тогдашних стихов. Она вскоре возникла и в тот памятный вечер, когда мне привелось быть в его доме впервые. Мы сидели в маленькой столовой, он говорил задушевно и просто, но тут же присутствовала его мать Александра Андреевна, и это очень стесняло меня, так как я чувствовал, что она относится ко мне настороженно и что я как бы держу перед нею экзамен. На этом экзамене я с первых же слов провалился, заметив по какому-то поводу, что никогда не мог полюбить Аполлона Григорьева. Оказалось, Аполлон Григорьев в то время был Блоку особенно дорог, как «один из самых катастрофических и неблагополучных писателей», о чем Александра Андреевна тут же сообщила мне именно в таких выражениях, и Блок подхватил ее мысль, и тут я впервые увидел, как велика была духовная связь между Блоком и его замечательной матерью. Он ценил Аполлона Григорьева именно за его неприкаянность — за гибельность его биографии — и чувствовал в нем своего.

Самое слово «гибель» он произносил тогда очень подчеркнуто, в его речи оно было заметнее всех остальных его слов, и наша беседа за чайным столом мало-помалу свелась к этому предчувствию завтрашней гибели. Было похоже, будто он внезапно узнал, что на всех, кто окружает его, вскоре будет брошена бомба, тогда как эти люди, даже не подозревая о ней, попрежнему веселятся, продают, покупают и лгут.

Однажды — это было у Аничковых, в их литературном салоне, — уже на рассвете, когда многие гости разъехались, а нас осталось человек пять или шесть и мы наполовину дремали, разомлев от скуки ночных словопрений, Блок, промолчавший всю ночь, неожиданно стал говорить утреним, бодрым голосом, — ни к кому не обращаясь, словно сам для себя, — что не сегодня-завтра над всеми нами разразится народная месть, месть за наше равнодушие и ложь, — «вот за этот вечер, который провели мы сейчас...» и «за наши стихи... за мои и за ваши... которые чем лучше, тем хуже...»

Он говорил долго, как всегда монотонно, то и дело сопровождая свою страшную речь очень суровой улыбкой. Слова были страшные, но слушали его равнодушно, даже как будто со скукой. Самой своей мелкотравчатой пошлостью эта (по выражению Некрасова) «безличная сволочь салонов» была ограждена от его вещей предчувствий.

Когда мы уходили, светская хозяйка сказала в прихожей, как бы извиняясь за допущенную гостем бестактность:

— Александр Александрович опять о своем.

И действительно, он всюду, где мог, стал говорить «о своем». Когда через несколько лет я задумал написать о нем книгу и он дал мне прочитать все свои статьи и заметки, разбросанные по разным изданиям, меня поразило, до какой степени эта уверенность в надвигающейся мировой катастрофе владела столько лет его мыслями.

И я тогда же записал в своей книге: «Это только так кажется, что в одной статье он говорит об Аполлоне Григорьеве, в другой о Врубеле, в третьей о Гоголе: каждая из них есть крик о неотвратимой опасности».

На одной странице читаем:

«Не совершается ли уже, пока мы говорим здесь, какое-то страшное и безмолвное дело? Не обречен ли кто-нибудь из нас бесповоротню на гибель?»

На другой:

«Мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке на верную гибель...»

На третьей:

«Я думаю, что в сердцах людей последних поколений залегло неотступное чувство катастрофы...»

На четвертой:

«Гибель неизбежна...»

На пятой:

«Или нам суждена та гибель?..»

Какую статью ни возьмешь — всюду это чувство идущего на нас уничтожения. Даже скитаясь в 1909 году в Италии по мирным монастырям и музеям, он с уверенностью, безо всяких колебаний, пророчит, что скоро все это будет разрушено:

«Уже при дверях то время, когда неслыханному разрушению подвергнется и искусство. Возмездие падет и на него».

Таких цитат можно выбрать десятки и сотни.

С 1905 года Блок все двенадцать лет только и твердил о катастрофе. И, повторяю, он не только не боялся ее, но чем дальше, тем страстнее призывал. Только в революции он видел спасение от своей «острожной тоски». Революцию призывал он громко и требовательно...

Эй, встань, и загорись, и жги!

Эй, подними свой верный молот!

Чтоб молнией живой расколот

Был мрак, где не видать ни зги!

Никто так не верил в мощь революции, как Блок. Она казалась ему всемогущей. Он предъявлял к ней огромные требования, но он не усумнился ни на миг, что она их исполнит. Только бы она пришла, а уж она не обманет. Эту оптимистическую, безмерную верою в спасительную роль революции исполнены все последние статьи. В одной из этих статей говорится: «Рано или поздно — все будет по-новому, потому что жизнь прекрасна». Эти слова можно поставить эпиграфом ко всем его книгам. Жизнь втайне прекрасна, мы не видим ее красоты, потому что она загажена всякою дрянью. Революция сожжет эту дрянь, и жизнь предстанет перед нами красивой. Меньшего Блок не хотел. Никаких половинных даров: все или ничего. «Жить стоит только так, — говорил он, — чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать неожиданного; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она — прекрасна».

В начале восемнадцатого года мы стали работать в издательстве «Всемирная литература», руководимом Алексеем Максимовичем Горьким, и встречались из недели в неделю на общей работе. Об этих встречах я подробно рассказал в своей книге о нем. Его отношения ко мне были тогда сочувственны, и он не скрывал от меня своих «ненавистей» ко многим людям, с которыми нам приходилось работать. Даже находиться в одной комнате с ними было для него истинной мукой. Всех этих людей в его глазах объединяло одно: это были исчадия старого мира, человеческий шлак, который подлежит истреблению. Такая же ненависть кипит в его книгах: всевозможные Жоржи, Аркадии Романовичи (в пьесе «Незнакомка»), мистики (в пьесе «Балаганчик»), придворные (в трагедии «Роза и крест»), «испытанные остряки», «презрительные эстеты» — все они были для него воплощением мерзости и не имели права называться людьми. «Я закрываю глаза, чтобы не видеть их», — говорил он не раз и называл их самым страшным ругательным словом, какое только было в его словаре: буржуа. Буржуа ненавидел он, как Достоевский, как Герцен, и буржуазная психология для него гаже, чем сифилис. По соседству с его квартирой жил

какой-то вполне достопочтенный буржуй, не причинявший ему никакого ущерба и по-своему даже чтивший его, но вот какую молитву записал о нем Блок у себя в дневнике:

«Господи боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли... он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического, истерического омерзения, мешает жить.

Отойди от меня, Сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкоснуться, не видеть, не слышать; лучше я или еще хуже его, но гнусно мне, рвотно мне, отойди от меня, Сатана».

...И еще одну черту я заметил тогда в его личности (об этой черте как-то не думалось прежде) — необыкновенное бесстрашие правды. Чувство величайшей ответственности за каждое произнесенное слово. Если на заседаниях нашей ученой коллегии ему приходилось дать отрицательный отзыв о чьей-нибудь литературной работе, он высказывался беспощаднее и резче нас всех, и видно было, что никакие силы не могли бы заставить его смягчить или изменить приговор. Он как будто сказал себе раз навсегда, что нельзя же бороться за всенародную всемирную правду, — и при этом лгать хоть в какой-нибудь мелочи. Совесть общественная сильна лишь тогда, если она опирается на личную совесть, — об этом говорил он не раз.

В 1921 году в одном из ленинградских театров был устроен его торжественный вечер. Публики набилось несметное множество. Сказать вступительное слово о Блоке было поручено мне. Я же был утомлен, нездоров, скомкал свою речь кое-как. И в отчаянии убежал за кулисы. Блок разыскал меня там и утешал очень ласково, всей душой участвуя в моем неуспехе, и подарил мне цветок, и снялся со мной на одной фотографии. Но при этом счел своим долгом сказать:

— Вы сегодня говорили нехорошо... очень слабо... совсем не то, что прочли мне вчера.

Потом помолчал и прибавил:

— Любе тоже не понравилось.

Таков он был всегда и во всем — во всех своих житейских отношениях. Даже из сострадания, из жалости не считал себя вправе отклониться от истины.

И мне тогда же вспомнился один его давний разговор с Леонидом Андреевым. Леонид Андреев был почитателем Блока и любил его поэзию до слез. Как-то в Ваммельсуу я пошел с Леонидом Николаевичем на лыжах, и он неподалеку от станции Райвола рухнул в снег и не встал, и когда я попробовал помочь ему встать, оттолкнул мою руку и повторил со слезами:

И матрос, на борт не принятый,
Идет, шатаясь, сквозь буран.
Все потеряно, все выпито!
Довольно — больше не могу...

И назвал эти стихи гениальнейшими. Блок знал о пылкой любви Леонида Андреева — и все же, когда Андреев, еще раз выразив ему свои восторги перед ним, спросил его при мне на премьерe одной своей пьесы, нравится ли ему эта пьеса, Блок потупился и долго молчал, потом поднял глаза и произнес сокрушенно:

— Не нравится.

И через несколько времени еще сокрушеннее:

— Очень не нравится.

Как будто он чувствовал себя виноватым, что пьеса оказалась неудачной.

И всегда он говорил свою правду напрямик, без обиняков, не считаясь ни с чем.

«Система откровенного высказывания (даже беспощадного), — писал он в одном письме, — единственно возможная, иначе отношения путаются невероятно».

«...Только правда, — как бы ни была она тяжела, легка, — «легкое бремя», — писал он в своем дневнике. — Правду, исчезнувшую из русской жизни, возвращать *наше дело*».

И вспомним его отношение к Белому: три года неустойчивой дружбы и вдруг — «Боря! Я хотел посвятить тебе (свою книгу. — К. Ч.). Теперь это было бы ложью».

И вычеркнул свое посвящение.

Может быть, все это мелочи, но нельзя же делить правду на большую и маленькую. Именно потому, что Блок повседневно привык служить самой маленькой, житейской, мелкой правде, он и мог, когда настало время, встать за всенародную правду.

Много нужно было героического правдолюбия ему, «аристократу», «эстету», чтобы в том кругу, где он жил, заявить себя приверженцем нового строя. Он знал, что это значит для него отречься от старых друзей, остаться одиноким, быть оплеванным теми, кого он любил, — и я никогда не забуду, какой счастливый и верующий стоял он перед этим бешенством клевет и проклятий. В те дни мы встречались с ним особенно часто. Он буквально помолодел и расцвел. Оказалось, что он, которого многие тогдашние люди издавна привыкли считать упадочником, словно создан для смертельной борьбы за великую социальную правду.

Многие долгое время не замечали в нем этого бесстрашия правды. Любили в нем другое, а этого не видели. Увидели только тогда, когда он мужественно встал один против всех своих близких с поэмой «Двенадцать» с беспощадно правдивой статьей «Интеллигенция и революция», а между тем такое мужество борца и воителя было свойственно ему в течение всей его жизни.

Вспомним его внезапный бунт против мистики, которой он так верно служил столько лет! Поэт прекрасной дамы стал из-

деваться над нею и над своими единоверцами-мистиками в пьесах «Незнакомка», «Балаганчик». Все его друзья-декаденты увидели здесь измену былому. Андрей Белый был так возмущен, что предал поэта анафеме. «В драмах ваших вижу постоянное богохульство»,— писал он Блоку через несколько лет и печатно назвал его штрейкбрехером.. Так что, когда Блока после его поэмы «Двенадцать» обвиняли в измене, величали предателем и он стоял один против всех,— для него это было привычно: и в 1906 году, и в 1908 году, и в 1911 с ним уже бывало то же самое.

«Поражаюсь отвагой и мужеством Твоим,— писал ему, прочтя его «Скифов», Белый.— По-моему, Ты слишком неосторожно берешь иные ноты. Помни,— Тебе не *«простят» «никогда»*. Будь мудр: соедини с отвагой и осторожность».

Но этой — житейской — мудрости у Александра Александровича не было. Как и все наши великие художники слова, он слушался одного только голоса — голоса внутренней правды — и бесстрашно выражал эту правду в самом крайнем ее воплощении...

Борис Пастернак



ЗАМЕТКИ К ПЕРЕВОДАМ ШЕКСПИРОВСКИХ ТРАГЕДИЙ

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ПЕРЕВОДОВ

В разное время я перевел следующие произведения Шекспира. Это драмы: «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра», «Отелло», «Король Генрих Четвертый (первая и вторая часть)», «Король Лир» и «Макбет».

Потребность театров и читателей в простых, легко читающихся переводах велика и никогда не прекращается. Каждый переводивший льстит себя надеждой, что именно он больше других пошел этой потребности навстречу. Я не избежал общей участи.

Не представляют исключения и мои взгляды на существо и задачи художественного перевода. Вместе со многими я думаю, что дословная точность и соответствие формы не обеспечивают переводу истинной близости. Как сходство изображения и изображаемого, так и сходство перевода с подлинником достигается живостью и естественностью языка. Наравне с оригинальными писателями переводчик должен избегать словаря, не свойственного ему в обиходе, и литературного притворства, заключающегося в стилизации. Подобно оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а не словесности.

ПОЭТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ШЕКСПИРА

Стиль Шекспира отличают три особенности. Его драмы глубоко реалистичны по духу. Их выполнение по-разговорному естественно в местах, написанных прозой, или когда куски стихотворного диалога сопряжены с действием или движением.

В остальных случаях потоки его белого стиха повышено метафоричны, иногда без надобности, и тогда в ущерб правдоподобию.

Образная речь Шекспира неоднородна. Порой это высочайшая поэзия, требующая к себе соответствующего отношения, порой откровенная риторика, нагромождающая десяток пустых околичностей вместо одного, вертевшегося на языке у автора и второпях не уловленного слова. Как бы то ни было, метафорический язык Шекспира в своих прозрениях и риторике, на своих вершинах и в своих провалах верен главной сущности всякого истинного иносказания.

Метафоризм — естественное следствие недолговечности человека и надолго задуманной огромности его задач. При этом несоответствии он вынужден смотреть на вещи по-орлиному зорко и объясняться мгновенными и сразу понятными озарениями. Это и есть поэзия. Метафоризм — стенография большой личности, скоропись ее духа.

Бурная живость кисти Рембрандта, Микельанджело и Тициана не плод их обдуманного выбора. При ненасытной жажде написать по целой вселенной, которая их обуревала, у них не было времени писать по-другому.

Шекспир объединил в себе далекие стилистические крайности. Он совместил их так много, что кажется, будто в нем живет несколько авторов. Его проза закончена и отделана. Она написана гениальным комиком-деталистом, владеющим тайной сжатости и даром передразнивания всего любопытного и диковинного на свете.

Полная противоположность этому — область белого стиха у Шекспира. Ее внутренняя и внешняя хаотичность приводила в раздражение Вольтера и Толстого.

Очень часто некоторые роли Шекспира проходят несколько стадий завершения. Какое-нибудь лицо сперва говорит в сценах, написанных стихами, а потом вдруг раздражается прозой. В таких случаях стихотворные сцены производят впечатление подготовительных, а прозаические — заключительных и конечных.

Стихи были наиболее быстрой и непосредственной формой выражения Шекспира. Он к ним прибегал как к средству наискорейшей записи мыслей. Это доходило до того, что во многих его стихотворных эпизодах мерещатся сделанные в стихах черновые наброски к прозе.

Сила шекспировской поэзии заключается в ее могучей, не знающей удержу и разметавшейся в беспорядке эскизности.

РИТМ ШЕКСПИРА

Ритм Шекспира — первооснова его поэзии. Движущая сила ритма определила порядок вопросов и ответов в его диалогах, скорость их чередования, длину и короткость его периодов в монологах.

Этот ритм отразил завидный лаконизм английской речи, позволяющей в одной строчке английского ямба охватить целое изречение, состоящее из двух или нескольких взаимно противопоставленных предложений. Это ритм свободной исторической личности, не творящей себе кумира и благодаря этому искренней и немногословной.

«ГАМЛЕТ»

Явственнее всего этот ритм в «Гамлете». Здесь у него тройное назначение. Он применен как средство характеристики отдельных персонажей, он материализует в звуке и все время поддерживает преобладающее настроение трагедии и он возвышает и сглаживает некоторые грубые сцены драмы.

Ритмическая характеристика в «Гамлете» ярка и рельефна. По-одному говорит Полоний, или король, или Гильденстерн и Розенкранц, по-другому — Лаэрт, Офелия, Горацио и остальные. Легковерие королевы сквозит не только в ее словах, а в манере говорить нараспев и растягивать гласные.

Но резче всего ритмическая определенность самого Гамлета. Она так велика, что кажется нам сосредоточенною в каком-то все время чудящемся, как бы повторяющемся при каждом выходе героя, но на самом деле не существующем, вводном ритмическом мотиве, ритмической фигуре. Это как бы достигший осязательности пульс всего его существа. Тут и непоследовательность его движений, и крупный шаг его решительной походки, и гордые полуповороты головы. Так скачут и летят мысли его монологов, так разбрасывает он направо и налево свои надменные и насмешливые ответы вертящимся вокруг него придворным, так вперяет глаза в даль неведомого, откуда уже окликнула его однажды тень умершего отца и всегда может заговорить снова.

Так же не поддается цитированию общая музыка «Гамлета». Ее нельзя привести в виде отдельного ритмического примера. Несмотря на эту бестелесность, ее присутствие так злоуще и вещественно врастает в общую ткань драмы, что в со-
• ответствии сюжету ее невольно хочется назвать духовидческой и скандинавской. Эта музыка состоит в мерном чередовании торжественности и тревожности. Она сгущает до предельной

плотности атмосферу вещи и позволяет выступить тем полнее ее главному настроению. Однако в чем оно заключается?

По давнишнему убеждению критики, «Гамлет» — трагедия воли. Это правильное определение. Однако в каком смысле понимать его? Безволие было неизвестно в шекспировское время. Этим не интересовались. Облик Гамлета, обрисованный Шекспиром так подробно, очевиден и не вяжется с представлением о слабонервности. По мысли Шекспира, Гамлет — принц крови, ни на минуту не забывающий о своих правах на престол, баловень старого двора и самонадеянный, вследствие своей большой одаренности, самородок. В совокупности черт, которыми его наделил автор, нет места дряблости, они ее исключают. Скорее напротив, зрителю предоставляется судить, как велика жертва Гамлета, если при таких видах на будущее он поступает своими выгодами ради высшей цели.

С момента появления призрака Гамлет отказывается от себя, чтобы «творить волю пославшего его». «Гамлет» не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения. Когда обнаруживается, что видимость и действительность не сходятся и их разделяет пропасть, несущественно, что напоминание о лживости мира приходит в сверхъестественной форме и что призрак требует от Гамлета мщениия. Гораздо важнее, что волею случая Гамлет избирается в судьи своего времени и в слуги более отдаленного. «Гамлет» — драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного предназначения.

Ритмическое начало сосредоточивает до осязательности этот общий тон драмы. Но это не единственное его приложение. Ритм оказывает смягчающее действие на некоторые резкости трагедии, которые вне круга его гармонии были бы невыносимы. Вот пример:

В сцене, где Гамлет посылает Офелию в монастырь, он разговаривает с любящей его девушкой, которую он растаптывает, с безжалостностью послебайроновского себялюбивого отщепенца. Его иронии не оправдывает и его собственная любовь к Офелии, которую он при этом с болью подавляет. Однако посмотрим, что вводит эту бессердечную сцену? Ей предшествует знаменитое «Быть или не быть?», и первые слова в стихах, которые говорят друг другу Гамлет и Офелия в начале обидной сцены, еще пропитаны свежей музыкой только что отзвучавшего монолога. По горькой красоте и беспорядку, в котором обгоняют друг друга, теснятся и останавливаются вырывающиеся у Гамлета недоумения, монолог похож на внезапную и обрывающуюся пробу органа перед началом реквиема.

Не удивительно, что монолог предпослан жестокости начинающейся развязки. Он ей предшествует как отпевание погребению. После него может наступить любая неизбежность. Все искуплено, смыто и возвеличено не только мыслями монолога, но и жаром и чистотой звенящих в нем слез.

Если так велика роль музыки в «Гамлете», то что скажем мы о «Ромео и Джульетте»? Тема трагедии — первая юношеская любовь и ее сила. Где и разыграть благозвучию и мерности, как не в таком произведении? Но оно нас обманывает. Лиризм совсем не то, что мы думали. Шекспир не пишет дуэтов и арий. С пронизательностью гения он идет по совершенно другой дороге.

Назначение музыки в этой вещи отрицательное. Она воплощает в трагедии враждебную любящим силу светской лжи и житейской сутолоки.

До знакомства с Джульеттой Ромео пылает выдуманной страстью к упоминаемой заочно и ни разу не показанной на сцене Розалине. Это романическое ломание в духе тогдашней моды. Оно выгоняет Ромео по ночам на одинокие прогулки, а днем он отсыпается, заслонившись ставнями от солнца. Все первые сцены, пока это продолжается, реплики Ромео написаны неестественными рифмованными стихами. В самой певучей форме Ромео несет все время высокопарный вздор на мажорном языке гостиных той эпохи. Но стоит ему впервые на балу увидеть Джульетту, как он останавливается перед ней как вкопанный и от его мелодического способа выражаться ничего не остается.

В ряду чувств любовь занимает место притворно смирившейся космической стихии. Любовь так же проста и безусловна, как сознание и смерть, азот и уран. Это не состояние души, а первооснова мира. Поэтому, как нечто краеугольное и первичное, любовь равнозначительна творчеству. Она не меньше его, и ее показания не нуждаются в его обработке. Самое высшее, о чем может мечтать искусство, это подслушать ее собственный голос, ее всегда новый и небывалый язык. Благозвучие ей ни к чему. В ее душе живут истины, а не звуки.

Как все произведения Шекспира, большая часть трагедии написана белым стихом. В этой форме объясняются герой и героиня. Но размер не подчеркнут в этом стихе и не выпирает. Это не декламация. Форма не заслоняет своим самолюбованием бездонно скромного содержания. Это пример наивысшей поэзии, которую в ее лучших образцах всегда пропитывают простота и свежесть прозы. Речь Ромео и Джульетты — образец настороженного и прерывающегося разговора тайком, вполголоса. Такою и должна быть ночью речь смертельного риска и волнения.

В трагедии оглушительны и повышено ритмичны сцены уличного и домашнего многолюдства. За окном звенят мечи дерущейся родни Монтекки и Капулетти, и льется кровь, на кухне перед нескончаемыми приемами бранятся стряпухи и

стучат ножи поваров, и под этот стук резни и стряпни, как под громовой такт шумового оркестра, идет и разыгрывается трагедия тихого чувства, в главной части своей написанная беззвучным шепотом заговорщиков.

«ОТЕЛЛО»

У самого Шекспира не было деления пьес на акты и сцены. Это разбивка позднейших издателей. В ней нет насилия, пьесы сами легко поддаются ей по своему внутреннему членению.

Хотя первоначальные тексты шекспировских драм печатались подряд, без перерывов, отсутствие разделов не мешало им отличаться строгостью построения и развития, в наши дни необычными.

Это в особенности относится к серединам шекспировских драм, содержащим их тематические разработки. Обыкновенно они обнимают третий акт с некоторыми долями второго и четвертого. В пьесах Шекспира они занимают место пружинной коробки в заводном механизме.

В начальных и заключительных частях своих драм Шекспир вольно компанует частности интриги, а потом так же, играючи, разделяется с последними обрывками ее нитей. Его экспозиции и финалы навеяны жизнью и написаны с натуры в форме быстро сменяющихся друг друга картин с величайшею в мире свободой и ошеломляющим богатством фантазии.

Но в средних частях драм, когда узел интриги завязан и начинается его распутывание, Шекспир не дает себе привычной воли и в своей ложной старательности оказывается рабом и детищем века. Его третьи акты подчинены механизму интриги в степени, неведомой позднейшей драматургии, которую он сам научил смелости и правде. В них царит слишком слепая вера в могущество логики и то, что нравственные абстракции существуют реально. Изображение лиц с правдоподобно распределенными светотенями сменяется обобщенными образами добродетелей или пороков. Появляется искусственность в расположении поступков и событий, которые начинают следовать в сомнительной стройности разумных выводов, как силлогизмы в рассуждении.

В дни Шекспирова детства в английской провинции еще ставили средневековые нравоучительные аллегории. Они дышали формализмом отжившей схоластики. Шекспир ребенком мог видеть эти представления. Старомодная добросовестность его разработок — пережиток пленившей его в детстве старины.

Четыре пятых Шекспира составляют его начала и концы. Вот над чем смеялись и плакали люди. Именно они создали славу Шекспира и заставили говорить о его жизненной

правде в противоположность мертвому бездушию ложноклассицизма.

Но нередко правильным наблюдениям дают неправильные объяснения. Часто можно слышать восторги по поводу «Мышеловки» в «Гамлете» или того, с какой железной необходимостью разрастается какая-нибудь страсть или последствия какого-нибудь преступления у Шекспира. От восторгов захлебываются на ложных основаниях. Восторгаться надо было бы не «Мышеловкою», а тем, что Шекспир бессмертен и в местах искусственных. Восторгаться надо тем, что одна пятая Шекспира, представляющая его третьи акты, временами схематические и омертвевшие, не мешает его величию. Он живет не благодаря, а вопреки им.

Несмотря на силу страсти и гения, сосредоточенные в «Отелло», и на его театральную популярность, сказанное в значительной степени относится к этой трагедии.

Вот одна за другой ослепительные набережные Венеции, дом Брабанцио, арсенал. Вот чрезвычайное ночное заседание сената и непринужденный рассказ Отелло о зачатках постепенно зарождавшейся взаимности между ним и Дездемоной. Вот картина морской бури у побережий Кипра и пьяной драки ночью в крепости. Вот известная сцена ночного туалета Дездемоны, с пением еще более знаменитой «Ивушки», — верх трагической естественности перед страшными красками финала.

Но вот несколькими поворотами ключа Яго в средней части заводит, как будильник, доверчивость своей жертвы, и явление ревности с хрипом и вздрагиванием, как устаревший механизм, начинает раскручиваться перед нами с излишней простотой и слишком далеко зашедшей обстоятельностью. Скажут, что такова природа этой страсти и что это дань условностям сцены, требующей плоской ясности. Может быть. Но вред от этой дани не был бы так велик, если бы ее платил менее последовательный и гениальный художник. В наши дни приобретает особый интерес другая частность.

Случайно ли, что главный герой трагедии — черный, а все, что у него есть дорогого в жизни, — белая? Что значит этот подбор цветов? Означает ли это только то, что права каждой крови на человеческое достоинство одинаковы? Нет, мысли Шекспира, двигавшиеся в этом направлении, шли гораздо дальше.

Идея равенства наций не было при нем. Жила полной жизнью более всеобъемлющая мысль о другом роде их безразличия. Эту мысль интересовало не то, кем родился человек, а то, к чему он в жизни пришел, кем стал, во что превратился. Для Шекспира черный Отелло — исторический человек и христианин, и это тем более, что рядом с ним белый Яго — необращенное доисторическое животное.

«АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА»

У Шекспира есть особняком стоящие трагедии вроде «Макбета» и «Лира», образующие самобытные миры, единственные в своем роде. Есть комедии, представляющие царство безраздельной выдумки и вдохновения, колыбель будущего романтизма. Есть исторические хроники из английской жизни, пылкие славословия родине, произнесенные величайшим из ее сынов. Часть событий, которые Шекспир описал в этих хрониках, продолжались в событиях окружавшей его жизни, и Шекспир не мог относиться к ним с трезвым беспристрастием.

Таким образом, несмотря на внутренний реализм, проникающий творчество Шекспира, напрасно стали бы мы искать в произведениях перечисленных разрядов объективности. Ее можно найти в его римских драмах.

«Юлий Цезарь» и в особенности «Антоний и Клеопатра» написаны не из любви к искусству, не ради поэзии. Это плоды изучения неприкрашенной повседневности. Ее изучение составляет высшую страсть всякого изобразителя. Это изучение привело к «Физиологическому роману» девятнадцатого столетия и составило еще более бесспорную прелесть Чехова, Флобера и Льва Толстого.

Но почему вдохновительницей реализма явилась такая глубокая старина, как древний Рим? Этому не надо удивляться. Именно своею отдаленностью предмет разрешал Шекспиру называть вещи своими именами. Он мог говорить все, что ему заблагорассудилось, в политическом, нравственном и любом другом отношении. Перед ним был чужой и далекий мир, давно закончивший свое существование, замкнувшийся, объясненный и неподвижный. Какое желание мог он возбуждать? Его хотелось рисовать.

«Антоний и Клеопатра» — роман кутилы и обольстительницы. Шекспир описывает их прожигание жизни в тонах мистерии, как подобает настоящей вакханалии в античном смысле.

Историками записано, что Антоний с товарищами по пирам и Клеопатра с наиболее близкой частью двора не ждали добра от своего, возведенного в служение, разгула. В предвидении развязки они задолго до нее дали друг другу имя бесмертных самоубийц и обещание умереть вместе.

Так кончается и трагедия. В решающую минуту смерть оказывается той рисовальщицей, которая обводит повесть недостававшею ей общею чертою. На фоне походов, пожаров, измен и военных поражений мы в два приема прощаемся с обоими главными лицами. В четвертом акте закаляется герой, в пятом — лишает себя жизни героиня.

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ЗРИТЕЛЯ

Английские хроники Шекспира изобилуют намеками на тогдашнюю злобу дня. В то время газет не было. Чтобы узнать новости,— замечает Дж. Б. Гаррисон в «Жизни Англии в дни Шекспира»,— сходились в питейных и театрах. Драма говорила обиняками. Не надо удивляться, что простой народ так понимал эти подмигивания. Намеки касались обстоятельств, близких каждому.

Политической подоплекой времени была трудная, с воодушевлением начатая, но скоро надоевшая война с Испанией. Ее пятнадцать лет вели на море и на суше, у берегов Португалии, в Нидерландах и в Ирландии.

Насмешки отрицателя Фальстафа над слишком затверженной воинственной фразой забавляли мирную простую публику, великолепно постигавшую, во что они метили, а в сценах фальстафовой вербовки рекрут и их освобождения за взятку зритель с еще большим смехом узнавал свои собственные испытания.

Гораздо удивительнее другой пример понятливости тогдашнего зрителя.

Как у всех елисаветинцев, сочинения Шекспира пестрят обращениями к истории, параллелями из древних литератур и мифологическими именами и названиями. Для того чтобы их понять теперь со справочником в руках, требуется классическое образование. А нам говорят, что средний лондонский зритель того времени, смотря «Гамлета» или «Лира», глотал на легу эти поминутно мелькавшие классицизмы и их успешно переваривал. Как этому поверить?

Совершенно переменялся состав знаний. Латынь, которая теперь кажется признаком высшего образования, тогда была общим порогом низшего, как церковнославянский в древнерусском воспитании. В начальных, так называемых «грамматических», школах того времени, одну из которых окончил Шекспир, латынь была разговорным языком школьников, и, по сообщению историка Тревелиана, им запрещалось пользоваться даже английским в дворовых играх. Для лондонских подмастерьев и приказчиков, умевших читать и писать, Фортуны, Гераклы и Ниобеи были такой же азбукой, как зажигание в автомобиле или начатки электричества для современного городского подростка.

Шекспир застал старый столетний быт, более или менее сложившийся. Этот быт был всем понятен. Время Шекспира было праздником в истории Англии. Уже следующее царствование снова вывело вещи из равновесия.

ПОДЛИННОСТЬ ШЕКСПИРОВА АВТОРСТВА

Шекспир целен и везде верен себе. Он связан особенностями своего словаря. Он под разными именами переносит некоторые характеры из одного произведения в другое и перепевает себя на множество иных ладов. Среди этих перифраз особенно выделяются его внутренние повторения в пределах одного произведения.

Гамлет говорит Горацио, что он настоящий человек и не флюгер, что на нем нельзя играть, как на дудке. Через несколько страниц Гамлет предлагает Гильденстерну поиграть на флейте в том же аллегорическом смысле.

В тираде первого актера о жестокости фортуны, допустившей убийство Приама, боги призываются в наказание ей отобрать у нее колесо, символ ее власти, сломать его и обломки низринуть с облаков в бездну тартара. Через несколько страниц Розенкранц в беседе с королем сравнивает власть монарха с колесом водоподъемного ворота, укрепленного на круче, которое сокрушит все на пути своего падения, если поколебать его устон.

Джульетта выхватывает кинжал, висевший на боку мертвого Ромео, и закалывается со словами: «Переходи сюда, кинжал, — вот твое место. Торчи в груди у меня и покрывайся ржавчиной, а я умру». Несколькими строчками ниже старик Капулетти восклицает то самое о кинжале, ошибшемся местом и, вместо чехла на кушаке Ромео, сидящем в груди у его дочери. И так без конца, почти на каждом шагу. Что это значит?

Переводить Шекспира — работа, требующая труда и времени. Принявшись за нее, приходится заниматься ежедневно, разбив задачу на доли, достаточно крупные, чтобы работа не затянулась. Это каждодневное продвижение по тексту ставит переводчика в былые положения автора. Он день за днем воспроизводит движения, однажды проделанные великим прообразом. Не в теории, а на деле сближаешься с некоторыми тайнами автора, ощутимо в них посвящаешься.

Когда переводчик натывается на повторения, о которых была речь выше, он на собственном опыте убеждается в непродолжительности, в какой следуют друг за другом эти повторения, и, ошеломляясь, задает себе невольно вопрос: кто и при каких условиях мог дать доказательства такой непамятливости на протяжении нескольких суток?

Тогда с осязательностью, которая не дана исследователю и биографу, переводчику открывается определенность того, что жило в истории лицо, которое называлось Шекспиром и было гением. Это лицо в двадцать лет написало тридцать шесть пятиактных пьес, не считая двух поэм и собрания сонетов. Таким образом, вынужденное писать в среднем по две пьесы в

год, оно не имело времени перечитывать себя и, сплошь да рядом забывая сделанное накануне, второпях повторялось.

Тогда непонятность «беконианской» теории охватывает с новой силой. Начинаешь еще больше удивляться тому, зачем понадобилось простоту и правдоподобие Шекспировой биографии заменять путаницей выдуманных тайн, подтасовок и их мнимых раскрытий?

Мыслимо ли,— невольно спрашиваешь себя,— чтобы Рэтленд, Бэкон или Саутгемптон маскировались так неудачно и, прячась с помощью шифра или подставного лица от Елисаветы и ее времени, распускали себя так неосторожно на глазах у всей последующей истории? Какую заднюю мысль или хитрость можно предположить в том верхе опрометчивости, какую представляет этот несомненно существовавший человек, не стыдившийся описок, зевавший перед лицом веков от усталости и знавший себя хуже, чем знают его теперь ученики средней школы? В обнаруженных слабостях проявляет себя его сила.

Попутно возникает другое недоумение. Почему именно посредственность с таким пристрастием занята законами великого? У нее свое представление о художнике, бездеятельное, усладительное, ложное. Она начинает с допущения, что Шекспир должен быть гением в ее понимании, прилагает к нему свое мерило, и Шекспир ему не удовлетворяет.

Его жизнь оказывается слишком глухой и будничной для такого имени. У него не было своей библиотеки, и он слишком коряво подписался под завещанием. Представляется подозрительным, как одно и то же лицо могло так хорошо знать землю, травы, животных и все часы дня и ночи, как их знают люди из народа, и в то же время быть настолько своим человеком в вопросах истории, права и дипломатии, так хорошо знать двор и его нравы. И удивляются и удивляются, забыв, что такой большой художник, как Шекспир, неизбежно есть все человеческое, вместе взятое.

«КОРОЛЬ ГЕНРИХ ЧЕТВЕРТЫЙ»

Одна пора Шекспировой биографии для нас особенно несомненна. Это пора его юности.

Он тогда только что приехал в Лондон молодым безвестным провинциалом из Стратфорда. Вероятно, на какое-то время он, как высадився, остановился за городской чертой, до которой не доезжали извозчики. Там было нечто вроде Ямской слободы. Ввиду круглосуточного движения прибывающих и отбывающих, предместье, наверно, день и ночь жило жизнью нынешних вокзалов и было, вероятно, богато прудами и ро-

щами, огородами, экипажными и увеселительными заведениями, загородными садами и балаганами. Здесь могли быть театры. Сюда приезжала развлекаться веселящаяся знать из Лондона.

Это был мир, по-своему близкий миру Тверских-Ямских в пятидесятых годах прошлого столетия, когда в Замоскворечье жили и подвизались лучшие русские продолжатели стратфордского провинциала, Аполлон Григорьев и Островский, в сходном окружении девяти муз, высоких идей, троек, трактирных половых, цыганских хоров и образованных купцов-театралов.

Молодой приезжий был тогда человеком без определенных занятий, но зато с необыкновенно определенной звездой. Он верил в нее. Только эта вера и привела его из захолустья в столицу. Он еще не знал, какую роль будет он когда-нибудь играть, но чувство жизни подсказывало ему, что он сыграет ее неслыханно и небывало.

Все, за что он ни брался, делал до него — сочиняли стихи и пьесы, играли на сцене, оказывали услуги кутящим аристократам и всеми способами старались выйти в люди. Но за что ни брался этот молодой человек, он чувствовал прилив таких ошеломляющих сил, что самым лучшим для него было нарушать установившиеся навыки и делать все по-своему.

До него искусством считалось одно деланое, неестественное и непохожее на жизнь. Это несходство с жизнью было обязательным отличием искусства, и к нему прибегали, чтобы скрыть под ложной условностью свое неумение рисовать и душевное бессилие. А у Шекспира был такой превосходный глаз и такая уверенная рука, что для него прямою выгодой было опрокинуть это положение.

Он понимал, как он выиграет, если с общепринятой дистанции подойдет к жизни на своих ногах, а не на ходулях и, состязаясь с нею в выдержке, заставит ее опустить глаза первую перед упорством его немигающего взгляда.

Была какая-то компания актеров, писателей и их покровителей, которая переходила из кабака в кабак, задирала незнакомых и, вечно рискуя головою, смеялась надо всем на свете. Самым отчаянным и невредимым (ему все сходило с рук), самым неумеренным и трезвым (хмель не брал его), возбуждавшим самый неудержимый смех и самым сдержанным был этот мрачный юноша, в семимильных сапогах быстро уходивший в будущее.

Может быть, к кружку этой молодежи действительно принадлежал толстяк и старый обжора вроде Фальстафа. А может быть, это воплощенное в форме выдумки — позднейшее воспоминание о том времени.

Оно было дорого Шекспиру не только былым весельем. То были дни рождения его реализма. Его реализм увидел свет

не в одиночестве рабочей комнаты, а в заряженной бытом, как порожом, неубранной утренней комнате гостиницы. Реализм Шекспира — не глубокомыслие остепенившегося гуляки, не пресловутая «мудрость» позднейшего опыта. Серьезнейшее, нешуточное, трагическое и вещественное искусство Шекспира родилось из ощущения успешности и силы во время этих ранних дурачеств, полных взбалмошной изобретательности, дерзости, предприимчивости и смертельного, бешеного риска.

«КОРОЛЬ ЛИР»

«Короля Лира» трактуют всегда слишком шумно. Своевольничающий старик самодур, собрания в гулком дворцовом зале, окрики и приказания, а потом вопли отчаяния и проклятия, сливающиеся с раскатами грома и шумом ветра. Но по существу в трагедии бушует только ночная буря, а забившиеся в шалаш, смертельно перепуганные люди разговаривают шепотом.

«Король Лир» такая же тихая трагедия, как и «Ромео и Джульетта», и по той же причине. В «Ромео и Джульетте» скрывается и подвергается преследованию взаимная любовь юноши и девушки, а в «Короле Лире» — любовь дочерняя и в более широком смысле — любовь к ближнему, любовь к правде.

В «Короле Лире» понятиями долга и чести притворно орудуют только уголовные преступники. Только они лицемерно красноречивы и рассудительны, и логика и разум служат фарисейским основанием их подлогам, жестокостям и убийствам. Все порядочное в «Лире» до неразличимости молчаливо или выражает себя противоречивой невнятицей, ведущей к недоразумениям. Положительные герои трагедии — глупцы и сумасшедшие, гибнущие и побежденные.

Вещь с этим содержанием написана языком ветхозаветных пророков и отнесена в легендарные времена дохристианского варварства.

О НАЧАЛЕ ТРАГИЧЕСКОГО И КОМИЧЕСКОГО У ШЕКСПИРА

У Шекспира нет комедий и трагедий в чистом виде, но более или менее средний и смешанный из этих элементов жанр. Он больше отвечает истинному лицу жизни, в которой тоже перемешаны ужасы и очарование. Эту сообразность тона

ставят в заслугу Шекспиру английские критики всех времен, от С. Джонсона до Т. С. Элиота.

В трагическом и комическом Шекспир видел не только возвышенное и общежитейское, идеальное и реальное. Он смотрел на них, как на нечто подобное мажору и минору в музыке. Располагая материал драмы в желательном порядке, он пользовался сменой поэзии и прозы и их переходами, как музыкальными ладами.

Их чередование составляет главное отличие Шекспировой драматургии, душу его театра, тот широчайший скрытый ритм мысли и настроения, о котором говорилось в заметке о «Гамлете».

К этим контрастам Шекспир прибегал систематически. В форме таких то шутовских, то трагических, часто сменяющихся сцен написаны все его драмы. Но в одном случае он пользуется этим приемом с особенным упорством.

У края свежей могилы Офелии зал смеется над красноречивостью философствующих могильщиков. В момент выноса Джульетты мальчик из лакейской потешается над приглашенными на свадьбу музыкантами, и они торгуются с выпроваживающей их кормилицей. Самоубийство Клеопатры предваряет появление придурковатого египтянина со змеями и его нелепые рассуждения о бесполезности гадов. Почти как у Леонида Андреева или Метерлинка!

Шекспир был отцом и учителем реализма. Общеизвестно значение, которое он имел для Пушкина, Гюго и других. Им занимались немецкие романтики. Один из Шлегелей переводил его, а другой вывел из творений Шекспира свое учение о романтической иронии. Шекспир — предшественник будущего символизма Гёте в Фаусте. Наконец, чтобы ограничиться самым важным, Шекспир — провозвестник позднейшего одухотворенного театра Ибсена и Чехова.

В этом именно духе и заставляет он ржать и врваться пошлую стихию ограниченности в погребальную торжественность своих финалов.

Ее вторжения отодвигают в еще большую даль и без того далекую и недоступную нам тайну конца и смерти. Почтительное расстояние, на котором мы стоим у порога высокого и страшного, еще немного вырастает. Для мыслителя и художника не существует последних положений, но все они предпоследние. Шекспир словно боится, как бы зритель не уверовал слишком твердо в мнимую безусловность и окончательность развязки. Перебоями тона в конце он восстанавливает нарушенную бесконечность. В духе всего нового искусства, противоположного античному фатализму, он растворяет временность и смертность отдельного знака в бессмертии его общего значения.

«МАКБЕТ»

Трагедия «Макбет» могла бы с полным правом называться «Преступлением и наказанием». Я не мог отделаться от параллелей с Достоевским, когда переводил ее.

Подготавливая убийство Банко, Макбет говорит наемным убийцам:

Через час, не больше,
Разведчик вам покажет, где вам стать,
И вам назначит миг для нападения.
Кончайте все поодаль от дворца
Сегодня ночью.

Немного спустя, в третьей сцене третьего акта, убийцы прячутся среди парка в засаде. На ночной пир в замок съезжаются гости. Убийцы подстерегают приглашенного Банко. Они переговариваются:

Второй убийца

Наверно, это он. Другие все
Уж во дворце.

Первый убийца

Их кони повернули.

Третий убийца

Их увели. Дорога для езды
Идет обходом с милю. Верно, Банко
Пройдет чрез парк пешком, как ходят все.

Убийство дело отчаянное, опасное. Перед его совершением надо все тщательно обдумать, предусмотреть все возможности. Шекспир и Достоевский, думающие за своих героев, наделяют их даром предвиденья и воображением, равным их собственному. Способность к своему современному уточнению частностей здесь одинаковая у авторов и их героев. Это двойной, повышенный реализм детектива или уголовного романа, осторожный, оглядывающийся, как само преступление.

Макбет и Раскольников не природные злодеи, не преступники от рождения. Преступниками делают их ложные головные построения, шаткие ошибочные умозаключения.

В одном случае толчком, отправною точкой служит предсказание ведьм, зажигающее в человеке целый пожар честолюбия. В другом — слишком далеко зашедшее нигилистическое допущение, что если бога нет, то все дозволено, а значит и совершение убийства, ничем существенным не отличающееся от любого другого человеческого действия или поступка.

Особенно огражден от последствий Макбет. Что может грозить ему? Шествующий по полю лес? Человек, не рожденный женщиной? Но таких вещей не бывает, это явные несообразности. Иными словами, он может проливать кровь безна-

казанно. Да и в самом деле, какой закон будет обратим против него, когда, придя к королевской власти, сам он, и только он один, будет издавать законы? Кажется, все так ясно и логично. Что может быть проще и очевиднее? И злодеяния совершаются одно за другим, много злодеяний в течение долгого времени, а потом лес вдруг трогается с места и пускается в путь, и является мститель, не рожденный женщиной.

Кстати о леди Макбет. Черты сильной воли и хладнокровия не главные в ее характере. Мне кажется, более общие женские свойства в ней преобладают. Это образ деятельной, настойчивой женщины в браке, женщины — пособницы и мужней опоры, не отделяющей интересов мужа от своих собственных и принимающей его замыслы бесповоротно на веру. Она их не обсуждает, не подвергает разбору и оценке. Размышлять, сомневаться и составлять планы — это дело мужа и его забота. Она их исполнительница, более непоколебимая и последовательная, чем он сам. Она берет на себя чрезмерное бремя и погибает, не соразмерив сил, не от угрызений совести, а от душевного изнеможения, от сердечной тоски и усталости.

Михаил Пришвин



ДОРОГА К ДРУГУ¹

(Из дневников 1946—1950 гг.)

Мелькает мысль, чтобы бросать все лишнее, машину, ружья, собак, фотографию и заниматься только тем, чтобы свести концы с концами, то есть написать книгу о себе со своими всеми дневниками.

Что же касается нескромных выходов с интимной жизнью, то разобраться в том, что именно на свет и что в стол, можно только со стороны. И еще есть особая смелость художника не слушаться этого голоса со стороны. Примером возьму Ж. Ж. Руссо: если бы он слушался этого голоса, у нас бы не было „Исповеди“.

Думаю, что если б очистить его от неудач, и так бы сделать лет за десять, и очищенное собрать в один том, то и получится та книга, для которой родился Михаил Пришвин.

Читатель

Стояла на красивом месте лавочка. От нее теперь остались два столбика довольно толстых, и на них тоже можно присесть. Я сел на один столбик. Мой друг сел на другой. Я вынул записную книжку и начал писать. Этого друга моего вы не увидите, и я сам его не вижу, а только знаю, что он есть: это мой читатель, кому я пишу и без кого я не мог бы ничего написать.

Бывает, прочитаешь кому-нибудь написанное, и он спросит:
— Это на какого читателя написано?

¹ Незадолго перед кончиной М. М. Пришвин создал из дневниковых записей 1946—1950 гг. книгу «Глаза Земли». Мы публикуем краткие выдержки из обширного раздела этой книги, озаглавленного «Дорога к другу», — записи событий и личных переживаний, обращенных к «неведомому другу» — читателю.

— На своего,— отвечаю.

— Понимаю,— говорит он,— а всем это непонятно.

— Сначала,— говорю,— свой поймет, а он уже потом всем скажет. Мне бы только свой друг понял, свой читатель, как волшебная призма всего мира. Он существует, и я пишу.

Моя поэзия есть акт дружбы с этим волшебным читателем — человеком: пишу — значит *люблю*.

В Поречье

Вчера с утра зима рванулась было с морозом и ветром, нарушила было спокойное чередование одинаковых мягких дней. Но среди дня явилось богатое солнце, и все укротилось.

Вечером опять воздух после мороза и солнце было как летом на ледниках.

Завтра отправляемся в Поречье, под Звенигородом — дом отдыха Академии наук.

В 9 часов утра выехали из Москвы и в 11 приехали. Хорошо, как и не мечтали. Тихий, теплый и крупный снег падал весь день.

Денек просверкала

Какой денек вчера просверкала! Как будто красавица пришла «ослепительной красоты». Мы притихли, умалились и, прищулив глаза, смотрели себе под ноги. Только в овраге в тени деревьев осмелились поднять глаза на все белое в голубых тенях.

Ночь была звездная, и день пришел пасмурный, и слава богу, а то со сверкающим мартовским днем не справишься, и не ты, а он делается твоим хозяином.

Тишина

Говорят о тишине: «тише воды, ниже травы». Но что может быть тише падающего снега! Вчера весь день падал снег, и как будто это он с небес принес тишину.

Река под снегом

Река до того бела, до того вся под снегом, что узнаешь берега только по кустикам. Но тропинка через реку вьется заметная, и потому только, что днем, когда под снегом хлюпало, проходил человек, в следы его набежала вода, застыла, и теперь это издали заметно, а идти колко и хрустко.

За ужином за мой столик сели две девушки.

— Почему в ваших книгах задумчивость? Вы человека любите? — спрашивает девушка.

— Нет, — ответил я, — люблю не человека, а язык, держусь близости речи, а кто близок к речи, тот близок и душе человека.

Грибники

Встретился машинист с паровоза: успел набрать корзину белых грибов и теперь бежит на паровоз. Вот этот любит природу!

Опавшие листья уже запахли пряниками. Редки белые грибы, но зато как найдешь, так и набросишься на них коршунном, срежешь и вспомнишь, что обещался, увидев, не сразу резать, а полюбоваться.

Опять обещался и опять забыл.

Один грибник приходит с мелкими грибами, другой — с крупными. Один внимательный и, пользуясь силой внимания, видит грибы. Другой мелочи не видит возле себя, и не он направляет на гриб внимание, а сам гриб, большой, как лампа, обращает на себя его внимание.

У таких грибников большинство грибов — крупные.

Работа нависла

Показались на яблонях яблоки. Ух, какая работища нависла надо мной, и тоже, как яблоко, показалась из моей зелени.

В Дунине великой силой взялись белые грибы. Всего трясет — так хочется пособирать, и в то же время думаешь, что все такое не ко времени. Теперь мне не до грибов, не до охоты, не до рыбы, даже и не до природы.

Грибы тоже ходят

Осень глубоко продвинулась. Еловый подрост осыпан золотыми монетками берез и красными медалями осин. В лесу ведь и в солнечный день сумерки, а тут еще нападала листва и скрывает от глаз серые, красные и желтые шляпки грибов.

— Есть грибы? — спросил я маленькую дочь лесника.

— Волнушки, рыжики, маслята.

— А белые?

— Есть и белые, только теперь начинает холоднеть, и белые переходят под елки. Под березками и не думайте искать,— все под елками.

— Как же это они так переходят, видала ли ты когда-нибудь, как грибы ходят?

Девочка оторопела, но вдруг поняла меня и, сделав плутовскую рожицу, ответила мне:

— Так они же ночью ходят, как их мне ночью увидеть? Этого никто не видал.

Дневник шофера

Научился заводить машину в мороз в нетопленном гараже, без горячей воды, одним движеньем ноги с лесенки.

Когда научился, то понял по себе с годами выступающий ум, как *заменитель* молодости и силы.

Вечером пировала у меня вся бригада. Ваня за столом долго рассказывал о себе, как он был колхозником, как уехал из колхоза в Самарканд счастья искать, как взяли его в Красную Армию и после ранения закрепили на броне на заводе.

— Жизнь твоя,— сказал я,— похожа на тех мужиков, которые задумали узнать, кому живется весело, вольготно на Руси. Ну, скажи, Ваня, где же лучше всего сейчас жить на Руси?

— Лучше всего,— сказал он,— конечно, в Красной Армии. Я бы и сейчас туда, да не пускают.

— Ну, а как же не страшно, там убить могут?

— А это неважно,— ответил Ваня.

Я посмотрел на плечи Вани, похлопал по ним.

— Хорошие богатырские плечи,— сказал я.

И он мне ответил с гордостью:

— Нормальные!

Интерес моих шоферских занятий в том, чтобы добиться определенного результата: машина служит мне.

Интерес в борьбе: кто кого победит — машина будет служить мне, или же я буду служить машине.

Полировал машину. Пришла старушка: развешивает перед гаражом стираное белье.

— Как жизнь, бабушка?

— Сам видишь, живу.

— Хорошо?

— Скриплю, да работаю: умереть-то и некогда.

Сегодня должна совершиться покупка дома. Что-то вроде свадьбы Подколесина! И это вечное: везде и каждому в промежутке между решением и действием хочется убежать в сторону, прыгнуть в окно.

Недоволен я собой: весь я в настроениях, нет смелости и прямоты, нет лукавства достаточного. Боже мой! как я жил, и как я живу! Одно, одно только верно — это путь мой, тропинка моя извилистая, обманчивая, пропадающая...

Около времени вечернего чая пришли девушки: предсельсовета и агроном. Они поставили печать к заготовленной нами бумаге, и двухмесячная борьба и колебания были закончены: развалины дачного дома стали нашим владением.

Я подарил Критской книгу с надписью: «Н. А. Лебедевой-Критской на память о счастливом хомуте: я счастливо влез в хомут счастливого 13 мая 46 года, она счастливо из него вылезла».

Зеленое пламя

Как зеленое пламя вспыхнула береза в еловом темном лесу, и ветерок уже заиграл всеми ее листками и будет играть всю весну, все лето и осень, пока все не сорвет и не останется береза опять одна со своими голыми прутьями.

— Ты знаешь, Жулька, — сказал я своей умнице, — эта березка, может быть, также когда-нибудь, как мы с тобой, бегала, но ей понравился ветер и что он играет ее листиками.

Вот она остановилась и отдалась ветру, и с тех пор она стоит так и он ею играет.

Дневник шофера

Машина не заводилась. Опасаясь полной разрядки аккумулятора, я стал на улице искать шофера и скоро нашел мальчика в «зисе».

Есть в большинстве случаев только две причины машине не заводиться: расстройство зажигания — одно, подача бензина — другое. И шоферы начинают проверку — один с зажиганья, другой — с карбюратора.

Сережа начал с зажигания, вынул трамблер, достал двугривенный и так, пощелкивая молоточками, начал серебрить контакты.

— Больших начальников возишь? — спросил он, не отрывая глаз от трамблера.

— Нет, — ответил я, — это моя личная машина.

Рассказав ему о себе, что я писатель, езжу всегда один, чтобы без помехи собирать материалы, сам и писатель, и шофер, и охотник, и фотограф, я спросил, как его фамилия.

— Плохая, — ответил он и опять взялся за тремблер.

— Плохих фамилий, — сказал я, — не бывает. Вот, например, улица Воровского вовсе не значит, что на ней воры живут. И даже самое гнусное имя, присоединяясь к хорошему человеку, теряет свой гнусный смысл и получает новый смысл от человека. Понимаешь меня, Сережа?

— Понимаю, — ответил он, — только все равно моя фамилия плохая.

— Подлецов?

— Ну, нет.

— Жуликов?

— Что вы, что вы!

— Ну, так как же, ну скажи! А то я бог знает что подумал. Есть фамилии: Сукин, Щенков...

Мальчик опустил длинные черные ресницы на розовую свою кожу и, чуть-чуть покраснев, прошептал:

— Стыдно как-то...

— Ну, все-таки не стыдись, может быть Щенков?

И он, еще больше потупившись, наконец-то решился сказать:

— Щелчков, Сергей.

Вчера сливал бензин в компрессоре, работающем на мотовой.

Разговорился с мастером о моей машине.

— Второй день такой прекрасный. Вот возьму сяду в машину свою, вложу ключик, дуну — заведется, и поеду.

— Как хорошо! Большое, по-моему, счастье, да, это счастье!

— Ну, не скажу, — есть большее счастье.

— Какое же?

— А пешком идти, все вокруг рассматривать, о всем думать.

— Правда, и то хорошо.

— Куда лучше! Вот погодите, придет время, все будут на машинах ездить, и только самые богатые будут располагать временем ходить пешком. Да, вот придет время, все «бедные» будут ездить на машинах, а богатые ходить пешком.

Вчера завелся автомобиль, слышался легкий стук, я поднял капот, чтобы выслушать, и увидел: на всасывающей трубе, растопырив ноги, сидел паучок. Труба только нагрелась, и, видно, паучку было приятно нарастающее тепло.

— Сиди,— сказал я,— поглядим, как ты...— и прибавил оборотов.

С утра возился с машиной и к обеду сдал ее в ремонт на завод.

— Генерал сказал, генерал рассердился, генерал, генерал...— повторяла намазанная девица-шофер на заводе.

Я указал ей место в своей машине.

— Кто же нас повезет? — спросила она.

Я молча сел за руль.

— Кто вы такой? — спросила она меня.

— Маршал,— ответил я.

И мы поехали.

Без регулятора

Излюбленные переулки у московских шоферов — это, где нет регулятора, и каждый держится правила: поезжай куда и как тебе хочется, только гляди на другого и не мешай ему ехать как и куда ему хочется.

Конь везет

Маленький я боялся своих лет, и мне казалось, что годы мои идут, а я еще ничего не достиг. Так и было мне до семидесяти лет: вечный упрек. Но после семидесяти мне стали все говорить: «Ах, какой вы молодец!» — и я перестал, мне казалось, вовсе бояться убегающих лет. Я думал даже, чем больше мне будет лет, тем чаще мне будут говорить: «Какой вы молодец!»

Но вот случилось, пришла нам помогать пожилая женщина тетя Феня, и мы начали с ней мыть мою машину: она мыла, а я по мытому сушил металл замшей и полировал.

Работал я хорошо, но пот все-таки выступил у меня на лбу, и старуха, наверно, этот пот заметила и спросила меня: — А сколько вам лет?

Я поглядел на нее и вдруг испугался: я увидел в глазах простого человека всю беспощадность природы: я почувствовал, что тут уж не спастись музыкой души моей, поэзией, и если я старый гусь и не могу рядом с молодыми лететь в теплые края, меня заклюют.

Я поглядел в глаза старухи и растерянно, смущенно повторил за ней:

— Вы спрашиваете, сколько мне лет?

— Да, хозяйин,— ответила она,— сколько вам лет?

За короткую минуту, однако, я успел подавить в себе противный страх и сказал:

— Сколько лет? Вы сами видите: конь везет!

— Вижу,— ответила она,— конь везет хорошо, а все-таки сколько лет-то коню?

— Конь везет,— повторил я,— а когда на коне едут, то в зубы ему не глядят.

— Это верно! — согласилась тетя Феня и, раздумчиво взглядевшись в мои годы, написанные на моем лице, закончила наш разговор: — Как все-таки людям жить-то хочется.

Цветы мороза

После вчерашнего дня пришло солнечное утро. Весь лес был одет крупными каплями. Лучи солнца, проходя сквозь насыщенный парами воздух, падали там и тут снопами, и в этом кругу света деревце, убранные каплями, сверкало всеми огнями.

Солнце обнимало темный хвойный лес и теплом своим раскрывало на елях пасмурные тайники, освобождая последние семена из шишек. Слетело одно семечко в такую глубину темного леса, куда горячие лучи солнца еще не дошли. Там от вечернего дождя натекло с деревьев и собрались лужицы, теперь еще покрытые тонким прозрачным цветистым пухом.

Я смотрел на эти цветы, охваченные солнцем в лесу, и вспомнил прекрасную девушку в нашей столовой. Среди некрасивых лиц она была, как это цветистое зеркальце природы среди темных стволов и корней, скрюченных и узловатых. Личико у нее кругленькое, будто снятое с солнца. Это солнце у человека было так правильно и тонко отделано, как только отделявает в раннем утреннем свете весны мороз свои чудесные зеркала в тайниках темных лесов. В столовой сидит она, заметная отовсюду, и когда встает, то будто лебедь поднимает голову, и чем выше поднимает голову, тем и лебедь становится прекрасней.

Только со страхом смотришь тогда на эту лебедь, превратившуюся в прекрасную девушку. Найдется ли для такой Иван-царевич?

— Как зовут ее? — спросил я вчера.

— Оля,— ответили мне.— Студентка.

Я думал, она в консерватории, или в живописи, или в поэзии...

— Она изучает музыку? — спросил я.

Мне ответили:

— Она изучает нефть.

Разговор наш оборвался на этом, а теперь, удивляясь цветисто-ледяному зеркальцу природы в лесу, охваченному солнечным жаром, я почему-то вспомнил Олю, и мне показалось — это она. Еще несколько десятков минут — и от чудесных прежних цветов мороза тут останется вода, а там? Неужели от этой девушки с такими ясными глазами тоже останется одна только нефть?

Но какой чистотой веет в душу от этих цветов мороза!

Жених у Оли очень хороший мальчик, но пониже ее ростом, как будто она лебедь, а он просто гусь. И пока они по-детски любят друг друга, как лебедь и гусь, голова к голове у воды, глядят вниз, все хорошо, но что будет, когда лебедь, желая встряхнуться, развернет вверх свою лебединую шею, взмахнет лебедиными крыльями и полетит?

Она полетит, и за ней полетит не лебедь, а гусь...

Художницы

Елена еще с прошлого года целится написать мой портрет. Но теперь ее подруга по институту Лариса перед самым носом перехватила ее модель.

— Лариса,— сказал я ей сегодня,— просила меня никому не даваться, пока она не кончит, да и мне самому неприятно служить моделью одновременно двум женщинам.

— Вполне вас понимаю,— ответила она,— я подожду. Но как у нее идут дела с портретом?

— Чудесно,— ответил я,— она очень талантлива.

— Очень,— подтвердила она.

— И что мне удивительно,— сказал я,— она превосходная мать, как она воспитывает своих двух мальчиков, где вы такое видели! Как редко в женщине соединяется служение семье без ущерба искусству и служение искусству без ущерба семье.

— Совершенно непонятное явление,— согласилась Е.

Я смотрел на нее и дивился, как она, женщина, претендентка на модель, и так искренно подтверждает совершенства своей соперницы. Тогда я опустил свой душевный зонд еще поглубже.

— Признаюсь,— сказал я,— Лариса меня увлекает — она очень интересная женщина.

Елена потупила глаза, чуть-чуть покраснела и ничего не сказала.

И я понял: все, все можно уступить Ларисе: талант, материнство, образование, ум, но женщину — нет! Прекрасная Елена должна быть интересней прекрасной Ларисы.

Радиола испортилась

За ужином сегодня танцевали западные танцы, и вдруг испортилась радиола. Что делать? Пришел пожилой человек и предложил поиграть в старинные игры: в свои соседи, в колечко, в кошки-мышки.

Хохотали, как дети, с заливом, даже и матери, уложившие спать своих младенцев.

После двенадцати в «умывалке» я сказал молодому человеку:

— Какая скука была смотреть на танцующих западные танцы и слушать весь день радиолу, и какая радость участвовать и даже слушать со стороны это веселье. Так вот — представьте людям самим...

Он не дал мне договорить и сказал:

— Это будет вразрез!

Вопрос к портретисту

Третий раз позирую Ларисе, и у нее теперь намечается красивая картина кого-то в голубом свете холодном, с собачкой, но не портрет.

Так в красивости мы спасаемся от правдоподобия.

Бывает момент у художника-портретиста, когда собственное представление, окрепнув, борется с тем, что дает от себя натура, и художник уже не может сам сказать, похоже ли его изображение на модель.

Ставлю вопрос, всегда ли такое расхождение правды и выдумки есть признак неудачи? Сейчас я думаю, что, раз художник ищет, как опоры, суда со стороны, он сбился с пути.

При полной удаче художник сам лучше знает о своем произведении.

Ошибка

Лариса кончает портрет, и я точно заметил момент, когда у нее поэтический свободный вымысел уступает место живописной необходимости.

Это случилось в четверг, когда я сидел подавленный и напряженный, а она вздумала на портрете открыть глаза, и как только она открыла глаза, появилась в лице моем жесткость, та внешняя моя жесткость, не соответствующая внутренней мягкости.

С этого момента живопись пошла неверным путем, и портрета не будет, и быть не может потому, что «жизнь» упушена.

Сон моей матери

Теплый пар продолженной, измученной холодной земли даже и в Москве можно понять.

После обеда мы выехали и на полпути поставили машину к обочине, сели на опушке леса. Все летние птички пели, и все пахло. Мне было так, будто вся природа спит, как любящая мать, а я проснулся и хожу тихонько, чтобы ее не разбудить.

Но она спит сейчас тем самым сном, как любящая мать, спит и во сне по-своему все знает про меня, что вот я запер со стуком машину, перепрыгнул через канаву и теперь молча сижу, а она встревожена — куда он делся, что с ним.

Вот я кашлянул — и она успокоилась: где-то сидит, может быть кушает, может быть мечтает.

— Спи-спи, — отвечаю я потихоньку, — не беспокойся!

Кукушка далеко отозвалась, и эта кукушка, и зяблики, и цвет земляники, и кукушкины слезки, и вся эта травка так знакомы с детства, все, все на свете — сон моей матери.

Самое трудное

Слова о том, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царство небесное, — это относится ко всякому творцу культуры: создать что-нибудь — это значит отдать себя, и как раз вот это-то и есть самое трудное.

Человек и природа

В Детгизе вышла «Кладовая солнца» в роскошном издании. Рассматривал иллюстрации Рачева. Сказал художнику, что его пейзажи очень хороши, но нет равновесия с человеком: лица не сходятся.

— А это, — ответил он, — вопрос общего характера: над этим работал Иванов всю жизнь в «Явлении Христа», и вот пейзаж вышел, а Христос не пришел.

— Но ведь в «Кладовой солнца», — ответил я, — дети вполне не согласованы с природой?

Зав. отделом иллюстрации на это ответил:

— Это удивительно, но поймут это не скоро.

Вспомнилось, как меня называли «бесчеловечным писателем» (Зинаида Гиппиус).

Итак, надо понять все-таки, что коренной вопрос живописи — гармоническое сочетание человека и природы — каким-то образом стал и моим коренным вопросом в моей литературной записи.

Жанр

Я — создатель литературного жанра поэтической географии.

...Не в поэзии, не в искусстве дело, даже не в личности, а все — в народе, в нации, в социализме, в новой грядущей жизни всего человека.

Вот тропинка возле большой дороги. Валом валит по ней народ, лошади, машины. А ты по тропинке спокойно иди себе, не торопясь. Пусть обгонят — не ускоряй шага, не суйся туда, на большак, и не тужи, если все пройдут, а ты останешься медленный на своей тропе.

Возможно, к тебе кто-нибудь подойдет еще отсталый, спросит тебя, и ты укажешь путь, куда все прошли. Учись же теперь держаться своего пути.

Рождение мысли

Долгое время жизни моей попадали в меня пульки и дробины откуда-то в душу мою, и от них оставались ранки. И уже, когда жизнь пошла на убыль, ранки эти бесчисленные стали заживать.

Где была ранка — вырастает мысль.

Трава

В моей борьбе вынесла меня народность моя, язык мой материнский, чувство родины. Я расту из земли, как трава, цвету, как трава, меня косят, меня едят лошади, а я опять с весной зеленею и летом к Петрову дню цвету.

Ничего с этим не сделаешь, и меня уничтожат только, если русский народ кончится, но он не кончается, а, может быть, только что начинается.

Неведомый друг

Случается каждому писателю на склоне лет среди своих писаний, убегающих в Лету, найти одну страницу необыкновенную. Как будто весенний поток выбросил эту мысль, заключенную в железную форму, как льдину на берег. И вот вода, выбрасывающая льдину, давно уже в море исчезла, а льдина все лежит, лежит и тратится только по капельке.

Когда я у себя в радостный день встречаю такую страницу, я всегда изумляюсь, как это я, ленивый, легкомысленный и вообще недостойный, мог написать такую страницу? После раздумья я отвечаю себе, что это не совсем я писал, что со мной сотрудничали неведомые мои друзья, и оттого у нас вместе получилась такая страница, что совестно становится отнести только к себе одному.

Сколько умных, образованных людей направлено к тому, чтобы разобрать простейшее творчество Михаила Пришвина, раскрыть его секрет и дать его тем, кто хочет хорошо писать. Самому мне смешно, и даже иногда страх берет: а вдруг раскроют, что там нет ничего, и меня засмеют?

Но еще страшнее думать, что я сам поверю в то, что мне приписывают, перестану в лесах сидеть на мокрых пнях и сочинять и куплю себе настоящий писательский письменный стол.

Моя сила

Сила моя в том, что естественное золото своего дарования я не отдал на монетный двор. Это не значит, что я зарыл свой талант в землю, нет! Я его сохранил и великолепно умножил, и все сделал, что мог, но только золото его не разбавил лигатурой для прочности хода золотой монеты по рукам.

На юбилее

На моем юбилее умный редактор «Пионерской правды» сказал: «Пришвин весьма тактично проповедует среди молодежи коммунизм».

Вспомнил, что на юбилее меня раза три называли «знаменитым», но я этому искренне не поверил. Может быть, даже начинает теряться к этому аппетит.

И какое это великое счастье иметь возможность в любой час нащупать ключик в кармане, подойти к своему гаражику в Москве, самому без свидетелей сесть за руль и укатить куда-нибудь в лес, и там в общении со своими невидимыми помощниками карандашиком в книжку отмечать ход своих мыслей и с восторгом иногда их рождать и отдаваться с чистой созвездью.

Инвалид

Доктор рекомендовал мне понимать себя не как полноценного здоровьем человека, а скорее как инвалида второй группы. Я согласился вести себя, как инвалид, но писать, как полноценный.

— А затем я и предложил вам инвалида, — ответил он, — чтобы вы лучше писали.

Художник

Очерк не пошел. И слава богу: не все же в кон, можно и за кон. А то был бы я пирожник, а не художник.

Венское кресло

Чтобы домашняя жизнь со своими неровностями не обрывала моей работы, я в лесу, поодаль дома, на прекрасном месте вкопал себе пень и возле пня столик. А чтобы спина не уставала, прибил гвоздем крепкий стоячок и к стоячку для опоры прибил дощечку.

Неподалеку две девушки деревенские пасли своих коз и, не смея спросить, что такое я мастерю, следили за моей работой и время от времени, высказав то или другое предположение, фыркали. И только уж когда я прибил спинную дощечку, да еще и сел, догадались, и одна из них сказала: «Это венское кресло».

Чистое сердце

В поликлинике М. Шагинян спросила Л.:

— Скажите откровенно, М. М. пьет женьшень?

— Нет,— ответила Л.,— у нас была бутылка, но во время войны ее кто-то выпил.

— Так отчего же он в свои годы выглядит таким молодцом?

— Потому что,— ответила Л.,— у него чистое сердце.

Этот ответ она взяла из моей книги «Женьшень», где Лу-вен требует от искателей корня жизни чистого сердца.

— Чистое сердце! — повторила Мариетта и села задумчиво в кресло.— Да,— сказала она,— чистое сердце для здоровья тоже имеет некоторое значение.

Школа езды

В Союзе писателей дамы стали учиться на автомобиле. Ездят они с инструктором на учебной машине, каждая по часу, и так весь день. Поднимаясь на горку, каждая забывает прибавить газу, и мотор глохнет с полгоры. Шофер потерял терпение и в наказание стал выгонять свою ученицу из кабины заводить мотор от ручки. Сегодня ему и это надоело: желая предупредить остановку машины, он крикнул: «Газу, газу! Не на кобыле едешь!»

Так учатся жены писателей и на машине ездить и от русского народа крепкому русскому слову.

О мастерстве

Мастерству в искусстве надо учиться лишь как не самому главному, а самое главное, секрет, как в нравственности, заключается в каком-то поведении (вероятно, личном).

С Жулькой простился, сохранив навсегда в памяти ее прощальный вид. Поняв по моим шагам в сапогах, что я собираюсь, она заволновалась, забилась и с большим трудом подняла голову, но держать прямо ее не могла и качала мне головой вверх и вниз, то поднимая ее, то опуская, глаза же были расширены настолько это было возможно, отчего получалось выражение как бы дружеского ужаса, каким любящий, побеждая на мгновение смерть, глядит на любимого.

Как только я к ней подошел, она уронила голову на подушку и смотрела на меня снизу одним полузакрытым глазом, вспоминаящим, всепомнящим, и я его вижу сейчас, и он останется со мной навсегда.

Было столько сказано нами друг другу в этот миг, что потом перед самым отъездом я и не зашел даже к ней: мы простились.

Умыслы

Люди воспитываются быть недоверчивыми, но ведь доверие, свойственное детям, ценится, как лучшее качество человеческой души, и говорится даже: будьте, как дети.

Помню, у Горького за столом был разговор, я что-то отметил в его поступках несообразное, и он мне на это сказал: «Да я же ведь хитрый». На это я, подумав, ответил: «Ничего, это хорошо, я тоже хитрый». А Горький на это улыбнулся мелкой улыбкой и сказал: «Ну, какой вы хитрый».

И так всю жизнь среди политиков я хожу дураком, а когда напишу — удивляются и признают во мне мудреца.

Глубоким взглядом

В последний раз ехал в вагоне, читал книжку и не глядел на людей, потому что в плохой одежде провинциалы мне кажутся уродами. Вдруг по ходу своих мыслей я выбросил из состава моих суждений красоту и пол, посмотрел глазами глубокого художника, и вдруг все люди стали интересными и значительными.

Дневник шофера

Видел во сне, будто я в Москве остановил «москвича» перед красным светом, вышел, взял «москвича» подмышку и понес на красный свет. И так по всей Москве у милиционеров переполох, потому что остановить нельзя: он не едет на красный свет, а идет.

М. В. принесла спелую ягоду землянику и с полностью сохранившимся под ягодами белым венчиком цветка: и плод и цвет вместе. Рядом с этой спелой ягодой на другой веточке была другая совсем еще зелененькая ягодка и тоже с белыми цветками.

Мы все осмотрели удивительное явление природы и все, плохо зная ботанику, не знали, что и сказать.

— Значит, природа такая,— сказал простой человек,— и плод поспевает, и цвет остается.

А Л. указала на меня:

— Вот это он!

Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя.

Доктор

На ночь звонил д-р Б.

Услышав, что я сам управляю машиной, говорит: «Отменить!» А я ему шиш!

Презираю такие повелительные обобщения: не отменять надо врачу, а умерять, то есть находить всему в жизни меру, для чего от врача требуется только внимание к больному.

Повидимому, все чудеса врачей сводятся к их силе внимания к больному. Этой силой поэты одухотворяют природу, а врачи больных поднимают с постели.

Жизнь

Прошел по Якиманке и заглянул во двор дома 42, где в гарае столько лет стоял мой автомобиль. Было что-то в моем многолетнем увлечении автомобилем большее, чем заслуживает от человека вещь. Мне хотелось одно время найти в моей машине особенности, каких нет в других машинах, но когда я приехал на большой завод, где машины, подобные моей, беспрерывно сходили с конвейера, я понял, что «особенность» в машине есть не личное качество, как у человека, а порок.

Несмотря на это поражение в поисках личной машины, я все-таки тратил массу времени, чтобы ходить без шофера за своей машиной и самому ездить на ней. Только прошлый год я догадался бросить машину и ездить просто на такси. Такая обуза свалилась с меня и как приятно до сих пор чувствовать свою жизнь без машины!

А жизнь? Если с годами придет время и я почувствую, что пора бы расставаться с этой своей машиной?

Это мне кажется хорошо, и это просто счастье дожить до того, что с жизнью станет не жалко расстаться.

Парикмахерская

Закончил рассказ «Бабочки», и мне сказали в редакции, что рассказ хороший, но что старика из кулаков нужно больше опорочить, а женщину сделать более сознательной. Поправить, конечно, ничего не стоит, но это теперь уже входит в привычку, рука набилась, и может вредить радости творчества.

Вот почему я, пожалуй, рассказ не буду печатать: пусть он лежит себе, как фонд, а месяца через два-три я прочитаю и поправлю уже от себя.

Причесывание произведений литературных вошло в повадку, и каждая редакция стала похожа на парикмахерскую.

Работаю с утра на веранде: петух начинает мой день.

Выход

Вчера запоем делал новую «капель»¹ без всяких дум о печати. На этом надо и остановиться: писать для себя, а если что выйдет подходящее, то печатать.

В Литературном институте

Выступал в Литературном институте с недоработанным рассказом² перед студентами. Рассказ провалился, но я блестяще вывертывался, и все подумали, что это я нарочно подсунул неготовый рассказ, чтобы всех сбить с толку. Вечер вышел несколько утомительный для меня, но очень интересный. А между тем я никак не думал, что рассказ недоработан, и даже собирался послать его на конкурс.

Смутно переживаю происшествие вчерашнего дня в Литературном институте и прихожу к тому, что провал моего рассказа есть свидетельство правильности моего пути. Это значит, что я не научился печь свои рассказы, как блины, а все еще, как юноша, я нахожусь под влиянием творческого поведения.

Материалы мои были хорошо собраны, правильно расположены, но не хватало им момента творческой кристаллизации, когда каждое слово становится на свое место само собою.

¹ Книгу «Глаза Земли».

² «Молодой колхозник».

Творческое поведение, повидимому, потому и поведение, что направлено к этой одной цели самодействующей кристаллизации.

Из моих реплик на чтения

Когда один студент сказал, что он не понимает обращения за советом к студентам такого опытного мастера, я ответил: «Я к вам не как к студентам обращаюсь, а как к читателям. Рассказ я написал, но, чтоб сделаться вещью, он должен быть вами принят». — «Да мы-то кто?» — «Как ваша фамилия?» — спрашиваю я. «Громов». — «Громов! вы единственный и неповторимый», — сказал я. И все засмеялись и чему-то обрадовались. Поняли.

Это было достижение, но чего оно мне стоило!

Иван-дурак

Начинаю еще яснее видеть себя, как русского Ивана-дурака, и удивляться своему счастью, и понимать — почему я не на руку настоящим счастливым и хитрецам.

У меня такого ума-расчета, чтобы себе самому было всегда хорошо и выгодно, вовсе нет. Но если я все-таки существую и не совсем плохо, то значит, что в народе есть место и таким дуракам.

Дворники

Ночью выпал снег, и рано утром в темноте, лежа в постели, я радостно догадался о том по скребкам дворников и в который раз уже подумал о том, что в крайнем случае не без удовольствия служил бы дворником.

Цена жизни

Женщина знает, что любить — это стоит всей жизни, и оттого боится и бежит. Не стоит догонять ее — так ее не возьмешь: новая женщина цену себе знает.

Если же нужно взять ее, то докажи, что за тебя стоит отдать свою жизнь.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ

КОНСТ. ФЕДИН	
В Ясной Поляне	7
МАРГАРИТА АЛИГЕР. <i>Стихи</i>	
Зимняя ночь	39
Осень только взялась за работу...	40
Деревня Кукой	40
С кремлевской трибуны	42
ЛЕОНИД МАРТЫНОВ. <i>Стихи</i>	
Вот корабли прошли под парусами...	44
Заводы	45
Я помню...	45
Богатый нищий	46
Солнце и художник	46
На ВСХВ	47
АЛЕКСЕЙ СУРКОВ. <i>Стихи</i>	
Из восточной тетради.	
В страну чудес	48
Ночная песня	49
Над Гангом	50
Открытка	51
Вечерняя молитва в веддийской школе Читтор- гарха	51
История	53
С. МАРШАК. <i>Стихи</i>	
Письмо в Шанхай	54
Из стихов о времени	54
Из путевого дневника	55

Новые переводы из Роберта Бернса	
Надпись на алтаре независимости	56
На благодарственном молебне по случаю победы	56
Девушки из Тарболтона	56
В ячменном поле	58
Пойду-ка я в солдаты	59
Песенка о старом муже	60
ЭМ. КАЗАКЕВИЧ	
Дом на площади. <i>Роман</i>	61
ВЕРА ИНБЕР	
Прогулка в горы (<i>Глава из поэмы «Ленин в Женева»</i>)	433
МИХАИЛ ЛУКОНИН. Стихи	
Утро	436
Начало тревоги (<i>Из поэмы</i>)	438
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ. Стихи	
Ходоки	442
Уступи мне, скворец, уголок...	443
Некрасивая девочка	444
Осенние пейзажи	445
Журавли	446
Лебедь в зоопарке	447
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО	
Тебя после каждой лекции... <i>Стихотворение</i>	449
ЛЮДМИЛА ШИПАХИНА. Стихи	
Переселенцы	451
Искатель	452
Характер	453
СЕРГЕЙ АНТОНОВ. Рассказы	
Тетьа Луша	454
Возница	464
Дружок	470
Анкета	478
Погубительница	487
А. ТВАРДОВСКИЙ	
За далью даль (<i>Главы из книги</i>)	494
ВАС. ГРОССМАН	
Шестое августа (<i>Рассказ</i>)	506
П. ЗАМОЙСКИЙ	
Владыки мира (<i>Из прошлого</i>)	524

АННА АХМАТОВА. Стихи	
Петроград. 1916	537
Азия	537
КОНСТАНТИН СИМОНОВ	
Друзья сорок первого года. <i>Стихотворение</i> . . .	540
НИК. АСЕЕВ	
Памятник. <i>Стихотворение</i>	542
БОРИС СЛУЦКИЙ. Стихи	
Когда убили Белоянниса...	544
Без четверти девять утра	545
АЛЕКСЕЙ МАРКОВ	
Дуб. <i>Стихотворение</i>	547
НАЗЫМ ХИКМЕТ	
Письмо Мемеду. <i>Стихотворение</i>	548
Л. ВАСИЛЕВСКИЙ	
У подножия Гвадоррамы (<i>Рассказ бойца Интернациональной бригады</i>)	552
Н. МЕЛЬНИКОВ	
В вагоне (<i>Рассказ</i>)	577
О. ГОРЧАКОВ	
Наля (<i>Рассказ</i>)	583
ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ	
Портрет (<i>Рассказ</i>)	598
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Стихи	
Речка Иня	606
Ожидание	607
Утро	609
ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ	
Из Дагестанских стихов	
Эту улицу, полную ярких огней...	612
В крайнем доме	613
С. ЛИПКИН	
Из восточной рукописи. <i>Стихотворение</i>	616
Из индийского эпоса «Махабхарата». <i>Переводы</i>	618

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

Три стихотворения	
Средь лиственниц рыжих...	620
Над лагерем звучал протяжно горп...	621
Зимний лес! От края и до края...	623

СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ

Две басни	
Ромашка и Роза	624
Любитель книг	625

В. РОЗОВ

Вечно живые (<i>Драма в трех действиях</i>)	626
---	-----

О Ч Е Р К И**АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН**

Правда, которую я скрывал (<i>Записки главного инженера</i>)	683
--	-----

В. ТЕНДРЯКОВ

Рыцарь тюельки в тюельку	736
------------------------------------	-----

АРТЕМ АНФИНОГЕНОВ

Край света	742
----------------------	-----

К. ЛАПИН

В Жигулях (<i>Из дневника</i>)	754
--	-----

Полгода в колхозе (<i>Рассказ С. Пронтарского—председателя колхоза «Вперед к коммунизму», Гжатского района, Смоленской области</i>). Литературная запись А. Белявского	769
--	-----

Д Н Е В Н И К И И З А М Е Т К И**КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ**

Из воспоминаний об Александре Блоке	783
---	-----

БОРИС ПАСТЕРНАК

Заметки к переводам шекспировских трагедий	794
--	-----

МИХАИЛ ПРИШВИН

Дорога к другу (<i>Из дневников 1946—1950 гг.</i>)	810
--	-----

Литературная Москва

Редакторы *Л. Белов* и *Н. Крюков*

Художник *Д. Бисти*

Художеств. редактор *Л. Калитовская*

Технич. редакторы: *В. Гриненко*,
Д. Ермоленко и *Ж. Примак*

Корректоры: *В. Брасина* и
Е. Лаптева

Сдано в набор 31/1 1956 г. Подписано
к печати 17/II 1956 г. А00464. Бумага
60×92/16. 52 печ. л. 51,81 уч.-изд. л.
Тираж 100 000. Заказ № 1358.
Цена 18 р. 50 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Министерство культуры СССР
Главное управление полиграфической
промышленности.

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.